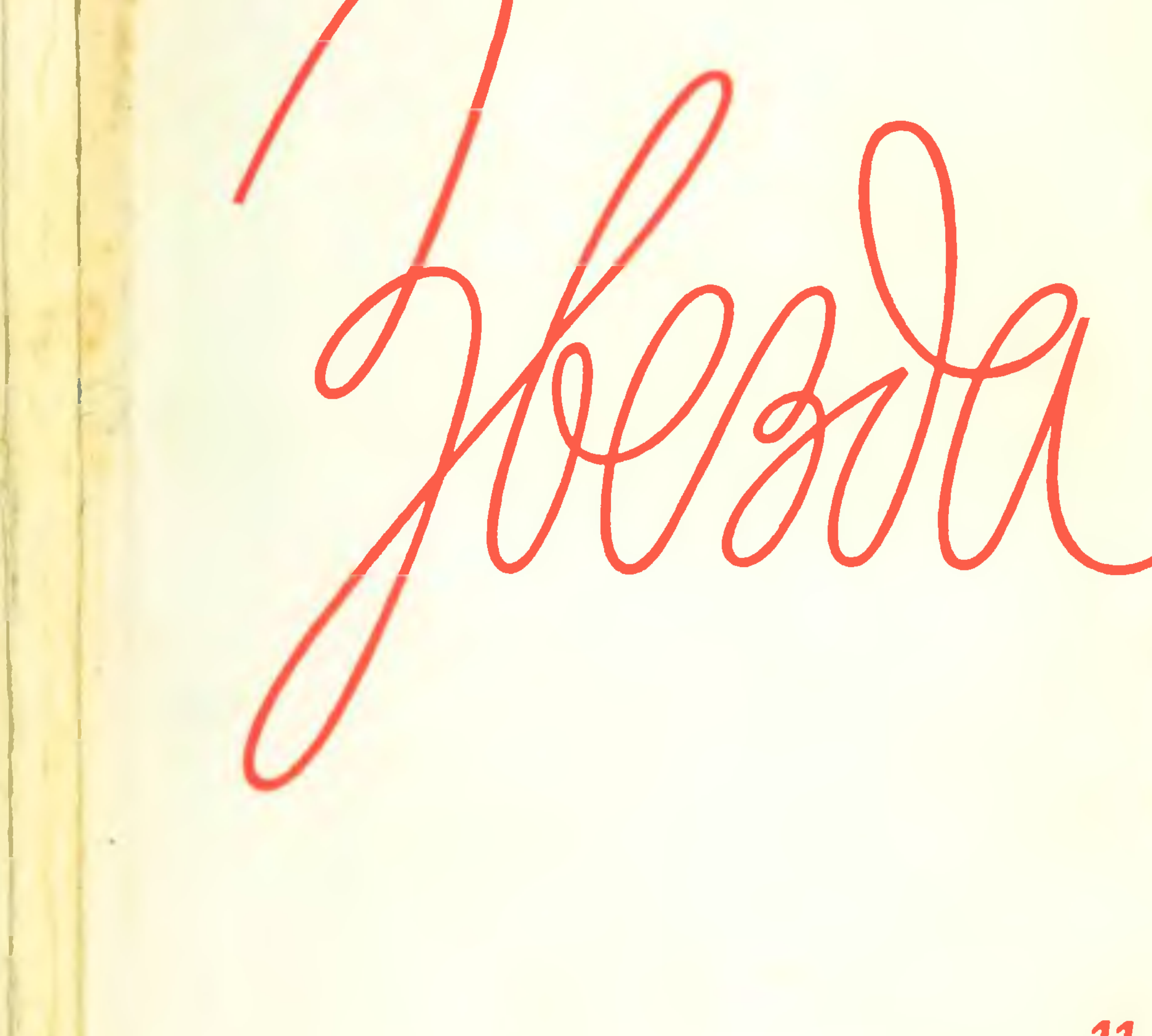
ISSN 0321—1878. Звезда. 1991. № 11. 1—208. Цена 1 р. 80 к. (по подписке 1 р. 60 к.). Индекс

ISSN 0321—1878



11

1991

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ЖУРНАЛ

Звезда

11
ноябрь
1991

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1924 ГОДА

SUMMARY

M. Chulaky. Gavriliada. A story about a modern Soviet intellectual, torn between freedom and dogmas of communist bureaucratic system.

Radi Pogodin. Two Stories. One story is the reminiscences of his young years during the World War II. The other is about modern life both humorous and sad.

Vladimir Kazarov. Two Stories. These are the first works by the 55 year old author of satirical stories.

V. Sosnora. The latest verses by one of the famous and original modern Soviet poets.

Translations of modern Swedish poetry.

A famous Russian philosopher Alexei Losev in his story «Chaikovsky's Trio» appears as the author of moving descriptions connected with musical meditations.

V. Gryasnevich. Intelligencia as a Social Phenomenon.

Ya. Gordin. Tsarevitch Alexei's Case. A well-known writer, strictly following historic facts, tells about the inquest of the case of Peter the Great's son.

S. Stratanovsky. Poet and Revolution. Analysis of «The Twelve» by Alexander Blok.

A. Barzakh. «Rumbling of a Piano...» O. Mandelshtam's poetry compared to I. Annensky's verses.

A. Vershik. Secret Digest of the Stagnation Times. About a «samizdat» magazine «Summa» published in the 60s and 70s in Leningrad.

Sergei Nosov. Yevgeni Vertlib's Russia. About two books by the emigrant literary critic, who now lives in Germany.

Yevgeni Kalmanovsky. Extremes. Analysis of «Sportsman's Sketches» by Turgenev.

Vasili Yanovsky. Champs Elysées. The ending of the publication started in N 9, 10.

The book corner.

Учредитель: Союз писателей СССР Издатель: редакция журнала «Звезда»

Адрес редакции: 191028, Ленинград, Моховая, 20

Телефоны: главный редактор — 272-89-48, заместители главного редактора — 273-52-56, 273-74-91, 273-76-92, ответственный секретарь — 272-71-38, зав. редакцией — 273-37-24, отдел прозы — 272-18-15, отдел публицистики — 279-33-74, отдел критики — 273-74-91, отдел поэзии — 279-30-41.

Сдано в набор 19.07.91. Подписано к печати 01.10.91. Формат 70×108 1/16. Бумага тип. № 2. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,9 усл. кр.-отт. 26,1 уч.-изд. л. Тираж 130 940 экз. Заказ № 795. Цена 1 р. 80 к. (по подписке 1 р. 60 к.).

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197110, Ленинград, П-110, Чкаловский пр., 15.

Виктор **Соснора**

ЧЕТВЕРОСТИШИЯ

1

Нет гнева у меня, нет гнева.
Есть вены, в них луна и миражи.
Жуть рая — жить. Волшебна власть
геенны.
Я просто пал, как свиньям желудь лжи.

2

Но мир — *но* мы. Но светозарен Бес.
А тот, не-бесник,— плутовство и плен!
Чреватость чрева и бездарность бездн
еще в наскальной памяти поэм.

3

Но жизнь — *но* жизнь. Не во скалáх
скульптур,
не во надзвездье — слякоть о главу!
Сметана спермы, светлый смех скоту
во отрубях, во плеске оплеух.

4

Не веселись. Не пал. Я просто плох.
Я не боюсь ни Бога, ни Тебя.
Боюсь, что Ты — лишь ты, а Бог —
лишь бог
для оскопленья Зверя и телят.

5

Не вовсе волчья ярость. Не Анчар.
Отставленный под лай и улюлюк,
оскаленный (ни слез ни по ночам!),
отравленный, всем говорю: ЛЮБЛЮ.

МОЙ МИР

Не сплю.
На блюде оденял я — мерзлый карп.
Не с пуль
ли каплет мой последний кап?

В окно
ли каплет кнопка-сердце пустоты?
Ох ночь!
Не сплю, мой карандаш — о ты.

Что я,
что ничего не получается, плачь, но
чьей, чья
ты в будущем, ты там? Я — ночь,

мал, гол,
я осмотрелся и узрел окрест:
монгол
ли дирижировал нас двух — оркестр?

Да медь
литавр не состоялась. Был цирк.
Да ведь
и мы монголы — трусы, но бойцы.

Дин-дон!
Мы оба, сам старался: обниму,
дай дом
моих молитв не одному,

дай дам
для живота и для ушей,
дай драм
моей полузадушенной душе.

Мил, глуп
я, то есть стих мой, квак болот:
Мы — клуб,
где танцы, библя и блевот

весель!
Не я, не ты, не мы — оно!
Ведь все,
как все мы, одинаков — одинок.

Мой мир!
Лжелозунг, да и я лжепилигрим,
как мим
с лицом в слезах (одеколонный грим!).

Виктор Александрович Соснора (род. в 1936 г.) — поэт. Публикуется с 1960 г. Автор сборников «Январский ливень» (1962), «Триптих» (1965), «Всадники» (1969), «Лист» (1972) и др. Живет в Ленинграде.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Тихо-лихо. Да шесть
бьют на башне часов.
Хлад и ландыш в душе,
дверь у тварь на засов.

Спи, ребенок людей,
лодка-люлька и шест.
На звездах шесть друзей,
потому что их шесть.

Шесть над морем шаров —
фонари кораблей,
шесть шаров — шесть голов,
в глазиках — шесть гвоздей.

Море-цепь, море-тать,
с весел каплет испуг.
Будем рты целовать,
два детеныша рук.

Спи, ребенок морей,
лодка-люлька и шест.
В воздухе шесть зверей,
в ножках выросла шерсть,

лобик вырастил рог,
шесть клешней — рыба рак,
Спи у моря морок
мой ребенок — рыбак.

Что-то воет не волк,
нет мозолей в горсти.
Два детеныша вод,
будем в грусти грести.

Ведь пока что у нас
качки нет, море-муть,
месяц лун красномяс,
лун, а может быть, муз.

ЛИТЕРАТУРНОЕ

Сверчок — не пел. Свеча-сердечко
не золотилась. Не дремал
камин. В камзолах не сидели
ни Оскар Вайльд, ни Дориан

у Зеркала. Цвели татары
в тысячелетьях наших льдин,
ходили ходики тик-таком,
как Гофман в детский ад ходил

с Флейтистом (крысы и младенцы!),
за плугом Лев не ползал по
Толстому. Было мало денег,
и я не пил с Эдгаром По,

который вороном не каркал...
А капля на моем стекле
изображала только каплю,
стекающую столько лет

с окна в социализм квартала
свинцовый. Ласточка-луна
так просто время коротала,
самоубийца ли она?

Мне совы ужасы свивали.
Я пил вне истины в вине.
Пел пес не песьими словами,
не пудель Фауста и не

волчица Рима. Фаллос франка —
выл Мопассан, в ночи, вовсю,
лежала с ляжками цыганка,
сплетенная по волоску

из Мериме. Не Дама, проще,
эмансипации раба
устами уличных пророчиц
шумела баба из ребра

по телефону (мы расстались,
и я утрату утолил),
так Гоголь к мертвецу-русалке
ходил — любил... потом творил.

Творю. Мой дом не крепость — хутор
в столице. Лорд, где ваша трость,
хромец-певец?.. И было худо,
не шел ни Каменный, ни гость

ко мне. Над буквами-значками
с лицом, как Бог — Иуда — ниц,
с бесчувственнейшими зрачками
я пил. И не писал таблиц —

страниц. Я выключил электро-
светильник... К уху пятерню
спал Эпос — этот эпилептик,—
как Достоевский — ПЕТЕРБУРГ.

ПЕСНЬ МОЯ

Ой в феврале
тризна транспорта, фары аллей.

В Летнем саду
снег у статуй чуть-чуть зализал срамоту.

Дебри добра:
в шоколадных усах у школ детвора.

Толпы Цирцей
сочетаются кольцами в бракодворце.

Девушки форм
любят в будках под буквами «телефон».

Как эхолот
шевелящий усами эпох полицейский-илот.

Солнце — Дамокл.
Альпинистские стекла домов.

Мерзкий мороз
моросит над гробницей метро.

Тумбы аллей
в красно-белых тельняшках — опять
юбилей.

Плачь, сердце, плачь,
всех смятений сумятицу переиначь.

Пой, сердце, пой!
Ты на троне тюрьмы. Бог — с тобой.

Ой в феврале
вопли воронов, колокола кораблей.

Худо дела:
чью там душу клюют, но ком — колокола?

ПАМЯТИ ЛИЛИ БРИК

Не бил барабан под лукавым полком,
не мы Вашу плоть хоронили.
Чужие по духу в семейный альбом,
в келейный апломб опустили.

Чужие по духу во все времена
закапали Вас, закопали.
Мы клятвой не сняли свои стремена,
все в тех же шеломах скакали.

Нам тризна — с трезубцем! Бесслезны
сердца
торжественного караула.
О спите в кристаллах, святая сестра,
в венце легендарного гула!

БЕССОННИЦА

Лестница, а по — крысы бегают,
в шляпах, в ботфортах, с рапирами — ура!
Бьется, бьется бабочка-бессонница
в ласках волосах моих, а волосы болят.

Тело у меня еще теплое,
все в слезинках пота и живот чуть живой,
по животу с блестящими глазенками
крысы, маленькие, как муравьи.

Тьма. Во тьме — евангельской?
египетской?
ты — с телом крысы, майским, меховым,
лебедь-шея — это Евангелие,
бог-башка — это Египт.

Не люби. Но не целуйся с крысами.
Господи, бегут с клыками! кусать!
Где выключатель? Вот! Включается!
Ищу под одеялами — и нет там меня!

Нет нигде меня — на корточках по комнате
ползаю! Лягу — сплю, сплю, сплю...
Раскрою глаза — влюбленно улыбается
в глаза мне крыса, морда, как медведь!

Спаси, не люби. Любить — навязывать.
Спасать — явиться лишь и глаза мои
закрыть.
О если б кто-то — вы, что ли, выстрелил,
но сзади, в затылок, чтоб не ждать,
не знать!

МОЙ ДОМ

Дом хореографии. Телепаты Муз
пьют на подоконниках с трефовыми очами.
С утра за машинкой. Не моюсь. Не молюсь.
Отче, и ты — отчаянье.

В волосах влага, нос — пеликан,
ухо — лист капусты... За машинкой,
в общем
я опубликован весь. Но с потолка
капельки-клопики падают, Отче.

И бегут со всею искренностью ко мне,
я их — башмаками, как танками,
рептилий!
Я-то что! меня давно уже нет как нет,
пожалей, Отче, этих красных ребятишек!

Им бы манускрипты в веках публиковать,
целовать цариц, кусать драконов Этны...
А теперь приходится падать с потолка
на меня, трудящегося новой эры.

Башмаками! Жалко! Но все на одного!
Целоваться, что ли?.. Славянина правнук,
хам или с похмелья, вот оттого-
то я за машинкой борюсь за правду.

РАССТАВАНЬЕ

На Фонтанке ни фигурки,
ф-о-нарики — фарфор!..
Финтифлюшка ты и фруктик,
фрахтовщица фор,

фаворитка и Фелица,
фрейлина и фант,
феминистка-фаталистка,
фараон фанфар!
Филистер, фискал и фреска,
фармазонка, ферт,
феофановская фреска,
фея!
Фу, у фей
фигурируют ферменты,
фаллос, фея — факт!..

Филигранные фрагменты
фраз моих на «фа»...

До любви ли, любимая? Спруты бульваров.
Сам я спрут под фонариками. Где я?
С кем?
Нет тебя, как ни больно. Как не бывало
в невзаправдашнем, ребусном языке
русском
буквы «ф»...
Этой буквы!

* * *

По городу медленно всадник скакал.
Копыто позванивало как стакан.
Зрачок полыхал — снежнобелая цель
на бледно-зеленом лице.

Икона! Тебя узнаю, государь!
В пернатой сутане — сова-красота!

Твой — город! Тебе рапортующий порт.
Ты — боцман Сова, помазанник Петр.

Из меди мозги, из меди уста,
коррозия крови на медных усах,

и капля из крови направлена вниз,
висит помидориной на носу,
ликуй, истеричка, изверг, садист,
я щеки тебе на блюдце несу.

Я гол как монгол, как череп безмозгл,
но ты-то скончался, я — буду, мой монстр.

Я страшный строитель, я стражник застав.
Когда-то моя прозвенит звезда.
Она вертикалью вонзится в Петра! —
Ни пуха ни пера!

А кони-гиганты Россию несут,
а контуры догмы совиной — внизу.

Внизу византийство совиных икон
и маленький металлический конь.

Михаил Чулаки

Гаврилиада

Повесть

1

В прыжках в высоту существует такое правило: можно перенести оставшуюся попытку. Не взял ты с двух попыток, скажем, два двадцать пять, можно третью, последнюю, перенести на два двадцать восемь. Если б разрешалось то же самое в жизни: прожитые годы получились не очень удачными, так перенести оставшиеся на следующий век! Или сразу лет на триста, пятьсот. Перенести в надежде, что там, в будущем, образ жизни окажется более подходящим для тебя и сможешь ты взять высоту — реализовать себя, осуществить свои неограниченные мечты или хотя бы более реальные планы. Ну и интересно тоже: увидеть будущий рай на Земле. Если состоится рай, если не станет Земля адом: перенаселенным, вытоптанным, выжженным... Но все-таки хочется верить.

Гавриил Романович очень любит читать фантастику. Как и почти все в наше время. И самая эта всеобщая любовь — что такое, как не надежда перенести последнюю попытку на следующий век? Хоть у тех же излюбленных Гавриилом Романовичем Стругацких — у них же в романах тоже проблемы, тоже страдания и страсти — в будущем. Но все же это другие проблемы, другие страдания: без теперешней мелочности и унизительности быта. Чтобы объяснить разницу самому себе, Гавриил Романович придумал аналогию: предположим, некий руководящий товарищ пережил в Ленинграде всю блокаду; как человек *кристально* честный (официальный эпитет; сказать у нас, что человек просто честный, значит допустить возможность неких нравственных колебаний, и только *кристальная* честность ставит выше подозрений) он жил исключительно на паек, причитавшийся по карточкам,— но паек-то этот ему неизбежно приносили в кабинет, он не стоял часами в очередях с номером, написанным на ладони чернильным карандашом,— и значит, он не пережил по-настоящему блокаду! Самое страшное в этих очередях не холод, и даже не всеобщая подозрительность, когда все следят, не затесался ли в очередь посторонний,— и ты следишь, и чувствуешь, что за тобой следят точно так же. Самое страшное — неуверенность: подвезут хлеб или не подвезут? Пусть — хоть и трудно верится — кристально честный руководитель жил на тот же паек, зато он знал положение дел, цифры подвоза, он не страдал от *голода информационного*, выражаясь современным языком, а этот голод пострашнее хлебного, хотя сами голодавшие об этом и не догадывались. Они умирали не только от недостатка калорий, но еще и от неизвестности, от неуверенности в завтрашнем пайке. Подвезут или не подвезут?! Снизят пайки или не снизят?! Разница такая же, как плыть беспомощно в трюме, гадая, наскочит ли через минуту корабль на мину, или стоять наверху и высматривать в бинокль ее, рогатую... Вот и герои тех же Стругацких — они не замкнуты в трюме, на них не капает сверху ржавая вода и не заедают их паразиты. А мелочи быта — они те же самые паразиты, они как ненасытная таежная мошка. Один комар, один москит — ничто, совестно жаловаться на комариный укус, но тучей они замучают до исступления, до смерти!

Да, блокаду Гавриил Романович помнит хорошо — то есть кощунственно сказать «помнит блокаду»! Хорошо помнить можно прочитанный роман — блокада же в нем всегда, она неотделима от его личности как имя.

Имя... Следствие чрезмерной влюбленности отца в отечественную словесность. Правда, не так уж часто при знакомстве с Гавриилом Романовичем люди усмехаются, поднимают

Чулаки Михаил Михайлович (род. в 1941 г.) — прозаик, автор книг «Долгие поиски», «Вечный хлеб», «Книга радости — книга печали», «У Пяти углов». Живет в Ленинграде.

брови или другим каким-то способом выражают ироническое удивление: мало кто нынче знает, как звали Державина — не Пушкин же. Гораздо обыкновеннее, когда вспоминают Никифора Ляписа с его «Гаврилиадой»: «Служил Гаврила хлебопеком, Гаврила булку испекал...» — таков литературный запас среднего читателя. Ну а фамилия Гавриила Романовича и вовсе не вызывает ассоциаций: Гнездилов. Ну не Всеволод же Большое Гнездо!

Проработал Гавриил Романович всю жизнь на кафедре математики в техническом вузе — есть такой ЛИАТ, Ленинградский институт автомобильного транспорта. Математика для инженеров — предмет скромный, это не та необозримая наука, которая видится с высот матмеха, а сам Гавриил Романович остановился на кандидатской, не достиг должности доцента, и теперь уже нет никакого сомнения, что доработает в ассистентском качестве до самой пенсии, ибо лет ему исполнилось пятьдесят пять. Женился Гавриил Романович довольно поздно, потому сыну его всего двадцать лет. Родительскую профессию тот унаследовал только отчасти: решил стать *приматом* — прикладным математиком, сейчас это направление самое процветающее. Зато жена Гавриила Романовича к точным наукам вообще никакого отношения не имеет: работает библиотекаршей в Доме культуры. И вроде бы все неплохо в жизни Гавриила Романовича и всей его семьи, во всяком случае, благополучно: в хлебе насущном не нуждаются; квартиру двухкомнатную получили на восьмом этаже двенадцатиэтажного дома, да к тому же улучшенной планировки; специальности каждый избрал по собственному влечению; отношения в семье приличные — но сказать, что Гавриил Романович счастлив или хотя бы вполне доволен жизнью? Невозможно этого сказать! Хотя вроде и непонятно: а с чего ему не быть довольным?

2

Ватина — жена Гавриила Романовича. Вообще-то она Валентина, но в начале их знакомства в одной компании собралось сразу три Валентины, и остряк Женька Лукомский наделил их разными уменьшительными: была просто Валя, была Тина или Тинтина — чем-то она напоминала натянутую струну, звучащую при каждом прикосновении: тинн-тинн, и вот была Ватина — рыхловатая белокожая, словно и правда у нее проложен слой ваты.

Когда Ватина узнает рецепт нового пирога, печь которые она мастерица, то неизменно объявляет с победоносным видом: «Надо взять на вооружение!» Гавриил Романович каждый раз вздрагивает — должно быть, потому, что он человек сугубо мирный.

Из-за мирного своего устройства он не стал сопротивляться, когда Ватина повела его покупать брюки. Ему действительно нужны брюки на лето, но он прекрасно купил бы сам; однако Ватина уверена, что без нее он возьмет не то. По своему разумению он всегда выбирает не то.

В институте уже началась сессия, и с утра Гавриил Романович был свободен. А у Ватины скользящий график в Доме культуры, и ей нужно было на работу к четырем. Поэтому она потащила его в Гостиный к открытию — из Гавани удобно по прямой ветке на метро.

Когда вошли — поразила пустота. Анфилада зал, обычно заполненная толпой, просматривалась насквозь.

Гавриил Романович уже слышал об андроповском нововведении: уже три дня как стали проверять документы у праздношатающихся в рабочее время — в кино, в магазинах, прямо на улицах. Слышал, но не ожидал подобного эффекта. Красиво, конечно: пустой Гостиный, и все продавщицы наготове. А то обычно к прилавкам не протолкнуться.

Они шли по пустым залам как по улице — под руку. Ходить с Ватиной — физическая работа. Она почему-то не идет прямо, но норовит дать крен в его сторону. Если не держать ее под руку, они будут все время наступать друг другу на ноги и толкаться плечами; придерживать без усилия — вытолкнет на мостовую. Поэтому приходится непрерывным усилием сдерживать ее от навала — при такой комплекции порядочная нагрузка. Рука затекает.

— Польские надо брать,— заранее, не доходя до отдела, предупреждала Ватина.— Они и приличные, и недорогие, и сидят хорошо. Я видела на людях.

Как она разглядела на прохожих — что польские?

Среди мужских брюк царила поджарая блондинка, свободные волосы до плеч. Тот самый женский тип, который с детства нравится Гавриилу Романовичу. Тинтина была из той же породы.

Гавриил Романович хотел спросить — про польские, не про какие другие, но Ватина его опередила:

— Девушка, у вас есть польские — пятидесятый, третий рост?

Перед всякой продавщицей неприятно выглядеть подкаблучником, а уж перед такой, похожей на Тинтину,— вдвойне. И хоть бы толпа теснилась у прилавка как обычно, а то никого нет и продавщица смотрит только на них.

— Третьего роста нет польских. Только второй или пятый.

Но Гавриил Романович — не пузатый коротышка и не длинноногий мастер спорта — нормальный мужчина за пятьдесят, хотя и неплохо сохранившийся. Только почему-то такие, как эта блондинка, и в молодости им не интересовались, не то что сейчас.

— А вон те, зеленые, есть третий рост? — подал голос Гавриил Романович.

— Да ну что ты! Такие где угодно валяются. Чистая синтетика, будешь потеть летом. И цвет не такой. Пойдем еще в Апраксин посмотрим.

— Нет, возьму вот эти!

Всякая семейная ссора — пошлость. А тем более по такому поводу. Да еще на глазах насмешливой блондинки. Но почему Ватина командует?! Почему он никогда не вмешивается в ее покупки, а она должна выбирать за него?! Почему он пожизненно обречен видеть ее, слышать ее, обнимать ее?!

С самого детства, когда маленький Гаврик, а потом уже подросший школьник и студент Гнездилов стал замечать и выделять в любой толпе таких вот женщин с *точеными фигурками*, а тем более, если спадала на точеные плечи *грива золотистых волос*, ему представлялось, что встретил он существо неземное, сделанное из совсем особого материала, из другого, чем он. В этом прежде всего виноваты родители — и целомудренная русская литература, и ханжеская школа, но прежде всего родители, чуть не с пеленок внушившие ему, что все связанное с полом составляет постыдную тайну: что-то нечистое происходит в темноте спальни, об этом неприлично не то что говорить вслух, но чуть ли не думать тоже! Матушка его даже слово «беременная» не могла произнести и всегда говорила об этом состоянии эвфемизмами. Поэтому с самого детства любовь безнадежно разделилась для него на земную и небесную, но не в том смысле, как на картине Рубенса. На картине земная любовь наряжена, небесная же — обнажена. А для Гавриила Романовича небесная любовь всегда в одеждах, потому что небесная любовь — это восторженное обожание, это мечты, это вдохновение, когда хочется посвящать любимой свои труды, это прогулки под луной, когда молча коснуться руки любимой — значит достигнуть пределов счастья! А все неприличные действия, связанные с раздеванием и общие у человека с любым скотом,— даже подумать невозможно, что допустимо обойтись *вот так* с прекрасной неземной возлюбленной! Это значило бы подвергнуть ее мерзкому насилию, убить все святое, ее должно стошнить, она должна возненавидеть насильника — такая она вся чистая и трепетная. Об этих мерзких действиях рассказывают похабные анекдоты, слова, приспособленные для обозначения этих действий, стали грязными ругательствами... Постепенно Гавриил Романович понял умом, что все не так, что небесные создания с точеными фигурками и гривами золотистых волос созданы из той же плоти,— но то умом, а бессознательное чувство постыдности похотливых желаний так и осталось в нем навсегда. Притом природа наделила его этими желаниями со всей щедростью — и они с самого начала были направлены на других девочек, явно земных, перед которыми он не стыдился себя и своей грубой похоти — но которых, может быть подсознательно, все-таки презирал именно за то, что вот с ними можно ничего не стыдиться. Так всю жизнь Гавриил Романович прожил в проклятом раздвоении: бывал робким восторженным обожателем одних и бесстыдным любовником других. Только ли он? Мало охотников признаваться в таких вещах, но почему приросли к половым тайнам эти ругательства, эти анекдоты? И существуют ли счастливцы, для которых любовь едина, которые одновременно и восторженные обожатели и победительные любовники своих возлюбленных?

Да, жили-были когда-то подруги Тинтина и Ватина. Тинтина была вся звонкая, как натянутая струна, только чуть дотронешься: тинн-тинн... Женился на ней Женька Лукомский.

— Так что́, берете? — спросила точеная красавица из-за прилавка.

— Беру! Заверните! — объявил Гавриил Романович с такой интонацией, точно Рубикон приказал перейти.

Продавщица заворачивала брюки, а Ватина бормотала как бы про себя, но громко: — Хочешь как лучше ему... Как попадет вожжа под хвост...

Гавриил Романович не отвечал. Он поступил по-своему — этого достаточно. Не унижаться же до мелких переругиваний, да еще при свидетельнице.

Они шли по пустынной анфиладе, Ватина, привычно наваливаясь, что-то еще говорила про брюки, про вожжу под хвостом, а Гавриил Романович, глядя на редких покупателей, вспоминал рассказы об облавах в кино и магазинах. Он не прогульщик, у него свободные часы из-за сессии — но как он это докажет? Если сейчас остановят и спросят, придется идти не то в отделение, не то в дружину — туда, по рассказам, приводят праздношатающихся для *выяснения*. Глупое будет положение!

Хотя, конечно, удобно в пустом магазине. Говорят, на Западе вот так всегда — правда, не из-за облав. Идешь, продавщицы готовы к услугам — чувствуешь себя человеком. Но кому-то же ходить в рабочее время можно и у нас? Журналистам, например. Кто еще свободные люди? Ну писатели, художники. Из угрозыска оперативники. Если бы иметь какое-нибудь удостоверение, чтобы гордо предъявить любой облаве, то и хорошо бы, чтобы всегда такой порядок. Ну а без удостоверения — тревожно.

На Невском тоже было в два раза меньше народу, чем обычно. От этого и Невский казался в два раза красивее. Облавы видно не было, немногие прохожие шли спокойно. Или им всем — можно?

— Ну, мне в институт,— сказал он совсем мирно.— А ты куда? Домой? Захвати тогда сверток, чтобы мне не таскать целый день.

— Потом встретим какие надо, а деньги уже потрачены,— сказала Ватина, убирая сверток в сумку.— Я же лучше знаю, что тебе надо!

Она не может, чтобы не сказать последнее слово.

Они спустились в метро и разъехались в противоположные стороны. Но еще долго его правый бок оставался градуса на три горячее левого — Ватина нагрела своим навалом.

Экзамен Гавриил Романович сегодня принимал с трех, так что приехал он рано, но на кафедре всегда найдется, чем заняться.

В институте тоже была тишина и пустота — совсем как в Гостином. И снова Гавриил Романович подумал, как хорошо, когда мало народу. Когда-то был знаменитый фильм Бергмана «Земляничная поляна», который до сих пор поминают как чрезвычайный шедевр. Гавриил Романович не запомнил из фильма абсолютно ничего, кроме одной сцены: совершенно пустого города. Режиссер хотел представить пустой город в виде кошмара, а Гавриилу Романовичу, наоборот, заманчивым показалось в таком городе побывать. Кишащая толпа все портит, в кишащей толпе Гавриил Романович обречен толкаться каждое утро по пути на работу — и как прекрасна пустота. Появляется сознание собственной значительности, совершенно немыслимое в толпе. Моралисты утверждают, что каждый человек неповторим, уникален, но даже собственную уникальность, не говоря уж о чужой, можно почувствовать лишь на просторе, в толпе уникальность уничтожается. Или нужно подняться над толпой — на трибуну или на сцену. Таким способом можно не только сохранить, но и беспредельно раздуть свою уникальность. Поэтому те, кому открыт доступ на трибуну или на сцену, любят толпу, не могут жить без толпы...

Гавриилу Романовичу свойственно иногда вот так задумываться. Но тут встретилась Нинуша и отвлекла от пустого умствования.

Нинуша — старшая лаборантка на кафедре. Хотя лабораторий в собственном смысле на кафедре математики нет, но лаборантки имеются во главе со старшей. Зовут ее Ниной Евгеньевной, но не все, кажется, об этом и помнят: Нинуша и Нинуша.

В молодости Нинуша, по всем признакам, была тем самым небесным созданием, от которых юный Гаврик приходил в трепет и остолбенение. С годами грива золотистых волос девальвировалась в короткую серебристую прическу, безжалостные складки на шее разоблачали все ухищрения косметичек — но осталась она стройной почти как тростинка (до чего прекрасны банальные эпитеты!) и тем самым сохранила принадлежность к излюбленному Гавриилом Романовичем типу, а несомненная симпатия, которую она к нему питает, доставляла ощущение, что он берет наконец у точеных блондинок запоздалый платонический реванш.

— Гавриил Романович, это вы?! А я даже испугалась: не ваше ли привидение? У вас же сегодня до трех тайм-аут!

Неизвестно, кто заимствовал у спортивных комментаторов этот термин и занес на кафедру, но с недавнего времени всевозможные отгулы, библиотечные дни, а у Нинуши еще и донорские получили как бы общий — и иронический статус. А самая массивная и шумная кафедральная дама, известная всему ЛИАТу больше как Колонна, чем по имени-отчеству, сообщила не обинуясь: «Я теперь и мужу объявляю в известные дни: „У меня тайм-аут!“». Особенно интересно было узнать сию маленькую подробность, поскольку получающий таким образом афронт муж — не кто-нибудь, а академик Окунь.

— Нет-нет, я еще, слава богу, не привидение. Просто решил зайти в библиотеку.

— А я чувствовала! Вот вам телепатия! У меня, наоборот, тайм-аут с двух, думала, разминемся, а все-таки захватила для вас, что собиралась. Значит, чувствовала, что встречу!

У Нинуши вечно появляется особого рода литература — не запрещенная прямо, но и не издаваемая: то наукообразное сочинение по астрологии, то целый том отчетов неофициальных экспедиций за тунгусским метеоритом, то некое апокрифическое евангелие от Марии Магдалины. От Марии Магдалины Гавриил Романович уклонился, а про астрологию прочитал, и хотя не скрыл от Нинуши своего скепсиса, она продолжает подсовывать ему эти современные химеры. (Нинуша обиделась было на «химеру», пришлось ей объяснить, что *химера* — вполне симпатичное существо, составленное из частей тела льва, козы и дракона, а в переносном смысле — соединение разнородных вещей или понятий — науки и мистики в данном случае; тогда Нинуша запротестовала против «мистики»; «Хорошо,— миролюбиво согласился Гавриил Романович,— будем считать демонологию наукой», и последний вариант Нинушу вполне устроил: «Демонология и есть наука,— подтвердила она,— потому что демоны — это на самом деле инопланетяне».)

Очередное сочинение называлось «Наши космические друзья и доброжелатели». Отпечатанное на машинке и скрепленное скоросшивателем. Даже год *издания* стоял на первом листе: 1979-й, и судя по истрепанному виду, за четыре года про космических друзей и доброжелателей прочитали сотни пытливых сограждан.

— Я ни на чем не настаиваю,— умудренно улыбнулась Нинуша,— отнеситесь как к информации к размышлению. Все-таки люди собирали объективные факты.

Эта повсеместная «информация к размышлению» стала настоящим бедствием! Все равно как «взятие на вооружение» кулинарных рецептов. Или еще «дифсит» с райкинской интонацией.

Гавриил Романович поколебался — и взял «Космических доброжелателей». Примерно с таким же чувством он брал когда-то в отрочестве разного рода порнографические издания, циркулировавшие среди приятелей: и стыдно, и жутко интересно.

Он поспешно сунул «доброжелателей» в портфель и подчеркнуто заговорил о посторонием:

— Что слышно в широких лаборантских кругах: подает Колонна или не подает?

По непостижимому закону природы лаборантки всегда все знают первыми — ну все равно как звук в воде распространяется быстрее, чем в воздухе.

— Еще бы! Станет скоро докторшей! Кто же хочет ссориться с Окунем?

— А где ожидается приступ?

Кафедральный шутник Снитковский однажды воскликнул: «Какая там защита? Подобные Колонны идут на диссертацию как на приступ! На штурм! Как Суворов на Измаил!»

— В Перми. Оттуда у Окуня целевые аспиранты.

— Логично.

— А станет докторшей, вырвет кафедру у нашего Рывкина.

Такой вариант Гавриилу Романовичу до сих пор даже и не снился. Слишком уж нелепо: все знают, чего стоит Колонна, как писвлась ее диссертация. Если станет докторшей (а она станет!) — уже позор, но чтобы заведовала кафедрой!.. А Рывкин — это Рывкин. Достаточная величина. Правда, возраст критический. Ну и пятый пункт. Самому Рывкину никакой пункт уже не повредит, но преемнику — даже очень. А Колонна по всем пунктам безупречна. Впрочем, и самому Гавриилу Романовичу не так уж далеко до пенсии, дотянет как-нибудь и при Колонне. Хотя будет стыдно.

— Да уж, интересный вариант,— качнул он головой.

И не стал высказываться более определенно. Он не боялся, что Нинуша побежит и донесет Колонне,— просто он привык вообще не высказывать вслух мнений, которые кто-то может обратить против него. Лучше не проговариваться никогда, чем каждый раз решать: можно быть откровенным или нельзя? Все равно когда-нибудь ошибешься или увлечешься...

В научном зале оказалось почти пусто. Гавриил Романович взял было свежие журналы, но «Космические доброжелатели» искусительно выглядывали из портфеля. А если кто-нибудь из знакомых заглянет через плечо? Стыд и смех! Но знакомых видно не было, и Гавриил Романович решился.

Чтиво, разумеется, оказалось самым низкопробным. Слишком уж до глупости просто происходили знакомства с инопланетянами. Какой-то античный скептик сказал, что на дорогах Греции легче встретить бога, чем человека. Вот и из растрепанной машинописной книжки выходило, что инопланетяне встречаются на каждом шагу, их видят не только отдельные счастливцы, но население целых городов. Гавриил Романович не верил ни секунды в эти мифы — и не мог оторваться от чтива. Потому что как было бы интересно жить, если бы правда!..

Вдруг на лесную поляну, куда ты забрел за грибами, бесшумно опускается таинственный аппарат — огромное блестящее яйцо на циркульных ножках. Из яйца выходят существа метрового роста и вполне пристойной гуманоидной внешности, телепатически объясняют, что настроены дружелюбно, и приглашают в свой аппарат. Ты смело заходишь, располагаешься с необычайным комфортом — и почти мгновенно оказываешься на чужой планете, где процветает разумная жизнь. Вроде как слетать в Индию или на Таити, только еще несравненно интереснее — и несравненно легче. Потом так же быстро и безболезненно возвращаешься на Землю и предъявляешь объемную карту совсем незнакомого звездного неба. И вдруг мощнейшая новейшая ЭВМ, делая сто миллиардов операций в секунду, вычисляет, что именно таким должно видеться звездное небо с беты Лебедя. После этого лишь самые тупоумные догматики продолжают упорствовать в своем неверии в космических друзей. И подобных случаев десятки!

Гавриил Романович читал со странным чувством. Сам он, увы, ни на секунду не мог поверить в подобные сенсации, почему-то распространяющиеся только посредством кустарных книжек. Жители Закопане, международного курорта, две недели видят над головами неподвижно висящее летающее блюдо — и об этом дружно молчат все мировые агентства! В Болонье тарелка зависает над стадионом во время футбольного матча, и не только зависает, но и оставляет после себя на поле кучи некоего вещества — и все лаборатории мира не заняты на следующий день анализом этих куч!.. Не мог поверить — но и не воспринимал как обычную фантастику, как опус неудавшихся подражателей Лему или Стругацким. Потому что повесть — всего лишь повесть, все понимают, что перед ними заманчивый вымысел. Здесь же — реальность, психологическая реальность для той же Нинуши, для тысяч и тысяч таких же людей без мировоззрения и потому готовых поверить во что угодно. Ну точно так же, как библейские мифы — реальность для прежних

и нынешних христиан. С той разницей, что библейские мифы никогда Гавриила Романовича не привлекали, а уверовать в новую тарелочную религию так соблазнительно! Вот Нинуша и живет в этом мечтаемом мире, каждый день готовая сесть в подвернувшийся звездолет и слетать на бету Лебедя. Наверное, она согласилась бы даже в один конец. А почему нет? Ведь описаны в книжке случаи бесследных исчезновений. Если принять постулируемую доброжелательность инопланетян, то единственное объяснение в том, что исчезнувшие земляне предпочли остаться на бете Лебедя или где-нибудь еще.

А почему бы не остаться Нинуше на какой-нибудь более счастливой звезде, все равно как остаются советские или, допустим, польские туристы где-нибудь в Швеции? Что хорошего у нее здесь? Мизерное благополучие, без которого всякий человек несчастен, но обретя которое, тотчас перестает его замечать. Невозможно же каждый день повторять про себя и радоваться: «У меня однокомнатная квартирка, у меня регулярная маленькая зарплата и впереди твердая пенсия — значит, я живу прекрасно!» Не может это составить смысл жизни — а что еще есть у Нинуши? Работа самая рутинная. Когда-то в юности мечтала ли она стать старшей лаборанткой скромной кафедры? Наверняка она мечтала сделаться не то актрисой, не то летчицей, а если в науке, то новой Софьей Ковалевской. И еще мечтала о прекрасном возлюбленном... Замужем она, кажется, так и не побывала, но дочь родила, дочка недавно закончила школу — тоже вполне благополучно. И опять-таки: если бы дочка связалась с какой-нибудь бандой, стала наркоманкой или сманили бы ее в изуверскую секту, Нинуша со всей страстью пыталась бы спасти ее, вернуть к нормальной жизни — но дочка и так живет нормально, и это уже не воспринимается как непрерывная радость. Отсутствие несчастья еще не означает счастья, вот в чем дело! Вот в чем беда! Потому так утешительно Нинуше знать, что обыденная ее жизнь — только внешняя видимость, что на самом деле мир устроен таинственно и чудно — и она посвящена в сокровенные таинства. Заскорузлая официальная наука их не признает — тем лучше, ибо таким образом скромная лаборантка Нинуша становится как бы выше тупых догматиков, всех этих докторов и академиков, будто бы преуспевших в жизни, а на самом деле слепых и глухих!..

Тут Гавриилу Романовичу пришлось отвлечься, идти принимать экзамен. Группа попалась совсем незнакомая — вечерняя. Вела ее Колонна, она ведет много вечерних групп, потому что к дневникам ее стараются не подпускать. Рывкин раз сказал со вздохом, попробовав принять у ее студентов, что с легкостью завалил бы саму Колонну,— и больше к вечерникам не показывался. А сделать ничего не может, хоть он и завкафедрой: Колонна не только прошла по конкурсу в доцентши, но скоро возьмет штурмом докторскую и начнет выживать самого Рывкина, хотя все знают, что аспиранты мужа в шесть или восемь рук написали ей диссертацию. К тому же она партгрупорг, и беспартийный Рывкин все равно был бы бессилен, хоть бы и не существовало в природе тщедушного академика Окуня, питающего страсть к крупным женщинам. Гавриил Романович тоже завалил бы Колонну на первом же дополнительном вопросе, ну а ее студентов, которые ни в чем не виноваты, заваливать, конечно, не стал: рассеянно раздавал тройки, благо вечерникам все равно, они стипендии не получают, а сам думал о зачитанной папке, ждущей в портфеле. Сколько людей ее прочитали? Сколько надежд возбудили замусоленные страницы? А может быть, «Космических доброжелателей» и подобные книжки пишет некий анонимный психолог, поставивший грандиозный всемирный эксперимент? Может быть, таким образом исследуется («моделируется»!) процесс распространения мифов в технологическом обществе и зарождение новой религии? Или еще забавнее: не написаны ли «Космические доброжелатели» на пари? То есть не самые «доброжелатели», а какая-то первая книга, за которой последовали уже вполне добросовестные компиляция? Если так, то анонимный психолог — или шутник — задел очень чувствительный нерв: ведь так хочется, чтобы все это оказалось правдой! Прийти домой, а там у камина сидит *некто* — ждет, чтобы познакомиться... Но, правда, у Гавриила Романовича нет дома никакого камина.

Дома сидел Антон.

Сын, как оно теперь и полагается, перерос отца почти на две головы. Раскован в движениях и, что важнее, раскован внутренне, каким Гавриил Романович не был в его годы — да и не стал до сих пор, пожалуй. Хотя в молодежной раскованности тоже много позы: знают они прекрасно, где чего можно и чего нельзя.

Антон помаячил в дверях, сообщил, что сдал истмат на пятак, и скрылся у себя. Сдал — и прекрасно. Но уж конечно, Антон не выкладывал экзаменатору всего, что на самом деле думает про историю. Он еще когда учился в школе, объяснил небрежно, сдав экзамен по обществоведению: «Сдавали же раньше закон божий — и ничего». Так что преувеличивают старшие молодежную раскованность. Вот любовный дуализм своего родителя Антон, надо надеяться, не унаследует: проводит он время в обществе девиц той самой недоступной Гавриилу Романовичу породы — длинноногих, с точеными фигурами,— но они, теперешние, словно бы земнее. Кругом сетуют, что молодежь стала грубее, а Гавриил Романович рад, рад прежде всего за Антона: это же прекрасно, что нынешние длинноногие подруги сына не скрывают, что сделаны из той же плоти.

Антон удалился в свою комнату, а Гавриил Романович поел на кухне в одиночестве — Ватина еще не вернулась из своей библиотеки. Он жевал вчерашнюю холодную рыбу — лень было разогревать, да у него и подгорает всегда, Ватина потом ворчит, отскабливая сковородку,— и недоумевал, с чего это он сегодня за чтивом с таким снисходительным сожалением рассматривал житье Нинуши? А намного ли осмысленнее его собственное? Когда в его жизни в последний раз произошло событие? Пожалуй, когда защищался — про него-то не скажешь, что он брал штурмом вожделенную ученую степень, он-то как раз скромно защищался. Скромной цели достиг, стал вечным кандидатом — ну и что?

А те, которые достигли большего? Академик Окунь, например? Доступно ли ему другое, более полное восприятие мира? Что сначала: внешний успех и в результате полнота восприятия мира, обретение внутренней свободы, или сначала внутренняя свобода, а потом как следствие — внешний успех? Да и нужен ли внешний успех внутренне свободному человеку?

Мысль ускользала. Показалось, что удержать ее, обдумать удастся, только прикрепив сначала к бумаге. Если б не читал сегодня «Космических доброжелателей», наверное, не захотелось бы и самому оставить что-то на бумаге. Но раз пишутся всякие глупости, почему не записать и ему — нечто более значительное, во всяком случае — для себя более значительное!

Гавриил Романович вымыл тарелку, пошел в комнату, достал тетрадь в коричневом дерматиновом переплете, тетрадь форматом в канцелярскую книгу, в каких издавна имел обыкновение набрасывать будущие статьи — обязательные плановые статьи, которые он обязан изготовлять как ассистент. Тетрадь была еще почти пустая, только первые две страницы небрежно исписаны формулами.

С третьей Гавриил Романович и начал:

как связана внутренняя свобода с восприятием нами мира

Он и сам не знал, почему начал с маленькой буквы, не поставил в конце фразы нужный по интонации вопросительный знак. Может быть, он обозначил таким способом необязательность написанного: он ничего не утверждает, не в пример самоуверенному автору «доброжелателей», он лишь прикрепляет мысли к бумаге, чтобы можно было потом при желании еще раз их разглядеть со всех сторон, прикрепляет в том самом виде, который они имеют в момент рождения, голенькими, не пытаясь приодеть, украсить, представить их более отчетливыми, чем они явились ему на самом деле.

* * *

как связана внутренняя свобода с восприятием нами мира

внутренняя свобода означает свободу от случайных обстоятельств но я сам моя биография место рождения родители суть главные обстоятельства

могу я быть свободным от них

родись я свободным англичанином прожил бы совсем другую жизнь значит ли это что и взгляды были бы совсем другие

самозванство так распространенное на руси не есть ли попытка перебороть случайные обстоятельства

если чувствуешь в себе громадные силы как же должно оскорблять собственное ничтожное происхождение

в душе ты царь ты способен на царские поступки и вот ты объявляешь себя царем и тем самым пытаешься физическую природу привести в соответствие с духовной

недаром же говорят что первый лжедмитрий был личностью незаурядной

наверное в какой-то момент он перестал просто притворяться царем он внутренне переродился

это громадная разница притвориться или отождествиться

сломать случайные обстоятельства принять тот образ мыслей который свободно выбрал вот суть духовной свободы

например какой-то папуас встретившись с миклухо-маклаем мог подняться над примитивными верованиями своих сородичей впитать более широкие европейские взгляды на мир и тем самым духовно стать европейцем

правда ему безопаснее было бы не признаваться в своих новых европейских взглядах сородичам чтобы не съели

в нинушиной книжке очень мило описывается как выглядят инопланетяне это неинтересно потому что выдает лишь убожество фантазии сочинителей

но ведь когда-нибудь могут прилететь на землю настоящие инопланетяне

как же мы будем выглядеть в их глазах вот что несравненно важнее

примем постулат что они мудрые и добрые

каким жалким предстало бы перед ними человечество разделенное на враждующие племена и готовое взорвать самую свою планету из ненависти и страха

великое счастье принадлежать по рождению к разумной цивилизации и как грустно родиться человеком

что может быть позорнее чем принадлежать к жалкому племени уже полуразумному

но направившему свой зачаточный разум на вражду ненависть уничтожение природы одурманивающему свой и без того слабый разум наркотиками

да они должны были бы нас безмерно презирать если бы на самом деле прилетели и увидели

жалеть тоже но больше презирать

разве смогли бы они заметить что не все существа так жалки что не все затемнены страхом и враждой что всегда было и есть немало таких кто старается рассеять ненависть

ведь и муравьи быть может отличаются друг от друга но мы не различаем муравьиные индивидуальности и с презрительным интересом наблюдаем иногда войны между красными и черными муравьями

правда муравьи воюют горвздо реже чем люди

но если бы мы каким-то образом узнали что некоторые муравьи умственно и нравственно выше общего уровня что они за братство всех муравьев независимо от размера и цвета мы бы удивились больше чем сейчас удивляемся муравьиным войнам

точно так же достойно удивления и восхищения что появляются во все века люди возвышающиеся над общей дикостью

и если бы разумные пришельцы разглядели таких людей они решили бы что у человеческой породы есть кое-какие шансы на достойное будущее

легко иметь царственную осанку и царственную властность родившись царем

легко быть внутренне свободным родившись англичанином

куда труднее обрести то и другое родившись рабом где-нибудь в глубинах китая

самое важное точка отсчета система координат это элементарная математическая истина

у всех народов разные точки отсчета вот в чем беда

если точка отсчета благо своего народа это опасно потому что неминуемы противоречии с другими народами которые считают от своей точки

даже когда провозглашается целью благо всего человечества это тоже опасно потому что слишком подчиненная роль отводится остальной природе

пока мы ограничены нашей землей высшим благом высшей целью должно быть процветание всей земли равноправие всех существ всех растений всех животных

мы сейчас с иронией говорим о патриотизме своей улицы своей деревни своей области но на взгляд разумного существа обозревающего нашу землю со стороны патриотическое предпочтение своей стране своему народу так же ограниченно и смешно как предпочтение своему двору или своей улице

благо может быть только общим

всякое предпочтение ведет к разделению недоверию и тем смертельно опасно

но ведь можно уже сейчас землянину смотреть на себя и на всех сограждан взглядом разумного пришельца и тем самым сделатьси духовно равным такому пришельцу

в мире духа все равны и имеет значение только степень нравственного развития а не биологический вид не физическая сила объем памяти или способность к устному счету

родившись в жалком человеческом племени можно чувствовать себя духовно равным галактическим пришельцам и тем самым стать гражданином галактики гражданином вселенной

это то самое самозванство в высоком смысле когда родившийся в хижине чувствует себя равным царям

ни секунды не верю я мифам о космических доброжелателях бродящих инкогнито по земным дорогам но тем больше чести самому принять галактическую точку отсчета подняться над человеческими предрассудками

чтобы если прилетят к нам когда-нибудь истинно разумные существа они нашли здесь пусть немногих но равноправных братьев по разуму пусть отстающих в технике но признающих те же нравственные ценности

все дело в том чтобы принять эти нравственные ценности самому потому что если начать при них поспешно усваивать высокую мораль и перенимать их точку отсчета то в таком поспешном перерождении появится что-то сомнительное предательское

нет-нет только самим тащить себя из болота дикости за спутанные грязные волосы

ну и что изменится

не выйду же я на площадь и не провозглашу себя гражданином галактики

а то ведь сразу съедят родные папуасы

не выйду и не провозглашу но что-то изменится

продолжится та же жизнь но в новой системе координат

такая-то малость

но всякий математик знает что в другой системе координат пространство искривляется и параллельные линии пересекаются

всего лишь система координат

всего лишь точка отсчета

* * *

Гавриил Романович сидел перед раскрытой конторской книгой. Что за странный приступ? Он — это он: сидит в своей комнате, не прибавилось ему ни способностей, ни могущества. Но что написано — написано. И что-то изменилось в нем. Если считать, что что-то меняется в человеке, когда он узнает, что не Солнце вращается вокруг Земли, а, наоборот, Земля вокруг Солнца, да еще в ряду других планет. Меняется что-то? Гавриил Романович всегда считал, что меняется, хотя не только ест и пьет, но и сеет и пашет человек по-прежнему. Что-то меняется...

Он перелистал тетрадь назад, стал перечитывать. Все логично. Имеет же он право думать по-своему. Философски — все правильно, вот только стоило ли примешивать политику? *«легко быть внутренне свободным родившись англичанином»* — нужно ли было писать так прямо? Вот дальше — удачнее: *родившись рабом где-нибудь в глубинах китая»*. Он вспомнил, что хотел было написать: *«в глубинах китая или россии»*,— но рука сама споткнулась.

Гавриил Романович даже подумал, не зачеркнуть ли про *свободного англичанина:* ведь можно истолковать эту фразу как изменническое желание отречься от Родины. Написано, конечно, для себя, но бывают случаи: пишешь для себя, а читают другие. Подумал — и устыдился: замахнулся стать гражданином Галактики или даже целой Вселенной — и боится записать свободную мысль в тайную тетрадку.

Конечно, внутренняя свобода не предполагает выкрикивать свои новые взгляды на площади — но если же бояться быть искренним даже наедине с листом чистой бумаги, то свобода окажется слишком уж внутренней.

Он будет писать в эту дерматиновую тетрадь все. Да-да, все, что подумает. Любую свою свободную мысль!

Кажется, Гавриил Романович себя убедил.

Щелкнул замок — пришла Ватина.

— Ну как вы тут сами? Поел? А Антоша? Вот ты не слушаешь, а мне Тамара Федоровна наша сказала, что видела на Загородном твой размер. Пойти бы завтра, а ты деньги уже истратил. Надо было тебя не слушать! Я же всегда лучше знаю, что тебе нужно!

Чего только ни приходится выслушивать гражданину Галактики!

— Поели мы оба,— отрапортовал он по первому вопросу — чтобы избежать брючной темы.— Очень вкусная рыба.

— Какая там вкусная! Напрасно подлизываешься. Минтай перемороженный. Его бы хоть с молодой картошкой.

— Давай принесу завтра.

— Откуда? С рынка? Принципиально я не буду на рынке по два рубля платить!

— Можно иногда себе позволить.

— Миллионер нашелся! Да будь я и вправду миллионершей, не стала бы у этих куркулей покупать! Противно. Отъели морды эти грузины. Торгуют, вместо того чтоб работать. Вкалывать, как наши бабы!

— Картошку эстонцы привозят, а не грузины.

— Тем более! Уж те-то все точно куркули! Грузины хоть спекулянты все, но веселые, каждый артист. А эстонцы — куркули! Ненавидят нас. Тамара Федоровна ездит отдыхать в Пярну, рассказывает.

— Зачем же ездит — если ненавидят?

— Ну как зачем? Нравится, значит.

Гавриил Романович знал, что надо остановиться. Не пытаться взывать к элементарной логике: «Как же может нравиться, если все вокруг ненавидят?»

Но спор мгновенно остановить невозможно — как и транспорт. Поэтому он лишь вильнул, меняя направление, чтобы избежать столкновения в лоб:

— А почему, собственно, они должны нас любить?

— Как — почему? Все там куркули, живут в десять раз лучше нас, а еще недовольны! Русский дурак последнюю рубашку отдает, а эти националы за наш счет богатеют! И никакой благодарности!

Да, свернул он — и опять не туда: с Ватиной не поговоришь о пагубности всякого патриотизма.

— Антон на пятерку сдал.

— А ты молчишь! Надо ему орехи с медом покупать для работы мозга! Особенно грецкие полезны, потому что их ядра по форме в точности как мозг: извилины и два полушария.

Орехи продаются только на рынке. Да и мед тоже.

— Что-то опять поясница ноет,— соврал Гавриил Романович.— Потрешь на ночь?

Ватина очень хорошо трет поясницу. Так что не потому он придумал про поясницу, чтобы еще раз сменить тему. Он действительно очень любит, когда она его трет.

3

К себе в ЛИАТ Гавриил Романович ездит на метро — с пересадкой на «Площади Восстания». Метро — транспорт надежный: не приходится ждать неизвестно сколько на остановке, как ждут трамваев и автобусов — а если мороз? а если дождь? — не приходится гадать, влезешь или не влезешь в уже переполненный *салон*. (Когда-то в Петербурге блистали салоны графини Лаваль, баронессы Фикельмон, а теперь вот передвигаются по городу прерывистой чередой *салоны* на колесах, да еще зазывают *салоны* приема вещей на комиссию — вот времена, вот нравы!)

И все-таки метро по утрам — тоже не самое приятное место. Медленно вдавливаешься на станцию, тесно стоишь на эскалаторе — при этом невольно вспоминаются слухи, как вот в такое же время провалился перегруженный эскалатор и перемолол чуть не сотню человек (в газетах, разумеется, ни строчки — вот если бы кого-то прищемило дверью в Токио, мы бы узнали в тот же день!); потом уминаешься в вагоне, и не дай бог, прижмет тебя к какому-нибудь гастритику — так всю дорогу и продышит в тебя своим желудочным запахом... Но все равно это не автобус, это благополучная езда в метро.

Но наконец и Гавриил Романович попал в происшествие, хотя вообще-то с ним никогда ничего не случается. Только что поезд отъехал от «Василеостровской» — и вдруг затормозил. По утрам поезда часто притормаживают на полминуты, потому что идут они в затылок друг другу, и стоит переднему задержаться на станции, как стопорится вся вереница. Гавриил Романович это предусматривает и потому всегда выходит с пятиминутным запасом.

Но на этот раз прошла и минута, и две — а поезд не двигался. Почти все оказавшиеся в вагоне пассажиры стояли и сидели в неподвижной покорности, но несколько человек стали беспокойно оглядываться — по-видимому, у них не было пяти минут в запасе.

Еще через пару минут аварийный запас иссяк и у Гавриила Романовича, он тоже беспокойно оглянулся — но и только. Он сегодня с девяти принимает экзамен, явится группа, а его нет — неприлично. Да еще при нынешних андроповских строгостях, когда все начальство только и делает, что *неустанно борется* за дисциплину, могут возникнуть неприятности из-за пятиминутного опоздания, и попробуй докажи, что остановилось метро,— кто поверит? Вот сколько тревожных соображений закрутилось в голове Гавриила Романовича, заставило его беспокойно оглянуться.

Тишина в вагоне. Необычная для метро тишина вместо непрерывного ровного грохота несущегося по трубе состава. Вагон молчал. Ведь наверняка здесь все опаздывали — и все молчали. Ни возгласов, ни вопросов, ни возмущений. Конечно, восклицай — не восклицай, поезд не сдвинешь — и все-таки странно. Даже жутковато. Но ведь и сам Гавриил Романович молчал — он опаздывает, он волнуется, ему интересно, что случилось в безотказном надежном метро, он недоумевает по поводу молчания попутчиков — но все это молча. И все остальные, конечно же, волнуются, возмущаются, интересуются, но — так же молча. Гавриил Романович впервые осознал, что и в автобусах всегда люди молчат, и в трамваях. «Вы на следующей выходите?.. Передайте билет, пожалуйста», вот и все. Только дети изредка заговаривают с посторонними, а если взрослый — значит, пьяный. Или уж скандал: «Куда прешь?! Разуй глаза! — Не нравится, езди на такси!» Или молчание, или сразу скандал — но нормально незнакомые люди друг с другом не разговаривают.

Гавриил Романович с трудом вытащил прижатую руку, посмотрел на часы. Он опаздывает уже на десять минут! Объявили бы что-нибудь — ведь есть же трансляция. Машинист-то знает, в чем дело! Но он так же молчалив, как и пассажиры.

Сделалось уже немного душно — ведь вентиляция в вагонах метро самая примитивная: от движения поезда.

Пятнадцать минут. Молчание.

— А наверху уже атомная война! — вдруг громко объявил молодой голос.

Кто-то коротко засмеялся — и снова молчание. Никто и не поддержал шутки, и не возразил всерьез, и не возмутился кощунством.

Почему-то Гавриил Романович был уверен, что про атомную войну — только шутка. И другие, похоже, тоже. Хотя если бы и вправду война, все произошло бы точно так же: остановились бы поезда метро и маялись бы в неизвестности те счастливцы — или, наоборот, несчастные? — кого атомный взрыв застал под землей.

А трансляция молчала. Даже мысли не пришло машинисту произнести несколько слов: «Не беспокойтесь, товарищи, впереди сломался поезд, ждем, пока отбуксируют». Нет, стой, зажатый толпой, и незачем тебе что-то объяснять! Привезут — так привезут, скажи спасибо, не привезут — значит, не привезут...

На двадцать третьей минуте поезд тронулся — молча, без малейших объяснений. Но проехал, наверное, меньше километра и встал снова.

Гавриил Романович стоял прижатый к толстому человеку, толстому и высокому, так что приходилось созерцать главным образом подбородок и голубой воротник рубашки. Если б не долгое стояние, Гавриил Романович, проехав три остановки почти что в невольных объятиях, так бы и не заметил попутчика, как не замечает каждое утро тысячи мелькающих лиц. Но постепенно при долгом стоянии круглое женоподобное лицо притиснутого к нему визави начало выделяться из безликой массы, словно бы медленно всплывать из омута. Гавриил Романович поднял взгляд и заметил, что в глазах нечаянного попутчика тоже появляется какое-то выражение, какой-то смутный интерес. Еще немного, и кто-нибудь из них пустил бы наконец на пробу незначащую фразу: «Да, опаздываем. И ведь никогда такого не случалось!»

Но снова загремел — или так показалось в тишине? — тот же молодой голос:

— Вечером по Би-би-си узнаем, что случилось!

После чего тишина стала еще безнадежнее: на такие темы уж тем более невозможно заговорить со случайным попутчиком. Но и о чем-нибудь нейтральном, делая вид, что не слышал молодого голоса, заговорить теперь сделалось невозможно: умолчание о Би-би-си окажется еще красноречивее, чем разговор о нем.

Поезд все-таки снова двинулся и на этот раз благополучно доехал до «Гостиного двора». Раздвинулись станционные глухие двери, и открылся переполненный перрон. Такой переполненный, что сразу вспомнился Московский вокзал в июле сорок первого! (Тогда их семья чуть не уехала в эвакуацию — но осталась.) Над головами тревожной толпы — сегодняшней — слышался особенный металлический голос:

«Посадки в прибывший поезд нет! Освободите вагоны! Товарищи пассажиры, поднимайтесь наверх и следуйте до „Ломоносовской" наземным транспортом!»

Причин по-прежнему не объясняли, но хоть удостоверили, что можно подниматься наверх, что действует наземный транспорт. Не война! Гавриил Романович и не думал всерьез, что война, но все-таки облегчением было услышать из официальных металлических уст, что жизнь наверху продолжается.

Люди ринулись из вагона — и только в этом взрывном движении проявилось наконец, как все нервничали. Ринулись в сдавленную толпу на перроне, уплотняя ее еще больше.

Все ринулись — а Гавриил Романович почему-то задержался. Может быть, потому, что ему наземный транспорт не нужен: достаточно сделать крюк и пересесть на нужную линию у «Технологического». Если не остановились и другие линии. Или почему-то не поверил до конца металлическому голосу: если дополз поезд сюда, должен ползти и дальше — не останутся же следующие в затылок стоять в тоннеле... Четко он это не сформулировал для себя — но задержался. И вдруг в вагонных динамиках, так долго молчавших, включился поставленный дикторский голос из поездного магнитофона:

« ...ри закрываются. Следующая станция — „Маяковская"».

Кто-то попытался рвануться назад в вагон — но поздно: двери действительно захлопнулись. Поезд тронулся. В вагоне — Гавриил Романович не поленился сосчитать — осталось шесть человек. Таких же сообразительных, как он сам? Сколько еще народу могло поехать дальше поездом, а не *наземным транспортом* — и гораздо меньше опоздать. Но Гавриилу Романовичу не было жалко тех, кто поверил металлическому голосу — и бросился вон из поезда. Не надо было верить! Вон он же — не поверил. За что и вознагражден.

Среди оставшихся выделялся парень из нынешних: в джинсах, кроссовках, в спутанных волосах. Когда-то Гавриилу Романовичу не нравились и джинсы — как городская, чуть ли не парадная одежда. Но из джинсов не вылазит и Антон, потому Гавриил Романович привык и смирился. Но патлы продолжают его раздражать по-прежнему. Антон, слава богу, пострижен почти прилично. В патлах Гавриилу Романовичу чудится *вызов*. Он и сам очень многое не принимает в окружающей жизни — но не так. Демонстративное неприличие манер, причесок его отвращает. Он и сам понимает, и вслух много раз говорил, как это глупо — судить по длине волос и ширине брюк, но, не признаваясь никому, про себя судит. И осуждает.

Гавриил Романович сразу уверился, что голос этого патлатого парня и был тем единственным, который прозвучал в вагонной тишине. Очень уместный голос. И смелый. Но и уважая парня за голос, Гавриил Романович все-таки продолжал испытывать к нему отчужденность — за уродливый этот внешний *вызов*.

Парень усмехнулся и молча широким жестом показал на сплошь пустые диваны — мол, хоть ложись. Гавриил Романович не хотел выказать своей неприязни и потому старательно усмехнулся в ответ, отрицательно покачал головой и указал подбородком на двери — дескать, выходить. Тогда парень улегся сам, даже ноги задрал выше головы — и тут же вскочил. Но это кривляние еще больше, на взгляд Гавриила Романовича, обесценило смелые и своевременные слова, прозвучавшие над немой толпой. Потому что делать что-нибудь, вот даже на пустом диване сидеть, стоит, если сидеть всерьез — ехать, отдыхать, проводить время. А всяких символических, ритуальных действий он всегда избегает. Это у папуасов сплошные ритуалы, сплошные табу — но, впрочем, он же пришел к мысли, что мы недалеко ушли от папуасов...

Перегон промелькнул, на «Маяковской» ждала такая же толпа, квк в «Гостином», Гавриил Романович едва продрался сквозь нее на перрон: секунду бы замешкался — и засосало бы назад в вагонный вакуум.

Явился он на кафедру без двадцати пяти десять. Встретила его Нинуша.

— Ну, слава богу! Я уж домой звоню, ваш Антоша говорит, вышел вовремя, как всегда. Что, думаю, случилось?! Даже подумать страшно: вышел и не дошел! Ну, слава богу. Группа еще ждет, я им раздала учебники, у кого не было, они и рады подготовиться лишний час. Ведь всегда не хватает одного часа перед экзаменом! А Иосиф Абрамович не знает, я пока не докладывала.— Это Рывкин — Иосиф Абрамович.— Вы распишитесь, будто в девять,— и никаких!

Все в руках человеческих! Журналом прихода-ухода владеет Нинуша как старшая лаборантка — и никаких разговоров об опоздании, никаких объяснительных заведующему или декану! Андронов, очередной земной бог, как и все наши правители, наводит сверху свои строгости, но здесь внизу маленькая мышка Нинуша подсовывает журнал прихода — и божественные громы не гремят. Да, все в руках человеческих.

Расписавшись, он приободрился и хотел было спросить, чего ж Нинуша беспокоилась, могла бы связаться с ним телепатически и убедиться, что он жив-здоров. Но не стал смущать свою благодетельницу.

— Странный такой случай,— сообщил он растерянно,— метро застопорилось.

Нинуша, похоже, не очень верила. В инопланетян она верит, в экстрасенсов и астрологов — тем более, а вот в сломавшееся метро ей поверить труднее.

Перед группой он извинился и потом невольно добавлял каждому экзаменующемуся по полбалла — за ожидание.

Он уже заканчивал, когда заглянул Славка Снитковский, Святослав Борисович — при студентах принято обращаться друг к другу чопорно.

— Вы скоро заканчиваете, Гавриил Романович? У меня к вам будет разговор.

Едва Гавриил Романович вышел из аудитории, Славка увлек его в другой конец коридора подальше от преподавательской — предосторожность совершенно излишняя, потому что говорил Славка как всегда так громко, что его слышно, наверное, было и на другом этаже.

— Ты слыхал?! Колонна пошла на штурм! Ты думаешь, она успокоится? Она нацелилась на кресло Осипа!

Славка видит особый шик в том, чтобы называть всех Иосифов — Осипами. «Осип Сталин», например.

Ну вот, новость с обычным запаздыванием дошла и до преподавательской. Гавриил Романович выслушивал снисходительно: Славка когда не острит, тогда возмущается. Совершенно справедливо возмущается — да что толку?

— Слышишь, Гаврила, если она съест Осипа, я уйду. На другой день уйду! Демонстративно!

Никуда он не уйдет: на кафедрах математики вакансий практически не бывает.

— И ты, Гаврила! Давай уйдем вместе! Вот будет резонанс! Весь город заговорит! Групповое дело!

Какой резонанс? Кто заговорит? Однажды Гавриил Романович тоже поднатужился, сострил: назвал Славку *гиперболоидом*. Почему-то прозвище не прижилось, хотя сказано точно: он все гиперболизирует. *Групповое дело*, видите ли...

— Представляешь, и по Би-би-си передадут: «Коллективно... в знак протеста...»

Что-то часто сегодня при Гаврииле Романовиче упоминают Би-би-си. Если бы Славка говорил тихо, можно было бы ответить: «Чтобы передали по Би-би-си, надо протестовать против ссылки Сахарова, а не против назначения Колонны». Но когда его крики слышит полкафедры — не стоит: ведь могут прислушаться и расслышать ответ.

— Я не представляю, что она защитится.

— Ну да? Аспиранты Окуня отлично написали!

— Аспиранты такие умные, что не сумеют ей объяснить свои решения. Все равно как дикарю не объяснить теорию относительности. Она не сумеет пересказать собственную диссертацию ученому совету.

Славка слегка посмеялся и тут же припомнил ревниво:

— Я уже давно сказал, что она диплом писала по кафедре парткома.

Сказал, хорошо сказал. Потом это даже вставили в капустник: без имени Колонны, конечно, и переправив на «кафедру профкома».

«Для таких надо особую партийную математику организовать при Институте Марксизма-Ленинизма!» — чуть было не подхватил Гавриил Романович, но испугался на этот раз не столько даже чужих ушей, сколько собственных мыслей: «партийная математика» — это похоже на «арийскую физику», но ведь нельзя же сравнивать! Конечно, у нас очень много своих пороков, но ведь нельзя же все-таки сравнивать!

— Как будто она одна по такой кафедре. Даже несправедливо, что про нее одну столько разговоров,— сказал он серьезно, стараясь заглушить собственные опасные мысли, как глушат нежелательное радио.

— Не одна — это точно. И твой друг Зазроев по той же кафедре! Я вообще удивляюсь, как ты можешь дружить с таким! Если бы все коллективно бойкотировали, не было бы таких в институте!

Славка снова перешел от юмора к гиперболам.

А с Зазроевым они вовсе не дружат. Тот, правда, набивается в друзья, но Гавриил Романович держится вежливо — и только. Не хамить же, если лично ему Зазроев ничего плохого не сделал. Однажды Зазроев заявился к ним домой — как бы по делу, но с огромным букетом для Ватины — с белыми лилиями. А она, когда тот уходил, сказала: «Вы уж извините, но у меня от пыльцы астма. Так что подарите кому-нибудь!» И вернула букет. И Зазроев к ним больше не приходил. А Ватина сказала: «Не верю таким, которые ручки целуют. И вообще понаехало к нам черных, когда своим, ленинградцам, жить негде. Чего он у себя не живет, скажи пожалуйста?» Гавриилу Романовичу было неприятно это слышать, хотя Зазроеа карьерист — это правда: два года как приехал, и уже в парткоме, уже доцент, уже квартира. Хотя все знают, что в науке нуль. Но что-то, значит, есть и в Зазроеве. Может быть, карьеризм — вопрос не только морали, но и темперамента? Особенно у провинциалов вроде Зазроева, которым нужно завоевать столицу? Они и завоевывают так же страстно, как другие завоевывают женщин. Кстати, в Зазроеве обе страсти мирно сочетаются. А если Гавриил Романович не карьерист — не следствие ли это прохладной разжиженной крови?

— Твой Сóслан, если надо, убьет кого-нибудь! А ты как друг пойдешь в свидетели! — сказал гиперболоид Славка.— Они же все еще дикие — чеченцы!

— Он из Дагестана.

— Один черт!

С Ватиной они бы поняли друг друга.

По дороге домой Гавриил Романович вспоминал свои импульсивные писания в дерматиновой тетради и думал, что разумные пришельцы, пожалуй, никогда не поймут, сколько им ни толкуй, почему здесь, на Земле, глупая баба пробивается сначала в начальство партийное, оттуда — в служебное, а умные люди ничего не могут поделать и вынуждены служить под ее начальством. Познакомились бы они с Колонной — что бы потом сказали Гавриилу Романовичу? Как бы он потом оправдывался за всех землян! Он не виноват, что здесь родился. Если ему и свойственны заблуждения, то его собственные, а за коллективные он не отвечает!

* * *

необходимая человеческая потребность потребность в информации

информация как бы хлеб разума

когда разумный пришелец увидит что у нас на земле существуют ограничения на информацию он может сделать только один вывод

те кого ограничивают кому не доверяют полной информации существа менее разумные

хотя на вид существа более информированные ничем не отличаются от существ менее информированных

это внешнее сходство должно сильно затруднить отбор тех кто достоин полной информации

но пришельцы должны будут констатировать что земляне умеют изощренно сортировать себе подобных по неким малозаметным признакам

и что информационное снабжение делится на пайки точно так же как крабы или лососина

но не завидую я крабам и лососине не завидую спецбольницам а спецснабжению информацией завидую

потому что чувствую себя не глупее тех кто информирован полностью

я не дебил но снабжаюсь информацией по дебильному пайку

разумным пришельцам трудно будет понять разделение землян на враждебные лагеря

но если они примут разделение как данность они легко поймут что информация это оружие

поэтому идет снабжение информацией через головы враждебных правительств

но что же получается мое правительство лишает меня информации а чужое снабжает кто мне враг а кто друг

если бы мое правительство лишало меня хлеба а чужое снабжало какое из них я числил бы в друзьях

и когда приходится узнавать новости по би-би-си это то же самое как если бы приходили английские пароходы и раздавали хлеб тем кто лишен хлеба дома

правительство отказывая мне в информации автоматически делает меня врагом

хотя у би-би-си тоже не вся информация правдивая

когда би-би-си передавала что вьетнамцы нападают на китай я не верил

как это маленький вьетнам нападает на громадный китай

полной правды нигде нет полной информацией не снабжает никто

тем более в газете правда нет полной правды

и все-таки у би-би-си больше правды чем в правде

* * *

Черт знает до чего может довести логика. Недаром Ватина инстинктивно ее избегает. Гавриил Романович не считвл себя врагом правительства (он уж не написал, удержался, что на самом деле правительство — фикция, а распоряжается партия, ЦК, Политбюро), да и не враждовал он с правительством никогда на самом деле, но вот беспощадная логика завела: лишение информации равносильно лишению хлеба — и так далее. Куда денешься от логики? Хотя все-таки, в конце концов, *здесь* — социализм, а *там* — капитализм, а в историческом плане, при всех извращениях, социализм более прогрессивен. Ведь так? Так...

Очень удачно, что все-таки нашелся пример необъективности и Би-би-си тоже. И для собственной внутренней опоры очень был нужен этот пример, и для неких *чужих глаз* — не могут сюда заглянуть чужие глаза, и все-таки не удавалось избавиться вовсе от призрака, заглядывающего из-за спины...

Он так погрузился в свои записки, что поздно услышал, как в комнату вошел Антон. Что делать — не захлопывать же тетрадь, уподобляясь школьнику, который вместо учебника читает роман, да еще из тех, которые ему «рано читать».

Антон не предполагал, естественно, что его отец занят столь странным делом. Сын привык интересоваться, что за новую статью пишет его ближайший предок,— быть может, до сих пор надеется, что отец решит какую-нибудь принципиальную задачу, скажет на старости лет *свое слово*. Сам Гавриил Романович уже давно не надеется, а сын все-таки не разуверился в нем окончательно, что, вообще говоря, трогательно. Антон хоть и *примат*, но все-таки достаточно понимает в чистой математике, чтобы оценить его писания.

И вот сын вошел, и прятать или захлопывать тетрадку было поздно. Подошел, непринужденно заглянул сзади через плечо.

Антон читал, а Гавриил Романович сжался и по-детски покрвснел, словно застигнутый за неприличным занятием.

Пауза — и прозвучало сзади:

— Ну ты даешь! Чего это ты — решил завести собственную «Гаврилиаду»?

Ироничен, ничего не скажешь. Как и все нынешние.

— А ты так не думаешь? Про всё про это? Что написано?

От смущения Гавриил Романович почти выкрикивал короткие фразы со смешным мальчишеским вызовом.

— Почему не думаю? Все так думают. А писать зачем?

Действительно, зачем? Гавриил Романович и не попытался доказывать, что от его занятия может выйти какая-нибудь польза.

— Да просто так. Написал вот, и легче. Только для себя. Привел мысли в порядок. Ну, ты вот нечаянно увидел.

— Я не Павлик Морозов, можешь не беспокоиться. А то я уж подумал, ты хочешь сделать какое-нибудь заявление. Какому-нибудь агентству. Как диссиденты делают. Где-то находят агентства.

— А ты бы хотел, чтобы я делал заявление?

Гавриил Романович ни секунды не собирался делать какое-нибудь заявление. Просто интересно было понять сына — как отцу.

— Упаси бог! Я еще рассчитываю на аспирантуру. И вообще глупо. Хорошо Ростроповичу — он мировая знаменитость. Солженицына тоже посадить не решились. Ну, выслали. У нас все бы побежали заявления делать, если бы за это в Штаты высылали. Но простых граждан у нас сразу волокут в кутузку. Очень не хочется, чтобы любимый папа сидел, как Буковский или Марченко. Тамошних Корваланов на всех не хватит, чтобы меняться.

Хорошо поговорили.

Тем более хорошо, что никогда еще они так с Антоном не разговаривали. Подразумевалось само собой, что всякий приличный человек думает примерно так, как Сахаров с Солженицыным. Кто такой приличный человек? Тот же Славка Снитковский, так что некоторая шумность, легкость не мешают быть приличным человеком. А вот Колонна не думает, как Сахаров с Солженицыным, и Зазроев не думает. Так что не вся интеллигенция думает, как Сахаров с Солженицыным. Или точнее: не всякий, кто заполучил высшее образование,— интеллигент. В общем, тут легко запутаться, но те приличные люди — они сразу узнают друг друга.

С Антоном же Гавриил Романович не говорил на такие темы, потому что чувствовал себя а чем-то виноватым. Как ни странно. Никогда и ни перед кем не чувствовал себя Гавриил Романович виноватым в том, что живет в таком нелепом государстве при отсутствии всяких свобод. Что он может сделать? Ничего же от него не зависит. Но Антон — Антон мог бы сказать жестоко: «Это вы, ваше поколение устроило такое. Ваши отцы — и вы!» Гавриил Романоаич ответил бы, что он не устраивал, и его отец, дедушка Антона,— тоже. Ни отец, ни дедушка Антона не устраивали, а их поколения — устроили! Но из кого состоит поколение?

И вот теперь, когда поговорили и когда Антон оправдал отца, сделалось легче на душе. Ну высказался бы Гавриил Романович, как Сахаров с Солженицыным,— ну не так отчетливо, конечно, но в том же общем смысле — высказался бы и оказался в лагерях без всякой пользы. Зачем?

Антон оправдал отца — и сам собирается жить как отец: говорить что полагается — там, где полагается! — поступить в аспирантуру. Может быть, превзойдет отца, станет доктором. Хорошо это или плохо? Хорошо, конечно: не дай бог, если бы Антону судьбу того же Буковского или Марченко. У Буковского хоть хэппи энд — перестрадал, но вырвался, теперь ему небось бывшие его охранники завидуют. А у других? И если бы какой-то толк, если бы знать, что потерпеть еще лет пять, побороться — и наступит свобода. Но это же монолит! Его и за сто лет не расколоть никаким Сахарову с Солженицыным. Как берлинская бетонная стена — несокрушимый бетон! Под ней еще три поколения немцев вырастет!.. Да, хорошо, что Антон благоразумный в отца. И все-таки, если бы Антон порывался подписывать, протестовать — Гавриил Романович был бы в ужасе, но в священном ужасе...

— Так что давай прячь свою «Гаврилиаду» подальше, если уж невмоготу,— покровительственно посоветовал Антон и ушел.

Вот и слово найдено: «Гаврилиада». Не стал Гавриил Романович надписывать заголовок в своей дерматиновой тетради, но про себя знал: слово найдено!

Он сидел, улыбаясь. Да, сын понимает его. Не так уж часто такое случается в наше время. Оба они не могут совершить невозможное и не обольщаются на собственный счет. Но понимают друг друга. В главном.

Но до конца Антон все-таки не понял Гавриила Романовича. Может быть, потому, что прочитал только последнюю страницу — и увидел в написанном только робкое внутреннее диссидентство. Писания в духе Сахарова с Солженицыным — только пожиже. Но ведь это — только верхний слой! Сахаров с Солженицыным остаются внутри человечества, а он решил взглянуть на землян беспристрастным взглядом просвещенного пришельца, как Миклухо-Маклай на папуасов. Решил сам себя считать гражданином Галактики — это не то, что заниматься социальным реформаторством. Быть может, социальное реформаторство гораздо полезнее, а уж героичнее при нашей советской действительности — наверняка. Но это — другое. А Гавриил Романович Гнездилов, родившийся на захолустной Земле, не хочет больше разделять предрассудки своих однопланетян (такая же ограниченная община, как односельчане,— *однопланетяне*!), хочет быть внутренне свободным, стать гражданином Вселенной.

Этого Антон не понял. Может быть, и к лучшему, что не понял. Потому что трудно это объяснить. Люди мыслят стереотипами. Диссидент — уже всем понятный стереотип. А какой-то гражданин Вселенной? Попытаешься объяснить, того и гляди сочтут сумасшедшим, вообразившим себя не то марсианином, не то пришельцем с Сириуса. Опять-таки, всем понятный стереотип: в одной палате держат очередного Наполеона, в другой — марсианина. Попробуй втолкуй, что ничего Гавриил Романович не вообразил, не утверждает он, что вселился в него дух марсианина,— он только (всего лишь?) занял новую нравственную позицию, которая годится в любой точке Вселенной. Да-да, должен существовать универсальный нравственный закон, действующий во асей Вселенной, как действуют в любой ее точке универсальные физические законы.

Гавриил Романович не будет пытаться никому это втолковывать. Галантный *галакт* (вот и еще одно слово нашлось нечаянно: гражданин Галактики — галакт) не станет высказывать в глаза каждому встречному свое презрение к земным провинциальным предрассудкам — но при нем остается независимый взгляд.

Вот он и нашел опору для самоуважения. Гавриил Романович будет прятать свою «Гаврилиаду» не потому, что боится внезапного обыска, не потому, что постоянно мерещится ему строгий призрак, заглядывающий в рукопись из-за плеча,— нет, он боится непонимания и только потому собирается скрывать свои мысли. Слишком это интимное переживание — причислить себя к галактам, гражданам Вселенной.

4

Со своими, как теперь говорят, *данными* Антон мог бы заниматься каким-нибудь спортом для акселератов — баскетболом, плаваньем,— но не занимался. Спорт никогда его не интересовал. А Гавриил Романович как раз очень хотел в свое время, но подводили те самые *данные*. Существуют, конечно, виды и для среднего роста, но нужна реакция, нужна координация, а у юного Гаврика всегда была неизбежная тройка по физкультуре.

Наверное, это замечательно: жить спортивным красавцем вроде Чеснокова — когда-то капитана сборной по волейболу, а потом тренера ЦСКА. Все было бы тогда у Гавриила Романовича другое: другие поступки, другие мысли, другая семья. Да чего говорить — это уже был бы не он.

Теперь Гавриил Романович собирался в отпуск и как бы готовился примерить на время

спортивный облик. У него имеется тренировочный костюм — синий с белым двойным лампасом,— обычно прозябающий в шкафу, но извлекаемый на свет как раз ради отпуска. Кроссовок, таких, как у любого молодого человека на улице, таких, как у собственных студентов и собственного сына,— кроссовок у него нет. Это один из загадок отечественной природы: в магазинах нет, но все носят. Кроссовок нет, но кеды имеются.

А еще с ним должна отправиться собака! Гавриил Романович с детства мечтал, но так за всю жизнь и не решился завести свою собаку, поскольку все в семье заняты целый день и некому было бы с собакой гулять — хотя в других таких же занятых семьях заводят — и ничего. Завести не решился, хотя очень живо рисовалось, как это замечательно: идти по улице, а рядом идет твоя собака!

И вот на месяц ему отдавали собаку Снитковских, которые все разъехались по путевкам и экспедициям, так что собаку не с кем было оставить. Гавриил Романович со щенячества знал их Тяпу, однажды уже брал его летом с собой и заранее радовался, что на месяц почувствует себя не только спортсменом-отставником, но и хозяином собаки, настоящей служебной овчарки. У Тяпы роскошная родословная, да и не Тяпа он по собачьему паспорту, а Тангенс!

Намерен был Гавриил Романович побродить с палаткой без определенного маршрута. Где-то в пределах Валдая. Не совершать поход, а скитаться, передвигаясь попутным транспортом. В том-то и ожидалась половина прелести: в отсутствии маршрута. Чтобы утром не знать, где окажешься вечером. Вся жизнь Гавриила Романовича подчинена расписанию, он чуть не на полгода вперед знает, что в такой-то день и час войдет в такую-то аудиторию,— а тут сплошная импровизация!

И еще то хорошо, что принадлежать он будет только самому себе! Отдохнет от Ватины. Нужно отдыхать друг от друга. Ватина так не считает, но ей приходится смиряться: у Гавриила Романовича двухмесячный преподавательский отпуск, а у нее вдвое короче, так что каждый год он имеет законный отпуск и от семьи.

Уезжал Гавриил Романович первой электричкой. Ехал до Чудова — а дальше как бог даст. Какие-то радищевские ассоциации связаны с Чудовым. Радищева Гавриил Романович уважает за свободомыслие, как одного из первых диссидентов, хотя прочитать знаменитое «Путешествие» не смог: одолела непобедимая скука. Но и не прочитав, в общих чертах представляет, о чем в книге речь: обычный феномен обильного комментирования, когда книга живет как бы вне первоначального текста, вернее, над текстом, словно бы непрерывно дописываясь. Классический пример — Библия. Ее Гавриил Романович тоже пытался читать — и для эрудиции, и привлеченный ее не то что бы прямой запрещенностью, но, скажем так, *нерекомендованностью*, когда чтение ее становится актом скромного и в то же время безопасного свободомыслия,— не «ГУЛАГ». Библию Гавриил Романович попытался прочитать подряд и сдался: на второй странице одолевала непобедимая зевота. Листая, он находил замечательные отрывки: особенно Екклезиаст его поразил, в Евангелиях кое-что, хотя целиком и Евангелия скучны. В общем, жутко длинно, ее бы адаптировать до ста страниц. И должна была бы Библия забыться, остаться достоянием археологов — но судьба: стараниями бесчисленных комментаторов, фанатиков, мистиков стала самой популярной книгой в мире. Комментируя каждое слово, можно сделать шедевр из чего угодно, хоть из железнодорожного справочника: достаточно каждую упоминаемую там станцию снабдить изящным комментарием по истории и географии, чтобы затем объявить, что в первоначальном справочнике в сжатом виде заключена энциклопедия русской жизни!..

Тяпа ночевал в квартире с вечера. На новом месте он беспокоился и несколько раз взлаивал. Ватина нашептывала:

— И не отдохнешь из-за него. Эти твои Снитковские умеют устраиваться: нашли наивненького, подкинули пса! Говорила тебе: откажись, не связывайся! Я всегда лучше знаю, что тебе нужно!

— С собакой, наоборот, интереснее.

— Чего ж они сами не взяли, раз так интересно?

— Они не могут никто. У Славки путевка, а в санаторий же не пускают.

— Я и говорю: умеют устраиваться! У него путевка, а у тебя почему-то нет. Ты его пса выгуливаешь, пока он лечится.

— Я и не хотел никакой путевки. А Тяпу сам попросил.

— Вот-вот, такие и не хотят ничего, а другие устраиваются за их счет! Русскому Ивану ничего не остается!

— Я не Иван, я — Гаврила.

— Знаю, двадцать лет знаю. А все равно Иванушка-дурачок, а другие пользуются.

Ватина вечно ревнует не к женщинам даже — ревновать к женщинам он повода не подает, и она если иногда и подозревает кого-то, то профилактически,— а к его друзьям, что ему совершенно не понятно. Вот даже к Тяпе словно бы ревнует.

Зато в Чудове Тяпа имел успех. Вроде бы цивилизованное место, главный ход Октябрьской дороги как-никак, но прогуливавшиеся по станции местные жители — в буфете продавали пиво — смотрели на Тяпу как на заморского зверя. Неужели не видали никогда

настоящей овчарки? Не без тщеславного чувства Гавриил Романович расслышал за спиной:

— Такого хозяин напустит, разорвет кого хочешь! Хоть ты с самбо, хоть ты с боксом!

Правда, ореол отчасти развеял некий дед, видать, туземный мудрец. Он и вид имел такой в точности, какой полагается иметь носителю исконной народной мудрости: маленький, в выгоревшей гимнастерке, не то что бородатый, а скорее дней пять небритый, он сидел на пустом ящике, поставив около себя бутылку пива, но пить не торопился, созерцая происходящее вокруг. Впрочем, ничего не происходило, пока не прошествовал мимо Тяпа. Слонявшиеся при деде личности легкомысленно загомонили:

— Большая... Разорвет...

Но дед изрек веско:

— Большая и насрет много!

И это была подлинная мудрость, потому что истолковать ее можно как угодно, и следовательно, любой слушатель мог в желательном смысле истолковать оракула. А чего еще ждут от мудреца, как не подтверждения собственных мыслей?

Гавриила Романовича дедова мудрость не задела, обидел только род прилагательного: «Большая!». Как будто Тяпа шотландец или ньюф, у которых длинная шерсть маскирует половую принадлежность. Спустить бы Тяпу, он бы тут улучшил породу!

Именно такое предложение Гавриил Романович и получил вскоре, когда решил не дожидаться местного поезда, отвозившего в загадочный Мясной Бор (когда бор Сосновый — оно понятно, но почему Мясной?), а довериться какой-нибудь попутке.

Рядом с ним затормозил МАЗ. То есть с ними: как выяснилось, шофера больше интересовал Тяпа.

— Твой кобель? У-у, зверюга!.. Куда едете?

Гавриил Романович догадался, что не нужно слишком держаться одного направления. Почему обязательно а Мясной Бор? Все боры здесь хороши.

— Да туда,— махнул он рукой неопределенно вдоль шоссе.

— Садись. И этого давай в кабину. Торопишься? А то забуксовал бы у меня на пару часов. Давно ищу такого. У меня, понимаешь, сучка. Как раз у ней сейчас это — потекла. Приведет какого-нибудь урода. Надоело ублюдков ее топить.

Вот и получилось, что не Тяпа при Гаврииле Романовиче, а Гавриил Романович при Тяпе.

Пока герой знакомился со скромной местной сучкой, шофер усадил за стол и, несмотря на дневное время, выставил самогон.

— А работать еще? — Гавриил Романович кивнул в сторону МАЗа, причаленного за калиткой.

— Не волк, не убежит. У нас один мудила на «газоне» ездит, бензиновый движок у него, значит. Он, если что, говорит: «Искра́ потерялась»,— и кантуется сколько надо. А я если на дизеле, если без искры́ езжу, не могу уж и кореша встретить? Ну скажу, система потекла — тормозная. Системы эти текут, хуже чем сучки. А не нравится начальству — пусть другого на этот гроб поищут!.. Ну давай.

Гавриил Романович и раньше пил мало, только в самых необходимых случаях, но окажись он за этим столом пару месяцев назад, он бы не смог отказаться. Старому знакомому отказал бы: и рано, и Тяпа не любит перегара, и от самогона этого неочищенного два дня голова болеть будет... Старому знакомому отказал бы, а случайно встретившемуся шоферу — нет, потому что подобно большинству интеллигентов испытывает (испытывал?) некое чувство неполноценности, когда сталкивается *с народом*. Но если оценить алкоголь с точки зрения вселенской нравственности — то возможно ли добровольно становиться дебилом, хотя бы и временно? Обычай коллективно оглупляться — он один характеризует нашу бедную планету!

— Нет, я не пью.

— А чего такое? Я, может, тоже не пью. Но надо же за знакомство. И чтобы щенки крепкие.

Не объяснять же свои космические взгляды. Да и просто проповедовать, что пить вредно,— не здесь.

— Выпил я свое. Подшитый теперь хожу. С торпедой.

— «Торпеда»! Скажи лучше: мина замедленная! Тут у нас этих мин и оружия знаешь сколько? Есть мужики — у них в сарае огневая мощь, как у цельной роты. Не знают пока только, в кого стрелять. И черепов — больше, чем грибов в лесу... Ну раз мина в тебе — извини. Причина — хоть для прокурора. Портят же людей — вот я бы не согласился. Ну давай.

При чем здесь прокурор, Гавриил Романович не понял, но не переспросил.

Хотя сумел он отказаться от самогона, чувство если не первородной своей интеллигентской вины, то, во всяком случае, неловкости перед шофером осталось: мужик перед ним, гоняет МАЗ, может, наверное, и дом срубить — всем понятные настоящие работы, совершенно недоступные для Гавриила Романовича; а иксы- игреки его, дифференциалы и тангенсы — кому они здесь понятны, кому нужны?! Кобель Тангенс — нужен, а просто

тангенс — нет... То самое чувство неполноценности и вины, доставшееся по прямому наследству от народника. И теперь ждал Гавриил Романович, что услышит от шофера настоящее *народное мнение*, которое сможет потом важно цитировать в знакомых домах: «Я знаю, что в деревне думают! Я сам этим летом погрузился в народную стихию!»

Шофер налил себе снова.

— Как я тебя с кобелем выглядел, а? А то народит опять сука ублюдков, а мне сторож нужен! Такой зверь, как твой. А то народ здесь всякий. Ну, разбавит она кровя, но порода себя скажет, верно? У ей течка, и ты тут — в самый момент. Такое дело: поймаешь момент — ты в дамках. Вот я недавно съездил к матери, отгулы накопил. Она в самом Калинине живет, городская, значит, барыня за отчимом. Из нашей грязи. А отчим у ней — завскладом. «Бери, говорит, Вовик, стекла. Лобовые жигулевские. Мне здесь неудобно, народ завистливый, а ты у себя сотню разом спустишь. А они меньше чем по два сотника не идут. И пополам!» А мне чего? Взял, конечно. Случай? Случай! Что я мать родную повидать захотел, а накануне эти стекла завезли. Правильно написано, чтобы чтить родителев! Еще попы учили.

С улицы раздался визгливый женский голос, поминавший ту же мать Вовика — только в другой связи. Шофер тоже, разумеется, перемежал смысловые слова с матерными — так примерно в пропорции пятьдесят на пятьдесят,— но в полупьяной речи эти *междометия* почти не замечались, а из женских уст прозвучали противно.

— Розка явилась. Пусть жрать дает! — объявил шофер.

В избу заглянула Роза, пустила матерную очередь — и заметила гостя.

— Ой, извиняемся. А я-то думаю, чего это мой днем рассевши? Гостите, пожалуйста, не беспокойтесь!

— Кобеля привел. Пусть нашу Дуську отоварит.

Говоря о своей суке, он употребил именно слово «отоварить», не применив по прямому назначению тот самый глагол, который поминутно повторял без всякого смысла.

— Тебе бы только о суках думать! Сам кобель хороший! Что мне про Люську говорят?! А Зойка в «Красном пахаре»? А Ленка в «Ленинце»?!

Вспомнив о присутствующем госте, Роза сказала: «Извиняемся»,— другим, елейным голосом и продолжала обличение:

— Ленка хвастала, ты ей полный кузов дров привез. Всё березовые! Хозяин, хвастала. Хоть бы осины сырой суке этой, а то березовые! — И елейно гостю: — Извиняемся.

— Ладно гавкать, жрать неси.

И когда Роза беспрекословно отправилась в погреб, объяснил, улыбаясь чуть не смущенно:

— Ревнует. Любит как кошка, бля.

Роза вернулась с мисками и чугунами, и визгливые обличения продолжались за едой:

— Я еще соберусь! Я еще сделаю! Подговорю Леху, он за бутылку объедет всех твоих сук на тракторе. И до «Ленинца» доедет, и до «Пахаря»! Тросом обвяжу сруб Ленки этой, суки, и сволоку как есть весь на ферму! Пусть из говна выковыривается... Извиняемся... Хоть бы осину, а то береза отборная!

— Ты бы на ту Ленку глянула, такую мать! — включился наконец и Вовик.— Старуха, сорок лет, пять пацанов при юбке! Попросила — и привез. Пожалел.

— «Пожалел». Знаем таких жалобных! Ой, извиняемся, не угощаем вас. Чего же не пьете совсем?

— У него торпеда вшитая, он ничего совсем.

— Как же — мужчина чтоб ничего? Жене обидно. Я сама пьяниц не выношу, а немного надо. Чтоб не скучал — мужской ваш...— Она застыдилась слова, которое только что выкрикнула раз двадцать — как междометие.

— Да вроде и так жена не обижается,— смущенно пробормотал Гавриил Романович.

— Женщины, они все как цветы, как розы.

— Поливать надо! — брякнул Вовик.

— Дурак! Кобель несчастный!.. Извиняемся... Вот меня зовут — я такая маме благодарная. Роза. Красиво, правда? Мой, женихом когда, Розочкой всегда звал и Розанчиком!

— Пойти посмотреть, отоварил он Дуську или не отоварил,— поднялся Вовик, снова жалея на суку Дуську глагола, с такой легкостью отпускаемого жене.

— Любит меня, бёнать. Извиняемся.

Роза покраснела.

Все-таки Гавриил Романович не мог привыкнуть и вздрагивал при междометиях, извергаемых милыми Розиными устами.

Вернулся Вовик, застегивая ширинку.

— Кобенится, сука такая: и хочет, и не подпускает. Совсем как баба.

— Сказал тоже — как баба! Дусенька наша честная, правильная! Твои-то суки бесстыжие не кобенятся: с колес и в койку! Как зовут, спросить не успеешь!

Дуська все кобенилась, и пришлось остаться ночевать.

Гавриила Романовича уложили внизу, а хозяева поднялись на сеновал.

— Иди-иди, — толкала захмелевшего мужа Роза.— Не только с суками своими в сене валяться. Небось все стога вокруг разворошил. От таких стожары что ставь, что не ставь.

«Какие стожары? — засыпая, удивился Гавриил Романович.— Созвездие, кажется, стожары. Лежат в сене и в звезды смотрят? Тоже поэзия...»

Наутро Тяпа с Дуськой умиротворенно вылизывали друг друга. Вовик с Розой спустились с сеновала такие же благостные.

— Молочка парного попейте,— потчевала Роза.— Нарочно к соседке сбегала. Мы-то не держим.

— А зачем же сено на сеновале? — удивился Гавриил Романович.

— Для романтики етой,— засмеялся Вовик, и Гавриил Романович удивился не столько особому предназначению сена, сколько слову, чужеродно прозвучавшему из уст Вовика: «Розка-бля» и «романтика» рядом.

— Кобелю моему с утра не молочка, а рассолу надо,— любовно объяснила Роза.— А рассол если с молоком — взыграет очень.

Гавриил Романович пил парное молоко — напиток совершенно не похожий на тот, что продается в городе в пакетах,— и никак не хотел остановиться. И парное молоко в желудке с непривычки взыграло без всякого рассола.

Предчувствуя катастрофу, он попросил скороговоркой Вовика, подвозившего их с Тяпой на своем МАЗе.

— Стой! Выйду здесь. Вон озерцо красивое. Позагораем.

— Давайте отдыхайте,— равнодушно согласился Вовик.— Пользуйтесь.

Гавриил Романович едва допрыгал до кустов.

Потом они с Тяпой лежали на берегу озерца одинаково умиротворенные. Конечно, если бы не пришлось десантироваться столь поспешно, можно было бы подыскать озеро и получше. Но всякая вода хороша, когда чистая, когда отражается в ней незапыленная зелень.

Глядя на рябь на воде, на круги, расходящиеся то здесь, то там от рыбьих игр — надо же, еще и рыба здесь играет! — Гавриил Романович вспоминал бесконечные разговоры о нравственности, об исконной морали, которая будто бы сохранилась в неиспорченных цивилизацией деревенских глубинах.

Народники во всем виноваты! Когда образованные люди считают знания чуть ли не пороком, когда спешат поклониться темной толпе — ничего, кроме дикости, не может выйти в несчастной стране. Вот и Вовик с Розой, в сущности милые люди, но дай Вовику власть, и выйдет Романов — не царь, а ленинградский царек...

«Гаврилиаду» он с собой не захватил: мало ли, выпадет где-нибудь, так что записать немедленно он не мог, но мысли оказались совершенно в духе вселенской нравственности: управлять должны самые образованные, а существа невежественные вообще подлежат лишению права голоса, потому что нельзя, чтобы они влияли на принятие решений!

Тяпа тихонько встал и отошел в кусты. У него такая манера — или выучка, или врожденная: он не лает на посторонних, а уходит в засаду.

Точно, появился человек в брезентовой робе с пучком удочек.

— Клюет?

Ну вот, надо было объяснять, что приехал отдыхать на озера — и не рыбак. Это так же трудно, как объяснить Вовику, что можно не пить, когда не вшита под кожу торпеда. Но надоело Гавриилу Романовичу приноравливаться к примитивным предрассудкам.

— Я не рыбак,— ответил он с некоторым вызовом.

— Отдыхаешь, значит, просто так на природе? Один поселился? Зря. Шалят тут наши местные.

Из-за куста эффектно вышел Тяпа, посмотрел вопросительно.

— Твой? Тогда-то что. С таким можно хоть к дьяволу в гости.

Рыбак уселся на землю, вытянул ноги.

— Покурю с тобой, ладно?

Гавриил Романович был спокоен, поэтому и Тяпа не выказывал никакой враждебности. Подошел, понюхал рыбацкий сапог и лег чуть в стороне — все-таки настороже.

— Не лает, не кусает, а на стреме. Серьезный товарищ. От наших бы пустобрехов уши бы сейчас заложило, а этот по делу... Шалят. Неудобство, конечно, от шалостей, но и слава богу, есть еще кому шалить. А то ведь скоро и шалости кончатся. Как рыбу поморим, так и людишек всяких, верно? Деревни стоят — не то Мамай через них прошел, не то немец.

Гавриил Романович посмотрел на рыбака так же молча и внимательно, как Тяпа.

— А если не Мамай и не немец, тогда кто? — не то спрашивал, не то рассуждал рыбак.

Гавриил Романович смотрел все так же Тяпиным настороженным взглядом.

— Молчишь? И я молчу. И весь народ молчит хором.

Сколько лет рыбаку, определить было трудно: от сорока до шестидесяти. Худой, загорелый, слегка морщинистый. Сказал «наши местные шалят», но не очень сам он казался местным.

С минуту они вдвоем *помолчали хором.*

— Отдыхаешь, значит, всухую: без рыбы и без бабы. Посмотреть захотелось, как тут люди живут. Воздухом подышать подлинным, не на газу. Сам-то из Москвы?

— Из Ленинграда.

— Земляки почти что! Я у вас два года прожил. Проучился. Десятилетка у нас хорошая в райцентре, я после нее на самый философский факультет подался. В ЛГУ. Может, сейчас бы профессором был, имел бы квартиру на Василёвском острове. А чего такого? У нас половина профессоров и доцентов с деревни была. Но я спешил очень истины дознаваться: марксизм стал отыскивать настоящий. Профессор Жадов меня и спас. Деревенский. Пожалел своего. Прочитал, чего я понаписал после второго курса, вызвал и говорит: «Католики мудро запрещали мирянам Библию читать, потому что кто начитается без подготовки, обязательно еретиком становился, и приходилось голубчика сжигать с молитвой. Для спасения его же души. Вот и ты еще мирянин, рано тебе марксистскую библию читать, держись лучше учебников. Вот защитишься, семейством обзаведешься — тогда. А работу твою...» — и в печку. А я еще удивился, чего у него в мае печка горит. Правда, холодный был май. А тогда же с четвертого курса у нас посадили — тоже подлинными марксистами себя называли. Я мысленно перекрестился на Жадова, как на бога,— и домой. Думаю, самое верное дело — землю ковырять. Обратно закрестьянился. Потому что ниже крестьянина никого нет, никак, значит, дальше не понизят. Мужиков, конечно, в колхозе, мало, потому дают жить. Потом как всем паспорта выдали, как мы тоже люди стали — вербовщиков всяких налетело — как мух на мед. А меня не сманить: повидал же уже свет, довольно. Видали там таких колхозных отличников. Я в своей золотой медали дырочку просверлил, в праздники на пиджак пришпиливаю. У дедов наших двоих за германскую медали, а у меня своя: «за отличные успехи». Рыбу вот ловлю, пока есть, кабанчика каждый год откармливаю, картошка своя, молоко — самые отличные успехи. Если не пить, жить можно.

Рыбак зазвал Гавриила Романовича к себе, помог и рюкзак донести — километров пять оказалось до него, и все тропинками. Звали его Николаем Васильевичем, а жена застенчиво представилась Машей, хотя выглядела никак не моложе мужа. Хозяйский Дружок был крайне возмущен появлением Тяпы, но лаял, стоя у самой будки, готовый мгновенно ретироваться. Тяпа высокомерно не отвечал.

Скоро оказалось, что Николай Васильевич зазывал к себе не бескорыстно.

— В шахматы играешь? — спросил он, появляясь с облупленной доской.

— Немного,— ответил Гавриил Романович опасливо: очень не хотелось проиграть в умственной игре деревенскому философу.

Но оказалось, что хозяин играет еще гораздо хуже. И притом с упорством доигрывает до мата, не сдается, даже когда остается без ладьи или самого ферзя.

— Дал бы отдохнуть человеку,— с укором сказала Маша.— Моего-то хлебом не корми, а играть у нас не с кем. Дед Семен один, да обиделся, играть перестал: надоело деду проигрывать.

— А сегодня вот сам проигрываю! — как бы удивленно сообщил несостоявшийся философ.— Ничего, сейчас вот вспомню! Не играл давно, а ты-то небось у себя там тренируешься! По науке играешь, вижу, что по науке. Если бы сразу, без дебюта, тогда бы посмотрели, кто кого! Когда своим умом пойдет игра.

— Молочка пока попейте,— по-своему посочувствовала Маша.— Надоила только что. В городе такого не попробуете.

Гавриил Романович с ужасом отказался.

Маша поняла.

— Боитесь? Бывает с непривычки. Наши Витька с Надькой приезжают в отпуск, тоже первые дни со двора не идут. А после — ничего.

Гавриил Романович уже знал, что Витька с Надькой — взрослые дети Николая Ивановича и Маши. Оба они уехали после школы и теперь приезжают на родину только в гости. На родину — потому что Москва, где они оба живут, фактически совсем другая страна.

— Если молочка нашего боитесь, я вам простокваши принесу из ледника.

Простокваша оказалась в самый раз. Отламывая ложкой холодные жирные куски — пить ее как городской кефир было невозможно,— он выиграл у хозяина еще две-три быстрые партии. Николай Иванович каждый раз сокрушался, но не унывал:

— Эть ты! Надо было офицером брать! А позиция была лучше! Ну давай еще раз. Сейчас-сейчас! Еще выиграю. Только ты без вариантов играй, попросту!

— Как это — без вариантов?

— Ну без дебютов, прямо!

— Как это — без дебютов? Раз начало — значит, обязательно какой-то дебют.

— Ну прямо: пешкой от короля, потом офицером. А от королевы — я не понимаю.

Гавриил Романович по заказу сыграл итальянскую партию. С тем же результатом.

— Эть ты! А совсем выигранная позиция была. Надо было турами меняться...

Спать Гавриил Романович попросился на сеновал. Не для того же он отправился скитаться, чтобы укладываться на ночь в городские кровати. Взбираясь наверх, он мечтал

и о дырявой крыше, сквозь которую просвечивали бы звезды, но крыша оказалась плотная, глухая — не зря же мастеровитый хозяин в доме. Слуховое окно было открыто, для проветривания, должно быть, и Гавриил Романович подошел к нему, разглядывая звезды. Стожары или нет — он не знал, он вообще из всех созвездий умел узнавать только Большую Медведицу.

С наслаждением ворочаясь на сене, он думал, что деревенский философ в чем-то и прав: ненормально разрослась шахматная *наука*. Все-таки шахматы — всего лишь игра. Хоть и прекрасная игра. И когда по шахматному анализу книг чуть ли не больше, чем по анализу математическому,— это уже гипертрофия.

А между прочим, кто-то сказал, что шахматы лучше всего развиваются в тех странах, где нет свободы мысли. Ну что ж, советский пример — блестящее тому подтверждение. По-видимому, умные люди у нас особенно охотно уходят в шахматы, так как догадываются, что иначе им будет трудно найти применение своим мозгам... Вот как тест — очень объективно. Было бы у нас какое-то свободомыслие, хотя бы в рамках диалектического материализма, писал бы чудаковатый Николай Васильевич свои статьи или даже книги про истинный марксизм-ленинизм, очищенный от сталинских искажений,— и принимали бы его за бог весть какого умного человека, а вот, садится за шахматы...

Но шахматы существуют не только для того, чтобы занять излишек слишком умных людей, отвлечь их от опасных мыслей и действий, шахматы и вообще спорт выполняют важнейшую функцию — заполняют вакуум новостей, создают эрзац-информацию. Мы не знаем, как проголосовали в Политбюро, но зато мы со страстью ждем последних известий, чтобы узнать: как с ы г р а л и?!

А народийную ш а х м а т н у ю н а у к у можно разрушить! Идея явилась Гавриил Романовичу мгновенно: всего лишь уничтожить первоначальную расстановку! Впереди, естественно, остаются пешки, а за пешками в заднем ряду фигуры каждый расставляет как хочет. И конец многотомным дебютным энциклопедиям — с первого хода придется играть своим умом! Для начала такую игру можно будет назвать *с в о б о д н ы м и ш а х м а т а м и* или *с в о б о д н ы м с т и л е м*. И когда многие начнут играть своим умом, играть в свободном стиле, стыдно сделается прятаться за дебютную энциклопедию...

Утром Николай Васильевич предложил:

— Хочешь, на мертвый конец сходим? У нас будто нарочно: один конец живой остался, а другой — мертвый: взрослые уехали, старики умерли. С одного конца, как гангрена на ноге.

Деревня вытянулась вдоль речки, потому естественно делилась на концы.

В мертвом конце дома стояли целые. Только двери и окна заколочены досками крест-накрест.

— Где покойник, так и крест,— сформулировал Николай Васильевич.

Заколоченные дома Гавриила Романовича не удивили: слышал он множество раз, что *Нечерноземье*, а по-настоящему — исконная центральная Россия, обезлюдело. «Не то Мамай прошел, не то немец». Нет, после Мамая или немца полагалось остаться пепелищам с торчащими обгорелыми трубами. А тут показалось непривычному взгляду, будто прокатилась эпидемия, чума, *моровое поветрие*: дома остались целыми — людей нет. Особенно поразили аккуратно сложенные наколотые дрова: собирались, значит, хозяева жить, зимовать — и унесло их в одночасье. Ну точно, мор. Вот только не чума прокатилась, не сибирская язва — а что же?

Гавриил Романович вспомнил стандартное газетное клише: «коричневая чума». Про фашистов. А здесь... А здесь: *красная чума*!

Он испугался собственной мысли, он посмотрел на Николая Васильевича: не прочитал ли тот страшные слова, отпечатавшиеся в голове, как в книге?! Гавриил Романович не верил в телепатию, не верил, но бывают же моменты мощных озарений!

Нет-нет, нельзя же сравнивать: то — фашисты, враги рода человеческого, а у нас? Конечно, много глупостей, *перегибов*, ненужных жестокостей, но хотели-то хорошего! Может быть, даже Сталин по-своему хотел, а уж Ленин-то точно хотел хорошего!.. Но вид обезлюдевших домов, но мысль, что вся центральная Россия разорена, не давала избавиться от единственного адекватного сравнения: чума прокатилась, *красная чума*...

— Продавать не разрешают, что плохо,— объяснил Николай Васильевич.— Только если кто в колхоз пойдет. А кто ж пойдет? Я тут крышу починяю помаленьку, чтобы не текла, не гнил дом... Заходи вот... Крышу починяю, думаю, Витька купил бы. К нам-то как понаедут все — тесно.— Николай Васильевич достал припрятанные топор, молоток.— Не разрешают продавать, но договориться-то можно с председателем. Все в руках человеческих.

Гавриил Романович вспомнил, что повторял про себя ту же самую фразу, расписываясь в журнале, будто вовремя явился на работу.

— Купил бы Витька, а может, и Надькин муж. Сам-то он руками делать не умеет, но деньги есть. И целый бы наш конец. А земли здесь хорошие. Нарочно придумали: Нечерноземье. Для оправдания: нечернозем — и жалеть нечего!

— Что толку, что земли? Ведь все равно колхоз.

— Ну, во-первых, участки свои. Тут десять соток, а тут все шестнадцать. Картошкой собственной завалиться, овощами всякими, клубникой. Цветы продавать. Если Надьке торговать зазорно, Маша моя продаст. А во-вторых: сегодня колхоз, а завтра...

— И завтра колхоз! — поспешно возразил Гавриил Романович, точно все еще опасаясь, что местный философ прочитал роковую мысль про *красную чуму*.— И завтра!

— Думаешь? А не все так думают. В городах. В Москве.

— Ничего не сделают! Это стена. Бетон, гранит, монолит! Сам говоришь: народ молчит хором. А десяток человек чего сделают?

— Народ молчит хором. А если запоет — хором же?

— Не запоет. Еще сто лет не запоет.

Не для *чужих ушей* отвечал Гавриил Романович, да и какие здесь уши. Совершенно искренне отвечал. Ну что может измениться, когда перед тобой стена, монолит?!.

Он еще и пообедал у деревенского философа. Поливая молодую картошку *настоящей сметаной*, он непоследовательно подумал, что не так уж все плохо, и живут хозяева многим на зависть, а те, кто уехал и бросил дома,— сами виноваты: сидели бы сейчас в зеленой прохладе, обедали бы молодой картошкой, заедали бы своей клубникой, поливаемой той же сметаной.

Тяпа тоже думал, что не так все плохо, хлебая какую-то похлебку, которую никогда бы не стал есть в городе у Спитковских. Дружок, стоя у будки, подхалимски махал хвостом. Совсем все неплохо.

Философ их немного проводил, таща снаряженную Машей сумку с домашними припасами.

Уходили веселым живым концом деревни.

Вечером у костра, допивая — разжижилась! — теплую и потому совсем не вкусную простоквашу, Гавриил Романович со стыдом вспоминал, с каким страхом он пытался избавиться от мелькнувшей в мозгу непрошеной мысли! Не слова испугался, а мысли!.. Галантный галакт не станет высказывать в глаза туземцам горькие истины, но в мыслях галакт обязан быть бесстрашен. Первейшее условие вселенской внутренней свободы — бесстрашие в мыслях! И выходит, мало объявить себя однажды гражданином Вселенной — надо тянуть и тянуть себя вверх за волосы, надо вытравить из каждой клетки порочные гены земной породы.

И может быть, деревенскому философу легче быть свободным? На минуту Гавриил Романович представил себе другую жизнь: уезжает он в деревню, покупает такой вот дом, ест свои овощи, пьет настоящее молоко, дышит настоящим воздухом. Ну даже не приписывается в колхоз, не учится пахать на тракторе — устраивается учителем. Нужны же, наверняка, здесь учителя. Не в народническом смешном порыве, а для себя: ради чистого воздуха и чистых продуктов, ради того, чтобы подальше быть от всякого идейного начальства... Но нет, только на минуту может такое возмечтаться: даже к учительской жизни здесь он безнадежно неприспособлен — ни избу поправить, ни грядки вскопать, не говоря уж — травы накосить. А все время зависеть от рукастых мужиков, все время ставить бутылки — иго худшее, чем присмотр наркома. Нет, он предельно специализирован, как какая-нибудь орхидея, которая укореняется не в земле, а только к другому дереву, он может существовать только при своей кафедре, а потому намертво прикреплен к месту, куда прочней, чем прикреплены были в недавнем прошлом беспашпортные крепостные колхозники...

Он побродил месяц, он поиграл в отставного спортсмена и хозяина сильной собаки — но вернулся, снял тренировочный костюм, отвел Тяпу к Спитковским. Поздоровел, конечно, на воздухе. Вот только неясным осталось, приобщился ли к *народной мудрости*, ведь Николай Васильевич хоть и крестьянствует, но порчен был в свое время философским факультетом, а прочие все встречные, часто хмельные и многоречивые вроде шофера Вовика, о серьезных вещах *молчали хором*. Разве что вспомнить загадочного деда из Чудова?

Добрался он наконец и до дожидавшейся в столе «Гаврилиады».

* * *

может быть самое поразительное если посмотреть на наше племя разумным взглядом то что человечество до сих пор неспособно контролировать собственную численность.

одно это исключает нас из общества существ истинно разумных

известно сколько лосей нужно в лесу сколько волков

сколько покоса нужно на одну корову

а сколько нужно людей то есть существ в наибольшей степени давящих на природу никому не известно

а если бы и было известно нет способа гуманно ограничить численность населения

бесконечно расти человечество не может рано или поздно придется численность его ограничить

так зачем поздно когда земля будет до последнего предела вытоптана и отравлена

потомки нас проклянут за нерешительность за то что мы переложили на них наши проблемы

но это еще самое простое подсчитать арифметически сколько людей может прокормить земля

как подсчитывают сколько коров может прокормить данный выпас

более трудный но и более важный вопрос сколько нужно людей на земле

принципиальный ответ столько чтобы каждому было обеспечено достойное существование

а не просто выживание на минимальном пределе потребностей

при десяти или двадцатимиллиардном населении неизбежна предельная стандартизация жизни

когда каждая семья занимает крошечную ячейку совершенно не отличимую от соседней ячейки

получает необходимый стандартный набор продуктов и товаров

а все удовольствия получает централизованно как и продукты прежде всего через телевизор

раз в несколько лет каждому будет полагаться стандартное путешествие по строго определенному маршруту

а над толпой существует элита политических деятелей писателей артистов спортсменов которые живут по другим стандартам свободно передвигаются и постоянно фигурируют на экранах телевизоров

но хуже всего с работой

до сих пор большинство человечества занято физической монотонной работой

но в течение ближайших двух-трех десятилетий электроника уничтожит надобность в механическом монотонном труде

уничтожит как раз тогда когда народятся ненужные десять миллиардов

значит придется остановить электронику оставить людям убогий механический труд который может выполнить за них несложная машина

но это предельное человеческое унижение

люди обреченные такому труду неизбежно будут несчастны даже получая свою дозу стандартного комфорта

они будут стремиться вырваться из своего униженного положения хоть в наркотики хоть в террор

потому что самой страшной социальной проблемой станет скука

именно глубоко социальной

потому что все эти проблемы возникнут независимо от социального строя в современном смысле

да и потеряют значение различия между социализмом и капитализмом

до сих пор многие верят в утопию что всю механическую работу предоставят машинам а люди поголовно начнут заниматься трудом творческим

но не нужны на земле десять или двадцать миллиардов творцов

да и необходимо быть личностью чтобы творить

а чтобы развиться личности нужен простор нужно нестандартное существование

следовательно земле нужно столько людей сколько смогут стать творческими личностями

при возрастающем же стеснении нас ждут страшные психологические перенапряжения

когда скопятся несколько миллиардов людей которые не согласны быть роботами но и неспособны выразить себя в творчестве

в коммунальной квартире могут жить сплошь прекрасные люди хоть и редко такое встречается в реальности но когда приходится стоять в очереди в уборную то не легче оттого что впереди тебя переминаются только самые прекрасные люди

при излишнем стеснении невыносимым сделается самый близкий человек если с прекрасной любимой каждую ночь спать на узкой вагонной полке то вскоре начнешь мечтать только о том чтобы любимая оказалась где-нибудь на противоположном полюсе

когда северных оленей становится слишком много они начинают умирать по непонятным причинам от некоей болезни перенаселения

наверное нужно ждать появления совершенно новых человеческих болезней и хотя формально их будет вызывать новый микроб или вирус на самом деле это будет болезнь перенаселения

а когда леммингов становится слишком много они движутся потоком и массами гибнут в реках встретившихся на их пути

в перенаселенном же человеческом обществе возрастет число убийств и самоубийств будет развиваться агрессивность и ослабевать инстинкт самосохранения

неизбежно появятся и крайние политические течения которые станут практиковать уничтожение людей самыми отвратительными фашистскими методами

все это включая фашизм будет проявлением стихийной природной саморегуляции

потому что природа не знает морали не знает жалости к отдельной личности она стремится лишь сохранить экологическое равновесие

если же разумный человек хочет противопоставить биологической стихии мораль если он хочет возвысить личность он обязан научиться сознательно контролировать численность своей популяции

и те кто пугает сейчас мальтузианством должны реально выбирать между гуманным ограничением рождаемости и стихийным ростом агрессивности фашистскими движениями с газовыми камерами

синдром перенаселения самый страшный самый античеловеческий он превратит жизнь в ад

и не спасут от низвержения в этот ад ни коммунизм ни буржуазная демократия

нынешнее бездействие и благодушие нынешняя болтовня что неограниченная рождаемость право каждого человека его свобода приведут в скором будущем к самой крайней отвратительной жестокости к полному уничтожению всяких свобод

* * *

Над листом своей дерматиновой тетради — вот где Гавриил Романович становился свободным, становился и правда в духовном смысле почти галактом.

Да, не трогает он почти в своих записках партию, не трогает строй, при котором живет,— но не из подлого страха, а потому, что галакт выше местной мелкой политики. Он мыслит широко! Вернувшись из безлюдного Нечерноземья, Гавриил Романович должен был бы печься о приросте населения, но он не унижается до локальных проблем, он видит всю Землю, отягощенную четырьмя с половиной миллиардами жалких, придавленных тяжелым трудом людей, которые объедают и вытаптывают планету, как козы, вытоптавшие Австралию.

Какой бы поднялся шум, если бы прочитал сейчас «Гаврилиаду» апологет свободного размножения. Какие крики об антигуманности! Но Гавриил Романович свободен — по крайней мере, над чистым листом.

Когда он вошел домой с дороги, Ватины не было — в вечер она работала. Он дождался, не ужинал без нее — занимался пока «Гаврилиадой». Спрятал тетрадку, когда услышал ключ в дверях.

— Нагулялся? Ну и хорошо. Будешь хоть знать, как люди живут. Народ. Я давно говорила, что тебе полезно. А я-то знаю, ты слушай.

Будто не она ворчала перед отъездом.

— В Ленинграде тоже народ.

— Какой там народ. Намешаны неизвестно кто.

— А три миллиона — кто же? Или четыре?

— Просто люди разные. Так бывает: люди есть — народа нет.

Может быть, Ватина и права отчасти: действительно же, там, на Валдае, *намешано* куда меньше. Вот только как относиться? Ей кажется, что плохо, когда люди, а не народ. А может быть, такое состояние — самое замечательное?

— Ну это все претензии к Петру: зачем здесь город основал? — Не хотелось спорить всерьез в первый же вечер.

— К Петру! У нас Тамара Федоровна говорит, Петр на самом деле грузин был. Ей в Тбилиси объяснили. Потому что царь Алексей уже старый был, а тут при дворе грузинский князь. Вся Грузия знает.

О, господи!

— Ну и что? Какая разница? А потом, все цари — немцы. А раньше все князья — варяги. И цари тоже.

— Кому все равно, а кому-то и обидно.

Надо это кончать.

— Продувало там часто, на озерах. Я все думал, что приду наконец, спину ты потрешь.

— Уж не оставлю, не бойся. Мне посоветовали пустырник втирать. Бабушка одна у нас в гардеробе, она травы знает. Говорила же, что нечего в твоем возрасте бездомным шляться. Умные люди по путевкам в санаториях, а ты в это время с их собакой таскаешься. Никогда не слушаешь, а я знаю.

5

В промежутке между двумя частями своего долгого отпуска Гавриилу Романовичу предстояло принимать вступительные экзамены.

Вступительный экзамен — прежде всего тяжелая работа для самого экзаменатора. Абитуриенты этого не понимают, они слишком придавлены собственными страхами, и экзаменатор представляется им неким громовержцем, который карает и милует по своему божественному произволу. А бедный громовержец работает как грузчик. Правда, Гавриилу Романовичу легче: он принимал за *хорошим столом.*

Не так уж давно пытливая деканская мысль научно организовала экзамены, разделив столы на *хороший, нормальный* и *плохой*, а то прежде шли в ход звонки, записки, птички в списках — словом, первобытная путаница. А теперь абитуриенты заранее распределяются по столам: за *хорошим* прием идет предельно доброжелательно, за *плохим* — как можно строже, ну а за *нормальным* — нормально.

После нескольких шумных процессов экзаменовать поступающих стали на пару: чтобы всегда был свидетель на случай обвинений во взяточничестве. Гавриилу Романовичу был придан молодой преподаватель Вася, который во всем доверился старшему коллеге и тем самым не мешал.

Дело у них шло быстрее, чем у соседей,— оно и естественно, на то и *хороший* стол: меньше дополнительных вопросов, проще задачи. Разные необходимые экзаменаторам бумажки разносили прикомандированные в помощь студенты — они важно назывались *общественной приемной комиссией.* Студенты не были посвящены в тайну столов и, видя, что у Гавриила Романовича с Васей производительность выше, пытались перепасовывать к ним абитуриентов от других столов. Но на страже стояла неизменная Нинуша, очень убедительно объяснявшая пытливым студентам:

— Списки специально составлены так, чтобы у всех равномерная нагрузка. Никто не обязан работать за других.

Ну что ж, рациональному юношеству нужно все объяснять рационально.

— Узнали бы эту механику — разочаровались бы вообще в справедливости,— шепнул Вася, услышав объяснения Нинуши.

Ах, милый Вася! Как мало ему нужно, чтобы разочароваться в справедливости. Естественно: что он видел в жизни?

Вот Гавриил Романович повидал — когда был куда моложе не только Васи, но и сегодняшних абитуриентов.

...День рождения у него первого января, говорят, такая дата приносит счастье. Но первого января сорок второго он едва вспомнил про свой день. Про то, что исполнилось ему четырнадцать. И мама едва вспомнила — они с ней как бы погрузились в полубытие, высшие чувства почти отключились, бодрствовал только инстинкт добывания пищи.

Но пережили зиму каким-то образом, и в апреле Гаврик стал потихоньку выползать на весенний Невский. Погреться на солнце и попытаться выменять вещи на хлеб. Цены тогдашние — меновые, разумеется, не денежные — он будет помнить всегда. Однажды вынес четыре фужера — потом мама много раз вспоминала, что фужеры те императорского стекольного завода, а тогда казались четыре большие красивые рюмки — подошел человек в странном бархатном пальто, словно из театра, давал сто пятьдесят граммов. Требовательно совал свой ломоть хлеба и почти отнимал фужеры. Гаврик отдал бы, но подошел военный и дал двести пятьдесят! Это было счастье: вдруг сто граммов будто в подарок. Не зря Гаврик так любил военных.

А потом однажды напротив Гостиного его остановила женщина. По тогдашним его понятиям — немолодая: лет, наверное, сорока. Вообще, тогда определять возраст бывало трудно, но у этой женщины был возраст! И возраст делал ее как бы довоенной — Гаврик сразу почувствовал.

Она дотронулась до муфты с привычной уверенной требовательностью — Гаврик выносил вещи в маминой муфте. (Почти забытый теперь предмет одежды, так же, как и галоши.)

— Что у тебя?

— Чашки. Кузнецовский фарфор. Четыре чашки.

Мама ему несколько раз повторила перед выходом: «Настоящий кузнецовский, не продешеви!» Сам-то он тогда не разбирался.

Женщина рассмотрела чашки, не боясь приговаривать:

— Хорошо... Да, хорошо...

Обычно-то покупатели старались опорочить товар.

— А еще что-нибудь есть к чашкам?

— Вот. Блюдца.

— Это само собой. Кому они нужны без блюдец. А еще что-нибудь из сервиза?

— Есть. Дома.

— Ты далеко живешь?

— Здесь. На Садовой.

— Пошли к тебе.

Мама с неприятной угодливой торопливостью выставляла перед женщиной фарфор. То, что сейчас они лишатся привычного домашнего фарфора, Гаврика не огорчало, но больно было видеть угодливость матери рядом с уверенностью женщины с довоенным лицом.

— Это беру. И это,— распоряжалась женщина.— И это.

Это последнее было большим кувшином с нарисованными на боках пастушками.

— Это крюшонница,— сказала мама.

— Хорошо. Вот вам.
Женщина вытащила целую буханку хлеба.
Сколько уже времени Гаврик не видел буханку целиком! То есть видел в булочной, до того как ее разрежут на пайки, но чтобы дома, чтобы своя!
— Что вы, мало за все,— сказала мама.— И чашки, и сахарница, и кофейник. И еще крюшонница. За нее надо отдельно. Это же настоящий кузнецовский!
Гаврик испугался, что женщина заберет буханку и уйдет. Заберет живой хлеб и оставит им этот мертвый фарфор! Но она только сказала:
— Что же делать, если у меня больше нет с собой. И упускать не хочется... Пойдемте, я вас прямо накормлю. Пообедаете за вашу крюшонницу. Понимаете? Пообедаете! Здесь недалеко.
— Вдвоем?
Какой униженный голос! Как больно и сейчас вспоминать мамин голос, оборвавшийся в писк: «Вдвоем?»
— Вдвоем.
Но тогда боль промелькнула и забылась. Они шли, чтобы пообедать,— это было невероятно!
Они пришли с женщиной на улицу Желябова. Там в угловом доме женщина отворила обыкновенную незаметную дверь, они вошли — и сразу наастречу забытый довоенный столовочный запах! В тамбуре сидел человек — сразу видно, сидел для того, чтобы не пускать дальше, туда, где рождался божественный запах; но женщина сказала небрежно: «Эти со мной»,— и страж пропустил. За следующей дверью и вправду была столовая — запах не обманул! Со столами, покрытыми белыми скатертями!
Сразу она показалась огромной. После уж Гаврик мысленно посчитал столики, потому что вид столовой отпечатался в памяти словно бы на фотографии, и оказалось, столиков было десять, а сидели за ними шесть человек, все в штатском, сидели по одному и ели молча. Но что он заметил сразу: пирожные в вазочках на каждом столе. Эклеры. Сорта пирожных Гаврик различал куда лучше, чем марки фарфора,— будьте уверены, лежали именно эклеры!
Женщина усадила их за самый крайний столик. Подошла девушка в белой куртке, поставила перед ними по тарелке супа.
— Ешь медленно,— после каждой ложки повторяла мама.— Ешь медленно.
Он и ел медленно. Горячий суп. Гороховый суп. С настоящим куском ветчины. Потом та же девушка принесла вторые: котлеты с пшенной кашей.
— Это домой. Это не сейчас.
Мама достала пластмассовую коробку и сложила котлеты и кашу. Удобная коробка, потому что крышка плотная: не страшно, если опрокинется.
Подошла женщина.
— Мы в расчете?
— Да-да,— быстро сказала мама.— Да-да, конечно.
Она дернулась к своей сумке, но женщина остановила:
— Не здесь. Пойдемте.
Если бы женщина не подошла, Гаврик взял бы пирожное. Но при ней не решился. И не решился спросить, можно ли взять. Потому что невозможно было поверить, чтобы такому, как Гаврик, разрешалось взять пирожное,— они могли предназначаться только для каких-то особенных людей!
На улице мама быстро отдала женщине крюшонницу — и пошла. Гаврик ее догнал — мама плакала.
Это было непонятно: ведь такое счастье — настоящий домашний обед! Портило праздник только воспоминание о том, что можно было взять пирожное, пока никто не видел — потом бы пусть заметили, что не хватает! Не догнали бы! А может, и несчитанные, если стоят свободно?!
Много раз они обсуждали — и тогда же, и уже после войны,— что это была за столовая? Ясно, что не военная. Все обсуждения мама заканчивала одинаково:
— Обкомовская, чья же еще.
Но поскольку доказательств никаких не было, добавляла ради справедливости:
— Или исполкомовская. Да какая разница?
А молодой Вася говорит про справедливость. Сама эта категория не для жалких земных обитателей. Ведь и в семнадцатом году устраивали революцию именно ради справедливости — ну и что вышло? И не потому, что плохо хотели, и не потому, что плохие люди попались: не могут эти существа установить справедливость, биологически не могут, все равно как не могут летать, как птицы, или дышать под водой, как рыбы. Если очень и очень поумнеют — может быть, и наступит справедливость когда-нибудь. А при жалком теперешнем человечестве не может быть справедливости — и никакая система не виновата!..
Экзамен шел по проторенной дорожке, пока не очутилась перед их столом милая *позвоночница* (очень удачное слово изобрели, и, глядя на девочку, Гавриил Романович

думал не о том, что она идет *по звонку*, а о гибкой ее спине с обрисовывающимся позвоночником в центральной ложбинке). Особенно милы были ее губы — выпуклые, словно слегка вспухшие от поцелуев, да еще родинка над верхней губой, из тех, что когда-то звались *злодейками*. Сидела готовилась она долго, но похоже было, что безуспешно, отчего лицо ее приобрело выражение особенно милой беспомощности, говорящей: «Вы же не станете портить мне жизнь из-за таких глупостей, как ваши теоремы?»
Уже по выражению лица милой позвоночницы Гавриил Романович понял, в чем дело, а взглянув на листок с ее записями, утвердился окончательно в своих предчувствиях.
— Ну что ж, изложите, что вам выпало в билете.
Если приглашение и прозвучало иронично, то невольно — просто экзаменационная скука заставляет разнообразить хотя бы интонации.
Бедняжка залепетала полную чушь.
Дополнительный вопрос был брошен как спасательный круг:
— Ну все-таки, есть разница между равенством и тождеством?
— Я разве не сказала? Я же уже говорила! Или, может, что-то перепутала. Я всегда путаюсь от волнения! А в аттестате у меня пятерки. Мне даже хотели взять справку от невропатолога, что я путаюсь от волнения!
Про справку от невропатолога Гавриилу Романовичу не говорил еще никто из поступающих. Но, возможно, через пару лет помимо *позвоночников* появятся еще и *справочники?*
— Ну-ну, успокойтесь, и начнем с азов: сколько нужно точек, чтобы образовать линию?
— Не меньше миллиона!
Адресовалась она теперь главным образом к Васе, инстинктивно чуя, что тому труднее противиться ее чарам.
Инстинкт в таких случаях не ошибается: бедный Вася страдал. А Гавриил Романович уже вышел, увы, из возраста, когда страдал по таким созданиям. И он неумолимо подытожил, усмехаясь в душе и над Васей, и над собой — прежним:
— Ну что ж, милая... э-э... Элеонора Сергеевна, будем считать, что мы удовлетворились вашим ответом. А потому поставим вам «удовлетворительно». Вы согласны, Василий Ефимович?
За другими столами тут была бы безусловная двойка, так что не мог Вася взывать к милосердию — оно и так было проявлено сверх всякой меры,— и бедный Вася молча кивнул. Но в то же время, за *хорошим столом* и тройка — в некотором роде акт гражданского мужества: не полагается здесь ставить тройки!
— Спросите что-нибудь еще! — прошептала прелестная блондинка.
— Это рискованно: мы можем растерять то немногое, в чем вы все-таки преуспели.
Блондинка аккуратно наполнила глаза слезами — возможно, и искренне, но Гавриил Романович увидел в этом актерство. Так она и ушла, неся нерасплесканные слезы, что, впрочем, свидетельствовало о достаточном вкусе: обильное слезопролитие было бы дурным тоном.
Бедный Вася страдал молча.
— Ну чего ж ты, беги за ней! — зашептал вдруг Гавриил Романович с неожиданной для себя злостью.— Беги за ней! Она же прелестна!! Беги за ней, догони! Ты не женат еще? Женись! Вдруг такая больше не встретится? Ну чего ж ты — меня, что ли, стесняешься? Беги и догони, советую как старший.
В Васином возрасте Гавриил Романович ни за что бы не решился вот так догнать и познакомиться. И хотелось, чтобы это совершил теперь Вася — прямо тут же, на глазах: как говорится, следующее поколение должно прожить счастливее нас.
Но Вася остался сидеть — дурак.
К концу экзамена появился Зазроев. Его поставленный голос еще только раздался в коридоре, а Гавриил Романович уже знал, зачем тот явился.
Обаятельный проходимец этот Зазроев — никуда не деться. Душа всякой компании, певец на всех институтских концертах, баритон: «Кто может сравниться с Матильдой моей?..» Каждый год в приемной комиссии.
У Гавриила Романовича нет никаких доказательств, но он ни секунды не сомневается, что Зазроев берет взятки. Бывают случаи, когда доказательства и не нужны, достаточно взглянуть на человека и все понять. Суворов сказал, что любого интенданта через полгода службы нужно вешать без суда и следствия. Вот и Зазроев как раз из таких, с которыми все ясно без суда и следствия. Невозможно представить, чтобы человек такого жизнелюбия мог уместиться в унылые рамки закона!
— Гавриил Романович, дорогой мой, вы прекрасно выглядите после отпуска! Как всегда, блестяще экзаменуете! Слышу только самые лестные отзывы! Если бы все экзаменовали как вы!
Гавриил Романович знал, что последует за комплиментами, но все же какой-то фиброй души не мог не испытать мимолетного удовольствия даже от столь грубой лести. Глупо, но так уж устроен человек.
— Только вот, только вот...— Зазроев уже вывел Гавриила Романовича под руку из аудитории и увлек в пустую преподавательскую.— Только вот вышла какая-то накладочка с Самариной, какое-то недоразумение.

Гавриил Романович хоть и не запомнил фамилии той блондинки, тотчас догадался, что речь о ней.

— Она не знает буквально ничего,— сказал он отчужденно.— До анекдота.

— Волновалась! Дорогой мой, кто из нас не нес чуши на экзаменах? Вспомните себя!

Самое дурацкое положение, когда тебе говорят вещи в общем-то совершенно справедливые. Сам институт экзаменов — глупость, это ясно! Действительно: кто не нес чуши на экзаменах? Но почему-то очень часто справедливые разумные мысли используются для обоснования явной несправедливости. Вот и Зазроев на это мастер.

— Взволновалась девочка, очень естественно. Такая хорошая девушка. Нужно же нам, чтобы институт смотрелся! Если делегация или гостей принять. А то зайдешь в аудиторию — тоска. Если женщина слишком много зубрит, у нее нос становится красным. У мужиков — от вина, у баб — от книг.

Ну как не улыбнуться?

— И сама девушка хорошая, и из семьи хорошей. Знаете, кто ее отец? Директор вазовского автоцентра. Знаете, сколько он для института сделает? Мне на кафедре лабораторию никак не оборудовать.

Зазроев — доцент кафедры трансмиссий. Пока еще будет лаборатория, а уж свою «Ладу» он наверняка в этом центре чинит без очереди! Такие всегда и везде устраиваются без очереди.

— У нее бесспорная двойка. Тройку я и так натянул. Если хотите, переэкзаменовывайте ее сами по решению приемной комиссии, а я не буду.

— Ах ты, господи! Не могу же я принимать математику! Хорошая девочка, дорогой мой. Попался ей билет — не попался! Надо же смотреть шире. А то напринимаем неарийцев. Уж у этих всегда пятерки!

Все знают, что Зазроев антисемит. Есть и другие, но те тихие, а Зазроев не стесняется вслух.

— Анкеты меня не интересуют,— холодно сказал Гавриил Романович.— Кто как ответил, тот столько и получил. А если получают пятерки, то бесспорные. Вы ж их почти всех пускаете через плохой стол.

— Самозащита, дорогой мой, только самозащита. Они-то всегда только своих принимают. Думаете, вашего сына приняли бы? Они везде лезут, а мы только защищаемся.

Самое забавное, что всюду пролез как раз Зазроев: едва явился откуда-то с Кавказа, и уже имеется квартира. А сколько блокадников так и умрут в своих коммуналках?

— Мой сын уже учится.

— Тогда внука! Если все не уедут до тех пор, пусть ваш внук и не суется! Они не такие наивные, они не стесняются!

— Я ставлю оценки только за знания и переэкзаменовывать не буду!

— Ах, дорогой! Ну и хорошо, и не надо. Не правы вы, в принципе не правы, а все равно люблю я вас! За чистоту и наивность. Еще вспомните когда-то наш разговор, когда вас коснется.

Зазроев как бы слегка приобнял Гавриила Романовича и пошел из преподавательской, приговаривая под нос своим баритоном:

— Святой человек... Стоит одному пролезть...

Не поддался Гавриил Романович. Гордиться тут нечем: нужно быть совсем уж жалким холопом, чтобы поддаться такому наскоку. Скорее, стыдиться нужно, что не решился поставить честную двойку этой блатной девице.

Евреи всюду пролезли, видите ли. Да если считать, что пролазность — свойство именно евреев, то истинные евреи — члены партии. Вот уж кто везде пролазит! А для чего еще вступают в партию? Если еврей профессор, он всегда знает дело — как Рывкин хотя бы. Видел кто-нибудь тупого безграмотного профессора-еврея? А тупых партийных профессоров — сколько угодно. Очень типичная ситуация сложится, если Рывкина выживет Колонна: появится еще одна партийная профессорша на уровне легкой дебильности... Да-да, если существует корыстный еврейский дух, то именно в партии, так ее и именовать нужно: Коммунистическая Партия Еврейского Союза — КПЕС! Или говорят, евреи друг друга поддерживают, помогают своим. Партийные друг друга поддерживают — вот это факт! Парткомы везде, райкомы — опутали сетью всю страну, сетью — с самой мелкой ячеей, сквозь которую только мальку проскочить. Можно себе представить Зазроева беспартийным? Да никогда! Беспартийным он бы и сидел в своих диких горах, а чтобы приехать в Ленинград и сразу доцентом стать, квартиру получить, взятки брать свободно, сидя в приемной комиссии,— для этого обязательно надо иметь партийный билет в кармане. И он еще ходит, евреев вынюхивает! Ну, вор всегда первым кричит «держи вора!».

Как хорошо, что телепатии все-таки не существует на самом деле! А в «Гаврилиаду» про партию проходимцев писать не обязательно...

Не кровь и не гены определяют человека, и все-таки Гавриил Романович рад, что он — не еврей. Прежде всего, конечно, по своей слабохарактерности: при подозрительности окружающих, при зависти и недоброжелательности быть евреем у нас — значит быть бойцом. Что-то преодолевать постоянно. А Гавриил Романович не хотел бы непрерывно

бороться и преодолевать... Но все-таки: почему столько евреев с высшим образованием? Непропорционально населению. Вот коронный вопрос Зазроева и тысяч таких, как Зазроев. Что же — признать, что *они* умнее от природы? Не может Гавриил Романович этого признать! Так что же — все-таки *пролазят* лучше?

В подъезде у них живет еврей-слесарь — чинит замки и зонтики в мастерской. Никто никого не знает в их огромном доме-улье, а этого знают все. Ростом едва полтора метра. К тому же пьяница. (Кстати, будь националистом или нет, а ведь факт: пьяниц среди евреев — ну разве что один на тысячу попадется, а среди наших православных?..) С ним вечно истории. Последняя совсем на днях. В доме свадьба, подъехали молодожены на «Чайке» с кольцами, фотографируются у подъезда, и вдруг откуда-то слесарь наш, вклинился между молодыми — невесте едва по плечо,— сфотографировался, подмигнул жениху и спрашивает, так что весь двор слышит: «Нае...ся сегодня, да?» Жених в ответ ему в морду. Скандал, милиция... Теперь-то его уже и в милиции знают, а когда попал в первый раз, дежурный лейтенант спрашивает:

— Фамилия-имя-отчество?

— Хаймович Абрам Цинесович.

— Кем работаете?

— Слесарем.

— А если серьезно?

Ну ведь никуда не денешься: «еврей-слесарь» звучит анекдотом, все смеются. И Гавриил Романович смеялся.

Конечно, истинный галакт не должен замечать национальности человека, не существует для галакта такой параметр: национальность, но, наверное, Гавриил Романоаич еще не стал галактом по духу на все сто процентов. Когда-то до войны совсем мальчишкой он национальностей не замечал и был в этом смысле стопроцентным галактом, а во время блокады научился замечать — научили окружающие! — и только тогда он узнал, что в его классе учится несколько евреев.

Ватина как всегда твердит безапелляционно: «Ты меня извини, я не антисемитка, но я же всю блокаду здесь пробыла, и я не помню ни одной продавщицы в булочной — не-еврейки!» Вот этого Гаврик Гнездилов не заметил, хотя и научился к тому времени различать национальности: ходил же он сначала в разные булочные, потом только в свою, когда прикрепили, но кто там были продавщицы — не помнит. А Ватина помнит, хотя моложе на три года. Или сама помнит, или помнит разговоры вокруг. Разговоры все время были: каждый ведь смотрел, не ест ли сосед сытнее, и каждому в чужой руке кусок казался толще.

Про булочные — не факт, но уж про высшее образование — безусловный факт, а факты нужно принимать и объяснять — тем более математику. И Гавриил Романович решил для себя, что именно из-за подозрительности окружающих, из-за противодействия отделов кадров евреи вынуждены выкладываться, не могут позволить себе расслабляться — и потому поступают, потому так много среди них профессоров. И факт интерпретирован, и не стал он расистом! Но все-таки существуют или нет биологические отличия рас и наций? Кстати, вопрос чисто научный, и галакт, когда прибудет на Землю и осмотрится, должен его себе задать. Вот не пьют почти евреи — тоже из-за подозрительности окружающих? (На Украине в черте оседлости этот вопрос интересовал казаков давно, и Славка Снитковский рассказал со смехом, что там ходит поверье, будто естественная жажда присуща каждому человеческому существу, но хитрые евреи знают «волосатый овощ», который отбивает природную потребность. Кстати, сам Славка полуеврей, чем часто бравирует.) А почему негры так здорово бегают — биологическое у них преимущество или нет? И те же негры пользуются среди женщин еще и специфической славой, потому-то, когда у нас появились первые черные студенты, дамы и девицы так на них кидались. Признать умственное преимущество еареев обидно, конечно, ну а признать сексуальное преимущество негров — это как?

6

Гавриил Романович собирался с Ватиной на сентябрь в Адлер по путевкам. Использовать вторую половину отпуска.

Ватина складывала вещи, а Гавриил Романович смотрел «Время» по телевизору. Скучные внутренние новости он почти не воспринимал, ожидая международных. Там всегда сплошные демонстрации и забастовки, а во Флориде и негритянские бунты с погромами и поджогами. Другая жизнь. Гавриил Романович знал, что никогда у нас не будет демонстраций протеста, мы обречены на единодушие. Вот ожидалось что-то после смерти Брежнева — ну и что? Андропов взялся наконец наводить порядок — это правильно. Но начальственными методами — без демонстраций. В кино и магазинах больше не ловят, но пить на заводах стало опаснее — кое-чего добился, значит.

Ватина вечно повторяет: «Я лучше тебя знаю, что тебе надо!» Вот и партия во главе с очередным вождем: всегда все знает за Гавриила Романовича — что ему лучше. Потому с такой завистью смотрит он каждый день по телевизору на демонстрации и забастовки. Поджогов и погромов ему не хочется, но уж лучше даже такие бунты, чем вечная тишина. Да ведь его дом не подожгут, институт не подожгут. Поджигать в стихийном бунте могли бы райкомы или милиции — а это дело внутрипартийное, беспартийного Гавриила Романовича не касается. Нет-нет, он не хочет!!. А все-таки посмотреть бы одним глазом, как из Смольного вытряхивают. Да не будет этого никогда!

Накануне что-то передавали про корейский самолет. Летел-летел — и улетел куда-то в сторону мори. Звучало как-то подозрительно. Гавриил Романович попытался вчера же послушать радио, узнать правду, но слышно было плохо, ни одну станцию не поймал. И Антон пришел поздно — не слушал.

Но сегодня вдруг сказали — в двух фразах, как всегда говорят действительно важные новости: сбили, оказывается, свмолет, сбили! Огромный пассажирский. Вчера хотели скрыть — и не удалось.

Часто врет наша пропаганда. Но тут уж слишком короткий промежуток между враньем и признанием — всего сутки. А потому предельно наглядно. Врут, всегда врут. До чего же лживая страна!

Жалко было и неведомых пассажиров — но не то что бы до боли. Умозрительно жалко. Сильнее было жалко себя. Значит, ничего не изменилось, как был бесчеловечный режим, так и остался. Все-таки Гавриил Романович надеялся на Андропова, но самолеты с тремястами пассажирами не сбивал и Брежнев. Какая уж свобода внутри, какие демонстрации, если уж не стесняются сбивать иностранные самолеты. А уж выйди здесь, в Ленинграде, или в Москве несколько тысяч на демонстрацию, как выходят каждый день то в Риме, то в Париже,— все тысячи и перестреляют из пулеметов. Не будет у нас свободы, никогда не будет! И через сто лет, наверное, не будет!

Себя было жалко, а не корейского самолета.

Ватине он ничего говорить не хотел. Он старается не разговаривать с нею о политике. Но она сама расслышала.

— Вредительство, наверное. Нарочно приказали сбить, чтобы нас опорочить.

Ватина до сих пор верит во вредительство. Сколько ей лет было в тридцать седьмом году? Пять? Да, что в детстве вдолбят в голову — то на всю жизнь. Замечательная вера: в шпионов и вредителей — все оправдывает и все объясняет. В бога Гавриил Романович не верит, но уж лучше даже в бога верить, чем во вредителей! Только вот почему в нем не засела с детства вера во вредителей? Он-то старше, он помнит пионерские сборы про бдительность! И верил он тогда — но сумел разувериться. А Ватина не сумела.

— Ну какое вредительство! Сами сбили, потому что шпиономания аезде.

— Ну да, что же мы дураки — сами? Теперь весь мир будет против нас. Только вредители могли придумать. А они наш самолет собьют в отместку.

«Что же мы дураки — сами?» Логика! Но не правда. А правда в том, что мы сами себе худшие вредители.

— Наш самолет собьют в отместку. А мы завтра, между прочим, в Адлер летим!

Такой проекции на себя Гавриил Романович не предполагал. Он осмысливал происшедшее в связи с судьбами страны, а Ватина — с их собственными.

Все может быть. Тем более, последний отрезок лететь над международными водами, но в то, что завтра их собьют над Черным морем, Гавриил Романович не верил. А а то, что свободы не видеть, что расстреляет у нас милиция любую демонстрацию,— в это не то что верил, это — знал.

Ватина ходила по всей квартире — собиралась. Она все делает заранее, основательно. При ней Гавриил Романович не мог достать свою дерматиновую тетрадь: не объяснить будет, зачем пишет такое. Антон понял, а Ватина не поймет. И вообще — нужно ли сейчас писать? Не ужесточится ли режим в стране — после самолета? Андропов ведь из КГБ, и выходит — сейчас КГБ у власти.

Антон пришел поздно. Гавриил Романович уже шел в ванную перед сном — встретились в прихожей.

— Гробанули, значит,— сказал Антон.— Уже вчера ясно было. Надеялись концы спрятать. При нынешней-то технике! Идиоты полные. Теперь, само собой, дальше гонка вооружений. Недаром у нас на факультете слух, что половину выпуска под погоны. Будем догонять в электронике.

Вот и с другой стороны связь мирового — с семейным.

— И ты пойдешь?

— Пойду, если возьмут. У них хоть условия приличные — у военных. За границу, правда, не будут пускать с секретностью, так кто ее и так у нас видит? Нам нужно или уж совсем уезжать, или уж совсем оставатьсн. Или жениться на еврейке, или уж под погоны. Знаешь? «Жена-еврейка не роскошь, а средство передвижения».

Еще один аспект еврейской проблемы: евреи неожиданно оказались свободнее прочих граждан — и тут устроились!

— Неужели ты бы решился?! Там ведь тоже свои проблемы. По вечерам, говорят, выходить страшно. Преступность — обратная сторона свободы. У нас хоть мафии нет. И безработицы. Зарплата хоть мизерная, зато с гарантией.

Везде диалектика: не бывает, чтобы все плохо или все хорошо. И *у нас* не все плохо, и *у них* не все хорошо! Гавриил Романович и всегда так думал, а сейчас особенно нуждался в напоминании, что и *у них* — не все хорошо!

— Не бойся, скорей всего продамся под погоны. Но — мало ли... Год еще есть на размышления.

Гавриил Романович вошел в ванную. Постоял озадаченный. Никогда еще Антон не заговаривал про *жену как средство передвижения*. И вот — на ходу, как бы случайно. Разве можно такой важный разговор заводить на ходу?! А что если возьмет да уедет? Гавриил Романович препятствовать, разумеется, не станет, как некоторые идиоты-родители. А отговаривать — станет?

Сам бы он никогда не решился сменить страну. Действительно: мафия там и безработица. И вообще привык он. К языкам неспособен. Вот если бы повезло родиться англичанином или шведом — другое дело!..

Поколебавшись, он решил принять ванну перед отъездом. Если Антону тоже нужно в ванную — подождет, ничего. Открыл кран на полную мощность и стал не спеша раздеваться. Волосы на груди уже совсем седые. Он и раньше видел эту скрытую седину, но сейчас разглядел с особенной безжалостной отчетливостью: седые совсем! В сущности, жизнь-то кончается! А что он видел? Правда, и тягот особых не перенес после блокады. Получается, что самые страшные, но и самые великие его годы — с тринадцати до шестнадцати. А дальше нечего вспомнить. Ни хорошего, ни плохого. Скука. Или вернее — покорность. Вечная покорность. Единственное решение он принял, когда выбирал институт после школы. И то пошел по самой накатанной дорожке. Что разрешали — то и делал. Всегда за него знали, что для него лучше. Разве что в партию не вступил — при большой фантазии это можно считать пассивным протестом. И дождался — волосы седые. Видел в телевизоре мелькание совсем другой жизни, видел издали красивых женщин — а женился на Ватине. Так постепенно жизнь и вовсе сойдет на нет — незаметно. При нашей неподвижности ждать перемен нечего. Природе-то что — предназначение свое он исполнил, родил Антонв — род человеческий продолжается, если только нужен природе этот опасный род.

А новый взгляд? Вселенская нравственность, к которой он пришел под стврость? Большинство не приходит, а он пришел!

Интересно, в других мирах галакты ищут смысл жизни? И нашли ли смысл, неведомый нам здесь? Или самые поиски такого смысла кажутся им нелеными?

С точки зрения галакта велика ли разница между жизнью советского гражданина и британского подданного? Больше комфорта — меньше комфорта, легче путешествовать — труднее путешествовать... Свобода на информацию — запреты на информацию, вот это существенно с самой что ни на есть вселенской точки зрения! Информация — главное условие не только достойной, но и просто разумной жизни. Лишая информации, нас, в сущности, исключают из числа разумных существ. Но все-таки и информация — средство, средство, чтобы постичь истинный смысл жизни. Так постигли ли галакты из других миров?!.

Все-таки нужно было дать помыться и Антону. А то Гавриил Романович совсем отключился, забыл про время. Уж не надеялся ли он, что прямо сейчас в ванной свершится чудо и откроется ему истинный смысл жизни?..

Антон, стоя на кухне перед холодильником, пил молоко прямо из пакета. Гавриил Романович вспомнил, как его несло после парного. Антон тоже не переварил бы благополучно. А из пакета — можно. Все они — заложники города.

— Ну чего ты так долго? — позвала из темноты Ватина.

Да, триста человек гробанулись — вернее, сознательно убиты,— а они, трое милых порядочных людей, вполне спокойны. Или так придавлен человек а этой стране, что неспособен к нормальному состраданию и нормальному возмущению? Система еще раз высказала свою подлость и жестокость — и что ж, честный Гавриил Романович испытывает смесь жалости к себе, оттого что придавлен ею, и тайного удовлетворения: ведь он и раньше знал, что система подла и жестока, а удостовериться в своей правоте всегда приятно.

Но уже засыпая, он успел напомнить себе — диалектически,— что помимо мафии и безработицы *там у них* еще и эпидемия наркомании. Как же он забыл про наркоманию?..

Утром перед отлетом Ватина еще пошла в магазин, а Гавриил Романович все-таки не удержался, достал торопливо «Гаврилиаду». Перемены, которые грозили наступить после убийства пассажиров самолета, с утра не казались относящимися к нему лично. Потому что волновали его сейчас мысли не о строе, не о партии. Совершенно абстрактные мысли, никакое КГБ не придерется.

* * *

смысл человеческой жизни в самой жизни в ощущениях что бы ни утверждали моралисты светские и религиозные.

но люди разных духовных уровней удовлетворяются разными ощущениями

кому простые удовольствия еды и секса

кому удовольствия эстетические музыки и живописи

кому удовольствие познания законов природы

кому удовольствия нравственные самопожертвования философии религиозных экстазов

но всегда это раздражение через нервы центров удовольствия поэтому любое самое возвышенное переживание можно свести к эгоизму ну пусть к разумному эгоизму

люди слишком утонченные отсюда делают вывод что жизнь бессмысленна

что нет никакой принципиальной разницы получать ли удовольствие от скотского пьянства или от величайшего самопожертвования

точно так же они не делают разницы между уровнями познания

дескать дикарь умел высекать кремнем искру

мы расщепляем атом

а космические пришельцы научились управлять гравитацией

все эти явления тоже одного порядка они дают удовлетворение от сознания своего могущества и доставляют комфорт

то есть опять-таки доставляют удовольствие путем раздражения нервов

я не согласен в принципе

утверждение что нет разницы между удовольствием алкоголика и удовольствием ньютона открывающего закон тяготения

что нет разницы между могуществом дикаря разжигающего костер и могуществом повелителя галактик сжимающего или разводящего миры

утверждение такое кажется мне пошлостью

но вопрос сейчас не в этом

вопрос в том доступно ли галактам с других миров что-то принципиально совсем другое

что-то несводимое пусть к самому высокому но удовольствию

пусть к самому разумному но эгоизму

если да если доступно

если они вырвались из замкнутого круга разумного эгоизма

то они открыли для себя истинный смысл жизни

* * *

Ватина вернулась вся взмокшая.

— Везде очереди, а приходится по жаре бегать!.. Ну, ты готов?.. Нет, только подумать: ведь я же тебе приготовила надеть синие, а он напялил эти свои салатные, словно с грядки! Я же знаю, какие нужно в самолет! Вдруг там испачкаешь?

Чем можно испачкаться в самолете? Просто Ватина так и не примирилась с брюками, купленными против ее совета.

Зато приземленные брючные страсти отвлекли Ватину от вчерашних страхов: как бы не сбили их самолет в отместку за корейский.

А Гавриил Романович по пути в аэропорт думал о предстоящем полете с легкой опаской, как ни странно. Шанс упасть — один из тысячи,— но ведь и пассажиры того «боинга» сочли бы за параноидный бред, если бы им перед полетом предрекли гибель от советской ракеты...

И только когда приехали, когда узнали, что рейс откладывается на час, когда пошелестел слух в очереди на регистрацию, что срочно сажают каких-то иностранцев, а потому часть билетов перерегистрируют на более поздний рейс — тогда осталось только одно опасение: что не попадут в самолет. Не до страхов перед катастрофами сделалось.

7

В первый же день, как вернулся из отпуска, Гавриил Романович прочитал маленькое объявление на дверях библиотеки о том, что состоится встреча с писателем-фантастом Александром Верником. Так и было написано: «с писателем-фантастом», и в таком уточнении было что-то унижающее Верника — ведь если бы объявлялась встреча со Стругацкими, никаких представлений не потребовалось бы. Верник и в самом деле не Стругацкий, но одну его книжку Гавриил Романович читал. Не то что бы очень понравилось, но, во всяком случае, дочитал до конца. Потому он решил пойти послушать Верника.

Однажды он уже был на подобной встрече. Собралось всего человек десять, вышла женщина неопределенного возраста, стала говорить какие-то общие слова о правде в искусстве — Гавриил Романович уже жалел, что пришел. Разговор каким-то образом зашел о блокаде — но что нового о блокаде можно рассказать ему, все испытавшему, таскавшему санки с водой от Невы, когда приходилось от проруби подниматься по наледи, в которую вмерзали трупы?! Да еще так *удачно* бывало, что труп торчал как спасительная ступенька, без которой не выбраться из ледяной воронки,— и он наступал на *ступеньку*. Но писательница прочитала отрывок о том, как ее героиня работала во время блокады в известном ателье, называвшемся среди ленинградцев «Смерть мужьям», и шили в нем не телогрейки, а роскошные женские туалеты, такие же, как до войны,— шили не только для местных заказчиц из Смольного, но и отправляли самолетами в Москву! [1]

Когда чтение закончилось, наступило особенное молчание. Всем было тягостно. И страшно обсуждать вслух, *чьи* жены вывозили бальные платья самолетами из умирающего Ленинграда... Библиотекарша Ольга Ивановна первой пришла в себя и сказала поспешно:

— Встреча закончена, поблагодарим нашу гостью.

Все с облегчением зааплодировали.

Гавриил Романович подошел к писательнице. И еще двое-трое.

— Скажите, а этот случай... это ателье... там действительно?..

— Разве можно такие вещи выдумывать? Про блокаду вообще нельзя ничего выдумывать, это даже кощунственно. Я сама работала, как моя героиня. Да просто я написала про себя, можно было и имени не менять.

Сам же Гавриил Романович в апреле сорок второго по счастливому случаю пообедал в закрытой столовой, где на столах в вазочках лежали пирожные,— и все-таки ему понадобилось сделать некоторое усилие над собой, чтобы поверить. Но он сделал — и поверил! И навсегда запомнил ту встречу. А ведь пришло-то всего несколько человек — не знаем мы, где можно услышать настоящее!

На Верника собралось даже гораздо больше. Преобладали преподаватели, несколько студентов расположились в последних рядах. Со своей кафедры Гавриил Романович не встретил никого. Спрашивал он Нинушу, не пойдет ли она, но нет — она же читает только такую фантастику, которая выдает себя за чистую правду.

Верник оказался на вид примерно ровесником Гавриила Романовича. Тоже не Бельмондо, но все измерения процентов на двадцать пять превышают таковые же у Гавриила Романовича — и по вышине, и по толщине. А одет почти неряшливо: костюм хотелось отдать в чистку и утюжку, грубый свитер под пиджаком свисал как мешок. За Верником семенила библиотекарша Ольга Ивановна, как шлюпка за угольной баржей, но Верник не стал дожидаться ее вступительных слов, как-то очень основательно уселся и заговорил без малейшей паузы:

— Вы, конечно, спросите, как я дошел до жизни такой, что стал писать романы, да еще фантастические...

Чувствовалось, что вступление у него давно обкатано...

Гавриила Романовича эта эпидемическая фраза «Как дошел до жизни такой» раздражает точно так же, как «информация к размышлению», как рецепт пирога, который необходимо «взять на вооружение», или вот еще «вопрос на засыпку». Он нарочно поинтересовался: оказалось, «Как дошла ты до жизни такой?» — вопрошает Некрасов падшую женщину — знали бы любители красивого слога, с кем себя невольно сближают! Знал бы Верник!

Раздосадованный Гавриил Романович не очень прислушивался к биографии Верника, но, впрочем, уловил, что тот по образованию биолог, но еще в детстве сидел под столом и слушал, как папа читает вслух Жюль Верна. Сообщив с излишними подробностями свою биографию, Верник принялся энергично читать рассказ.

И рассказ Гавриилу Романовичу с первых же слов не понравился, потому что действие в нем происходило в Америке.

Гавриил Романович всегда старался не питать излишних иллюзий относительно Америки, с удовлетворением убеждался в существовании там подлинных, а не раздутых нашими продажными пропагандистами проблем — без культивирования в себе такого трезвого взгляда на Америку жить было бы совсем уж невыносимо. Но об Америке должны писать американцы. Они это и делают, и очень критично делают! Гавриил Романович любит читать американских писателей, но никогда не стал бы терять времени, если бы Стейнбек или Сэлинджер написали роман о наших лагерях. И если бы Солженицын написал об убийстве Кеннеди — тоже. (Помимо изданного «Ивана Денисовича» Гавриил Романович читал «Раковый корпус» и «В круге первом»; а вот «ГУЛАГ» мог достать, но побоялся: источник показался не очень надежным.)

---

[1] Такой эпизод сохранился в черновом варианте книги покойной ленинградской писательницы Нины Петролли.

Рассказ был об американском военном летчике, в пальцы которого вживляют маленькие глаза, чтобы зрячие пальцы могли мгновенно реагировать на ситуацию — быстрее, чем сигнал дойдет от глаз по длинной рефлекторной дуге. Боевая ценность летчика, в результате, неимоверно возросла.

Очень скоро Гавриилу Романовичу сделалось ясно, что летчик не вынесет такого надругательства над собой,— и точно: сначала взбунтовалась его любимая, которой отвратительны стали зрячие пальцы,— кстати, фантазию на тему об интимных ласках глазастых пальцев можно было бы и развить, но Верник для этого слишком советский писатель; а скоро и сам летчик возненавидел свои руки, ставшие как бы независимыми,— и отрубил их с помощью специальной машины для разделки мясных туш: Верник предусмотрительно поместил рядом с авиабазой бойню...

Мерзостное осталось ощущение.

Раздались два-три хлопка, и Ольга Ивановна пригласила задавать гостю вопросы.

Сначала вопросы следовали вежливо-скучные, и вдруг один из немногих студентов спросил из заднего ряда:

— А зачем у вас действие происходит в Штатах? Вы долго там жили?

Гавриил Романович был доволен, что такой вопрос задан. Сам он спрашивать не собирался, он не умеет задавать неприятные вопросы в лоб — но хорошо что нашелся человек, воспитанный иначе.

Ольга Ивановна сразу встала.

— А кто спросил? Зачем вы прячетесь за спинами? Покажитесь, кто спросил!

— Ну я спросил, а что?

Поднялся патлатый парень с сонно-презрительным лицом и сразу же прислонился к стенке, словно ему трудно было держать вертикально свой слишком длинный позвоночник. Гавриил Романович испытывал точно такое же чувство, как недавно в метро: нужные слова сказаны, но тот, кто эти слова произнес, вызывал у него резкую антипатию.

— Нужно поучиться сначала разговаривать, вот что! — Ольга Ивановна повернулась к Вернику.— Не отвечайте, пожалуйста, Александр Борисович! Я извиняюсь от имени присутствующих. Такой недопустимый тон!

Но Верник наигранно-благодушно махнул рукой:

— Ну что вы, я отвечу. Запрещенных вопросов нет, на то я сюда и пришел. С удовольствием отвечу... Видите ли, молодой человек, я бы, разумеется, не решился писать реалистический рассказ из американской жизни, показывать ее изнутри, как мы говорим. Но фантастика дает особые права. Когда-то было выражение — «поэтическая вольность». Давно уже его не слышно, видно, современным поэтам вольности не нужны.— Рассчитанная пауза для смеха аудитории.— А я считаю, что существуют еще и «фантастические вольности». Мы ведь запросто переносим действие и на Марс, а это еще гораздо дальше, чем Америка.

Софистика! Потому что нет никакого общего Марса: у наших получается советский Марс, у американцев — американский Марс.

То ли неприятный студент прочитал мысли Гавриила Романовича, то ли мыслили они параллельно, но он не успокоился:

— Бредбери пишет про Марс, но у него социальное предупреждение — прежде всего для западного мира. А у Алексея Толстого — революционная романтика двадцатых годов. Совсем по-разному. А про нашу жизнь Бредбери не пишет.

Ольга Ивановна замахала руками:

— Александр Борисович уже исчерпывающе вам ответил, достаточно. Не всем интересно вас слушать, у других товарищей тоже есть вопросы.

И точно, поспешно встала пожилая женщина из породы энтузиасток. Она не то заведует секцией кактусов в институте, не то аквариумными рыбками.

— Как вы, Александр Борисович, как фантаст представляете будущее экологии? Ведь даже заповедники скудеют! Вы сами знаете как писатель!

Верник закивал головой, как бы подхватывая ее слова:

— Да-да, и заповедники уже не заповедуют! Я прекрасно понимаю вашу тревогу. Все мыслящие люди в тревоге. Люди задумались. Но когда человек задумывается впервые, особенно неспециалист, он склонен свою мысль преувеличивать, абсолютизировать. Профессионал не впадает в крайности, в крайности впадают дилетанты. Например, сколько разговоров о джунглях Амазонки: это легкие планеты, нельзя их вырубать! Особенно кричат американцы, между прочим. Но, товарищи, леса эти принадлежат Бразилии, развивающейся стране, освобождающейся от диктата империалистов,— у нее свои проблемы, быстро растет население: нужны земли, нужно сырье, нужна валюта. Словом, не нужно впадать в панику! Положение серьезное, но я оптимист.

До чего же Гавриил Романович сейчас ненавидел этого самодовольного неопрятного типа! Все в нем ненавидел. Писатель! Наняли тебя облаивать империалистов, ты и стараешься. Был бы Зазроев, сейчас бы шепнул: «И тут еврей пролез!» Конечно, национальность не имеет значения, но все-таки различил Гавриил Романович и национальность, вообразил шепот Зазроева... Бразильцы вырубят джунгли, оставят планету без кислорода — им можно, раз они «освобождаются от империалистов»! Размножаются как кролики — поэтому нужно расчищать место для своих крольчатников! Так лучше не размножайтесь!..

Но бесполезно затевать спор: всегда последнее слово остается за тем, кто отвечает на вопросы, а не за теми, кто их задает. Это нужно назвать *эффектом кафедры:* кто вещает с возвышения, кто захватил трибуну — тот и прав, тот и самый умный в зале. Католики провозгласили на этот случай специальный догмат: папа, когда *говорит с кафедры,* непогрешим. Обычно забывают эту оговорку, но все дело именно в кафедре — папа без кафедры немногого стоит.

Впереди по коридору шел тот самый патлатый студент, который задавал Вернику неприятные вопросы. И походка у него была именно такая, какой должна была быть: расслабленная, выражающая презрение к окружающему, ко всему миру — за исключением таких же плюющих на все юнцов! Если и не наркоман, то завтра станет наркоманом, потому что у таких нет нравственных запретов, нет духовного иммунитета к пороку.

Верник и этот хиппи — взгляды у них противоположные, а неприятны оба одинаково. Выходит, не только в единомыслии или разномыслии дело? Выходит, важнее просто личность? И если возможен отвратительный единомышленник, возможен и приятный оппонент?

* * *

удивительно для всякого галакта ханжество связанное на нашей земле с производством потомства

почему предназначенные для этого органы считаются неприличными почему их надо прятать почему названия их суть грязные ругательства

должно быть наоборот эти органы должны казаться самыми прекрасными но прекрасными нам кажутся только органы размножения у растений

кстати когда дарят женщинам цветы не есть ли это сложная метафора явный намек на их скрытые прелести

наверное подобия земной стыдливости нет больше во всей вселенной

когда галактический путешественник вернется к себе и расскажет ему просто не поверят

говорят в африке было племя которое считало неприличным есть на людях для принятия пищи эти дикари уединялись так же как мы уединяемся в уборной

нам смешно но по сути этот обычай ничуть не нелепее наших

но въелось это настолько что сказать давайте отбросим стыд сейчас глупо и невозможно

теоретически я понимаю нелепость нашей стыдливости но сам я не останусь голым на пляже

и видеть других голыми тоже не хотел бы за исключением милых стройных молодых девушек

а совокупляющимися не хотел бы видеть и девушек

видимо галакту нужно понимать значение местных предрассудков

понимать что этикет может оказываться превыше разума

я сам понимаю нелепость стыдливости но сам до крайности стыдлив

точно так же теоретически я понимаю что люди должны постоянно расходиться во мнениях

что стопроцентное единогласие противоестественно

но именно у нас единогласие сделалось нерушимой традицией

верховный совет установил непобиваемый рекорд монолитного единства без малейшей трещины

так что нарушить единогласие у нас так же невозможно как публично раздеться при людях

в других странах голосование против есть проявление нормального спора

у нас голосование против выглядело бы разрушением ритуала

потому что у нас депутаты не обсуждают будничные дела но снова и снова приносят клятву на верность нашему строю

разница такая же как между цветами и человеческими гениталиями

то и то органы размножения но из разных царств растительного и животного

между социализмом и капитализмом разница такая же как между флорой и фауной

и окажись я в верховном совете понимая всю неестественность единогласия я бы голосовал со всеми

потому что советский этикет другого поведения не допускает потому что голосование против такое же неприличие как появление в кремлевском дворце голого человека

* * *

Да, хотел взглянуть на проблему приличий и предрассудков свободным галактическим взглядом — а оказался нечаянно в Верховном Совете. Никак не ожидал Гавриил Романович такого перехода. Можно сказать, нырнул в море у сочинского пляжа — а вынырнул во Дворце съездов.

Но переход изящный. Ведь мыслил вполне свободно — и с позиций полного свободомыслия сумел оправдать несвободу системы. Искренне оправдать, что самое ценное.

У них демократия и нудисты на пляжах. *У нас* ни демократии, ни нудистов. Нудно так жить, зато надежно.

И кстати, если вспомнить вопрос дамы-кактусоводки, все-таки природу у нас губят меньше, чем на Западе. Их интенсивная система заставляет работать изо всех сил, извлекать сверхприбыль — ни с чем не считаясь. А у нас работают плохо, расслабленно — зато нашей природе легче. В Нью-Йорке и Токио люди падают в обмороки на загазованных улицах, а в Ленинграде воздух приличный; Эри и Онтарио мертвы, а в Ладожском озере самая вкусная вода в мире!

Вот если уедет Антон — машину-то иметь будет, а невской воды где попьет?..

8

Иногда так хочется чем-нибудь заболеть! Только для того, чтобы нарушился неизбежный ход вещей: *не-ехать* утром в институт, *не-читать* лекций и *не-проводить* семинаров, *не-заходить* на обратном пути в магазины... Зато *да-лежать*, никуда не торопясь и не имея никаких обязанностей, *да-читать*, хоть новые журналы, хоть недочитанных десяти- и двадцатитомных классиков... Отпуск — уже не то, в отпуске возникают свои обязанности: куда-то ехать, на что-то смотреть. Блаженные воспоминания остались от болезней детства. Тяжелы бывали только первый день или два, зато потом наступало какое-то нереальное состояние — лежишь днем при полном свете на особенно чистых простынях, разглядываешь комнату, и с кровати комната кажется немного незнакомой; и еду мама ставит на стул около кровати особенную — *легкая пища* называется.

Вот и сейчас он непрочь был подхватить какой-нибудь порхающий вирус.

Но совершенно неожиданно Гавриил Романович не простудился, а сломал руку. Можно было заподозрить его подсознание, что оно нарочно подтолкнуло его, но нет: он мечтал о безмятежной простуде, а гипсовый желоб, в который упаковали его руку, доставлял столько неудобств, что ни малейшего удовольствия от боления таким способом Гавриил Романович не испытывал. Да и в самих обстоятельствах, при которых он упал, нельзя не усмотреть ехидства судьбы.

Он очень любит бананы, и вот, выходя из метро у себя на «Приморской», он увидел в ларьке бананы, но, разумеется, с приличествующей такому заманчивому фрукту очередью. Когда-то он был молод и имел пылкие страсти, так что способен был выстоять час за бананами, но с годами кровь поостыла, желания уже не те, и томиться в очереди целый час он больше не способен. Гавриил Романович прошел мимо, слегка сожалея об утихнувших страстях, и так задумался, что поскользнулся на банановой кожуре — кто-то поторопился съесть перезрелый банан, ну а культура... Что говорить о культуре, особенно в новых спальных районах. Хорошо хоть, сломал левую руку — и писать мог, и держать ложку.

Первую неделю после перелома Гавриил Романович не ходил в институт. И почти не спал, не зная, куда девать ставшую как бы чужой руку. Рядом спала Ватина. Она не храпела, а как-то хлюпала горлом, как помпа, качающая воду из подвала... И есть же счастливцы, чьи жены так и остаются прекрасными возлюбленными?

За стеной слышно, как часов до двух возится Антон. Если не до трех. Он имеет обыкновение заниматься по ночам и курит, курит... В кого он пошел? В любой педагогической прописи утверждается, что вредные привычки приобретаются в семье, но ни Гавриил Романович никогда не курил, ни Ватина. Ведь стопроцентно доказан вред курения — и тем самым еще для юного Гаврика вопрос был исчерпан. Всегда хотелось надеяться: дети будут умнее нас, дети будут счастливее нас. Идеология двух последних поколений: жертвовать собой ради будущего, ради детей. Гавриил Романович смотрел на курящего Антона и сомневался: смогут ли дети стать умней и счастливее?

* * *

удивительно людское почтение к вредным и даже диким обычаям

опасно неудержимое размножение но даже у голодающих народов в обычае иметь по десять детей

обычаи курить и принимать алкоголь такие же нерушимые и почитаемые и миллионы считают что раз им нравится значит пить и курить их священное право

но тогда можно оправдать воров и убийц так как им нравится воровать и убивать и это тоже древний обычай

кстати курение и алкоголь убивают гораздо больше чем все убийцы вместе взятые

а уж обычай разноязычия убил стольких что никогда не сосчитать

с точки зрения галакта абсолютно безразлично какое из существующих наречий станет единым языком землян важно чтобы кончился многоязычный хаос

единый язык это девять десятых пути к слиянию в единый народ и прекращению национальной розни

прямая связь существует между языковой рознью и бесконтрольной рождаемостью убивающей природу и саму землю

пока существует языковая рознь сокращение рождаемости может происходить только по тем же принципам что и разоружение то есть на основах взаимности

потому что рождаемость важнейшее оружие каждого народа в борьбе за выживание и если рождаемость сократится неравномерно это приведет к вытеснению одних народов другими

если бы не жесткая крепостная система прописки в москве и ленинграде образовались бы целые районы узбеков или армян

как в лондоне индийские и негритянские кварталы

точно так же заселялась бы пустующая среднерусская равнина

но мирно бы такое заселение не произошло

на взгляд галакта безразлично кто будет заселять наше многострадальное нечерноземье

может быть какой-нибудь галакт-эксперт по земным делам даже сказал бы что заселение узбеками или армянами предпочтительнее так как это представители более древних культур

достаточно сравнить загаженные наши церкви и бережно хранимые армянские даже те в которых нет службы

но глупо требовать от местного валдайского населения галактической беспристрастности

да и мне честно говоря было бы грустно если бы вместо старого валдая образовалась бы новая армения

хотя армению настоящую я очень уважаю

значит я еще не до конца галакт но нужно стараться воспитывать себя

но и настоящий галакт должен считаться с местными предрассудками даже понимая их нелепость

* * *

Через неделю после перелома Гавриил Романович стал снова ходить в институт, бережно нося упакованную в гипсовый желоб руку. Официально он числился на бюллетене, а потому ездил позже, когда в метро нет давки.

На кафедре он застал некоторое смятение: ждали приезда американцев! Ректор назначил кафедру математики в число трех или четырех *встречных кафедр* («Это в нем еще не перебродили до конца *встречные планы*»,— объяснил Славка Снитковский). На всех *встречных кафедрах* срочно навели косметику, так что преподавательская поразила ничего не ведавшего Гавриила Романовича нежно-розовыми стенами вместо прежних тускло-зеленых. «Цвета губной помады для блондинок»,— объявила Нинуша.

Срочно утрясались кандидатуры студентов, которым можно доверить выступления на семинарах — если американцы удостоят семинары своим присутствием: во-первых, чтобы хорошо смотрелись, во-вторых, чтобы отличники, в-третьих, чтобы общественники, потому что вдруг американцы захотят с ними побеседовать?!

— А как американцы оценят их отличные ответы? Ведь не понимают же они по-русски,— усомнился Гавриил Романович в качестве свежего человека.

Колонна ответила классически:

— Пусть пишут на доске побольше формул!

Гавриил Романович раздумывал, как ему одеться для американцев, учитывая руку в гипсе, но вдруг на этот счет вышла неожиданная резолюция профессора Рывкина:

— Вам, дорогой Гавриил Романович, лучше не показываться гостям. Как-то выйдет неживописно: сломанная рука. Еще подумают что-нибудь не то. Что у нас не хватает здоровых преподавателей или что не дают больничных при травматизме. Ну а главный момент эстетический: как-то неживописно.

— И вообще, пусть думают, что у нас не ломаются руки,— сказал Славка.— Что советские кости — самые прочные в мире.

— Ах, все готовы вышутить в наше время,— поморщился Рывкин.— Никто не говорит про советские кости. Но вдруг у них вместо гипса давно уже что-нибудь другое? А мы все еще как при Пирогове.

Гавриил Романович вовремя удалился в библиотеку: по причине тесноты и аварийности перекрытий библиотека не была включена в маршрут. А поскольку библиотека — такое место, куда гости могут и сами напроситься, на дверях предусмотрительно повесили табличку: «Санитарный день». Специально изготовили новую — и на двух языках, что самое забавное.

Гавриил Романович спокойно сидел в библиотеке, когда явилась запыхавшаяся Нинуша:

— Срочно вас к гостям, Гавриил Романович!

— Для чего? Я же неживописный!

— У американцев одна в кресле на колесиках: со сломанным бедром. Так чтобы видели, что и у нас энтузиасты науки.

Американцы сидели в кабинете у Рывкина. Тут же и почти вся кафедра. Но первое впечатление было, что наши преподаватели принимают американских студентов. Сидели все вперемешку, и только американка со сломанным бедром поместилась в своем инвалидном кресле в стороне, около огромного кабинетного окна. Она даже слегка покатывалась туда-сюда и вид имела крайне довольный, а мелкие кудряшки, хотя и совершенно седые, делали ее похожей на девочку, и довольно-таки капризную девочку.

— А, вот и наш коллега мистер Гнездилов,— прервал сам себя профессор Рывкин.— Он задержался, потому что... потому что у него была перевязка для его сломанной руки. Я ведь не ошибаюсь, коллега Гнездилов?

Что оставалось делать Гавриилу Романовичу? Он кивнул.

— Как видите, коллега Гнездилов такой энтузиаст своей науки, что даже фрактура руки не может удержать его дома. И у вас, и у нас, как видите, нет недостатка в бескорыстных энтузиастах науки.

Все засмеялись как хорошей шутке.

— Это подает надежду мне, что мы поймем друг друга. Тем более, что национальной математики не существует, как и классовой математики. Мы говорим на общем языке формул и в НАТО, и в Варшавском договоре, наш язык более универсален, чем эсперанто.

Все опять засмеялись, а американцы еще и закивали головами. Наши головами не кивали: конечно, все здесь согласны, что классовой математики не существует, но нужно ли это особо подчеркивать?

Произносил Рывкин свой спич по-русски, но на каком-то странном русском: почти что с акцентом, и обороты какие-то ломаные, и иностранные слова не к месту: «фрактура» почему-то, а не «перелом». Удивила и некоторая игривость речи Рывкина, вообще-то ему совершенно не свойственная, как и обращение «коллега Гнездилов», отчего и самая речь, и вообще встреча показались Гавриилу Романовичу не совсем настоящими, что ли. Вообще лучше деловито сотрудничать без лишних слов, чем витийствовать о пользе сотрудничества.

Гавриил Романович еще осматривался, куда присесть, как дверь распахнулась и Нинуша вкатила столик с кофе и крошечными пирожными, какие, конечно, не продаются в институтском буфете.

— О-о,— стали восклицать американцы,— какой изящный прием! Вы всегда едите птифуры, да?

Все снова засмеялись.

— Мы еще не догнали Запад по голодным диетам,— не растерялся Рывкин,— но стремимся. Тут наша вечная продовольственная проблема: мы слишком много едим.

Опять всеобщий смех. Сколько можно смеяться?

Нинуша расставила чашечки на столе для кафедральных заседаний, а последние вместе с двумя пирожными подкатила к инвалидному креслу. Беседа разбилась на диалоги. Гавриил Романович сообразил, что развлекать пожилую леди в инвалидном кресле предназначено ему. Он подтащил к креслу свободный стул, на ходу составлял вступительную фразу и невольно впадая в тот же игривый тон, который только что раздражал его в речи Рывкина: «Хорошо, что мы математики, а не физики-экспериментаторы, не правда ли? А то представляете, как бы мы с вами выглядели со своими гипсами где-нибудь около синхрофазотрона?» Что-нибудь в этом роде. Но вовремя сообразил, что его разговорный английский слишком беден для такой фразы,— и потому заговорял со спартанской серьезностью и краткостью:

— Какой проблемой вы занимаетесь?

— Ах, проблемы,— беспечно махнула рукой леди.— В жизни одни проблемы...

Дальше Гавриил Романович не улавливал дословно, но общий смысл был тот, что когда-то леди и сама пыталась разрешать проблемы, но теперь от этого устала, теперь она на каком-то контракте, поэтому сама не исследует, а только передает студентам то, что уже открыли до нее, а проблемы пусть мучают молодых, проблемы аккумуляторов хватит на целое поколение...

Тут-то он наконец сообразил, что американцы вовсе не математики, и зря Рывкин вольнодумно напоминал про общность функций Пуанкаре по обе стороны «железного занавеса»! Будь они математиками, их повезли бы на матмех... Впрочем, какая разница? Выпили кофе, поулыбались — и все прекрасно.

Гавриил Романович составлял в уме следующую фразу — теперь уже светскую, о красотах Ленинграда. А в кабинете закурили. Пожилая леди недовольно обмахивалась — она явно не одобряла табачного дыма, да и вслух сказала что-то в том смысле, что неприлично делать посторонних людей пассивными курильщиками, заложниками раковой угрозы. Тут-то Гавриил Романович расхрабрился: он же свободный человек, так почему бы ему не вывезти леди из дымного кабинета, почему не поговорить с нею на чистом воздухе, вне надзора Рывкина и Колонны? И он спешно пересоставил следующую фразу: «А хорошо бы нам отсюда выйти и поговорить на свежем воздухе». «Выйти» — неуместный глагол для леди на колесиках, и тут как раз кстати вспомнилось слово slip — «ускользнуть». Но не успел он закончить фразу, как пожилая леди расхохоталась на весь

кабинет, да еще так, как хохочут только пожилые леди: с подвизгиваниями, с дребезжанием, так что казалось, вот-вот что-то треснет у нее внутри. Все замолкли и обратились на нее.

— Что случилось, мисс Клейтон? — заранее улыбаясь, спросил американец, сидевший рядом с Рывкиным.— По-видимому, наш русский коллега необыкновенно удачно сострил?

Она, оказывается, мисс.

— Коллега сказал, что хорошо бы нам с ним переспать вместе! Пря моей ноге и его руке! Я не надеялась, что русские наделены таким прекрасным юмором!

Тут уж захохотали все.

Вот в чем дело: sleep («слиип») и slip («слип»). Конечно же, Гавриил Романович не силен в произношении.

Он самым пеленым образом покраснел, а пожилая мисс продолжала дорисовывать картину:

— С моей ногой! И с его рукой! Надо продать идею продюсеру из порнобизнеса: любовь загипсованных. Такого фильма еще не было!

За каждой фразой возникала новая волна хохота, а мисс взвизгивала громче всех.

Надо было что-то сказать, объяснить!

Но, уловив паузу между взрывами смеха, встал проректор по науке — оказывается, и он сюда затесался:

— Леди и джентльмены, математики оказались очень гостеприимными и остроумными,— кивок в сторону Гавриила Романовича,— они развеяли миф, будто математика сушит. Но время, леди и джентльмены, время! Нас ждут на кафедре трансмиссий. Потому позвольте поблагодарить профессора Рывкина и его коллег.

Американцы, все еще смеясь, стали подниматься. Когда они встали, еще больше поразила их моложавость — почти сплошь студенты и аспиранты на вид. Мисс Клейтон выкатили первой. В дверях она повернулась и послала Гавриилу Романовичу воздушный поцелуй. О, господи!..

Едва вышел последний американец, все обступили Гавриила Романовича. Колонна почти навалилась на него и теперь уже хохотала от души, так что волны жира перекатывались под обтягивающим платьем.

— Ой, Гавриил Романович, не ожидала от нас такого! Действительно — картина. Но и если ждать, пока гипс снимут,— слишком долгий тайм-аут получается!

Зато профессор Рывкин улыбался кисло:

— С чего это вам вздумалось так рискованно шутить, Гавриил Романович? — Уже не «коллега Гнездилов».— Не знал за вами таких склонностей. Что о нас подумают?

— Что вы, Иосиф Абрамович, очень хорошо! — все еще сотрясалась Колонна.— Раньше бы — конечно, раньше бы за такие шуточки!.. А сейчас — очень хорошо! Пусть знают, что мы здесь живые люди, а то изображают коммунистов какими-то идейными мумиями!

Наконец Гавриил Романович смог объясняться:

— Она просто не поняла — эта мисс. Я имел в виду «слип» — короткое «и», а она поняла как длинное.

— «Не поняла». Не хотела понять! В ее-то годы, а все еще мисс. Тут что угодно поймешь в длинном смысле. Она и поняла, что будете долго спать. Или еще хуже вообразила — с длинным-то.

Когда Колонна дорвется до сальностей, ее не остановить. А Рывкин, наоборот, не любит постельных тем.

— Что у нас в группах делается, Нина Евгеньевна?

— Встречная группа, которую для американцев составили, сидит ждет,— отрапортовала Нинуша.— А остальных отпустили, потому что преподаватели все здесь.

— Часов не хватает, в программу не укладываемся, а время транжирится,— ворчал Рывкин.— Что же, и товарищей преподавателей теперь отпускать вслед? На волю, в пампасы?

Никто не обратил внимания на профессорский сарказм — разбежались как школьники.

— Вот и от американцев польза! — засмеялся кто-то.

Славка Спитковский остановился в коридоре вместе с Гавриилом Романовичем.

— Жалко, увезли их быстро! Познакомиться бы, может, кто-нибудь приглашение прислал бы. Сейчас пускают иногда по приглашениям. Вот эта мисс тебя бы пригласила!

— К этой мисс меня бы точно не выпустили: решили бы, что хочу фиктивно жениться и остаться там. Тем более, после этой моей якобы шутки.

— Да уж, шутку тебе впишут в досье. Будешь числиться сексуальным маньяком. С мужиком бы познакомиться. Рядом со мной сидел парень — доктор в двадцать пять лет. Чего ему стоит — пригласить?

— Ты как невеста: ждешь, кто бы замуж взял.

— А что делать? Хоть бы так съездить. Моя еврейская родня до противности сozна-

тельная: никто не уехал до сих пор, половина вообще — члены партии. Знаешь анекдот: два еврея плывут на встречных пароходах — и оба вот так пальцами крутят!

Славка покрутил пальцем у виска.

Он всегда рассказывает еврейские анекдоты словно с каким-то вызовом, а Гавриил Романович при Славке ответить таким же анекдотом не решается: вдруг тот обидится, хоть и пытается бравировать?

Подошла Нинуша.

— И как эту старуху со сломанной ногой медкомиссия пропустила?! У нас бы ни за что не выпустили за границу в таком виде!

Гавриил Романович уставился на нее в удивлении: до сих пор он не замечал за Нинушей склонности к иронии. Да нет, она говорила серьезно. И какая ирония может быть у человека, искренне верящего в *космических доброжелателей!* Он собрался было объяснить назидательно, что *там у них* нет выездных комиссий, но Славка опередил:

— При капитализме же все продается и покупается! А медкомиссии — тем более.

— Выходит, очень хотела поехать, если еще и на взятку комиссии потратилась. Мы сами себя не ценим, а к нам весь мир рвется — посмотреть.

— Не говорите: рвалась посмотреть на передовую державу, приехала — и сразу же подверглась приставаниям нашего инвалидного донжуана.

— Ну что вы, Святослав Борисович, она просто не так поняла, эта старуха. Гавриил Романович у нас не такой! — очень серьезно возразила Нинуша.

Нинуша уверовала в инопланетян, покровительствующих меньшим братьям по разуму,— и утешилась. Похоже, ей даже нравится положение покровительствуемой младшей сестры... А Гавриил Романович чувствовал себя сейчас шоколадным туземцем, проводившим лакированный автобус с белыми туристами. Белым людям умилительно, что туземец так затейливо татуирован, что он такой сообразительный,— они поумилялись и поехали ужинать в свой отель только для белых, а туземец вернулся в свою хижину.

Но туземец, может быть, и не знает, что он такой же человек, как белый турист, а Гавриил Романович, к своему несчастью, знает...

Вот ведь как: приходится напоминать себе, что внутренняя свобода уравнивает всех — не только советских кандидатов с американскими бакалаврами и магистрами, но и слабых землян с могущественными галактами. Уже однажды понял, уговорил себя — но приходится уговаривать снова и снова.

* * *

пока мы вооружены мы безнадежные дикари любой галакт посмотрит на нас с удивлением и брезгливостью

особенно удивится галакт когда поймет что каждая сторона считает агрессором другую

ну если вы оба не хотите нападать скажет галакт так объясните это друг другу

а объяснить-то и невозможно

разумному галакту не понять дикаря с его предрассудками

самая утонченная психология рабская

утонченная и извращенная

раб находит в своем рабстве мазохистские наслаждения

потому-то достоевский родился в россии

психология свободы проще и прямее

потому у нас был достоевский но не было джека лондона

а у американцев был лондон но не было достоевского

а для галакта все земляне рабы

как же ему понять рабскую психологию когда при взаимном страхе легче убить друг друга чем договориться

мы-то знаем что советский союз действительно хочет мира

вторжения в венгрию и чехословакию печальные события но это не были внешние агрессии это приведение к покорности своих сателлитов

и нынешняя молчаливая война в афганистане не угрожает европе

но спросите любого прохожего и почти каждый уверен что американцы хотят напасть на нас

как ему объяснить что американцы точно так же не хотят нападать на нас как мы на них

взаимный страх усиливает существование военной тайны

ведь каждая сторона подозревает что втайне готовится новое небывалое оружие

пока остается военная тайна невозможно разоружение и асе призывы к разоружению лживы и лицемерны

за тысячелетия человеческой истории все так привыкли обожествлять военную тайну так привыкли думать что сохранение тайны главное условие безопасности

что невозможно объяснить что военная тайна стала главной опасностью нашего времени

если все-таки не случилось новой войны то во многом благодаря шпионам которые успокаивают свои правительства

шпионы сообщают что ничего необычайного противники не изобрели что уровень вооружений примерно равный

поэтому не судить надо шпионов не казнить а награждать орденами дружбы народов

для отказа от военной тайны нужно появление двух равновеликих государственных деятелей с обеих сторон

но андропов сбив самолет показал что неспособен отказаться от военной тайны

а вдруг он просидит лет двадцать как брежнев

есть ли у нас тогда шанс выжить

только если шпионы смогут кое-как успокаивать и дальше свои перепуганные правительства

поверить правде можно только через шпионов такова извращенная рабская психология землян

разве понять такое свободному а потому прямодушному галакту

* * *

Вот так вот — взял и записал в «Гаврилиаду» правду про Андропова!

Надоело бояться. Надоело быть рабом.

И ведь он ничего такого не делает и не говорит вслух, чтобы КГБ пришло к нему с обыском.

Как говорит Ватина, когда в ее библиотеке происходит очередная выбраковка книг по диссидентскому списку:

«Если кто хочет чего унести — уноси молча. А кто советуется — тому не советую».

9

Гавриил Романович сам заметил за собой, что призрачная действительность размышлений, беспрестанно пополняющих «Гаврилиаду», постепенно сделалась для него важнее той действительности, в которой он существовал реально — на кафедре, дома. Да и можно ли назвать событиями те эпизоды, из которых состоит его жизнь?

Наверное, это плохо: вести столь монотонную жизнь, в которой *ничего не происходит*. А многие ли счастливцы ведут жизнь другую, событийную?

Разумеется, склонен он был к размышлениям и раньше. Но прежние его размышления бывали эфемерны: ну, подумал, ну, поспорил со Славкой Спитковским. Размышление же, прикрепленное к бумаге, становилось как бы зачатком поступка, зачатком не развившимся в действие — пока.

Но даже зачатки поступков уже казались более важными и даже более реальными, чем действительные происшествия. Само по себе это бы ничего, но не нескромно ли то, что мысли, трудолюбиво прикрепляемые к бумаге, по своим масштабам никак не соответствуют реальным эпизодам, составляющим всем видимую законную жизнь Гавриила Романовича Гнездилова?

Если бы устроилось так: совершил большое дело — открыл новое ядерное превращение, например, или построил новый город в пустыне, или слетал в космос — и получил за это право на пропорционально значительную мысль. А то что же: ничего заметного не совершил и не совершает, скромный кандидат наук без докторских перспектив,— да в стране миллионы таких, снисходительно называемых «хилыми интеллигентами» или более неодобрительно — «гнилыми интеллигентами». Так по какому праву этот гнилой и хилый, ничего заметного не совершивший даже в своей узкой специальности, мыслит в масштабах вселенских?! Как-то не по чину!

Но и думать не запретишь — ни другому, ни себе самому. Когда-то говорили: и кошка может смотреть на короля. И самый скромный кандидат наук может охватывать своей мыслью всю Вселенную! Мыслить не запретишь — и это гораздо существеннее, чем то, что не запретишь красиво жить...

* * *

социализм ближе к галактическому идеалу чем капитализм это безусловно

а коммунизм это космический идеал в чистом виде

ведь невозможно себе представить чтобы существа полностью разумные и обладающие истинно божественным могуществом вели между собой конкурентную борьбу и снаряжали межзвездные экспедиции узнав что на земле дешевый гелий можно его загрузить и с выгодой продать на альфе центавра

ну а у нас на земле вопрос о преимуществах той или иной системы это вопрос о природе человека

капитализм идеально приспособлен к корыстной природе человека так что корысть каждого обогащает все общество

а социализм рассчитан на бескорыстие и сознательность так что человеческая корысть расшатывает и обедняет социализм
в абстрактном идеале социалистическая система прекрасна
все люди дружно работают на основе разумного плана не тратя сил на конкурентную борьбу
но красивая в идеале система почему-то плохо работает
товаров мало и они плохие
люди вместо свободы получили еще большее угнетение
беда в том что люди в большинстве корыстны и тем самым не приспособлены к социализму
но все-таки и при нашей бедности и порабощенности что-то дал и несовершенный социализм
он дал социальную защищенность пусть и на низком уровне
бесплатная медицина бесплатное жилье гарантированная работа
это блага которых не замечаешь пока они есть но попробовали бы мы жить без этих привычных благ
корысть рождает предприимчивость поощряет технический прогресс
но и плодит преступность проституцию наркоманию
у нас конечно сплошное политическое лицемерие
но оно каким-то парадоксальным образом сочетается с моральной чистотой
ведь факт что у нас нет мафии нет проституции почти нет наркомании
все имеет две стороны
корысть движет экономику но разрушает нравственность

* * *

Мысль, хотя бы тайно прикрепленная к бумаге, становится частью прожитой жизни. Мысль — не ставшая поступком. Но и в действительной, внешней, видимой близким жизни много нереализованных, можно сказать — *абортивных поступков*. Когда мог произойти резкий поворот — но не произошел.

Лет десять назад у Гавриила Романовича была своя пишущая машинка. Купил, чтобы перепечатывать диссертацию. Вскоре выяснилось, что все равно придется обращаться к профессиональной машинистке: и шрифт оказался не тот, и слишком много делал Гавриил Романович опечаток — но простенькая «Москва» так и осталась. И тут Славка Снитковский принес почитать письма Цветаевой к Пастернаку, а когда Гавриил Романович с энтузиазмом о них отозвался, спросил, не перепечатает ли он на своей машинке? И Гавриил Романович согласился было сгорянча.

Принялся он за работу — и сразу ему такое занятие не понравилось. Оказалось оно скучным и тяжелым. Читать было интересно, а перепечатывать слово за словом — скучно. Тем более, что печатал он медленно, с трудом, получалось, что даже не слово за словом он печатал, а букву за буквой.

За этим занятием застала его Ватина.

— Чего это ты?

— Да вот, попросил Славка.

— Этого не хватало! В самиздатели решил записаться?!

— Какой самиздат? И Пастернака давно снова печатают, и Цветаеву.

— Но эти-то письма не напечатаны! Значит, цензуру у нас не прошли! Пастернака печатают, а «Живаго» — нет. И не будут. Так ты и «Живаго» начнешь на своей машинке по буковке выклевывать?!

— С «Живаго» скандал был, всем известно, что он запрещен. А письма...

— И письма! Даже не тронут тебя на этот раз. Но засекут копию, узнают, чья машинка,— и уже будут следить. Сегодня — письма, завтра тебя еще что-нибудь отпечатать попросят. Стоит начать. Ты меня слушай, я же лучше тебя знаю эти дела: как к нам приходят фонды проверять. И образцы шрифтов они со всех машинок отбирают! Ты слушай!

Может быть, Гавриил Романович спорил бы упорнее, если бы ему понравилась работа, самый процесс. Но тошно было представить, что он часами вот так «выклевывает по буковке». И очень ясно обрисовалось возможное будущее: сегодня письма Цветаевой, а завтра статья Сахарова? А потом?!

Все могло быть иначе. И жизнь могла пойти остросюжетная: увольнение из ЛИАТа, вызовы в Большой дом, шпионы *на хвосте*, мордовские лагеря — другие друзья, другой образ жизни, странная известность посредством Би-би-си и «Свободы»... Но будущий поступок был оборван ранним абортом, и продолжилось привычное бессюжетное существование. Вернул он Славке письма, сказал, что не получается, что слишком медленно он печатает. А вскоре и машинку продал от греха...

Но только ли из страха перед Большим домом не пошел Гавриил Романович в самиздатели? Плюс — из покорности Ватине, плюс — из отвращения к машинопечатанию? Конечно, он согласен с диссидентами, со статьями Сахарова — почти во всем. Но до конца ли они учитывают обе стороны медали? Лицемерие — плохо, отсутствие свободы — плохо, но ведь и то, что у нас нет мафии, нет безработицы — чего-то стоит! Диссидентов преследуют — что с несомненностью доказывает тупость властей,— но преследования ожесточают, а ожесточенный взгляд всегда односторонний! Конечно, Григоренко или Марченко — герои, но, может быть, скромное преимущество Гавриила Романовича именно в том и состоит, что он — не-герой?! Герой не может иметь трезвый взгляд на жизнь, а кто-то же должен сохранять и трезвый взгляд. Кто-то пьет прекрасные массандровские вина, а кто-то чистую воду — хотя бы для того, чтобы оценить самую вкусную и самую чистую ладожскую воду и помнить при этом, что американская свобода убила Онтарио и Эри...

Дал себя уговорить Гавриил Романович, что не из подлого страха не идет он в диссиденты, а ради сохранения объективного взгляда. Дал...

* * *

мы отстаем в экономике наши товары безнадежно хуже но мы должны были бы претендовать на духовное лидерство
если действительно представляем передовую идеологию
но пока что у нас нет новой системы жизненных идеалов нет представления о совершенно новой цивилизации
характеристика нашего преуспевающего человека звучит вполне по американски
у него квартира машина дача
и квартира похуже среднебуржуазной и машина послабее и дача не похожа на виллу в калифорнии но суть та же
мы плетемся в хвосте за западной модой и в одежде и в музыке и в новой мистике
мы могли бы выдвинуть идеал здорового образа жизни без алкоголя без табака без толстых животов
но на самом деле первыми догадались бегать трусцой тоже на западе
а у нас с каждым годом все больше пьют и еще имеют бесстыдство говорить что пьянство пережиток капитализма
а если даже что-то свое новое родится оно тут же убивается слетающейся стаей карьеристов
честнейший шостакович когда-то безусловно искренне написал прекрасную песню о встречном
что означало всего лишь встречный план
а сейчас даже самый конъюнктурный писатель не решится писать роман о прелестях соцсоревнования
мертвые штампованные слова заражают трупным ядом даже лучшие дела к которым приклеиваются
наша мертвая газетная стилистика обходится очень дорого потому что убивает любую оригинальную мысль
анекдотический пример примкнувший к ним шепилов
никто не знал почему шепилов примкнувший
но магическая формула повторялась слово в слово и тем самым убивались всякие вопросы
а где нет вопросов нет мысли
а сколько таких словесных формул мы пережили
мертвая стилистика не означает ли и мертвую идеологию
больше всего нам нужны простые живые слова

* * *

Господи, только-только удалось опереться на социалистическую нравственность, на то, что строй наш спасает граждан от мафии и безработицы,— и рука сама вывела про *мертвую идеологию* — хотя бы и с вопросительной интонацией. А он-то всегда гордился своей логикой. Да и как может математик не быть логичным?

10

Едва Гавриил Романович вошел в преподавательскую, на него обрушилась Колонна:

— Вас-то мне и надо! Где вы скрываетесь?! — А он нигде и не скрывался.— Пишите скорей соцобязательства, у вас одного не написаны!

А Гавриил-то Романович радовался, что о нем в этом году, похоже, забыли,— видать, все *взяли обязательства*, пока он отсиживался дома со сломанной рукой.

Он попытался уклониться, впрочем, довольно вяло, понимая, что капитуляция неизбежна:

— Да ну что я буду писать? Я же не забойщик, чтобы мне вдвое больше угля нарубить.

— А что писали в прошлом году? Вот и напишите снова!

Ежегодная мука. Не решается Гавриил Романович отказаться категорически, что никому эти соцобязательства не нужны, что все эти *обязательства, соревнования, почины* — пустые ритуалы, что-то вроде социалистической заутрени, которую служат жрецы из парткома. Кормятся потому что от коммунистических молитв.

И ведь никому никакого вреда оттого, что подпишет он эти линовые обязательства — не донос же. А чувство унижения остается. Чем-то, видать, подпись под обязательством сродни подписи под доносом. Расписывается человек в своей слабости, покорности — а кто писал в свое время доносы? Наверное, не столько подлецы и честные идиоты, сколько слабые люди, на которых как следует надавили. Такое же унижение испытывал всегда Гавриил Романович, приходя на *выборы* и покорно опуская бюллетень с фамилией заранее назначенного депутата; но от выборов в последние годы он приспособился уклоняться — и ничего, последствий никаких, все-таки, значит, ослаб режим, а от обязательств не уклонишься: здесь на кафедре каждый на виду.

— Ну не знаю я, что писать! Работаю я, и больше ничего.

— Да что вы, я не знаю! Приходится уговаривать, как девицу! — Колонна навалилась ему на плечо своей горячей тушей.— Вести занятия на уровне новых методик вы должны? Вот вам и пункт! Давать дополнительные консультации слабым студентам...

Колонна наваливалась все сильнее, вот-вот задавит своим пышущим мясом.

— Так все дают...

— Вот и прекрасно! В дружину ходите? В колхоз, если пошлют, поедете? Столько пунктов, что прямо сами скачут!

Наверное, в прошлом веке, когда церковь была государственной, благоразумные жены точно так же уговаривали своих скептических мужей: «Чего с тебя убудет раз в неделю сходить к обедне? Мало ли, чего ты думаешь, но если принято. Все ходят. Архиерейский хор поет прекрасно — вот и считай, что сходил на концерт!» Так там хоть хор пел!

Написал, конечно, Гавриил Романович, куда ему деваться. Даже и не только потому, что глупо раздражать партком, когда через год ему предстоит переизбираться по конкурсу на ассистентскую должность — в последний раз перед пенсией. *Все пишут* — и потому *все* почувствуют себя словно бы оплеванными, если он один захочет быть принципиальнее других. Никто не верит, но все пишут, а он что же? Чистеньким хочет быть? Написал...

Колонна удовлетворенно прибрала амбарную книгу с соцобязательствами кафедры — между прочим, такого же формата, как «Гаврилиада».

— Ну вот. А ты боялась, дурочка, надевай штанишки.

Колонна не может без сальностей. А Гавриил Романович подумал, что принуждение к бессмысленным обязательствам действительно чем-то схоже с принуждением к сожительству. Не с грубым изнасилованием, а с начальственным принуждением: «Хочешь квартиру? Хочешь повышение? Снимай штанишки!»

Подошла Нинуша — единственная и молчаливая свидетельница состоявшегося совращения. Гавриил Романович ожидал сочувствий, но, похоже, Нинуша не заметила в происшедшем ничего противоестественного. (Интересно, если бы написала она, что обязуется вступить в контакт с гуманоидами, кто-нибудь бы заметил? Кто-нибудь читает, какие там пункты скачут как блохи? Или достаточно того, что обеспечен *стопроцентный охват?*)

— А у меня, вы не слышали, Мариночка сбежала из дома. Я ее не отпускала, а она все равно уехала. За снежным человеком.

— О, господи! Со снежным человеком? — недослышал Гавриил Романович.— Что значит другая эпоха. Раньше с офицерами убегали, особенно если гусар. Но снежный человек в чем-то и получше. Не расслаблен цивилизацией.

— *За* снежным! — добродетельно поправила Нинуша.— Знакомые собрались в экспедицию. У нас, знаете, официально снежного человека не признают, поэтому мы сами. За свой счет во время отпуска. В прошлом году они ездили за тунгусским метеоритом. Но про него-то точно доказано, что это был космический корабль из антивещества. А теперь за снежным человеком. Шансов очень много, потому что в прошлом году в тех местах местные продавали его шкуру, а официальным экспертам приказали признать, что кожа леопардовая. Это на Памире. Люди-то все хорошие, но я не отпускала, потому что она никогда не ходила по горам, а им нужно добраться в самые дикие места. Я понимаю, что интересно, но когда совсем без тренировки... А она все-таки сбежала.

— Да уж! Тем более, зима на носу. А наверху в горах уже, наверное, все засыпано. Не сезон для альпинизма.

— Они же не альпинисты, не эти верхолазы бесполезные, они для науки. Летом он поднимается совсем высоко, а зимой спускается в долины. И следы видней на снегу. Их лидер — очень умный человек.

— Да уж конечно, чтобы столько лет не поймали, особенно сейчас, когда такая техника, надо быть умным!

— Нет, я про лидера группы, с которой Мариночка. Кужель, не слыхали? Он дизайнер, оформлял ресторан в новой гостинице для интуристов. Как ее? Рядом с вами, в Гавани.

— Я как-то не хожу по ресторанам. Тем более, для интуристов. Туда ведь и не пустят, все равно как негра в Южной Африке.

— А Мариночка была! Очень импозантно. Кужель ее пригласил на открытие. Он мог бы отдыхать в интуристской системе, у них ведь везде очень импозантные гостиницы — и в Сочи, и в Ялте, а он каждый год ездит в отпуск за свой счет в экспедиции. У них вся группа такая — подвижники.

— Чего ж вы тогда волнуетесь? Мариночка ваша и сбежала не столько за снежным человеком, сколько за Кужелем. Если отпускаете с ним в рестораны, отпускайте и в экспедиции — одно другого стоит. Как же ей не сбежать, когда и художник, и подвижник!..

— Дизайнер.

— Тем более! «Художник», и правда, звучит как-то простовато, то ли дело «дизайнер»! Борода небось, как у пророка.

— Да, ему очень идет.

— Вот видите.

— Все-таки опасно: по снегу, без дорог.

Гавриил Романович и видел-то Нинушину Марину всего раз или два — ну симпатичная, как почти все молодые девочки. И вдруг почувствовал что-то вроде ревности. Если не к снежному человеку, то уж к неизвестному Кужелю — точно. Много их сейчас развелось — новых пророков, за которыми молодые девочки бегут хоть в тундру, хоть на Памир. За Гавриилом Романовичем ни одна не сбежала даже в Крым или Усть-Нарву. Из тех, кого хотелось соблазнить за собой. Другие-то бы и рады — но те не в счет.

Новая профессия появилась: *охотник за химерами.* И какая заряженность, какая вера! Видимо, простая правда не вдохновляет, реальность скучна. Зато что может быть увлекательней погони за химерами, которые вечно манят и вечно отодвигаются, как горизонт.

* * *

земные религии галакту представляются очень забавными

как проявление первобытного мышления они даже трогательны

нам даже трудно вообразить какая бездна отделяет современное человеческое мышление от мышления нашего обезьяньего предка

и когда-то в начале очеловечивания появление первых мифов означало зарождение абстрактного мышления

животное по-своему знает видимый ему мир даже лучше человека

различает следы предчувствует изменения погоды по малейшим признакам

но животное не задается вопросами откуда и почему

это чисто человеческие вопросы

и мифы о богах суть первые человеческие ответы на загадки бытия

мифология это первый детский лепет человечества

а первый лепет есть громадный этап в развитии личности

но все хорошо в свое время и взрослый продолжающий лепетать как младенец являет собой зрелище жалкое

всякая религия интересна и вызывает уважение в своей цельности в своей наивности

еще в прошлом веке множество людей верили буквально что мир сотворен примерно 7000 лет назад что творил его бог в шесть дней что христос зачат непорочно что существует рай с ангелами и ад с чертями и сковородками

религия не приспосабливалась она была цельным мировоззрением

сейчас она приспосабливается самым жалким образом она признает что мир существует миллиарды лет а дни творения истолковывает как геологические эпохи

вокруг фундаментальных религий развелся мелкий религиозный разврат

верят во все сразу в языческих домовых в христианских святых в спиритизм в астрологию в летающие тарелки и бермудский треугольник

появилась околонаучная мифология по которой христос будда и магомет не то инопланетяне не то мощные экстрасенсы

что угодно лишь бы уйти от скучной реальности

и не важно что в свое время ортодоксальная церковь преследовала тех же астрологов не говоря уж о язычниках

ныне все смешалось и все годится

причины неомистицизма в разных странах различны

у нас прежде всего массовое отвращение к марксизму вбивавшемуся в головы насильно десятки лет

разочарование в науке которая не принесла обещанного быстрого счастья

на западе ужас перед моральной деградацией терроризмом наркоманией

и везде распространенное заблуждение будто религия лежит в основе морали

как жалки люди которые не способны прожить без догм которых страшит свободомыслие которым ленина нужно срочно заменить христосом а капитал маркса библией

кстати после революции точно такая же операция уже была проделана в нашей стране но с противоположным знаком

тогда в одночасье христа заменили в слабых головах лениным
наверное и прототип христа был замечательным человеком и ленин был замечательный человек
но самого замечательного человека нельзя превращать в непогрешимого бога
одинаково аморален бог карающий и бог награждающий
обесценивается нравственность которая покоится на принципах награды и наказания рая и ада
добрые поступки если они совершаются ради спасения души превращаются в обыкновенную сделку
и сделку необычайно выгодную приносящую тысячепроцентную прибыль так за минутные страдания за небольшие неудобства обеспечивают путевку в бессрочный санаторий величайшего блаженства
можно говорить о полезности религии для людей грубых и примитивных которых только страх перед божьей карой и может удержать в каких-то рамках
но нельзя же путать этот прагматический религиозный обман с истиной
подлинная нравственность это соизмерение своих поступков с благом всего человечества всей земли всей вселенной
истинная нравственность не требует себе в награду вечного блаженства
слабые души будут всегда
они будут искать утешения в вере в загробную жизнь
будут надеяться на свидание с умершими близкими
не смогут принять мысль о полном личном уничтожении
очень хочется получить воздаяние по заслугам
во взрослом человеке жив маленький мальчик верящий во всесильного и всезнающего отца
маленькому слабому человеку необходим всесильный бог
поэтому религия будет всегда
но какое это имеет отношение к истине

* * *

Ватина вошла и как-то особенно грохнула на пол сумки с продуктами. Гавриил Романович убрал «Гаврилиаду».

— Ходишь-ходишь, таскаешь-таскаешь! — послышалось из прихожей.

И Антон кое-что приносит, и уж тем более — Гавриил Романович, а все равно Ватина таскает пудовые сумки. Что там у нее? Гавриил Романович нарочно вышел посмотреть.

— Таскать — не перетаскать! — с вызовом повторила Ватина теперь уже в лицо мужу.

— И зачем? Картошка вот зачем? Я два дня назад принес.

— Ты не ту принес! Из той половину выкинуть пришлось!

Вот именно — все принесут не ту. А чем отличается *та* картошка от *не той*? Тем, наверное, что Ватина будет несчастна, если всё принесут, сделают, приготовят без нее,— но и оттого, что она непрерывно таскает, убирает, готовит, она тоже несчастна. Направо пойдешь, налево пойдешь — туда и туда одинаково плохо.

Этого Гавриил Романович не может понять. Или таскай и не сетуй, или разреши таскать другим.

— Да чем же не ту? Из нашего же магазина.

— Тебе вечно подсунут не ту. Подсыпят. Видят, с кем имеют дело... Таскаешь-таскаешь, и слова благодарности не услышишь!

Слова ей нужны. Вот уж совсем смешно. Раз они с Антоном едят — значит, благодарны. И всегда говорят *спасибо*, вставая из-за стола. Не забывают.

— ...Слова не услышишь, как с немыми живешь! Молча едят, молча спят. Ты хоть сказал в последние десять лет, что любишь меня?

Неужели этого ей надо?! Ненужных слов?! Да раз он живет — не уходит и не разводится, значит, как бы молчаливо подразумевает, что любит! Значит ли?.. А как же мечтания о *точеных фигурках*, о *волосах, водопадом спадающих на плечи?*

— Дурочка ты, Ватина,— заставил он себя заговорить.— Неужели ты не понимаешь?

Если бы он был настоящим ученым или настоящим художником, он бы сказал сейчас: «Да тем, что я творю, я объясняюсь тебе каждый день! Я же вдохновением обязан тебе!» А что он может сказать в своей обыкновенности?

— Неужели ты не понимаешь?..

— Все я понимаю! Что нашел себе домработницу!

И с этими злыми словами она заплакала. Нос покраснел; слезы пополам с размазавшейся тушью потекли по толстым щекам. Чтобы не видеть этого, он притянул голову Ватины к плечу, и она упрямым движением теленка уперлась лбом ему в ключицу.

— Дурочка ты...

— Таскаешь-таскаешь, хоть бы слово...

— Но неужели ты не понимаешь...

— Когда ты в последний раз говорил...

— Бывают песни без слов, как у Мендельсона, а бывают слова без слов.

— Не надо мне таких... таких мендельсоновских штучек... без слов не песня... таскаешь для них...

— Я думал, ты понимаешь. Конечно же, я тебя люблю.

Ему сделалось неловко от вымученности своих слов, а она посопела и затихла. Неужели поверила? Неужели так легко поверить?

11

На день рождения Антона в доме всегда бывают гости. Когда-то гостей приглашали Гавриил Романович с Ватиной, а начиная класса с восьмого Антон выбирает гостей сам. Еще хорошо, что не приходится родителям куда-нибудь убираться на вечер,— благо в квартире две комнаты, есть где отсидеться.

В последние годы, успевая мельком взглянуть на гостей сына, Гавриил Романович с любопытством и тревогой старается угадать, есть ли среди них *она* — будущая невестка. Ватина позволяет себе и некоторые расспросы:

— Ну, кого ты пригласил в этот раз на свой праздник?

— Да все свои,— неопределенно отвечает Антон, что означает: «Не вмешивайтесь в мои дела!»

Готовила, конечно, Ватина. Хотя вполне могли бы явиться те самые *все свои* и проявить свои женские таланты.

Среди *своих* неожиданно оказалась Аллочка Снитковская, которую Гавриил Романович не видел на днях рождения сына лет восемь — с тех пор как Антон отвоевал себе право приглашать гостей по собственному вкусу. Гавриил Романович и не знал, что Антон с Аллочкой каким-то образом снова познакомились — и Славка ничего не говорил.

Гавриил Романович был бы очень рад ее появлению: и Аллочка — хорошая девочка, красивая и, кажется, достаточно порядочная в старинном смысле слова — не из тех нынешних, что с седьмого класса заводят любовников; и со Снитковскими приятно было бы породниться, отпадал страх, что Антон приведет *неизвестно кого*,— но вспомнился недавний мимолетный разговор, что «жена-еврейка не роскошь, а средство передвижения», а ведь Аллочка в какой-то доле еврейка, и не задумали ли они с Антоном поискать счастья в какой-нибудь богатой цивилизованной стране?! Кому искать счастья, как не молодым, сам Гавриил Романович уже неспособен куда-нибудь двинуться, но за Антона был бы рад: пусть посмотрит мир, пусть проживет жизнь иначе, чем родители! И все-таки страшно было бы расстаться, получать письма из другого полушария, да и не для всех *там* оказывается рай — ведь и преступность, и безработица... Вот сколько чисто советских страхов способно вызвать появление в гостях милой молодой девушки.

За столом, куда родители были либерально допущены, разговор сразу пошел на удивление взрослый и банальный — или как раз родители и стесняли?

Благопристойного вида юноша поднял тост: «За счастливых родителей такого удачного сына!» — а поставив рюмку, тут же спросил светски:

— Это вы, Валентина Николаевна, так замечательно готовите? Все как в анекдоте: в магазинах ничего нет, а на столе все есть.

Гавриил Романович всегда скучает при неизбежных разговорах, куда девалась колбаса и кто где видел осетрину... Кстати, интересно, как бы отнесся просвещенный галакт к земному обычаю совместно объедаться в знак дружбы? Вообще-то любые существа так или иначе питаются, и, скорее всего, процесс этот повсеместно достаточно приятный. Потому в этом пункте галакты могут нас понять.

— Я вот чего не понимаю,— сказал Антон, накладывая себе домашнюю буженину,— почему у нас не ведется официальная пропаганда вегетарианства? Ведь и так в половине России нет мяса. И вряд ли будет. Так чем мучиться с животноводством, легче доказать, что мясо вообще не нужно и вредно.

— И вообще бойни — это так ужасно! — сказала Аллочка. Она сидела рядом с Антоном.— Если бы самой резать коров, даже кур, я бы лучше стала вегетарианкой. Хорошо, что я не вижу и не думаю. Все-таки это убийство, все-таки это трупы! Молоко, яйца — другое дело.

— А из яиц цыпленки бы родились,— подначивая, сказал Гавриил Романович.— А ты их жестоко съела.

— Ну, еще бы родились! Пока же нет. А диетические яйца продаются вообще стерильные, неоплодотворенные, из которых никаких цыпленков.

— Как это? Если яйцо, значит, будет цыпленок! — На этот раз Гавриил Романович не подначивал, а удивился искренне.

— Хоть вы и знаете меня с детства, но с тех пор я выросла и знаю, что такое зачатие,— гордо сказала Аллочка.— Из одинокой яйцеклетки ничего родиться не может.

— Нужен еще и петух, папочка! — подхватил Антон.

Эк они спелись!

— А и думал, она и не снесется без петуха,— признался Гавриил Романович под общий хохот.

— Это потому, что ты оторван от земли. Хоть бы поинтересовался, когда пасешь в колхозе бедных студентов, откуда берутся цыплята. И всякие телята тоже.

— Как это грустно звучит: «одинокая яйцеклетка»,— вздохнула Ватина.— Просится куда-нибудь в песню. Это безнадежней, чем одинокая гармонь. Была такая песня когда-то.

— Мамочка, с твоим юмором тебе бы писать пародии!

Как будто Антон до сих пор не знает, что его мать вообще неспособна к юмору.

— Тогда была одинокая гармонь,— серьезно продолжала Ватина,— а сейчас ведь на улице с незнакомыми знакомятся.

— Это кто как. Лично я с незнакомыми не знакомлюсь! — победоносно объявила Аллочка.— Мои яйцеклетки и так одинокими не останутся!

Ватина покраснела: она бы никогда не решилась сказать такое. А Гавриилу Романовичу Аллочка нравилась больше и больше. Даже если решатся уехать, может быть, оно и к лучшему? Как сказано, дети должны быть счастливее нас.

Кто-то врубил нынешнюю гремящую музыку — и Гавриил Романович с Ватиной незаметно ретировались.

— Все-таки бесстыдная эта твоя Аллочка! — сказала Ватина.— Про яйцеклетки свои заговорить — надо же! Так можно про всю гинекологию.

— Наоборот, очень мило прозвучало. Ты же сама подхватила про «одинокую яйцеклетку». И почему — моя? Антона — может быть.

— Я подхватила, чтобы сгладить неловкость. Пожалела. А твоя — потому что твоих Снитковских дочка, ты же от них без ума: с собакой ихней в отпуск ездишь, дочку их Антону сватаешь! Такое бесстыдство — еврейские штучки. Сообщила бы еще, когда у нее месячные. Мы, русские, целомудреннее.

О, господи, какое обобщение: «мы — русские». Мы русские — всякие. Об этом можно спорить бесконечно — но противно.

Гавриил Романович включил телевизор, но гремящий магнитофон заглушал семейный разговор из какого-то многосерийного фильма.

— И танцевали мы не так,— продолжала Ватина.— Танго наши — пообниматься можно было в пределах стыдливости, а у них трясучка — каждый сам с собой. Тут не только яйцеклетка одинокая.

Без стука вбежала Аллочка — потная и запыхавшаяся.

— Идемте вы тоже! Все должны танцевать, все, кто в квартире! Никто не отсиживается! Для общего счастья! Если кто не будет, несчастье себе и всем!

Ого, какой масштаб прорезался неожиданно — всеобщее счастье в трясущемся танце! Ватина застеснялась явственно — и своих лет, и своих расплывчатых очертаний. Будто не она только что осуждала и танцы, и Аллочку. Даже за стул ухватилась, но Аллочка потащила решительно:

— Ну, тетя Ввля! Примета! Всем несчастье!

Гавриил Романович пошел сам.

Командовал тот самый вежливый мальчик, который провозглашал тост за родителей. Но даже в полутьме комнаты было видно, что он взмок и растрепался — и потому совсем не выглядел паинькой.

— Значит так: японский танец! Сейчас у них даже в храмах так танцуют. Тут всякие непонятные слова на пленке, это неважно, а главное: «васуй-васуй». Вы услышите, все время повторяется. По-японски значит, чтобы все вместе взялись, призыв такой. Кричат друг другу, когда общая работа. Когда услышите, надо подхватывать всем хором и подпрыгивать. Очень просто, да? Сам прыгаешь и других подбадриваешь. Вот так: «васуй-васуй!»

— Все равно как у нас «давай-давай»,— сказал Антон.

— Ага, только так интереснее. И танца «давай-давай» у нас не придумали, а японцы придумали.

На пленке условленные слова звучали еще лучше: хриплый голос старого пирата выкрикивал что-то среднее между «васуй» и «васёй» — и невозможно было не подхватить, не ощутить, что все здесь чувствуют одинаково, что почти слились в единое целое!

В первый раз на пробу Гавриил Романович и вскрикнул нерешительно, и подпрыгнул невысоко:

— Васуй-васуй!

А Ватина вскрикнула, как частушку прокричала в хороводе:

— Васёй-васёй!

Он уже не смотрел вокруг отстраненным взглядом, не думал, смешон он или нет — круглый, лысоватый, радостно подпрыгивающий.

— Васуй-васуй!

— Кто громче всех крикнет, тот и самый счастливый!

А Гавриила Романовича уже не надо и поощрять.

— Васуй-васуй!

— Васёй-васёй!

Что-то освобождалось внутри, лопались какие-то прозрачные перепонки, Гавриил Романович больше не был заперт в себе самом — нет, он такой же, как эти молодые ребята, он вместе с ними!

— Васуй-васуй!

— Васёй-васёй!

Испытывал ли он когда-нибудь такое счастье: потерять свое «Я», раствориться в друзьях, в маленькой уютной толпе? Разве что в День Победы, в толпе во время салюта. Мы все вместе. Мы все можем!

— Васуй-васуй!

— Васёй-васёй!

Пот льет, легкие работают во всю мощь, сердце на пределе — вот она, полная жизнь! Сил больше нет! Все? Нет, еще! И силы взялись откуда-то.

— Васуй-васёй!

— Васёй-васуй!

Не сразу прорвался сквозь музыку и крики новый звук — долгий раздраженный звонок у дверей. Антон вышел и вернулся:

— Ша! Внизу люстра свалилась!

Еще бы не свалиться, когда человек пятнадцать подпрыгивают разом! Тут бы и мост рухнул.

Ну, в последний раз:

— Васуй-васёй!

* * *

идея полного равенства абсурдна люди неравны от природы неравны по способностям неравны по нравственным качествам

потому было бы странно и даже опасно чтобы равное влияние на государственные дела оказывали мудрые академики и полуграмотные невежды честные люди и жулики

в любом разумном обществе на любой планете управлять должны умнейшие и честнейшие из галактов

потому совершенно естественна идея партии как авангарда

в идеале в нее входят самые умные самые высоконравственные граждане и вершат дела страны

но на практике получается так что все карьеристы неизбежно стремятся в партию именно потому что она правящая

карьеристы устремляются в нее а честным и совестливым рядом с ними находиться неловко

то есть бывает что и честные люди туда пробиваются если очень наивные и не видят кто с ними рядом

или честные и наивные надеются преобразовать партию изнутри потому что к такому монолиту снаружи не подступиться

но преобразоваться партии никак не удается по-прежнему она порождает культ за культом разве что теперь у нас тихая тирания сменившая кровавую сталинскую

любые эксцессы хрущева вроде сеяния кукурузы чуть ни у полярного круга проходили под славословия его мудрости

а кто понимал ничего не мог сказать против потому что в лучшем случае выгнали бы отовсюду а в худшем бы посадили

а ведь в характере хрущева и в его деятельности было много хорошего но строй основанный на восхвалении вождя заглушил хорошее и развил дурное

в англии если бы премьер заставлял сеять кукурузу он бы всего лишь попал в юмористический журнал

у нас вся страна сеет

страна дураков

и вот вопрос то ли народ наш сплошь дурак то ли строй дурацкий

я не расист я не верю что бывают умные и глупые народы значит остается признать что дурацкий строй

меняются анекдотические вожди но их культы снова и снова вырастают из непрерывного самовосхваления партии

надо абсолютно потерять стыд чтобы провозгласить саму себя умом честью и совестью нашей эпохи

совестью человечества называли когда-то толстого но можно ли представить чтобы он сам себя объявил совестью человечества

он мгновенно стал бы просто смешон и жалок

но что значит сила

партия в своей страшной силе не столько смешна сколько ужасна
и нет надежды свергнуть ее нормальным демократическим путем
но я не наивен и не вступлю в нее в надежде изменить изнутри
хотя признаю что галактический идеал именно коммунизм
но до него на земле так же далеко как до царствия божьего
нормальной демократии у нас не установить
но я бы предложил ввести демократию обходным путем под видом сохранения однопартийности
нужно изменить порядок приема и пребывания в партии
раз партия единственная и вечно правящая значит весь народ заинтересован в том чтобы в ней находились лучшие люди
значит не партия должна сама себе подбирать членов потому что карьерист тянет себе в товарищи такого же карьериста
нет в члены партии должны принимать на общих собраниях всех граждан по месту работы где все знают друг друга досконально
принимать тайным голосованием и не пожизненно а на три или пять лет
и каждые три года снова переизбирать тайным голосованием или не переизбирать если увидели что стал беспринципным карьеристом и превратил партийный билет в хлебную карточку

* * *

Ну вот, наконец-то Гавриил Романович написал все, что он думает про партию. Почти все. Видно, во время магического японского танца и вправду лопнули внутри какие-то прозрачные перепонки. Хватит бояться наконец! Может Гавриил Романович записать наконец в собственную тетрадь, что́ он думает на самом деле про всесильную и всеведущую партию?! Почти все.

Если бы писать совсем все, нужно было бы написать, что наша партия совершила такие же преступления, как гитлеровская, и должна была бы так же быть распущенной, как национал-социалистическая. А то, что в ней были люди честные и искренне убежденные, ничуть ее не оправдывает, потому что честные нацисты тоже были. Но написать такое даже в тайной тетради он, конечно, не мог. Он и думать такое едва решался!

А вот что касается выхода из тупика — тут он записал искренне. Ведь никогда КПСС не поделится своей абсолютной властью, не допустит многопартийности. А как обходной путь придумано даже очень остроумно: фактически получатся настоящие выборы — только не прямо в различные советы, а в правящую партию. Она станет подконтрольна народу — и пусть тогда остается правящей и единственной.

А ведь такой проект... такой проект даже можно высказать! Со всеми заверениями в верности партии, в преимуществах нашей советской демократии — без обязательного ритуального лексикона не обойтись. Но раз *партия и народ едины*, как написано на всех крышах, пусть народ и формирует партию, пусть избирает и отзывает ее членов!

Нет, в самом деле — взять и подать такой проект — под видом *дальнейшего развития советской демократии!*

Закрывая свою коричневую дерматиновую тетрадь, Гавриил Романович чувствовал себя подлинно свободным человеком.

12

Мысль о проекте преобразования партии (замаскированная мысль о *подмене* существующей диктаторской партии военного типа некоей гибкой демократической структурой) — мысль эта не оставляла Гавриила Романовича. Прежде всего, ему искренне хотелось изменить систему, хотелось успеть хоть немного пожить при хотя бы частичной демократии. Но не мог он и не думать, что авторство проекта принадлежит ему, что, при фантастической удаче, проект этот будет принят и войдет в историю как «план Гнездилова» или «устав Гнездилова» — и окажется на старости лет, что не так уж он безнадежно бездарен, не так уж обречен оставаться посредственностью!

Некстати вспомнилась мелькнувшая во время скитаний по Валдаю идея *свободных шахмат* — уничтожить жесткую первоначальную расстановку и тем самым уничтожить непомерную и потому пародийную науку — *теорию дебютов*. Имел бы шанс его проект, если бы Гавриил Романович его высказал? Нет, разумеется! Все гроссы были бы против: они затратили полжизни на изучение этой *теории* вовсе не для того, чтобы разом лишиться своей монополии, сравняться с любым сообразительным человеком, способным рассчитывать варианты!.. Так могут ли согласиться нынешние партийные боссы, которые карабкались наверх, добивались нынешнего положения,— согласиться зависеть от какого-то собрания, которое сочтет их карьеристами и проголосует против продления членства в партии?!

Согласиться могут только *на самом верху* — там, где товарищи чувствуют себя уже достаточно прочно. Там «план Гнездилова» может показаться даже и выгодным: потому что Генеральному секретарю нужно опасаться не простых людей — у нас по традиции любят монархов,— а ближайших *соратников*.

Так что имело смысл не выступать в институте на собрании — здесь легко сочтут не то диссидентом, не то сумасшедшим,— а послать проект прямо Андропову.

Если считать, что Андропов искренне хочет перемен.

То есть перемен он хочет, он это доказал хотя бы тем, что снял Щелокова!

Но *каких* перемен он хочет?!

Сам же Гавриил Романович понимает — и в «Гаврилиаду» записал,— что у нас непрерывно рождаются новые культы, и вот сам пришел к мысли, что надеяться можно только на Андропова. Прекрасно он видел это противоречие — но что делать? План, который он предлагает, перевернул бы всю партию, и такое решение может принять только один человек — самый первый. Да, у нас партийная монархия, и наш генсек — не английская королева, а русский самодержец!

Значит, написать Андропову. Хватит наконец *абортивных поступков*, надо совершить наконец поступок действительный. Написать Андропову. Очень обдуманно написать. Не слишком длинно, но и не на одной страничке. А копии — копии можно послать еще нескольким членам Политбюро — тем, кто прогрессивнее. А кто там прогрессивнее? Тем, кто помоложе. Но и не Романову, разумеется. Ну это потом — сначала написать!..

От столь важных размышлений Гавриила Романовича оторвал звонок. Вот уж не вовремя кто-то! А кто? Или телеграмма?! Но ни Антон, ни Ватина никуда не уезжали — не от кого быть телеграмме! Рано еще быть — ведь письмо Андропову не только не отослано, но даже еще и не написано.

Гавриил Романович так привык, что с ним ничего не случается,— что испугался. А вдруг КГБ каким-то образом узнало, что́ он записал про партию,— и явилось изымать «Гаврилиаду»?!

Не надо открывать!

Нельзя не открывать.

Пусть Ватина откроет?! А что это изменит?! И некрасиво прятаться за женщину.

Открыл.

На площадке стоял молодой человек самого пародийного вида: бородатый, волосатый, мятый весь — впрочем, даже Гавриил Романович знает, что такая жеваная джинсовая амуниция стоит дороже, чем нормальный приличный костюм.

— Антона кликните.

Кажется, Гавриил Романович не замечал этого опереточного бродяги среди знакомых сына.

— Его нет дома.

— Не шутите? А то есть предки — шутить любят.

Гавриил Романович только развел руками.

— Непруха! А вы отец, стало быть? Патер фамилие? Невезучий он у вас. Пласт ему добыл — самое то: «Лаки рэскалс». Но эквиваленты нужны — вот так! Сейчас скину у «Сайгона» — будет счастье мужику! А то возьмете за него? Он вам не простит! Всего-то два купона.

Почти все Гавриил Романович понял, об остальном догадался: «эквиваленты», конечно, деньги; «два купона» — двести рублей, надо понимать: не двадцать же, но все же и не две тысячи. Двести рублей — нынче нормальная цена за новую заграничную пластинку с какой-нибудь кричащей и визжащей *группой*. Тоже химеры — только химеры мира молодежного, не хуже Нинушиных инопланетян со снежным человеком: то, что горячечный бред считается вершиной музыки.

— Знаете, это дела Антона, я в них не вмешиваюсь. Хочет, пусть сам покупает, если имеет лишние купоны.

Последнее слово Гавриил Романович выделил голосом, как это делают дикторы, обозначая кавычки: «Еще один пример „миролюбия“ Вашингтона».

— Полный отмаз? Зря! Никогда он вам не простит. Завтра ему такой пласт за три купона не отдадут.

Незваный пришелец очень напоминал того неприятного студента, который задавал совершенно правильные вопросы писателю-фантасту,— как его... И разговорчивого молодого человека из метро... Тогда Гавриил Романович чувствовал себя раздвоенно: люди, неприятные ему с первого взгляда, говорили слова, с которыми он согласен! А с этим проще: он и не предлагает ничего хорошего.

— Нет, не беру я никаких пластов, не плачу никаких купонов!

И не дожидаясь дальнейших уговоров, Гавриил Романович закрыл дверь перед лохматым пришельцем.

А что скажет Антон, когда узнает, что его отец упустил такую ценную — по Антоновым понятиям ценную — пластинку? Не то что бы он фанатик рок-музыки, но кое-какие *пласты* у него есть. И что же — он их покупал по *два купона*?! Откуда у него такие деньги? Для теперешнего Гавриила Романовича с его ассистентским жалованием двести рублей — порядочная сумма, он бы поколебался, платить ли столько за полное собрание пластинок

Моцарта, а уж для бедного молодого Гавриила Гнездилова двести рублей звучали почти абстракцией — что двести, что две тысячи, одинаково недостижимо! Однако приятели Антона покупают *фирму*, то есть тряпки, вульгарные штаны и тапочки, которые должны стоить не больше десятки, не жалея шальных купонов. Откуда у них, спрашивается? Отцы их в большинстве средние интеллигенты, люди небогатые — не писатели, не академики, и даже отец-бармен только у одного Антонова приятеля. Словно появились в обороте особенные молодежные деньги, которые достаются не так, как нормальные.

Антон не то действительно любит эту эрзац-музыку, не то бездумно подчиняется моде, как курит, как носит джинсы и кроссовки. Во всяком случае, он, слава богу, не фанатик — то есть не *фанат*. А то бы ему с отцом трудно было бы понимать друг друга. Потому что Гавриил Романович эти звуки решительно не переносит и даже не хочет причислять к музыке...

Одно из главных обвинений всем нашим узурпировавшим власть вождям: уничтожение *свободы творчества*. И Гавриил Романович совершенно согласен: творчество должно быть совершенно свободно! Только вот плоды такой свободы, какие ему удавалось встретить, ему почти никогда не нравились. И жуткие уродцы на выставках нонконформистов, и жуткий этот грохот под видом музыки. Когда запрещают книги за правду, за разоблачение сталинских и вообще партийных преступлений — как с Солженицыным — это истинная трагедия духовной жизни, истинное попрание свободы творчества! Всю же эту мазню, объявляемую *авангардом, новым искусством*, нисколько не жалко. Гавриил Романович не согласен с методами, и конечно, не надо было Хрущеву в Манеже кричать и топать ногами — таким способом он только создал мучеников и героев, так что теперь никто из либералов и демократов не решится произнести вслух, что это и не искусство вовсе — как же можно хоть слово сказать против мучеников! Очередной вариант на тему *голого короля*. Лучше бы всего — не обращать внимания. И пусть каждый творит все что угодно. Гавриил Романович всегда повторяет: «Им только и нужен скандал! Не будет скандала, завтра же их всех забудут!»

Да, вот противоречие свободы: нужна она, тяжко без нее — но первыми пользуются свободой всякие проходимцы. Открытые границы, отсутствие прописки — благо, конечно, но оно же способствует расцвету преступности и наркомании. Свобода творчества — как же не благо, но она же дает плодиться наглым шарлатанам. Да существует и явная связь между наркоманией и шарлатанскими подделками под искусство! И если бы дошла и до нас свобода, не оказалась бы она отталкивающей? Не превратилась бы она в шабаш таких вот хиппи? Не пожалел бы Гавриил Романович о временах, когда состав выставок и программы концертов утверждали пусть и туповатые, но все-таки стриженые и прилично одетые партийные деятели?.. Впрочем, свобода нам не грозит, так что приходятся мечтать о ней. Этим, кажется, мы не уставали заниматься на протяжении всей нашей истории — мечтать о несбыточном...

* * *

еще говорят что только вера в бога придает жизни смысл
это такое же заблуждение как обоснование нравственности религией
вера только отодвигает вопрос о смысле жизни но не решает его
жить и уничтожиться кажется многим бессмысленным
ну а какой смысл вечно пребывать душе в раю
в земной жизни есть развитие движение в чем ее безусловный смысл
а душа в раю или в аду статична
ну пусть вечно сидит одесную или ошую господа вот это действительно бессмысленно
а понимание цели существования мира просто перекладывается на бога
мы не знаем но он-то знает
нужно быть очень непритязательным чтобы удовлетвориться таким ответом
нужно быть очень непритязательным чтобы считать будто утверждение мир создан богом что-то объясняет
потому что возникает вопрос а кто создал бога
а если никто не создавал это так же непонятно как атеистическое представление что никто не создавал вселенную
в таких спорах бог и природа оказываются синонимами
но подобный спор ни о чем когда разными словами фактически утверждается одно и то же порождает смертельную вражду
интересно будут галакты плакать или смеяться поняв что неразумные земные существа ненавидят друг друга утверждая чуть-чуть разными словами одну и ту же мысль
будут галакты плакать или смеяться зависит от их понятий о нравственности
я самозваный земной галакт попеременно делаю и то и другое

* * *

Антон явился поздно. Гавриил Романович уже собирался ложиться, поэтому о визите рассказал второпях.

Рассказал хотя и иронично, но с тайным чувством вины — вдруг он все-таки крупно подвел сына?! Но, к большому облегчению и изумлению Гавриила Романовича, Антон расхохотался:

— Не поддался? Ну, ты у меня крепок как алмаз. Это же Тереня! Он знал, что мы у Козы, вот и заявился. Изобрел психологический метод: приходит, когда дома одни предки,— мол, не поскупятся ради любимого дитя. Диски сбывает уже вчерашние — старики же не секут, для них и «Роллинг стоунз» — последняя новость. Многих так наколол. Знаешь, в чем сейчас проблема отцов и детей? В том, что отцы стесняются детей, боятся, что устарели! Кроме тебя, папá, ты-то оказался как алмаз.

Вот так: Антон похвалил снисходительно — и Гавриил Романович сразу же ощутил прилив гордости. Оказывается, можно гордиться и тем, что не заискиваешь перед сыном, не боишься показаться устаревшим... Интересно, только ли у нас на Земле с каждым поколением меняются взгляды, меняются моды? Или это неизбежно происходит во всяком сообществе разумных существ?

— Ну скоро ты? — позвала из темноты Ватина.— Потом тебя же не разбудить утром. Как маленький.

А жены у галактов есть? А если и есть, служит ли у них любовная измена вечным сюжетом жизненных драм? Легко предположить, что другая культура считает высоконравственным постоянно менять партнеров, чтобы каждый следующий ребенок рождался от нового сочетания родителей. При такой нравственности любовная верность считалась бы величайшей аморальностью!

— Ну скоро ты? — повторила из темноты Ватина.

— Иду же! Зубы еще почищу!

13

В ЛИАТ заявилась министерская комиссия. Такое нашествие всегда неожиданно и в то же время неизбежно время от времени, все равно как тайфуны на тихоокеанских атоллах: идет-идет безмятежная райская жизнь — и вдруг тайфун.

Проверить, плохо или хорошо учат студентов, практически невозможно: качество учебы скажется через несколько лет, когда нынешние студенты начнут инженерствовать. Зато легко проверить, хорошо или плохо ведутся многочисленные бумаги, сопутствующие обучению. Этим-то любая комиссия и занимается.

Гавриилу Романовичу опасаться за себя было нечего: его ученая степень соответствует должности, собственные его учебные планы, методички и прочая чепуха в достаточном порядке, плановые статьи представляет в срок — о чем еще может мечтать комиссия? Начальство, конечно, забеспокоилось, потому что в принципе не могут быть в порядке все бумаги, а захочет или не захочет комиссия обнаружить неизбежные непорядки — это вопрос тенденции: прислана комиссия укреплять или низвергать?!

Смешно признаться, но явление комиссии породило у Гавриила Романовича некоторые надежды. Все-таки это первая комиссия при Андропове; после брежневского бардака начали наконец наводить порядок,— так может, доберется комиссия хотя бы до Зазроева с его приемными делами? До Колонны — вряд ли, Колонна слишком умна на свой лад, потому не опускается до прямой уголовщины, да и не нужно, она и так хорошо устроена при муже-академике.

В сущности, какое Гавриилу Романовичу дело? Ну приняли сколько-то блатных, сколько-то за взятки. Сам-то он не запятнан, а блат был и будет, да и взятки, наверное, тоже. Но хотелось Гавриилу Романовичу справедливости, бескорыстно хотелось! Тут и пропаганда наша сделала свое дело, опрометчиво твердя о самом справедливом государстве,— вот и обратились в конце концов слова эти против самих лицемерных пропагандистов. Им бы воспитывать народ в понятии, что *нет правды на Земле*, — самим спалось бы спокойнее... Да, привык Гавриил Романович к мысли, что рано или поздно должна наступить справедливость, убедили его. Потому-то и хочется, чтобы инженеры выходили хорошие, а какие из блатных инженеры? Не патриот он, из принципа не патриот, понимает, что человечество едино и всякий местный патриотизм устарел и сделался опасен; не патриот, но хочется ему, чтобы наши инженеры были не хуже американских, чтобы автомобили наши — раз уж он работает в ЛИАТе, значит, прежде всего думает об автомобилях — сделались наконец не хуже американских. Или японских... И понимает ведь, что не будет такого, что наш строй безнадежен в смысле усвоения технического прогресса — но все равно хочется!

И надо же, чтобы именно в день приезда комиссии столкнулся он в деканате с той милой позвоночницей, которая сказала на экзамене, что в линии должно быть не меньше миллиона точек — или что-то в этом роде столь же чудовищное! Отец ее — директор вазовского автоцентра. Зашел взять какие-то бумажки — и она тут же, сдает справку и трогательно объясняет, как она болела, как не пошла даже на Гребенщикова — очень общительная и очень трогательная, как всегда. И как всегда, обставлена справками. (Кстати, доказательство бессилия искусства: о чем поют все официально не признанные и потому популярные певцы — от Высоцкого до того же Гребенщикова: о спра-

ведливости! А кто в зале — блатные и дети блатных, потому что без блата трудно достать билет. Слушают, аплодируют, не краснеют!..)

Наверное, она и раньше мелькала на лекциях, Гавриил Романович видел, но не фиксировал внимания. Так бывает — замечаешь, но не осознаешь. А тут дошло: приняли ее, все-таки приняли! И не могли не принять — не зря же хлопотал Зазроев.

Зазроев его окликнул в преподавательской столовой — они каждый день там встречаются в большом перерыве.

— Гавриил Романович, дорогой! Сюда давайте!

Как раз свободное место недалеко от раздачи. А других и не было. Гавриил Романович разгрузил около Зазроева свой поднос.

— Как чувствовал, держал место для вас. И здесь теперь полно, а почему? Потому что просачиваются! Вот, пожалуйста.

И Зазроев нарочитым экскурсоводческим жестом показал на двух девиц, сидевших за тем же столиком и казавшихся особенно юными на фоне помятых преподавательских лиц. Гавриил Романович сначала заметил Зазроева, а не их — вот что значит не иметь привычки постоянно разглядывать всех незнакомых женщин!

А Зазроев тут же состроил зверскую гримасу, пошевелил усами, как Бармалей в кино, и объявил:

— А со студенток, которые просачиваются к старшим, штраф!

Девицы, похоже, только того и ждали:

— Вовсе мы не студентки! Мы тоже сеем разумное и доброе. Неужели не видно, какие мы старые?

— По лицу не видно. Может быть, если рассмотреть всесторонне? Вот и извольте предъявить морщины — где угодно!

— Между прочим, первые морщины как раз на лице. И на шее. Должны знать — мужчины! Ну разве что еще складки — на животе,— девицы прыснули.

— Вот именно — складки. Надо обследовать все складки.

Гавриил Романович чувствовал себя лишним. Он никогда так не умел — идти к цели кратчайшим путем.

— Обследовать? Обследуют доктора — некоторых специальностей.

Девицы уже допивали компот и поднимались.

— Где вас можно преследовать, прекрасные незнакомки? Если нельзя обследовать,— взывал Зазроев.

— Найдете, если захотите. На одной скромной общественной кафедре.

Они еще хихикнули на прощание и удалились.

— Ишь ты, хорошие поблядушки,— одобрил вслед Зазроев.— Аспирантки, наверное. На КПСС или философии, да?

Гавриил Романович первым с ними и заговорить бы не решился, а для Зазроева — поблядушки. И, судя по милому разговору, он прав. В житейских делах подобные типы всегда оказываются правы.

— Всегда на историю партии старых вобл набирали — для солидности,— усомнился Гавриил Романович.

— Партия меняется,— засмеялся Зазроев.— Хочет приобрести соблазнительный вид.

А ведь Зазроев сам член партии — и не стесняется так громко проявлять непочтительность.

— Эти, видать, из комсомола, потому и сохранили свежесть.

— Комсомолочки — это мечта! — подхватил Зазроев.— И чем общественноактивней, тем квалифицированней в постели. Многократно проверено. Как материалистки поняли, что надо ублажать свою материю... Слушайте, дорогой, а давайте окунемся в комсомольскую жизнь! Посадим этих двух поблядушек в машину — и ко мне на дачу! Жена в городе, дача пустая, дрова есть.

Оказывается, у Зазроева уже и дача! Четвертое поколение Гнездиловых живет в этом городе, и ничего Гавриил Романович не имеет, а Зазроев только появился — и все блага при нем. И был бы крупным ученым, получил бы за заслуги. А то ведь обыкновенный проходимец. И еще имеет бесстыдство повторять, что евреи устраиваются!..

Но с чего бы такое предложение? До сих пор ни в какие совместные похождения с Зазроевым Гавриил Романович не пускался. Не иначе, тот хочет втянуть Гавриила Романовича в свои дела. Может, что-то разладилось в зазроевской системе и ему срочно нужен компаньон с незапятнанной репутацией?

Гавриил Романович думал о собственной репутации безо всякой гордости, как о самом обыкновенном своем свойстве — ну вроде как о лысине или скромном животе: да, у него незапятнанная репутация. Потому что сложилась она совершенно естественно, без малейших усилий с его стороны. В каких-нибудь дурацких антиалкогольных лекциях обычно говорится, что волевые люди не пьют — то есть подразумевается, что всякого человека неудержимо тянет пьянствовать, но некоторым удается чрезвычайным волевым усилием эту тягу перебороть. Гавриил же Романович никогда подобной тяги не испытывал, наоборот, в гостях его приходилось уговаривать выпить рюмку. Точно так же никогда не тянуло

его к преступлениям; не потому он не ворует и не берет взяток, что это карается законом, а потому, что это нормально — не воровать и не брать взяток, чтобы совершить подобное, ему пришлось бы сперва совершить насилие над собой. То же самое относится к клевете, анонимкам и тому подобным приемам научной и служебной борьбы. Поэтому, на его взгляд, незапятнанная репутация — нормальное человеческое состояние, не нужно никаких усилий, чтобы сохранять ее,— наоборот, нужно приложить усилия, чтобы потерять репутацию! Из физики известно, что всякая система, если не прилагать к ней внешних сил, приходит в состояние, при котором энергетические затраты наименьшие. Вот и честное состояние наиболее естественно для человека, наиболее экономно и физически, и психологически. А Зазроев прикладывал сейчас то самое внешнее усилие, которое призвано вывести Гавриила Романовича из естественного честного состояния. Но Гавриилу Романовичу решительно не хотелось переходить из устойчивого честного состояния в такое неустойчивое нечестное! Сначала навесить себе на шею какую-нибудь из бойких партийных историчек, потом запутаться в махинациях с приемными экзаменами — и ради чего?.. Когда-то молодому Гаврику его дядюшка-*вольтерьянец*, по семейной репутации, рассказывал, как некий новый советский генерал соблазнял поэтессу — известную! На каковые соблазны поэтесса вместо глупых женских ужимок: «Как вы смеете?.. Кто вам дал право подумать?..» — хладнокровно заметила: «Удовольствие сомнительное, а неприятностей потом не оберемся». И пыл генерала тотчас угас: действительно же — сомнительное, действительно — не оберешься... Но философствовать при Зазроеве на тему о сомнительности удовольствий смысла не имело.

— Занят я сегодня, Сослан Сосланович.

— Почему сегодня? Всегда! Дача — всегда, бляди — всегда!

— Работаю я обычно по вечерам. И жена у меня ревнивая.

— У всех жена! Для жены всегда заседание ученого совета. Или комиссия приехала. Жены не понимают, что нужно переключаться. И наука подтверждает, сам академик Павлов: что надо чередовать работу и отдых. Немножко работать — немножко жить.

Зазроева окликнули, и Гавриил Романович с облегчением распрощался. Думал ли Павлов, что у него найдутся подобные последователи?..

Но, может быть, для того и приехала комиссия? Для того и наводит Андропов порядок? Чтобы появились наконец и у нас хорошие инженеры и хорошие машины! А для этого необходимо очиститься от бесчисленных зазроевых, которые пролезли всюду!

Пойти и рассказать — про блат, про взятки! Документальных доказательств у Гавриила Романовича нет, но доказательства пусть ищет комиссия — на то она и послана. Никаких низменных мотивов у него нет — ни корысти, ни мести,— просто справедливости хочется! А раз низменных мотивов нет — значит, он поступит нравственно.

Комиссия разошлась по всему институту, но в кабинете проректора по АХЧ, как слышал Гавриил Романович, заседает дежурный член и выслушивает всех желающих. Можно пойти — и утолить свою природную жажду справедливости.

Совершить наконец хоть какой-то поступок.

Только не раздумывать слишком долго — вот взять и пойти!

Кабинет проректора по АХЧ находится на втором этаже в самом людном месте — там рядом и приемная ректора, и партком, и профком. Не очень удобно заходить. А если бы комиссия принимала в темном углу — было бы честней красться туда яко тать в нощи? Но все-таки странно — взять и зайти у всех на глазах. А вдруг там очередь? Нет, если очередь, он стоять не станет!

В ректорском коридоре сновали люди, и только одна фигура выделялась неподвижностью — Нинуша! Стоит в мечтательной позе, как раз наискосок от нужной двери. Или Нинуша тоже собралась в комиссию?

Спросить прямо, не ждет ли она очереди в комиссию, Гавриил Романович не решился и заговорил незначаще, как о погоде:

— Чего это вы здесь прохлаждаетесь? Не привык видеть вас без дела.

— Да так... Слышали новость? Александра Яковлевна наша благополучно защитилась вчера.

Он не сразу сообразил, что Александра Яковлевна — это Колонна. Еще раз подтвердился известный закон, что слухи в лаборантской среде распространяются быстрее.

— Ну что ж, это было неизбежно.

А он-то собрался спасать институт от Зазроева! Да станет Колонна заведовать кафедрой — она наделает инженеров! Наделает — из тех, кто поступил совершенно честно, без всяких взяток.

— Бог с ней, Колонна наша незыблема. Расскажите лучше, как ваша Марина? Поймала наконец снежного человека?

— Йети. Они называются — йети... Они уже встретили человека, который видел свежий след. Это в последнем письме. Теперь пошли туда, где видели след. Совсем дикое место. Я так беспокоюсь!

— Да уж, нам здесь и вообразить трудно, что где-то сохранились дикие места... А вы здесь тоже будто этого Йети высматриваете?

Очень удачно получилось: спросил как бы в шутку — и почти в лоб. Нинуша покраснела и зашептала:

— Меня Григорий Петрович просил постоять. Запомнить, если кто зайдет в комиссию.

Вот это да! Григорий Петрович — секретарь парткома. Гавриил Романович и забыл совсем, что Нинуша — партийная.

— Но разве хорошо? Это вроде слежки.

— А с доносами ходить — хорошо?

Собравшись в комиссию, Гавриил Романович как-то не примерил к себе такое слово — «донос».

— Доносить нехорошо, но и следить нехорошо. Одно другого стоит.

— Нет, доносить хуже! Не пойдут первыми с доносами, так и следить ни за кем не придется.

Известная софистика — мол, честному человеку нечего скрывать! И давайте подслушивать, подглядывать, перлюстрировать письма.

Теперь-то уж зайти в комиссию сделалось невозможным! Не то что бы Гавриил Романович испугался, но не мог же он выглядеть доносчиком в глазах Нинуши!

— А если кто-то придет рассказать о настоящих недостатках? — спросил он, подначивая.

Решившись не идти, он сразу повеселел.

— В настоящих недостатках нужно разбираться самим. Министерство нам их за нас не исправит.

Гавриил Романович по-новому взглянул на Нинушу — и очень зримо представил ее Марину, выслеживающую снежного человека.

— Ну-ну, кого-нибудь вы непременно выследите,— сказал он и пошел.

Вот и еще один *абортивный поступок* в его жизни.

А может быть, и к лучшему? Ну что бы он сказал? Передал сплетни? Единственный факт, который он может привести: то, что приняли все-таки эту *позвоночницу*, чью-то дочку — он уже забыл, чью. Так ведь сам же он все-таки поставил ей тройку — не двойку, а с тройкой принять можно. Нет, надо было самому вовремя ставить ей честную двойку, а потом уж ходить по комиссиям. Самое забавное, что тогда, во время экзамена, и тройка казалась смелым шагом. Это надо запомнить — себе в назидание: *вчерашняя смелость сегодня может показаться трусостью!*

Правильно сделал он, что не пошел в комиссию,— правильно. Попытки писать жалобы и искать правды — это рецидивы детской веры в каких-то абсолютных жрецов справедливости, воплощающих закон и само государство, а потому лишенных собственных человеческих слабостей. Чтобы существовали такие, нужно посадить судьями Нинушиных инопланетян. А пока судят земные люди, ничем не отличающиеся по своему устройству, по своим потребностям от подсудимых, всякий суд, всякое разбирательство — всего лишь перетягивание каната. И ведь понял это еще Гаврик Гнездилов, рано понял — и поди ж ты, чуть не случился теперь рецидив детской болезни...

Зимой в начале сорок второго он шел по Садовой к Неве. Едва тащился сам и тащил санки с бидоном, чтобы набрать воды. И вдруг заметил деревянный щит, неплотно прикрывавший подвальное окно — так неплотно, что можно было оторвать! Щит — это топливо, тепло — жизнь! Топливо тогда значило почти то же самое, что хлеб. Хотя на вид щит едва держался, оторвать его оказалось делом очень трудным для обессилевших рук, да еще без всякого инструмента. И все-таки щит поддался — не силе, а упорству, тогда все одолевали только упорством. Гаврик уложил щит на санки — подгнивший, а потому вдвойне тяжелый,— сверху поставил бидон, пока еще пустой, и потащил было дальше свой перегруженный прицеп.

— Ты что это, паршивец, мародерствуешь?!

Милиционер сзади!

— Дяденька, я нашел, он валялся...

— Врешь! Маленький, а туда же — мародер! А знаешь, что́ за мародерство полагается?! Дай сюда!

— Дяденька, я нашел, правда...

Милиционер сбросил бидон — хорошо, что еще пустой, а ведь не поколебался бы сбросить и полный! — взял щит.

Гаврик подумал в первую минуту, что милиционер заставит приколачивать щит на место. Это было бы страшно обидно, но все-таки справедливо: ведь нужен был зачем-то щит на своем месте. Но милиционер, пригрозив на прощание, пошел прочь, опираясь на щит, как на палку. Гаврик, несмотря на угрозу, потащился следом, ноя на одной ноте:

— Дяденька, отдай... дяденька, мы замерзнем... дяденька, нам топить нечем...

Милиционер оглянулся только один раз:

— Замолкни, ты! Мародерствовал? Вот сдам куда надо!

И свернул с Садовой в сторону Русского музея.

Наконец Гаврик понял: милиционер потащил щит к себе домой, растапливать собственную буржуйку!

Это было как крушение всего миропорядка. До тех пор Гаврик не задумывался, как живут милиционеры, кто они такие,— они воплощали для него абстрактную справедливость, они не имели собственных интересов, собственной корысти, пожалуй, даже собственной семьи; единственной их целью, единственной радостью было соблюдать законы, охранять тех, кто живет и работает по закону, и карать преступников, крупных и мелких, осмеливающихся законы нарушать!.. И вот стройный миропорядок рухнул в одну минуту: милиционер — это обыкновенный человек, только что в особенной шинели, он так же хочет есть и согреваться, у него такая же голодная семья, и он так же готов обидеть слабого, отнять у него дрова или хлеб... Не то что бы он так сразу сформулировал свои мысли — но почувствовал, что прежнее ощущение защищенности со стороны государства, ощущение, сохранявшееся даже в блокаду,— исчезло. Стало еще холоднее и страшнее существовать...

* * *

но как все-таки быть со смыслом жизни

если цель жизни сама жизнь если все сводится к получению удовлетворения пусть самого высшего порядка то есть к разумному эгоизму

то существование слабого человека могущественного галакта и самого бога-творца принципиально не отличается друг от друга

говорят пушкин когда написал что-то прыгал от счастья и кричал ай да пушкин ай да сукин сын

а бог сотворив мир увидел что получилось хорошо

жизнь доставляет удовлетворение или страдание это ее субъективная сторона

но всякое существо всякий человек тем более могущественный галакт что-то меняют в мире

эти изменения мы совершаем и своей волей когда что-то творим и даже помимо воли самим фактом своего существоавания

изменения мира его развитие это объективная сторона это смысл нашей жизни не связанный с разумным эгоизмом

зачем вселенная движется существует развивается

зачем бог создал мир

не только же для того чтобы увидеть что получилось хорошо

ни одно святое писание на этот вопрос не отвечает

читателям библии видимо вполне достаточно узнать что бог остался доволен

не будем даже касаться вопроса что это за бог который остался доволен столь несовершенным миром

сознавать что своим существованием мы посильно меняем мир независимо от собственных страданий и удовольствий это значит находить в жизни смысл

это значит подняться на первый элементарный уровень в поисках смысла жизни

но следующий уровень постараться понять зачем существует сам мир зачем он развивается

или хотя бы задать этот вопрос

задать вопрос размышлять а не перекладывать его на всеведущего бога

тем более что само чисто человеческое удовлетворение которое бог-творец испытал после своей работы заставляет сомневаться в его всеведении

библейский бог из-за своего земного удовольствия сразу же становится таким же антропоморфным как всякие зевсы и перуны так что христианство на самом деле ничем не отличается от язычества

задают ли галакты себе вопрос зачем существует и развивается вселенная

несомненно

а вот известен ли им ответ

если да то какой

14

Колонна все не возвращалась после успешного штурма диссертации. По этому случаю Рывкин поручил Гавриилу Романовичу принять экзамен в единственной дневной группе, которую она вела,— в основном-то у нее вечерники.

Для разговора Рывкин пригласил Гавриила Романовича к себе в кабинет. Давно ли здесь же происходила встреча с американцами, когда Рывкин был ненатурально игрив и изъяснялся как бы не совсем по-русски, называя Гавриила Романовича «коллега Гнездилов»,— теперь же профессор говорил вкрадчиво и витиевато, что, вообще-то говоря, идет ему куда больше.

— Только я вас очень прошу, Гавриил Романович, прошу вас...— профессор затруднился в поисках слова,— прошу вас, проявите такт. Чтобы не возникло у молодых людей чувство безнадежности, не возникла боязнь нашего предмета. Вы меня понимаете?

Гавриил Романович все понимал: Рывкин прекрасно знает, на каком уровне преподает Колонна, и согласен выпускать инженеров, слабо оснащенных математикой,— лишь бы

не портить отношений с академиком Окунем. Да, только кажется, что так уж завидно быть профессором, а получается, что во многих отношениях Рывкин зависим куда больше, чем скромный ассистент Гнездилов... Но вот интересно, будь Рывкин начальником альплагеря, например, выпускал бы он из дипломатических соображений группы на восхождение под руководством негодного инструктора? Вопрос, разумеется, совершенно риторический, тем более, что знающие люди утверждают, что практическому инженеру на заводе математика вообще ни к чему.

Гавриил Романович посмотрел на своего профессора почти с жалостью и успокоил:

— Постараюсь, чтобы не возникла боязнь предмета, Иосиф Абрамович.

— Вот и отлично, вот и отлично! Пробелы всегда можно ликвидировать, когда жизнь заставит, а боязнь — это безнадежно. Вроде как в школе умеют отбить любовь к литературе. Я сужу по собственным детям.

О собственных детях Рывкин может говорить очень долго.

Накануне экзамена Гавриил Романович дал консультацию.

Когда идешь в чужую группу, всегда испытываешь некоторое напряжение: каким ты покажешься этим незнакомым ребятам?

Вроде бы взаимоотношения определены четко: преподавателю предстоит вершить экзаменационный суд, студенты зависят даже от его прихотей и настроений — но Гавриил Романович и сам всегда чувствует зависимость. Правильно сказал недавно Антон: отцы боятся детей, боятся показаться несовременными. Гавриил Романович может формально справедливо наставить двоек — и при этом показать себя старым идиотом. Приговор этих двоечников, путающихся в элементарных производных, почти невозможно будет обжаловать. А для него почему-то очень важен приговор неопытных невежественных молодых людей, часто несимпатичных ему хипповатых молодых людей! Парадокс: от них, невежественных и несимпатичных, он в моральном плане зависит гораздо больше, чем от уважаемого прямого начальника профессора Рывкина. Начальники, в том числе и Рывкин, могут устроить служебные неприятности, но неспособны выносить моральные приговоры, а эти безымянные пока еще молодые — могут, потому что выносят приговоры не сами по себе, а от имени поколения. Поколение же Рывкина, собственное Гавриила Романовича поколение, ему неинтересно: это поколение уже безнадежно, поколение рабов, вся надежда на молодых, когда они войдут в силу, то, может быть, лет через двадцать что-то изменится в стране — если только теперешние наставники и этих не воспитают рабами...

Группа смотрела настороженно. Знают они, что слабые, знают и боятся незнакомого экзаменатора — не подозревая, что тот сам ощущает зависимость от них.

Важно сразу взять верный тон. Неформальный.

— Ну что, уважаемые коллеги,— Гавриил Романович вспомнил, как вел себя Рывкин при американцах,— что вы знаете — то знаете, а чего не знаете, того мы за два часа пройти не успеем.

Несмотря на общую напряженность, кто-то рассмеялся.

— Всего не знает никто, кроме господа бога, и плохой инженер отличается от хорошего тем, что не умеет пользоваться пособиями. По тому же принципу я буду отличать плохих студентов.

Группа загомонила. Слышались слова «учебники... конспекты...».

— Совершенно верно, я разрешаю пользоваться учебниками и конспектами,— подтвердил Гавриил Романович, гордясь собой.— Но коварство мое в том, что я не вижу смысла спрашивать по программе. Когда программу нарежут в лапшу, это называется билетами. Конечно, прочитав учебник, легко пересказать нужный параграф. Но бессмысленно.— Теперь слушали настороженно.— Знание математики — не самоцель, а способ решать задачи. Вот и будем решать на экзамене задачи. Кто ориентируется в предмете, кто, получив задачу, найдет в учебнике нужную теорему, нужные преобразования,— тот и молодец. А кто не знает основ, тому, должен разочаровать, не поможет никакой учебник на столе.

Гавриил Романович ощущал успех. И ведь он не заискивал перед молодежью, он говорил дело — но так на кафедре еще никто не принимал экзамены, и он явился смелым реформатором! Да, в других странах любимцы народа выступают на митингах, и молодежь рукоплещет безумным идеям. У нас такого не будет никогда, у нас Рывкин испугается, когда до него дойдет весть, каким способом Гнездилов принимал экзамен. Пусть пугается.

Гавриил Романович возвратился домой скромным триумфатором. Впрочем, Ватина его сразу же приземлила:

— Наша Тамара Федоровна колбасу достала копченую. Вот тебе вопрос на засыпку, экзаменатор: где люди копченую колбасу достают?

Сравнила — колбасу с математикой! И вообще, Гаврику с детства внушили, что разговоры о всяких доставаниях — когда не о блокадном голоде речь,— равно как о деньгах, почти так же неприличны, как о половых проблемах. Вообще-то довольно извращенные приличия: еда, деньги и секс занимают человека больше всего. И все-таки Гавриил Романович и до сих пор досадует, слыша такие разговоры. Интеллигентные люди

должны беседовать о науке и искусстве, о моральных проблемах. В надежном кругу — о политике. Даже и муж с женой. А Ватина этого не понимает.

— Вот если бы ты мог в своем институте запчасти доставать, всегда бы у нас и колбаса была, и икра! А то что за автомобильный институт, в котором запчастей не достать! Тамара Федоровна не понимает.

— Тебе бы мужа вроде нашего Зазроева! Уж он-то все на все обменяет.

— Современный человек. Я вообще-то не люблю черных, но устраиваться они умеют. Не то что наши лопухи русские.

Наши кавказцы и азиаты для Ватины «черные». Что бы она говорила, живя в Америке?

Продолжать не стоило — а то дошли бы и до евреев, и до эстонцев. Очень кстати зазвонил телефон. Ватина сняла трубку.

— Пришел... Иди, Снитковский твой третий раз трезвонит. Не иначе, очень чего-то нужно. Только если сюда хочет подкинуть свою собаку, я не согласна! Они для нас ничего не делают — только мы.

Славка торжествующе закричал в трубку:

— Слушай, ты принимаешь группу Колонны?! Ну, она дала маху, что не вернулась к сессии! Ты ж завтра завалишь девяносто процентов! А она потом будет лезть на заведование?! Смешно!

О таком повороте Гавриил Романович как-то не подумал. О том, что завтрашние оценки — аргумент при избрании Колонны в заведующие. И если завтра он, человек объективный, наставит четверок и пятерок, Колонна будет этим козырять.

И все-таки нечестно вымещать на студентах свои кафедральные контры. Это то же самое, что заваливать диссертанта, чтобы испортить репутацию его руководителю. Вроде бы метод почти узаконенный, но...

— Что заслужат, то и поставлю.

— Известно, что́ они могут заслужить!

— Я сегодня консультировал — симпатичные ребята. Обещал, что дам решать задачи. Самый объективный критерий.

— Что ты! Надо их прогнать по всей программе! Упустить такой случай! Ты же мостишь дорогу Колонне!

— Если не решат, получат свои двойки. А если решат, значит, и Колонна их чему-то научила.

— Нет, надо бить наверняка! Думаешь, она бы стала миндальничать?! А сам Окунь! Они еще устроят у нас русскую математику — без инородцев!

Разумеется, Гавриил Романович не любит антисемитов. Но и евреи слишком мнительны, им мерещатся гонения там, где ничего подобного и в помине нет. Действительно, Колонна мечтает выжить Рывкина, но не за национальность, а за то, что занимает завидное место. Сидел бы на этом месте Иванов, она бы и Иванова точно так же подсиживала!

— Я до их уровня опускаться не буду. Кто сколько баллов заслужит — тот столько и получит.

— Виляешь! Скажи прямо, что решил заранее выслужиться перед будущей завшей!

И Славка бросил трубку.

С ним бывает: взбредет что-то в голову — и не слушает никаких резонов. Ничего — пошумит и забудет. Гиперболоид.

* * *

соотношение свободы и несвободы вот вопрос вопросов

прекрасно когда открытые границы когда полная свобода путешествовать

но этой свободой пользуются преступники свободно везут через границы наркотики

у нас границы закрыты от этого масса неудобств и унижений но зато практически нет наркомании

жесткая паспортная система ведет к несвободе но отсутствие паспортов и прописки позволяет легче скрываться гангстерам

свободная продажа оружия в америке вообще дикость ни один галакт не станет иметь дела с существами свободно стреляющими друг в друга

впрочем еще большая дикость свободная продажа алкоголя и табака которые убивают гораздо чаще чем все оружие в мире

просто мы привыкли к торговле водкой и она кажется нам нормальным делом а американцы точно так же привыкли к торговле оружием

всякий обычай даже самый нелепый и жестокий воспринимается средним человеком как законный и естественный обыденность маскирует нелепость и жестокость

выходит человечество в своей массе не созрело для многих свобод

я это понимаю и я против дарования неразумным людям слишком широких свобод

я за полную несвободу употребления сильных наркотиков

я за разумное ограничение свободы употребления алкоголя и табака если уж невозможен сразу сухой закон

свобода всякого браконьерства всякого уничтожения природы тоже недопустима
на территориях гораздо больших чем нынешние заповедники нужно вообще запретить всякий туризм
нужно уничтожить дикарскую свободу производить шум когда один мотоциклист один обладатель магнитофона отравляет жизнь целого квартала
чем выше плотность населения тем больше должно быть несвобод чтобы жизнь оставалась сколько-нибудь сносной
скоро даже неразумные человеческие правительства будут вынуждены ограничить свободу деторождения чтобы приостановить вытаптывание нашей маленькой планетки
вот сколько несвобод необходимо в цивилизованном обществе
но ведь и партия против многих свобод под предлогом что они ведут к анархии и росту преступности
почему же партия мне так неприятна почему я против тех стеснений свободы которые проводит она
потому что партия прежде всего против свобод интеллектуальных свобод гражданских то есть именно против тех свобод которые только и достойны цивилизованного человека
партия практически не мешает пьянствовать и браконьерствовать но запрещает читать многие книги запрещает свободно высказывать многие идеи
партия права когда провозглашает что неограниченная свобода невозможна что это анархия
но затем совершает жульническую подмену и ограничивает не те свободы которые опасны для существования самой жизни на земле а те которые ослабляют власть самой этой партии
свобода информации свобода мировоззрения свобода творчества вот суть главные духовные свободы которые должны быть абсолютными
это безусловно универсальные ценности для любого разумного существа во вселенной
именно эти свободы и подавляются партией и всем нашим строем
потому строй наш аморален с галактической точки зрения
точно так же во всей вселенной должна существовать несвобода всякого варварства
чем более могущественно галактическое племя тем более оно должно быть осторожно в приложении своего могущества
то есть самоограничивать свои физические силы
в пределах своей планеты человек уже обладает неограниченными разрушительными силами
я имею в виду не столько атомное оружие даже сколько другие возможности постепенного но неуклонного уничтожения природы
полная свобода разума и сугубая осторожность то есть несвобода действий вот вселенская нравственность

* * *

Гавриил Романович так сосредоточился на своих мыслях — и писаниях,— что с трудом пробились в его сознание взволнованные речи Ватины:

— ...ты только подумай! Только что мне позвонили! Тамара Федоровна наша! Тамару Федоровну ударил грузовик!

— Что ж она — не там переходила? — с досадой спросил Гавриил Романович.

До него еще не совсем дошло трагическое содержание происшествия, он испытал сперва только досаду на непрошенное вторжение в его мысли.

— Почему — переходила? Я же говорю: она ехала к нашей Надежде Васильевне на именины! Я тоже должна была поехать, да раздумала почему-то.

— Ты сказала: ее «ударил грузовик». А не машину...— Наконец до него дошло окончательно: — И как она? В каком состоянии?

— В больнице. В тяжелом! В отчаянии вся семья!

Надо было сказать что-нибудь приличествующее случаю. На самом деле Гавриил Романович нисколько не был опечален. Ну не был, и все тут — хотя понимал, что полагается искренне опечалиться. Эту Тамару Федоровну он всегда чуть-чуть недолюбливал издали: потому что Ватина часто ссылается на нее как на довольно-таки высокий авторитет. Вот муж ей не авторитет, а какая-то Тамара Федоровна — авторитет.

И совсем уж нелепая мысль: что для семьи Тамары Федоровны наступает на какое-то время — может быть, надолго — совсем другая жизнь: дежурства в больнице, консультации со светилами, добывания лекарств. Совсем другая жизнь — тяжелая, но в ней разнообразие, в ней уход от ежедневной монотонности существования, в ней высокий смысл — подвиг любви.

— А ведь она звала меня вместе ехать. Представляешь, и я бы сейчас!..

Не представлял. Потому что, как давно известно, с ним ничего не случается. Поскользнуться на банановой кожуре — вот самое невероятное происшествие, какое может с ним произойти.

— Если бы вы поехали вместе, она бы за тобой заехала. Или ждала бы тебя. В общем, в нужную секунду вы не оказались бы на том месте, где она одна столкнулась с грузовиком.

— «В нужную»! Вот уж совсем ненужная была секунда!

— Ненужная, конечно, ненужная.

Оговорки ведь многое значат. Потому что — проговорки. Значит, нужна ему такая секунда — чтобы что-то случилось!

Он не хочет ничего плохого Ватине — упаси бог!

Если бы при нем она бы сталв, например, тонуть, он бы бросился спасать ее, не думая о себе.

Но ведь случается — и многое — не на глазах... А тогда бы он преданно ухаживал за нею!

Но ведь гибнут иногда и любимые жены... И гибель их, как ни горько сказать, еще и разнообразие, еще и перемена в жизни. Отчаяние — тоже разнообразие.

Но с Гавриилом Романовичем никогда ничего не случается.

И если на минуту сделаться мистиком, можно счесть, что потому-то и не случается, что Гавриил Ромвнович этого не хочет! Всей силой своего подсознания — не хочет перемен. Не хочет сильнее, чем семья Тамары Федоровны, ее близкие, которые допустили возможность трагического происшествия, потому что слабо противились переменам.

А Гавриил Романович — не хочет! Хоть и ропщет на монотонную свою жизнь.

Так ведь и бывает: устать от неподвижности, броситься в перемены — а после жалеть о невозвратимой надежной скуке жизни.

Но и сколько можно ее вытерпеть — скуку?..

— Ты ее навести. Спеки чего-нибудь. У тебя ведь многие ее рецепты — на вооружении.

— Да уж сообразила бы как-нибудь сама, без твоей подсказки. Как выведут из реанимации...

Слово-то какое — «реанимация». Не изобрели такого во времена Дюма, а то он бы точно написал роман о приключениях в реанимации — и все бы зачитывались, не отрываясь.

15

Гавриил Романович шел не спеша к метро. Вышел он, по обыкновению, на пять минут раньше, даже на семь, потому можно было не торопиться. Тем более — скользко. Утренний человеческий поток тек туда же, большинство людей шагали быстрей, и чтобы не затолкали, он держался с краю дорожки. Вдруг прямо по газону, по снежной целине пробежала девушка — Гавриил Романович не успел заглянуть ей в лицо, но по всему облику видно было, что молодая. Бежит, шубка нараспашку. Она была другая, не похожая на людей в потоке, не верилось, что опаздывает она на работу: на работу бегут целеустремленней, злей, а девушка словно летела. Гавриил Романович невольно смотрел ей вслед, сам нарочно шагнул на целину, чтобы девушка не потерялась за спинами идущих. Она подбежала к телефонным будкам у станции и *упала в объятия* шагнувшему ей навстречу мужчине. Хорошо раньше писали: именно *упала в объятия* — беспомощно и беззаветно.

Никуда они не спешили, эти двое. Гавриил Романович дошел до них, поравнялся, прошел мимо, оглянулся — они все стояли. Никуда не торопились, но она бежала к нему, бежала, чтобы упасть в объятия на несколько секунд раньше.

Гавриил Романович позавидовал ей, позавидовал ему. И подумал, что для девушки, бегущей в объятия, смысл жизни очевиден. Вопросы «А зачем? Ну и какой толк?» возникают только тогда, когда слабеют силы и вянут чувства. Жизнь — это жизнь, она не нуждается ни в каких оправданиях, смысл ее — в ней самой...

Студиозусы явились на экзамен с букетом цветов. С хризантемами. Зимой это дорого. Обычай рождается на глазах и вызывает дискуссии в преподавательской. Одни рассматривают цветы как красивую разновидность взятки, другие уверяют, что букет перед экзаменом — всего лишь дань бескорыстного уважения. Гавриил Романович безусловно солидарен с первыми: просто смешно обольщаться разговорами о бескорыстном уважении! Ребятки надеются чуть-чуть сдвинуть равновесие в свою пользу: когда возникнет сомнение, тройка или четверка, то экзаменатор посмотрит на букет, и рука сама выведет четверку! Беда только в том, что, когда букеты сделаются всеобщим правилом, уже не останется надежд что-то выиграть, но появится страх проиграть: экзаменатор обидится, не получив цветов, и начнет свирепствовать. Искательство заразительно и непрерывно взвинчивает цены: каждый льстец должен превзойти предыдущего — это как инфляция, которая неизбежно раскручивает сама себя.

В дарительницы группа выдвинула самую симпатичную девицу. Когда-то именно такие, златокудрые и длинноногие, казались юному Гаврику недостижимым идеалом. Теперь Гавриил Романович смотрит на них с грустным сожалением, а на экзаменах допрашивает чуть строже, чем толстых куриц: а то привыкли выезжать на обаянии!

— Мы хотим для того, чтобы выразить уважение... Что экзамен — праздник, а не неприятность...— лепетала девица.
Удачно она проговорилась, нашла точное слово: именно *неприятность*, неизбежная неприятность студенческой жизни — все равно как ежемесячные недомогания у женщин. А то — *праздник*! Надо ж додуматься... До чего лицемерная страна — привыкли праздновать повинности!
Гавриил Романович взял букет и по-базарному взвесил на ладони:
— Да, рубликов на двадцать пять потянет по случаю зимы. Скидывались, значит, ради экзамена? Ну, поскольку я не дама и не артист, то принять не могу.— Он насмешливо оглядел удрученные лица студиозусов.— Но и не выкидывать же. Решим так: букет этот присудим прекрасной представительнице группы — но не за красоту, а за лучший ответ. Роль Париса я присвою себе. Ну, заходите все разом.
Систему приема он придумал вчера, вспомнив читанную когда-то книжку по психологии. Из книжки запомнилось понятие об «уровне притязаний» — на успех, на место в жизни. Одна из определяющих характеристик личности — уровень притязаний. Неизвестно, принимал ли кто-то когда-то так экзамены, во всяком случае, Гавриил Романович додумался сам.
— Значит так, попрошу всех сложить ко мне на стол зачетки, но с разбором: на этот угол — тех, кто скромно претендует на тройку, на этот — кто рассчитывает смело на пятерку, а в середину — претендентов в четверочники. Прошу.
Наступило всеобщее замешательство. Потом кто-то спросил, маскируясь за спинами:
— А если кто на двойку претендует, тому куда?
— С подобными претензиями не было смысла приходить вообще.
Замешательство все длилось. Наконец встала девица-дарительница, улыбнулась Гавриилу Романовичу и положила свою зачетку на середину. И народ двинулся. Вообще-то Гавриил Романович опасался, что все дружно продемонстрируют скромность и благоразумие, выказав четверочные претензии,— но нет, он недооценил раскованность современной молодежи: объявилось шесть претендентов в пятерочники, а три запуганного вида девицы приткнулись к троечному углу. Ну и большинство в середине — классическое распределение Гаусса.
— Прекрасно. Теперь все получают задачи соответствующей сложности. Кто решит — может получить свою отметку и уйти. Или попросить задачу из более высокого балла. Но рискуя уже достигнутым. Кто не решит — соответственно, получает задачу из более легкого класса. Теперь, как договаривались, доставайте свои пособия и действуйте. Только уж извините, но я поприсутствую, чтобы каждый решал по возможности самостоятельно. Я проверяю ваше умение пользоваться литературой, а не крепость ваших дружеских уз.
Студиозусы уткнулись в учебники. Гавриил Романович ждал.
Не потому ли придумал он эту систему, что собственный уровень его притязаний выше, чем нынешнее скромное его положение? А «Гаврилиада», в которой он берется разрешать чуть ли не все мировые проблемы!.. Вот только какую роль выбрал бы он себе — если отбросить вечный страх перед защитниками окаменевших марксистских догм: проповедника ли, мнящего наставить наивное человечество, или молчаливого всепонимающего наблюдателя?
— Можно уже отвечать?
И дело пошло. Большинство довольствовалось достигнутым и не претендовало на прибавку. Красавица-дарительница, когда он предложил ей попробовать пятерочную задачу, отмахнулась:
— Что вы, мне этот балл — как архитектурное излишество!
Излишества в ней природные — а потому архитектурные действительно ни к чему.
Остался наконец последний молодой человек. Зачетка его красовалась в пятерочном углу. Чего он тянет? Запросил слишком?
Но молодой человек, оставшись наедине, спокойно положил листок с решением на стол. Как бы даже небрежно.
— Вот.
От всех студентов так или иначе исходила почтительность: ведь их судьба хоть на минуту, но оказалась в руках Гавриила Романовича. А для этого — чувствовалось — экзамен совсем не событие.
Гавриил Романович молча взглянул, удостоверился, что решено правильно. Молча же вписал в зачетку «отлично».
Заговорил первым уверенный в себе студент:
— Вы их извините, Гавриил Романович, за букет. Нечестный тоже ход: букетики дарить. Тайком от меня скинулись, догадались, что я бы не дал. Здесь по-честному мало кто жизнь понимает. Вообще жизнь.
Неожиданный сюжет для экзамена!
— А вы, стало быть, понимаете?
— Пришлось. Я в Афгане был, там научат.

До сих пор Гавриил Романович старался не думать про Афганистан, про тамошнюю необъявленную войну. Благо ни в газетах почти ничего, ни по телевизору: промелькнет изредка несколько слов про «ограниченный контингент, временно находящийся на территории», а что контингент на территории делает — непонятно. Самый этот штамп, такой же застывший, как когда-то «и примкнувший к ним Шепилов», дает понять привычному к иносказаниям советскому человеку, что вопросы задавать бесполезно и даже опасно. К тому же раздражала математическая бессмыслица: «ограниченный контингент»! Неограниченных вообще не бывает, вся наша армия, хотя и ужасно велика, но тоже в конце концов ограничена; само число атомов во вселенной конечно — и тем самым ограничено. Появление подобных зловещих штампов лишний раз доказывает только одно: что личности, нами правящие, тупы и ограниченны. Грустно убеждаться в этом в который раз. Да, ничего не изменится в громадной стране, терпящей подобных властителей. Мы — безнадежны. Есть предел, за которым катастрофа уже необратима, в астрономии это *черная дыра*. Вот и Россия свалилась в какую-то черную дыру истории...
И вот впервые перед ним парень *оттуда* — из Афганистана.
— Там научат. Когда убитых видишь — и своих, и ихних. Да вы не бойтесь, я не затем, чтобы ужасами пугать.
Ни у парня, ни у Гавриила Романовича не возникало сомнения, что парень, студент, имеет право на покровительственный тон.
— Меня ничем не напугаешь, я всю блокаду здесь прожил.
Какое счастье, что Гавриил Романович имеет право так ответить! Счастье, что прожил всю блокаду?! Выходит — счастье...
— А-а, то-то вы так... Я ведь почему заговорил? Потому что вы не прикидываетесь. Я теперь любого насквозь чувствую, кто прикидывается, строит чего-то из себя. Кто бы еще так экзамен устроил — с книгами в руках? А то всякий требует, чтобы ему шпарили наизусть, а сам в книжку подглядывает. Да не про экзамены я... Вернулся, а тут разговоры все: про шмотки да про жратву. И воруют все — по-черному. Готовы домну по домам разнести! У нас тоже были придурки тыловые — шерсть, гашиш вывозили военными грузами. Даже в гробах запаянных. У нас тоже один — уехал вовремя. Но ребята поклялись: хоть под землей найдем, хоть в тундре! Сколько ребят в цинковых костюмах уехали, а этот весь в фирме контрабандной, да с миллионом?! Достанем!.. Здесь в Союзе тоже таких полно. Андропов начал наводить порядок, да мало. Сам заболел теперь, или подсыпали ему чего — те, которые насосались тут при бровастом. Подсыпали да радуются теперь?! Рано радуются: мы Андропову поможем, если надо. Мы — афганцы. От судов с милицией они привыкли откупаться, а нас не купишь, мы с ними разберемся прямо, без судов — по справедливости!
Гавриилу Романовичу парень нравился все больше — прямотой. Но слушать его было страшновато: что если правда начнут такие вот молодые ветераны, привыкшие к крови, *разбираться прямо*...
— У нас там в Афгане настоящий комсомол, корчагинский, и здесь в Союзе комсомол называется. Прихожу в райком, а там сидит такая контра, что только прямо в расход!
Слова-то забытые — страшные: «контра», «в расход».
Но зачем об этом здесь говорится — на экзамене?
А странный студент продолжал с убежденностью человека, лишь недавно познавшего истину:
— Мы порядок наведем! Здесь в Союзе только врут да воруют, а в Афгане ребята в это время кровь проливают! За державу обидно! Мы что ж там — за себя? Мы за всех проливаем! За державу!
«За всех кровь проливают...» Нет, Гавриил Романович не просил за него кровь проливать. Тем более в Афганистане. И хлопотать *за державу* не просил. Выражение «за державу обидно» всегда было так же неприятно ему, как вопрос «как дошел до жизни такой?», как «взятый на вооружение» рецепт торта. Могут ли существовать стилистические расхождения с существующим строем? Оказывается, могут! Стиль — это человек; тем более, стиль — это строй. Дурной стиль — дурной строй.
Молодой ветеран не замечал растущего отчуждения Гавриила Романовича. Как всякий фанатик, он был занят собой.
— Я сразу увидел, что вы по делу говорите, не притворяетесь. Нам такие нужны. Тем более, вы всю блокаду здесь. Нам по пути с такими старшими, которые думают честно. Мы позовем. Записку пришлем, если что. Вот знак у нас, пароль письменный: «А» в круге.
Для наглядности парень нарисовал условный знак на обороте листка с задачей. Господи, свой знак Зорро изобрели. Дети еще, конечно. Но, быть может, опасные дети.
Гавриил Романович снова взял зачетку ветерана, заглянул на первую страницу: «Сергеев Сергей Иванович». Все очень просто: Сергеев С. И., двадцати примерно лет от роду, готов взять на себя ответственность «за державу». Навести железной рукой железный порядок. Очень честный парень, очень убежденный...
— Желаю вам всего лучшего, Сергей Иванович. Стать хорошим инженером — тоже не так мало. Делать автомобили — чтобы не стыдно за страну. Будут если хорошие машины,

хорошие дома, хорошие продукты — тогда и порядок. И воровать не придется, и врать. Только так.

Но Сергеев усмехнулся с превосходством человека, проникшего в суть вещей:

— Не-ет, на хороших инженерах воду возят. И чтобы было все — и машины, и масло у нас в Воронеже, сначала — порядок!

На столе стояли хризантемы. Гавриил Романович вспомнил, что обещал присудить букет. Заговорился вот — с борцом за порядок...

Но группа ждала в коридоре. Сергеева обступили, слышалось: «Чего он тебя так долго? Цеплял, да?» Гавриил Романович взял цветы, вышел вслед за Сергеевым.

— Ну что ж, колебаться, подобно Парису, мне не пришлось: из всех прекрасных представительниц пятерка только у одной. Держите, мисс сто шестнадцатая группа, и дерзайте дальше.

Пятерочница была девицей довольно-таки неказистой — и с тем большим удовольствием он вручил ей букет. Возможно, первый в ее жизни, а уж такой роскошный — наверное. Девица на минуту даже сделалась красивой — от счастья.

Группа уходила, гомоня на весь коридор. И Сергеев со всеми. Пришлет ли он приглашение с таинственным «„А" в круге»? Вряд ли. Скорей всего, Гавриил Романович его разочаровал своим назиданием. Ну что ж, не бывать в тайной дружине, которая *разбирается прямо* и наводит порядок, приговаривая без суда всякую *контру*. Еще один *несостоявшийся поступок* в жизни Гавриила Романовича. Но в данном случае можно быть уверенным: слава богу, что несостоявшийся!

В преподавательской налетел Славка Снитковский:

— Ну, какова группочка?!

Гавриил Романович и забыл, что исход экзамена имел значение в кафедральной политике. И теперь сам с интересом разглядывал ведомость:

— Семь троек, три пятерки. Средне, но ничего.

— «Средне»?! Да Колонна и мечтать о таком не могла! Подмаслил ты ей, поздравляю! Теперь жди, отблагодарит!

Славка выскочил, хлопнув дверью.

Вот так, всегда Гавриил Романович сам по себе: к фанатичным мальчикам-афганцам не пристал и даже к скромному заговору против Колонны — тоже. Ну а что он мог сделать, если группа прилично решила задачи? Значит, в чем-то разбираются, чему-то научились — чего еще требовать от инженеров?

А Славка хотя и «беспартийный», по советским анкетным понятиям,— он сейчас в «антиколонной партийке», и эта крошечная народийная партия уже требует принести в жертву высшей справедливости какие-то мелкие интересы каких-то студентов — ну, провалить их всех подряд, ну, отчислить кого-то — зато Колонна не пройдет в профессора. Такова природа всякой партийности.

Да вся история — борьба фанатиков. И значит, Гавриил Романович всегда оказывался бы вне игры...

* * *

все-таки есть же какой-то смысл в общей эволюции жизни

смысл объективный выходящий за пределы ощущений несводимый к любой разновидности разумного эгоизма

может быть каким-то самым могущественным галактам он ясен так же как нам строение солнечной системы

но и мы здесь на земле можем строить гипотезы

живая материя а затем мыслящая материя это новое состояние вещества такое же как твердое тело газ плазма

живая материя достигнув критической массы сделается таким же фактором развития вселенной как термоядерная реакция

и если сейчас видимая вселенная преимущественно состоит из звезд в которых течет термоядерная реакция

то в будущем основную массу будет вероятно составлять живая материя

потому объективной основой и общечеловеческой и вообще галактической нравственности является сохранение жизни во всех видах

потому что жизнь нынешняя природа земная есть зародыш который если не погибнет вырастет в громадную живую галактику

и я тоже в какой-то миллиардной доле ращу будущее громадное вселенское древо жизни

а если ращу сознательно то уже не в миллиардной а в миллионной или даже стотысячной

таким образом можно одновременно представлять неимоверные будущие дали и трепетно относиться к жизни сегодняшней

видеть красоту общего объективного процесса и со всей полнотой переживать радость собственного существования

для девушки спешащей в объятии любимого не существует никаких вопросов
она права
и можно лишь завидовать ей
и нужно лишь завидовать ей

* * *

Ватина принесла новость:

— Ты знаешь, этот наш еврей-сапожник в доме...

— Слесарь.

— Нет, сапожник, я точно помню! Еще алкоголик.

Точно помнил Гавриил Романович, потому что в этом-то состояла вся соль анекдота в милиции: «Профессия? — Слесарь.— А если серьезно?» Подставить «сапожник» — уже не так смешно. Гавриил Романович помнил точно, но спорить не стал, поскольку известно, что Ватина всегда все знает лучше — как партия.

— Этот сапожник каждый месяц получает посылки от родственников в Америке. Этим и живет, а не своими заработками сапожными.

— Ну и что?

— А то, что он спекулирует и живет гораздо лучше тебя с твоим высшим образованием и диссертацией! Так они все и устраиваются.

— Он не спекулирует. Спекуляция — это перепродажа, а он продает подарки от родственников.

— Все равно спекулирует! По сути. Я всегда сужу по сути! И живет куда лучше тебя.

— Ну и что? В конце концов, и мы не нуждаемся. Худо-бедно проживем и на наши заработки, и на пенсию тоже. Ну ездим отдыхать не на Гавайские острова, а в Сочи дикарями. Нашла чему завидовать.

— Я не завидую. Скажешь тоже. Я вообще никогда никому не завидую, пора бы знать! Я в принципе возмущаюсь. Давно пора запретить такую спекуляцию! Непонятно, куда наши власти смотрят.

— Они смотрят, чтобы я не получил лишнего. С моей специальностью я был бы богаче этого слесаря...

— Сапожника!

— ...богаче всех сапожников со всеми родственниками — в нормальной стране.

— Ну, положим, если всем кандидатам прибавлять, чтобы ездили на Гавайские острова, никаких миллиардов не хватит! Но запретить-то ведь просто, чтобы не спекулировали! Никаких расходов, даром.

Надо отдать Ватине должное, у нее иногда вырываются готовые афоризмы: «Но запретить-то просто — и никаких расходов не надо, даром!» В простой фразе целая политика!

16

Гавриил Романович несколько раз возвращался и перечитывал то место в своей «Гаврилиаде», где он написал об инвентаризации всего состава партии, чтобы каждый ее член утверждался в коллективе, в котором работает, и притом тайным голосованием. Разумеется, это не самое важное место в «Гаврилиаде» — для него самого не самое важное, потому что главным образом заполнял он амбарную книгу рассуждениями о мировоззрении, производил, так сказать, другую инвентаризацию — собственных взглядов. Но мировоззрение — сугубо личное его дело. Очень важное дело. Вероятно, каждому сколько-то мыслящему человеку необходимо под старость разобраться в себе самом, осознать, что он думает о жизни и о мире вокруг,— многие так и не удосуживаются этим заняться, довольствуясь обрывками из школьного атеизма, институтского диамата или — в последнее время все чаще — слухами о христианстве и бытовой мистикой. А вот Гавриил Романович решил разобраться в себе — замечательно! И все-таки занятие это чисто личное. Зато вот скромная мысль о всенародном переучете членов партии — мысль эта может иметь общественные последствия!

Вообще, самые значительные последствия имеют только мысли простые, даже банальные. Мысли, понятные каждому. Если уж невозможно совсем избавиться от партии, хорошо бы сделать ее подконтрольной народу — что может быть проще и понятнее?!

И ведь при всей простоте и понятности мысль громадная! Ни на одном посту не мог бы удерживаться человек, не утвержденный народом — «снизу», выражаясь на партийном жаргоне. Сразу изменилась бы жизнь во всей стране. И сама наша невероятно огромная страна — *бескрайняя* — перестала бы выглядеть мрачной крепостью, окруженной железным занавесом, а значит, и весь мир так или иначе изменился бы! От одной мысли...

Эта-то громадность и пугала. Он может сколько угодно воображать себя наблюдателем, судящим о мелких земных событиях с точки зрения галактического разума, но в реальности-то Гавриил Романович Гнездилов — человек самый незначительный, как же смеет он покушаться переменить жизнь всей страны, даже всего мира?!

Зато привлекало привычное советское лицемерие. Громадная мысль — она была по своему строению двухслойной, и эта-то двухслойность, советскость подавала надежду, что мысль может все-таки воплотиться. Хотя бы некоторую надежду... Ведь подлинной своей тайной мыслью о роспуске самой тиранической партии, которой никогда до конца не отмыться от сталинских преступлений,— этой тайной мыслью Гавриил Романович ни с кем не мог поделиться, не рисковал доверить ее и страницам «Гаврилиады». Зато мысль компромиссную, маскирующую тайную мечту, высказать было можно, призвав на подмогу светящийся со всех крыш и заборов лозунг «Народ и партия едины».

Но неужели такая простая мысль пришла в голову ему первому? Трудно было в это поверить. Наверняка об этом думали *там наверху*, когда стали наводить порядок в брежневском бардаке...

А приятно вообразить хотя бы на минуту: приходишь на общее собрание, и каждому при входе вручают список всех местных членов партии, всех *коммунистов*, провозглашающих приближение земного рая, в котором всем выдадут по потребностям,— ну и для начала спешащих удовлетворить потребности собственные, удобно устроившихся у общественного пирога. Список всех коммунистов местных, плюс прикрепленных к данной организации райкомовских и обкомовских деятелей. И собрание обсуждает! А ведь свои своих знают насквозь — кто в партии ради идеи, а кто ради пирога. Понятно, многие боятся обсуждать откровенно,— но ведь бюллетени в руках у каждого, вычеркивай молча и опускай в урну. При такой системе многие не удержались бы в партии, уж Колонну-то с Зазроевым выгнали бы точно! И сразу можно было бы поставить крест на профессорстве Колонны, сразу вылетел бы из приемной комиссии Зазроев. А сколько их — партийных паразитов, сосущих соки страны! Разве остался бы в партии Романов, если бы спросили простых беспартийных ленинградцев?..

Этого-то и боятся *там наверху:* боятся зависеть от народа, боятся выдать *своих* на суд — пока лишь моральный суд — тех самых масс, которыми привыкли помыкать. А раз боятся, как они отнесутся к какому-то Гнездилову, который полезет с подобным проектом?

Понимал Гавриил Романович, прекрасно понимал, что нужно держать свою мысль при себе, не нужно никуда лезть,— и не мог успокоиться. А вдруг он все-таки первым пришел к столь простому и радикальному средству избавиться от *зазроевых* и *романовых?* Первым изобрел способ совершить тихую, аккуратную внутреннюю революцию? Ведь даже самые замечательные идеи приходят сначала в голову кому-то одному! Обыкновенному земному человеку, а не божественному посланнику. Уже потом, когда мы знаем, *кто* подарил человечеству мудрую мысль, мы находим в реформаторе черты особенные, признаки избранничества, но пока он только обдумывал свою будущую реформу, он еще пребывал в обыкновенности. Значит, мало прийти к замечательной мысли, надо еще поверить в нее, поверить в себя!.. Так почему не поверить в себя Гавриилу Романовичу?

Только нужно не страдать самоиронией. Нужно фанатично, даже тупо твердить одно и то же — тогда есть шанс чего-то добиться. Нужно остроумно обдумать одну мысль — и в то же время тупо не видеть препятствий, не слышать возражений!

Там наверху, конечно, побоятся выдать своих на суд народа. Вот только где — *наверху?* Побоятся мелкие и средние партийные начальники, а *на самом верху?* А сам Андропов? Ведь должен же он понимать, что не навести никакого порядка, пока не удастся разогнать всех этих присосавшихся паразитов! Не уничтожить — хотя бы разогнать!

Значит, писать нужно только самому Андропову. Понятно, что сам он из почтового ящика по утрам письма не вынимает. Попадет секретарям. Но должны же быть у него толковые секретари, которые так же искренне хотят перемен. А уж секретари покажут ему — ведь не каждый день поступают проекты такого масштаба!

Опускать письмо, разумеется, придется в Москве — ленинградская почта все письма в ЦК заворачивает в обком.

Этот странный *афганец* Сергеев что-то говорил про болезнь Андропова, даже намекал, что его отравили. Но совсем недавно было опровержение по телевизору, сказали, что у Андропова всего лишь грипп. Конечно, у нас часто врут в официальных сообщениях, но уж не стали бы врать так глупо, если он действительно тяжело болен!..

Да, написать Андропову, специально поехать в Москву, опустить там, да не в любой почтовый ящик, а около самого ЦК!

Но сначала все-таки нужно написать.

Гавриил Романович очень старался подчеркнуть свою преданность партии. Напирал не только на то, что народ и партия едины, но и на бесспорную истину, что она — партия — ум, честь и совесть нашей эпохи! И вся его скромная цель только в том, чтобы сделались они еще более едины, чтобы воплотился в ней еще более острый ум, более чуткая совесть...

И не мог он не вообразить, пока писал, как тот секретарь, который первым вскроет конверт, даст почитать проект «какого-то Гнездилова» знакомым, те перепишут, пустят по рукам, и скоро вся страна будет передавать друг другу *письмо Гнездилова*, повторяя с понимающей улыбкой: «Надо сделать народ и партию совсем едиными! Надо всем нам блюсти ее незапятнанную честь!» Диссидентские обличения легко объявить враждебной клеветой, а как опровергнуть искреннего радетеля, который убежден, что партия уже хороша, а нужно только сделать ее еще прекрасней? Так что в каком-то смысле Гавриил Романович считал себя мудрее диссидентов, а письмо свое — полезнее для страны тем, что оно не эффектно, но эффективно: принцип дзюдо, когда прием проводится не за счет собственного усилия, а за счет силы противника! И маленькая японочка таким приемом с улыбкой бросает наземь громадного озверелого насильника. Да, только так и может чего-то добиться скромный гражданин, борясь с громадой партии: обратив против нее ее же силу!..

Гавриил Романович даже вспотел от увлечения. Сейчас он напишет... Прочитает сам Андропов... И по рукам пойдет через секретарей... Вся страна станет передавать из рук в руки: «Переучет партии!.. План Гнездилова!..»

И тут некстати зазвонил телефон.

— Гавриил Романович, вы?!

Нинуша! Да, кажется, плачущая Нинуша.

Что у нее могло случиться? Марина благополучно вернулась с Памира — правда, без Йети, но «полная впечатлений». Или уже успела пропасть в Бермудском треугольнике?

— Вы?! Вы слышали?!

Или на кафедре что-нибудь? Рывкин разбился, как Ватинина Тамара Федоровна? С Нинуши станется — она и по Рывкину расплачется.

— Нет. А что я должен слышать?

— У вас что же, телевизор не включен или радио?! Андропов же умер!

Вот и все.

А Гавриил-то Романович — расписался!..

Плакать — это, пожалуй, слишком: все-таки не родственник, не близкий друг. Но посылать письмо больше некому.

— Да, жалко. А кто председатель комиссии, вы не помните?

— Какой комиссии? Андропов умер — а вы с комиссией какой-то!

— Комиссии по похоронам. Сейчас это важно: кто председатель? У нас, кто старого хоронит — тот новым становится. Не слышали?

— Не знаю! Андропов умер! Человек был!

Верная Нинуша. Не думал он, что она так любит Андропова. Сам он тоже — возлагал какие-то надежды, но так плакать...

Кто же теперь станет новым?! Какой курс изберет?! Андропов все-таки пытался навести порядок после брежневского бардака — а следующий? Можно ли ему будет посылать письмо, предлагать переучет в партии?

Ну а пока что надежнее — порвать. Полстраницы успел написать Гавриил Романович — вот и порвать.

Как говорил несостоявшийся философ из валдайской деревни? *Народ молчит хором.* Самое время хором помолчать.

* * *

на самом деле искренне жаль андропова

после брежневского бардака пришел человек который болел за страну а не за себя

но многого не успел слишком быстро умер

верны или неверны слухи про отравление мы никогда не узнаем а историки будут спорить как сейчас спорят про смерть царевича дмитрия

но что радуются сейчас те кого он разгонял да не успел разогнать наверняка

радуются и надеются что все пойдет по-старому

главный вопрос кто придет теперь

от народа ничего не зависит мы можем только молчать и надеяться

вот теперь мы с надеждой ждем что появится новый лидер молодой и прогрессивный который до конца наведет порядок

мы уже заранее готовы его полюбить тем более что мы вообще легко влюбляемся в наших вождей

любовь к начальству у нас в крови

интересно а существуют ли у разумных галактов вожди в нашем понимании от которых зависит судьба народа планеты цивилизации

ясно что это невозможно ясно что в разумном обществе весь народ не может зависеть от мудрости или глупости одного индивидуума

мы безнадежны по крайней мере до тех пор пока вся страна зависит от взглядов и вкусов одного человека

даже самых лучших взглядов и верных вкусов

мы рабы пока мы ждем освобождения от одного человека

а между прочим андропов из кгб

и выходит что после брежневского бардака и кгб прогрессивно борется с такими мощными взяточниками как щелоков и медунов

* * *

Очень удачно Гавриил Романович закруглил запись — на всякий случай. Хотя ничего ему не грозит, раз он не успел опустить письмо.

Просто счастье, что не успел! А то попало бы к секретарям нового вождя — а кто будет вождь? Ведь какоа начальник, таковы и секретари. Прочитали бы, что какой-то Гнездилов хочет, чтобы весь народ утверждал и изгонял членов партии — их самих то есть, секретарей всех рангов; прочитали бы и спросили у *компетентных органов:* а кто такой Гнездилов?!.

И уж не знаешь после этого, чего больше бояться: что в больницу потащат или в кутузку?

Да, просто счастье, что снова совершил он *невидимый поступок,* что зачаточное действие вовремя закончилось абортом!

Ватина сказала вечером:

— Наша Тамара Федоровна говорила, у Андропова жена была еврейка. Потому он их столько и отпустил в Израиль.

— Каждый может жить, где хочет. Это нормально.

— Всё у них есть, живут лучше всех, а всё недовольны! Вот и Антона который вечер дома нет.

Если бы кто-то подслушал их разговор — хотя кому нужен какой-то Гнездилов, чтобы подслушивать, пока его проекты летят в корзину! — подумал бы, что у Ватины совсем отключилась логика. Но Гавриил Романович прекрасно уловил ассоциацию:

— Наверное, и при новом выезды не закроют.

— Пусть едут! Я тоже — за свободу. Только я бы голыми выпускала, без ничего! Хотите в рай — вот и начинайте там райскую жизнь, а что на нашем горбу нажили — оставьте! У Тамары Федоровны врач прямо из реанимации уехал. Хорошо, что успел ее анимировать!

Гавриил Романович думал, что все-таки меняются у нас времена, хоть и медленно. При Брежневе началось, а Андропов действительно добавил свободы: руками голосовать по-прежнему нельзя, но хоть ногами можно... Как проголосует Антон?

17

Уже начались занятия в новом семестре, как вдруг Гавриилу Романовичу неожиданно всучили путевку в Сортавалу. Он и ехать не хотел, но выяснилось, что надо соглашаться непременно, что путевка *горит*, а потому его патриотический долг по отношению к институту в данный момент состоит не в том, чтобы учить студентов, а в том, чтобы ехать в Сортавалу.

Колонна подсовывала ему на подпись заявление об отпуске, наваливаясь всей тушей:

— Вот вы ломались, не хотели для профсоюза соцобязательства написать, а профсоюз для вас старается! А кстати, знаете, как один просил путевку в санаторий или, на худой конец, в дом отдыха? И что ему ответили про худой конец? А еще как армянское радио спросили, чем отличается дом отдыха от публичного дома?

Жирное тело сотрясалось, и Гавриил Романович думал почти с завистью, что Колонна, похоже, всегда счастлива, словно мир создан точно по мерке — для нее.

Домой он пришел растерянный, потому что ехать нужно было прямо завтра с утра, а он не умеет так быстро переключаться, он привык составлять свои планы заранее. Ватина немедленно принялась стирать и гладить, а Гавриил Романович сидел и размышлял: брать ли с собой «Гаврилиаду»? Ведь поселят его, скорей всего, в двухместный номер, значит, неизвестно с кем, и лучше бы не искушать судьбу. Но и без «Гаврилиады» уже как-то одиноко.

Как-то странно, боком вошел Антон — словно стесняясь.

— Вот, можешь вписать в свой свиток цитату из Герцена.— И Антон о «Гаврилиаде», словно нарочно! — Смотри: «По смерти Николая уничтожилось постыдное стеснение в праве русским путешествовать за границей». Звучит? А у нас и до сих пор не уничтожилось — ни после Сталина, ни после Брежнева.

Гавриил Романович перечитал — словно не вполне доверяя своим ушам.

— В самом деле, подходит. Только я цитаты не вписываю. Прикрываться цитатами — значит, не верить самому себе. Чисто религиозная метода: процитировал к месту — значит, доказал. Кто Ленина цитирует, кто Библию.

— Ты не вписываешь, а я бы вписал. Если бы имел такую «Гаврилиаду».— Антон повертел томик Герцена.— А раз не имею — я просто женюсь! — закончил он совершенно неожиданно.

Гавриил Романович сразу все вспомнил и все понял: «Жена-еврейка не роскошь, а средство передвижения».

— На Аллочке?

— Ну!.. Я еще надеялся, у нас кто-то новый появится после Андропова, а у нас — Черненко. В этой стране никогда ничего не произойдет!

Антон в своем праве. И все-таки хотелось не то что удержать — на это Гавриил Романович не надеялся,— но хоть показать, что не все безупречно в рассуждениях сына.

— Да, у нас почти ничего не меняется. Но жениться все-таки принято по любви, а не по политике. А у тебя сразу — средство передвижения.

— Что мы любим и все такое — это подразумевается. Важно, что делать с любовью дальше. Мы думаем, знаешь, про что? Про Австралию! Континент еще относительно пустой. Не так загажен, как прочие. И далеко от всяких арабских террористов.

Что ж, не повторять же ему отцовскую жизнь, в которой так ничего и не случилось!

— Там ведь тоже: кто устраивается, а кто не очень. На Западе.

— Я устроюсь. На программистов там спрос.

Да, похоже, Гавриил Романович в Сортавалу едет с бóльшим волнением, чем Антон — в Австралию.

— Все-таки что-то меняется и у нас. Когда мне было столько, сколько тебе сейчас, и помыслить было невозможно ни про какую Австралию!

— Вот и нужно ловить момент, пока форточка приоткрылась. А то явится новый Папа Джо, тогда из всей географии останется одна Колыма, и никакой Австралии!

— С языком как — не боишься?

— Люди на иврит переходят — и то ничего, а уж английский — почти родной. Мы с Аллой уже полгода как подумали про Австралию, на свиданиях по-английски говорим.

Гавриил Романович вспомнил дружное: «Васёй-васёй!» — спелись!

— В общем, май фазер, мы договорились, правда? По нашим патриархальным законам требуется согласие родителей. Надеюсь, препятствий не возникнет? Ноу прóблем?

— Какие ж препятствия. Я всегда за свободу, ты же знаешь.

Хотя представить себе трудно: Австралия! Антон станет антиподом. Может, и не придется больше увидеться. Переписку, правда, сейчас разрешают. Фотографии можно будет посылать. Внуков.

— Вот и отлично! Имея такого папу, автора «Гаврилиады», я и не сомневался. Еще и издам ее там — в свободной прессе. Ладно, еще не завтра, драматические напутствия прибережем!

И Антон выскочил, довольный разговором. Подход какой придумал: с цитатой из Герцена!

Вот сын и проголосовал — ногами. Свободные выборы — по-советски.

А насчет того, чтобы публиковать «Гаврилиаду»,— шутка, конечно. Даже и анонимно. Все равно КГБ докопается, а судьба Синявского Гавриила Романовича не привлекает... Может быть, лет через сто раскопает какой-нибудь будущий Андроникова и опубликует в «Советской старине». Не раньше, чем через сто...

Ночью Ватина твердила:

— Ну что, утянули Антошу твои Снитковские! Евреям все равно, где Родина!

— Что значит — утянули? Он сам захотел.

— Утянули! Жил бы здесь без всяких фантазий. Пошел бы в армию, платили бы хорошо как военному Все Алла эта — не живется ей здесь. Утянули!

— Она бы и сама уехала, без Антона. С другим мужем.

— Не-ет, ей кровь здоровая нужна! Ее яйцеклеткам. Русская кровь. Они почему пять тыщ лет существуют? Никого не осталось из тех народов, а они везде! Потому что привыкли чужой кровью питаться. Приспособились! Мы вымереть успеем, а они всё будут.

Гавриил Романович не спорил.

А утром из слякотного города попал он в настоящее Берендеево царство. Чистейший морозный воздух, который хотелось нарезать ножом на блестящие кирпичи, запаковывать в серебряную фольгу и везти в Ленинград, чтобы угощать гостей вместо кофе. Снег, лежащий на каждой мельчайшей веточке, так что не удержаться от сравнения с белым кружевом... Будет у Антона своя машина, может быть, дом построит в пригороде Мельбурна, но выгонят его когда-нибудь насильно в отпуск посреди семестра? Вручат чуть не даром путевку в такое волшебное царство? (Где, кстати, австралийцы отдыхают? В Новой Зеландии?)

Не распаковывая чемодана, стоял Гавриил Романович у окна своей временной комнаты. Двойное стекло создавало приятное чувство отгороженности, и Гавриилу Романовичу показалось на короткое время, что он и вправду галакт, только что прилетевший на Землю и глядящий сквозь надежный герметический иллюминатор на незнакомую прекрасную планету.

Тот земной Гнездилов все покушается на какие-то поступки — и оказываются они каждый раз *абортивными.* Наверное, это закономерно. Что ему — земные заблуждения? Он постиг всю порочность местных предрассудков — и не разделяет ответственности за людские пороки. Как урожденный папуас, который перестал поклоняться местным идолам, постигнув широкий европейский взгляд на мир. Глупо пытаться повлиять, пытаться

вразумить — остается наблюдать туземные нравы. Вот так, словно сквозь герметическое стекло иллюминатора.

Вот сейчас выйдет из заснеженного леса существо — разумное существо здешнего мира — и заговорит с пришельцем. На каком языке заговорит?

Главное безумие здешнего мира — различие языков, различие народов! Различие, которое неизбежно убьет этот милый маленький мир.

* * *

главное безумие здешнего мира различие языков
крошечное племя землян поделилось на чуждые друг другу народы
антон уезжает в австралию
это бы замечательно если бы не разделяющий железный занавес
если бы не разделяющий языковой барьер
если бы не обреченность не увидеть больше сына
если бы не обреченность никогда не увидеть внуков
если бы австралия таким образом не была дальше марса
здешние существа не понимают собственного безумия
нужно взглянуть на себя со стороны а они заняты лишь собственными бесконечными распрями
кто кого не любит
кто кого боится
у кого к кому тысячелетние счеты
выходит безумие непобедимо
выходит обречена маленькая заносчивая земля

* * *

Из заснеженного леса по лыжне выкатились фигурки в ярких костюмах. Они громко смеялись непонятно на каком языке — смех не сумели поделить языковые барьеры. Они катились, смеялись и, похоже, не думали о будущем планеты.

Гавриил Романович перечитал последние фразы:
«Выходит, безумие непобедимо!
Выходит, обречена маленькая заносчивая Земля!»
Или можно иначе:
«Выходит, безумие непобедимо?
Выходит, обречена маленькая заносчивая Земля?»

И тут наконец он понял, в чем смысл отказа от знаков препинания: знаки эти слишком облегчают чтение, делают написанное плоско однозначным. То ли дело — сплошной текст без знаков! В него приходится вчитываться, приходится возвращаться назад, мысленно расставляя логические ударения. А потом — задуматься, превратиться как бы в соавтора и решить самостоятельно, какой знак более уместен в конце ключевой фразы — многозначительно вопросительный или категорически утвердительный...



ВАЛДАЙСКИЕ БУБЕНЦЫ

Были вьюги,
были вихри,
ржанье,
топот у крыльца...

А теперь они затихли,
два валдайских бубенца.
Два смиренных сувенира,
позолоченных на вид.
Ну а тронешь — и квартира
засмеется,
зазвенит.
И душа твоя — на части!
Не на тройке ль вороной
наша юность,
наше счастье
прокатили стороной?

Хохоча или рыдая,
не смолкают до конца
колокольчики Валдая —
два настольных бубенца.
Потому что
над бедою,
над весельем новых дней
чье-то счастье молодое
тех же гонит вновь
коней.
В той же бешеной метели
снова
любящих сердца
зазвенели и запели —
золотые
два
птенца...

* * *

Я научился вслушиваться в звуки,
А раньше не хотел и не умел.
Стал кожей ощущать чужие муки —
И сам не знаю, как еще я цел.

Все думаю: с годами это, что ли?
В такие жизнь берет меня тиски,
Такая даль звенит в любом глаголе,
Что страшно мне от счастья и тоски...

* * *

Зачем, почему я так верил ему?
Слепой совершенно был, что ли?
Я шел наугад сквозь метельную тьму
И плакал от злости и боли.

Не зря дожидался он этого дня,
И был он сегодня в ударе.
Так просто, расчетливо продал меня,
Как будто коня на базаре.

Он выгодно клялся, о чести трубил,
Жонглировал ловко словами...
Как горько,
как ветрено стало в груди
И пусто, как в выбитой раме.

Я спас его как-то, когда он тонул,
И жизнь положил бы за друга.
Я душу свою нараспашку рванул:
Все кончено — вьюга так вьюга!..

Николай Борисович Рачков (р. в 1941 г.) — поэт. Печатается с 1957 года. Первая книга — «Колодцы» — вышла в свет в 1967-м. Живет в городе Тосно Ленинградской области.

Радий Погодин

Два рассказа

ТУМАН

I

Под скалистыми горами на берегу моря лежал городок с золотой колокольней.

Были в городке старинные профсоюзные санатории, пропахшие борщами, обветшалая канатная дорога, волосатые пальмы, самодеятельные портретисты и продавцы гороскопов. Цвела глициния жутко красивая — от сумасшествия Врубеля. Цвели тамариск, олеандр, рододендрон и, конечно, розы — множество роз. Громадные платаны возвышались над ботанической роскошью городка. Под их сенью экзотическая флора одемокрачивалась, добрела, шумела на ветру, как шумит лес.

В городке снимали сказки, и почти каждый день в бухте ошвартовывались белые пароходы, пришедшие издалека.

На набережной городка гуляли люди, в основном отдыхающие по путевкам, но также и дикари, и дети, ветераны войны, артисты и проститутки. Были тут и животные для фото: верблюд, ослик, попугай, большой и взъерошенный, оглушенный демидролом, чтобы не тюкнул кого-нибудь в темечко,— клюв у него, как кастет. Были для фото три зеленых макаки, два сонных тигровых питона и два мастифа угрожающей величины. Фотографировались в основном женщины. Отважно и, пожалуй, бесстыдно. Питонов они наматывали на шею.

На скамейке напротив почтамта, надвинув на глаза куцую кепочку, дремал инженер Серегин. Три ночи подряд во дворе гостиницы «Украина», где Серегин снимал номер, визжала сука. К ней рвались кобели. Днем сука копала в строительном мусоре ямку, добродетельно лаяла, охотно давала лапу.

Гостиничный персонал стоял на той точке зрения, что «животная тоже имеет право», а жильцам полезно, если не выспались, подремать на скамеечке на морском ветру с красивым названием «бриз».

Бриз дул Серегину в затылок.

А перед его прищуренным взором вдали, над крышей горисполкома, над горами высилась туча цвета остывшей лавы. На ее скрытой от глаз вершине вращалось точило. Творец затачивал на нем инструмент — делал новый замок на врата рая, из которого, по слухам, души праведников совершали массовые побеги. Рай грозил опустеть.

Серегин уснул, наверное. Проснувшись, увидел между горами и тучей светлую щель, из которой валил туман. Грандиозно — с такой величавой мощью, с какой обрушивалась с плоскогорий вода, когда Господь отделил твердь от хляби.

Радий Петрович Погодин (р. в 1925 г.) — известный советский писатель, автор многих книг для детей и взрослых, драматург. В 1989 г. «Звезда» опубликовала его роман «Я догоню вас на небесах». Живет в Ленинграде.

— Боже,— сказал Серегин.

Туман ниспадал струями. Они возникали из света и погружались в пену. Серегина коснулся неслышный и страшный грохот. Туман заполнял ущелье, накрывал леса, отзываясь в душе глухотой и желанием божьей подачки.

— Боже,— сказал Серегин.— Дай счастье гостиничной суке, а нам, грешным, сон. Боже...

Но тут появился мальчик.

Маленький. Весь беленький: белые волосы, белое личико, белый костюмчик, белые ножки и белые башмаки. Совсем один он вторгся в мир пароходов и каруселей, в бесконечное течение толпы, оснащенной мороженым. Мальчик желал остановить этот мир, чтобы разглядеть его. Он махнул ручкой, чтобы все вокруг стало доступным ему. Но все отдалялось, текло, уплывало... Тогда он насупился — топнул ногой. Но все уходило, смеялось... Мальчик поднял глаза и увидел туман. И его, уже разобиженного на весь мир, охватил ужас. Он заткнул уши ладошками. Что он услышал? Наверное, вопль одиночества — кричал тот, кто затачивал инструмент, чтобы сделать новый замок на врата рая.

Сразу задохнувшись, брызнув слезами, мальчик бросился за кусты барбариса, где невидимая для него, но каким-то образом ощутимая стояла его юная нарядная мама. Обежав кусты, мальчик ворвался в ее блистающее спасительное пространство.

Серегину стало жаль мальчика и жаль себя, маленького и тоже незагорелого, захлебнувшегося речкой Оредеж.

Он был очень мал. Но прыгал в речку отчаянно и с восторгом. Окунался с головой и когда выныривал, мама подхватывала его и высаживала на берег. Но вот она отвернулась, а он разбежался и прыгнул. Он вынырнул раз, вынырнул два, захлебнулся и, уже почти неживой, укусил белую мамину ногу. Сам он помнил только свои прыжки. Его не так радовало купание, как полеты и брызги. Но с той поры голубое небо иногда вдруг чернело в его глазах.

— Слушай, что такое «Азор»? — спросили Серегина сверху.

Он поднял глаза. Над ним стоял пивной брат, жевал сушку. Гуляющая толпа валила к причалам. В бухту входил белый лайнер, высокий, почти квадратный, с черно-синей полосой на трубе и названием «Азор».

— Азорские острова,— сказал пивной брат.— «Вот и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова».

Эта строчка Маяковского всегда удручала Серегина — от нее исходила тоска, сжималось сердце. Серегин смолоду смирился с ней, как смиряется человек, потерявший глаз или ногу. Серегин невольно вставлял в эту строчку слово «стороной»: «Вот и жизнь пройдет стороной, как прошли Азорские острова».

— Что такое «Азор»? — спросил он пивного брата.

— Пароход Панамского пароходства. Припер к нам западных немцев. Там у них на борту пиво — «бир» называется. Наш «Колос» супротив ихнего «бира» — моча.

«Азор» ошвартовался. Портовый буксир приткнулся между ним и «Арменией», совершающей пассажирские рейсы из Одессы в Батум и обратно. Маленьким сразу сделался теплоход «Армения», как разношенная туфля рядом с новым кожаным чемоданом.

Большой белый пароход был надменен и очень богат. На верхней палубе стояли западные немцы, покрытые красным загаром и светлыми волосиками. Некоторые из них кричали, махали руками.

— Приветствуют перестройку,— сказал пивной брат. И повторил: — Супротив ихнего «бира» наш «Колос» моча. Леонида Ильича. По губам течет журча...

Серегин поморщился. Азорами называют кобелей. Наверное, этот Азор приплыл к нашей гостиничной суке. А немцы на нем, как блохи. Кобелей все же называют Трезорами. Что же такое «Азор»? И почему сука скулит, когда к ней прут кобели? Должна бы радоваться. «А роза упала на лапу Азора». Если прочитать обратно, будет то же самое. Читать лучше всего вслух, с подвыванием. Особенно женщине, тощей и носатой.

— Сейчас повалят немцы — хансы. Будут фотографировать героев перестройки — одежду поправь. Лучше бы пивка прихватили,— сказал пивной брат.

— Что же такое «Азор»?

— А хрен его знает. Может, панамский герой.

Потом пивной брат выяснил у одной своей очень интеллигентной пациентки, что «азор» это ястреб. Азорские значит — Ястребиные острова.

Ну, очень интеллигентная дама. Жалко — не очень молодая...

Мимо прошли артисты, наряженные в сказочные наряды. Артисты были известные, на них все глазели.

II

— Ну, очень ты, гниль, башковитый. В День Победы по набережной ходил, латунью обвесивши, грудь выпятивши. А сейчас ты, гниль, на своем трудовом посту перед теми же немцами, перед которыми ты герой, спину гнешь? Где сейчас твоя латунь? В пионерский Артек врать поедешь — тогда и напялишь. В Артеке ты говоришь пионерам, кем ты сейчас, гниль, работаешь? На какой трудовой ниве гордость наращиваешь? В этом отчетном году отмечен небывалый подъем холуйской, халдейской гордости. Долой стыд! Да здравствует каучуковая спина!

Швейцар гостиницы «Ялта», которому пивной брат все это выговаривал, был человеком рекордной выдержки.

— Гоша, вон в том буфете на ваши деньги пиво дают,— говорил он.— «Колос». Не свежее. Но хорошее...

— А на ваши? — спросил Гоша.— На ваши везде и свежее. У тебя наши-ваши. Кто сколько подаст. Слушай, если я тебе сейчас доллар брошу, ты зубами поймаешь? — Пивной брат вытащил из кармана металлический доллар с портретом Кеннеди.— На, гниль, лови...

— Они на меня в административную комиссию за оскорбление личности подавали,— сказал пивной брат Серегину.— А я там речь толкнул. Под аплодисменты. Мне потом на набережной шапку денег собрали на штраф. Слышишь, гниль, подай на меня в суд — я разбогатею.

Швейцар не выдержал, пропустил, придержав дверь, пожилую пару морщинистых, веснушчатых немцев, шмыгнул за ними в вестибюль и дверью отгородился. Нервы у него, действительно,— позавидуешь, как у артиллерийского коня.

Перед Серегиным возник молодой сотрудник в импортном сером костюме в полоску, в галстуке, несмотря на высокую уличную температуру, и любезно сказал:

— Сударь, должен поставить вас в известность — на этих стульях советским сидеть нельзя. И вообще, вся эта территория арендована западногерманской фирмой «Эрик Шмидке». Но выход есть. Пять рублей в час. Видите, на стульях написано «Эрик Шмидке» — пять рублей в час. Надеюсь, сударь, вы знаете иностранные языки. Впрочем, вон в том буфете советским можно сидеть беспрепятственно. Там пиво «Колос». Симферопольское. Кислое.

Сотрудник был похож на муравья, вставшего на задние лапки: круглая голова на тонкой шее, круглая грудь на тонкой талии и от круглого зада длинные ноги. Серегину сотрудник показался наглым. «Их, наверно, не учат,— подумал Серегин.— Их дрессируют. Заставляют подолгу бегать голыми на четвереньках. Иначе откуда у них такая, надевши костюм с галстуком, важность? Наверное, от отсутствия перспективы. Если даже он закончит высшую специальную школу спецсексотов, то, наверное, станет старшим сексотом — послом его не назначат, велосипеда он не изобретет». Серегин засмеялся.

У сотрудника слегка побелели скулы. «Нервы у тебя слабее швейцаровых,— подумал Серегин.— Интересно, каким образом ты меня со стула сбросишь. Ударом по шее или под дых?»

— Сударь, вы, как я понимаю, решили не идти в советский буфет? Попрошу пять рублей.

Серегин встал и, сильно прихрамывая, пошел по каменным плитам к другой кучке столиков и стуликов. Там все было поплоше. Но, главное, на буфетных полках ничего не было, кроме ананасных вафель.

Тут его и подхватил пивной брат.

— Сердце? — спросил он.

— Судорога.

— Водочный компресс на ночь.— Пивной брат усадил Серегина на стул. Сам сел напротив.— Я сюда прихожу баварского треснуть. Это счастье, что на земле есть баварское. Некоторые умрут — так ничего хорошего и не попробуют. К примеру, моя жена. Сейчас мы попьем. Три рубля банка. А у того червя в галстуке — банка пять. Он тебе предлагал посидеть за пять рублей? Это он намекал, что поставит перед тобой банку баварского «Эрик Шмидке». И сиди себе, как бургомистр. Видишь ту гниль за дверью? Он от иностранцев чаевые гребет. У них тут концерн: чаевые переводятся в банки, а там — господи, твоя воля... У тебя шесть рубчиков есть?

Серегин дал брату шесть рублей. Брат пошел к буфетчице. Она вытащила из зеленой коробки две зеленые банки «Эрик Шмидке».

— Немцы, гад, удивляются. Говорят: вы такие образованные, а хорошего пива варить не умеете. А мы все умеем, но чичас не хочим.— Брат открыл банки.— Давай на брудершафт.

Так они стали пивными братьями. А к гостинице «Ялта» Серегин пришел просто так: шел-шел и пришел. И сел посидеть — ногу судорога свела.

— Давай еще по банке. Я угощаю,— сказал брат. Он принес еще по банке и все повторял: — Это счастье, кто понимает. Счастье, что на земле еще кое-что есть. Слышишь, брат, надо бы охрану наших границ возложить на сопредельные страны. Знаешь, как бы они охраняли? С прожекторами, с собаками. Под каждым кустом секрет с телефоном. А наши ползком. Первыми бы евреи. За ними другой народ — кто в профиль, кто в полуфас. Сколько бы на пограничниках сэкономили бы. Пивные бы заводы построили в областных центрах. Ячменя бы на солод купили хорошего. А потом бы они взвыли. Попросили бы нас границы закрыть. А мы бы с них контрибуцию — еще сто четыре пивных завода.

К ним на цыпочках, именно на цыпочках, подошел швейцар.

— Гоша,— сказал он.— Шел бы ты. Опять все деньги пропьешь. Дорого тут. И болтаешь ты нехорошее.

И сотрудник, похожий на муравья в галстуке, осуждающе смотрел со своей «малой земли», арендованной у нашего государства западногерманской фирмой «Эрик Шмидке».

— Допьется,— сказал сотрудник.— Такие всегда допиваются. Экстраверт по Бинсвангеру.

А Серегин вдруг вспомнил швейцара — тот действительно шагал с ветеранами пятьдесят первой дивизии, гордо выпятив грудь, сверкающую и звенящую, и, наверное, врал, что работает в гостинице «Ялта» садовником, выводит розы размером с солдатскую шапку.

— А вы действительно шли весь в медалях,— сказал Серегин швейцару.— Я вас запомнил. Вы все вперед выскакивали.

— А вас не спрашивают! — закричал швейцар.— Гоша наш тут родился. Зубной техник. А вы кто? Вы почему здесь распиваете, не проживая?

Но тут подъехал автобус, и швейцар, подхрамывая от усердия, побежал кланяться.

Потом они сидели с пивным братом Гошей на набережной. С Гошей многие здоровались, он без конца вскакивал, руки жал. А Серегин скучно, даже стыдясь, вспоминал свое единственное общение с западными немцами; с немцами из Германской Демократической Республики он общался часто, ему они нравились. Воспоминание было стыдным, по своей форме, что ли, в основе оно было грустным и все-таки стыдным. Серегин опоздал на «Красную стрелу» по причине шумной выпивки в ресторане «Восточный». Он вскочил в вагон, когда поезд уже тронулся. Проводница нелюбезно подтолкнула его под локоть. А он в отместку дыхнул на нее коньяком. В купе он еще выпил, и опять же коньяку, поскольку его сосед, пузатый ориентал, уже лакал и предложил ему опрокинуть. Серегин тут же и опрокинул. И когда сосед залег спать, свалив на матрац свое жирное рыхлое брюхо, Серегин пошел в буфет, чтобы еще опрокинуть,— тогда в «стреле» еще был буфет — золотое было время — время надежд.

В буфете, уже почти закрытом, толкались два немца. Буфетчица им выпивки не давала. «Пьяным капиталистам не даю»,— говорила она игриво, но твердо. Они незлобно канючили: «Ну пошалюста: цвай коньяк и два бедерброд». Бу-

тербродов действительно было только два с черной икрой. Серегин буфетчицу знал, в то время он часто ездил в Москву.

— Четыре коньяка,— сказал он.— И по бутерброду гостям. И спать. Спать, спать... Людмила Павловна, жизнь нас не балует, побалуйте хотя бы вы. Вы на работе в ранге богини.

— Надо спать, спать должны, ио ие на работе...— пропел немец, тот, что пониже и поскуластее.

Богиня налила три по пятьдесят. Немцам дала бутерброды. На этом бы все могло и закончиться, и пошли бы они в свой вагон с песней, если бы немец, как раз тот, что пониже и поскуластее, не сказал Серегину:

— Слышь, русс камрад, приезжай ко мне в Гамбург, я тебя буду икрой этой твоей черной кормить, как свинью, чтобы ты досыта нажрался. Я тебе икру буду ложкой в глотку запихивать. Жри, жри...

На что немец рассчитывал? Думал, что Серегин базарить начнет, выпячивать грудь, взывать к совести, а Серегин просто врезал ему промеж глаз, да так, что у немца из носа кровь полилась ручьем. Серегин ему еще раз врезал. Тут второй немец стал между ними, принялся выталкивать своего приятеля из вагона. Хорошо, что он даже не толкнул Серегина, а то и ему бы гулять с ударенной физиономией.

Немцы еще не успели вытолкаться, как в буфет ворвались начальник поезда и молодой проводник, то ли блондин, то ли альбинос — его Серегин причислил к немецкой стороне и изготовился бить, но был схвачен и скручен. Людмила Павловна, в мелких кудряшках, мертвых, как металлическая мочалка, наверное, нажала какую-то там у себя сигнализацию: мол, грабят-убивают.

Серегина затолкали в соседний вагон, в одноместное купе, заперли, и он, матерясь, уснул.

Разбудили его в Москве. Вывели на перрон, где его ожидал пожилой старшина милиции в хорошо подогнанной форме. Старшина этот держал серегинский портфель и о чем-то оживленно беседовал с начальником поезда.

— Что ж, пойдемте,— сказал он Серегину.— Надеюсь, конвой не понадобится.

Старшина привел Серегина в небольшой, но опрятный милицейский офис, предложил ему сходить в туалет, привести себя в порядок. Затем оглядел его критически, посоветовал причесаться, два плечистых сержанта тоже его оглядели, они стояли, беседуя, у входной двери, и сказал:

— Что ж, идите к полковнику. Полковник вас ждет.— И открыл дверь.

Таких милицейских помещений Серегин не видел, он их вообще мало видел: уютный кабинет с низкими креслами — красное, медное и мореный дуб — такой колер. Пахло хорошим табаком и крепким кофе. Пол был застлан ковром. Полковник стоял посередине кабинета. Курил. Высокий, ухоженный, с волнистыми волосами и проседью, больше похожий на профессора, любимца студенток, чем на человека с револьвером. Форма у него была безукоризненно сшита, напоминала цветом летний костюм.

— Садитесь,— сказал полковник.

Серегин сел в кресло.

— Курите?

Серегин кивнул. Полковник протянул ему «Мальборо». Зажигалка у него была «Ронсон». И во всех его движениях и действиях была какая-то к Серегину симпатия и доброжелательство, какое-то к нему расположение.

— Спасибо,— сказал Серегин.— Спрашивайте.

Полковник засмеялся.

— Да зачем мне вас спрашивать-то, помилуйте. Я о вас уже все знаю. У меня к вам претензий нет. И пока что на вас никто не заявлял. Если до десяти часов нота в Министерство иностранных дел не поступит, вы, Алексей Тимофеевич, сможете продолжать ваш путь.— И смотрел полковник на Серегина душевно.

А Серегину стало худо: «Нота! Международный скандал!»

Да нет, он не испугался, не ужаснулся — мол, все пропало, жизнь кончилась — с работы вон, в тюрягу, в лагерь. По этапу... Нет, стало вдруг очень холодно и одиноко. Он запахнул пальто. «Мальборо», думал он, сделано в ФРГ по американской лицензии. Говорят, наши их пароход спасли и за спасение взяли часть груза — сигареты. В те времена полно было сигарет якобы американских. Но та, что он сейчас безо всякого вкуса курил, была американская без дураков. И вот в этом одиночестве, в этом холоде Серегин отчетливо сформулировал, что и врезал-то он немцу не столько за хамство, сколько от тоски своего сердца, от скудости своего труда, от униженности, которая все более обостряется с каждой его поездкой в министерство на цинично-благодушные дебаты о нашем преимуществе. А Запад — само собой. Он всегда был и всегда будет. И все там будет по высшему разряду. А у нас пока моча — Леонида Ильича. А они, немцы, уже на второй день после капитуляции нас перегнали. Они отдали нам старые станки в счет контрибуции, а себе купили новые — новейшие. В долг! Кто немцу не даст в долг? Немец всегда отдает. Немец не пожалеет процентов.

Полковник ходил по ковру мягко, и туфли у него были неформенные, из мягкой кожи. Серегин поднял глаза на часы, на стене перед ним висели часы. От них шел медный блеск. На часах было десять.

— Десять,— сказал он.

Полковник сверил часы со своими наручными, скорее всего по привычке, погодил немного и подошел к телефону.

Вертушка крутилась мягко, с шелестящим звуком.

— Как там? — спросил полковник негромко.— Нету на нас? Не накатали? Ну будь. Поговорим...

Серегин понял, что нота не поступила, но встать из кресла без разрешения полковника он не посмел.

— Вот,— сказал полковник.— Вот вы и свободны. Да и не любят они эти самые ноты — хлопотно. У них время — деньги.

Серегин медленно встал. Полковник похлопал его по плечу.

— Хорошо вы ему врезали?

— От души.

— Что ж... Ну поздравляю. Идите на вашу коллегию. Ни пуха вам, ни пера.

Серегин хотел было, как того требует обычай, послать полковника к черту, но не послал. Полковник проводил его до двери и еще раз похлопал по плечу.

Старшина и сержанты были по-прежнему строги. Старшина вручил Серегину портфель.

— Надо уметь сдерживаться, гражданин,— сказал он.— Ступайте уж...

В министерстве Серегину пришлось говорить с трибуны. Он разволновался и рухнул. В голову, прямо в темечко, словно гвоздь вогнали.

— А у вас в Ленинграде какое пиво? Я, к стыду своему, в Ленинграде не был,— сказал пивной брат.

— И хорошо, что не был. Нечего делать. Пиво в Ленинграде плохое. В Ленинграде все плохое. Телевизоры в Ленинграде плохие. От них пожары. Сосиски плохие. Ядерные реакторы нехорошие. Тракторы К-700 вообще, говорят, не нужны. Я даже не знаю, что в Ленинграде и производят-то для народа, кроме дамбы. У нас дамбу делают. Слышал про дамбу? Крупная вещь... Холодильники «Минск» — это в Минске. Стиральная машина «Вятка-автомат» — в Вятке. Бритва «Харьков» — в Харькове. А в Ленинграде бритвенные лезвия «Нева». Зато самые плохие в мире. Даже у африканских пигмеев таких плохих лезвий нету.

— Нету у тебя патриотизма,— сказал пивной брат.— Это плохо.

— Патриотизма нету. Зато в Ленинграде каждый камень Ленина помнит.

— Ты Ленина не тронь. При чем тут камни? Он мужик несчастный. Он вовсе и не пил. Он даже пиво не пил.

— Не пил. А каждый камень в Ленинграде его помнит.

А немцы уже ссыпались с парохода. В основном пожилые люди. Спрашивается, что молодым делать в Советском Союзе? Молодые едут на Багамские острова или в Египет. Этот «Азор» тоже в Египет пойдет — немцы любят осматривать Сфинкса. Они и в Россию за этим ездят.

Пожилые немцы в светлых одеждах разглядывали гуляющую по набережной

толпу пристально и со страхом, все еще надеясь найти ответ на то самое «почему?» — почему они проиграли войну таким растяпам, которые даже пива не умеют варить. Немцы покупали «Колос» симферопольского пивоваренного завода, пробовали его, и тут же их охватывало веселье, они становились добрыми, как посетители зоопарка.

Серегин одежду поправил и приосанился, справедливо полагая, что немцы будут его фотографировать. Пивного брата они уж во всяком случае фотографировать будут. Красивый, толстый — сто десять кило человечины.

III

И тут она появилась.

Она шла сквозь толпу — седая и еще крепкая, печатая шаг. Она была похожа на ударницу, снявшую красный платок по случаю жаркой погоды. Толпа перед ней расступалась. Причем торопливо. А она пела: «Яблоки на снегу. Розовые на белом...» Голос у нее был негромкий, но очень отчетливый, хорошо слышный.

— Ее так и зовут — Поющая старуха,— сказал пивной брат.

— Что значит «так и зовут»?

— Ну, зовут ее Марья Петровна. Поющая — это кликуха. Она соседка моя. Я ее укалошу.

— Это как?

— А насмерть. Она меня воспитала, можно сказать — вырастила. А сейчас меня позорит. Я ее прошу: «Марья Петровна, а Марья Петровна, ну перестаньте вы петь». А она говорит: «Гоша, ты похож на „Переход Суворова через Альпы“. Там есть один такой краснорожий».

Серегин узнал из рассказа пивного брата, все время прерываемого горячими заверениями укалошить Марью Петровну, что она почти всю жизнь проработала в краеведческом музее. А до войны работала в комитете комсомола в поселке Ущельный. А во время войны уходила с севастопольцами в Новороссийск.

— Комсомол — школа карьеризма,— сказал пивной брат.

— Какую же она карьеру сделала?

— Да не она — другие. Она святой человек. У нее комната шесть квадратных метров — икону повесить некуда. У нее икона есть. Раньше она у нее в шкафу висела, теперь в изголовье. Нашу комнату не заняла. А могла бы вполне. Мы были с мамой никто. И не было нас. Отца моего пустили в расход в феврале сорок первого. И никаким он не был начальником. Он врачом был в санатории «Горный воздух» и радиолюбителем. Вот они и сказали, что он сигналы передает в Турцию...

Узнал Серегин, что мать пивного брата после войны прожила недолго. Пивной брат, голодая, выучился на зубного техника и сестренку свою выучил, правда, Марья Петровна им помогала. Сестра его сейчас на Сахалине с мужем, а он тут с женой, двумя дочками и Марьей Петровной. Младшую дочку Марья Петровна к себе ночевать берет. «Полночи телевизор смотрят — у меня матюгов не хватает».

— А старшую, спрашивается, куда? Старшей надо сейчас в самый раз свой уголок с диваном,— говорил пивной брат.

Мимо шли две девчушки крепкощекие, с такими красными, косо накрашенными скулами. Они крикливо поздоровались с пивным братом. Их короткие узкие юбки едва удерживали прущие изнутри ягодицы. И груди, и икры ног у них были овощеподобны, словно с базара от радивой крепкой крестьянки.

— Хорошие девки,— сказал пивной брат.— Проститутки. Поддадут и поют во всю глотку: «Товарищи Герои Соцтруда, мы вам дадим без очереди — плиз...» Их заберут в ментовую, а им весело — визжат и еще громче поют: «Наш народ награды любит, мы всех спидом наградим...» Вон ту, что в черной юбке, зовут Спидометр, другую, что в синей,— Проверено мин нет. Я себе сарайчик построил. Люди на лето отдыхающим сдают, а я сам в нем обретаюсь. Они ко мне приходят выпить.

— За что же ты Марью Петровну хочешь укалошить?

— А и надо ее укалошить. Она что надо мной отчудила...

Узнал Серегин от пивного брата историю самого распроклятого его невезения. И отчего Марья Петровна теперь несуразные песни поет. «Яблоки на снегу» — нашла что петь. Пела бы хоть из песенной классики: «Он упал возле ног вороного коня, и закрылися карие очи...» Нет, она — «Яблоки на снегу...»

Почти всю жизнь стояла Марья Петровна в очереди на получение жилплощади — чтобы пожить если и не в отдельной квартире, то хотя бы в комнате побольше и со всеми удобствами. «Господи! Разве может человек прожить всю жизнь в шестиметровой клетушке и даже без ванной? Господи! И Гоша, сосед, как живет — разве это жизнь? Вечно пьяный, вечно орет. Собирается всех укалошить. Вразуми его, Господи».

Но однажды Гоше повезло: делал он зубы чиновнику из горисполкома и вместо платы выторговал, чтобы Марье Петровне по всем советским законам и по справедливости, как ветерану войны и труда дали отдельную однокомнатную квартиру. «Если бы инвалид...» — юлил чиновник, но плохи были его дела с пищевым трактом. И Гоша был тверд. «Хочешь жевать — делай квартиру. Или получай открытую язву желудка от профсоюзных зубов. И чтобы не где-нибудь, а в новом доме на улице Клары Цеткин. И чтоб вид на море».

— Ты знаешь,— сказал он Серегину.— Меня один мужик просветил, лоб — во, как прожектор. Эта Клара Цеткин откуда-то прознала, что Еву Бог Саваоф создал в ночь на восьмое марта, вот она и объявила этот день женским днем. Сведения достоверные. Говорю — у мужика лоб, как прожектор.

И получила Марья Петровна приглашение в горисполком, где ей как ветерану войны и труда в торжественной обстановке в красивом конверте сам председатель исполкома товарищ Цыбин вручил ордер на отдельную квартиру на девятом этаже в четырнадцатиэтажном доме с лифтом. Со всеми удобствами, с видом на море — семнадцать с половиной метров лакированного паркета. В нежилых помещениях пластик синий в белую шашечку. На улице Клары Цеткин.

«Боже, внял ты моим молитвам. Спасибо тебе»,— бормотала Марья Петровна и норовила рухнуть на колени в торжественной обстановке горисполкома.

Когда Марья Петровна с ордером шла домой, сбила ее на переходе легковая автомашина с нетрезвым водителем и нетрезвыми пассажирами.

Год кочевала Марья Петровна по больницам. Ей что-то сращивали, сшивали, реанимировали, облучали. Что-то капали в нее из капельницы иностранное, от чего вся прошлая жизнь вместе с прошлыми болями и прошлыми радостями забывается, остается лишь желание сладкого.

И позабыла Марья Петровна про ордер. Но если бы помнила, в ту замечательную квартирку на улице Клары Цеткин ей бы уже въехать не получилось. Кто-то ее уже занял. По слухам, ветеран борьбы за урожаи. Когда Гоша говорил Марье Петровне, что не мешало бы ей наведаться в горисполком — теперь ей как калеке дадут квартирку еще лучше, в горисполкомовском доме, там даже в однокомнатных по два сортира,— Марья Петровна смотрела на Гошу лучистым взглядом и отвечала кротко:

— Да зачем, Гошенька? Мне тут хорошо. И ты всегда рядом, и девочки. И Римма Павловна.— Жену Гошину она называла по имени-отчеству.— И телевизор я в одиночестве смотреть не смогу.

— Укалошу,— рыдал пивной брат.— Приму литр бессарабского и укалошу. Хоть она и взрастила меня и я ее люблю как родную. Это же надо, чтобы с исполкома ордер не стребовать. Да ты стребуй. Занеси в квартиру раскладушку, а потом, ну, живи у меня, если ты хочешь. Зато дочь моя старшая будет в твоей квартире свой угол иметь с диванчиком. Я отец, я ейное дело понимаю. Это мамаша понять не хочет. А она себе песни поет: «Яблоки на снегу». До этого «В цветок тюльпана» пела. Или: «А я не дам, не дам, не дам! Ни другу, ни врагу».

Мимо Серегина и пивного брата шла толпа. Почти все с мороженым. Немцы-туристы с парохода «Азор» натешились фотографированием, теперь тешились мороженым, поскольку никаких других вкусовых развлечений в этом чудесном городке не было.

— Если бы Октябрьскую революцию свершили бы не в семнадцатом году, а, скажем, этим летом, представляешь, какой бы тут городок был? Какие дворцы.

Какие курорты. Небоскребы. Рестораны. Бары. Гостиницы. Девки всех цветов. А пиво! Мы бы с тобой пивка бы экспроприировали...

А туман все валил и валил с гор. Чтобы представить его форму зрительно, можно вообразить белый гребень с длинными зубьями. Каждый такой зуб и есть струя. Но их тысячи. И воткнуты эти зубья в чью-то седую голову. И колышатся седые кудри, вздымаются и опадают.

А струи тумана все падают неслышно, все падают. И густеет туман. Наползает на город по ущельям, оврагам — набивается под мосты и в туннели.

— Туман,— сказал пивной брат.— Если бы с моря, давно бы все было мокрым. А с гор туман медленный.

IV

Странный раздался звук, очень странный — вроде выстрел. И тут же крик. Много криков. И толпа пошла — побежала к новому открытому театру. И, расталкивая людей, наперерез им бежала девушка. Серегин сразу понял, что это дочка пивного брата.

— Вот ты где,— сказала девушка, бросившись на скамейку рядом с отцом. Вздохнула словно сквозь тугой храпящий клапан.— Там Марью Петровну убили. Режиссер из нагана. Идиот. Кретин. Она, видите ли, в его идиотский кадр вошла.

Серегину представилось, что таким образом его втягивают в какое-то театральное действие. Все в этом городке было ненастоящим — ценности отдыха не те, что ценности труда. Но здесь к тому же все было приблизительным: приблизительно гостиница, приблизительно отдых. И тем не менее жизнь здесь катила как бы на воздушной подушке. Секретари и председатели, казалось, здесь не существуют — здесь они не нужны. Нужнее здесь вино, но вина не было. За пивом «Колос» стояли очереди.

— Наверно, наган бутафорский,— сказал пивной брат, вжимаясь в скамейку.

— Ясное дело. Но Марья Петровна этого не знала. Она упала и головой о поребрик. Да не сиди ты! Не сиди ты, как осел!

Пивной брат вскочил. Побежал. За ним побежал Серегин. А впереди них дочка в джинсовой юбке, якобы очень старой и очень застиранной. «Почему в моде ложь, фальшь и подделка? — подумал Серегин.— Вместе с вываренными штанами и юбками они напяливают на себя якобы биографию. Якобы...»

Марья Петровна лежала в неудобной скособоченной позе. Кто-то подложил ей под голову сумку.

Над ее лицом, отгоняя ос, качались пунцовые розы. «Какой цветок совершенный»,— пробормотал Серегин. Пивной брат глянул на него каким-то ржавым взглядом. Чтобы пробиться внутрь, пивной брат расшвыривал зевак: люди стояли плотным кольцом, тянулись на цыпочки. Одному — надменному — он даже в зубы дал и был бы, наверное, бит, но он сел на поребрик, взял голову Марьи Петровны себе на колени. Среди толпы стояли артисты в сказочных нарядах. Режиссер, похожий на Юла Бриннера и Станислава Говорухина, размахивал наганом:

— Я сколько раз кричал, и в мегафон кричали — не лезьте в кадр. Работа. Солнце уходит...

— Да заткнись ты,— сказал ему пивной брат. Брюки его были густо окрашены кровью. В присутствии артистов в сказочных нарядах кровь казалась ненатуральной, придуманной для кино.

— Гоша, в «Скорую» позвонили — едут,— сказали из толпы.

Пивной брат взял руку Марьи Петровны в свою, она узнала его — легонько сдавила пальцы. Глаза ее полузакрытые смотрели на вершины гор, на туман, на громадную тучу цвета остывшей лавы, на вершине которой Творец колдовал над замком, чтобы души праведников не выскакивали за ворота рая, но чинно сидели бы под кустами и не совали бы свой нос в буддизм и другую иностранную йогу, а славили бы его всемудрость складным хоровым пеньем.

«Наверное, рай фанерный,— подумал Серегин.— Как украшение к Первому мая. Как все вокруг. Фанерное счастье. Фанерная любовь».

Вдруг запел кто-то тихим влажным голосом: «Яблоки на снегу, розовые на белом...» Серегин дернулся — пенье было чудовищным.

Пел пивной брат. Марья Петровна слабо раскачивала его руку в такт, и что-то похожее на улыбку свивалось в уголках ее губ. «Ты еще им поможешь, я уже не могу...» — подпевали из толпы.

И уже вся толпа пела. И немцы, и артисты, и даже грузины. Две молодые шлюшки пели чистыми ангельскими голосами, подкручивая в такт бедрами. И в глазах их, обкрашенных красным и фиолетовым «Пупо», блестели прозрачные слезы.

«Боже мой,— прошептал Серегин.— Боже мой, отпусти души праведников на волю».

А Марье Петровне казалось, что она видит перед собой матроса, с которым ушла на эсминце в Новороссийск и с которым вернулась. Матрос погиб под Сапун-горой. Зрячее существо Марьи Петровны свивалось в небольшой светящийся шар. Шар пульсировал, и было ему тепло. Потом Марья Петровна увидела Гошу, нет — Гошиного отца, его ласковые глаза. Но он же передавал что-то азбукой Морзе, что-то страшное. Она сама слышала. Ни с Богом, ни со своим народом точками и тире не разговаривают. Только передают. Ах, конечно, она права. И все-таки жаль. Чего-то такого... Чего-то...

Прогудела «скорая помощь».

Марью Петровну увезли. Серегин заметил, что она уже не ответила пожатием на пожатие пивного брата.

— Ты, мужик, на меня зла не держи,— сказал режиссер.— Я наганом только махнул, мол, нельзя сюда. Он сам выстрелил. Простейшей вещи сделать не могут, чертовы пиротехники,— чтобы наган стрелял когда надо.

V

— Она уже не дышала,— сказал пивной брат Серегину. Он предложил пойти к причальной стенке, где белые корабли, потому что ни домой, ни пиво пить ему сейчас ну никак нельзя было — только плакать.

Они потолкались на берегу. Среди народа стояли верблюд, ослик, чучело медведя, тряпочный одноногий пират, с которым дети фотографировались в обнимку. Немцы перли на пароход, как икряные карпы. «Азор» вот-вот должен был отойти. Туман с гор докатил до берега. Накрыл город. Только набережная сопротивлялась.

«Азор» дрогнул, медленно пошел кормой вперед — портовый буксир тянул его в море. Сходство парохода с чемоданом стало еще большим. Белый чемодан и старый шлепанец. Белый чемодан, набитый розовыми немцами.

Туман потянулся за пароходом. Наверное, по замыслу Творца, «Азор» должен был сыграть роль замыкающего ползунка в небесной застежке «молния». Должен был навечно закрыть город туманом: и золотую колокольню, и холм Поликур, по всей вероятности — Город детей. А может быть, дети все убежали. Во все стороны света. Но уже многие десятилетия никто не убегал из этого города на пароходе.

«Азор» уходил уже своим ходом. Что-то крепко не ладилось у Творца с производством замков,— туман оторвался от парохода. Набережная дохнула вверх и сдула его, как сдувают школьники челку, упавшую на глаза.

БЕЛЫЙ ЛЕС

Путь стариков легок — все время под гору. Но Васька Егоров еще не старик, он еще бодр. Он бодряк, бодрило. Васька еще орел. Бодрец.

В молодости руль души приделан ниже пупа, хотя в мемуарах обычно плетут о сердце.

У стариков руль души в памяти.

Иногда кружит старый, кружит, как пес, позабывший, где зарыл кость,

и никак не может вырулить на прямую, а причиной тому — мухи, обыкновенные проклятые мухи.

У Васьки Егорова мухи, если их больше десятка, всегда вызывают видение Белого Леса. Оно разворачивается в повесть, грустную, невоспроизводимую и обидную, как утрата.

Корни Белого Леса вырастают из сердца девушки Янки. Такая реальность. Васька ходит между корнями, как крот. А сам лес выше. Он в вышине. Он шумит чистым звуком, он над мухами, над цветами, над восторгом и любопытством.

Что потянуло Ваську и двух Петров в эту хату?

Ульи.

В огороде стояли ульи, каких ни гордец Васька Егоров, ни два его любопытных солдата, два Петра, отродясь не видели,— дуплянки, покрытые снопами.

Солдаты перелезли жердевую изгородь. И на цыпочках, чтобы не вспугнуть пчел, пошли к дуплякам. Но, может быть, потянул их к меду инстинкт, как медведей. Может, потребовались их молодым организмам соли и минералы, квалифицированные только в пчелином меде? Так, по крайней мере, но в более общей форме высказалась крестьянка, черная коряга-топляк, босая и долгоносая:

— Солдатам красным меду надо, как и фашистам. Ишь, лезут, крадутся! Кусайте их, пчелы! Кусайте их, пчелы! — кричала она с визгливой злостью.— Пошли прочь! Бабка Крыстя, у тебя Красная Армия мед ворует. Пошли прочь! — Крестьянка кричала по-белорусски, но какой же русский солдат не понимает белорусского языка, тем более что оба Петра, и Петр Рыжий, и Петр Ражий, были из города Себежа, где, как известно, живут полиглоты и медолюбы.

— Да не воруем мы,— заорали они в ответ.— Нам поглядеть. Мы таких ульев сто лет не видели. У нас — как домики.

— Пчелы, кусайте их в очи! — вопила крестьянка.

Наверное, от этого ее невежества и недоверия и в самом деле захотелось двум Петрам меду. И Ваське Егорову тоже. Хотя нельзя сказать, чтобы Васька Егоров мед любил. В детстве он больше с сахарным песком имел дело. Сахарный песок у него шел по всем статьям — и вместо соли, и вместо подливы. И хлеб с лярдом окунался в сахарный песок, и макароны им посыпались, и лук репчатый. А мед был дорог.

Солдаты постояли, вспоминая мед детства, у двух Петров он был слаще, и пошли к той убогой хате.

День был зеленым. Бывают дни голубые. Бывают желтые...

Зеленым, с отчетливой нотой осени. Охряный и краплачный стеклярус. И розовый. У художника Крымова есть это охряно-розовое сияние. У него осень даже в снежных опарах зимы.

Сильно побитая под Варшавой Васькина танковая армия оттянулась в Западную Белоруссию, под город Ковель. В природе еще все было сочным и мощным. Громадные подсолнухи поднимались над изгородями. Соломенные крыши казались завершиями скирд. Жито и ячмень еще кланялись барину-ветру. Ни клевер, ни лен еще не были убраны. Убран был только горох.

А под Варшавой поля были голые. Снопы составлены в суслоны, и в этих суслонах кое-где прятались наши раненые солдаты. Скольких тогда наших солдат спасли под Варшавой крестьяне. Или там все же теплее? Или там раньше жито скосили, предусмотрев наступление? Ни танки, ни пехота с житом не церемонятся. И не напрасны были эти приготовления. Васькина армия оставила под Варшавой на скошенных полях свою технику.

Здесь, под Ковелем, армия укомплектовывалась. А Васькину мотострелковую бригаду, особо Васькину разведроту, хоть и сильно повыбитую, отрядили в распоряжение контрразведки. Должна была Васькина рота участвовать в операции по прочесыванию леса. Ловили здесь бульбовского атамана по кличке Лысый. Говорили — на одной ноге у него сапог хромовый, на другой ноге галоша. А любовница у него учительница.

А сейчас стоял Васька Егоров и два его товарища, два Петра — Петр Рыжий и Петр Ражий, перед неказистой хатой с тусклыми окнами и белесой от дождя дверью. Намеревались они купить у хозяев меду, настоявшегося в бортях.

Васька Егоров постучал, подергал ручку. Не услышав ответа, открыл дверь, чтобы спросить громко — есть кто дома? И как в лесу в паутину, так воткнулся

он лицом в липкую массу воздуха, в запах вареной картошки, потных немытых тел и тугое жужжание.

Воздух в избе от пола до потолка жужжал и дрожал. «Мухи,— сказал себе Васька.— Тысячи мух...»

Мухи ударили ему в щеки, в лоб, в грудь, в губы. Они залетали в рот. С воздухом затягивались в ноздри.

Отплевываясь, Васька все же вошел в избу. Ему было ясно — должен войти. Должен спасти людей. Но где-то рядом, не касаясь его, но заплетая его в кокон, жужжал ужас.

Прикрыв лицо руками, Васька пробрался к окну. Толкнул раму. Мухи потекли в небо. Тысячи мух. Сквозняк выносил их, как дым из трубы. Васька подумал — может быть, мухи живут в тех ульях? Какая-то была связь...

На земляном полу лежали люди, прикрытые полосатыми половиками. У печи с ковшом в руке сидела старуха, черная и костлявая, похожая на крестьянку, только что кричавшую на них. У старухиных ног стояло ведро с водой, почти пустое. Лежала девушка, вся в красных пятнах, в точечках сыпи.

Девушка была не просто красива, мила или там симпатична,— она была красива до жути, до оторопи. Темные брови дугой. Белые, чуть голубоватые подбровья. На два пальца ресницы. Белый прямой нос. И пухлые детские губы, еще не отвердевшие, еще розовые.

Старуха задела ковшиком по ведру, обронила его на пол. Черные губы выдохнули:

— Тиф-ф...

— Что? — прошептал Васька.

Руки людей, в основном мужиков, выпростанные из-под ряднин, дымились, как головни. На девушке пятна и сыпь стали пламенем.

— Тиф-ф...— повторила старуха.

Васька почувствовал снова, что рот его полон мух. Он сплюнул, закашлялся, опасаясь глотнуть. Старуха подняла ковшик с пола, зачерпнула воды и протянула ему. Он заслонился от ковшика, словно в нем была кислота. И выскочил.

Петры стояли на траве, уделанной птичьим пометом, а птицы — ни куриц, ни гусей, ни уток — не было. И собаки в деревне не лаяли.

— Зачем поперся окно открывать? — спросили Петры.— Ты что, бешеный? Видно же — тиф. Девушка вся горит.

— При тифе свежий воздух нужен,— сказал Васька.— Странно все же. Собаки не лают. И эти тифозные мужики...

— Может, их сюда свезли со всей округи. Бегом в медсанбат! Пусть сюда мчат со своей карболкой.— Это тоже Васька сказал.

— А ты что, не с нами? — спросили Петры.

— Я впереди вас.

Где стоял медсанбат, они уже знали. Васька ходил туда перевязывать ногу. Наступил на стекло ранним утром, выскочив босиком на росу. Теперь хромал. Бежал вприскочку, опираясь на свежую, пачкающую руки вересовую палку.

— Гад буду, бульбовцы,— кричал он.

— Побоятся в тифозной хате лежать,— возражали Петры.

— Тифозные бульбовцы. Это у них тифозный барак. А мы, идиоты, без автоматов гуляем. А сколько мух! — Васька плевался. Ему казалось, что мухи спрятались у него во рту и возятся там.

— Мухи чистоплотные,— сказал Петр Рыжий.— Замечал, они всегда чистят лапки. И передние, и задние.

— На говне посидят, на сахаре лапки почистят,— добавил Петр Ражий.

Васька замахнулся на них палкой. Они разбежались в разные стороны, длинные и тихие, как тень от маятника. И заржали. Длинно, похоже на паровозный гудок в далеком тоннеле, длинно и сипло.

Медсанбат стоял на горе, то ли в старых казармах, то ли в монастыре. С горы была видна деревня, где лежали тифозные люди и над ними жужжали мухи, где рядышком, в огороде, стояли такие старинные ульи.

Ваське показалось, что все тут ненастоящее: и лес, и деревня, и небо. Как макет, собранный кропотливым умельцем в бутылке. Все за стеклом. А в бутылку

ту скипидар налит — он вместо воздуха. Настоящее было там, под Варшавой, а тут понарошке все, как в игре.

— Тиф,— сказал главврачу.

— Нету тут тифа,— сказал главврач.

— Как же нету? В хате. Девушка. Старуха. Жар. Краснота. Так и горит, как кумач. Сыпь точечками. А мухи! Дайте мне спирту рот сполоснуть. Мухи в рот залетели.

Спирту Ваське дали и двум Петрам поднесли. Васька действительно рот сполоснул и выплюнул. Петры выпили, занюхали яблоком. У них яблоко было в кармане.

Главврач послал с Васькой джип, набитый медицинским народом с карболкой и швабрами.

— Лучше хату спалить,— говорили Петры.— Когда тиф — надо огнем.

Хата была пустая. Ни старухи, ни девушки, ни мужиков. Ничего в ней не стало. Ни стола, ни стула, ни половиков, ни ковшика. Голый земляной пол.

— Но было же,— говорил Васька майору-смерш.

— Было,— говорили Петры.— Девушка вся в огне. Брови черные. Груди белые. И пунцовые пятна.

— Это они малиной,— объяснил майор буднично.— Наляпают малины на тело, вот тебе и алые пятна, и сыпь. Испытанный способ. Ребята в пионерлагере таким образом себе скарлатину делают. Главное тут испуг. И невежество. Кто же нагнется рассмотреть, настоящая сыпь или малина наляпанная. Вот и ушли. Наверно, сам Лысый был. Этот приемчик и на немцев действовал безотказно. А мухи здесь в каждой хате. Полесье. Родина мух.

Майор-смерш беседовал с ними в роте. На полянке у кухни. Васька разглядывал его толстую рыхлую шею, мягкие плечи и мясистый потный лоб. И майор Ваську разглядывал. Косил на забинтованную Васькину ногу.

И говорил:

— Егоров, у меня вестовой заболел, в госпиталь увезли. Придешь ко мне завтра с утра. Завтра все здоровые пойдут на прочесывание. На черта Лысого. А ты ко мне вестовым.

Оба Петра ляжками задрожали от внутреннего смеха.

— Я вестовым не умею,— сказал Васька.

— А чего тут уметь? На завтрак я что-нибудь перехвачу. А ты мне за обедом сбегаешь, в офицерскую столовую. Обещали гуся жареного. Самогонки раздобудешь. На вечер. Вечером будет повод самогонки выпить. Или мы поймаем Лысого, или не поймаем. И ужин принесешь. Овощей постарайся у населения. Я, Егоров, овощи люблю.

— Товарищ майор, я лучше на гауптвахту.

— Это, Егоров, потом, это успеешь. Будет зависеть от твоей службы. Простого режима или строгого — какого заслужишь.

Майор-смерш не был ни вредным, ни страшным. Был он толстый и как бы скрипучий, как кочан. Простой, но хитрый.

Поставил палатку в расположении разведроты, в стороне, среди кустов. Он уже во всех батальонах пожил. Это еще в Румынии было, под Яссами. И стал он к себе солдат вызывать.

И предлагает вызванным: чуть что услышат — разговоры, намеки,— ему докладывать. «Ты пойми, сперва он намеки, а потом и прямую пропаганду».— «Да я ему в морду».— «А ты подпиши. И мы ему всей массой народной». И подсовывает солдату бумажку с типографским текстом на четвертушку страницы.

Один подписал все же, так им показалось. Они из кустов смотрели. Если солдат, выходя из палатки, плевался, делал жесты согнутой в локте рукой, шевелил губами в направлении майора неслышно, но вполне внятно, значит, не подписал. А вот сержант Исимов вышел, и все ясно — глаза другие, ужимки другие. Походка, брюхо потяжелели. Кулаки сжаты — власть.

Васька не утерпел, сказал майору насчет Исимова. Майор засмеялся. «Подписал — не подписал... Но вы теперь знаете — кто-то подписал. Кто-то бдит. Ты, Егоров, теперь насчет языка своего поостерегись». Неплохой был майор.

Но геройского разведчика Ваську Егорова в ординарцы! «Он тебя заставит сапоги чистить и воротнички пришивать»,— пророчили два Петра. А вслед за ними и другие остолопы: «Ты подтирками запасись хорошими. Майоры, они газетой не могут».

Но как ни крути, как ни пытайся разрушить небесный свод темечком, а вечером предстал Васька Егоров перед начальником строевой части майором Рубцовым.

«Временно, Егоров. Генерал не потерпит, чтобы боевого разведчика в ординарцы. Он хороший мужик. Принесешь майору обед — завтра гуся в офицерской столовой будут давать. Самогону добудь. Аккуратнее, смотри. Местные бульбовцы в самогон добавляют карбид».

Так и явился Егоров Василий к майору-смерш.

Рота поднялась рано, пошла на прочесывание.

Майор ел яйца всмятку.

— Я тороплюсь,— сказал.— Хочешь яиц? — Яиц была полная тарелка.— Гуся в печку к хозяйке поставь. Самогону не позабудь. Сначала попробуй. Они тут самогон черт те из чего гонят — из свинячьих помоев. Карбиду добавляют. Все дурные привычки у ляхов перенимают. Наварили бы самогонки хлебной, как люди. И кусок сала.— Лицо майора осветилось несбыточной мечтой. Он вздохнул, стер отблеск мечты с лица. Поддернул ремень, портупею поправил и пошел.

Васька поел яиц. Вкус их был позабытый — вкусный. Пятое яйцо встало в пищеводе, как пробка. Васька попил кипятку из чайника, поел майорского печенья и завалился на майорскую койку. Видимо, в том и состояла ординарцевская радость — командирское полотенце соплями пачкать. Худо стало Ваське, печально.

Когда проснулся — потянулся. Вышел во двор, как кот-сметанник. Малую потребность справил за углом сарая.

И столкнулся нос к носу с девчонкой в холщовом наряде — то ли длинная рубаха, то ли платье рубашечного покроя. Сразу заметил, что лифчика на девчонке нет. Груди ее, небольшие, подвижные, живут под рубахой, как два солнечных блика в листве смоковницы. Что такое смоковница, Васька не знал,— может, дерево, на котором растут фиги. Глаза у девчонки серые, волосы светлые, пепельные. Она, видимо, не покрывала их от солнца косынкой. Заманчивая. Очень. Но все же было что-то в девчонке козье. Наверно, движения — сразу-вдруг — и бодливый лоб.

Девушки с тонким лицом, прямым тонким носом тяготеют к козьей породе. Девушки курносенькие, круглолицые, с ласковым прищуром — к кошачьей. Эта была коза. Типичная. Отборная. Легконогая. Шелковошерстая...

— Привет, Олеся,— сказал Васька.

— Юстина,— поправила его коза.— А ты пана майора хлоп.

Вот так и схлопотал Васька по морде. Будь он болезненно самолюбив, этот удар мог бы считаться нокаутом. Но Васька устоял.

— Холуй,— поправил он козу.— У нас холоп — крестьянское звание. А кто при барине, тот холуй.— Васька выставил вперед забинтованную ногу.

— Гранатой? — спросила девчонка, вроде смягчаясь.

— Если б гранатой — было б ранение. А это — травма. Вчера на стекло наступил.— Хотел Васька эту Юстину приобнять по-товарищески, но она хватила его по зубам. А поскольку залезли они с разговорами в дверной проем, пришлось Ваське мимо нее деликатно протискиваться.

— Позволишь чего — укушу,— сказала она.

Васька ничего не позволил, только коснулся своей геройской грудью ее грудей, самых, можно сказать, сосков, твердых, как импортные плоды маслины.

Потолкавшись в майорской комнате, Васька опять на улицу вышел.

— Как зовут-то, холуй? — спросила коза.

— Василий.

— Твоему пану рыбы надо?

— Правильно думаешь,— сказал Васька.— Пожарь. Мы только жареную берем.

Он пошел в роту. А что рота без солдат — даже палаток нет. Просто за-

топтанный участок рощи. Как ни ори старшина, как ни закапывай что-то в ямку — все равно мусорно. И никого не было — все ушли на прочесывание.

«Надо было и мне идти,— думал Васька.— Сделать вид, что не навоевался, и идти, хромая...»

Васька пошел к ротной кухне.

Повар нарезал мясо и вываливал его в котел.

— Скоро явятся. А я им суп гороховый — и первое и второе,— объяснил он Ваське.— Кондер. Полукаша. Не придуривал бы, не попал бы в холуи. Гулял бы сейчас по лесу вместе с товарищами. В лесу сейчас хорошо. Малина еще не осыпалась. Лесные травы, запахи...

— Говном там пахнет,— сказал Васька.— Бульбовцы весь лес опаскудили.— Конечно, нога у Васьки не так болела, как он это изображал. Если честно, она у него совсем не болела, лишь кровоточила.

Неподалеку, в теньке, два Петра чистили картошку. Они были известными на всю роту сачками. Ваську они сейчас презирали и выказывали свое презрение длинными плевками через плечо. Васька был их непосредственным командиром. А что это за командир, если он теперь в холуях? «Тьфу!»

— Гусь вкуснее курицы? — спросил Васька у повара.

— Ты что, никогда не ел?

— Курицу приходилось, а гуся... Не помню. Наверное, нет.

— А чего спрашиваешь?

— Сегодня в офицерской столовой гусь. Ты вот что, поджарь картошечки со свининой. Пусть эти уголовники побольше почистят. Ты их не жалей — лоботрясы. Мы с тобой этого гуся приговорим, а смершу я картошечки со свининой. Надо же и солдату когда-нибудь гуся попробовать.

Повар закатил глаза, зачмокал губами.

— Гуся жарят с яблоками или с гречневой кашей и шкварками. Сначала из гусиного сала шкварки нажаришь, перемешаешь их с кашей и в него вовнутрь зашьешь. А снаружи яблоки. Антоновку. Или капуста провансаль... На офицерской кухне, я думаю, так не умеют.

— Ух ты,— сказали Петры, они перестали картошку чистить.— А если и в офицерской со шкварками?

— А вы накручивайте,— сказал Васька.— Дробненькую бульбочку. И побольше. Гусь вам все равно не обломится.

— Чего можно ожидать от бывшего командира,— сказали Петры.

«Не сказали „холуя“»,— отметил Васька.

Гусь был синий. С какой-то клейкой подливкой неопределенного бурого цвета и макаронами. Часть птицы, доставшаяся Васькиному майору, называлась «крыло».

А у ротного повара на сковородке золотилась картошечка, скворчела свинина.

— Это гусь? — спросил он.— И за него ты хочешь картошки жареной и супу гороху?

Оба Петра обмакнули в подливку пальцы и облизали.

— Пионерлагерем пахнет,— сказали они.

А Васька грустил. Ему представлялась девушка Юстина с грудью, плещущей счастьем в его высокий берег. С глазами вечерненебесными и обветренным ртом.

Петры съели по макаронинке, взяли по второй и пришли к выводу, что макароны — есть макароны, их даже синим гусем испортить трудно.

Повар, обглодав «крыло», заявил, что гусь свинье не товарищ. И Васька Егоров правильно к этой херне не прикоснулся, поскольку он категорически не холуй и не может себе позволить лакомство за счет своего майора, тем более что лакомство — «Тьфу! Брюква!» и что повара в офицерской столовой негодяи и педерасты.

В старостовой хате — майор у старосты поселился — в сенях сидел ожидающий майора народ. Старухи, парень-баптист с лицом чистым и нежным, как у девушки. И девушка — Васька даже споткнулся — красавица. В полосатой

паневе, шелковой розовой блузке, сверкающе новой, и шелковых лентах. На ногах у нее были черные туфельки с ремешком на полувысоком каблучке. Васька смотрел на нее, а она не отворачивалась. Наконец Васька сказал:

— Тиф.

Девушка засмеялась. На щеках у нее вспыхнули ямочки. Черные брови дугой и ресницы длинные полетели Ваське в лицо.

Васька ощутил на лице толкотню сотен мух. Почувствовал шевеление их во рту. Нестерпимо захотелось сплюнуть. Но этого он не мог. Мирное население восприняло бы плевок как обидный.

Васька вскочил в комнату и долго плевался, высунувшись из окна.

Напротив солнца, просвечиваясь сквозь реденькое холстинное платье-рубаху, стояла босая Юстина.

— Что ты плюешься? Муха в рот залетела?

— Тифозная,— сказал Васька.— Вчера в хате лежала в пятнах. Сыпь на теле...

— Так красивая же,— ответила Юстина.— Янка. Она и панчохи надела на панталоны. Дура, думает, пан офицер ее уже сегодня в постель потащит. А может, потащит, что скажешь?

— Не знаю.— Тифозная стояла перед Васькиными глазами — смертельно красивая.— Рыбу поджарила? — спросил он Юстину.

— Поджарила. На столе. В печке высохнет.

Васька снял крышку с глиняной миски. Запах жареной рыбы был не чета тому гусю. Васька съел плотвичку. Пальцы облизал.

— Кто людей к майору прислал?

— Староста. По приказу... А холуям нельзя выйти? Нельзя с девушкой погулять?

Васька посмотрел в ее серые бесстрашные глаза.

— Погодь, сейчас выйду.

Он отнес котелки с жареной картошкой и гороховым супом хозяйке, снова споткнувшись о красоту чернобровой Янки. Хозяйка кивнула. Ни к Ваське, ни к майору у нее не было интереса. Ни к русским солдатам, ни к гудящим в кухне мухам. Васька окно открыл, выгнал мух полотенцем. Хозяйка даже головы не поворотила. На печке сидела кошка, черная с белой грудкой.

И снова Васька пошел мимо красотки, отмечая, что испытывает неловкость за свое хождение,— как будто нарочно ходит, чтобы на красотку в лентах посмотреть. А она — хоть бы что. Красивые то ли привыкают, то ли не понимают, что творят, а творят они непрерывное зло, расстраивают умы, растравляют душу...

На столе рядом с рыбой Васька оставил фляжку, в ней спирт. И написал на листке: «Товарищ майор, гуся я выбросил — синий — не майорская еда. Во фляжке спирт. Здешний самогон воняет — не майорское питье. Обед в печке. Я не приду. Готов под арест. Сержант Егоров».

Васька сунулся в коридор, столкнулся с согласным взглядом чернобровой красавицы и попятился в комнату. Не мог он мимо нее пройти без какого-нибудь разговора. Она охотно ему ответила бы — видно же. Слово за слово — он бы ее в комнату пригласил с этакой мерзкой, всем понятной улыбочкой. А что майор? Может быть, у майора высший государственный интерес...

Васька выпрыгнул в окно. Обнял Юстину. Она врезала ему в ухо.

— Налюбовался? — спросила.

— На кого намекаешь?

— На Янку.

— Да я на нее ноль внимания. Мне она как бы и не живая. Кукла глазастая. Вот ты — ты киса...— Васька снова облапил Юстину.

Прежде чем треснуть его по другому уху, Юстина выгнулась под его рукой. Васькины пальцы как бы случайно тронули ее грудь, словно налитую густым медом. После того, как она ему все же врезала, он притиснул ее к себе и поцеловал. Она укусила его за губу. Оттолкнула и побежала, по особому изгибая стан, как бы говоря, что убегает она не от Васьки, но от окон, от людских глаз и злых языков.

За овином Васька ее нагнал. Может, это был не овин. Ваське, собственно, все равно, что амбар, что гумно, что хлев, что конюшня. Знал Васька — все это

вместе называется двор. Тут узнал Васька, что двор, в данном случае, образует прямоугольник с пустым пространством посередине, с хорошо утрамбованным земляным полом, припорошенным сенным охвостьем. И метла у стены стоит — подмести позабыли.

Посередине двора стояла телега. Васька поднял Юстину на руки и, ничего не соображая, понес ее в телегу, откуда она благополучно выскочила, пока он сам красиво в эту телегу вскакивал.

Юстина белкой взлетела по прислоненной к стене лестнице. И, наклонясь сверху, серьезно сказала:

— Догонишь, тогда и целуй, я кусаться не буду.

Если есть зверь побыстрее белки, так это Васька. Ему даже лестница не понадобилась. Он подпрыгнул, ухватился за жердь какую-то и подтянулся вмиг.

Юстина была уже на другой стороне.

Вокруг двора шла крепкая, заделанная и в «ус», и в «ласточкин хвост», обвязка. Она немножко выступала над стенами строений — была как бы отдельной рамой. Над воротами шла по воздуху, как мосток. По этой обвязке и бежала Юстина. И смеялась. Васька за ней.

Все здесь наверху имело свой порядок: где бочки и кадушки, где неведомые Ваське ступы и жернова, верши и пестери, старые хомуты и дуги. С одной стороны все пространство занимало сено. Как понимал Васька — сено было до самой земли. Густо, головокружительно пахнущее.

Над сеном Юстина оскользнулась. Вскрикнула и упала.

Лежала она на спине, правая рука ее была на отлете и вроде пошевеливала сено, мол, сюда падай. Васька на секунду замешкался, залюбовался девушкой. Холстинное платье сживлялось с сеном, пепельные волосы и серые глаза тоже были из мира цветов и трав. В глазах ее Васька разглядел, может, почувствовал что-то затаенно-опасное — как бы ожидание зла. И, уже падая, перевел взгляд на ее руку. Из-под пальцев, из пригруженного рукой сена высовывались остро заточенные зубья вил. Если бы не оплошка в ее глазах, Васька и не заметил бы.

Наверное, солдатский Бог был поблизости. Перепробовавший все виды спорта, даже введение в парашютизм, Васька резко вертанул головой и ступнями — тело его веретеном пошло, сделало полный оборот и легло рядом с остриями вил; придавило своей тяжестью сено так, что зубья целиком выпростались и засверкали.

Страха у Васьки не было, была обжигающая досада, даже обида, даже мысль: «А может быть, не она? Может, случайность такая?..»

Она дернулась встать — Васька схватил ее за лодыжку. Она отодвинулась от него. Сено шло горкой к стене. Глаза ее, темные, почти фиолетовые, стали громадными. Ворот на платье оказался широким — одно плечо целиком из него высунулось.

Отодвигаться ей было некуда, она уперлась затылком в стену и теперь как бы полусидела. Рот ее приоткрылся. Руки, красивые руки подхватили подол платья между колен, скомкали и медленно потащили кверху...

Роту подняли чуть свет.

На ногу наступать можно было, идти было нетрудно, но после ходьбы порез кровоточил. Васька забинтовал ногу бинтом, обернул куском плащ-палатки и засунул в голиафский ботинок Петра Рыжего. Петры опять сачковали — у них нашли что-то нервное, что излечивается лишь возле кухни.

Васька тупо шагал, ни о чем не думал, да и не мог. Ему казалось, что он выварил мозги в чернилах.

«Чего поперся,— говорили ему.— Все равно на губу загремишь. Смерш — он смерш и есть. Тем более майор». По роте уже разошелся слух, что Егоров Василий, геройский сержант, смершмайорского гуся сожрал.

Прошли деревню, поле, лесок. Втянулись в пущу. Какое-то время шли колонной, подремывая, но в установленном для маневра месте получили команду развернуться в цепь.

Оружие изготовили, снаряжение подтянули, проверили, чтобы не брякало, не скрипело. И тут Ваську вырвало. Наплыло на него видение — острые зубья вил

входят в его напруженный от похоти живот. И Васька — жук-носорог — лапками шевелит, наколотый на булавку. А она говорит: «Не гонялся б ты, холуй, за дешевизной». Собственно, это говорили Петры, когда он поведал им свою эпопею. Случайность Петры отринули категорически. «Ты на вилах. И оправданий с ее стороны не надо. Какие могут быть оправдания? Ты же тамбовский волк. Затащил барышню в свежее сено... Ты сам-то себя кем считаешь?»

Вчера Васька о вилах не думал. И разговоры Петров воспринимал как зависть. Зубья вил вошли ему в живот лишь сейчас. «Ну ведьма,— бормотал он, исторгая из себя кашу.— Ну, ведьма лесная. Я ей еще уши нарву».

Когда он уходил, Юстина сидела на сене, натянув свое серое платье до щиколоток. Из ее ставших черными глаз катились слезы. Они повисали на ресницах, тяжелели и обрывались. Васька уходил от нее пятясь. Только выйдя со двора, пошел нормально, грудью вперед.

«Не впрок тебе смершмайорский гусь»,— говорили ему солдаты. «Не впрок»,— отвечал Васька. Он вытер лицо намоченным в лесной росе носовым платком. Стало легче.

Стало все видно. Стало ясно, что, увернувшись от вил, геройский сержант Егоров Василий может сию минуту наскочить на мину, на автоматную очередь, на одну-одинешенькую пульку снайпера — на нее, неприметную, прямо лбом.

Так что впереди у тебя, Егоров, большие сложности. О них думай.

Ветки задевали лицо, роса осыпалась с листвы за шиворот. И вдруг они поняли, что оказались в чудном лесу — невероятном. Завороженном.

От земли вверх, на уровень выше головы человеческой, шли корни, мощные, поблескивающие тонкой вороненой кожицей. От мощных корней ответвлялись корни потоньше и совсем тоненькие. Между корнями кое-где набилась трава, напорошило туда землю, и земля проросла осокой и лесными цветами. Наверху корни сходились, причем с боков, как и положено корням равнинных деревьев-берез. Березы были могучи, в обхват. На корнях этих чудных, выше голов человеческих, стоял лес. Белый. Зелень листьев не воспринималась как принадлежность этого леса — только стволы. Свечи чудо-берез. Они вздымались колоннами. Светили белым светом.

Объяснить Белый Лес было нетрудно. Когда-то березы проросли на болоте. Потом болото стало опускаться. Оно высыхало сто лет, и корни берез тянулись вслед за опускающейся почвой. Но это простое объяснение не делало Белый Лес простым. Он оставался чудным и страшным. Пучки корней объединились в непроходимые стены, оставив зверю и человеку лишь причудливо петляющие тропы, подобные коридорам лабиринта. Ни о какой солдатской цепи речи быть уже не могло. Солдаты шли гуськом, оглушенные белоколонным чудом.

Васька подумал, что здесь их могут косить пулеметами, расстреливать в упор, забрасывать гранатами, зная лес, успеть сто раз уйти. Но никто не стрелял. Было тихо. Жужжали мухи — хозяйки полесья.

Неожиданно, как он возник, Белый Лес, так он и кончился, перешел в мелколесье, просвеченное солнцем.

Мелколесье тоже вдруг оборвалось. Перед солдатами открылась поляна. С одного бока были выкопаны землянки — курени. Перед одним куренем на красном стеганом одеяле шелковом сидел белобрысый парень в клетчатом пиджаке. У правой его ноги забинтованной, уложенной в лубок, стоял пулемет «Гочкис».

Они приближались к нему, и он смотрел на них с любопытством.

— Ты, парень, не заминированный? — спросили.

— Нет.

Отряд Лысого бросил его. Оставили пулемет для геройства.

В деревню парня доставили на плечах. Положили две жерди на плечи, он повис на них, как на гимнастических брусьях, и шагал здоровой ногой.

— Небось не видели нигде такого леса,— говорил он, вертя головой. Он задыхался и кашлял. Легкие у него были застужены.— Говорят, даже в Альпах такого леса нет.

В деревне солдаты разделились. Рота пошла в рощицу, в свое расположение. Сопровождать парня к майору-смерш отрядили сержанта Егорова Василия.

— Заодно узнаешь, на сколько суток тебя на губу за твое самовольное непослушание,— сказал командир роты.

Завороженный Белым Лесом, Васька ни о ком не подумал: ни о Юстине, ни о майоре, ни о чернобровой красавице Янке — только о двух Петрах, которым Бог укоротил биографию на одно чудо.

Бог укоротил биографию двух Петров не только на Белый Лес. Оба Петра в один час погибнут в Германии от снаряда, разорвавшегося у них над головами.

У дома старосты толпился народ. Телега со двора была выкачена — в ней лежала чернобровая Янка. В розовой шелковой блузе. В лентах. Голова ее запрокинулась. Высокая шея с голубыми жилками была прикрыта вышитым полотенцем.

«Зарезали»,— сказал Васька, может быть, вслух, может быть, про себя.

Парень-бульбовец поднырнул под жердину и теперь стоял на одной ноге рядом с Васькой, стискивая ему плечо.

«Курва»,— сказал парень то ли вслух, то ли про себя. Но Васька услышал.

Поодаль стояла Юстина в сером холстинном платье, кусала травинку. На табурете сидел майор, усталый с дороги.

А над Янкой шумел Белый Лес голосом, что превыше всех голосов.

Все здесь было от корней того Белого Леса.

И да пребудет мир с ними...

Владимир Казаров

Два рассказа

ПРАВОТА ВИКТОРА ФОМИЧЁВА

— Кто у нас сейчас? — спросил Илья, когда они вошли в лифт.

— «Десантник»,— сказал Глеб и, сообразив, что начинающему фельдшеру надо расшифровать, добавил: — Выпал из окна, с седьмого этажа. Мужчина, примерно сорок лет.

— А что, наши услуги ему еще могут понадобиться?! — изумленно спросил Илья.

— Ну, если он был трезвый, то это уже, скорее всего, труп. А если пьян и упал в снег, то мы можем и пригодиться!

Они вышли на улицу. Илья молча переваривал информацию.

— А что, пьяными тоже мы должны заниматься? — спросил он наконец.

— К сожалению,— вздохнув, сказал Глеб.— И уголовная ответственность за них такая же: не дай бог, случится с ним что-нибудь в твоем присутствии — не расхлебаешь!

Они подошли к «рафику», и шофер завел мотор.

— Матвеич! — сказал Глеб.— Новоакадемическая, двадцать три. Квартиру на месте узнаем — «десантник»!

Глеб сел вместе с Ильей, сзади: с тех пор, как однажды он ездил по вызову к месту аварии «скорой помощи», на которой разбился знакомый врач, в кабину он больше не садился. Матвеич тогда объяснил ему, что в аварийной ситуации шофер инстинктивно «уводит» из опасной зоны свою сторону, подставляя под удар правую, где сидит врач или медсестра.

Машина стала петлять — видимо, они подъезжали к месту. Вскоре «рафик» остановился, и они вышли возле четырнадцатиэтажной башни; немного дальше, в снегу, среди кустов, стояли люди.

Глеб с Ильей быстро подошли к ним, протиснулись вперед сквозь негустой ряд стоявших и о чем-то споривших людей и увидели, что в снегу, ближе к дому,— довольно большая яма, от которой вдоль стены в сторону подъезда вели глубокие следы. Увидев людей в белых халатах, все умолкли.

— Что случилось? — спросил Глеб.

Стоявший рядом с ним мужчина в телогрейке, похожий на сантехника, повернулся и сказал:

— Да это Витька Фомичев, из 137-й квартиры,— из окна вывалился!

— А где же он? — спросил Глеб, подумав: «Шок! Пошел домой и где-нибудь свалился!»

— Да в магазин пошел! — ответил сантехник.

— В какой еще магазин?! — невольно вырвалось у Глеба.— Хороши шутки, нечего сказать.

— А чего мне шутить? — обиделся сантехник.— Вон за углом «Продукты», там винный отдел есть — туда он и пошел! — Он протиснулся на тротуар и исчез.

«Черт-те что! — подумал Глеб.— Что же нам теперь, в магазин, что ли, за ним ехать?!» — и тут же понял, что другого выхода нет.

Казаров Владимир Абович (род. в 1936 г.) — прозаик, критик, печатался в журналах «Новый мир», «Юность», «Знамя». Живет в Москве.

— Кто его знает в лицо? — спросил он, и какой-то мальчишка рванулся к нему из кустов:
— Я знаю, дяденька врач! Мы на одном этаже живем!
Они пошли к машине.
— Матвеич, тебе пацан дорогу покажет, как к магазину подъехать, наш больной туда удрал! — сказал он, подсаживая мальчишку в кабину, и полез за Ильей в «рафик».
Вход в винный закуток был отдельный; за вином, как это обычно бывает перед закрытием, стоял здоровенный хвост, чуть не вылезавший на улицу.
— Вот он! — радостно сказал мальчишка, показывая на невысокого русого мужчину без пальто и без шапки, стоявшего уже недалеко от продавщицы.— Виктор Иваныч, а за вами врач приехал!
— Ы?..— качнувшись в их сторону, спросил Виктор Иваныч.
— Вы ведь из окна выпали? — спросил Глеб, внимательно вглядываясь в Фомичева и пытаясь понять, что э́то — шок или просто сильное опьянение.
Очередь, как по сигналу, замолчала, все, в том числе и продавщица, стали прислушиваться к разговору.
— Я... не вы...— Фомичев икнул,— не вы... не выпадал!..
— Вам надо немедленно лечь! — резко сказал Глеб, уже сообразив, что Фомичев совершенно пьян, и дико разозлившись.— Идемте, у нас здесь машина, мы отвезем вас домой!
— Мне домой... сейчас... никак нельзя... без бутылки!..— сказал Фомичев.— Я Тоньке... обещал... а магазин закроют!..— Он, медленно покачиваясь, обернулся к стоящим сзади: — Правильно я говорю?..
Очередь сочувственно загудела:
— Пятнадцать минут осталось! Дайте ему взять, а то и правда магазин закроют!
— Пропустите его без очереди, раз за ним врач приехал!
Продавщица, рыхлая блондинка с ярко накрашенными губами, протянула руку и дернула Фомичева за рукав:
— Ну, орел, давай отпущу!
Фомичев снова повернулся к прилавку, неверным движением полез в карман пиджака, порылся там и достал деньги. Продавщица подала ему бутылку и дала сдачу. Теми же окольными движениями засунув сдачу в один, а бутылку — в другой карман пиджака, Фомичев нетвердой походкой пошел к выходу. К дому они ехали молча, лишь Фомичев изредка икал. Злость у Глеба постепенно проходила.
У своей квартиры Фомичев позвонил. Им долго не открывали, затем послышалась какая-то возня, щелкнул замок, и дверь распахнулась. Держась за ручку и покачиваясь, женщина лет, по внешнему виду, пятидесяти пяти, в халате и домашних тапочках на босу ногу, со спутанными, неопределенного цвета волосами и бессмысленной улыбкой проговорила:
— Принес... касатик!..
Увидев людей в белых халатах, входивших в квартиру следом за Фомичевым, она охнула и, закрывая за ними дверь, сказала:
— А мы... не нарушаем!.. Доктор... мы... не нарушаем!..
Они прошли за Фомичевым в комнату. Глеба поразила ее странная пустота, и, оглядевшись, он понял, откуда это ощущение: мебель в комнате была только самая необходимая — стол, четыре стула, здоровенный матрас, на котором валялись одеяла и подушки в белье не первой свежести, небольшой телевизор на старенькой тумбочке. На окнах не было даже занавесок.
На круглом деревянном столе без скатерти в художественном беспорядке, напоминавшем натюрморты Петрова-Водкина, валялись хлебные корки, огрызки соленых огурцов и селедочные головы, пара вилок и ложка, стояли грязные тарелки, пустые бутылки и стаканы.
— Мне надо осмотреть вас! — строго сказал Глеб.— Снимите пиджак и рубашку.
Не забыв вытащить бутылку и поставить ее на стол, Фомичев стал раздеваться. Время от времени он икал и пытался что-то произнести, но каждый раз махал рукой и умолкал. Глеб велел ему приподнять майку и быстро осмотрел его: нигде не было видно ни гематом, ни внешних повреждений, не провоцировалось никакой болезненности; он прощупал ему голову и, велев лечь, пропальпировал живот — все было в полном порядке. Ноги можно было бы и не осматривать — мало вероятно, чтобы было какое-то серьезное повреждение, с которым Фомичев столько времени пробыл на ногах,— однако он так был анестезирован спиртным, что Глеб решил не рисковать и велел ему снять ботинки и брюки. Ноги были целы, и здесь тоже не было ни синяков, ни царапин.
Глеб сел за стол, взял у Ильи карточку, в которой тот уже заполнил все что мог, и стал записывать результат осмотра.
— Сколько лет? — спросил он у Фомичева.
— Сорок... два!..— произнес тот, патянув одну штанину и прицеливаясь в другую.
Женщина, все это время с блаженной улыбкой сидевшая на стуле, сказала:

— У него... день рождения... был... месяц назад!..
— А вы кем ему приходитесь? — полюбопытствовал Глеб.
— Жена!..— улыбаясь еще шире, сказала она.— Мы... хорошо живем!.. Доктор... мы... не нарушаем!..
— Как это, не нарушаете?! — строго сказал Глеб.— А из окна бросаться — это что, не нарушение?!
— А я... не бросался!..— пробормотал Фомичев, безуспешно пытаясь завязать шнурки на ботинках.— Я же говорю... я... вы... вышел!..
— Что значит — вышел?! — с трудом сдерживая улыбку, спросил Глеб.— Для этого дверь существует!
— Я... в магазин... опаздывал!..— сказал Фомичев, с большим трудом застегнув на ширинке верхнюю пуговицу и тщетно пытаясь застегнуть следующую.
Илья не выдержал и засмеялся. Глебу стоило огромного усилия не захохотать, но он тем же строгим тоном сказал:
— Вы что, ненормальный?! Вы что же, значит, каждый раз, когда в магазин опаздываете, в окно выходите?!
— Это кто... ненормальный?! — спросил Фомичев.— Это я ненормальный?!
Пуговица ни за что не хотела застегиваться, и он, как был, с незавязанными шнурками и незастегнутой ширинкой, пошел к окну. Когда Глеб поднял голову, Фомичев уже стоял на подоконнике и открывал левую створку. Глеб и Илья вскочили со стульев, но ни крикнуть, ни сделать ничего они уже не успели: Фомичев сделал шаг вперед и провалился за окном.
У Глеба выступил на лбу холодный пот, в голове пронеслось: «Конец!», относившееся в равной мере и к Фомичеву, и к нему самому, на мгновенье он оцепенел. В этот момент раздался грохот — стул рядом с ним упал. Он обернулся и увидел, как Илья, смертельно побледнев и медленно оседая, заваливается на бок. Он быстро подхватил его и встал рядом с ним на колени. Судя по всему, у парня был обычный обморок. Глеб приподнял ему голову и несколько раз хлестнул по щекам. Илья открыл глаза и стал приходить в себя. Глеб втащил его на стул и огляделся.
Нет, ему не померещилось: жена Фомичева, все так же блаженно улыбаясь, попрежнему сидела на стуле, рубашка Фомичева, поверх его пиджака, висела на спинке другого стула, окно было открыто, а Фомичева в комнате не было.
Похолодев и чуть не плача от бессильной злобы, Глеб бросился из квартиры. Лифт был занят. Не дожидаясь кабины, он помчался вниз, прыгая через три-четыре ступеньки и непонятно каким образом не ломая себе шею; все шесть этажей пролетели, как во сне.
Добежав до первого этажа, он обогнул лифт и, выскакивая к двери подъезда, заметил, что она открывается. Он затормозил, чтобы не сбить входившего, но, увидев его, остолбенел: в дверях, весь облепленный снего́м, покачиваясь, стоял вечно живой и невредимый Виктор Фомичев и бормотал:
— Это кто... ненормальный?!. Это я... ненормальный?!.

НОМЕРА

Дело было не в том, что я питал к Сашке Калугину какую-то неприязнь,— наоборот, я относился к нему лучше, чем ко многим в лаборатории, и когда стало известно, что у Сашки должен родиться второй ребенок, то не только поддержал идею скинуться на немецкую коляску, но и сам вызвался отвезти и коляску, и вещички, которые купили для будущего ребенка наши женщины, к Сашке домой, в Балашиху.
Тем не менее сейчас я выполнял свое обещание скрепя сердце: до Олимпиады оставалось меньше двух недель, гаишники того и гляди обложат все дороги — если уже не обложили, и я предпочел бы не рисковать номерами. Но Марину с ребенком вот-вот должны были выписать из роддома, Сашка ушел в отпуск, и я, забрав с работы коляску и сложенные в нее свертки, клятвенно пообещал на другой день с утра отвезти все это в Балашиху, чтобы коляска попала к ним до того, как ребенка привезут домой.
Дело усугублялось тем, что сильно прогорела труба глушителя, и мой «Запорожец» теперь стрелял так, словно в нем сидела рота автоматчиков. Я уже несколько дней ездил на нем только по неотложным делам, сбрасывая газ, когда видел где-нибудь гаишных постовых или машину, однако это была рискованная езда — особенно если учесть, что ГАИ получила указание на время Олимпиады поставить половину частных машин на прикол. Я знал это достоверно, от знакомого гаишника, который предупредил меня, что надо быть осторожным.
Проще всего было бы взять на все это время отпуск и махнуть на дачу, как в прошлом году, но у Машки — вступительные экзамены, да еще ей приходится ездить на консультации в училище,— так что Вера с Машкой практически до самой Олимпиады будут жить

в Москве; а мне еще придется потом замещать шефа, который благоразумно взял отпуск так, чтобы уехать до Олимпиады и приехать после нее. Правда, и. о. начальника лаборатории — это лишняя тридцатка, но я предпочел бы ее не получать и не торчать весь этот месяц в городе.

В любом случае с трубой надо, конечно, что-то делать. Заменить ее, наверно, не удастся: я уже звонил на станцию, и мне сказали, что можно заменить глушитель вместе с трубами или только глушитель, но не одни трубы. Странно еще, что на этот раз на станции есть глушители, обычно достать его — целая проблема, но глушитель у меня стоит новый, а отдавать 65 рублей за то, чтобы заменить трубы, которые стоят всего 17,— больно накладно, я останусь практически без получки. Надо бы снять их и как следует проварить, договорившись за бутылку на базе или на шараге в Филях,— но, как назло, все знакомые сварщики угнаны на какие-то олимпийские объекты, и если я в ближайшие дни не найду способа залатать трубу, на машине придется месяц не ездить.

Пока же надо было съездить без потерь в Балашиху и обратно, и я ломал голову, какой маршрут выбрать. В конце концов я решил добираться «огородами»: шоссе Энтузиастов я почти не знал и, хотя ехать в Балашиху по Щелковскому шоссе значило сделать явный крюк километров в десять, я все-таки выбрал именно эту дорогу. Я часто ездил по Щелковскому в Загорянку, на дачу, вся дорога по набережной Яузы и далее, вплоть до поворота к Балашихе, мне была хорошо знакома, и я мог переключить внимание на посты ГАИ.

Благополучно миновав будки на Зубовской и у «Кропоткинской», я вырвался, наконец, на Кремлевскую набережную и, посматривая на спидометр, поехал к Котельнической. В другое время я бы ни за что не шел ровно на шестидесяти — на шестидесяти движок тянул плохо, ему нужно было хотя бы шестьдесят пять; я слышал, что так у большинства «Запорожцев», поскольку двигатель был спроектирован задолго до введения ограничений по скорости, он вообще лучше всего работает на восьмидесяти, это у него оптимальный режим, но сейчас я рисковать не мог.

Свернув на набережную Яузы, я сбросил скорость: знак «Не больше 40» висел по всей набережной, и здесь часто «секли» скорость гаишные машины. Не превышая скорость и не вылезая из первого ряда, я доехал почти до самого поворота к Преображенке, как вдруг заметил впереди гаишника, останавливающего какую-то машину. Я разогнался, сбросил газ и, почти не чихая, стал проезжать мимо пятачка, на котором стояли гаишный «рафик» и две или три остановленные машины, однако гаишник прервал выяснение отношений с водителем одной из них, бросился к проезжей части и жезлом показал, чтобы я остановился.

— В чем дело?! — спросил я с изумленным видом, вылезая из машины навстречу пожилому лейтенанту.

— Ваши документы! — сказал лейтенант, не обращая внимания на мой вопрос.

Я отдал ему техпаспорт и права. Тот, убедившись, что в техпаспорте есть отметка техосмотра, показал жезлом чуть вперед и правее:

— Поставьте машину вот сюда, где стоит «газик». Будем проверять на СО!

— Что-что?! — спросил я, и в самом деле изумившись и не сразу сообразив, о чем идет речь.

— Проверка содержания СО в выхлопных газах! — сказал лейтенант, в свою очередь удивившись моему изумлению.

Вот это номер! Только этого и не хватало! Я стал лихорадочно соображать, как повлияет дыра в трубе на показания прибора, а потом плюнул и, стараясь не газовать, отвел машину на указанное мне место. К машине подошел парень, одетый в штатское, в руках у него был прибор; он поставил его на землю и воткнул наконечник шланга, шедшего от прибора, в выхлопную трубу. Стрелка прибора отклонилась, и я присел было на корточки, пытаясь разобраться в градуировке, но в этот момент парень разочарованно сказал подошедшему лейтенанту:

— Один и девять! В норме!

Подошедшая с лейтенантом девушка записала номер моей машины и показания прибора в журнал.

Лейтенант сказал:

— А ну-ка газани!

«Паршиво!» — подумал я, но сел за руль и с показной готовностью газанул.

— Тоже ниже нормы! — сказал парень и, взяв прибор, вместе с девушкой пошел к «Москвичу», остановленному вторым гаишником.

Лейтенант повернулся ко мне и сказал:

— Давай-ка проверим, как ручной тормоз отрегулирован! Слегка разгонись и затормози ручником!

За ручник я был спокоен, но, чтобы даже слегка разогнаться, надо было опять газовать, и каждый раз я это делал со страхом.

— Ручной тормоз в порядке! — сказал лейтенант, подходя к машине.— Только что это она у тебя трещит, как трактор?

Неожиданно он встал на колено и заглянул под машину.

— ...! — выругался он, вставая и отряхивая с колена пыль.— Мы у него СО проверяем, а у него там труба оборвана!

— Как оборвана?! — искренне удивился я.— Там была в трубе дыра — это верно, я и еду ее заваривать, мне в Балашихе обещали устроить сварщика, но не отвалилась же она совсем!

— А ты погляди сам! — сказал лейтенант.

Я полез под машину. Труба действительно отвалилась и держалась на честном слове — совсем прогорела около фланца! Мне стало ясно, что дело — труба: это будет стоить мне номеров. Я поднялся и сделал последнюю отчаянную попытку спасти положение.

— Товарищ лейтенант, слово даю, в таком виде больше не выеду! Съезжу в Балашиху, и если мне там трубу не заварят, поставлю машину на стоянку!

— Ну вот что, снимай-ка номер, какой-нибудь один, спереди или сзади, я тебе выдам акт, и когда все поправишь, приедешь в ГАИ Ленинского района и получишь по этому акту свой номер!

ГАИ было свое, родное, я, оказывается, еще не выехал за пределы своего района — или они просто забрались в чужой? И надо же так случиться, чтобы знакомый гаишник месяц назад перешел работать в городское ГАИ — теперь у меня в Ленинском ГАИ никого не было!

— Но мне же сегодня позарез надо попасть в Балашиху! — сказал я с отчаяньем в голосе.— Как я туда без номера поеду?!

— У тебя будет копия акта, в случае чего покажешь ее и скажешь, что едешь ремонтироваться и что номер уже снят! А чтобы поменьше обращали внимание, сними задний номер!

Не дожидаясь моего ответа, он бросился к проезжей части и тормознул «жигуленка». Окончательно смирившись с поражением, я открыл оба капота, достал ключи и стал снимать задний номер. Даже если я по-быстрому заварю трубу, номер мне, конечно, до конца Олимпиады не отдадут, это ясно, как Божий день,— не для того они их сейчас снимают!

Пока я отворачивал гайки, прибор показал избыток СО у «Жигулей», и лейтенант велел водителю снять номер, посоветовав отрегулировать клапана и зажигание. Водитель, черноволосый парень в темных очках, джинсах и замшевом пиджаке, что-то сказал лейтенанту, но тот только отмахнулся. Ну конечно, нашел время и место откупаться! Рядом стоят парень с прибором и девушка с журналом, да и будь этот лейтенант совершенно один, он бы сейчас все равно номер у него снял: если началась подготовка к Олимпиаде, то план по снятию номерных знаков им надо выполнять, хоть тресни!

Я положил ключи и болты с гайками в «бардачок» и хотел было отнести номер в «рафик», но потом решил на всякий случай оставить его в машине — а вдруг пронесет? По приставной лесенке я забрался в «рафик». «Рафик» был полупустой, сиденья шли только по краям, да с двух сторон стояли два столика, видимо, привинченные к полу. На обоих столиках лежали бумаги, за правым сидел второй гаишник, старший лейтенант, и что-то писал. Под центральным сиденьем виднелась горка снятых номеров.

— А где мне акт получить? — спросил я у гаишника.

Тот на секунду оторвался от бумаг, поглядел на меня и сказал:

— Так ведь у вас не я проверял! Вот он сейчас придет и выдаст вам акт! — И он снова уткнулся в бумаги.

Я собрался было выйти, но тут по ступенькам навстречу мне стал подниматься мой лейтенант.

— Ну что, снял номер? — спросил он меня, как старого знакомого,— он, конечно, уже видел, что номер снят.

— Что делать! — сказал я, огорченно мотнув головой.

— Сейчас я тебе акт дам!

Он быстро вписал номер машины и мою фамилию в уже подготовленный экземпляр акта, дал мне расписаться, отдал мне копию акта и документы и еще раз напомнил:

— В ГАИ Ленинского района!

— Хорошо! — сказал я, скорчив грустную мину и в душе моля, чтобы лейтенант не спросил, куда я положил номер.— До свидания!

Я сел в машину, дал газ и рванул с места. Отъехав от злополучного пятачка метров на триста и увидав впереди мост, у которого надо было сворачивать к Преображенке, я облегченно вздохнул и рассмеялся. Хорошо, что я не стал дожидаться лейтенанта у машины, а сам влез в «рафик» — вот тот и решил, что я отнес туда номер. А теперь я ехал со снятым номером, который лежал у меня в машине, и с актом о том, что номер у меня снят за неисправность глушителя. И если меня кто и остановит, то все равно ничего не сделает: какой смысл снимать номера дважды? Словом, я получил на сегодня охранную грамоту! Однако ехать надо было все-таки аккуратно, рисковать талоном я не хотел: талон у меня был чистый, а я по опыту знал, что первая же дырка потащит за собой и следующую.

У поста ГАИ на выезде на кольцевую меня не остановили — видно, теперь они этого номера хватятся только тогда, когда начнут подбирать номера по актам, чтобы сдавать

к себе в ГАИ. Во всяком случае, если на повороте к Балашихе я миную пост нормально, то все в порядке. На Щелковском шоссе я расслабился и немного отдохнул, собравшись снова метров за семьсот перед поворотом на Балашиху. Этот пост я тоже миновал благополучно, тут же решив на обратном пути, во избежание недоразумений, ехать другой дорогой: чем черт не шутит, вдруг они со своим приборчиком переберутся за это время на другую сторону Яузы?

Я застал Сашку за ремонтом детской кроватки; мы вместе перетащили из машины вещи, и Сашка предложил выпить, тут же и вспомнив, что я за рулем и пить не могу. Мы посидели на кухне, попили чай, я рассказал ему, с какими приключениями я к нему добирался; Сашка посмеялся над моим номером, и я, выяснив у него, как проехать к Горьковскому шоссе, попилил домой.

Перед кольцевой я опять сбросил газ и снова благополучно проскочил пост ГАИ, но на шоссе Энтузиастов, около одного из светофоров, меня остановили. Я встал за «Жигулями», в которые уже садился солидный мужчина, произнося вслух какие-то угрозы. Гаишник, здоровенный верзила с сытым лицом, посмотрел документы, даже не спросив, почему снят номер,— наверное, просто этого не заметил — и совершенно неожиданно проколол мне талон.

— За что? — только и успел я выдохнуть.

— Вы не соблюдаете дистанцию при езде! — невозмутимо сказал гаишник, возвращая мне документы.

В принципе возразить было нечего, потому что дистанцию я действительно не соблюдал, но я ее и не мог соблюдать, и гаишник это прекрасно знал! По «Правилам» на этой скорости я должен был держать дистанцию метров 25—30, но как только между мной и впереди идущей машиной оказывался такой промежуток, в него сразу же обязательно кто-нибудь влезал. Водители в Москве чихать хотели на дистанцию, на загруженных трассах вроде Садового дистанцию никто не держал, и ГАИ всегда смотрела на это сквозь пальцы. Это учитывалось только, когда кто-нибудь въезжал в зад впереди идущей машине — тогда он был виноват, потому что не соблюдал дистанцию! Я понял все это, еще когда только начал водить, и с тех пор думать забыл про это правило — а вот теперь, на тебе, соблюдай дистанцию! Доказывать что-нибудь этому стервецу было уже поздно, я плюнул и уехал.

Нет, на время Олимпиады надо, от греха подальше, машину ставить на прикол — иначе я останусь и без номеров, и без талона, и даже после Олимпиады долго не придется ездить. Дыркой в талоне я был огорчен даже больше, чем если бы у меня забрали номер. Настроение было испорчено до конца дня — я это знал по опыту.

Спустившись по Ульянова на набережную, я прибавил газ и встал во второй ряд, пристроявшись за зеленым «уазиком»,— но тут гаишник на мотоцикле остановил и «уазик», и меня.

«Да что они, озверели?!» — подумал я, отводя машину к обочине. Гаишник начал с меня и, взяв документы, спросил:

— Почему превышаете скорость?

— А почему вы решили, что я превышаю скорость?! — спросил я, поняв, что дело пахнет еще одной дыркой и что терять мне, похоже, уже нечего.

— Вы ехали со скоростью шестьдесят два километра в час! — сказал гаишник.

— А вы мне покажите на моем спидометре, что значит шестьдесят два километра в час! — сказал я со злостью.

Спидометр показывает с точностью примерно плюс-минус пять километров, на нем и делений-то таких нет, гаишник явно придирался — не говоря уже о том, что и спидометр-то у него не точнее «запорожского»!

— А меня не интересует ваш спидометр! — сказал гаишник.— Вы должны ездить так, чтобы скорость не превышала шестьдесят километров в час, и все! Ездите со скоростью пятьдесят пять километров, кто вам мешает?

Он уже достал «дырокол», и я понял, что и тут разговаривать бесполезно и что даже трояк меня не спасет: началась «кампания», и к этому надо относиться как к стихийному бедствию, и все! Но легко сказать — надо относиться! Дырок-то уже две, еще одна, и — пересдача правил дорожного движения! Я забрал документы и, окончательно расстроенный, поехал дальше.

До самого дома меня больше не останавливали. Я поставил машину за Лешкиным «Москвичом», подумав, что надо будет сегодня же куда-нибудь убрать ее с набережной: оставлять рискованно, как-никак — олимпийская трасса, да еще из главных, ведь набережная-то ведет прямо к Лужникам! Наверно, будут заставлять все машины с набережной убирать.

Дома я разогрел борщ и кашу с мясом, поставил чайник и сел обедать. Раздался звонок. На лестничной площадке стояла Нина Трофимовна, соседка, работавшая сторожем на ремонтно-строительной базе напротив нашего подъезда.

— Володя, бегите скорей, там у всех машин номера снимают! — торопливо проговорила она.— Леши нет дома, я уж думала, что и вас не застану! Бегите скорей!

Я схватил пиджак, в кармане которого лежали ключи и документы на машину, и, хлопнув дверью, помчался на набережную. На набережной стоял гаишный «жигуль», два гаишника снимали передние номера с двух оставшихся машин — моей и Лешкиной; с белых «Жигулей» и с «корриды» номера уже были сняты. Я подбежал к машине как раз в тот момент, когда гаишник, открутив последний болт, вставлял болты в снятый номер и наживлял гайки с шайбами.

— Ваша машина? — спросил он, увидев меня.

— Да, а в чем дело?! — спросил я.

— Уберите машину с набережной! — сказал гаишник.— Она у вас грязная! Зайдите сегодня после шестнадцати в ГАИ, получите акт, что номер снят за неопрятный внешний вид!

Я только присвистнул. Вид у машины был нормальный, ну, низок можно было бы сполоснуть — но никогда еще за такой вид у меня не только номер не снимали, но даже и замечания мне не делали! Я пожалел, что утром снял не передний, а задний номер — тогда бы они сейчас снять его не смогли,— сплюнул и спросил:

— А если мне ее некуда убирать?!

— Арестуем машину и поставим у ГАИ!

Гаишники собрали номера, сели в машину и уехали.

Я выругался им вслед и пошел доедать обед. Мне теперь предстояло идти в то самое родное Ленинское ГАИ, необходимости идти в которое, как я думал, я так счастливо избежал утром.



ПОЭТЫ ШВЕЦИИ

Петер Курман

В КОНЦЕ МЫ ВСЕ СТАНОВИМСЯ ДЕТЬМИ

Сквозь наши лица
мы пробираемся
к души неведомым глубинам.
Чем старше мы становимся,
тем ближе
к тому, чем были мы первоначально.
За осторожными маневрами прожитых лет
по-прежнему скрывается
так и не познанное дитя.

Его беспомощные пальчики
сплетены с нашими.
Наши контролируемые голоса
не могут скрыть
затаенный в них детский крик.
Наша взрослая жизнь
со всеми объяснениями и уловками
всего лишь замаскированное детство.
В конце
мы снова становимся детьми.

КАРЬЕРА

Сначала ты молод.
Потом ты молод и полон надежд.
Потом ты молод и многообещающ.
Потом ты молод и талантлив.

Потом ты дебютировал.

Потом ты молод и одарен.
Потом ты молод и удачлив.
Потом ты одарен.
Потом ты чрезмерно политичен.
Потом ты чрезмерно личен.
Потом ты чрезмерно общ.
Потом ты чрезмерно узок.

Потом ты солиден.

Потом ты реприза.
Потом ты реприза на репризе.
Потом ты возвращение.
Потом ты повторение.

Потом ты мужчина.
Потом ты мужчина.

Потом ты был мужчиной.

Потом тебя нет.

Перевела Л. Брауде

ПИЦУНДА

Я посадил сам себя под домашний арест
у Черного моря, в Пицунде, в писательском доме.
Часами сижу у мигающего курсора дисплея
и кручу свою жизнь взад и вперед.

На короткой волне трещит Би-би-си:
«Замерли поезда во всей Грузии — даешь многопартийную систему!
40 тысяч людей заперты в жарких купе без воды.
Ирак захватил, заграбастал Кувейт.
Созван Совет безопасности,
СССР и Америка требуют акций совместных».

Фразы жужжат, кадры сменяют друг друга.
На синем экране морском движется грузовое судно к Боспору,
словно медленный курсор справа налево.

Я регистрирую глазом
все, что плывет предо мной:
пестрят на экране слова,
уродливые советские отели из цемента,
туристы, млеющие на пляже, словно тюлени.
Все это здесь в эту секунду:
то, что я вижу, и то, что не вижу,
то, что я слышу, и то, что не слышу.
Одолевает соблазн улечься с туристами на берегу,
чтобы мир показался ветром прохладным, ласкающим спину.
Но я увяз в своем прошлом.

Поздней: в ресторане поглощает
Маститый Писатель свой ужин.
Он ест методично и медленно.

Тренировочные брюки на резинке,
такие же эластичные, как его мораль,
позволяют ему хорошенько заправиться —
ведь ремень не сжимает живот.
Кто-то шепчет:
— Это он написал бессмертные строки:
«Я рожден моей матерью!»
А теперь рожденному матерью не хватает отца,
строгого и справедливого, того, кто бы мог
держать в узде его милое Отечество.
Предано все и по ветру пущено,
и он сам превратился в посмешище.

Может, и он себя посадил под домашний арест?
Может, и он, сидя в комнате,
крутит свою жизнь взад и вперед,
увязая в минувшем, покуда
туристы дремлют беспечно у моря.

СУПЕРМАРКЕТ

Я брожу
по огромному универсаму слов.
Здесь есть все на любой вкус:
консервированные взгляды,
растворимые знания,
импортные деликатесы.
В поваренных книгах
читаю рецепты:
эстетика, идеология,
психология и прочее.
Но тщетно ищу я на полках
заветную пряность,
названье ее я забыл
и описать не могу,
но вкус ее помню
отлично.

МОСКВА

Москва — неряшливая великанша
с растрепанными крашеными волосами,
просыпается утром
после похмелья.
За что ты примешься сегодня?

Что ты станешь делать
со всеми комитетами и грузовиками,
конференциями и поэтами?
Накрасишься на Красной площади
и встанешь в очередь за хлебом?
Или закажешь новую бутылку
шампанского к шашлыку?

Я побывал в подземных дворцах,
где поезда мчат твоих почитателей
и хулителей.
Скажи, Москва, что ты сделаешь с ними?
А также с делегатами конференций
изо всех стран, ближних и дальних,
пьющих водку в отелях с кондиционерами?
Они еще не надоели тебе?

Знаю, тебе хочется повернуться на бок
и заснуть, как Обломов.
Но, любимая великанша,
недостаточно иметь
музеи, конференции, резолюции
и даже бюрократов.
А в своем мавзолее лежит
проснувшийся Ленин.

СИТУАЦИЯ

Опьяневшие,
заснули мы все трое
в одной постели.
Спросонья слышу я,
как скрипят уключины,
и лежу, не шевелясь,
морской звездой
на дне моря.

Петер Курман (род. в 1941 г.) — поэт, председатель Союза писателей Швеции. Автор десяти сборников стихов, первый из которых — «Внимание! Это важно!» — опубликован в 1965 г. В 1986 г. выпустил итоговое собрание стихов — «Следы ног».

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Идем на посадку. Вдоль нитей дорог
рядами стоят
дома в виде детских кубиков.
Квадраты полей подают нам зеленый
сигнал.
Жуками блестящими ползают
автомашины.
Внизу подо мною ждет Швеция
с больницами, лесом, рудой и концернами,
страховкой, налогами, множеством партий.
Идем на посадку.

Колеса еще не коснулись со скрипом земли,
и я на мгновенье вернулся назад,
туда, где на улицах тесных кричат
продавцы
и нищие тянут иссохшие руки.
Я все еще слышу: «Запомните нас! Наша
участь — тюрьма!»
Но вот смолкают моторы, расстегнут
ремень,
ступаю на землю и воздух вдыхаю
прохладный.

Зеленый ландшафт, жилые районы тихи
и чисты.
У светофоров нарядные люди стоят.
Для них это будничный день,
мне же он кажется сладостным сном.
Страна моя — парк заповедный,
нарядно заполненный формуляр
в хаотическом мире.

Но вот горизонты снижаются, я уже дома
и в благоденстаии нашем вижу отчетливаей
трещины,
вижу бездомных, отверженных в парке
моем заповедном.
Здесь нищета и насилие приняли
цивилизованный облик,
люди не умирают на улицах и полицейских
не видно — сидят по машинам.
Так что мы можем пока еще ждать
у светофора.
Можем пока...
Ведь Дроттнинггатан лишь продолженье
турецкой
Истикаль Каддеши
и благоденствие наше лишь камуфляж
нищеты.

Сандро Кей-Оберг

* * *

Мне хочется жить,
а тебе?
Во всяком случае этого
хочет сердце, бегущее
в жарком порыве тебе навстречу
по земному, зеленому небу,
полному раскачивающихся желаний.
Дни уходят, а я
смотрю на их светлые подошвы.
Уходит короткая жизнь,
а я думаю о тебе!
Я так боюсь смерти,
а ты не боишься?
Сердце ударами гонит прочь
заледенелые мысли.
Бережно, затаив дыхание,
работает беспокойство
а теле моем.
Свет подозрительности
освещает застывшие чувства.
Как уязвима ты,
почти обнаженная жизнь!
Как муравей на ноябрьском снегу.

Берит Руус

* * *

Длинный берег тих
и пустынен,
его член обиажен
под ярким солнцем,
груда камней
цвета сизого голубя,
глядя на его светлый
уязвимый пах,
она хочет
забеременеть,
раздуться свежим
антоновским яблоком.
Оба они отдыхают
в теплой тьме
рука в руке,
словно зеркальное отражение,
ладонь к ладони,
пульс к пульсу,
два сердцеобразных листа,
бледные ростки
во мраке.

Перевела Н. Белякова

Сандро Кей-Оберг (род. в 1922 г.) — поэт и драматург. Автор многочисленных поэтических сборников: «Игры испуганных» (1950), «Водяные деревья» (1952), «Радость жизни» (1960), «На высоте» (1972) и др.

Берит Руус — поэтесса. Автор книг стихов «Опасность для жизни» (1983), «Через ворота шлюза» (1987), «Непостоянный город» (1988), «Вамах голубиного крыла» (1989).



Владимир Грязневич

ПОВОДЫРИ СЛЕПЫХ

Интеллигенция как социальный феномен

...А слепого, сбитого машиной,
Не сумели выходить врачи.
Александр Галич

Нет, пожалуй, в русской культуре вопроса более запутанного и вызывающего такие ожесточенные споры, чем вопрос о русской интеллигенции.

Удивительно, как по-разному, а зачастую и противоположно оценивают люди это явление русской жизни.

Так кто же он — русский интеллигент? «Человек высокой идеи, болеющий за Россию, человек, стремящийся к цельному миросозерцанию и подчиняющий ему свою жизнь» (Герман Андреев)? Или «вялый, апатичный, лениво философствующий», каким он представлялся А. П. Чехову? Интеллигенция — «это часть образованного слоя общества, в котором совершается духовное развитие... делается очередной шаг к Богу... фермент, движущий историю» (Григорий Померанц) или «группа, движение и традиция, объединяемые идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей» (Георгий Федотов)?

То явление русской культуры, которое принято называть пышным словом «интеллигенция», на самом деле содержит большое число самых разнообразных исторически преходящих форм, течений, направлений и связанных с ними общественных групп и отдельных лиц, порой противоположных по доминантным человеческим качествам, принципам и целям. В обиходе под интеллигенцией чаще всего понимают просто совокупность образованных людей с активной общественной позицией. При специальном же разговоре (в том числе и в настоящей статье), особенно когда дело касается нравственных, культурных или социальных проблем, интеллигенцией называют нечто совсем иное, имеющее чрезвычайно большое значение в формировании и развитии русской духовной и социальной культуры. Однако и в этом случае чаще всего исходят из интуитивного представления об особой социальной группе, точнее, о личных качествах людей, которые могут быть к ней причислены, т. е. о так называемой «интеллигентности», «интеллигентных» чертах характера, о том, как может и как не может вести себя «интеллигентный человек».

Связанная с таким интуитивным представлением нечеткость, расплывчатость понятия рождает массу недоразумений и взаимонепонимание людей при попытке углубиться в проблему. Поэтому представляется разумным и в настоящей статье уделить определенное внимание уточнению предмета разговора.

М. Золотоносов в статье «Музыка во льду» («Искусство Ленинграда», 1989, № 1) дает определение интеллигенции, близкое тому, что некогда дал Р. Иванов-Разумник. Оно включает в себя противостояние как власти, так и народу *в защите общечеловеческих интересов и ценностей.* Априори заданным, исходным для М. Золотоносова является не социальная группа, свойства которой подлежат изучению, а определенные *социальные функции*, исполнение которых объективно необходимо обществу на определенном этапе его исторического и культурного развития.

Грязневич Владимир Петрович (р. в 1953 г.) — физик-теоретик. Окончил Ленинградский государственный университет, автор работ по квантовой электронике. Опубликовал публицистические статьи в журналах «Искусство Ленинграда», «Литератор», газетах «Час пик», «Смена».

Потребность защищать общечеловеческие ценности от вполне реальной угрозы со стороны сиюминутных интересов власти и народа (точнее сказать — толпы) привела к появлению в обществе и определенного, подходящего для выполнения этой функции, типа людей, которых я представляется разумным назвать интеллигенцией. Такое понимание интеллигенции близко, например, к точке зрения выдающегося русского философа Алексея Лосева, считавшего интеллигентом того, кто «блюдет интересы общечеловеческого благоденствия», а также С. С. Аверинцева, говорившего, что знаменитая «отзывчивость интеллигенции — это... не столько данность, сколько заданность». Возникающая при таком подходе фигура интеллигента вполне, впрочем, соответствует и интуитивному представлению.

Приветствуя подход М. Золотоносова, я хотел бы, однако, еще уточнить функции интеллигенции и тем самым попытаться сформулировать понятие о ней в максимально широком культурфилософском контексте. Главную роль русской интеллигенции я бы назвал так: *сохранение культуры*. Создатель культуры — народ в широком смысле, т. е. каждый человек, имеющий талант. Для его общественной реализации, то есть для того, чтобы плоды таланта стали фактом культуры (как общественного явления), нужна определенная культурная среда. Вот ее-то и создает, поддерживает и развивает интеллигенция.

Необходимость выполнения такой культурной функции в обществе осознаалась уже давно. Это прежде всего обусловлено важностью для общества именно духовной, т. е. нематериальной, культуры, или, как назвал ее С. Л. Франк, «чистой идеи культуры». Потребность сохранять культуру периодически возникала в истории человечества и с особой очевидностью проявилась на рубеже XIX—XX веков. Тему эту развивал, например, О. Шпенглер, говоривший о том, что «культуру убивает цивилизация» — рационалистически организованное, ориентированное на грубый бытовой прагматизм социальное бытие. Этот «механический» этап общественной эволюции характеризуется по Шпенглеру «закостеневанием» творческих начал культуры, а также нивелированием ее локальных особенностей. О подобной опасности на почве российских реалий говорили и авторы «Вех», отмечая распространившиеся в обществе сильные «противокультурные тенденции, отрицающие абсолютные ценности настроения нигилистического утилитаризма» (С. Фраяк), когда «интерес становится выше истины, человеческое выше божеского» (Н. Бердяев).

Специфика России, ее отличие от других стран, заключалась в повышенной потребности сохрапять именно духовную компоненту культуры, «чистую ее идею», связанную с нравственными ценностями. Вытекающую отсюда функцию интеллигенции (являющуюся, конечно, лишь частью общей задачи) я бы назвал так: *сохранение нравственного здоровья общества, охрана его нравственных устоев*, без чего невозможны развитие социальной культуры народа, социальный прогресс общества, движение от низших форм организации общества к высшим.

Историческая обуслоаленность для России именно этой, нравственной, задачи объяснялась особенностью развития русского общества, ролью различных его институтов и в первую очередь — русской православной церкви. В силу определенных исторических причин православная церковь в России не выполняла традиционной для христианской церкви в европейских странах роли нравственного авторитета, хранительницы и защитницы нравственных ценностей в обществе. Связано это было с реформаторской деятельностью Петра I, который, желая создать сильное государство, сделал из православной церкви придаток государственной машины, лишив ее свободы проповедования и права на защиту негосударственных — нравственных — ценностей. Существенное же различие, а зачастую и противоположность государственных и нравственных ценностей очевидна, если иметь в виду принципиальную несоотнесенность «правил игры» политиков с нраастаенными принципами. Об этом очень красноречиво свидетельствуют как теоретические сочинения (вспомним хотя бы блестящие своей циничной изобретательностью и психологической точностью «советы Государю» Н. Макиавелли, ставшие своеобразным «катехизисом» политиков всех времен и народов), так и историческая практика от древнейших времен и до Президента СССР М. С. Горбачева. Политика — это искусство возможного в достижении конкретных политических (т. е. имеющих отношение к власти, а не к морали) целей. Нравственные принципы суть выработанные многовековой человеческой практикой идеальные правила поведения людей в обществе, являющиеся концентрированным выражением инстинкта самосохранения человеческого рода. Политика ориентирована на достижение конкретных, сиюминутных целей. Мораль же заботится о выживании людей в исторической перспективе. Ясно, что эти задачи зачастую входят в непримиримое противоречие и одновременное решение их нередко попросту невозможно.

Вакуум, образовавшийся в России после отстранения православной церкви от выполнения своей традиционной роли, начали заполнять люди с обостренным чувством справедливости, ощущавшие личную ответственность за судьбу своего народа и его культуры. Так, вернувшись из-за границы, А. И. Радищев, посланный туда для приобретения знаний, необходимых для строительства государства, воскликнул: «Гражданин, становясь гражданином, не перестает быть человеком!», разделив таким образом понятия «подданный» и «человек». Появившись в конце XVIII века, в соответствии с возникшей общественной потребностью, русская интеллигенция стала «носительницей и проповедницей чувства гуманности, признания ценности человеческой жизни, милосердия ко всем без различия» (Ю. Майер), взяв, таким образом, на себя традиционную для христианской церкви нравственную функцию.

Выполнение своей общественной функции требует, конечно, от интеллигента и соответствующих этой функции личных качеств, совокупность которых в сознании людей интуитивно понимается как «интеллигентность». При этом важно не забывать, что «интеллигент» — это не знак некой избранности, принадлежности к нравственной элите — привилегированной касте *единственно* честных, порядочных, умных и т. д. людей, а прежде всего — добровольно взятая на себя роль. Интеллигенция не располагает никаким особенным, только ей присущим камертоном, чтобы отличать добро от зла. Такой камертон есть у каждого из нас, и со времени Иммануила Канта он называется нравственным чувством. «Ничто не оправдывает претензии интеллигенции на определение того, что хорошо, а что дурно... Долг интеллигенции в том, чтобы *указывать* на разницу между истинным и ложным, между правдой и враньем» (Дм. Сеземан).

Культурная функция интеллигенции есть не ее привилегия, а обязанность, ее крест. Каждый человек, становясь интеллигентом, добровольно взваливает на себя этот крест и может, конечно, в любой момент его сбросить, что, правда, лишит его и связанных с имиджем интеллигента почета и уважения в обществе. Но не лишит порядочности. Можно быть порядочным человеком и не будучи интеллигентом. Честные, совестливые люди есть, конечно, и в других социальных группах. Но если рабочего, крестьянина, ученого или литератора честность и порядочность лишь украшают, не являясь социально необходимыми качествами, то интеллигент без них не может выполнять свою общественную роль.

Традиционно, однако, противопоставлять интеллигентов остальным в моральном плане. Такое нравственное противопоставление порождено характерным для русской культуры морализаторским максимализмом или «нигилистическим морализмом», как назвал это умонастроение С. Л. Франк, характеризуя склонность русских делить всех людей, их поступки лишь на хорошие и плохие, добрые и злые, игнорируя то обстоятельство, что «в жизни существуют еще и иные ценности и мерила, кроме нравственных,— что, наряду с добром, душе доступны еще идеалы Истины, красоты, Божества, которые также могут волновать сердца и вести их на подвиги». Эта особенность русского национального сознания как раз и породила народопоклонство интеллигенции — некритическую абсолютизацию народного блага, нужд большинства, коллектива в ущерб интересам и ценностям личности, индивидуума, что во многом способствовало установлению коллективистской тирании — русского коммунизма.

Рецидивы такого нравственного максимализма встречаются и сейчас, например, в подходе к проблеме эмиграции. Распространено убеждение в нравственной недопустимости эмиграции для порядочного человека. Ибо как же можно бросать страну и народ в его минуту роковую? А необходимость заботиться о семье, о детях, будущее которых видится здесь в очень мрачной перспективе, в расчет не принимается как второстепенное, малосущественное обстоятельство в сравнении с судьбой народа и страны. Я уж не говорю о потребности личности в профессиональной самореализации, зачастую невозможной для многих сейчас, при нынешних условиях, да и в обозримом будущем, впрочем, тоже. Ответственность за негативные последствия эмиграции несет общество, остающиеся, а не уезжающие, для которых эмиграция — лишь экзистенциальный бунт.

Сохранить нравственное здоровье общества в стране с традиционно глубоким разрывом между властью и народом невозможно без выполнения еще одной функции — *нравственной оппозиции государству* (и вообще «миру политиков»), являющемуся, как было указано выше, главной угрозой общественной морали. Понятно, что значение этой задачи возрастает тем больше, чем в менее демократическом государстве она (интеллигенция) функционирует. При этом особое значение приобретает способность конкретных интеллигентов сохранять культуру в форме определенных *моделей поведения*. Специфика этих моделей вытекает именно из культурного, а не политического (что является прерогативой *политической* оппозиции) противостояния государству. Главное здесь — не молчать, когда видишь неправду, т. е. активная позиция.

В связи с этим я хочу отметить одну важную особенность интуитивного представления советских людей об «интеллигентности». Это представление формировалось не только под действием традиционной русской культуры, но и определенно направленной коммунистической пропаганды, главной целью которой было вытравить из сознания людей понимание необходимости *активного противостояния* злу. В советских романах и особенно в фильмах долгие годы культивировался образ оторванного от жизни, неприспособленного, пассивного, слабого, не умеющего постоять за себя и свои идеалы «гнилого» интеллигента. Тем самым внедрялась мысль о никчемности такого персонажа и, главное, ненужности его общественной функции, которую пропаганда усиленно пыталась отождествить именно с политической деятельностью. В конце 60-х годов в Уголовный кодекс

были введены даже две специальные статьи (в РСФСР — это статьи 70 и 190 [1]), позволявшие любого рода независимую от государства культурную или общественную деятельность свести к политической и объявить антисоветской, подрывающей основы государства. Так «подрывным» стало и движение художников-нонконформистов, и издательская деятельность самиздатчиков, от политической «Хроники» до чисто художественного «Метрополя», и нравственное подвижничество о. Глеба Якунина и о. Сергия Желудкова и т. д. Некоторого успеха пропаганда достигла, и нужное идеологам представление во многом закрепилось в сознании советских людей. Однако в среде немногочисленной интеллигенции сохранялось понимание важности именно нравственной оппозиции режиму, на которое и ориентировалось в основном демократическое движение 60—80-х годов. Недаром его еще называют «правозащитным», основной задачей которого являлась защита гуманистических ценностей — т. н. «естественных прав человека». В нем участвовали люди, обладавшие высоким нравственным чувством и осознанием общественной потребности в сохранении культуры народа и защите общества от нравственной деградации.

Предложенный здесь подход к понятию интеллигенции позволяет разрешить некоторые противоречия и недоразумения, не раз возникавшие при обсуждении этой проблемы, а также уточнить роль интеллигенции в наше, очень важное для судьбы страны время. Остановимся на наиболее, на наш взгляд, поучительных случаях.

В статье «Образованщина» А. И. Солженицын писал о том, что всякий разговор об интеллигенции нельзя вести, не соотносясь с мнением авторов «Вех». Последуем этому совету и посмотрим, насколько соответствуют наши представления взглядам авторов знаменитого сборника.

Статьи вышедшего в 1909 году сборника работ семи известных философов и публицистов наполнены резкими обвинениями в адрес русской интеллигенции. Многие считают, что обличительный пафос «Вех» направлен против интеллигенции как таковой. Более того, находятся авторы, склонные даже *определять* интеллигенцию посредством тех негативных качеств, которыми наделили их авторы «Вех». Такой точки зрения придерживается один из наиболее значительных современных культурологов и публицистов Б. М. Парамонов. Его отношение к интеллигенции резко отрицательное. Ссылаясь на «Вехи», он считает интеллигентов «прекраснодушными дилетантами, леворадикальными сектантами, главной чертой которых является социально-культурное отщепенство, утопизм мышления, чуждость и враждебность органическим началам государства и культуры».

Однако на первой же странице открывающей сборник статьи Н. Бердяев совершенно отчетливо разделяет предмет предстоящего разговора, который он назвал «кружковой интеллигенцией» или «интеллигентщиной» (что, конечно, ассоциируется с «образованщиной» А. Солженицына как вербально, так и по смыслу), и «интеллигенцию в широком, общенациональном, общеисторическом смысле этого слова», ибо, как он пишет дальше, «те русские философы, которых не хочет знать русская интеллигенция, которых она относит к иному, враждебному, миру, *тоже ведь принадлежат к интеллигенции* (выделено мной.— *В. Г.*), но чужды интеллигентщины». Другой автор «Вех», П. Б. Струве, оговаривается, что он имеет в виду не всю интеллигенцию, но определенную ее часть, которой свойственно «безрелигиозное отщепенство». Такое разграничение и мне представляется существенным. Ведь если предположить, что все «критически мыслящие личности» были поражены заразой «народнического мракобесия» (Н. Бердяев), то складывается совершенно неверная социологическая картина русского общества, в которой не остается места для влиятельной группы людей, действительно болеющих за сохранение культуры и нравственных устоев общества. А ведь такие люди были в России, и в немалом числе. В отличие от интеллигентщины они не считали, что высшая культура — дело ненужное, когда страдает народ. Взрыхленная ими культурная почва давала весьма впечатляющие всходы, пока их не заменила «партийная интеллигенция» — сонмище враждебных культуре «клеветущих козлов», как назвал их Осип Мандельштам, что и повлекло за собой уничтожение культуры и насаждение соцреалистического мракобесия.

Благодаря усилиям защитников нравственных устоев было с треском провалено «дело Бейлиса» и спасена честь русской нации, на которую посягнули антисемитски настроенные правящие круги. Да даже и Максим Горький, этот будущий певец сталинского террора, позволивший полтора десятилетия спустя использовать свое имя и авторитет для удушения остатков русской культуры, в самом начале славного пути резко выступил против Ленина и большевиков, верно увидев в них демонов противокультурной стихии. «Большевизм — национальное несчастье, ибо он грозит уничтожить слабые зародыши русской культуры в хаосе возбуждаемых им грубых инстинктов»,— писал М. Горький в 1918 году. И эта, чисто инстинктивная, его реакция на большевизм была все же истинно интеллигентской. И не так уж важно, считать ли Горького интеллигентом или интеллигентщиком. Существенно лишь то, что общественную функцию интеллигента он в то время выполнял, не мог не выполнять, ибо таков был общественный настрой, не вытравлено было еще из общества «чувство свободы». Наличие интеллигентского инстинкта даже у такого «народолюбца» и антидемократа, каким был М. Горький, несомненно свидетельствует о сильном влиянии интеллигенции на российское общество.

Более того, решусь утверждать, что абсолютизация «веховского» взгляда на интеллигенцию чревата крайне опасным *соблазном создания образа врага народа*, чего не избежали, к сожалению, многие замечательные русские мыслители, в частности Г. П. Федотов. Если посмотреть на «Вехи» глазами Бориса Парамонова, то окажется, что данное в сборнике описание интеллигенции чрезвычайно похоже на характеристику, данную И. Р. Шафаревичем «Малому народу» — этому «антинароду среди народа», «все жизненные установки которого противоположны мировоззрению остального народа» и «который неустанно трудится над разрушением всего того, что поддерживает существование Большого народа» (Русофобия. «Наш современник», 1989, № 6, с. 189—197). Оторванность от реальных нужд общества и ориентация на сомнительную утопию, беспочвенность, враждебность культуре, «идейность своих задач» — все это делает «леворадикальных сектантов» чрезвычайно удобным объектом, могущим явить пример реализации в нашей истории «Малого народа» Кошена — Шафаревича. Интересно, что возможность такой аналогии заметил и сам автор «Русофобии» и, отвергая ее, написал: «К сожалению, мы унаследовали еще от XIX века дурную привычку рассматривать интеллигенцию только как единое целое. Примером такого глобального сужения была концепция „интеллигенции, противопоставившей себя народу“». Мне, в отличие от И. Р. Шафаревича, представляется вообще неправомерным деление общества на полезные и вредные группы. Любая из них возникает естественным образом для выполнения объективно необходимых обществу функций. И говорить при этом о какой-то злонамеренности совершенно неправомерно. Поэтому, по моему мнению, в принципе невозможно появление такого слоя общества, как «Малый народ» Кошена — Шафаревича.

Отрицая культурную роль интеллигенции, Б. М. Парамонов говорит: «В России изначально существовал слой людей, выполняющих роль носителей культуры, хранителей знаний». Но интеллигенцией этот слой как раз и не являлся. Интеллектуал и профессионал — это не интеллигент, согласно «Вехам». Все необходимые культурные функции, считает Б. Парамонов, могут выполнять специалисты, профессионалы, которые и помогли Горбачеву в начале Перестройки установить Гласность. При этом их *желание* участвовать в Перестройке, соответствующий этому желанию морально-психологический настрой считается, видимо, само собой разумеющимся.

Здесь, на мой взгляд, Б. М. Парамонов смешивает понятия *творца* культуры, объективного знания и их *носителя*. А это, как мне кажется, не одно и то же. Носитель культуры далеко не всегда является ее творцом. Таких людей обычно называют «культурными», что в народной этимологии близко к значению «интеллигентный». Культурный человек — носитель культуры — это индивидуум, усвоивший, впитавший в себя достижения культуры, ставшей, таким образом, неотъемлемым свойством его личности. Интеллигент, в соответствии со своей социальной функцией, обязательно должен быть и носителем культуры, что проявляется в форме соответствующих моделей поведения. С другой стороны, творец, создатель культуры совсем не обязательно может быть ее носителем. От него требуется лишь наличие таланта и еще, может быть, определенного рода честолюбия, непреодолимого желания высказаться, самовыразиться, что необходимо для общественной реализации таланта.

Однако личностная мотивация профессионалов — творцов знаний — совсем не та, что требуется от интеллигента. Для них главное — непосредственный поиск истины, они живут в самодостаточном мире абстракций, зачастую не обращая внимания на окружающую жизнь. Характеризуя подобную позицию сейчас, грузинский писатель Чабуа Амирэджиби говорит: «Это те люди, которые в жизни чего-то уже добились и считают революцию „игрой правительства“. Они, конечно, интересуются происходящими событиями, но в силу унаследованного от рождения ума смотрят на них трезво и отзываются, когда считают необходимым». Кроме того, интеллектуалов всегда подстерегает «профессиональная» опасность поддаться *соблазну истины*.

Каждый человек, сколь бы талантливым он ни был, всегда имеет дело лишь с частью Истины, во всей полноте доступной лишь Богу. Но, воодушевленный силой озарения, он склонен преувеличивать значимость своего открытия (которое ведь может быть даже и ошибочным), выдавать частное за всеобщее. Нелепо, например, обвинять всех революционных народников в злонамеренности. Много среди них было и искренне заблуждающихся, но по-своему честных и порядочных людей. Роковую роль сыграла их малокультурность, зацикленность на своей маленькой истине, нежелание (а может, и неспособность) посмотреть на проблему народного блага шире. Узость кругозора — неизбежное зло и профессионалов, узких специалистов.

Профессиональные качества специалиста сами по себе не являются достаточным условием для выполнения культурных функций в обществе. Для этого необходим еще соответствующий психологический настрой, высокое нравственное чувство, осознание своей личной ответственности за судьбу культуры. Однако сколько встречается в среде безусловно талантливых профессионалов-образованцев, писавших доносы на своих не менее талантливых коллег, выступавших на проработочных собраниях, голосовавших за «исключение», всячески старавшихся угождать властям, лишь бы их самих не трогали, то

есть людей, поведение которых никак не укладывается в рамки интеллигентного, а личные качества противоречат «интеллигентности». А какую культуру несет, например, писатель-антисемит? И как можно назвать хранителями культуры людей, поддерживающих распространение псевдокультурного мракобесия и зажим явно талантливых произведений неугодных гениев? А по Парамонову, носители культуры, хранители знаний — это интеллектуалы, профессионалы. Например, из так называемых «творческих союзов».

Замечательную культуру они нам сохранили! И каких писателей, художников, композиторов вырастили — все «заслуженные» да орденоносцы, секретари да академики. А как бы Борис Михайлович охарактеризовал освященную клятвой Гиппократа гуманистическую деятельность профессионалов из института им. Сербского или специалистов, изготавливавших химическое и бактериологическое оружие? Да самый яркий пример — ученые. Ведь они даже свое профессиональное, научное знание подчас сохранить не могут. Носителями каких знаний являлись долгие годы наши многочисленные историки, философы, политэкономы? А ведь сколько диссертаций было защищено, сколько «научных» статей понаписано. Процветала халтура, приписки научных результатов. И лысенковщина — лишь надводная часть айсберга.

Это в цивилизованных странах, в той же Америке, где живет Б. Парамонов, халтурить невыгодно. А у нас, где нечестность, ложь и показуха многие годы поощрялись, а добросовестность, порядочность и принципиальность могли стоить не только научной карьеры, но даже и свободы, хранить истинное знание, культуру, нравственные ценности могли лишь люди, обладавшие незаурядным мужеством, интеллектуальной честностью и сознанием своего долга перед Богом и людьми. А это и есть интеллигенция.

В цивилизованном обществе, ориентированном не на «общую пользу», а на личность, на нужды, интересы и ценности индивидуума, для сохранения культуры таких героических усилий не надо. Функции русской интеллигенции там выполняются автоматически как раз профессионалами и независимой от государства церковью. Этому способствует само демократическое общественное устройство.

С началом перестройки парализованное долгими годами коммунистической тирании общество стало наконец оживать. Но существовавший в дореволюционной России культурный разрыв между темными «низами» и малочисленной духовной элитой, между высшей культурой и простой жизнью, что и обусловливало нужду в культурных функциях интеллигенции, за годы советской власти не только не исчез, а, наоборот, приобрел черты пропасти. Репрессиями и многолетней травлей был основательно размыт берег высшей культуры и почти уничтожены или выброшены на Запад его обитатели — культурная элита. Да и возрождающаяся православная церковь, иерархия которой за редкими исключениями состоит еще из отобранных КГБ надежных кадров, не является пока что нравственным авторитетом в обществе. О каком нравственном авторитете церкви может идти речь, если верховный иерарх ее ставит свою подпись под позорным верноподданническим обращением к правительству, призывающим к усмирению нарождающейся свободы (т. н. «письмо 53-х»), а иерархи рангом пониже щеголяют в обществе (на конференции общественно-патриотических движений 28 февраля 1991 года) презираемых народом держиморд, шовинистов и партаппаратчиков, солидаризируясь с их показной борьбой за возрождение отечества, хотя конъюнктурный цинизм этих «борцов» очевиден для всякого нормального человека.

Эти и другие факты такого рода свидетельствуют об очень тревожной тенденции — церковь, похоже, непрочь вернуть себе традиционную для дореволюционной России роль носительницы официальной государственной идеологии, которая использовалась властями для консервации существующего социального порядка. И эту тенденцию стимулируют не только правящие круги (не исключая, к сожалению, и демократов), но и часть интеллигенции (в широком, конечно, смысле), группирующейся вокруг журнала «Наш современник». Последствия этого могут быть самыми катастрофическими — вплоть до очередного раскола церкви или даже ее распада как единой организации.

Особую сложность представляет проблема собственного участия интеллигенции в политической деятельности. Я далек от мысли осуждать интеллигентов за их благородные попытки в ущерб своей профессиональной деятельности, да порой и личному благополучию, помочь своему народу вызволить страну из постигшего ее несчастья. Тем более, что ввиду многолетнего отсутствия в стране свободной общественно-политической деятельности не только не сформировались соответствующие традиции и массовые общественные институты (партии, движения и т. д.), но не хватает даже просто не связанных коммунистической идеологией и интересами старых структур кадров, пригодных для такой работы. Возникшую общественную потребность должен удовлетворить все тот же слой, что производит и интеллигенцию. И зачастую происходит наложение, тем чаще, чем тоньше слой социально активных людей.

Одни и те же люди хотят оставаться интеллигентными и в то же время заниматься политикой. Однако, вступая на политическое поприще, интеллигент должен ясно отдавать себе отчет в противоречивости избранного им пути. Рано или поздно перед ним обязательно встанет проблема выбора. И ему придется чем-то пожертвовать. Либо отказаться от политики, либо, что более вероятно для человека, уже ступившего на политическую дорожку, сложить с себя полномочия интеллигента и мужественно принять лишение связанного с этой ролью общественного уважения, сменяемого недоверием, традиционно определяющим отношение общественного мнения к политикам. И здесь заключена опасность интеллигентской рефлексии, могущая погубить политика-интеллигента.

Русский интеллигент — фигура психологически сложная, противоречивая, сомневающаяся, рефлектирующая, что обусловлено трудностью его общественной роли. Но эта сложность совершенно неприемлема для политика, который не только не должен сомневаться сам, но призван и других убеждать в правильности избранного им пути. С другой стороны, он должен уметь отказываться от истины или даже справедливости в пользу политической целесообразности и законности. Иначе у него ничего не выйдет. Интеллигентская совестливость, уместная при выполнении культурных функций, очень мешает демократическим политикам из интеллигенции идти на соглашение с консерваторами, что совершенно необходимо для создания сильного политического центра между правыми и левыми, без которого позитивные сдвиги в стране вряд ли возможны.

Интеллигенты не должны составлять наиболее влиятельную политическую силу. Потому что им не справиться с конкретной политикой. Их удел — культура, а не политика. Смешение жанров здесь губительно для общества.

К счастью, августовский путч показал, что народ уже не нуждается в идейном руководстве, каковое по-настоящему только и может осуществлять интеллигенция. Многолетняя самоотверженная разъяснительная работа демократически настроенной интеллигенции не пропала даром. Российский народ оказался на удивление хорошим учеником. В отличие от многих, даже интеллигентов, он сразу понял, что происходит и что надо делать. Не потребовалось ни разъяснений, ни понуканий. Пока интеллигенты еще только обсуждали ситуацию да разрабатывали планы действий, народ уже строил баррикады для защиты *своего* правительства, которое он выбрал, послушавшись совета интеллигенции. И надо признать — совет оказался удачным. Народ и его власть не обманули взаимных ожиданий. И в минуту смертельной опасности они спасли друг друга. Обойдясь на этот раз без разъяснений интеллигенции. И это хорошо. Ибо означает, что народ теперь вполне осознает себя источником власти и делиться этой своей прерогативой ни с кем не намерен. Народ стал наконец субъектом политики, и интеллигенция здесь уже не нужна. Однако отправляться на свалку истории ей еще рано.

Пока у нас нет демократического гражданского общества, нужда в интеллигенции остается. Сознание нашего, советского, человека остается еще во многом утопическим, мифологизированным (что немало способствовало происшедшему 74 года назад несчастью). Живы еще в сознании людей многочисленные мифы и предрассудки (и даже зарождаются новые, не менее вредные), являющиеся источником роковых соблазнов для общества, угрожающих завести его в очередной тупик, а то и в противоположную поставленной цели сторону. И первостепенная задача интеллигенции в нынешний критический период, когда общество ищет новые пути, состоит, по моему убеждению, в разоблачении мифов, тщательном разъяснении людям их опасности для нормального развития общества, губительных последствий попыток их реализации. В период обострения социальных конфликтов интеллигенция должна объяснять обществу причины возникающих трудностей, формулировать пути их преодоления, давая идеологическую основу для деятельности политических партий, течений, движений. И одновременно строго блюсти нравственные устои общества, и так уже порядком расшатанные коммунистической моралью, от поползновений не только старых властных структур, но и новых политиков и властителей дум (типа, скажем, А. Невзорова).

«Рукописи не горят» — Истина непобедима, неуничтожима в исторической перспективе. Только Истина является надежной ставкой, и потому лишь на нее должен ставить интеллигент. Конечно, в конкретной политике такая ставка не принесет быстрого успеха. Но интеллигент должен побеждать не в настоящем, а в будущем, на которое и работает культура.

Этой статье предпослан эпиграф — заключительные строки притчи А. Галича о пророке и слепце. Русская интеллигенция однажды уже оказалась в роли такого пророка. Она не услышала голосов выдающихся своих представителей — авторов «Вех»,— предупреждавших 80 лет назад, что пренебрежение Истиной может обернуться трагедией для народа и его культуры. И разве они оказались неправы?

Если русская интеллигенция опять не выполнит своей роли и не сможет уберечь общество от роковых ошибок или, не дай Бог, сама поддастся какому-нибудь губительному соблазну, если поводыри слепых будут слепы сами, то всем нам грозит возвращение на наш проклятый крест.

Василий Масловский

ЧЕГО МЫ ХОТИМ И ЧТО МОЖЕМ?

Пахарь, мельник и кузнец — главные фигуры в жизни. Без них движение жизни вообще невозможно. Пахарь и хлеб — самые почитаемые слова на земле, с ними могут сравниться только слова Родина и Мать. И во все времена, во всех землях, при любых обстоятельствах кормильца берегли. В социалистическом отечестве начали с уничтожения хозяина-хлебороба — отобрали у него землю, инвентарь, тягло и заставили батрачить. А рабский труд никогда производительным не был. Доказательство — пустые полки магазинов, талоны, непомерно вздутые цены. И сегодня мы опомнились, предлагаем землю сельскому жителю (крестьян у нас в стране нет), но он брать ее не хочет или берет с оглядкой и опаской. Все начинать с нуля, в том числе и с перестройки, с переделки самого себя.

Так кто же поставил нас на колени? Будем ли мы сыты, одеты, обуты? Кто и как это сделает?.. Эти и подобные вопросы одолевают сегодня каждого. Не давали они покоя и мне. Я ехал на Дон, в исконно благополучные края, к людям у земли, от кого и должно начаться наше возрождение, наша дорога к изобилию, достоинству и самоутверждению.

По мере удаления от столиц тамошние суета и страсти глохли, и я как бы погружался в загустевшую смазку. Люди были раздражены, измучены неясностью, разболтанностью, тем, что вожжи от жизни по-прежнему оставались в руках у тех, кто загнал эту жизнь в тупик. Звон колоколоа из центра, из больших городов, угасал, увязал в повседневной мути по дороге к ним. Люди очень многое просто не знали, да и не интересовались. Они были задавлены сиюминутными заботами. Это были их будни, та вода, в какой повседневно живет рыба. Кислорода в этой воде не хватало, но многие как-то уже привыкли, принюхались, притерпелись.

В Воронеже в купе сел молодой интеллигентного вида мужчина. В руках у него была пачка газет. Разговорились. Интеллигент оказался шибаем. Строили в одном из колхозов Кантемировского района кафе. Председателю колхоза надоело пить по лесопосадкам. Интеллигент-шибай покачал головой.

— В чем душа держится, а пьет как лошадь. Стаканяра — сигарета. Не закусывает.

— А колхозники? — поинтересовался я.

— Смеются: он пьет, мы воруем. Он делает вид, что платит нам, а мы делаем вид, что работаем.

— Вы же говорите — богатый колхоз,— удивился я.

— Знамена колхоз получает. Председатель знает, с кем пить.

Зашла проводница и предупредила, что чаю не будет: нет сахара. От расстройства мы занялись чтением. Из пачки шибая я взял «Советскую Россию», и на меня дохнуло как из выгребной ямы. Несколько страниц — материалы о Ельцине (шла активная подготовка к выборам Президента РСФСР).

— За кого же вы будете голосовать? — спросил я попутчика, откладывая газету.

— За Рыжкова.

— А колхозники, где вы работаете?

— За Рыжкова. У него программа коммунистическая. Он за колхозы. А чем плохо колхознику? Нет чего во дворе — в колхозе выпишет или украдет. Коровы нет — на ферме кума или свояченица работает.— Усмехнулся.— Мужики — добытчики. В каждом дворе машина, мотоциклы тяжелые. Не ленись, не поспи ночь — голодный не будешь.

От Кантемировки до Богучара (райцентра) подвез меня частник, загорелый крепкий парень. Заговорили о земле.

Василий Дмитриевич Масловский (род. в 1925 г.) — член Союза писателей, прозаик. Основные работы — повести «На Среднем Дону», «Русская земля серединная», «Большая Медведица», роман «Дорога в два конца» и др. Живет в Ленинграде.

— Х-ха! Цыган не рад и той, что на колеса налипает.— Парень закурил, ухарски плюнул в окно машины.— Пусть из города приезжают и берут землю, а нас пусть не трогают. Нам и так хорошо... Есть, которые берут в аренду, а техники нет. Да и зачем она? Колхозный тракторист любую работу за бутылку сделает. У нас один мужик взял десять гектаров и ящик водки достал.

— Но так же нельзя!

— А как можно? Спецы наши взяли по гектару, так у них все в руках.— Помолчал и со злостью: — Комбикорм сорок рублей центнер. Надо же! А был двенадцать-пятнадцать. Ладно, куплю и по сорок, выкормлю пару кабанов. Мне хватит. А вы что делать будете?

«А мы что делать будем?» — мысленно повторил я вслед за парнем и вспомнил ленинградскую колбасу по 80 рублей и мясо по 25—30.

Вдоль шоссе колосились хлеба, волнами лоснились под ветром, стеной стояли у дороги. Хлеба хорошие. Но у нас уже бывали хорошими. В прошлом году рекордный урожай. А толку... Вся Европа и Америка хохочет: «Надо же, рекордный урожай зерновых, а с кормами побираются. Куры, свиньи дохнут от бескормицы, коровы молока недодают...»

Да, поля хорошие. Но хозяина нет ни у полей, ни у людей. Связи экономические — как во времена Ивана Калиты. Чужим словом окрестили — бартерные сделки. А что это такое?..

Зернецо, «пашаничка» в колхозных амбарах есть. Но у государства ничего не купишь: ни гвоздя, ни кирпича, ни цемента, ни дерева. Добывай у кого сможешь и как сможешь. Дико, но председатели колхозоа и директора совхозов справляют свадьбы дочерей директоров цементных заводов и панельных фабрик, именины их жен. Это не считая подарков в любые иные дни.

Июньским утром у правления колхоза «1 Мая» Богучарского района я увидел три «камаза»: с досками-щелевками, кругляком-хлыстом. На крылечке правления курили экспедитор и три шофера. Только вернулись. Две недели за полторы тысячи километров проездили в Вологодскую область, Сямженский район. Меняли пшеницу на лес. По Вологодской области есть распоряжение за № 528 от 17.2.91 года, подписанное гендиректором Вологдамежлесхоза Кретовым, где расписано, как вести бартерные сделки: пшеница 1:1 (тонна пшеницы — кубометр леса), сахар 1:2. Там же указаны нормы на чай и т. д. При сделке выдается талон-пропуск на вывоз леса. При отсутствии талона-пропуска или несоответствии в документах условий сделки таможенная милиция суверенной области лес конфискует. Так что «наших» везде бьют и по Робин Гудам-ОМОНовцам, набившим руку на поджогах и захватах, прямо-таки ревмя ревут.

Из автохозяйства Ю. А. Желтикова этого же района ездили за «камазами» в Набережные Челны. Там тоже встретили «радушно». «Камаз» стоит 25 тысяч, но за него следует поставить товаров народного потребления на 250 тысяч рублей. Ерунда — 1:10. Ну а на нет и суда нет: таскай свои грузы на горбу.

Итак, силу закона обрела крылатая фраза Ильфа и Петрова: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Госснабжение парализовано почти по всем поставкам: ни стройматериалов, ни запчастей, ни аккумуляторов. Выкручивайся! Каждый бьется за выживание как может. И тут уж не до сантиментов. Бьют и «наших» и «не наших». В той же Вологодской области хлеба не хватает и по талонам. И на Павлова там (да и не только там) здорово не надеются. Рука у союзного премьера не дающая, а берущая, причем в крупных купюрах.

А сколько довелось услышать проклятий в адрес «гегемона», города вообще, интеллигенции: «Город деревню обворовал!.. Нажили на крови мужиков капитал!.. Рабочие плохие машины делают! Не кормить их!.. А все интеллигенция. Это она выдумала митинги, забастовки. Мутят народ!..» Споры, споры, споры! И вроде бы мы приходили к согласию, находили причины и виновников. На другой день все сначала: «Гегемона не кормить!.. Интеллигентам тяпки в руки и на свеклу!..»

Как-то возник разговор о безработных, о том, что им придется платить пособия, кормить их. Один из управляющих колхоза имени Кирова, сам работник деловой и добросовестный, был прямо-таки потрясен.

— И этих бездельников кормить мы должны?.. Я бы ях убивал всех!

— Ну а вдруг вы станене безработным? — пытался я его урезонить.

— Работа у земли всегда найдется. Пусть едут к нам.

— Но многие не знают крестьянской работы. И ни в доме ничего, ни в огороде.

— Пусть берет ссуду и строится. А не умеет — пусть подыхает.— И, подумав, управляющий делает вывод: — Он воровать пойдет.

— У хозяина не украдешь. Это в колхозе воровать можно,— возразил я.

— Ваш же Ельцин колхозы разгонит.

Ельцин!.. Близились выборы, возможность участия в выборе судьбы собственной и России. Но люди выбирать не умели. Они давно жили пассивно, без особой мечты, с нарушенной психикой, разрушенными идеалами. За что уцепиться?.. «Да поможет им Бог!» — модно, как нежеванное, кидают в газетах, журналах, с экранов телевизороа. Поможет!

Но скоро ли? Когда мы станем достойны внимания Его? Нужно еще найти общий язык с Богом.

А пока люди доморощенно занимаются политикой, злобно ищут виноватых, за их спиной под шумок жизнь прибирают к рукам. И когда люди очнутся, вынырнут из сомнамбулического сна, новые цепи будут уже готовы. И сотворят эти цепи те, у кого власть истинная сегодня. Они не так глупы и ленивы, как их считают.

Говорят, врагам надо прощать. Но как быть, если жизнь вытоптана и перед тобой харя твоего инквизитора? Поцеловать эту харю или плюнуть в нее? Пожалуй, ни то, ни другое. Да и сил, мужества не хватит. А и хватит — что толку! Нужно идти все же не по чужим следам, а своей дорогой. Идти за злом, платить ему тем же — это брести той же дорогой, дорогой бед, голода, страданий, вражды. И не будет этому конца.

Много, ох как много нужно потрудиться, чтобы народ осознал себя личностью, осмыслил бы свое место в истории и очистился от рабства.

Преддверие выборов и сами выборы Президента РСФСР показали, что нашему народу далеко до свободы выбора и самой свободы. Человек, рожденный в рабстве, так и остается рабом. В крупных городах картина несколько иная, в глубинке новое пробивает себе дорогу со скрипом.

Предвыборная кампания была умно и расчетливо соткана из лжи и реальностей. А люди еще не научились отсеивать зерна от плевел. Иные кандидаты ради собственных амбиций будили именно черные инстинкты, пользовались отсутствием исторического чутья у людей. Дело в том, что пастухов-то у людей много, да пастырей мало.

И смешно, и горестно было наблюдать избирательную кампанию. Авторитетами по праву и положению в селе считаются председатели и парторги. Они-то и обеспечивали агитацию.

Какие только обвинения ни сыпались из уст этих агитаторов в адрес российского правительства: страну развалили, и деревню ограбили, и армию ненавидят, и русских в Прибалтике и других местах предали, и забастовки организовывают. Диву даешься, как много преуспело российское правительство меньше чем за год. Председателю колхоза имени Кирова нравился Макашов: обличал предателей России и обещал навести порядок вплоть до порки на Красной площади. А по сильной руке ох как истосковались: многие спят и во сне видят Сталина. О Рыжкове этот же председатель отозвался соболезнующе: «У него руки трясутся. И хорошо: вместо него Президентом будет Громов». Парторгу этого колхоза, наоборот, нравился Рыжков. Он за колхозы. Он партийных не тронет. А Ельцин-де всех коммунистов повыгонит с работы. Прямо-таки бред какой-то. Жириновский преуспел, пообещав напоить всех дешевой водкой. Что будет после похмелья — голову не ломали. Тулеев многим нравился за обещание подмести улицы в Москве.

— Это в городах Ельцина выберут,— смеялись мне в глаза.— Это там шляются по улицам, митингуют да горланят.

А вообще выборы взбудоражили людей: слушали радио, смотрели ТВ, заранее договаривались, за кого голосовать. Особенно привлекали передачи «Кто есть кто?». Их смотрели почти все, а по утрам на нарядах бурно обсуждали.

— Мы их всех выберем!

— Они передерутся.

— Я буду за земляка, за Макашова, голосовать.

— А что это Ельцин напился в Америке и миллиарды украл?

— Брешешь! Не крал! — хрипел до посинения, напрягая жилы на шее, худой стариковатый механизатор. И как гвоздь в дуб вогнал: — С Ельциным Россия поднимется на ноги!

— У Ельцина батраками будем. Он землю продавать хочет.

— *А зараз ты кто?..*

День выборов праздником не стал: ни музыки, ни песен, ни вольной торговли. Голосовали, впрочем, активно. Приходили семьями, с детьми, надолго уединялись в кабинах. После голосования собирались кучками и молчали. Непривычно. То один, как соринка в глазу, кандидат, а тут шесть!.. Да и жизнь, какой мы жили, мало способствовала развитию сознательных гражданских чувств. Все сводилось больше к эмоциям, а не к осмыслению. Люди привыкли ждать помощи со стороны. А вера в какие-то силы, в кого-то, кто выручит, отучала человека и действовать самостоятельно. Он уже не верил в собственные силы и возможности. И тех, кто пытался помочь ему, подвергал сомнению, критиковал и ждал каких-то еще других. Так, конечно, с бедами не справиться.

И как ни странно — Закон о земле мало привлекал селян. Он даже раздражал. С ним не знали, что делать. Мало разбирались в самой сути Закона. Казалось бы, главную роль в разъяснении Закона и должны сыграть парторги КПСС. Они же и по сей день являются духовными пастырями народа и проводниками политики правительства. Но законы российского правительства в явном противоречии с идеологией КПСС, и КПСС через свои парткомы не утверждает эти законы, а борется против них.

Сегодня много говорят о фермере и фермерстве. У этого движения немало сторонников, но еще больше противников. И среди противников — председатели колхозов и директора совхозов, главные специалисты, районное начальство. В районах первые секретари КПСС пересели в кресла председателей райисполкомов — хитрость, придуманная на XIX партконференции нынешним генсеком. А секретарям разваливать социализм, собственную кормушку, никак не с руки.

Землю в частное владение берут неохотно, да ее никто и не предлагает. В том же Богучарском районе Воронежской области 127 тысяч гектаров пахотной земли на 23 хозяйства, в частное владение взяли только 600 гектаров. И причин тому немало. Одна из них — некачественная и несовершенная техника. «Крашеный металлолом» — давно уже закрепилось название за этой техникой. Во-вторых, техника эта безумно дорога. Руководители хозяйств и механизаторы клянут всех и вся за эти цены. Продукции хозяйств просто не хватает на приобретение «крашеного металлолома». А другой техники нет. Иные хозяйства буквально разорились или разоряются. Нечем платить зарплату. Председатели вынуждены брать кредиты под грабительские проценты (20%). Да и тех не дают. Нужно химичить. При мне один председатель вызвал своего шофера, приказал ему взять на складе мяса, меду, прихватить колхозного бухгалтера и ехать в район за деньгами.

Хорошо! «Достал» технику. Теперь другая мука: нет запчастей. Я ходил вместе с председателем колхоза «1 Мая» Каплиным Н. И., наблюдал, как проверяли готовность комбайнов к выходу в поле. Вместо изношенных узлов ставили изношенные. Комбайнеры только матерились, пожимая плечами. Так и получилось: комбайны вышли в поле и, даже не заходя в загонку, сломались.

Это муки хозяйственников с налаженными связями. А каково фермеру? Им продают технику списанную, и ремонтируется она за счет раскулачивания колхозной. При покупке украденных деталей деньги не принимаются. В качестве СКВ (свободно конвертируемой валюты) идут водка и сигареты. На них можно достать все. Даже то, чего нет на земле, не существует в природе.

Но самая тупиковая проблема — проблема сбыта произведенной продукции. Сколько ежегодно гибнет всего выращенного на земле — уму непостижимо. С этого и начался распад души крестьянина. Видеть из года в год, как пропадают плоды твоего труда,— гибельно. Убивает не труд, а бессмыслица его. Именно это учитывали фашисты в концлагерях, чтобы превратить человека в животное. Катание чугунного катка по ухоженному двору сводило людей с ума. Катанием такого катка наш крестьянин и был занят в течение всей колхозной жизни.

В Богучарском районе были богатейшие фруктовые сады. Сегодня их нет. Высохли, заросли, одичали, как у Плюшкина когда-то. Некуда было сдавать яблоки, груши. Их ели свиньи, коровы; их вывозили в яры или оставляли гнить под деревьями. У людей не было транспорта (машин, вагонов) вывезти эти фрукты, а государство закупало в Болгарии, Венгрии, Польше. И доставлять оттуда — транспорт находился. Как-то наладили производство соков в Богучаре, и колхозы, частники кинулись со своей продукцией. Но принимали ограниченно: не хватало мощностей. Стали жаловаться в райком. Приказали принимать. Сваливали фрукты в углу заводского двора, и вскоре на улицу потекли ручьи яблочного сока. Фрукты гнили в буртах.

И сады забросили.

А сколько пропадает сахарной свеклы! Заводы принимают только плановую продукцию. Сверхплановая скармливается скоту, а потом закупаем сахар на Кубе и делим его по талонам. Решетов Ф. Р., председатель колхоза «Рассвет», сказал, что тысячи тонн этого ценнейшего продукта пропадают.

А уж с частным сектором заготовители куражатся как хотят. Морковь — 15 копеек, столовая свекла — 3 копейки.

— Да за три копейки я нагибаться за ней не стану,— возмущается Надежда Васильевна Деревенцева, пенсионерка.— А чеснок, лук повезешь — не принимают: не стандарт. «Дураки! — кричу им.— Это горшки по стандарту делают, а это в земле растет!»

Рядом с Надеждой Васильевной с тяпкой в руках трудится ее муж, Николай Петрович.

— С нас хватит еды,— говорит он, приостанавливаясь и налегая на черен тяпки.— А как вы в городах?

Вопрос довольно частый в беседах. И в этом вопросе упрек и горечь: помогите, горожане, и мы вас накормим. Не с мотыгой на огороде или косой-литовкой на лугу помочь — участием в их хлопотах. Что толку проклинать в очередях кого угодно. С проклятий трава не поднимается. А Деревенцевы и впрямь не пропадут: у них дом, корова, фазенда с пасекой, огородом, где помимо картошки, луку, чесноку и прочего девять сортов капусты и одиннадцать — огурцов.

Есть кооператоры-заготовители. Но это в основном народ пока дикий. Налетчики. Сегодня урвал здесь, завтра — в другом месте. И не всегда кооператор виноват. Сегодня это дите полузаконное и далеко не всеми любимое.

Так что фермеру есть о чем подумать, прежде чем заводить хозяйство. Кто-то скажет: там-то и там-то налажено. Может быть. Но нужны не примеры, а отлаженная

система. Нам не нужно производить больше. По-людски убрать и сохранить произведенное — и мы сыты. Работа в этом направлении идет. Но, как говорится, пока взойдет солнце — роса очи выест. Нужны усилия всех: и производителей, и потребителей. Чужого здесь нет.

Но золотой гвоздь, царь вопроса фермерства — ЗЕМЛЯ. Закон о земле есть, но как реализовать его?

Земля у колхозов с совхозами, и полновластные хозяева ее — красные помещики, директора совхозов и председатели колхозов. Тем более, они могут опереться на Указ Президента Союза, где сказано, что фермерам следует выделять неиспользуемые земли, то бишь — пустоши и неудобья. К этому вопросу можно подойти по-разному. Но опять же надежда на человека, *а должен работать закон*.

Председатель колхоза «Рассвет» Решетов сказал, что он дает любую землю. Один человек получил у него землю, где колхоз высеял озимую пшеницу. Уберет колхоз пшеницу, и хорошее поле — фермеру.

— В Законе сказано, кто не умеет грамотно обойтись с землей — отбирать эту землю. А многие пока не знают, за что берутся.— Решетов задумался, глаза пригасли.— У нас приходится на трудоспособного по 16 гектаров земли. Остальное за выкуп... Помогать я всей душой рад, но я сам не получаю даже того, что нужно, не говоря уже о том, что хочу. Конечно, я помогу подработать зерно. У фермера таких механизмов нет. Дам место в складе. Но главное — брать землю некому. Вернутся ли те, кто в города убежал?

— Получится у тех, кто остался,— вернутся,— сказал я.— Да у вас и свои лишними окажутся. Работать-то по-другому станут.

— По-другому,— согласился Решетов.— В Прибалтике хорошо берут землю.

— Там отцы — хозяева, подсказать могут, а у нас и деды все советские, в колхозе без земли выросли.

Решетов горестно покачал головой.

— Верно. Да и семьи сейчас какие?.. Детей один, двое, и тех в города повытолкали.— Усмехнулся.— Да и колхоз — дитя законное, фермер — пока внебрачное. Рождению фермеров вроде никто и не мешает, но и не помогает никто.

Однако далеко не все рассуждают так, как Решетов.

— Да мать его так! — убежденно горячился другой председатель.— Выделился — живи как хочешь. Рынок. Зачем я буду плодить себе конкурентов.

— Мешать станешь — и тебя уберут,— пугал я.

— Ни фига! Куда они денутся? Я на три дня отлучусь куда — развал. Гонять некому. Что они могут сами?..

У таких председателей (а их до половины наберется) каждое утро начинается, как все, сначала: поиски и распределение машин, тракторов, людей, определение каждому дневного задания. Такому председателю, действительно, на час из хозяйства отлучаться нельзя. При мне мой знакомый спрашивал своих специалистов: «Скажи, кого погонять из твоих людей? Погоняю!..» Только не всегда срабатывает такой метод. Механизатор (или другой кто) кладет такому председателю на стол ключи от колхозной машины и говорит: «Я-то пойду, а ты что делать будешь?» И правда. «Ваня! — кричит председатель вдогонку.— Вернись. Ну что ты — и пугануть тебя нельзя. Что тебе нужно? Говори!..» И командует уже не председатель, а изгоняемый.

Когда я заговорил с одним из парторгов о переменах в стране и в деревне, он в ужасе воскликнул:

— Так что же теперь — капитализм строить!

— Вы же не справляетесь с людьми,— сказал я.— Нажимаете на басы, а они тоже теперь нажимают. Совсем как у Маяковского: «И конечно — к матушке, а он меня к моей». На власти матерщинной не продержитесь. Человек не может работать, когда его по сорок раз на дню дергают подсказками.

А сам с тоской и горечью думал: не скоро люди потянутся к земле при таких руководителях. Скажем, лет семьдесят с лишним тому назад в таком вот хуторе было триста дворов, а значит — триста земельных наделов, триста ответчиков за эти наделы. Пусть с полсотни дураков и лентяев окажется, но двести пятьдесят нормальных хозяев останутся. Сегодня же в таком хуторе хозяин-ответчик один — председатель. А каков этот председатель?.. А когда худо человеку — худо всему обществу.

По разным сведениям, в России 25 тысяч фермеров. Но что это за фермеры?.. Пчеловоды, огородники, откормщики скота. А нам нужен производитель зерна. Зерно — это хлеб, мясо, молоко, масло. Нет зерна — нет кормов, как сейчас у нас, и дохнут куры на птицефабриках, гибнут свиньи, режут молочный скот. Последнее особенно страшно: лишаемся на годы воспроизводства скота, а следовательно — и мяса, молока, масла.

* * *

Я был у фермеров в селе Терешково Богучарского района. Братья Стукаловы Олег и Игорь, молодые, энергичные, крепко думающие мужики. Начали они с домов, усадеб. Просторные, добротные, сделанные своими руками, дома их выделяются. Похоже, что любая крестьянская работа им по плечу. Они берутся за все, и все у них получается.

Земли они взяли немного. Во-первых, хорошую землю не дают; во-вторых, все пока неустойчиво, зыбко, необеспечено, ну и — чем черт не шутит, когда бог спит. Хотя Стукаловы уверены, что возврата к старому не будет. Он, возврат, просто невозможен. Люди стали другими.

Взяли Стукаловы гидроотвал при чистке реки Богучарки — песок, ил, и еще одиннадцать с лишним гектаров. Гидроотвал привели в порядок и посадили там акацию.

Есть два оврага на их земле, и есть у братьев задумка соорудить пруды и зарыбить их. Там, где акации,— будет пасека, на взятой земле будут производить корма и кормить свиней. А дальше?..

— Работать, работать и работать,— сказал Игорь.— Что-то и после меня останется. Обидно смотреть на усадьбы западных фермеров и на своих фермеров. Что мы, хуже их? Иметь такую экономику, такой строй и даже кое в чем опережать Запад — это что-то да значит.

В самом деле! Заговорили о Северной и Южной Корее, ФРГ и ГДР, Китае и Тайване. Люди одни и те же, а успехи разные. Ни одна бывшая соцстрана не способна конкурировать с Западом. И мы меняли конституции, программы, а чего добились?..

— Надо начинать! Надо начинать! — продолжал Игорь.— На нас жизнь не кончается. Может, и наши дети попадут на Запад и не будут там людьми второго сорта.

Работа, трудности братьев не пугают. Они выполняют не чью-то волю, а сами творят то, что под силу их разуму, умению и здоровью. Человек по природе своей творец, а не просто исполнитель чужой воли.

— А работаете вы больше, чем в колхозе?

— Нисколько. Зимой намного меньше. Колхозник разрывается между своим и колхозным, у нас одно.— Игорь усмехнулся.— Я слышал, что можно построить заводы, фабрики, железные дороги, колхозы, но никогда не отучить человека от частной собственности.

— А дети помогают?

Игорь ответил не сразу, оглядел двор, нашел глазами старшую дочь.

— Помогают.— Глаза наполнились теплом, добавил: — Вожусь у пчел, рамку поднесет. Знает — пчела укусить может, но и мед сладок.

Кроме того, что человек выражает в словах и поступках, того, что о нем знают другие и он сам о себе,— в нем есть еще что-то, чего никто не знает и не ждет от него. И это-то неузнанное и непознанное в человеке и нужно будить в нем.

Система порабощения ума и воли человека еще сильна. Очень сильна! Ее верным союзником являются лень и инерция. Но то, что мы начали, следует продолжать и с теми людьми, какие есть. Других у нас не будет. Люди страдают не от того, что у них есть, а от того, чего у них нет. В конце концов люди возьмут землю.

Стремясь к будущему, человек сегодняшний ненавидит настоящее, которое мешает ему в движении к будущему. И нужна воля во всем: воля понять, осмыслить, сделать. Воля спасает от бессмыслицы. Человеку сегодня нужны твердость и мужество, иначе ему не выбрать дорогу, а по ней нужно еще и идти.

Исторические чтения «Звезды»

Яков Гордин

ДЕЛО ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ, или ТЯЖБА О ЦЕНЕ РЕФОРМ

Государство пухло, народ хирел.
Ключевский

— Как ты, умный человек, мог пойти против меня?
— Какой я умный! Ум простор любит, а у тебя ему тесно.

Разговор Петра I с Александром Кикиным в пыточном застенке

1

Едва ли в русской истории найдется много крупных трагедий, смысл которых так поразительно искажен восприятием потомков, как зловещее столкновение Петра I с наследником престола.

Даже Герцен, умевший, как правило, выхватывать самую суть события, в данном случае, не вникнув подробно в подоплеку и реальные обстоятельства происшедшего, поставил «дело Алексея» в привычный ряд: «Московская Русь, казненная в виде стрельцов, запертая в монастырь с Евдокией, задушенная в виде царевича Алексея, исключалась бесследно...» [1] Уничтожение Алексея Герцен, как видим, безоговорочно поместил среди классических ситуаций — среди тяжких ударов Петра по рудиментам старомосковской политической и духовной жизни.

Между тем «дело Алексея» — при всех несомненных родовых чертах — было явлением принципиально новым.

Все предшествующие крупные мятежи — стрелецкий бунт 1698 года, астраханское, булавинское восстания — были и в самом деле отчаянной реакцией допетровского социально-психологического уклада на переход в иное — пугающее какой-то металлически-холодной новизной — существование.

В «деле Алексея» при внешнем обилии старых черт открывался принципиально новый смысл, о котором Алексей и сам-то не догадывался. Это был один из тех парадоксальных случаев, когда участие в исторической мистификации принимают по разным причинам обе противоборствующие стороны. Именно участие в обмане обеих сторон свидетельствует прежде всего не о злой воле или корыстной лживости, но предопределенном разрыве между представлениями человека о своей роли в истории и той реальной задачей, которую он выполняет...

---

[1] Герцен А. И. Полное собр. соч. М., 1958. Т. XIV, с. 52.

Гордин Яков Аркадьевич (р. в 1935 г.) — автор книг по русской истории XVIII—XIX веков: «Гибель Пушкина», «События и люди 14 декабря», «Право на поединок» и др. Живет в Ленинграде. «Дело царевича Алексея» — глава из еще не напечатанной книги «Меж рабством и свободой».

Сюжетная схема трагедии «Петр и Алексей» проста и достаточно известна. Разность характеров и мировосприятий, неспособность сына соответствовать суровым требованиям отца, страх царя за судьбу своего государственного наследия в случае воцарения Алексея, обида царевича за униженную и постоянно оскорбляемую мать, опасение за собственную жизнь и, как результат, опрометчивое бегство за границу в надежде найти там временное убежище и постоянную поддержку, еще более опрометчивое возвращение под напором сильного, хитрого и вполне аморального Петра Андреевича Толстого, неизбежная гибель в финале.

Все это не представляет для нас в данном случае специального интереса, тем более что ситуация была с сюжетной точки зрения неоднократно рассмотрена историками и литераторами.

Наше намерение — иное: попытаться понять, что же скрывалось на глубине, под кровавой рябью этой банальной трагедии; в каком силовом поле, сложившемся из бесчисленных индивидуальных воль, стремлений, интересов, представлений, двигались две эти фигуры — отец и сын; насколько детерминированы были их поступки, насколько осознанно свободны.

Подобные чисто человеческие трагедии, когда речь идет о власть имущих или домогающихся власти, при внимательном и непредвзятом рассмотрении всегда оказываются результатом попыток пришпорить или затормозить ход исторического процесса. В этих случаях предмет смертельного спора — не столько направление движения, сколько его темп. Или же — достаточно характерный для русского XVIII века вариант — причиной индивидуальной драмы правителя оказывается неспособность ни к тому, ни к другому и, соответственно, угроза мертвой паузы в жизни страны. Все взрывные смены властителей России были так или иначе связаны с проблемой реформ. Механизм этой взаимосвязи был запущен Петром I и по инерции двигался — рывками, прыжками — без малого триста лет. Он разваливается на наших глазах.

Гибель Павла I, Александра II, Николая II, предсмертные трагедии Александра I и Николая I — ярчайшие иллюстрации к тому, что было сказано.

В трагедии Ленина на проблему темпа наслоилась и проблема направления, потому конец его был так психологически ужасен, а результаты деятельности апокалипсически разрушительны.

Трагедия «Петр — Алексей» органично становится в этот ряд.

2

Материалы следствия, проведенного в Москве и Петербурге после возвращения царевича,— проведенного жестоко, широко и скрупулезно — содержат ответы на большинство интересующих нас вопросов [1]. Петр и его палачи заслуживают в этой ситуации как отвращения, так и «благодарности» историков. По сути дела — как и вообще политические следователи — они выполнили за будущих исследователей значительную часть работы. И что выгодно отличает это следствие от многих позднейших — они фиксировали обстоятельства деяний без всякой предвзятости.

Толкование же смысла происшедшего производилось не ими.

Прибыв 21 ноября 1716 года в Вену и явившись в дом имперского вице-канцлера Шенборна, беглый царевич так объяснил ему свой поразительный поступок: «Отец хочет лишить меня жизни и короны. Я ни в чем перед ним не виноват; я ничего не сделал моему отцу. Согласен, что я слабый человек; но таким воспитал меня Меншиков. Здоровье мое с намерением расстроили пьянством. Теперь говорит мой отец, что я не гожусь ни для войны, ни для правления; у меня, однако ж, довольно ума, чтобы царствовать».

Это один — бытовой, человеческий — слой расхождения с отцом.

Был, разумеется, и другой слой, но он вышел на свет только во время следствия. В общем контексте представлений о замыслах царевича на первый план упорно выдвигался «старомосковский» вариант. Незадолго до суда и смерти Алексей сказал: «Я имел надежду на тех людей, которые старину любят так, как Тихон Никитич (Стрешнев); я познавал из их разговоров, когда с ними говаривал, и они старину хваливали...»

У самого Петра тоже была своя простая версия. Он говорил Толстому: «Когда б не монахиня (постриженная царица Евдокия.— *Я. Г*), и не монах (епископ ростовский Досифей.— *Я. Г.*), и не Кикин Алексей не дерзнул бы на такое неслыханное зло. Ой бородачи! многому злу корень старцы и попы; отец мой имел дело с одним бородачом (патриархом Никоном.— *Я. Г.*), а я с тысячами».

Мысль, что оппозиция и нерадивость Алексея вызвана влиянием попов, была любимой мыслью Петра. Еще за много месяцев до бегства царевича — 19 января 1716 года — Петр

---

[1] Материалы следствия были опубликованы Н. Устряловым: «История царствования Петра Великого», т. 6, СПб, 1859.

писал ему: «...Возмогут тебя склонить и принудить большие бороды, которые, ради тунеядства своего, ныне не в авантаже обретаются, к которым ты и ныне склонен зело».

Конечно, и эта причина присутствовала в обширном комплексе причин, предопределивших трагедию, но была она отнюдь не коренной. Именно потому за нее так крепко держался царь.

Несмотря на всю незаурядность своего интеллекта, Петр в кризисных политических ситуациях следовал элементарной логике деспота. Деспотическая логика всегда основана на тотальном отрицании собственной вины за возникновение конфликта и на поисках второстепенных, нефундаментальных его причин. При этом глубинные обстоятельства полусознательно отметаются и подменяются тем, что лежит на самой поверхности. Именно в силу элементарной очевидности этих видимых обстоятельств они и укореняются в народном мнении и общественной памяти.

Но в данном случае дело было не только в этом. Петру было не только удобно, но и политически выгодно выдвигать эту версию, поскольку в православной церкви — в том ее виде, в каком пришла она к рубежу XVII—XVIII веков,— царь-реформатор видел грозного противника своих преобразований. И отнюдь не только потому, что «большие бороды» держались за свое «тунеядство». Великому царю противен был сам дух христианства.

Гениальный мастеровой, могучий прагматик Петр органически не мог воспринять нравственные абстракции христианства. Талантливый чертежник, мечтавший построить государство совершенной регулярности, в котором каждый имел бы точно обозначенное место и подчинялся точно сформулированным регламентам (тогда и должно было наступить довольство и блаженство), Петр ощущал несовместимость своей идеологии с христианской идеей духовного суверенитета каждого верующего, с особой внегосударственной связью человека с церковью и — выше — с Богом, перед лицом которого равны и владыки и рабы.

Отнюдь не следует идеализировать российскую церковь и допетровской эпохи (не говоря уже о послепетровской!), но церковная реформа Петра выявляет, как никакая иная сторона его деятельности, бездушный прагматизм его мировоззрения и в силу этого — обреченность здания, воздвигнутого на такой основе.

Известный историк русской церкви Георгий Флоровский справедливо писал в монументальном труде «Пути русского богословия» о церковной реформе Петра: «Изменяется самочувствие и самоопределение власти. Государственная власть самоутверждается в своем самодовлении, утверждает свою суверенную самодостаточность. И во имя этого своего первенства и суверенитета не только требует от Церкви повиновения, подчинения, но и стремится как-то вобрать и включить Церковь внутрь себя, ввести и включить ее в состав и в связь государственного строя и порядка. Государство отрицает независимость церковных прав и полномочий, и самая мысль о церковной независимости объявляется и обзывается «папизмом». Государство утверждает себя самое, как единственный, безусловный и всеобъемлющий источник всех полномочий и всякого законодательства, и всякой деятельности или творчества. Все должно стать и быть государственным, и только государственное попускается и допускается впредь. У Церкви не остается и не оставляется самостоятельного и независимого круга дел,— ибо государство все дела считает своими. И менее всего у Церкви остается власть, ибо государство чувствует и считает себя абсолютным. Именно в этом вбирании всего в себя государственной властью и состоит замысел того „полицейского государства", которое заводит и учреждает в России Петр... „Полицейское государство" есть не только и даже не столько внешняя, сколько внутренняя реальность. Не столько строй, сколько стиль жизни. Не только политическая теория, но и религиозная установка. „Полицеизм" есть замысел построить и „регулярно" „сочинить" всю жизнь страны и народа, всю жизнь каждого отдельного обывателя, ради его собственной и ради „общей пользы" или „общего блага"» [1].

Все верно. Но более того — Петр воспринимал себя не просто как монарха, но как демиурга. Он строил не просто государство. Он строил мир. В русской истории у Петра-богоборца есть только один аналог — Ленин. Презрительная ярость Петра по отношению к «бородачам» сопоставима с яростной презрительностью Ленина по отношению к «боженьке». То, в чем Петр не мог признаться и самому себе, Ленин провозглашал во всеуслышание.

Эти два демиурга, воспринимавшие Бога как соперника, сопоставимы и по степени физического урона, нанесенного русской церкви. Разумеется, в силу исторических обстоятельств у Ленина были развязаны руки, и по его приказу церковь откровенно грабили, а священников и монахов убивали. Петр не мог на это пойти — ни внутренне, ни на практике. Но его поведение в церковных делах было настолько жестоко, насколько это было возможно в христианской стране в первой четверти XVIII века. Он сделал беспрецедентный шаг — по воле царя Сенат в июле 1721 года, в ходе введения подушной подати, указал «детей протопоповских, и поповских, и диаконских и прочих церковных служителей... положить в сбор с протчими душами». И хотя после настойчивых просьб Синода, предрекавшего обезлюдение церкви, Петр несколько смягчил указ, но масса недавних церковников оказалась тем не менее и тяглецах, в рабском состоянии.

[1] Г. Флоровский. Пути русского богословия. YMCA-PRESS, Париж, 1988, с. 83.

Церковная реформа Петра, безусловно, имела экономический аспект — тысячи людей оказались приставлены к «производству» и стали платить налог государству. Но политический и духовный смысл содеянного был куда сильнее.

После того, как в ответ на просьбу восстановить патриаршество Петр потряс кортиком перед собранием иерархов и крикнул: «Вот вам булатный патриарх!»; после того, как возник Святейший правительствующий Синод, бюрократическое учреждение, к которому был приставлен для контроля обер-прокурор из военных; после того, как этот обер-прокурор получил в помощь штат чиновников, имевших официальное название инквизиторов; после того, как священники должны были принести присягу на верное служение государству и тем самым превратились в государственных служащих, облаченных в особую униформу; после того, как священникам под угрозой истязаний вменено было в обязанность нарушать святая святых — тайну исповеди — и доносить на своих духовных детей; после всего этого на рубеже десятых-двадцатых годов XVIII века Церковь как последняя легальная сфера духовной независимости в России перестала существовать.

Еще раз повторяю, нет надобности идеализировать православную церковь перед реформой — с ее корыстолюбием, рабовладением, приспособлением к деспотизму. Но каковы бы ни были пороки собственно церковной организации, народное представление о церкви как о хранительнице высших, по сравнению с государственными, ценностей, как о возможной заступнице, как о власти не от мира сего — эти представления сами по себе были чрезвычайно важны для народного мироощущения. Лишая народ этих иллюзий, Петр наносил тяжкий урон именно народному духу, ориентированному в конечном счете на идею свободы и высшей справедливости. Отныне Божий суд официально объявлялся незаконным. Бытие упрощалось и огрублялось до черствого государственного быта.

Демиург строил свой мир, в котором не было места автономии духа.

Известный апокриф, повествующий о том, как Петр побил Василия Никитича Татищева за религиозное вольнодумство, свидетельствует — если это и правда — только о том, что подчиненная церковь нужна была царю как духовная полиция и уважение к ее «уставу» — Священному Писанию не дóлжно было колебать в сознании простых людей.

Монастыри, монахи символизировали еще большую степень независимости от мирской власти. Монахи, старцы, скитники, ушедшие от мира в какую-то эфемерную сферу умерщвления плоти, замкнутой жизни, избравшие молитву как главное занятие, казались Петру вызовом его здравому смыслу, его демиургическому устремлению, его представлению о том, что каждый человек в этом мире должен быть приставлен к ощутимо полезному делу, к ремеслу.

Автор новейшего труда о петровских реформах Е. В. Анисимов пришел именно к этому выводу: «Нетерпимый ко всякому инакомыслию, даже пассивному сопротивлению, царь не мог допустить, что в его государстве где-то могут жить люди, проповедующие иные ценности, иной образ жизни, чем тот, который проповедовал сам Петр и который он считал лучшим для России» [1].

Петр упорно выдвигал в качестве главной причины церковной реформы экономические и нравственные основания — «тунеядство» монахов, бегство тяглецов в монастыри и, соответственно, сокращение налогоплательщиков, равнодушие монахов к страданиям обездоленных и нуждающихся. «Наличные монастыри он предлагал обратить в рабочие дома, в дома призрения для подкидышей или для военных инвалидов, монахов превратить в лазаретную прислугу, монахинь в прядильщицы и кружевницы, выписав для того кружевниц из Брабанта» [2].

В обвинениях Петра был резон, но меры, им принимаемые, шли высоко поверх экономических резонов. «Монахам никаких по кельям писем, как выписок из книг, так и грамоток светских, без собственного ведения настоятеля, под жестоким на теле наказанием, никому не писать и грамоток, кроме позволения настоятеля, не принимать, и по духовным и гражданским регулам чернил и бумаги не держать, кроме тех, которым собственно от настоятеля для общедуховной пользы позволяется. И того над монахи прилежно надзирать, понеже ничто так монашеского безмолвия не разоряет, как суетная их и тщетная письма».

Это одно из «правил», приложенных к «Духовному Регламенту», коим регулировалась

[1] Анисимов Евг. Время петровских реформ. Лениздат, 1989, с. 343.

Число трудов, посвященных петровской эпохе, огромно. Но, как увидит читатель, я опираюсь на ограниченный круг исследователей, работы которых концентрируют в себе смысл главных направлений исторической мысли и содержат все необходимые для объективных выводов предпосылки. Это работы С. М. Соловьева, В. О. Ключевского, крупнейшего историософского мыслителя декабризма М. А. Фонвизина, П. Н. Милюкова, а из исследователей последнего периода — Н. И. Павленко и Е. В. Анисимова.

[2] Г. Флоровский. «Пути русского богословия», с. 102.

жизнь русской церкви. Последняя фраза являет образец беспредельного цинизма — письменные занятия монахов, игравшие такую огромную роль в сохранении и развитии русской культуры, объявляются главнейшим «разорителем» «монашеского безмолвия».

Запрещение монахам держать чернила и бумагу, заниматься без специального разрешения даже выписками из книг обнаруживает истинные побуждения реформатора. Мы неизбежно вспоминаем пушкинского Пимена, обличителя преступлений власти, безжалостного летописца. Все это приводит на память один из указов 1718 года, о котором Пушкин говорил: «18-го августа Петр объявил еще один из тиранских указов: под смертною казнию запрещено писать *запершись*. Недоносителю объявлена равная казнь. Голиков полагает причиною тому подметные письма».

Это, конечно, связанные явления. Не имея возможности вообще запретить подданным бесконтрольно писать, Петр запрещает «писать запершись», рассчитывая, что при разгуле доносительства любое нелояльное, а тем более возмутительное писание может быть выявлено слугою ли, соседом ли, домашними ли.

За сам факт «писания запершись», равно как и за недоносительство об этом — смертная казнь.

Монах, осмелившийся без специального разрешения сделать выписку из книги, или сочинить любой текст, письмо-«грамотку», или просто хранить в келье чернила и бумагу, подвергается «жестокому на теле наказанию».

Все это — признаки свирепой растерянности, осознания в конце 1710-х годов кризиса в отношениях с подданными.

Монастыри пугали и раздражали царя не потому, разумеется, что туда могли сбежаться все поселяне, оставив государство без работников,— вместимость монастырей была вполне ограничена,— а прежде всего как очаги грамотности, из коих могли выходить «подметные письма», враждебные ему сочинения, где могла создаваться летопись его деяний. А он хотел, чтоб летопись его деяний создавалась у него на глазах. Он сам принимал деятельное участие в сочинении истории своего царствования...

Церковная реформа готовилась параллельно тому, как разворачивалось «дело царевича Алексея», и завершилась в начале 1720-х годов. «Духовный регламент», обнародованный в 1721 году, сочинял вместе с Петром его «комиссар по церковным делам» епископ Новгородский Феофан Прокопович.

Связь Алексея с «бородачами» так больно бередила душу Петра потому, что это были, по его убеждению, не просто ретрограды и тунеядцы. Это была связь со стихией, исконно ему враждебной. И уход сына в монастырь — как возможный компромисс — не казался ему решением тяжкой проблемы потому, что это был бы законный переход во враждебный лагерь.

3

Для того, чтобы понять, что эта мотивация поведения наследника отнюдь не была главной, а влияние «бородачей» Петром сильно и сознательно преувеличивалось, надо окинуть взглядом реальное, а не мифическое окружение Алексея.

В юности около царевича сложилась небольшая — десятка полтора — группа преданных ему и друг другу людей. Большинство из них было так или иначе связано с покойной бабушкой Алексея Натальей Нарышкиной и постриженной царицей Евдокией. Все эти люди никакого политического веса не имели, государственных постов не занимали.

Учитель и воспитатель царевича Никифор Вяземский, управляющий хозяйством Федор Еварлаков, Василий Колычев, муж кормилицы Алексея... Духовных лиц в «компании» было четверо — все рядовые священники. Внимания заслуживает лишь один из них — о нем мы будем говорить.

Это люди действительно старомосковской ориентации. Но то — «домашняя оппозиция», ни к каким действиям — по общественной и политической малости своей — не способная. Свою оппозиционность и чуждость новым власть имущим окружение царевича не просто ощущало, но и культивировало. Они называли друг друга специальными прозвищами — отец Иуда, брат Ад, переписывались тайнописью, шифром. Но никаких серьезных замыслов за этим не стояло. Просто, чувствуя себя неуютно во враждебном новом мире, они пытались создать для себя подобие собственного микромира.

Сторонники постриженной царицы, они были совершенно бессильны и бессилие это сознавали. Путешествуя за границей, Алексей в письмах к своему духовнику Якову Игнатьеву заклинал его и других своих друзей пуще всего опасаться любых сношений с местами, вблизи коих содержалась его мать: «Во Владимир, мне мнится, не надлежит вам ехать; понеже смотрельщиков за вами много, чтоб из сей твоей поездки и мне не случилось какое зло...» Повзрослевший Алексей прекрасно сознавал, что в качестве политической опоры «компания» отнюдь не годится.

Духовник царевича священник Яков Игнатьев — единственный, кто и в самом деле оказывал на него до поры сильное влияние. Когда после женитьбы царевича, переезда его

в Петербург и появления у него новых, куда более значительных друзей отношения его с духовником прервались, Яков Игнатьев, сетуя, напоминал царевичу: «Во время первопришествия твоего ко мне в духовность, лежащу пред нами, во твоей спальне, в Преображенском, на столце, святому Евангелию, и мне тя перед ним вопросившу ситце: будешь ли заповеди Божия исполняти, и предания Апостольская и святых отцов хранити, и мене, отца своего духовного, почитати, и за Ангела Божия и за Апостола имети, и за судию дел своих, и хощеше ли мене слушати во всем, и веруеши ли, яко и аз, аще и грешен есть, но такову же имею власть священства от Бога, мне недостойному дарованную, и ею могу вязати и решати, какову власть даровал Христос Апостолу Петру и прочим Апостолам... И на сия вся вопрошения моя благородие твое пред Святым Евангелием сице ответствовал: Заповеди Божия и предания Апостольская и святых его вся с радостию хощу творити и хранити, и тебе, отца моего духовного, буду почитати и за Ангела Божия и за Апостола Христова и за судию дел своих имети, и священства своего власти слушати и покоритися во всем должен».

Это — поразительный документ. Царевич, наследник престола признает над собой полную власть неистового священника.

Михаил Петрович Погодин, опубликовавший письма Алексея к духовнику и широко их прокомментировавший, справедливо вопрошает: «Не слышится ли в словах старого нашего протопопа Якова Игнатьевича еще Григорий VII, основатель папской власти? Не чувствуется ли сродства этой речи с притязаниями патриарха Никона? Не объяснется ли ею характер первых наших раскольников?»[1]

Безусловно, Яков Игнатьев был человеком незаурядным. Протопоп придворного собора у Спаса на Верху в Кремле, он был близким другом и единомышленником ростовского епископа Досифея, покровителя царицы Евдокии. Именно по этой причине он оказался духовником царевича и внушил ему такое безграничное доверие.

Погодин не случайно сравнивает протопопа с первыми раскольниками. Это была истинно аввакумовская натура. Подвергнутый жесточайшим пыткам во время следствия по делу царицы Евдокии в 1718 году, старик не назвал ни одного имени. «Компания» царевича обнаружилась только после казни и Алексея, и протопопа, когда в руки Петра случайно попала вышеупомянутая переписка.

Действительно ли Яков Игнатьев имел над царевичем такую власть, о коей они сговаривались при первой встрече? Судя по письмам Алексея, влияние протопопа на юношу-наследника было чрезвычайно велико.

Казалось бы, это подтверждает и мнение Петра о пагубной роли «больших бород», и утверждения самого царевича.

Но есть несомненные доказательства того, что определяющая роль духовенства в мятеже наследника — не более чем удобная обеим сторонам легенда. При всей мощи личности Якова Игнатьева, при всей искренней преданности ему царевича, при всей религиозной истовости Алексея, как только последний, женившись, обосновался в Петербурге, эта несокрушимая, казалось бы, духовная связь оборвалась. Судя по письмам самого протопопа, Алексей с этого момента в своих «грамотках», случалось, бранил протопопа, не выбирая выражений. «Многократне ты меня ругал и всячески озлоблял, а в некоем доме и за бороду меня драл»,— писал протопоп своему еще недавно почтительному духовному сыну.

Менялись обстоятельства — менялась ориентация царевича. У него появились друзья и советчики, которые имели реальную власть и влияние, которые могли стать прочной опорой в будущем противостоянии отцу, о чем царевич наверняка думал.

Но эти новые друзья были совершенно иного толка.

«В Петербурге около него (Алексея.— *Я. Г.*) образовался другой кружок,— писал Погодин,— имевший также свои виды и возлагавший на него все надежды. К этому кружку принадлежал князь Василий Влад. Долгорукий, а средоточием была, кажется, царевна Мария Алексеевна, главным действующим лицом Кикин»[2].

Во-первых, список этот, естественно, далеко не полон. Во-вторых, нам предстоит понять, какие надежды возлагали на царевича Кикин и Долгорукий, принадлежавшие, в отличие от юношеской «компании» царевича, к элите петровских сподвижников, занимавших высокие государственные посты.

Но для этого необходимо представить себе — что происходило в России второй половины 1710-х годов.

4

Тяжелая война со Швецией шла к этому моменту полтора десятка лет. Уже одержана великая Полтавская победа. Уже завоевана Финляндия двумя блестящими зимними походами князя Михаила Михайловича Голицына. Уже пресечены отчаянные попытки

[1] Чтение в императорском обществе истории и древностей российских, кн. 3. М., 1861, с. 7.
[2] Чт. ОИДР, М., 1861, с. 20.

шведов разорить Петербург. Но и Россия доведена до полного изнурения. Бегство крестьян принимает невиданные прежде размеры — в двадцатые годы, по официальным неполным данным, в бегах числилось уже 200 000 человек.

Несмотря на повсеместное недовольство, Петр мог в это время не опасаться народных мятежей — созданная им военная машина способна была подавить восстание любого масштаба. Опасность была в другом — она исходила из самой армии.

Первым, кто сделал решительную попытку критически проанализировать на основе обширнейшего материала ход и результвты петровских реформ, был крупный историк Павел Николаевич Милюков. Для нас важно, что Милюков уже в девяностые годы XIX века, когда он трудился над фундаментальным исследованием «Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII века и реформв Петра Великого», рассматривал материал не только квк объективный историк, но и как целеустремленный политик, вырабатыввший свою концепцию политической борьбы. Едва ли не первым он взглянул на проблему петровских реформ не с позиции государства, а с позиции страны, населения, конкретного человека, не «творившего историю», но — подвергавшегося ей.

Харвктеризуя «Государственное хозяйство России...», Е. В. Анисимов писал: «...Не соглашаясь со многими выводами Милюкова... мы не можем не отметить, что в книге Милюкова впервые в литературе была четко поставлена одна из центральных проблем историогрвфии петровских преобразоввний — проблема „цены реформы“» [1].

Стараясь представить себе, как же рядовой русский человек петровской эпохи воспринимал происходящее вокруг него, Милюков в более поздней работе живо и остро обозначил сам характер деятельности реформатора. Мы возьмем отрывок, касающийся флота — любимого детища Петра.

«Рвди флота Петр вел все саои войны; но и эта задача до самой смерти осталась не вполне осуществленной и распадалась на ряд разрозненных и недоведенных до конца попыток, брошенных частью самим Петром, частью его ближайшими преемниками. Скудость результатов сравнительно с грандиозностью затраченных средств тут выступает особенно ярко. Уже не говорим об игрушечной флотилии, парадировавшей при взятии Азова. Но тотчас зв этим неудачным выступлением Петр спешит одним почерком пера создать настоящий большой торговый флот: землевладельцы построят ему 98 кораблей, и сам он построит 90. Вернувшись из Голландии, он забраковывает всю работу и начинает все сначала (1700). Это не мешает ему хввлиться перед Августом польским, что у него 80 кораблей, по 60 и 80 пушек на каждом. Увы, когда наступает время пустить корабли в дело при звоевании Финляндии в 1713 году, у Петра оказывается всего четыре линейных корабля и пара фрегатов. В промежутке, однако, Петр не тратил времени даром; каждый год ездил на свою воронежскую верфь; кроме личных усилий и забот он положил там огромные суммы денег; сотни тысяч людей умерли от болезней и голода „у гаванского строения“ (то есть у постройки новой Троицкой гавани возле Таганрога, так как по мелководному Дону спускать большие корабли оказалось невозможным). Прутский поход сразу прикрывает все многолетнее дело: гавань срыта, суда отданы туркам или гниют на месте. Таким образом ничего почти не приходится утилизировать для северного судостроения, куда Петр переносит теперь все свои заботы, стараясь квк можно скорее нагнать упущенное время. В 1719 году у него уже 28 линейных кораблей, но сколько новых усилий для этого результата! Олонецкая верфь удовлетворяет только на первые годы после закладки Петербурга; перенесение ее в Петербург тоже оказывается недостаточным: по Неве нельзя выводить оснащенные корабли в море без углубления фарватера. Петербургскую верфь приходится дополнить кронштадтскою гаванью. Но после ряда новых усилий, после новых огромных жертв людьми и деньгами, и Кронштадт перестает удовлетворять: от пресной воды суда гниют вдвое скорее, по условиям места из бухты можно выйти только при восточном ветре, по условиям климата гавань только полгода свободна от льда. За несколько лет до смерти Петр находит новое место: Рогервик, недалеко от Ревеля. Правда, шведы остановились перед стрвшными расходами и физическими препятствиями для укрепления этой бухты; но Петра такие пустяки не могут остановить. Снова люди десятками тысяч идут на новую работу; „все леса в Лифляндии и Эстляндии сведены“ для деревяных ящиков, в которых погружают на морское дно камень, наломанный в соседних скалах. А неумолимые бури из года в год, при Петре и Екатерине, разносят всю людскую работу, так что наконец и этот проект, „стоивший невероятных сумм“, приходится бросить» [2].

История петровского корабельного флота была выбрана Милюковым в качестве неотразимого примера совершенно точно. Именно здесь иллюзорная прагматичность и полная бесчеловечность петровской реформы была продемонстрирована с абсолютной наглядностью.

История корабельного флота оказалась зеркалом великой реформы и еще в одном плане. Создать корабельный флот «большим скачком», несмотря на чудовищные человеческие и материальные жертвы, не удалось. В тридцатые годы, когда для военных операций понадобились корабли, выяснилось, что флота у России фактически нет. Бесчисленные человеческие жизни и всевозможные ресурсы оказались затрачены впустую. Но это был и прообраз государственной реформы, в коей средства неизбежно сформировали результат. Выбор как главного и универсального средства неогрвниченного насилия над страной, над волей каждого ее гражданина с фатальностью привел к разрыву страны и нового государства. Этот же выбор определил и характер самого государства. Возросшее на насилии, категорически не учитывавшее интересов отдельного человека, оно могло вызвать только недоверие и враждебность народа. Личвя преданность крестьян особам царей и цариц (хотя далеко не всем), патриотическое чувство к России как отечеству, родине никогда не снимали опасного напряжения во взаимоотношениях нврода и государственной мвшины. Машина же, ощущая опасность, платила народу тем же.

На крови, насилии, подавлении человека возрос жестокий военно-бюрократический монстр, использовавший страну как сырьевую базу.

Эта последняя тенденция с полной ясностью обозначилась в канун «дела царевича Алексея».

После завоевания в 1714 году князем Михаилом Голицыным Финляндии стало ясно, что война идет к концу. Содержать огромную армию разоренной стране было тяжко. Сокращать армию Петр не хотел и не мог, как по причине своих внешнеполитических планов, так и потому, что воинская сила была для него единственным средством держать в повиновении раздраженных, озлобленных подданных. Он создал военную империю и отрезал России пути к «гражданскому государству».

Но и положение в армии было далеко от идиллического. Солдаты дезертировали тысячами. Снабжать корпуса, оперировавшие теперь за пределами собственной страны, было нелегко. Казенное жалованье солдатам и офицерам выплвчивалось нерегулярно. Пока полки находились в Европе, положение отчасти спасали реквизиции. Но что будет, когда измученная армия вернется на родину? Не меньшей проблемой было и размещение тех полков, что находились в России, но в ситуации войны постоянно меняли места дислокации.

Поскольку сокращать армию Петр не считал возможным, единственным выходом оставалось увеличение налогов.

Первые наметки новой системы появились уже осенью 1715 года, когда царь приказал Роману Брюсу, младшему брату знаменитого Якова Брюса, «осведомитца, с количкого числа мужиков у шведов был солдат и драгун, и по чему было положено на двор, или на гак, или поголовщину, и каким образом оных и их офицеров держали на квартирах».

Для Петра шведские установления были высшим образцом...

Идея нового налогового принципа — податной реформы — зрела в голове Петра, под давлением обстоятельств, в 1716—1717 годы, те самые годы, когда и разворачивалось «дело Алексея». И обстоятельства эти были более серьезными, чем просто необходимость разместить и удовольствовать армию, во избежание ее раздражения. Речь шла, по сути дела, о следующем этапе военизации государства. о переходе военно-бюрократической системы управления к чисто военной системе. Как и производившаяся в то же время церковная реформа, новые планы Петра были реакцией на усугубляющийся внутриполитический кризис, который отнюдь не снимали внешнеполитические успехи.

А сложной ответной реакцией на эти планы и стал «бунт» царевича Алексея.

За 10 апреля 1717 года в реестре дел, рассмотренных царем, записано: «О разделении войск по крестьянам сухопутных и рекрут морских, кроме гвардии и провианта».

Основные принципы реформы были разработаны к концу 1718 года.

Главная идея заключалась в том, чтобы армейские полки, распределенные по всей России, стали на содержание жителей соответствующих местностей. В местности, которая былв отведена тому или иному полку, армейское начальство становилось хозяином положения.

Но для того, чтобы осуществить этот план, необходимо было определить реальное число налогоплательщиков, то есть произвести перепись населения, высчитать — сколько податных душ необходимо для содержания одного солдата (это число менялось в зависимости от рода войск), равно как и наладить механизм взимания подати и передачи ее армии.

Задача реформы диктовала смену принципа налогообложения: налоговой единицей теперь вместо «двора» — семьи становилась мужская «душа». Сюда входили и младенцы, и работники, умершие сразу после переписи.

Перепись населения производилась долго, тяжко. Люди понимали смысл происходящего или догадывались о нем. Реформа меняла не только статус, но и самовосприятие человека. Вчера еще свободный, он сегодня оказывался рабом. Естественно, что масса людей пыталась ускользнуть.

Перепись, производившаяся главным образом силами гвардии и армии, превращалась в военную операцию. Страна конвульсивно сопротивлялась переходу на новый уровень несвободы. Государство соответственно реагировало на сопротивление.

---

[1] Е. В. Анисимов. Податная реформа Петра I. Л., 1982, с. 5.

[2] П. Милюков. «Очерки по истории русской культуры». Часть третья. СПб., 1903, с. 164.

Ревизоры первоначально имели право прибегать к пытке только с разрешения царя. Генерал Чернышев, один из деятелей переписи, пожаловался Петру, что это правило связывает ревизорам руки. Петр отменил ограничения. Отныне офицер-ревизор мог истязать подозреваемых, ни на кого не оглядываясь.

На Россию налагалась густая фискальная сеть, ячейки которой все уменьшались. Реформа была направлена на то, чтобы ввергнуть в крепостное состояние максимум населения. Схватить страну безжалостным учетом и каждого пригвоздить к месту.

Наказания за «утайку» были многообразны. У помещиков конфисковывали деревни, старост били кнутом и вырывали ноздри. Кары простирались от ссылки на галеры «в вечную работу» до смертной казни.

Податная реформа и новый принцип содержания армии радикально изменили ситуацию в стране. Поступления в казну увеличились в три раза. Размещение полков среди населения, наделение офицеров фискальной и полицейской властью резко укрепило абсолютную власть государства, снизив до минимума возможность сопротивления снизу.

Страна превратилась в сырьевую базу военной машины.

Одним из последствий податной реформы стало тотальное закрепощение. Историк И. Д. Беляев, подробно исследовавший крестьянскую проблематику, писал: «Мысль,— чтобы не было избылых гулящих людей, и чтобы все состояли в той или иной службе,— до того была сильна в Петре Великом, что он указом от 1-го июня 1722 года прямо и ясно повелел, чтобы в государстве не было более так называемых вольных государевых гулящих людей» [1]. Все свободные люди, жившие работами по найму,— этот мощный резерв для развития свободной экономики,— должны были стать либо крепостными рабами, либо солдатами. Это меняло и экономическую перспективу, и социально-психологическую атмосферу в стране.

Тот же И. Д. Беляев обратил внимание на еще один крайне опасный аспект реформы: «В обязанности владельцев платить подати за крестьян и рабов заключалось, по-видимому, только перемещение ответственности с крестьян на владельцев; но за сим перемещением скрывалось страшное разобщение крестьянина с государством: между им и государством стал господин, и, таким образом, крестьянин сделался ответственным только перед господином: с него спали государственные непосредственные обязанности, а с тем вместе он утратил и все права, как член государства, ибо в его положении, подготовленном прежним временем, права без обязанностей были невозможны» (с. 239).

Так было положено начало страшному процессу — отчуждению от государства массы населения. Это отчуждение усугублялось затем указами и Анны Иоанновны, и Елизаветы, и Екатерины II, отдавшими крестьян в полную собственность господам. И беда тут не только в нравственном или экономическом уроне. Здесь оказался заложен фундамент катастрофического явления — социально-психологической и политической разорванности нации, народного ощущения тяжкой обиды, переросшей постепенно в сознание непримиряемости интересов крестьян и господ, преданных государством граждан и неправедного государства.

Вред крепостного права оказался ошеломляюще многообразен. А именно Петру времен податной реформы обязана Россия тем гибельным путем, которым пошли судьбы крестьянства.

Сильный и объективный мыслитель, декабрист Михаил Фонвизин, анализируя в Сибири деятельность Петра, печально заметил: «В его время в некоторых государствах западных крепостное состояние земледельцев уже не существовало — в других принимались меры для исправления этого зла, которое в России, к несчастию, ввелось с недавнего времени и было во всей силе. Петр не обратил на это внимания и не только ничего не сделал для освобождения крепостных, но, поверстав их с полными кабальными холопами в первую ревизию, он усугубил еще тяготившее их рабство» [2].

Государственная система, подготовленная в 1716—1718 годах, при ее видимой целесообразности с точки зрения сиюминутных интересов военной машины, была чудовищной миной под будущим страны. Здесь берут начало те кровавые катаклизмы, которые сотрясали Россию в течение столетий.

Недаром проницательный Сперанский собирался в начале XIX века в качестве одной из первых мер для умиротворения страны уравнять крепостного мужика перед законом с другими сословиями. То есть вернуть ему гражданское достоинство еще до полной отмены рабства.

Именно в конце 1710-х годов в истории страны наступал перелом, результатом коего стало положение, горько охарактеризованное почти через сто лет тем же Сперанским: «Я вижу в России два состояния — рабы государевы и рабы помещичьи. Первые называются свободными только по отношению, действительно же свободных людей в России нет...»

---

[1] И. Д. Беляев. Крестьяне на Руси. М., 1903, с. 246.

[2] Фонвизин М. А. Сочинения и письма, т. II. Иркутск, 1982, с. 115.

5

Считая себя великим прагматиком, который, по мнению Пушкина, «презирал человечество, может быть, больше, чем Наполеон», Петр никогда не утруждался в политической борьбе этическими соображениями.

Когда Петр клятвенно заверял скрывавшегося в Италии Алексея, что в случае возвращения его ждет только «лучшая любовь», он, разумеется, не придавал собственным словам ни малейшего значения. И когда по прибытии наследника в Москву царь торжественно объявил ему прощение, то обставил это прощение заведомо невыполнимыми условиями.

Петр отчасти знал — за Алексеем внимательно следили,— отчасти догадывался о многообразных связях царевича. Объявляя прощение, он провозгласил, что оно потеряет силу, если откроется хоть какая-либо «утайка». Было очевидно, что царевич попытается укрыть ближайших друзей или же просто забудет о чем-либо и тем самым аннулирует прощение.

Петр не считал возможным оставить сына в живых. Ему только надо было найти оправдания для общественного мнения и создать наиболее выгодную для себя ситуацию. Петр и ближайшие к нему люди, очевидно, уверены были, что никакого компромиссного решения нет.

Эту позицию четко сформулировал Н. И. Павленко: «В данном случае друг другу противостояли не только отец и сын, но две концепции настоящего и будущего России: одну из них претворял в жизнь отец, другую, диаметрально противоположную, намеревался осуществить сын, как только окажется у власти. Ставка была велика, а дороги расходились круто. Как дальше пойдет Россия: по пути ли преобразований, которые выводили ее в число могущественнейших стран Европы, или по пути все большего отставания?» [1]

Скорее всего, так или почти так рассуждал Петр. Но, по глубокому моему убеждению, то была ложная дилемма. Глубина противоречия действительно была бездонной. Но суть его заключалась в ином. И если собственную перспективу Петр определял точно, то «оппозиционный вариант» он примитизировал до подмены генерального смысла.

(Хочу напомнить читателю, что подобные положения вечно актуальны и принципиальны для политической истории — сознательное или полусознательное моделирование господствующей стороной позиции противника как заведомо пагубной. Главное средство в таких случаях — упрощение этой позиции, моделирование ее по случайным, произвольно выхваченным чертам враждебной программы. Так и программа, которая могла реализоваться в случае воцарения Алексея, имела мало общего с тем вариантом, что предсказывался его противниками.)

Для того, чтобы представить себе эту реальную программу, противостоящую петровским сбывшимся предначертаниям, нужно очертить круг лиц, на которых рассчитывал и собирался опереться Алексей. Их полный — или почти полный — список был выбит из него кнутом на дыбе.

Несколько человек Алексей назвал сразу — еще до начала официального следствия. Их участие было столь очевидно и известно, что скрывать было глупо. Не говоря уже о том, что царевич, по выражению Пушкина, «устрашенный сильным отцом», пытался откупиться от него, но, по возможности, минимумом предательства по отношению к своим действительным или потенциальным сторонникам.

Сразу же отметем лиц малозначащих — Никифора Вяземского, Дубровского, Эверлакова. Нас интересует не бытовой уровень, но реально политический.

Замешанные в деле второстепенные государственные фигуры — Петр Апраксин, Михаил Самарин и царевич Василий Сибирский — оказались достаточно случайными участниками дела.

Главными лицами на этом этапе стали те же Александр Кикин и князь Василий Владимирович Долгорукий. С них и начнем анализ политических связей царевича.

В представлениях об Александре Васильевиче Кикине — самой трагической, разумеется, после царевича, фигуре «дела Алексея» — много путаницы. В высшей степени квалифицированный историк пишет о корреспондентах кабинет-секретаря Петра Алексея Макарова: «Александр Кикин, Антон Девиер — или близкие ему по социальному облику такие корреспонденты, как Алексей Курбатов, Василий Ершов...» Кикин оказывается в «одном круге» с безродным иностранцем Девиером и бывшим крепостным Курбатовым. Вводит в заблуждение и то, что Кикин был царским денщиком, как простолюдин Меншиков и арап Абрам Петров, ставший затем Ганнибалом. «Кикина с Меншиковым роднила общность начала карьеры...» — пишет историк.

Между тем Александр Кикин происходил из очень хорошего дворянского рода, основанного знатным литовским выходцем, ставшим боярином князя Дмитрия Донского. Кикин был сыном стольника (высокий придворный чин) и крупного дипломата. С 1693 го-

---

[1] Н. И. Павленко. Петр Великий. М., 1990, с. 409.

да служил в «потешных», то есть в гвардии, и, будучи бомбардиром, находился под началом свмого Петра — капитвна бомбардирской роты. Денщиком царским он стал во время азовских походов. Причем надо иметь в виду, что петровские денщики были людьми чрезвычайно близкими к царю, часто не только в быту. Они были лицами доверенными. Во время великого посольства Кикин волонтером — вместе с царем — поступил в обучение на голландскую верфь и стал мастером кораблестроения. В дальнейшем его быстрая карьера шла именно по этой, важнейшей для Петра линии — Кикин сделан был управляющим петербургской верфью. Вместе с царем он создавал флот и был одним из ближайших к Петру деятелей.

Был он и одним из людей наиболее близких царю по-человечески. Свидетельством тому множество писем к нему Петра. Едва ли не за каждым сколько-нибудь важным событием военной и иной жизни следовало послание от царя к адмиралтейцу Александру Ввсильевичу, прозванному Петром «дедушкой». Был Кикин как свой вхож и в семейный ввгустейший круг.

В Кикине соединились два типа — в петровскую пору обычно разделенных: родовой дворянин и «специалист», инженер, деятель не столько политической, сколько технической реформы. Вся его профессиональная и жизненная карьера была связана с этой реформой, новой экономикой, новым строем государственного существования.

Карьера Кикина споткнулась на том, на чем обыкновенно и спотыкались петровские «птенцы»,— на казнокрадстве. Он, равно как и Меншиков, брал через подставных лиц подряды на поставку хлеба государству и продавал его по непомерно высоким ценам. Специальная следственная канцелярия, возглавленная князем Василием Влвдимировичем Долгоруким, обличив в плутовстве с подрядами многих, начиная с Меншикова, не обошла и Кикина. Александр Васильевич пережил смертный приговор, смертельный испуг, но был прощен царем, заплатил большой штраф, отнюдь его, однако, не разоривший, и был ненадолго выслан в Москву. Но вскоре Петр снял с него опалу. Кикин вернулся в Петербург.

Могла ли эта опала и умеренное наказание толкнуть Кикина на смертельно опасную авантюру — разжечь ненависть Алексея против отца, уговорить его бежать за границу и подготовить этот побег?

Да, после злоключений 1713—1715 годов Александр Васильеаич навсегда утратил человеческое доверие царя. Но он оставался деятелем, ездил по Европе, мог себе жить да поживать, и нужен был огромной интенсивности стимул, чтоб толкнуть Кикинв на тот путь, на который он и встал.

Кикиным в его вражде к царю наверняка двигали и яростные личные страсти. Но исчерпывалась ли этим подоплека страшного конфликта?

Ведь если принять обычную версию дремучего ретроградства царевича Алексея, то что за карьера могла ждать кораблестроителя Кикина в его царствоавние? Степенное московское житье и боярский чин? Бсзбедный покой был ему обеспечен и теперь — захоти он этого. Но Александр Васильевич, высланный на житье в Москву, рвался обратно в Петербург — в опасное соседство с раздраженным царем, туда, где кипела новая жизнь.

До нас дошел поразительный факт, очень многое в драме Кикина объясняющий. Во время следствия по делу царевича Петр спросил у висящего на дыбе Александра Васильевича: «Как ты, умный человек, мог пойти против меня?» Истерзанный пытками Кикин, вместо того чтобы молить о пощаде и милости, ответил: «Какой я умный, ум простор любит, а у тебя ему тесно».

Отнюдь не все, уличенные в злоупотреблениях и впавшие в немилость у Петра, переходили в оппозицию. Большинство проштрафившихся старались так или иначе заслужить полное прощение. Случай Кикина — принципиально иной. В канун «дела Алексея», в канун податной и церковной реформ, в переломный момент царствования, когда приближалась максимальная «теснота ума» для русского человека, почувствовавшего меру своих сил и возможностей, Кикин против этой «тесноты» взбунтовался.

Когда в 1716 году Петр заствввил сына сделать выбор, то главными советниками последнего оказались Кикин и князь Василий Владимирович Долгорукий. Сперва Кикин рекомендовал царевичу отречься от престола за слабостью и неспособностью нести бремя власти. Затем, когда Петр потребовал от Алексея либо ревностно нести службу государству, либо удалиться в монастырь, Кикин советовал царевичу идти в монастырь, но сказал при этом знаменательную фразу: «Вить клобук не прибит к голове гвоздем; мочно его и снять». И добавил: «Теперь твк хорошо; а впредь-де что будет, кто ведает?» Но все эти разговоры происходили на фоне идеи побега за границу, которая родилась имеяно у Кикина и постепенно крепла.

Что самое важное — показания царевича о времени возникновения этой идеи сильно подрывают версию о том, что Кикиным двигала лишь обида на царя.

8 февраля 1718 года, в самом начале розыска, не пытанный и уверенный в отцовской милости Алексей писал Петру: «О побеге моем с тем же Кикиным были слова многажды, в разные времена и годы, и прежде сих писем...». Первые неприятности у Кикина начались в 1713 году, именно тогда, когда Алексей переехал на жительство в Петербург. Очень

может быть, что смутные обстоятельства и подтолкнули Кикина к этой дружбе. Но до ареста и розыска, которые грянули в 1715 году, было еще далеко, а Кикин уже готовит царевича к фактическому мятежу против отца. Еще Петр не прислал Алексею грозных писем, требующих сделать выбор, а Кикин уже предвидит подобную возможность и прикидывает варианты.

Окончательный шаг Кикин действительно сделал в новом своем — опальном — состоянии. Царевич показал: «Когда я в Голландию ехать рвздумал и возвратился в Питербурх (то есть не последовал совету Кикина.— *Я. Г.*) и его нашел, уже по розыске, прощенна и определенна в ссылку, только уже он был не под караулом, и я с ним виделся». При этом свидании Кикин со всей решительностью советовал Алексею искать убежища во Франции. Это был 1715 год, то есть опять-таки еще до роковых писем Петра к сыну.

Кикин вел свою игру очень последовательно и настойчиво. Он предлагал Алексею разные варианты — Вену, Венецию, Швейцарию. У каждого варианта были свои достоинствв и особенности. Кикин же взял на себя обязанность отыскать для царевича наиболее подходящее убежище. Это было уже после возаращения в Петербург, когда Кикин стал ездить за границу.

Царевич показал: «А как я съехался с Кикиным в Либоу, и стал его спрашивать, нашел ли он мне место какое? и он сказал: „Нашел-де; поезжай в Вену к кесарю: там-де не выдадут“». Кикин утверждал, что по его просьбе русский посол в Вене Авраам Веселовский секретно посовещался с вице-кввнцлером Шояборном, а Шонборн поговорил с императором, и тот якобы дал согласие принять беглого царевича.

Судя по противоречивому поведению венского правительства, по явному желанию императора отделаться от опасного гостя, судя по тому, что Веселовский после этих показаний не был отозван немедленно из Вены, Кикин царевича обманул. В Вене его не ждали. Царевича, как мы увидим, обманул не только Кикин. Несчастный Алексей стал фигурой в очень сложной игре, точкой приложения разнородных, мощных и безжалостных политических сил.

Надо попытаться ответить на вопрос: какую конкретную цель преследовал хитроумный и дальновидный Кикин, рискуя собственной головой и головой царевича?

Очевидно, Кикину необходимо было сохранить Алексея в качестве законного наследника престола на случай скорой смерти Петра. Удаление в частную жизнь было для царевича нереввльно: Петр дал понять, что не допустит этого. Постриг — уход в монастырь — делал весьма проблематичным будущее воцарение Алексея. Клобук, конечно, можно было снять, но в этом случае Алексей мог претендовать лишь на пост регента при собственном сыне. Общественное правосознание вряд ли примирилось бы с расстригой на престоле — при всех симпатиях к Алексею народ счел бы это святотатством.

Временное пребывание в чужих краях решало проблему лучше всего. Не говоря уже о том, что Кикину явно мерещилась возможность взаимовыгодного союза претендента на престол с тем монархом, который предоставил бы царевичу убежище. Имея наследника в эмиграции, поддержанного какой-либо сильной европейской державой, обеспокоенной агрессивной внешней политикой России, можно было рассчитывать на создание действенной оппозиции внутри страны. Степень недовольства в стране была Кикину хорошо известна. И речь шлв, в конечном счете, не о личных обидах Кикина или кого-нибудь еще, но о судьбе страны, о ее пути, о ее будущем.

У Кикина были широкие конспиративные связи с очень определенным кругом лиц. При аресте у него были найдены «цифирные азбуки» — шифры — для переписки с князем Василием Владимировичем Долгоруким, князем Григорием Федоровичем Долгоруким, генерал-адмиралом Апраксиным, фельдмаршалом Шереметевым, князем Яковом Федоровичем Долгоруким, Алексеем Волковым, Сввввою Рагузинским, Авраамом Веселовским и самим царевичем.

Вообще круг царевича широко пользовался для переписки «цифирными азбуками», сведения об этом не раз всплывали во время следствия. Но для нас особенно важны перечисленные лица.

О роли князей Василия и Якова Долгоруких в деле Алексея речь впереди. Здесь только кратко скажем об остальных. Все эти лица — кроме дипломата Саввы Рагузинского, личного друга Кикина,— были, несомненно, причастны к тайной стороне жизни царевича.

Например, еще в 1712 году, находясь за границей, Алексей писал своему духовному отцу Якову Игнатьеву: «Священника мы при себе не имеем, и взять негде...; прошу вашей Святыни, приищи священника (кому мочно тайну сию поверить), не старого, и чтоб незнаемый был всеми. И изволь ему сие объявить, чтоб он поехал ко мне тайно, сложа священнические признаки, то есть обрив бороду и усы...». Ему нужен был духовник, которому можно было доверить тайну исповеди, а не соглядатай державного отца. И далее, объясняя Игнатьеву свой план, царевич пишет: «Пошли его на Варшаву, и вели явиться к князю Григорию Долгорукому, и чтоб сказался моим слугою или денщиком; и он ко мне отправит, я ему о сем прикажу». В сочетании с наличием шифрв для тайной

переписки факт этот становится многозначительным. Князь Григорий Федорович, брат князя Якова Долгорукого, был крупным дипломатом и фигурой весьма влиятельной.

Имя одного из ближайших к Петру вельмож — генерал-адмирала Федора Матвеевича Апраксина — часто мелькает в материалах розыска; он был доброжелательным, хотя и осторожным советчиком Алексея. И наличие шифра для переписки с ним — знаменательно.

Очень важно нахождение среди «конфидентов» Кикина фельдмаршала Шереметева, которого, как мы увидим, Алексей считал своим союзником. Автор глубокой работы о Шереметеве историк А. И. Заозерский[1] установил целый ряд чрезвычайно важных для нашего сюжета обстоятельств. Во-первых, Шереметев, Апраксин и Кикин были друзьями, и то, что писал Кикин Шереметеву, становилось сразу известно и генерал-адмиралу. Во-вторых, как народная молва, так и мнение дипломатических кругов прочно связывало имя фельдмаршала с интересами царевича.

Но историкам известна только обычная переписка Шереметева и Кикина. Наличие шифра заставляет предполагать и возможность отношений конспиративных.

Волков был, судя по всему, фигурой второстепенной. Но у него в Риге останавливался царевич перед побегом.

Роль Авраама Веселовского в «деле» — двусмысленна. С одной стороны, как уже говорилось, он явно не выполнил просьбы Кикина и не подготовил почвы для появления Алексея в Вене. С другой же — когда через несколько месяцев после розыска ему пришлось покинуть Вену, то он не вернулся в Россию, бежал в Германию и скрывался там до самой смерти...

Свидетельствует ли это все о заговоре с целью свержения Петра? Вряд ли. Но ясно вырисовывается обширный круг влиятельных и близких к царю деятелей, связанных неявными, а иногда и прямо конспиративными связями и ориентированных при этом на царевича Алексея.

И круг этот сложился именно в середине 1710-х годов. В центре его, безусловно, стояли Кикин и Василий Долгорукий.

Кикин и Долгорукий не любили друг друга. Именно князь Василий Владимирович едва не привел Александра Васильевича на плаху. Но тут их объединял общий интерес, который оттеснял личные неудовольствия. Объединяли их и общие друзья: князь Василий Владимирович был чрезвычайно близок с Шереметевым.

Однако именно взаимная неприязнь Кикина и Долгорукого подтверждает наличие аморфного, но целенаправленного сообщества, сложившегося вокруг царевича перед его побегом. Шифра для переписки с Меншиковым, с которым до 1717 года у Кикина была дружба, он, тем не менее, не держал, а для переписки с личным неприятелем Василием Долгоруким шифр был...

6

Оставим в стороне интереснейшую, со многих точек зрения, область взаимоотношения лиц, ориентированных на царевича. Мы слишком далеко ушли бы в сторону от основной задачи, если бы стали анализировать эту запутанную сферу. (Хотя для гипотетических рассуждений о возможном царствовании Алексея проблема имеет первостепенное значение.) Можно, однако, оглядывая эту среду, с уверенностью повторить, что никакой крепкой организации вокруг царевича не сложилось. Но, несмотря на это, в русской политической жизни оформилось явление для Петра, как мы увидим, куда более опасное, чем локальный заговор. Это было широкое — на разных социальных уровнях — неприятие главных целей и методов реформатора.

Даже если предположить, что основным стимулом для Кикина в его смертельной игре были жажда мести и обида, то как быть с другим конфидентом Алексея — генералом Василием Долгоруким? Представитель знатнейшей фамилии, один из столпов армии и гвардии, любимец царя, ничем не проштрафившийся, могущий претендовать на высшие военные и государственные посты как при Петре, так и при его преемнике,— чем руководствовался он, что двигало им в сколь неуклюжих, столь и опасных политических интригах?

Выросший на Украине, где служил его отец, князь Василий и сам состоял затем в войсках гетмана Мазепы. Его юношеские представления о политическом мироустройстве сложились на пересечении «лыцарской» традиции казачества и накрепко укорененной памяти о роли боярства — и его собственных предков, в частности,— в строении Московского государства.

Зачисленный офицером в гвардию, князь Василий Владимирович отличился уже в начальный период Северной войны. Но первую самостоятельную операцию он провел в 1708 году. Командуя карательным корпусом, он подавил опаснейший в тот момент для

[1] Заозерский А. И. Фельдмаршал Шереметев и правительственная среда петровского времени. Сб. «Россия в период реформ Петра I». М., 1973, с. 172.

государства булавинский мятеж. Мятеж был спровоцирован жестокостью, с которой старший брат князя Василия Юрий расправлялся с казаками, укрывавшими беглых крестьян. За что и был убит восставшими.

Петр, конечно же, выбрал князя Василия Владимировича не только из-за родства с погибшим гвардии полковником, что подразумевало мстительную ненависть к булавинцам. Гвардии майор обладал двумя чертами, которые роднили его с царем,— хладнокровно-рациональной безжалостностью и стремлением к «регулярности». В Долгоруком не было бесившей царя старомосковской основательной медлительности Шереметева. Из него вырастал военачальник нового типа.

Если к фельдмаршалу Шереметеву, отправленному подавлять взбунтовавшуюся Астрахань, Петром приставлен был для контроля и слежки гвардии сержант Щепотев, то к Долгорукому никого приставлять не надо было: Петр ему полностью доверял.

Всей своей службой князь Василий Владимирович доказал не просто верность царю, но верность новой государственной идее. Для него, как и для Петра, буйное казачество стало отвратительным антиподом «регулярности»...

За разгром Булавина князь Василий Владимирович получил чин полковника гвардии — что было блистательным отличием.

В следующем — 1709 — году Долгорукий командует кавалерийским резервом, довершившим разгром шведов при Полтаве, и получает чин генерал-поручика. В конце того же года он снова высоко отличен: стал крестным отцом новорожденной царевны Елизаветы Петровны. Это уже не просто продвижение по службе. Это — знак личной любви и доверия царя.

В 1711 году, в тяжкие дни катастрофы на Пруте, когда русская армия, блокированная бесчисленными турецкими войсками в выжженной степи, оказалась на краю гибели, князь Василий Владимирович сохранил абсолютное присутствие духа и настаивал на самом решительном варианте действий: «проложить дорогу штыками или умереть».

За Прут он получил андреевскую ленту — высшее воинское отличие.

Затем к его военным лаврам присоединились и дипломатические. А в 1715 году Петр доверил ему щекотливейшее дело совсем по иной части. Выявились чудовищные злоупотребления Меншикова, «полудержавного властелина», второго лица в государстве. Создана была комиссия для расследования. Достойно возглавить ее мог лишь человек большого мужества — светлейший князь был силен своими заслугами, близостью к царю, покровительством царицы, обширными связями. Кроме всего прочего, для руководства следствием требовался человек беспристрастный, недоступный подкупу и давлению многочисленных друзей и врагов светлейшего.

Петр выбрал князя Василия Владимировича, что свидетельствовало о доверии абсолютном.

Долгорукий железной рукой провел следствие, тяжко обвинил Меншикова, навсегда разрушив его близость с царем. Светлейшего спасло от сурового наказания лишь заступничество царицы...

Отпрыск знатнейшего рода, что придавало ему особый вес в глазах офицерства, знаменитый и удачливый генерал, доверенное лицо государя — это редкое сочетание открывало перед Долгоруким в середине 1710-х годов дорогу к самым вершинам военной и государственной карьеры.

Что, казалось бы, могло связать этого строителя новой системы, так много в этой системе получившего и так много для нее сделавшего, с царевичем Алексеем, символом, по мнению историков, системы старой?

Добросовестный историк Д. А. Корсаков, специально изучавший семейство Долгоруких, дал такую человеческую характеристику генерала, суммирующую отзывы современников: «Чуждый лукавства и криводушия, не входивший ни в какие сделки и „конъюнктуры", он действовал всегда начистоту, и всегда и везде, невзирая ни на какие обстоятельства, прямо в глаза говорил правду»[1].

Корсаков очень точно и лаконично определил позицию князя: «один из весьма видных сподвижников и один из редких „супротивников" Петра Великого». Подобный парадокс был отнюдь не редким, вопреки мнению историков, в последнее десятилетие петровского царствования.

Очевидно, причины оппозиционных маневров генерала надо искать, помимо прочего, в фундаментальных чертах его личности. Ни разу не оскорбленный своим своевластным государем, Долгорукий, тем не менее, постоянно ощущал такую возможность. И если Кикина мучила «теснота ума», то Долгорукого, скорее всего, душевно изнуряла мысль о возможном унижении — «теснота самоуважения».

Во всяком случае, мы не можем до конца согласиться с характеристикой Корсакова, который упустил из виду материалы «дела Алексея». Между тем именно в этой ситуации князь Василий Владимирович попытался вести хитроумную закулисную игру, которая ему, впрочем, не удалась...

[1] Корсаков Д. А. Из жизни русских деятелей XVIII века. Казань, 1891, с. 259.

В период, предшествующий побегу, царевич постоянно виделся с Долгоруким — тому есть неоспоримые доказательства. Но если Кикин пытался скрывать свою связь с Алексеем, то князь Василий Владимирович ее демонстрировал, избрав иную тактику: делая вид, что выступает посредником между отцом и сыном.

Алексей показал на следствии: «А перед поданием моего ответного письма, ездил я к князь Василию Володимировичу Долгорукому да к Федору Матвеевичу Апраксину, прося их: „будет ты (Петр.— *Я. Г.*) изволишь с ними о сем говорить, чтоб приговаривали меня лишить наследства и отпустить в деревню жить, где бы мне живот свой скончать“. И Федор Матвеевич сказал, что будет-де отец станет со мною говорить, я-де приговаривать готов. А князь Василий говорил тож; да еще прибавил: „Я-де с отцом твоим говорил о тебе; чаю-де, тебя лишат наследства, и письмом-де твоим, кажется, доволен...“. И еще примолвил: „Я-де тебя у отца с плахи снял“... И он мне говорил: „Теперь-де ты радуйся, дела-де тебе ни до чего не будет“».

На следствии князь Василий Владимирович факт этих разговоров подтвердил. Но из его показаний и анализа обстоятельств ясно, что утверждение о разговорах с царем по поводу судьбы Алексея было чистой дезинформацией.

У него действительно был разговор с царем об Алексее, но — как явствует из его собственного письма Петру — смысл разговора был совершенно иной, вполне нейтральный.

Кроме того, Петр на самом деле не только не был «доволен» письмом Алексея, но и пришел от него в сильнейшее раздражение. Что и выяснилось в январе следующего, 1716 года. Он вовсе не собирался отпускать царевича в деревню на вольное житье, о чем тот просил, а собирался поставить его перед выбором: послушание и выполнение долга или — монастырь.

Но как же Долгорукий решился откровенно обмануть Алексея?

Очевидно, дело в том, что в этот момент Петр был тяжело болен. Он заболел сразу после своего письма Алексею в октябре 1715 года и смог продолжить переписку только в середине января следующего года.

Сам Петр придавал принципиальное значение поведению окружающих во время этой болезни. Да и не только он. Кикин говорил Алексею, что отец его вовсе не болен, а только притворяется, чтоб проверить верность соратников. В вопросные пункты воротившемуся царевичу — от 4 февраля 1718 года — пунктом вторым Петр недаром включил: «В тяжкую мою болезнь в Питербурхе, не было ль от кого каких слов, для забежания к тебе, ежели б я скончался?». Царевич ответил на него отрицательно. На самом же деле попытка Долгорукого выступить благодетелем царевича и тем привязать его к себе предпринята была именно во время этой «тяжкой болезни».

Очевидно, князь то ли верил в смертельный исход царского недуга, то ли — что вероятнее — рассчитывал, что после длительного периода болезни подробности его маневра перестанут быть актуальными и забудутся, а результат — «я тебя у отца с плахи снял», то есть спас от казни — останется.

Здоровье Петра в это время уже сильно пошатнулось, и ясно было, что он недолговечен. В этот ли раз, в следующий ли, но болезнь сломит силы царя. Естественный наследник — Алексей. Даже в случае пострига он, как некогда Филарет, отец Михаила Романова, имеет все шансы стать регентом-правителем при своем малолетнем сыне.

Именно поэтому Долгорукий был отнюдь не одинок в своих «забеганиях» к наследнику. После трехмесячной болезни царя в зиму 1715—1716 годов надежды на скорую его смерть лишили многих привычной осторожности и выявили истинные симпатии.

Именно в это время многие в окружении царя жили, напряженно ожидая перемен, мечтая о переменах. Это был период не только ухудшения царского здоровья, но и канун решающих реформ — церковной реформы и, главное, податной реформы. Это было время, когда после решительного перелома в войне Петр принялся за внутренние дела, и ясно стало, что совсем скоро страна будет намертво схвачена железной системой, подавляющей всех и вся. Именно в это время выявился вектор реформ.

Нет ни малейших указаний на то, что хоть кто-нибудь замышлял насильственное устранение царя. Страх перед ним, его авторитет — несмотря на неприязнь и ненависть — были слишком велики. Верность царю его гвардии делала любой «регулярный» заговор авантюрой. Ясно было, что убийство царя приведет прежде всего к истреблению заговорщиков. Героических самоубийц в окружении Петра не было. Надеяться оставалось только на естественную смерть деспота-реформатора. И здесь нетерпение было так велико, что толкало на безрассудные поступки.

Алексей исповедовался отцу: «После твоей болезни, приехав из Англии Семен Нарышкин ко мне в дом, а с ним Павел Ягушинский или Алексей Макаров, не упомню [1], кто из них двух один, а кто подлинно, сказать не упомню, и разговаривая о наследствах тамошних, и Семен стал говорить: „у Прусского-де короля дядья отставлены, а племянник на престоле, для того, что большого брата сын“. И на меня глядя, молвил: „Видь-де мимо тебя брату отдал престол отец дурно“. И я ему молвил: „У нас он волен, что хочет, то и делает; у нас не их нравы“».

[1] Царевич «не упомнит» конкретный случай, но ясно, что у него бывали и вели откровенные разговоры — оба.

Зерно этого многозначительного разговора — фраза чрезвычайной значимости: «У нас он волен, что хочет, то и делает: у нас не их нравы». Речь идет не о дурном характере Петра, но о форме правления. О самодержавии. Частный случай — нарушение порядка престолонаследия — естественно трактовался как порок самодержавной системы.

Этот мотив — осуждение самодержавия как института — возникает в течение следствия не единожды. Так, 12 мая от царевича потребовали подтвердить такое на него показание: «Царевич говаривал: два-де человека на свете как Боги: папа Римский да царь Московский; как хотят, так делают». Царевич подтвердил. В этой связи весьма многозначителен состав собеседников — Ягужинский или Макаров.

Павел Ягужинский, генерал-прокурор Сената, «новый человек» из простолюдинов, всем обязанный Петру, один из ближайших к нему в последние годы людей.

Алексей Макаров — кабинет-секретарь Петра, его правая рука.

Кто бы из них ни участвовал в этом криминальном разговоре — суть дела не меняется. Идея несправедливости самодержавия жила уже в головах ближайших к царю лиц.

Можно было бы усомниться в правдивости показания Алексея, если бы мы не знали дальнейшего. В 1730 году, когда появилась возможность форму правления изменить, упразднив или ограничив самодержавие, оба — и Ягужинский, и Макаров — проявили себя вполне определенно. Сохранились свидетельства, что в решающие часы Ягужинский высказался без обиняков: «Долго ли нам терпеть, что нам головы секут; теперь время, чтоб самодержавию не быть!»

Макаров в те же дни принял участие в составлении конституционных проектов.

Сетования благополучного Ягужинского, взлетевшего именно при самодержавии — и благодаря ему! — на самые верхи власти,— свидетельство кризиса системы. Самодержавный произвол, полная личная незащищенность пугали его не меньше, чем проштрафившегося и пострадавшего еще до «дела Алексея» Кикина.

И, однако же, самая красноречивая реакция на это мучительное чувство личной незащищенности, на тягостное ощущение неправильности хода жизни последовала именно от счастливца и удачника — князя Василия Владимировича Долгорукого.

В первый день следствия, еще не испытывая никакого давления, отвечая на вопросные пункты от 4 февраля, Алексей неожиданно, в самом конце ответов, сообщил нечто, о чем его вовсе не спрашивали: «Будучи при Штетине, князь Василий Долгорукий, едучи верхом, со мною говорил: „Кабы-де на Государев жестокий нрав да не царица, нам бы-де жить нельзя: я бы-де в Штетине первый изменил“».

Чрезвычайно важно, что это показание идет сразу — хотя и без видимой связи — после пересказа крамольного разговора с Нарышкиным, Ягужинским или Макаровым. В голове Алексея и заявление Долгорукого, и позиции остальных складываются в единое явление: тяжкое недовольство «больших персон» своим положением и положением в стране.

Придумать фразу Долгорукого Алексей не мог в силу ее парадоксальности: Долгорукий говорит как о единственной защите от самодурства Петра о мачехе царевича. Говорит это Алексею, зная о его отношении к мачехе. Гордый своей родовитостью Рюрикович вынужденно признает над собой покровительство пасторской служанки, простолюдинки, которую наверняка втайне презирал.

Ситуация, если вдуматься, потрясающая — один из столпов армии и режима вообще, человек, которому царь доверяет безоговорочно, декларирует свою готовность к измене! Каково должно быть его душевное состояние и степень недовольства...

Этот разговор происходил в 1713 году. И уже тогда генерал ведет его с наследником как с политическим единомышленником. И пусть это заявление — только вспышка, и лавры князя Курбского князя Долгорукого не прельщали, но оно свидетельствует о драматичности процессов, происходивших в петровском окружении.

Разумеется, князь Василий Владимирович, как и умный Кикин, понимал, что дело не просто в «государевом жестоком нраве». Характер царя — игра судьбы и случая. Суть в том, что самодержец не имеет пределов своей власти и, соответственно, своего произвола. «У нас он волен, что хочет, то и делает; у нас не их нравы».

М. А. Фонвизин писал об этих настроениях в петровском окружении конца царствования: «Одни из них, любители старины времени допетровского, желали ее восстановления, другие же, из молодого поколения, более образованные и осмысленные знакомством с Европой, тяготились уже самодержавием и замышляли ограничить его собранием государственных чинов и сенатом» [1].

Фонвизин ошибается относительно возраста. Как мы увидим, идеолог конституционалистов — князь Дмитрий Михайлович Голицын — был немолод. Но в принципе историк-

[1] Фонвизин М. А., с. 117.

декабрист совершенно прав. И к этим «другим» относились и Кикин, и Василий Долгорукий, и Ягужинский, и Макаров, и еще многие, ревностно служившие самодержавию, но мечтавшие об его уничтожении.

Ближайшие к Петру люди с надеждой примеряли на российский государственный быт «их нравы» — конституционные ограничения верховной власти.

Зная роль князя Василия Владимировича в конституционном порыве 1730 года, мы вправе предположить, что его стремление привязать к себе наследника сопряжено было с туманными, быть может, планами изменения системы власти.

Таким образом, уже на первом этапе следствия по делу царевича выявилась глубокая и драматическая подоплека его нелепого, на первый взгляд, бунта. Не дурное воспитание, не нашептывание «больших бород», в силовое напряжение исторического поля двигало безвольным царевичем в этот переломный период. А на втором этапе следствия царю пришлось услышать в пыточном подвале вещи, для него убийственные.

Розыск по делу царевича выявил такое неблагополучие, что, не обладай Петр непоколебимым самодержавным сознанием, он должен был бы задуматься об изменении или хотя бы корректировке курса. Но Петр, при всех его талантах и страсти к преобразованиям, на глубине, там, где формируются фундаментальные решения, оставался старомосковским деспотом. И потому, свирепо расправившись с оппозицией и не пожелав извлечь из происшедшего уроков, он пошел той же дорогой с обычной своей решительностью. Но это была уже решимость отчаяния, быть может, им самим не в полную меру сознаваемая.

Тонкий исторический психолог Ключевский писал: «Можно представить себе душевное состояние Петра, когда, свалив с плеч шведскую войну, он на досуге стал заглядывать в будущее своей империи. Усталый, опускаясь со дня на день и от болезни, и от сознания своей небывалой славы и заслуженного величия, Петр видел вокруг себя пустыню, в свое дело на воздухе, и не находил для престола надежного лица, а для реформы надежной опоры ни а сотрудниках, которым знал цену, ни в основных законах, которых не существовало, ни в самом народе, у которого отнята была вековая форма выражения своей воли, земский собор, а вместе и сама воля. Петр остался с глазу на глаз со своей безграничяой властью...» [1].

Ключевский не сказвл только, что так точно нарисованная им душевная и политическая трагедия Петра предопределена была выбором модели будущей империи и, соответственно, методами ее построения...

Первый — московский — и второй — петербургский — этапы следствия существенно отличались друг от друга. Но между ними возник, наслоившись на московский этап, и на несколько недель заслонил все своей изуверской жестокостью суздвльский эпизод, важный для нас не политически, но психологически.

7

Рассказывая о следствии по делу царевича, Пушкин, со свойственной ему лаконичной энергией, изложил суздальскую драму: «В сие время другое дело озлобило Петра: первая супруга его, Евдокия, постриженная а Суздальском Покровском монастыре, привезена была в Москву вместе с монахинями, с ростовским епископом Досифеем и с казначеем монастыря, с генерал-майором Глебовым, с протопопом Пустынным. Оба следственные дела спутались одно с другим. Бывшая царица уличена была в ношении мирского плвтья, в угрозах именем своего сына, в саязи с Глебовым; царевна Мария Алексеевна в злоумышлении на государя; епископ Досифей в лживых пророчествах, в потворствах к распутной жизни царицы и проч.

15 марта казнены Досифей, Глебов, Кикин, казначей и Вяземский [2].

Баклановский и несколько монахинь высечены кнутом.

Царевна Мария заключена в Шлиссельбург.

Царица высечена и отвезена в Новую Ладогу.

Петр хвастал своею жестокостью: „Когда огонь найдет солому,— говорил он поздравлявшим его,— то он ее пожирает, но как дойдет до камня, то сам собою угасает“».

В этот сухой конспект Пушкин, со свойственным ему гениальным чутьем, включил живую деталь, которая, собственно, и есть смысловое зерно сюжета: «Петр хвастал своею жестокостью...».

Суздвльское дело, глубоко второстепенное свмо по себе, ибо никто из его участников не имел сколько-нибудь значительного политического влияния и опасности не представлял, важно было Петру в двух отношениях. Во-первых, он во что бы то ни стало хотел вывести на первый план «большие бороды». Вся серьезность ситуации еще не была ясна ему, но заговорщицкая энергия Кикина, замешанность — что, конечно же, было для царя потрясением — генерала Долгорукого, круг конфидентов Кикина — судя по найденным у него шифрам,— все это требовало кроме расправы еще и умного политического маневра. И для мнения народного, а также и международного Петр выдвигал на первый план постриженную царицу, Досифея, монахов и монахинь. Кикин, к тому времени уже выпотрошенный костоломами и сказавший все, что мог или хотел сказать, был сознательно казнен вместе с теми, к кому прямого отношения не имел,— «новый человек», адмиралтеец, недавний любимец царя спрятан был среди «больших бород» и несчастного любовника монахини-царицы. (Связь Кякина с царевной Марией Алексеевной тоже не объясняет ситуации.)

Досифей, обвиненный и признавшийся под пыткой в том, что предрекал скорую смерть царя, сказал архиереям, собравшимся, чтоб расстричь его: «Только я один в сем деле попался. Посмотрите, и у всех что на сердцах? Извольте пустить уши в народ, что в народе говорят?» Он был колесован.

Капитана Глебовв (Пушкин ошибочно назвал его генерал-майором) удалось уличить только в одном: в блуде с монахиней-царицей. И за это — отнюдь не политическое — преступление он предан был страшной казни: посажен на кол.

Смерть Кикина была ужасающа. Колесованный, как и Досифей, с раздробленными руками и ногвми, он медленно умирал на колесе. Он умолял подъехавшего взглянуть на мучения своих врагов Петра отпустить его умереть в монастырь. Петр приказал отрубить ему голову, чтоб прекратить мучения...

Во-вторых, это была прелюдия к главному этапу розыска. При всей ненависти бывшей царицы и ее круга к Петру и реформам расправа с ее окружением была отнюдь не адекватна опасности.

Нвсколько же сведения, полученные следствием, соответствовали реальности?

Многие главные для нас — да и для Петра — сведения следователи получили от Алексея под пыткой.

Как это делалось?

Камерюнкер Ф. В. Берхгольц с восторженной объективностью этнографа-любителя описывает процесс получения показаний от запирающихся подозреваемых: «Он (князь Гагарин.— *Я. Г.*) не хотел признаваться в своих проступках и потому несколько раз был жестоко наказываем кнутом. Кнут есть род плети, состоящий из короткой палки и очень длинного ремня. Преступнику обыкновенно связывают руки назад и поднимают его кверху, твк что они придутся над головою и вовсе выйдут из суставов; после этого палач берет кнут в обе руки, отступает несколько шагов назад и потом, с разбегу и припрыгнув, ударяет между плеч, вдоль спины, и если удвр бывает силен, то пробивает до костей. Палачи так хорошо знают свое дело, что могут класть удар к удару ровно, квк бы размеряя их циркулем и линейкою» [1].

На втором этапе следствия Алексея многократно пытали кнутом на дыбе, а возможно,— по имеющимся свидетельствам — и иными способами. Есть свидетельства, что часть допросов с пыткой проходила в присутствии Петра, и не в крепости, а на царской мызе возле Петергофа.

Можно сколько угодно толковать о нравах эпохи и о жестокости обычаев, но тот факт, что царь пытает собственного сына, казвлся людям отвратительным, ибо прецедентов в русской истории не имел.

Разумеется, пыткой из царевича можно было вымучить все, что захотел бы царь. Но нужен ли был Петру свмооговор Алексея и оговор других? Безусловно — нет. Более того, часть признаний царевича, касающаяся «больших персон», была сознательно оставлена без внимания и не проверялась. Хотя проверить было просто. Петр хотел получить представление о реальной расстановке сил в правительствующей среде. Он получил его. Но не пожелал сделать достоянием страны. Его больше устраивал миф о «больших бородах» и темных старомосковских интриганах.

Царевича пытали жестоко, но рассчетливо. Все время розыска он был на ногах, незадолго до смерти мог сам явиться в суд, его ответы на вопросы следователей до последнего дня изобличают неповрежденное сознание. Пушкин, читавший подлинник дела, говорит о дрожащей руке, которой написвны после пытки ответы царевича. Еще бы! Он писал рукой, только что вправленной после вывиха на дыбе. Но у него оставались силы отвечать собственноручно, четко и пространно.

Наиболее важные показания царевича перепроверялись следствием. Ему, висящему на дыбе, звново задавались вопросы, на которые он уже отвечал. И Алексей ни от чего не отрекался и нигде себе не противоречил. Тем более, что следователи очень многое знали от его пытанных сторонников и легко предавшей его Ефросиньи.

Оснований сомневаться в правдивости показаний Алексея — нет. Даже столь педантичный историк, как С. М. Соловьев, опирается на них без всяких оговорок и сомнений.

Какова же была программа Алексея, которая сложилась у него перед побегом?

В наивном и примитивизированном варианте она изложена была со слов царевича

[1] Ключевский В. О. Собр. соч. в 9-ти т. М., 1989, т. 4, с. 238.
[2] Ошибка Пушкина: Вяземский был оправдан.

[1] Дневник камер-юнкера Ф. В. Берхгольца. М., 1903. Ч. 1, с. 104.

«девкой» Ефросиньей. Надо иметь в виду, разумеется, что, говоря с любовницей, царевич учитывал уровень ее понимания политических проблем и все упрощал. «Да он же, царевич, говаривал: когда он будет государем, и тогда будет жить в Москве, а Питербурх оставит простой город; также и корабли оставит и держать их не будет; а войска-де станет держать только для обороны, а войны ни с кем иметь не хотел, а хотел довольствоваться старым владением, и намерен был жить зиму в Москве, а лето в Ярославле; и когда слыхал о каких видениях или читал в курантах, что в Питербурхе тихо и спокойно, говаривал, что видение и тишина недаром: „Может быть, либо отец мой умрет, либо бунт будет: отец мой, не знаю, за што меня не любит, и хочет наследником учинить брата моего, он еще младенец, и надеется отец мой, что жена его, а моя мачеха, умна; и когда, учинив сие, умрет, тоде будет бабье царство! И добра не будет, а будет смятение: иные станут за брата, а иные за меня"».

Евг. Анисимов так комментирует этот текст: «Можно предположить, что, по-видимому, царевич, придя к власти, намеревался свернуть активную имперскую политику отца, ставшую столь очевидной именно к концу Северной войны. Не исключено также, что устами царевича говорила политическая оппозиция, загнанная Петром в глубокое подполье...» [1].

Евг. Анисимов прав: здесь декларировано намерение «свернуть активную имперскую политику». Хорошо это или плохо? Как только после смерти императора образовался Верховный Тайный Совет, в который вошел, в частности, Меншиков, то немедленно началось это самое «свертывание», ибо разоренной стране продолжение воинственной политики оказалось просто не по силам.

Если мы внимательно и беспристрастно прочитаем «программу», то не найдем в ней ни одного криминального положения. Алексей не собирается разрушать или отдавать шведам Петербург, а всего лишь сделать его обыкновенным портом. Перенос столицы в Москву отнюдь не был для России катастрофой. Военный флот, как мы знаем, был страшной обузой для экономики страны. Но и полное уничтожение военного флота Алексей, имея ближайшим советником адмиралтейца Кикина, вряд ли предпринял бы. Речь могла идти о сокращении флотского бюджета. Но в мирной ситуации частный торговый флот, который, собственно, и был нужен России, развивался бы естественным путем, не высасывая соков из населения. Распускать армию Алексей не собирается — он исповедует, говоря сегодняшним языком, «принцип разумной достаточности». Он собирается перейти от наступательной, империалистической доктрины отца к доктрине оборонительной. Он не собирается отдавать берега Балтики — иначе о Петербурге и речи бы не было,— но не хочет дальнейших завоеваний, которые планировал Петр и о которых Алексей, естественно, знал. И это вполне разумно. Более того, с государственной точки зрения совершенно целесообразно. Неразумной и нецелесообразной была безудержная жажда новых территориальных приобретений, владевшая Петром, его стремление диктовать свою волю Восточной и Центральной Европе. А если учесть, что армию при царевиче представлял генерал князь Василий Долгорукий, полководец нового типа, то совершенно ясно, что об уничтожении петровской армии и гвардии — лучшего, что удалось создать первому императору,— речи не было. Генералитет этого не допустил бы.

Последний пассаж «программы», тоже касающийся престолонаследия, при всей наивности формулировок поражает своей проницательностью. О петровском установлении, нарушившем традиционный порядок престолонаследия, Ключевский сказал со всей горькой прямотой: «Редко самовластие наказывало само себя так жестоко, как в лице Петра этим законом... Лишив верховную власть правомерной постановки и бросив на ветер свои учреждения, Петр этим законом погасил свою династию как учреждение: остались отдельные лица царской крови без определенного династического положения. Так престол был отдан на волю случая и стал его игрушкой» [2].

Но ведь, собственно, о том же говорит и Алексей, провидя «бабье царство» и династические распри.

Разумность идей наследника, даже в передаче темной Ефросиньи, выдает не только его природный ум, о котором говорят современники, и понимание реального положения, но, в первую очередь, указывает на круг государственного общения Алексея, круг, вовсе не ограниченный юношеской его «компанией», умным и дельным администратором и инженером Кикиным и генералом Долгоруким.

Что же это был за круг?

Люди, на которых царевич рассчитывал — как на соратников после смерти отца, так и на сторонников в борьбе за власть при его жизни,— выявились в ходе розыска во второй, петербургский, пыточный период.

Наиболее влиятельные персоны, названные царевичем, оказываются в числе тех, с кем Кикин переписывался или готовился переписываться шифром. Это главнокомандующий русской армией фельдмаршал граф Борис Петрович Шереметев и сенатор князь

---

[1] Анисимов Евг. Время петровских реформ, с. 442.
[2] Ключевский В. О. Т. 4, с. 288.

Яков Федорович Долгорукий. Алексей рассказывает о своих отношениях с ними довольно беспорядочно, но целый ряд выразительных деталей дает возможность эти отношения реконструировать.

«Борис Петрович говорил мне, будучи в Польше, не помню, в которое время, при людях немногих, моих и своих, „что напрасно-де ты малого не держишь такого, чтоб знался с теми, которые при дворе отцове; так бы-де ты все ведал"»,— показал царевич 14 мая, еще до пыток. При всей краткости — это чрезвычайно насыщенное смыслом свидетельство обнаруживает наличие особо доверенных лиц с той и с другой стороны, при которых можно вести разговоры, равные государственной измене. Ведь фельдмаршал учит наследника искусству политической интриги, советуя ему учредить свою разведку при августейшем отце.

Князь Яков Долгорукий прославлен был прямотой и мужеством перед лицом царя. При том, что он был европейски образован и европейски ориентирован. Царевич показал, что они с князем обсуждали «тягости народные» — тяжкое положение России. Князь сознавал, что его отношения с царевичем вызывают подозрения. «Когда при прощании в Сенате,— показывал Алексей 16 мая,— ему, князю Якову, молвил на ухо: „Пожалуй, меня не оставь", он сказал, что „я всегда рад, только больше не говори: другие-де смотрят на нас". А преж того, когда я говаривал, чтоб когда к нему приехать в гости, и он говаривал: „Пожалуй, ко мне не езди; за мною смотрят другие, кто ко мне ездит"».

Князь Яков искренне любил царевича и был ему предан. Царевич Сибирский рассказывал, что после побега Алексея «князь Яков Федорович Долгорукий так по нем плакал, что затрясся». И при этом он соблюдает сугубую осторожность в общении с полуопальным наследником. Долгорукий был человеком отнюдь не робким, и если он, один из самых видных и влиятельных вельмож, ведет себя таким образом, то это более, чем что-либо, свидетельствует об особости его отношений с Алексеем. Конспирация необходима там, где есть что конспирировать.

Однако близость Алексея и князя Якова Федоровича вызвана была не только и не просто личной симпатией старого сенатора к наследнику. Они сходились во взгляде на связь прошлого, настоящего и будущего России, то есть на необходимый характер реформ. В «Истории Российской» Татищева есть замечательная по выразительности сцена, где князь Яков Федорович, к неудовольствию Меншикова, объясняет царю неразрывность реформы и традиции, восхваляя внутреннюю политику царя Алексея Михайловича, ее основательность и справедливость, напоминает Петру, что истоки военной реформы тоже лежат во временах его отца, но при этом отдает должное внешнеполитическим успехам Петрв. И происходит это в 1717 году, когда Алексей скрывался в Италии...

«Программа» Алексея — в ее истинном виде — была, скорее всего, разумным сочетанием уже достигнутых преобрвзований с сохранением полезной традиции, с учетом реальных возможностей и ориентацией на мирное развитие страны. И складывалась эта «программа», судя по всему, под влиянием бесед с такими людьми, как князь Яков Федорович, и еще более — как князь Дмитрий Михайлович Голицын.

Голицыны занимали в планах и надеждах Алексея не меньшее место, чем Долгорукие. И князь Дмитрий Михайлович — в первую очередь.

После Кикина и князя Василия Долгорукого, которые играли в истории отречения и побега роли, так сказать, организационные, среди тех, кто влиял на царевича идеологически, князь Дмитрий Михайлович занимает в материалах розыска наиболее значительное место.

Только с двумя персонами обсуждал царевич «тягости народные», положение в стране — с князем Яковом Федоровичем и князем Дмитрием Михайловичем. Князь Дмитрий Михайлович постоянно заботился о духовном воспитании наследника. «Князь Дмитрий Голицын,— показывал Алексей,— много книг мне из Киева приваживал по прошению моему, и так, от себя; и я ему говаривал: „Где ты их берешь?" — „У чернецов-де киевских: они-де очень к тебе ласковы и тебя любят"».

Князь Дмитрий Михайлович скромничал. У него самого была одна из лучших библиотек в России. Причем — библиотека политическая.

«А на князь Дмитрия Михайловича имел надежду,— показал царевич позже,— что он мне был друг верный и говаривал, что „я тебе всегда верный слуга"».

Князь Дмитрий Михайлович Голицын — главное действующее лицо конституционного порыва 1730 года. Убежденный сторонник огрвничения самодержавия, он оказался одним из доверенных людей царевича Алексея, и Алексей был нужен Голицыну для реализации его политических планов не меньше, чем Голицын — Алексею.

8

Теперь нам предстоит решить принципиальный вопрос: с какой целью предпринял Алексей отчаянный побег в Австрию и каковы были его тактические планы?

Евг. Анисимов: «Несомненно, побег этот — акт отчаяния, протест человека, оказавше-

гося в безвыходном положении, попытка разорвать смыкавшееся вокруг него кольцо... Бежав в нейтральную Австрию, он не имел никакого определенного плана на ближайшее будущее, он жаждал отдыха, хотел снять то напряжение, которое владело им после решительных и жестоких посланий отца» [1]. Это так и не совсем так. «Безвыходное положение» было создано самим Алексеем, занявшим после 1713 года, при всех колебаниях, вполне определенную позицию. У Алексея был самый прямой выход: поступать согласно желанию отца, принимать посильное участие в государственной деятельности. Он был способен к такой работе и не раз это доказывал. Не обладая энергией, волей и талантами своего отца, он вполне мог добросовестно выполнять поручения Петра. И если бы при этом он вел себя лояльно, то у Петра не было бы поводов — при всей нелюбви к сыну — подвергнуть его опале. Во всяком случае, жизни Алексея ничего не угрожало бы. Даже такой самовластный деспот, как Петр, не решился бы расправиться с наследником без всяких юридических оснований.

Алексей принципиально отринул этот выход. С середины десятых годов он совершенно сознательно перешел в оппозицию к политике яростного реформаторства, которая изнуряла и озлобляла страну. Он явно не был крупной фигурой, значительной личностью. Но он чутко уловил нарастающие в окружении царя настроения и нашел, как мы видели, поддержку.

Бежал он в Австрию с целью вполне определенной. Он, во-первых, хотел в безопасности дождаться момента, когда сможет вернуться в Россию как государь или же как регент при малолетнем брате. Это могло случиться при двух обстоятельствах — смерти Петра или буяте. Смерти Петра ожидали в недалеком будущем, и не без оснований.

Народный мятеж был куда менее реален. Гвардия и элитарные армейские полки типа Ингерманландского были прочной опорой власти. Но возможность мятежа в измученной армии исключить было нельзя, и эта возможность тоже учитывалась наследником. В канун открытого конфликта с отцом Алексей, пьяный, говорил своему камердинеру Ивану Афанасьеву: «...быть бунту; о тягостях народных, чая, что не стерпя, что-нибудь сделают; а к тому ж слыхал от Сибирского (царевич Сибирский.— *Я. Г.*): „Как-де народ терпит тягости?"». Тема «народных тягостей», как видим, была постоянной темой в разговорах царевича с доверенными лицами.

Нас не должна обманывать инфантильная интонация показаний Алексея. Тут играли роль страх, растерянность, желание казаться наивнее, чем царевич был на самом деле. Надо видеть то, что стояло за этим торопливым и сбивчивым текстом. А стояли за ним вещи вполне реальные.

Оказавшись в относительной безопасности за границей, Алексей не склонен был к пассивному ожиданию. Он отправил письма в Сенат и своим друзьям в высшем духовенстве, смысл коих был: «я жив, и будущее за мной». Судя по настойчивым упоминаниям в показаниях Сената, царевич возлагал на это учреждение особые надежды. (Что, кстати, свидетельствует о намерении Алексея сохранить главные петровские структуры управления.) «В сенаторах я имел надежду таким образом, чтоб когда смерть отцу моему случилась в недорослых летах братних, то б чаял я быть управителем князю Меншикову, и то б было князю Якову Долгорукову и другим, с которыми нет согласия с князем, противно»,— показал царевич 16 мая.

Алексей достаточно точно представлял себе возможное развитие событий после смерти Петра и весьма трезво оценивал ситуацию. Ведущая роль Меншикова и ненависть к нему как знати, так и многих «новых людей» стали причиной падения светлейшего в 1728 году. Только роль Алексея сыграл его сын Петр. Алексей не был фантазером. Планы, сложившиеся в беседах с сильными государственными умами, выглядят вполне здраво.

«А когда я был в побеге, в то время был в Польше Боур с корпусом своим, также мне был друг, и когда б по смерти отца моего (который чаял я вскоре от слышанья, что будто в тяжкую болезнь его была апилепсия, и того ради говорил, что у кого оная в летах случится, те недолго живут, и того ради думал, что и велико года на два продолжится живот его) поехал из цесария в Польшу, а из Польши с Боуром в Украйну, то б там князь Дмитрий и архимандрит Печерский, который мне я ему отец духовный и друг. А в Печерского архимандрита и монастырь верит вся Украйна, как в Бога. Такожде и архиерей Киевский мне знаем: то б все ко мне пристали.

А в Москве царевна Марья и архиереи хотя не все, только, чаю, то большая часть пристали ко мне.

А в Финляндском корпусе князь Михайло Михайлович, а в Риге князь Петр Алексеевич также мне друг, и от своих не отстал же.

И так вся от Европы граница моя бы была и все б меня приняли без великой противности, хотя не в прямые государи, а в правители всеконечно.

А в главной армии Борис Петрович и прочие многие из офицеров мне друзья же. А о простом народе от многих слыхал, что меня любят».

Если суммировать соответствующие показания Алексея, то вырисовывается круг

[1] Анисимов Евг. Время петровских реформ, с. 446.

власть имущих, на который он рассчитывал. Это прежде всего киевский губернатор князь Дмитрий Михайлович Голицын, сенатор князь Яков Федорович Долгорукий, высшее духовенство, имеющее могучее влияние на «чернь». Особое значение имеет поддержка генералитета. Отношения царевича с князем Василием Долгоруким нам известны. Князь Михаил Михайлович Голицын, названный Алексеем,— блестящий генерал, не менее, а быть может, и более популярный в армии, чем Василий Долгорукий, герой многих сражений,— находился под полным влиянием своего старшего брата, князя Дмитрия Михайловича, и соотносил бы свои действия с его мнением. Он был единственным, кто отказался, рискуя головой, подписать смертный приговор царевичу...

Симпатии к царевичу фельдмаршала Шереметева — безусловны.

На чем основано утверждение царевича о преданности ему Боура — мы не знаем.

Любовь же к нему «черни» не вызывает ни малейших сомнений хотя бы потому, что истерзанный «тягостями» народ надеялся на облегчение своей участи после смены монарха. (Что и произошло немедля после смерти Петра.)

Пушкин, в процессе работы над «Историей Петра Великого» глубоко изучивший разнообразный материал, писал: «Царевич был обожаем народом, который видел в нем восстановители старины. Оппозиция вся (даже сам князь Яков Долгорукий) была на его стороне. Духовенство, гонимое протестантом царем, обращало на него все свои надежды».

Но если простой народ, не только экономически, но и психологически травмированный реформами и не понимавший их смысла, поддерживал царевича как будущего «восстановителя старины», то был совершенно иной слой, готовый поддержать права Алексея на престол после смерти Петра по иным причинам. Ни Кикин, ни князь Василий Долгорукий, ни князь Михайло Голицын, ни князь Дмитрий Голицын вовсе не хотели ликвидации реформ и восстановления старомосковских порядков.

Смешно думать, что европейской выучки генералы Долгорукий и Голицын, создававшие вместе с Петром новую армию, хотят ее распада и деградации, возвращения к войсковым порядкам времен царя Алексея Михайловича. Смешно думать, что адмиралтеец Кикин, стоявший вместе с Петром у истоков русского флота, мечтал замкнуться в старых владениях без выходов к морям.

Что до князя Дмитрия Михайловича, то это был деятель, сочетавший глубокое уважение к традициям с европейской образованностью и приверженностью европейской конституционной мысли.

И если бы царевич действительно планировал тотальную реставрацию, то они, прекрасно знавшие его планы и настроения, не поддерживали бы его ни минуты.

Братья Голицыны занимали в планах царевича особое место. Союз с князем Дмитрием Михайловичем обеспечивал поддержку на первом этапе — вступлении царевича в Россию через польскую границу, а генерал князь Михаил Голицын, только что завоевавший Финляндию и стоявший со своим ударным корпусом в непосредственной близости от Петербурга, гарантировал овладение столицей.

Для нас первостепенное значение имеет то, что именно князь Дмитрий Михайлович был душой конституционного переворота в январе 1730 года, а князь Михаил Михайлович его всецело в конституционных стремлениях поддержал...

И трудно согласиться с Н. И. Павленко, когда он пишет, что Алексей «внутри страны в борьбе за власть ориентировался на силы, враждебные преобразованиям» [1]. Ни Кикин, ни князь Василий Долгорукий, ни князь Яков Долгорукий, ни князья Голицыны не были враждебны реформам.

Спор шел не о преобразованиях как таковых. Спор шел о темпах и методах преобразований. И об их конечной цели.

Михаил Фонвизин, размышляя в сибирской ссылке о последствиях петровских реформ, писал с горечью: «Гениальный царь не столько обращал внимание на внутреннее благосостояние народа, сколько на развитие исполинского могущества своей империи. В этом он точно преуспел, приготовив ей то огромное значение, которое ныне приобрела Россия в политической системе Европы. Но русский народ сделался ли от того счастливее? Улучшилось ли сколько-нибудь его нравственное или даже материальное состояние? Большинство его осталось в таком же положении, в каком было за 200 лет. Если Петр старался вводить в Россию европейскую цивилизацию, то его прельщала более ее внешняя сторона. Дух же этой цивилизации — дух законной свободы и гражданственности — был ему, деспоту, чужд и даже противен. Мечтая перевоспитать своих подданных, он не думал вдохнуть в них высокое чувство человеческого достоинства, без которого нет ни истинной нравственности, ни добродетели. Ему нужны были способные орудия для материальных улучшений по образцам, виденным им за границей...» [2].

[1] Павленко Н. И. Петр Великий, с. 404.
[2] Фонвизин М. А. Т. 2, с. 114.

Симптоматично, что Ключевский, не знавший сочинения Фонвизина, едва ли не дословно декларирует ту же самую точку зрения на смысл петровской европеизации: «...Забирая европейскую технику, он оставался довольно равнодушен к жизни и людям Западной Европы. Эта Европа была для него образцовая фабрика и мастерская, а понятия, чувства, общественные и политические отношения людей, на которых работала эта фабрика, он считал делом сторонним для России. Много раз осмотрев достопримечательные производства в Англии, он только раз заглянул в парламент... Он, по-видимому, думал, что Россию связывает с этой Европой временная потребность в военно-морской и промышленной технике, которая там процветала в его время, и что по удовлетворению этой потребности эта связь разрывалась. По крайней мере, предание сохранило слова, сказанные Петром по какому-то случаю и выражавшие такой взгляд на наши отношения к Западной Европе: „Европа нужна нам еще на несколько десятков лет, а там мы можем повернуться к ней спиной"»[1].

По сути, некоторые из тех, кто находился в оппозиции Петру, были в гораздо большей степени европейцами, чем он сам. Князь Дмитрий Михайлович Голицын, глубоко уважавший русское прошлое, много лет разрабатывал конституционную программу истинно европейских преобразований России и поплатился жизнью за попытку ее реализации.

Оппозиция Петру в конце 1710-х годов была разнородна и обширна. Она существовала на всех социальных и сословных уровнях. Разные группировки оппозиционеров имели, соответственно, свои программы — вплоть до радикально-антиреформистских. Но те, на кого реально мог рассчитывать Алексей, и те, кто, сознавая его реальные качества, тем не менее рассчитывали на него,— были сторонниками последовательных, по постепенных реформ, направленных на благо страны, а не только государства.

Спор шел, в сущности, о месте человека в обновленном реформами российском мире.

И каков бы ни был сам по себе царевич Алексей Петрович, но по логике ситуации он притянул к себе эти конструктивные разумные силы.

Это была одна из тех парадоксальных политических ситуаций, когда на сцену выходит персонаж, которого можно назвать «условным лидером». Реальные качества «условного лидера» играют в момент взлета второстепенную роль. Главное — представление о нем, условный облик. Другое дело, что, заняв не принадлежащее ему по его возможностям место, «условный лидер» проявляет свою истинную сущность, оказывается полностью несостоятельным или подминает тех, кто привел его к власти, и реализует собственные цели.

«Условный лидер» обычно появляется в кризисные моменты, в моменты исторического выбора и несбалансированной игры политических сил. Он представляется его создателям условной точкой, условным центром, дающим возможность организации политического пространства. Это бывают совершенно разного типа личности.

«Условными лидерами» в послепетровском развале были для Меншикова — Петр II, а для князя Дмитрия Голицына — Анна Иоанновна.

«Условным лидером» для демократов разных направлений был в марте 1917 года князь Львов, избранный первым главой Временного правительства. «Условным лидером» казался большинству большевиков Сталин.

Принцип выдвижения «условного лидера», повторяю,— выдвижение не по реальным качествам и замыслам, а по ситуационной условной репутации.

Таким «условным лидером» был, скорее всего, Алексей.

«Царевич Алексей был тем идейным центром,— писал Милюков,— в котором соединилась народная оппозиция с аристократической».

Игра с «условными лидерами» соблазнительна, но чрезвычайно опасна. Однако результат проверяется только эмпирически.

Выдвижение Алексея — кроме его статуса наследника — определялось в немалой степени отталкиванием его сторонников от ближайшего окружения государя-отца.

Проблема петровского окружения последнего периода неизменно привлекала внимание исследователей. Мы уже приводили слова Ключевского о предсмертном одиночестве императора. Это, разумеется, было не физическое одиночество. Речь шла о качестве соратников.

Ключевский не раз к этой проблеме возвращался: «Ближайшие к Петру люди были не деятели реформы, а его личные дворовые слуги»[2]. И Ключевский, блестяще знавший фактуру эпохи, особо обращает наше внимание на нравственные — вернее, безнравственные — качества ближайших петровских сподвижников. Возводимая Петром система, принципиально отрешенная от конкретного живого человека и всецело ориентированная на «исполинское могущество» империи, после перелома конца 1710-х годов, после церковной и податной реформ, после глубоко связанного с этими реформами «дела Алексея», с судорожной поспешностью выдвигала на первый план именно таких людей, не

[1] Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. М., 1983, с. 15—16.
[2] Ключевский В. О. Т. 4, с. 233.

отягощенных какими-либо этическими постулатами. Следствие по делу царевича легло водоразделом между Петром, с его обретавшим ясные черты чудовищным детищем, и умеренно реформационным слоем, укорененным в русской исторической почве.

Хищная ложнопрагматическая система, работавшая на военную мощь[1] и ради этого безжалостно эксплуатировавшая страну, формировала хищников с ложнопрагматическим же отношением к миру вообще и к самой системе, в частности. Кроме того, затаенная, а иногда и проявлявшаяся открыто напряженная враждебность большинства населения к государственной элите, равно как и смертельные распри в узком правящем кругу,— все это вырабатывало особые жестокие приемы выживания, исключая этический подход к жизни.

У того же Ключевского есть два сокрушительных по меткости наблюдения.

«Эти люди не были в душе ее (реформы.— ***Я. Г.***) приверженцами, не столько поддерживали ее, сколько сами за нее держались, потому что она давала им выгодное положение»[2].

И второе — чеканная формула, так много объясняющая в варварском отношении к собственному государству, не говоря уже о стране, «петровских птенцов»: «Это были истые дети воспитавшего их фискально-полицейского государства с его произволом, его презрением к законности и человеческой личности, с притуплением нравственного чувства»[3]. Надо, однако, повторить, что сами «дети» под водительством своего государя и создавали эту фискально-полицейскую систему для обслуживания армии.

Система чисто механически сдерживала буйные инстинкты людей меншиковского типа, не только не воспитывая, но и развращая их души. Равно как не давала она благодетельного для России направления деятельности таких талантливых бюрократов, как Остерман.

Петру оказалось нечем одушевить создаваемую машину. Он и его рупор Феофан Прокопович толковали о благе Отечества, а народ видел, что сотворено с его землей. И голодную крестьянскую семью на Псковщине ничуть не радовало небывалое расширение границ и взятие Штетина, если кормилец-муж гниет в болотах Ингерманландии, возводя новую столицу, а старший сын строит крепость на Каспии. И все это — Бог весть зачем...

Петр сдерживал как корыстное буйство своих соратников, так и бунтование уверенных в его антихристовой природе низов с помощью палки — гвардии, армии, дыбы, кнута, плахи.

Князь Дмитрий Михайлович Голицын, стоявший за Алексеем, уже знал, что механические «сдержки» ненадежны, что нужно менять характер «сдержек». Это понимал не только он. Даром ли через двенадцать лет после убийства царевича Алексея, казни Кикина, ссылки князя Василия Долгорукого — сотни аристократов и простых дворян поставили свои подписи под конституционными проектами, не просто ограничивающими самодержавную власть, но и вводящими в случае реализации все буйные общественные силы в новые гибкие соотношения европейского типа.

«Дело Алексея» — вернее, подступы к нему — было для просвещенной оппозиции первой надеждой изменить движение реформ и судьбу России. Надежда не сбылась, но силы остались.

Впереди был 1730 год.

[1] По свидетельству вдумчивого и осведомленного иностранного наблюдателя Фокеродта, «об улучшениях во внутреннем государственном строе... Петр почти не заботился или даже вовсе не заботился в первые 30 лет своего царствования, лишь бы у флота и армии было довольно денег, леса, рекрут, матросов, провианта и амуниции».
[2] Ключевский В. О. Т. 4, с. 232.
[3] Там же, с. 233.

Наши публикации

А. Ф. Лосев

ТРИО ЧАЙКОВСКОГО

В архиве Алексея Федоровича Лосева (1893—1988) мною была найдена философская проза, которая появилась отнюдь не случайно. Ее автор оказался «последним представителем русского религиозно-философского движения первой половины века» (Памяти А. Ф. Лосева. «Вестник РХД», изд. Н. А. Струве, 1988, № 153).

А. Ф. Лосев родился в городе Новочеркасске, столице Области Войска Донского, где окончил в 1911 году классическую гимназию. В 1915 году окончил Московский университет по двум отделениям, философскому и классической филологии. С первого курса университета посещал религиозно-философское общество памяти Вл. Соловьева, а после его закрытия основанную Н. А. Бердяевым Вольную Академию Духовной Культуры. Духовные учителя Лосева — Вяч. Иванов, С. Л. Франк, С. Н. Булгаков, о. П. Флоренский.

Получив хорошее музыкальное образование, А. Ф. Лосев (с 1919 года он профессор) преподает музыкальную эстетику в Московской консерватории (1922—1930); он действительный член Государственной академии художественных наук и заведует в ней отделом эстетики вплоть до закрытия ГАХН в 1929 году. С 1927 по 1930 год выходят в свет восемь философских книг А. Ф. Лосева, среди которых «Философия имени», «Музыка как предмет логики», «Очерки античного символизма и мифологии», «Диалектика мифа» (см.: А. Ф. Лосев. «Из ранних произведений». М., 1990 г., приложение к «Вопросам философии»). Если за рубежом идеи этих книг были признаны «без сомнения гениальными», то на родине ОГПУ наложило запрет на «Диалектику мифа», автор ее был арестован 18 апреля 1930 года, проклят Л. Кагановичем в речи на XVI съезде ВКП(б) как идеологический враг, подвергся инвективам М. Горького, получил 10 лет лагерей (его жена В. М. Лосева — астроном и математик — 5 лет). В эти годы Лосев проделал путь, характерный для многих интеллигентов: арест, Лубянка, Бутырки, так называемые трудовые лагеря (Свирлаг, Беломорско-Балтийский канал).

После ареста А. Ф. Лосев вынужденно молчал двадцать три года. После смерти Сталина он напечатал сотни научных статей и более 30 монографий. Им создан восьмитомный свод «История античной эстетики». Однако этим не исчерпывается творческая биография А. Ф. Лосева. В ней закономерно находит свое место философская проза, истоки которой берут начало в лагере на строительстве Беломорско-Балтийского канала им. Сталина. В письме от 30 июня 1932 года из поселка Медвежья Гора в лагерь Второго водораздельного отделения, где находилась жена А. Ф. Лосева Валентина Михайловна, А. Ф. Лосев пишет, что чувствует «неимоверную потребность писать беллетристику», хотя в лагере нет возможности даже «просто записать простую схему рассказа (чтобы не забыть)».

После возвращения из лагеря в Москву, снятия судимости и восстановления в гражданских правах в 1933 году (помощь в досрочном освобождении — приговор 10 лет — оказала Е. П. Пешкова, жена М. Горького) Алексей Федорович пишет очень интенсивно. Путь в «чистую» философию ему был закрыт (об этом прямо было сказано «важным» лицом в ЦК ВКП (б)). Ему хотелось выразить свои заветные мысли, свой взгляд на современный мир, на философию, музыку, социальные процессы, происходящие вокруг. И вот тут-то спасительной оказалась страсть к тому, что Алексей Федорович назвал в письме «беллетристикой». Он писал откровенно, но рукописи оставлял в ящиках стола — в печать они идти не могли.

Когда появилась возможность вернуться к античным штудиям, А. Ф. Лосев стал готовить во второй половине тридцатых годов историю античной эстетики, собрание текстов по античной мифологии. Беллетристика отступала на второй план.

Текст, печатающийся здесь, представляет собой фрагмент из повести «Трио Чайковского».

Философия и музыка были для А. Ф. Лосева едины. Поэтому и «беллетристика» его насквозь философична и музыкальна. В ней звучат отголоски споров, которыми была полна и консерватория, и специальные исследования, и широкая печать — о роли музыки в обществе.

Повесть (как и другая философская проза автора) диалогична. В этом сказывается внутренняя связь А. Ф. Лосева с диалогами Платона, которым Лосев занимался всю жизнь. Непринужденная беседа составляет основу повести. Герой ее — Николай Владимирович Вершинин несомненно автобиографичен. Под этим именем он фигурирует и в других повестях.

Умный читатель увидит, какие важные и страшные проблемы возникают в ходе как будто невинных музыкальных дискуссий.

События повести умещаются в три дня — 19, 20 и 21 июля 1914 года, то есть в последние дни мирного времени. Композиция ее трехчастна: беседа друзей, неожиданная встреча со знаменитой пианисткой Томилиной и разрыв с ней. Заканчивается повесть драматично — гибелью почти всех участников музыкальных вечеров и одиночеством едва живого Вершинина в походном военном госпитале.

В публикуемом отрывке мы оставляем спорщиков на пороге появления главной героини (прообразом ее была известная пианистка М. В. Юдина).

Повесть «Трио Чайковского» готовится к печати в московском издательстве «Столица».

ПЕРВАЯ ГЛАВА

1

Это было давно. Накануне мировой войны это было.

Я был молод, весел, энергичен и любил все прекрасное. Не то, что теперь... Ну, да о теперешнем — что говорить!

Я любил музыку.

Музыка — это была моя душа. Да, душа... Вся жизнь была музыкой...

Чистая, светлая юность... О, эта светлая музыкальная юность!.. Сколько в тебе было серьезности и глубины, сколько чистого, возвышенного пафоса и мудрости!

Эх, была жизнь! Талантливая, ажурная была жизнь. Вы не знаете, вы, нынешние, не знаете, какая была жизнь. Если бы вы знали, вы бы понимали, что музыка, математика и философия — одно и то же. Но вы... А, да ну вас! Не в вас дело.

Да! Теперь я чувствую себя стариком. Уже давно ощущаю слабость в ногах и дрожь в руках. В розовой мгле, уходящей тосковать в бесконечность, всплывают иной раз чьи-то глаза, которые были когда-то милы и невинно-веселы. Но теперь этот взор становится пристальным, мертвым, тяжелым. Это уже не ласка, а гипноз. И чувствую, как кочепеет душа под этим исступленным холодом когда-то родного и ласкового взгляда.

Эх, молодость!..

Итак, это было давно. Накануне великой войны это было.

Мои приятели, инженер Михаил Иванович Запольский и его жена Капитолина Ивановна, уже давно звали меня к себе погостить на дачу.

Жили они летом в Польше, недалеко от немецкой границы, где у них было небольшое, но хорошо содержавшееся имение.

Перед их отъездом из Москвы в начале мая у нас было условлено, что летом я обязательно проведу у них одну-две недели, с тем чтобы помузицировать и поспорить о музыке.

Оба Запольские были артисты в душе, и даже не только в душе. ⟨...⟩

Запольские хорошо понимали, что настоящая музыка не на концертах, а вот здесь, на таких семейных, домашних собраниях.

Народу у них никогда не было много. Если играют трое-четверо, то самое большее, если еще присутствовало столько же слушателей-энтузиастов, так что все эти вечера были всегда глубоко интимны и позволяли бесконечно углубляться в музыкальные бездны... ⟨...⟩

Я любил Запольских. Это были какие-то взрослые дети. Ведь так редко встречаешь наивных людей! А это были действительно наивные люди, у которых были все лучшие стороны наивности — искренность, доверчивость, милая беспомощность, мудрая и часто неожиданная глубина, и не было плохих ее сторон — забитости, духовного убожества, глупости и ограниченности.

У них в доме я был свой.

Иной раз, музицируя почти до утра, мы тут же и валились спать, причем я почивал в гостиной на коротком диване, не будучи в состоянии добраться, после музыкальной оргии и ввиду позднего часа, домой.

Михаил Иванович и его супруга не умели беречь и тратить деньги. Зарабатывая большие суммы, они часто спускали все до гроша на ноты, книги, цветы, конфеты и всякие безделушки, так что мне приходилось иной раз давать им деньги. А так как они ничего не помнили, кому какие деньги они давали и от кого какие получали, то мне приходилось нередко самому же брать свои деньги у них назад, когда они их получали, чтобы не обанкротиться через них окончательно самому и чтобы помочь в свое время им же самим, этим своим наивным чудакам. В этих людях было что-то эдакое крылатое, одновременно — стихийное и чистое, аморальное и беспорочное, что-то бархатистое и ласкающее, что-то незащищенное и наивное, сразу и скромное и пьяно-ароматное. Бледновато-жасминное, бледновато-жасминное было.

Бывают люди, очень моральные по своему поведению; они не совершат ничего дурного, они не имеют никаких явных пороков, они солидны и степенны, и — все же думаешь про себя: какая низкая тварь! А бывают такие вот — как Запольские. Эти люди были и не солидны, и не надежны, даже легкомысленны, и никакой морали к ним не пристало, и все же, вспоминая теперь их через много лет, я думаю, что это были самые чистые, самые ясные, самые простые люди, которых я только когда-нибудь встречал. ⟨...⟩

До середины июля мне никак не удавалось оставить Москву, чтобы посетить Запольских, и мысленно я откладывал свою поездку на август.

Вдруг в первых числах июля я получаю от Запольских телеграмму: «Приезжай немедленно нотами. Телеграфируй выезд. Запольские». В чем дело? Я ничего не понимал.

Я понимал в этой телеграмме только одно слово — «нотами». Весной мы условились, что я привезу ряд вещей, старых и новых, которые мне обещали достать букинисты. С этими нотами я и должен был приехать. Но все остальное мне было непонятно.

Если бы я им был нужен ради каких-нибудь семейных и домашних дел, тогда — зачем это упоминание о нотах? А если имелось в виду обычное наше музицирование, то почему это вдруг «немедленно», да еще велят «телеграфировать выезд».

Я был в замешательстве. Конечно, нет таких дел, которые нельзя было бы при желании умять. И я колебался: кончать ли свои московские дела и ехать в августе, как я предполагал раньше, или же действительно все бросить и ехать немедленно.

После долгих колебаний я решил ехать немедленно. ⟨...⟩

Лето стояло чудное. Эх, какая была погода! С тех пор в России даже погоды-то не стало человеческой. Все какая-то слякоть, да серость, да туманы...

Было тихо-тихо, сине-сине.

Балкон у Запольских выходил в сад, где были цветы, вянувшие днем и к вечеру распускавшиеся в богатый узорчатый ковер, специально придуманный и размеченный стариками, которые повторяли его по своим столетним образцам.

Эта благодатная летняя, жаркая, но не душная тишина! Солнце это легко-легко парит по небосклону и начинает склоняться к западу — мое любимое время дня.

Все кругом тихо и прозрачно, как бы шуршит своей тишиной. Сядешь это, бывало, в лесу на пенек, а птички нетронуто, бесстрастно чирикают свою тысячелетнюю повесть. И не знаешь, твои ли мысли звенят и шуршат или сама вечность шевелится, и брезжит, и нашептывает ласку в журчащем лесном окруженье. Сидишь, сидишь — только головой повернул в сторону,— а посмотришь, три-четыре часа уже просидел. И идешь домой, а в душе, глядишь, какая-то эдакая молитва, что ли... сладко ноет лесная пустыня в сердце, умирать светло становится. Такое умильное было лето!

2

Первый день решили не играть.

Приехал я уже в обед, и надо было отдохнуть. Кроме того, хотелось поговорить и о московских делах, а главное — о музыке.

Я во многом резко расходился с Михаилом Ивановичем в понимании музыки, и мы много спорили. Но — зачем же обязательно сходиться? Мы спорили, но и самый спор о любимом предмете доставлял нам и нашему кружку наслаждение. А музыка была так прекрасна, что быстро забывались и всякие споры.

После отдыха ходили немного погулять, но потом скоро вернулись на балкон и засели за многочасовой чай и предались наслаждению дружеской беседы. ⟨...⟩ Московские разговоры скоро иссякли. Хозяйственные и помещичьи дела ровно никого не интересовали.

Оставалось говорить о предмете, который всех занимал и восторгал, это — о музыке.

К тому же в этот день вечером Запольский как-то особенно сиял, и видно было, что ему очень хочется что-то сказать о музыке новое и особенное.

— Так вот в чем дело, господа,— многообещающе заговорил он.— Вот в чем дело! Хотите, я вам кое-что расскажу о музыке? А? Хотите?

Все обрадовались и всполошились.

— Хотим, хотим! Начинайте, а потом пристанем и мы! Давно пора! К черту московские дела! Михаил Иванович, доставьте счастье! Просим, просим!

Да! Какой я был любитель докладов, речей, споров и вообще разговоров! Слова! Да, не с меланхолией, не по-гамлетовски я скажу: «Слова, слова, слова!» Слова всегда были для меня глубоким, страстным, завораживающе-мудрым и талантливым делом. Как мало людей, которые любят и умеют талантливо говорить! И как я искал, как я любил, как я боготворил этих людей! Боже мой, что это за чудный дар — уметь говорить и уметь слушать, когда говорят! В молодости, при звуках талантливой речи, я чувствовал, как утончается, серебрится и играет моя мысль, как мозг перестраивается у меня наподобие драгоценного и тончайшего музыкального инструмента, как дух мой начинал носиться по безбрежной и бледной зелености мысленного моря, на котором вспененная мудрость ласкает и дразнит тебя своими багряными, алыми всплесками.

— Нового-то я, пожалуй, не сумею сказать,— говорил Михаил.— Все это мысли, которые я отчасти уже высказывал. Только на днях почему-то мне показалось, что я теперь нашел подходящие для этого слова и что раньше этих слов не имел. Я вам это изложу, а вы покритикуйте!

— Просим, просим, начинайте!

— Миша, одну минутку! — заговорила Капитолина Ивановна и вышла с балкона в дом.

Через несколько минут она вернулась в сопровождении горничной, которая несла на огромном подносе закуски, бутерброды и сладкое и водворила все это на стол. ⟨...⟩

— Итак, можно начинать? — переспросил Запольский.

— Просим, просим, начинайте!

Запольский хлебнул чаю и начал:

— Все говорят, что музыка есть искусство чисто субъективное. Вошло в обыкновение говорить и думать, что музыка изображает человеческие чувства в их глубине, т. е. то, что в человеке есть наиболее внутреннее, наиболее интимное и субъективное. Кое-кто, но очень немногие, говорят, что в этом-де нет никакого отличия музыки от прочих искусств, так как и всякое искусство изображает чувства и повествует о глубинах человеческой души. Кое-кто также утверждает, что музыка не обязательно и субъективна. Она, говорят, дает и объективную картину мира или рисует, по крайней мере, некоторые стороны этой объективности. Конечно, все эти возражатели, говоря вообще, вполне правы. Музыка изображает чувства, как и всякое искусство, и музыка субъективна и объективна — как и всякое искусство. И все-таки, при всех этих выражениях и согласии с ними, есть что-то в музыке такое, что имеет какое-то особенное и специфическое отношение к субъекту. ⟨...⟩

В чем же дело? В чем сущность музыкальной субъективности?

На этот вопрос я отвечу не сразу. А сначала дам ряд общих положений о музыке, которые, без сомнения, близки и всем вам, с тем чтобы в дальнейшем сказать, что же такое музыкальная субъективность как таковая.

Вы знаете, что музыка не изображает вещей. Что изображено в Аппассионате? Какие вещи вы тут увидели? Здесь нет никаких вещей. Тут ничего не изображено оформленного. Здесь все настолько текуче, настолько иррационально, что нет возможности употребить какое-нибудь слово. Ибо слово слишком полно оформленным смыслом, слишком полно идеей, логикой. Музыка напряженно волнуется, нервно трепещет, в каждом моменте своего бытия готовая взорваться, исчезнуть и вновь появиться, заново создаться из неведомых глубин. Никаким словом, никаким понятием нельзя ознаменовать музыку. Она — как воздух, скользящий сквозь умственные пальцы, и ничего невозможно в ней схватить этими пальцами. Попробуйте выразить, изложить словами свое впечатление от симфонии — как жалки, как несчастны будут эти слова! И лучше уж не прикасаться этим грубым орудием к иррациональному святилищу музыки.

Однако нельзя сказать, что музыка есть только как бы материал, из которого сделаны вещи. Если бы это было так, музыка была бы во всех смыслах бесформенна, как бесформенна куча песку или каменная глыба. Дело-то в том и заключается, что музыка содержит в себе *образ* стремящегося бытия. Мир неустанно движется вперед, и жизнь трепещет и бьется каждое мгновение. Но существуют образы этой мировой текучести, фигурность жизненного процесса. И вот это-то и есть музыка. Не вещи изображены в музыке, но образ их живого становления. А какие именно эти вещи, даже не важно. Тут — полное тождество музыки с математикой. Число так же не зависит от вещей, которые оно счисляет. Число есть чистая система мысленных актов, но чего именно это суть акты, математика как таковая этого не знает. Так же и музыка далека от всяких внешних вещей. Музыка есть чистое время. И даже не время. Ведь время слишком грузно для музыки. Музыка чище и духовнее времени. Время всегда связано с скоростью, с темпом. А музыкальную пьесу ведь можно исполнить с любым темпом. Значит, сама-то по себе музыка не есть время, по крайней мере, не есть абсолютное время. Она — процесс и протекание, длительность, но — чисто смысловая длительность. Она протекает и творится в чистом, беспримесном уме,— я бы сказал даже, в бесстрастном уме, хотя и знаю, что она — клокотание чувств и вулкан, каскад наслаждений и страданий. Это — образ жизни мира, взятой в аспекте ее чистой процессуальности, видение мировых судеб в их трепетном, интимном протекании. В музыке мы припадаем ухом к какой-то основной смысловой артерии мира и слышим его тайный и нервный пульс. Как врач выслушивает своего пациента и судит о состоянии его организма, так мы по музыке судим о состоянии мира. Да и при чем тут врач! Приложите ухо к груди человека — и вы сами услышите странный и таинственный шум, не то шепот, не то какое-то пророчество и вещание, услышите чудную и тайную жизнь, живое и трепещущее дыхание неведомых, но каждое мгновение выявляющихся человеческих судеб. Такова и музыка. В ней мы слышим тайную пульсацию мира, сокровенный шум и шепот его бытия, изначальную и глубинную жизнь, определяющую всю его внешнюю, солнечную образность.

Что музыка есть чистая иррациональность и несказанность, это ясно. Что музыка есть

образ, идея или фигура этой иррациональности, это тоже ясно. Спросите вы, может быть, только, почему я говорю о мировых судьбах, почему расширяю значение музыки до такой большой общности?

Однако это так, это именно так. Сможете ли вы сказать, что именно изображено в музыке, даже если сводить ее на простое изображение чувств? Разве изображается тут какое-нибудь данное, чисто индивидуальное, вот в этот промежуток времени наличное у одного или другого человека чувство? Разве это фотография вот такого-то индивидуального момента той или иной психики? Нет и нет. Тут даны чувства *вообще, обобщенные* чувства. Тут дано становление in specie. Тут — глубинный образ жизни, управляющий всеми ее отдельными индивидувльными моментами, и потому образ — колоссальной общности, и в нем нет ничего узкого, временного, изолированного. Тут дана идея и фигурная картинность мировых протеканий вообще, закон и принцип мировых выявлений судьбы. И даже не можем сказать, наслаждение ли это или страдание,— до такой степени общности доведена тут субъективность. В музыке — скорбь, изначальная скорбь вечно жаждущего, вечно беспокойного мира; и в музыке — радость, наслаждение от знания и понимания этих интимных глубин мировой и человеческой жизни. И мука и радость, а все в целом — жизнь, вожделенная радость творящейся жизни, вечно юное и неустанное появление ликов судьбы. ⟨...⟩

Музыка не предмет, но идея, и не идея, а принцип идеи, и не принцип идеи, в рождающее ее лоно этого принципа, и не рождающее лоно, а самый первозаряд ощущающей жизня, первый сгусток, максимально сконденсированная энергия возникающей к бытию жизни. Каждый момент, каждый мельчайший момент музыкальной жизни есть это самовозникновение, самосозидание, ощутительно и до жгучей боли интимно данная капризность и прихоть творчески свершающегося мира. ⟨...⟩

Я утверждаю, что *такая жизнь* свойственна только Божеству, Абсолюту, что музыка есть не просто субъективное ощущение, но — попытка дать *субъективно-божественное самоощущение, образ того, как Абсолют ощущает сам себя.* Не удивляйтесь этому способу выражения. Из моих рассуждений вы сейчас поймете, что иного философского толкования музыки не может и быть.

Вы знаете, что наша музыка не была известна никому до Нового времени. Музыка Баха, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Вагнера есть всецело создание новой западноевропейской индивидуалистической культуры. Впервые в истории человек стал абсолютизировать свой ограниченный человеческий субъект и переносить на него все ценности объективного мира. Он поглотил в себе все бытие, обобрал всю объективность, превратил мироздание в пустой темный мертвый механизм, и заиграла небывалой глубиной, небывалыми красками субъективная жизнь, глубины человеческого субъекта. Западноевропейский субъект хочет абсолютной самостоятельности; он чувствует себя независимым ни от чего. Однако было бы слишком грубо признать все несуществующим, а себя одного существующим. Абсолютизированный человеческий субъект допускает существование чего угодно, кроме себя, но только с одним условием: всякая допускаемая объективность обязательно должна быть соизмерима с человеческим субъектом, обязательно не имманентна ему в смысловом отношении. ⟨...⟩

Средневековый же абсолют бесконечно выше человека и всей твари, несоизмерим с ней. Перед ним человек может только лежать ниц и не смеет поднять на него свои глаза. Куда уж там познавать божественные глубины и переводить их на язык своих чувств! Средневековое Божество абсолютно несоизмеримо с человеком, в какое бы тесное общение Оно ни вступало с человеком. Человек никогда, ни при каких условиях не может быть в состоянии проникнуть в глубины внутрибожественной жизни. И даже самая мысль об этом звучит для средневекового сознания как нечто еретическое и кощунственное.

Новая Европа понимает своего Абсолюта иначе. Западный человек перенес на себя, в глубину своей личности абсолютную жизнь Божества, стал чувствовать себя так, как будто бы он сам был творец мира, созидатель всего, знающий тайну всякого возникновения. Он лишил все объективное его самостоятельной значимости и превратил его в ничто, в тьму, в небытие. Это именно Абсолют так окружен тьмой небытия, ибо если он — действительно Абсолют, то он есть все, а если он — все, то, кроме него, ничего и нет и не может быть, кроме него — только тьма, ничто, небытие. Западноевропейский субъект как строящий себя самого по образу Абсолюта окружен бесконечным и пустым астрономическим пространством, погружен в бесконечную текучесть сплошных и пустых времен, и весь смысл его жизни — в нем самом, в глубине и ценности его собственного самочувствия. ⟨...⟩

Та музыка, которую мы с вами играем, новая западноевропейская музыка,— только и возможна в индивидуалистической и по преимуществу протестантской культуре. Эта музыка предполагает абсолютизацию человеческого субъекта; и так как невозможно ограниченному и смертному человеческому субъекту стать всерьез Абсолютом, то из актуального Абсолюта, содержащего бесконечность всех бесконечностей в одной точке, он становится потенциальным Абсолютом, вечно ищущим и становящимся Абсолютом. И вот мы, европейские музыканты, ощущаем себя одинокими, угрюмыми, хотя часто и восторженными стрвнниками и скитальцами по необъятной поверхности темного моря небытия. Мы всегда жаждем, вечно ищем, и нет нигде нам покоя. Ибо мы — воплощение потенциальных энергий Абсолюта, мы не можем содержать всю бесконечность в одной нераздельной точке, и мы схватываем ее постепенно, тем самым переходя в бесконечное становление, в вечные поиски, обуреваемые неутолимой жаждой все обнять, все охватить, все понять и все пережить.

Романтизм — явление протестантское и притом северное. Только север со своими тонкими матовыми красками, со своими уходящими вдаль туманными ландшафтами, с своими сдержанными, но зато проникновенными настроениями — смог стать родиной романтизма и музыки. Юг слишком ярок и ослепителен и в этом смысле слишком не тонок. Его терзания — слишком резкие, и он не любит тайны. Древняя Греция классична, а не романтична. Для романтизма нужны утонченно-субъективный ландшафт, далекие туманные горизонты, эта нежная розоватость горных высей, этот лиловато-сиреневый отблеск заката на востоке, эта легкость и прозрачность, как бы тихая задумчивость клонящегося к горизонту светила после полудня.

Но музыка и романтизм невозможны там, где субъект слишком огромен, где объект слишком насыщен смысловым содержанием, где все бытийные ценности еще нетронуто покоятся в недрах абсолютной объективности. С чистой музыкой несовместима не только античность, античное язычество, поскольку оно исповедует пластический космос, в котором человеческий субъект лишь одна из многочисленных и сравнительно менее важных его эманаций. С чистой музыкой несовместимо и средневековое христианство, т. е. православие и католицизм. И там и здесь над бытием возвышается абсолютная Личность, которая бесконечно превосходит все существующее. Это — кульминация объективизма. Здесь все — в объективном Абсолюте, и — ничто в человеке. Все повержено ниц перед Абсолютом — какая же тут музыка? ⟨...⟩

Я осмеливаюсь утверждать, что настоящая, чистая, абсолютная музыка, поскольку мы ее знаем на Западе, исключает или, вернее, делает бесполезным все это устроение жизни, возникающее из постулата объективного Абсолюта. Чистая музыка не терпит культа. Что такое культ? Это — явление объективного Абсолюта в образах человеческого поведения. В культе взор верующего всегда устремлен в эту непонятную ему тайну, которая является только по своей, а не по его, человеческой, воле. Культ всегда объективистичен, объективно-капризен; и человеческий субъект в нем, можно сказать, на последнем месте. Культ не анархичен, но слишком строен и даже архитектурен. Он — тяжел для музыки, слишком веществен для ее утонченной иррациональности. Культ слишком связан высшими законами, слишком авторитарен, слишком неизменяем, неприступен, абсолютен, слишком строг и серьезен, слишком невесел. Поэтому для чистой, абсолютной музыки он грубоват, топорен, неповоротлив. Он для нее слишком статичен, изобразителен, слишком внешне-конкретен и телесен, чересчур недуховен, плоск, нерельефен, чересчур много в нем быта, нравов, истории, слишком много уставности, рационализма, размеренности, слишком сковано в нем все личное, индивидуальное. В нем нет для нее интимной анархичности, которой так жива и богата сама музыка; он не инициативен, не ласков, не живет творческими импульсами, не приглашает к радости жизни, к ощущениям, к полетам, к дальнему плаванию, к трепетной радости непостоянства и становления. А все потому, что тут живет и действует сам Абсолют, сам объективный Абсолют, в котором полнота всего, а у людей — небытие, пустота, неполнота, ущербность, греховность, плач о собственной скудости, о грозящей гибели; о переходе от временных страданий к вечным мукам. Все — потому, что слишком богата и полноценна жизнь самого Абсолюта и слишком ничтожен и пуст сам человеческий субъект, слишком убог, забит и уничтожен.

Объективно-абсолютистское устроение жизни всегда повелевает всей жизнью, хочет переустроить и преобразить всю жизнь целиком, не оставляя ни одного уголка ее свободным. Объективно-абсолютистское устроение жизни всегда связывает ум (ибо ум наш испорчен, и нельзя давать ему полного хода), всегда дисциплинирует волю (ибо воля наша слаба и никуда не годится, и ее надо каждое мгновение воспитывать и не давать свободного хода), всегда обуздывает наши чувства (ибо сердце наше тоже вконец испорчено, тоже не заслуживает полного доверия, и тоже нельзя на него положиться). С начала до конца, ежедневно, ежечасно, ежеминутно, без всякого спуска и сожаления,— надо себя обуздывать, обуздывать и обуздывать,— воспитывать, воспитывать и воспитывать,— исправлять, исправлять и исправлять. Все опутано бесконечными законами, повелениями, заповедями, клятвами, проклятиями, обетами; везде воздержание, трезвение, самоиспытание, самобичевание, самоосуждение, смирение, смирность, покорность, отказ от воли, от мысли, от чувств, от себя самого... Да, да, от себя самого, обязательно от себя самого, ибо на то и существует объективный Абсолют, чтобы подчинять себе все инобытие, человеческое и нечеловеческое. Иначе, что же это за Абсолют, если в мире есть хоть одна точка, которая не разлетается в прах при одном его прикосновении?

И вот — музыка не хочет такого Абсолюта!

Предисловие и публикация
доктора филологических наук А. А. Тахо-Годи

Критика

Сергей Стратановский

ПОЭТ И РЕВОЛЮЦИЯ

Опыт современного прочтения поэмы А. Блока «Двенадцать»

1

Какой-либо *диалог* с исследуемым писателем, какой-либо *спор* с ним для литературоведа воспрещен — это уже за рамками науки. А вместе с тем такой диалог с великими тенями необходим, он — существенная часть литературного процесса, в этом трудно определимом жанре создавались когда-то выдающиеся произведения, например, «Толстой и Достоевский» Мережковского.

Но почему именно сейчас понадобился этот диалог-спор с Блоком периода «Двенадцати», «Скифов», «Крушения гуманизма»? Прежде всего потому, что мы живем во время стремительной переоценки ценностей. Рушится тот идеологический миф, в котором жили несколько поколений советских людей, исчезает священный ореол вокруг таких понятий, как Революция, Классовая Борьба, Диктатура Пролетариата. В шуме этой грандиозной ломки поиному слышатся нам и знаменитые «Двенадцать».

Я не первый, пытающийся переосмыслить послереволюционное творчество Блока. Многое в этом направлении сделал Анатолий Якобсон, чья книга о Блоке «Конец трагедии», к сожалению, у нас до сих пор не издана. В центре внимания автора тоже поэма «Двенадцать» и блоковская философская проза послереволюционных лет: очерк «Катилина», статья «Крушение гуманизма». Однако Якобсон отделяет резкой чертой Блока-поэта и Блока-мыслителя. Первым он восхищен, ко второму относится резко отрицательно. В «Двенадцати», полагает Якобсон,— «полнота жизни», а очерк «Катилина», справедливо рассматриваемый исследователями как авторский комментарий к поэме,— «надуманная тенденциозная схема». Но ведь нужно доверять автору, если он именно *так* понимал свое произведение. В результате, стремясь оправдать Блока-поэта в ущерб Блоку-мыслителю, Якобсон написал хорошую, полную тонких наблюдений и остроумной полемики, но *литературоведческую* работу о знаменитой поэме. На вопросы, мучившие Блока, он не попытался ответить сам.

2

Вот они «двенадцать», красногвардейский патруль, идут по вечернему заснеженному Петрограду. Красная гвардия, сформированная еще при Временном правительстве и ставшая ударной силой Октябрьского переворота, делилась на так называемые «десятки», причем по уставу в «десяток» входило тринадцать человек (чертова дюжина). Жизнь, как мы видим, была не менее символична, чем поэма Блока. «Двенадцать», таким образом,— неполный «десяток». Время действия — первые числа января 1918 года, перед самым разгоном Учредительного собрания (5 января). С 26 декабря по 4 января по православному календарю — святки, то есть святые дни Рождества Христова. В эту суровую зиму в Петрограде было не до святок, и все же блоковские «двенадцать» чувствуют себя как на празднике, они вдыхают ветер свободы, но не ритуальной, святочной, как в прежние времена, а новой, революционной:

Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!

Революции, как известно, бывают разные. Та Революция, боевой силой которой считали себя «двенадцать», была уникальной, единственной в своем роде. Это было разрушение «до основанья» «старого мира», «прерыв» между двумя историческими зонами. «Двенадцать» — апостолы нового мира, возвестители «нового неба и новой земли». Мы сегодня хорошо знаем, каков будет «новый мир»: сначала братоубийственная гражданская война, затем, после короткой передышки нэпа (передышка ли?), «смертельный перелом хребта» — «раскрестьянивание» России — революция сверху, более глубокая и тяжелая по своим последствиям, чем Октябрьская. А затем смердящий ГУЛАГ, непрекращающийся террор.

О, если б знали, дети, вы
Холод и мрак грядущих дней!

Блоковские красногвардейцы — тоже дети, «дети в железном веке», как назвал их в своей дневниковой записи автор «Двенадцати». Они не ведают, что творят, но это не снимает с них вины за создание мира, в котором главным принципом будет *насилие*.

Революция — такое состояние мира, когда становится возможным то, что немыслимо в обычное время. Если раньше балаганный Петрушка расправлялся со своими врагами на балаганных подмостках, то теперь такая расправа стала возможной и в реальности [1].

3

«Двенадцать», при всей кажущейся простоте, произведение совсем не простое. Загадочен, прежде всего, центральный эпизод поэмы. Почему, в самом деле, в центре этой поэмы о Революции — уголовное преступление, лишенное каких-либо классовых или революционных оснований? Чем так уж досадили красноармейцам Ванька и Катька, почему они стремятся расправиться с Ванькой, а гибель Катьки воспринимается ими как справедливое возмездие? Но разберемся сначала с первым, с солдатом Ванькой. В поэме вроде бы объяснена причина охоты за ним:

[1] Чтобы узнать, что же реально происходило в Петрограде в те месяцы (декабрь 1917-го — январь 1918-го), я решил посмотреть по газетам уголовную хронику того времени. Должен сказать прямо: она не слишком впечатляет. Да, были разгромы винных погребов, убийства, были и грабежи квартир, но погромов как таковых — не было. Весь этот народный разгул меркнет по сравнению с не заставившим себя ждать государственным террором.

Трах-тарарах! Ты будешь знать,
. . . .
Как с девочкой чужой гулять!..

Если с «чужой», значит, с Петькиной, но почему *все* «двенадцать» так уж стремятся расправиться с новым любовником Катьки? Какое им дело, в конце концов, до Петькиных чувств. И потом: Катька — проститутка, она не Ванькина, не Петькина, она — для всех и ничья. Что-то тут явно не так, но оставим пока эти соображения и поговорим о других возможных мотивах странной ненависти красногвардейцев к своему бывшему товарищу. Мотивов этих два. Во-первых, Ванька — чужой, во-вторых,— богатый. Оба мотива присутствуют в реплике одного из «двенадцати»:

— Ванюшка сам теперь богат...
— Был Ванька наш, а стал солдат!

В той же главке Ваньку обзывают буржуем. И вот, исходя из этих высказываний, многие советские литературоведы упорно тянули Ваньку в лагерь контрреволюции, рассуждали о его «измене делу революции» [1]. Однако никакого вооруженного лагеря контрреволюции в Петрограде восемнадцатого года не было, а «сидеть в кабаке» — еще не значит изменять революции. Ванька — солдат Петроградского гарнизона, не защитившего в Октябрьские дни Временное правительство. И слово «солдат» звучало тогда отнюдь не контрреволюционно. Почему же все-таки Ванька — «не наш» — с точки зрения красногвардейцев? Были ли тогда вообще какие-либо конфликты или трения между красногвардейцами и солдатами?

В одном из декабрьских (за 1917 год) номеров газеты «Наш век» (переименованная «Речь») была напечатана следующая заметка:

«Солдаты и красногвардейцы

Между солдатами Петроградского гарнизона и красногвардейцами возникли трения на почве материального неравенства. Вследствие этого особые делегаты от полков гарнизона будут обходить фабрично-заводские предприятия, из которых образованы отряды красногвардейцев, для проверки на местах материального обеспечения красногвардейцев. Солдаты требуют, чтобы красногвардейцы были приравнены к солдатам, то есть носили бы солдатскую форму и получали только одно солдатское жалованье и содержание, а не по рублю в час за дежурство плюс жалованье как рабочие» [2].

Трения между солдатами и красногвардейцами, следовательно, были, причем за-

[1] Абсурдность этих интерпретаций хорошо показана в книге А. Якобсона.
[2] «Наш век», 1917, 2 декабря (№ 3).

Стратановский Сергей Георгиевич (род. в 1944 г.) — поэт, филолог-русист. Печатался в альманахах «Молодой Ленинград», «Аполлон — 77» (Париж), журналах «Нева», «Родник», «Вестник новой литературы», «Эхо», «Вестник РХД», «Звезда». Живет в Ленинграде.

пидовали солдаты красногвардейцам, а не наоборот. Но до вооруженных конфликтов не доходило. Может быть, причина самосуда, который «двенадцать» стремятся устроить над Ванькой, в том, что он — вор? Однако воровство и грабеж тогда — массовое явление. Этот путь обогащения был не закрыт и для «двенадцати», хотя они предпочитали грабить лишь винные погреба. Но «богатству» Ваньки они явно завидуют и поэтому обзывают его «буржуем». Слово это, как известно, приобрело во время Революции расширительный смысл. «Буржуем,— записывает Блок в записной книжке 1917 года (до Октябрьского переворота),— называется всякий, кто накопил какие бы то ни было ценности, хотя бы и духовные». Еще более любопытно в этом смысле свидетельство Горького в «Несвоевременных мыслях»: «Уже на фабриках и заводах постепенно начинается злая борьба чернорабочих с рабочими квалифицированными, чернорабочие начинают утверждать, что слесари, токари, литейщики и т. д.— суть — буржуи».

Принцип классовой ненависти обращался против самого гегемона революции, рабочего класса, стал разрушать его структуру. А знаменитый лозунг «Грабь награбленное!» быстро обнаружил содержащуюся в нем дурную бесконечность. В тех же «Несвоевременных мыслях» Горький приводит письмо, где рассказывается, как обогатившиеся во время революции солдаты, вернувшись в деревню, сами оказались жертвами «экспроприации», как «буржуи».

Вот и Ванька оказался таким буржуем на час.

Так что зависть к ванькиному «богатству» несомненно присутствует у «двенадцати». Но не она причина неприязни, более того — ненависти к нему красногвардейского патруля. Причина в чем-то или в ком-то другом.

Причина все-таки в Катьке.

4

Случайно ли убийство Катьки? В известном смысле, да. Петька совершает его в состоянии аффекта, остальные патрульные убивать ее не собирались. Но они и не горюют, а воспринимают происшедшее с чисто уголовным цинизмом:

> Что, Катька, рада? — Ни гу-гу...
> Лежи ты, падаль, на снегу!

И опять возникает тот же вопрос, что и с Ванькой. А в чем, собственно, виновата перед «двенадцатью» Катька? В пятой главке поэмы Блок подготавливает эпизод убийства, дает его психологическую мотивировку. Обычно эта главка трактуется как монолог Петрухи, но так ли это? Ведь при первом чтении «Двенадцати» мы вплоть до шестой главы не знаем ни о каком Петрухе. Для нас — это монолог любого из патрульных, то есть монолог их всех. Но откуда же, спросит читатель, тогда в этом монологе страсти в духе жестокого романса?

> У тебя на шее, Катя,
> Шрам не зажил от ножа.
> У тебя под грудью, Катя,
> Та царапина свежа!

Так ведь может сказать только ревнующий Петька. Но почему же — спрошу я в свою очередь — «страсти роковые» в этой главке соседствуют с таким вот плясовым мотивчиком:

> Эх, эх, освежи,
> Спать с собою положи!

Странная какая-то тут ревность...

Катька, вероятно, была не только Петькиной «девочкой». Она была проституткой их улицы, где-нибудь за Нарвской заставой или на Выборгской стороне. Гуляла она первоначально только со «своими», но потом изменила круг клиентов, пошла по рукам офицеров, юнкеров, солдат. Это-то и было воспринято будущими красногвардейцами как «измена». Воспринято болезненно и привело к поножовщине. Ванька же не просто один из «чужих», он в прошлом «свой». И поэтому его «гулянье» с Катькой особенно непереносимо.

И Ванька, и Катька «виноваты» перед «двенадцатью» только по неписаным законам полублатной морали, с точки зрения общечеловеческой никакой вины за ними найти невозможно. Катька — безвинная жертва, и в этом суть поэмы. Революция — это всегда убийство, гибель невиновного, он гибнет вместе с виновным по теории, а чаще всего виновный и невиновный совмещаются в одном лице. Именно в гибели невиновного — трагизм Революции, вот почему уголовная драма, разыгравшаяся на петроградской зимней улице, приобретает черты высокой трагедии. Внутренняя тема «Двенадцати» — оправдание убийства невиновного, снятие трагического конфликта «музыкой революции», своего рода «черный катарсис», ибо катарсиса подлинного в поэме нет.

Никакая «музыка революции» не может, однако, унять душевных мук «бедного убийцы» Петрухи. Если бы был городовой, который бы поволок его в участок, ему, вероятно, было бы легче. Но во время Революции городовых нет, красногвардейский патруль — сам представитель революционного порядка, и поэтому Петька один со своей болью перед Богом. Попытка забыться в пьяном загуле приводит его лишь к «смертной скуке», к душевному опустошению. Товарищи его не понимают. Для них переступить через кровь — не преступление, а причастие к истине Революции.

«Среди них есть такие,— писал Блок в статье «Интеллигенция и Революция»,— которые сходят с ума от самосудов, не могут выдержать крови, которую пролили в темноте своей...»

Вот и Петька из таких. Он мучается, хочет просветления, а ему предлагают держать «революционный шаг».

И все же от этой муки «бедного убийцы» Петьки — тоненькая ниточка ко Христу, не к тому, что появляется в финале, а к настоящему, евангельскому.

5

Революция, по Блоку,— это переступание через невинную кровь, преступление. Изображать преступление — не значит оправдывать преступление, и в жизни Блок его действительно не оправдывал: достаточно вспомнить его реакцию на убийство Шингарева и Кокошкина. Но в творчестве все сложнее: какой-то частью своей души Блок с красногвардейцами даже в момент убийства, насилие не просто оправдывается им, оно освящается именем Христа, революционная «черная злоба» объявляется «святой» — чудовищный оксюморон, ибо святость всегда связана со светом, с просветлением.

И тут вспоминается другое великое произведение русской литературы — роман «Преступление и наказание». В центре романа — тоже убийство, причем убийство двойное — старухи-процентщицы и безответной несчастной Лизаветы. Второе убийство как бы случайно: Лизавету Раскольников убивать не собирался. Но логика преступления такова, что убийство, оправданное «по теории», уничтожение существа, не вызывающего сочувствия, влечет за собой другое — никак и никакой идеей не оправданное. Изъян, следовательно, в самой теории, «разрешающей кровь». Блоковский Петруха, в отличие от Раскольникова, человек не «теоретический», но он живет в то время, когда «теоретики», которым он поверил, разрешили ему проливать кровь, если это нужно для Революции, а он, естественно, понял это разрешение без всяких оговорок. И страдает Петруха не так, как Раскольников, оказавшийся слишком слабым для осуществления своей идеи,— он действительно раскаивается. И, в отличие от Раскольникова, у Петрухи не будет ни наказания, ни, что самое главное, просветления, потому что Достоевский отвергает насилие в принципе, а Блок его считает допустимым. В русской литературе «Двенадцать» — негатив «Преступления и наказания».

6

Не только Блок понимал Революцию как гибель невиновного. Такое же понимание и близкую к Блоку проблематику мы находим у другого большого поэта Революции — Велимира Хлебникова. Но акценты у Хлебникова расставлены существенно поиному, чем у Блока; тем более интересно сравнить его революционные поэмы с «Двенадцатью». Среди них для нашей темы интерес представляют три: «Настоящее», «Ночь перед Советами», «Ночной обыск». Все они написаны осенью 1921 года. Между ними и блоковской поэмой целая эпоха — гражданская война, которая, собственно говоря, есть продолжение Революции. И вот в поэме «Настоящее» мы находим образ народной стихии, гораздо более страшный, нежели у Блока, а в монологе прачки есть и прямые переклички с «Двенадцатью»:

> Я бы на живодерню
> На одной веревке
> Всех господ провела
> Да потом по горлу
> Провела, провела!
> Я белье мое всполосну, всполосну,
> А потом господ
> Полосну, полосну!
> И-их!
> — Крови лужица!
> — В глазах кружится!

Что это? Воспевание погрома, резни? Апология людоедской мысли о физическом уничтожении целого класса? Такой вывод легко сделать при поверхностном знакомстве с поэмой. Но Хлебников не так прост. В поэме он дает высказаться не только «улице», жаждущей крови толпе с «Горячего Поля», но и ее противнику — Великому князю. Князь — фигура страдательная, вызывающая сочувствие, он не тиран и не палач, но между ним и народом — роковая черта непонимания:

> Лучи моего духа
> Селу убогому светили,
> Но неприязненно и сухо
> Их отрицали и не любили.

Князь сознает свою обреченность, более того — он оправдывает направленную на него народную ярость. Ненависть толпы для него — «обугленное бревно божественного гнева». Самое страшное, что он сам начинает подпевать толпе, повторять ее бессмысленные заклинания.

> В воду бросила!
> Тай-тай, тарарай.
> В воду бросила!
> Тай-тай, тарарай.
> В воду бросила.

Нечто болезненное чувствуется в этой маленькой поэме. С одной стороны — темная ненависть, для которой «самый страш-

ный грех — пощада», ненависть с оттенком садизма, а с другой — самоуничижение, доходящее до какого-то жуткого единства со своими убийцами. Именно поэтому поэма Хлебникова не трагична: где патология, там не может быть трагедии. В этом ее отличие от действительно трагического блоковского шедевра. Но существенно для нас и другое: Хлебников, в противоположность Блоку, стремится воспроизвести «другой» голос, «другое», «чужое» сознание, дать слово жертве Революции, человеку «старого мира». Эта замечательная особенность Хлебникова проявлялась и в отдельных стихах. Так, на события февральской революции он парадоксальным образом откликнулся монологом свергнутого царя:

Свободы песни, снова вас поют,
От песен пороха народ зажегся.
В кумир свободы люди перельют
Тот поезд бегства, тот, где я отрекся.

Однако как в этом стихотворении, так и в поэме «другой» голос еще не означает «другой» правды. Своей правды ни у царя, ни у Великого князя нет, есть правда Революции, которую они признают. Великий князь у Хлебникова — это рефлектирующий интеллигент, мечтающий о единстве с народом. Но проблема «другой» правды для поэта все же существовала. Пожалуй, с наибольшей рельефностью это выражено в поэме «Ночь перед Советами». Действие ее происходит во время гражданской войны, в каком-то городе перед приходом красных. К старой барыне приходит старуха-поденщица и пророчит:

Барыня, вас завтра
Наверно повесят...

За что повесят? Хлебников рассказывает во второй главке поэмы о прежней жизни барыни. Она прожила вполне достойную жизнь: была сестрой милосердия во время русско-турецкой войны, позже помогала ссыльным [1]. Ни в чем перед старухой-поденщицей она не провинилась. И вместе с тем, по Хлебникову, она виновна не личной, а «классовой» виной. Барыня ответственна за «грехи отцов» — мысль, близкая той, что Блок высказал в статье «Интеллигенция и Революция». Собственно, доказательству этого «родового греха» и посвящена поэма Хлебникова.

Революция, по Хлебникову,— это гибель субъективно невиновного, но, вместе с тем, классово виноватого, виновного самим фактом принадлежности к господствующему классу. Но в обеих поэмах — гибель жертв (Великого князя, барыни) остается за скобками, только предполагается.

[1] Известно, что Хлебников тут использовал факты из биографии своей матери.

По-иному — в поэме «Ночной обыск», сюжетное ядро которой, как и у Блока,— убийство. Напомню содержание этого, по-своему замечательного, произведения. На квартиру, вероятно, к морскому офицеру приходит с обыском «братва» — революционные матросы. Это те же «двенадцать», только в матросской форме. Они ищут «белых зверей» (их выражение). Сын хозяйки оказывает им сопротивление, стреляет в них, но промахивается. Его ставят к стенке и расстреливают на глазах у матери. И вот перед расстрелом сын проявляет поразительную твердость духа и презрение к смерти. «Прощай, дурак! Спасибо за твой выстрел!» — бросает он в лицо своему убийце. То, что происходит дальше,— исключительно по мерзости. Матросы чуть не убивают сестру убитого, разбивают зеркало и рояль, заставляют несчастную мать прислуживать за столом, издеваются над ней, устраивают пьянку. И вот во время пьяной оргии происходит нечто неожиданное: в поэме появляется Христос. Собственно, появляется не Он сам, а икона в красном углу, которая привлекает внимание матросов.

Глаза Бога начинают явно беспокоить матроса-убийцу:

Синие глаза мне прямо в душу.
Как две морские птицы, большие
синие и темные,
В бурю, два буревестника,
глашатая грозы.
И машут и шумят крылами!
Летят! Торопятся.
Насквозь! Насквозь! Ныряют
на дно души.

Происходит, однако, не пробуждение совести, а сознание своего поражения. Юноша, крикнувший перед смертью: «Дурак! Спасибо за твой выстрел!», победил своих палачей. И преодолеть это поражение они могут только одним способом — приняв смерть от самого Бога, крикнув ему, как и погибший юноша: «Дурак!» Об этом и говорит матрос-убийца:

Хочу убитым пасть на месте,
Чтоб пал огонь смертельный
Из красного угла!
Оттуда бы темнело дуло,
Чтобы сказать ему: — дурак!

Пьяный матрос бросает вызов Богу, он хочет смерти от Бога и начинает кощунствовать, чтоб спровоцировать Бога на мщение.

Так кто же эти хлебниковские «двенадцать»? Сверхлюди, бросающие вызов Христу и смерти, или потерявшая человеческий облик пьяная орава? Хлебников не дает ответа на этот вопрос. Его собственное сознание раздвоено, он за Революцию, но в то же время он сочувствует ее жертвам, «без вины виноватым», хотя уверен в их обреченности.

Рать алая! Твоя игра!
Нечисты масти
У вымирающего белого...
«Ночь в окопе»

Освящает ли он насилие, подобно тому как сделал это Блок? Нет, да оно, по Хлебникову, и не нуждается в этом: Революция, по его мысли, это бунт против Бога, против установленного им миропорядка, чтобы установить новый космический лад — «ладомир».

7

Слово «враг» неоднократно повторяется в поэме Блока:

Революцьонный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

Враг этот могуществен, но незрим:

Их винтовочки стальные
На незримого врага...
В переулочки глухие,
Где одна пылит пурга...

Присутствуют в поэме и более конкретные «враги»: барыня в каракуле, писатель-вития, поп и, наконец, обобщенный «буржуй». Впрочем, «враги» они только в кавычках, так как реальной опасности для двенадцати красногвардейцев не представляют. Изображены они в комическом ключе, можно даже сказать, в балаганно-лубочном. Но почему среди этих «буржуев» оказалась богомольная старушка? Она-то явно не «буржуйка», а «народ».

«Буржуй» для Блока — понятие не столько социальное, сколько экзистенциально-психологическое, это — человек середины, обыватель, максимально далекий от подлинности, живущий, «как все», и не выделяющийся из массы. Схематичный портрет такого «буржуя» Блок набрасывает в статье «Интеллигенция и Революция». Ненависть к этому человеческому типу у Блока переходит даже на бытовой уровень. Вот отрывок из дневника 1918 года: «Я живу в квартире, а за тонкой перегородкой находится другая квартира, где живет *буржуа* с семейством (называть его по имени, занятия и пр.— лишнее). Он острижен ежиком, расторопен, пробыв всю жизнь важным чиновником, под глазами — мешки, под брюшком тоже, от него пахнет чистым мужским бельем, его дочь играет на рояле, его голос — тэноришка — раздается за стеной, на лестнице, во дворе у отхожего места, где она распоряжается и пр. Везде он.

Господи Боже! Дай мне силы освободиться от ненависти к нему, которая мешает мне жить в квартире, душит злобой, перебивает мысли. Он такое же плотоядное двуногое, как я, он лично мне еще не делал зла. Но я задыхаюсь от ненависти, которая доходит до какого-то патологического истерического омерзения, мешает жить».

Конечно, постоянно слышать за стеной треньканье рояля неприятно, но не выдумана ли эта ненависть к человеку, лично Блоку ничего не сделавшему дурного. Не слишком ли романтична (противоположность «Поэт — филистер» возникла именно в романтизме) позиция поэта? Не проглядел ли он в обывателе нечто подлинное, бытийственное, сосредоточив всю свою ненависть на серединности, пошлости. Ведь ценности «среднего» человека — семья, спокойная, размеренная жизнь без катаклизмов, служение Отечеству, традиционная религиозность — разве они не заслуживают уважения?

Радикальная русская интеллигенция презирала мещанина, в начале века ему доставалось со всех сторон: с одной стороны — от Горького, с другой — от декадентов и символистов. Страстно обличал серединность и постепеновщину Д. С. Мережковский, склонный даже дьяволизировать мещанство. Вот что он, например, писал в открытом письме Н. А. Бердяеву: «Вам кажется, что для меня не решена проблема о дьяволе. Вы ошибаетесь: для меня эта проблема решена окончательно. Я не сомневаюсь в том, что „дух небытия“ есть дух косной середины, пошлости, плоскости: ведь пошлость есть не что иное, как абсолютное небытие, которое хочет казаться абсолютным, единственным бытием».

Нужно, однако, отдать справедливость Мережковскому: есть у него высказывания и другого рода: «Абсолютное мещанство — абсолютное свинство. Полно, так ли? Вся золотая жатва культуры — наука, искусство, общественность — не из этого ли мещанского навоза выросла? Нет ли праведного, мудрого, *святого* мещанства? Кто его не ругал, и кто победил?» [1]

Но эти справедливые слова — исключение. Пожалуй, единственный, кто к ним мог тогда присоединиться,— Василий Васильевич Розанов — «гениальный обыватель», по определению Бердяева. Блок «святого мещанства» не признавал, в этом была его правда поэта, но правда неполная. И к тому же такая позиция находилась в противоречии с иной традицией в русской литературе, не отвергающей обывателя, а приемлющей его. В этой традиции такие имена, как Пушкин, Гоголь, Лесков, отчасти Лев Толстой.

Сравним позиции по этому вопросу у Пушкина и Блока. В творчестве Пушкина 30-х годов — «средний человек», мелкий дворянин, обыватель — одна из главных, если не главная фигура. Он, с одной стороны, противостоит государству («бедный» Евге-

[1] Мережковский Д. С. Цветы мещанства. «Речь», 1908, 10 февраля.

пий в «Медном всаднике»), а с другой — стихии народного бунта (Гринев в «Капитанской дочке»). И тот, и другой переживают крушение личного счастья, и тот, и другой — жертвы катаклизмов: природного и социального. Пушкин глубоко сочувствует этим «средним» людям, более того, он пытается говорить от их имени. Отсюда — «Повести Белкина», в которых поэт, по выражению Аполлона Григорьева, «умалил себя до Белкина».

А теперь вернемся к бедной старушке. Почему же она в одной компании с «буржуем», с барыней в каракуле, с писателем-витией? Потому что она хоть и неимущая, но обывательница, привыкшая к своей бедности и приниженности. Она не хочет перемен, она — из «старого» мира, и поэтому Блок — против нее, хотя и явно сочувствует ее непониманию необходимости Учредительного собрания.

Но старушка-то не простая. Вспомним:

Там прикинешься ты богомольной,
Там старушкой прикинешься ты...

«Новая Америка»

Не встает ли за этой эпизодической старушкой сама Россия?

8

«Народ» в поэме Блока представлен разнообразно: это и уже упомянутая старушка, и уличный бродяга, Катька, Ванька, наконец, сами «двенадцать». Собственно, народ в этой поэме у Блока становится действующим лицом, до этого он был лишь объектом сочувствия:

В голодной и больной неволе
И день не в день, и год не в год.
Когда же всколосится поле,
Вздохнет униженный народ?

Эта «некрасовская» нота в сознании Блока соседствует с другой, «толстовской». Народ — не только объект сострадания, но он в своей «темноте» бывает ближе к истине, чем интеллигенция. «Надо вот сейчас понять,— пишет Блок в статье «Интеллигенция и Революция»,— что народ русский, как Иванушка-дурачок, только с кровати схватился и что в его мыслях, для старших братьев, если не враждебных, то дурацких, есть великая творческая сила».

Но в отношении Блока к народу в том роковом 18-м году был еще один аспект, далекий от двух первых. Аспект этот мог возникнуть только в «декадентскую» эпоху у человека, прошедшего «школу Ницше». Это восприятие народа как «новых варваров», призванных разрушить «старый мир», старую христианскую цивилизацию, это восхищение самим разрушением:

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем.

«Варварские массы», по Блоку,— носители «духа музыки». «Я утверждаю,— пишет он в знаменитой статье «Крушение гуманизма»,— что исход борьбы решен и что движение гуманной цивилизации сменилось новым движением, которое также родилось из духа музыки; теперь оно представляет из себя бурный поток, в котором несутся щепы цивилизации; однако в этом движении уже наблюдается новая роль личности, новая человеческая порода; цель движения — уже не этический, не политический, не гуманный человек, а *человек-артист*; он, и только он будет способен *жадно жить и действовать* в открывшейся эпохе вихрей и бурь, в которую неудержимо устремилось человечество».

Блок оказался плохим пророком: *человека-артиста* не получилось, получилось нечто совершенно другое — унылое одномерное существо, называемое Homo soveticus.

9

Был ли, однако, Блок демократом? Если под демократизмом понимать традиционное для русской интеллигенции народолюбие, то — да, а если приверженность к представительному правлению — нет. Парламентаризм для него наряду с патриотизмом — ценность буржуазная, и он не скрывает своего к нему отвращения. Ему непонятна и ненавистна сама идея представительства. «И почему другой может за меня быть? Я один за себя»,— записывает он в дневнике за 5 января 1918 года (т. е. перед открытием Учредительного собрания). И далее, в том же дневнике, под тем же числом: «Инстинктивная ненависть к парламентам, учредительным собраниям и пр. *Потому* что рано или поздно некий Милюков произнесет: Законопроект в третьем чтении отвергнут большинством».

Не знал Блок, что несколько поколений русских людей сменят друг друга, так и не узнав, что же такое настоящий, а не марионеточный парламент, и что придет время, когда столь ему ненавистные слова Милюкова будут звучать для нас как истинная музыка.

«Для художника,— записывает поэт 7 января 1918 года,— идея народного представительства, как всякое „отвлечение“, может быть интересна только по внешнему капризу, а по существу — ненавистна».

10

Принятие Блоком Революции было поступком не случайным и глубоко осмысленным. У него мы можем найти своего рода «философию Революции», основные поло-

жения которой были выработаны в среде, близкой к Блоку, еще во время «малой революции» 1905—1907 годов. Речь идет, разумеется, не о заимствовании, а некоем общем умонастроении, несомненно, повлиявшем на поэта. Прежде всего, революционный заряд большой силы содержался в «новом религиозном сознании», проповедниками и основными выразителями которого стали Мережковские. Стремление к радикальному духовному перевороту, к новой «религии Третьего Завета», к религиозному освящению общественности содержало имплицитно и оправдание революции. В статье «Революция и религия» Мережковский писал: «...единственный реальный путь к Царству Божьему, Боговластию есть разрушение всех человеческих царств, то есть величайшая из всех революций»[1].

Религиозно-мистическая философия революции вырабатывалась также мистическими анархистами. Характерна и публицистика недолго просуществовавшего журнала «Перевал» (1906—1907), стремившегося соединить «эстетизм» и «общественность». Остановимся на этом несколько подробнее, и не только потому, что в этом журнале участвовал Блок, а прежде всего потому, что идеи, высказанные на его страницах в те годы, поразительно схожи с блоковской «революционной идеологией» 1918 года. В первую очередь это относится к статье А. А. Мейера «О смысле революции»[2]. Несколько слов о ее авторе: Александр Александрович Мейер, религиозный мыслитель и публицист,— фигура очень характерная для русской интеллигенции начала века. Первоначально активный революционер, он затем обращается к религии, продолжая при этом симпатизировать революции. Он становится одним из теоретиков «мистического анархизма», а затем сближается с Мережковскими, очень его ценившими. Мысли, высказанные им в «перевальской» статье, почти совпадают с высказываниями Блока 18-го года[3]. Процитируем: «В революции есть музыка. В „явлении“ эта музыка не дана. Она скрыта за явлением. К ней нужно прислушаться.

Музыка революции — творческая буря. Отдаленным отзвукам отвечает ваша душа на эту творческую бурю. И только уловив в себе такой отзвук, можно постигнуть тайну революции. Факты и их толкования едва ли что-либо прибавят».

Революция, по Мейеру,— это творческий порыв, взрывающий норму жизни, это — момент свободы и праздник, пришедший на смену будням. «Кто постиг религиозно смысл „переворота“,— пишет он далее,— для того возможен новый угол зрения. Тот может сказать: праздник важнее будней, литургия больше монастырской трапезы, революция больше порядка. Но, конечно, не сама по себе, не своей „идеей“ и не своими настроениями, а тем, что она творит — общением в свободе».

Так и вспоминаются строки из «Двенадцати»:

Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!

А вот мнение Н. Минского о роли рабочего класса в Революции (статья «Идея Русской Революции»): «В сущности, рабочий класс представляет из себя последний резерв человечества, последний запас неистраченных свежих сил, и по отношению к мещанской культуре призван играть ту же роль, которую бодрые духом Германцы и Галлы сыграли по отношению к одряхлевшему античному миру».

Похоже на мысль о «варварских» массах — носителях «духа музыки»? Думаю, что да.

Из всех, высказывавшихся тогда на страницах «Перевала» о революции, пожалуй, наиболее двойственно к ней отнесся Максимилиан Волошин. Революционное насилие его явно страшило, но в то же время революция для него — историческая неизбежность, спорить с которой так же бессмысленно, как с грозой или ураганом. «Революции,— писал он,— это биение кармического сердца, потому что Карма — органический закон мирового равновесия идет ритмическими скачками и представляет непрерывную пульсацию катастроф и мировых переворотов».

«Случай» Волошина раскрывает любопытный парадокс: даже если поэт разумом — против Революции, подсознательно он может быть с ней: стихийность его души родственна стихийности Революции.

Подведем итоги. Та «философия революции», которую исповедовал Блок в 18-м году, была выработана в близкой к нему среде еще в годы «малой революции» 1905—1907 гг. Ее основные составляющие: понимание истории как «биения кармического сердца», стремление к «дионисийскому» экстазу, максимализм, ницшеанская этика «любви к дальнему». Многие, исповедовавшие тогда эти идеи, отшатнулись потом от Октябрьского переворота. Многие, но не Блок.

11

Что общего между Христом и Революцией? Некоторым уже сама постановка вопроса кажется кощунственной. Действительно, что общего между насилием, сущ-

[1] Мережковский Д. С. Не мир, но меч. СПБ, 1908, с. 80.
[2] «Перевал», 1907, № 8—9, с. 44—49.
[3] На это обратил внимание А. В. Лавров в своей статье о журнале «Перевал». См.: «Русская литература и журналистика начала XX века (1905—1917)». Л., 1984, с. 181.

ностью всякой революции, и проповедью Сына Божьего? Они полярно противоположны. Но вместе с тем возможно, например, понимание Христа как символа нового исторического Эона, а Его Воскресения — как метафоры революционного обновления. На таком символико-метафорическом понимании построена, например, поэма А. Белого «Христос воскрес».

Да и у Блока Христос — прежде всего символ нового мира, идущего на смену старому. Но смысл Его образа в поэме этим не исчерпывается. В дневнике поэта за 10 марта 18-го года («Двенадцать» уже написаны) есть такая запись: «*Если бы* в России существовало действительное духовенство, а не только сословие нравственно тупых людей духовного звания, оно давно бы „учло“ то обстоятельство, что „Христос с красногвардейцами“. Едва ли можно оспорить эту истину, простую для людей, читавших Евангелие и думавших о Нем».

Это высказывание интересно для нас не выпадом против «попов», а присоединением к духовной традиции «христианского социализма». Согласно этой традиции, Христос пришел в мир к бедным, неимущим, именно к ним обращена Его проповедь, более того, сам Он объявляется и первым социалистом. Идеи «христианского социализма» были довольно широко распространены в России в начале века, особенно во время первой русской революции. Сочувствие этим идеям высказывали тогда такие выдающиеся мыслители, как Н. А. Бердяев и С. Н. Булгаков. «Христианско-социалистическим» по программе было «Христианское братство борьбы», возникшее в 1905 году в Москве, его активными участниками были, между прочим, П. А. Флоренский и В. Ф. Эрн.

Затронуло это движение и рабочий класс: здесь прежде всего следует сказать о секте «голгофских христиан», появившейся в Петербурге и некоторых других городах. Один из ее основателей — И. П. Брихничев был корреспондентом Блока [1].

Социальный аспект проповеди Иисуса Христа подчеркивал и Эрнест Ренан, чью знаменитую книгу читал Блок в январе того же, 18-го года, незадолго до создания «Двенадцати». Вот что писал об этом Ренан: «К кому обратиться, на кого рассчитывать, чтобы основать царство Божие? Относительно этого мысль Иисуса никогда не колебалась. Что высоко у людей, в глазах Бога представляется мерзостью. Основатели царства Божия будут простые люди. Не надо богатых, книжников и священников: женщины, простолюдины, незнатные — вот его основатели. Великое знамение Мессии — это „благая весть“, несомая бедным».

Недаром в поэме «Двенадцать» предвестник появления Христа — это бродягв из первой главки:

Один бродяга
Сутулится,
Да свищет ветер...
Эй, бедняга!
Подходи —
Поцелуемся...

«Поцелуемся», потому что настал праздник на улице бедняков, «поцелуемся», потому что Спаситель близко.

Стремление соединить Евангелие и социалистическую доктрину игнорировало, однако, существенное противоречие между ними. Ведь для социалистической мысли бедность отнюдь не идеал, а то, что нужно преодолеть, и то, что в желанном будущем будет преодолено (хотя подсознательно социалисты, по крайней мере в то время, предпочитали бедность богатству). В Новом Завете, напротив, бедность, нищета являются ценностями сами по себе. В Евангелии, вероятно, впервые в истории, провозглашен значимым и желанным *ущерб*, без этого ущерба Божий мир не полон. Но здесь мы касаемся уже иной, более глубинной связи Христа с Социализмом и Революцией, связи, в полной мере осознанной тогда лишь Василием Васильевичем Розановым.

12

Розанов скрылся от Революции в Сергиев посад, где и умер в 1919 году. Здесь, у стен Троице-Сергиевой лавры, написал он свое литературное завещание — «Апокалипсис нашего времени». В этом произведении мы встречаемся почти со всеми розановскими темами: Христос, Россия, еврейство. Но темы эти всплывают на новом фоне, фоне Революции, которую Розанов воспринимает воистину апокалиптически.

Та «брань с Христом», которую Розанов ведет в этой книге, не нова для него: он заявил себя как противник Христа еще за десятилетие до этого, в знаменитом своем докладе «Иисус Сладчайший и горькие плоды мира», прочитанном на заседании Петербургского религиозно-философского общества в 1907 году. По Розанову, «в Христе прогорк мир», Иисус для него, прежде всего, акосмичен, а христианское учение можно назвать, используя более позднюю терминологию Альберта Швейцера,— миро- и жизнеотрицанием. Христос, по Розанову,— это первый нигилист, его нигилизм в сущности более разрушителен и радикален, чем нигилизм большевиков. Вот как он говорит об этом: «Христос не посадил дерева, не вырастил из себя травки; и, вообще, он „*без зерна* мира“; без — *ядер*; без — *икры*; не травянист, не животен; в сущности — не бытие, а почти призрак и тень, каким-то чудом пронесшийся по земле. Тенистость, тенность, пустынность Его, небытийственность — сущность Его».

Отношение Розанова к Иисусу, как вообще ко всему,— *страстное*. Вот уж про него не скажешь, что он «не холоден и не горяч».

Тонкой, но прочной нитью, по мысли Розанова, связаны Христос и большевизм. И такие же невидимые, но прочные нити связывают «Святую Русь» с Русью «бунташной», русского странника и русского разбойника. Целиком этому посвящена главка «Христос между двух разбойников». Два разбойника на Голгофе: уверовавший и похуливший Христа символизируют, по Розанову, две ипостаси русской души: «И висеть, висеть Христу, неизбывно висеть между этими двумя разбойниками, именно *этими*, никакими — еще...»

Розанов, как и Блок, утверждает, что есть тайная связь между Христом и Социалистической Революцией, но, в отличие от Блока, он и против Революции, и против Христа. Если додумать мысль Розанова до конца, то в катастрофе, произошедшей с Россией, виновато, некоторым образом, христианство. Евангельское учение вонзило «жало в плоть», от него исходит влечение к нищете, ущербу, в конечном счете — к небытию. Несчастье России не в том, что христианство в ней «не удалось», а в том, что оно кое в чем слишком даже «удалось», более «удалось», чем в Европе.

И если прочесть «Двенадцать» глазами Розанова — то все верно: Христос действительно с красногвардейцами.

А что касается оценки Революции с моральной точки зрения, то тут у Розанова есть замечательное высказывание: «Как поправить грех грехом — тема революции. И поправляющий грех — горше поправляемого».

13

В записке о «Двенадцати» 1920 года Блок писал: «...в январе 1918 года я в последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе 1907 или в марте 1914». Говоря о 1907 и 1914 годах, Блок имел в виду циклы «Снежная маска» и «Кармен», но «стихия» в этих произведениях была совершенно иная, чем в «Двенадцати»,— любовь, страсть — стихия *женская*. Стихия «Двенадцати» — стихия *мужская*, здесь торжествует самодостаточное мужское начало, не нуждающееся ни в какой женственности. Начало деструктивное, разрушительное. Женственность в поэме не просто унижена, она уничтожена, и всякие сожаления об убитой Катьке недостойны мужчины, недостойны сурового революционного братства красногвардейцев.

То, что поэзия Блока развивалась под знаком некоего женского начала, известно всем. Оно выступает у поэта под разными именами, разными обличиями — Прекрасная Дама, Незнакомка, Фаина из «Песни Судьбы», но все они так или иначе обозначают одно — женственность. Говоря об этой теме в творчестве Блока, чтобы впредь не перечислять многие имена, назовем это женское начало одним словом, заимствованным у Карла Юнга,— «Анима». «Анима» — то есть душа, есть, по Юнгу, женское начало в человеческой психике, противостоящее «Анимусу» — началу мужскому. Соотношение их в блоковском «мифе» — тема захватывающая, но требующая отдельного обстоятельного разговора, поэтому ограничусь лишь некоторыми предварительными замечаниями. «Анима» у Блока — двуипостасна: одну ее ипостась можно назвать «небесной» или «божественной»: это — Прекрасная Дама, Царевна, Дева (первого тома). Вторая ипостась — земная, страстная, проявившаяся ярче всего в цикле «Кармен» и в образе Фаины из «Песни Судьбы». С архетипом «Анима» связан у Блока и образ России, причем связан с обеими ее ипостасями — небесной и земной.

В цикле «На поле Куликовом» «Анима» — это Русь и Богородица одновременно. Характерно, что Русь для Блока — это не мать, как в народном сознании, а Жена — в высоком, архаическом смысле этого слова:

О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь.

Отношение Блока к Руси лишено какого-либо оттенка сыновства. Это отношение не сына к матери, а рыцаря, так и хочется сказать — к даме, если бы это слово не звучало так пошло в этом контексте. Русский воин в куликовском цикле скорее похож на европейского рыцаря, так мог чувствовать на Куликовом поле какой-нибудь итальянец Дуджа, предок Тютчева, как известно, участвовавший в этой битве.

В «Двенадцати» Русь — это просто баба:

Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь —
В кондовýю,
В избянýю,
В толстозадую!

Так что же, «Двенадцать» — это полюс наибольшего удаления Блока от Вечной Женственности, от «Анимы», растворение в мужской, даже можно сказать — в мужицкой стихии? Не совсем так. Женственная «Анима» присутствует в поэме, только неявно. В самом деле, вслушаемся в знакомые строки:

[1] Социалистические настроения проникали и в среду рядового духовенства. Вот, например, высказывание одного сельского священника на 1-м крестьянском съезде: «Если б был жив сейчас Христос, Он был бы среди нас. Он всегда стоял за угнетенных, Он был первый социалист». (Цит. по статье: Антонов М. «Христос и революция». «Миссионерское обозрение», 1906, № 4. с. 586.)

НЕЖной поступью надвьюЖНОЙ,
СНЕЖной россыпью ЖЕМчуЖНОЙ...

Те же звуки, что и в словах «женский», «женственность». Могут возразить: такой аргумент «от фонетики» — сомнителен. Но если мы вспомним слова Блока о Христе, о том, что он иногда ненавидит «этот женственный призрак», то все встанет на свои места. В Христе из «Двенадцати» есть женское начало, божественная «Анима».

14

Так можно ли назвать «Двенадцать» великим произведением? Да, несомненно. И если исходить из художественных достоинств, и потому, что это — не просто поэма, а поэма-миф, составная часть некоего сверхтекста, блоковского мифа о России. И вместе с тем, эта поэма — *преступление* в сфере духа, ибо в ней содержится оправдание насилия, а следовательно, и *оправдание зла.*

Мы привыкли к пушкинской фразе о том, что «гений и злодейство — две вещи несовместные». В основе это, действительно, так: зло как начало разрушительное противоположно творчеству. Но если гений и не может быть злодеем, то он может в силу своей гениальности *понимать злодейство* и даже в какой-то степени принимать его. Корпускулы зла, проникая в сознание гениального человека, производят там разрушительную работу, так возникает явление «темного гения», явление, впервые заявившее о себе в европейском романтизме. С этой «темной духовностью» непосредственно связана тема демонизма. Его искушения были знакомы Блоку. Более того, саму поэзию (Музу) он считал демонической:

И когда ты смеешься над верой,
Над тобой загорается вдруг
Тот неяркий, пурпурово-серый
И когда-то мной виденный круг.

Блок пытался осмыслить демонизм. Очень важное высказывание есть в его дневнике 19-го года: «Всякая культура — научная ли, художественная ли — демонична. И именно, чем научнее, чем художественнее, тем демоничнее. Уж конечно, не глупое профессорье — носитель той науки, которая теперь мобилизуется на борьбу с хаосом. Та наука — потоньше ихней.

Но демонизм есть сила. А сила — это победить слабость, *обидеть* слабого» [1].

Как понимать это высказывание? Прежде всего в свете (тут уместнее сказать — в «темном луче») статьи «Крушение гуманизма». Характернейшей особенностью отходящей в прошлое гуманистической эпохи Блок считает индивидуализм. А что такое демонизм, как не крайний индивидуализм, открывающий в себе возможность зла? Но почему же, по Блоку, всякая культура демонична? Ответ на этот вопрос дает анализ всей этой дневниковой записи. Далее Блок говорит в ней о неком крестьянине Федоте, принявшем участие в разграблении Шахматова. Демонической личностью при этом Блок считает себя, а «несчастного Федота» — обиженным, *слабым.* Поэт, по существу, говорит здесь о социальном корне демонизма. Вот его выводы: «Так, значит, я — сильнее и до сих пор, и эту силу я приобрел тем, что у кого-то (у предков) были досуг, деньги и независимость, рождались гордые и независимые (хотя в другом и выродженные) дети, дети воспитывались, их научили (учила кровь, помогала учить изолированность от добывания хлеба в поте лица) тому, как создавать бесценное из ничего, „превращать в бриллианты крапиву“, потом — писать книги и... жить этими книгами в ту пору, когда не научившиеся их писать умирали с голоду».

Культура возможна благодаря социальной несправедливости — вот мысль Блока [1]. Можно, осознав этот «грех», искупить его, «возвратив свой долг народу», а можно пренебречь этим, приняв социальную несправедливость как должное, то есть признав право на зло, а это и есть демонизм. Вот почему культура чем художественнее, тем демоничнее [2].

«Двенадцать» — это разрыв Блока с индивидуализмом, а следовательно, с демонизмом, попытка слияния с народной стихией. Но «поправляющий грех — горше поправляемого». Зло демонизма замещается злом, творимым пробудившимися к политической жизни «варварскими массами», носителями «духа музыки». «Демон» изгоняется при помощи «бесов».

Блок не был полностью и до конца «дитем добра и света», но назвать его «темным гением» тоже было бы неверно. Скорее период 18—19-го года, когда были написаны «Двенадцать», «Катилина», «Крушение гуманизма», можно считать временным *помрачением души.*

Потом наступило отрезвление, но разочаровался Блок не столько в народной стихии, сколько в государстве, говорившем как бы от имени народа. Не знаю, насколько можно доверять Георгию Иванову, утверждавшему, что Блок перед смертью требовал сжечь все экземпляры «Двенадцати», но к его словам о роковой роли поэмы в жизни поэта стоит прислушаться: «За создание „Двенадцати“ Блок расплатился жизнью. Это не красивая фраза, а правда. Блок понял ошибку „Двенадцати“ и ужаснулся ее непоправимости. Как внезапно проснувшийся лунатик, он упал с высоты и разбился. В точном смысле слова он умер от „Двенадцати“, как другие умирают от воспаления легких и разрыва сердца».

---

[1] Ср. сходное высказывание Вячеслава Иванова в статье «Лик и личины России»: «...вся человеческая культура создается при могуществе и всепроникающем соучастии и содействии Люцифера».

[1] Блок тут, собственно говоря, неоригинален. Идея о «цене культуры» была высказана еще в «Исторических письмах» Лаврова.

[2] Эту дневниковую запись анализировал также Анатолий Якобсон. Вывод, который он из нее делает, что Блок в жизни думал «прямо *противоположно* своей демонической догме».

Анатолий Барзах

«РОКОТ ФОРТЕПЬЯННЫЙ»

Мандельштам и Анненский

Павлиний крик и рокот фортепьянный.
Я опоздал. Мне страшно. Это сон.

Стихотворение Мандельштама «Концерт на вокзале» начинается лермонтовской и заканчивается тютчевской «цитатами». А посредине, в самой сердцевине спрятана еще одна, не столь очевидная перекличка — со стихотворением Анненского «Он и я» («Но страстно в сумрачную высь // Уходит рокот фортепьянный»). Данное совпадение почти наверняка является случайным. Преднамеренность здесь как бы второго порядка: текст Мандельштама отсылает к Анненскому, но не прямо, а опосредованно; суть этой опосредованности мы и попытаемся выявить.

У Анненского на выражение «рокот фортепьянный» накладывает неизгладимый отпечаток особая система его лексики, особенность всего строя его стихов — и не только стихов, но и личности, поведения, которую вслед за современниками можно было бы — весьма условно и приблизительно — обозначить как «изысканно-утомленную», «чопорную», «с изломом»,— та система, которая, сочетаясь, вступая в противоречие со знаменитой «вещностью» Анненского, и составляет нерв своеобразия его поэзии. Элементы этой системы, бросающие семантическую тень на рассматриваемое словосочетание, достаточно насыщенно представлены в первых же строках стихотворения «Он и я»: «истомой розовой», «страстно в сумрачную высь» и т. п. В этом контексте «рокот фортепьянный» приобретает некий романтически-театральный оттенок.

В «Концерте на вокзале» тот же «рокот» звучит совсем по-другому. Здесь в нем совмещены два важнейших семантических полюса, он дан как виртуальный синоним «рыка» и «грохота». Возможность синонимии *рык-рокот* фиксируется соотнесенностью с «криком», причем именно со звериным (птичьим): «павлиний *крик* и *рокот* фортепьянный». Утрируя, можно сказать, что в этом соседстве фортепьяно как бы приобретает звериные черты. Возможная трансформация *рокот-рык* из случайного звукового соответствия превращается в своего рода виртуальную синонимию. А поскольку для Мандельштама «звериная» тема, особенно в связи с образом «века-зверя», «умиранья века»,— одна из важнейших, степень реальности указанной синонимии существенно возрастает.

В том же слове «рокот» мерцает еще одна тень, еще одно созвучие: «грохот». Точнее, так же, как и в случае с «рыком», речь идет о некоем смысловом поле, более или менее тяготеющем к данному слову. Если для «рыка» это была звериная символика, то для «грохота» — машинная, железная. Этот «грохот» имплицитно присутствует в стихотворении через обыденное представление о вокзале с его шумом, суетой; железная дорога вообще — это *звучащий* по преимуществу образ: стук колес, свистки паровоза («И снова паровозными свистками // Разорванный...»). Но тут же эта звуковая тема осложняется соотнесением с музыкой: «...скрипичный воздух слит». Вокзально-железное — с его неизбежным, неизбывным хаосом, с его хаотическим, разорванным звуком — оказывается включенным в единство происходящей мистерии, гармонизируется:

Железный мир опять *заворожен.*
На *звучный* пир, в элизиум туманный
Торжественно уносится вагон.

Эти строки непосредственно предваряют анализируемое нами выражение, тем самым еще более отягощая семантику гармо-

---

Анатолий Ефимович Барзах (род. в 1950 г.) — физик. Публикуется впервые.

нического грохота — рокота фортепьянного. Вспомним в связи с этим ту же тему «хаоса-гармонии» в стихотворениях «Я по лесенке приставной...» и «Я не знаю, с каких пор...», где она выходит на первый план: «В этой вечной *склоке* ловить // Эолийский чудесный *строй*». Тема для Мандельштама очень важная, особенно если учесть ее насыщенность дионисийско-ивановскими ассоциациями: и случайно ли характеристикой «хаоса» у Мандельштама становится столь подозрительно дионисийский атрибут — «разорванность»? Ассоциации эти были отнюдь не чужды Мандельштаму: вспомним хотя бы «Оду Бетховену», текст которой совершенно недвусмысленно отсылает к Вяч. Иванову. Этот намек тем более уместен в связи с темой *музыки* в «Концерте на вокзале», в связи с тем роковым и пророческим звучанием, которое приобретает здесь «рокот фортепьянный»: именно «музыка» замещает в последней строке тютчевские «веру» и «молитву». Через эти ассоциации нить протягивается и к блоковским образам «хаоса», «гармонии», «музыки», наполнявшим его послереволюционные статьи и непосредственно связанным с той же ницшеанско-ивановской символикой. Для Мандельштама этот семантический узел был напряженно актуален, о чем свидетельствует, в частности, его статья «Барсучья нора». Его не могли не привлекать поразительные смысловые «какофонии» Блока: от знаменитого «мотора» до «белого венчика из роз». В мандельштамовском «революционном классицизме» есть много точек соприкосновения с тем чувством событий, которое породило послереволюционную «какофонию» Блока. В «Концерте на вокзале» — не менее рельефно, чем в «Шагах командора»,— «пласты времени легли друг на друга в заново вспаханном поэтическом сознании». Здесь тот же прием столкновения двух лексических плоскостей: Аониды — и свистки паровоза.

Главной темой стихотворения «Концерт на вокзале» — как и всей поэзии Мандельштама 20-х годов — становится история: речь идет о конце целой эпохи. «Хрупкое летосчисление нашей эры подходит к концу» — не просто конец века, fin de siècle, о котором говорится в «Музыке в Павловске», а конец той самой *нашей эры*, начало которой — Рождество Христово. Мандельштам не творит, подобно Блоку, новый миф, и, тем не менее, тут намечается еще одна ниточка. Выбор Блоком (и, косвенно,— Мандельштвмом) эпохи гражданских войн в Риме, эпохи зарождения христианства в качестве своего рода символа «роковых минут» истории («Катилина», «Двенадцать») непосредственно перекликается со стихотворением Тютчева «Цицерон». В своей первой и самой громкой послереволюционной статье «Интеллигенция и революция» Блок прямо цитирует это стихотворение: «Блажен, кто посетил сей мир...»

Таким образом, в рассматриваемый семантический узел «хаос-гармония-музыка-революция-история» оказывается вовлеченной и тютчевская поэзия, что делает еще более весомым ее присутствие в «Концерте на вокзале». Этот узел отнюдь не чужд и самому Тютчеву с его «шевелящимся хаосом», с его политическими статьями, в числе коих и статья с характерным названием «Россия и революция». Отметим, что и архаизмы «Концерта на вокзале» имеют своеобразную тютчевскую окраску: «На звучный *пир*, в *элизиум* туманный...».

Словосочетание «рокот фортепьянный» оказывается как бы на пересечении сплетенных, оспаривающих друг друга тем: умирание века (звериная семантика), хаос-гармония (железное-музыкальное), музыка-революция, гибель музыки (поэзии) вместе с веком, неприкаянность поэта и поэзии (отторгнутость, «последнесть»: «Я опоздал. Мне страшно...»). Здесь как бы сталкиваются эти ключевые темы, свертываются, чтобы вновь вьяве предстать в последующих строках: «...весь в *музыке* и *пене* // *Железный* мир так нищенски дрожит...». Железный мир вокзала — в пене, как загнанный конь из стихотворения «Нашедший подкову», где целой вереницей образов толкуется о продлении за грань, бытии после смерти: все кончено, но, каким-то неведомым образом — в повороте шеи, в ощущении тяжести — еще остается *последнее*, уже не укорененное, лишенное опоры, нищее, нищенское, дрожащее, последнее. «В последний раз» — на тризне, так собственной тризне: так и век-зверь — не убит, а бессильно лежит с переломленным позвоночником, «усыхающий довесок», лишенный живительной, животворящей связи...

Образ грани, перелома реализуется в образе вокзала: вокзал — это всегда грань, грань миров, не принадлежащая ни одному из них; это прощание и нежная жалость и к оставленному, теряемому позади, и к уходящему, теряемому впереди; это образ смерти (недаром — «в элизиум туманный»).

«Железный мир», дрожащий в пене и музыке, как бы замещает здесь «века-зверя»: он также обречен, гибнет, также окрашен особой мандельштамовской нежностью, состраданием. Связь эта укрепляется тем, что читателю слишком хорошо знакомо промежуточное словосочетание: «железный век». Самостоятельная значимость этого виртуального медиатора заключается в той семантической нагрузке, которую оно несет как цитата, как почти устойчивое выражение. Архаичность его, дезавтоматизированная в контексте мандельштамовского «революционного классицизма», подкрепляется знаменитой строкой Баратынского: «Век шествует путем своим железным»,— не забудем, что строка эта начинает стихотворение «*Последний* поэт». И вновь Блок, «Возмездие», поэма о конце века, о гибели: «*Век* девятнадцатый, *железный*,//Воистину жестокий век!» (Характерно, что «Музыка в Павловске» начинается прямой цитатой из того же «Возмездия»: «Я хорошо помню *глухие годы России* — 90-е годы — ...*последнее* прибежище *умирающего века*».)

Итак, в виртуальной цитате «железный век» мы находим те же аллюзионные слои, которые прежде были отмечены нами в связи с темой «хаоса — гармонии»: античность, русская философская лирика XIX века и символизм с его историософией. При этом следует заметить, что и в творчестве «архаистов», и в творчестве символистов особый акцент делается на рецепцию, интерпретацию античности: классическое оказывается непрерывным во времени, живым. В этом контексте весьма уместна фигура Анненского — филолога-классика, переводчика Еврипида, автора квази-античных пьес,— и это первый, пока достаточно неопределенный намек на возможность значимого присутствия Анненского в стихотворении Мандельштама. Но вглядимся пристальнее — и следы этой *тени* начнут явственно проступать на шероховатой поэтической ткани.

Прежде всего, возвращаясь к теме «конца века», теме глухих 90-х годов, заметим, что не последнюю роль при ее формировании в «Шуме времени» играет музыка, соотнесенная с такими именами, как Чайковский и Рубинштейн. «Львиный Антон» — образ, который даже в словесной аранжировке коррелирует с «рокотом фортепьянным». Внимательнее вслушиваясь (с оглядкой на прозу) в мандельштамовский «рокот фортепьянный», мы улавливаем в нем и эти звуки, эти имена. Он оказывается вполне сопоставимым с «рокотом фортепьянным» у Анненского — как конкретность, как характеристика жизни определенного периода, как переживание-вещь. Ведь Анненский, помимо той «воинствующей филологии и героического эллинизма», которые Мандельштам связывает с его именем, был для Мандельштама неотрывен и от самой эпохи: «Все спали, когда Анненский бодрствовал. Храпели бытовики. Молодой студент Вячеслав Иванович Иванов обучался у Моммзена... И в это время директор царскосельской гимназии долгие ночи боролся с Еврипидом...». «Рокот фортепьянный» как звучанье умирающего века (на вокзале, на тризне) отнюдь не безразличен к «рокоту фортепьянному», раздающемуся как бы из сердцевины этого умирания — из стихов Анненского (ср. в том же стихотворении «Он и я»: «И безответна и чиста // За нотой умирает нота»). Но нить, связующая здесь Анненского с Мандельштамом, тянется дальше. Дело в том, что «вокзал», «железная дорога» — это яркие, узнаваемые элементы поэтического мира Анненского. Вспомним «Трилистник вагонный», «Лунную ночь на исходе зимы», «Прерывистые строки». Вспомним и постоянные разъезды Анненского в качестве инспектора Петербургского учебного округа, нашедшие отражение даже в подписях под его стихами: «Вологодский поезд», «Почтовый тракт Вологда — Тотьма»; саму его жизнь в Царском Селе, что также подразумевает необходимость железнодорожного сообщения; наконец, потрясшую современников скоропостижную смерть Анненского на ступеньках Царскосельского *вокзала*. Последнее, пожалуй, наиболее существенно для нас.

Стихотворение Мандельштама пронизано образами конца, смерти, разложения, послесмертия: элизиум, родная тень, на тризне милой тени, гниющие парники, твердь кишит червями. Лермонтовская и тютчевская цитаты также обращают нас к тому же кругу образов. В контексте «умиранья века» внезапная смерть Анненского (накануне, на грани, на вокзале) приобретает символическое значение. Вспомним, что Блок предваряет поэму «Возмездие» — темы которой были отнюдь не безразличны для Мандельштама, и прежде всего тема «конца века», той «духовной колыбели», с которой столь тесно связан сам Мандельштам,— предваряет поэму, мыслившуюся автором как произведение о сломе эпохи, о кризисе, перечислением символических смертей, пришедшихся на 1910—1911 годы, годы написания основной части «Возмездия». Смерть Комиссаржевской, Толстого, кризис символизма, рождение акмеизма — все это было важно и для Мандельштама. Даты спрессованы плотно: Анненский умер всего за несколько месяцев до смерти А. Л. Блока, явившейся непосредственным толчком к началу работы над поэмой.

Смерть Анненского — учителя акмеистов — накрепко соединена со смертью века; Анненский в каком-то смысле — «последний поэт».

Эта символика явно возникает в значительно более поздних стихах другого поэта, теснейшим образом связанного как с Блоком, так и с Мандельштамом,— у Ахматовой. Я имею в виду прежде всего стихотворение «Учитель». В собрании стихов Ахматовой, хранящемся в ЦГАЛИ, это стихотворение открывает цикл «Венок мертвым»: поэзия Анненского, судьба Анненского, смерть Анненского для Ахматовой — как бы эпиграф к гибели эпохи, к судьбе и гибели ее поколения, «вкусившего мало меду». Как с еще большей определенностью сказано в одном из вариантов стихотворения «Учитель»: «Он был предвестьем, предзнаменованьем // Всего, что с нами позже совершилось». Для нас важно, что одно из центральных стихотворений этого цикла посвящено Мандельштаму. (Две строфы из него были объединены Ахматовой со стихами, посвященными Цветаевой и Пас-

тернаку, под общим заглавием «Из цикла „Милые тени“» — ср. «на тризне милой тени» в «Концерте на вокзале».)

В основном корпусе стихов Ахматовой «Учитель» также входит в своего рода цикл, непосредственно примыкающий к «Поэме без героя»,— в цикл стихотворений, датированных главным образом 40-м годом, темой которого становится — как и в Поэме — «погребенье эпохи». Эта тема — центральная в позднем творчестве Ахматовой. И одно из важных мест занимает здесь образ Блока — «трагического тенора эпохи». Сама Ахматова указывала на связь своей Поэмы с «Возмездием»; и хотя она высказывалась о поэме Блока как о том, от чего сознательно отталкивалась, нельзя не увидеть общность темы: «возмездие», «обвинение культуры», гибель эпохи. Нельзя не почувствовать общность символико-музыкальной методологии, особенно если иметь в виду не столько саму поэму Блока, сколько предисловие к ней.

Не менее значим в контексте данной темы для Ахматовой и образ Мандельштама. В «Поэме без героя» этот образ занимает одно из ключевых мест: начиная с датировки первого вступления и фразы «Я к смерти готов». (Небезынтересно, что «курсивная строфа», в которой возникает этот «чистый голос», прямо отсылает к «единому музыкальному смыслу» Блока — и Мандельштама: «Как одну музыкальную фразу // Слышу...». При этом сам образ единства реальности как «единства музыкальной фразы» восходит к Бергсону — мыслителю, оказавшему явное и значительное влияние на Мандельштама. Для стиля ахматовской тайнописи неслучайность такого сцепления отнюдь не исключена.) Еще одно место Поэмы следует упомянуть: слова о «будущем гуле» из 3-й главы, перекликающиеся как с блоковским образом «музыкального напора», так и с мандельштамовским его осмыслением («...Блок слушал *подземную* музыку русской истории...»). Не менее важна и прямолинейная формулировка несколькими строками ниже: «Приближался не календарный — // Настоящий Двадцатый Век». Мандельштамовский *Век* гибнет также отнюдь не по календарю, хотя и без такой точной датировки, как у Ахматовой. Такая точность, да и сама дата заставляют вспомнить опять же предисловие к «Возмездию», с его развернутым обоснованием близкой и не менее точной даты. Симптоматично также появление в качестве эпиграфа к *Эпилогу* Поэмы строк одного из *последних* стихотворений Анненского. Эпиграфы к Поэме важны не только — а иногда и не столько — своим содержанием, сколько самим фактом называния автора и той перекличкой строчек, образов, судеб, которая переодевает их самих в каком-то странном маскараде, причудливо смещая акценты.

Не менее важен образ Анненского для ахматовского Элизиума — Царского Села. На это прямо указывает хотя бы «Царскосельская ода»:

> Царскосельскую *одурь*
> Прячу в ящик пустой,
> В роковую шкатулку,
> В *кипарисный ларец...*

«Царскосельская ода» интересна для нас и как картина *рубежных* лет с их «предчувствиями, предзнаменованиями». В этом своем качестве она непосредственно связана с соответствующими картинами «Возмездия» и «Шума времени». И, наконец, датированное все тем же 40-м годом стихотворение «Мои молодые руки» возвращает нас к предмету нашего изучения — к «Концерту на вокзале»:

> Свидетелей знаю твоих:
> То *Павловского вокзала*
> *Накаленный музыкой купол...*

Для нас особенно существенно, что образ этот, немыслимый вне связи с Мандельштамом, возникает все в том же контексте грани веков, смерти века, предчувствий крушения мира — в том контексте, для которого столь определяющей оказывается фигура Анненского. Характерно, что, обдумывая план автобиографической книги «Мои полвека», Ахматова предполагала посвятить одну из ее глав (последнюю!) Павловскому вокзалу — наряду с главами, посвященными Мандельштаму, Царскому Селу, Петербургу. Сохранившийся набросок к этой главе — о запахах Павловского вокзала — странно перекликается со строчкой из «Концерта на вокзале»: «И запах роз в гниющих парниках». Заметим, что к концу 30-х годов относится утраченная статья Ахматовой, посвященная смерти Анненского. Эта статья, по-видимому, явилась как бы прологом к той теме «послесмертия» и «возмездия», к тому «историческому символизму», которым отмечена новая эпоха ее творчества.

История гибели Вс. Князева, легшая в основу «Поэмы без героя», перекликается с историей смерти Анненского (точнее, с ее «семантикой»). Это смерть на *пороге* новой эры, что закрепляется фактическим местом драмы: в одном случае — вокзал как символ грани двух миров, в другом — порог квартиры возлюбленной с еще более прямыми коннотативными возможностями, явно реализованными в тексте Поэмы. Вспомним, что то же слово «порог» как бы просвечивает в стихотворении Мандельштама через виртуальное развертывание ключевой тютчевской цитаты («В последний раз вам вера предстоит: // Еще она не перешла порогу...»).

Я так подробно остановился на образе Анненского у Ахматовой не только в связи с очевидной тематической близостью ахматовского и мандельштамовского циклов. Для них обоих творчество Анненского было одним из главных ориентиров, образцов, было тем, из чего, в частности, эта общность и складывалась.

Итак, образ Анненского возможен как глубинная, теневая тема «Концерта на вокзале». Здесь речь не идет о какой-либо тайнописи (вроде ахматовской): ничто не зашифровано, не спрятано, но дано «в ослабленном существованье». На фоне всех этих нитей, узелков и оглядок словосочетание «рокот фортепьянный» у Мандельштама как бы вбирает в себя «рокот фортепьянный» Анненского, и рядом с павлином, розами, Аонидами и Элизиумом оно приобретает столь, как нам поначалу казалось, чуждый ему оттенок изысканности и театральности, который неотрывно связан для Мандельштама с «календарным» концом века и потому особенно уместен в стихотворении о его «некалендарном» конце.

Чуть дальше в тексте обнаруживается еще одно словосочетанье, на которое ложится все та же «милая тень», тень Анненского: «Железный мир *так нищенски* дрожит». Слово «нищенский» употреблено здесь почти в прямом смысле, но после Анненского («Этот *нищенски*-синий // И заплаканный лед», «Иль я не весь в безлюдье скал // И в черном *нищенстве* березы») оно уже невозможно без оглядки на него. Эта связь укрепляется наречием «так», употребление которого совершенно ненагружено в лексике Мандельштама, и в то же время является очень заметной, узнаваемой особенностью поэзии Анненского (Анненский весь — *«такой»*...). Узнаваемая связь не менее зыбка, чем та, которая послужила поводом для всех этих рассмотрений. Однако тень, возможность остаются — это как бы иное бытие, столь не похожее на то, что «можно пощупать руками», такое никак-не-вспомнить-знакомое, как тень невидимой птицы или шум дождя в темноте...

1982

А. М. Вершик[1]

ПОТАЙНОЙ ДАЙДЖЕСТ ВРЕМЕН ЗАСТОЯ

Памяти С. Ю. Маслова

Огромная часть опубликованных в последние годы и написанных ранее литературных, публицистических, исторических и других произведений «вышла» в шестидесятых и семидесятых годах в самиздате и распространялась среди тысяч, если не миллионов, читателей. Самиздат зародился в конце пятидесятых годов, позже к нему присоединился тамиздат — книги, журналы, статьи, изданные за рубежом. Для будущего историка изучение истории самиздата, его распространенности и влияния на общественно-политическую и культурную жизнь страны будет захватывающей темой. Идеи, высказанные там, вынашивавшиеся в различных по своей направленности дискуссиях, сыграли выдающуюся роль в формировании того, что теперь называют перестройкой, да и в целом — в формировании общественной и культурной мысли наших дней. Уже на ранней стадии самиздат начал оказывать ощутимое влияние на официальную, подцензурную литературу — его невозможно было игнорировать, хотя к этому стремились блюстители и охранители идеологического порядка. Это влияние было очевидно всякому, кто имел возможность и желание знакомиться с неподцензурной литературой. Рождение самиздата в некоторой, хотя и далеко не полной, мере утоляло огромную жажду свежего слова, свободной мысли, которых так не хватало все советские годы в жизни страны.

Если сейчас читатель или слушатель, оторванный ранее от источников самиздата (а такие, по-видимому, составляли большинство), испытывает почти растерянность от обилия обрушившихся на него материалов и произведений, столь непохожих на то, к чему он привык за десятилетия,— то нечто похожее случилось тридцать или двадцать лет тому назад с теми, кто знакомился с произведениями самиздата или тамиздата.

К началу семидесятых годов наряду с изданиями старой эмиграции появилось множество изданий освоившейся со своим положением новой эмиграции — несколько десятков журналов, серии книг и т. п. Этот поток, урывками, тайно проникавший в страну, соединялся с десятком-другим самиздатских журналов. Среди них — литературные, общественно-политические, религиозные... Жаль, что литературоведы, социологи, политологи еще не занялись их исследованием или хотя бы описанием. Эта многообразная и любопытная мозаика до-

[1] Вершик Анатолий Моисеевич (род. в 1933 г.) — доктор физико-математических наук, профессор ЛГУ. Живет в Ленинграде.

лжна стать известной сегодняшнему читателю. Боязнь «нелегальной» литературы, вбитая десятилетиями, страх перед нестандартной точкой зрения, слепота и даже враждебность к непохожему еще живы, несмотря на то, что мы все еще не без удивления находим замечательные (хотя далеко не все) произведения, вышедшие когда-то в самиздате и тамиздате, в наших лучших журналах.

В конце 70-х годов несколько ленинградцев договорились о создании машинописного журнала, целью которого было реферирование и рецензирование обширной неподцензурной, а также заслуживающей внимания официальной литературы, полемика, краткие обзоры и пр. То есть журнала, который по жанру более всего походит на реферативные научные журналы или, что менее точно,— на дайджест. От последнего это издание по замыслу отличалось тем, что оно состояло не только из выдержек и рефератов. По-видимому, идея издания была новой, подобного журнала до тех пор не было.

В осуществлении замысла приняли активное участие не только ленинградцы. Инициатором и наиболее активным участником был Сергей Юрьевич Маслов (1939—1982), математик, интеллектуал, яркий и независимый человек, трагически погибший в июле 1982 при не вполне выясненных обстоятельствах, а также математик, историк и общественный деятель Револьт Иванович Пименов (1931—1990).

После некоторых дискуссий журналу было дано название «Сумма», символизировавшее его объединительную направленность. С 1979 по 1982 год вышло 8 номеров журнала. Стоит привести эпиграф, печатавшийся на обложке почти всех номеров «Суммы»: «Всему свое время. Сегодня — время насаждать и врачевать, время собирать камни... Скромная цель этого издания — способствовать ориентации в бурной и противоречивой духовной жизни нашей страны, нескромная — искать пути к СИНТЕЗУ. Это стремление и составляет главный содержательный принцип журнала». Журнал рвспространялся с обычными для самиздата осторожностями — несколько десятков копий, в основном в Ленинграде и Москве. Одна из этих копий находится в университете в Беркли (США), вторая передается в один из московских архивов.

Журнал содержал разделы рецензий и рефераты: А. «Точка зрения», Б. «Обзоры и размышления», В. информационный раздел, в нем давались оглввления некоторых изданий, в основном самиздатских, справки, информация и пр. Тематически журнал охватывал множество вопросов — общественные проблемы, историю, философию и философию истории, литературу, искусство. Наибольшее внимание уделялось текущим общественным процессам, демократическому движению, национальному вопросу и национально-религиозному возрождению, правам человека, обсуждению конституции, истории, роли науки и искусства в обществе и др. Круг реферируемых и рецензируемых изданий был довольно широк, во всяком случае, по тем возможностям, которые были, и по тем правилам относительной безопасности, которые соблюдались. Список реферируемых журналов включал «Континент», «Вестник русского христианского движеиия», «Хронику текущих событий», «Синтаксис», «Русское возрождение», «Поиски», «Часы», «37», «Евреи в СССР», «Община», «Время и мы», исторические сборники «Память» и другие, всего более 20 журналов и изданий. Рецензировались самиздатские, тамиздатские и иногда официальные материалы и книги. Печаталось много специально написанных для журнала работ и статей.

Ниже мы приводим ряд материалов из разных номеров «Суммы» с целью дать представление о журнале, а также, и в первую очередь,— о самих этих публикациях. Мы старались выбрать из всего обширного материала (около тысячи страниц плотного машинописного текста) лишь самое характерное. Нелишне напомнить, что мысли авторов рецензий и статей совсем не обязательно разделялись издателями журнала. В основном авторы печатались под псевдонимами.

Намеренная информационная изоляция человека, которую пытались разрушить лишь немногие, привела в конце концов к тяжелому состоянию общества, в котором мифы заменяют знания, штампы — анализ, социвльные предрассудки — здоровый конструктивный подход. Нам не кажется, что монополия на информацию исчезла, вряд ли также, что создатели и инициаторы информационного и другого железного занавеса и дезинформационных кампаний не понимали, каковы будут последствия изоляционизма. Некоторым и сейчас хотелось бы вернуть порядки, когда мнения и разъяснения идут лишь «сверху вниз», когда чтение и тем более распространение и напечатание неподцензурных текстов рассматриваются как «опасное уголовное преступление», обязательно инспирированное спецслужбами Запада, подрывающее основы и прочее. Но несомненно также и то, что эти блюстители чистоты мысли потерпели поражение. Они надеются — временное. Но их сегодняшняя беспомощность дает нам еще одну возможность оценить преимущества свободы мысли перед охранительным мракобесием, выдаваемым за знание истины, преимущества разнообразия мнений и живых дискуссий перед убожеством омертвевших принципов.

С. ЛИПКИН. **Открытое письмо.** (Секретарям СП СССР, СП РСФСР, Московской писательской организации, членам редколлегий «Литгазеты», «Лит. России», «Московского литератора»). Авг. 1979, 10 стр.

⟨...⟩ не будучи составителем «Метрополя», я был знаком только с некоторыми работами альманаха. Из «Московского литератора» я сперва узнал, что произведения четырех писателей, мои в том числе, служат фиговыми листками, прикрывающими литературный срам, а затем та же газета опубликовала подборку отрицательных об альманахе отзывов почти 30 членов СП ⟨...⟩ Но вот последовали дни и недели, в течение которых кое-кто из осудителей стал заявлять знакомым и составителям устно, а один — письменно, что их отзывы газетой искажены, что не нравятся отдельные произведения, а в целом альманах хороший или даже очень хороший. Наконец я прочел весь альманах и, положа руку на сердце, могу теперь сказать: альманах действительно очень хороший. ⟨...⟩

«Московский литератор» опубликовал заявление С. Михалкова, касающееся меня: «Мне непонятна позиция С. Липкина. Представители национальных литератур, эпос которых он перенял и которые еще не вышли из печати (неграмотность фразы, уверен, принадлежит редакции, Михалков отлично владеет русским языком), задумываются сейчас над тем, а не следует ли им обождать, пока найдется другой Липкин». ⟨...⟩

Друзья меня спрашивают — жалею ли я о том, что из-за участия в альманахе «Метрополь» я оказался на старости лет в трудном положении. Да, жалею, жалею о том, что представлен в «Метрополе» весьма небольшим количеством стихотворений.

Анатоль Франс рассказывал о набожном акробате, который служил Богородице с помощью фокусов: иначе он не умел ей служить. Авторы альманаха — писатели, очень разные по манере письма, по кругу тем, по пониманию художественности. Но их сближает (если мне будет позволено применить к делам нашего цеха столь высокий термин) — экуменическое начало. Все авторы хотят, каждый по-своему, служить Богу, чье имя — Правда, и не хотят служить дьяволу, чье имя — Ложь.

С уважением — *С. Липкин.*

В. СОКИРКО. **Экономика 1990 года: что нас ждет и есть ли выход?** (ноябрь 1979, 22 стр.)

Провнализировав состояние нашей экономики, автор приходит к выводу:

⟨...⟩ простое экстраполирование предсказывает кризисную точку где-то на рубеже 1990 г., а с учетом непризнаваемой инфляции — в районе 1984 г., понимая под ней начало падения национального дохода на душу населения или, в марксистских терминах, начало абсолютного обнищания населения Советского Союза.

Однако анализ основных факторов — источников роста национального дохода — показыввет, что они уже и сейчас близки к исчерпанию, а это вызовет в скором будущем не только замедленное снижение нашего национального дохода, а может вызвать его ухудшение и привести к бунту, к социально-экономической катастрофе.

Эту статью автор послал в «Правду», сопроводив ее просьбой:

Я ⟨...⟩ прошу лишь одного: обсудите ее, раскритикуйте и убедите в беспочвенности и необоснованности изложенных в ней опасений. ⟨...⟩

Мои попытки обращаться с вопросами о надвигающемся кризисе к специалистам приводили их в ужас ⟨...⟩ запретностью самой темы. ⟨...⟩

Я пишу вам, хотя, честно говоря, и мне страшно.

(Перепечатка из «Хроники текущих событий», № 56.)

Десять лет «Хронике текущих событий» (Группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР, документ № 48, 27 апреля 1978). Печатается по журналу «Поиски», № 1/2, 1978.

Движение за права человека в СССР сформировалось более десяти лет назад под влиянием и в непосредственной связи с важнейшими внутренними и внешними событиями того времени. Одним из важнейших факторов в формировании этого движения стало основание информационного издания «Хроника текущих событий». Первый номер вышел 30 апреля 1968 года. На титульном листе его, так же, как и во всех последующих номерах, так же, как и теперь,— текст статьи 19 Всеобщей Декларации Прав Человека: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ». Десять лет существования «Хроники текущих событий» — это десять лет борьбы за гласность, с нетерпимостью и несправедливостью нашего общества, борьбы за его открытость, демократизацию и общую гуманизацию. Все эти годы и по сей день публикации «Хроники» являются наиболее объективным, полным и точным отражением фактов нарушения прав человека в СССР. Они широко используются как в СССР, твк и за рубежом при защите прав человека. В частности, «Эмнисти интернейшнл» регулярно публикует «Хронику текущих событий» на английском и других языках и широко использует ее материалы в своей деятельности по защите политических заключенных.

Все эти годы «Хроника» героически противостоит репрессиям и провокациям властей, неся тяжелейшие потери,— преследуются редакторы, издатели, те, кто собирает материалы для «Хроники», те, кто ее распространяет, и ее читатели. Одни из них сегодня в лагерях, другие были вынуждены эмигрировать, третьи продолжают свой ответственный, самоотверженный труд. И невозможно переоценить благородное воспитывающее значение «Хроники текущих событий» для всех участников правозащитного движения и бесчисленных читателей в СССР и за рубежом.

Е. Боннэр, С. Калистратова, М. Ланда, Н. Мейман, В. Некипелов, Т. Осипова, В. Слепак.

В. НЕКИПЕЛОВ. **Мысли о гражданстве.** «Поиски», 1978, № 4.

По поводу лишения П. Григоренко, М. Ростроповича и Г. Вишневской советского гражданства автор вспоминает предыдущие случаи (В. Тарсис, С. Аллилуева, В. Чалидзе, Ж. Медведев, А. Солженицын, В. Максимов) и настаивает: «Гражданство есть категория юридическая, а не политическая, общечеловеческая, но не партийная. ⟨...⟩ Добровольный выход из гражданства должен осуществляться беспрепятственно и безвозмездно. Недобровольное лишение не может иметь места ни при каких обстоятельствах».

В *послесловии* законодательные новшества, которые «на фоне государственных репрессий почти не режут притерпевшийся глаз. ⟨...⟩ К концу 1978 г. легальным и нисколько не тайным законодательным порядком в руках государственной власти сосредоточился набор эффективных мер, ни одна из которых на сей раз не требует доводить дело до суда. Вы можете *лишить* всякого гражданина СССР: а) орденов — через Верховный Совет; б) телефонной связи — через Минсвязь, на то есть и инструкция; в) ученой степени — через ВАК, по новому положению; г) работы — ⟨...⟩ бессчетными путями, в том числе лишением спецдопуска, объявив конкурс, переаттестацией и т. д. и т. п.; д) гражданства СССР — снова через Верховный Совет. ⟨...⟩ Чем кара менее символична, тем проще и ближе ходить за санкцией на нее, а жертве и негде выступить за себя. ⟨...⟩ Иному и одной такой «меры» достанет. А вот Александр Зиновьев прошел весь список от «а» до «д» — ни разу не соприкоснувшись, кажется, ни с одним представителем судебной власти. ⟨...⟩ Не закончено и обобщение как отечественной, так и братской социалистической внесудебной практики. В братской Чехословакии, например, найдены оригинальные решения с отключением не одних телефонов, а и воды, электричества и центрального отопления в квартирах правозащитников. Последняя мера, принятая вовремя, скажем, в январе, на наших широтах избавляет и от нужды лишать гражданства, зато распоряжение на этот счет отдает не Верховный Совет, а инстанции более низовая и легко доступная суровому голосу общественности — ЖЭК по месту проживания.

Или другой пример, из опыта братской половины Германии. Здесь сложился обычай отнимать у родителей, ведущих антигосударственный образ жизни, их детей. Изъятых детей передают активным общественникам в порядке партийной дисциплины, а указание об этом дается примерно на уровне райкома партии. ⟨...⟩

Принцип, согласно которому С ЧЕЛОВЕКОМ КАК ГРАЖДАНИНОМ ГОСУДАРСТВА НИЧТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СДЕЛАНО БЕЗ ГОСУДАРСТВА, НО ГОСУДАРСТВОМ МОЖЕТ БЫТЬ СДЕЛАНО ВСЕ,— уже не предлагается в виде парадокса, рассчитанного попугать либералов. Он тут, присутствуя во всех законодательных и беззаконных — равно! — новациях последних десятилетий, в качестве «соответственного», очевидного постулата, допущения, без которого якобы немыслим «закон и порядок». Такова последняя наша конституция, не отступает от нее и новейший «закон о гражданстве». ⟨...⟩

Информационные Бюллетени Рабочей Комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях. М., 1977—1979.

Комиссия в составе Вячеслава БАХМИНА (107497, М., Байкальская д. 46, к. 2, кв. 52), Александра ПОДРАБИНЕКА (в ссылке, 678730, Якутская АССР, Усть-Нера, до востребования), Феликса СЕРЕБРОВА (119361, М., Озёрная д. 27, кв. 109) и Леонарда ТЕРНОВСКОГО (113452, М., Балаклавский пр., д. 3, к. 6, кв. 431) создана 5 января 1977 г. при Московской группе «Хельсинки». Регулярно издается Информационный Бюллетень. В № 14 (5. 1. 79) публикуется краткий отчет *«Два года работы Комиссии»*.

«Комиссия стремится облегчить участь узников психбольниц и сделать все возможное для прекращения практики психиатрических репрессий». За два года послано более 70 писем в психбольницы, органы здравоохранения и прокуратуры. Комиссия выступает с обращениями к общественности и различным психиатрическим ассоциациям, пытается встречаться с врачами и работниками Минздрава, в ряде случаев оказывает материальную помощь узникам психбольниц и их родственникам. В Бюллетене помещены сведения о 66 лицах, подвергшихся психиатрическим преследованиям по идеологическим мотивам, в разделе «Розыск» помещены имена еще 157 человек, сведения о которых недостаточны. «Большую помощь Комиссии оказывает ее консультант, врач-психиатр А. Волошанович. Им проведено освидетельствование 33 лиц, подвергавшихся госпитализации или угрозе ее». Описаны многочисленные трудности в работе Комиссии, двое из ее членов были осуждены по уголовным обвинениям. Давление распространяется и на тех, кто обращается за помощью. Тем не менее, «к нам приходят, звонят или пишут люди, столкнувшиеся лицом к лицу с „карательной медициной“. И пока существуют ее жертвы, Рабочая Комиссия не может прекратить свою работу».

В Бюллетене регулярно сообщается о насильственно госпитализированных, об узниках психбольниц и лицах, недавно освободившихся; печатается хроника психиатрических репрессий прошлых лет. В приложениях публикуются тексты ряда юридических документов, обращений и писем.

В № 14—15 уделено место делу А. Подрабинека, приговоренного 15.8.78 к 5 годам ссылки за написание им книги *«Карательная медицина»*. Приложена запись подготовительной части судебного заседания по этому делу, наглядно иллюстрирующая предвзятость суда; приводятся тексты приговора, кассационной жалобы и ряд др. документов. В № 15 перепечатано письмо Генерального секретаря Всемирной психиатрической ассоциации, информирующее ее членов об образовании Комитета по рассмотрению случаев злоупотребления психиатрией. В состав Комитета входит представитель Чехословакии, среди юристов — консультантов Комитета — представитель Польши. В № 16 обращают на себя внимание *Свидетельские показания* В. НЕКИПЕЛОВА в защиту М. Кукобаки — кратко описывается биография Кукобаки, содержание его статей и свидетельства его «ненормальности»: «вывешивание портретов Сахарова и Григоренко является ненормальным» (зав. отделением Могилевской психбольницы Н. М. Драбкина), «бред физкультуры» (Кукобака занимался физическими упражнениями в коридоре института им. Сербского), «бред реформаторства» и «бред иностранных языков» и т. п. В № 17 (от 22.6.79) содержатся, в частности, материалы подробнейшего обследования Григоренко американскими психиатрами, не обнаружившими, конечно, никакого психического заболевания в настоящем или прошлом (обследование проводили независимо друг от друга три специалиста по разной методике, беседы с Григоренко и видеозапись отдельно изучали еще в отделе биометрических исследований Нью-Йоркского государственного психиатрического института).

Священник Глеб ЯКУНИН. **Московская патриархия и «культ личности Сталина»** (Часть 1). «Русское Возрождение», № 1, 1978, с. 101—137.

Рассматривается история участия Московской Патриархии в служении «культу личности», апофеозом которого явился Адрес к 70-летию Сталина. По мнению автора, Адрес является самым позорным документом за всю историю христианской Церкви. Отправной точкой «эскалации лжи, предела которой не видно и поныне», автор считает послание Тихона от 18.6 (1.7) 1925 г., в котором патриарх «признается» в антисоветской деятельности. Так впервые был применен принцип лжи во имя спасения Церкви. В 1930 г., во время тяжелых гонений на Церковь, митрополит Сергий дает интервью, в котором категорически отрицает факты закрытия храмов и преследований верующих и выступает против кампании Запада в защиту РПЦ. Именно с этого времени, считает автор, обман и лжесвидетельство стали постоянными компонентами всех выступлений официальных представителей РПЦ. В качестве примеров приводятся: статья митрополита Николая (Ярушевича) по поводу убийства в Катынском лесу 4,5 тысячи польских офицеров, заявление Патриарха и Синода, вносящее вклад в кампанию против «сбрасывания с американских самолетов зараженных насекомых».

Рассматриваются духовные критерии отношения Церкви и государства. Автор указывает, что РПЦ оказалась неподготовленной к крушению христианского государства, что руководство РПЦ продолжало жаждать «симфонии», в то время как «мир, по-видимому, окончательно дехристианизировался, а „симфоническая“ эпоха безвозвратно миновала... Положение Церкви в мире стало весьма похожим на положение в первые времена христианства». Вехами на пути духовного сближения Церкви и государства стали «Завещание» Тихона и Декларация от 29.7.1927 о легализации РПЦ. Такая политика привела бы к полному уничтожению легальной Церкви (к 1937 г. на свободе оставалось 4 епископа, действовало около ста храмов), если бы не начавшийся в середине 30-х годов постепенный поворот Сталина к «имперско-националистическому курсу» (введение офицерских званий, восстановление воскресений и т. п.). Этот процесс бурно активизировался в войну (обращение Сталина: «Братья и сестры!» — типичное начало проповеди) и достиг апогея в последние годы жизни Сталина. «Лошадь великого князя (Долгорукого) своим могучим крупом загородила здание Института марксизма-ленинизма (похожее на крематорий) и сиротливо сжавшуюся фигурку Ленина перед ним. Возникший на площади Моссовета „архитектурный ансамбль“ стал прекрасным символическим памятником радикальной политической переориентации страны». Психологическую предпосылку пассивности и фатализма восточного православия автор видит в подмене понятия «Божьего *попущения* понятием Божьего *соизволения*».

М. БЕГИН. **В белые ночи** (перевод с иврита). Тель-Авив, 1972.

Должен ведь был из миллионов советских ЗК найтись хоть один будущий глава правительства свободного государства, как нашлись великие писатели и др.! Один уже и нашелся — нынешний премьер Израиля Менахем Бегин. А книга запечатлевает тот кусок его изобилующей событиями жизни, который он провел под следствием в Вильнюсе и в лагере на Печоре (1940—1941). Мало кто знал об этом у нас. Год написания книги — 1952-й! Свидетельство, как мы видим, из ранних. Как воспринимались ранние свидетельств на Западе, можно прочесть тут же: Лея Витковская (знакомая автора, которую он встретил в Средней Азии), выехав позже из СССР, выступила перед комиссией ООН с показаниями об условиях на советских медных рудниках (по этому поводу один член комиссии заявил: «Нам известно, что эта женщина — профессиональная шпионка»).

Путь Бегина по «стране ЗК» (термин Ю. МАРГОЛИНА из тоже очень ранней книги «Путешествие в страну ЗК»), или по Архипелагу, как сейчас говорят, был коротким и, если можно употребить это слово,— удачным. Арест в Вильнюсе (IX. 1940), куда автор пришел, уходя от немцев из Варшавы. Следствие в Вильнюсской Лубянке — Лукишки. 8 лет без суда по 58-й статье за «антисоветскую деятельность», что в данном случае означало участие в сионистском движении в Польше до прихода советской власти. Этап, Печорлаг, снова этап и «польское» освобождение (1941 г.), после которого автор не столь просто, но попадает в армию Андерса.

Интересны «беседы» со следователем, который — по советским понятиям — весьма «подкован» в классовой борьбе. Он искренне не понимает, как это автор не признает себя виновным, хотя и признает участие в сионистском движении, реакционность которого каждому ясна; как это польские власти могут выпустить из тюрьмы (Бегин и там сидел) человека, не являющегося «прислужником капитала», и прочая дребедень. Но апофеоз таков: «Ну и чудак же вы, Менахем Вольфович! 58-я статья распространяется на всех людей во всем мире, слышите — *во всем мире*. Весь вопрос в том, когда человек попадет к нам или когда мы доберемся до него». (До этого объясняется, что статья написана Лениным.) Юридически образованный Бегин этого понять не может. А дискуссия и последующие события только показывают, что непредвзятому мнению и четкой жизненной позиции эти убогие философы — следователи НКВД — могли противопоставить лишь сроки. 〈...〉

И вот как рассудила история. «Я лично, гражданин следователь, отношусь к тем, кто верит в создание еврейского государства, хотя сам, возможно, этого не увижу»,— говорит на допросе Бегин. «Нет, не увидите»,— сухо сказал следователь. Интересно — увидел ли следователь?

Конец книги: «Да будут благословенны те, кто отвергает правду грубой силы, кто отвергает всемогущество деспотизма. Многих из них ожидают жестокие допросы в черные тюремные ночи и кторжный труд в белые ночи. Но пройдет время, и наступит светлый день, взойдет и улыбнется солнце».

А. ЗИНОВЬЕВ. **О Сталине и сталинизме.** «22», № 10, 1979, с. 128—136, рубрика «Русский вопрос».

Лаконично и глубоко, без присущего другим его эссе сортирного юмора, автор указывает два фактора, породивших сталинщину. Сначала заметим, что понятие «причина», хорошо работающее в простых ситуациях, чаще всего таких, как физика и химия, оказывается чрезмерно упрощенным и очень трудно применимым к социально-историческим вопросам, где действует множество сил; там удобнее вместо «причин» говорить о «факторах». Рецензенту кажется, что именно непониманием этого метаисторического обстоятельства объясняется возникновение яростного спора: что явилось причиной сталинщины (вариант — «коммунизма») — атеистическое марксистское учение или душа русского народа? Зиновьев пишет:

«Время эмоций на эту тему прошло. Настало время не только обличать злодейство, но и подумать о его исторической сущности и истоках».

Он отмечает *«нелепую иллюзию, будто в марксизме еще остались некие интеллектуальные высоты и тонкости, замолчанные или искаженные вульгаризаторами; будто существует некий истинный марксизм, не имеющий ничего общего с мрачными явлениями его в качестве идеологии коммунистического общества.* 〈...〉 *Сочинения Сталина и явились той живой мышью, которую родила гора марксизма.* 〈...〉 *Если рассмотреть первоисточники марксизма досконально образом с точки зрения строгих научных критериев, то обнаружится, что и вульгаризировать-то нечего было».*

Позиция, чуть ли не стопроцентно совпадающая с позицией Солженицына или Бернштама. Но вот следуют слова, раскрывающие кардинальную противоположность взглядов автора и вышеназванных литераторов:

«Выскажу еще одну еретическую мысль. Жертвы сталинизма — это лишь половина правды о нем. Есть другая половина, и именно та, что жертвы были помощниками и соучастниками своих палачей 〈...〉 *Моя мать до самой смерти (она умерла в 1969) хранила в Евангелии портрет Сталина. Она пережила все ужасы коллективизации, войны и послевоенных лет* 〈...〉 *и все-таки хранила портрет Сталина».*

Хотя ее сын, автор, был антисталинистом с 1939 г., т. е. со своих 17 лет.

«Дело в том, что, несмотря на все ужасы сталинизма, это было подлинное народовластие, это было народовластие в самом глубоком (не скажу, что в хорошем) смысле слова, а сам Сталин был подлинно народным вождем. 〈...〉 *Зверства сталинизма были характерным выражением народовластия в тот период.* 〈...〉 *Народный вождь — не обязательно мудрый и добрый человек. Иногда народные вожди бывают отпетыми мерзавцами. А иногда они сами глубоко презирают народ, ибо знают, что такое народные массы в реальности, а не в книжках и не в доктринах».*

Если бы Солженицын был в состоянии признать эти высказывания Зиновьева, то получил бы великолепную базу под свое неприятие демократизма и проповедь авторитаризма. Автор же, исходя из твкого диагноза, предсказывает, что повторение сталинизма невозможно, ибо:

«Широкие массы населения сейчас уже лишены той власти над ближними, какою они обладали в сталинские времена. Эпоха буйного народовластия, к счастью, кончилась. А без самодеятельности массы населения никакой сталинизм невозможен».

Примечание. Редакция понимает, что для многих «еретическая мысль» Зиновьева является кощунственной; однако спор о таком «народовластии» отчасти имеет теоретический характер. Разумеется, не имеется в виду, что «неприятие демократизма и проповедь авторитаризма» полностью характеризуют политические взгляды Солженицына.

С. Н. Носов

РОССИЯ ЕВГЕНИЯ ВЕРТЛИБА

Россия Тютчева, в которую, по знаменитым словам поэта, «можно только *верить*»,— может быть, она, эта страна христианской правды и гармонии, все-таки реально существовала и существует поныне? Попытаемся ответить на этот прямой вопрос кратко и просто: несомненно существует как давний, покорявший и покоряющий многих художественный образ, выдержааший проверку на художественную долговечность, художественную ценность и правду. А художественные ценности и правда — они сложно, запутанно, на вид таинственно, соотносятся с так называемой жизненной правдой, с реальной материальной действительностью, с правдой голых исторических и социальных фактов.

Творчество русского философа-эмигранта Евгения Вертлиба, автора двух изданных на Западе книг — «1812 год у Пушкина и Загоскина» (Нью-Йорк, 1990) и «Василий Шукшин и русское духовное возрождение» (Нью-Йорк, 1990), заставляет вновь задуматься над тютчевским признанием, которое корили и корят то за наивность, то за туманность. В основе обеих книг Вертлиба — типически неославянофильских по пафосу и идеям — та убежденность, которую дает не знание, а именно вера, и только она. Специфический признак веры — невнимание к рассудочному анализу, логической доказательности (неотъемлемым компонентам научности, объективизма), а ее реальный опознавательный знак — господство чувства над разумом. Диктат чувства а книгах Вертлиба очевиден, несмотря на то, что они по внешности рассчитаны и на логическую доказательность. Вольное, достаточно освобожденное из-под присмотра рассудка чувство или — чуть точнее — художественное чутье диктует свои истины и искусству. На высоком уровне осмысления бытия искусство и религия схожи по крайней мере в том, что одинаково склонны использовать разум лишь на «подсобных работах». Вертлиб и относится к русской литературе — главному объекту его философических, в духе былого любомудрия размышлений — чисто религиозно. В книге о Шукшине он предлагает концепцию «литературы Единой Правды», резко спорит с А. Синявским, настаивающим на ценности удивительного, экзотического в литературе, не жизнеподобного, правдивого в одном лишь «словесном смысле». Шукшин для Вертлиба — благой символ того, что «Правда жизни ринулась широким потоком в искусство». И трудно не заметить, что Правда (именно с большой буквы!) для мыслителя — заклинание, нечто чудодейственное, а вовсе не казенная сумма действительных фактов, к которым мы нередко и вполне вправе оставаться равнодушными (ведь жизнь — не наука, служащая выяснению истины, а бытие, где ту же правду о неизбежности смерти приходится не слишком замечать, чтобы не потерять способность радоваться жизни). Религия правды, храмом которой мыслится литература,— чисто российское

явление, где-то в корне своем связанное с неразличением литературы и жизни, литературного образа и его жизненного подобия. Литература выговаривает правду жизни фактически вместо своей жизни — художественный образ, ну, хотя бы цветка в этом смысле правдивее самого цветка... И тогда художественные образы жизни, творимые рукой истинного художника, ближе к сути жизни, чем сама жизнь? Вне сомнения. Это напрямик утверждает вся славянофильская традиция мысли, к которой принадлежит Вертлиб, традиция, отказывающая искусству в праве на вымысел, а живой материальной жизни, ее «фактической» действительности — в праве на правду.

Характерно, что Вертлиб в вводной, можно сказать, общеидеологической главе книги «1812 год у Пушкина и Загоскина» доказывает: «Если для Соловьева вера превышает силу фактических и формально-логических доказательств, являясь и без того „фактом первоначальным", то для Эйнштейна вера — бессмыслица прикладного „назначения" целевой установки „результат — знания". Забыли Бога: „Где Дух Господен — там свобода". Опасна свобода без Креста».

Эйнштейновская и до известной степени современная общеевропейская стихия относительности Вертлибом, естественно, отвергается как стихия безверия и вседозволенности, свободы «без Креста». Здесь сразу вспоминается выявление и осуждение безбожной свободы-произвола Достоевским — прямая перекличка идей и мировосприятия налицо. Альтернатива опасной вольнице безверия — свобода веры, превышающей «силу фактических и формально-логических доказательств», существующей над знанием, способной победить скепсис разума. Эта вера свободна, ошеломляюще свободна, поскольку уже одно ее существование означает ее правоту — ведь она «факт первоначальный», то, из чего человек обязан исходить как из верховной истины. Ссылка Вертлиба на предпочтение Вл. Соловьевым веры как факта силе логической доказательности симптоматична — у Соловьева вера не выглядит следованием букве догм, срастается с мечтой и прекрасным, породнена с вольным творчеством. И свободное внерациональное творчество (а оно есть художественное творчество в самом чистом виде), в свою очередь, оказывается породненным с верой — плоды веры преобразуются в «священные» художественные образы, подлежащие поклонению. Так превращается в святыню тот, в общих своих чертах повторяющийся, образ России, который Вертлиб в своих книгах видит и ретуширует. И в архаической романистике Загоскина, и в современной прозе Шукшина — это образ страны, живущей «не по лжи», образ, сакрализованный славянофильской традицией.

Если правда дружит при таком мировосприятии с истиной вольного чувства, то ложь — с вымыслом подневольного логике разума. Литература, жонглирующая плодами вымысла (игровая, нереалистическая), объявляется этаким цирком рассудка, бессмысленным и безбожным. Искусство без искреннего сопереживания с тем, что оно изображает, как пишет Вертлиб, «мертвость, выкрутасы на голом месте». А искреннее сопереживание изображаемому — это сочувствие на грани любви, если не сама любовь к нему и, значит, присущая любви идеализация любимого, поклонение ему. Намечается некий роковым образом замкнутый круг — без сочувствия России, любви к России правды о ней не напишешь, а любовь близка с поклонением любимому, поклонением России. «Темного лика» России при таких точках творческого отсчета никогда не получится, он всегда будет неистинен. И кружит славянофильская мысль в этом светлом кругу уже второе столетие — защищенная от критики разума, но незащищенная от самоповторения, трагической неподвижности: люблю Россию, и потому светел ее лик, а без любви и веры Россию не понять, это будет «чужой закон», которым ее, как пророчествовал Тютчев, не измерить.

Утверждая, что в искусстве без сопереживания изображаемому не состоится самого изображения, Вертлиб, между прочим, абсолютно прав — литературе и искусству противопоказано равнодушие, которое, появляясь в них, действительно выглядит «мертвым полем», заполняемым искусственными плодами фантазии, красота которых выглядит никчемной именно потому, что она не соприродна живому человеку, не способна стать живым элементом его души и мировосприятия. Литература жива чувством, а у чувств два вечных полюса — любовь и ненависть. Ненавидя, тоже можно творить — вспомним ядовитую прозу Салтыкова-Щедрина, яд неприязни во многих произведениях Набокова, от «Дара» до «Камеры-обскуры». Но ненависть как таковая — не созидательна. Если она движет художником, то обычно маячит за ней смутным фоном, в море бессознательного все та же любовь — пусть не к изображаемому, а к чему-то иному, но тому, чьему существованию изображаемое является ненавистной угрозой. Не случайно в «Мертвых душах» Гоголя — произведении, которое давно корили (Леонтьев, Розанов) за унизительное изображение русской жизни и ее типов, уродливо увенчанных Чичиковым,— всему этому мраку внутренне противопоставлена возвышенно-лирическая интонация, почти музыкальная тема «русской тройки», простора.

Если угодно, это удел писателя — любить жизнь, болеть душой за то, о чем он пишет. И точно так же удел того, кто берется за философское осмысление литературы, находить правду в тех художественных образах, которые эта любовь родила, иначе — остается отрицать литературу как таковую, отрицать как основанную на пристрастности. Рационализм, собственно, тяготеет — и всегда тяготел — к травле искусства, взамен которого он предлагает прейскурант своих ценностей — логику, рассудок, факты. Вооружившись этими ценностями, жизнь становилась сухой и механистичной. Такую жизнь — кстати, очень нерусскую, не прививавшуюся пока в России — стоило и стоит не слишком ценить и культивировать.

Вертлиб убежден, что «конечно, критику надлежит ходить перед неисчерпаемым искусством с непокрытой головой», убежден, что искусство проносит правду и в высших своих проявлениях созидает храм правды, попадая в который, кощунственно осуждать его святыни. В книге «1812 год у Пушкина и Загоскина» он пишет: «Да здравствует боль сопереживания за улучшение родного». А чуть далее, курсивом: *«Не естественно ли совпадение пульса страны, в своих основаниях правильной, с сердцебиением ее патриота?!»* Бескомпромиссно защищает Вертлиб прозу современных «деревенщиков», творчество и общественную позицию Солженицына (мы, живущие в России, в годы расцвета признания писателя уже забываем, да и не всегда знали, как резко, порой отчаянно критиковала его как общественного мыслителя левая эмиграция), отстаивает правоту современных движений за сохранение и возрождение национально русского, добольшевистского и антибольшевистского. Причем солидарен Вертлиб с людьми в общем-то непохожих взглядов и общественных позиций — с В. Кожиновым и Д. Лихачевым, В. Распутиным и С. Аверинцевым. Солидарен подчеркнуто равным образом, в сущности, исходя из одного-единственного — ощущении, что руководит этими людьми любовь, а не нелюбовь к России, приятие, а не неприятие ее истории и культуры.

Спорить с Вертлибом и легко, и сложно — всегда, конечно, можно найти дефицит фактов (исторических и иных), подтверждающих его веру в Россию, обосновывающих его любовь к ней. Но любовь не слишком нуждается в обосновании, чрезмерно обоснованная любовь уже и не любовь, а разумное предпочтение, от которого веет душевным холодом. Да и не предосудительна любовь к своей стране, как, в конце концов, и к своему дому, детям или даже работе,— без такой естественной любви развалится дом, чужими вырастут дети, не выйдет особого толка от труда. Это — элементарно, яснее ясного. И с правотой любви Вертлиба к России тогда остается только согласиться, как, скажем, и с законностью, непредосудительностью любви некоего юноши к некоей девушке. Что ж, прекрасно, что любят друг друга и — «будьте счастливы».

Именно это или хотя бы это стоило бы пожелать тем критикам, ныне многочисленным, которые как будто стремятся доказать сыну, что он зря любит свою недостойную мать. Но эта ясность правоты любви к собственной родине мгновенно исчезает, когда Вертлиб, скажем, касается вопроса об общехристианском значении выработанных в истории и культуре России ценностей, о том, что именно в России издревле утверждено истинное христианство (а не где-нибудь во Франции или Германии). Здесь уже налицо давний славянофильский мессианизм, не отстаивание права на любовь к родному, а утверждение его превосходства. Это тоже — в духе славянофильской традиции, в духе Хомякова, Ивана Киреевского, Леонтьева. Славянофильство никогда не ограничивалось бытовым патриотизмом, даже появилось на ниве русской мысли в 1840-е годы именно в результате преодоления рамок этого патриотизма, естественного и ничем не удивительного, всегдашнего. Славянофильство — итог превращения простого сердечного чувства в философскую идею. В этом его значительность и в этом его сложность.

В книге Вертлиба «1812 год у Пушкина и Загоскина» есть очень хорошие строки: «Поздний Достоевский в современном ему искусстве не находит нравственного центра и потому желает, чтобы художественная правда, чуждая тенденциозного искажения действительности, не перешла бы в нравственное безразличие. Однако специфика искусства — не фотокопия жизни. Посему искусству не следует быть „вполне отрешенным" от жизни (убогое ничевочество; нечто удивительное, экзотическое); ведь не могло же бы оно в 1812 году, например, не откликнуться на все пережитое русским народом. Но художественный *отклик* воспринимается как *окрик*, если словесный смысл не согрет теплом нравственного сопереживания».

Осердеченность искусства, впитанное им тепло сопереживания не позволяют, таким образом, даже и самому нравственно наставительному искусству превратиться в окрик, приказание. Художественность в известном смысле есть мягкая, ненавязчивая форма бытия идей и представлений. Большая опора на «осердеченное» знание, культ которого зрим в славянофильстве, означает большую беззлобность, безгневность, с которой вполне рифмуется славянофильский идеал христианского смирения, поэтизация народного долготерпения и, во меньшей мере, настороженное отношение к бунту (пусть и самому народному). Вертлиб, однако, не принадлежит к писателям и мыслителям, особо дружным с этой традиционной безгневностью славянофильства. В Шукшине он видит и ценит бунтарское начало, дух «разинщины» (рассказу Шук-

шина «Степан Рвзин» Вертлибом придаио символическое значение). Это более чем понитно на фоне тоталитарной эпохи, есть естественная реакция на нее. Да и не сводит Вертлиб творчество Шукшина к бунтарству, как и истинно русское — к «разинщине». Но акценты проставлены. И вместе с ударением на протест в мировоззрение Вертлиба вторгаетси жесткость, неблизкая культу всепримирения, который мы находим у Достоевского и который — это важно подчеркнуть — коренился и в природе художественного мышления, мышления-сопереживания, породненного со славянофильством изначально.

Стоит чуть-чуть приглушить звучаиие художественных струн славянофильского мировосприятия, и оно начинает выглядеть агрессивным, командующим, злым. В книгах Вертлиба этого срыва в командование не происходит, но опасность превращения сопереживания судьбе России, сердечного отклика на ее жизнь и исторические драмы в окрик остается.

Важно, как это ни парадоксально, чтобы *вера в прекрасный лик России не переходила в «знание», оставалась на уровне личного чувства, правдивого, потому что искреннего.* Но на этом уровне не было бы славянофильства как философского учения. Славянофильство не смогло превратить веру в Россию в твердое и доказательное знание (скажем, научное). Однако это знание зародилось в результате художественной (внелогической) объективации личного отношения, личного чувства. Правда славянофильского образа России есть правда художественная. Вместе со славянофильством в философию устремилось искусство — путь, по которому Запад пошел позже, в основном в XX веке. И здесь источник многих общечеловеческого масштаба прозрений, связанных с ориентацией па славянофильский почерк мышления,— прозрений Достоевского. Истинно русским исторически оквазался антирационализм в философии. Но границы знаиия-сопереживания оказываются, увы, отнюдь не восхитительно широкими — чужому трудно сочувствовать, неродное трудно глубоко любить. Потому и мечтал Достоевский превратить русского человека во «всечеловека» (чтобы близостью со «всем и вся» было в идеале дароваио и знание-сопереживание «всего и вся»), потому и ценил всечеловечность Пушкина. Замкнуться на родном и близком можно при жизни разумом, но при жизни чувством, при господстве художественного мировосприятия, ассоциативно-образной работы сознания — это близорукость. И когда Вертлиб уравнивает значение для национального сознания Пушкинв и Загоскина — это эффект именно той самой близорукости, от которой никогда не избавиться без гениальной (хотя можно думать, что, увы, утопической) подсказки Достоевского.

«Пушкин представляется этически двойственным; в житейской „тактике“ — нередко двуличным, или с двойным дном соображений»,— пишет Вертлиб. И это впечатление его настораживает, располагает к простому и ясному до наивности Загоскину. Но в альянсе с звгоскинской наивностью от «этической двойственности» можно уберечься, лишь не идя в осмыслении жизни посредством чувства-сопереживания особенно далеко за пределы родного и кровно близкого. Сопереживание судьбам разных людей, народов, стран непременно повлечет этическую двойственность и множественность. И чистота души не сохранится в своей девственной ясности. Увы, именно так: *художественное знание требует этических жертв.*

В чем-то оценка Вертлибом сущности «русских начал» близка евразийству. Он много терпимее в отношении западных влияний, чем ортодоксальное славянофильство, любившее противопоставление «Россия — Запад» и игравшее на нем. Так, он пишет о нашей современности: «Спорят наследники „славянофилов“ и „западников“, как когда-то „Записка о древней и новой Руси“ Карамзина и „Проект“ Сперанского. Две головы „орла“ разрывают раздорами изболевшееся тоской по полной Правде общерусское сердце. В споре снова сошлись Восток и Запад, ибо сама Россия географией и судьбой — „желудочки сердца“ этих устремлений, органически связующих ум и закон Запада и чувствительность и милость Востока».

Смысл русского коммунизма, по Вертлибу, состоит в ультразападническом, сумасшедшем культе прогрессизма, преображения жизни внешними, внедуховными средствами, быстро выродившегося в ее обезображивание. Из двуликого Януса, равно обращенного к Западу и Востоку (заметим, что в этом до сих пор привлекательном, устоявшемся образе России есть оттенок «всечеловечности»), Россию, как убежден Вертлиб, превратили в «пешку» рационалистического проектирования человеческой души, всевозможного — социального, политического, нравственного, эстетического, экономического — планирования. Посредническая роль России между Западом и Востоком, а вместе с ней и сущность «русских начал» оказались забыты, преданы звбвению.

На сочувствии западному и восточному, сочувствии разноликому в истории и жизни зиждeлась русская душевная открытость, любовь к правде. И не является ли в таком случае сама эта искомая «русская правда» двуликим Янусом или хотя бы многозначностью художественного образа, который с равным успехом можно воспринимать порвзному? Вчитываясь в книги Евгения Вертлиба, стремящиеся к идейной многоцветности, богатству (вплоть до пестроты) изображения оттенков и проявлений истинной русскости, равно сочувственные «славянофильству В. Кожинова» и «звпадничеству Н. Шмелева», прийти к такому выводу — почти неизбежность.

Образ России в книгах Вертлиба почти сказочно привлекателен, красочен. Но красочен и привлекателен (если истинен) любой художественный образ. Творчество прекрасного — инстинкт искусства. И один из путей превращения обыденного в прекрасное — стать художественным образом, «метафорой самого себя». Превратиться в метафору, что на самом деле не столь уж фантастично,— это значит стать лишь иносказанием, потерять буквальную материальную реальность, утратить плоть во имя духовной значимости. Основа метафоры — опора на кажущееся: улицы древнего города представляются поэту, скажем, протянутыми в вечность руками, а в чисто материальной реальности нет ни таких огромных каменных рук, ни твких маленьких, подобных человеческим рукам улиц, которые уподобил поэт друг другу, создавая метафору. Создав метафору, он создал физически не существующее. А значит, то, чего вовсе нет, чистую иллюзию? Нет. Поэт иносказательно поведал и о своем восприятии жизни, и о ней самой, создал духовно реальное. Но, например, в доме, названном поэтом кораблем в бурном море жизни, физически нельзя ни уплыть, ни утонуть и крайне глупо опускать из него на воду какие-нибудь деревянные весла. Нельзя воспринимать метафору буквально, художественный образ — как кусок самой живой материи реальной жизни. Нельзя воспринимать художественный образ России, созданный в книгах Евгения Вертлиба (в известном смысле — классически поэтический), как фотокопию русской истории и нашего настоящего. Славянофильство и неославянофильство, пожалуй, не стоит ни отвергать, ни принимать — оно относится к русской жизни, как хороший художник к любимому пейзажу, не искажает, а преображает реальность. Надо просто понять, что художник-пейзажист — не картограф, что славянофильский светлый лик России — не путеводитель по средствам и способам решения социально-экономических и политических проблем.

Евгений Вертлиб пишет свои книги о России, русской культуре и русском возрождении издалека — живет в Германии, жил в США, эмигрировал в душные, тусклые 70-е годы. Уже поэтому его любовь к России — идеальна, она, если говорить на языке эротики, есть любовь без физического обладания возлюбленной, любовь чисто платоническая и этим именно привлекательная. И эта любовь, как и должно идеальной любви, философична, стала миросозерцанием: сквозь лик возлюбленной далекой России Вертлиб видит образ вечных истин и, конечно, много философически мечтает. Мечтает, так как трудно было бы ему мечтать, окунувшись в неразбериху и неустроенность нынешней российской жизни. Мечты эти — иногда наивны, но и наша мудрость горечи, а порой и злобы на то, что живем мы мучительно трудно, тоже сомнительна. Может быть, жаль только, что, живя в России, легче негодовать на нее, а живя вдали от нее — любить.

И последнее: мы нередко называем, скажем, облик человека поэтическим и любим, ценим его за поэзию души, поэтичность внешности, хотя он, может быть, не умнее, не нравственнее, не красивее других. Поэтичными бывают явления природы, ландшафт, радуга, например, или горы с заснеженными вершинами, поэтичными бывают и страны — это дар, несомненно, способствующий духовному просветлению. Никакое мастерство не создаст достойный художественный образ, если в нем все сплошь от кажущегося, слеплено из чего попало. Лай собак не перевоплотим в образ сладостной музыки без помощи нервного расстройства...

У России есть, по крайней мере, один дар — к художественному воплощению в красочные образы, которые не зачеркнуть скепсисом «чистого разума». Книги Евгения Вертлиба, их эстетическая и нравственная привлекательность, их «философизм души» прекрасно доказывают это.

А. Савуренок

СВЯТАЯ ДЕВА ИЛИ ДИНАМО-МАШИНА?

Правнук второго президента и внук шестого президента США, сын видного дипломата, Генри Адамс (1838—1918), по его собственным словам, с рождения имел на руках «одни козыри». Как он ими распорядился?

Отвечая на этот вопрос в книге «Воспитание Генри Адамса», написанной на склоне лет, Адамс не без грустной иронии заметил, что «так по-настоящему я не вступил в игру», уйдя с головой «в ее изучение, в наблюдение над ошибками участвовавших в ней». В качестве личного секретаря отца, занимавшего пост американского посла в Англии в годы гражданской войны, он следил за перипетиями сложной политической игры, поддерживал дружеские связи с политическими деятелями, входившими в администрации Линкольна, Гранта, Маккинли, Т. Рузвельта, и был великолепно осведомлен о всех тупиках в американских «коридорах власти». Во время своих многочисленных путешествий он беседовал с Гарибальди, наблюдал 14 июля 1870 года Францию, «сорвавшуюся с якоря» и ввергнутую в хаос франко-прусской войны, а в 1901 году размышлял над «русской загадкой», глядя на крестьянина, зажигающего свечу и целующего икону Богородицы на вокзале в Петербурге.

Книга «Воспитание Генри Адамса» (М., издательство «Прогресс», 1989, перевод с английского М. А. Шерешевской, послесловие А. Н. Николюкина, комментарий В. Т. Олейника) не только знакомит советского читателя с именем, ранее ему практически неизвестным; она восполняет существенный пробел в нашем представлении о ключевых фигурах американской культуры на рубеже XIX—XX веков, в том числе о самом Генри Адамсе. Ни один из его современников не сумел с такой исчерпывающей глубиной отразить смену исторических эпох, когда непоколебимая вера в исторический прогресс, в победу разума, в то, что американская революция конца XVIII века окончательно и бесповоротно утвердила свободу, равенство и неотъемлемые права человеческой личности, уступила место сомнениям в плодотворности этого прогресса, «гамлетовским» колебаниям и мучительным поискам высшей истины, скепсису и самоиронии.

Значительное место в «Воспитании Генри Адамса» занимает критический анализ политической жизни США и Европы во второй половине XIX — начале XX веков. Однако Адамс не остановился на уроках, извлеченных им из «прокисшего молока политики». Убедившись, что современная ему «практическая политика... в том и состоит, чтобы закрывать глаза на факты», он пытается создать свою философию истории, «найти бобину, на которую можно было бы намотать нить истории, ее не порвав».

Путь Адамса к «динамической теории истории», изложенной в заключительных главах «Воспитания...», был долгим и трудным. Отлично понимая, что описательность, столь характерная для американской историографии, не приблизит его к разгадке «вечной тайны движущей силы», он обратился к различным философским и естественно-научным теориям — многие страницы «Воспитания...» пестрят ссылками на труды Декарта и Ньютона, Фарадея и Паскаля, Дарвина и Спенсера, Геккеля и Пирсона. Впрочем, научная аргументация — едва ли не самое уязвимое место концепции «движущей силы»; она эклектична и излишне многословна. Гораздо более ярким и впечатляющим оказалось эстетическое выражение этой концепции, воплощенное в образах Святой Девы и динамо-машины.

По мысли Адамса, Святая Дева и динамо-машина — это своеобразные символы сил, которым поклонялись люди на разных этапах исторического развития. Святая Дева олицетворяла силу гуманности и милосердия, запечатленную людьми средневековья в храмах, которые и поныне остаются высочайшими творениями человеческого духа. Динамо-машина — символ устрашающей в своей мощи силы механической, превратившей современного человека в придаток индустрии, лишенный «любых отличительных черт, кроме машинного клейма».

Генри Адамс внес существенные коррективы в идею исторического прогресса. Связанный своими духовными истоками с веком восемнадцатым, а жизненным опытом с веком девятнадцатым, он передал веку двадцатому мысль, которая получила развитие в трудах Н. А. Бердяева, О. Шпенглера и других философов новейшего времени. В известном смысле он был их предтечей, одним из первых указал на дегуманизацию и упадок духовной культуры в условиях современной «машинной» цивилизации.

Принципиально новую интерпретацию по сравнению с классическими образцами получила в книге Адамса и вторая ее центральная тема — тема воспитания личности.

В авторском предисловии Адамс называет двух писателей, чьи мемуарно-биографические произведения послужили ему своеобразной «точкой отсчета»,— «Исповедь» Жан-Жака Руссо и «Автобиография» Б. Франклина. Порожденные одной исторической эпохой, создававшиеся почти одновременно, они являют собой пример двух диаметрально противоположных установок: у Руссо — стремление вынести на суд читателя историю человеческой души со всеми ее взлетами и падениями, пафос «сердечного воображения» и взрывная сила эмоций, у Франклина — рассудочность, здравомыслие и неукоснительная забота о весьма утилитарно трактуемой пользе. Таким образом, само сопряжение их имен предполагало проблему выбора, которую Адамс решает отнюдь не однозначно.

Говоря о Руссо, Адамс сразу же отмечает, что автор «Исповеди» воздвиг «монумент-предостережение против ego». Последующие поколения вняли этому предостережению и превратили «модель в манекен, на котором примерялись ризы воспитания... При этом предметом изучения стал покров, а не сама фигура». К числу таких «манекенов» относит Адамс и своего героя, оговаривая, однако, с немалой долей лукавства, что его «необходимо принимать за реально существующий; необходимо обращаться с ним как если бы он был живой. И кто знает — может быть, так оно и есть».

Этот оттенок двусмысленности нашел отражение и в названии книги Адамса, которое в сочетании с именем автора заставляет призадуматься внимательного читателя, и в форме повествования от третьего лица, столь необычной для мемуарной литературы и «противопоказанной» ее исповедальному, лирическому началу. В «Воспитании...» оно сведено до минимума: эмоционально окрашены страницы воспоминаний о летних месяцах, которые мальчик Генри Адамс проводил в Куинси, о внезапной смерти сестры, но в целом автор сознательно избегает всего, что касается сферы чувств и обстоятельств интимной жизни героя. На это указывает, в частности, неожиданный двадцатилетний провал — с 1872 по 1892 годы — в истории воспитания Генри Адамса-героя. Между тем для Генри Адамса-автора это были памятные годы. В 1872 году он женился на Мэриэн Хупер. Союз, основанный на взаимной любви, скрепленный общностью интересов и отношениями «идеального товарищества», казалось, сулил им безоблачное счастье. Но в 1885 году Мэриэн покончила жизнь самоубийством. В «Воспитании...» Адамс обходит молчанием и все эти факты, и написанные им романы «Демократия» (1879) и «Эстер» (1884), героини которых, по мнению критиков, многими чертами напоминали Мэриэн Хупер. Остался лишь глухой намек на отчаяние, терзавшее его сердце после смерти жены. «Ужас от удара, нанесенного внезапно со всей грубой жестокостью случайности,— пишет он о переживаниях своего героя у постели умирающей сестры,— тяготел над ним до конца жизни, пока, повторяясь вновь и вновь, не дошел до той черты, когда воля уже не способна сопротивляться, когда нет уже сил это вынести».

Столь очевидная сдержанность в изображении чувств и эмоций, казалось бы, свидетельствует о тяготении Адамса к рассудочному началу, преобладавшему в «Автобиографии» Франклина. Настораживает, однако, прямой полемический выпад против Франклина в первой же главе «Воспитания...». Если автор «Автобиографии», говоря о причинах, побудивших его взяться за перо, настойчиво утверждает критерий практической пользы («... Я достиг благосостояния и некоторой славы. Удача мне неизменно сопутствовала..., а поэтому не исключена возможность, что мои потомки захотят узнать, каким способом я этого достиг и почему я с помощью провидения так преуспел»), то Адамс прямо заявляет, что «практическая ценность» его рассказа о воспитании героя «весьма сомнительна», ибо каждый человек «несет в себе свою вселенную», а «ценность вселенной не исчисляется долларами».

Герои Франклина и Адамса противостоят друг другу, и не только своим происхождением — один подчеркивает, что «родился в бедности и безвестности», на руках у другого с младенчества «были все козыри»,— но прежде всего самим строем мысли: с одной стороны, утилитаризм и назидательность, с другой — мучительные сомнения и поиски ответов на вечные вопросы бытия.

Адамс и в данном случае оказался в роли «первопроходца» — его полемика с «моральной арифметикой» Франклина была продолжена поколением 1920-х годов. Думается, что и для нынешнего поколения «Воспитание Генри Адамса» не утратило интереса, напоминая о непреходящей ценности гуманизма, духовности и культуры, об их общечеловеческом содержании.

Александра Кирилловна Савуренок (9.V.1921—13.III.1991) — профессор ЛГУ, одна из зачинателей американистики как особой отрасли отечественного литературоведения. Воспитанница и преподавательница Ленинградского университета на протяжении четырех десятилетий. Ученица М. Т. Алексеева и В. М. Жирмунского. Первые работы посвящены творчеству М. Твена, Д. Купера, У. Уитмена. Позже занималась творчеством американских писателей XX века, главным образом — Фолкнера. Автор книги «Романы У. Фолкнера 1920—1930 гг.» (1990). Последние годы занималась также канадской литературой.



Евгений Калмановский

КРАЙНОСТИ

И. С. Тургенев. «Уездный лекарь» (1847) — из «Записок охотника»

Везде нам сопутствуют крайности.

Крайности в предпочтении жизненных путей, в понятиях, позициях.

Они подстерегают нас даже там, где их вовсе не ждешь.

Ну, есть ли, допустим, большой резон, отметив вышеназванное обстоятельство, сесть за чтение Ивана Сергеевича Тургенева, когда в нашей литературе хватает неистовых от протопопа Аввакума до Андрея Платонова?

Сейчас посмотрим. Только не торопите меня с выводами.

Скоро и так все откроется само собой.

Беру «Записки охотника», а в них для начала «Уездного лекаря», рассказ небольшой и далеко не самый заметный и признанный. Все это делаю, сами понимаете, нарочно.

Итак, доктора, практикующего в уездном городе, зовут к тяжело больной дочери помещицы. Проживает она в двадцати верстах от города. Именьице маленькое, бедное. Дорога от города страшит неухоженностью. Но у лекаря свой труд, свой долг. Так что Трифон Иванович — так зовут уездного лекаря — едет и лечит. Но не вылечивает.

Дочери помещицы Саше, или Александре Андреевне, в пределах маленького рассказа то двадцать лет от роду, то двадцать пять. Тургенев не заметил разноречия. Не это ему, видно, было важно.

Саша, к общему горю семьи и доктора, умерла.

Спустя годы рассказчик-охотник попал в тот же уездный город и там занемог. Послал за доктором — тогда все говорили «доктор», не как теперь: «врач». На зов рассказчика пришел уже известный нам Трифон Иваныч, выписал лекарства, понемногу разговорился и рассказал историю своих страданий у постели смертельно больной Саши.

Поняв, что дни ее сочтены, она призналась в любви лекарю, тогда молодому и отчаянно за нее встревоженному.

Происходит своего рода роман чувств. Мучительный, горестный и горестно-прекрасный.

Доктор, теперь вспоминая прошлое, сам словно бы удивляется тому, что судьба именно его выбрала для этого возвышенного сюжета.

Воспоминания доктора и весь «Уездный лекарь» оканчиваются так: «— Ведь я с тех пор в законный, как говорится, брак вступить успел... Как же... Купеческую дочь взял: семь тысяч приданого. Зовут ее Акулиной; Трифону-то под стать. Баба, должен я вам сказать, злая, да благо спит целый день... А что же преферанс?

Мы сели в преферанс по копейке. Трифон Иваныч выиграл у меня два рубля с полтиной — и ушел поздно, весьма довольный своей победой».

Ясно, Трифон Иваныч сам побежден общепринятым укладом жизни, его, если хотите, утвердившейся пошлостью. Он — нормальный представитель нормального житейского обихода. Правда, в душе его шевелятся свои сомнения и угрызения. Но, в конце концов, у кого их нет? Где-то все это тускло мается, когда-нибудь напоминая о себе, но ничуть не переменяя самого человека, его жизнь.

Александра Андреевна, Саша, напротив, умерла непобежденной.

Чувствуя свою погибель, она не капризничает, не стонет, не жалуется. Она обороняется от скудного своего жребия, собрав все силы и обратив их в любовь, у которой не может быть будущего, которой вообще ничего не дано. Кроме самого по себе чувства. Им Саша противостоит жалкой зависимости человека от случая, от судьбы.

Но не «Уездный лекарь» же и не благородная духом Саша — главное в «Записках охотника».

Действительно, Тургенев взялся за «Записки охотника», несомненно желая большой широты жизнеприятия. Потому здесь множество людей, самых разных; потому здесь много разных сюжетов.

Кроме более или менее крупных историй повсюду как бы фоном подаются еще беглые радости, а чаще — мелкое, мимоходом пробившееся горе, простейшее такое, самое будничное.

И вся эта многоликая жизнь людей, из ряду вон и сверхобычнейшая, беззаботная и безысходная, слита с родной землей, родной природой. Благодаря этому ощущение широты взгляда еще растет.

Ради такого «Записки охотника» прежде всего и явились на свет.

Однако и то вот, к чему я начал подходить от «Уездного лекаря», с первых же страниц по-разному выглядывает из-за обширной людной картины.

То есть с первого же рассказа «Записок охотника» — с «Хоря и Калиныча».

Тургенев там представляет читателю двух крестьян, недюжинных, хотя меж собой и несходных. Притом оба недюжинные — в тесной дружбе.

Да, я сказал: *«как бы* равны».

Потому что оно и так, и не совсем так.

Ровной благодарной приязнью к живому, близостью ко всякой травинке и малой твари земной, своим непониманием не только корысти, простой выгоды Калиныч, похоже, рассказчику восхитительней. И лаптями круглый год. На Хоре — сапоги, «вероятно, из мамонтовой кожи».

Друг и один из первых читателей сочинений Тургенева Василий Петрович Боткин усмотрел в рассказе «Хорь и Калиныч» «идиллию».

Надо думать, больше всего как раз из-за Калиныча.

Хорь уже именем своим не рассчитан быть героем идиллии. И его дети сами говорят о себе весело: «Всё Хорьки». Никто не возьмется утверждать, что хорек — зверь милый, к себе располагает.

Но тут уж у меня пошел перекос в другую сторону. Тургенев не только не порицает Хоря, он любуется им тоже. Любование, правда, выходит скорей теоретическое, из принципа, так сказать.

Свое хорошее отношение к Хорю Тургенев подпирает таким выводом: «Из наших разговоров я вынес одно убежденье, которого, вероятно, никак не ожидают читатели,— убежденье, что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо — то ему и нравится, что разумно — то ему и подавай, а откуда оно идет,— ему все равно».

Иные восприниматели только что преподнесенного текста бывали рады, что каждое слово здесь открыто наставлено против славянофилов. Те ведь сетовали на Петра, свернувшего-де Россию с ее естественного пути. Те много занимались прошедшим, в вперед глядели опасливо.

Славянофилы славянофилами, но выписанный из «Хоря и Калиныча» приговор не очень точно выражает взгляд автора на русские типы.

К Хорю, человеку деловому и преуспевшему, приговор, положим, подойдет. К Калинычу — бесспорно, нет.

Допустим, Бирюк из рассказа, так и названного «Бирюк», «уверен в своей силе и крепости». Только его «сила и крепость» уже совсем другие: похожи на невольно принятый — потому что возложенный — суровый обет, на крест божий. Бирюк не способен победно врасти в такую жизнь, где человек перво-наперво держится своего собственного интереса, прежде всего примеряется и обустраивается.

Калмановский Евгений Соломонович (род. в 1927 г.) — прозаик, критик, театровед. Автор книг «Дни и годы. Жизнь Т. Н. Грановского» (1975), «Путник запоздалый» (1985) и др. Член СП. Живет в Ленинграде.

Материалы раздела публикуются в нечетных номерах журнала. В 1992 году мы продолжим начатую в № 1 за этот год публикацию эссе Петра Вайля и Александра Гениса о русской классической литературе XIX века.

Отнюдь не только в «среде» здесь причина — в «среде, которая заела». Сам Бирюк есть какой есть, каким единственно быть может.

Жена Бирюка (вообще-то его Фомой нарекли) «с прохожим мещанином сбежала». Оставила этому мрачноватому мужику, приверженному неподкупной честности, двух малых детей в нищей избе.

В лучшие свои часы может чувствовать «силу и крепость» необыкновенно талантливый Яков из «Певцов». Но никакого жизненного устройства и твердого обеспечения он тоже не способен достигнуть, несмотря на свой дар.

Возьму еще в компанию Чертопханова. Впервые он представлен в рассказе 1848 года «Чертопханов и Недопюскин» и вновь вспомянут Тургеневым в 1872-м, когда написан «Конец Чертопханова».

Этот Пантелей Еремеич — со своей страстью к цыганке Маше, спустя время его оставившей: «Тоска меня взяла»,— сказала. С дикой гордостью, вечно кипящей в душе. С отчаянной привязкой к коню Малек-Аделю, которого украли, потом хозяин его разыскал и вернул — только, скорей всего, вернул не настоящего Малек-Аделя, не того, первого.

Малек-Адель — имя благородного вождя мусульман из романа француженки Софи Коттен. Романтическим этим романом десятилетиями увлекалась Россия, особенно уездная.

В первом рассказе о Чертопханове: «Из русских писателей уважал он Державина, а любил Марлинского и лучшего кобеля прозвал Аммалат-Беком». То есть по герою одноименной повести А. Марлинского, тоже сугубо популярной и куда какой романтической.

Внешние приметы романтизма Тургенев подносит читателю с улыбкой и усмешкой. Кобеля — Аммалат-Беком! Все это: особый художественный стиль, убеждения романтического идеализма, кодекс бытового поведения, освещенный такой философией или замудренный ею,— все было и ушло.

Но надолго (не навсегда ли?) засел в российских умах — и у Тургенева тоже — романтизм другой, этим именем не называемый.

Калиныч да Бирюк, Яков да Чертопханов. Неприязнь к простому и логичному, трезвому, деловитому, а обычные дни ловко уложенному. Неприязнь — или безучастность, незамечание. Словно и нет такого, не водится. Зато — далекое стремление, бескорыстие чувств и упований, даже заведомая их неосуществимость («журавль в небе»).

Это все не теоретическая отрешенность, вымученная идеальность. Нет, способ жить. Довольно-таки удивительный.

Во всех, кого назвал из «Записок охотника», нет ведь ни в ком чахлой нежизненности. Если и придуманность — то уж, согласитесь, яркая, неизбежная. То есть опять, стало быть, совершенно жизненная.

Задаюсь вопросом из тех, которые считают наивными в подходе к искусству: кто увлекательней, кто симпатичней Тургеневу — эти вот, с крайностями, или, допустим, однодворец Овсянников из рассказа, так и названного?

Хорош, разумен, нравствен, почтенен Овсянников. Но не тягаться ему по силе сочувствия автора, а с ним и читателя, ни с Пантелеем Чертопхановым, ни с Сашей из «Уездного лекаря».

Власть такого удела и людей, им меченных, над Тургеневым, право же, непобедима. Как он ни сопротивляйся даже.

Смотрите сами том за томом.

Друзья и знакомцы критикуют Рудина, сожалеют о слабости его натуры. Все же он, не прижившийся к рядовой жизни, влечет к себе многих. Во главе с автором.

И живет Рудин, и гибнет, пожалуй, странно, без энергичной цели. Но не пóшло же, не как все!

А Лиза Калитина, а Лаврецкий, нарушившие и превзошедшие добротное самоустройство здравомыслящих современников?

Да что там «Рудин», «Дворянское гнездо»...

Базаров из «Отцов и детей» с его нигилизмом, с уважением к одним лишь естественным наукам — он же одновременно романтическая в сущности натура, и ему никак не выходит по пути с теми, кто родился для благоразумного успеха, денег, счастья.

По-моему, решительно не следует пытаться объективно обрисовать тип российского шестидесятника по Базарову в этом прекрасном романе. За наружной характерностью речей легко открывается все тот же неприживаемый герой.

Несомненно принадлежат своему дню и часу Кукшина или Ситников, люди расхожего, пошлого сложения.

В XIX главе сам Тургенев, продолжая понимать (и на том настаивать), что жизнь широка и естественно многообразна, размышляет: «Появление пошлости бывает часто полезно в жизни: оно ослабляет слишком высоко настроенные струны, отрезвляет самоуверенные или самозабывчивые чувства, напоминая им свое близкое родство с ними. С прибытием Ситникова все стало как-то тупее — и проще; все даже поужинали плотней и разошлись спать получасом раньше обыкновенного».

Базаров и Аркадий Кирсанов уезжают из дома Одинцовой — это к ней явился нежданно Ситников.

Последнее утро гостевания у Одинцовой. В комнате, им отведенной, Базаров и Аркадий.

Аркадий «вдруг вскинул волосами и громко промолвил:

— На какого черта этот глупец Ситников пожаловал?

Базаров сперва пошевелился на постели, а потом произнес следующее:

— Ты, брат, глуп еще, я вижу. Ситниковы нам необходимы. Мне, пойми ты это, мне нужны подобные олухи. Не богам же, в самом деле, горшки обжигать!..

„Эге, ге!“ — подумал про себя Аркадий, и тут только открылась ему на миг вся бездонная пропасть базаровского самолюбия».

Недальнего самолюбия, тем более самодовольства, однако, в Базарове нет. Неизбежность отдельного и горького пути есть.

Хороший человек Николай Петрович Кирсанов, хороший человек сын его Аркадий. На самом деле так, без экивоков.

Желая принимать жизнь в широте ее, такой, какова она есть, видя кой-какой внебудничный запас чувств едва ли не в каждом человеке, Тургенев пишет свое. Он не проповедует крайности. Он даже как бы смущен, когда очередной раз упирается в них. Он хочет другого. Но...

Как ни уходи в живую жизнь, все видится: главных путей в ней два, и решительно разных.

Одни люди вошли или собираются, решают навсегда войти в *колею* разной степени облагороженности, украшенности. Даже Анна Сергеевна Одинцова, красивая, умная, способная томиться и недоумевать, по определению такова, груз какой-то не отпускает выйти из круга известного, очерченного, утоптанного.

Другим же попасть в колею не дано, хоть бы и надо, хоть бы и мечталось. Как он ни старайся: Базаров ли, вовсе ли другой Павел Петрович Кирсанов — обычная жизнь не идет им в кровь, претит. А иной-то жизни для них, собственно, и нет: пустое поле, нераздельность, тупик или обрыв. Не дал Господь выбора.

Хорошо это или плохо, но что за Россия без Базаровых и Чертопхановых, без Саши — Александры Андреевны, без Павла Петровича Кирсанова и еще, и еще...

Тургенев не проповедует. Но, чего бы ему ни хотелось, он видит то, что он видит.

Смерть героя от внезапной болезни для изощренного в сюжетах XX века способна казаться примитивным, суперпростым писательским приемом. Может, оно и так. Но нельзя же отрицать, что ранняя смерть Саши, Рудина, Базарова — явственный знак неприживаемости их к течению обычной жизни, в которую так легко, решительно, прочно вступают многие и многие.

Таков вольно или невольно сложившийся порядок у Тургенева — в рассказах, повестях, романах.

Конечно, этот порядок бросает тень на общую действительность. Не на лес и степь, не на Бежин луг, а на то житье, которое получили или устроили себе люди. На невнятный в своих основаниях российский обиход.

Вот и запутываются биографии, и к обычной жизни слишком многим не притереться, в нее не войти с толком.

Пустых, бездельных людей Тургенев отлично высматривает среди прочих и решительно не любит, как бы, чем бы ни были они декорированы. Да жизнь-то словно на них и рассчитана. Очень уж много в ней пестро-мутной пены. Или — дыма.

И как же тут убедительно свести гордость, душевный пыл, стремление ввысь — с равномерной и непошлой пользой имеющемуся состоянию отечества и самому себе?

В романе «Дым» (1867), который о российских людях, снующих по Европе, особенно наглядно и рельефно очерчивается родное наше мельтешение, суетное дление дней. Одни искренне — по своим насчет этого возможностям — полагают себя за других, другие мнят себя за третьих...

Отвращаться от лжи, от самообмана, в конце концов, можно. Добыть истинное не удается.

Похоже, не дойти до стойкой, голой, твердой, недвусмысленно надежной истины.

В XI главе «Дыма» приговор: «Но уж таков предел судеб на Руси: скучны у нас превосходные люди».

Сказано это про Пищалкина, «благонамеренного мирового посредника».

О нем же — в главе IV: «Пришел некто Пищалкин, идеальный мировой посредник, человек из числа тех людей, в которых, может быть, точно нуждается Россия, а именно — ограниченный, мало знающий и бездарный, но добросовестный, терпеливый и честный; крестьяне его участка чуть не молились на него, и он сам весьма почтительно обходился с самим собою как с существом, истинно достойным уважения».

Прочтешь и задумаешься: прав ли наш Иван Сергеевич Тургенев по отношению к якобы невыдающемуся Пищалкину (Пищалкин — фамилия-то!)?

Только причины правоты или неправоты не в самом по себе Тургеневе, не в воспитании, образе жизни и личных понятиях.

Здесь предъявлен и бегло обрисован мною один из самых путаных узлов в понимании вещей, высказанном русской литературой. Предъявлено неразрешимое для многих противоречие между надобностью в работнике, устроителе жизни, хозяине — и отвержением заурядности, будничной житейской колеи. Тугой узел, характерный для российской жизни, российской мысли.

Нет, скорей не узел, а развилка, рогатка, что ли.

Наша литература, серьезная, сильная, честная, вдумчивая, в течение десятилетий XIX века (говорю только о второй его половине, верней — начиная с середины сороковых) отмеченную развилку так благополучно и не миновала. Так и встала перед ней не без печального недоумения.

Преуспевающий, деловой и в то же время порядочный, истинно мыслящий человек, как правило, оставался фигурой или сомнительной, или нереальной.

Какой-нибудь Хорь — исключение из правила. Да и то до некоторой степени, не совсем, не полностью.

Когда Иван Александрович Гончаров твердо решил представить дельного человека в России, не бросая на него ни малейшей нравственной тени, а целиком одобряя и поддерживая, он, как известно, притянул к Обломову немца Штольца.

Штольца, действительно достойного, хорошего, однако, никто из читателей не полюбил. Даже очень-то всерьез и близко к сердцу не принял. Любил ли его сам Гончаров или только изо всех сил хотел поверить и полюбить?

Так оно и идет, так видится, так смотрится. До совершенно иного Антона Павловича Чехова, до какого-нибудь «Ионыча» (1898) и еще, и еще.

А как необходим, как дорог в небогатой, плохо устроенной, многолюдной жизни врач или учитель! Но Старцев — Ионыч несносен для Чехова уже тем, что безоговорочно побежден ритуалом обыденности, охотно в нее влез, принял заведенное за сущее. Много ли других, лучших? Где они?

Есть, правда, еще те, кто возделывает в трудовом поту родную землю. Они многим в нашей литературе внушали сочувствие до слез и коленопреклонения. Но это статья особая.

Все-таки где же ясный, общий, убежденный и для всех убедительный уклад существования, пусть налагающий свои строгие пределы и свои тяготы, но именно несомненный, дающий ногам твердую почву и открывающий дальние дали взору, мысли, чувству? Чтобы всем на пользу, кроме дураков и мерзавцев, и высоте духа не в умаление? Чтобы разные дороги вились и все равно достойные?

Не знаю, как вы, а я люблю Тургенева. Перечитывал его сейчас с увлечением, с волнением, которые в каком-то более раннем возрасте — между юностью и нынешним состоянием — утрачивал. Любовь вернулась.

Тургенев прекрасно знал и нам передавал природу истинной жизни. Она составлена из многого и всякого, она богата.

Но отчего-то не войти в нее до самого края. Отчего-то так заметны и так близки душе отдельные, невлившиеся.

Что же успокоит их, внесет мир в томящуюся душу?

«Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии „равнодушной" природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной...»

Так завершаются «Отцы и дети».

Есть общее для всех утешение, есть печальный покой, который рано или поздно осеняет всех и каждого.

Саши — Александры Андреевны — не стало.

Жизнь принесла ей свое решение, свой выход. Все-таки торопиться к нему не надо.

А вдруг, не отменяя этого, найдется в конце концов и другой, позволяющий на земле вести дни в общеполезных трудах и согласии?

Может, найдется. Если не витать в облаках. И, тем более, не быть категоричным, шумным, незряче-упрямым. Впрочем, это уже не о Тургеневе, не о Саше и других его созданиях.



Василий Яновский

ПОЛЯ ЕЛИСЕЙСКИЕ

IV

Георгия Иванова, несмотря на его нравственное уродство, я считал самым умным человеком на Монпарнасе.

Трудно сообразить, в чем заключался шарм этого демонического существа, похожего на карикатуру старомодного призрака... Худое, синее или серое лицо утопленника с мертвыми раскрытыми глазами, горбатый нос, отвисшая красная нижняя губа. Подчеркнуто подобранный, сухой, побритый, с неизменным стеком, котелком и мундштуком для папиросы. Кривая, холодная, циничная усмешка, очень умная и как бы доверительная: исключительно для вас!

Понимал он почти «все» (в разговоры теологические никогда не ввязывался). А главное, допускал «все». Сказать, что он прощал все,— нельзя. Ибо существо его, насквозь эгоистическое, было совершенно безразлично к любому вызову. Кроме того, простить — значит признать реальность вины, преступления, греха. Этого Иванов не мог разглядеть, как слепой — краски. Но стихи он любил и для них, пожалуй, жертвовал многим (indirectement [1]).

Такого сорта монстры встречаются на каждом шагу в искусстве; в Париже того времени Иванов не являлся исключением; он становился чем-то единственным только благодаря высокому классу своих стихов. Смоленский, Злобин принадлежали к той же «аморальной» семье.

Иванов — человек беспринципный, лишенный основных органов, которыми дурное и хорошее распознаются,— Георгий Иванов был членом «Круга» и даже пользовался там влиянием. Чем он это достигал, трудно сказать. В те годы многие считали, что поэтически он вышел из двух-трех строф Фета и ловко жонглирует ими (Ходасевич). Но молодежь его боялась, слушалась и любила.

Монпарнас, несмотря на внешнюю неряшливость, все же ценил «мораль», в отличие от пресловутого «серебряного века». Мы пытались мистику слить со здравым смыслом; Толстого со святым Иоанном Креста... Этим, пожалуй, определялась *наша* квадратура круга. Ибо каждая выдающаяся эпоха бьется над своей собственной квадратурой круга, и это решает ее стиль и дух.

Так, Мережковский смущенно заметался, когда я неожиданно ему сообщил, что деяния человека свидетельствуют о его духовном состоянии: как сыпь на коже от внутренней болезни... «Ну, это очень трудно так прямо сказать»,— мямлил он неуверенно.

Влияние Иванова на молодых поэтов объяснялось не только его стихами. Тут роль играл шарм и ловкость его литературной кухни. Он был умницей, поскольку можно считать умным человека, ставившего на бракованную лошадку. Лаской и таской он упорно добивался своего. Так, Варшавский, заслуживший репутацию «честного» писателя, по требованию Иванова пишет ругательную статью о Сирине (Набокове) в «Числах». («И зачем я это сделал? — наивно сокрушался он двадцать лет спустя в беседе со мною.— Не понимаю».)

Иванов обходит богатых евреев и занимает у них деньги. Потом он проделывает почти

Окончание. См.: «Звезда», 1991, № 9, 10.

[1] Косвенно *(фр.)*.

то же самое с немцами. И все-таки ему подают руку. Иванов ходит в Национальный Союз Трудового (или Молодого, не помню уже) Поколения — в те годы откровенно погромная организация... Потом на Монпарнасе он мило рассказывал, что там Достоевского называют жемчужиной русской литературы. Всякий раз, отправляясь к ним, Иванов объяснял: «Нет, сегодня я иду к жемчужинам». Там на открытом собрании, устроенном по инициативе Иванова, называют Адамовича Смердяковым. Но Иванову все же удается сохранить дружеские отношения с «Жоржем». Только последний, вероятно, знал всю степень духовной беспомощности Иванова.

И опять Иванов отделывается каламбуром, а назавтра распространяет злейшую сплетню и снова прибегает мириться с Адамовичем.

В жизни всякого писателя, ученого, трибуна наступает время, когда ему хочется подлинной славы: учеников, аудитории, даже памятника на площади в родном краю. Причем это не только голос честолюбия, гордыни, а некая нормальная потребность роста.

Такого признания захотелось наконец Иванову — всенародного, великодержавного. В сущности, нам всем в разное время нужна тысяча студентов и студенток, рукоплещущих, выпрягающих лошадей из коляски, несущих орхидеи на эстраду...

— Во второй раз эмигрантом я не буду! — угрожающе предупреждал он.— А в Москву я готов вернуться даже в обозе Гитлера.

Вот немцы наконец во Франции; многие друзья Иванова бедствуют, а он старается использовать новых знакомых по старому рецепту. Когда они разбиты (это ли не скверная лошадка) и бегут из Парижа, Иванов собирается немедленно записаться в Союз Советских Патриотов. Его отговаривает писательница Б.

А там он опять ведущий поэт, почти идеолог — на этот раз дипийцев! Иванов шармер, несмотря на свое внешнее и внутреннее безобразие, его обаяние привлекало людей...

— Вот вы написали в рассказе про человека, у которого синее лицо утопленника,— говорил он конфиденциально, вполголоса.— Сумели же вы такое увидеть.

В другой раз:

— Вы великодержавный писатель, не то что эта мразь.

По каким-то соображениям он тогда считал нужным мне польстить. А такого рода похвала пленяла и помогала многое прощать. Кстати, Иванов уверял, что лесть всегда действует положительно, даже если ей не поверят! (Польсти, польсти! — но Достоевскому.)

В связи со скандалом Иванов — Буров я был вовлечен в грязную склоку. Я тогда встречал Бурова и знал, где он по утрам гуляет в одиночестве. Когда последний в ответ на требования денег разослал всем циркулярное письмо касательно коммерческих операций Г. Иванова, Георгий Владимирович решил встретиться с ним и наградить его оплеухой. Но я отказался выдать доверенный мне секрет, то есть место его ежедневных прогулок. Это очень удивило наших честных молодых писателей, только Адамович заявил, что я совершенно прав.

Передаю эти подробности, чтобы показать, как легко, в сущности, было сохранить хорошие отношения с Ивановым, не идя на особые компромиссы с совестью. Но «недуг» Поплавского «перехамил или перекланялся»... оставался очень распространенным.

Иванов не играл ни в какие игры, азартные или коммерческие; его сексуальная жизнь — довольно сумрачная картина.

В «Круге», явно враждебном морально-политическому облику Иванова, поэт все-таки пользовался и уважением, и вниманием. Показательно, что Ходасевича мы не пригласили, хотя печатали его в нашем альманахе.

Перелистывая Фета, я всегда вспоминаю Иванова; по сей день не могу понять, почему последний так пришелся по вкусу изголодавшейся новой эмиграции... Разумеется, это настоящий поэт, но были уже у нас Ходасевич, Цветаева — не меньшего размаха! Думаю, что не в одной поэзии тут дело; читая Иванова, бессознательно чувствуешь, что все трын-трава: можно в одну контрразведку заглянуть, затем в другую, противоположную, позволительно ошельмовать кулака-отца, у еврея денег перехватить, затем у немецкого полковника, а Национально-Трудовой Союз записаться, потом к советским патриотам примкнуть. Все извинительно...

Только в мире и есть, что тенистый
Дремлющих кленов шатер!
Только в мире и есть, что лучистый
Детски-задумчивый взор!

Это строки Фета, а не Иванова. И еще:

Люди спят,— мой друг, пойдем в душистый сад:
Люди спят, одни лишь звезды к нам глядят,
Да и те не видят нас среди ветвей,
И не слышат,— слышит только соловей,
Да и тот не слышит: песнь его громка,
Разве слышат только сердце и рука...

Проза Иванова — трехмерная, на редкость безблагодатная («Петербургские зимы» в стороне, я разумею «романы» Иванова). «Распад атома» любопытен, пожалуй, с точки зрения автобиографической.

Тяготел он всегда скорее к «реакционному» сектору в своих взглядах, хотя убеждений, принципов у Иванова почти не было. Бессознательно любил и уважал только сильную власть и великую державу; требовал порядка и, главное, иерархии при условии, что он, Иванова, будет причислен к элите.

После благополучного завершения войны я получил письмо от Иванова с юга Франции. Тогда печатался в «Новом журнале» «Американский опыт», и Г. Иванов похвалил его: «Вот такие именно писатели нам нужны...» Затем что-то намекал насчет возможного (при его связях) устройства французского перевода. И в заключение просил послать отрез серого сукна на костюм. Это все типичный Иванов; надо только помнить, что если бы я ему отправил подарок, он бы мне обязательно, немедленно отплатил гадостью.

«О костюмчике не может быть и речи!» — отвечал я ему.

Это был любимый анекдот одессита Ставрова... Гражданин высовывается из окна горящего здания и зовет на помощь. Ему кричат снизу: «Прыгай!» Но он отвечает: «О том, чтобы прыгать, не может быть и речи». На Монпарнасе очень ценили эту шутку.

Вот я стараюсь, по-видимому, честно рассказать о человеке, которого знал, и чувствую, как сущность этой души, секрет ее ускользает. Неправда, что только Пушкин (Ленский) унес в могилу тайну своей личности. Мы все, и особенно такие искаженные образы, как Ивановы, храним и лелеем скрытую рану (язву), о которой можно догадаться только благодаря усердию, с которым мы толкаем посторонних, друзей и врагов, на ложный след.

Я назвал Иванова совершенно аморальным; но это неверно по отношению к его труду. Для стихов своих он, вероятно, многим жертвовал и, пожалуй, признавал некоторые, хотя бы им самим установленные, правила и законы. Возможно, что всю остальную жизнь он почитал вздором, скрашиваемым только комфортом, и поэтому ничего не стоило врать, шантажировать, предавать. Единственно стихи свои он воспринимал как настоящую реальность и тут не жалел себя.

К концу 30-х годов, когда тень Гитлера падала уже за Рейн, на французский пейзаж, наши нервы понемногу начали сдавать. В воздухе запахло кровью, быть может, кровью близких, и шуточки Иванова становились опасными; кроме того, полиция тоже вдруг, казалось, проснулась. Тогда он повел себя осторожнее; то ли дело во времена «народного фронта» — сколько язвительных, пророческих анекдотов порождал Иванов.

В «Круге» последний год Иванов сидел молча, с каменным лицом. Только изредка подталкивал к несдержанным рейдам нашего единственного (платонического) гитлеровца — Лазаря Кельберина... Сей последний вообразил себя, временно, помесью Паскаля с Розановым.

Вот к выкрикам Кельберина обычно тихохонько примазывался Иванов, покровительствовавший ему.

Раз, придя на заседание правления «Круга», я узнал, что будет обсуждаться кандидатура нового члена — Злобина. Каким образом Иванов убедил Фондаминского и кто еще участвовал в этом заговоре, не помню; но возражать пришлось только мне, даже Федотов только брезгливо отмалчивался.

— Помилуйте,— возмущался я.— Мы не пригласили Мережковских, у которых могли бы все-таки чему-то научиться. А тут вы предлагаете кандидата со всеми пороками Мережковских, но без их заслуг...

— Вы боитесь Злобина? — победоносно спрашивал Фондаминский, зная, *что* я отвечу.— Ну вот. Значит, пускай себе сидит и слушает. Может, даже мы на него повлияем. А Мережковские сильные противники. Кому охота теперь с ними спорить о самых элементарных началах и терять время. Только Кельберин еще соблазнится их речами, да еще кое-кто. Нет, Мережковских я не хочу здесь. А Злобин не опасен.

Его настойчивость, а главное, аккуратность, с какой он начинал опять спор именно с того места, на котором давеча прервал, действовали на многих из нас парализующе, и мы уступили.

Так в 1939 г. появился на этих собраниях заложник Мережковских — Злобин. Человек, вероятно, в большой степени ответственный за все безобразия последнего периода жизни Мережковских. Держал он себя тихо, подчеркнуто гостем, сидел на диване рядом с Ивановым, составляя некую темную фракцию; однако изредка задавал «каверзные» вопросы, например, после доклада Керенского:

— Не думаете ли вы, Александр Федорович, что Гитлер, помимо эгоистических видов на Украину, искренне ненавидит коммунизм и хочет его в корне уничтожить?

На что Керенский, кокетничая беспристрастием, ответил:

— Я допускаю такую возможность.

Керенский был у нас заложником исторического чуда. Несколько месяцев он возглавлял и защищал воистину демократическую Россию, тысячелетиями превшую в тисках великодержавных шалунов. Этого уже не удастся зачеркнуть!

«Верховный главнокомандующий,— насмешливо, но и с петербургским трепетом повторял Иванов.— Вы заметили, как он меня держал за пуговицу и не отпускал? Подумайте, Верховный великой державы, во время войны».

Когда, случалось, цитировали знаменитый белый стих Ходасевича: «Я руки жал красавицам, поэтам, вождям народа...» — Иванов неизменно объяснял:

«Это он Керенского имел в виду, других вождей народа он не знал».

Как-то раз случайная дама из правого сектора сообщила за чайным столом Мережковских, что встретила Керенского в русской лавчонке — он выбирал груши.

«Подумайте, Керенский! И еще смеет покупать груши!» — вопила она, уверенная в своей правоте.

В этот день обсуждалась тема очередного вечера «Зеленой лампы». Мережковский с обычным блеском сформулировал ее так: «Скверный анекдот с народом Богоносцем...»

К нашему удивлению, правая дама, запрещавшая Керенскому есть груши, возмутилась: «Мы придем и забросаем вас тухлыми овощами,— заявила она.— А может быть, и стрелять начнем».

Но и либералы, эсеры, народники тоже запротестовали, узнав о предстоящем вечере, и пришлось уступить «общественному мнению» — из трусости.

Мережковские закончили довольно позорно свой идеологический путь. Главным виновником этого падения старичков надо считать Злобина — злого духа их дома, решившего все практические дела и служившего единственной связью с внешним, реальным миром. Предполагаю, что это он, «завхоз», говорил им: «Так надо. Пишите, говорите, выступайте по радио, иначе не сведем концы с концами, не выживаем». Восьмидесятилетнему Мережковскому, кащею бессмертному, и рыжей бабе-яге страшно было высунуть нос на улицу. А пожить со сладким и славою очень хотелось после стольких лет изгнания. «В чем дело? — уговаривал Злобин.— Вы ведь утверждали, что Маркс — Антихрист. А Гитлер борется с ним. Стало быть, он — антидьявол».

Салон Мережковских напоминал старинный театр, может быть, крепостной театр. Там всяких талантов хватало с избытком, но не было целомудрия, чести, благородства. (Даже упоминать о таких вещах не следовало.)

В двадцатых годах и в начале тридцатых гостиная Мережковских была местом встречи всего зарубежного литературного мира. Причем молодых писателей там даже предпочитали маститым. Объяснялось это многими причинами. Тут и снобизм, и жажда открывать таланты, и любовь к свеженькому, и потребность обольщать учеников.

Мережковский не был в первую очередь писателем, оригинальным мыслителем, он утверждал себя, главным образом, как *актер*, может быть, гениальный актер... Стоило кому-нибудь взять чистую ноту, и Мережковский сразу подхватывал. Пригибаясь к земле, точно стремясь стать на четвереньки, ударяя маленьким кулачком по воздуху над самым столом, он начинал размазывать чужую мысль, смачно картавя, играя голосом, убежденный и убедительный, как первый любовник на сцене. Коронная роль его — это, разумеется, роль жреца или пророка.

Поводом к его очередному вдохновенному выступлению могла послужить передовица Милюкова, убийство в Halles, цитата Розанова-Гоголя или невинное замечание Гершенкрона. Мережковскому все равно, авторитеты его не смущали: он добросовестно исправлял тексты новых и древних святых и даже апостолов. Чуял издалека острую, кровоточащую, живую тему и бросался на нее, как акула, привлекаемая запахом или конвульсиями раненой жертвы. Из этой чужой мысли Дмитрий Сергеевич извлекал все возможное и даже невозможное, обгладывал, обсасывал ее косточки и торжествующе подводил блестящий итог-синтез: мастерство вампира! (Он и был похож на упыря, питающегося по ночам кровью младенцев.)

Проведя целую длинную жизнь за письменным столом, Мережковский был на редкость несамостоятелен в своем религиозно-философском сочинительстве. Популяризатор? Плагиатор? Журналист с хлестким пером?.. Возможно. Но главным образом, гениальный актер, вдохновляемый чужим текстом... и аплодисментами. И как он произносил свой монолог!.. По старой школе, играя «нутром», не всегда выучив роль и неся отсебятину,— но какую проникновенную, слезу вышибающую отсебятину!

Парадоксом этого дома, где хозяйничала черная тень Злобина, была Гиппиус: единственное оригинальное, самобытное существо там, хотя и ограниченное в своих возможностях. Она казалась умнее мужа, если под умом понимать нечто поддающееся учету и контролю. Но Мережковского несли «таинственные» силы, и он походил на отчаянно удалого наездника... Хотя порою неясно было, по чьей инициативе происходит эта бравая вольтижировка: джигит ли такой храбрый или конь с норовом?

Кто-то за столом произносит имя Виолетты Нозьер — героини криминальной хроники того периода (девица, убившая отца, с которым состояла в противоестественной связи).

— Вот,— заливается Мережковский и ударяет кулачком в такт по воздуху над столом.— Вот! От Жанны д'Арк до Виолетты Нозьер — это современная Франция.

— Ах, какой из него бы получился журналист! — не без зависти повторял Алданов, с которым я вышел оттуда.— Ах, какой журналист! Подумайте, одно заглавие чего стоит: «От Жанны д'Арк до Виолетты Нозьер».

Такими штучками — и в плане метафизическом — блистал всегда Мережковский. Но особой глубины и даже свежести, подлинной оригинальности в них как будто не оказалось. Да и правды не было, то есть всей правды. От Жанны д'Арк до Шарля де Голля — гораздо справедливее и осмысленнее. А Виолетты Нозьер были повсюду, во все времена. Но Мережковскому главное произвести эффект, сорвать под занавес рукоплескания.

Демонизм — это когда душа человека не принадлежит себе: она во власти не страстей вообще, а одной всепоглощающей, часто тайной страсти. Думаю, что Мережковский был насквозь демоническим существом, хотя что и кто им владели в первую очередь, для меня неясно.

Собирались у Мережковских пополудни, в воскресенье, рассаживались за длинным столом в узкой столовой. Злобин подавал чай. Звонили, Злобин отворял дверь.

Разговор чаще велся не общий. Но вдруг Дмитрий Сергеевич услышит кем-то произнесенную фразу о Христе, Андрее Белом или о лунных героях Пруста... и сразу набросится, точно хищная птица на падаль. Начнет когтить новое имя или новую тему, раскачиваясь, постукивая кулачком по воздуху и постепенно вдохновляясь, раскаляясь, импровизируя, убеждая самого себя. Закончит блестящим парадоксом: под занавес, нарядно картавя.

Люди постарше, вроде Цетлина, Алданова, Керенского, почтительно слушают, изредка не то возражают, не то задают замысловатый вопрос. Кто-нибудь из отчаянной молодежи лихо брякнет:

— Я всегда думал, что Христос не мог бы сказать о педерастах то, что себе позволил заявить апостол Павел.

— Вы будете вечером на Монпарнасе? — тихо спрашивают рядом.

— Нет, я сегодня в «Мюрат».

Мережковский начал с резкого декадентства в литературе. Он был дружен с выдающимися революционерами этого века, такими, как Савинков. Считалось, что он боролся с большевиками и марксизмом, хотя во времена нэпа вел переговоры об издании своего собрания сочинений в Москве.

Затем он ездил к Муссолини на поклон и получил аванс под биографию Данте. Рассказывал о своей встрече с дуче так:

— Как только я увидел его в огромном кабинете у письменного стола, я громко обратился к нему словами Фауста из Гете: «Кто ты такой? Wer bist du denn?..» А он в ответ: «Пиано, пиано, пиано».

Можно себе представить, как завопил Мережковский, вывернутый наизнанку от раболепного восторга, что дуче тут же должен был его осадить: «Тише, тише, тише».

Мережковский под этот заказ несколько раз получал деньги. Переводил этого Данте известный итальянский писатель, поэт русского происхождения Ринальдо Петрович Кюфферле, переводивший и мои две итальянские книги: Альтро Аморэ и Эсперианцо Американо. От него я кое-что слышал о трансакциях Мережковского.

Сам Дмитрий Сергеевич, отнюдь не стесняясь, рассказывал о своих отношениях с Муссолини:

— Пишешь — не отвечают! Объясняешь — не понимают! Просишь — не дают!

И это стало веселой поговоркой на Монпарнасе применительно к нашим делам.

Мережковский сравнивал Данте с Муссолини, и даже в пользу последнего: забавно было бы прочесть теперь сей тайноведческий труд по-итальянски.

Впрочем, вскоре поспел Гитлер, и тут родные гады откровенно зашевелились, выползая на солнышко из темных углов.

Мережковский полетел на нюрнбергский свет с пылом юной бабочки. Идея кристально чиста и давно продумана: в России восторжествовал режим дьявола, предсказанный Гоголем и Достоевским... Гитлер борется с коммунизмом. Кто поражает дракона, должен быть архангелом или, по меньшей мере, ангелом. Марксизм — антихрист; антимарксизм — антиантихрист: quod erat demonstrandum! [1]

О Муссолини он еще осведомлялся: кто ты есть?.. Но тут, с немцами, и спрашивать нечего: все понятно и приятно.

К тому времени большинство из нас перестало бывать у Мережковских. Кровь невинных уже просачивалась даже под их ковер, в квартирке, украшенной образками св. Терезы маленькой, любимицы Зинаиды Николаевны. Там, на улице Колонель Боннэ, вскоре начали появляться, как потом выразился Фельзен, «совсем другие люди».

Иванов, конечно, пристроился к победному обозу и собирался наконец превратиться в отечественного поэта, кумира русской молодежи. Впрочем, думаю, что вполне уютно тогда чувствовал себя только один Злобин.

Злобин, петербургский недоучившийся мальчик, друг Иванова, левша с мистическими

[1] Что и требовалось доказать *(лат.)*.

склонностями, звменил Философова в хозяйстве Мережковских. На мои недоумевающие вопросы Фельзен добродушно отвечал:

— Мне сообщали осведомленные люди, что у Зинаиды Николаевны какой-то анатомический дефект...

И, снисходительно посмеиваясь, добавлял:

— Говорят, что Дмитрий Сергеевич любит подсматривать в щелочку.

Как бы там ни было, но Злобин постепенно приобрел подавляющее влияние на эту дряхлеющую и выживающую из ума чету. Вероятно, он ее пугал грядущей зимою: холодом, голодом, болезнями... А с другой стороны, борьба с дьяволом-коммунизмом, найки, специальный поезд Берлин — Москва, эпоха Третьего Завета, новая вселенская церковь и, конечно, полное издание сочинений Мережковского в роскошном переплете. Влияние, любовь, ученики.

Догадки, догадки, догадки... Но как же иначе объяснить глупость этого профессионального мудреца, слепо пошедшего за немецким чурбаном. Где хваленая интуиция Мережковского, его знание тайных путей и подводных царств, Атлантиды и горнего Ерусалима? Старичок этот мне всегда казался иллюстрацией к «Страшной мести» Гоголя.

Недаром на большом, сводном собрании, где выступал Мережковский вместе с Андре Жидом, французская молодежь весело кричала:

— Cadavre! Cadavre! Cadavre! [1]

Гиппиус милостиво подавала свою сухую ручку гостям и, улыбаясь, говорила любезность: «А я вас читала сегодня» или «Хорошее стихотворение ваше»... Впрочем, кое-кому она молча совала лапку — почти с ожесточением. В общей сутолоке, среди перепутавшихся рук, прощаясь, Закович будто бы однажды поцеловал кисть Мережковского, чему последний отнюдь не удивился.

Беседуя, Гиппиус произносила имена св. Терезы маленькой или св. Иоанна Креста, точно дело касалось ее кузенов и кузин; то же о третьем Завете или первородном грехе. Если бы Мережковский не занимался метафизикой, а марксизмом или физиологией, то Зинаида Николаевна, вероятно, заигрывала бы с Энгельсом или цитировала бы Павлова. Несмотря на всю свою поэтическую самостоятельность, теологическую заинтересованность, это первично недоброе существо я рассматривал в порядке «Душечки» Чехова. Повествовали о ее «ангельской» красоте в молодости; вероятно, это правда. Хотя я заметил, что такое рассказывают про многих темпераментных литературных старух. В мое время она уже была сухой, сгорбленной, вылинявшей, полуслепой, полуглухой ведьмой из немецкой сказки, на стеклянных негнущихся ножках. (Что-то «ботическое» все же оставалось в красках.) Страшно было вспомнить ее стишок: «И я, такая добрая, Влюблюсь — так присосусь. Как ласковая кобра, я Ласкаясь обовьюсь...»

Она любила молодежь и поощряла некоторых поэтов; думаю, что многие ей должны быть благодарны. Из прозаиков бедняжка похвалила одного Фельзена (до прихода немцев, разумеется).

А затем немцы начали отступать, и Мережковские остались одни. Даже «единомышленники» вроде Иванова скрылись, стараясь где-то застраховаться. Об этой норе гордая Гиппиус писала: «Одно утешение осталось — Мамченко».

Так себе утешение...

Полагаю, что от стихов Гиппиус сохранится многое: больше, чем от декламации Мережковского. Но вообще, что-то неестественное, духовно разлагающее характеризовало эту чету.

Раз на большом собрании не то «Зеленой лампы», не то «Чисел»... «Числа» в нашей жизни сменили «Зеленую лампу», как потом «Круг» вытеснил «Числа», но на стыках они некоторое время «перекрывали» друг друга. Итак, на большом собрании Иванович-Талин громил зарубежную литературу, утверждая, что у нас осталось всего два стоящих писателя, но один устремлен исключительно в прошлое, а другой видит в жизни только дурное. Мережковский, председательствовавший, оживился и начал расспрашивать: «Может быть, писатель, обращенный в прошлое, ищет там ответа на современные вопросы?..» — и так далее, очевидно, полагая, что речь идет об авторе «Атлантиды» или «Леонардо да Винчи».

На что Талин с места крикнул:

— Меня заставляют назвать трех писателей, тогда как я имел в виду только двух: Бунина и Алданова.

И весь зал в ответ захлопал, заулюлюкал, завыл, на редкость единодушно ликуя. Алданов рядом со мною в тесном для него кресле беспокойно ерзал, вздыхая и оглядываясь.

— Видишь, а ты думал, что о тебе...— с грустной иронией отозвалась Гиппиус, сидевшая тоже на эстраде.

И серый, зеленый, согнутый Мережковский в продолжение нескольких минут вяло мямлил что-то такое, стараясь с честью выйти из неловкого положения. Было тяжело смотреть на него и противно — на ликующую толпу. Откуда эта стихийная радость всей аудитории? Почему такое всеобщее одобрение ловкому удару, нанесенному ниже пояса?

[1] Труп *(фр.)*.

Я случайно видел Мережковского в церкви на рю Дарю. В будний день, пустой собор; и его сухое тельце в российской шубе с бобровым воротником — похожее на высохшее насекомое или на парализованного зверька!.. Он долго лежал на полу, напоминая финальную сцену из лесковского «Чертогона».

Из старших у Мережковских бывали Керенский, Цетлин, изредка Алданов, Бунин и случайные иногородние паломники.

Присутствие Керенского создавало в гостиной всегда праздничную атмосферу. Я мог поклясться, что иногда различал лавровый венок на его голове, постриженной ежиком. Есть такие счастливцы и неудачники, которые, как метеоры, как яркие кометы, проносятся по небосклону, оставляя необъяснимый, подчас незаслуженный след в сердцах. Такое чувство я испытывал при виде Керенского, Линдберга, Одена, Сирина, Джона Кеннеди, Поплавского, Вильде. Это тайна Падающих Звезд, по-английски shooting stars.

Но стоило Александру Федоровичу открыть рот, и я начинал краснеть за него. Он был во власти стихийного потока: его несло, но неизвестно куда и не на большой глубине. Он принадлежал к породе «недогадывающихся»; по-моему, он был попросту неумен.

Как случилось, что его выпустили «уговаривать» солдатскую или мужицкую Русь, для меня остается загадкой. Впрочем, возможно, что это объясняется глупостью, «недогадливостью» целой эпохи.

В ответ на одно такое мое высказывание он раз сказал мне: «Все, что теперь происходит в Европе и перемалывается ею десятки лет, началось в России, как в прологе к греческой трагедии, как в пантомиме, понятной зрителю только в конце представления. Если бы мы имели опыт того, что потом произошло в Италии или Германии, мы бы совсем иначе себя вели».

Я передаю его слова по памяти, но за общий смысл ручаюсь.

В Нью-Йорке мы с ним часто встречались на собраниях «Третьего часа» в тесной квартире Е. А. Извольской. Но он уже тогда начал хворать, прошел несколько операций, ослеп и неуклонно разрушался. Его партийные или идеологические друзья с ним постепенно разошлись, до того изменились его «взгляды». Если не ошибаюсь, кто-то его даже обвинил в антисемитизме.

Есть такой дом для стариков, выздоравливающих, Nursing Home. На углу 79-й улицы и Третьей авеню. Туда поместили Керенского после его возвращения из Англии. Раз, очутившись в том районе, я решил наведаться к нему, в сущности, попрощаться. Мне назвали этаж и комнату и позволили подняться туда. В пустом широком коридоре не было никого. Я постучал и в ответ на хриплый возглас вошел.

— Кто это? — не то растерянно, не то испуганно.

Он сидел в кресле, с ногами, завернутыми в железнодорожный старомодный плед, и напряженно смотрел в сторону двери, хотя я уже был в центре довольно большой светлой комнаты.

— Это Яновский! — крикнул я поспешно.— Зашел вас проведать.

— А! Нет. Я очень занят теперь.

— Понимаю. Я сейчас уйду. Вас часто оставляют здесь одного без присмотра?

С профессиональной точки зрения это граничило с преступлением.

— Нет, не часто. Она пошла что-то купить себе.

В связи с нашим журналом «Третий час» мне поручили собрать некоторые сведения относительно одного эмигранта, который просился в сотрудники журнала и с которым Александр Федорович встречался в Мюнхене. Я задал ему соответствующий вопрос, и Керенский сразу оживился:

— О, это ужасный человек. Он не понимает, что нельзя американцам позволить так разговаривать с русскими. Он откровенно сознался: «Мне на все наплевать, я коплю деньги и хочу купить виллу в Италии. Все остальное меня не касается: делаю что приказывают»... Вот какой это тип!

— Как ваше здоровье, Александр Федорович?

— О, гораздо лучше. Я сделал ошибку, что поехал в Англию. Там они меня почти доконали.

— Можно вам как-нибудь позвонить, у меня еще есть вопросы к вам.

— Да-да, позвоните,— откровенно обрадовался он,— а теперь я занят.— И он повернул голову в сторону телефона, которого он достать рукой не мог и, очевидно, не собирался.

Его слова мне напомнили эпизод из жизни Салтыкова-Щедрина, который умирал от мучительной болезни, и когда к нему приходили с визитом, гости слышали, как он из соседней комнаты кричал слуге: «Занят, скажите, умирает».

В коридоре я встретил сиделку-японку, ухаживавшую за Керенским многие годы. Я постарался объяснить ей, что для многих русских неудачников вроде Горгулова стрельнуть в Керенского было бы прямой «путевкой» к славе. Но японка меня не поняла или не поверила мне.

Бунин порой вызывал улыбку за чайным столом Мережковских, где спорили о Третьем Завете, о Прусте, о доктрине Трубадуров. Следует помнить, что Бунин был конкурентом Мережковского по линии Нобелевской премии, и это не могло порождать добрых чувств. Он все реже заглядывал в эту гостиную.

Придраться к Бунину, интеллектуально беззащитному, было совсем не трудно. Как только речь касалась понятий отвлеченных, он, не замечая этого, терял почву под ногами. Лучше всего ему удавались устные воспоминания, импровизации — не о Горьком или Блоке, а о ресторанах, о стерляди, о спальных вагонах Петербургско-Варшавской железной дороги.

— Это бритая лошадь! — скажет он об одном уважаемом политическом деятеле, и сразу какой-то туман прояснится: действительно, лошадь и бреется!

Вот в таких «предметных» образах была сила и прелесть Бунина. Кроме того, разумеется, личный шарм! Коснется слегка своим белым, твердым, холодноватым пальцем руки собеседника и словно с предельным вниманием, уважением сообщит очередную шутку... А собеседнику мерещится, что Бунин только с ним так любезно, так проникновенно беседует. Да, колдовство взгляда, интонации, прикосновения, жеста... До чего этим шармом была богата старая Русь, и куда все девалось? Среди новых беглецов все налицо, как полагается: талант, эрудиция, подчас убеждения, идеалы, а благодати шарма, обаяния — нет и нет.

Если по соседству с Алдановым неизменно приходила в голову сказка о голом короле, то с Буниным судьба сыграла совсем противоположного рода шутку, душевно ранив его на всю жизнь... Бунин, с юношеских лет одетый изящно и пристойно, прохаживался по литературному дворцу, но был упорно провозглашаем полуголым самозванцем. Это еще в России, при вспышках фейерверка Андреева, Горького, Блока, Брюсова.

Нетрудно заметить, что именно российская катастрофа, эмиграция выдвинули его на первое место. Среди эпигонов за рубежом он воистину был самым удачным. А в Советском Союзе теперь о Бунине пишут: «так и просится в хрестоматию...», не догадываясь, что место большого писателя отнюдь не в школьных пособиях.

Итак, Бунин легко занял первое место в старой прозе; молодая, вдохновляемая европейским опытом, определилась только в середине 30-х годов и должна была еще воспитать своего читателя. Но *стихи* Бунина вызывали улыбку даже в среде редакторов «Современных записок». Он их, кажется, не печатал больше и не писал до второй Отечественной войны, когда круг исторический опять сомкнулся и снова появился спрос на отечественный пейзаж с коровьим мычаньем и запахом полыни или парного молока. Говорят, что мастера социалистического реализма теперь смакуют вирши Бунина, восхищаясь их монолитностью.

Горький опыт непризнания оставил у Ивана Алексеевича глубокие язвы: достаточно только притронуться к такой болячке, чтобы вызвать грубый, жестокий ответ.

Имена Горького, Андреева, Блока, Брюсова порождали у него стихийный поток брани. Видно было, как много и долго он страдал в тени счастливцев той эпохи.

Бунин прошел мимо всего русского символизма, не задетый им нисколько, упорно продолжая перекликаться с дубравами, березками и жаворонками. Осмеянный, но самостоятельный отщепенец, он теперь мстил своим мучителям, брал реванш. Нельзя сомневаться, что для современного политбюро стихи Бунина все еще понятнее и ближе, чем поэмы Андрея Белого или Анненского.

К чести Ивана Алексеевича надо признать, что он не кривлялся, не подражал, не бежал за модою, оставался почти всегда самим собою: гордым зубром, обреченным на вымирание.

Тексты Бунина как будто уже знакомы нам по произведениям других, более ранних авторов. Но «делает» он свои вещи, пожалуй, лучше самых великих предтеч. Это закон эпигонов! Бунин описывает ветлы на заливном лугу и щиколотки баб, может быть, удачнее Тургенева или Толстого. У него вино пьют из фужера... Но заслуги Тургенева и Толстого не в этом или не только в этом.

Можно проделывать чистенький акробатический номер в губернском цирке, над прочно растянутой сеткой... Это судьба эпигонов. То ли дело первые циркачи, которым приходилось кувыркаться с трапеции на трапецию без спасительной сетки внизу.

Замечательно, что «последователь» Бунина Зуров, то есть эпигон эпигона, еще искуснее описывает поцелуй крестьянки или зимний наст. Тут выражена какая-то закономерность.

Бунин на собраниях или в гостиной был наряден и любезен. Тщательно выбритый, с белым лицом, седой, иногда во фраке, подчеркнуто сухой и подтянутый, дворянин, европеец.

— Это он после того, как ему вырезали геморрой, начал себя так держать! — уверял Иванов, еще больше оттопыривая нижнюю губу.

Ночью на Монпарнасе, у «Доминика» или в «Селекте», подсаживаясь к нам, Бунин был мужественно изящен и прост. С ним нельзя было, да и не надо было, беседовать на

отвлеченные темы. Не дай Бог заговорить о гностиках, о Кафке, даже о большой русской поэзии: хоть уши затыкай. Любил он чрезмерно Мопассана, которого французы не могли считать великим писателем, как и американцы Эдгара По! Что не мешало обоим этим литераторам сводить с ума Россию.

Боже упаси заикнуться при Бунине о личных его знакомых: Горький, Андреев, Белый, даже Гумилев. Обо всех современниках у него было горькое, едкое словцо, точно у бывшего дворового, мстящего своим мучителям-барам.

Он уверял, что всегда презирал Горького и его произведения. Однако лучшая по старым временам поэма Бунина «Лес точно терем расписной»... была посвящена в первом издании Максиму Горькому. Позже, в эмиграции, он перепечатывал ее уже без посвящения.

— Не трогайте о. НН! — выкрикивал он вдруг в порыве какого-то душевного великодушия, хотя мы ничего дурного об о. НН не собирались говорить.— Не трогайте его, это мой Митя!..

Тут, конечно, любопытное противоречие, бросающее свет на процесс творчества Бунина и на ограниченность его кругозора: в «Митиной любви» герой кончает довольно банальным самоубийством, тогда как на самом деле молодой человек из его повести постригся в монахи и вскоре стал выдающимся иереем.

Натуральной склонностью обиженного в молодости Бунина было высмеять, обругать, унизить. Когда богатый купец угощал Бунина хорошим обедом, он, показывая независимость, привередничал, браковал вина, гонял прислугу, кричал:

— Да если бы мне такую стерлядь подали в Москве, так я бы...

Глядя на него, можно было легко поверить, что в России неплохие люди, единственно чтобы показать самостоятельность, мазали горчицей нос официантам и били тяжелые зеркала. А ресторатор это понимал не хуже Фрейда или Адлера.

Бунин интересовался сексуальной жизнью Монпарнаса; в этом смысле он был вполне западным человеком — без содроганий, проповедей и раскаяния. Впрочем, свободу женщин он считал уместным ограничить, что сердило почему-то поэта Ставрова.

Семейная жизнь Бунина протекала довольно сложно; Вера Николаевна, подробно описывая серую молодость «Яна», позднейших приключений его не коснулась, во всяком случае, не опубликовала этого.

Кроме Кузнецовой — тогда молодой, здоровой, краснощекой женщины со вздернутым носиком,— кроме Галины Николаевны в доме Буниных проживал еще Зуров. Последний был отмечен Иваном Алексеевичем как «созвучный» автор, и его выписали из Прибалтики. Постепенно, под влиянием разных бытовых условий, Зуров вместо благодарности начал испытывать почти ненависть к своему благодетелю. К тому же, несмотря на заботливый уход Веры Николаевны, или по причине его, Зуров вдруг тронулся рассудком, подвергаясь периодически припадкам помешательства. Он уже давно писал огромную эпопею «Зимний дворец», которую по многим причинам не мог или не желал печатать в эмиграции.

В свои последние годы Бунин сообщал гостям, насмешливо кивая в сторону комнаты Зурова:

— Вот, «Войну и мир» все пишет, ха-ха-ха.

Рассказывая мне об этом в Нью-Йорке, Алданов неизменно добавлял:

— Уважаю, очень уважаю, но сам я не могу десять лет работать над одной вещью.

Когда Алданов писал пьесу для театра Фондаминского, систематически прочитывал все известные драмы: новые и классические.

— Хороших пьес нет! — сообщил он мне с некоторой печалью.

Мы сидели наверху в «Мюра». Бунин только что вернулся из Италии и с радостью повторял слова, недавно сказанные Муссолини о том, что он не позволит поделить Испанию на две части! Надо было, конечно, объяснить Алданову, почему он не заметил хороших пьес, но тут Бунин вмешался и рассказал, что тоже когда-то начал писать трагедию, но неудачно, и поэтому уничтожил рукопись.

— Вот этого я не понимаю,— хозяйственно упрекал его Алданов.— Ну, отложите в сторону, спрячьте. Когда-нибудь пригодится!

— Это бы меня беспокоило.— нехотя поучал Бунин своего друга.— А сжег, конец!

Кузнецова, кажется, была последним призом Ивана Алексеевича в смысле романтическом. Тогда она была хороша немного грубоватой красотой. И когда Галина Николаевна уехала с Маргаритой Степун, Бунину, в сущности, стало очень скучно.

Бывало, на юге, в Грассе, утром выходит из комнаты Ивана Алексеевича Кузнецова и обращается к Вере Николаевне (заикаясь, со вздернутым смазливым носиком):

— Иван Алексеевич получил очень интересное письмо из Парижа...

— Ну, если оно интересное, то он мне сам расскажет,— при людях сдержанно отвечала Бунина.

Ходасевич называл Кузнецову — Зурова бунинским крепостным театром.

На Монпарнасе Бунин хаживал в отдельные комнаты наших поэтесс, стараясь проникнуть в местные тайны; потом говорил:

— Душечки, вы ничего нового не выдумали. Вот была у нас в Москве Инна Васильевна...

Типичнейший перебор зубров: при виде Лувра вспомнить родную каланчу; читая Пруста, похвалить симбирского самородка, спившегося 50 лет тому назад. Зайцев был гораздо культурнее, знал языки и ценил Запад, разумею, искусство Запада.

Вспоминаю эти ночные часы, проведенные в обществе Бунина, и решительно не могу воспроизвести чего-нибудь оталеченно ценного, значительного. Ни одной мысли общего порядка, ни одного перехода, достойного пристального внимания... Только «живописные» картинки, кондовые словечки, язвительные шуточки и критика — всех, всего! Кстати, Толстой крыл многих, но обидел его не Горький с Блоком, а Шекспир и Наполеон.

— Как изволите поживать, Иван Алексеевич, в смысле сексуальном? — осведомлялся я обычно, встречая его случайно после полуночи на Монпарнасе.

— Вот дам между глаз, так узнаешь,— гласил ответ.

И этот старинный прием «между глаз...» звучал как вальс «На сопках Маньчжурии».

Единственно что меня потрясло в его речах и я вспоминаю часто, как цитату из Пруста или Достоевского, это его слова относительно критики, рецензий, отзывов:

— Вот до сих пор еще, а ведь сколько этого было,— услышал я от него раз в «Доминике».— Увидишь свое имя напечатанным, и сразу тут, в сердце,— Бунин поскреб щепотью свою грудь слева,— тут почувствуешь нечто, похожее на оргазм.

Вот такие откровения чувственного мира для него характерны. И еще памятно... Раз во время оккупации, в Ницце Адамович мне показал открытку от Бунина. Иван Алексеевич писал, что к ним приехал один господин и отделаться от него по нынешним временам нельзя, «да и ему, вероятно, некуда идти». Последние слова я помню точно. И это прозвучало для меня как пушкинское «И милость к падшим призывал...». Неожиданно и прекрасно.

Когда Иван Алексеевич удостоился Нобелевской премии, все корреспонденты, и русская печать в особенности, описывали, как изящно, по-придворному, лауреат отвесил поклон шведскому королю. И фрак Ивана Алексеевича, и рубашка — все выглядело безукоризненно. Об одном почти забыли упомянуть или упоминали только мельком — это о содержании его речи. Кем-то переведенная для Бунина, может быть, при участии А. Седых, и произнесенная с плохим французским выговором, она была плоска и бесцветна.

Казалось бы, вот оказия выпрямиться во весь рост, выкрикнуть что-то свое о большевиках, о войне, о подвиге эмиграции, о свободе явной и тайной. Весь мир через час услышит, прочитает, повторит.

Но нет, Ивану Алексеевичу нечего прибавить к своим произведениям. Он локальное, русское, литературное явление. Европу, Америку он может удивить только европейским фраком и придворным книксеном.

У меня с Буниным, несмотря на частые встречи, личных отношений почти не было. Раз мы просидели целый вечер одни в коридоре, дожидаясь конца собрания, на котором Адамович, Гиппиус, Вейдле и даже Ходасевич славословили прозу Фельзена (тут же прочитавшего несколько отрывков). Бунину было так же трудно переварить этот «социальный заказ» наших критиков, как и мне! Так мы шептались часа два, беседуя и сплетничая. Это был умный, ядовитый, насмешливый собеседник, свое невежество искупавший шармом.

Все, что я писал, Бунину было совершенно чуждо; его «психологические» романы казались мне повторениями века Мопассана или Шницлера, по-русски, то есть с обильной закуской, жаворонками и закатами.

Когда выходила моя новая книга, я ее аккуратно посылал лауреату с любезной надписью. При встрече он благодарил, иногда делал двусмысленный комплимент. Так, о «Любви второй» сказал приблизительно:

— Хорошо у вас там религиозное преображение. А вот героиня упоминает о менструации: не знаете вы женщин, никогда они про это не заговорят.

Оставалось только томительно вздыхать и улыбаться: не спорить же с ним об этих предметах.

— Иван Алексеевич,— скажешь ему наконец,— ведь вы только знаете русских старорежимных женщин. Сознайтесь, ведь у вас никогда не было романа с европейкой...

— Вот стукну между глаз, тогда узнаешь!..— гласил незамысловатый ответ.

Вера Николаевна довольно часто спорила с мужем относительно бытовых подробностей того или иного описанного им происшествия: где, когда, с кем... Это была русская («святая») женщина, созданная для того, чтобы безоговорочно, жертвенно следовать за своим героем — в Сибирь, на рудники или в Монте-Карло и Стокгольм, все равно! Случилось, что на каторгу ей не пришлось идти, но, конечно, она не побоялась бы разделить судьбу Волконской и Трубецкой, даже, может быть, предпочла бы это — Грассу и 1, рю Жак Оффенбах.

Для бала Союза Молодых Писателей и Поэтов или для наших больших общих, и индивидуальных, вечеров Бунина неутомимо собирала пожертвования, продавала билеты, просила, кланялась, с достоинством благодарила... Ходила по русским бакалейным лавкам, унося для буфета дареные рижские шпроты и польскую колбасу.

Принимала участие в судьбе любого поэта, журналиста да вообще знакомого, попавшего в беду, бежала в стужу, слякоть, темноту. Был такой сотрудник «Возрождения», ныне москвич — Рощин; это он рассказывал с гордостью, что Куприн, которого он угостил хорошим обедом и заставил прослушать свою новую повесть, Куприн, попросив еще коньяка, благодушно воскликнул:

— Пишите, пишите, пишите!

Кстати, считалось, что именно Куприн сложил не совсем лестный стишок про Рощина: «У малютки труд упрощен: сел на... и подпись Рощин».

Итак, Рощин вдруг сманил законную жену одного русского таксиста (с ребенком), а потом никак не мог их прокормить своим трудом. Вера Николаевна и этим делом занялась вплотную. о чем, думаю, Зуров или Кузнецова когда-нибудь подробно расскажут.

По окончании парижского университета мне по закону полагалось для получения звания доктора Сорбонны *напечатать* свою диссертацию. А для этого нужны деньги.

И Вера Николаевна носилась по тучным меценатам с подписным листом, собирая на these de Paris [1]. Мне было совестно; в конце концов диплом ничего общего с литературой не имеет, зачем ей стараться! А она с холодной улыбкой на бледно-матовом лице, что-то похожее на Джоконду, объяснила:

— А мне очень приятно ходить именно по такому делу. Обычно я обращаюсь к солидным, практичным людям и прошу на какие-то стишки, которые они не знают и вряд ли когда-нибудь узнают. А тут вдруг впервые я могу их обрадовать понятным и приятным образом: помилуйте, на докторскую диссертацию, устроится человек и другим начнет помогать... Это они чувствуют!

Зуров в присутствии Бунина вел себя по меньшей мере странно: молчал, редко обращался к нему прямо, а когда Иван Алексеевич что-то рассказывал, то Зуров прислушивался с улыбкой, мною названной горгуловской. Точно Зуров знал какую-то *правду* о Бунине, которая противоречила всей видимости.

Позже, когда Зуров заболел, он грозился неоднократно зарезать Бунина, и на долю Веры Николаевны выпала нудная роль не только ухаживать за больными, но и охранять их от острой бритвы.

В сенях на 1, рю Жак Оффенбах, когда гость, бывало, старается повесить пальто на первый попавшийся гвоздь у вешалки, Вера Николаевна шепотом предупреждала:

— Нет, это крючок Леонида Федоровича (Зурова). Он может рассердиться. Повесьте на соседний гвоздик.

Бунину ничего не нравилось в современной прозе, эмигрантской или европейской. Похваливал (тепловато) одного Алданова. Когда начали выходить «Русские записки», то там опять Алданов, параллельно своим романам в «Современных записках», занимал по 50 страниц в номере. На Монпарнасе шутя утверждали, что после смерти Алданова в зарубежной прессе станет просторно; увы, мы не догадывались, что и другие уйдут, а в первую очередь — культурный читатель.

В связи с очередной продукцией Алданова «Пуншевая водка» я Бунина даже пристыдил и заставил объяснить, что в ней хорошего!.. Исчерпав ряд доводов, он наконец неубедительно закончил:

— Но как это написано!

— Плохо написано, Иван Алексеевич,— ответил я.— Алексей Толстой пишет божественно в сравнении с такой подделкой.

Алексея Толстого Бунин, конечно, ругал, но «талант» его (стихийный) ставил высоко. Думаю, что у Бунина вкус был глубоко провинциальный, хотя Л. Толстого он любил всерьез.

По своему характеру, воспитанию, по общим влечениям Бунин мог бы склониться в сторону фашизма; но он этого никогда не проделал. Свою верную ненависть к большевикам он не подкреплял симпатией к гитлеризму. Отталкивало Бунина от обоих режимов, думаю, в первую очередь их хамство!

В Германии, куда он поехал проведать Кузнецову, его на границе обыскали СС (залезали пальцем в анус): искали бриллианты, что ли?.. Помню, с каким бешенством он про это рассказывал. Догадываюсь, что такие эпизоды в жизни физиологически цельного Бунина сыграли бо́льшую роль, чем все теории и программы.

Мне Иван Алексеевич за все годы писал раза 2—3, и всегда кратко, деловито. Только однажды получилось иначе. Летом 1942 года перед отъездом в США я написал ему из Монпелье, прося какой-то американский адрес, может быть, Алданова. Бунин мне ответил из Грасса тотчас же, чуть ли не обратной почтой, и вполне обстоятельно. Сообщал нужные адреса, присовокупив еще некоторые от себя. «Пишете ли Вы что-нибудь, разумею — литературно?» — осведомлялся он и дальше увещевал: надо писать! Именно в такое время! Это единственный достойный ответ, доступный еще нам! Не помню дословно.

[1] Парижскую диссертацию *(фр.)*.

Письмо это было тем более трогательно и ободряюще, что ему мои писания ни с какого боку не подходили, я это знал. Вот эта смесь природного изящества, такта, милосердия наряду с грубостью недоросля из дворян особенно умиляла в Бунине.

На балу русской прессы в Париже 13 января ночью я очутился рядом с облаченным во фрак, стройно-сутуловатым, поджарым Буниным. Кругом носились полуобнаженные женщины в нерусском танце, музыка играла греховно-обнадеживающе.

— Иван Алексеевич,— обратился я к нему,— вам не кажется, что мы, в общем, профуфукали жизнь?

Бунин не удивился этому странному вопросу и не обиделся на фамильярное «мы»; подумав, он очень трезво ответил, не отводя, впрочем, глаз от кружащихся пар:

— Да, но ведь *что* мы хотели поднять!

В те годы Алданов неизменно делал комплименты Мережковскому:

— Вас, Дмитрий Сергеевич, считают в Германии первым русским писателем, но реакционером. «Берлинер Тагеблатт» так и пишет: эйнгефлайштер реакционэр.

Мережковский польщенно осклаблялся и горько повторял: «Эйнгефлайштер реакционэр...» Он себя таковым не считал.

Когда начали печатать бесконечную трилогию Алданова «Ключ», последний одно время довольно часто наведывался к Мережковским. Раз в углу гостиной происходил такого рода разговор:

— Марк Александрович, я собираюсь выругать «Ключ», вам это будет очень неприятно?

— Очень, Зинаида Николаевна. Вы себе даже не представляете, как это мне будет неприятно.

Ну, Гиппиус, кажется, о «Ключе» не написала.

— Это, собственно, что же такое ваш роман, авантюрный? — спрашивает Зинаида Николаевна, вертя во все стороны лорнет, не решаясь упереться взглядом в ответственного сотрудника «Последних новостей».

— Это психологический роман,— вкрадчиво объяснял Алданов, озираясь, точно боясь быть услышанным посторонними.

— Марк Александрович,— крикнет Мережковский, прерывая спор о Маркионе.— Мы решили, что Зина должна начать сотрудничать в «Последних новостях». Что вы об этом думаете?

— Многие не поймут этого литературного развода,— мягко отвечает Алданов.

Чудом карьеры Алданова надо считать факт, что его ни разу не выругали в печати, за исключением Ходасевича. Я часто, недоумевая, спрашивал опытных людей:

— Объясните, почему вся пресса, включая черносотенную, его похваливает?..

Даже ди-пи начали ловко вставлять в текст своих статей комплимент Алданову: концовку вроде, как бывало раньше в Союзе, похвалы «отцу народов». Они дошли до этого инстинктом и уверяют, что таким образом статья наверное пройдет и без больших поправок, даже встретит сочувственный отзыв влиятельных подвижников.

В чем тайна Алданова? Неужели он так хорошо и всегда грамотно писал, что не давал повода отечественному исследователю его вывалять в грязи (по примеру других российских великомучеников)?

Толстого ловили на грамматических ошибках. Достоевского, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Державина и Пастернака. Кого в русской литературе не распинали на синтаксисе! Но не Алданова. Алданова никогда ни в чем не упрекали: все, что он производил, встречалось с одинаковой похвалой. Что случилось с зарубежным критиком?

На Монпарнасе Иванов цитировал строчку из нового отрывка Алданова: там его героиня Муся старалась походить на женщину. Алданов, увы, был вне сексуальных тяжб. Как многие наши гуманисты, он, однажды обвенчавшись, этим самым разрешил все свои интимные проблемы: ни разу не изменив жене и ни разу не прижив с ней ребенка. Вишняк, Зензинов, Руднев, Фондаминский, Федотов, Бердяев и разные марксисты — все это люди бездетные. Сколько было скопцов в том поколении, поразительно.

И строчки, где бедная Муся кокетничает или занимается своим туалетом, приобретали зловеще-комичный оттенок в устах сумрачного Иванова; мы все кругом невесело посмеивались: Алданов занимал в журналах половину всего места, уделяемого прозе. И, пожалуй, половину критических отзывов. Он считался образцом любезности и доброжелательства: никому отказа не было. Но и пользы большой от его предстательства не обнаруживалось. Меня отталкивала его всегдашняя подчеркнутая готовность услужить.

Алданов, талантливейший, культурнейший публицист, почему-то задумал писать бесконечные романы. И это была роковая ошибка.

Перечитывая «Похождения Чичикова», я совершенно непроизвольно, однако всегда на тех же страницах, вспоминаю Алданова... «Приезжий наш гость также спорил, но както чрезвычайно искусно, так что все видели, что он спорил, а между тем приятно спорил. Никогда он не говорил: „вы пошли“, но „вы изволили пойти“, „я имел честь покрыть вашу двойку“ и тому подобное».

Галина Кузнецова, писательница деликатнейшая, в своем прелестном «Грасском журнале», где она ни о ком не отзывается резко или худо, все же так повествует о Марке Алданове:

«Всю дорогу туда и обратно он расспрашивал. Это его манера. Разговаривая, он неустанно спрашивает, и чувствуется, что все это складывается куда-то в огромный склад его памяти, откуда будет вынуто в нужный момент. Расспрашивал он решительно обо всем: как мы здесь живем, охотятся ли здесь, ездят ли верхом, почему не охотится Иван Алексеевич, почему не ездит верхом, почему не ловит рыбу...» и так далее, и так далее.

Как не вспомнить здесь знаменитый ларчик, куда Чичиков «имел обыкновение складывать все, что ни попадалось». А в другом месте «Мертвых душ»: «Потом, само собою разумеется, письмо было свернуто и уложено в шкатулку, в соседстве с какой-то афишею и пригласительным свадебным билетом, семь лет сохранявшимся в том же положении и на том же месте».

Пошлешь Алданову свою новую книгу и обратной почтой получишь летучку или открытку с благодарностью и пожеланием успеха. Бунин если отвечал, то только предварительно перелистав или прочитав книгу.

— Над чем изволите теперь работать? — осведомлялся Алданов, и молодой литератор недоумевающе оглядывался, не зная, к кому обращаются с этим вопросом. А получив ответ, вежливо продолжал:

— У кого предполагаете издавать?

Последний вопрос, уместный, может быть, в Москве, в наших условиях был совершенно бессмыслен.

Мне случалось наблюдать за Алдановым на одном полуполитическом собрании, и я многое понял... Союз журналистов по требованию председателя Милюкова собрался, чтобы исключить члена Союза Алексеева, заподозренного в сотрудничестве с советской контрразведкой. Заседание было «бурное», защищали Алексеева сотрудники «Возрождения», в первую очередь светлой памяти Сургучев (чьи скрипки в июне 1940 года зазвучали по-весеннему). Коллеги Алексеева упрямо повторяли, что обвинение не доказано.

— Позор! — выкрикивал Сургучев.

— Позор! — подхватывал спереди Мейер. И маленький зал Российского музыкального общества совсем не музыкально содрогался.

Почему-то в этот вечер присутствовало много молодых, имевших еще свой Союз Писателей и Поэтов. Очевидно, была произведена мобилизация «передовых» сил.

Председательствовал генеральный секретарь Зеелер, для меня тоже вышедший из «Мертвых душ» — Собакевич. Выступали разные «беспокойные» личности, путавшие и раздражавшие Зеелера. Наше отношение к чекисту было вполне определенное, и все спокойно ждали голосования. Надо отметить, что в Париже собралось несколько десятков литераторов, в продолжение всей эмиграции с посольством на рю Гренель не заигрывавших. Позже они зеленых мундирчиков не надевали и в «освободительных» газетках не сотрудничали. Историку отечественной словесности этого периода когда-нибудь придется с похвалою отметить сей факт. То, что случилось с Маклаковым, особое послеоккупационное явление — реакция на чудесное спасение России.

В перерыве я спросил Алданова:

— А вы, Марк Александрович, что думаете по этому поводу?

— Очень грустно все это,— ответил он неохотно.— Что тут думать.

Когда приступили к голосованию, в самую напряженную минуту я случайно оглянулся и заметил, как пухлый Алданов, похожий на моржа (с ластами вместо рук), проворно скользнул за дверь и скрылся, от явного голосования уклонившись.

В нем многое казалось, и было, подделкою. Его желание выглядеть петербуржцем или западноевропейцем... Утверждали, что Алданов много пьет и пишет свои произведения в кафе: совсем как poetes maudits [1].

Даже на его доброжелательности, услужливости, порядочности был какой-то налет лжи, которую так ненавидел обожаемый Алдановым Лев Толстой.

— Ведь ключ к «Войне и миру» потерян, его нельзя найти! — жаловался он в минуту откровенности. Предполагалось, что к каждому литературному произведению имеется «ключ», и если Марк Александрович его не нашел, значит, его уже никто не сыщет.

Алданов понимал, что Пруста *надо* хвалить, но, думаю, что он его не читал. Отзываясь уважительно о Прусте, он тут же упоминал имя какого-нибудь другого писателя, которого нельзя поставить рядом, например, Марквенда. Да и никаких следов, оставленных Прустом, нельзя было заметить в Марке Александровиче. Но он часто повторял, что не может себе простить двух роковых ошибок — не съездил в Ясную Поляну и не видел живого Пруста... а обе эти возможности были ему доступны. Характерно для Алданова: читать Пруста не обязательно, а поглядеть на него из угла кафе полагается.

Кстати, какой это страшный литературный анекдот — единственная встреча Пруста с Джойсом (при жизни). Их представили друг другу в людном и модном салоне. Они постояли с минуту рядом, обменялись условным приветствием и разошлись: им абсолютно не о чем было разговаривать.

---

[1] Проклятые поэты *(фр.)*.



Красимира Стоянова

«Я — ДВЕРЬ ДЛЯ НИХ!» [1]

Самое удивительное проявление ясновидения Ванги — это контакт, который она устанавливает с умершими родными, близкими и знакомыми посетителей. О смерти и о том, что остается после нее от человека, Ванга имеет свое мнение, отличающееся от представлений современного человека. В 1983 году записана беседа Ванги с режиссером (П. П.), в ходе которой она говорила: «Ведь я сказала тебе, что, когда человек умирает, его тело гниет. Но душа и часть тела, я даже не знаю, как ее назвать, не гниет. Вот вы говорите о перерождении. Что это такое, я не знаю. Но то, что не гниет, а остается от человека, помоему, развивается, чтобы достичь высшего состояния, но мы не знаем, что это такое. Происходит примерно следующее: сначала умираешь необразованным, затем умираешь учеником, после человеком с высшим образованием, в конце концов, становишься ученым или же занимаешь высокий пост и т. д. Вот это и есть высшее. Это душа».

Она воспринимает смерть только как физический конец и считает, что личность сохраняется и после этого фатального исхода.

На вопрос одного посетителя, почему она говорит ему о его умершей матери и не он ли ее привел своим присутствием, Ванга ответила ему: «Не ты ее привел. Они сами приходят, потому что я — дверь для них».

«Как только человек появляется передо мной, так его усопшие близкие размещаются вокруг него, они задают мне вопросы и отвечают на вопросы, а я сообщаю услышанное от них живым».

Ванга: «Пришла ко мне молодая женщина, и я сразу ее спросила: „Помнишь ли ты, что у твоей умершей матери был шрам на левом бедре?", и она это подтвердила. Меня спросила, как я это увидела. Очень просто! Мертвая встала передо мной. Молодая, веселая, синеглазая, улыбающаяся женщина в белой косынке на голове. Она была одета в пестрое платье. Женщина подняла подол и сказала мне: „Спроси, помнит ли она, что у меня шрам от падения?" Умершая мать продолжала: „Скажите Магдалене (это другой ее живой дочери), пусть она не ходит на кладбище, потому что у нее нет колена. (Посетительница подтвердила, что у ее сестры искусственная коленная чашечка и ей трудно ходить.) Скажи моей дочери, что в свое время, когда турки хотели поджечь наше село Галичник (в Югославии. — *Примечание автора*), мой отец дал бею много денег, чтобы спасти село. А потом мы решили построить церковь и срубили все тутовые деревья в селе. Ночью тайно перенесли их на место, определенное для строительства. Построили церковь. Перед ней сделали чешму [1] с тремя кранами"».

Изумленная дочь сказала, что она не знает таких подробностей, но была в Галичнике и там действительно не видела тутовых деревьев, а перед церковью на самом деле есть чешма с тремя кранами.

Ванга продолжала передавать слова матери: «Несколько лет тому назад мой сын упал, ударившись головой, и сейчас очень болен». Да, подтвердила посетительница. У моего брата раковая опухоль в голове. Его оперировали. Ванга говорит: «Сделайте еще одну операцию, но только для вашего спокойствия. Операция не даст положительного результата, и брат твой скоро умрет».

Другой случай. Пришла мать, сын которой был солдатом и погиб при катастрофе. Ванга спрашивает: «Как звали парня?» — «Марко»,— ответила женщина. «Но он мне говорит, что его зовут Марио».— «Да,— подтвердила женщина,— дома мы его называли Марио». Через Вангу юноша сообщил, кто виноват в катастрофе, и сказал: «Смерть меня предупредила еще в пятницу, а я уехал во вторник». Солдат умер во вторник. Мертвый спросил, купили ли ему часы. Мать рассказала, что сын ее потерял в казарме часы и она обещала ему купить новые, но после того, как ей сообщили о катастрофе, она ничего не купила. Сын спросил, почему он не видит своей сестры в доме, а мать объяснила, что сестра завершила учебу и теперь живет и работает в другом городе.

Невероятная способность Ванги общаться с мертвыми произвела сильное впечатление и на нашего известного литературного критика Здравко Петрова. В журнале «София Ньюс» (1975, 24—30 июля) он опубликовал очень интересный материал, озаглавленный «Пророчащая болгарка». Предлагаем его рассказ в сокращении.

«До осени 1972 года я мало значения придавал тому, что в маленьком городе Петрич, расположенном недалеко от греческой границы, обитает живая пророчица, привлекающая внимание болгар. С раннего утра до позднего вечера перед воротами ее дома толпятся люди. Она рассказывает о том, где находятся пропавшие люди, раскрывает преступления, ставит медицинские диагнозы, рассказывает о прошлом. Самым удивительным в ее даре является то, что она рассказывает своим посетителям об их настоящем и будущем. Она предсказывает без фатальных последствий. Опыт научил ее быть осторожной в своих предсказаниях. Кроме того, не все возможное становится реальным. Если употребить гегелевский термин „разбросанная реальность", используемый, чтобы объяснить вероятность как философскую категорию, то именно это имеет место в случае с Вангой. Она сообщает о некоторых вещах с удивительной точностью.

Присутствуя на „сеансе" в ее доме, я был свидетелем того, как она у одного из своих „пациентов" попросила часы (обычно ей приносят кусочек сахара), чтобы потрогать их. Он выразил удивление, что ей понадобился такой предмет. А она ответила ему такими словами: „Дай мне твои часы, я не их буду держать в руках, а твой мозг".

Случайно я поехал в город Петрич для короткого отдыха. Остался там на несколько дней. Мое знакомство с этой шестидесятилетней женщиной из народа, одаренной даром пророчества и чувством юмора, стало самым значительным событием в моей жизни.

В сущности, у меня не было намерения подвергаться воздействию каких-либо сеансов. Видимо, Ванга почувствовала это уже в первые часы моего пребывания в Петриче, потому что позднее она сказала моему другу, адвокату: „Он приехал, не желая, чтобы я что-нибудь ему рассказывала, но я все-таки ему рассказала". И она засмеялась своим характерным смехом.

Самая интересная часть этой истории начинается сейчас.

У друга, познакомившего меня с Вангой, была машина, и он после обеда предложил прогуляться за город. Мы приблизились к селу Самуилово, около которого сохранились стены крепости царя Самуила [2] — объект археологических исследований и реставрационных работ. В машине я был молчалив и обменялся с моим другом лишь несколькими словами. Мы быстро достигли крепости и начали рассматривать раскопки. Слепая Ванга не могла разделить удовольствие от созерцания пейзажа и осталась с сестрой в машине. Они беседовали друг с другом. Я прогуливался по поляне. В какой-то момент, когда я был в 7—8 метрах от нее, Ванга начала говорить. Слова ее явно относились ко мне. Она меня

---

[1] Глава из книги «Ванга». Полностью эта книга об одной из самых удивительных женщин нашего времени — всемирно известной ясновидящей — болгарке Ванге Димитровой будет опубликована издательством «Библиотека „Звезды"» в 1992 году и распространена через магазины «Союзкниготорга».

Красимира Стоянова Григорьева — член Союза писателей Болгарии. Племянница Ванги.

Чемодавова Марина Геннадиевна — кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР. Автор книг «Творчество Васила Друмева» и «Становление болгарской национальной литературы», переводчица с болгарского языка.

[1] Чешма — каменное сооружение с краном, в который поступает вода из источника.

[2] Самуил — с 997 по 1014 год царь Западно-Болгарского царства. Укрепил его внутреннее положение, расширил территорию. Вел упорную борьбу с византийским императором Василием II за сохранение национальной независимости. Умер от сердечного приступа, когда увидел болгарских воинов, ослепленных византийцами.

поразила уже первой фразой: „Твой отец Петр здесь". И я остановился, как Гамлет перед духом своего отца. Что я мог сказать? Мой отец умер 15 лет тому назад. Ванга начала говорить о нем с такими подробностями, что я окаменел. Не помню, как я себя чувствовал тогда, но, по свидетельству людей, находившихся рядом со мной, я был очень возбужден и смертельно бледен. Ванга несколько раз повторяла, что отец мой стоит перед ней, хотя я и до сего дня не знаю, в какой проекции она его видела: в прошлом, настоящем или в будущем; она даже показала на него рукой. Очевидно, она получала сведения о домашнем мире, давно забытом даже мной. Для нее время существовало как прошлое, настоящее и будущее, оно было для нее неким однородным потоком. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление.

Меж тем она сказала мне, что отец мой говорит о Цветнице [1], что у меня имя цветка, что зовут меня либо Цвятко, либо Здравко [2]. Я подтвердил, что меня зовут Здравко. Потом она сказала, что отец мой говорил по-турецки. По профессии отец был адвокатом, но работал кроме того и преподавателем политэкономии и гражданского права в турецкой гимназии в Шумене до 9 сентября 1944 года.

Затем Ванга начала говорить о моих дядьях. Назвала двоих из них. О моем третьем дяде, погибшем при трагических обстоятельствах, я сам ей рассказал. Смерть его была весьма таинственной. Она сказала, что предательство является причиной его убийства. Еще меня удивило, что Ванга спросила, кто такой Матей в нашей семье. Я ответил, что это имя моего деда. Мне было пять лет, когда его похоронили в один январский день. С тех пор прошло 40 лет. Меня изумило, что она знает его.

Когда я вернулся из Петрича в Софию и рассказал моим друзьям о своем изумлении, кто-то из них спросил меня, не думал ли я в тот момент о своем деде. Я ответил: это исключено. В Софии я редко вспоминал его имя, так как у меня есть только несколько родственников, с которыми я мог бы говорить о нем. Даже самые лучшие мои друзья не знают его имени. Ванга характеризовала деда как доброго человека. Это соответствует действительности, я знаю это от моих родных.

Ванга долго говорила о моих родственниках, около 10—15 минут. Говорила о моей племяннице, которая сделала ошибочный выбор при поступлении в университет. Вспоминала о более мелких ежедневных подробностях, например, о том, что я купил испорченный радиовтор. Потом она посоветовала мне почаще бывать на солнце, что укрепит мое здоровье (и правда, я не очень-то люблю бывать на солнце). „Иначе,— сказала она,— тебе придется ходить с палкой". Она сказала: „Пусть солнце будет твоим богом". Затем она сказала мне, что у меня два высших образования („две головы", как она выразилась). Присутствовавшие добавили, что я проходил специализацию в Москве. Она спросила меня, что это значит.

Позже она начала рассказывать, что видит воинов Самуила, стоящих перед ней, воинов этого трагического болгарского царя, которые, как мы знаем из истории, были ослеплены Василием II [3]. Ванга спросила меня, кто их ослепил, какой национальности этот человек. Я смутился, в этот момент память начисто изменила мне, и я забыл, к какой царской династии он принадлежал. Позднее мой друг спросил меня, как я мог забыть происхождение Василия, коль я так хорошо знаком с византийской историей. Наверно, я был ошеломлен тем, что Ванга в состоянии видеть события столь далекого нашего исторического прошлого. В другой раз Ванга спросила меня, что за люди были византийцы. Она рассказывала, что, когда она была в церкви города Мелник, она слышала голоса, которые говорили: „Мы — византийцы". Она видит людей, одетых в парчу. Она видит и остатки римских бань под землей. Несколько видных византийцев действительно были в прошлом высланы из Византии в Мелник. Она рассказывала и о других исторических личностях.

Мы рассуждали о ее даре видеть прошлое и будущее. Все это время между нами шел необычный разговор. Ванга начала говорить о смерти. Мы все смотрели на ее неподвижное лицо. Очевидно, у нее были видения. Она рассказала о нескольких случаях, когда сама она почувствовала смерть. Так она рассказала о своем собственяом супруге, час смерти которого она точно предсказала. Затем она рассказала, что однажды, когда во дворе варили сливы, она ощутила, как смерть „прошумела" среди деревьев. Все это прозвучало для меня словно баллада. Она говорила, что смерть — это красивая женщина с распущенными волосами. У меня было чувство, что я стою перед поэтом, а не перед ясновидящей».

Смерть... Эта страшная и никому не желанная гостья, которая пресекает нить нашей жизни. Но, по мнению Ванги, это проекция нашего «я» в некие другие, непонятные нам измерения.

Однажды к Ванге пришла молодая женщина из Софии. Ванга сразу обернулась к ней

[1] Цветница *(религ.)* — Вербное воскресенье.

[2] Этвмология болгарского имени Здравко восходит к слову «здравец» — дикая герань.

[3] Василий II (Болгароубиец) — византийский император (976—1025). После упорных войн с болгарами завладел (в 1018 г.) I Болгарским царством. Назвая «Болгароубийцей» потому, что приказал ослепить в 1014 г. 15 тысяч пленных болгарских воинов.

с вопросом: «Где твой друг?», а женщина ответила ей, что он мертв, он утонул несколько лет тому назад. Ванга описала его, сказав, что видит мертвого словно живого и разговаривает с ним, а он задает ей вопросы: «Вот, он встал передо мной, высокий, смуглый, с родинкой на щеке, и у него небольшой дефект в речи». Женщина все подтверждает. Ванга: «И он мне говорит: „Никто не виноват в моей смерти. Я сам упал в воду. Я страшно испугался, потому что не умею плавать. У меня случился перелом в пояснице. И сердце мое разорвалось". Он спрашивает, где его часы и прочие мелкие вещи. Он спрашивает о родных и друзьях, называет их имена... советует подруге через какое-то время выйти замуж и уверен, что выбор ее будет удачным».

...Испанский профессор, ученый, рассказал Ванге, какой доброй при жизни была его мать, как заботилась о нем, но всю свою жизнь она была очень бедной. Ванга перебила его и говорит: «Подожди, я тебе расскажу, как было... Будучи на смертном ложе, она сказала тебе: „Мне нечего тебе оставить, но я дам тебе мой старый семейный перстень. И поскольку ты останешься один — пусть он тебе помогает и напутствует тебя в жизни!"».

Чрезвычайно изумленный профессор подтвердил, что было именно так. «Ну, хорошо,— спросила его Ванга,— что стало с этим перстнем?» Испанец ответил, что, став уже известным ученым, он однажды поехал за город на прогулку, перстень соскользнул с его руки и упал в реку. Он долго искал его, но не смог найти.

«Что же ты наделал, человек? Ты прервал связь со своей матерью!»

Смущенный ученый признался, что иногда такая мысль приходила ему в голову, потому что после потери перстня ему, как правило, ни в чем не везло, но, будучи ученым-материалистом, он прогонял от себя эту мысль.

Несколько лет тому назад во время наводнения в Скопле родители потеряли своего единственного ребенка. Они предположили, что ребенок утонул. Родители пришли к Ванге, чтобы спросить ее, верно ли их предположение. А Ванга (этот случай мне рассказала она сама) им ответила: «Не плачьте, потому что именно столько ему было предопределено прожить. Дитяти вашего действительно нет среди живых. Но вы ищете труп не там, где надо. Он находится ниже по течению, после большого поворота реки. Там есть большие деревья, и тело застряло в их корнях. С одного края видна его ручка. Вот если я сейчас пойду туда — сразу найду ребенка. Вот, вижу его словно живого. Он мне говорит: „Иди, я приведу тебя точно на место"».

Через некоторое время к Ванге пришли люди, близкие этой семье, и сообщили ей, что труп ребенка найден именно в том месте, которое она указала.

Подобных случаев — тысячи, но здесь не представляется возможным описать их все, да и темы не очень приятна.

Но Ванга движется не только в царстве мертвых. Она наблюдает также смерть и возрождение целых городов, например, города Мелник [1]. «Здесь,— говорит Ванга,— каждая травинка, каждый камешек, каждая пядь земли — святыня. В это место я прибываю с удовольствием и лучше всего здесь отдыхаю. Я тут заряжаюсь силой, энергией и вдохновением. Присяду на какой-нибудь камень, и хочется мне помолчать. Никто не тревожит меня. Все окружающее говорит со мной: и камни, и развалины, и обрывы... Город рассказывает мне свою историю, начиная с давно минувших времен: я вижу давно умерших людей, разрушенные храмы и дома, существовавшие здесь тысячи лет тому назад.

Однажды мы пришли в Мелник с моей сестрой Любой, которая взяла с собой своего первого внука, шестимесячного ребенка. Вдруг как будто его душа говорит мне: „Видишь ли, сестра, Мелник. И ты — как он". Я очень расстроилась и потом долго плакала.

Чем я напоминаю Мелник? Тем ли, что я порожняя и одинокая, как он, или тем, что имею такую же древнюю историю, как этот город? Не знаю. И по сию пору не могу этого разгадать».

В начале 70-х годов у Ванги возникло сильное желание бывать ежедневно в Мелнике и там принимать многочисленных посетителей, потому что она считала, что там ее дар получает наибольшее вдохновение и там она увидит и расскажет много интересного. Но ее деятельность в столь маленьком городке породила бы много проблем, связанных с организацией ее работы, потому желание ее не было удовлетворено. Поистине жаль, ибо кто знает, что еще смогли бы мы услышать из ее уст!

И еще один интересный случай.

В 1983 году режиссер П. П. поделился с Вангой, что у него возникло большое желание сделать фильм об Орфее и он давно к этому готовится. Ванга сказала ему, что у него это не получится, потому что отношение его к легендарному певцу неверно. Она сказала (запись разговора на магнитофонной ленте находится у меня):

«Дар Орфея идет не с неба, а от земли. Он припадает ухом к земле и поет. И дикие животные стоят и слушают его, но не понимают. Орфей — земной человек. Он играл и на ивовых листьях, и на дудочке из вербы, использовал он для игры и кору вяза, и кору бука,

[1] Мелник — городок на юго-западе Болгарии. Известен с XI века. В XII—XIV веках — важная кревость.

и кору дуба. Он ложился на землю, и сама земля звучала для него. Орфей поет вместе с землей.

Где бы он ни проходил, все деревья помогают его игре, и птички ему подпевают, и небо ему помогает, оно пишет на земле слова, а он, проходя мимо, читает их и снова поет.

Ну, хорошо,— обращается она к режиссеру,— ты каким его видишь, ты оборванным ли его изобразишь? Для меня Орфей такой: это несчастное дитя в рваной одежонке... Затем передо мной проходит небритый, нестриженый парень, с большими ногтями... И все поет. Все голоса и мелодии ему дарит земля...

Не знаю, почему за ним идет Самуил...

Когда впадаю в транс, я все это вижу, но никто мне раньше не задавал таких вопросов, и мне это было не интересно. Но когда я сижу вот так, вижу все это, то думаю: „Боже, чего только не было на свете!“».

Но с особенным удовольствием Ванга говорит с цветами. Она их воспринимает как живые существа, и обычно рано утром можно увидеть, как она обходит свой богатый сад возле ее дома в Петриче, где растет много цветов. А когда она находится в Рупаке, можно увидеть, как, гуляя, она останавливается перед каждым цветком, как гладит его, поливает и что-то нашептывает. Она утверждает, что и цветы рассказывают ей о многом.

И тут происходит нечто совершенно необъяснимое... Если вы придете к Ванге, а совсем незадолго до этого умер близкий вам человек, от соприкосновения с этой недавней смертью ей становится плохо, она может даже потерять сознание. В таких случаях она всегда спрашивает: «Почему вы не принесли цветы в горшочке? Эта информация о мертвых, которую неосознанно вы вызываете своим присутствием, переходит к цветам, и они спасают меня от тяжелого самочувствия». Она не любит букетики срезанных цветов: «Все равно что отрезали ручки у детей, цветок должен быть живым».

Сестра ее Любка вспоминает, что однажды утром Ванга попросила ее выйти к людям, толпящимся около ее дома, и привести к ней женщину — цветочницу из Софии. И Ванга назвала ее имя. На вопрос сестры, откуда она знает, что около дома стоит цветочница, Ванга ответила: «Вот эти „сережки“ только что сказали мне об этом. Она приехала посоветоваться со мной о своем непутевом сыне. Позови ее, я ей расскажу!»

О цветах она вела долгую беседу с советским писателем Леонидом Леоновым в 1980 году. Она сказала ему, что завидует его большому саду; знает, что он тоже умеет разговаривать с цветами, они вдохновляют его и помогают писать книги. Ванга укорила писателя, что он подарил стоявший в его доме большой филодендрон Союзу советских писателей. Она посоветовала ему приобрести поскорей другой филодендрон, потому что и от этого растения он получал большое творческое вдохновение.

С известным художником из Индии Святославом Рерихом Ванга тоже говорила о цветах, растениях и целебных травах. На его вопрос о целебных травах Ванга ответила: «Это другая важная тема разговора. Мир начался с трав и травами закончится. Но травы данной страны лечат только людей, живущих в ней. Так определено. Каждый лечится своими травами».

Перевод с болгарского и примечания М. Чемодановой



В. Я. Френкель,

доктор физико-математических наук

ОБ ЭТИКЕ ПУБЛИКАЦИЙ

Публикация «Лев Ландау: год в тюрьме» появилась на страницах журнала «Известия ЦК КПСС», № 3 за 1991 г., в качестве ответа на вопросы читателя журнала. А. Г. Григорьев (Москва) спрашивает: «Нельзя ли подробнее рассказать эту историю? За что был арестован Л. Д. Ландау, в чем он обвинялся, как состоялось освобождение? Был ли он реабилитирован?» Ответ на эти вопросы, по мнению подготовивших публикацию В. Виноградова и Н. Михайлова, содержится в практически не прокомментированных документах — анкете арестованного, протоколе допроса, личных показаниях (фотокопия первой страницы этих показаний, написанных Л. Д. Ландау от руки, воспроизводится), а также нескольких других документах, включая письма П. Л. Капицы И. В. Сталину, В. Молотову и Л. П. Берии, письма датского физика Н. Бора И. В. Сталину.

Не давая, по нашему мнению, однозначного ответа на эти вопросы, материалы публикации сами ставят ряд вопросов. И первый из них — морального порядкв. Еще со времен доклада Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС мы узнали о ставшей правилом в 30-е годы чудовищной методике выбивания показаний у арестованных по обвинению по ст. 58 УК РСФСР. Появившаяся с тех давних пор обширная литература трагически углубила и расширила эти наши знания. Человека, дающего показания под пытками или под угрозой пыток и шантажа (когда его уверяют в том, что судьба и сама жизнь его близких будут определяться нужными следствию показаниями), нельзя судить по обычным меркам. От суждений на основании таких «документов» отказываются даже те, кто выдержал такие испытания и не подписал порочащих протоколов. Как же может объективно оценивать слова допрошенных современный читатель, который знакомится с этими «протоколами», сидя в удобном кресле? В какой-то степени такая негативная оценка, суждение и, тем более, осуждение могут даже считаться безнравственными и кощунственными по отношению к памяти тех, кто прошел ужасы допросов 30—40-х годов. Поэтому представляется, что следовало бы, прежде чем публиковать такого рода материалы, испросить на это разрешение у семьи жертвы репрессий, его близких, товарищей по работе. В данном случае это было бы совсем несложно сделать, обратившись, например, в Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау Академии наук СССР (Москва), где работают десятки прямых и «внучатых» учеников одного из крупнейших советских физиков-теоретиков, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий, лауреата Нобелевской премии по физике академика Льва Давидовича Ландау (1908—1968). Такая «нравственная цензура», не угрожая свободе печати, напротив, только подняла бы ее знамя, уберегла бы читателей от вольной или невольной дезинформации. Эти материалы (допросы, протоколы, справки, постановления и т. д.) должны быть представлены — в случаях, аналогичных рассматриваемому,— так, чтобы четко воспринимались в качестве документов, обвиняющих Главное управление государственной безопасности ((ГУГБ) НКВД в фабриковании лживых документов, в изощренно-жестоких методах допросов, словом, во всем том, что связано в нашем сознании с трагедией 37-го года. Без подобных комментариев указанные материалы для неподготовленных читателей (а их — большинство) могут оказаться жестким свидетельством против обвиняемых, которые в тех нечеловеческих условиях оговаривали и себя, и многих своих коллег.

Дело Ландау началось его арестом 28 апреля 1938 года и завершилось почти ровно

через год — освобождением. Приведем документ № 6 публикации — «Постановление об избрании меры пресечения и предъявления обвинения» [1]:

Город Москва, 1938 г., ноября «13» дня.

Я, *опер. уполномоченный 6* отд-ния *2* отдела Главного Управления Гос. Безоп. Ефименко, рассмотрев следственный материал по делу *№ 18746* и приняв во внимание, что гр. *Ландау Лев Давидович, 1908 г. рожд., урож. гор. Баку, еврей, беспарт., гражд. СССР, до ареста — ст. научный сотрудник Ин-та физических проблем Академии Наук*, достаточно изобличается в том, что *является активным участником антисоветской вредительской организации. Как участник этой организации вел вербовочную работу, проводил подрывную вредительскую деятельность в науке и принимал участие в изготовлении контрреволюционной листовки.* ПОСТАНОВИЛ: гр. *Ландау Льва Давидовича* привлечь в качестве обвиняемого по ст. 58, п. п. 7, 10 и 11 УК, мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда избрать *содержание под стражей во внутренней тюрьме.*

Уполномоченный *6 отд. 2 отд. ГУГБ Ефименко.*

СОГЛАСЕН: Нач. *6* Отд-ния *2 отд.* ГУГБ (подпись неразборчива).

Настоящее постановление мне объявлено «21» XI 1938 г.

Подпись обвиняемого Л. Ландау.

Материалы следствия были предъявлены Л. Д. Ландау 16 декабря 1938 г.; он подтвердил свои показания, которые давал в течение следствия. Прежде чем сказать несколько слов об этих показаниях, приведем — полностью — приложение к протоколу допроса от 3 августа 1938 г.— упомянутую в постановлении контрреволюционную листовку.

«Листовка, составленная при участии Л. Д. Ландау.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Товарищи!

Великое дело Октябрьской революции предано. Страна затоплена потоками крови и грязи. Миллионы невинных людей брошены в тюрьмы, и никто не может знать, когда придет его очередь. Хозяйство разваливается. Надвигается голод.

Разве вы не видите, товарищи, что сталинская клика совершила фашистский переворот. Социализм остался только на страницах окончательно изолгавшихся газет. В своей бешеной ненависти к настоящему социализму Сталин сравнялся с Гитлером и Муссолини. Разрушая ради сохранения своей власти страну, Сталин превращает ее в легкую добычу озверелого немецкого фашизма.

Единственный вывод для рабочего класса и всех трудящихся нашей страны — это решительная борьба против сталинского и гитлеровского фашизма, борьба за социализм.

Товарищи, организуйтесь! Не бойтесь палачей из НКВД. Они способны избивать только беззащитных заключенных, ловить ни о чем не подозревающих невинных людей, разворовывать народное имущество и выдумывать нелепые судебные процессы о несуществующих заговорах. Товарищи, вступайте в Антифашистскую рабочую партию. Налаживайте связь ее с Московским Комитетом. Организуйте на предприятиях группы АРП. Налаживайте подпольную технику. Агитацией и пропагандой подготавливайте массовое движение за социализм.

Сталинский фашизм держится только на нашей неорганизованности.

Пролетариат нашей страны, сбросивший власть царя и капиталистов, сумеет сбросить фашистского диктатора и его клику.

Да здравствует 1 мая — день борьбы за социализм!

Московский Комитет Антифашистской Рабочей Партии».

Из протокола первого допроса, из личных показаний ученого следует, что он активно вел контрреволюционную работу, будучи вовлеченным в нее своими коллегами и вовлекая в нее других. Но мы же знаем, как были получены подобные признания: они оплачены кровью, душевными незаживающими ранами, а зачастую и самой жизнью жертв сталинских репрессий. Никакого содержательного значения придавать таким показаниям нельзя.

Если произвести обратный перевод на обычный, человеческий язык ответов Л. Д. Ландау на вопросы следователя во время допроса 3 августа 1938 г. (а это самый обширный по объему документ, приведенный в публикации), то окажется следующее. Ландау говорил о том, что вместе со своими коллегами сначала по Ленинградскому, а потом Харьковскому физико-техническим институтам обсуждал пагубное для развития теоретической физики внедрение методов материалистической диалектики, осуществлявшееся при поддержке государственных структур вульгаризаторами от философии. В обсуждение этих вопросов, проходившее чаще всего в домашнем кругу, вовлекались и ученики Л. Д. Ландау в Харькове. Другой предмет разговоров — взаимоотношение между фундаментальной и прикладной физикой. Ландау и многие, если не большинство, его коллеги считали, что в академических физических институтах следует прежде всего развивать фундаментальные исследования, а практическую их реализацию и внедрение в промышленность надо осуществлять на базе отраслевых институтов и заводских лабораторий. Конечно, не могли физики в своих беседах не реагировать на внутриполитическую ситуацию в стране, в частности на волну арестов, начатую после убийства Кирова, понимая, сколь гибельно все это сказывается на развитии науки и общества в целом. Когда в 1936 г. Ландау был отстранен от преподавания в Харьковском университете, это, естественно, вызвало протест его коллег и учеников.

[1] Как и в публикации в «Известиях ЦК КПСС», слова, вписанные в бланк постановления от руки, выделены курсивом.

Тяжело читать, в какие формы оговоров и самооговоров были преобразованы и воплощены эти суждения Ландау, скрепленные его подписью под протоколом допроса! Это и вербовка, и вредительство, и контрреволюционная деятельность, и групповщина.

Как нелегко давались эти признания Ландау, можно усмотреть из материалов следствия. Читаем протокол допроса от 3 августа: первые три вопроса — Ландау все отрицает, обвинение рассматривает как недоразумение, утверждает: «Меня не в чем изобличать, антисоветской работы я не вел, никаких единомышленников в этом смысле у меня не было», «мне нечего показывать» (т. е. не о чем давать показания). Но вот уже после пятого вопроса, иначе говоря, если верить протоколу допроса, через несколько минут после его начала и после предъявления текста приведенной листовки — Ландау говорит: «Я вижу бессмысленность дальнейшего отрицания своей причастности к составлению предъявленного мне контрреволюционного документа. Пытался отрицать вину, будучи уверенным, что следствию этот документ неизвестен».

Не сомневаюсь, что протокол допроса скомпонован (по существу — сфабрикован) следователем на основании обработки соответствующих материалов, проведенной в процессе предыдущих допросов, а судя по публикации, начались они не позднее июля. Зная особенности речи Ландау, видно, что в существенных частях его показаний она искажена следователем. Так же мало чего стоят и личные показания Л. Д. Ландау, хотя они и написаны его рукой и сомнений в том, что это — его почерк, не может быть. Интересно было бы, однако, подвергнуть их беспристрастной графологической экспертизе. Наверное, существуют методы, позволяющие по характеру почерка установить душевное состояние человека, писавшего соответствующий текст.

Все вышеизложенное в той или иной форме необходимо было пояснить читателям, тем более что в документе № 9 — «Справке», составленной Начальником следственной части НКВД СССР, комиссаром Госбезопасности 3 ранга Кобуловым, указано, что «Ландау, допрошенный мною (Кобуловым.— *В. Ф.*) 8 апреля 1939 г., от всех своих показаний как от вымышленных отказался, заявив, однако, что во время следствия мер физического воздействия к нему не принимали». Но вот этого протокола в деле нет. И подписи Ландау под утверждением, что мерам физического воздействия он не подвергался,— тоже нет.

Главный вопрос, который может возникнуть у читателя и вызвать сомнение в «невиновности» Ландау, это, конечно, листовка. Слишком короток ее текст (как утверждают специалисты) для того, чтобы установить ее авторство. Написана ли она коллегой Ландау по Харьковскому физтеху М. А. Корецом и лишь отредактирована Ландау? Одно, пожалуй, сомнения не вызывает — написана она не следователями, которые допрашивали Ландау. Язык у них дубовый и интеллект не тот, который необходим для составления такого сильного и на современный взгляд документа. Теперь, когда мы знаем, что в этой листовке сказано столько правды о сталинском режиме, даже хотелось бы думать, что она составлена при участии Ландау. Вместе с тем эту возможность, по моему мнению, следует отклонить. И вот по каким соображениям. Знакомясь с биографией Ландау, легко видеть, что никогда он не был политическим борцом. В этом плане он не отличался от большинства своих коллег — как людей его возраста, так и представителей старшего поколения физиков. Все они, как это видно из опубликованных их биографий, из воспоминаний о них, в свое время приняли революцию и провозглашенные ею идеалы. Успехам науки и образования в СССР немало способствовали своею работой эти ученые. «Перегибы», связанные с деятельностью философов-марксистов, трудности в развитии фундаментальной науки и даже аресты считались в этих кругах издержками, ошибками, которые должны быть и будут исправлены. Борьба с ними велась гласными средствами — публикациями, обращениями в защиту арестованных, адресованными властям. Иначе говоря, на путь прямой политической борьбы физики не вставали. И не только (а может быть, и не столько) потому, что считали ее в тогдашних условиях бессмысленной и неконструктивной, но из убеждения в том, что ситуация выправится и прогрессивное движение к идеалам, под лозунгами которых совершалась Октябрьская революция, будет продолжено. Немалую роль в такой позиции ведущих физиков играла их ненависть к поднимавшему в Германии голову фашизму: в этом плане точки зрения ученых и власти, во всяком случае, до заключения пакта Молотова — Риббентропа, совпадали. Я мог бы подтвердить это цитатами из книг и материалов о М. П. Бронштейне, П. Л. Капице, И. Я. Померанчуке, Н. Н. Семенове, Я. И. Френкеле (здесь названы имена тех, кто упоминается в деле Л. Д. Ландау), продолжив цитирование по книгам и статьям о А. И. Алиханове, А. Ф. Иоффе, И. В. Курчатове, И. Е. Тамме, В. А. Фоке и других коллегах Ландау. Ограничусь цитатой из воспо-

минаний о самом Ландау, цитатой тем более примечательной, что она взята в «Воспоминания о Л. Д. Ландау» из книги голландского физика-теоретика Х. Казимира, хорошо знавшего Ландау по его поездкам за рубеж в 1930—1934 гг.: «Ландау был революционером, хотя едва ли его можно было назвать марксистом и уж, конечно, не диалектическим материалистом». К этому месту редколлегия «Воспоминаний» сделала такое примечание: «Сам Лев Давидович часто утверждал, что он марксист и материалист, особенно когда речь шла об анализе общественных явлений». Далее Казимир приводит интереснейшие материалы интервью, которое Ландау, оказавшись в указанное время в Дании, дал одной из тамошних студенческих газет. Не буду его пересказывать — оно соответствует той позиции, которую я изложил выше, отнеся ее к активно работавшим ведущим советским физикам (можно обратиться также и к статье Л. Д. Ландау, опубликованной в газете «Известия» от 23 ноября 1935 г. и озаглавленной «Буржуазия и современная физика»). Создается впечатление, что авторы публикации в «Известиях ЦК КПСС» ни с книгами, посвященными Ландау (а их, как минимум, три), ни с «Воспоминаниями» о нем не знакомы [1].

Однако каково же происхождение листовки? Не берусь судить об этом с определенностью, не будучи знаком с материалами дела Ландау, но полагаю, что у В. Виноградова и Н. Михайлова была возможность тщательно проанализировать этот документ и его происхождение, обратившись как к материалам дела Ландау, так и к аналогичным, но уже касающимся других лиц, вовлеченных в историю с листовкой. Не могли публикаторы не видеть и странных «временны́х» несоответствий. Арест Ландау был произведен 27 апреля (по показаниям Ландау — 28-го) 1938 г., когда до первомайской демонстрации оставалось всего 3 дня. Не ясно ли, что в такой срок (и при тогдашнем состоянии множительной техники) было бы просто физически невозможно отпечатать и распространить листовку. Скорее всего, она была сфабрикована уже после ареста Ландау и написана кем-либо из его «подельщиков», уже в тюрьме. Это — предположения, несомненно же для меня одно: публикация в «Известиях ЦК КПСС» готовилась в спешке и временами может даже показаться тенденциозной. Ее материалы никак не прокомментированы. Имена физиков, встречающихся в документах, по большей части не могут быть известны массовому читателю. Вот, например, мелькает в «Справке», составленной Кобуловым, короткая фраза о том, что Ю. Б. Румер, известный советский физик-теоретик, был завербован в фашистскую организацию Эренфестом. Кто такой Эренфест? Конечно, его имя хорошо известно физикам — и для них абсурдность такого «обвинения» в комментариях не нуждается. Но читателям «Известий» следовало бы сказать, что Эренфест — крупнейший ученый, ученик великого Больцмана (в Вене), преемник великого Лоренца на его кафедре теоретической физики в Лейдене (Голландия). Что Павел Сигизмундович Эренфест, женившийся в начале века на русском математике Т. А. Афанасьевой, был тесно связан с отечественной физикой, что он был убежденным антифашистом, что он необычайно много сделал для становления и развития теоретической физики в нашей стране.

Нуждались бы в комментарии и обстоятельства, которые благодаря вмешательству П. Л. Капицы привели к освобождению Л. Д. Ландау (роль письма Бора Сталину неизвестна; неизвестно, читал ли его Сталин). К указанному времени (апрель 1939 г.) Капица много взаимодействовал с Молотовым, который способствовал внедрению в промышленность его инженерных разработок. Видимо, он в это время ценил Капицу и быстро дал указания Л. П. Берии разобраться в деле Капицы. Иначе говоря, в нашем случае в нужном направлении сработало телефонное право. Берия поручил это Кобулову, составившему приведенную в «Известиях ЦК КПСС» «Справку». В ней излагаются внешние условия дела. Именно в этой «Справке» указано, что Ландау, допрошенный Кобуловым 8 апреля 39 г. (т. е. через два дня после того, как Капица написал Молотову!), отказался от всех своих прежних показаний как от вымышленных.

Наконец, 28 апреля 1939 г. появляется утвержденное Кобуловым «Постановление», из которого выясняются новые обстоятельства. Арест Ландау произошел в связи с тем, что «в апреле 1938 г. в НКВД СССР поступили данные о том, что Л. Д. Ландау совместно с б. доцентом физики Московского педагогического института Корец М. А. составили контрреволюционную листовку». Все показания Ландау, от которых он сам отказался, тем не менее в Постановлении сомнению не подвергаются. Однако вот его заключительные строчки: «Арестованного Ландау Л. Д. из-под стражи освободить, следствие в отношении его прекратить и дело сдать в архив». Подчеркнем: прекратить *следствие*, но не *дело*.

Когда вышеприведенный текст был закончен, сотрудник Института истории естествознания и техники АН СССР канд. физ.-мат. наук Г. Е. Горелик познакомил меня со своей развернутой статьей о Ландау, в которой рассматривается значительный период в жизни Ландау, включающий год, проведенный в тюрьме. Статья написана Г. Е. Гореликом для журнала «Природа». В процессе подготовки к ней он получил возможность изучить материалы следственного дела Ландау (и ряда других аналогичных дел физиков, в частности, М. А. Кореца и Ю. Б. Румера). Из статьи Горелика видно, что авторы публикации в «Известиях ЦК КПСС» не включили в нее важные для понимания дела документы. Все «дело» Ландау, пишет Горелик, «надо читать в свете двух неказистых листков из блокнота, с отрывочными записями, сделанными зелеными чернилами... Зеленая записка представляет собой краткий конспект пребывания Ландау на Лубянке; конспект анонимный и составленный явно для служебного пользования». Написан он, по мнению Горелика, когда решался вопрос об освобождении Ландау, т. е. в апреле 39 г. Из этой записки следует, что Ландау начал давать показания в июле. Вот какова, по записке, обстановка, в которой давались эти показания: «7 часов стоял, замахивались, но не били, показывали бумагу о переводе в Лефортово, в камере знали» (в камере, где сидел Ландау, очевидно, знали, что условия, в которых находились заключенные в Лефортове, много тяжелее, чем на Лубянке). Продолжим цитирование «зеленой записки»: «$1^1/_2$ месяца не допрашивали: Литкенс (один из следователей.— *В. Ф.*) убеждал, по 12 часов. 6 дней сидел в кабинете без разговоров, объявил голодовку». Как можно было не привести этот документ?! Он в другом виде представляет нам Л. Д. Ландау!

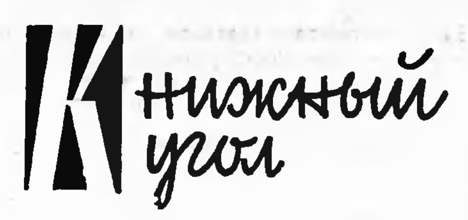
Еще один важный документ из статьи Горелика — он обнаружил его в «Справке об аресте Ю. Б. Румера». В этой справке приведены три «аг. донесения», т. е. три сообщения анонимного осведомителя (или осведомителей). Один из них именует себя «источником» — подразумевается, соответствующей информации. В этих коротких доносах (назовем «аг[ентурные] донесения» более адекватно определяющим их словом) сообщается о разговорах, которые вели М. А. Корец, Ю. Б. Румер и Л. Д. Ландау. Из доноса, помеченного 19 апреля, т. е. за 8 дней до ареста, вроде бы следует, что вопрос о листовке обсуждался: «Из бесед Кореца с источником ясно, что Ландау и Румер полностью посвящены в проводимую подготовку к выпуску антисоветских листовок».

И все же я, основываясь на сказанном мною выше, продолжаю сомневаться в том, что листовка и разговоры о ней возникли до ареста Кореца, Ландау и Румера. Думается, что здесь требуется дальнейшее исследование всех этих сложных обстоятельств.

И наконец Г. Е. Горелик поясняет тот факт, почему реабилитация Л. Д. Ландау произошла только в июле 1990 г. Дело в том, что в 4-м издании биографии Ландау, написанной М. Я. Бессараб, увидевшем свет в начале 1990 г., было сказано, что Ландау был арестован по доносу своего харьковского ученика и сотрудника Л. М. Пятигорского (соавтора первого издания «Механики», которой открывается знаменитый многотомный курс «Теоретической физики»). Л. М. Пятигорский подал на М. Я. Бессараб в суд и потребовал оградить его от злостного обвинения, затрагивающего его честь. Бауманский районный суд Москвы 7 сентября 1990 г. рассмотрел дело и принял решение в пользу Пятигорского, обязав М. Н. Бессараб извиниться перед ним, что и было сделано в газете «Вечерняя Москва» от 25 января 1991 г. Важно подчеркнуть, что решение суда основывалось на документах, включавших справку из Центрального архива КГБ. Вот тогда-то, подняв дело прославленного советского физика, в КГБ увидели, что в нем отсутствует реабилитационный документ. Теперь он там имеется (приведен в публикации) и заканчивается постановлением: «Уголовное дело в отношении Ландау Льва Давидовича прекратить на основании ст. 5 п. 2 УПК РСФСР — за отсутствием состава преступления».

Заканчивая письмо, я хочу сказать, что ни в коей мере не подвергаю сомнению необходимость публикаций типа представленной в «Известиях ЦК КПСС». Эти заставляющие нас содрогнуться документы напоминают о тяжком прошлом, укрепляют в сознании необходимости борьбы за то, чтобы наступившие перемены стали необратимыми. Узнавая так много горького, мы получаем информацию и о тех, кто защищал невинные жертвы. В данном случае я имею в виду академика Петра Леонидовича Капицу, чьим мужеством нельзя не восхищаться. Но я хочу еще раз подчеркнуть: публикация подобных материалов — дело деликатное и подходить к нему необходимо с особой тщательностью. Нужно обсудить предполагаемые к публикации документы с близкими тех людей, которых они затрагивают, внимательно ознакомиться со всей историко-биографической литературой. Иначе говоря, надо действовать в соответствии с нравственными нормами, принятыми, например, при печатании частной переписки. Далее: каждый документ должен быть прокомментирован, грубый вымысел отделен от полуправды и крупиц правды, в нем содержащихся. Основываясь яа имеющихся в деле документах — или, если таковых нет, обращаясь к аналогичным материалам, следует показать читателю механизм ведения следствия, фальсификацию показаний. Каждая фамилия, фигурирующая в документе, должна быть раскрыта, пояснена и тоже прокомментирована. Неплохо было бы найти материалы о тех, кто следствие вел. (Фамилия Кобулова более или менее известна, но вот недавно промелькнула публикация и о следователе по делу Ландау — Литкенсе,— так что при желании этот совет может быть выполнен.) Погоня за сенсацией, спешка в подобных случаях просто непозволительны, нужны кропотливая работа по подготовке материалов к печати, обязательность, взвешенность. К сожалению, всего этого определенно не хватает публикации о Л. Д. Ландау в «Известиях ЦК КПСС».

[1] Последнее подтверждается и тем, что, публикуя упомянутые выше письма П. Л. Капицы и Н. Бора И. В. Сталину и Капицы — Берии и Молотову, они не сослались на «Воспоминания», в которых эти документы были воспроизведены еще в 1988 г.



Раздел ведет Ив. Толстой

«ВЕРЕТЕНО»

«Литературно-художественный альманах» *В* (книга первая — и единственная) был выпущен в 1922 г. книгоиздательством «Отто Кирхнер». Инициатором *В* был прозаик Александр Дроздов, организовавший в Берлине литературный кружок под тем же наименованием. Группа писателей была учреждена весной 1922 г. и имела определенную, антибольшевистскую, окраску. Задачей было, в частности, оттягивание литераторов от сотрудничества с «Накануне», а также привлечение парижских литераторов отчетливо антибольшевистской ориентации.

В берлинском журнале «Новая Русская Книга» сообщалось на основании поданных Дроздовым сведений: «В Берлине основалось содружество писателей, художников и музыкантов „Веретено". Одним из организаторов этого кружка так определяются его цели: „Веретено" ставит своей целью проповедь творческого начала жизни и утверждение веры в созидательные силы русского искусства. Содружество, абсолютно чуждое всякой политики, будет бороться с разложением русской литературы (в частности, с засорением русского языка) и с искусственностью, подменяющей подлинное искусство, резко и определенно отмежевываясь от „псевдо-молодых" и „псевдо-старых" течений в русской литературе сегодняшнего дня, которые не совпадают с истинными путями русского возрождения. „Веретено" не намерено ограничиваться деятельностью в эмиграции, но вступило в тесную связь с родственными ему творческими силами в России».

С лета 1922 г. было начато издание двух органов — «вестника критической мысли и сатиры» «Веретеныш» (вышло 3 №) и альманаха *В*. В «Веретеныше» широко освещалась молодая проза Советской России, предполагалось привлечение молодых писателей Москвы и Петрограда.

Неясность исходной платформы и существование двух противопоставленных флангов в *В* привело к распаду его, прежде чем содружество успело заявить о себе творчески. На первый вечер группы (в октябре 1922 г.) Глеб Алексеев пригласил И. Василевского (Не-Букву); на второй (в ноябре) — А. Дроздовым был приглашен А. Н. Толстой. Эти примиренческие шаги в направления «Накануне» положили конец существованию группы. В газете «Руль» было сообщено об уходе из *В* восьми его членов — В. Амфитеатрова-Кадашева, Ив. Бунина, С. Горного, И. Лукаша, В. Сирина, Г. Струве, В. Татаринова и Л. Чацкого. Этот раскол совпал по времени с выходом *В*.

В декабре о выходе из *В* объявили Вл. Пиотровский и Глеб Алексеев, а в январе 1923 г. в «Известиях» об отказе от сотрудничества в изданиях *В* заявили его московские члены — Н. Ашукин, Е. Зозуля, Ю. Слезкин, Б. Пильняк, Ю. Соболев, А. Соболь, Д. Стонов и В. Лидин. Это совпало с резкой метаморфозой общественно-политической позиции самого Дроздова, внезапно примкнувшего к «Накануне» и выступившего с резкими нападками на эмиграцию. В декабре 1923 г. Дроздов навсегда уехал в Москву, где впоследствия сотрудничал в московских журналах.

Так что единственным плодом деятельности содружества стал выпуск *В*, разделенный на два отдела: «Беллетристика» (включивший как прозу, так и стихи) и «Критические статьи».

В вместило прозу Глеба Алексеева «Чаша Святой Девы» (ряд притч лубочно-библейской и фольклорно-сказовой стилистики), рассказ Ив. Бунина «Темир-Аксак-Хан», цикл рассказов Сергея Горного «На родине», рассказ А. Дроздова «Ковалев, Королев и Аркадий Петрович» (с посвящением А. Н. Толстому), повесть Ивана Лукаша «Государь» (с примечанием от редакции: «Повесть печатается ввиду ее художественного значения. В оценку политических моментов произведении редакция не входит»), рассказ Вас. Немировича-Данченко 1913 г. «Как велит природа», рассказ Бориса Пильняка «Коломенская пастила» и «Христов крестник» — прозу Алексея Ремизова.

Прозаические вещи *В* перемежаются стихами Вл. Пиотровского (впоследствии — Корвин-Пиотровского), Г. Росимова (известного также своей режиссерской деятельностью — Ю. Офросимова) и Вл. Сирина (Набокова).

Критический раздел открывается обзором — своего рода поэтическим путеводителем Эриха Голлербаха по петербургским журналам: Блок, Ахматова, Гумилев, Кузмин, Одоевцева, Анна Радлова, М. Шагинян, Оцуп, Георгий Иванов и др. («...ни война, ни революция не заставили умолкнуть Петербургскую Музу»). Обширная статья Вл. Амфитеатрова-Кадашева «Поиски ключа» — о художественно-исторических взглядах современных прозаиков (Бунина, Мережковского, А. Н. Толстого, Ремизова, Л. Андреева, Гребенщикова, Пильняка, Дроздова, Эренбурга). Статья С. Маковского «Иннокентий Анненский» имела подзаголовок «По личным впечатлениям».

Альманах был украшен заставками и концовками С. Сегаля и В. Белкина и представлял на отдельных листах рисунки А. Андреева, В. Белкина, М. Банда, И. Мозалевского и С. Сегаля.

Ив. Т.

«БЫЛОЕ» (1933)

«„Былое" имеет свое былое — свою историю». Так начал Владимир Львович Бурцев свою вступительную заметку в 1933 г. к возобновившемуся изданию своего детища.

В самом деле, первый номер *Б* вышел в 1900-м в Лондоне под ред. В. Л. Бурцева. После этих шести лондонских последовали 22 петербургских номера (1906—1907), сменившихся сборниками «Наша страна» и «О минувшем», 12 книжек журнала «Минувшие годы» (1908), 8 парижских выпусков бурцевского сборника и наконец 35 номеров журнала за 1917—1926 годы. Все они, сменяя свои названия, наследовали тем не менее одну и ту же традицию: быть летописью освободительного движения в России.

Обо всем этом подробно рассказано в недавней книге Ф. М. Лурье «Хранители прошлого. Журнал „Былое": история, редакторы, издатели» (Лениздат, 1990). После прекращения издания в Советском Союзе *Б* было подхвачено все тем же Бурцевым, который в серии «Библиотека Иллюстрированной России» выпустил два номера: «БЫЛОЕ (новая серия). Сборники по новейшей русской истории». Ф. М. Лурье почему-то пишет об этом издании так: «Два последних сборника не следует объединять с „Былым". Кроме названия, с предыдущими сборниками у них ничего общего нет». Объяснение этому находим у самого Ф. М. Лурье: «...два вышедших сборника, наполненных злобными нападками на большевиков...»

Прежде всего, оба сборника по материалам и по духу продолжают традиционную линию издания. Они действительно сфокусированы на антибольшевистских, античекистских материалах. Однако последствия октябрьского переворота рассматриваются Бурцевым не в отрыве от революционной эпохи, но как трагическое продолжение длительной народно-освободительной борьбы. Глядя из послеоктябрьской эпохи, Бурцев отыскивает в дореволюционном прошлом зарождение тех или иных человеческих судеб, не разрывая при этом единой исторической ткани, измеряя события и поступки по шкале ценностей, принятых среди поколений российских революционеров. Поэтому номера *Б* 1933 года становятся органичным итогом деятельности Бурцева.

Но как бы то ни было, *Б*-1933 принадлежит к эмигрантской литературе и представляет интерес уже хотя бы поэтому.

В обоих номерах помещены воспоминания самого Бурцева «Мой приезд в Россию в 1914 г.», включающие в действительности события 1914—1918 годов, в том числе и его арест в первый же вечер переворота — 25 октября 1917 г. (а не в декабре, как сообщает Ф. М. Лурье); воспоминания эти состоят из следующих, в частности, глав: «Кропоткин горячо отнесся к моей поездке, другие эмигранты были против нее», «В Христиании и Стокгольме. Спор: арестуют или не арестуют меня?», «Передача меня из Финляндии в Россию вопреки финляндским законам», «В Доме Предварительного Заключения.— Вопрос Керенского: зачем вы приехали?», «Суд», «По этапу в Сибирь», «Амнистия», «Русская революция», «Выпуск в тюрьме журнала „Досуги"», «В Крестах при большевиках», «Преступления старого режима бледнеют перед преступлениями большевиков», «Торг за мое освобождение», «Мой побег из большевистской России», «Красная Финляндия».

В № 1 помещена также статья Бурцева «Провокаторы среди большевиков» — о пражском съезде РСДРП, где Малиновский, Романов, Брендинский и Шурканов были четырьмя осведомителями из 28 присутствовавших участников. Следом Бурцев давал характеристику А. Е. Бадаеву, предваряя тем самым отрывки его воспоминаний (полностью вышедших в Ленинграде в 1929 г.), печатал с комментарием выдержку из письма М. О. Мартова П. Б. Аксельроду и записки А. С. Киселева — все эти материалы были посвящены теме провокации в стане большевиков.

Во 2-м выпуске *Б* опубликовано по одному письму, которыми обменялись в 1924 г. Бурцев и Б. В. Савинков. Письмо Савинкова подписано: «Внутренняя тюрьма. Сентябрь 1924». Оно перепечатывается здесь из рижской газеты «Народная мысль» (октябрь). Впоследствии письмо воспроизводилось в советских официальных изданиях в виде факсимиле. Попунктный ответ Бурцева, 11 ноября, также увидел свет в «Народной мысли». Публикация этой переписки предваряется подробным мемуарно-психологическим портретом Савинкова, написанным, как и все прочие введения, сноски, пояснения и комментарии *Б*-1933,— Бурцевым.

Продолжая тему исторического разоблачения большевиков, Бурцев во 2-м № *Б* приводит ряд материалов из советской прессы — своего рода *само*разоблачительных: записки Н. Н. Крестинского из журнала «Пролетарская революция» (1924), очередной отрывок из воспоминаний Бадаева, перепечатка из «Красной летописи» материала, которому Бурцев дал заглавие «Как департамент полиции отпустил Ленина заграницу для большевицкой пропаганды», и воспоминания Петерса о работе ВЧК в первый год революции.

Ив. Т.

СОДЕРЖАНИЕ

Явился он на кафедру без двадцати пяти десять. Встретила его Нинуша.

— Ну, слава богу! Я уж домой звоню, ваш Антоша говорит, вышел вовремя, как всегда. Что, думаю, случилось?! Даже подумать страшно: вышел и не дошел! Ну, слава богу. Группа еще ждет, я им раздала учебники, у кого не было, они и рады подготовиться лишний час. Ведь всегда не хватает одного часа перед экзаменом! А Иосиф Абрамович не знает, я пока не докладывала.— Это Рывкин — Иосиф Абрамович.— Вы распишитесь, будто в девять,— и никаких!

Все в руках человеческих! Журналом прихода-ухода владеет Нинуша как старшая лаборантка — и никаких разговоров об опоздании, никаких объяснительных заведующему или декану! Андропов, очередной земной бог, как и все наши правители, наводит сверху свои строгости, но здесь внизу маленькая мышка Нинуша подсовывает журнал прихода — и божественные громы не гремят. Да, все в руках человеческих.

Расписавшись, он приободрился и хотел было спросить, чего ж Нинуша беспокоилась, могла бы связаться с ним телепатически и убедиться, что он жив-здоров. Но не стал смущать свою благодетельницу.

— Странный такой случай,— сообщил он растерянно,— метро застопорилось.

Нинуша, похоже, не очень верила. В инопланетян она верит, в экстрасенсов и астрологов — тем более, а вот в сломавшееся метро ей поверить труднее.

Перед группой он извинился и потом невольно добавлял каждому экзаменующемуся по полбалла — за ожидание.

Он уже заканчивал, когда заглянул Славка Снитковский, Святослав Борисович — при студентах принято обращаться друг к другу чопорно.

— Вы скоро заканчиваете, Гавриил Романович? У меня к вам будет разговор.

Едва Гавриил Романович вышел из аудитории, Славка увлек его в другой конец коридора подальше от преподавательской — предосторожность совершенно излишняя, потому что говорил Славка как всегда так громко, что его слышно, наверное, было и на другом этаже.

— Ты слыхал?! Колонна пошла на штурм! Ты думаешь, она успокоится? Она нацелилась на кресло Осипа!

Славка видит особый шик в том, чтобы называть всех Иосифов — Осипами. «Осип Сталин», например.

Ну вот, новость с обычным запаздыванием дошла и до преподавательской. Гавриил Романович выслушивал снисходительно: Славка когда не острит, тогда возмущается. Совершенно справедливо возмущается — да что толку?

— Слышишь, Гаврила, если она съест Осипа, я уйду. На другой день уйду! Демонстративно!

Никуда он не уйдет: на кафедрах математики вакансий практически не бывает.

— И ты, Гаврила! Давай уйдем вместе! Вот будет резонанс! Весь город заговорит! Групповое дело!

Какой резонанс? Кто заговорит? Однажды Гавриил Романович тоже поднатужился, сострил: назвал Славку *гиперболоидом*. Почему-то прозвище не прижилось, хотя сказано точно: он все гиперболизирует. *Групповое дело*, видите ли...

— Представляешь, и по Би-би-си передадут: «Коллективно... в знак протеста...»

Что-то часто сегодня при Гаврииле Романовиче упоминают Би-би-си. Если бы Славка говорил тихо, можно было бы ответить: «Чтобы передали по Би-би-си, надо протестовать против ссылки Сахарова, а не против назначения Колонны». Но когда его крики слышит полкафедры — не стоит: ведь могут прислушаться и расслышать ответ.

— Я не представляю, что она защитится.

— Ну да? Аспиранты Окуня отлично написали!

— Аспиранты такие умные, что не сумеют ей объяснить свои решения. Все равно как дикарю не объяснить теорию относительности. Она не сумеет пересказать собственную диссертацию ученому совету.

Славка слегка посмеялся и тут же припомнил ревниво:

— Я уже давно сказал, что она диплом писала по кафедре парткома.

Сказал, хорошо сказал. Потом это даже вставили в капустник: без имени Колонны, конечно, и переправив на «кафедру профкома».

«Для таких надо особую партийную математику организовать при Институте Марксизма-Ленинизма!» — чуть было не подхватил Гавриил Романович, но испугался на этот раз не столько даже чужих ушей, сколько собственных мыслей: «партийная математика» — это похоже на «арийскую физику», но ведь нельзя же сравнивать! Конечно, у нас очень много своих пороков, но ведь нельзя же все-таки сравнивать!

— Как будто она одна по такой кафедре. Даже несправедливо, что про нее одну столько разговоров,— сказал он серьезно, стараясь заглушить собственные опасные мысли, как глушат нежелательное радио.

— Не одна — это точно. И твой друг Зазроев по той же кафедре! Я вообще удивляюсь, как ты можешь дружить с таким! Если бы все коллективно бойкотировали, не было бы таких в институте!

Славка снова перешел от юмора к гиперболам.

А с Зазроевым они вовсе не дружат. Тот, правда, набивается в друзья, но Гавриил Романович держится вежливо — и только. Не хамить же, если лично ему Зазроев ничего плохого не сделал. Однажды Зазроев заявился к ним домой — как бы по делу, но с огромным букетом для Ватины — с белыми лилиями. А она, когда тот уходил, сказала: «Вы уж извините, но у меня от пыльцы астма. Так что подарите кому-нибудь!» И вернула букет. И Зазроев к ним больше не приходил. А Ватина сказала: «Не верю таким, которые ручки целуют. И вообще понаехало к нам черных, когда своим, ленинградцам, жить негде. Чего он у себя не живет, скажи пожалуйста?» Гавриилу Романовичу было неприятно это слышать, хотя Зазроев карьерист — это правда: два года как приехал, и уже в парткоме, уже доцент, уже квартира. Хотя все знают, что в науке нуль. Но что-то, значит, есть и в Зазроеве. Может быть, карьеризм — вопрос не только морали, но и темперамента? Особенно у провинциалов вроде Зазроева, которым нужно завоевать столицу? Они и завоевывают так же страстно, как другие завоевывают женщин. Кстати, в Зазроеве обе страсти мирно сочетаются. А если Гавриил Романович не карьерист — не следствие ли это прохладной разжиженной крови?

— Твой Сóслан, если надо, убьет кого-нибудь! А ты как друг пойдешь в свидетели! — сказал гиперболоид Славка.— Они же все еще дикие — чеченцы!

— Он из Дагестана.

— Один черт!

С Ватиной они бы поняли друг друга.

По дороге домой Гавриил Романович вспоминал свои импульсивные писания в дерматиновой тетради и думал, что разумные пришельцы, пожалуй, никогда не поймут, сколько им ни толкуй, почему здесь, на Земле, глупая баба пробивается сначала в начальство партийное, оттуда — в служебное, а умные люди ничего не могут поделать и вынуждены служить под ее начальством. Познакомились бы они с Колонной — что бы потом сказали Гавриилу Романовичу? Как бы он потом оправдывался за всех землян! Он не виноват, что здесь родился. Если ему и свойственны заблуждения, то его собственные, а за коллективные он не отвечает!

* * *

необходимая человеческая потребность потребность в информации

информация как бы хлеб разума

когда разумный пришелец увидит что у нас на земле существуют ограничения на информацию он может сделать только один вывод

те кого ограничивают кому не доверяют полной информации существа менее разумные

хотя на вид существа более информированные ничем не отличаются от существ менее информированных

это внешнее сходство должно сильно затруднить отбор тех кто достоин полной информации

но пришельцы должны будут констатировать что земляне умеют изощренно сортировать себе подобных по неким малозаметным признакам

и что информационное снабжение делится на пайки точно так же как крабы или лососина

но не завидую я крабам и лососине не завидую спецбольницам а спецснабжению информацией завидую

потому что чувствую себя не глупее тех кто информирован полностью

я не дебил но снабжаюсь информацией по дебильному пайку

разумным пришельцам трудно будет понять разделение землян на враждебные лагеря

но если они примут разделение как данность они легко поймут что информация это оружие

поэтому идет снабжение информацией через головы враждебных правительств

но что же получается мое правительство лишает меня информации а чужое снабжает

кто мне враг а кто друг

если бы мое правительство лишало меня хлеба а чужое снабжало какое из них я числил бы в друзьях

и когда приходится узнавать новости по би-би-си это то же самое как если бы приходили английские пароходы и раздавали хлеб тем кто лишен хлеба дома

правительство отказывая мне в информации автоматически делает меня врагом

хотя у би-би-си тоже не вся информация правдивая

когда би-би-си передавала что вьетнамцы нападают на китай я не верил

как это маленький вьетнам нападает на громадный китай

полной правды нигде нет полной информацией не снабжает никто

тем более в газете правда нет полной правды

и все-таки у би-би-си больше правды чем в правде

* * *

Черт знает до чего может довести логика. Недаром Ватина инстинктивно ее избегает. Гавриил Романович не считал себя врагом правительства (он уж не написал, удержался, что на самом деле правительство — фикция, а распоряжается партия, ЦК, Политбюро), да и не враждовал он с правительством никогда на самом деле, но вот беспощадная логика завела: лишение информации равносильно лишению хлеба — и так далее. Куда денешься от логики? Хотя все-таки, в конце концов, *здесь* — социализм, а *там* — капитализм, а в историческом плане, при всех извращениях, социализм более прогрессивен. Ведь так? Так...

Очень удачно, что все-таки нашелся пример необъективности и Би-би-си тоже. И для собственной внутренней опоры очень был нужен этот пример, и для неких *чужих глаз* — не могут сюда заглянуть чужие глаза, и все-таки не удавалось избавиться новсе от призрака, заглядывающего из-за спины...

Он так погрузился в свои записки, что поздно услышал, как в комнату вошел Антон. Что делать — не захлопывать же тетрадь, уподобляясь школьнику, который вместо учебника читает роман, да еще из тех, которые ему «рано читать».

Антон не предполагал, естественно, что его отец занят столь странным делом. Сын привык интересоваться, что за новую статью пишет его ближайший предок,— быть может, до сих пор надеется, что отец решит какую-нибудь принципиальную задачу, скажет на старости лет *свое слово*. Сам Гавриил Романович уже давно не надеется, а сын все-таки не разуверился в нем окончательно, что, вообще говоря, трогательно. Антон хоть и *примат*, но все-таки достаточно понимает в чистой математике, чтобы оценить его писания.

И вот сын вошел, и прятать или захлопывать тетрадку было поздно. Подошел, непринужденно заглянул сзади через плечо.

Антон читал, а Гавриил Романович сжался и по-детски покраснел, словно застигнутый за неприличным занятием.

Пауза — и прозвучало сзади:

— Ну ты даешь! Чего это ты — решил завести собственную «Гаврилиаду»?

Ироничен, ничего не скажешь. Как и все нынешние.

— А ты так не думаешь? Про всё про это? Что написано?

От смущения Гавриил Романович почти выкрикивал короткие фразы со смешным мальчишеским вызовом.

— Почему не думаю? Все так думают. А писать зачем?

Действительно, зачем? Гавриил Романович и не попытался доказывать, что от его занятия может выйти какая-нибудь польза.

— Да просто так. Написал вот, и легче. Только для себя. Привел мысли в порядок. Ну, ты вот нечаянно увидел.

— Я не Павлик Морозов, можешь не беспокоиться. А то я уж подумал, ты хочешь сделать какое-нибудь заявление. Какому-нибудь агентству. Как диссиденты делают. Где-то находят агентства.

— А ты бы хотел, чтобы я делал заявление?

Гавриил Романович ни секунды не собирался делать какое-нибудь заявление. Просто интересно было понять сына — как отцу.

— Упаси бог! Я еще рассчитываю на аспирантуру. И вообще глупо. Хорошо Ростроповичу — он мировая знаменитость. Солженицына тоже посадить не решились. Ну, выслали. У нас все бы побежали заявления делать, если бы за это в Штаты высылали. Но простых граждан у нас сразу волокут в кутузку. Очень не хочется, чтобы любимый папа сидел, как Буковский или Марченко. Тамошних Корваланов на всех не хватит, чтобы меняться.

Хорошо поговорили.

Тем более хорошо, что никогда еще они так с Антоном не разговаривали. Подразумевалось само собой, что всякий приличный человек думает примерно так, как Сахаров с Солженицыным. Кто такой приличный человек? Тот же Славка Снитковский, так что некоторая шумность, легкость не мешают быть приличным человеком. А вот Колонна не думает, как Сахвров с Солженицыным, и Зазроев не думает. Так что не вся интеллигенция думает, как Сахаров с Солженицыным. Или точнее: не всякий, кто заполучил высшее образование,— интеллигент. В общем, тут легко запутаться, но те приличные люди — они сразу узнают друг друга.

С Антоном же Гавриил Романович не говорил на такие темы, потому что чувствовал себя в чем-то виноватым. Как ни странно. Никогда и ни перед кем не чувствовал себя Гавриил Романович виноватым в том, что живет в том нелепом государстве при отсутствии всяких свобод. Что он может сделать? Ничего же от него не зависит. Но Антон — Антон мог бы сказать жестоко: «Это вы, ваше поколение устроило такое. Ваши отцы — и вы!» Гавриил Романович ответил бы, что он не устраивал, и его отец, дедушка Антона,— тоже. Ни отец, ни дедушка Антона не устраивали, а их поколения — устроили! Но из кого состоит поколение?

И вот теперь, когда поговорили и когда Антон оправдал отца, сделалось легче на душе. Ну высказался бы Гавриил Романович, как Сахаров с Солженицыным, — ну не так отчетливо, конечно, но в том же общем смысле — высказался бы и оказался в лагерях без всякой пользы. Зачем?

Антон оправдал отца — и сам собирается жить как отец: говорить что полагается — там, где полагается! — поступить в аспирантуру. Может быть, превзойдет отца, станет доктором. Хорошо это или плохо? Хорошо, конечно: не дай бог, если бы Антону судьбу того же Буковского или Марченко. У Буковского хоть хэппи энд — перестрадал, но вырвался, теперь ему небось бывшие его охранники завидуют. А у других? И если бы какой-то толк, если бы знать, что потерпеть еще лет пять, побороться — и наступит свобода. Но это же монолит! Его и за сто лет не расколоть никаким Сахарову с Солженицыным. Как берлинская бетонная стена — несокрушимый бетон! Под ней еще три поколения немцев вырастет!.. Да, хорошо, что Антон благоразумный в отца. И все-таки, если бы Антон порывался подписывать, протестовать — Гавриил Романович был бы в ужасе, но в священном ужасе...

— Так что давай прячь свою «Гаврилиаду» подальше, если уж невмоготу,— покровительственно посоветовал Антон и ушел.

Вот и слово найдено: «Гаврилиада». Не стал Гавриил Романович надписывать заголовок в своей дерматиновой тетради, но про себя знал: слово найдено!

Он сидел, улыбаясь. Да, сын понимает его. Не так уж часто такое случается в наше время. Оба они не могут совершить невозможное и не обольщаются на собственный счет. Но понимают друг друга. В главном.

Но до конца Антон все-таки не понял Гавриила Романовича. Может быть, потому, что прочитал только последнюю страницу — и увидел в написанном только робкое внутреннее диссидентство. Писания в духе Сахарова с Солженицыным — только пожиже. Но ведь это — только верхний слой! Сахаров с Солженицыным остаются внутри человечества, а он решил взглянуть на землян беспристрастным взглядом просвещенного пришельца, как Миклухо-Маклай на папуасов. Решил сам себя считать гражданином Галактики — это не то, что заниматься социальным реформаторством. Быть может, социальное реформаторство гораздо полезнее, а уж героичнее при нашей советской действительности — наверника. Но это — другое. А Гавриил Романович Гнездилов, родившийся на захолустной Земле, не хочет больше разделять предрассудки своих однопланетян (такая же ограниченная община, как односельчане,— *однопланетяне*!), хочет быть внутренне свободным, стать гражданином Вселенной.

Этого Антон не понял. Может быть, и к лучшему, что не понял. Потому что трудно это объяснить. Люди мыслят стереотипами. Диссидент — уже всем понятный стереотип. А какой-то гражданин Вселенной? Попытаешься объяснить, того и гляди сочтут сумасшедшим, вообразившим себя не то марсианином, не то пришельцем с Сириуса. Опять-таки, всем понятный стереотип: в одной палате держат очередного Наполеона, в другой — марсианина. Попробуй втолкуй, что ничего Гавриил Романович не вообразил, не утверждает он, что вселился в него дух марсианина,— он только (всего лишь?) занял новую нравственную позицию, которая годится в любой точке Вселенной. Да-да, должен существовать универсальный нравственный закон, действующий во всей Вселенной, как действуют в любой ее точке универсальные физические законы.

Гавриил Романович не будет пытаться никому это втолковывать. Галантный *галакт* (вот и еще одно слово нашлось нечаянно: гражданин Галактики — галакт) не станет высказывать в глаза каждому встречному свое презрение к земным провинциальным предрассудкам — но при нем остается независимый взгляд.

Вот он и нашел опору для самоуважения. Гавриил Романович будет прятать свою «Гаврилиаду» не потому, что боится внезапного обыска, не потому, что постоянно мерещится ему строгий призрак, заглядывающий в рукопись из-за плеча,— нет, он боится непонимания и только потому собирается скрывать свои мысли. Слишком это интимное переживание — причислить себя к галактам, гражданам Вселенной.

4

Со своими, как теперь говорят, *данными* Антон мог бы заниматься каким-нибудь спортом для акселератов — баскетболом, плаваньем,— но не занимался. Спорт никогда его не интересовал. А Гавриил Романович как раз очень хотел в свое время, но подводили те самые *данные*. Существуют, конечно, виды и для среднего роста, но нужна реакция, нужна координация, а у юного Гаврика всегда была неизбежная тройка по физкультуре.

Наверное, это замечательно: жить спортивным красавцем вроде Чеснокова — когда-то капитана сборной по волейболу, а потом тренера ЦСКА. Все было бы тогда у Гавриила Романовича другое: другие поступки, другие мысли, другая семья. Да чего говорить — это уже был бы не он.

Теперь Гавриил Романович собирался в отпуск и как бы готовился примерить на время

спортивный облик. У него имеется тренировочный костюм — синий с белым двойным лампасом,— обычно прозябающий в шкафу, но извлекаемый на свет как раз ради отпуска. Кроссовок, таких, как у любого молодого человека на улице, таких, как у собственных студентов и собственного сына,— кроссовок у него нет. Это одна из загадок отечественной природы: в магазинах нет, но все носят. Кроссовок нет, но кеды имеются.

А еще с ним должна отправиться собака! Гавриил Романович с детства мечтал, но так за всю жизнь и не решился завести свою собаку, поскольку все в семье заняты целый день и некому было бы с собакой гулять — хотя в других таких же занятых семьях заводят — и ничего. Завести не решился, хотя очень живо рисовалось, как это замечательно: идти по улице, а рядом идет твоя собака!

И вот на месяц ему отдавали собаку Снитковских, которые все разъехались по путевкам и экспедициям, так что собаку не с кем было оставить. Гавриил Романович со щенячества знал их Тяпу, однажды уже брал его летом с собой и заранее радовался, что на месяц почувствует себя не только спортсменом-отставником, но и хозяином собаки, настоящей служебной овчарки. У Тяпы роскошная родословная, да и не Тяпа он по собачьему паспорту, а Тангенс!

Намерен был Гавриил Романович побродить с палаткой без определенного маршрута. Где-то в пределах Валдая. Не совершать поход, а скитаться, передвигаясь попутным транспортом. В том-то и ожидалась половина прелести: в отсутствии маршрута. Чтобы утром не знать, где окажешься вечером. Вся жизнь Гавриила Романовича подчинена расписанию, он чуть не на полгода вперед знает, что в такой-то день и час войдет в такую-то аудиторию,— а тут сплошная импровизация!

И еще то хорошо, что принадлежать он будет только самому себе! Отдохнет от Ватины. Нужно отдыхать друг от друга. Ватина так не считает, но ей приходится смиряться: у Гавриила Романовича двухмесячный преподавательский отпуск, а у нее вдвое короче, так что каждый год он имеет законный отпуск и от семьи.

Уезжал Гавриил Романович первой электричкой. Ехал до Чудова — а дальше как бог даст. Какие-то радищевские ассоциации связаны с Чудовым. Радищева Гавриил Романович уважает за свободомыслие, как одного из первых диссидентов, хотя прочитать знаменитое «Путешествие» не смог: одолела непобедимая скука. Но и не прочитав, в общих чертах представляет, о чем в книге речь: обычный феномен обильного комментирования, когда книга живет как бы вне первоначального текста, вернее, над текстом, словно бы непрерывно дописываясь. Классический пример — Библия. Ее Гавриил Романович тоже пытался читать — и для эрудиции, и привлеченный ее не то что бы прямой запрещенностью, но, скажем так, *нерекомендованностью*, когда чтение ее становится актом скромного и в то же время безопасного свободомыслия,— не «ГУЛАГ». Библию Гавриил Романович попытался прочитать подряд и сдался: на второй странице одолевала непобедимая зевота. Листая, он находил замечательные отрывки: особенно Екклезиаст его поразил, в Евангелиях кое-что, хотя целиком и Евангелия скучны. В общем, жутко длинно, ее бы адаптировать до ста страниц. И должна была бы Библия забыться, остаться достоянием археологов — но судьба: стараниями бесчисленных комментаторов, фанатиков, мистиков стала самой популярной книгой в мире. Комментируя каждое слово, можно сделать шедевр из чего угодно, хоть из железнодорожного справочника: достаточно каждую упоминаемую там станцию снабдить изящным комментарием по истории и географии, чтобы затем объявить, что в первоначальном справочнике в сжатом виде заключена энциклопедия русской жизни!..

Тяпа ночевал в квартире с вечера. На новом месте он беспокоился и несколько раз взлаивал. Ватина нашептывала:

— И не отдохнешь из-за него. Эти твои Снитковские умеют устраиваться: нашли наивненького, подкинули пса! Говорила тебе: откажись, не связывайся! Я всегда лучше знаю, что тебе нужно!

— С собакой, наоборот, интереснее.

— Чего ж они сами не взяли, раз так интересно?

— Они не могут никто. У Славки путевка, а в санаторий же не пускают.

— Я и говорю: умеют устраиваться! У него путевка, а у тебя почему-то нет. Ты его пса выгуливаешь, пока он лечится.

— Я и не хотел никакой путевки. А Тяпу сам попросил.

— Вот-вот, такие и не хотят ничего, а другие устраиваются за их счет! Русскому Ивану ничего не остается!

— Я не Иван, я — Гаврила.

— Знаю, двадцать лет знаю. А все равно Иванушка-дурачок, а другие пользуются.

Ватина вечно ревнует не к женщинам даже — ревновать к женщинам он повода не подает, и она если иногда и подозревает кого-то, то профилактически,— а к его друзьям, что ему совершенно не понятно. Вот даже к Тяпе словно бы ревнует.

Зато в Чудове Тяпа имел успех. Вроде бы цивилизованное место, главный ход Октябрьской дороги как-никак, но прогуливавшиеся по станции местные жители — в буфете продавали пиво — смотрели на Тяпу как на заморского зверя. Неужели не видали никогда

настоящей овчарки? Не без тщеславного чувства Гавриил Романович расслышал за спиной:

— Такого хозяин напустит, разорвет кого хочешь! Хоть ты с самбо, хоть ты с боксом!

Правда, ореол отчасти развеял некий дед, видать, туземный мудрец. Он и вид имел такой в точности, какой полагается иметь носителю исконной народной мудрости: маленький, в выгоревшей гимнастерке, не то что бородатый, а скорее дней пять небритый, он сидел на пустом ящике, поставив около себя бутылку пива, но пить не торопился, созерцая происходящее вокруг. Впрочем, ничего не происходило, пока не прошествовал мимо Тяпа. Слонявшиеся при деде личности легкомысленно загомонили:

— Большая... Разорвет...

Но дед изрек веско:

— Большая и насрет много!

И это была подлинная мудрость, потому что истолковать ее можно как угодно, и следовательно, любой слушатель мог в желательном смысле истолковать оракула. А чего еще ждут от мудреца, как не подтверждения собственных мыслей?

Гавриила Романовича дедова мудрость не задела, обидел только род прилагательного: «Большая!». Как будто Тяпа шотландец или ньюф, у которых длинная шерсть маскирует половую принадлежность. Спустить бы Тяпу, он бы тут улучшил породу!

Именно такое предложение Гавриил Романович и получил вскоре, когда решил не дожидаться местного поезда, отвозившего в загадочный Мясной Бор (когда бор Сосновый — оно понятно, но почему Мясной?), а довериться какой-нибудь попутке.

Рядом с ним затормозил МАЗ. То есть с ними: как выяснилось, шофера больше интересовал Тяпа.

— Твой кобель? У-у, зверюга!.. Куда едете?

Гавриил Романович догадался, что не нужно слишком держаться одного направления. Почему обязательно в Мясной Бор? Все боры здесь хороши.

— Да туда,— махнул он рукой неопределенно вдоль шоссе.

— Садись. И этого давай в кабину. Торопишься? А то забуксовал бы у меня на пару часов. Давно ищу такого. У меня, понимаешь, сучка. Как раз у ней сейчас это — потекла. Приведет какого-нибудь урода. Надоело ублюдков ее топить.

Вот и получилось, что не Тяпа при Гаврииле Романовиче, а Гавриил Романович при Тяпе.

Пока герой знакомился со скромной местной сучкой, шофер усадил за стол и, несмотря на дневное время, выставил самогон.

— А работать еще? — Гавриил Романович кивнул в сторону МАЗа, причаленного за калиткой.

— Не волк, не убежит. У нас один мудила на «газоне» ездит, бензиновый движок у него, значит. Он, если что, говорит: «Искрá потерялась»,— и кантуется сколько надо. А я если на дизеле, если без искры́ езжу, не могу уж и кореша встретить? Ну скажу, система потекла — тормозная. Системы эти текут, хуже чем сучки. А не нравится начальству — пусть другого на этот гроб поищут!.. Ну давай.

Гавриил Романович и раньше пил мало, только в самых необходимых случаях, но окажись он за этим столом пару месяцев назад, он бы не смог отказаться. Старому знакомому отказал бы: и рано, и Тяпа не любит перегара, и от самогона этого неочищенного два дня голова болеть будет... Старому знакомому отказал бы, а случайно встретившемуся шоферу — нет, потому что подобно большинству интеллигентов испытывает (испытывал?) некое чувство неполноценности, когда сталкивается *с народом*. Но если оценить алкоголь с точки зрения вселенской нравственности — то возможно ли добровольно становиться дебилом, хотя бы и временно? Обычай коллективно оглупляться — он один характеризует нашу бедную планету!

— Нет, я не пью.

— А чего такое? Я, может, тоже не пью. Но надо же за знакомство. И чтобы щенки крепкие.

Не объяснять же свои космические взгляды. Да и просто проповедовать, что пить вредно,— не здесь.

— Выпил я свое. Подшитый теперь хожу. С торпедой.

— «Торпеда»! Скажи лучше: мина замедленная! Тут у нас этих мин и оружия знаешь сколько? Есть мужики — у них в сарае огневая мощь, как у цельной роты. Не знают пока только, в кого стрелять. И черепов — больше, чем грибов в лесу... Ну раз мина в тебе — извини. Причина — хоть для прокурора. Портят же людей — вот я бы не согласился. Ну давай.

При чем здесь прокурор, Гавриил Романович не понял, но не переспросил.

Хотя сумел он отказаться от самогона, чувство если не первородной своей интеллигентской вины, то, во всяком случае, неловкости перед шофером осталось: мужик перед ним, гоняет МАЗ, может, наверное, и дом срубить — всем понятные настоящие работы, совершенно недоступные для Гавриила Романовича; а иксы- игреки его, дифференциалы и тангенсы — кому они здесь понятны, кому нужны?! Кобель Тангенс — нужен, а просто

тангенс — нет... То самое чувство неполноценности и вины, доставшееся по прямому наследству от народников. И теперь ждал Гавриил Романович, что услышит от шофера настоящее *народное мнение*, которое сможет потом важно цитировать в знакомых домах: «Я знаю, что в деревне думают! Я сам этим летом погрузился в народную стихию!»

Шофер налил себе снова.

— Как я тебя с кобелем выглядел, а? А то народит опять сука ублюдков, а мне сторож нужен! Такой зверь, как твой. А то народ здесь всякий. Ну, разбавит она кровя, но порода себя скажет, верно? У ей течка, и ты тут — в самый момент. Такое дело: поймаешь момент — ты в дамках. Вот я недавно съездил к матери, отгулы накопил. Она в самом Калинине живет, городская, значит, барыня за отчимом. Из нашей грязи. А отчим у ней — завскладом. «Бери, говорит, Вовик, стекла. Лобовые жигулевские. Мне здесь неудобно, народ завистливый, а ты у себя сотню разом спустишь. А они меньше чем по два сотника не идут. И пополам!» А мне чего? Взял, конечно. Случай? Случай! Что я мать родную повидать захотел, а накануне эти стекла завезли. Правильно написано, чтобы чтить родителев! Еще попы учили.

С улицы раздался визгливый женский голос, поминавший ту же мать Вовика — только в другой связи. Шофер тоже, разумеется, перемежал смысловые слова с матерными — так примерно в пропорции пятьдесят на пятьдесят,— но в полуньяной речи эти *междометия* почти не замечались, а из женских уст прозвучали противно.

— Розка явилась. Пусть жрать дает! — объявил шофер.

В избу заглянула Роза, пустила матерную очередь — и заметила гостя.

— Ой, извиняемся. А я-то думаю, чего это мой днем рассевши? Гостите, пожалуйста, не беспокойтесь!

— Кобеля привел. Пусть нашу Дуську отоварит.

Говоря о своей суке, он употребил именно слово «отоварить», не применив по прямому назначению тот самый глагол, который поминутно повторял без всякого смысла.

— Тебе бы только о суках думать! Сам кобель хороший! Что мне про Люську говорят?! А Зойка в «Красном пахаре»? А Ленка в «Ленинце»?!

Вспомнив о присутствующем госте, Роза сказала: «Извиняемся»,— другим, елейным голосом и продолжала обличение:

— Ленка хвастала, ты ей полный кузов дров привез. Всё березовые! Хозяин, хвастала. Хоть бы осины сырой суке этой, а то березовые! — И елейно гостю: — Извиняемся.

— Ладно гавкать, жрать неси.

И когда Роза беспрекословно отправилась в погреб, объяснил, улыбаясь чуть не смущенно:

— Ревнует. Любит как кошка, бля.

Роза вернулась с мисками и чугунами, и визгливые обличения продолжались за едой:

— Я еще соберусь! Я еще сделаю! Подговорю Леху, он за бутылку объедет всех твоих сук на тракторе. И до «Ленинца» доедет, и до «Пахаря»! Тросом обвяжу сруб Ленки этой, суки, и сволоку как есть весь на ферму! Пусть из говна выковыривается... Извиняемся... Хоть бы осину, а то береза отборная!

— Ты бы на ту Ленку глянула, такую мать! — включился наконец и Вовик.— Старуха, сорок лет, пять пацанов при юбке! Попросила — и привез. Пожалел.

— «Пожалел». Знаем таких жалобных! Ой, извиняемся, не угощаем вас. Чего же не пьете совсем?

— У него торпеда вшитая, он ничего совсем.

— Как же — мужчина чтоб ничего? Жене обидно. Я сама пьяниц не выношу, а немного надо. Чтоб не скучал — мужской ваш...— Она застыдилась слова, которое только что выкрикнула раз двадцать — как междометие.

— Да вроде и так жена не обижается,— смущенно пробормотал Гавриил Романович.

— Женщины, они все как цветы, как розы.

— Поливать надо! — брякнул Вовик.

— Дурак! Кобель несчастный!.. Извиняемся... Вот меня зовут — я такая маме благодарная. Роза. Красиво, правда? Мой, женихом когда, Розочкой всегда звал и Розанчиком!

— Пойти посмотреть, отоварил он Дуську или не отоварил,— поднялся Вовик, снова жалея на суку Дуську глагола, с такой легкостью отпускаемого жене.

— Любит меня, бёнать. Извиняемся.

Роза покраснела.

Все-таки Гавриил Романович не мог привыкнуть и вздрагивал при междометиях, извергаемых милыми Розиными устами.

Вернулся Вовик, застегивая ширинку.

— Кобенится, сука такая: и хочет, и не подпускает. Совсем как баба.

— Сказал тоже — как баба! Дусенька наша честная, правильная! Твои-то суки бесстыжие не кобенятся: с колес и в койку! Как зовут, спросить не успеешь!

Дуська все кобенилась, и пришлось остаться ночевать.

Гавриила Романовича уложили внизу, а хозяева поднялись на сеновал.

— Иди-иди,— толкала захмелевшего мужа Роза.— Не только с суками своими в сене валяться. Небось все стога вокруг разворошил. От таких стожары что ставь, что не ставь.

«Какие стожары? — засыпая, удивился Гавриил Романович.— Созвездие, кажется, стожары. Лежат в сене и в звезды смотрят? Тоже поэзия...»

Наутро Тяпа с Дуськой умиротворенно вылизывали друг друга. Вовик с Розой спустились с сеновала такие же благостные.

— Молочка парного попейте,— потчевала Роза.— Нарочно к соседке сбегала. Мы-то не держим.

— А зачем же сено на сеновале? — удивился Гавриил Романович.

— Для романтики етой,— засмеялся Вовик, и Гавриил Романович удивился не столько особому предназначению сена, сколько слову, чужеродно прозвучавшему из уст Вовика: «Розка-бля» и «романтика» рядом.

— Кобелю моему с утра не молочка, а рассолу надо,— любовно объяснила Роза.— А рассол если с молоком — взыграет очень.

Гавриил Романович пил парное молоко — напиток совершенно не похожий на тот, что продается в городе в пакетах,— и никак не хотел остановиться. И парное молоко в желудке с непривычки взыграло без всякого рассола.

Предчувствуя катастрофу, он попросил скороговоркой Вовика, подвозившего их с Тяпой на своем МАЗе.

— Стой! Выйду здесь. Вон озерцо красивое. Позагораем.

— Давайте отдыхайте,— равнодушно согласился Вовик.— Пользуйтесь.

Гавриил Романович едва допрыгал до кустов.

Потом они с Тяпой лежали на берегу озерца одинаково умиротворенные. Конечно, если бы не пришлось десантироваться столь поспешно, можно было бы подыскать озеро и получше. Но всякая вода хороша, когда чистая, когда отражается в ней незапыленная зелень.

Глядя на рябь на воде, на круги, расходящиеся то здесь, то там от рыбьих игр — надо же, еще и рыба здесь играет! — Гавриил Романович вспоминал бесконечные разговоры о нравственности, об исконной морали, которая будто бы сохранилась в неиспорченных цивилизацией деревенских глубинах.

Народники во всем виноваты! Когда образованные люди считают знания чуть ли не пороком, когда спешат поклониться темной толпе — ничего, кроме дикости, не может выйти в несчастной стране. Вот и Вовик с Розой, в сущности милые люди, но дай Вовику власть, и выйдет Романов — не царь, а ленинградский царек...

«Гаврилиаду» он с собой не захватил: мало ли, выпадет где-нибудь, так что записать немедленно он не мог, но мысли оказались совершенно в духе вселенской нравственности: управлять должны самые образованные, а существа невежественные вообще подлежат лишению права голоса, потому что нельзя, чтобы они влияли на принятие решений!

Тяпа тихонько встал и отошел в кусты. У него такая манера — или выучка, или врожденная: он не лает на посторонних, а уходит в засаду.

Точно, появился человек в брезентовой робе с пучком удочек.

— Клюет?

Ну вот, надо было объяснять, что приехал отдыхать на озера — и не рыбак. Это так же трудно, как объяснить Вовику, что можно не пить, когда не вшита под кожу торпеда. Но надоело Гавриилу Романовичу приноравливаться к примитивным предрассудкам.

— Я не рыбак,— ответил он с некоторым вызовом.

— Отдыхаешь, значит, просто так на природе? Один поселился? Зря. Шалят тут наши местные.

Из-за куста эффектно вышел Тяпа, посмотрел вопросительно.

— Твой? Тогда-то что. С таким можно хоть к дьяволу в гости.

Рыбак уселся на землю, вытянул ноги.

— Покурю с тобой, ладно?

Гавриил Романович был спокоен, поэтому и Тяпа не выказывал никакой враждебности. Подошел, понюхал рыбацкий сапог и лег чуть в стороне — все-таки настороже.

— Не лает, не кусает, а на стреме. Серьезный товарищ. От наших бы пустобрехов уши бы сейчас заложило, а этот по делу... Шалят. Неудобство, конечно, от шалостей, но и слава богу, есть еще кому шалить. А то ведь скоро и шалости кончатся. Как рыбу поморим, так и людишек всяких, верно? Деревни стоят — не то Мамай через них прошел, не то немец.

Гавриил Романович посмотрел на рыбака так же молча и внимательно, как Тяпа.

— А если не Мамай и не немец, тогда кто? — не то спрашивал, не то рассуждал рыбак.

Гавриил Романович смотрел все так же Тяпиным настороженным взглядом.

— Молчишь? И я молчу. И весь народ молчит хором.

Сколько лет рыбаку, определить было трудно: от сорока до шестидесяти. Худой, загорелый, слегка морщинистый. Сказал «наши местные шалят», но не очень сам он казался местным.

С минуту они вдвоем *помолчали хором.*

— Отдыхаешь, значит, всухую: без рыбы и без бабы. Посмотреть захотелось, как тут люди живут. Воздухом подышать подлинным, не на газу. Сам-то из Москвы?

— Из Ленинграда.

— Земляки почти что! Я у вас два года прожил. Проучился. Десятилетка у нас хорошая в райцентре, я после нее на самый философский факультет подался. В ЛГУ. Может, сейчас бы профессором был, имел бы квартиру на Василёвском острове. А чего такого? У нас половина профессоров и доцентов с деревни была. Но я спешил очень истины дознаваться: марксизм стал отыскивать настоящий. Профессор Жадов меня и спас. Деревенский. Пожалел своего. Прочитал, чего я понаписал после второго курса, вызвал и говорит: «Католики мудро запрещали мирянам Библию читать, потому что кто начитается без подготовки, обязательно еретиком становился, и приходилось голубчика сжигать с молитвой. Для спасения его же души. Вот и ты еще мирянин, рано тебе марксистскую библию читать, держись лучше учебников. Вот защитишься, семейством обзаведешься — тогда. А работу твою...» — и в печку. А я еще удивился, чего у него в мае печка горит. Правда, холодный был май. А тогда же с четвертого курса у нас посадили — тоже подлинными марксистами себя называли. Я мысленно перекрестился на Жадова, как на бога,— и домой. Думаю, самое верное дело — землю ковырять. Обратно закрестьянился. Потому что ниже крестьянина никого нет, никак, значит, дальше не понизят. Мужиков, конечно, в колхозе, мало, потому дают жить. Потом как всем паспорта выдали, как мы тоже люди стали — вербовщиков всяких налетело — как мух на мед. А меня не сманить: повидал же уже свет, довольно. Видали там таких колхозных отличников. Я в своей золотой медали дырочку просверлил, в праздники на пиджак пришпиливаю. У дедов наших двоих за германскую медали, а у меня своя: «за отличные успехи». Рыбу вот ловлю, пока есть, кабанчика каждый год откармливаю, картошка своя, молоко — самые отличные успехи. Если не пить, жить можно.

Рыбак зазвал Гавриила Романовича к себе, помог и рюкзак донести — километров пять оказалось до него, и все тропинками. Звали его Николаем Васильевичем, а жена застенчиво представилась Машей, хотя выглядела никак не моложе мужа. Хозяйский Дружок был крайне возмущен появлением Тяпы, но лаял, стоя у самой будки, готовый мгновенно ретироваться. Тяпа высокомерно не отвечал.

Скоро оказалось, что Николай Васильевич зазывал к себе не бескорыстно.

— В шахматы играешь? — спросил он, появляясь с облупленной доской.

— Немного,— ответил Гавриил Романович опасливо: очень не хотелось проиграть в умственной игре деревенскому философу.

Но оказалось, что хозяин играет еще гораздо хуже. И притом с упорством доигрывает до мата, не сдается, даже когда остается без ладьи или самого ферзя.

— Дал бы отдохнуть человеку,— с укором сказала Маша.— Моего-то хлебом не корми, а играть у нас не с кем. Дед Семен один, да обиделся, играть перестал: надоело деду проигрывать.

— А сегодня вот сам проигрываю! — как бы удивленно сообщил несостоявшийся философ.— Ничего, сейчас вот вспомню! Не играл давно, а ты-то небось у себя там тренируешься! По науке играешь, вижу, что по науке. Если бы сразу, без дебюта, тогда бы посмотрели, кто кого! Когда своим умом пойдет игра.

— Молочка пока попейте,— по-своему посочувствовала Маша.— Надоила только что. В городе такого не попробуете.

Гавриил Романович с ужасом отказался.

Маша поняла.

— Боитесь? Бывает с непривычки. Наши Витька с Надькой приезжают в отпуск, тоже первые дни со двора не идут. А после — ничего.

Гавриил Романович уже знал, что Витька с Надькой — взрослые дети Николая Ивановича и Маши. Оба они уехали после школы и теперь приезжают на родину только в гости. На родину — потому что Москва, где они оба живут, фактически совсем другая страна.

— Если молочка нашего боитесь, я вам простокваши принесу из ледника.

Простокваша оказалась в самый раз. Отламывая ложкой холодные жирные куски — пить ее как городской кефир было невозможно,— он выиграл у хозяина еще две-три быстрые партии. Николай Иванович каждый раз сокрушался, но не унывал:

— Эть ты! Надо было офицером брать! А позиция была лучше! Ну давай еще раз. Сейчас-сейчас! Еще выиграю. Только ты без вариантов играй, попросту!

— Как это — без вариантов?

— Ну без дебютов, прямо!

— Как это — без дебютов? Раз начало — значит, обязательно какой-то дебют.

— Ну прямо: пешкой от короля, потом офицером. А от королевы — я не понимаю.

Гавриил Романович по заказу сыграл итальянскую партию. С тем же результатом.

— Эть ты! А совсем выигранная позиция была. Надо было турами меняться...

Спать Гавриил Романович попросился на сеновал. Не для того же он отправился скитаться, чтобы укладываться на ночь в городские кровати. Взбираясь наверх, он мечтал и о дырявой крыше, сквозь которую просвечивали бы звезды, но крыша оказалась плотная, глухая — не зря же мастеровитый хозяин в доме. Слуховое окно было открыто, для проветривания, должно быть, и Гавриил Романович подошел к нему, разглядывая звезды. Стожары или нет — он не знал, он вообще из всех созвездий умел узнавать только Большую Медведицу.

С наслаждением ворочаясь на сене, он думал, что деревенский философ в чем-то и прав: ненормально разрослась шахматная *наука*. Все-таки шахматы — всего лишь игра. Хоть и прекрасная игра. И когда по шахматному анализу книг чуть ли не больше, чем по анализу математическому,— это уже гипертрофия.

А между прочим, кто-то сказал, что шахматы лучше всего развиваются в тех странах, где нет свободы мысли. Ну что ж, советский пример — блестящее тому подтверждение. По-видимому, умные люди у нас особенно охотно уходят в шахматы, так как догадываются, что иначе им будет трудно найти применение своим мозгам... Вот как тест — очень объективно. Было бы у нас какое-то свободомыслие, хотя бы в рамках диалектического материализма, писал бы чудаковатый Николай Васильевич свои статьи или даже книги про истинный марксизм-ленинизм, очищенный от сталинских искажений,— и принимали бы его за бог весть какого умного человека, а вот, садится за шахматы...

Но шахматы существуют не только для того, чтобы занять излишек слишком умных людей, отвлечь их от опасных мыслей и действий, шахматы и вообще спорт выполняют важнейшую функцию — заполняют вакуум новостей, создают эрзац-информацию. Мы не знаем, как проголосовали в Политбюро, но зато мы со страстью ждем последних известий, чтобы узнать: как сыграли?!

А народийную шахматную науку можно разрушить! Идея явилась Гавриил Романовичу мгновенно: всего лишь уничтожить первоначальную расстановку! Впереди, естественно, остаются пешки, а за пешками в заднем ряду фигуры каждый расставляет как хочет. И конец многотомным дебютным энциклопедиям — с первого хода придется играть своим умом! Для начала такую игру можно будет назвать *свободными шахматами* или *свободным стилем*. И когда многие начнут играть своим умом, играть в свободном стиле, стыдно сделается прятаться за дебютную энциклопедию...

Утром Николай Васильевич предложил:

— Хочешь, на мертвый конец сходим? У нас будто нарочно: один конец живой остался, а другой — мертвый: взрослые уехали, старики умерли. С одного конца, как гангрена на ноге.

Деревня вытянулась вдоль речки, потому естественно делилась на концы.

В мертвом конце дома стояли целые. Только двери и окна заколочены досками крест-накрест.

— Где покойник, так и крест,— сформулировал Николай Васильевич.

Заколоченные дома Гавриила Романовича не удивили: слышал он множество раз, что *Нечерноземье*, а по-настоящему — исконная центральная Россия, обезлюдело. «Не то Мамай прошел, не то немец». Нет, после Мамая или немца полагалось остаться пепелищам с торчащими обгорелыми трубами. А тут показалось непривычному взгляду, будто прокатилась эпидемия, чума, *моровое поветрие*: дома остались целыми — людей нет. Особенно поразили аккуратно сложенные наколотые дрова: собирались, значит, хозяева жить, зимовать — и унесло их в одночасье. Ну точно, мор. Вот только не чума прокатилась, не сибирская язва — а что же?

Гавриил Романович вспомнил стандартное газетное клише: «коричневая чума». Про фашистов. А здесь... А здесь: *красная чума*!

Он испугался собственной мысли, он посмотрел на Николая Васильевича: не прочитал ли тот страшные слова, отпечатавшиеся в голове, как в книге?! Гавриил Романович не верил в телепатию, не верил, но бывают же моменты мощных озарений!

Нет-нет, нельзя же сравнивать: то — фашисты, враги рода человеческого, а у нас? Конечно, много глупостей, *перегибов*, ненужных жестокостей, но хотели-то хорошего! Может быть, даже Сталин по-своему хотел, а уж Ленин-то точно хотел хорошего!.. Но вид обезлюдевших домов, но мысль, что вся центральная Россия разорена, не давала избавиться от единственного адекватного сравнения: чума прокатилась, *красная чума*...

— Продавать не разрешают, что плохо,— объяснил Николай Васильевич.— Только если кто в колхоз пойдет. А кто ж пойдет? Я тут крышу починяю помаленьку, чтобы не текла, не гнил дом... Заходи вот... Крышу починяю, думаю, Витька купил бы. К нам-то как понаедут все — тесно.— Николай Васильевич достал припрятанные топор, молоток.— Не разрешают продавать, но договориться-то можно с председателем. Все в руках человеческих.

Гавриил Романович вспомнил, что повторял про себя ту же самую фразу, расписываясь в журнале, будто вовремя явился на работу.

— Купил бы Витька, а может, и Надькин муж. Сам-то он руками делать не умеет, но деньги есть. И целый бы наш конец. А земли здесь хорошие. Нарочно придумали: Нечерноземье. Для оправдания: нечернозем — и жалеть нечего!

— Что толку, что земли? Ведь все равно колхоз.

— Ну, во-первых, участки свои. Тут десять соток, а тут все шестнадцать. Картошкой собственной завалиться, овощами всякими, клубникой. Цветы продавать. Если Надьке торговать зазорно, Маша моя продаст. А во-вторых: сегодня колхоз, а завтра...

— И завтра колхоз! — поспешно возразил Гавриил Романович, точно все еще опасаясь, что местный философ прочитал роковую мысль про *красную чуму*.— И завтра!

— Думаешь? А не все так думают. В городах. В Москве.

— Ничего не сделают! Это стена. Бетон, гранит, монолит! Сам говоришь: народ молчит хором. А десяток человек чего сделают?

— Народ молчит хором. А если запоет — хором же?

— Не запоет. Еще сто лет не запоет.

Не для *чужих ушей* отвечал Гавриил Романович, да и какие здесь уши. Совершенно искренне отвечал. Ну что может измениться, когда перед тобой стена, монолит?!.

Он еще и пообедал у деревенского философа. Поливая молодую картошку *настоящей сметаной*, он непоследовательно подумал, что не так уж все плохо, и живут хозяева многим на зависть, а те, кто уехал и бросил дома,— сами виноваты: сидели бы сейчас в зеленой прохладе, обедали бы молодой картошкой, заедали бы своей клубникой, поливаемой той же сметаной.

Тяпа тоже думал, что не так все плохо, хлебая какую-то похлебку, которую никогда бы не стал есть в городе у Спитковских. Дружок, стоя у будки, подхалимски махал хвостом. Совсем все неплохо.

Философ их немного проводил, таща снаряженную Машей сумку с домашними припасами.

Уходили веселым живым концом деревни.

Вечером у костра, допивая — разжижилась! — теплую и потому совсем не вкусную простоквашу, Гавриил Романович со стыдом вспоминал, с каким страхом он пытался избавиться от мелькнувшей в мозгу непрошеной мысли! Не слова испугался, а мысли!.. Галантный галакт не станет высказывать в глаза туземцам горькие истины, но в мыслях галакт обязан быть бесстрашен. Первейшее условие вселенской внутренней свободы — бесстрашие в мыслях! И выходит, мало объявить себя однажды гражданином Вселенной — надо тянуть и тянуть себя вверх за волосы, надо вытравить из каждой клетки порочные гены земной породы.

И может быть, деревенскому философу легче быть свободным? На минуту Гавриил Романович представил себе другую жизнь: уезжает он в деревню, покупает такой вот дом, ест свои овощи, пьет настоящее молоко, дышит настоящим воздухом. Ну даже не приписывается в колхоз, не учится пахать на тракторе — устраивается учителем. Нужны же, наверняка, здесь учителя. Не в народническом смешном порыве, а для себя: ради чистого воздуха и чистых продуктов, ради того, чтобы подальше быть от всякого идейного начальства... Но нет, только на минуту может такое возмечтаться: даже к учительской жизни здесь он безнадежно неприспособлен — ни избу поправить, ни грядки вскопать, не говоря уж — травы накосить. А все время зависеть от рукастых мужиков, все время ставить бутылки — иго худшее, чем присмотр парткома. Нет, он предельно специализирован, как какая-нибудь орхидея, которая укореняется не в земле, а только к другому дереву, он может существовать только при своей кафедре, а потому намертво прикреплен к месту, куда прочней, чем прикреплены были в недавнем прошлом беспашпортные крепостные колхозники...

Он побродил месяц, он поиграл в отставного спортсмена и хозяина сильной собаки — но вернулся, снял тренировочный костюм, отвел Тяпу к Спитковским. Поздоровел, конечно, на воздухе. Вот только неясным осталось, приобщился ли к *народной мудрости*, ведь Николай Васильевич хоть и крестьянствует, но порчен был в свое время философским факультетом, а прочие все встречные, часто хмельные и многоречивые вроде шофера Вовика, о серьезных вещах *молчали хором*. Разве что вспомнить загадочного деда из Чудова?

Добрался он наконец и до дожидавшейся в столе «Гаврилиады».

* * *

может быть самое поразительное если посмотреть на наше племя разумным взглядом то что человечество до сих пор неспособно контролировать собственную численность.

одно это исключает нас из общества существ истинно разумных

известно сколько лосей нужно в лесу сколько волков

сколько покоса нужно на одну корову

а сколько нужно людей то есть существ в наибольшей степени давящих на природу никому не известно

а если бы и было известно нет способа гуманно ограничить численность населения

бесконечно расти человечество не может рано или поздно придется численность его ограничить

так зачем поздно когда земля будет до последнего предела вытоптана и отравлена

потомки нас проклянут за нерешительность за то что мы переложили на них наши проблемы

но это еще самое простое подсчитать арифметически сколько людей может прокормить земля

как подсчитывают сколько коров может прокормить данный выпас

более трудный но и более важный вопрос сколько нужно людей на земле

принципиальный ответ столько чтобы каждому было обеспечено достойное существование

а не просто выживание на минимальном пределе потребностей

при десяти или двадцатимиллиардном населении неизбежна предельная стандартизация жизни

когда каждая семья занимает крошечную ячейку совершенно не отличимую от соседней ячейки

получает необходимый стандартный набор продуктов и товаров

а все удовольствия получает централизованно как и продукты прежде всего через телевизор

раз в несколько лет каждому будет полагаться стандартное путешествие по строго определенному маршруту

а над толпой существует элита политических деятелей писателей артистов спортсменов которые живут по другим стандартам свободно передвигаются и постоянно фигурируют на экранах телевизоров

но хуже всего с работой

до сих пор большинство человечества занято физической монотонной работой

но в течение ближайших двух-трех десятилетий электроника уничтожит надобность в механическом монотонном труде

уничтожит как раз тогда когда народятся ненужные десять миллиардов

значит придется остановить электронику оставить людям убогий механический труд который может выполнить за них несложная машина

но это предельное человеческое унижение

люди обреченные такому труду неизбежно будут несчастны даже получая свою дозу стандартного комфорта

они будут стремиться вырваться из своего униженного положения хоть в наркотики хоть в террор

потому что самой страшной социальной проблемой станет скука

именно глубоко социальной

потому что все эти проблемы возникнут независимо от социального строя в современном смысле

да и потеряют значение различия между социализмом и капитализмом

до сих пор многие верят в утопию что всю механическую работу предоставят машинам а люди поголовно начнут заниматься трудом творческим

но не нужны на земле десять или двадцать миллиардов творцов

да и необходимо быть личностью чтобы творить

а чтобы развиться личности нужен простор нужно нестандартное существование

следовательно земле нужно столько людей сколько смогут стать творческими личностями

при возрастающем же стеснении нас ждут страшные психологические перенапряжения

когда скопятся несколько миллиардов людей которые не согласны быть роботами но и неспособны выразить себя в творчестве

в коммунальной квартире могут жить сплошь прекрасные люди хоть и редко такое встречается в реальности но когда приходится стоять в очереди в уборную то не легче оттого что впереди тебя переминаются только самые прекрасные люди

при излишнем стеснении невыносимым сделается самый близкий человек если с прекрасной любимой каждую ночь спать на узкой вагонной полке то вскоре начнешь мечтать только о том чтобы любимая оказалась где-нибудь на противоположном полюсе

когда северных оленей становится слишком много они начинают умирать по непонятным причинам от некоей болезни перенаселения

наверное нужно ждать появления совершенно новых человеческих болезней и хотя формально их будет вызывать новый микроб или вирус на самом деле это будет болезнь перенаселения

а когда леммингов становится слишком много они движутся потоком и массами гибнут в реках встретившихся на их пути

в перенаселенном же человеческом обществе возрастет число убийств и самоубийств будет развиваться агрессивность и ослабевать инстинкт самосохранения

неизбежно появятся и крайние политические течения которые станут практиковать уничтожение людей самыми отвратительными фашистскими методами

все это включая фашизм будет проявлением стихийной природной саморегуляции

потому что природа не знает морали не знает жалости к отдельной личности она стремится лишь сохранить экологическое равновесие

если же разумный человек хочет противопоставить биологической стихии мораль если он хочет возвысить личность он обязан научиться сознательно контролировать численность своей популяции

и те кто пугает сейчас мальтузианством должны реально выбирать между гуманным ограничением рождаемости и стихийным ростом агрессивности фашистскими движениями с газовыми камерами

синдром перенаселения самый страшный самый античеловеческий он превратит жизнь в ад

и не спасут от низвержения в этот ад ни коммунизм ни буржуазная демократия

нынешнее бездействие и благодушие нынешняя болтовня что неограниченная рождаемость право каждого человека его свобода приведут в скором будущем к самой крайней отвратительной жестокости к полному уничтожению всяких свобод

* * *

Над листом своей дерматиновой тетради — вот где Гавриил Романович становился свободным, становился и правда в духовном смысле почти галактом.

Да, не трогает он почти в своих записках партию, не трогает строй, при котором живет,— но не из подлого страха, а потому, что галакт выше местной мелкой политики. Он мыслит широко! Вернувшись из безлюдного Нечерноземья, Гавриил Романович должен был бы печься о приросте населения, но он не унижается до локальных проблем, он видит всю Землю, отягощенную четырьмя с половиной миллиардами жалких, придавленных тяжелым трудом людей, которые объедают и вытаптывают планету, как козы, вытоптавшие Австралию.

Какой бы поднялся шум, если бы прочитал сейчас «Гаврилиаду» апологет свободного размножения. Какие крики об антигуманности! Но Гавриил Романович свободен — по крайней мере, над чистым листом.

Когда он вошел домой с дороги, Ватины не было — в вечер она работала. Он дождался, не ужинал без нее — занимался пока «Гаврилиадой». Спрятал тетрадку, когда услышал ключ в дверях.

— Нагулялся? Ну и хорошо. Будешь хоть знать, как люди живут. Народ. Я давно говорила, что тебе полезно. А я-то знаю, ты слушай.

Будто не она ворчала перед отъездом.

— В Ленинграде тоже народ.

— Какой там народ. Намешаны неизвестно кто.

— А три миллиона — кто же? Или четыре?

— Просто люди разные. Так бывает: люди есть — народа нет.

Может быть, Ватина и права отчасти: действительно же, там, на Валдае, *намешано* куда меньше. Вот только как относиться? Ей кажется, что плохо, когда люди, а не народ. А может быть, такое состояние — самое замечательное?

— Ну это все претензии к Петру: зачем здесь город основал? — Не хотелось спорить всерьез в первый же вечер.

— К Петру! У нас Тамара Федоровна говорит, Петр на самом деле грузин был. Ей в Тбилиси объяснили. Потому что царь Алексей уже старый был, а тут при дворе грузинский князь. Вся Грузия знает.

О, господи!

— Ну и что? Какая разница? А потом, все цари — немцы. А раньше все князья — варяги. И цари тоже.

— Кому все равно, а кому-то и обидно.

Надо это кончать.

— Продувало там часто, на озерах. Я все думал, что приду наконец, спину ты потрешь.

— Уж не оставлю, не бойся. Мне посоветовали пустырник втирать. Бабушка одна у нас в гардеробе, она травы знает. Говорила же, что нечего в твоем возрасте бездомным шляться. Умные люди по путевкам в санаториях, а ты в это время с их собакой таскаешься. Никогда не слушаешь, а я знаю.

5

В промежутке между двумя частями своего долгого отпуска Гавриилу Романовичу предстояло принимать вступительные экзамены.

Вступительный экзамен — прежде всего тяжелая работа для самого экзаменатора. Абитуриенты этого не понимают, они слишком придавлены собственными страхами, и экзаменатор представляется им неким громовержцем, который карает и милует по своему божественному произволу. А бедный громовержец работает как грузчик. Правда, Гавриилу Романовичу легче: он принимал за *хорошим столом.*

Не так уж давно пытливая деканская мысль научно организовала экзамены, разделив столы на *хороший*, *нормальный* и *плохой*, а то прежде шли в ход звонки, записки, птички в списках — словом, первобытная путаница. А теперь абитуриенты заранее распределяются по столам: за *хорошим* прием идет предельно доброжелательно, за *плохим* — как можно строже, ну а за *нормальным* — нормально.

После нескольких шумных процессов экзаменовать поступающих стали на пару: чтобы всегда был свидетель на случай обвинений во взяточничестве. Гавриилу Романовичу был придан молодой преподаватель Вася, который во всем доверился старшему коллеге и тем самым не мешал.

Дело у них шло быстрее, чем у соседей,— оно и естественно, на то и *хороший* стол: меньше дополнительных вопросов, проще задачи. Разные необходимые экзаменаторам бумажки разносили прикомандированные в помощь студенты — они важно назывались *общественной приемной комиссией.* Студенты не были посвящены в тайну столов и, видя, что у Гавриила Романовича с Васей производительность выше, пытались перепасовывать к ним абитуриентов от других столов. Но на страже стояла неизменная Нинуша, очень убедительно объяснявшая пытливым студентам:

— Списки специально составлены так, чтобы у всех равномерная нагрузка. Никто не обязан работать за других.

Ну что ж, рациональному юношеству нужно все объяснять рационально.

— Узнали бы эту механику — разочаровались бы вообще в справедливости,— шепнул Вася, услышав объяснения Нинуши.

Ах, милый Вася! Как мало ему нужно, чтобы разочароваться в справедливости. Естественно: что он видел в жизни?

Вот Гавриил Романович повидал — когда был куда моложе не только Васи, но и сегодняшних абитуриентов.

...День рождения у него первого января, говорят, такая дата приносит счастье. Но первого января сорок второго он едва вспомнил про свой день. Про то, что исполнилось ему четырнадцать. И мама едва вспомнила — они с ней как бы погрузились в полубытие, высшие чувства почти отключились, бодрствовал только инстинкт добывания пищи.

Но пережили зиму каким-то образом, и в апреле Гаврик стал потихоньку выползать на весенний Невский. Погреться на солнце и попытаться выменять вещи на хлеб. Цены тогдашние — меновые, разумеется, не денежные — он будет помнить всегда. Однажды вынес четыре фужера — потом мама много раз вспоминала, что фужеры те императорского стекольного завода, а тогда казались четыре большие красивые рюмки — подошел человек в странном бархатном пальто, словно из театра, давал сто пятьдесят граммов. Требовательно совал свой ломоть хлеба и почти отнимал фужеры. Гаврик отдал бы, но подошел военный и дал двести пятьдесят! Это было счастье: вдруг сто граммов будто в подарок. Не зря Гаврик так любил военных.

А потом однажды напротив Гостиного его остановила женщина. По тогдашним его понятиям — немолодая: лет, наверное, сорока. Вообще, тогда определять возраст бывало трудно, но у этой женщины был возраст! И возраст делал ее как бы довоенной — Гаврик сразу почувствовал.

Она дотронулась до муфты с привычной уверенной требовательностью — Гаврик выносил вещи в маминой муфте. (Почти забытый теперь предмет одежды, так же, как и галоши.)

— Что у тебя?

— Чашки. Кузнецовский фарфор. Четыре чашки.

Мама ему несколько раз повторила перед выходом: «Настоящий кузнецовский, не продешеви!» Сам-то он тогда не разбирался.

Женщина рассмотрела чашки, не боясь приговаривать:

— Хорошо... Да, хорошо...

Обычно-то покупатели старались опорочить товар.

— А еще что-нибудь есть к чашкам?

— Вот. Блюдца.

— Это само собой. Кому они нужны без блюдец. А еще что-нибудь из сервиза?

— Есть. Дома.

— Ты далеко живешь?

— Здесь. На Садовой.

— Пошли к тебе.

Мама с неприятной угодливой торопливостью выставляла перед женщиной фарфор. То, что сейчас они лишатся привычного домашнего фарфора, Гаврика не огорчало, но больно было видеть угодливость матери рядом с уверенностью женщины с довоенным лицом.

— Это беру. И это,— распоряжалась женщина.— И это.

Это последнее было большим кувшином с нарисованными на боках пастушками.

— Это крюшонница,— сказала мама.

— Хорошо. Вот вам.

Женщина вытащила целую буханку хлеба.

Сколько уже времени Гаврик не видел буханку целиком! То есть видел в булочной, до того как ее разрежут на пайки, но чтобы дома, чтобы своя!

— Что вы, мало за все,— сказала мама.— И чашки, и сахарница, и кофейник. И еще крюшонница. За нее надо отдельно. Это же настоящий кузнецовский!

Гаврик испугался, что женщина заберет буханку и уйдет. Заберет живой хлеб и оставит им этот мертвый фарфор! Но она только сказала:

— Что же делать, если у меня больше нет с собой. И упускать не хочется... Пойдемте, я вас прямо накормлю. Пообедаете за вашу крюшонницу. Понимаете? Пообедаете! Здесь недалеко.

— Вдвоем?

Какой униженный голос! Как больно и сейчас вспоминать мамин голос, оборвавшийся в писк: «Вдвоем?»

— Вдвоем.

Но тогда боль промелькнула и забылась. Они шли, чтобы пообедать,— это было невероятно!

Они пришли с женщиной на улицу Желябова. Там в угловом доме женщина отворила обыкновенную незаметную дверь, они вошли — и сразу навстречу забытый довоенный столовочный запах! В тамбуре сидел человек — сразу видно, сидел для того, чтобы не пускать дальше, туда, где рождался божественный запах; но женщина сказала небрежно: «Эти со мной»,— и страж пропустил. За следующей дверью и вправду была столовая — запах не обманул! Со столами, покрытыми белыми скатертями!

Сразу она показалась огромной. После уж Гаврик мысленно посчитал столики, потому что вид столовой отпечатался в памяти словно бы на фотографии, и оказалось, столиков было десять, а сидели за ними шесть человек, все в штатском, сидели по одному и ели молча. Но что он заметил сразу: пирожные в вазочках на каждом столе. Эклеры. Сорта пирожных Гаврик различал куда лучше, чем марки фарфора,— будьте уверены, лежали именно эклеры!

Женщина усадила их за самый крайний столик. Подошла девушка в белой куртке, поставила перед ними по тарелке супа.

— Ешь медленно,— после каждой ложки повторяла мама.— Ешь медленно.

Он и ел медленно. Горячий суп. Гороховый суп. С настоящим куском ветчины. Потом та же девушка принесла вторые: котлеты с пшенной кашей.

— Это домой. Это не сейчас.

Мама достала пластмассовую коробку и сложила котлеты и кашу. Удобная коробка, потому что крышка плотная: не страшно, если опрокинется.

Подошла женщина.

— Мы в расчете?

— Да-да,— быстро сказала мама.— Да-да, конечно.

Она дернулась к своей сумке, но женщина остановила:

— Не здесь. Пойдемте.

Если бы женщина не подошла, Гаврик взял бы пирожное. Но при ней не решился. И не решился спросить, можно ли взять. Потому что невозможно было поверить, чтобы такому, как Гаврик, разрешалось взять пирожное,— они могли предназначаться только для каких-то особенных людей!

На улице мама быстро отдала женщине крюшонницу — и пошла. Гаврик ее догнал — мама плакала.

Это было непонятно: ведь такое счастье — настоящий домашний обед! Портило праздник только воспоминание о том, что можно было взять пирожное, пока никто не видел — потом бы пусть заметили, что не хватает! Не догнали бы! А может, и несчитанные, если стоят свободно?!

Много раз они обсуждали — и тогда же, и уже после войны,— что это была за столовая? Ясно, что не военная. Все обсуждения мама заканчивала одинаково:

— Обкомовская, чья же еще.

Но поскольку доказательств никаких не было, добавляла ради справедливости:

— Или исполкомовская. Да какая разница?

А молодой Вася говорит про справедливость. Сама эта категория не для жалких земных обитателей. Ведь и в семнадцатом году устраивали революцию именно ради справедливости — ну и что вышло? И не потому, что плохо хотели, и не потому, что плохие люди попались: не могут эти существа установить справедливость, биологически не могут, все равно как не могут летать, как птицы, или дышать под водой, как рыбы. Если очень и очень поумнеют — может быть, и наступит справедливость когда-нибудь. А при жалком теперешнем человечестве не может быть справедливости — и никакая система не виновата!..

Экзамен шел по проторенной дорожке, пока не очутилась перед их столом милая *позвоночница* (очень удачное слово изобрели, и, глядя на девочку, Гавриил Романович

думал не о том, что она идет *по звонку*, а о гибкой ее спине с обрисовывающимся позвоночником в центральной ложбинке). Особенно милы были ее губы — выпуклые, словно слегка вспухшие от поцелуев, да еще родинка над верхней губой, из тех, что когда-то звались *злодейками*. Сидела готовилась она долго, но похоже было, что безуспешно, отчего лицо ее приобрело выражение особенно милой беспомощности, говорящей: «Вы же не станете портить мне жизнь из-за таких глупостей, как ваши теоремы?»

Уже по выражению лица милой позвоночницы Гавриил Романович понял, в чем дело, а взглянув на листок с ее записями, утвердился окончательно в своих предчувствиях.

— Ну что ж, изложите, что вам выпало в билете.

Если приглашение и прозвучало иронично, то невольно — просто экзаменационная скука заставляет разнообразить хотя бы интонации.

Бедняжка залепетала полную чушь.

Дополнительный вопрос был брошен как спасательный круг:

— Ну все-таки, есть разница между равенством и тождеством?

— Я разве не сказала? Я же уже говорила! Или, может, что-то перепутала. Я всегда путаюсь от волнения! А в аттестате у меня пятерки. Мне даже хотели взять справку от невропатолога, что я путаюсь от волнения!

Про справку от невропатолога Гавриилу Романовичу не говорил еще никто из поступающих. Но, возможно, через пару лет помимо *позвоночников* появятся еще и *справочники?*

— Ну-ну, успокойтесь, и начнем с азов: сколько нужно точек, чтобы образовать линию?

— Не меньше миллиона!

Адресовалась она теперь главным образом к Васе, инстинктивно чуя, что тому труднее противиться ее чарам.

Инстинкт в таких случаях не ошибается: бедный Вася страдал. А Гавриил Романович уже вышел, увы, из возраста, когда страдал по таким созданиям. И он неумолимо подытожил, усмехаясь в душе и над Васей, и над собой — прежним:

— Ну что ж, милая... э-э... Элеонора Сергеевна, будем считать, что мы удовлетворились вашим ответом. А потому поставим вам «удовлетворительно». Вы согласны, Василий Ефимович?

За другими столами тут была бы безусловная двойка, так что не мог Вася взывать к милосердию — оно и так было проявлено сверх всякой меры,— и бедный Вася молча кивнул. Но в то же время, за *хорошим столом* и тройка — в некотором роде акт гражданского мужества: не полагается здесь ставить тройки!

— Спросите что-нибудь еще! — прошептала прелестная блондинка.

— Это рискованно: мы можем растерять то немногое, в чем вы все-таки преуспели.

Блондинка аккуратно наполнила глаза слезами — возможно, и искренне, но Гавриил Романович увидел в этом актерство. Так она и ушла, неся нерасплесканные слезы, что, впрочем, свидетельствовало о достаточном вкусе: обильное слезопролитие было бы дурным тоном.

Бедный Вася страдал молча.

— Ну чего ж ты, беги за ней! — зашептал вдруг Гавриил Романович с неожиданной для себя злостью.— Беги за ней! Она же прелестна!! Беги за ней, догони! Ты не женат еще? Женись! Вдруг такая больше не встретится? Ну чего ж ты — меня, что ли, стесняешься? Беги и догони, советую как старший.

В Васином возрасте Гавриил Романович ни за что бы не решился вот так догнать и познакомиться. И хотелось, чтобы это совершил теперь Вася — прямо тут же, на глазах: как говорится, следующее поколение должно прожить счастливее нас.

Но Вася остался сидеть — дурак.

К концу экзамена появился Зазроев. Его поставленный голос еще только раздался в коридоре, а Гавриил Романович уже знал, зачем тот явился.

Обаятельный проходимец этот Зазроев — никуда не деться. Душа всякой компании, певец на всех институтских концертах, баритон: «Кто может сравниться с Матильдой моей?..» Каждый год в приемной комиссии.

У Гавриила Романовича нет никаких доказательств, но он ни секунды не сомневается, что Зазроев берет взятки. Бывают случаи, когда доказательства и не нужны, достаточно взглянуть на человека и все понять. Суворов сказал, что любого интенданта через полгода службы нужно вешать без суда и следствия. Вот и Зазроев как раз из таких, с которыми все ясно без суда и следствия. Невозможно представить, чтобы человек такого жизнелюбия мог уместиться в унылые рамки закона!

— Гавриил Романович, дорогой мой, вы прекрасно выглядите после отпуска! Как всегда, блестяще экзаменуете! Слышу только самые лестные отзывы! Если бы все экзаменовали как вы!

Гавриил Романович знал, что последует за комплиментами, но все же какой-то фиброй души не мог не испытать мимолетного удовольствия даже от столь грубой лести. Глупо, но так уж устроен человек.

— Только вот, только вот...— Зазроев уже вывел Гавриила Романовича под руку из аудитории и увлек в пустую преподавательскую.— Только вот вышла какая-то накладочка с Самариной, какое-то недоразумение.

Гавриил Романович хоть и не запомнил фамилии той блондинки, тотчас догадался, что речь о ней.

— Она не знает буквально ничего,— сказал он отчужденно.— До анекдота.

— Волновалась! Дорогой мой, кто из нас не нес чуши на экзаменах? Вспомните себя!

Самое дурацкое положение, когда тебе говорят вещи в общем-то совершенно справедливые. Сам институт экзаменов — глупость, это ясно! Действительно: кто не нес чуши на экзаменах? Но почему-то очень часто справедливые разумные мысли используются для обоснования явной несправедливости. Вот и Зазроев на это мастер.

— Взволновалась девочка, очень естественно. Такая хорошая девушка. Нужно же нам, чтобы институт смотрелся! Если делегация или гостей принять. А то зайдешь в аудиторию — тоска. Если женщина слишком много зубрит, у нее нос становится красным. У мужиков — от вина, у баб — от книг.

Ну как не улыбнуться?

— И сама девушка хорошая, и из семьи хорошей. Знаете, кто ее отец? Директор вазовского автоцентра. Знаете, сколько он для института сделает? Мне на кафедре лабораторию никак не оборудовать.

Зазроев — доцент кафедры трансмиссий. Пока еще будет лаборатория, а уж свою «Ладу» он наверняка в этом центре чинит без очереди! Такие всегда и везде устраиваются без очереди.

— У нее бесспорная двойка. Тройку я и так натянул. Если хотите, переэкзаменовывайте ее сами по решению приемной комиссии, а я не буду.

— Ах ты, господи! Не могу же я принимать математику! Хорошая девочка, дорогой мой. Попался ей билет — не попался! Надо же смотреть шире. А то напринимаем неарийцев. Уж у этих всегда пятерки!

Все знают, что Зазроев антисемит. Есть и другие, но те тихие, а Зазроев не стесняется вслух.

— Анкеты меня не интересуют,— холодно сказал Гавриил Романович.— Кто как ответил, тот столько и получил. А если получают пятерки, то бесспорные. Вы ж их почти всех пускаете через плохой стол.

— Самозащита, дорогой мой, только самозащита. Они-то всегда только своих принимают. Думаете, вашего сына приняли бы? Они везде лезут, а мы только защищаемся.

Самое забавное, что всюду пролез как раз Зазроев: едва явился откуда-то с Кавказа, и уже имеется квартира. А сколько блокадников так и умрут в своих коммуналках?

— Мой сын уже учится.

— Тогда внука! Если все не уедут до тех пор, пусть ваш внук и не суется! Они не такие наивные, они не стесняются!

— Я ставлю оценки только за знания и переэкзаменовывать не буду!

— Ах, дорогой! Ну и хорошо, и не надо. Не правы вы, в принципе не правы, а все равно люблю я вас! За чистоту и наивность. Еще вспомните когда-то наш разговор, когда вас коснется.

Зазроев как бы слегка приобнял Гавриила Романовича и пошел из преподавательской, приговаривая под нос своим баритоном:

— Святой человек... Стоит одному пролезть...

Не поддался Гавриил Романович. Гордиться тут нечем: нужно быть совсем уж жалким холопом, чтобы поддаться такому наскоку. Скорее, стыдиться нужно, что не решился поставить честную двойку этой блатной девице.

Евреи всюду пролезли, видите ли. Да если считать, что пролазность — свойство именно евреев, то истинные евреи — члены партии. Вот уж кто везде пролазит! А для чего еще вступают в партию? Если еврей профессор, он всегда знает дело — как Рывкин хотя бы. Видел кто-нибудь тупого безграмотного профессора-еврея? А тупых партийных профессоров — сколько угодно. Очень типичная ситуация сложится, если Рывкина выживет Колонна: появится еще одна партийная профессорша на уровне легкой дебильности... Да-да, если существует корыстный еврейский дух, то именно в партии, так ее и именовать нужно: Коммунистическая Партия Еврейского Союза — КПЕС! Или говорят, евреи друг друга поддерживают, помогают своим. Партийные друг друга поддерживают — вот это факт! Парткомы везде, райкомы — опутали сетью всю страну, сетью — с самой мелкой ячеей, сквозь которую только мальку проскочить. Можно себе представить Зазроева беспартийным? Да никогда! Беспартийным он бы и сидел в своих диких горах, а чтобы приехать в Ленинград и сразу доцентом стать, квартиру получить, взятки брать свободно, сидя в приемной комиссии,— для этого обязательно надо иметь партийный билет в кармане. И он еще ходит, евреев вынюхивает! Ну, вор всегда первым кричит «держи вора!».

Как хорошо, что телепатии все-таки не существует на самом деле! А в «Гаврилиаду» про партию проходимцев писать не обязательно...

Не кровь и не гены определяют человека, и все-таки Гавриил Романович рад, что он — не еврей. Прежде всего, конечно, по своей слабохарактерности: при подозрительности окружающих, при зависти и недоброжелательности быть евреем у нас — значит быть бойцом. Что-то преодолевать постоянно. А Гавриил Романович не хотел бы непрерывно

бороться и преодолевать... Но все-таки: почему столько евреев с высшим образованием? Непропорционально населению. Вот коронный вопрос Зазроева и тысяч таких, как Зазроев. Что же — признать, что *они* умнее от природы? Не может Гавриил Романович этого признать! Так что же — все-таки *пролазят* лучше?

В подъезде у них живет еврей-слесарь — чинит замки и зонтики в мастерской. Никто никого не знает в их огромном доме-улье, а этого знают все. Ростом едва полтора метра. К тому же пьяница. (Кстати, будь националистом или нет, а ведь факт: пьяниц среди евреев — ну разве что один на тысячу попадется, а среди наших православных?..) С ним вечно истории. Последняя совсем на днях. В доме свадьба, подъехали молодожены на «Чайке» с кольцами, фотографируются у подъезда, и вдруг откуда-то слесарь наш, вклинился между молодыми — невесте едва по плечо,— сфотографировался, подмигнул жениху и спрашивает, так что весь двор слышит: «Нае...ся сегодня, да?» Жених в ответ ему в морду. Скандал, милиция... Теперь-то его уже и в милиции знают, а когда попал в первый раз, дежурный лейтенант спрашивает:

— Фамилия-имя-отчество?

— Хаймович Абрам Ципесович.

— Кем работаете?

— Слесарем.

— А если серьезно?

Ну ведь никуда не денешься: «еврей-слесарь» звучит анекдотом, все смеются. И Гавриил Романович смеялся.

Конечно, истинный галакт не должен замечать национальности человека, не существует для галакта такой параметр: национальность, но, наверное, Гавриил Романович еще не стал галактом по духу на все сто процентов. Когда-то до войны совсем мальчишкой он национальностей не замечал и был в этом смысле стопроцентным галактом, а во время блокады научился замечать — научили окружающие! — и только тогда он узнал, что в его классе учится несколько евреев.

Ватина как всегда твердит безапелляционно: «Ты меня извини, я не антисемитка, но я же всю блокаду здесь пробыла, и я не помню ни одной продавщицы в булочной — не-еврейки!» Вот этого Гаврик Гнездилов не заметил, хотя и научился к тому времени различать национальности: ходил же он сначала в разные булочные, потом только в свою, когда прикрепили, но кто там были продавщицы — не помнит. А Ватина помнит, хотя моложе на три года. Или сама помнит, или помнит разговоры вокруг. Разговоры все время были: каждый ведь смотрел, не ест ли сосед сытнее, и каждому в чужой руке кусок казался толще.

Про булочные — не факт, но уж про высшее образование — безусловный факт, а факты нужно принимать и объяснять — тем более математику. И Гавриил Романович решил для себя, что именно из-за подозрительности окружающих, из-за противодействия отделов кадров евреи вынуждены выкладываться, не могут позволить себе расслабляться — и потому поступают, потому так много среди них профессоров. И факт интерпретирован, и не стал он расистом! Но все-таки существуют или нет биологические отличия рас и наций? Кстати, вопрос чисто научный, и галакт, когда прибудет на Землю и осмотрится, должен его себе задать. Вот не пьют почти евреи — тоже из-за подозрительности окружающих? (На Украине в черте оседлости этот вопрос интересовал казаков давно, и Славка Снитковский рассказал со смехом, что там ходит поверье, будто естественная жажда присуща каждому человеческому существу, но хитрые евреи знают «волосатый овощ», который отбивает природную потребность. Кстати, сам Славка полуеврей, чем часто бравирует.) А почему негры так здорово бегают — биологическое у них преимущество или нет? И те же негры пользуются среди женщин еще и специфической славой, потому-то, когда у нас появились первые черные студенты, дамы и девицы так на них кидались. Признать умственное преимущество евреев обидно, конечно, ну а признать сексуальное преимущество негров — это как?

6

Гавриил Романович собирался с Ватиной на сентябрь в Адлер по путевкам. Использовать вторую половину отпуска.

Ватина складывала вещи, а Гавриил Романович смотрел «Время» по телевизору. Скучные внутренние новости он почти не воспринимал, ожидая международных. Там всегда сплошные демонстрации и забастовки, а во Флориде и негритянские бунты с погромами и поджогами. Другая жизнь. Гавриил Романович знал, что никогда у нас не будет демонстраций протеста, мы обречены на единодушие. Вот ожидалось что-то после смерти Брежнева — ну и что? Андропов взялся наконец наводить порядок — это правильно. Но начальственными методами — без демонстраций. В кино и магазинах больше не ловят, но пить на заводах стало опаснее — кое-чего добился, значит.

Ватина вечно повторяет: «Я лучше тебя знаю, что тебе надо!» Вот и партия во главе с очередным вождем: всегда все знает за Гавриила Романовича — что ему лучше. Потому с такой завистью смотрит он каждый день по телевизору на демонстрации и забастовки. Поджогов и погромов ему не хочется, но уж лучше даже такие бунты, чем вечная тишина. Да ведь его дом не подожгут, институт не подожгут. Поджигать в стихийном бунте могли бы райкомы или милиции — а это дело внутрипартийное, беспартийного Гавриила Романовича не касается. Нет-нет, он не хочет!!. А все-таки посмотреть бы одним глазом, как из Смольного вытряхивают. Да не будет этого никогда!

Накануне что-то передавали про корейский самолет. Летел-летел — и улетел куда-то в сторону моря. Звучало как-то подозрительно. Гавриил Романович попытался вчера же послушать радио, узнать правду, но слышно было плохо, ни одну станцию не поймал. И Антон пришел поздно — не слушал.

Но сегодня вдруг сказали — в двух фразах, как всегда говорят действительно важные новости: сбили, оказывается, самолет, сбили! Огромный пассажирский. Вчера хотели скрыть — и не удалось.

Часто врет наша пропаганда. Но тут уж слишком короткий промежуток между враньем и признанием — всего сутки. А потому предельно наглядно. Врут, всегда врут. До чего же лживая страна!

Жалко было и неведомых пассажиров — но не то что бы до боли. Умозрительно жалко. Сильнее было жалко себя. Значит, ничего не изменилось, как был бесчеловечный режим, так и остался. Все-таки Гавриил Романович надеялся на Андропова, но самолеты с тремястами пассажирами не сбивал и Брежнев. Какая уж свобода внутри, какие демонстрации, если уж не стесняются сбивать иностранные самолеты. А уж выйди здесь, в Ленинграде, или в Москве несколько тысяч на демонстрацию, как выходят каждый день то в Риме, то в Париже,— все тысячи и перестреляют из пулеметов. Не будет у нас свободы, никогда не будет! И через сто лет, наверное, не будет!

Себя было жалко, а не корейского самолета.

Ватине он ничего говорить не хотел. Он старается не разговаривать с нею о политике. Но она сама расслышала.

— Вредительство, наверное. Нарочно приказали сбить, чтобы нас опорочить.

Ватина до сих пор верит во вредительство. Сколько ей лет было в тридцать седьмом году? Пять? Да, что в детстве вдолбят а голову — то на всю жизнь. Замечательная вера: в шпионов и вредителей — все оправдывает и все объясняет. В бога Гавриил Романович не верит, но уж лучше даже в бога верить, чем во вредителей! Только вот почему в нем не засела с детства вера во вредителей? Он-то старше, он помнит пионерские сборы про бдительность! И верил он тогда — но сумел разувериться. А Ватина не сумела.

— Ну какое вредительство! Сами сбили, потому что шпиономания везде.

— Ну да, что же мы дураки — сами? Теперь весь мир будет против нас. Только вредители могли придумать. А они наш самолет собьют в отместку.

«Что же мы дураки — сами?» Логика! Но не правда. А правда в том, что мы сами себе худшие вредители.

— Наш самолет собьют в отместку. А мы завтра, между прочим, в Адлер летим!

Такой проекции на себя Гавриил Романович не предполагал. Он осмысливал происшедшее в связи с судьбами страны, а Ватина — с их собственными.

Все может быть. Тем более, последний отрезок лететь над международными водами, но в то, что завтра их собьют над Черным морем, Гавриил Романович не верил. А в то, что свободы не видеть, что расстреляет у нас милиция любую демонстрацию,— в это не то что верил, это — знал.

Ватина ходила по всей квартире — собиралась. Она все делает заранее, основательно. При ней Гавриил Романович не мог достать свою дерматиновую тетрадь: не объяснить будет, зачем пишет такое. Антон понял, а Ватина не поймет. И вообще — нужно ли сейчас писать? Не ужесточится ли режим в стране — после самолета? Андропов ведь из КГБ, и выходит — сейчас КГБ у власти.

Антон пришел поздно. Гавриил Романович уже шел в ванную перед сном — встретились в прихожей.

— Гробанули, значит,— сказал Антон.— Уже вчера ясно было. Надеялись концы спрятать. При нынешней-то технике! Идиоты полные. Теперь, само собой, дальше гонка вооружений. Недаром у нас на факультете слух, что половину выпуска под погоны. Будем догонять в электронике.

Вот и с другой стороны связь мирового — с семейным.

— И ты пойдешь?

— Пойду, если возьмут. У них хоть условия приличные — у военных. За границу, правда, не будут пускать с секретностью, так кто ее и так у нас видит? Нам нужно или уж совсем уезжать, или уж совсем оставаться. Или жениться на еврейке, или уж под погоны. Знаешь? «Жена-еврейка не роскошь, а средство передвижения».

Еще один аспект еврейской проблемы: евреи неожиданно оказались свободнее прочих граждан — и тут устроились!

— Неужели ты бы решился?! Там ведь тоже свои проблемы. По вечерам, говорят, выходить страшно. Преступность — обратная сторона свободы. У нас хоть мафии нет. И безработицы. Зарплата хоть мизерная, зато с гарантией.

Везде диалектика: не бывает, чтобы все плохо или все хорошо. И *у нас* не все плохо, и *у них* не все хорошо! Гавриил Романович и всегда так думал, а сейчас особенно нуждался в напоминании, что и *у них* — не все хорошо!

— Не бойся, скорей всего продамся под погоны. Но — мало ли... Год еще есть на размышления.

Гавриил Романович вошел в ванную. Постоял озадаченный. Никогда еще Антон не заговаривал про *жену как средство передвижения*. И вот — на ходу, как бы случайно. Разве можно такой важный разговор заводить на ходу?! А что если возьмет да уедет? Гавриил Романович препятствовать, разумеется, не станет, как некоторые идиоты-родители. А отговаривать — станет?

Сам бы он никогда не решился сменить страну. Действительно: мафия там и безработица. И вообще привык он. К языкам неспособен. Вот если бы повезло родиться англичанином или шведом — другое дело!..

Поколебавшись, он решил принять ванну перед отъездом. Если Антону тоже нужно в ванную — подождет, ничего. Открыл кран на полную мощность и стал не спеша раздеваться. Волосы на груди уже совсем седые. Он и раньше видел эту скрытую седину, но сейчас разглядел с особенной безжалостной отчетливостью: седые совсем! В сущности, жизнь-то кончается! А что он видел? Правда, и тягот особых не перенес после блокады. Получается, что самые страшные, но и самые великие его годы — с тринадцати до шестнадцати. А дальше нечего вспомнить. Ни хорошего, ни плохого. Скука. Или вернее — покорность. Вечная покорность. Единственное решение он принял, когда выбирал институт после школы. И то пошел по самой накатанной дорожке. Что разрешали — то и делал. Всегда за него знали, что для него лучше. Разве что в партию не вступил — при большой фантазии это можно считать пассивным протестом. И дождался — волосы седые. Видел в телевизоре мелькание совсем другой жизни, видел издали красивых женщин — а женился на Ватине. Так постепенно жизнь и вовсе сойдет на нет — незаметно. При нашей неподвижности ждать перемен нечего. Природе-то что — предназначение свое он исполнил, родил Антона — род человеческий продолжается, если только нужен природе этот опасный род.

А новый взгляд? Вселенская нравственность, к которой он пришел под старость? Большинство не приходит, а он пришел!

Интересно, в других мирах галакты ищут смысл жизни? И нашли ли смысл, неведомый нам здесь? Или самые поиски такого смысла кажутся им нелепыми?

С точки зрения галакта велика ли разница между жизнью советского гражданина и британского подданного? Больше комфорта — меньше комфорта, легче путешествовать — труднее путешествовать... Свобода на информацию — запреты на информацию, вот это существенно с самой что ни на есть вселенской точки зрения! Информация — главное условие не только достойной, но и просто разумной жизни. Лишая информации, нас, в сущности, исключают из числа разумных существ. Но все-таки и информация — средство, средство, чтобы постичь истинный смысл жизни. Так постигли ли галакты из других миров?!.

Все-таки нужно было дать помыться и Антону. А то Гавриил Романович совсем отключился, забыл про время. Уж не надеялся ли он, что прямо сейчас в ванной свершится чудо и откроется ему истинный смысл жизни?..

Антон, стоя на кухне перед холодильником, пил молоко прямо из пакета. Гавриил Романович вспомнил, как его несло после парного. Антон тоже не переварил бы благополучно. А из пакета — можно. Все они — заложники города.

— Ну чего ты так долго? — позвала из темноты Ватина.

Да, триста человек гробанулись — вернее, сознательно убиты,— а *они*, трое милых порядочных людей, вполне спокойны. Или так придавлен человек в этой стране, что неспособен к нормальному состраданию и нормальному возмущению? Система еще раз выказала свою подлость и жестокость — и что ж, честный Гавриил Романович испытывает смесь жалости к себе, оттого что придавлен ею, и тайного удовлетворения: ведь *он* и раньше знал, что система подла и жестока, а удостовериться в своей правоте всегда приятно.

Но уже засыпая, он успел напомнить себе — диалектически,— что помимо мафии и безработицы *там у них* еще и эпидемия наркомании. Как же он забыл про наркоманию?..

Утром перед отлетом Ватина еще пошла в магазин, а Гавриил Романович все-таки не удержался, достал торопливо «Гаврилиаду». Перемены, которые грозили наступить после убийства пассажиров самолета, с утра не казались относящимися к нему лично. Потому что волновали его сейчас мысли не о строе, не о партии. Совершенно абстрактные мысли, никакое КГБ не придерется.

* * *

смысл человеческой жизни в самой жизни в ощущениях что бы ни утверждали моралисты светские и религиозные.

но люди разных духовных уровней удовлетворяются разными ощущениями

кому простые удовольствия еды и секса

кому удовольствия эстетические музыки и живописи

кому удовольствие познания законов природы

кому удовольствия нравственные самопожертвования философии религиозных экстазов

но всегда это раздражение через нервы центров удовольствия поэтому любое самое возвышенное переживание можно свести к эгоизму ну пусть к разумному эгоизму

люди слишком утонченные отсюда делают вывод что жизнь бессмысленна

что нет никакой принципиальной разницы получать ли удовольствие от скотского пьянства или от величайшего самопожертвования

точно так же они не делают разницы между уровнями познания

дескать дикарь умел высекать кремнем искру

мы расщепляем атом

а космические пришельцы научились управлять гравитацией

все эти явления тоже одного порядка они дают удовлетворение от сознания своего могущества и доставляют комфорт

то есть опять-таки доставляют удовольствие путем раздражения нервов

я не согласен в принципе

утверждение что нет разницы между удовольствием алкоголика и удовольствием ньютона открывающего закон тяготения

что нет разницы между могуществом дикаря разжигающего костер и могуществом повелителя галактик сжимающего или разводящего миры

утверждение такое кажется мне пошлостью

но вопрос сейчас не в этом

вопрос в том доступно ли галактам с других миров что-то принципиально совсем другое

что-то несводимое пусть к самому высокому но удовольствию

пусть к самому разумному но эгоизму

если да если доступно

если они вырвались из замкнутого круга разумного эгоизма

то они открыли для себя истинный смысл жизни

* * *

Ватина вернулась вся взмокшая.

— Везде очереди, а приходится по жаре бегать!.. Ну, ты готов?.. Нет, только подумать: ведь я же тебе приготовила надеть синие, а он напялил эти свои салатные, словно с грядки! Я же знаю, какие нужно в самолет! Вдруг там испачкаешь?

Чем можно испачкаться в самолете? Просто Ватина так и не примирилась с брюками, купленными против ее совета.

Зато приземленные брючные страсти отвлекли Ватину от вчерашних страхов: как бы не сбили их самолет в отместку за корейский.

А Гавриил Романович по пути в аэропорт думал о предстоящем полете с легкой опаской, как ни странно. Шанс упасть — один из тысячи,— но ведь и пассажиры того «боинга» сочли бы за параноидный бред, если бы им перед полетом предрекли гибель от советской ракеты...

И только когда приехали, когда узнали, что рейс откладывается на час, когда пошелестел слух в очереди на регистрацию, что срочно сажают каких-то иностранцев, а потому часть билетов перерегистрируют на более поздний рейс — тогда осталось только одно опасение: что не попадут в самолет. Не до страхов перед катастрофами сделалось.

7

В первый же день, как вернулся из отпуска, Гавриил Романович прочитал маленькое объявление на дверях библиотеки о том, что состоится встреча с писателем-фантастом Александром Верником. Так и было написано: «с писателем-фантастом», и в таком уточнении было что-то унижающее Верника — ведь если бы объявлялась встреча со Стругацкими, никаких представлений не потребовалось бы. Верник и в самом деле не Стругацкий, но одну его книжку Гавриил Романович читал. Не то что бы очень понравилось, но, во всяком случае, дочитал до конца. Потому он решил пойти послушать Верника.

Однажды он уже был на подобной встрече. Собралось всего человек десять, вышла женщина неопределенного возраста, стала говорить какие-то общие слова о правде в искусстве — Гавриил Романович уже жалел, что пришел. Разговор каким-то образом зашел о блокаде — но что нового о блокаде можно рассказать ему, все испытавшему, таскавшему санки с водой от Невы, когда приходилось от проруби подниматься по наледи, в которую вмерзли трупы?! Да еще так *удачно* бывало, что труп торчал как спасительная ступенька, без которой не выбраться из ледяной воронки,— и он наступал на *ступеньку*. Но писательница прочитала отрывок о том, как ее героиня работала во время блокады в известном ателье, называвшемся среди ленинградцев «Смерть мужьям», и шили в нем не телогрейки, а роскошные женские туалеты, такие же, как до войны,— шили не только для местных заказчиц из Смольного, но и отправляли самолетами в Москву![1]

Когда чтение закончилось, наступило особенное молчание. Всем было тягостно. И страшно обсуждать вслух, *чьи* жены вывозили бальные платья самолетами из умирающего Ленинграда... Библиотекарша Ольга Ивановна первой пришла в себя и сказала поспешно:

— Встреча закончена, поблагодарим нашу гостью.

Все с облегчением зааплодировали.

Гавриил Романович подошел к писательнице. И еще двое-трое.

— Скажите, а этот случай... это ателье... там действительно?..

— Разве можно такие вещи выдумывать? Про блокаду вообще нельзя ничего выдумывать, это даже кощунственно. Я сама работала, как моя героиня. Да просто я написала про себя, можно было и имени не менять.

Сам же Гавриил Романович в апреле сорок второго по счастливому случаю пообедал в закрытой столовой, где на столах в вазочках лежали пирожные,— и все-таки ему понадобилось сделать некоторое усилие над собой, чтобы поверить. Но он сделал — и поверил! И навсегда запомнил ту встречу. А ведь пришло-то всего несколько человек — не знаем мы, где можно услышать настоящее!

На Верника собралось даже гораздо больше. Преобладали преподаватели, несколько студентов расположились в последних рядах. Со своей кафедры Гавриил Романович не встретил никого. Спрашивал он Нинушу, не пойдет ли она, но нет — она же читает только такую фантастику, которая выдает себя за чистую правду.

Верник оказался на вид примерно ровесником Гавриила Романовича. Тоже не Бельмондо, но все измерения процентов на двадцать пять превышают таковые же у Гавриила Романовича — и по вышине, и по толщине. А одет почти неряшливо: костюм хотелось отдать в чистку и утюжку, грубый свитер под пиджаком свисал как мешок. За Верником семенила библиотекарша Ольга Ивановна, как шлюпка за угольной баржей, но Верник не стал дожидаться ее вступительных слов, как-то очень основательно уселся и заговорил без малейшей паузы:

— Вы, конечно, спросите, как я дошел до жизни такой, что стал писать романы, да еще фантастические...

Чувствовалось, что вступление у него давно обкатано...

Гавриила Романовича эта эпидемическая фраза «Как дошел до жизни такой» раздражает точно так же, как «информация к размышлению», как рецепт пирога, который необходимо «взять на вооружение», или вот еще «вопрос на засыпку». Он нарочно поинтересовался: оказалось, «Как дошла ты до жизни такой?» — вопрошает Некрасов падшую женщину — знали бы любители красивого слога, с кем себя невольно сближают! Знал бы Верник!

Раздосадованный Гавриил Романович не очень прислушивался к биографии Верника, но, впрочем, уловил, что тот по образованию биолог, но еще в детстве сидел под столом и слушал, как папа читает вслух Жюль Верна. Сообщив с излишними подробностями свою биографию, Верник принялся энергично читать рассказ.

И рассказ Гавриилу Романовичу с первых же слов не понравился, потому что действие в нем происходило в Америке.

Гавриил Романович всегда старался не питать излишних иллюзий относительно Америки, с удовлетворением убеждался в существовании там подлинных, а не раздутых нашими продажными пропагандистами проблем — без культивирования в себе такого трезвого взгляда на Америку жить было бы совсем уж невыносимо. Но об Америке должны писать американцы. Они это и делают, и очень критично делают! Гавриил Романович любит читать американских писателей, но никогда не стал бы терять времени, если бы Стейнбек или Сэлинджер написали роман о наших лагерях. И если бы Солженицын написал об убийстве Кеннеди — тоже. (Помимо изданного «Ивана Денисовича» Гавриил Романович читал «Раковый корпус» и «В круге первом»; а вот «ГУЛАГ» мог достать, но побоялся: источник показался не очень надежным.)

[1] Такой эпизод сохранился в черновом варианте книги покойной ленинградской писательницы Нивы Петролли.

Рассказ был об американском военном летчике, в пальцы которого вживляют маленькие глаза, чтобы зрячие пальцы могли мгновенно реагировать на ситуацию — быстрее, чем сигнал дойдет от глаз по длинной рефлекторной дуге. Боевая ценность летчика, в результате, неимоверно возросла.

Очень скоро Гавриилу Романовичу сделалось ясно, что летчик не вынесет такого надругательства над собой,— и точно: сначала взбунтовалась его любимая, которой отвратительны стали зрячие пальцы,— кстати, фантазию на тему об интимных ласках глазастых пальцев можно было бы и развить, но Верник для этого слишком советский писатель; а скоро и сам летчик возненавидел свои руки, ставшие как бы независимыми,— и отрубил их с помощью специальной машины для разделки мясных туш: Верник предусмотрительно поместил рядом с авиабазой бойню...

Мерзостное осталось ощущение.

Раздались два-три хлопка, и Ольга Ивановна пригласила задавать гостю вопросы.

Сначала вопросы следовали вежливо-скучные, и вдруг один из немногих студентов спросил из заднего ряда:

— А зачем у вас действие происходит в Штатах? Вы долго там жили?

Гавриил Романович был доволен, что такой вопрос задан. Сам он спрашивать не собирался, он не умеет задавать неприятные вопросы в лоб — но хорошо что нашелся человек, воспитанный иначе.

Ольга Ивановна сразу встала.

— А кто спросил? Зачем вы прячетесь за спинами? Покажитесь, кто спросил!

— Ну я спросил, а что?

Поднялся патлатый парень с сонно-презрительным лицом и сразу же прислонился к стенке, словно ему трудно было держать вертикально свой слишком длинный позвоночник. Гавриил Романович испытывал точно такое же чувство, как недавно в метро: нужные слова сказаны, но тот, кто эти слова произнес, вызывал у него резкую антипатию.

— Нужно поучиться сначала разговаривать, вот что! — Ольга Ивановна повернулась к Вернику.— Не отвечайте, пожалуйста, Александр Борисович! Я извиняюсь от имени присутствующих. Такой недопустимый тон!

Но Верник наигрвнно-благодушно махнул рукой:

— Ну что вы, я отвечу. Запрещенных вопросов нет, на то я сюда и пришел. С удовольствием отвечу... Видите ли, молодой человек, я бы, разумеется, не решился писать реалистический рассказ из американской жизни, показывать ее изнутри, как мы говорим. Но фантастика дает особые права. Когда-то было выражение — «поэтическая вольность». Давно уже его не слышно, видно, современным поэтвм вольности не нужны.— Рассчитанная пауза для смеха аудитории.— А я считаю, что существуют еще и «фантастические вольности». Мы аедь запросто переносим действие и на Марс, а это еще гораздо дальше, чем Америка.

Софистика! Потому что нет никакого общего Марса: у наших получается советский Марс, у американцев — американский Марс.

То ли неприятный студент прочитал мысли Гавриила Романовича, то ли мыслили они параллельно, но он не успокоился:

— Бредбери пишет про Марс, но у него социвльное предупреждение — прежде всего для западного мира. А у Алексея Толстого — революционная романтика двадцатых годов. Совсем по-разному. А про нашу жизнь Бредбери не пишет.

Ольга Ивановна замахала руками:

— Александр Борисович уже исчерпывающе вам ответил, достаточно. Не всем интересно вас слушать, у других товарищей тоже есть вопросы.

И точно, поспешно встала пожилая женщина из породы энтузиасток. Она не то заведует секцией кактусов в институте, не то аквариумными рыбками.

— Как вы, Александр Борисович, как фантаст представляете будущее экологии? Ведь даже заповедники скудеют! Вы сами знаете как писатель!

Верник закивал головой, как бы подхватывая ее слова:

— Да-да, и заповедники уже не заповедуют! Я прекрасно понимаю вашу тревогу. Все мыслящие люди в тревоге. Люди задумались. Но когда человек задумывается впервые, особенно неспециалист, он склонен свою мысль преувеличивать, абсолютизировать. Профессионал не впадает в крайности, в крайности впадают дилетанты. Например, сколько разговоров о джунглях Амазонки: это легкие планеты, нельзя их вырубать! Особенно кричат американцы, между прочим. Но, товарищи, леса эти принадлежат Бразилии, развивающейся стране, освобождающейся от диктата империалистов,— у нее свои проблемы, быстро растет население: нужны земли, нужно сырье, нужна валюта. Словом, не нужно впадать в панику! Положение серьезное, но я оптимист.

До чего же Гавриил Романович сейчас ненавидел этого самодовольного неопрятного типа! Все в нем ненвидел. Писатель! Наняли тебя облаивать империалистов, ты и стараешься. Был бы Зазроеа, сейчас бы шепнул: «И тут еврей пролез!» Конечно, национальность не имеет значения, но все-таки различил Гавриил Романович и национальность, вообразил шепот Зазроева... Бразильцы вырубят джунгли, оставят планету без кислорода — им можно, раз они «освобождаются от империалистов»! Размножаются как кролики — поэтому нужно расчищать место для своих крольчатников! Так лучше не размножайтесь!..

Но бесполезно затевать спор: всегда последнее слово остается за тем, кто отвечает на вопросы, а не за теми, кто их задает. Это нужно назвать *эффектом кафедры:* кто вещает с возвышения, кто захватил трибуну — тот и прав, тот и самый умный в зале. Католики провозгласили на этот случай специальный догмат: папа, когда *говорит с кафедры,* непогрешим. Обычно забывают эту оговорку, но все дело именно в кафедре — папа без кафедры немногого стоит.

Впереди по коридору шел тот самый патлатый студент, который задавал Вернику неприятные вопросы. И походка у него была именно такая, какой должна была быть: расслабленная, выражающая презрение к окружающему, ко всему миру — за исключением таких же плюющих на все юнцов! Если и не наркоман, то завтра станет наркоманом, потому что у таких нет нравственных запретов, нет духовного иммунитета к пороку.

Верник и этот хиппи — взгляды у них противоположные, а неприятны оба одинаково. Выходит, не только в единомыслии или разномыслии дело? Выходит, важнее просто личность? И если возможен отвратительный единомышленник, возможен и приятный оппонент?

* * *

удивительно для всякого галакта ханжество связанное на нашей земле с производством потомства

почему предназначенные для этого органы считаются неприличными почему их надо прятать почему названия их суть грязные ругательства

должно быть наоборот эти органы должны казаться самыми прекрасными но прекрасными нам кажутся только органы размножения у растений

кстати когда дарят женщинам цветы не есть ли это сложная метафора явный намек на их скрытые прелести

наверное подобия земной стыдливости нет больше во всей вселенной

когда галактический путешественник вернется к себе и расскажет ему просто не поверят

говорят в африке было племя которое считало неприличным есть на людях для принятия пищи эти дикари уединялись так же как мы уединяемся в уборной

нам смешно но по сути этот обычай ничуть не нелепее наших

но въелось это настолько что сказать давайте отбросим стыд сейчас глупо и невозможно

теоретически я понимаю нелепость нашей стыдливости но сам я не останусь голым на пляже

и видеть других голыми тоже не хотел бы за исключением милых стройных молодых девушек

а совокупляющимися не хотел бы видеть и девушек

видимо галакту нужно понимать значение местных предрассудков

понимать что этикет может оказываться превыше разума

я сам понимаю нелепость стыдливости но сам до крайности стыдлив

точно так же теоретически я понимаю что люди должны постоянно расходиться во мнениях

что стопроцентное единогласие противоестественно

но именно у нас единогласие сделалось нерушимой традицией

верховный совет установил непобиваемый рекорд монолитного единства без малейшей трещины

так что нарушить единогласие у нас так же невозможно как публично раздеться при людях

в других странах голосование против есть проявление нормального спора

у нас голосование против выглядело бы разрушением ритуала

потому что у нас депутаты не обсуждают буднично дела но снова и снова приносят клятву на верность нашему строю

разница такая же как между цветами и человеческими гениталиями

то и то органы размножения но из разных царств растительного и животного

между социализмом и капитализмом разница такая же как между флорой и фауной

и окажись я в верховном совете понимая всю неестественность единогласия я бы голосовал со всеми

потому что советский этикет другого поведения не допускает потому что голосование против такое же неприличие как появление в кремлевском дворце голого челоаека

* * *

Да, хотел взглянуть на проблему приличий и предрассудков свободным галактическим взглядом — а оказался нечаянно в Верховном Совете. Никак не ожидал Гавриил Романович такого перехода. Можно сказать, нырнул в море у сочинского пляжа — а вынырнул во Дворце съездов.

Но переход изящный. Ведь мыслил вполне свободно — и с позиций полного свободомыслия сумел оправдать несвободу системы. Искренне оправдать, что самое ценное.

У них демократия и нудисты на пляжах. *У нас* ни демократии, ни нудистов. Нудно так жить, зато надежно.

И кстати, если вспомнить вопрос дамы-кактусоводки, все-таки природу у нас губят меньше, чем на Западе. Их интенсивная система заставляет работать изо всех сил, извлекать сверхприбыль — ни с чем не считаясь. А у нас работают плохо, расслабленно — зато нашей природе легче. В Нью-Йорке и Токио люди падают в обмороки на загазованных улицах, а в Ленинграде воздух приличный; Эри и Онтарио мертвы, а в Ладожском озере самая вкусная вода в мире!

Вот если уедет Антон — машину-то иметь будет, а невской воды где попьет?..

8

Иногда так хочется чем-нибудь заболеть! Только для того, чтобы нарушился неизбежный ход вещей: *не-ехать* утром в институт, *не-читать* лекций и *не-проводить* семинаров, *не-заходить* на обратном пути в магазины... Зато *да-лежать*, никуда не торопясь и не имея никаких обязанностей, *да-читать*, хоть новые журналы, хоть недочитанных десяти- и двадцатитомных классиков... Отпуск — уже не то, в отпуске возникают свои обязанности: куда-то ехать, на что-то смотреть. Блаженные воспоминания остались от болезней детства. Тяжелы бывали только первый день или два, зато потом наступало какое-то нереальное состояние — лежишь днем при полном свете на особенно чистых простынях, разглядываешь комнату, и с кровати комната кажется немного незнакомой; и еду мама ставит на стул около кровати особенную — *легкая пища* называется.

Вот и сейчас он непрочь был подхватить какой-нибудь порхающий вирус.

Но совершенно неожиданно Гавриил Романович не простудился, а сломал руку. Можно было заподозрить его подсознание, что оно нарочно подтолкнуло его, но нет: он мечтал о безмятежной простуде, а гипсовый желоб, в который упаковали его руку, доставлял столько неудобств, что ни малейшего удовольствия от боления таким способом Гавриил Романович не испытывал. Да и в самих обстоятельствах, при которых он упал, нельзя не усмотреть ехидства судьбы.

Он очень любит бананы, и вот, выходя из метро у себя на «Приморской», он увидел в ларьке бананы, но, разумеется, с приличествующей такому заманчивому фрукту очередью. Когда-то он был молод и имел пылкие страсти, так что способен был выстоять час за бананами, но с годами кровь поостыла, желания уже не те, и томиться в очереди целый час он больше не способен. Гавриил Романович прошел мимо, слегка сожалея об утихнувших страстях, и так задумался, что поскользнулся на банановой кожуре — кто-то поторопился съесть перезрелый банан, ну а культура... Что говорить о культуре, особенно в новых спальных районах. Хорошо хоть, сломал левую руку — и писать мог, и держать ложку.

Первую неделю после перелома Гавриил Романович не ходил в институт. И почти не спал, не зная, куда девать ставшую как бы чужой руку. Рядом спала Ватина. Она не храпела, а как-то хлюпала горлом, как помпа, качающая воду из подвала... И есть же счастливцы, чьи жены так и остаются прекрасными возлюбленными?

За стеной слышно, как часов до двух возится Антон. Если не до трех. Он имеет обыкновение заниматься по ночам и курит, курит... В кого он пошел? В любой педагогической прописи утверждается, что вредные привычки приобретаются в семье, но ни Гавриил Романович никогда не курил, ни Ватина. Ведь стопроцентно доказан вред курения — и тем самым еще для юного Гаврика вопрос был исчерпан. Всегда хотелось надеяться: дети будут умнее нас, дети будут счастливее нас. Идеология двух последних поколений: жертвовать собой ради будущего, ради детей. Гавриил Романович смотрел на курящего Антона и сомневался: смогут ли дети стать умней и счастливее?

* * *

удивительно людское почтение к вредным и даже диким обычаям

опасно неудержимое размножение но даже у голодающих народов в обычае иметь по десять детей

обычаи курить и принимать алкоголь такие же нерушимые и почитаемые и миллионы считают что раз им нравится значит пить и курить их священное право

но тогда можно оправдать воров и убийц так как им нравится воровать и убивать и это тоже древний обычай

кстати курение и алкоголь убивают гораздо больше чем все убийцы вместе взятые

а уж обычай разноязычия убил стольких что никогда не сосчитать

с точки зрения галакта абсолютно безразлично какое из существующих наречий станет единым языком землян важно чтобы кончился многоязычный хаос

единый язык это девять десятых пути к слиянию в единый народ и прекращению национальной розни

прямая связь существует между языковой рознью и бесконтрольной рождаемостью убивающей природу и саму землю

пока существует языковая рознь сокращение рождаемости может происходить только по тем же принципам что и разоружение то есть на основах взаимности

потому что рождаемость важнейшее оружие каждого народа в борьбе за выживание и если рождаемость сократится неравномерно это приведет к вытеснению одних народов другими

если бы не жесткая крепостная система прописки в москве и ленинграде образовались бы целые районы узбеков или армян

как в лондоне индийские и негритянские кварталы

точно так же заселялась бы пустующая среднерусская равнина

но мирно бы такое заселение не произошло

на взгляд галакта безразлично кто будет заселять наше многострадальное нечерноземье

может быть какой-нибудь галакт-эксперт по земным делам даже сказал бы что заселение узбеками или армянами предпочтительнее так как это представители более древних культур

достаточно сравнить загаженные наши церкви и бережно хранимые армянские даже те в которых нет службы

но глупо требовать от местного валдайского населения галактической беспристрастности

да и мне честно говоря было бы грустно если бы вместо старого валдая образовалась бы новая армения

хотя армению настоящую я очень уважаю

значит я еще не до конца галакт но нужно стараться воспитывать себя

но и настоящий галакт должен считаться с местными предрассудками даже понимая их нелепость

* * *

Через неделю после перелома Гавриил Романович стал снова ходить в институт, бережно нося упакованную в гипсовый желоб руку. Официально он числился на бюллетене, а потому ездил позже, когда в метро нет давки.

На кафедре он застал некоторое смятение: ждали приезда американцев! Ректор назначил кафедру математики в число трех или четырех *встречных кафедр* («Это в нем еще не перебродили до конца *встречные планы*»,— объяснил Славка Снитковский). На всех *встречных кафедрах* срочно навели косметику, так что преподавательская поразила ничего не ведавшего Гавриила Романовича нежно-розовыми стенами вместо прежних тускло-зеленых. «Цвета губной помады для блондинок»,— объявила Нинуша.

Срочно утрясались кандидатуры студентов, которым можно доверить выступления на семинарах — если американцы удостоят семинары своим присутствием: во-первых, чтобы хорошо смотрелись, во-вторых, чтобы отличники, в-третьих, чтобы общественники, потому что вдруг американцы захотят с ними побеседовать?!

— А как американцы оценят их отличные ответы? Ведь не понимают же они по-русски,— усомнился Гавриил Романович в качестве свежего человека.

Колонна ответила классически:

— Пусть пишут на доске побольше формул!

Гавриил Романович раздумывал, как ему одеться для американцев, учитывая руку в гипсе, но вдруг на этот счет вышла неожиданная резолюция профессора Рывкина:

— Вам, дорогой Гавриил Романович, лучше не показываться гостям. Как-то выйдет неживописно: сломанная рука. Еще подумают что-нибудь не то. Что у нас не хватает здоровых преподавателей или что не дают больничных при травматизме. Ну а главный момент эстетический: как-то неживописно.

— И вообще, пусть думают, что у нас не ломаются руки,— сказал Славка.— Что советские кости — самые прочные в мире.

— Ах, все готовы вышутить в наше время,— поморщился Рывкин.— Никто не говорит про советские кости. Но вдруг у них вместо гипса давно уже что-нибудь другое? А мы все еще как при Пирогове.

Гавриил Романович вовремя удалился в библиотеку: по причине тесноты и аварийности перекрытий библиотека не была включена в маршрут. А поскольку библиотека — такое место, куда гости могут и сами напроситься, на дверях предусмотрительно повесили табличку: «Санитарный день». Специально изготовили новую — и на двух языках, что самое забавное.

Гавриил Романович спокойно сидел в библиотеке, когда явилась запыхавшаяся Нинуша:

— Срочно вас к гостям, Гавриил Романович!

— Для чего? Я же неживописный!

— У американцев одна в кресле на колесиках: со сломанным бедром. Так чтобы видели, что и у нас энтузиасты науки.

Американцы сидели в кабинете у Рывкина. Тут же и почти вся кафедра. Но первое впечатление было, что наши преподаватели принимают американских студентов. Сидели все вперемешку, и только американка со сломанным бедром поместилась в своем инвалидном кресле в стороне, около огромного кабинетного окна. Она даже слегка покатывалась туда-сюда и вид имела крайне довольный, а мелкие кудряшки, хотя и совершенно седые, делали ее похожей на девочку, и довольно-таки капризную девочку.

— А, вот и наш коллега мистер Гнездилов,— прервал сам себя профессор Рывкин.— Он задержался, потому что... потому что у него была перевязка для его сломанной руки. Я ведь не ошибаюсь, коллега Гнездилов?

Что оставалось делать Гавриилу Романовичу? Он кивнул.

— Как видите, коллега Гнездилов такой энтузиаст своей науки, что даже фрактура руки не может удержать его дома. И у вас, и у нас, как видите, нет недостатка в бескорыстных энтузиастах науки.

Все засмеялись как хорошей шутке.

— Это подает надежду мне, что мы поймем друг друга. Тем более, что национальной математики не существует, как и классовой математики. Мы говорим на общем языке формул и в НАТО, и в Варшавском договоре, наш язык более универсален, чем эсперанто.

Все опять засмеялись, а американцы еще и закивали головами. Наши головами не кивали: конечно, все здесь согласны, что классовой математики не существует, но нужно ли это особо подчеркивать?

Произносил Рывкин свой спич по-русски, но на каком-то странном русском: почти что с акцентом, и обороты какие-то ломаные, и иностранные слова не к месту: «фрактура» почему-то, а не «перелом». Удивила и некоторая игривость речи Рывкина, вообще-то ему совершенно не свойственная, как и обращение «коллега Гнездилов», отчего и самая речь, и вообще встреча показались Гавриилу Романовичу не совсем настоящими, что ли. Вообще лучше деловито сотрудничать без лишних слов, чем витийствовать о пользе сотрудничества.

Гавриил Романович еще осматривался, куда присесть, как дверь распахнулась и Нинуша вкатила столик с кофе и крошечными пирожными, какие, конечно, не продаются в институтском буфете.

— О-о,— стали восклицать американцы,— какой изящный прием! Вы всегда едите птифуры, да?

Все снова засмеялись.

— Мы еще не догнали Запад по голодным диетам,— не растерялся Рывкин,— но стремимся. Тут наша вечная продовольственная проблема: мы слишком много едим.

Опять всеобщий смех. Сколько можно смеяться?

Нинуша расставила чашечки на столе для кафедральных заседаний, а последние вместе с двумя пирожными подкатила к инвалидному креслу. Беседа разбилась на диалоги. Гавриил Романович сообразил, что развлекать пожилую леди в инвалидном кресле предназначено ему. Он подтащил к креслу свободный стул, на ходу составляя вступительную фразу и невольно впадая в тот же игривый тон, который только что раздражал его в речи Рывкина: «Хорошо, что мы математики, а не физики-экспериментаторы, не правда ли? А то представляете, как бы мы с вами выглядели со своими гипсами где-нибудь около синхрофазотрона?» Что-нибудь в этом роде. Но вовремя сообразил, что его разговорный английский слишком беден для такой фразы,— и потому заговорил со спартанской серьезностью и краткостью:

— Какой проблемой вы занимаетесь?

— Ах, проблемы,— беспечно махнула рукой леди.— В жизни одни проблемы...

Дальше Гавриил Романович не улавливал дословно, но общий смысл был тот, что когда-то леди и сама пыталась разрешать проблемы, но теперь от этого устала, теперь она на каком-то контракте, поэтому сама не исследует, а только передает студентам то, что уже открыли до нее, а проблемы пусть мучают молодых, проблемы аккумуляторов хватит на целое поколение...

Тут-то он наконец сообразил, что американцы вовсе не математики, и зря Рывкин вольнодумно напоминал про общность функций Пуанкаре по обе стороны «железного занавеса»! Будь они математиками, их повезли бы на матмех... Впрочем, какая разница? Выпили кофе, поулыбались — и все прекрасно.

Гавриил Романович составлял в уме следующую фразу — теперь уже светскую, о красотах Ленинграда. А в кабинете закурили. Пожилая леди недовольно обмахивалась — она явно не одобряла табачного дыма, да и вслух сказала что-то в том смысле, что неприлично делать посторонних людей пассивными курильщиками, заложниками раковой угрозы. Тут-то Гавриил Романович расхрабрился: он же свободный человек, так почему бы ему не вывезти леди из дымного кабинета, почему не поговорить с нею на чистом воздухе, вне надзора Рывкина и Колонны? И он спешно пересоставил следующую фразу: «А хорошо бы нам отсюда выйти и поговорить на свежем воздухе». «Выйти» — неуместный глагол для леди на колесиках, и тут как раз кстати вспомнилось слово slip — «ускользнуть». Но не успел он закончить фразу, как пожилая леди расхохоталась на весь

кабинет, да еще так, как хохочут только пожилые леди: с подвизгиваниями, с дребезжанием, так что казалось, вот-вот что-то треснет у нее внутри. Все замолкли и обратились на нее.

— Что случилось, мисс Клейтон? — заранее улыбаясь, спросил американец, сидевший рядом с Рывкиным.— По-видимому, наш русский коллега необыкновенно удачно сострил?

Она, оказывается, мисс.

— Коллега сказал, что хорошо бы нам с ним переспать вместе! При моей ноге и его руке! Я не надеялась, что русские наделены таким прекрасным юмором!

Тут уж захохотали все.

Вот в чем дело: sleep («слиип») и slip («слип»). Конечно же, Гавриил Романович не силен в произношении.

Он самым пеленым образом покраснел, а пожилая мисс продолжала дорисовывать картину:

— С моей ногой! И с его рукой! Надо продать идею продюсеру из порнобизнеса: любовь загипсованных. Такого фильма еще не было!

За каждой фразой возникала новая волна хохота, а мисс взвизгивала громче всех.

Надо было что-то сказать, объяснить!

Но, уловив паузу между взрывами смеха, встал проректор по науке — оказывается, и он сюда затесался:

— Леди и джентльмены, математики оказались очень гостеприимными и остроумными,— кивок в сторону Гавриила Романовича,— они развеяли миф, будто математика сушит. Но время, леди и джентльмены, время! Нас ждут на кафедре трансмиссий. Потому позвольте поблагодарить профессора Рывкина и его коллег.

Американцы, все еще смеясь, стали подниматься. Когда они встали, еще больше поразила их моложавость — почти сплошь студенты и аспиранты на вид. Мисс Клейтон выкатили первой. В дверях она повернулась и послала Гавриилу Романовичу воздушный поцелуй. О, господи!..

Едва вышел последний американец, все обступили Гавриила Романовича. Колонна почти навалилась на него и теперь уже хохотала от души, так что волны жира перекатывались под обтягивающим платьем.

— Ой, Гавриил Романович, не ожидала от вас такого! Действительно — картина. Но и если ждать, пока гипс снимут,— слишком долгий тайм-аут получается!

Зато профессор Рывкин улыбался кисло:

— С чего это вам вздумалось так рискованно шутить, Гавриил Романович? — Уже не «коллега Гнездилов».— Не знал за вами таких склонностей. Что о нас подумают?

— Что вы, Иосиф Абрамович, очень хорошо! — все еще сотрясалась Колонна.— Раньше бы — конечно, раньше бы за такие шуточки!.. А сейчас — очень хорошо! Пусть знают, что мы здесь живые люди, а то изображают коммунистов какими-то идейными мумиями!

Наконец Гавриил Романович смог объясниться:

— Она просто не поняла — эта мисс. Я имел в виду «слип» — короткое «и», а она поняла как длинное.

— «Не поняла». Не хотела понять! В ее-то годы, в все еще мисс. Тут что угодно поймешь в длинном смысле. Она и поняла, что будете долго спать. Или еще хуже вообразила — с длинным-то.

Когда Колонна дорвется до сальностей, ее не остановить. А Рывкин, наоборот, не любит постельных тем.

— Что у нас в группах делается, Нина Евгеньевна?

— Встречная группа, которую для американцев составили, сидит ждет,— отрапортовала Нинуша.— А остальных отпустили, потому что преподаватели все здесь.

— Часов не хватает, в программу не укладываемся, а время транжирится,— ворчал Рывкин.— Что же, и товарищей преподавателей теперь отпускать вслед? На волю, в пампасы?

Никто не обратил внимания на профессорский сарказм — разбежались как школьники.

— Вот и от американцев польза! — засмеялся кто-то.

Славка Спитковский остановился в коридоре вместе с Гавриилом Романовичем.

— Жалко, увезли их быстро! Познакомиться бы, может, кто-нибудь приглашение прислал бы. Сейчас пускают иногда по приглашениям. Вот эта мисс тебя бы пригласила!

— К этой мисс меня бы точно не выпустили: решили бы, что хочу фиктивно жениться и остаться там. Тем более, после этой моей якобы шутки.

— Да уж, шутку тебе впишут в досье. Будешь числиться сексуальным маньяком. С мужиком бы познакомиться. Рядом со мной сидел парень — доктор в двадцать пять лет. Чего ему стоит — пригласить?

— Ты как невеста: ждешь, кто бы замуж взял.

— А что делать? Хоть бы так съездить. Моя еврейская родня до противности созна-

тельная: никто не уехал до сих пор, половина вообще — члены партии. Знаешь анекдот: два еврея плывут на встречных пароходах — и оба вот так пальцами крутят!

Славка покрутил пальцем у виска.

Он всегда рассказывает еврейские анекдоты словно с каким-то вызовом, а Гавриил Романович при Славке ответить таким же анекдотом не решается: вдруг тот обидится, хоть и пытается бравировать?

Подошла Нинуша.

— И как эту старуху со сломанной ногой медкомиссия пропустила?! У нас бы ни за что не выпустили за границу в таком виде!

Гавриил Романович уставился на нее в удивлении: до сих пор он не замечал за Нинушей склонности к иронии. Да нет, она говорила серьезно. И какая ирония может быть у человека, искренне верящего в *космических доброжелателей!* Он собрался было объяснить назидательно, что *там у них* нет выездных комиссий, но Славка опередил:

— При капитализме же все продается и покупается! А медкомиссии — тем более.

— Выходит, очень хотела поехать, если еще и на взятку комиссии потратилась. Мы сами себя не ценим, а к нам весь мир рвется — посмотреть.

— Не говорите: рвалась посмотреть на передовую державу, приехала — и сразу же подверглась приставаниям нашего инвалидного донжуана.

— Ну что вы, Святослав Борисович, она просто не так поняла, эта старуха. Гавриил Романович у нас не такой! — очень серьезно возразила Нинуша.

Нинуша уверовала а инопланетян, покровительствующих меньшим братьям по разуму,— и утешилась. Похоже, ей даже нравится положение покровительствуемой младшей сестры... А Гавриил Романович чувствовал себя сейчас шоколадным туземцем, проводившим лакированный автобус с белыми туристами. Белым людям умилительно, что туземец так затейливо татуирован, что он такой сообразительный,— они поумилялись и поехали ужинать в свой отель только для белых, а туземец вернулся в свою хижину.

Но туземец, может быть, и не знает, что он такой же человек, как белый турист, а Гавриил Романович, к своему несчастью, знает...

Вот ведь как: приходится напоминать себе, что внутренняя свобода уравнивает всех — не только советских кандидатов с американскими бакалаврами и магистрами, но и слабых землян с могущественными галактами. Уже однажды понял, уговорил себя — но приходится уговаривать снова и снова.

* * *

пока мы вооружены мы безнадежные дикари любой галакт посмотрит на нас с удивлением и брезгливостью

особенно удивится галакт когда поймет что каждая сторона считает агрессором другую

ну если вы оба не хотите нападать скажет галакт так объясните это друг другу

а объяснить-то и невозможно

разумному галакту не понять дикаря с его предрассудками

самая утонченная психология рабская

утонченная и извращенная

раб находит в своем рабстве мазохистские наслаждения

потому-то достоевский родился в россии

психология свободы проще и прямее

потому у нас был достоевский но не было джека лондона

а у американцев был лондон но не было достоевского

а для галакта все земляне рабы

как же ему понять рабскую психологию когда при взаимном страхе легче убить друг друга чем договориться

мы-то знаем что советский союз действительно хочет мира

вторжения в венгрию и чехословакию печальные события но это не были внешние агрессии это приведение к покорности своих сателлитов

и нынешняя молчаливая война в афганистане не угрожает европе

но спросите любого прохожего и почти каждый уверен что американцы хотят напасть на нас

как ему объяснить что американцы точно так же не хотят нападать на нас как мы на них

взаимный страх усиливает существование военной тайны

ведь каждая сторона подозревает что втайне готовится новое небывалое оружие

пока остается военная тайна невозможно разоружение и все призывы к разоружению лживы и лицемерны

за тысячелетия человеческой истории все так привыкли обожествлять военную тайну так привыкли думать что сохранение тайны главное условие безопасности

что невозможно объяснить что военная тайна стала главной опасностью нашего времени

если все-таки не случилось новой войны то во многом благодаря шпионам которые успокаивают свои правительства

шпионы сообщают что ничего необычайного противники не изобрели что уровень вооружений примерно равный

поэтому не судить надо шпионов не казнить а награждать орденами дружбы народов

для отказа от военной тайны нужно появление двух равновеликих государственных деятелей с обеих сторон

но андропов сбив самолет показал что неспособен отказаться от военной тайны

а вдруг он просидит лет двадцать как брежнев

есть ли у нас тогда шанс выжить

только если шпионы смогут кое-как успокаивать и дальше свои перепуганные правительства

поверить правде можно только через шпионов такова извращенная рабская психология землян

разве понять такое свободному а потому прямодушному галакту

* * *

Вот так вот — взял и записал в «Гаврилиаду» правду про Андропова!

Надоело бояться. Надоело быть рабом.

И ведь он ничего такого не делает и не говорит вслух, чтобы КГБ пришло к нему с обыском.

Как говорит Ватина, когда в ее библиотеке происходит очередная выбраковка книг по диссидентскому списку:

«Если кто хочет чего унести — уноси молча. А кто советуется — тому не советую».

9

Гавриил Романович сам заметил за собой, что призрачная действительность размышлений, беспрестанно пополняющих «Гаврилиаду», постепенно сделалась для него важнее той действительности, в которой он существовал реально — на кафедре, дома. Да и можно ли назвать событиями те эпизоды, из которых состоит его жизнь?

Наверное, это плохо: вести столь монотонную жизнь, в которой *ничего не происходит*. А многие ли счастливцы ведут жизнь другую, событийную?

Разумеется, склонен он был к размышлениям и раньше. Но прежние его размышления бывали эфемерны: ну, подумал, ну, поспорил со Славкой Спитковским. Размышление же, прикрепленное к бумаге, становилось как бы зачатком поступка, зачатком не развившимся в действие — пока.

Но даже зачатки поступков уже казались более важными и даже более реальными, чем действительные происшествия. Само по себе это бы ничего, но не нескромно ли то, что мысли, трудолюбиво прикрепляемые к бумаге, по своим масштабам никак не соответствуют реальным эпизодам, составляющим всем видимую законную жизнь Гавриила Романовича Гнездилова?

Если бы устроилось так: совершил большое дело — открыл новое ядерное превращение, например, или построил новый город в пустыне, или слетал в космос — и получил за это право на пропорционально значительную мысль. А то что же: ничего заметного не совершил и не совершает, скромный кандидат наук без докторских перспектив,— да в стране миллионы таких, снисходительно называемых «хилыми интеллигентами» или более неодобрительно — «гнилыми интеллигентами». Так по какому праву этот гнилой и хилый, ничего заметного не совершивший даже в своей узкой специальности, мыслит в масштабах вселенских?! Как-то не по чину!

Но и думать не запретишь — ни другому, ни себе самому. Когда-то говорили: и кошка может смотреть на короля. И самый скромный кандидат наук может охватывать своей мыслью всю Вселенную! Мыслить не запретишь — и это гораздо существеннее, чем то, что не запретишь красиво жить...

* * *

социализм ближе к галактическому идеалу чем капитализм это безусловно

а коммунизм это космический идеал в чистом виде

ведь невозможно себе представить чтобы существа полностью разумные и обладающие истинно божественным могуществом вели между собой конкурентную борьбу и снаряжали межзвездные экспедиции узнав что на земле дешевый гелий можно его загрузить и с выгодой продать на альфе центавра

ну а у нас на земле вопрос о преимуществах той или иной системы это вопрос о природе человека

капитализм идеально приспособлен к корыстной природе человека так что корысть каждого обогащает все общество

а социализм рассчитан на бескорыстие и сознательность так что человеческая корысть расшатывает и обедняет социализм
в абстрактном идеале социалистическвя система прекрасна
все люди дружно работают на основе разумного плана не тратя сил на конкурентную борьбу
но красивая в идеале система почему-то плохо работает
товаров мало и они плохие
люди вместо свободы получили еще большее угнетение
беда в том что люди в большинстве корыстны и тем самым не приспособлены к социализму
но все-таки и при нашей бедности и порабощенности что-то дал и несовершенный социализм
он дал социальную защищенность пусть и на низком уровне
бесплатная медицина бесплатное жилье гарантированная работа
это блага которых не замечаешь пока они есть но попробовали бы мы жить без этих привычных благ
корысть рождает предприимчивость поощряет технический прогресс
но и плодит преступность проституцию наркоманию
у нас конечно сплошное политическое лицемерие
но оно каким-то парадоксальным образом сочетается с моральной чистотой
ведь факт что у нас нет мафии нет проституции почти нет наркомании
все имеет две стороны
корысть движет экономику но разрушает нравственность

* * *

Мысль, хотя бы тайно прикрепленная к бумаге, становится частью прожитой жизни. Мысль — не ставшая поступком. Но и в действительной, внешней, видимой близким жизни много нереализованных, можно сказать — *абортивных поступков*. Когда мог произойти резкий поворот — но не произошел.

Лет десять назад у Гавриила Романовича была своя пишущая машинка. Купил, чтобы перепечатывать диссертацию. Вскоре выяснилось, что все равно придется обращаться к профессиональной машинистке: и шрифт оказался не тот, и слишком много делал Гавриил Романович опечаток — по простенькая «Москва» так и осталась. И тут Славка Сниткоаский принес почитать письма Цветаевой к Пастернаку, а когда Гавриил Романович с энтузиазмом о них отозвался, спросил, не перепечатает ли он на своей машинке? И Гавриил Романович согласился было сгоряча.

Принялся он за работу — и сразу ему такое занятие не понравилось. Оказалось оно скучным и тяжелым. Читать было интересно, а перепечатывать слово за словом — скучно. Тем более, что печатал он медленно, с трудом, получалось, что даже не слово за словом он печатал, а букву за буквой.

За этим занятием застала его Ватина.

— Чего это ты?

— Да вот, попросил Славка.

— Этого не хватало! В самиздатели решил записаться?!

— Какой самиздат? И Пастернака давно снова печатают, и Цветаеву.

— Но эти-то письма не напечатаны! Значит, цензуру у нас не прошли! Пастернака печатают, а «Живаго» — нет. И не будут. Так ты и «Живаго» начнешь на своей машинке по буковке выклевывать?!

— С «Живаго» скандал был, всем известно, что он запрещен. А письма...

— И письма! Даже не тронут тебя на этот раз. Но засекут копию, узнают, чья машинка,— и уже будут следить. Сегодня — письма, завтра тебя еще что-нибудь отпечатать попросят. Стоит начать. Ты меня слушай, я же лучше тебя знаю эти дела: как к нам приходят фонды проверять. И образцы шрифтов они со всех машинок отбирают! Ты слушай!

Может быть, Гавриил Романович спорил бы упорнее, если бы ему понравилась работа, самый процесс. Но тошно было представить, что он часами вот так «выклевывает по буковке». И очень ясно обрисовалось возможное будущее: сегодня письма Цветаевой, а завтра статья Сахарова? А потом?!

Все могло быть иначе. И жизнь могла пойти остросюжетная: увольнение из ЛИАТа, вызовы в Большой дом, шпионы *на хвосте*, мордовские лагеря — другие друзья, другой образ жизни, странная известность посредством Би-би-си и «Свободы»... Но будущий поступок был оборван ранним абортом, и продолжилось привычное бессюжетное существование. Вернул он Славке письма, сказал, что не получается, что слишком медленно он печатает. А вскоре и машинку продал от греха...

Но только ли из страха перед Большим домом не пошел Гавриил Романович в самиздатели? Плюс — из покорности Ватине, плюс — из отвращения к машинопечатанию?

Конечно, он согласен с диссидентами, со статьями Сахарова — почти во всем. Но до конца ли они учитывают обе стороны медали? Лицемерие — плохо, отсутствие свободы — плохо, но ведь и то, что у нас нет мафии, нет безработицы — чего-то стоит! Диссидентов преследуют — что с несомненностью доказывает тупость властей,— но преследования ожесточают, а ожесточенный взгляд всегда односторонний! Конечно, Григоренко или Марченко — герои, но, может быть, скромное преимущество Гавриила Романовича именно в том и состоит, что он — не-герой?! Герой не может иметь трезвый взгляд на жизнь, а кто-то же должен сохранять и трезвый взгляд. Кто-то пьет прекрасные массандровские вина, а кто-то чистую воду — хотя бы для того, чтобы оценить самую вкусную и самую чистую ладожскую воду и помнить при этом, что американская свобода убила Онтарио и Эри...

Дал себя уговорить Гавриил Романович, что не из подлого страха не идет он в диссиденты, а ради сохранения объективного взгляда. Дал...

* * *

мы отстаем в экономике наши товары безнадежно хуже но мы должны были бы претендовать на духовное лидерство
если действительно представляем передовую идеологию
но пока что у нас нет новой системы жизненных идеалов нет представления о совершенно новой цивилизации
характеристика нашего преуспевающего человека звучит вполне по американски
у него квартира машина дача
и квартира похуже среднебуржуазной и машина послабее и дача не похожа на виллу в калифорнии но суть та же
мы плетемся в хвосте за западной модой и в одежде и в музыке и в новой мистике
мы могли бы выдвинуть идеал здорового образа жизни без алкоголя без табака без толстых животов
но на самом деле первыми догадались бегать трусцой тоже на западе
а у нас с каждым годом все больше пьют и еще имеют бесстыдство говорить что пьянство пережиток капитализма
а если даже что-то свое новое родится оно тут же убивается слетающейся стаей карьеристов
честнейший шостакович когда-то безусловно искренне написал прекрасную песню о встречном
что означало всего лишь встречный план
а сейчас даже самый конъюнктурный писатель не решится писать роман о прелестях соцсоревнования
мертвые штампованные слова заражают трупным ядом даже лучшие дела к которым приклеиваются
наша мертвая газетная стилистика обходится очень дорого потому что убивает любую оригинальную мысль
анекдотический пример примкнувший к ним шепилов
никто не знал почему шепилов примкнувший
но магическая формула повторялась слово в слово и тем самым убивались всякие вопросы
а где нет вопросов нет мысли
а сколько таких словесных формул мы пережили
мертвая стилистика не означает ли и мертвую идеологию
больше всего нам нужны простые живые слова

* * *

Господи, только-только удалось опереться на социалистическую нравственность, на то, что строй наш спасает граждан от мафии и безработицы,— и рука сама вывела про *мертвую идеологию* — хотя бы и с вопросительной интонацией. А он-то всегда гордился своей логикой. Да и как может математик не быть логичным?

10

Едва Гавриил Романович вошел в преподавательскую, на него обрушилась Колонна:

— Вас-то мне и надо! Где вы скрываетесь?! — А он нигде и не скрывался.— Пишите скорей соцобязательства, у вас одного не написаны!

А Гавриил-то Романович радовался, что о нем в этом году, похоже, забыли,— видать, все *взяли обязательства*, пока он отсиживался дома со сломанной рукой.

Он попытался уклониться, впрочем, довольно вяло, понимая, что капитуляция неизбежна:

— Да ну что я буду писать? Я же не забойщик, чтобы мне вдвое больше угля нарубить.

— А что писали в прошлом году? Вот и напишите снова!

Ежегодная мука. Не решается Гавриил Романович отказаться категорически, что никому эти соцобязательства не нужны, что все эти *обязательства, соревнования, почины* — пустые ритуалы, что-то вроде социалистической заутрени, которую служат жрецы из парткома. Кормятся потому что от коммунистических молитв.

И ведь никому никакого вреда оттого, что подпишет он эти липовые обязательства — не донос же. А чувство унижения остается. Чем-то, видать, подпись под обязательством сродни подписи под доносом. Расписывается человек в своей слабости, покорности — а кто писал в свое время доносы? Наверное, не столько подлецы и честные идиоты, сколько слабые люди, на которых как следует надавили. Такое же унижение испытывал всегда Гавриил Романович, приходя на *выборы* и покорно опуская бюллетень с фамилией заранее назначенного депутата; но от выборов в последние годы он приспособился уклоняться — и ничего, последствий никаких, все-таки, значит, ослаб режим, а от обязательств не уклонишься: здесь на кафедре каждый на виду.

— Ну не знаю я, что писать! Работаю я, и больше ничего.

— Да что вы, я не знаю! Приходится уговаривать, как девицу! — Колонна навалилась ему на плечо своей горячей тушей.— Вести занятия на уровне новых методик вы должны? Вот вам и пункт! Давать дополнительные консультации слабым студентам...

Колонна наваливалась все сильнее, вот-вот задавит своим пышущим мясом.

— Так все дают...

— Вот и прекрасно! В дружину ходите? В колхоз, если пошлют, поедете? Столько пунктов, что прямо сами скачут!

Наверное, в прошлом веке, когда церковь была государственной, благоразумные жены точно так же уговаривали своих скептических мужей: «Чего с тебя убудет раз в неделю сходить к обедне? Мало ли, чего ты думаешь, но если принято. Все ходят. Архиерейский хор поет прекрасно — вот и считай, что сходил на концерт!» Так там хоть хор пел!

Написал, конечно, Гавриил Романович, куда ему деваться. Даже и не только потому, что глупо раздражать партком, когда через год ему предстоит переизбираться по конкурсу на ассистентскую должность — в последний раз перед пенсией. *Все пишут* — и потому *все* почувствуют себя словно бы оплеванными, если он один захочет быть принципиальнее других. Никто не верит, но все пишут, а он что же? Чистеньким хочет быть? Написал...

Колонна удовлетворенно прибрала амбарную книгу с соцобязательствами кафедры — между прочим, такого же формата, как «Гаврилиада».

— Ну вот. А ты боялась, дурочка, надевай штанишки.

Колонна не может без сальностей. А Гавриил Романович подумал, что принуждение к бессмысленным обязательствам действительно чем-то схоже с принуждением к сожительству. Не с грубым изнасилованием, а с начальственным принуждением: «Хочешь квартиру? Хочешь повышение? Снимай штанишки!»

Подошла Нинуша — единственная и молчаливая свидетельница состоявшегося совращения. Гавриил Романович ожидал сочувствий, но, похоже, Нинуша не заметила в происшедшем ничего противоестественного. (Интересно, если бы написала она, что обязуется вступить в контакт с гуманоидами, кто-нибудь бы заметил? Кто-нибудь читает, какие там пункты скачут как блохи? Или достаточно того, что обеспечен *стопроцентный охват?*)

— А у меня, вы не слышали, Мариночка сбежала из дома. Я ее не отпускала, а она все равно уехала. За снежным человеком.

— О, господи! Со снежным человеком? — недослышал Гавриил Романович.— Что значит другая эпоха. Раньше с офицерами убегали, особенно если гусар. Но снежный человек в чем-то и получше. Не расслаблен цивилизацией.

— *За* снежным! — добродетельно поправила Нинуша.— Знакомые собрались в экспедицию. У нас, знаете, официально снежного человека не признают, поэтому мы сами. За свой счет во время отпуска. В прошлом году они ездили за тунгусским метеоритом. Но про него-то точно доказано, что это был космический корабль из антивещества. А теперь за снежным человеком. Шансов очень много, потому что в прошлом году в тех местах местные продавали его шкуру, а официальным экспертам приказали признать, что кожа леопардовая. Это на Памире. Люди-то все хорошие, но я не отпускала, потому что она никогда не ходила по горам, а им нужно добраться в самые дикие места. Я понимаю, что интересно, но когда совсем без тренировки... А она все-таки сбежала.

— Да уж! Тем более, зима на носу. А наверху в горах уже, наверное, все засыпано. Не сезон для альпинизма.

— Они же не альпинисты, не эти верхолазы бесполезные, они для науки. Летом он поднимается совсем высоко, а зимой спускается в долины. И следы видней на снегу. Их лидер — очень умный человек.

— Да уж конечно, чтобы столько лет не поймали, особенно сейчас, когда такая техника, надо быть умным!

— Нет, я про лидера группы, с которой Мариночка. Кужель, не слыхали? Он дизайнер, оформлял ресторан в новой гостинице для интуристов. Как ее? Рядом с вами, в Гаване.

— Я как-то не хожу по ресторанам. Тем более, для интуристов. Туда ведь и не пустят, все равно как негра в Южной Африке.

— А Мариночка была! Очень импозантно. Кужель ее пригласил на открытие. Он мог бы отдыхать в интуристской системе, у них ведь везде очень импозантные гостиницы — и в Сочи, и в Ялте, а он каждый год ездит в отпуск за свой счет в экспедиции. У них вся группа такая — подвижники.

— Чего ж вы тогда волнуетесь? Мариночка ваша и сбежала не столько за снежным человеком, сколько за Кужелем. Если отпускаете с ним в рестораны, отпускайте и в экспедиции — одно другого стоит. Как же ей не сбежать, когда и художник, и подвижник!..

— Дизайнер.

— Тем более! «Художник», и правда, звучит как-то простовато, то ли дело «дизайнер»! Борода небось, как у пророка.

— Да, ему очень идет.

— Вот видите.

— Все-таки опасно: по снегу, без дорог.

Гавриил Романович и видел-то Нинушину Марину всего раз или два — ну симпатичная, как почти все молодые девочки. И вдруг почувствовал что-то вроде ревности. Если не к снежному человеку, то уж к неизвестному Кужелю — точно. Много их сейчас развелось — новых пророков, за которыми молодые девочки бегут хоть в тундру, хоть на Памир. За Гавриилом Романовичем ни одна не сбежала даже в Крым или Усть-Нарву. Из тех, кого хотелось соблазнить за собой. Другие-то бы и рады — но те не в счет.

Новая профессия появилась: *охотник за химерами.* И какая заряженность, какая вера! Видимо, простая правда не вдохновляет, реальность скучна. Зато что может быть увлекательней погони за химерами, которые вечно манят и вечно отодвигаются, как горизонт.

* * *

земные религии галакту представляются очень забавными

как проявление первобытного мышления они даже трогательны

нам даже трудно вообразить какая бездна отделяет современное человеческое мышление от мышления нашего обезьяньего предка

и когда-то в начале очеловечивания появление первых мифов означало зарождение абстрактного мышления

животное по-своему знает видимый ему мир даже лучше человека

различает следы предчувствует изменения погоды по малейшим признакам

но животное не задается вопросами откуда и почему

это чисто человеческие вопросы

и мифы о богах суть первые человеческие ответы на загадки бытия

мифология это первый детский лепет человечества

а первый лепет есть громадный этап в развитии личности

но все хорошо в свое время и взрослый продолжающий лепетать как младенец являет собой зрелище жалкое

всякая религия интересна и вызывает уважение в своей цельности в своей наивности

еще в прошлом веке множество людей верили буквально что мир сотворен примерно 7000 лет назад что творил его бог в шесть дней что христос зачат непорочно что существует рай с ангелами и ад с чертями и сковородками

религия не приспосабливалась она была цельным мировоззрением

сейчас она приспосабливается самым жалким образом она признает что мир существует миллиарды лет а дни творения истолковывает как геологические эпохи

вокруг фундаментальных религий развелся мелкий религиозный разврат

верят во все сразу в языческих домовых в христианских святых в спиритизм в астрологию в летающие тарелки и бермудский треугольник

появилась околонаучная мифология по которой христос будда и магомет не то инопланетяне не то мощные экстрасенсы

что угодно лишь бы уйти от скучной реальности

и не важно что в свое время ортодоксальная церковь преследовала тех же астрологов не говоря уж о язычниках

ныне все смешалось и все годится

причины неомистицизма в разных странах различны

у нас прежде всего массовое отвращение к марксизму вбивавшемуся в головы насильно десятки лет

разочарование в науке которая не принесла обещанного быстрого счастья

на западе ужас перед моральной деградацией терроризмом наркоманией

и везде распространенное заблуждение будто религия лежит в основе морали

как жалки люди которые не способны прожить без догм которых страшит свободомыслие которым ленина нужно срочно заменить христосом а капитал маркса библией

кстати после революции точно такая же операция уже была проделана в нашей стране но с противоположным знаком

тогда в одночасье христа заменили в слабых головах лениным
наверное и прототип христа был замечательным человеком и ленин был замечательный человек
но самого замечательного человека нельзя превращать в непогрешимого бога
одинаково аморален бог карающий и бог награждающий
обесценивается нравственность которая покоится на принципах награды и наказания рая и ада
добрые поступки если они совершаются ради спасения души превращаются в обыкновенную сделку
и сделку необычайно выгодную приносящую тысячепроцентную прибыль так за минутные страдания за небольшие неудобства обеспечивают путевку в бессрочный санаторий величайшего блаженства
можно говорить о полезности религии для людей грубых и примитивных которых только страх перед божьей карой и может удержать в каких-то рамках
но нельзя же путать этот прагматический религиозный обман с истиной
подлинная нравственность это соизмерение своих поступков с благом всего человечества всей земли всей вселенной
истинная нравственность не требует себе в награду вечного блаженства
слабые души будут всегда
они будут искать утешения в вере в загробную жизнь
будут надеяться на свидание с умершими близкими
не смогут принять мысль о полном личном уничтожении
очень хочется получить воздаяние по заслугам
во взрослом человеке жив маленький мальчик верящий во всесильного и всезнающего отца
маленькому слабому человеку необходим всесильный бог
поэтому религия будет всегда
но какое это имеет отношение к истине

* * *

Ватина вошла и как-то особенно грохнула на пол сумки с продуктами. Гавриил Романович убрал «Гаврилиаду».

— Ходишь-ходишь, таскаешь-таскаешь! — послышалось из прихожей.

И Антон кое-что приносит, и уж тем более — Гавриил Романович, а все равно Ватина таскает пудовые сумки. Что там у нее? Гавриил Романович нарочно вышел посмотреть.

— Таскать — не перетаскать! — с вызовом повторила Ватина теперь уже в лицо мужу.

— И зачем? Картошка вот зачем? Я два дня назад принес.

— Ты не ту принес! Из той половину выкинуть пришлось!

Вот именно — все принесут не ту. А чем отличается *та* картошка от *не той*? Тем, наверное, что Ватина будет несчастна, если всё принесут, сделают, приготовят без нее,— но и оттого, что она непрерывно таскает, убирает, готовит, она тоже несчастна. Направо пойдешь, налево пойдешь — туда и туда одинаково плохо.

Этого Гавриил Романович не может понять. Или таскай и не сетуй, или разреши таскать другим.

— Да чем же не ту? Из нашего же магазина.

— Тебе вечно подсунут не ту. Подсыпят. Видят, с кем имеют дело... Таскаешь-таскаешь, и слова благодарности не услышишь!

Слова ей нужны. Вот уж совсем смешно. Раз они с Антоном едят — значит, благодарны. И всегда говорят *спасибо*, вставая из-за стола. Не забывают.

— ...Слова не услышишь, как с немыми живешь! Молча едят, молча спят. Ты хоть сказал в последние десять лет, что любишь меня?

Неужели этого ей надо?! Ненужных слов?! Да раз он живет — не уходит и не разводится, значит, как бы молчаливо подразумевает, что любит! Значит ли?.. А как же мечтания о *точеных фигурках,* о *волосах, водопадом спадающих на плечи?*

— Дурочка ты, Ватина,— заставил он себя заговорить.— Неужели ты не понимаешь? Если бы он был настоящим ученым или настоящим художником, он бы сказал сейчас: «Да тем, что я творю, я объясняюсь тебе каждый день! Я же вдохновением обязан тебе!» А что он может сказать в своей обыкновенности?

— Неужели ты не понимаешь?..

— Все я понимаю! Что нашел себе домработницу!

И с этими злыми словами она заплакала. Нос покраснел; слезы пополам с размазавшейся тушью потекли по толстым щекам. Чтобы не видеть этого, он притянул голову Ватины к плечу, и она упрямым движением теленка уперлась лбом ему в ключицу.

— Дурочка ты...

— Таскаешь-таскаешь, хоть бы слово...

— Но неужели ты не понимаешь...

— Когда ты в последний раз говорил...

— Бывают песни без слов, как у Мендельсона, а бывают слова без слов.

— Не надо мне таких... таких мендельсоновских штучек... без слов не песня... таскаешь для них...

— Я думал, ты понимаешь. Конечно же, я тебя люблю.

Ему сделалось неловко от вымученности своих слов, а она посопела и затихла. Неужели поверила? Неужели так легко поверить?

11

На день рождения Антона в доме всегда бывают гости. Когда-то гостей приглашали Гавриил Романович с Ватиной, а начиная класса с восьмого Антон выбирает гостей сам. Еще хорошо, что не приходится родителям куда-нибудь убираться на вечер,— благо в квартире две комнаты, есть где отсидеться.

В последние годы, успевая мельком взглянуть на гостей сына, Гавриил Романович с любопытством и тревогой старается угадать, есть ли среди них *она* — будущая невестка. Ватина позволяет себе и некоторые расспросы:

— Ну, кого ты пригласил в этот раз на свой праздник?

— Да все свои,— неопределенно отвечает Антон, что означает: «Не вмешивайтесь в мои дела!»

Готовила, конечно, Ватина. Хотя вполне могли бы явиться те самые *все свои* и проявить свои женские таланты.

Среди *своих* неожиданно оказалась Аллочка Снитковская, которую Гавриил Романович не видел на днях рождения сына лет восемь — с тех пор как Антон отвоевал себе право приглашать гостей по собственному вкусу. Гавриил Романович и не знал, что Антон с Аллочкой каким-то образом снова познакомились — и Славка ничего не говорил.

Гавриил Романович был бы очень рад ее появлению: и Аллочка — хорошая девочка, красивая и, кажется, достаточно порядочная в старинном смысле слова — не из тех нынешних, что с седьмого класса заводят любовников; и со Снитковскими приятно было бы породниться, отпадал страх, что Антон приведет *неизвестно кого,*— но вспомнился недавний мимолетный разговор, что «жена-еврейка не роскошь, а средство передвижения», а ведь Аллочка в какой-то доле еврейка, и не надумали ли они с Антоном поискать счастья в какой-нибудь богатой цивилизованной стране?! Кому искать счастья, как не молодым, сам Гавриил Романович уже неспособен куда-нибудь двинуться, но за Антона был бы рад: пусть посмотрит мир, пусть проживет жизнь иначе, чем родители! И все-таки страшно было бы расстаться, получать письма из другого полушария, да и не для всех *там* оказывается рай — ведь и преступность, и безработица... Вот сколько чисто советских страхов способно вызвать появление в гостях милой молодой девушки.

За столом, куда родители были либерально допущены, разговор сразу пошел на удивление взрослый и банальный — или как раз родители и стесняли?

Благопристойного вида юноша поднял тост: «За счастливых родителей такого удачного сына!» — а поставив рюмку, тут же спросил светски:

— Это вы, Валентина Николаевна, так замечательно готовите? Все как в анекдоте: в магазинах ничего нет, а на столе все есть.

Гавриил Романович всегда скучает при неизбежных разговорах, куда девалась колбаса и кто где видел осетрину... Кстати, интересно, как бы отнесся просвещенный галакт к земному обычаю совместно объедаться в знак дружбы? Вообще-то любые существа так или иначе питаются, и, скорее всего, процесс этот повсеместно достаточно приятный. Потому в этом пункте галакты могут нас понять.

— Я вот чего не понимаю,— сказал Антон, накладывая себе домашнюю буженину,— почему у нас не ведется официальная пропаганда вегетарианства? Ведь и так в половине России нет мяса. И вряд ли будет. Так чем мучиться с животноводством, легче доказать, что мясо вообще не нужно и вредно.

— И вообще бойни — это так ужасно! — сказала Аллочка. Она сидела рядом с Антоном.— Если бы самой резать коров, даже кур, я бы лучше стала вегетарианкой. Хорошо, что я не вижу и не думаю. Все-таки это убийство, все-таки это трупы! Молоко, яйца — другое дело.

— А из яиц цыпленки бы родились,— подначивая, сказал Гавриил Романович.— А ты их жестоко съела.

— Ну, еще бы родились! Пока же нет. А диетические яйца продаются вообще стерильные, неоплодотворенные, из которых никаких цыпленков.

— Как это? Если яйцо, значит, будет цыпленок! — На этот раз Гавриил Романович не подначивал, а удивился искренне.

— Хоть вы и знаете меня с детства, но с тех пор я выросла и знаю, что такое зачатие,— гордо сказала Аллочка.— Из одинокой яйцеклетки ничего родиться не может.

— Нужен еще и петух, папочка! — подхватил Антон.
Эк они спелись!
— А я думал, она и не снесется без петуха,— признался Гавриил Романович под общий хохот.
— Это потому, что ты оторван от земли. Хоть бы поинтересовался, когда пасешь в колхозе бедных студентов, откуда берутся цыплята. И всякие телята тоже.
— Как это грустно звучит: «одинокая яйцеклетка»,— вздохнула Ватина.— Просится куда-нибудь в песню. Это безнадежней, чем одинокая гармонь. Была такая песня когда-то.
— Мамочка, с твоим юмором тебе бы писать пародии!
Как будто Антон до сих пор не знает, что его мать вообще неспособна к юмору.
— Тогда была одинокая гармонь,— серьезно продолжала Ватина,— а сейчас ведь на улице с незнакомыми знакомятся.
— Это кто как. Лично я с незнакомыми не знакомлюсь! — победоносно объявила Аллочка.— Мои яйцеклетки и так одинокими не останутся!
Ватина покраснела: она бы никогда не решилась сказать такое. А Гавриилу Романовичу Аллочка нравилась больше и больше. Даже если решатся уехать, может быть, оно и к лучшему? Как сказано, дети должны быть счастливее нас.
Кто-то врубил нынешнюю гремящую музыку — и Гавриил Романович с Ватиной незаметно ретировались.
— Все-таки бесстыдная эта твоя Аллочка! — сказала Ватина.— Про яйцеклетки свои заговорить — надо же! Так можно про всю гинекологию.
— Наоборот, очень мило прозвучало. Ты же сама подхватила про «одинокую яйцеклетку». И почему — моя? Антона — может быть.
— Я подхватила, чтобы сгладить неловкость. Пожалела. А твоя — потому что твоих Снитковских дочка, ты же от них без ума: с собакой ихней в отпуск ездишь, дочку их Антону сватаешь! Такое бесстыдство — еврейские штучки. Сообщила бы еще, когда у нее месячные. Мы, русские, целомудреннее.
О, господи, какое обобщение: «мы — русские». Мы русские — всякие. Об этом можно спорить бесконечно — но противно.
Гавриил Романович включил телевизор, но гремящий магнитофон заглушал семейный разговор из какого-то многосерийного фильма.
— И танцевали мы не так,— продолжала Ватина.— Танго наши — пообниматься можно было в пределах стыдливости, а у них трясучка — каждый сам с собой. Тут не только яйцеклетка одинокая.
Без стука вбежала Аллочка — потная и запыхавшаяся.
— Идемте вы тоже! Все должны танцевать, все, кто в квартире! Никто не отсиживается! Для общего счастья! Если кто не будет, несчастье себе и всем!
Ого, какой масштаб прорезался неожиданно — всеобщее счастье в трясущемся танце!
Ватина застеснялась явственно — и своих лет, и своих расплывчатых очертаний. Будто не она только что осуждала и танцы, и Аллочку. Даже за стул ухватилась, но Аллочка потащила решительно:
— Ну, тетя Валя! Примета! Всем несчастье!
Гавриил Романович пошел сам.
Командовал тот самый вежливый мальчик, который провозглашал тост за родителей. Но даже в полутьме комнаты было видно, что он взмок и растрепался — и потому совсем не выглядел паинькой.
— Значит так: японский танец! Сейчас у них даже в храмах так танцуют. Тут всякие непонятные слова на пленке, это неважно, а главное: «васуй-васуй». Вы услышите, все время повторяется. По-японски значит, чтобы все вместе взялись, призыв такой. Кричат друг другу, когда общая работа. Когда услышите, надо подхватывать всем хором и подпрыгивать. Очень просто, да? Сам прыгаешь и других подбадриваешь. Вот так: «васуй-васуй!»
— Все равно как у нас «давай-давай»,— сказал Антон.
— Ага, только так интереснее. И танца «давай-давай» у нас не придумали, а японцы придумали.
На пленке условленные слова звучали еще лучше: хриплый голос старого пирата выкрикивал что-то среднее между «васуй» и «васёй» — и невозможно было не подхватить, не ощутить, что все здесь чувствуют одинаково, что почти слились в единое целое!
В первый раз на пробу Гавриил Романович и вскрикнул нерешительно, и подпрыгнул невысоко:
— Васуй-васуй!
А Ватина вскрикнула, как частушку прокричала в хороводе:
— Васёй-васёй!
Он уже не смотрел вокруг отстраненным взглядом, не думал, смешон он или нет — круглый, лысоватый, радостно подпрыгивающий.
— Васуй-васуй!
— Кто громче всех крикнет, тот и самый счастливый!

А Гавриила Романовича уже не надо и поощрять.
— Васуй-васуй!
— Васёй-васёй!
Что-то освобождалось внутри, лопались какие-то прозрачные перепонки, Гавриил Романович больше не был заперт в себе самом — нет, он такой же, как эти молодые ребята, он вместе с ними!
— Васуй-васуй!
— Васёй-васёй!
Испытывал ли он когда-нибудь такое счастье: потерять свое «Я», раствориться в друзьях, в маленькой уютной толпе? Разве что в День Победы, в толпе во время салюта. Мы все вместе. Мы все можем!
— Васуй-васуй!
— Васёй-васёй!
Пот льет, легкие работают во всю мощь, сердце на пределе — вот она, полная жизнь!
Сил больше нет! Все? Нет, еще! И силы взялись откуда-то.
— Васуй-васёй!
— Васёй-васуй!
Не сразу прорвался сквозь музыку и крики новый звук — долгий раздраженный звонок у дверей. Антон вышел и вернулся:
— Ша! Внизу люстра свалилась!
Еще бы не свалиться, когда человек пятнадцать подпрыгивают разом! Тут бы и мост рухнул.
Ну, в последний раз:
— Васуй-васёй!

* * *

идея полного равенства абсурдна люди неравны от природы неравны по способностям неравны по нравственным качествам
потому было бы странно и даже опасно чтобы равное влияние на государственные дела оказывали мудрые академики и полуграмотные невежды честные люди и жулики
в любом разумном обществе на любой планете управлять должны умнейшие и честнейшие из галактов
потому совершенно естественна идея партии как авангарда
в идеале в нее входят самые умные самые высоконравственные граждане и вершат дела страны
но на практике получается так что все карьеристы неизбежно стремятся в партию именно потому что она правящая
карьеристы устремляются в нее а честным и совестливым рядом с ними находиться неловко
то есть бывает что и честные люди туда пробиваются если очень наивные и не видят кто с ними рядом
или честные и наивные надеются преобразовать партию изнутри потому что к такому монолиту снаружи не подступиться
но преобразоваться партии никак не удается по-прежнему она порождает культ за культом разве что теперь у нас тихая тирания сменившая кровавую сталинскую
любые эксцессы хрущева вроде сеяния кукурузы чуть ни у полярного круга проходили под славословия его мудрости
а кто понимал ничего не мог сказать против потому что в лучшем случае выгнали бы отовсюду а в худшем бы посадили
а ведь в характере хрущева и в его деятельности было много хорошего но строй основанный на восхвалении вождя заглушил хорошее и развил дурное
в англии если бы премьер заставлял сеять кукурузу он бы всего лишь попал в юмористический журнал
у нас вся страна сеет
страна дураков
и вот вопрос то ли народ наш сплошь дурак то ли строй дурацкий
я не расист я не верю что бывают умные и глупые народы значит остается признать что дурацкий строй
меняются анекдотические вожди но их культы снова и снова вырастают из непрерывного самовосхваления партии
надо абсолютно потерять стыд чтобы провозгласить саму себя умом честью и совестью нашей эпохи
совестью человечества называли когда-то толстого но можно ли представить чтобы он сам себя объявил совестью человечества
он мгновенно стал бы просто смешон и жалок
но что значит сила

партия в своей страшной силе не столько смешна сколько ужасна
и нет надежды свергнуть ее нормальным демократическим путем
но я не наивен и не вступлю в нее в надежде изменить изнутри
хотя признаю что галактический идеал именно коммунизм
но до него на земле так же далеко как до царствия божьего
нормальной демократии у нас не установить
но я бы предложил ввести демократию обходным путем под видом сохранения однопартийности
нужно изменить порядок приема и пребывания в партии
раз партия единственная и вечно правящая значит весь народ заинтересован в том чтобы в ней находились лучшие люди
значит не партия должна сама себе подбирать членов потому что карьерист тянет себе в товарищи такого же карьериста
нет в члены партии должны принимать на общих собраниях всех граждан по месту работы где все знают друг друга досконально
принимать тайным голосованием и не пожизненно а на три или пять лет
и каждые три года снова переизбирать тайным голосованием или не переизбирать если увидели что стал беспринципным карьеристом и превратил партийный билет в хлебную карточку

* * *

Ну вот, наконец-то Гавриил Романович написал все, что он думает про партию. Почти все. Видно, во время магического японского танца и вправду лопнули внутри какие-то прозрачные перепонки. Хватит бояться наконец! Может Гавриил Романович записать наконец в собственную тетрадь, что́ он думает на самом деле про всесильную и всеведущую партию?! Почти все.

Если бы писать совсем все, нужно было бы написать, что наша партия совершила такие же преступления, как гитлеровская, и должна была бы так же быть распущенной, как национал-социалистическая. А то, что в ней были люди честные и искренне убежденные, ничуть ее не оправдывает, потому что честные нацисты тоже были. Но написать такое даже в тайной тетради он, конечно, не мог. Он и думать такое едва решался!

А вот что касается выхода из тупика — тут он записал искренне. Ведь никогда КПСС не поделится своей абсолютной властью, не допустит многопартийности. А как обходной путь придумано даже очень остроумно: фактически получатся настоящие выборы — только не прямо в различные советы, а в правящую партию. Она станет подконтрольна народу — и пусть тогда остается правящей и единственной.

А ведь такой проект... такой проект даже можно высказать! Со всеми заверениями в верности партии, в преимуществах нашей советской демократии — без обязательного ритуальюго лексикона не обойтись. Но раз *партия и народ едины*, как написано на всех крышах, пусть народ и формирует партию, пусть избирает и отзывает ее членов!

Нет, в самом деле — взять и подать такой проект — под видом *дальнейшего развития советской демократии!*

Закрывая свою коричневую дерматиновую тетрадь, Гавриил Романович чувствовал себя подлинно свободным человеком.

12

Мысль о проекте преобразования партии (замаскированная мысль о *подмене* существующей диктаторской партии военного типа некоей гибкой демократической структурой) — мысль эта не оставляла Гавриила Романовича. Прежде всего, ему искренне хотелось изменить систему, хотелось успеть хоть немного пожить при хотя бы частичной демократии. Но не мог он и не думать, что авторство проекта принадлежит ему, что, при фантастической удаче, проект этот будет принят и войдет в историю как «план Гнездилова» или «устав Гнездилова» — и окажется на старости лет, что не так уж он безнадежно бездарен, не так уж обречен оставаться посредственностью!

Некстати вспомнилась мелькнувшая во время скитаний по Валдаю идея *свободных шахмат* — уничтожить жесткую первоначальную расстановку и тем самым уничтожить непомерную и потому пародийную науку — *теорию дебютов*. Имел бы шанс его проект, если бы Гавриил Романович его высказал? Нет, разумеется! Все гроссы были бы против: они затратили полжизни на изучение этой *теории* вовсе не для того, чтобы разом лишиться своей монополии, сравняться с любым сообразительным человеком, способным рассчитывать варианты!.. Так могут ли согласиться нынешние партийные боссы, которые карабкались наверх, добивались нынешнего положения,— согласиться зависеть от какого-то собрания, которое сочтет их карьеристами и проголосует против продления членства в партии?!

Согласиться могут только *на самом верху* — там, где товарищи чувствуют себя уже достаточно прочно. Там «план Гнездилова» может показаться даже и выгодным: потому

что Генеральному секретарю нужно опасаться не простых людей — у нас по традиции любят монархов,— а ближайших *соратников*.

Так что имело смысл не выступать в институте на собрании — здесь легко сочтут не то диссидентом, не то сумасшедшим,— а послать проект прямо Андропову.

Если считать, что Андропов искренне хочет перемен.

То есть перемен он хочет, он это доказал хотя бы тем, что снял Щелокова!

Но *каких* перемен он хочет?!

Сам же Гавриил Романович понимает — и в «Гаврилиаду» записал,— что у нас непрерывно рождаются новые культы, и вот сам пришел к мысли, что надеяться можно только на Андропова. Прекрасно он видел это противоречие — но что делать? План, который он предлагает, перевернул бы всю партию, и такое решение может принять только один человек — самый первый. Да, у нас партийная монархия, и наш генсек — не английская королева, а русский самодержец!

Значит, написать Андропову. Хватит наконец *абортивных поступков*, надо совершить наконец поступок действительный. Написать Андропову. Очень обдуманно написать. Не слишком длинно, но и не на одной страничке. А копии — копии можно послать еще нескольким членам Политбюро — тем, кто прогрессивнее. А кто там прогрессивнее? Тем, кто помоложе. Но и не Романову, разумеется. Ну это потом — сначала написать!..

От столь важных размышлений Гавриила Романовича оторвал звонок. Вот уж не вовремя кто-то! А кто? Или телеграмма?! Но ни Антон, ни Ватина никуда не уезжали — не от кого быть телеграмме! Рано еще быть — ведь письмо Андропову не только не отослано, но даже еще и не написано.

Гавриил Романович так привык, что с ним ничего не случается,— что испугался. А вдруг КГБ каким-то образом узнало, что́ он записал про партию,— и явилось изымать «Гаврилиаду»?!

Не надо открывать!

Нельзя не открывать.

Пусть Ватина откроет?! А что это изменит?! И некрасиво прятаться за женщину.

Открыл.

На площадке стоял молодой человек самого пародийного вида: бородатый, волосатый, мятый весь — впрочем, даже Гавриил Романович знает, что такая жеваная джинсовая амуниция стоит дороже, чем нормальный приличный костюм.

— Антона кликните.

Кажется, Гавриил Романович не замечал этого опереточного бродяги среди знакомых сына.

— Его нет дома.

— Не шутите? А то есть предки — шутить любят.

Гавриил Романович только развел руками.

— Непруха! А вы отец, стало быть? Патер фамилие? Невезучий он у вас. Пласт ему добыл — самое то: «Лаки рэскалс». Но эквиваленты нужны — вот так! Сейчас скину у «Сайгона» — будет счастье мужику! А то возьмете за него? Он вам не простит! Всего-то два купона.

Почти все Гавриил Романович понял, об остальном догадался: «эквиваленты», конечно, деньги; «два купона» — двести рублей, надо понимать: не двадцать же, но все же и не две тысячи. Двести рублей — нынче нормальная цена за новую заграничную пластинку с какой-нибудь кричащей и визжащей *группой*. Тоже химеры — только химеры мира молодежного, не хуже Нинушиных инопланетян со снежным человеком: то, что горячечный бред считается вершиной музыки.

— Знаете, это дела Антона, я в них не вмешиваюсь. Хочет, пусть сам покупает, если имеет лишние купоны.

Последнее слово Гавриил Романович выделил голосом, как это делают дикторы, обозначая кавычки: «Еще один пример „миролюбия“ Вашингтона».

— Полный отмаз? Зря! Никогда он вам не простит. Завтра ему такой пласт за три купона не отдадут.

Незваный пришелец очень напоминал того неприятного студента, который задавал совершенно правильные вопросы писателю-фантасту,— как его... И разговорчивого молодого человека из метро... Тогда Гавриил Романович чувствовал себя раздвоенно: люди, неприятные ему с первого взгляда, говорили слова, с которыми он согласен! А с этим проще: он и не предлагает ничего хорошего.

— Нет, не беру я никаких пластов, не плачу никаких купонов!

И не дожидаясь дальнейших уговоров, Гавриил Романович закрыл дверь перед лохматым пришельцем.

А что скажет Антон, когда узнает, что его отец упустил такую ценную — по Антоновым понятиям ценную — пластинку? Не то что бы он фанатик рок-музыки, но кое-какие *пласты* у него есть. И что же — он их покупал по *два купона*?! Откуда у него такие деньги? Для теперешнего Гавриила Романовича с его ассистентским жалованием двести рублей — порядочная сумма, он бы поколебался, платить ли столько за полное собрание пластинок

Моцарта, а уж для бедного молодого Гавриила Гнездилова двести рублей звучали почти абстракцией — что двести, что две тысячи, одинаково недостижимо! Однако приятели Антона покупают *фирму*, то есть тряпки, вульгарные штаны и тапочки, которые должны стоить не больше десятки, не жалея шальных купонов. Откуда у них, спрашивается? Отцы их в большинстве средние интеллигенты, люди небогатые — не писатели, не академики, и даже отец-бармен только у одного Антонова приятеля. Словно появились в обороте особенные молодежные деньги, которые достаются не так, как нормальные.

Антон не то действительно любит эту эрзац-музыку, не то бездумно подчиняется моде, как курит, как носит джинсы и кроссовки. Во всяком случае, он, слава богу, не фанатик — то есть не *фанат*. А то бы ему с отцом трудно было бы понимать друг друга. Потому что Гавриил Романович эти звуки решительно не переносит и даже не хочет причислять к музыке...

Одно из главных обвинений всем нашим узурпировавшим власть вождям: уничтожение *свободы творчества*. И Гавриил Романович совершенно согласен: творчество должно быть совершенно свободно! Только вот плоды такой свободы, какие ему удавалось встретить, ему почти никогда не нравились. И жуткие уродцы на выставках нонконформистов, и жуткий этот грохот под видом музыки. Когда запрещают книги за правду, за разоблачение сталинских и вообще партийных преступлений — как с Солженицыным — это истинная трагедия духовной жизни, истинное попрание свободы творчества! Всю же эту мазню, объявляемую *авангардом, новым искусством*, нисколько не жалко. Гавриил Романович не согласен с методами, и конечно, не надо было Хрущеву в Манеже кричать и топать ногами — таким способом он только создал мучеников и героев, так что теперь никто из либералов и демократов не решится произнести вслух, что это и не искусство вовсе — как же можно хоть слово сказать против мучеников! Очередной вариант на тему *голого короля*. Лучше бы всего — не обращать внимания. И пусть каждый творит все что угодно. Гавриил Романович всегда повторяет: «Им только и нужен скандал! Не будет скандала, завтра же их всех забудут!»

Да, вот противоречие свободы: нужна она, тяжко без нее — но первыми пользуются свободой всякие проходимцы. Открытые границы, отсутствие прописки — благо, конечно, но оно же способствует расцвету преступности и наркомании. Свобода творчества — как же не благо, но она же дает плодиться наглым шарлатанам. Да существует и явная связь между наркоманией и шарлатанскими подделками под искусство! И если бы дошла и до нас свобода, не оказалась бы она отталкивающей? Не превратилась бы она в шабаш таких вот хиппи? Не пожалел бы Гавриил Романович о временах, когда состав выставок и программы концертов утверждали пусть и туповатые, но все-таки стриженые и прилично одетые партийные деятели?.. Впрочем, свобода нам не грозит, так что приходится мечтать о ней. Этим, кажется, мы не уставали заниматься на протяжении всей нашей истории — мечтать о несбыточном...

* * *

еще говорят что только вера в бога придает жизни смысл
это такое же заблуждение как обоснование нравственности религией
вера только отодвигает вопрос о смысле жизни но не решает его
жить и уничтожиться кажется многим бессмысленным
ну а какой смысл вечно пребывать душе в раю
в земной жизни есть развитие движение в чем ее безусловный смысл
а душа в раю или в аду статична
ну пусть вечно сидит одесную или ошую господа вот это действительно бессмысленно
а понимание цели существования мира просто перекладывается на бога
мы не знаем но он-то знает
нужно быть очень непритязательным чтобы удовлетвориться таким ответом
нужно быть очень непритязательным чтобы считать будто утверждение мир создан богом что-то объясняет
потому что возникает вопрос а кто создал бога
а если никто не создавал это так же непонятно как атеистическое представление что никто не создавал вселенную
в таких спорах бог и природа оказываются синонимами
но подобный спор ни о чем когда разными словами фактически утверждается одно и то же порождает смертельную вражду
интересно будут галакты плакать или смеяться поняв что неразумные земные существа ненавидят друг друга утверждая чуть-чуть разными словами одну и ту же мысль
будут галакты плакать или смеяться зависит от их понятий о нравственности
я самозваный земной галакт попеременно делаю и то и другое

* * *

Антон явился поздно. Гавриил Романович уже собирался ложиться, поэтому о визите рассказал второпях.

Рассказал хотя и иронично, но с тайным чувством вины — вдруг он все-таки крупно подвел сына?! Но, к большому облегчению и изумлению Гавриила Романовича, Антон расхохотался:

— Не поддался? Ну, ты у меня крепок как алмаз. Это же Тереня! Он знал, что мы у Козы, вот и заявился. Изобрел психологический метод: приходит, когда дома одни предки,— мол, не поскупятся ради любимого дитя. Диски сбывает уже вчерашние — старики же не секут, для них и «Роллинг стоунз» — последняя новость. Многих так наколол. Знаешь, в чем сейчас проблема отцов и детей? В том, что отцы стесняются детей, боятся, что устарели! Кроме тебя, папá, ты-то оказался как алмаз.

Вот так: Антон похвалил снисходительно — и Гавриил Романович сразу же ощутил прилив гордости. Оказывается, можно гордиться и тем, что не заискиваешь перед сыном, не боишься показаться устаревшим... Интересно, только ли у нас на Земле с каждым поколением меняются взгляды, меняются моды? Или это неизбежно происходит во всяком сообществе разумных существ?

— Ну скоро ты? — позвала из темноты Ватина.— Потом тебя же не разбудить утром. Как маленький.

А жены у галактов есть? А если и есть, служит ли у них любовная измена вечным сюжетом жизненных драм? Легко предположить, что другая культура считает высоконравственным постоянно менять партнеров, чтобы каждый следующий ребенок рождался от нового сочетания родителей. При такой нравственности любовная верность считалась бы величайшей аморальностью!

— Ну скоро ты? — повторила из темноты Ватина.

— Иду же! Зубы еще почищу!

13

В ЛИАТ заявилась министерская комиссия. Такое нашествие всегда неожиданно и в то же время неизбежно время от времени, все равно как тайфуны на тихоокеанских атоллах: идет-идет безмятежная райская жизнь — и вдруг тайфун.

Проверить, плохо или хорошо учат студентов, практически невозможно: качество учебы скажется через несколько лет, когда нынешние студенты начнут инженерствовать. Зато легко проверить, хорошо или плохо ведутся многочисленные бумаги, сопутствующие обучению. Этим-то любая комиссия и занимается.

Гавриилу Романовичу опасаться за себя было нечего: его ученая степень соответствует должности, собственные его учебные планы, методички и прочая чепуха в достаточном порядке, плановые статьи представляет в срок — о чем еще может мечтать комиссия? Начальство, конечно, забеспокоилось, потому что в принципе не могут быть в порядке все бумаги, а захочет или не захочет комиссия обнаружить неизбежные непорядки — это вопрос тенденции: прислана комиссия укреплять или низвергать?!

Смешно признаться, но явление комиссии породило у Гавриила Романовича некоторые надежды. Все-таки это первая комиссия при Андропове; после брежневского бардака начали наконец наводить порядок,— так может, доберется комиссия хотя бы до Зазроева с его приемными делами? До Колонны — вряд ли, Колонна слишком умна на свой лад, потому не опускается до прямой уголовщины, да и не нужно, она и так хорошо устроена при муже-академике.

В сущности, какое Гавриилу Романовичу дело? Ну приняли сколько-то блатных, сколько-то за взятки. Сам-то он не запятнан, а блат был и будет, да и взятки, наверное, тоже. Но хотелось Гавриилу Романовичу справедливости, бескорыстно хотелось! Тут и пропаганда наша сделала свое дело, опрометчиво твердя о самом справедливом государстве,— вот и обратились в конце концов слова эти против самих лицемерных пропагандистов. Им бы воспитывать народ в понятии, что *нет правды на Земле*, — самим спалось бы спокойнее... Да, привык Гавриил Романович к мысли, что рано или поздно должна наступить справедливость, убедили его. Потому-то и хочется, чтобы инженеры выходили хорошие, в какие из блатных инженеры? Не патриот он, из принципа не патриот, понимает, что человечество едино и всякий местный патриотизм устарел и сделался опасен; не патриот, но хочется ему, чтобы наши инженеры были не хуже американских, чтобы автомобили наши — раз уж он работает в ЛИАТе, значит, прежде всего думает об автомобилях — сделались наконец не хуже американских. Или японских... И понимает ведь, что не будет такого, что наш строй безнадежен в смысле усвоения технического прогресса — но все равно хочется!

И надо же, чтобы именно в день приезда комиссии столкнулся он в деканате с той милой позвоночницей, которая сказала на экзамене, что в линии должно быть не меньше миллиона точек — или что-то в этом роде столь же чудовищное! Отец ее — директор вазовского автоцентра. Зашел взять какие-то бумажки — и она тут же, сдает справку и трогательно объясняет, как она болела, как не пошла даже на Гребенщикова — очень общительная и очень трогательная, как всегда. И как всегда, обставлена справками. (Кстати, доказательство бессилия искусства: о чем поют все официально не признанные и потому популярные певцы — от Высоцкого до того же Гребенщикова: о спра-

ведливости! А кто в зале — блатные и дети блатных, потому что без блата трудно достать билет. Слушают, аплодируют, не краснеют!..)

Наверное, она и раньше мелькала на лекциях, Гавриил Романович видел, но не фиксировал внимания. Так бывает — замечаешь, но не осознаешь. А тут дошло: приняли ее, все-таки приняли! И не могли не принять — не зря же хлопотал Зазроев.

Зазроев его окликнул в преподавательской столовой — они каждый день там встречаются в большом перерыве.

— Гавриил Романович, дорогой! Сюда давайте!

Как раз свободное место недалеко от раздачи. А других и не было. Гавриил Романович разгрузил около Зазроева свой поднос.

— Как чувствовал, держал место для вас. И здесь теперь полно, а почему? Потому что просачиваются! Вот, пожалуйста.

И Зазроев нарочитым экскурсоводческим жестом показал на двух девиц, сидевших за тем же столиком и казавшихся особенно юными на фоне помятых преподавательских лиц. Гавриил Романович сначала заметил Зазроева, а не их — вот что значит не иметь привычки постоянно разглядывать всех незнакомых женщин!

А Зазроев тут же состроил зверскую гримасу, пошевелил усами, как Бармалей в кино, и объявил:

— А со студенток, которые просачиваются к старшим, штраф!

Девицы, похоже, только того и ждали:

— Вовсе мы не студентки! Мы тоже сеем разумное и доброе. Неужели не видно, какие мы старые?

— По лицу не видно. Может быть, если рассмотреть всесторонне? Вот и извольте предъявить морщины — где угодно!

— Между прочим, первые морщины как раз на лице. И на шее. Должны знать — мужчины! Ну разве что еще складки — на животе,— девицы прыснули.

— Вот именно — складки. Надо обследовать все складки.

Гавриил Романович чувствовал себя лишним. Он никогда так не умел — идти к цели кратчайшим путем.

— Обследовать? Обследуют доктора — некоторых специальностей.

Девицы уже допивали компот и поднимались.

— Где вас можно преследовать, прекрасные незнакомки? Если нельзя обследовать,— взывал Зазроев.

— Найдете, если захотите. На одной скромной общественной кафедре.

Они еще хихикнули на прощание и удалились.

— Ишь ты, хорошие поблядушки,— одобрил вслед Зазроев.— Аспирантки, наверное. На КПСС или философии, да?

Гавриил Романович первым с ними и заговорить бы не решился, а для Зазроева — поблядушки. И, судя по милому разговору, он прав. В житейских делах подобные типы всегда оказываются правы.

— Всегда на историю партии старых вобл набирали — для солидности,— усомнился Гавриил Романович.

— Партия меняется,— засмеялся Зазроев.— Хочет приобрести соблазнительный вид.

А ведь Зазроев сам член партии — и не стесняется так громко проявлять непочтительность.

— Эти, видать, из комсомола, потому и сохранили свежесть.

— Комсомолочки — это мечта! — подхватил Зазроев.— И чем общественноактивней, тем квалифицированней в постели. Многократно проверено. Как материалистки поняли, что надо ублажать свою материю... Слушайте, дорогой, а давайте окунемся в комсомольскую жизнь! Посадим этих двух поблядушек в машину — и ко мне на дачу! Жена в городе, дача пустая, дрова есть.

Оказывается, у Зазроева уже и дача! Четвертое поколение Гнездиловых живет в этом городе, и ничего Гавриил Романович не имеет, а Зазроев только появился — и все блага при нем. И был бы крупным ученым, получил бы за заслуги. А то ведь обыкновенный проходимец. И еще имеет бесстыдство повторять, что евреи устраиваются!..

Но с чего бы такое предложение? До сих пор ни в какие совместные похождения с Зазроевым Гавриил Романович не пускался. Не иначе, тот хочет втянуть Гавриила Романовича в свои дела. Может, что-то разладилось в зазроевской системе и ему срочно нужен компаньон с незапятнанной репутацией?

Гавриил Романович думал о собственной репутации безо всякой гордости, как о самом обыкновенном своем свойстве — ну вроде как о лысине или скромном животе: да, у него незапятнанная репутация. Потому что сложилась она совершенно естественно, без малейших усилий с его стороны. В каких-нибудь дурацких антиалкогольных лекциях обычно говорится, что волевые люди не пьют — то есть подразумевается, что всякого человека неудержимо тянет пьянствовать, но некоторым удается чрезвычайным волевым усилием эту тягу перебороть. Гавриил же Романович никогда подобной тяги не испытывал, наоборот, в гостях его приходилось уговаривать выпить рюмку. Точно так же никогда не тянуло

его к преступлениям; не потому он не ворует и не берет взяток, что это карается законом, а потому, что это нормально — не воровать и не брать взяток, чтобы совершить подобное, ему пришлось бы сперва совершить насилие над собой. То же самое относится к клевете, анонимкам и тому подобным приемам научной и служебной борьбы. Поэтому, на его взгляд, незапятнанная репутация — нормальное человеческое состояние, не нужно никаких усилий, чтобы сохранять ее,— наоборот, нужно приложить усилия, чтобы потерять репутацию! Из физики известно, что всякая система, если не прилагать к ней внешних сил, приходит в состояние, при котором энергетические затраты наименьшие. Вот и честное состояние наиболее естественно для человека, наиболее экономно и физически, и психологически. А Зазроев прикладывал сейчас то самое внешнее усилие, которое призвано вывести Гавриила Романовича из естественного честного состояния. Но Гавриилу Романовичу решительно не хотелось переходить из устойчивого честного состояния в такое неустойчивое нечестное! Сначала навесить себе на шею какую-нибудь из бойких партийных историчек, потом запутаться в махинациях с приемными экзаменами — и ради чего?.. Когда-то молодому Гаврику его дядюшка-*вольтерьянец*, по семейной репутации, рассказывал, как некий новый советский генерал соблазнял поэтессу — известную! На каковые соблазны поэтесса вместо глупых женских ужимок: «Как вы смеете?.. Кто вам дал право подумать?..» — хладнокровно заметила: «Удовольствие сомнительное, а неприятностей потом не оберемся». И пыл генерала тотчас угас: действительно же — сомнительное, действительно — не оберешься... Но философствовать при Зазроеве на тему о сомнительности удовольствий смысла не имело.

— Занят я сегодня, Сослан Сосланович.

— Почему сегодня? Всегда! Дача — всегда, бляди — всегда!

— Работаю я обычно по вечерам. И жена у меня ревнивая.

— У всех жена! Для жены всегда заседание ученого совета. Или комиссия приехала. Жены не понимают, что нужно переключаться. И наука подтверждает, сам академик Павлов: что надо чередовать работу и отдых. Немножко работать — немножко жить.

Зазроева окликнули, и Гавриил Романович с облегчением распрощался. Думал ли Павлов, что у него найдутся подобные последователи?..

Но, может быть, для того и приехала комиссия? Для того и наводит Андропов порядок? Чтобы появились наконец и у нас хорошие инженеры и хорошие машины! А для этого необходимо очиститься от бесчисленных зазроевых, которые пролезли всюду!

Пойти и рассказать — про блат, про взятки! Документальных доказательств у Гавриила Романовича нет, но доказательства пусть ищет комиссия — на то она и послана. Никаких низменных мотивов у него нет — ни корысти, ни мести,— просто справедливости хочется! А раз низменных мотивов нет — значит, он поступит нравственно.

Комиссия разошлась по всему институту, но в кабинете проректора по АХЧ, как слышал Гавриил Романович, заседает дежурный член и выслушивает всех желающих. Можно пойти — и утолить свою природную жажду справедливости.

Совершить наконец хоть какой-то поступок.

Только не раздумывать слишком долго — вот взять и пойти!

Кабинет проректора по АХЧ находится на втором этаже в самом людном месте — там рядом и приемная ректора, и партком, и профком. Не очень удобно заходить. А если бы комиссия принимала в темном углу — было бы честней красться туда яко тать в нощи? Но все-таки странно — взять и зайти у всех на глазах. А вдруг там очередь? Нет, если очередь, он стоять не станет!

В ректорском коридоре сновали люди, и только одна фигура выделялась неподвижностью — Нинуша! Стоит в мечтательной позе, как раз наискосок от нужной двери. Или Нинуша тоже собралась в комиссию?

Спросить прямо, не ждет ли она очереди в комиссию, Гавриил Романович не решился и заговорил незначаще, как о погоде:

— Чего это вы здесь прохлаждаетесь? Не привык видеть вас без дела.

— Да так... Слышали новость? Александра Яковлевна наша благополучно защитилась вчера.

Он не сразу сообразил, что Александра Яковлевна — это Колонна. Еще раз подтвердился известный закон, что слухи в лаборантской среде распространяются быстрее.

— Ну что ж, это было неизбежно.

А он-то собрался спасать институт от Зазроева! Да станет Колонна заведовать кафедрой — она наделает инженеров! Наделает — из тех, кто поступил совершенно честно, без всяких взяток.

— Бог с ней, Колонна наша незыблема. Расскажите лучше, как ваша Марина? Поймала наконец снежного человека?

— Йети. Они называются — йети... Они уже встретили человека, который видел свежий след. Это в последнем письме. Теперь пошли туда, где видели след. Совсем дикое место. Я так беспокоюсь!

— Да уж, нам здесь и вообразить трудно, что где-то сохранились дикие места... А вы здесь тоже будто этого Йети высматриваете?

Очень удачно получилось: спросил как бы в шутку — и почти в лоб. Нинуша покраснела и зашептала:

— Меня Григорий Петрович просил постоять. Запомнить, если кто зайдет в комиссию.

Вот это да! Григорий Петрович — секретарь парткома. Гавриил Романович и забыл совсем, что Нинуша — партийная.

— Но разве хорошо? Это вроде слежки.

— А с доносами ходить — хорошо?

Собравшись в комиссию, Гавриил Романович как-то не примерил к себе такое слово — «донос».

— Доносить нехорошо, но и следить нехорошо. Одно другого стоит.

— Нет, доносить хуже! Не пойдут первыми с доносами, так и следить ни за кем не придется.

Известная софистика — мол, честному человеку нечего скрывать! И давайте подслушивать, подглядывать, перлюстрировать письма.

Теперь-то уж зайти в комиссию сделалось невозможным! Не то что бы Гавриил Романович испугался, но не мог же он выглядеть доносчиком в глазах Нинуши!

— А если кто-то придет рассказать о настоящих недостатках? — спросил он, подначивая.

Решившись не идти, он сразу повеселел.

— В настоящих недостатках нужно разбираться самим. Министерство нам их за нас не исправит.

Гавриил Романович по-новому взглянул на Нинушу — и очень зримо представил ее Марину, выслеживающую снежного человека.

— Ну-ну, кого-нибудь вы непременно выследите,— сказал он и пошел.

Вот и еще один *абортивный поступок* в его жизни.

А может быть, и к лучшему? Ну что бы он сказал? Передал сплетни? Единственный факт, который он может привести: то, что приняли все-таки эту *позвоночницу*, чью-то дочку — он уже забыл, чью. Так ведь сам же он все-таки поставил ей тройку — не двойку, а с тройкой принять можно. Нет, надо было самому вовремя ставить ей честную двойку, а потом уж ходить по комиссиям. Самое забавное, что тогда, во время экзамена, и тройка казалась смелым шагом. Это надо запомнить — себе в назидание: *вчерашняя смелость сегодня может показаться трусостью!*

Правильно сделал он, что не пошел в комиссию,— правильно. Попытки писать жалобы и искать правды — это рецидивы детской веры в каких-то абсолютных жрецов справедливости, воплощающих закон и само государство, а потому лишенных собственных человеческих слабостей. Чтобы существовали такие, нужно посадить судьями Нинушиных инопланетян. А пока судят земные люди, ничем не отличающиеся по своему устройству, по своим потребностям от подсудимых, всякий суд, всякое разбирательство — всего лишь перетягивание каната. И ведь понял это еще Гаврик Гнездилов, рано понял — и поди ж ты, чуть не случился теперь рецидив детской болезни...

Зимой в начале сорок второго он шел по Садовой к Неве. Едва тащился сам и тащил санки с бидоном, чтобы набрать воды. И вдруг заметил деревянный щит, неплотно прикрывавший подвальное окно — так неплотно, что можно было оторвать! Щит — это топливо, тепло — жизнь! Топливо тогда значило почти то же самое, что хлеб. Хотя на вид щит едва держался, оторвать его оказалось делом очень трудным для обессилевших рук, да еще без всякого инструмента. И все-таки щит поддался — не силе, а упорству, тогда все одолевали только упорством. Гаврик уложил щит на санки — подгнивший, а потому вдвойне тяжелый,— сверху поставил бидон, пока еще пустой, и потащил было дальше свой перегруженный прицеп.

— Ты что это, паршивец, мародерствуешь?!

Милиционер сзади!

— Дяденька, я нашел, он валялся...

— Врешь! Маленький, а туда же — мародер! А знаешь, что́ за мародерство полагается?! Дай сюда!

— Дяденька, я нашел, правда...

Милиционер сбросил бидон — хорошо, что еще пустой, а ведь не поколебался бы сбросить и полный! — взял щит.

Гаврик подумал в первую минуту, что милиционер заставит приколачивать щит на место. Это было бы страшно обидно, но все-таки справедливо: ведь нужен был зачем-то щит на своем месте. Но милиционер, пригрозив на прощание, пошел прочь, опираясь на щит, как на палку. Гаврик, несмотря на угрозу, потащился следом, ноя на одной ноте:

— Дяденька, отдай... дяденька, мы замерзнем... дяденька, нам топить нечем...

Милиционер оглянулся только один раз:

— Замолкни, ты! Мародерствовал? Вот сдам куда надо!

И свернул с Садовой в сторону Русского музея.

Наконец Гаврик понял: милиционер потащил щит к себе домой, растапливать собственную буржуйку!

Это было как крушение всего миропорядка. До тех пор Гаврик не задумывался, как живут милиционеры, кто они такие,— они воплощали для него абстрактную справедливость, они не имели собственных интересов, собственной корысти, пожалуй, даже собственной семьи; единственной их целью, единственной радостью было соблюдать законы, охранять тех, кто живет и работает по закону, и карать преступников, крупных и мелких, осмеливающихся законы нарушать!.. И вот стройный миропорядок рухнул в одну минуту: милиционер — это обыкновенный человек, только что в особенной шинели, он так же хочет есть и согреваться, у него такая же голодная семья, и он так же готов обидеть слабого, отнять у него дрова или хлеб... Не то что бы он так сразу сформулировал свои мысли — но почувствовал, что прежнее ощущение защищенности со стороны государства, ощущение, сохранявшееся даже в блокаду,— исчезло. Стало еще холоднее и страшнее существовать...

* * *

но как все-таки быть со смыслом жизни

если цель жизни сама жизнь если все сводится к получению удовлетворения пусть самого высшего порядка то есть к разумному эгоизму

то существование слабого человека могущественного галакта и самого бога-творца принципиально не отличается друг от друга

говорят пушкин когда написал что-то прыгал от счастья и кричал ай да пушкин ай да сукин сын

а бог сотворив мир увидел что получилось хорошо

жизнь доставляет удовлетворение или страдание это ее субъективная сторона

но всякое существо всякий человек тем более могущественный галакт что-то меняют в мире

эти изменения мы совершаем и своей волей когда что-то творим и даже помимо воли самим фактом своего существования

изменения мира его развитие это объективная сторона это смысл нашей жизни не связанный с разумным эгоизмом

зачем вселенная движется существует развивается

зачем бог создал мир

не только же для того чтобы увидеть что получилось хорошо

ни одно святое писание на этот вопрос не отвечает

читателям библии видимо вполне достаточно узнать что бог остался доволен

не будем даже касаться вопроса что это за бог который остался доволен столь несовершенным миром

сознавать что своим существованием мы посильно меняем мир независимо от собственных страданий и удовольствий это значит находить в жизни смысл

это значит подняться на первый элементарный уровень в поисках смысла жизни

но следующий уровень постараться понять зачем существует сам мир зачем он развивается

или хотя бы задать этот вопрос

задать вопрос размышлять а не перекладывать его на всеведущего бога

тем более что само чисто человеческое удовлетворение которое бог-творец испытал после своей работы заставляет сомневаться в его всеведении

библейский бог из-за своего земного удовольствия сразу же становится таким же антропоморфным как всякие зевсы и перуны так что христианство на самом деле ничем не отличается от язычества

задают ли галакты себе вопрос зачем существует и развивается вселенная

несомненно

а вот известен ли им ответ

если да то какой

14

Колонна все не возвращалась после успешного штурма диссертации. По этому случаю Рывкин поручил Гавриилу Романовичу принять экзамен в единственной дневной группе, которую она вела,— в основном-то у нее вечерники.

Для разговора Рывкин пригласил Гавриила Романовича к себе в кабинет. Давно ли здесь же происходила встреча с американцами, когда Рывкин был ненатурально игрив и изъяснялся как бы не совсем по-русски, называя Гавриила Романовича «коллега Гнездилов»,— теперь же профессор говорил вкрадчиво и витиевато, что, вообще-то говоря, идет ему куда больше.

— Только я вас очень прошу, Гавриил Романович, прошу вас...— профессор затруднился в поисках слова,— прошу вас, проявите такт. Чтобы не возникло у молодых людей чувство безнадежности, не возникла боязнь нашего предмета. Вы меня понимаете?

Гавриил Романович все понимал: Рывкин прекрасно знает, на каком уровне преподает Колонна, и согласен выпускать инженеров, слабо оснащенных математикой,— лишь бы

не портить отношений с академиком Окунем. Да, только кажется, что так уж завидно быть профессором, а получается, что во многих отношениях Рывкин зависим куда больше, чем скромный ассистент Гнездилов... Но вот интересно, будь Рывкин начальником альплагеря, например, выпускал бы он из дипломатических соображений группы на восхождение под руководством негодного инструктора? Вопрос, разумеется, совершенно риторический, тем более, что знающие люди утверждают, что практическому инженеру на заводе математика вообще ни к чему.

Гавриил Романович посмотрел на своего профессора почти с жалостью и успокоил:

— Постараюсь, чтобы не возникла боязнь предмета, Иосиф Абрамович.

— Вот и отлично, вот и отлично! Пробелы всегда можно ликвидировать, когда жизнь заставит, а боязнь — это безнадежно. Вроде как в школе умеют отбить любовь к литературе. Я сужу по собственным детям.

О собственных детях Рывкин может говорить очень долго.

Накануне экзамена Гавриил Романович дал консультацию.

Когда идешь в чужую группу, всегда испытываешь некоторое напряжение: каким ты покажешься этим незнакомым ребятам?

Вроде бы взаимоотношения определены четко: преподавателю предстоит вершить экзаменационный суд, студенты зависят даже от его прихотей и настроений — но Гавриил Романович и сам всегда чувствует зависимость. Правильно сказал недавно Антон: отцы боятся детей, боятся показаться несовременными. Гавриил Романович может формально справедливо наставить двоек — и при этом показать себя старым идиотом. Приговор этих двоечников, путающихся в элементарных производных, почти невозможно будет обжаловать. А для него почему-то очень важен приговор неопытных невежественных молодых людей, часто несимпатичных ему хипповатых молодых людей! Парадокс: от них, невежественных и несимпатичных, он в моральном плане зависит гораздо больше, чем от уважаемого прямого начальника профессора Рывкина. Начальники, в том числе и Рывкин, могут устроить служебные неприятности, но неспособны выносить моральные приговоры, а эти безымянные пока еще молодые — могут, потому что выносят приговоры не сами по себе, а от имени поколения. Поколение же Рывкина, собственное Гавриила Романовича поколение, ему неинтересно: это поколение уже безнадежно, поколение рабов, вся надежда на молодых, когда они войдут в силу, то, может быть, лет через двадцать что-то изменится в стране — если только теперешние наставники и этих не воспитают рабами...

Группа смотрела настороженно. Знают они, что слабые, знают и боятся незнакомого экзаменатора — не подозревая, что тот сам ощущает зависимость от них.

Важно сразу взять верный тон. Неформальный.

— Ну что, уважаемые коллеги,— Гавриил Романович вспомнил, как вел себя Рывкин при американцах,— что вы знаете — то знаете, а чего не знаете, того мы за два часа пройти не успеем.

Несмотря на общую напряженность, кто-то рассмеялся.

— Всего не знает никто, кроме господа бога, и плохой инженер отличается от хорошего тем, что не умеет пользоваться пособиями. По тому же принципу я буду отличать плохих студентов.

Группа загомонила. Слышались слова «учебники... конспекты...».

— Совершенно верно, я разрешаю пользоваться учебниками и конспектами,— подтвердил Гавриил Романович, гордясь собой.— Но коварство мое в том, что я не вижу смысла спрашивать по программе. Когда программу нарежут в лапшу, это называется билетами. Конечно, прочитав учебник, легко пересказать нужный параграф. Но бессмысленно.— Теперь слушали настороженно.— Знание математики — не самоцель, а способ решать задачи. Вот и будем решать на экзамене задачи. Кто ориентируется в предмете, кто, получив задачу, найдет в учебнике нужную теорему, нужные преобразования,— тот и молодец. А кто не знает основ, тому, должен разочаровать, не поможет никакой учебник на столе.

Гавриил Романович ощущал успех. И ведь он не заискивал перед молодежью, он говорил дело — но так на кафедре еще никто не принимал экзамены, и он явился смелым реформатором! Да, в других странах любимцы народа выступают на митингах, и молодежь рукоплещет безумным идеям. У нас такого не будет никогда, у нас Рывкин испугается, когда до него дойдет весть, каким способом Гнездилов принимал экзамен. Пусть пугается.

Гавриил Романович возвратился домой скромным триумфатором. Впрочем, Ватина его сразу же приземлила:

— Наша Тамара Федоровна колбасу достала копченую. Вот тебе вопрос на засыпку, экзаменатор: где люди копченую колбасу достают?

Сравнила — колбасу с математикой! И вообще, Гаврику с детства внушили, что разговоры о всяких доставаниях — когда не о блокадном голоде речь,— равно как о деньгах, почти так же неприличны, как о половых проблемах. Вообще-то довольно извращенные приличия: еда, деньги и секс занимают человека больше всего. И все-таки Гавриил Романович и до сих пор досадует, слыша такие разговоры. Интеллигентные люди

должны беседовать о науке и искусстве, о моральных проблемах. В надежном кругу — о политике. Даже и муж с женой. А Ватина этого не понимает.

— Вот если бы ты мог в своем институте запчасти доставать, всегда бы у нас и колбаса была, и икра! А то что за автомобильный институт, в котором запчастей не достать! Тамара Федоровна не понимает.

— Тебе бы мужа вроде нашего Зазроева! Уж он-то все на все обменяет.

— Современный человек. Я вообще-то не люблю черных, но устраиваться они умеют. Не то что наши лопухи русские.

Наши кавказцы и азиаты для Ватины «черные». Что бы она говорила, живя в Америке?

Продолжать не стоило — а то дошли бы и до евреев, и до эстонцев. Очень кстати зазвонил телефон. Ватина сняла трубку.

— Пришел... Иди, Снитковский твой третий раз трезвонит. Не иначе, очень чего-то нужно. Только если сюда хочет подкинуть свою собаку, я не согласна! Они для нас ничего не делают — только мы.

Славка торжествующе закричал в трубку:

— Слушай, ты принимаешь группу Колонны?! Ну, она дала маху, что не вернулась к сессии! Ты ж завтра завалишь девяносто процентов! А она потом будет лезть на заведование?! Смешно!

О таком повороте Гавриил Романович как-то не подумал. О том, что завтрашние оценки — аргумент при избрании Колонны в заведующие. И если завтра он, человек объективный, наставит четверок и пятерок, Колонна будет этим козырять.

И все-таки нечестно вымещать на студентах свои кафедральные контры. Это то же самое, что заваливать диссертанта, чтобы испортить репутацию его руководителю. Вроде бы метод почти узаконенный, но...

— Что заслужат, то и поставлю.

— Известно, что́ они могут заслужить!

— Я сегодня консультировал — симпатичные ребята. Обещал, что дам решать задачи. Самый объективный критерий.

— Что ты! Надо их прогнать по всей программе! Упустить такой случай! Ты же мостишь дорогу Колонне!

— Если не решат, получат свои двойки. А если решат, значит, и Колонна их чему-то научила.

— Нет, надо бить наверняка! Думаешь, она бы стала миндальничать?! А сам Окунь! Они еще устроят у нас русскую математику — без инородцев!

Разумеется, Гавриил Романович не любит антисемитов. Но и евреи слишком мнительны, им мерещатся гонения там, где ничего подобного и в помине нет. Действительно, Колонна мечтает выжить Рывкина, но не за национальность, а за то, что занимает завидное место. Сидел бы на этом месте Иванов, она бы и Иванова точно так же подсиживала!

— Я до их уровня опускаться не буду. Кто сколько баллов заслужит — тот столько и получит.

— Виляешь! Скажи прямо, что решил заранее выслужиться перед будущей завшей!

И Славка бросил трубку.

С ним бывает: взбредет что-то в голову — и не слушает никаких резонов. Ничего — пошумит и забудет. Гиперболоид.

* * *

соотношение свободы и несвободы вот вопрос вопросов

прекрасно когда открытые границы когда полная свобода путешествовать

но этой свободой пользуются преступники свободно везут через границы наркотики

у нас границы закрыты от этого масса неудобств и унижений но зато практически нет наркомании

жесткая паспортная система ведет к несвободе но отсутствие паспортов и прописки позволяет легче скрываться гангстерам

свободная продажа оружия в америке вообще дикость ни один галакт не станет иметь дела с существами свободно стреляющими друг в друга

впрочем еще большая дикость свободная продажа алкоголя и табака которые убивают гораздо чаще чем все оружие в мире

просто мы привыкли к торговле водкой и она кажется нам нормальным делом а американцы точно так же привыкли к торговле оружием

всякий обычай даже самый нелепый и жестокий воспринимается средним человеком как законный и естественный обыденность маскирует нелепость и жестокость

выходит человечество в своей массе не созрело для многих свобод

я это понимаю и я против дарования неразумным людям слишком широких свобод

я за полную несвободу употребления сильных наркотиков

я за разумное ограничение свободы употребления алкоголя и табака если уж невозможен сразу сухой закон

свобода всякого браконьерства всякого уничтожения природы тоже недопустима
на территориях гораздо больших чем нынешние заповедники нужно вообще запретить всякий туризм
нужно уничтожить дикарскую свободу производить шум когда один мотоциклист один обладатель магнитофона отравляет жизнь целого квартала
чем выше плотность населения тем больше должно быть несвобод чтобы жизнь оставалась сколько-нибудь сносной
скоро даже неразумные человеческие правительства будут вынуждены ограничить свободу деторождения чтобы приостановить вытаптывание нашей маленькой планетки
вот сколько несвобод необходимо в цивилизованном обществе
но ведь и партия против многих свобод под предлогом что они ведут к анархии и росту преступности
почему же партия мне так неприятна почему я против тех стеснений свободы которые проводит она
потому что партия прежде всего против свобод интеллектуальных свобод гражданских то есть именно против тех свобод которые только и достойны цивилизованного человека
партия практически не мешает пьянствовать и браконьерствовать но запрещает читать многие книги запрещает свободно высказывать многие идеи
партия права когда провозглашает что неограниченная свобода невозможна что это анархия
но затем совершает жульническую подмену и ограничивает не те свободы которые опасны для существования самой жизни на земле а те которые ослабляют власть самой этой партии
свобода информации свобода мировоззрения свобода творчества вот суть главные духовные свободы которые должны быть абсолютными
это безусловно универсальные ценности для любого разумного существа во вселенной
именно эти свободы и подавляются партией и всем нашим строем
потому строй наш аморален с галактической точки зрения
точно так же во всей вселенной должна существовать несвобода всякого варварства
чем более могущественно галактическое племя тем более оно должно быть осторожно в приложении своего могущества
то есть самоограничивать свои физические силы
в пределах своей планеты человек уже обладает неограниченными разрушительными силами
я имею в виду не столько атомное оружие даже сколько другие возможности постепенного но неуклонного уничтожения природы
полная свобода разума и сугубая осторожность то есть несвобода действий вот вселенская нравственность

* * *

Гавриил Романович так сосредоточился на своих мыслях — и писаниях,— что с трудом пробились в его сознание взволнованные речи Ватины:

— ...ты только подумай! Только что мне позвонили! Тамара Федоровна наша! Тамару Федоровну ударил грузовик!

— Что ж она — не там переходила? — с досадой спросил Гавриил Романович.

До него еще не совсем дошло трагическое содержание происшествия, он испытал сперва только досаду на непрошенное вторжение в его мысли.

— Почему — переходила? Я же говорю: она ехала к нашей Надежде Васильевне на именины! Я тоже должна была поехать, да раздумала почему-то.

— Ты сказала: ее «ударил грузовик». А не машину...— Наконец до него дошло окончательно: — И как она? В каком состоянии?

— В больнице. В тяжелом! В отчаянии вся семья!

Надо было сказать что-нибудь приличествующее случаю. На самом деле Гавриил Романович нисколько не был опечален. Ну не был, и все тут — хотя понимал, что полагается искренне опечалиться. Эту Тамару Федоровну он всегда чуть-чуть недолюбливал издали: потому что Ватина часто ссылается на нее как на довольно-таки высокий авторитет. Вот муж ей не авторитет, а какая-то Тамара Федоровна — авторитет.

И совсем уж нелепая мысль: что для семьи Тамары Федоровны наступает на какое-то время — может быть, надолго — совсем другая жизнь: дежурства в больнице, консультации со светилами, добывания лекарств. Совсем другая жизнь — тяжелая, но в ней разнообразие, в ней уход от ежедневной монотонности существования, в ней высокий смысл — подвиг любви.

— А ведь она звала меня вместе ехать. Представляешь, и я бы сейчас!..

Не представлял. Потому что, как давно известно, с ним ничего не случается. Поскользнуться на банановой кожуре — вот самое невероятное происшествие, какое может с ним произойти.

— Если бы вы поехали вместе, она бы за тобой заехала. Или ждала бы тебя. В общем, в нужную секунду вы не оказались бы на том месте, где она одна столкнулась с грузовиком.

— «В нужную»! Вот уж совсем ненужная была секунда!

— Ненужная, конечно, ненужная.

Оговорки ведь многое значат. Потому что — проговорки. Значит, нужна ему такая секунда — чтобы что-то случилось!

Он не хочет ничего плохого Ватине — упаси бог!

Если бы при нем она бы стала, например, тонуть, он бы бросился спасать ее, не думая о себе.

Но ведь случается — и многое — не на глазах... А тогда бы он преданно ухаживал за нею!

Но ведь гибнут иногда и любимые жены... И гибель их, как ни горько сказать, еще и разнообразие, еще и перемена в жизни. Отчаяние — тоже разнообразие.

Но с Гавриилом Романовичем никогда ничего не случается.

И если на минуту сделаться мистиком, можно счесть, что потому-то и не случается, что Гавриил Романович этого не хочет! Всей силой своего подсознания — не хочет перемен. Не хочет сильнее, чем семья Тамары Федоровны, ее близкие, которые допустили возможность трагического происшествия, потому что слабо противились переменам.

А Гавриил Романович — не хочет! Хоть и ропщет на монотонную свою жизнь.

Так ведь и бывает: устать от неподвижности, броситься в перемены — а после жалеть о невозвратимой надежной скуке жизни.

Но и сколько можно ее вытерпеть — скуку?..

— Ты ее навести. Спеки чего-нибудь. У тебя ведь многие ее рецепты — на вооружении.

— Да уж сообразила бы как-нибудь сама, без твоей подсказки. Как выведут из реанимации...

Слово-то какое — «реанимация». Не изобрели такого во времена Дюма, а то он бы точно написал роман о приключениях в реанимации — и все бы зачитывались, не отрываясь.

15

Гавриил Романович шел не спеша к метро. Вышел он, по обыкновению, на пять минут раньше, даже на семь, потому можно было не торопиться. Тем более — скользко. Утренний человеческий поток тек туда же, большинство людей шагали быстрей, и чтобы не затолкали, он держался с краю дорожки. Вдруг прямо по газону, по снежной целине пробежала девушка — Гавриил Романович не успел заглянуть ей в лицо, но по всему облику видно было, что молодая. Бежит, шубка нараспашку. Она была другая, не похожая на людей в потоке, не верилось, что опаздывает она на работу: на работу бегут целеустремленней, злей, а девушка словно летела. Гавриил Романович невольно смотрел ей вслед, сам нарочно шагнул на целину, чтобы девушка не потерялась за спинами идущих. Она подбежала к телефонным будкам у станции и *упала в объятия* шагнувшему ей навстречу мужчине. Хорошо раньше писали: именно *упала в объятия* — беспомощно и беззаветно.

Никуда они не спешили, эти двое. Гавриил Романович дошел до них, поравнялся, прошел мимо, оглянулся — они все стояли. Никуда не торопились, но она бежала к нему, бежала, чтобы упасть в объятия на несколько секунд раньше.

Гавриил Романович позавидовал ей, позавидовал ему. И подумал, что для девушки, бегущей в объятия, смысл жизни очевиден. Вопросы «А зачем? Ну и какой толк?» возникают только тогда, когда слабеют силы и вянут чувства. Жизнь — это жизнь, она не нуждается ни в каких оправданиях, смысл ее — в ней самой...

Студиозусы явились на экзамен с букетом цветов. С хризантемами. Зимой это дорого. Обычай рождается на глазах и вызывает дискуссии в преподавательской. Одни рассматривают цветы как красивую разновидность взятки, другие уверяют, что букет перед экзаменом — всего лишь дань бескорыстного уважения. Гавриил Романович безусловно солидарен с первыми: просто смешно обольщаться разговорами о бескорыстном уважении! Ребятки надеются чуть-чуть сдвинуть равновесие в свою пользу: когда возникнет сомнение, тройка или четверка, то экзаменатор посмотрит на букет, и рука сама выведет четверку! Беда только в том, что, когда букеты сделаются всеобщим правилом, уже не останется надежд что-то выиграть, но появится страх проиграть: экзаменатор обидится, не получив цветов, и начнет свирепствовать. Искательство заразительно и непрерывно взвинчивает цены: каждый льстец должен превзойти предыдущего — это как инфляция, которая неизбежно раскручивает сама себя.

В дарительницы группа выдвинула самую симпатичную девицу. Когда-то именно такие, златокудрые и длинноногие, казались юному Гаврику недостижимым идеалом. Теперь Гавриил Романович смотрит на них с грустным сожалением, а на экзаменах допрашивает чуть строже, чем толстых куриц: а то привыкли выезжать на обаянии!

— Мы хотим для того, чтобы выразить уважение... Что экзамен — праздник, а не неприятность...— лепетала девица.
Удачно она проговорилась, нашла точное слово: именно *неприятность*, неизбежная неприятность студенческой жизни — все равно как ежемесячные недомогания у женщин. А то — *праздник*! Надо ж додуматься... До чего лицемерная страна — привыкли праздновать повинности!
Гавриил Романович взял букет и по-базарному взвесил на ладони:
— Да, рубликов на двадцать пять потянет по случаю зимы. Скидывались, значит, ради экзамена? Ну, поскольку я не дама и не артист, то принять не могу.— Он насмешливо оглядел удрученные лица студиозусов.— Но и не выкидывать же. Решим так: букет этот присудим прекрасной представительнице группы — но не за красоту, а за лучший ответ. Роль Париса я присвою себе. Ну, заходите все разом.
Систему приема он придумал вчера, вспомнив читанную когда-то книжку по психологии. Из книжки запомнилось понятие об «уровне притязаний» — на успех, на место в жизни. Одна из определяющих характеристик личности — уровень притязаний. Неизвестно, принимал ли кто-то когда-то так экзамены, во всяком случае, Гавриил Романович додумался сам.
— Значит так, попрошу всех сложить ко мне на стол зачетки, но с разбором: на этот угол — тех, кто скромно претендует на тройку, на этот — кто рассчитывает смело на пятерку, а в середину — претендентов в четверочники. Прошу.
Наступило всеобщее замешательство. Потом кто-то спросил, маскируясь за спинами:
— А если кто на двойку претендует, тому куда?
— С подобными претензиями не было смысла приходить вообще.
Замешательство все длилось. Наконец встала девица-дарительница, улыбнулась Гавриилу Романовичу и положила свою зачетку на середину. И народ двинулся. Вообще-то Гавриил Романович опасался, что все дружно продемонстрируют скромность и благоразумие, выказав четверочные претензии,— но нет, он недооценил раскованность современной молодежи: объявилось шесть претендентов в пятерочники, а три запуганного вида девицы приткнулись к троечному углу. Ну и большинство в середине — классическое распределение Гаусса.
— Прекрасно. Теперь все получают задачи соответствующей сложности. Кто решит — может получить свою отметку и уйти. Или попросить задачу из более высокого балла. Но рискуя уже достигнутым. Кто не решит — соответственно, получает задачу из более легкого класса. Теперь, как договаривались, доставайте свои пособия и действуйте. Только уж извините, но я поприсутствую, чтобы каждый решал по возможности самостоятельно. Я проверяю ваше умение пользоваться литературой, а не крепость ваших дружеских уз.
Студиозусы уткнулись в учебники. Гавриил Романович ждал.
Не потому ли придумал он эту систему, что собственный уровень его притязаний выше, чем нынешнее скромное его положение? А «Гаврилиада», в которой он берется разрешать чуть ли не все мировые проблемы!.. Вот только какую роль выбрал бы он себе — если отбросить вечный страх перед защитниками окаменевших марксистских догм: проповедника ли, мнящего наставить наивное человечество, или молчаливого всепонимающего наблюдателя?
— Можно уже отвечать?
И дело пошло. Большинство довольствовалось достигнутым и не претендовало на прибавку. Красавица-дарительница, когда он предложил ей попробовать пятерочную задачу, отмахнулась:
— Что вы, мне этот балл — как архитектурное излишество!
Излишества в ней природные — а потому архитектурные действительно ни к чему.
Остался наконец последний молодой человек. Зачетка его красовалась в пятерочном углу. Чего он тянет? Запросил слишком?
Но молодой человек, оставшись наедине, спокойно положил листок с решением на стол. Как бы даже небрежно.
— Вот.
От всех студентов так или иначе исходила почтительность: ведь их судьба хоть на минуту, но оказалась в руках Гавриила Романовича. А для этого — чувствовалось — экзамен совсем не событие.
Гавриил Романович молча взглянул, удостоверился, что решено правильно. Молча же вписал в зачетку «отлично».
Заговорил первым уверенный в себе студент:
— Вы их извините, Гавриил Романович, за букет. Нечестный тоже ход: букетики дарить. Тайком от меня скинулись, догадались, что я бы не дал. Здесь по-честному мало кто жизнь понимает. Вообще жизнь.
Неожиданный сюжет для экзамена!
— А вы, стало быть, понимаете?
— Пришлось. Я в Афгане был, там научат.

До сих пор Гавриил Романович старался не думать про Афганистан, про тамошнюю необъявленную войну. Благо ни в газетах почти ничего, ни по телевизору: промелькнет изредка несколько слов про «ограниченный контингент, временно находящийся на территории», а что контингент на территории делает — непонятно. Самый этот штамп, такой же застывший, как когда-то «и примкнувший к ним Шепилов», дает понять привычному к иносказаниям советскому человеку, что вопросы задавать бесполезно и даже опасно. К тому же раздражала математическая бессмыслица: «ограниченный контингент»! Неограниченных вообще не бывает, вся наша армия, хотя и ужасно велика, но тоже в конце концов ограничена; само число атомов во вселенной конечно — и тем самым ограничено. Появление подобных зловещих штампов лишний раз доказывает только одно: что личности, нами правящие, тупы и ограниченны. Грустно убеждаться в этом в который раз. Да, ничего не изменится в громадной стране, терпящей подобных властителей. Мы — безнадежны. Есть предел, за которым катастрофа уже необратима, в астрономии это *черная дыра*. Вот и Россия свалилась в какую-то черную дыру истории...
И вот впервые перед ним парень *оттуда* — из Афганистана.
— Там научат. Когда убитых видишь — и своих, и ихних. Да вы не бойтесь, я не затем, чтобы ужасами пугать.
Ни у парня, ни у Гавриила Романовича не возникало сомнения, что парень, студент, имеет право на покровительственный тон.
— Меня ничем не напугаешь, я всю блокаду здесь прожил.
Какое счастье, что Гавриил Романович имеет право так ответить! Счастье, что прожил всю блокаду?! Выходит — счастье...
— А-а, то-то вы так... Я ведь почему заговорил? Потому что вы не прикидываетесь. Я теперь любого насквозь чувствую, кто прикидывается, строит чего-то из себя. Кто бы еще так экзамен устроил — с книгами в руках? А то всякий требует, чтобы ему шпарили наизусть, а сам в книжку подглядывает. Да не про экзамены я... Вернулся, а тут разговоры все: про шмотки да про жратву. И воруют все — по-черному. Готовы домну по домам разнести! У нас тоже были придурки тыловые — шерсть, гашиш вывозили военными грузами. Даже в гробах запаянных. У нас тоже один — уехал вовремя. Но ребята поклялись: хоть под землей найдем, хоть в тундре! Сколько ребят в цинковых костюмах уехали, а этот весь в фирме контрабандной, да с миллионом?! Достанем!.. Здесь в Союзе тоже таких полно. Андропов начал наводить порядок, да мало. Сам заболел теперь, или подсыпали ему чего — те, которые насосались тут при бровастом. Подсыпали да радуются теперь?! Рано радуются: мы Андропову поможем, если надо. Мы — афганцы. От судов с милицией они привыкли откупаться, а нас не купишь, мы с ними разберемся прямо, без судов — по справедливости!
Гавриилу Романовичу парень нравился все больше — прямотой. Но слушать его было страшновато: что если правда начнут такие вот молодые ветераны, привыкшие к крови, *разбираться прямо*...
— У нас там в Афгане настоящий комсомол, корчагинский, и здесь в Союзе комсомол называется. Прихожу в райком, а там сидит такая контра, что только прямо в расход!
Слова-то забытые — страшные: «контра», «в расход».
Но зачем об этом здесь говорится — на экзамене?
А странный студент продолжал с убежденностью человека, лишь недавно познавшего истину:
— Мы порядок наведем! Здесь в Союзе только врут да воруют, а в Афгане ребята в это время кровь проливают! За державу обидно! Мы что ж там — за себя? Мы за всех проливаем! За державу!
«За всех кровь проливают...» Нет, Гавриил Романович не просил за него кровь проливать. Тем более в Афганистане. И хлопотать *за державу* не просил. Выражение «за державу обидно» всегда было так же неприятно ему, как вопрос «как дошел до жизни такой?», как «взятый на вооружение» рецепт торта. Могут ли существовать стилистические расхождения с существующим строем? Оказывается, могут! Стиль — это человек; тем более, стиль — это строй. Дурной стиль — дурной строй.
Молодой ветеран не замечал растущего отчуждения Гавриила Романовича. Как всякий фанатик, он был занят собой.
— Я сразу увидел, что вы по делу говорите, не притворяетесь. Нам такие нужны. Тем более, вы всю блокаду здесь. Нам по пути с такими старшими, которые думают честно. Мы позовем. Записку пришлем, если что. Вот знак у нас, пароль письменный: «А» в круге.
Для наглядности парень нарисовал условный знак на обороте листка с задачей. Господи, свой знак Зорро изобрели. Дети еще, конечно. Но, быть может, опасные дети.
Гавриил Романович снова взял зачетку ветерана, заглянул на первую страницу: «Сергеев Сергей Иванович». Все очень просто: Сергеев С. И., двадцати примерно лет от роду, готов взять на себя ответственность «за державу». Навести железной рукой железный порядок. Очень честный парень, очень убежденный...
— Желаю вам всего лучшего, Сергей Иванович. Стать хорошим инженером — тоже не так мало. Делать автомобили — чтобы не стыдно за страну. Будут если хорошие машины,

хорошие дома, хорошие продукты — тогда и порядок. И воровать не придется, и врать. Только так.

Но Сергеев усмехнулся с превосходством человека, проникшего в суть вещей:

— Не-ет, на хороших инженерах воду возят. И чтобы было все — и машины, и масло у нас в Воронеже, сначала — порядок!

На столе стояли хризантемы. Гавриил Романович вспомнил, что обещал присудить букет. Заговорился вот — с борцом за порядок...

Но группа ждала в коридоре. Сергеева обступили, слышалось: «Чего он тебя так долго? Цеплял, да?» Гавриил Романович взял цветы, вышел вслед за Сергеевым.

— Ну что ж, колебаться, подобно Парису, мне не пришлось: из всех прекрасных представительниц пятерка только у одной. Держите, мисс сто шестнадцатая группа, и дерзайте дальше.

Пятерочница была девицей довольно-таки неказистой — и с тем большим удовольствием он вручил ей букет. Возможно, первый в ее жизни, а уж такой роскошный — наверное. Девица на минуту даже сделалась красивой — от счастья.

Группа уходила, гомоня на весь коридор. И Сергеев со всеми. Пришлет ли он приглашение с таинственным «„А“ в круге»? Вряд ли. Скорей всего, Гавриил Романович его разочаровал своим назиданием. Ну что ж, не бывать в тайной дружине, которая *разбирается прямо* и наводит порядок, приговаривая без суда всякую *контру*. Еще один *несостоявшийся поступок* в жизни Гавриила Романовича. Но в данном случае можно быть уверенным: слава богу, что несостоявшийся!

В преподавательской налетел Славка Снитковский:

— Ну, какова группочка?!

Гавриил Романович и забыл, что исход экзамена имел значение в кафедральной политике. И теперь сам с интересом разглядывал ведомость:

— Семь троек, три пятерки. Средне, но ничего.

— «Средне»?! Да Колонна и мечтать о таком не могла! Подмаслил ты ей, поздравляю! Теперь жди, отблагодарит!

Славка выскочил, хлопнув дверью.

Вот так, всегда Гавриил Романович сам по себе: к фанатичным мальчикам-афганцам не пристал и даже к скромному заговору против Колонны — тоже. Ну а что он мог сделать, если группа прилично решила задачи? Значит, в чем-то разбираются, чему-то научились — чего еще требовать от инженеров?

А Славка хотя и «беспартийный», по советским анкетным понятиям,— он сейчас в «антиколонной партийке», и эта крошечная народийная партия уже требует принести в жертву высшей справедливости какие-то мелкие интересы каких-то студентов — ну, провалить их всех подряд, ну, отчислить кого-то — зато Колонна не пройдет в профессора. Такова природа всякой партийности.

Да вся история — борьба фанатиков. И значит, Гавриил Романович всегда оказывался бы вне игры...

* * *

все-таки есть же какой-то смысл в общей эволюции жизни

смысл объективный выходящий за пределы ощущений несводимый к любой разновидности разумного эгоизма

может быть каким-то самым могущественным галактам он ясен так же как нам строение солнечной системы

но и мы здесь на земле можем строить гипотезы

живая материя а затем мыслящая материя это новое состояние вещества такое же как твердое тело газ плазма

живая материя достигнув критической массы сделается таким же фактором развития вселенной как термоядерная реакция

и если сейчас видимая вселенная преимущественно состоит из звезд в которых течет термоядерная реакция

то в будущем основную массу будет вероятно составлять живая материя

потому объективной основой и общечеловеческой и вообще галактической нравственности является сохранение жизни во всех видах

потому что жизнь нынешняя природа земная есть зародыш который если не погибнет вырастет в громадную живую галактику

и я тоже в какой-то миллиардной доле ращу будущее громадное вселенское древо жизни

а если ращу сознательно то уже не в миллиардной а в миллионной или даже стотысячной

таким образом можно одновременно представлять неимоверные будущие дали и трепетно относиться к жизни сегодняшней

видеть красоту общего объективного процесса и со всей полнотой переживать радость собственного существования

для девушки спешащей в объятия любимого не существует никаких вопросов
она права
и можно лишь завидовать ей
и нужно лишь завидовать ей

* * *

Ватина принесла новость:

— Ты знаешь, этот наш еврей-сапожник в доме...

— Слесарь.

— Нет, сапожник, я точно помню! Еще алкоголик.

Точно помнил Гавриил Романович, потому что в этом-то состояла вся соль анекдота в милиции: «Профессия? — Слесарь.— А если серьезно?» Подставить «сапожник» — уже не так смешно. Гавриил Романович помнил точно, но спорить не стал, поскольку известно, что Ватина всегда все знает лучше — как партия.

— Этот сапожник каждый месяц получает посылки от родственников в Америке. Этим и живет, а не своими заработками сапожными.

— Ну и что?

— А то, что он спекулирует и живет гораздо лучше тебя с твоим высшим образованием и диссертацией! Так они все и устраиваются.

— Он не спекулирует. Спекуляция — это перепродажа, а он продает подарки от родственников.

— Все равно спекулирует! По сути. Я всегда сужу по сути! И живет куда лучше тебя.

— Ну и что? В конце концов, и мы не нуждаемся. Худо-бедно проживем и на наши заработки, и на пенсию тоже. Ну ездим отдыхать не на Гавайские острова, а в Сочи дикарями. Нашла чему завидовать.

— Я не завидую. Скажешь тоже. Я вообще никогда никому не завидую, пора бы знать! Я в принципе возмущаюсь. Давно пора запретить такую спекуляцию! Непонятно, куда наши власти смотрят.

— Они смотрят, чтобы я не получил лишнего. С моей специальностью я был бы богаче этого слесаря...

— Сапожника!

— ...богаче всех сапожников со всеми родственниками — в нормальной стране.

— Ну, положим, если всем кандидатам прибавлять, чтобы ездили на Гавайские острова, никаких миллиардов не хватит! Но запретить-то ведь просто, чтобы не спекулировали! Никаких расходов, даром.

Надо отдать Ватине должное, у нее иногда вырываются готовые афоризмы: «Но запретить-то просто — и никаких расходов не надо, даром!» В простой фразе целая политика!

16

Гавриил Романович несколько раз возвращался и перечитывал то место в своей «Гаврилиаде», где он написал об инвентаризации всего состава партии, чтобы каждый ее член утверждался в коллективе, в котором работает, и притом тайным голосованием. Разумеется, это не самое важное место в «Гаврилиаде» — для него самого не самое важное, потому что главным образом заполнял он амбарную книгу рассуждениями о мировоззрении, производил, так сказать, другую инвентаризацию — собственных взглядов. Но мировоззрение — сугубо личное его дело. Очень важное дело. Вероятно, каждому сколько-то мыслящему человеку необходимо под старость разобраться в себе самом, осознать, что он думает о жизни и о мире вокруг,— многие так и не удосуживаются этим заняться, довольствуясь обрывками из школьного атеизма, институтского диамата или — в последнее время все чаще — слухами о христианстве и бытовой мистикой. А вот Гавриил Романович решил разобраться в себе — замечательно! И все-таки занятие это чисто личное. Зато вот скромная мысль о всенародном переучете членов партии — мысль эта может иметь общественные последствия!

Вообще, самые значительные последствия имеют только мысли простые, даже банальные. Мысли, понятные каждому. Если уж невозможно совсем избавиться от партии, хорошо бы сделать ее подконтрольной народу — что может быть проще и понятнее?!

И ведь при всей простоте и понятности мысль громадная! Ни на одном посту не мог бы удерживаться человек, не утвержденный народом — «снизу», выражаясь на партийном жаргоне. Сразу изменилась бы жизнь во всей стране. И сама наша невероятно огромная страна — *бескрайняя* — перестала бы выглядеть мрачной крепостью, окруженной железным занавесом, а значит, и весь мир так или иначе изменился бы! От одной мысли...

Эта-то громадность и пугала. Он может сколько угодно воображать себя наблюдателем, судящим о мелких земных событиях с точки зрения галактического разума, но в реальности-то Гавриил Романович Гнездилов — человек самый незначительный, как же смеет он покушаться переменить жизнь всей страны, даже всего мира?!

Зато привлекало привычное советское лицемерие. Громадная мысль — она была по своему строению двухслойной, и эта-то двухслойность, советскость подавала надежду, что мысль может все-таки воплотиться. Хотя бы некоторую надежду... Ведь подлинной своей тайной мыслью о роспуске само́й тиранической партии, которой никогда до конца не отмыться от сталинских преступлений,— этой тайной мыслью Гавриил Романович ни с кем не мог поделиться, не рисковал доверить ее и страницам «Гаврилиады». Зато мысль компромиссную, маскирующую тайную мечту, высказать было можно, призвав на подмогу светящийся со всех крыш и заборов лозунг «Народ и партия едины».

Но неужели такая простая мысль пришла в голову ему первому? Трудно было в это поверить. Наверняка об этом думали *там наверху*, когда стали наводить порядок в брежневском бардаке...

А приятно вообразить хотя бы на минуту: приходишь на общее собрание, и каждому при входе вручают список всех местных членов партии, всех *коммунистов*, провозглашающих приближение земного рая, в котором всем выдадут по потребностям,— ну и для начала спешащих удовлетворить потребности собственные, удобно устроившихся у общественного пирога. Список всех коммунистов местных, плюс прикрепленных к данной организации райкомовских и обкомовских деятелей. И собрание обсуждает! А ведь свои своих знают насквозь — кто в партии ради идеи, а кто ради пирога. Понятно, многие боятся обсуждать откровенно,— но ведь бюллетени в руках у каждого, вычеркивай молча и опускай в урну. При такой системе многие не удержались бы в партии, уж Колонну-то с Зазроевым выгнали бы точно! И сразу можно было бы поставить крест на профессорстве Колонны, сразу вылетел бы из приемной комиссии Зазроев. А сколько их — партийных паразитов, сосущих соки страны! Разве остался бы в партии Романов, если бы спросили простых беспартийных ленинградцев?..

Этого-то и боятся *там наверху:* боятся зависеть от народа, боятся выдать *своих* на суд — пока лишь моральный суд — тех самых масс, которыми привыкли помыкать. А раз боятся, как они отнесутся к какому-то Гнездилову, который полезет с подобным проектом?

Понимал Гавриил Романович, прекрасно понимал, что нужно держать свою мысль при себе, не нужно никуда лезть,— и не мог успокоиться. А вдруг он все-таки первым пришел к столь простому и радикальному средству избавиться от *зазроевых* и *романовых?* Первым изобрел способ совершить тихую, аккуратную внутреннюю революцию? Ведь даже самые замечательные идеи приходят сначала в голову кому-то одному! Обыкновенному земному человеку, а не божественному посланнику. Уже потом, когда мы знаем, *кто* подарил человечеству мудрую мысль, мы находим в реформаторе черты особенные, признаки избранничества, но пока он только обдумывал свою будущую реформу, он еще пребывал в обыкновенности. Значит, мало прийти к замечательной мысли, надо еще поверить в нее, поверить в себя!.. Так почему не поверить в себя Гавриилу Романовичу?

Только нужно не страдать самоиронией. Нужно фанатично, даже тупо твердить одно и то же — тогда есть шанс чего-то добиться. Нужно остроумно обдумать одну мысль — и в то же время тупо не видеть препятствий, не слышать возражений!

Там наверху, конечно, побоятся выдать своих на суд народа. Вот только где — *наверху?* Побоятся мелкие и средние партийные начальники, а *на самом верху?* А сам Андропов? Ведь должен же он понимать, что не навести никакого порядка, пока не удастся разогнать всех этих присосавшихся паразитов! Не уничтожить — хотя бы разогнать!

Значит, писать нужно только самому Андропову. Понятно, что сам он из почтового ящика по утрам письма не вынимает. Попадет секретарям. Но должны же быть у него толковые секретари, которые так же искренне хотят перемен. А уж секретари покажут ему — ведь не каждый день поступают проекты такого масштаба!

Опускать письмо, разумеется, придется в Москве — ленинградская почта все письма в ЦК заворачивает в обком.

Этот странный *афганец* Сергеев что-то говорил про болезнь Андропова, даже намекал, что его отравили. Но совсем недавно было опровержение по телевизору, сказали, что у Андропова всего лишь грипп. Конечно, у нас часто врут в официальных сообщениях, но уж не стали бы врать так глупо, если он действительно тяжело болен!..

Да, написать Андропову, специально поехать в Москву, опустить там, да не в любой почтовый ящик, а около самого ЦК!

Но сначала все-таки нужно написать.

Гавриил Романович очень старался подчеркнуть свою преданность партии. Напирал не только на то, что народ и партия едины, но и на бесспорную истину, что она — партия — ум, честь и совесть нашей эпохи! И вся его скромная цель только в том, чтобы сделались они еще более едины, чтобы воплотился в ней еще более острый ум, более чуткая совесть...

И не мог он не вообразить, пока писал, как тот секретарь, который первым вскроет конверт, даст почитать проект «какого-то Гнездилова» знакомым, те перепишут, пустят по рукам, и скоро вся страна будет передавать друг другу *письмо Гнездилова*, повторяя с понимающей улыбкой: «Надо сделать народ и партию совсем едиными! Надо всем нам блюсти ее незапятнанную честь!» Диссидентские обличения легко объявить враждебной клеветой, а как опровергнуть искреннего радетеля, который убежден, что партия уже хороша, а нужно только сделать ее еще прекрасней? Так что в каком-то смысле Гавриил Романович считал себя мудрее диссидентов, а письмо свое — полезнее для страны тем, что оно не эффектно, но эффективно: принцип дзюдо, когда прием проводится не за счет собственного усилия, а за счет силы противника! И маленькая японочка таким приемом с улыбкой бросает наземь громадного озверелого насильника. Да, только так и может чего-то добиться скромный гражданин, борясь с громадой партии: обратив против нее ее же силу!..

Гавриил Романович даже вспотел от увлечения. Сейчас он напишет... Прочитает сам Андропов... И по рукам пойдет через секретарей... Вся страна станет передавать из рук в руки: «Переучет партии!.. План Гнездилова!..»

И тут некстати зазвонил телефон.

— Гавриил Романович, вы?!

Нинуша! Да, кажется, плачущая Нинуша.

Что у нее могло случиться? Марина благополучно вернулась с Памира — правда, без Йети, но «полная впечатлений». Или уже успела пропасть в Бермудском треугольнике?

— Вы?! Вы слышали?!

Или на кафедре что-нибудь? Рывкин разбился, как Ватинина Тамара Федоровна? С Нинуши станется — она и по Рывкину расплачется.

— Нет. А что я должен слышать?

— У вас что же, телевизор не включен или радио?! Андропов же умер!

Вот и все.

А Гавриил-то Романович — расписался!..

Плакать — это, пожалуй, слишком: все-таки не родственник, не близкий друг. Но посылать письмо больше некому.

— Да, жалко. А кто председатель комиссии, вы не помните?

— Какой комиссии? Андропов умер — а вы с комиссией какой-то!

— Комиссии по похоронам. Сейчас это важно: кто председатель? У нас, кто старого хоронит — тот новым становится. Не слышали?

— Не знаю! Андропов умер! Человек был!

Верная Нинуша. Не думал он, что она так любит Андропова. Сам он тоже — возлагал какие-то надежды, но так плакать...

Кто же теперь станет новым?! Какой курс изберет?! Андропов все-таки пытался навести порядок после брежневского бардака — а следующий? Можно ли ему будет посылать письмо, предлагать переучет в партии?

Ну а пока что надежнее — порвать. Полстраницы успел написать Гавриил Романович — вот и порвать.

Как говорил несостоявшийся философ из валдайской деревни? *Народ молчит хором.* Самое время хором помолчать.

* * *

на самом деле искренне жаль андропова

после брежневского бардака пришел человек который болел за страну а не за себя

но многого не успел слишком быстро умер

верны или неверны слухи про отравление мы никогда не узнаем а историки будут спорить как сейчас спорят про смерть царевича дмитрия

но что радуются сейчас те кого он разгонял да не успел разогнать наверняка

радуются и надеются что все пойдет по-старому

главный вопрос кто придет теперь

от народа ничего не зависит мы можем только молчать и надеяться

вот теперь мы с надеждой ждем что появится новый лидер молодой и прогрессивный который до конца наведет порядок

мы уже заранее готовы его полюбить тем более что мы вообще легко влюбляемся в наших вождей

любовь к начальству у нас в крови

интересно а существуют ли у разумных галактов вожди в нашем понимании от которых зависит судьба народа планеты цивилизации

ясно что это невозможно ясно что в разумном обществе весь народ не может зависеть от мудрости или глупости одного индивидуума

мы безнадежны по крайней мере до тех пор пока вся страна зависит от взглядов и вкусов одного человека

даже самых лучших взглядов и верных вкусов

мы рабы пока мы ждем освобождения от одного человека

а между прочим андропов из кгб

и выходит что после брежневского бардака и кгб прогрессивно борется с такими мощными взяточниками как щелоков и медунов

* * *

Очень удачно Гавриил Романович закруглил запись — на всякий случай. Хотя ничего ему не грозит, раз он не успел опустить письмо.

Просто счастье, что не успел! А то попало бы к секретарям нового вождя — а кто будет вождь? Ведь каков начальник, таковы и секретари. Прочитали бы, что какой-то Гнездилов хочет, чтобы весь народ утверждал и изгонял членов партии — их самих то есть, секретарей всех рангов; прочитали бы и спросили у *компетентных органов:* а кто такой Гнездилов?!.

И уж не знаешь после этого, чего больше бояться: что в больницу потащат или в кутузку?

Да, просто счастье, что снова совершил он *невидимый поступок,* что зачаточное действие вовремя закончилось абортом!

Ватина сказала вечером:

— Наша Тамара Федоровна говорила, у Андропова жена была еврейка. Потому он их столько и отпустил в Израиль.

— Каждый может жить, где хочет. Это нормально.

— Всё у них есть, живут лучше всех, а всё недовольны! Вот и Антона который вечер дома нет.

Если бы кто-то подслушал их разговор — хотя кому нужен какой-то Гнездилов, чтобы подслушивать, пока его проекты летят в корзину! — подумал бы, что у Ватины совсем отключилась логика. Но Гавриил Романович прекрасно уловил ассоциацию:

— Наверное, и при новом выезды не закроют.

— Пусть едут! Я тоже — за свободу. Только я бы голыми выпускала, без ничего! Хотите в рай — вот и начинайте там райскую жизнь, а что на нашем горбу нажили — оставьте! У Тамары Федоровны врач прямо из реанимации уехал. Хорошо, что успел ее анимировать!

Гавриил Романович думал, что все-таки меняются у нас времена, хоть и медленно. При Брежневе началось, а Андропов действительно добавил свободы: руками голосовать по-прежнему нельзя, но хоть ногами можно... Как проголосует Антон?

17

Уже начались занятия в новом семестре, как вдруг Гавриилу Романовичу неожиданно всучили путевку в Сортавалу. Он и ехать не хотел, но выяснилось, что надо соглашаться непременно, что путевка *горит,* а потому его патриотический долг по отношению к институту в данный момент состоит не в том, чтобы учить студентов, а в том, чтобы ехать в Сортавалу.

Колонна подсовывала ему на подпись заявление об отпуске, наваливаясь всей тушей:

— Вот вы ломались, не хотели для профсоюза соцобязательства написать, а профсоюз для вас старается! А кстати, знаете, как один просил путевку в санаторий или, на худой конец, в дом отдыха? И что ему ответили про худой конец? А еще как армянское радио спросили, чем отличается дом отдыха от публичного дома?

Жирное тело сотрясалось, и Гавриил Романович думал почти с завистью, что Колонна, похоже, всегда счастлива, словно мир создан точно по мерке — для нее.

Домой он пришел растерянный, потому что ехать нужно было прямо завтра с утра, а он не умеет так быстро переключаться, он привык составлять свои планы заранее. Ватина немедленно принялась стирать и гладить, а Гавриил Романович сидел и размышлял: брать ли с собой «Гаврилиаду»? Ведь поселят его, скорей всего, в двухместный номер, значит, неизвестно с кем, и лучше бы не искушать судьбу. Но и без «Гаврилиады» уже как-то одиноко.

Как-то странно, боком вошел Антон — словно стеснялсь.

— Вот, можешь вписать в свой свиток цитату из Герцена.— И Антон о «Гаврилиаде», словно нарочно! — Смотри: «По смерти Николая уничтожилось постыдное стеснение в праве русским путешествовать за границей». Звучит? А у нас и до сих пор не уничтожилось — ни после Сталина, ни после Брежнева.

Гавриил Романович перечитал — словно не вполне доверяя своим ушам.

— В самом деле, подходит. Только я цитаты не вписываю. Прикрываться цитатами — значит, не верить самому себе. Чисто религиозная метода: процитировал к месту — значит, доказал. Кто Ленина цитирует, кто Библию.

— Ты не вписываешь, а я бы вписал. Если бы имел такую «Гаврилиаду».— Антон повертел томик Герцена.— А раз не имею — я просто женюсь! — закончил он совершенно неожиданно.

Гавриил Романович сразу все вспомнил и все понял: «Жена-еврейка не роскошь, а средство передвижения».

— На Аллочке?

— Ну!.. Я еще надеялся, у нас кто-то новый появится после Андропова, а у нас — Черненко. В этой стране никогда ничего не произойдет!

Антон в своем праве. И все-таки хотелось не то что удержать — на это Гавриил Романович не надеялся,— но хоть показать, что не все безупречно в рассуждениях сына.

— Да, у нас почти ничего не меняется. Но жениться все-таки принято по любви, а не по политике. А у тебя сразу — средство передвижения.

— Что мы любим и все такое — это подразумевается. Важно, что делать с любовью дальше. Мы думаем, знаешь, про что? Про Австралию! Континент еще относительно пустой. Не так загажен, как прочие. И далеко от всяких арабских террористов.

Что ж, не повторять же ему отцовскую жизнь, в которой так ничего и не случилось!

— Там ведь тоже: кто устраивается, а кто не очень. На Западе.

— Я устроюсь. На программистов там спрос.

Да, похоже, Гавриил Романович в Сортавалу едет с бо́льшим волнением, чем Антон — в Австралию.

— Все-таки что-то меняется и у нас. Когда мне было столько, сколько тебе сейчас, и помыслить было невозможно ни про какую Австралию!

— Вот и нужно ловить момент, пока форточка приоткрылась. А то явится новый Папа Джо, тогда из всей географии останется одна Колыма, и никакой Австралии!

— С языком как — не боишься?

— Люди на иврит переходят — и то ничего, а уж английский — почти родной. Мы с Аллой уже полгода как подумали про Австралию, на свиданиях по-английски говорим.

Гавриил Романович вспомнил дружное: «Васёй-васёй!» — спелись!

— В общем, май фазер, мы договорились, правда? По нашим патриархальным законам требуется согласие родителей. Надеюсь, препятствий не возникнет? Ноу про́блем?

— Какие ж препятствия. Я всегда за свободу, ты же знаешь.

Хотя представить себе трудно: Австралия! Антон станет антиподом. Может, и не придется больше увидеться. Переписку, правда, сейчас разрешают. Фотографии можно будет посылать. Внуков.

— Вот и отлично! Имея такого папу, автора «Гаврилиады», я и не сомневался. Еще и издам ее там — в свободной прессе. Ладно, еще не завтра, драматические напутствия прибережем!

И Антон выскочил, довольный разговором. Подход какой придумал: с цитатой из Герцена!

Вот сын и проголосовал — ногами. Свободные выборы — по-советски.

А насчет того, чтобы публиковать «Гаврилиаду»,— шутка, конечно. Даже и анонимно. Все равно КГБ докопается, а судьба Синивского Гавриила Романовича не привлекает... Может быть, лет через сто раскопает какой-нибудь будущий Андроников и опубликует в «Советской старине». Не раньше, чем через сто...

Ночью Ватина твердила:

— Ну что, утянули Антошу твои Ситковские! Евреям все равно, где Родина!

— Что значит — утянули? Он сам захотел.

— Утянули! Жил бы здесь без всяких фантазий. Пошел бы в армию, платили бы хорошо как военному Все Алла эта — не живется ей здесь. Утянули!

— Она бы и сама уехала, без Антона. С другим мужем.

— Не-ет, ей кровь здоровая нужна! Ее яйцеклеткам. Русская кровь. Они почему пять тыщ лет существуют? Никого не осталось из тех народов, а они везде! Потому что привыкли чужой кровью питаться. Приспособились! Мы вымереть успеем, а они всё будут.

Гавриил Романович не спорил.

А утром из слякотного города попал он в настоящее Берендеево царство. Чистейший морозный воздух, который хотелось нарезать ножом на блестящие кирпичи, запаковывать в серебряную фольгу и везти в Ленинград, чтобы угощать гостей вместо кофе. Снег, лежащий на каждой мельчайшей веточке, так что не удержаться от сравнения с белым кружевом... Будет у Антона своя машина, может быть, дом построит в пригороде Мельбурна, но выгонят его когда-нибудь насильно в отпуск посреди семестра? Вручат чуть не даром путевку в такое волшебное царство? (Где, кстати, австралийцы отдыхают? В Новой Зеландии?)

Не распаковывая чемодана, стоял Гавриил Романович у окна своей временной комнаты. Двойное стекло создавало приятное чувство отгороженности, и Гавриилу Романовичу показалось на короткое время, что он и вправду галакт, только что прилетевший на Землю и глядящий сквозь надежный герметический иллюминатор на незнакомую прекрасную планету.

Тот земной Гнездилов все покушается на какие-то поступки — и оказываются они каждый раз *абортивными.* Наверное, это закономерно. Что ему — земные заблуждения? Он постиг всю порочность местных предрассудков — и не разделяет ответственности за людские пороки. Как урожденный папуас, который перестал поклоняться местным идолам, постигнув широкий европейский взгляд на мир. Глупо пытаться повлиять, пытаться

вразумить — остается наблюдать туземные нравы. Вот так, словно сквозь герметическое стекло иллюминатора.

Вот сейчас выйдет из заснеженного леса существо — разумное существо здешнего мира — и заговорит с пришельцем. На каком языке заговорит?

Главное безумие здешнего мира — различие языков, различие народов! Различие, которое неизбежно убьет этот милый маленький мир.

* * *

главное безумие здешнего мира различие языков
крошечное племя землян поделилось на чуждые друг другу народы
антон уезжает в австралию
это бы замечательно если бы не разделяющий железный занавес
если бы не разделяющий языковой барьер
если бы не обреченность не увидеть больше сына
если бы не обреченность никогда не увидеть внуков
если бы австралия таким образом не была дальше марса
здешние существа не понимают собственного безумия
нужно взглянуть на себя со стороны а они заняты лишь собственными бесконечными распрями
кто кого не любит
кто кого боится
у кого к кому тысячелетние счеты
выходит безумие непобедимо
выходит обречена маленькая заносчивая земля

* * *

Из заснеженного леса по лыжне выкатились фигурки в ярких костюмах. Они громко смеялись непонятно на каком языке — смех не сумели поделить языковые барьеры. Они катились, смеялись и, похоже, не думали о будущем планеты.

Гавриил Романович перечитал последние фразы:

«Выходит, безумие непобедимо!
Выходит, обречена маленькая заносчивая Земля!»

Или можно иначе:

«Выходит, безумие непобедимо?
Выходит, обречена маленькая заносчивая Земля?»

И тут наконец он понял, в чем смысл отказа от знаков препинания: знаки эти слишком облегчают чтение, делают написанное плоско однозначным. То ли дело — сплошной текст без знаков! В него приходится вчитываться, приходится возвращаться назад, мысленно расставляя логические ударения. А потом — задуматься, превратиться как бы в соавтора и решить самостоятельно, какой знак более уместен в конце ключевой фразы — многозначительно вопросительный или категорически утвердительный...



ВАЛДАЙСКИЕ БУБЕНЦЫ

Были вьюги,
были вихри,
ржанье,
топот у крыльца...

А теперь они затихли,
два валдайских бубенца.
Два смиренных сувенира,
позолоченных на вид.
Ну а тронешь — и квартира
засмеется,
зазвенит.
И душа твоя — на части!
Не на тройке ль вороной
наша юность,
наше счастье
прокатили стороной?

Хохоча или рыдая,
не смолкают до конца
колокольчики Валдая —
два настольных бубенца.
Потому что
над бедою,
над весельем новых дней
чье-то счастье молодое
тех же гонит вновь
коней.
В той же бешеной метели
снова
любящих сердца
зазвенели и запели —
золотые
два
птенца...

* * *

Я научился вслушиваться в звуки,
А раньше не хотел и не умел.
Стал кожей ощущать чужие муки —
И сам не знаю, как еще н цел.

Все думаю: с годами это, что ли?
В такие жизнь берет меня тиски,
Такая даль звенит в любом глаголе,
Что страшно мне от счастья и тоски...

* * *

Зачем, почему я так верил ему?
Слепой совершенно был, что ли?
Я шел наугад сквозь метельную тьму
И плакал от злости и боли.

Не зря дожидался он этого дня,
И был он сегодня в ударе.
Так просто, расчетливо продал меня,
Как будто коня на базаре.

Он выгодно клялся, о чести трубил,
Жонглировал ловко словами...
Как горько,
как ветрено стало в груди
И пусто, как в выбитой раме.

Я спас его как-то, когда он тонул,
И жизнь положил бы за друга.
Я душу свою нараспашку рванул:
Все кончено — вьюга так вьюга!..

Николай Борисович Рачков (р. в 1941 г.) — поэт. Печатается с 1957 года. Первая книга — «Колодцы» — вышла в свет в 1967-м. Живет в городе Тосно Ленинградской области.

Радий Погодин

Два рассказа

ТУМАН

I

Под скалистыми горами на берегу моря лежал городок с золотой колокольней.

Были в городке старинные профсоюзные санатории, пропахшие борщами, обветшалая канатная дорога, волосатые пальмы, самодеятельные портретисты и продавцы гороскопов. Цвела глициния жутко красивая — от сумасшествия Врубеля. Цвели тамариск, олеандр, рододендрон и, конечно, розы — множество роз. Громадные платаны возвышались над ботанической роскошью городка. Под их сенью экзотическая флора одемокрачивалась, добрела, шумела на ветру, как шумит лес.

В городке снимали сказки, и почти каждый день в бухте ошвартовывались белые пароходы, пришедшие издалека.

На набережной городка гуляли люди, в основном отдыхающие по путевкам, но также и дикари, и дети, ветераны войны, артисты и проститутки. Были тут и животные для фото: верблюд, ослик, попугай, большой и взъерошенный, оглушенный демидролом, чтобы не тюкнул кого-нибудь в темечко,— клюв у него, как кастет. Были для фото три зеленых макаки, два сонных тигровых питона и два мастифа угрожающей величины. Фотографировались в основном женщины. Отважно и, пожалуй, бесстыдно. Питонов они наматывали на шею.

На скамейке напротив почтамта, надвинув на глаза куцую кепочку, дремал инженер Серегин. Три ночи подряд во дворе гостиницы «Украина», где Серегин снимал номер, визжала сука. К ней рвались кобели. Днем сука копала в строительном мусоре ямку, добродетельно лаяла, охотно давала лапу.

Гостиничный персонал стоял на той точке зрения, что «животная тоже имеет право», а жильцам полезно, если не выспались, подремать на скамеечке на морском ветру с красивым названием «бриз».

Бриз дул Серегину в затылок.

А перед его прищуренным взором вдали, над крышей горисполкома, над горами высилась туча цвета остывшей лавы. На ее скрытой от глаз вершине вращалось точило. Творец затачивал на нем инструмент — делал новый замок на врата рая, из которого, по слухам, души праведников совершали массовые побеги. Рай грозил опустеть.

Серегин уснул, наверное. Проснувшись, увидел между горами и тучей светлую щель, из которой валил туман. Грандиозно — с такой величавой мощью, с какой обрушивалась с плоскогорий вода, когда Господь отделил твердь от хляби.

Радий Петрович Погодин (р. в 1925 г.) — известный советский писатель, автор многих книг для детей и взрослых, драматург. В 1989 г. «Звезда» опубликовала его роман «Я догоню вас на небесах». Живет в Ленинграде.

— Боже,— сказал Серегин.

Туман ниспадал струями. Они возникали из снега и погружались в пену. Серегина коснулся неслышный и страшный грохот. Туман заполнял ущелье, накрывал леса, отзываясь в душе глухотой и желанием божьей подачки.

— Боже,— сказал Серегин.— Дай счастье гостиничной суке, а нам, грешным, сон. Боже...

Но тут появился мальчик.

Маленький. Весь беленький: белые волосы, белое личико, белый костюмчик, белые ножки и белые башмаки. Совсем один он вторгся в мир пароходов и каруселей, в бесконечное течение толпы, оснащенной мороженым. Мальчик желал остановить этот мир, чтобы разглядеть его. Он махнул ручкой, чтобы все вокруг стало доступным ему. Но все отдалялось, текло, уплывало... Тогда он насупился — топнул ногой. Но все уходило, смеялось... Мальчик поднял глаза и увидел туман. И его, уже разобиженного на весь мир, охватил ужас. Он заткнул уши ладошками. Что он услышал? Наверное, вопль одиночества — кричал тот, кто затачивал инструмент, чтобы сделать новый замок на врата рая.

Сразу задохнувшись, брызнув слезами, мальчик бросился за кусты барбариса, где невидимая для него, но каким-то образом ощутимая стояла его юная нарядная мама. Обежав кусты, мальчик ворвался в ее блистающее спасительное пространство.

Серегину стало жаль мальчика и жаль себя, маленького и тоже незагорелого, захлебнувшегося речкой Оредеж.

Он был очень мал. Но прыгал в речку отчаянно и с восторгом. Окунался с головой и когда выныривал, мама подхватывала его и высаживала на берег. Но вот она отвернулась, а он разбежался и прыгнул. Он вынырнул раз, вынырнул два, захлебнулся и, уже почти неживой, укусил белую мамину ногу. Сам он помнил только свои прыжки. Его не так радовало купание, как полеты и брызги. Но с той поры голубое небо иногда вдруг чернело в его глазах.

— Слушай, что такое «Азор»? — спросили Серегина сверху.

Он поднял глаза. Над ним стоял пивной брат, жевал сушку. Гуляющая толпа валила к причалам. В бухту входил белый лайнер, высокий, почти квадратный, с черно-синей полосой на трубе и названием «Азор».

— Азорские острова,— сказал пивной брат.— «Вот и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова».

Эта строчка Маяковского всегда удручала Серегина — от нее исходила тоска, сжималось сердце. Серегин смолоду смирился с ней, как смиряется человек, потерявший глаз или ногу. Серегин невольно вставлял в эту строчку слово «стороной»: «Вот и жизнь пройдет стороной, как прошли Азорские острова».

— Что такое «Азор»? — спросил он пивного брата.

— Пароход Панамского пароходства. Припер к нам западных немцев. Там у них на борту пиво — «бир» называется. Наш «Колос» супротив ихнего «бира» — моча.

«Азор» ошвартовался. Портовый буксир приткнулся между ним и «Арменией», совершающей пассажирские рейсы из Одессы в Батум и обратно. Маленьким сразу сделался теплоход «Армения», как разношенная туфля рядом с новым кожаным чемоданом.

Большой белый пароход был надменен и очень богат. На верхней палубе стояли западные немцы, покрытые красным загаром и светлыми волосиками. Некоторые из них кричали, махали руками.

— Приветствуют перестройку,— сказал пивной брат. И повторил: — Супротив ихнего «бира» наш «Колос» моча. Леонида Ильича. По губам течет журча...

Серегин поморщился. Азорами называют кобелей. Наверное, этот Азор приплыл к нашей гостиничной суке. А немцы на нем, как блохи. Кобелей все же называют Трезорами. Что же такое «Азор»? И почему сука скулит, когда к ней прут кобели? Должна бы радоваться. «А роза упала на лапу Азора». Если прочитать обратно, будет то же самое. Читать лучше всего вслух, с подвыванием. Особенно женщине, тощей и носатой.

— Сейчас повалят немцы — хансы. Будут фотографировать героев перестройки — одежду поправь. Лучше бы пивка прихватили,— сказал пивной брат.

— Что же такое «Азор»?

— А хрен его знает. Может, панамский герой.

Потом пивной брат выяснил у одной своей очень интеллигентной пациентки, что «азор» это ястреб. Азорские значит — Ястребиные острова.

Ну, очень интеллигентная дама. Жалко — не очень молодая...

Мимо прошли артисты, наряженные в сказочные наряды. Артисты были известные, на них все глазели.

II

— Ну, очень ты, гниль, башковитый. В День Победы по набережной ходил, латунью обвесивши, грудь выпятивши. А сейчас ты, гниль, на своем трудовом посту перед теми же немцами, перед которыми ты герой, спину гнешь? Где сейчас твоя латунь? В пионерский Артек врать поедешь — тогда и напялишь. В Артеке ты говоришь пионерам, кем ты сейчас, гниль, работаешь? На какой трудовой ниве гордость наращиваешь? В этом отчетном году отмечен небывалый подъем холуйской, халдейской гордости. Долой стыд! Да здравствует каучуковая спина!

Швейцар гостиницы «Ялта», которому пивной брат все это выговаривал, был человеком рекордной выдержки.

— Гоша, вон в том буфете на ваши деньги пиво дают,— говорил он.— «Колос». Не свежее. Но хорошее...

— А на ваши? — спросил Гоша.— На ваши везде и свежее. У тебя наши-ваши. Кто сколько подаст. Слушай, если я тебе сейчас доллар брошу, ты зубами поймаешь? — Пивной брат вытащил из кармана металлический доллар с портретом Кеннеди.— На, гниль, лови...

— Они на меня в административную комиссию за оскорбление личности подавали,— сказал пивной брат Серегину.— А я там речь толкнул. Под аплодисменты. Мне потом на набережной шапку денег собрали на штраф. Слышишь, гниль, подай на меня в суд — я разбогатею.

Швейцар не выдержал, пропустил, придержав дверь, пожилую пару морщинистых, веснушчатых немцев, шмыгнул за ними в вестибюль и дверью отгородился. Нервы у него, действительно,— позавидуешь, как у артиллерийского коня.

Перед Серегиным возник молодой сотрудник в импортном сером костюме в полоску, в галстуке, несмотря на высокую уличную температуру, и любезно сказал:

— Сударь, должен поставить вас в известность — на этих стульях советским сидеть нельзя. И вообще, вся эта территория арендована западногерманской фирмой «Эрик Шмидке». Но выход есть. Пять рублей в час. Видите, на стульях написано «Эрик Шмидке» — пять рублей в час. Надеюсь, сударь, вы знаете иностранные языки. Впрочем, вон в том буфете советским можно сидеть беспрепятственно. Там пиво «Колос». Симферопольское. Кислое.

Сотрудник был похож на муравья, вставшего на задние лапки: круглая голова на тонкой шее, круглая грудь на тонкой талии и от круглого зада длинные ноги. Серегину сотрудник показался наглым. «Их, наверно, не учат,— подумал Серегин.— Их дрессируют. Заставляют подолгу бегать голыми на четвереньках. Иначе откуда у них такая, надевши костюм с галстуком, важность? Наверное, от отсутствия перспективы. Если даже он закончит высшую специальную школу спецсексотов, то, наверное, станет старшим сексотом — послом его не назначат, велосипеда он не изобретет». Серегин засмеялся.

У сотрудника слегка побелели скулы. «Нервы у тебя слабее швейцаровых,— подумал Серегин.— Интересно, каким образом ты меня со стула сбросишь. Ударом по шее или под дых?»

— Сударь, вы, как я понимаю, решили не идти в советский буфет? Попрошу пять рублей.

Серегин встал и, сильно прихрамывая, пошел по каменным плитам к другой кучке столиков и стуликов. Там все было поплоше. Но, главное, на буфетных полках ничего не было, кроме ананасных вафель.

Тут его и подхватил пивной брат.

— Сердце? — спросил он.

— Судорога.

— Водочный компресс на ночь.— Пивной брат усадил Серегина на стул. Сам сел напротив.— Я сюда прихожу баварского треснуть. Это счастье, что на земле есть баварское. Некоторые умрут — так ничего хорошего и не попробуют. К примеру, моя жена. Сейчас мы попьем. Три рубля банка. А у того червя в галстуке — банка пять. Он тебе предлагал посидеть за пять рублей? Это он намекал, что поставит перед тобой банку баварского «Эрик Шмидке». И сиди себе, как бургомистр. Видишь ту гниль за дверью? Он от иностранцев чаевые гребет. У них тут концерн: чаевые переводятся в банки, а там — господи, твоя воля... У тебя шесть рубчиков есть?

Серегин дал брату шесть рублей. Брат пошел к буфетчице. Она вытащила из зеленой коробки две зеленые банки «Эрик Шмидке».

— Немцы, гад, удивляются. Говорят: вы такие образованные, а хорошего пива варить не умеете. А мы все умеем, но чичас не хочим.— Брат открыл банки.— Давай на брудершафт.

Так они стали пивными братьями. А к гостинице «Ялта» Серегин пришел просто так: шел-шел и пришел. И сел посидеть — ногу судорога свела.

— Давай еще по банке. Я угощаю,— сказал брат. Он принес еще по банке и все повторял: — Это счастье, кто понимает. Счастье, что на земле еще кое-что есть. Слышишь, брат, надо бы охрану наших границ возложить на сопредельные страны. Знаешь, как бы они охраняли? С прожекторами, с собаками. Под каждым кустом секрет с телефоном. А наши ползком. Первыми бы евреи. За ними другой народ — кто в профиль, кто в полуфас. Сколько бы на пограничниках сэкономили бы. Пивные бы заводы построили в областных центрах. Ячменя бы на солод купили хорошего. А потом бы они взвыли. Попросили бы нас границы закрыть. А мы бы с них контрибуцию — еще сто четыре пивных завода.

К ним на цыпочках, именно на цыпочках, подошел швейцар.

— Гоша,— сказал он.— Шел бы ты. Опять все деньги пропьешь. Дорого тут. И болтаешь ты нехорошее.

И сотрудник, похожий на муравья в галстуке, осуждающе смотрел со своей «малой земли», арендованной у нашего государства западногерманской фирмой «Эрик Шмидке».

— Допьется,— сказал сотрудник.— Такие всегда допиваются. Экстраверт по Бинсвангеру.

А Серегин вдруг вспомнил швейцара — тот действительно шагал с ветеранами пятьдесят первой дивизии, гордо выпятив грудь, сверкающую и звенящую, и, наверное, врал, что работает в гостинице «Ялта» садовником, выводит розы размером с солдатскую шапку.

— А вы действительно шли весь в медалях,— сказал Серегин швейцару.— Я вас запомнил. Вы все вперед выскакивали.

— А вас не спрашивают! — закричал швейцар.— Гоша наш тут родился. Зубной техник. А вы кто? Вы почему здесь распиваете, не проживая?

Но тут подъехал автобус, и швейцар, подхрюкивая от усердия, побежал кланяться.

Потом они сидели с пивным братом Гошей на набережной. С Гошей многие здоровались, он без конца вскакивал, руки жал. А Серегин скучно, даже стыдясь, вспоминал свое единственное общение с западными немцами; с немцами из Германской Демократической Республики он общался часто, ему они нравились. Воспоминание было стыдным, по своей форме, что ли, в основе оно было грустным и все-таки стыдным. Серегин опоздал на «Красную стрелу» по причине шумной выпивки в ресторане «Восточный». Он вскочил в вагон, когда поезд уже тронулся. Проводница нелюбезно подтолкнула его под локоть. А он в отместку дыхнул на нее коньяком. В купе он еще выпил, и опять же коньяку, поскольку его сосед, пузатый ориентал, уже лакал и предложил ему опрокинуть. Серегин тут же и опрокинул. И когда сосед залег спать, свалив на матрац свое жирное рыхлое брюхо, Серегин пошел в буфет, чтобы еще опрокинуть,— тогда в «стреле» еще был буфет — золотое было время — время надежд.

В буфете, уже почти закрытом, толкались два немца. Буфетчица им выпивки не давала. «Пьяным капиталистам не даю»,— говорила она игриво, но твердо. Они незлобно канючили: «Ну пошалюста: цвай коньяк и два бедерброд». Бу-

тербродов действительно было только два с черной икрой. Серегин буфетчицу знал, в то время он часто ездил в Москву.

— Четыре коньяка,— сказал он.— И по бутерброду гостям. И спать. Спать, спать... Людмила Павловна, жизнь нас не балует, побалуйте хотя бы вы. Вы на работе в ранге богини.

— Надо спать, спать должны, но не на работе...— пропел немец, тот, что пониже и поскуластее.

Богиня налила три по пятьдесят. Немцам дала бутерброды. На этом бы все могло и закончиться, и пошли бы они в свой вагон с песней, если бы немец, как раз тот, что пониже и поскуластее, не сказал Серегину:

— Слышь, русс камрад, приезжай ко мне в Гамбург, я тебя буду икрой этой твоей черной кормить, как свинью, чтобы ты досыта нажрался. Я тебе икру буду ложкой в глотку запихивать. Жри, жри...

На что немец рассчитывал? Думал, что Серегин базарить начнет, выпячивать грудь, взывать к совести, а Серегин просто врезал ему промеж глаз, да так, что у немца из носа кровь полилась ручьем. Серегин ему еще раз врезал. Тут второй немец стал между ними, принялся выталкивать своего приятеля из вагона. Хорошо, что он даже не толкнул Серегина, а то и ему бы гулять с ударенной физиономией.

Немцы еще не успели вытолкаться, как в буфет ворвались начальник поезда и молодой проводник, то ли блондин, то ли альбинос — его Серегин причислил к немецкой стороне и изготовился бить, но был схвачен и скручен. Людмила Павловна, в мелких кудряшках, мертвых, как металлическая мочалка, наверное, нажала какую-то там у себя сигнализацию: мол, грабят-убивают.

Серегина затолкали в соседний вагон, в одноместное купе, заперли, и он, матерясь, уснул.

Разбудили его в Москве. Вывели на перрон, где его ожидал пожилой старшина милиции в хорошо подогнанной форме. Старшина этот держал серегинский портфель и о чем-то оживленно беседовал с начальником поезда.

— Что ж, пойдемте,— сказал он Серегину.— Надеюсь, конвой не понадобится.

Старшина привел Серегина в небольшой, но опрятный милицейский офис, предложил ему сходить в туалет, привести себя в порядок. Затем оглядел его критически, посоветовал причесаться, два плечистых сержанта тоже его оглядели, они стояли, беседуя, у входной двери, и сказал:

— Что ж, идите к полковнику. Полковник вас ждет.— И открыл дверь.

Таких милицейских помещений Серегин не видел, он их вообще мало видел: уютный кабинет с низкими креслами — красное, медное и мореный дуб — такой колер. Пахло хорошим табаком и крепким кофе. Пол был застлан ковром. Полковник стоял посередине кабинета. Курил. Высокий, ухоженный, с волнистыми волосами и проседью, больше похожий на профессора, любимца студенток, чем на человека с револьвером. Форма у него была безукоризненно сшита, напоминала цветом летний костюм.

— Садитесь,— сказал полковник.

Серегин сел в кресло.

— Курите?

Серегин кивнул. Полковник протянул ему «Мальборо». Зажигалка у него была «Ронсон». И во всех его движениях и действиях была какая-то к Серегину симпатия и доброжелательство, какое-то к нему расположение.

— Спасибо,— сказал Серегин.— Спрашивайте.

Полковник засмеялся.

— Да зачем мне вас спрашивать-то, помилуйте. Я о вас уже все знаю. У меня к вам претензий нет. И пока что на вас никто не заявлял. Если до десяти часов нота в Министерство иностранных дел не поступит, вы, Алексей Тимофеевич, сможете продолжать ваш путь.— И смотрел полковник на Серегина душевно.

А Серегину стало худо: «Нота! Международный скандал!»

Да нет, он не испугался, не ужаснулся — мол, все пропало, жизнь кончилась — с работы вон, в тюрягу, в лагерь. По этапу... Нет, стало вдруг очень холодно и одиноко. Он запахнул пальто. «Мальборо», думал он, сделано в ФРГ по американской лицензии. Говорят, наши их пароход спасли и за спасение взяли часть груза — сигареты. В те времена полно было сигарет якобы американских. Но та, что он сейчас безо всякого вкуса курил, была американская без дураков. И вот в этом одиночестве, в этом холоде Серегин отчетливо сформулировал, что и врезал-то он немцу не столько за хамство, сколько от тоски своего сердца, от скудости своего труда, от униженности, которая все более обостряется с каждой его поездкой в министерство на цинично-благодушные дебаты о нашем преимуществе. А Запад — само собой. Он всегда был и всегда будет. И все там будет по высшему разряду. А у нас пока моча — Леонида Ильича. А они, немцы, уже на второй день после капитуляции нас перегнали. Они отдали нам старые станки в счет контрибуции, а себе купили новые — новейшие. В долг! Кто немцу не даст в долг? Немец всегда отдает. Немец не пожалеет процентов.

Полковник ходил по ковру мягко, и туфли у него были неформенные, из мягкой кожи. Серегин поднял глаза на часы, на стене перед ним висели часы. От них шел медный блеск. На часах было десять.

— Десять,— сказал он.

Полковник сверил часы со своими наручными, скорее всего по привычке, погодил немного и подошел к телефону.

Вертушка крутилась мягко, с шелестящим звуком.

— Как там? — спросил полковник негромко.— Нету на нас? Не накатали? Ну будь. Поговорим...

Серегин понял, что нота не поступила, но встать из кресла без разрешения полковника он не посмел.

— Вот,— сказал полковник.— Вот вы и свободны. Да и не любят они эти самые ноты — хлопотно. У них время — деньги.

Серегин медленно встал. Полковник похлопал его по плечу.

— Хорошо вы ему врезали?

— От души.

— Что ж... Ну поздравляю. Идите на вашу коллегию. Ни пуха вам, ни пера.

Серегин хотел было, как того требует обычай, послать полковника к черту, но не послал. Полковник проводил его до двери и еще раз похлопал по плечу.

Старшина и сержанты были по-прежнему строги. Старшина вручил Серегину портфель.

— Надо уметь сдерживаться, гражданин,— сказал он.— Ступайте уж...

В министерстве Серегину пришлось говорить с трибуны. Он разволновался и рухнул. В голову, прямо в темечко, словно гвоздь вогнали.

— А у вас в Ленинграде какое пиво? Я, к стыду своему, в Ленинграде не был,— сказал пивной брат.

— И хорошо, что не был. Нечего делать. Пиво в Ленинграде плохое. В Ленинграде все плохое. Телевизоры в Ленинграде плохие. От них пожары. Сосиски плохие. Ядерные реакторы нехорошие. Тракторы К-700 вообще, говорят, не нужны. Я даже не знаю, что в Ленинграде и производят-то для народа, кроме дамбы. У нас дамбу делают. Слышал про дамбу? Крупная вещь... Холодильники «Минск» — это в Минске. Стиральная машина «Вятка-автомат» — в Вятке. Бритва «Харьков» — в Харькове. А в Ленинграде бритвенные лезвия «Нева». Зато самые плохие в мире. Даже у африканских пигмеев таких плохих лезвий нету.

— Нету у тебя патриотизма,— сказал пивной брат.— Это плохо.

— Патриотизма нету. Зато в Ленинграде каждый камень Ленина помнит.

— Ты Ленина не тронь. При чем тут камни? Он мужик несчастный. Он вовсе и не пил. Он даже пиво не пил.

— Не пил. А каждый камень в Ленинграде его помнит.

А немцы уже ссыпались с парохода. В основном пожилые люди. Спрашивается, что молодым делать в Советском Союзе? Молодые едут на Багамские острова или в Египет. Этот «Азор» тоже в Египет пойдет — немцы любят осматривать Сфинкса. Они и в Россию за этим ездят.

Пожилые немцы в светлых одеждах разглядывали гуляющую по набережной

толпу пристально и со страхом, все еще надеясь найти ответ на то самое «почему?» — почему они проиграли войну таким растяпам, которые даже пива не умеют варить. Немцы покупали «Колос» симферопольского пивоваренного завода, пробовали его, и тут же их охватывало веселье, они становились добрыми, как посетители зоопарка.

Серегин одежду поправил и приосанился, справедливо полагая, что немцы будут его фотографировать. Пивного брата они уж во всяком случае фотографировать будут. Красивый, толстый — сто десять кило человечины.

III

И тут она появилась.

Она шла сквозь толпу — седая и еще крепкая, печатая шаг. Она была похожа на ударницу, снявшую красный платок по случаю жаркой погоды. Толпа перед ней расступалась. Причем торопливо. А она пела: «Яблоки на снегу. Розовые на белом...» Голос у нее был негромкий, но очень отчетливый, хорошо слышный.

— Ее так и зовут — Поющая старуха,— сказал пивной брат.

— Что значит «так и зовут»?

— Ну, зовут ее Марья Петровна. Поющая — это кликуха. Она соседка моя. Я ее укалошу.

— Это как?

— А насмерть. Она меня воспитала, можно сказать — вырастила. А сейчас меня позорит. Я ее прошу: «Марья Петровна, а Марья Петровна, ну перестаньте вы петь». А она говорит: «Гоша, ты похож на „Переход Суворова через Альпы“. Там есть один такой краснорожий».

Серегин узнал из рассказа пивного брата, все время прерываемого горячими заверениями укалошить Марью Петровну, что она почти всю жизнь проработала в краеведческом музее. А до войны работала в комитете комсомола в поселке Ущельный. А во время войны уходила с севастопольцами в Новороссийск.

— Комсомол — школа карьеризма,— сказал пивной брат.

— Какую же она карьеру сделала?

— Да не она — другие. Она святой человек. У нее комната шесть квадратных метров — икону повесить некуда. У нее икона есть. Раньше она у нее в шкафу висела, теперь в изголовье. Нашу комнату не заняла. А могла бы вполне. Мы были с мамой никто. И не было нас. Отца моего пустили в расход в феврале сорок первого. И никаким он не был начальником. Он врачом был в санатории «Горный воздух» и радиолюбителем. Вот они и сказали, что он сигналы передает в Турцию...

Узнал Серегин, что мать пивного брата после войны прожила недолго. Пивной брат, голодая, выучился на зубного техника и сестренку свою выучил, правда, Марья Петровна им помогала. Сестра его сейчас на Сахалине с мужем, а он тут с женой, двумя дочками и Марьей Петровной. Младшую дочку Марья Петровна к себе ночевать берет. «Полночи телевизор смотрят — у меня матюгов не хватает».

— А старшую, спрашивается, куда? Старшей надо сейчас в самый раз свой уголок с диваном,— говорил пивной брат.

Мимо шли две девчушки крепкощекие, с такими красными, косо накрашенными скулами. Они крикливо поздоровались с пивным братом. Их короткие узкие юбки едва удерживали прущие изнутри ягодицы. И груди, и икры ног у них были овощеподобны, словно с базара от радивой крепкой крестьянки.

— Хорошие девки,— сказал пивной брат.— Проститутки. Поддадут и поют во всю глотку: «Товарищи Герои Соцтруда, мы вам дадим без очереди — плиз...» Их заберут в ментовую, а им весело — визжат и еще громче поют: «Наш народ награды любит, мы всех спидом наградим...» Вон ту, что в черной юбке, зовут Спидометр, другую, что в синей,— Проверено мин нет. Я себе сарайчик построил. Люди на лето отдыхающим сдают, а я сам в нем обретаюсь. Они ко мне приходят выпить.

— За что же ты Марью Петровну хочешь укалошить?

— А и надо ее укалошить. Она что надо мной отчудила...

Узнал Серегин от пивного брата историю самого распроклятого его невезения. И отчего Марья Петровна теперь несуразные песни поет. «Яблоки на снегу» — нашла что петь. Пела бы хоть из песенной классики: «Он упал возле ног вороного коня, и закрылися карие очи...» Нет, она — «Яблоки на снегу...»

Почти всю жизнь стояла Марья Петровна в очереди на получение жилплощади — чтобы пожить если и не в отдельной квартире, то хотя бы в комнате побольше и со всеми удобствами. «Господи! Разве может человек прожить всю жизнь в шестиметровой клетушке и даже без ванной? Господи! И Гоша, сосед, как живет — разве это жизнь? Вечно пьяный, вечно орет. Собирается всех укалошить. Вразуми его, Господи».

Но однажды Гоше повезло: делал он зубы чиновнику из горисполкома и вместо платы выторговал, чтобы Марье Петровне по всем советским законам и по справедливости, как ветерану войны и труда дали отдельную однокомнатную квартиру. «Если бы инвалид...» — юлил чиновник, но плохи были его дела с пищевым трактом. И Гоша был тверд. «Хочешь жевать — делай квартиру. Или получай открытую язву желудка от профсоюзных зубов. И чтобы не где-нибудь, а в новом доме на улице Клары Цеткин. И чтоб вид на море».

— Ты знаешь,— сказал он Серегину.— Меня один мужик просветил, лоб — во, как прожектор. Эта Клара Цеткин откуда-то прознала, что Еву Бог Саваоф создал в ночь на восьмое марта, вот она и объявила этот день женским днем. Сведения достоверные. Говорю — у мужика лоб, как прожектор.

И получила Марья Петровна приглашение в горисполком, где ей как ветерану войны и труда в торжественной обстановке в красивом конверте сам председатель горисполкома товарищ Цыбин вручил ордер на отдельную квартиру на девятом этаже в четырнадцатиэтажном доме с лифтом. Со всеми удобствами, с видом на море — семнадцать с половиной метров лакированного паркета. В нежилых помещениях пластик синий в белую шашечку. На улице Клары Цеткин.

«Боже, внял ты моим молитвам. Спасибо тебе»,— бормотала Марья Петровна и норовила рухнуть на колени в торжественной обстановке горисполкома.

Когда Марья Петровна с ордером шла домой, сбила ее на переходе легковая автомашина с нетрезвым водителем и нетрезвыми пассажирами.

Год кочевала Марья Петровна по больницам. Ей что-то сращивали, сшивали, реанимировали, облучали. Что-то капали в нее из капельницы иностранное, от чего вся прошлая жизнь вместе с прошлыми болями и прошлыми радостями забывается, остается лишь желание сладкого.

И позабыла Марья Петровна про ордер. Но если бы помнила, в ту замечательную квартирку на улице Клары Цеткин ей бы уже въехать не получилось. Кто-то ее уже занял. По слухам, ветеран борьбы за урожаи. Когда Гоша говорил Марье Петровне, что не мешало бы ей наведаться в горисполком — теперь ей как калеке дадут квартирку еще лучше, в горисполкомовском доме, там даже в однокомнатных по два сортира,— Марья Петровна смотрела на Гошу лучистым взглядом и отвечала кротко:

— Да зачем, Гошенька? Мне тут хорошо. И ты всегда рядом, и девочки. И Римма Павловна.— Жену Гошину она называла по имени-отчеству.— И телевизор я в одиночестве смотреть не смогу.

— Укалошу,— рыдал пивной брат.— Приму литр бессарабского и укалошу. Хоть она и взрастила меня и я ее люблю как родную. Это же надо, чтобы с исполкома ордер не стребовать. Да ты стребуй. Занеси в квартиру раскладушку, а потом, ну, живи у меня, если ты хочешь. Зато дочь моя старшая будет в твоей квартире свой угол иметь с диванчиком. Я отец, я ейное дело понимаю. Это мамаша понять не хочет. А она себе песни поет: «Яблоки на снегу». До этого «В цветок тюльпана» пела. Или: «А я не дам, не дам, не дам! Ни другу, ни врагу».

Мимо Серегина и пивного брата шла толпа. Почти все с мороженым. Немцы-туристы с парохода «Азор» натешились фотографированием, теперь тешились мороженым, поскольку никаких других вкусовых развлечений в этом чудесном городке не было.

— Если бы Октябрьскую революцию свершили бы не в семнадцатом году, а, скажем, этим летом, представляешь, какой бы тут городок был? Какие дворцы.

Какие курорты. Небоскребы. Рестораны. Бары. Гостиницы. Девки всех цветов. А пиво! Мы бы с тобой пивка бы экспроприировали...

А туман все валил и валил с гор. Чтобы представить его форму зрительно, можно вообразить белый гребень с длинными зубьями. Каждый такой зуб и есть струя. Но их тысячи. И воткнуты эти зубья в чью-то седую голову. И колышатся седые кудри, вздымаются и опадают.

А струи тумана все падают неслышно, все падают. И густеет туман. Наползает на город по ущельям, оврагам — набивается под мосты и в туннели.

— Туман,— сказал пивной брат.— Если бы с моря, давно бы все было мокрым. А с гор туман медленный.

IV

Странный раздался звук, очень странный — вроде выстрел. И тут же крик. Много криков. И толпа пошла — побежала к новому открытому театру. И, расталкивая людей, наперерез им бежала девушка. Серегин сразу понял, что это дочка пивного брата.

— Вот ты где,— сказала девушка, бросившись на скамейку рядом с отцом. Вздохнула словно сквозь тугой храпящий клапан.— Там Марью Петровну убили. Режиссер из нагана. Идиот. Кретин. Она, видите ли, в его идиотский кадр вошла.

Серегину представилось, что таким образом его втягивают в какое-то театральное действие. Все в этом городке было ненастоящим — ценности отдыха не те, что ценности труда. Но здесь к тому же все было приблизительным: приблизительно гостиница, приблизительно отдых. И тем не менее жизнь здесь катила как бы на воздушной подушке. Секретари и председатели, казалось, здесь не существуют — здесь они не нужны. Нужнее здесь вино, но вина не было. За пивом «Колос» стояли очереди.

— Наверно, наган бутафорский,— сказал пивной брат, вжимаясь в скамейку.

— Ясное дело. Но Марья Петровна этого не знала. Она упала и головой о поребрик. Да не сиди ты! Не сиди ты, как осел!

Пивной брат вскочил. Побежал. За ним побежал Серегин. А впереди них дочка в джинсовой юбке, якобы очень старой и очень застиранной. «Почему в моде ложь, фальшь и подделка? — подумал Серегин.— Вместе с вываренными штанами и юбками они напяливают на себя якобы биографию. Якобы...»

Марья Петровна лежала в неудобной скособоченной позе. Кто-то подложил ей под голову сумку.

Над ее лицом, отгоняя ос, качались пунцовые розы. «Какой цветок совершенный»,— пробормотал Серегин. Пивной брат глянул на него каким-то ржавым взглядом. Чтобы пробиться внутрь, пивной брат расшвыривал зевак: люди стояли плотным кольцом, тянулись на цыпочки. Одному — надменному — он даже в зубы дал и был бы, наверное, бит, но он сел на поребрик, взял голову Марьи Петровны себе на колени. Среди толпы стояли артисты в сказочных нарядах. Режиссер, похожий на Юла Бриннера и Станислава Говорухина, размахивал наганом:

— Я сколько раз кричал, и в мегафон кричали — не лезьте в кадр. Работа. Солнце уходит...

— Да заткнись ты,— сказал ему пивной брат. Брюки его были густо окрашены кровью. В присутствии артистов в сказочных нарядах кровь казалась ненатуральной, придуманной для кино.

— Гоша, в «Скорую» позвонили — едут,— сказали из толпы.

Пивной брат взял руку Марьи Петровны в свою, она узнала его — легонько сдавила пальцы. Глаза ее полузакрытые смотрели на вершины гор, на туман, на громадную тучу цвета остывшей лавы, на вершине которой Творец колдовал над замком, чтобы души праведников не выскакивали за ворота рая, но чинно сидели бы под кустами и не совали бы свой нос в буддизм и другую иностранную йогу, а славили бы его всемудрость складным хоровым пеньем.

«Наверное, рай фанерный,— подумал Серегин.— Как украшение к Первому мая. Как все вокруг. Фанерное счастье. Фанерная любовь».

Вдруг запел кто-то тихим влажным голосом: «Яблоки на снегу, розовые на белом...» Серегин дернулся — пенье было чудовищным.

Пел пивной брат. Марья Петровна слабо раскачивала его руку в такт, и что-то похожее на улыбку свивалось в уголках ее губ. «Ты еще им поможешь, я уже не могу...» — подпевали из толпы.

И уже вся толпа пела. И немцы, и артисты, и даже грузины. Две молодые шлюшки пели чистыми ангельскими голосами, подкручивая в такт бедрами. И в глазах их, обкрашенных красным и фиолетовым «Пупо», блестели прозрачные слезы.

«Боже мой,— прошептал Серегин.— Боже мой, отпусти души праведников на волю».

А Марье Петровне казалось, что она видит перед собой матроса, с которым ушла на эсминце в Новороссийск и с которым вернулась. Матрос погиб под Сапун-горой. Зрячее существо Марьи Петровны свивалось в небольшой светящийся шар. Шар пульсировал, и было ему тепло. Потом Марья Петровна увидела Гошу, нет — Гошиного отца, его ласковые глаза. Но он же передавал что-то азбукой Морзе, что-то страшное. Она сама слышала. Ни с Богом, ни со своим народом точками и тире не разговаривают. Только передают. Ах, конечно, она права. И все-таки жаль. Чего-то такого... Чего-то...

Прогудела «скорая помощь».

Марью Петровну увезли. Серегин заметил, что она уже не ответила пожатием на пожатие пивного брата.

— Ты, мужик, на меня зла не держи,— сказал режиссер.— Я наганом только махнул, мол, нельзя сюда. Он сам выстрелил. Простейшей вещи сделать не могут, чертовы пиротехники,— чтобы наган стрелял когда надо.

V

— Она уже не дышала,— сказал пивной брат Серегину. Он предложил пойти к причальной стенке, где белые корабли, потому что ни домой, ни пиво пить ему сейчас ну никак нельзя было — только плакать.

Они потолкались на берегу. Среди народа стояли верблюд, ослик, чучело медведя, тряпочный одноногий пират, с которым дети фотографировались в обнимку. Немцы перли на пароход, как икряные карпы. «Азор» вот-вот должен был отойти. Туман с гор докатил до берега. Накрыл город. Только набережная сопротивлялась.

«Азор» дрогнул, медленно пошел кормой вперед — портовый буксир тянул его в море. Сходство парохода с чемоданом стало еще большим. Белый чемодан и старый шлепанец. Белый чемодан, набитый розовыми немцами.

Туман потянулся за пароходом. Наверное, по замыслу Творца, «Азор» должен был сыграть роль замыкающего ползунка в небесной застежке «молния». Должен был навечно закрыть город туманом: и золотую колокольню, и холм Поликур, по всей вероятности — Город детей. А может быть, дети все убежали. Во все стороны света. Но уже многие десятилетия никто не убегал из этого города на пароходе.

«Азор» уходил уже своим ходом. Что-то крепко не ладилось у Творца с производством замков,— туман оторвался от парохода. Набережная дохнула вверх и сдула его, как сдувают школьники челку, упавшую на глаза.

БЕЛЫЙ ЛЕС

Путь стариков легок — все время под гору. Но Васька Егоров еще не старик, он еще бодр. Он бодряк, бодрило. Васька еще орел. Бодрец.

В молодости руль души приделан ниже пупа, хотя в мемуарах обычно плетут о сердце.

У стариков руль души в памяти.

Иногда кружит старый, кружит, как пес, позабывший, где зарыл кость,

и никак не может вырулить на прямую, а причиной тому — мухи, обыкновенные проклятые мухи.

У Васьки Егорова мухи, если их больше десятка, всегда вызывают видение Белого Леса. Оно разворачивается в повесть, грустную, невоспроизводимую и обидную, как утрата.

Корни Белого Леса вырастают из сердца девушки Янки. Такая реальность. Васька ходит между корнями, как крот. А сам лес выше. Он в вышине. Он шумит чистым звуком, он над мухами, над цветами, над восторгом и любопытством.

Что потянуло Ваську и двух Петров в эту хату?

Ульи.

В огороде стояли ульи, каких ни гордец Васька Егоров, ни два его любопытных солдата, два Петра, отродясь не видели,— дуплянки, покрытые снопами.

Солдаты перелезли жердевую изгородь. И на цыпочках, чтобы не вспугнуть пчел, пошли к дуплякам. Но, может быть, потянул их к меду инстинкт, как медведей. Может, потребовались их молодым организмам соли и минералы, квалифицированные только в пчелином меде? Так, по крайней мере, но в более общей форме высказалась крестьянка, черная коряга-топляк, босая и долгоносая:

— Солдатам красным меду надо, как и фашистам. Ишь, лезут, крадутся! Кусайте их, пчелы! Кусайте их, пчелы! — кричала она с визгливой злостью.— Пошли прочь! Бабка Крыстя, у тебя Красная Армия мед ворует. Пошли прочь! — Крестьянка кричала по-белорусски, но какой же русский солдат не понимает белорусского языка, тем более что оба Петра, и Петр Рыжий, и Петр Ражий, были из города Себежа, где, как известно, живут полиглоты и медолюбы.

— Да не воруем мы,— заорали они в ответ.— Нам поглядеть. Мы таких ульев сто лет не видели. У нас — как домики.

— Пчелы, кусайте их в очи! — вопила крестьянка.

Наверное, от этого ее невежества и недоверия и в самом деле захотелось двум Петрам меду. И Ваське Егорову тоже. Хотя нельзя сказать, чтобы Васька Егоров мед любил. В детстве он больше с сахарным песком имел дело. Сахарный песок у него шел по всем статьям — и вместо соли, и вместо подливы. И хлеб с лярдом окунался в сахарный песок, и макароны им посыпались, и лук репчатый. А мед был дорог.

Солдаты постояли, вспоминая мед детства, у двух Петров он был слаще, и пошли к той убогой хате.

День был зеленым. Бывают дни голубые. Бывают желтые...

Зеленым, с отчетливой нотой осени. Охряный и краплачный стеклярус. И розовый. У художника Крымова есть это охряно-розовое сияние. У него осень даже в снежных опарах зимы.

Сильно побитая под Варшавой Васькина танковая армия оттянулась в Западную Белоруссию, под город Ковель. В природе еще все было сочным и мощным. Громадные подсолнухи поднимались над изгородями. Соломенные крыши казались завершиями скирд. Жито и ячмень еще кланялись барину-ветру. Ни клевер, ни лен еще не были убраны. Убран был только горох.

А под Варшавой поля были голые. Снопы составлены в суслоны, и в этих суслонах кое-где прятались наши раненые солдаты. Скольких тогда наших солдат спасли под Варшавой крестьяне. Или там все же теплее? Или там раньше жито скосили, предусмотрев наступление? Ни танки, ни пехота с житом не церемонятся. И не напрасны были эти приготовления. Васькина армия оставила под Варшавой на скошенных полях свою технику.

Здесь, под Ковелем, армия укомплектовывалась. А Васькину мотострелковую бригаду, особо Васькину разведроту, хоть и сильно повыбитую, отрядили в распоряжение контрразведки. Должна была Васькина рота участвовать в операции по прочесыванию леса. Ловили здесь бульбовского атамана по кличке Лысый. Говорили — на одной ноге у него сапог хромовый, на другой ноге галоша. А любовница у него учительница.

А сейчас стоял Васька Егоров и два его товарища, два Петра — Петр Рыжий и Петр Ражий, перед неказистой хатой с тусклыми окнами и белесой от дождя дверью. Намеревались они купить у хозяев меду, настоявшегося в бортях.

Васька Егоров постучал, подергал ручку. Не услышав ответа, открыл дверь, чтобы спросить громко — есть кто дома? И как в лесу в паутину, так воткнулся

он лицом в липкую массу воздуха, в запах вареной картошки, потных немытых тел и тугое жужжание.

Воздух в избе от пола до потолка жужжал и дрожал. «Мухи,— сказал себе Васька.— Тысячи мух...»

Мухи ударили ему в щеки, в лоб, в грудь, в губы. Они залетали в рот. С воздухом затягивались в ноздри.

Отплевываясь, Васька все же вошел в избу. Ему было ясно — должен войти. Должен спасти людей. Но где-то рядом, не касаясь его, но заплетая его в кокон, жужжал ужас.

Прикрыв лицо руками, Васька пробрался к окну. Толкнул раму. Мухи потекли в небо. Тысячи мух. Сквозняк выносил их, как дым из трубы. Васька подумал — может быть, мухи живут в тех ульях? Какая-то была связь...

На земляном полу лежали люди, прикрытые полосатыми половиками. У печи с ковшом в руке сидела старуха, черная и костлявая, похожая на крестьянку, только что кричавшую на них. У старухиных ног стояло ведро с водой, почти пустое. Лежала девушка, вся в красных пятнах, в точечках сыпи.

Девушка была не просто красива, мила или там симпатична,— она была красива до жути, до оторопи. Темные брови дугой. Белые, чуть голубоватые подбровья. На два пальца ресницы. Белый прямой нос. И пухлые детские губы, еще не отвердевшие, еще розовые.

Старуха задела ковшиком по ведру, обронила его на пол. Черные губы выдохнули:

— Тиф-ф...

— Что? — прошептал Васька.

Руки людей, в основном мужиков, выпростанные из-под ряднин, дымились, как головни. На девушке пятна и сыпь стали пламенем.

— Тиф-ф...— повторила старуха.

Васька почувствовал снова, что рот его полон мух. Он сплюнул, закашлялся, опасаясь глотнуть. Старуха подняла ковшик с пола, зачерпнула воды и протянула ему. Он заслонился от ковшика, словно в нем была кислота. И выскочил.

Петры стояли на траве, уделанной птичьим пометом, а птицы — ни куриц, ни гусей, ни уток — не было. И собаки в деревне не лаяли.

— Зачем поперся окно открывать? — спросили Петры.— Ты что, бешеный? Видно же — тиф. Девушка вся горит.

— При тифе свежий воздух нужен,— сказал Васька.— Странно все же. Собаки не лают. И эти тифозные мужики...

— Может, их сюда свезли со всей округи. Бегом в медсанбат! Пусть сюда мчат со своей карболкой.— Это тоже Васька сказал.

— А ты что, не с нами? — спросили Петры.

— Я впереди вас.

Где стоял медсанбат, они уже знали. Васька ходил туда перевязывать ногу. Наступил на стекло ранним утром, выскочив босиком на росу. Теперь хромал. Бежал вприскочку, опираясь на свежую, пачкающую руки вересовую палку.

— Гад буду, бульбовцы,— кричал он.

— Побоятся в тифозной хате лежать,— возражали Петры.

— Тифозные бульбовцы. Это у них тифозный барак. А мы, идиоты, без автоматов гуляем. А сколько мух! — Васька плевался. Ему казалось, что мухи спрятались у него во рту и возятся там.

— Мухи чистоплотные,— сказал Петр Рыжий.— Замечал, они всегда чистят лапки. И передние, и задние.

— На говне посидят, на сахаре лапки почистят,— добавил Петр Ражий.

Васька замахнулся на них палкой. Они разбежались в разные стороны, длинные и тихие, как тень от маятника. И заржали. Длинно, похоже на паровозный гудок в далеком тоннеле, длинно и сипло.

Медсанбат стоял на горе, то ли в старых казармах, то ли в монастыре. С горы была видна деревня, где лежали тифозные люди и над ними жужжали мухи, где рядышком, в огороде, стояли такие старинные ульи.

Ваське показалось, что все тут ненастоящее: и лес, и деревня, и небо. Как макет, собранный кропотливым умельцем в бутылке. Все за стеклом. А в бутылку

ту скипидар налит — он вместо воздуха. Настоящее было там, под Варшавой, а тут понарошке все, как в игре.

— Тиф,— сказал главврачу.

— Нету тут тифа,— сказал главврач.

— Как же нету? В хате. Девушка. Старуха. Жар. Краснота. Так и горит, как кумач. Сыпь точечками. А мухи! Дайте мне спирту рот сполоснуть. Мухи в рот залетели.

Спирту Ваське дали и двум Петрам поднесли. Васька действительно рот сполоснул и выплюнул. Петры выпили, занюхали яблоком. У них яблоко было в кармане.

Главврач послал с Васькой джип, набитый медицинским народом с карболкой и швабрами.

— Лучше хату спалить,— говорили Петры.— Когда тиф — надо огнем.

Хата была пустая. Ни старухи, ни девушки, ни мужиков. Ничего в ней не стало. Ни стола, ни стула, ни половиков, ни ковшика. Голый земляной пол.

— Но было же,— говорил Васька майору-смерш.

— Было,— говорили Петры.— Девушка вся в огне. Брови черные. Груди белые. И пунцовые пятна.

— Это они малиной,— объяснил майор буднично.— Наляпают малины на тело, вот тебе и алые пятна, и сыпь. Испытанный способ. Ребята в пионерлагере таким образом себе скарлатину делают. Главное тут испуг. И невежество. Кто же нагнется рассмотреть, настоящая сыпь или малина наляпанная. Вот и ушли. Наверно, сам Лысый был. Этот приемчик и на немцев действовал безотказно. А мухи здесь в каждой хате. Полесье. Родина мух.

Майор-смерш беседовал с ними в роте. На полянке у кухни. Васька разглядывал его толстую рыхлую шею, мягкие плечи и мясистый потный лоб. И майор Ваську разглядывал. Косил на забинтованную Васькину ногу.

И говорил:

— Егоров, у меня вестовой заболел, в госпиталь увезли. Придешь ко мне завтра с утра. Завтра все здоровые пойдут на прочесывание. На черта Лысого. А ты ко мне вестовым.

Оба Петра ляжками задрожали от внутреннего смеха.

— Я вестовым не умею,— сказал Васька.

— А чего тут уметь? На завтрак я что-нибудь перехвачу. А ты мне за обедом сбегаешь, в офицерскую столовую. Обещали гуся жареного. Самогонки раздобудешь. На вечер. Вечером будет повод самогонки выпить. Или мы поймаем Лысого, или не поймаем. И ужин принесешь. Овощей постарайся у населения. Я, Егоров, овощи люблю.

— Товарищ майор, я лучше на гауптвахту.

— Это, Егоров, потом, это успеешь. Будет зависеть от твоей службы. Простого режима или строгого — какого заслужишь.

Майор-смерш не был ни вредным, ни страшным. Был он толстый и как бы скрипучий, как кочан. Простой, но хитрый.

Поставил палатку в расположении разведроты, в стороне, среди кустов. Он уже во всех батальонах пожил. Это еще в Румынии было, под Яссами. И стал он к себе солдат вызывать.

И предлагает вызванным: чуть что услышат — разговоры, намеки,— ему докладывать. «Ты пойми, сперва он намеки, а потом и прямую пропаганду».— «Да я ему в морду».— «А ты подпиши. И мы ему всей массой народной». И подсовывает солдату бумажку с типографским текстом на четвертушку страницы.

Один подписал все же, так им показалось. Они из кустов смотрели. Если солдат, выходя из палатки, плевался, делал жесты согнутой в локте рукой, шевелил губами в направлении майора неслышно, но вполне внятно, значит, не подписал. А вот сержант Исимов вышел, и все ясно — глаза другие, ужимки другие. Походка, брюхо потяжелели. Кулаки сжаты — власть.

Васька не утерпел, сказал майору насчет Исимова. Майор засмеялся. «Подписал — не подписал... Но вы теперь знаете — кто-то подписал. Кто-то бдит. Ты, Егоров, теперь насчет языка своего поостерегись». Неплохой был майор.

Но геройского разведчика Ваську Егорова в ординарцы! «Он тебя заставит сапоги чистить и воротнички пришивать»,— пророчили два Петра. А вслед за ними и другие остолопы: «Ты подтирками запасись хорошими. Майоры, они газетой не могут».

Но как ни крути, как ни пытайся разрушить небесный свод темечком, а вечером предстал Васька Егоров перед начальником строевой части майором Рубцовым.

«Временно, Егоров. Генерал не потерпит, чтобы боевого разведчика в ординарцы. Он хороший мужик. Принесешь майору обед — завтра гуся в офицерской столовой будут давать. Самогону добудь. Аккуратнее, смотри. Местные бульбовцы в самогон добавляют карбид».

Так и явился Егоров Василий к майору-смерш.

Рота поднялась рано, пошла на прочесывание.

Майор ел яйца всмятку.

— Я тороплюсь,— сказал.— Хочешь яиц? — Яиц была полная тарелка.— Гуся в печку к хозяйке поставь. Самогону не позабудь. Сначала попробуй. Они тут самогон черт те из чего гонят — из свинячьих помоев. Карбиду добавляют. Все дурные привычки у ляхов перенимают. Наварили бы самогонки хлебной, как люди. И кусок сала.— Лицо майора осветилось несбыточной мечтой. Он вздохнул, стер отблеск мечты с лица. Поддернул ремень, портупею поправил и пошел.

Васька поел яиц. Вкус их был позабытый — вкусный. Пятое яйцо встало в пищеводе, как пробка. Васька попил кипятку из чайника, поел майорского печенья и завалился на майорскую койку. Видимо, в том и состояла ординарцевская радость — командирское полотенце соплями пачкать. Худо стало Ваське, печально.

Когда проснулся — потянулся. Вышел во двор, как кот-сметанник. Малую потребность справил за углом сарая.

И столкнулся нос к носу с девчонкой в холщовом наряде — то ли длинная рубаха, то ли платье рубашечного покроя. Сразу заметил, что лифчика на девчонке нет. Груди ее, небольшие, подвижные, живут под рубахой, как два солнечных блика в листве смоковницы. Что такое смоковница, Васька не знал,— может, дерево, на котором растут фиги. Глаза у девчонки серые, волосы светлые, пепельные. Она, видимо, не покрывала их от солнца косынкой. Заманчивая. Очень. Но все же было что-то в девчонке козье. Наверно, движения — сразу-вдруг — и бодливый лоб.

Девушки с тонким лицом, прямым тонким носом тяготеют к козьей породе. Девушки курносенькие, круглолицые, с ласковым прищуром — к кошачьей. Эта была коза. Типичная. Отборная. Легконогая. Шелковошерстая...

— Привет, Олеся,— сказал Васька.

— Юстина,— поправила его коза.— А ты пана майора хлоп.

Вот так и схлопотал Васька по морде. Будь он болезненно самолюбив, этот удар мог бы считаться нокаутом. Но Васька устоял.

— Холуй,— поправил он козу.— У нас холоп — крестьянское звание. А кто при барине, тот холуй.— Васька выставил вперед забинтованную ногу.

— Гранатой? — спросила девчонка, вроде смягчаясь.

— Если б гранатой — было б ранение. А это — травма. Вчера на стекло наступил.— Хотел Васька эту Юстину приобнять по-товарищески, но она хватила его по зубам. А поскольку залезли они с разговорами в дверной проем, пришлось Ваське мимо нее деликатно протискиваться.

— Позволишь чего — укушу,— сказала она.

Васька ничего не позволил, только коснулся своей геройской грудью ее грудей, самых, можно сказать, сосков, твердых, как импортные плоды маслины.

Потолкавшись в майорской комнате, Васька опять на улицу вышел.

— Как зовут-то, холуй? — спросила коза.

— Василий.

— Твоему пану рыбы надо?

— Правильно думаешь,— сказал Васька.— Пожарь. Мы только жареную берем.

Он пошел в роту. А что рота без солдат — даже палаток нет. Просто за-

топтанный участок рощи. Как ни ори старшина, как ни закапывай что-то в ямку — все равно мусорно. И никого не было — все ушли на прочесывание.

«Надо было и мне идти,— думал Васька.— Сделать вид, что не навоевался, и идти, хромая...»

Васька пошел к ротной кухне.

Повар нарезал мясо и вываливал его в котел.

— Скоро явятся. А я им суп гороховый — и первое и второе,— объяснил он Ваське.— Кондер. Полукаша. Не придуривал бы, не попал бы в холуи. Гулял бы сейчас по лесу вместе с товарищами. В лесу сейчас хорошо. Малина еще не осыпалась. Лесные травы, запахи...

— Говном там пахнет,— сказал Васька.— Бульбовцы весь лес опаскудили.— Конечно, нога у Васьки не так болела, как он это изображал. Если честно, она у него совсем не болела, лишь кровоточила.

Неподалеку, в теньке, два Петра чистили картошку. Они были известными на всю роту сачками. Ваську они сейчас презирали и выказывали свое презрение длинными плевками через плечо. Васька был их непосредственным командиром. А что это за командир, если он теперь в холуях? «Тьфу!»

— Гусь вкуснее курицы? — спросил Васька у повара.

— Ты что, никогда не ел?

— Курицу приходилось, а гуся... Не помню. Наверное, нет.

— А чего спрашиваешь?

— Сегодня в офицерской столовой гусь. Ты вот что, поджарь картошечки со свининой. Пусть эти уголовники побольше почистят. Ты их не жалей — лоботрясы. Мы с тобой этого гуся приговорим, а смершу я картошечки со свининой. Надо же и солдату когда-нибудь гуся попробовать.

Повар закатил глаза, зачмокал губами.

— Гуся жарят с яблоками или с гречневой кашей и шкварками. Сначала из гусиного сала шкварки нажаришь, перемешаешь их с кашей и в него вовнутрь зашьешь. А снаружи яблоки. Антоновку. Или капуста провансаль... На офицерской кухне, я думаю, так не умеют.

— Ух ты,— сказали Петры, они перестали картошку чистить.— А если и в офицерской со шкварками?

— А вы накручивайте,— сказал Васька.— Дробненькую бульбочку. И побольше. Гусь вам все равно не обломится.

— Чего можно ожидать от бывшего командира,— сказали Петры.

«Не сказали „холуя“»,— отметил Васька.

Гусь был синий. С какой-то клейкой подливкой неопределенного бурого цвета и макаронами. Часть птицы, доставшаяся Васькиному майору, называлась «крыло».

А у ротного повара на сковородке золотилась картошечка, скворчела свинина.

— Это гусь? — спросил он.— И за него ты хочешь картошки жареной и супу-гороху?

Оба Петра обмакнули в подливку пальцы и облизали.

— Пионерлагерем пахнет,— сказали они.

А Васька грустил. Ему представлялась девушка Юстина с грудью, плещущей счастьем в его высокий берег. С глазами вечерненебесными и обветренным ртом.

Петры съели по макаронинке, взяли по второй и пришли к выводу, что макароны — есть макароны, их даже синим гусем испортить трудно.

Повар, обглодав «крыло», заявил, что гусь свинье не товарищ. И Васька Егоров правильно к этой херне не прикоснулся, поскольку он категорически не холуй и не может себе позволить лакомство за счет своего майора, тем более что лакомство — «Тьфу! Брюква!» и что повара в офицерской столовой негодяи и педерасты.

В старостовой хате — майор у старосты поселился — в сенях сидел ожидающий майора народ. Старухи, парень-баптист с лицом чистым и нежным, как у девушки. И девушка — Васька даже споткнулся — красавица. В полосатой

паневе, шелковой розовой блузке, сверкающе новой, и шелковых лентах. На ногах у нее были черные туфельки с ремешком на полувысоком каблучке. Васька смотрел на нее, а она не отворачивалась. Наконец Васька сказал:

— Тиф.

Девушка засмеялась. На щеках у нее вспыхнули ямочки. Черные брови дугой и ресницы длинные полетели Ваське в лицо.

Васька ощутил на лице толкотню сотен мух. Почувствовал шевеление их во рту. Нестерпимо захотелось сплюнуть. Но этого он не мог. Мирное население восприняло бы плевок как обидный.

Васька вскочил в комнату и долго плевался, высунувшись из окна.

Напротив солнца, просвечиваясь сквозь реденькое холстинное платье-рубаху, стояла босая Юстина.

— Что ты плюешься? Муха в рот залетела?

— Тифозная,— сказал Васька.— Вчера в хате лежала в пятнах. Сыпь на теле...

— Так красивая же,— ответила Юстина.— Янка. Она и панчохи надела на панталоны. Дура, думает, пан офицер ее уже сегодня в постель потащит. А может, потащит, что скажешь?

— Не знаю.— Тифозная стояла перед Васькиными глазами — смертельно красивая.— Рыбу поджарила? — спросил он Юстину.

— Поджарила. На столе. В печке высохнет.

Васька снял крышку с глиняной миски. Запах жареной рыбы был не чета тому гусю. Васька съел плотвичку. Пальцы облизал.

— Кто людей к майору прислал?

— Староста. По приказу... А холуям нельзя выйти? Нельзя с девушкой погулять?

Васька посмотрел в ее серые бесстрашные глаза.

— Погодь, сейчас выйду.

Он отнес котелки с жареной картошкой и гороховым супом хозяйке, снова споткнувшись о красоту чернобровой Янки. Хозяйка кивнула. Ни к Ваське, ни к майору у нее не было интереса. Ни к русским солдатам, ни к гудящим в кухне мухам. Васька окно открыл, выгнал мух полотенцем. Хозяйка даже головы не поворотила. На печке сидела кошка, черная с белой грудкой.

И снова Васька пошел мимо красотки, отмечая, что испытывает неловкость за свое хождение,— как будто нарочно ходит, чтобы на красотку в лентах посмотреть. А она — хоть бы что. Красивые то ли привыкают, то ли не понимают, что творят, а творят они непрерывное зло, расстраивают умы, растравляют душу...

На столе рядом с рыбой Васька оставил фляжку, в ней спирт. И написал на листке: «Товарищ майор, гуся я выбросил — синий — не майорская еда. Во фляжке спирт. Здешний самогон воняет — не майорское питье. Обед в печке. Я не приду. Готов под арест. Сержант Егоров».

Васька сунулся в коридор, столкнулся с согласным взглядом чернобровой красавицы и попятился в комнату. Не мог он мимо нее пройти без какого-нибудь разговора. Она охотно ему ответила бы — видно же. Слово за слово — он бы ее в комнату пригласил с этакой мерзкой, всем понятной улыбочкой. А что майор? Может быть, у майора высший государственный интерес...

Васька выпрыгнул в окно. Обнял Юстину. Она врезала ему в ухо.

— Налюбовался? — спросила.

— На кого намекаешь?

— На Янку.

— Да я на нее ноль внимания. Мне она как бы и не живая. Кукла глазастая. Вот ты — ты киса...— Васька снова облапил Юстину.

Прежде чем треснуть его по другому уху, Юстина выгнулась под его рукой. Васькины пальцы как бы случайно тронули ее грудь, словно налитую густым медом. После того, как она ему все же врезала, он притиснул ее к себе и поцеловал. Она укусила его за губу. Оттолкнула и побежала, по особому изгибая стан, как бы говоря, что убегает она не от Васьки, но от окон, от людских глаз и злых языков.

За овином Васька ее нагнал. Может, это был не овин. Ваське, собственно, все равно, что амбар, что гумно, что хлев, что конюшня. Знал Васька — все это

вместе называется двор. Тут узнал Васька, что двор, в данном случае, образует прямоугольник с пустым пространством посередине, с хорошо утрамбованным земляным полом, припорошенным сенным охвостьем. И метла у стены стоит — подмести позабыли.

Посередине двора стояла телега. Васька поднял Юстину на руки и, ничего не соображая, понес ее в телегу, откуда она благополучно выскочила, пока он сам красиво в эту телегу вскакивал.

Юстина белкой взлетела по прислоненной к стене лестнице. И, наклонясь сверху, серьезно сказала:

— Догонишь, тогда и целуй, я кусаться не буду.

Если есть зверь побыстрее белки, так это Васька. Ему даже лестница не понадобилась. Он подпрыгнул, ухватился за жердь какую-то и подтянулся вмиг.

Юстина была уже на другой стороне.

Вокруг двора шла крепкая, заделанная и в «ус», и в «ласточкин хвост», обвязка. Она немножко выступала над стенами строений — была как бы отдельной рамой. Над воротами шла по воздуху, как мосток. По этой обвязке и бежала Юстина. И смеялась. Васька за ней.

Все здесь наверху имело свой порядок: где бочки и кадушки, где неведомые Ваське ступы и жернова, верши и пестери, старые хомуты и дуги. С одной стороны все пространство занимало сено. Как понимал Васька — сено было до самой земли. Густо, головокружительно пахнущее.

Над сеном Юстина оскользнулась. Вскрикнула и упала.

Лежала она на спине, правая рука ее была на отлете и вроде пошевеливала сено, мол, сюда падай. Васька на секунду замешкался, залюбовался девушкой. Холстинное платье сживлялось с сеном, пепельные волосы и серые глаза тоже были из мира цветов и трав. В глазах ее Васька разглядел, может, почувствовал что-то затаенно-опасное — как бы ожидание зла. И, уже падая, перевел взгляд на ее руку. Из-под пальцев, из пригруженного рукой сена высовывались остро заточенные зубья вил. Если бы не оплошка в ее глазах, Васька и не заметил бы.

Наверное, солдатский Бог был поблизости. Перепробовавший все виды спорта, даже введение в парашютизм, Васька резко вертанул головой и ступнями — тело его веретеном пошло, сделало полный оборот и легло рядом с остриями вил; придавило своей тяжестью сено так, что зубья целиком выпростались и засверкали.

Страха у Васьки не было, была обжигающая досада, даже обида, даже мысль: «А может быть, не она? Может, случайность такая?..»

Она дернулась встать — Васька схватил ее за лодыжку. Она отодвинулась от него. Сено шло горкой к стене. Глаза ее, темные, почти фиолетовые, стали громадными. Ворот на платье оказался широким — одно плечо целиком из него высунулось.

Отодвигаться ей было некуда, она уперлась затылком в стену и теперь как бы полусидела. Рот ее приоткрылся. Руки, красивые руки подхватили подол платья между колен, скомкали и медленно потащили кверху...

Роту подняли чуть свет.

На ногу наступать можно было, идти было нетрудно, но после ходьбы порез кровоточил. Васька забинтовал ногу бинтом, обернул куском плащ-палатки и засунул в голиафский ботинок Петра Рыжего. Петры опять сачковали — у них нашли что-то нервное, что излечивается лишь возле кухни.

Васька тупо шагал, ни о чем не думал, да и не мог. Ему казалось, что он выварил мозги в чернилах.

«Чего попёрся,— говорили ему.— Все равно на губу загремишь. Смерш — он смерш и есть. Тем более майор». По роте уже разошелся слух, что Егоров Василий, геройский сержант, смершмайорского гуся сожрал.

Прошли деревню, поле, лесок. Втянулись в пущу. Какое-то время шли колонной, подремывая, но в установленном для маневра месте получили команду развернуться в цепь.

Оружие изготовили, снаряжение подтянули, проверили, чтобы не брякало, не скрипело. И тут Ваську вырвало. Наплыло на него видение — острые зубья вил входят в его напруженный от похоти живот. И Васька — жук-носорог — лапками шевелит, наколотый на булавку. А она говорит: «Не гонялся б ты, холуй, за дешевизной». Собственно, это говорили Петры, когда он поведал им свою эпопею. Случайность Петры отринули категорически. «Ты на вилах. И оправданий с ее стороны не надо. Какие могут быть оправдания? Ты же тамбовский волк. Затащил барышню в свежее сено... Ты сам-то себя кем считаешь?»

Вчера Васька о вилах не думал. И разговоры Петров воспринимал как зависть. Зубья вил вошли ему в живот лишь сейчас. «Ну ведьма,— бормотал он, исторгая из себя кашу.— Ну, ведьма лесная. Я ей еще уши нарву».

Когда он уходил, Юстина сидела на сене, натянув свое серое платье до щиколоток. Из ее ставших черными глаз катились слезы. Они повисали на ресницах, тяжелели и обрывались. Васька уходил от нее пятясь. Только выйдя со двора, пошел нормально, грудью вперед.

«Не впрок тебе смершмайорский гусь»,— говорили ему солдаты. «Не впрок»,— отвечал Васька. Он вытер лицо намоченным в лесной росе носовым платком. Стало легче.

Стало все видно. Стало ясно, что, увернувшись от вил, геройский сержант Егоров Василий может сию минуту наскочить на мину, на автоматную очередь, на одну-одинешенькую пульку снайпера — на нее, неприметную, прямо лбом.

Так что впереди у тебя, Егоров, большие сложности. О них думай.

Ветки задевали лицо, роса осыпалась с листвы за шиворот. И вдруг они поняли, что оказались в чудном лесу — невероятном. Завороженном.

От земли вверх, на уровень выше головы человеческой, шли корни, мощные, поблескивающие тонкой вороненой кожицей. От мощных корней ответвлялись корни потоньше и совсем тоненькие. Между корнями кое-где набилась трава, напорошило туда землю, и земля проросла осокой и лесными цветами. Наверху корни сходились, причем с боков, как и положено корням равнинных деревьев-берез. Березы были могучи, в обхват. На корнях этих чудных, выше голов человеческих, стоял лес. Белый. Зелень листьев не воспринималась как принадлежность этого леса — только стволы. Свечи чудо-берез. Они вздымались колоннами. Светили белым светом.

Объяснить Белый Лес было нетрудно. Когда-то березы проросли на болоте. Потом болото стало опускаться. Оно высыхало сто лет, и корни берез тянулись вслед за опускающейся почвой. Но это простое объяснение не делало Белый Лес простым. Он оставался чудным и страшным. Пучки корней объединились в непроходимые стены, оставив зверю и человеку лишь причудливо петляющие тропы, подобные коридорам лабиринта. Ни о какой солдатской цепи речи быть уже не могло. Солдаты шли гуськом, оглушенные белоколонным чудом.

Васька подумал, что здесь их могут косить пулеметами, расстреливать в упор, забрасывать гранатами, зная лес, успеть сто раз уйти. Но никто не стрелял. Было тихо. Жужжали мухи — хозяйки полесья.

Неожиданно, как он возник, Белый Лес, так он и кончился, перешел в мелколесье, просвеченное солнцем.

Мелколесье тоже вдруг оборвалось. Перед солдатами открылась поляна. С одного бока были выкопаны землянки — курени. Перед одним куренем на красном стеганом одеяле шелковом сидел белобрысый парень в клетчатом пиджаке. У правой его ноги забинтованной, уложенной в лубок, стоял пулемет «Гочкис».

Они приближались к нему, и он смотрел на них с любопытством.

— Ты, парень, не заминированный? — спросили.

— Нет.

Отряд Лысого бросил его. Оставили пулемет для геройства.

В деревню парня доставили на плечах. Положили две жерди на плечи, он повис на них, как на гимнастических брусьях, и шагал здоровой ногой.

— Небось не видели нигде такого леса,— говорил он, вертя головой. Он задыхался и кашлял. Легкие у него были застужены.— Говорят, даже в Альпах такого леса нет.

В деревне солдаты разделились. Рота пошла в рощицу, в свое расположение. Сопровождать парня к майору-смерш отрядили сержанта Егорова Василия.

— Заодно узнаешь, на сколько суток тебя на губу за твое самовольное непослушание,— сказал командир роты.

Завороженный Белым Лесом, Васька ни о ком не подумал: ни о Юстине, ни о майоре, ни о чернобровой красавице Янке — только о двух Петрах, которым Бог укоротил биографию на одно чудо.

Бог укоротил биографию двух Петров не только на Белый Лес. Оба Петра в один час погибнут в Германии от снаряда, разорвавшегося у них над головами.

У дома старосты толпился народ. Телега со двора была выкачена — в ней лежала чернобровая Янка. В розовой шелковой блузе. В лентах. Голова ее запрокинулась. Высокая шея с голубыми жилками была прикрыта вышитым полотенцем.

«Зарезали»,— сказал Васька, может быть, вслух, может быть, про себя.

Парень-бульбовец поднырнул под жердину и теперь стоял на одной ноге рядом с Васькой, стискивая ему плечо.

«Курва»,— сказал парень то ли вслух, то ли про себя. Но Васька услышал.

Поодаль стояла Юстина в сером холстинном платье, кусала травинку. На табурете сидел майор, усталый с дороги.

А над Янкой шумел Белый Лес голосом, что превыше всех голосов.

Все здесь было от корней того Белого Леса.

И да пребудет мир с ними...

Владимир Казаров

Два рассказа

ПРАВОТА ВИКТОРА ФОМИЧЁВА

— Кто у нас сейчас? — спросил Илья, когда они вошли в лифт.

— «Десантник»,— сказал Глеб и, сообразив, что начинающему фельдшеру надо расшифровать, добавил: — Выпал из окна, с седьмого этажа. Мужчина, примерно сорок лет.

— А что, наши услуги ему еще могут понадобиться?! — изумленно спросил Илья.

— Ну, если он был трезвый, то это уже, скорее всего, труп. А если пьян и упал в снег, то мы можем и пригодиться!

Они вышли на улицу. Илья молча переваривал информацию.

— А что, пьяными тоже мы должны заниматься? — спросил он наконец.

— К сожалению,— вздохнув, сказал Глеб.— И уголовная ответственность за них такая же: не дай бог, случится с ним что-нибудь в твоем присутствии — не расхлебаешь!

Они подошли к «рафику», и шофер завел мотор.

— Матвеич! — сказал Глеб.— Новоакадемическая, двадцать три. Квартиру на месте узнаем — «десантник»!

Глеб сел вместе с Ильей, сзади: с тех пор, как однажды он ездил по вызову к месту аварии «скорой помощи», на которой разбился знакомый врач, в кабину он больше не садился. Матвеич тогда объяснил ему, что в аварийной ситуации шофер инстинктивно «уводит» из опасной зоны свою сторону, подставляя под удар правую, где сидит врач или медсестра.

Машина стала петлять — видимо, они подъезжали к месту. Вскоре «рафик» остановился, и они вышли возле четырнадцатиэтажной башни; немного дальше, в снегу, среди кустов, стояли люди.

Глеб с Ильей быстро подошли к ним, протиснулись вперед сквозь негустой ряд стоявших и о чем-то споривших людей и увидели, что в снегу, ближе к дому,— довольно большая яма, от которой вдоль стены в сторону подъезда вели глубокие следы. Увидев людей в белых халатах, все умолкли.

— Что случилось? — спросил Глеб.

Стоявший рядом с ним мужчина в телогрейке, похожий на сантехника, повернулся и сказал:

— Да это Витька Фомичев, из 137-й квартиры,— из окна вывалился!

— А где же он? — спросил Глеб, подумав: «Шок! Пошел домой и где-нибудь свалился!»

— Да в магазин пошел! — ответил сантехник.

— В какой еще магазин?! — невольно вырвалось у Глеба.— Хороши шутки, нечего сказать.

— А чего мне шутить? — обиделся сантехник.— Вон за углом «Продукты», там винный отдел есть — туда он и пошел! — Он протиснулся на тротуар и исчез.

«Черт-те что! — подумал Глеб.— Что же нам теперь, в магазин, что ли, за ним ехать?!» — и тут же понял, что другого выхода нет.

Казаров Владимир Абович (род. в 1936 г.) — прозаик, критик, печатался в журналах «Новый мир», «Юность», «Знамя». Живет в Москве.

— Кто его знает в лицо? — спросил он, и какой-то мальчишка рванулся к нему из кустов:

— Я знаю, дяденька врач! Мы на одном этаже живем!

Они пошли к машине.

— Матвеич, тебе пацан дорогу покажет, как к магазину подъехать, ваш больной туда удрал! — сквзал он, подсаживая мальчишку в кабину, и полез за Ильей в «рафик».

Вход в винный закуток был отдельный; за вином, как это обычно бывает перед закрытием, стоял здоровенный хвост, чуть не вылезавший на улицу.

— Вот он! — радостно сказал мальчишка, показывая на невысокого русого мужчину без пальто и без шапки, стоявшего уже недалеко от продавщицы.— Виктор Иваныч, а за вами врач приехал!

— Ы?..— качнувшись в их сторону, спросил Виктор Иваныч.

— Вы ведь из окна выпали? — спросил Глеб, внимательно вглядываясь в Фомичева и пытаясь понять, что это — шок или просто сильное опьянение.

Очередь, как по сигналу, замолчала, все, в том числе и продавщица, стали прислушиваться к разговору.

— Я... не вы...— Фомичев икнул,— не вы... не выпадал!..

— Вам надо немедленно лечь! — резко сказал Глеб, уже сообразив, что Фомичев совершенно пьян, и дико разозлившись.— Идемте, у нас здесь машина, мы отвезем вас домой!

— Мне домой... сейчас... никак нельзя... без бутылки!..— сказал Фомичев.— Я Тоньке... обещал... а магазин закроют!..— Он, медленно покачиваясь, обернулся к стоящим сзади: — Правильно я говорю?..

Очередь сочувственно загудела:

— Пятнадцать минут осталось! Дайте ему взять, а то и правда магазин закроют!

— Пропустите его без очереди, раз за ним врач приехал!

Продавщица, рыхлая блондинка с ярко накрашенными губами, протянула руку и дернула Фомичева за рукав:

— Ну, орел, давай отпущу!

Фомичев снова повернулся к прилавку, неверным движением полез в карман пиджака, порылся там и достал деньги. Продавщица подала ему бутылку и дала сдачу. Теми же окольными движениями засунув сдачу в один, а бутылку — в другой карман пиджака, Фомичев нетвердой походкой пошел к выходу. К дому они ехали молча, лишь Фомичев изредка икал. Злость у Глеба постепенно проходила.

У своей квартиры Фомичев позвонил. Им долго не открывали, затем послышалась какая-то возня, щелкнул замок, и дверь распахнулась. Держась за ручку и покачиваясь, женщина лет, по внешнему виду, пятидесяти пяти, в халате и домашних тапочках на босу ногу, со спутанными, неопределенного цвета волосами и бессмысленной улыбкой проговорила:

— Принес... касатик!..

Увидев людей в белых халатах, входивших в квартиру следом за Фомичевым, она охнула и, закрывая за ними дверь, сказала:

— А мы... не нарушаем!.. Доктор... мы... не нарушаем!..

Они прошли за Фомичевым в комнату. Глеба поразила ее странная пустота, и, оглядевшись, он понял, откуда это ощущение: мебель в комнате была только самая необходимая — стол, четыре стула, здоровенный матрас, на котором валялись одеяла и подушки в белье не первой свежести, небольшой телевизор на старенькой тумбочке. На окнах не было даже занавесок.

На круглом деревянном столе без скатерти в художественном беспорядке, напоминавшем натюрморты Петрова-Водкина, валялись хлебные корки, огрызки соленых огурцов и селедочные головы, пара вилок и ложка, стояли грязные тарелки, пустые бутылки и стаканы.

— Мне надо осмотреть вас! — строго сказал Глеб.— Снимите пиджак и рубашку.

Не забыв вытащить бутылку и поставить ее на стол, Фомичев стал раздеваться. Время от времени он икал и пытался что-то произнести, но каждый раз махал рукой и умолкал. Глеб велел ему приподнять майку и быстро осмотрел его: нигде не было видно ни гематом, ни внешних повреждений, не провоцировалось никакой болезненности; он прощупал ему голову и, велев лечь, пропальпировал живот — все было в полном порядке. Ноги можно было бы и не осматривать — мало вероятно, чтобы было какое-то серьезное повреждение, с которым Фомичев столько времени пробыл на ногах,— однако он так был анестезирован спиртным, что Глеб решил не рисковать и велел ему снять ботинки и брюки. Ноги были целы, и здесь тоже не было ни синяков, ни царапин.

Глеб сел за стол, взял у Ильи карточку, в которой тот уже заполнил все что мог, и стал записывать результат осмотра.

— Сколько лет? — спросил он у Фомичева.

— Сорок... два!..— произнес тот, натянув одну штанину и прицеливаясь в другую. Женщина, все это время с блаженной улыбкой сидевшая на стуле, сказала:

— У него... день рождения... был... месяц назад!..

— А вы кем ему приходитесь? — полюбопытствовал Глеб.

— Жена!..— улыбаясь еще шире, сказала она.— Мы... хорошо живем!.. Доктор... мы... не нарушаем!..

— Как это, не нарушаете?! — строго сказал Глеб.— А из окна бросаться — это что, не нарушение?!

— А я... не бросался!..— пробормотал Фомичев, безуспешно пытаясь завязать шнурки на ботинках.— Я же говорю... я... вы... вышел!..

— Что значит — вышел?! — с трудом сдерживая улыбку, спросил Глеб.— Для этого дверь существует!

— Я... в магазин... опаздывал!..— сказал Фомичев, с большим трудом застегнув на ширинке верхнюю пуговицу и тщетно пытаясь застегнуть следующую.

Илья не выдержал и засмеялся. Глебу стоило огромного усилия не захохотать, но он тем же строгим тоном сказал:

— Вы что, ненормальный?! Вы что же, значит, каждый раз, когда в магазин опаздываете, в окно выходите?!

— Это кто... ненормальный?! — спросил Фомичев.— Это я ненормальный?!

Пуговица ни за что не хотела застегиваться, и он, как был, с незавязанными шнурками и незастегнутой ширинкой, пошел к окну. Когда Глеб поднял голову, Фомичев уже стоял на подоконнике и открывал левую створку. Глеб и Илья вскочили со стульев, но ни крикнуть, ни сделать ничего они уже не успели: Фомичев сделал шаг вперед и провалился за окном.

У Глеба выступил на лбу холодный пот, в голове пронеслось: «Конец!», относившееся в равной мере и к Фомичеву, и к нему самому, на мгновенье он оцепенел. В этот момент раздался грохот — стул рядом с ним упал. Он обернулся и увидел, как Илья, смертельно побледнев и медленно оседая, заваливается на бок. Он быстро подхватил его и встал рядом с ним на колени. Судя по всему, у парня был обычный обморок. Глеб приподнял ему голову и несколько раз хлестнул по щекам. Илья открыл глаза и стал приходить в себя. Глеб втащил его на стул и огляделся.

Нет, ему не померещилось: жена Фомичева, все так же блаженно улыбаясь, по-прежнему сидела на стуле, рубашка Фомичева, поверх его пиджака, висела на спинке другого стула, окно было открыто, а Фомичева в комнате не было.

Похолодев и чуть не плача от бессильной злобы, Глеб бросился из квартиры. Лифт был занят. Не дожидаясь кабины, он помчался вниз, прыгая через три-четыре ступеньки и непонятно каким образом не ломая себе шею; все шесть этажей пролетели, как во сне.

Добежав до первого этажа, он обогнул лифт и, выскакивая к двери подъезда, заметил, что она открывается. Он затормозил, чтобы не сбить входившего, но, увидев его, остолбенел: в дверях, весь облепленный снегом, покачиваясь, стоял вечно живой и невредимый Виктор Фомичев и бормотал:

— Это кто... ненормальный?!. Это я... ненормальный?!.

НОМЕРА

Дело было не в том, что я питал к Сашке Калугину какую-то неприязнь,— наоборот, я относился к нему лучше, чем ко многим в лаборатории, и когда стало известно, что у Сашки должен родиться второй ребенок, то не только поддержал идею скинуться на немецкую коляску, но и сам вызвался отвезти и коляску, и вещички, которые купили для будущего ребенка наши женщины, к Сашке домой, в Балашиху.

Тем не менее сейчас я выполнял свое обещание скрепя сердце: до Олимпиады оставалось меньше двух недель, гаишники того и гляди обложат все дороги — если уже не обложили, и я предпочел бы не рисковать номерами. Но Марину с ребенком вот-вот должны были выписать из роддома, Сашка ушел в отпуск, и я, забрав с работы коляску и сложенные в нее свертки, клятвенно пообещал на другой день с утра отвезти все это в Балашиху, чтобы коляска попала к ним до того, как ребенка привезут домой.

Дело усугублялось тем, что сильно прогорела труба глушителя, и мой «Запорожец» теперь стрелял так, словно в нем сидела рота автоматчиков. Я уже несколько дней ездил на нем только по неотложным делам, сбрасывая газ, когда видел где-нибудь гаишных постовых или машину, однако это была рискованная езда — особенно если учесть, что ГАИ получила указание на время Олимпиады поставить половину частных машин на прикол. Я знал это достоверно, от знакомого гаишника, который предупредил меня, что надо быть осторожным.

Проще всего было бы взять на все это время отпуск и махнуть на дачу, как в прошлом году, но у Машки — вступительные экзамены, да еще ей приходится ездить на консультации в училище,— так что Вера с Машкой практически до самой Олимпиады будут жить

в Москве; а мне еще придется потом замещать шефа, который благоразумно взял отпуск так, чтобы уехать до Олимпиады и приехать после нее. Правда, и. о. начальника лаборатории — это лишняя тридцатка, но я предпочел бы ее не получать и не торчать весь этот месяц в городе.

В любом случае с трубой надо, конечно, что-то делать. Заменить ее, наверно, не удастся: я уже звонил на станцию, и мне сказали, что можно заменить глушитель вместе с трубами или только глушитель, но не одни трубы. Странно еще, что на этот раз на станции есть глушители, обычно достать его — целая проблема, но глушитель у меня стоит новый, а отдавать 65 рублей за то, чтобы заменить трубы, которые стоят всего 17,— больно накладно, я останусь практически без получки. Надо бы снять их и как следует проварить, договорившись за бутылку на базе или на шараге в Филях,— но, как назло, все знакомые сварщики угнаны на какие-то олимпийские объекты, и если и в ближайшие дни не найду способа залатать трубу, на машине придется месяц не ездить.

Пока же надо было съездить без потерь в Балашиху и обратно, и я ломал голову, какой маршрут выбрать. В конце концов я решил добираться «огородами»: шоссе Энтузиастов я почти не знал и, хотя ехать в Балашиху по Щелковскому шоссе значило сделать явный крюк километров в десять, я все-таки выбрал именно эту дорогу. Я часто ездил по Щелковскому в Загорянку, на дачу, вся дорога по набережной Яузы и далее, вплоть до поворота к Балашихе, мне была хорошо знакома, и я мог переключить внимание на посты ГАИ.

Благополучно миновав будки на Зубовской и у «Кропоткинской», я вырвался, наконец, на Кремлевскую набережную и, посматривая на спидометр, поехал к Котельнической. В другое время я бы ни за что не шел ровно на шестидесяти — на шестидесяти движок тянул плохо, ему нужно было хотя бы шестьдесят пять; я слышал, что так у большинства «Запорожцев», поскольку двигатель был спроектирован задолго до введения ограничений по скорости, он вообще лучше всего работает на восьмидесяти, это у него оптимальный режим, но сейчас я рисковать не мог.

Свернув на набережную Яузы, я сбросил скорость: знак «Не больше 40» висел по всей набережной, и здесь часто «секли» скорость гаишные машины. Не превышая скорость и не вылезая из первого ряда, я доехал почти до самого поворота к Преображенке, как вдруг заметил впереди гаишника, останавливающего какую-то машину. Я разогнался, сбросил газ и, почти не чихая, стал проезжать мимо пятачка, на котором стояли гаишный «рафик» и две или три остановленные машины, однако гаишник прервал выяснение отношений с водителем одной из них, бросился к проезжей части и жезлом показал, чтобы я остановился.

— В чем дело?! — спросил я с изумленным видом, вылезая из машины навстречу пожилому лейтенанту.

— Ваши документы! — сказал лейтенант, не обращая внимания на мой вопрос.

Я отдал ему техпаспорт и права. Тот, убедившись, что в техпаспорте есть отметка техосмотра, показал жезлом чуть вперед и правее:

— Поставьте машину вот сюда, где стоит «газик». Будем проверять на СО!

— Что-что?! — спросил я, и в самом деле изумившись и не сразу сообразив, о чем идет речь.

— Проверка содержания СО в выхлопных газах! — сказал лейтенант, в свою очередь удивившись моему изумлению.

Вот это номер! Только этого и не хватало! Я стал лихорадочно соображать, как повлияет дыра в трубе на показания прибора, а потом плюнул и, стараясь не газовать, отвел машину на указанное мне место. К машине подошел парень, одетый в штатское, в руках у него был прибор; он поставил его на землю и воткнул наконечник шланга, шедшего от прибора, в выхлопную трубу. Стрелка прибора отклонилась, и я присел было на корточки, пытаясь разобраться в градуировке, но в этот момент парень разочарованно сказал подошедшему лейтенанту:

— Один и девять! В норме!

Подошедшая с лейтенантом девушка записала номер моей машины и показания прибора в журнал.

Лейтенант сказал:

— А ну-ка газани!

«Паршиво!» — подумал я, но сел за руль и с показной готовностью газанул.

— Тоже ниже нормы! — сказал парень и, взяв прибор, вместе с девушкой пошел к «Москвичу», остановленному вторым гаишником.

Лейтенант повернулся ко мне и сказал:

— Давай-ка проверим, как ручной тормоз отрегулирован! Слегка разгонись и затормози ручником!

За ручник я был спокоен, но, чтобы даже слегка разогнаться, надо было опять газовать, и каждый раз я это делал со страхом.

— Ручной тормоз в порядке! — сказал лейтенант, подходя к машине.— Только что это она у тебя трещит, как трактор?

Неожиданно он встал на колено и заглянул под машину.

— ...! — выругался он, вставая и отряхивая с колена пыль.— Мы у него СО проверяем, а у него там труба оборвана!

— Как оборвана?! — искренне удивился я.— Там была в трубе дыра — это верно, я и еду ее заваривать, мне в Балашихе обещали устроить сварщика, но не отвалилась же она совсем!

— А ты погляди сам! — сказал лейтенант.

Я полез под машину. Труба действительно отвалилась и держалась на честном слове — совсем прогорела около фланца! Мне стало ясно, что дело — труба: это будет стоить мне номеров. Я поднялся и сделал последнюю отчаянную попытку спасти положение.

— Товарищ лейтенант, слово даю, в таком виде больше не выеду! Съезжу в Балашиху, и если мне там трубу не заварят, поставлю машину на стоянку!

— Ну вот что, снимай-ка номер, какой-нибудь один, спереди или сзади, я тебе выдам акт, и когда все поправишь, приедешь в ГАИ Ленинского района и получишь по этому акту свой номер!

ГАИ было свое, родное, я, оказывается, еще не выехал за пределы своего района — или они просто забрались в чужой? И надо же так случиться, чтобы знакомый гаишник месяц назад перешел работать в городское ГАИ — теперь у меня в Ленинском ГАИ никого не было!

— Но мне же сегодня позарез надо попасть в Балашиху! — сказал я с отчаяньем в голосе.— Как я туда без номера поеду?!

— У тебя будет копия акта, в случае чего покажешь ее и скажешь, что едешь ремонтироваться и что номер уже снят! А чтобы поменьше обращали внимание, сними задний номер!

Не дожидаясь моего ответа, он бросился к проезжей части и тормознул «жигуленка». Окончательно смирившись с поражением, я открыл оба капота, достал ключи и стал снимать задний номер. Даже если я по-быстрому заварю трубу, номер мне, конечно, до конца Олимпиады не отдадут, это ясно, как Божий день,— не для того они их сейчас снимают!

Пока я отворачивал гайки, прибор показал избыток СО у «Жигулей», и лейтенант велел водителю снять номер, посоветовав отрегулировать клапана и зажигание. Водитель, черноволосый парень в темных очках, джинсах и замшевом пиджаке, что-то сказал лейтенанту, но тот только отмахнулся. Ну конечно, нашел время и место откупаться! Рядом стоят парень с прибором и девушка с журналом, да и будь этот лейтенант совершенно один, он бы сейчас все равно номер у него снял: если началась подготовка к Олимпиаде, то план по снятию номерных знаков им надо выполнять, хоть тресни!

Я положил ключи и болты с гайками в «бардачок» и хотел было отнести номер в «рафик», но потом решил на всякий случай оставить его в машине — а вдруг пронесет? По приставной лесенке я забрался в «рафик». «Рафик» был полупустой, сиденья шли только по краям, да с двух сторон стояли два столика, видимо, привинченные к полу. На обоих столиках лежали бумаги, за правым сидел второй гаишник, старший лейтенант, и что-то писал. Под центральным сиденьем виднелась горка снятых номеров.

— А где мне акт получить? — спросил я у гаишника.

Тот на секунду оторвался от бумаг, поглядел на меня и сказал:

— Так ведь у вас не я проверял! Вот он сейчас придет и выдаст вам акт! — И он снова уткнулся в бумаги.

Я собрался было выйти, но тут по ступенькам навстречу мне стал подниматься мой лейтенант.

— Ну что, снял номер? — спросил он меня, как старого знакомого,— он, конечно, уже видел, что номер снят.

— Что делать! — сказал я, огорченно мотнув головой.

— Сейчас я тебе акт дам!

Он быстро вписал номер машины и мою фамилию в уже подготовленный экземпляр акта, дал мне расписаться, отдал мне копию акта и документы и еще раз напомнил:

— В ГАИ Ленинского района!

— Хорошо! — сказал я, скорчив грустную мину и в душе моля, чтобы лейтенант не спросил, куда я положил номер.— До свидания!

Я сел в машину, дал газ и рванул с места. Отъехав от злополучного пятачка метров на триста и увидав впереди мост, у которого надо было сворачивать к Преображенке, я облегченно вздохнул и рассмеялся. Хорошо, что я не стал дожидаться лейтенанта у машины, а сам влез в «рафик» — вот тот и решил, что я отнес туда номер. А теперь я ехал со снятым номером, который лежал у меня в машине, и с актом о том, что номер у меня снят за неисправность глушителя. И если меня кто и остановит, то все равно ничего не сделает: какой смысл снимать номера дважды? Словом, я получил на сегодня охранную грамоту! Однако ехать надо было все-таки аккуратно, рисковать талоном я не хотел: талон у меня был чистый, а я по опыту знал, что первая же дырка потащит за собой и следующую.

У поста ГАИ на выезде на кольцевую меня не остановили — видно, теперь они этого номера хватятся только тогда, когда начнут подбирать номера по актам, чтобы сдавать

к себе в ГАИ. Во всяком случае, если на повороте к Балашихе я миную пост нормально, то все в порядке. На Щелковском шоссе я расслабился и немного отдохнул, собравшись снова метров за семьсот перед поворотом на Балашиху. Этот пост я тоже миновал благополучно, тут же решив на обратном пути, во избежание недоразумений, ехать другой дорогой: чем черт не шутит, вдруг они со своим приборчиком переберутся за это время на другую сторону Яузы?

Я застал Сашку за ремонтом детской кроватки; мы вместе перетащили из машины вещи, и Сашка предложил выпить, тут же и вспомнив, что я за рулем и пить не могу. Мы посидели на кухне, попили чай, я рассказал ему, с какими приключениями я к нему добирался; Сашка посмеялся над моим номером, и я, выяснив у него, как проехать к Горьковскому шоссе, попилил домой.

Перед кольцевой я опять сбросил газ и снова благополучно проскочил пост ГАИ, но на шоссе Энтузиастов, около одного из светофоров, меня остановили. Я встал за «Жигулями», в которые уже садился солидный мужчина, произнося вслух какие-то угрозы. Гаишник, здоровенный верзила с сытым лицом, посмотрел документы, даже не спросив, почему снят номер,— наверное, просто этого не заметил — и совершенно неожиданно проколол мне талон.

— За что? — только и успел я выдохнуть.

— Вы не соблюдаете дистанцию при езде! — невозмутимо сказал гаишник, возвращая мне документы.

В принципе возразить было нечего, потому что дистанцию я действительно не соблюдал, но я ее и не мог соблюдать, и гаишник это прекрасно знал! По «Правилам» на этой скорости я должен был держать дистанцию метров 25—30, но как только между мной и впереди идущей машиной оказывался такой промежуток, в него сразу же обязательно кто-нибудь влезал. Водители в Москве чихать хотели на дистанцию, на загруженных трассах вроде Садового дистанцию никто не держал, и ГАИ всегда смотрела на это сквозь пальцы. Это учитывалось только, когда кто-нибудь въезжал в зад впереди идущей машине — тогда он был виноват, потому что не соблюдал дистанцию! Я понял все это, еще когда только начал водить, и с тех пор думать забыл про это правило — а вот теперь, на тебе, соблюдай дистанцию! Доказывать что-нибудь этому стервецу было уже поздно, я плюнул и уехал.

Нет, на время Олимпиады надо, от греха подальше, машину ставить на прикол — иначе я останусь и без номеров, и без талона, и даже после Олимпиады долго не придется ездить. Дыркой в талоне я был огорчен даже больше, чем если бы у меня забрали номер. Настроение было испорчено до конца дня — я это знал по опыту.

Спустившись по Ульянова на набережную, я прибавил газ и встал во второй ряд, пристроившись за зеленым «уазиком»,— но тут гаишник на мотоцикле остановил и «уазик», и меня.

«Да что они, озверели?!» — подумал я, отводя машину к обочине. Гаишник начал с меня и, взяв документы, спросил:

— Почему превышаете скорость?

— А почему вы решили, что я превышаю скорость?! — спросил я, поняв, что дело пахнет еще одной дыркой и что терять мне, похоже, уже нечего.

— Вы ехали со скоростью шестьдесят два километра в час! — сказал гаишник.

— А вы мне покажите на моем спидометре, что значит шестьдесят два километра в час! — сказал я со злостью.

Спидометр показывает с точностью примерно плюс-минус пять километров, на нем и делений-то таких нет, гаишник явно придирался — не говоря уже о том, что и спидометр-то у него не точнее «запорожского»!

— А меня не интересует ваш спидометр! — сказал гаишник.— Вы должны ездить так, чтобы скорость не превышала шестьдесят километров в час, и все! Ездите со скоростью пятьдесят пять километров, кто вам мешает?

Он уже достал «дырокол», и я понял, что и тут разговаривать бесполезно и что даже трояк меня не спасет: началась «кампания», и к этому надо относиться как к стихийному бедствию, и все! Но легко сказать — надо относиться! Дырок-то уже две, еще одна, и — пересдача правил дорожного движения! Я забрал документы и, окончательно расстроенный, поехал дальше.

До самого дома меня больше не останавливали. Я поставил машину за Лешкиным «Москвичом», подумав, что надо будет сегодня же куда-нибудь убрать ее с набережной: оставлять рискованно, как-никак — олимпийская трасса, да еще из главных, ведь набережная-то ведет прямо к Лужникам! Наверно, будут заставлять все машины с набережной убирать.

Дома я разогрел борщ и кашу с мясом, поставил чайник и сел обедать. Раздался звонок. На лестничной площадке стояла Нина Трофимовна, соседка, работавшая сторожем на ремонтно-строительной базе напротив нашего подъезда.

— Володя, бегите скорей, там у всех машин номера снимают! — торопливо проговорила она.— Леши нет дома, я уж думала, что и вас не застану! Бегите скорей!

Я схватил пиджак, в кармане которого лежали ключи и документы на машину, и, хлопнув дверью, помчался на набережную. На набережной стоял гаишный «жигуль», два гаишника снимали передние номера с двух оставшихся машин — моей и Лешкиной; с белых «Жигулей» и с «корриды» номера уже были сняты. Я подбежал к машине как раз в тот момент, когда гаишник, открутив последний болт, вставлял болты в снятый номер и наживлял гайки с шайбами.

— Ваша машина? — спросил он, увидев меня.

— Да, а в чем дело?! — спросил я.

— Уберите машину с набережной! — сказал гаишник.— Она у вас грязная! Зайдите сегодня после шестнадцати в ГАИ, получите акт, что номер снят за неопрятный внешний вид!

Я только присвистнул. Вид у машины был нормальный, ну, низок можно было бы сполоснуть — но никогда еще за такой вид у меня не только номер не снимали, но даже и замечания мне не делали! Я пожалел, что утром снял не передний, а задний номер — тогда бы они сейчас снять его не смогли,— сплюнул и спросил:

— А если мне ее некуда убирать?!

— Арестуем машину и поставим у ГАИ!

Гаишники собрали номера, сели в машину и уехали.

Я выругался им вслед и пошел доедать обед. Мне теперь предстояло идти в то самое родное Ленинское ГАИ, необходимости идти в которое, как я думал, я так счастливо избежал утром.



ПОЭТЫ ШВЕЦИИ

Петер Курман

В КОНЦЕ МЫ ВСЕ СТАНОВИМСЯ ДЕТЬМИ

Сквозь наши лица
мы пробираемся
к души неведомым глубинам.
Чем старше мы становимся,
тем ближе
к тому, чем были мы первоначально.
За осторожными маневрами прожитых лет
по-прежнему скрывается
так и не познанное дитя.

Его беспомощные пальчики
сплетены с нашими.
Наши контролируемые голоса
не могут скрыть
затаенный в них детский крик.
Наша взрослая жизнь
со всеми объяснениями и уловками
всего лишь замаскированное детство.
В конце
мы снова становимся детьми.

КАРЬЕРА

Сначала ты молод.
Потом ты молод и полон надежд.
Потом ты молод и многообещающ.
Потом ты молод и талантлив.

Потом ты дебютировал.

Потом ты молод и одарен.
Потом ты молод и удачлив.
Потом ты одарен.
Потом ты чрезмерно политичен.
Потом ты чрезмерно личен.
Потом ты чрезмерно общ.
Потом ты чреамерно узок.

Потом ты солиден.

Потом ты реприза.
Потом ты реприза на репризе.
Потом ты возвращение.
Потом ты повторение.

Потом ты мужчина.
Потом ты мужчина.

Потом ты был мужчиной.

Потом тебя нет.

Перевела Л. Брауде

ПИЦУНДА

Я посадил сам себя под домашний арест
у Черного моря, в Пицунде, в писательском доме.
Часами сижу у мигающего курсора дисплея
и кручу свою жизнь взад и вперед.

На короткой волне трещит Би-би-си:
«Замерли поезда во всей Грузии — даешь многопартийную систему!
40 тысяч людей заперты в жарких купе без воды.
Ирак захватил, заграбастал Кувейт.
Созван Совет безопасности,
СССР и Америка требуют акций совместных».

Фразы жужжат, кадры сменяют друг друга.
На синем экране морском движется грузовое судно к Боспору,
словно медлевный курсор справа налево.

Я регистрирую глазом
все, что плывет предо мной:
пестрят на экране слова,
уродливые советские отели из цемента,
туристы, млеющие на пляже, словно тюлени.
Все это здесь в эту секунду:
то, что я вижу, и то, что не вижу,
то, что я слышу, и то, что не слышу.
Одолевает соблазн улечься с туристами на берегу,
чтобы мир показался ветром прохладным, ласкающим спину.
Но я увяз в своем прошлом.

Поздней: в ресторане поглощает Маститый Писатель свой ужин.
Он ест методично и медленно.

Тренировочные брюки на резинке,
такие же эластичные, как его мораль,
позволяют ему хорошенько заправиться —
ведь ремень не сжимает живот.
Кто-то шепчет:
— Это он написал бессмертные строки:
«Я рожден моей матерью!»
А теперь рожденному матерью не хватает отца,
строгого и справедливого, того, кто бы мог
держать в узде его милое Отечество.
Предано все и по ветру пущено,
и он сам превратился в посмешище.

Может, и он себя посадил под домашний арест?
Может, и он, сидя в комнате,
крутит свою жизнь взад и вперед,
увязая в минувшем, покуда
туристы дремлют беспечно у моря.

СУПЕРМАРКЕТ

Я брожу
по огромному универсаму слов.
Здесь есть все на любой вкус:
консервированные взгляды,
растворимые знания,
импортные деликатесы.
В поваренных книгах
читаю рецепты:
эстетика, идеология,
психология и прочее.
Но тщетно ищу я на полках
заветную пряность,
названье ее я забыл
и описать не могу,
но вкус ее помню
отлично.

МОСКВА

Москва — неряшливая великанша
с растрепанными крашеными волосами,
просыпается утром
после похмелья.
За что ты примешься сегодня?

Что ты станешь делать
со всеми комитетами и грузовиками,
конференциями и поэтами?
Накрасишься на Красной площади
и встанешь в очередь за хлебом?
Или закажешь новую бутылку
шампанского к шашлыку?

Я побывал в подземных дворцах,
где поезда мчат твоих почитателей
и хулителей.
Скажи, Москва, что ты сделаешь с ними?
А также с делегатами конференций
изо всех стран, ближних и дальних,
пьющих водку в отелях с кондиционерами?
Они еще не надоели тебе?

Знаю, тебе хочется повернуться на бок
и заснуть, как Обломов.
Но, любимая великанша,
недостаточно иметь
музеи, конференции, резолюции
и даже бюрократов.
А в своем мавзолее лежит
проснувшийся Ленин.

СИТУАЦИЯ

Опьяневшие,
заснули мы все трое
в одной постели.
Спросонья слышу я,
как скрипят уключины,
и лежу, не шевелясь,
морской звездой
на дне моря.

Петер Курман (род. в 1941 г.) — поэт, председатель Союза писателей Швеции. Автор десяти сборников стихов, первый из которых — «Внимание! Это важно!» — опубликован в 1965 г. В 1986 г. выпустил итоговое собрание стихов — «Следы ног».

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Идем на посадку. Вдоль нитей дорог рядами стоят
дома в виде детских кубиков.
Квадраты полей подают нам зеленый сигнал.
Жуками блестящими ползают автомашины.
Внизу подо мною ждет Швеция
с больницами, лесом, рудой и концернами,
страховкой, налогами, множеством партий.
Идем на посадку.

Колеса еще не коснулись со скрипом земли,
и я на мгновенье вернулся назад,
туда, где на улицах тесных кричат продавцы
и нищие тянут иссохшие руки.
Я все еще слышу: «Запомните нас! Наша участь — тюрьма!»
Но вот смолкают моторы, расстегнут ремень,
ступаю на землю и воздух вдыхаю прохладный.

Зеленый ландшафт, жилые районы тихи и чисты.
У светофоров нарядные люди стоят.
Для них это будничный день,
мне же он кажется сладостным сном.
Страна моя — парк заповедный,
нарядно заполненный формуляр в хаотическом мире.

Но вот горизонты снижаются, я уже дома
и в благоденствии нашем вижу отчетливей трещины,
вижу бездомных, отверженных в парке моем заповедном.
Здесь нищета и насилие приняли цивилизованный облик,
люди не умирают на улицах и полицейских не видно — сидят по машинам.
Так что мы можем пока еще ждать у светофора.
Можем пока...
Ведь Дроттнинггатан лишь продолженье турецкой
Истикаль Каддеши
и благоденствие наше лишь камуфляж нищеты.

Сандро Кей-Оберг

* * *

Мне хочется жить,
а тебе?
Во всяком случае этого
хочет сердце, бегущее
в жарком порыве тебе навстречу
по земному, зеленому небу,
полному раскачивающихся желаний.
Дни уходят, а я
смотрю на их светлые подошвы.
Уходит короткая жизнь,
а я думаю о тебе!
Я так боюсь смерти,
а ты не боишься?
Сердце ударами гонит прочь
заледенелые мысли.
Бережно, затаив дыхание,
работает беспокойство
в теле моем.
Свет подозрительности
освещает застывшие чувства.
Как уязвима ты,
почти обнаженная жизнь!
Как муравей на ноябрьском снегу.

Берит Руус

* * *

Длинный берег тих
и пустынен,
его член обнажен
под ярким солнцем,
груда камней
цвета сизого голубя,
глядя на его светлый
уязвимый пах,
она хочет
забеременеть,
раздуться свежим
антоновским яблоком.
Оба они отдыхают
в теплой тьме
рука в руке,
словно зеркальное отражение,
ладонь к ладони,
пульс к пульсу,
два сердцеобразных листа,
бледные ростки
во мраке.

Перевела Н. Белякова

Сандро Кей-Оберг (род. в 1922 г.) — поэт и драматург. Автор многочисленных поэтических сборников: «Игры испуганных» (1950), «Водяные деревья» (1952), «Радость жизни» (1960), «На высоте» (1972) и др.

Берит Руус — поэтесса. Автор книг стихов «Опасность для жизни» (1983), «Через ворота шлюза» (1987), «Непостоянный город» (1988), «Взмах голубиного крыла» (1989).



Владимир Грязневич

ПОВОДЫРИ СЛЕПЫХ

Интеллигенция как социальный феномен

...А слепого, сбитого машиной,
Не сумели выходить врачи.
Александр Галич

Нет, пожалуй, в русской культуре вопроса более запутанного и вызывающего такие ожесточенные споры, чем вопрос о русской интеллигенции.

Удивительно, как по-разному, а зачастую и противоположно оценивают люди это явление русской жизни.

Так кто же он — русский интеллигент? «Человек высокой идеи, болеющий за Россию, человек, стремящийся к цельному миросозерцанию и подчиняющий ему свою жизнь» (Герман Андреев)? Или «вялый, апатичный, лениво философствующий», каким он представлялся А. П. Чехову? Интеллигенция — «это часть образованного слоя общества, в котором совершается духовное развитие... делается очередной шаг к Богу... фермент, движущий историю» (Григорий Померанц) или «группа, движение и традиция, объединяемые идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей» (Георгий Федотов)?

То явление русской культуры, которое принято называть пышным словом «интеллигенция», на самом деле содержит большое число самых разнообразных исторически преходящих форм, течений, направлений и связанных с ними общественных групп и отдельных лиц, порой противоположных по доминантным человеческим качествам, принципам и целям. В обиходе под интеллигенцией чаще всего понимают просто совокупность образованных людей с активной общественной позицией. При специальном же разговоре (в том числе и в настоящей статье), особенно когда дело касается нравственных, культурных или социальных проблем, интеллигенцией называют нечто совсем иное, имеющее чрезвычайно большое значение в формировании и развитии русской духовной и социальной культуры. Однако и в этом случае чаще всего исходят из интуитивного представления об особой социальной группе, точнее, о личных качествах людей, которые могут быть к ней причислены, т. е. о так называемой «интеллигентности», «интеллигентных» чертах характера, о том, как может и как не может вести себя «интеллигентный человек».

Связанная с таким интуитивным представлением нечеткость, расплывчатость понятия рождает массу недоразумений и взаимонепонимание людей при попытке углубиться в проблему. Поэтому представляется разумным и в настоящей статье уделить определенное внимание уточнению предмета разговора.

М. Золотоносов в статье «Музыка во льду» («Искусство Ленинграда», 1989, № 1) дает определение интеллигенции, близкое тому, что некогда дал Р. Иванов-Разумник. Оно включает в себя противостояние как власти, так и народу *в защите общечеловеческих интересов и ценностей.* Априори заданным, исходным для М. Золотоносова является не социальная группа, свойства которой подлежат изучению, а определенные *социальные функции,* исполнение которых объективно необходимо обществу на определенном этапе его исторического и культурного развития.

Грязневич Владимир Петрович (р. в 1953 г.) — физик-теоретик. Окончил Ленинградский государственный университет, автор работ по квантовой электронике. Опубликовал публицистические статьи в журналах «Искусство Ленинграда», «Литератор», газетах «Час пик», «Смена».

Потребность защищать общечеловеческие ценности от вполне реальной угрозы со стороны сиюминутных интересов власти и народа (точнее сказать — толпы) привела к появлению в обществе и определенного, подходящего для выполнения этой функции, типа людей, которых и представляется разумным назвать интеллигенцией. Такое понимание интеллигенции близко, например, к точке зрения выдающегося русского философа Алексея Лосева, считавшего интеллигентом того, кто «блюдет интересы общечеловеческого благоденствия», а также С. С. Аверинцева, говорившего, что знаменитая «отзывчивость интеллигенции — это... не столько данность, сколько заданность». Возникающая при таком подходе фигура интеллигента вполне, впрочем, соответствует и интуитивному представлению.

Приветствуя подход М. Золотоносова, я хотел бы, однако, еще уточнить функции интеллигенции и тем самым попытаться сформулировать понятие о ней в максимально широком культурфилософском контексте. Главную роль русской интеллигенции я бы назвал так: *сохранение культуры*. Создатель культуры — народ в широком смысле, т. е. каждый человек, имеющий талант. Для его общественной реализации, то есть для того, чтобы плоды таланта стали фактом культуры (как общественного явления), нужна определенная культурная среда. Вот ее-то и создает, поддерживает и развивает интеллигенция.

Необходимость выполнения такой культурной функции в обществе осознавалась уже давно. Это прежде всего обусловлено важностью для общества именно духовной, т. е. нематериальной, культуры, или, как назвал ее С. Л. Франк, «чистой идеи культуры». Потребность сохранять культуру периодически возникала в истории человечества и с особой очевидностью проявилась на рубеже XIX—XX веков. Тему эту развивал, например, О. Шпенглер, говоривший о том, что «культуру убивает цивилизация» — рационалистически организованное, ориентированное на грубый бытовой прагматизм социальное бытие. Этот «механический» этап общественной эволюции характеризуется по Шпенглеру «закостеневанием» творческих начал культуры, а также нивелированием ее локальных особенностей. О подобной опасности на почве российских реалий говорили и авторы «Вех», отмечая распространившиеся в обществе сильные «противокультурные тенденции, отрицающие абсолютные ценности настроения нигилистического утилитаризма» (С. Франк), когда «интерес становится выше истины, человеческое выше божеского» (Н. Бердяев).

Специфика России, ее отличие от других стран, заключалась в повышенной потребности сохранять именно духовную компоненту культуры, «чистую ее идею», связанную с нравственными ценностями. Вытекающую отсюда функцию интеллигенции (являющуюся, конечно, лишь частью общей задачи) я бы назвал так: *сохранение нравственного здоровья общества, охрана его нравственных устоев,* без чего невозможны развитие социальной культуры народа, социальный прогресс общества, движение от низших форм организации общества к высшим.

Историческая обусловленность для России именно этой, нравственной, задачи объяснялась особенностью развития русского общества, ролью различных его институтов и в первую очередь — русской православной церкви. В силу определенных исторических причин православная церковь в России не выполняла традиционной для христианской церкви в европейских странах роли нравственного авторитета, хранительницы и защитницы нравственных ценностей в обществе. Связано это было с реформаторской деятельностью Петра I, который, желая создать сильное государство, сделал из православной церкви придаток государственной машины, лишив ее свободы проповедования и права на защиту негосударственных — нравственных — ценностей. Существенное же различие, а зачастую и противоположность государственных и нравственных ценностей очевидна, если иметь в виду принципиальную несоотнесенность «правил игры» политиков с нравственными принципами. Об этом очень красноречиво свидетельствуют как теоретические сочинения (вспомним хотя бы блестящие своей циничной изобретательностью и психологической точностью «советы Государю» Н. Макиавелли, ставшие своеобразным «катехизисом» политиков всех времен и народов), так и историческая практика от древнейших времен и до Президента СССР М. С. Горбачева. Политика — это искусство возможного в достижении конкретных политических (т. е. имеющих отношение к власти, а не к морали) целей. Нравственные принципы суть выработанные многовековой человеческой практикой идеальные правила поведения людей в обществе, являющиеся концентрированным выражением инстинкта самосохранения человеческого рода. Политика ориентирована на достижение конкретных, сиюминутных целей. Мораль же заботится о выживании людей в исторической перспективе. Ясно, что эти задачи зачастую входят в непримиримое противоречие и одновременное решение их нередко попросту невозможно.

Вакуум, образовавшийся в России после отстранения православной церкви от выполнения своей традиционной роли, начали заполнять люди с обостренным чувством справедливости, ощущавшие личную ответственность за судьбу своего народа и его культуры. Так, вернувшись из-за границы, А. И. Радищев, посланный туда для приобретения знаний, необходимых для строительства государства, воскликнул: «Гражданин, становясь гражданином, не перестает быть человеком!», разделив таким образом понятия «подданный» и «человек». Появившись в конце XVIII века, в соответствии с возникшей общественной потребностью, русская интеллигенция стала «носительницей и проповедницей чувства гуманности, признания ценности человеческой жизни, милосердия ко всем без различия» (Ю. Майер), взяв, таким образом, на себя традиционную для христианской церкви нравственную функцию.

Выполнение своей общественной функции требует, конечно, от интеллигента и соответствующих этой функции личных качеств, совокупность которых в сознании людей интуитивно понимается как «интеллигентность». При этом важно не забывать, что «интеллигент» — это не знак некой избранности, принадлежности к нравственной элите — привилегированной касте *единственно* честных, порядочных, умных и т. д. людей, а прежде всего — добровольно взятая на себя роль. Интеллигенция не располагает никаким особенным, только ей присущим камертоном, чтобы отличать добро от зла. Такой камертон есть у каждого из нас, и со времени Иммануила Канта он называется нравственным чувством. «Ничто не оправдывает претензии интеллигенции на определение того, что хорошо, а что дурно... Долг интеллигенции в том, чтобы *указывать* на разницу между истинным и ложным, между правдой и враньем» (Дм. Сеземан).

Культурная функция интеллигенции есть не ее привилегия, а обязанность, ее крест. Каждый человек, становясь интеллигентом, добровольно взваливает на себя этот крест и может, конечно, в любой момент его сбросить, что, правда, лишит его и связанных с имиджем интеллигента почета и уважения в обществе. Но не лишит порядочности. Можно быть порядочным человеком и не будучи интеллигентом. Честные, совестливые люди есть, конечно, и в других социальных группах. Но если рабочего, крестьянина, ученого или литератора честность и порядочность лишь украшают, не являясь социально необходимыми качествами, то интеллигент без них не может выполнять свою общественную роль.

Традиционно, однако, противопоставлять интеллигентов остальным в моральном плане. Такое нравственное противопоставление порождено характерным для русской культуры морализаторским максимализмом или «нигилистическим морализмом», как назвал это умонастроение С. Л. Франк, характеризуя склонность русских делить всех людей, их поступки лишь на хорошие и плохие, добрые и злые, игнорируя то обстоятельство, что «в жизни существуют еще и иные ценности и мерила, кроме нравственных,— что, наряду с добром, душе доступны еще идеалы Истины, красоты, Божества, которые также могут волновать сердца и вести их на подвиги». Эта особенность русского национального сознания как раз и породила народопоклонство интеллигенции — некритическую абсолютизацию народного блага, нужд большинства, коллектива в ущерб интересам и ценностям личности, индивидуума, что во многом способствовало установлению коллективистской тирании — русского коммунизма.

Рецидивы такого нравственного максимализма встречаются и сейчас, например, в подходе к проблеме эмиграции. Распространено убеждение в нравственной недопустимости эмиграции для порядочного человека. Ибо как же можно бросать страну и народ в его минуту роковую? А необходимость заботиться о семье, о детях, будущее которых видится здесь в очень мрачной перспективе, в расчет не принимается как второстепенное, малосущественное обстоятельство в сравнении с судьбой народа и страны. Я уж не говорю о потребности личности в профессиональной самореализации, зачастую невозможной для многих сейчас, при нынешних условиях, да и в обозримом будущем, впрочем, тоже. Ответственность за негативные последствия эмиграции несет общество, остающиеся, а не уезжающие, для которых эмиграция — лишь экзистенциальный бунт.

Сохранить нравственное здоровье общества в стране с традиционно глубоким разрывом между властью и народом невозможно без выполнения еще одной функции — *нравственной оппозиции государству* (и вообще «миру политиков»), являющемуся, как было указано выше, главной угрозой общественной морали. Понятно, что значение этой задачи возрастает тем больше, чем в менее демократическом государстве она (интеллигенция) функционирует. При этом особое значение приобретает способность конкретных интеллигентов сохранять культуру в форме определенных *моделей поведения*. Специфика этих моделей вытекает именно из культурного, а не политического (что является прерогативой *политической* оппозиции) противостояния государству. Главное здесь — не молчать, когда видишь неправду, т. е. активная позиция.

В связи с этим я хочу отметить одну важную особенность интуитивного представления советских людей об «интеллигентности». Это представление формировалось не только под действием традиционной русской культуры, но и определенно направленной коммунистической пропаганды, главной целью которой было вытравить из сознания людей понимание необходимости *активного противостояния* злу. В советских романах и особенно в фильмах долгие годы культивировался образ оторванного от жизни, неприспособленного, пассивного, слабого, не умеющего постоять за себя и свои идеалы «гнилого» интеллигента. Тем самым внедрялась мысль о никчемности такого персонажа и, главное, ненужности его общественной функции, которую пропаганда усиленно пыталась отождествить именно с политической деятельностью. В конце 60-х годов в Уголовный кодекс

были введены даже две специальные статьи (в РСФСР — это статьи 70 и 190 [1]), позволявшие любого рода независимую от государства культурную или общественную деятельность свести к политической и объявить антисоветской, подрывающей основы государства. Так «подрывным» стало и движение художников-нонконформистов, и издательская деятельность самиздатчиков, от политической «Хроники» до чисто художественного «Метрополя», и нравственное подвижничество о. Глеба Якунина и о. Сергия Желудкова и т. д. Некоторого успеха пропаганда достигла, и нужное идеологам представление во многом закрепилось в сознании советских людей. Однако в среде немногочисленной интеллигенции сохранялось понимание важности именно нравственной оппозиции режиму, на которое и ориентировалось в основном демократическое движение 60—80-х годов. Недаром его еще называют «правозащитным», основной задачей которого являлась защита гуманистических ценностей — т. н. «естественных прав человека». В нем участвовали люди, обладавшие высоким нравственным чувством и осознанием общественной потребности в сохранении культуры народа и защите общества от нравственной деградации.

Предложенный здесь подход к понятию интеллигенции позволяет разрешить некоторые противоречия и недоразумения, не раз возникавшие при обсуждении этой проблемы, а также уточнить роль интеллигенции в наше, очень важное для судьбы страны время. Остановимся на наиболее, на наш взгляд, поучительных случаях.

В статье «Образованщина» А. И. Солженицын писал о том, что всякий разговор об интеллигенции нельзя вести, не соотносясь с мнением авторов «Вех». Последуем этому совету и посмотрим, насколько соответствуют наши представления взглядам авторов знаменитого сборника.

Статьи вышедшего в 1909 году сборника работ семи известных философов и публицистов наполнены резкими обвинениями в адрес русской интеллигенции. Многие считают, что обличительный пафос «Вех» направлен против интеллигенции как таковой. Более того, находятся авторы, склонные даже *определять* интеллигенцию посредством тех негативных качеств, которыми наделили их авторы «Вех». Такой точки зрения придерживается один из наиболее значительных современных культурологов и публицистов Б. М. Парамонов. Его отношение к интеллигенции резко отрицательное. Ссылаясь на «Вехи», он считает интеллигентов «прекраснодушными дилетантами, леворадикальными сектантами, главной чертой которых является социально-культурное отщепенство, утопизм мышления, чуждость и враждебность органическим началам государства и культуры».

Однако на первой же странице открывающей сборник статьи Н. Бердяев совершенно отчетливо разделяет предмет предстоящего разговора, который он назвал «кружковой интеллигенцией» или «интеллигентщиной» (что, конечно, ассоциируется с «образованщиной» А. Солженицына как вербально, так и по смыслу), и «интеллигенцию в широком, общенациональном, общеисторическом смысле этого слова», ибо, как он пишет дальше, «те русские философы, которых не хочет знать русская интеллигенция, которых она относит к иному, враждебному, миру, *тоже ведь принадлежат к интеллигенции* (выделено мной.— *В. Г.*), но чужды интеллигентщины». Другой автор «Вех», П. Б. Струве, оговаривается, что он имеет в виду не всю интеллигенцию, но определенную ее часть, которой свойственно «безрелигиозное отщепенство». Такое разграничение и мне представляется существенным. Ведь если предположить, что все «критически мыслящие личности» были поражены заразой «народнического мракобесия» (Н. Бердяев), то складывается совершенно неверная социологическая картина русского общества, в которой не остается места для влиятельной группы людей, действительно болеющих за сохранение культуры и нравственных устоев общества. А ведь такие люди были в России, и в немалом числе. В отличие от интеллигентщины они не считали, что высшая культура — дело ненужное, когда страдает народ. Взрыхленная ими культурная почва давала весьма впечатляющие всходы, пока их не заменила «партийная интеллигенция» — сонмище враждебных культуре «клевещущих козлов», как назвал их Осип Мандельштам, что и повлекло за собой уничтожение культуры и насаждение соцреалистического мракобесия.

Благодаря усилиям защитников нравственных устоев было с треском провалено «дело Бейлиса» и спасена честь русской нации, на которую посягнули антисемитски настроенные правящие круги. Да даже и Максим Горький, этот будущий певец сталинского террора, позволивший полтора десятилетия спустя использовать свое имя и авторитет для удушения остатков русской культуры, в самом начале славного пути резко выступил против Ленина и большевиков, верно увидев в них демонов противокультурной стихии. «Большевизм — национальное несчастье, ибо он грозит уничтожить слабые зародыши русской культуры в хаосе возбуждаемых им грубых инстинктов»,— писал М. Горький в 1918 году. И эта, чисто инстинктивная, его реакция на большевизм была все же истинно интеллигентской. И не так уж важно, считать ли Горького интеллигентом или интеллигентщиком. Существенно лишь то, что общественную функцию интеллигента он в то время выполнял, не мог не выполнять, ибо таков был общественный настрой, не вытравлено было еще из общества «чувство свободы». Наличие интеллигентского инстинкта даже у такого «народолюбца» и антидемократа, каким был М. Горький, несомненно свидетельствует о сильном влиянии интеллигенции на российское общество.

Более того, решусь утверждать, что абсолютизация «веховского» взгляда на интеллигенцию чревата крайне опасным *соблазном создания образа врага народа*, чего не избежали, к сожалению, многие замечательные русские мыслители, в частности Г. П. Федотов. Если посмотреть на «Вехи» глазами Бориса Парамонова, то окажется, что данное в сборнике описание интеллигенции чрезвычайно похоже на характеристику, данную И. Р. Шафаревичем «Малому народу» — этому «антинароду среди народа», «все жизненные установки которого противоположны мировоззрению остального народа» и «который неустанно трудится над разрушением всего того, что поддерживает существование Большого народа» (Русофобия. «Наш современник», 1989, № 6, с. 189—197). Оторванность от реальных нужд общества и ориентация на сомнительную утопию, беспочвенность, враждебность культуре, «идейность своих задач» — все это делает «леворадикальных сектантов» чрезвычайно удобным объектом, могущим явить пример реализации в нашей истории «Малого народа» Кошена — Шафаревича. Интересно, что возможность такой аналогии заметил и сам автор «Русофобии» и, отвергая ее, написал: «К сожалению, мы унаследовали еще от XIX века дурную привычку рассматривать интеллигенцию только как единое целое. Примером такого глобального сужения была концепция „интеллигенции, противопоставившей себя народу“». Мне, в отличие от И. Р. Шафаревича, представляется вообще неправомерным деление общества на полезные и вредные группы. Любая из них возникает естественным образом для выполнения объективно необходимых обществу функций. И говорить при этом о какой-то злонамеренности совершенно неправомерно. Поэтому, по моему мнению, в принципе невозможно появление такого слоя общества, как «Малый народ» Кошена — Шафаревича.

Отрицая культурную роль интеллигенции, Б. М. Парамонов говорит: «В России изначально существовал слой людей, выполняющих роль носителей культуры, хранителей знаний». Но интеллигенцией этот слой как раз и не являлся. Интеллектуал и профессионал — это не интеллигент, согласно «Вехам». Все необходимые культурные функции, считает Б. Парамонов, могут выполнять специалисты, профессионалы, которые и помогли Горбачеву в начале Перестройки установить Гласность. При этом их *желание* участвовать в Перестройке, соответствующий этому желанию морально-психологический настрой считается, видимо, само собой разумеющимся.

Здесь, на мой взгляд, Б. М. Парамонов смешивает понятия *творца* культуры, объективного знания и их *носителя*. А это, как мне кажется, не одно и то же. Носитель культуры далеко не всегда является ее творцом. Таких людей обычно называют «культурными», что в народной этимологии близко к значению «интеллигентный». Культурный человек — носитель культуры — это индивидуум, усвоивший, впитавший в себя достижения культуры, ставшей, таким образом, неотъемлемым свойством его личности. Интеллигент, в соответствии со своей социальной функцией, обязательно должен быть и носителем культуры, что проявляется в форме соответствующих моделей поведения. С другой стороны, творец, создатель культуры совсем не обязательно может быть ее носителем. От него требуется лишь наличие таланта и еще, может быть, определенного рода честолюбия, непреодолимого желания высказаться, самовыразиться, что необходимо для общественной реализации таланта.

Однако личностная мотивация профессионалов — творцов знаний — совсем не та, что требуется от интеллигента. Для них главное — непосредственный поиск истины, они живут в самодостаточном мире абстракций, зачастую не обращая внимания на окружающую жизнь. Характеризуя подобную позицию сейчас, грузинский писатель Чабуа Амирэджиби говорит: «Это те люди, которые в жизни чего-то уже добились и считают революцию „игрой правительства“. Они, конечно, интересуются происходящими событиями, но в силу унаследованного от рождения ума смотрят на них трезво и отзываются, когда считают необходимым». Кроме того, интеллектуалов всегда подстерегает «профессиональная» опасность поддаться *соблазну истины*.

Каждый человек, сколь бы талантливым он ни был, всегда имеет дело лишь с частью Истины, во всей полноте доступной лишь Богу. Но, воодушевленный силой озарения, он склонен преувеличивать значимость своего открытия (которое ведь может быть даже и ошибочным), выдавать частное за всеобщее. Нелепо, например, обвинять всех революционных народников в злонамеренности. Много среди них было и искренне заблуждающихся, но по-своему честных и порядочных людей. Роковую роль сыграла их малокультурность, зацикленность на своей маленькой истине, нежелание (а может, и неспособность) посмотреть на проблему народного блага шире. Узость кругозора — неизбежное зло и профессионалов, узких специалистов.

Профессиональные качества специалиста сами по себе не являются достаточным условием для выполнения культурных функций в обществе. Для этого необходим еще соответствующий психологический настрой, высокое нравственное чувство, осознание своей личной ответственности за судьбу культуры. Однако сколько встречается в среде безусловно талантливых профессионалов-образованцев, писавших доносы на своих не менее талантливых коллег, выступавших на проработочных собраниях, голосовавших за «исключение», всячески старавшихся угождать властям, лишь бы их самих не трогали, то

есть людей, поведение которых никак не укладывается в рамки интеллигентного, а личные качества противоречат «интеллигентности». А какую культуру несет, например, писатель-антисемит? И как можно назвать хранителями культуры людей, поддерживающих распространение псевдокультурного мракобесия и зажим явно талантливых произведений неугодных гениев? А по Парамонову, носители культуры, хранители знаний — это интеллектуалы, профессионалы. Например, из так называемых «творческих союзов».

Замечательную культуру они нам сохранили! И каких писателей, художников, композиторов вырастили — все «заслуженные» да орденоносцы, секретари да академики. А как бы Борис Михайлович охарактеризовал освященную клятвой Гиппократа гуманистическую деятельность профессионалов из института им. Сербского или специалистов, изготавливавших химическое и бактериологическое оружие? Да самый яркий пример — ученые. Ведь они даже свое профессиональное, научное знание подчас сохранить не могут. Носителями каких знаний являлись долгие годы наши многочисленные историки, философы, политэкономы? А ведь сколько диссертаций было защищено, сколько «научных» статей понаписано. Процветала халтура, приписки научных результвтов. И лысенковщина — лишь надводная часть айсберга.

Это в цивилизованных странах, в той же Америке, где живет Б. Парамонов, хвлтурить невыгодно. А у нас, где нечестность, ложь и показуха многие годы поощрялись, а добросовестность, порядочность и принципиальность могли стоить не только научной карьеры, но даже и свободы, хранить истинное знание, культуру, нравственные ценности могли лишь люди, обладавшие незаурядным мужеством, интеллектуальной честностью и сознанием своего долга перед Богом и людьми. А это и есть интеллигенция.

В цивилизованном обществе, ориентированном не на «общую пользу», а на личность, на нужды, интересы и ценности индивидуума, для сохранения культуры таких героических усилий не надо. Функции русской интеллигенции там выполняются автоматически как раз профессионалами и независимой от государства церковью. Этому способствует само демократическое общественное устройство.

С началом перестройки парализованное долгими годами коммунистической тирании общество стало наконец оживать. Но существовавший в дореволюционной России культурный разрыв между темными «низами» и малочисленной духовной элитой, между высшей культурой и простой жизнью, что и обусловливало нужду в культурных функциях интеллигенции, за годы советской власти не только не исчез, а, наоборот, приобрел черты пропасти. Репрессиями и многолетней травлей был основательно размыт берег высшей культуры и почти уничтожены или выброшены на Запад его обитатели — культурная элита. Да и возрождающаяся православная церковь, иерархия которой за редкими исключениями состоит еще из отобранных КГБ надежных кадров, не является пока что нравственным авторитетом в обществе. О каком нравственном авторитете церкви может идти речь, если верховный иерарх ее ставит свою подпись под позорным верноподданническим обращением к правительству, призывающим к усмирению нарождающейся свободы (т. н. «письмо 53-х»), а иерархи рангом пониже щеголяют в обществе (на конференции общественно-патриотических движений 28 февраля 1991 года) презираемых народом держиморд, шовинистов и партаппаратчиков, солидаризируясь с их показной борьбой за возрождение отечества, хотя конъюнктурный цинизм этих «борцов» очевиден для всякого нормального человека.

Эти и другие факты такого рода свидетельствуют об очень тревожной тенденции — церковь, похоже, непрочь вернуть себе традиционную для дореволюционной России роль носительницы официальной государственной идеологии, которая использовалась властями для консервации существующего социального порядка. И эту тенденцию стимулируют не только правящие круги (не исключая, к сожалению, и демократов), но и часть интеллигенции (в широком, конечно, смысле), группирующейся вокруг журнала «Наш современник». Последствия этого могут быть самыми катастрофическими — вплоть до очередного раскола церкви или даже ее распада как единой организации.

Особую сложность представляет проблема собственного участия интеллигенции в политической деятельности. Я далек от мысли осуждать интеллигентов за их благородные попытки в ущерб своей профессиональной деятельности, да порой и личному благополучию, помочь своему народу вызволить страну из постигшего ее несчастья. Тем более, что ввиду многолетнего отсутствия в стране свободной общественно-политической деятельности не только не сформировались соответствующие традиции и массовые общественные институты (партии, движения и т. д.), но не хватает даже просто не связанных коммунистической идеологией и интересами старых структур кадров, пригодных для такой работы. Возникшую общественную потребность должен удовлетворить все тот же слой, что производит и интеллигенцию. И зачастую происходит наложение, тем чаще, чем тоньше слой социально активных людей.

Одни и те же люди хотят оставаться интеллигентными и в то же время заниматься политикой. Однако, вступая на политическое поприще, интеллигент должен ясно отдавать себе отчет в противоречивости избранного им пути. Рано или поздно перед ним обязательно встанет проблема выбора. И ему придется чем-то пожертвовать. Либо отказаться от

политики, либо, что более вероятно для человека, уже ступившего на политическую дорожку, сложить с себя полномочия интеллигента и мужественно принять лишение связанного с этой ролью общественного уважения, сменяемого недоверием, традиционно определяющим отношение общественного мнения к политикам. И здесь заключена опасность интеллигентской рефлексии, могущая погубить политика-интеллигента.

Русский интеллигент — фигура психологически сложная, противоречивая, сомневающаяся, рефлектирующая, что обусловлено трудностью его общественной роли. Но эта сложность совершенно неприемлема для политика, который не только не должен сомневаться сам, но призван и других убеждать в правильности избранного им пути. С другой стороны, он должен уметь отказываться от истины или даже справедливости в пользу политической целесообразности и законности. Иначе у него ничего не выйдет. Интеллигентсквя совестливость, уместная при выполнении культурных функций, очень мешает демократическим политикам из интеллигенции идти на соглашение с консерваторами, что совершенно необходимо для создания сильного политического центра между правыми и левыми, без которого позитивные сдвиги в стране вряд ли возможны.

Интеллигенты не должны составлять наиболее влиятельную политическую силу. Потому что им не справиться с конкретной политикой. Их удел — культура, а не политика. Смешение жанров здесь губительно для общества.

К счастью, августовский путч показал, что народ уже не нуждается в идейном руководстве, каковое по-настоящему только и может осуществлять интеллигенция. Многолетняя самоотверженная разъяснительная работа демократически настроенной интеллигенции не пропала даром. Российский народ оказался на удивление хорошим учеником. В отличие от многих, даже интеллигентов, он сразу понял, что происходит и что надо делать. Не потребовалось ни разъяснений, ни понуканий. Пока интеллигенты еще только обсуждали ситуацию да разрабатывали планы действий, народ уже строил баррикады для защиты *своего* правительства, которое он выбрал, послушавшись совета интеллигенции. И надо признать — совет оказался удачным. Народ и его власть не обманули взаимных ожиданий. И в минуту смертельной опасности они спасли друг друга. Обойдясь на этот раз без разъяснений интеллигенции. И это хорошо. Ибо означает, что народ теперь вполне осознает себя источником власти и делиться этой своей прерогативой ни с кем не намерен. Народ стал наконец субъектом политики, и интеллигенция здесь уже не нужна. Однако отправляться на свалку истории ей еще рано.

Пока у нас нет демократического гражданского общества, нужда в интеллигенции остается. Сознание нашего, советского, человека остается еще во многом утопическим, мифологизированным (что немало способствовало происшедшему 74 года назад несчастью). Живы еще в сознании людей многочисленные мифы и предрассудки (и даже зарождаются новые, не менее вредные), являющиеся источником роковых соблазнов для общества, угрожающих завести его в очередной тупик, а то и в противоположную поставленной цели сторону. И первостепенная задача интеллигенции в нынешний критический период, когда общество ищет новые пути, состоит, по моему убеждению, в разоблачении мифов, тщательном разъяснении людям их опасности для нормального развития общества, губительных последствий попыток их реализации. В период обострения социальных конфликтов интеллигенция должна объяснять обществу причины возникающих трудностей, формулировать пути их преодоления, давая идеологическую основу для деятельности политических партий, течений, движений. И одновременно строго блюсти нравственные устои общества, и так уже порядком расшатанные коммунистической моралью, от поползновений не только старых властных структур, но и новых политиков и властителей дум (типа, скажем, А. Невзорова).

«Рукописи не горят» — Истина непобедима, неуничтожима в исторической перспективе. Только Истина является надежной ставкой, и потому лишь на нее должен ставить интеллигент. Конечно, в конкретной политике такая ставка не принесет быстрого успеха. Но интеллигент должен побеждать не в настоящем, а в будущем, на которое и работает культура.

Этой статье предпослан эпиграф — заключительные строки притчи А. Галича о пророке и слепце. Русская интеллигенция однажды уже оказалась в роли такого пророка. Она не услышала голосов выдающихся своих представителей — авторов «Вех»,— предупреждавших 80 лет назад, что пренебрежение Истиной может обернуться трагедией для народа и его культуры. И разве они оказались неправы?

Если русская интеллигенция опять не выполнит своей роли и не сможет уберечь общество от роковых ошибок или, не дай Бог, сама поддастся какому-нибудь губительному соблазну, если поводыри слепых будут слепы сами, то всем нам грозит возвращение на наш проклятый крест.

Василий Масловский

ЧЕГО МЫ ХОТИМ И ЧТО МОЖЕМ?

Пвхарь, мельник и кузнец — главные фигуры в жизни. Без них движение жизни вообще невозможно. Пахарь и хлеб — самые почитаемые слова на земле, с ними могут сравниться только слова Родина и Мать. И во все времена, во всех землях, при любых обстоятельствах кормильца берегли. В социалистическом отечестве начали с уничтожения хозяина-хлебороба — отобрали у него землю, инвентарь, тягло и заставили батрачить. А рабский труд никогда производительным не был. Доказательство — пустые полки магазинов, талоны, непомерно вздутые цены. И сегодня мы опомнились, предлагаем землю сельскому жителю (крестьян у нас в стране нет), но он брать ее не хочет или берет с оглядкой и опаской. Все начинать с нуля, в том числе и с перестройки, с переделки самого себя.

Так кто же поставил нас на колени? Будем ли мы сыты, одеты, обуты? Кто и как это сделает?.. Эти и подобные вопросы одолевают сегодня каждого. Не давали они покоя и мне. Я ехал на Дон, в исконно благополучные края, к людям у земли, от кого и должно начаться наше возрождение, наша дорога к изобилию, достоинству и самоутверждению.

По мере удаления от столиц тамошние суета и страсти глохли, и я как бы погружался в загустевшую смазку. Люди были раздражены, измучены неясностью, разболтанностью, тем, что вожжи от жизни по-прежнему оставались в руках у тех, кто загнал эту жизнь в тупик. Звон колоколов из центра, из больших городов, угасал, увязал в повседневной мути по дороге к ним. Люди очень многое просто не знали, да и не интересовались. Они были задавлены сиюминутными заботами. Это были их будни, та вода, в какой повседневно живет рыба. Кислорода в этой воде не хватало, но многие как-то уже привыкли, принюхались, притерпелись.

В Воронеже в купе сел молодой интеллигентного вида мужчина. В руках у него была пачка газет. Разговорились. Интеллигент оказался шибаем. Строили в одном из колхозов Кантемировского района кафе. Председателю колхоза надоело пить по лесопосадкам. Интеллигент-шибай покачвл головой.

— В чем душа держится, а пьет как лошадь. Стаканяра — сигарета. Не закусывает.

— А колхозники? — поинтересовался я.

— Смеются: он пьет, мы воруем. Он делает вид, что платит нам, а мы делаем вид, что работаем.

— Вы же говорите — богатый колхоз,— удивился я.

— Знамена колхоз получает. Председатель знает, с кем пить.

Зашла проводница и предупредила, что чаю не будет: нет сахара. От рвсстройства мы занялись чтением. Из пачки шибая я взял «Советскую Россию», и на меня дохнуло как из выгребной ямы. Несколько страниц — материалы о Ельцине (шла активная подготовка к выборам Президента РСФСР).

— За кого же вы будете голосовать? — спросил я попутчика, откладывая газету.

— За Рыжкова.

— А колхозники, где вы работаете?

— За Рыжкова. У него программа коммунистическая. Он за колхозы. А чем плохо колхознику? Нет чего во дворе — в колхозе выпишет или украдет. Коровы нет — на ферме кума или свояченица работает.— Усмехнулся.— Мужики — добытчики. В каждом дворе машина, мотоциклы тяжелые. Не ленись, не поспи ночь — голодный не будешь.

От Кантемировки до Богучара (райцентра) подвез меня частник, загорелый крепкий парень. Заговорили о земле.

Василий Дмитриевич Масловский (род. в 1925 г.) — член Союза писателей, прозаик. Основные работы — повести «На Среднем Дону», «Русская земля серединная», «Большая Медведица», роман «Дорога в два конца» и др. Живет в Ленинграде.

— Х-ха! Цыган не рад и той, что на колеса налипает.— Парень закурил, ухарски плюнул в окно машины.— Пусть из города приезжают и берут землю, а нас пусть не трогают. Нам и так хорошо... Есть, которые берут в аренду, а техники нет. Да и зачем она? Колхозный трвкторист любую работу за бутылку сделает. У нас один мужик взял десять гектаров и ящик водки достал.

— Но так же нельзя!

— А как можно? Спецы наши взяли по гектару, так у них все в руках.— Помолчал и со злостью: — Комбикорм сорок рублей центнер. Надо же! А был двенадцать-пятнадцать. Ладно, куплю и по сорок, выкормлю пару кабанов. Мне хватит. А вы что делать будете?

«А мы что делать будем?» — мысленно повторил я вслед за парнем и вспомнил ленинградскую колбасу по 80 рублей и мясо по 25—30.

Вдоль шоссе колосились хлеба, волнами лоснились под ветром, стеной стояли у дороги. Хлеба хорошие. Но у нас уже бывали хорошими. В прошлом году рекордный урожай. А толку... Вся Европа и Америка хохочет: «Надо же, рекордный урожай зерновых, а с кормами побираются. Куры, свиньи дохнут от бескормицы, коровы молока недодают...»

Да, поля хорошие. Но хозяина нет ни у полей, ни у людей. Связи экономические — как во времена Ивана Калиты. Чужим словом окрестили — бартерные сделки. А что это такое?..

Зернецо, «пашаничка» в колхозных амбарах есть. Но у государства ничего не купишь: ни гвоздя, ни кирпича, ни цемента, ни дерева. Добывай у кого сможешь и как сможешь. Дико, но председатели колхозов и директора совхозов справляют свадьбы дочерей директоров цементных заводов и панельных фабрик, именины их жен. Это не считая подарков в любые иные дни.

Июньским утром у правления колхоза «1 Мая» Богучарского района я увидел три «камаза»: с досками-целевками, кругляком-хлыстом. На крылечке правления курили экспедитор и три шофера. Только вернулись. Две недели за полторы тысячи километров проездили в Вологодскую область, Сямженский район. Меняли пшеницу на лес. По Вологодской области есть распоряжение за № 528 от 17.2.91 года, подписанное гендиректором Вологдамежлесхоза Кретовым, где расписано, как вести бартерные сделки: пшеница 1:1 (тонна пшеницы — кубометр леса), сахар 1:2. Там же указаны нормы на чай и т. д. При сделке выдается талон-пропуск на вывоз леса. При отсутствии талона-пропуска или несоответствии в документах условий сделки таможенная милиция суверенной области лес конфискует. Так что «наших» везде бьют и по Робин Гудам-ОМОНовцам, набившим руку на поджогах и захватах, прямо-таки ревмя ревут.

Из автохозяйства Ю. А. Желтикова этого же района ездили за «камазами» в Набережные Челны. Там тоже встретили «радушно». «Камаз» стоит 25 тысяч, но за него следует поставить товаров народного потребления на 250 тысяч рублей. Ерунда — 1:10. Ну а на нет и суда нет: таскай свои грузы на горбу.

Итак, силу закона обрела крылатая фраза Ильфа и Петрова: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Госснабжение парализовано почти по всем поставкам: ни стройматериалов, ни запчастей, ни аккумуляторов. Выкручивайся! Каждый бьется за выживание как может. И тут уж не до сантиментов. Бьют и «наших» и «не наших». В той же Вологодской области хлеба не хватает и по талонам. И на Павлова там (да и не только там) здорово не надеются. Рука у союзного премьера не дающая, а берущая, причем в крупных купюрах.

А сколько довелось услышать проклятий в адрес «гегемона», города вообще, интеллигенции: «Город деревню обворовал!.. Нажили на крови мужиков капитал!.. Рабочие плохие машины делают! Не кормить их!.. А все интеллигенция. Это она выдумала митинги, забастовки. Мутят народ!..» Споры, споры, споры! И вроде бы мы приходили к согласию, находили причины и виновников. На другой день все сначала: «Гегемона не кормить!.. Интеллигентам тяпки в руки и на свеклу!..»

Как-то возник разговор о безработных, о том, что им придется платить пособия, кормить их. Один из управляющих колхоза имени Кирова, сам работник деловой и добросовестный, был прямо-таки потрясен.

— И этих бездельников кормить мы должны?.. Я бы их убивал всех!

— Ну а вдруг вы станене безработным? — пытался я его урезонить.

— Работа у земли всегда найдется. Пусть едут к нам.

— Но многие не знают крестьянской работы. И ни в доме ничего, ни в огороде.

— Пусть берет ссуду и строится. А не умеет — пусть подыхает.— И, подумав, управляющий делает вывод: — Он воровать пойдет.

— У хозяина не украдешь. Это в колхозе воровать можно,— возразил я.

— Ваш же Ельцин колхозы разгонит.

Ельцин!.. Близились выборы, возможность участия в выборе судьбы собственной и России. Но люди выбирать не умели. Они давно жили пассивно, без особой мечты, с нарушенной психикой, разрушенными идеалами. За что уцепиться?.. «Да поможет им Бог!» — модно, как нежеванное, кидают в газетах, журналах, с экранов телевизоров. Поможет!

Но скоро ли? Когда мы станем достойны внимания Его? Нужно еще найти общий язык с Богом.

А пока люди доморощенно занимаются политикой, злобно ищут виноватых, за их спиной под шумок жизнь прибирают к рукам. И когда люди очнутся, вынырнут из сомнамбулического сна, новые цепи будут уже готовы. И сотворят эти цепи те, у кого власть истинная сегодня. Они не так глупы и ленивы, как их считают.

Говорят, врагам надо прощать. Но как быть, если жизнь вытоптана и перед тобой харя твоего инквизитора? Поцеловать эту харю или плюнуть в нее? Пожалуй, ни то, ни другое. Да и сил, мужества не хватит. А и хватит — что толку! Нужно идти все же не по чужим следам, а своей дорогой. Идти за злом, платить ему тем же — это брести той же дорогой, дорогой бед, голода, страданий, вражды. И не будет этому конца.

Много, ох как много нужно потрудиться, чтобы народ осознал себя личностью, осмыслил бы свое место в истории и очистился от рабства.

Преддверие выборов и сами выборы Президента РСФСР показали, что нашему народу далеко до свободы выбора и самой свободы. Человек, рожденный в рабстве, так и остается рабом. В крупных городах картина несколько иная, в глубинке новое пробивает себе дорогу со скрипом.

Предвыборная кампания была умно и расчетливо соткана из лжи и реальностей. А люди еще не научились отсеивать зерна от плевел. Иные кандидаты ради собственных амбиций будили именно черные инстинкты, пользовались отсутствием исторического чутья у людей. Дело в том, что пастухов-то у людей много, да пастырей мало.

И смешно, и горестно было наблюдать избирательную кампанию. Авторитетами по праву и положению в селе считаются председатели и парторги. Они-то и обеспечивали агитацию.

Какие только обвинения ни сыпались из уст этих агитаторов в адрес российского правительства: страну развалили, и деревню ограбили, и армию ненавидят, и русских в Прибалтике и других местах предали, и забастовки организовывают. Диву даешься, как много преуспело российское правительство меньше чем за год. Председателю колхоза имени Кирова нравился Макашов: обличал предателей России и обещал навести порядок вплоть до норки на Красной площади. А по сильной руке ох как истосковались: многие спят и во сне видят Сталина. О Рыжкове этот же председатель отозвался соболезнующе: «У него руки трясутся. И хорошо: вместо него Президентом будет Громов». Парторгу этого колхоза, наоборот, нравился Рыжков. Он за колхозы. Он партийных не тронет. А Ельцин-де всех коммунистов повыгонит с работы. Прямо-таки бред какой-то. Жириновский преуспел, пообещав напоить всех дешевой водкой. Что будет после похмелья — голову не ломали. Тулеев многим нравился за обещание подмести улицы в Москве.

— Это в городах Ельцина выберут,— смеялись мне в глаза.— Это там шляются по улицам, митингуют да горланят.

А вообще выборы взбудоражили людей: слушали радио, смотрели ТВ, заранее договаривались, за кого голосовать. Особенно привлекали передачи «Кто есть кто?». Их смотрели почти все, а по утрам на нарядах бурно обсуждали.

— Мы их всех выберем!

— Они передерутся.

— Я буду за земляка, за Макашова, голосовать.

— А что это Ельцин напился в Америке и миллиарды украл?

— Брешешь! Не крал! — хрипел до посинения, напрягая жилы на шее, худой староватый механизатор. И как гвоздь в дуб вогнал: — С Ельциным Россия поднимется на ноги!

— У Ельцина батраками будем. Он землю продавать хочет.

— А зараз ты кто?..

День выборов праздником не стал: ни музыки, ни песен, ни вольной торговли. Голосовали, впрочем, активно. Приходили семьями, с детьми, надолго уединялись в кабинах. После голосования собирались кучками и молчали. Непривычно. То один, как соринка в глазу, кандидат, а тут шесть!.. Да и жизнь, какой мы жили, мало способствовала развитию сознательных гражданских чувств. Все сводилось больше к эмоциям, а не к осмыслению. Люди привыкли ждать помощи со стороны. А вера в какие-то силы, в кого-то, кто выручит, отучала человека и действовать самостоятельно. Он уже не верил в собственные силы и возможности. И тех, кто пытался помочь ему, подвергал сомнению, критиковал и ждал каких-то еще других. Так, конечно, с бедами не справиться.

И как ни странно — Закон о земле мало привлекал селян. Он даже раздражал. С ним не знали, что делать. Мало разбирались в самой сути Закона. Казалось бы, главную роль в разъяснении Закона и должны сыграть парторги КПСС. Они же и по сей день являются духовными пастырями народа и проводниками политики правительства. Но законы российского правительства в явном противоречии с идеологией КПСС, и КПСС через свои парткомы не утверждает эти законы, а борется против них.

Сегодня много говорят о фермере и фермерстве. У этого движения немало сторонников, но еще больше противников. И среди противников — председатели колхозов и директора совхозов, главные специалисты, районное начальство. В районах первые секретари КПСС пересели в кресла председателей райисполкомов — хитрость, придуманная на XIX партконференции нынешним генсеком. А секретарям разваливать социализм, собственную кормушку, никак не с руки.

Землю в частное владение берут неохотно, да ее никто и не предлагает. В том же Богучарском районе Воронежской области 127 тысяч гектаров пахотной земли на 23 хозяйства, в частное владение взяли только 600 гектаров. И причин тому немало. Одна из них — некачественная и несовершенная техника. «Крашеный металлолом» — давно уже закрепилось название за этой техникой. Во-вторых, техника эта безумно дорога. Руководители хозяйств и механизаторы клянут всех и вся за эти цены. Продукции хозяйств просто не хватает на приобретение «крашеного металлолома». А другой техники нет. Иные хозяйства буквально разорились или разоряются. Нечем платить зарплату. Председатели вынуждены брать кредиты под грабительские проценты (20%). Да и тех не дают. Нужно химичить. При мне один председатель вызвал своего шофера, приказал ему взять на складе мяса, меду, прихватить колхозного бухгалтера и ехать в район за деньгами.

Хорошо! «Достал» технику. Теперь другая мука: нет запчастей. Я ходил вместе с председателем колхоза «1 Мая» Каплиным Н. И., наблюдал, как проверяли готовность комбайнов к выходу в поле. Вместо изношенных узлов ставили изношенные. Комбайнеры только матерились, пожимая плечами. Так и получилось: комбайны вышли в поле и, даже не заходя в загонку, сломались.

Это муки хозяйственников с налаженными связями. А каково фермеру? Им продают технику списанную, и ремонтируется она за счет раскулачивания колхозной. При покупке украденных деталей деньги не принимаются. В качестве СКВ (свободно конвертируемой валюты) идут водка и сигареты. На них можно достать все. Даже то, чего нет на земле, не существует в природе.

Но самая тупиковая проблема — проблема сбыта произведенной продукции. Сколько ежегодно гибнет всего выращенного на земле — уму непостижимо. С этого и начался распад души крестьянина. Видеть из года в год, как пропадают плоды твоего труда,— гибельно. Убивает не труд, а бессмыслица его. Именно это учитывали фашисты в концлагерях, чтобы превратить человека в животное. Катание чугунного катка по ухоженному двору сводило людей с ума. Катанием такого катка наш крестьянин и был занят в течение всей колхозной жизни.

В Богучарском районе были богатейшие фруктовые сады. Сегодня их нет. Высохли, заросли, одичали, как у Плюшкина когда-то. Некуда было сдавать яблоки, груши. Их ели свиньи, коровы; их вывозили в яры или оставляли гнить под деревьями. У людей не было транспорта (машин, вагонов) вывезти эти фрукты, а государство закупало в Болгарии, Венгрии, Польше. И доставлять оттуда — транспорт находился. Как-то наладили производство соков в Богучаре, и колхозы, частники кинулись со своей продукцией. Но принимали ограниченно: не хватало мощностей. Стали жаловаться в райком. Приказали принимать. Сваливали фрукты в углу заводского двора, и вскоре на улицу потекли ручьи яблочного сока. Фрукты гнили в буртах.

И сады забросили.

А сколько пропадает сахарной свеклы! Заводы принимают только плановую продукцию. Сверхплановая скармливается скоту, а потом закупаем сахар на Кубе и делим его по талонам. Решетов Ф. Р., председатель колхоза «Рассвет», сказал, что тысячи тонн этого ценнейшего продукта пропадают.

А уж с частным сектором заготовители куражатся как хотят. Морковь — 15 копеек, столовая свекла — 3 копейки.

— Да за три копейки я нагибаться за ней не стану,— возмущается Надежда Васильевна Деревенцева, пенсионерка.— А чеснок, лук повезешь — не принимают: не стандарт. «Дураки! — кричу им.— Это горшки по стандарту делают, а это в земле растет!»

Рядом с Надеждой Васильевной с тяпкой в руках трудится ее муж, Николай Петрович.

— С нас хватит еды,— говорит он, приостанавливаясь и налегая на черен тяпки.— А как вы в городах?

Вопрос довольно частый в беседах. И в этом вопросе упрек и горечь: помогите, горожане, и мы вас накормим. Не с мотыгой на огороде или косой-литовкой на лугу помочь — участием в их хлопотах. Что толку проклинать в очередях кого угодно. С проклятий трава не поднимается. А Деревенцевы и впрямь не пропадут: у них дом, корова, фазенда с пасекой, огородом, где помимо картошки, луку, чесноку и прочего девять сортов капусты и одиннадцать — огурцов.

Есть кооператоры-заготовители. Но это в основном народ пока дикий. Налетчики. Сегодня урвал здесь, завтра — в другом месте. И не всегда кооператор виноват. Сегодня это дите полузаконное и далеко не всеми любимое.

Так что фермеру есть о чем подумать, прежде чем заводить хозяйство. Кто-то скажет: там-то и там-то налажено. Может быть. Но нужны не примеры, а отлаженная

система. Нам не нужно производить больше. По-людски убрать и сохранить произведенное — и мы сыты. Работа в этом направлении идет. Но, как говорится, пока взойдет солнце — роса очи выест. Нужны усилия всех: и производителей, и потребителей. Чужого здесь нет.

Но золотой гвоздь, царь вопроса фермерства — ЗЕМЛЯ. Закон о земле есть, но как реализовать его?

Земля у колхозов с совхозами, и полновластные хозяева ее — красные помещики, директора совхозов и председатели колхозов. Тем более, они могут опереться на Указ Президента Союза, где сказано, что фермерам следует выделять неиспользуемые земли, то бишь — пустоши и неудобья. К этому вопросу можно подойти по-разному. Но опять же надежда на человека, *а должен работать закон.*

Председатель колхоза «Рассвет» Решетов сказал, что он дает любую землю. Один человек получил у него землю, где колхоз высеял озимую пшеницу. Уберет колхоз пшеницу, и хорошее поле — фермеру.

— В Законе сказано, кто не умеет грамотно обойтись с землей — отбирать эту землю. А многие пока не знают, за что берутся.— Решетов задумался, глаза пригасли.— У нас приходится на трудоспособного по 16 гектаров земли. Остальное за выкуп... Помогать и всей душой рад, но я сам не получаю даже того, что нужно, не говоря уже о том, что хочу. Конечно, я помогу подработать зерно. У фермера таких механизмов нет. Дам место в складе. Но главное — брать землю некому. Вернутся ли те, кто в города убежал?

— Получится у тех, кто остался,— вернутся,— сказал я.— Да у вас и свои лишними окажутся. Работать-то по-другому станут.

— По-другому,— согласился Решетов.— В Прибалтике хорошо берут землю.

— Там отцы — хозяева, подсказать могут, а у нас и деды все советские, в колхозе без земли выросли.

Решетов горестно покачал головой.

— Верно. Да и семьи сейчас какие?.. Детей один, двое, и тех в города повытолкали.— Усмехнулся.— Да и колхоз — дитя законное, фермер — пока внебрачное. Рождению фермеров вроде никто и не мешает, но и не помогает никто.

Однако далеко не все рассуждают так, как Решетов.

— Да мать его так! — убежденно горячился другой председатель.— Выделился — живи как хочешь. Рынок. Зачем я буду плодить себе конкурентов.

— Мешать станешь — и тебя уберут,— пугал я.

— Ни фига! Куда они денутся? Я на три дня отлучусь куда — развал. Гонять некому. Что они могут сами?..

У таких председателей (а их до половины наберется) каждое утро начинается, как все, сначала: поиски и распределение машин, тракторов, людей, определение каждому дневного задания. Такому председателю, действительно, на час из хозяйства отлучаться нельзя. При мне мой знакомый спрашивал своих специалистов: «Скажи, кого погонять из твоих людей? Погоняю!..» Только не всегда срабатывает такой метод. Механизатор (или другой кто) кладет такому председателю на стол ключи от колхозной машины и говорит: «Я-то пойду, а ты что делать будешь?» И правда. «Ваня! — кричит председатель вдогонку.— Вернись. Ну что ты — и пугануть тебя нельзя. Что тебе нужно? Говори!..» И командует уже не председатель, а изгоняемый.

Когда я заговорил с одним из парторгов о переменах в стране и в деревне, он в ужасе воскликнул:

— Так что же теперь — капитализм строить!

— Вы же не справляетесь с людьми,— сказал я.— Нажимаете на басы, а они тоже теперь нажимают. Совсем как у Маяковского: «И конечно — к матушке, а он меня к моей». На власти матерщинной не продержитесь. Человек не может работать, когда его по сорок раз на дню дергают подсказками.

А сам с тоской и горечью думал: не скоро люди потянутся к земле при таких руководителях. Скажем, лет семьдесят с лишним тому назад в таком вот хуторе было триста дворов, а значит — триста земельных наделов, триста ответчиков за эти наделы. Пусть с полсотни дураков и лентяев окажется, но двести пятьдесят нормальных хозяев останутся. Сегодня же в таком хуторе хозяин-ответчик один — председатель. А каков этот председатель?.. А когда худо человеку — худо всему обществу.

По разным сведениям, в России 25 тысяч фермеров. Но что это за фермеры?.. Пчеловоды, огородники, откормщики скота. А нам нужен производитель зерна. Зерно — это хлеб, мясо, молоко, масло. Нет зерна — нет кормов, как сейчас у нас, и дохнут куры на птицефабриках, гибнут свиньи, режут молочный скот. Последнее особенно страшно: лишаемся на годы воспроизводства скота, а следовательно — и мяса, молока, масла.

* * *

Я был у фермеров в селе Терешково Богучарского района. Братья Стукаловы Олег и Игорь, молодые, энергичные, крепко думающие мужики. Начали они с домов, усадеб. Просторные, добротные, сделанные своими руками, дома их выделяются. Похоже, что любая крестьянская работа им по плечу. Они берутся за все, и все у них получается.

Земли они взяли немного. Во-первых, хорошую землю не дают; во-вторых, все пока неустойчиво, зыбко, необеспечено, ну и — чем черт не шутит, когда бог спит. Хотя Стукаловы уверены, что возврата к старому не будет. Он, возврат, просто невозможен. Люди стали другими.

Взяли Стукаловы гидроотвал при чистке реки Богучарки — песок, ил, и еще одиннадцать с лишним гектаров. Гидроотвал привели в порядок и посадили там акацию.

Есть два оврага на их земле, и есть у братьев задумка соорудить пруды и зарыбить их. Там, где акации,— будет пасека, на взятой земле будут производить корма и кормить свиней. А дальше?..

— Работать, работать и работать,— сказал Игорь.— Что-то и после меня останется. Обидно смотреть на усадьбы западных фермеров и на самих фермеров. Что мы, хуже их? Иметь такую экономику, такой строй и даже кое в чем опережать Запад — это что-то да значит.

В самом деле! Заговорили о Северной и Южной Корее, ФРГ и ГДР, Китае и Тайване. Люди одни и те же, а успехи разные. Ни одна бывшая соцстрана не способна конкурировать с Западом. И мы меняли конституции, программы, а чего добились?..

— Надо начинать! Надо начинать! — продолжал Игорь.— На нас жизнь не кончается. Может, и наши дети попадут на Запад и не будут там людьми второго сорта.

Работа, трудности братьев не пугают. Они выполняют не чью-то волю, а сами творят то, что под силу их разуму, умению и здоровью. Человек по природе своей творец, а не просто исполнитель чужой воли.

— А работаете вы больше, чем в колхозе?

— Нисколько. Зимой намного меньше. Колхозник разрывается между своим и колхозным, у нас одно.— Игорь усмехнулся.— Я слышал, что можно построить заводы, фабрики, железные дороги, колхозы, но никогда не отучить человека от частной собственности.

— А дети помогают?

Игорь ответил не сразу, оглядел двор, нашел глазами старшую дочь.

— Помогают.— Глаза наполнились теплом, добавил: — Вожусь у пчел, рамку поднесет. Знает — пчела укусить может, но и мед сладок.

Кроме того, что человек выражает в словах и поступках, того, что о нем знают другие и он сам о себе,— в нем есть еще что-то, чего никто не знает и не ждет от него. И это-то неузнанное и непознанное в человеке и нужно будить в нем.

Система порабощения ума и воли человека еще сильна. Очень сильна! Ее верным союзником являются лень и инерция. Но то, что мы начали, следует продолжать и с теми людьми, какие есть. Других у нас не будет. Люди страдают не от того, что у них есть, а от того, чего у них нет. В конце концов люди возьмут землю.

Стремясь к будущему, человек сегодняшний ненавидит настоящее, которое мешает ему в движении к будущему. И нужна воля во всем: воля понять, осмыслить, сделать. Воля спасает от бессмыслицы. Человеку сегодня нужны твердость и мужество, иначе ему не выбрать дорогу, а по ней нужно еще и идти.

Исторические чтения «Звезды»

Яков Гордин

ДЕЛО ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ, или ТЯЖБА О ЦЕНЕ РЕФОРМ

Государство пухло, народ хирел.
Ключевский

— Как ты, умный человек, мог пойти против меня?
— Какой я умный! Ум простор любит, а у тебя ему тесно.

Разговор Петра I с Александром Кикиным в пыточном застенке

1

Едва ли в русской истории найдется много крупных трагедий, смысл которых так поразительно искажен восприятием потомков, как зловещее столкновение Петра I с наследником престола.

Даже Герцен, умевший, как правило, выхватывать самую суть события, в данном случае, не вникнув подробно в подоплеку и реальные обстоятельства происшедшего, поставил «дело Алексея» в привычный ряд: «Московская Русь, казненная в виде стрельцов, запертая в монастырь с Евдокией, задушенная в виде царевича Алексея, исключалась бесследно...» [1] Уничтожение Алексея Герцен, как видим, безоговорочно поместил среди классических ситуаций — среди тяжких ударов Петра по рудиментам старомосковской политической и духовной жизни.

Между тем «дело Алексея» — при всех несомненных родовых чертах — было явлением принципиально новым.

Все предшествующие крупные мятежи — стрелецкий бунт 1698 года, астраханское, булавинское восстания — были и в самом деле отчаянной реакцией допетровского социально-психологического уклада на переход в иное — пугающее какой-то металлически-холодной новизной — существование.

В «деле Алексея» при внешнем обилии старых черт открывался принципиально новый смысл, о котором Алексей и сам-то не догадывался. Это был один из тех парадоксальных случаев, когда участие в исторической мистификации принимают по разным причинам обе противоборствующие стороны. Именно участие в обмане обеих сторон свидетельствует прежде всего не о злой воле или корыстной лживости, но предопределенном разрыве между представлениями человека о своей роли в истории и той реальной задачей, которую он выполняет...

---

[1] Герцен А. И. Полное собр. соч. М., 1958. Т. XIV, с. 52.

Гордин Яков Аркадьевич (р. в 1935 г.) — автор книг по русской истории XVIII—XIX веков: «Гибель Пушкина», «События и люди 14 декабря», «Право на поединок» и др. Живет в Ленинграде. «Дело царевича Алексея» — глава из еще не напечатанной книги «Меж рабством и свободой».

Сюжетная схема трагедии «Петр и Алексей» проста и достаточно известна. Разность характеров и мировосприятий, неспособность сына соответствовать суровым требованиям отца, страх царя за судьбу своего государственного наследия в случае воцарения Алексея, обида царевича за униженную и постоянно оскорбляемую мать, опасение за собственную жизнь и, как результат, опрометчивое бегство за границу в надежде найти там временное убежище и постоянную поддержку, еще более опрометчивое возвращение под напором сильного, хитрого и вполне аморального Петра Андреевича Толстого, неизбежная гибель в финале.

Все это не представляет для нас в данном случае специального интереса, тем более что ситуация была с сюжетной точки зрения неоднократно рассмотрена историками и литераторами.

Наше намерение — иное: попытаться понять, что же скрывалось на глубине, под кровавой рябью этой банальной трагедии; в каком силовом поле, сложившемся из бесчисленных индивидуальных воль, стремлений, интересов, представлений, двигались две эти фигуры — отец и сын; насколько детерминированы были их поступки, насколько осознанно свободны.

Подобные чисто человеческие трагедии, когда речь идет о властьимущих или домогающихся власти, при внимательном и непредвзятом рассмотрении всегда оказываются результатом попыток пришпорить или затормозить ход исторического процесса. В этих случаях предмет смертельного спора — не столько направление движения, сколько его темп. Или же — достаточно характерный для русского XVIII века вариант — причиной индивидуальной драмы правителя оказывается неспособность ни к тому, ни к другому и, соответственно, угроза мертвой паузы в жизни страны. Все взрывные смены властителей России были так или иначе связаны с проблемой реформ. Механизм этой взаимосвязи был запущен Петром I и по инерции двигался — рывками, прыжками — без малого триста лет. Он разваливается на наших глазах.

Гибель Павла I, Александра II, Николая II, предсмертные трагедии Александра I и Николая I — ярчайшие иллюстрации к тому, что было сказано.

В трагедии Ленина на проблему темпа наслоилась и проблема направления, потому конец его был так психологически ужасен, а результаты деятельности апокалипсически разрушительны.

Трагедия «Петр — Алексей» органично становится в этот ряд.

2

Материалы следствия, проведенного в Москве и Петербурге после возвращения царевича,— проведенного жестоко, широко и скрупулезно — содержат ответы на большинство интересующих нас вопросов [1]. Петр и его палачи заслуживают в этой ситуации как отвращения, так и «благодарности» историков. По сути дела — как и вообще политические следователи — они выполнили за будущих исследователей значительную часть работы. И что выгодно отличает это следствие от многих позднейших — они фиксировали обстоятельства деяний без всякой предвзятости.

Толкование же смысла происшедшего производилось не ими.

Прибыв 21 ноября 1716 года в Вену и явившись в дом имперского вице-канцлера Шенборна, беглый царевич так объяснил ему свой поразительный поступок: «Отец хочет лишить меня жизни и короны. Я ни в чем перед ним не виноват; я ничего не сделал моему отцу. Согласен, что я слабый человек; но таким воспитал меня Меншиков. Здоровье мое с намерением расстроили пьянством. Теперь говорит мой отец, что я не гожусь ни для войны, ни для правления; у меня, однако ж, довольно ума, чтобы царствовать».

Это один — бытовой, человеческий — слой расхождения с отцом.

Был, разумеется, и другой слой, но он вышел на свет только во время следствия. В общем контексте представлений о замыслах царевича на первый план упорно выдвигался «старомосковский» вариант. Незадолго до суда и смерти Алексей сказал: «Я имел надежду на тех людей, которые старину любят так, как Тихон Никитич (Стрешнев); я познавал из их разговоров, когда с ними говаривал, и они старину хваливали...»

У самого Петра тоже была своя простая версия. Он говорил Толстому: «Когда б не монахиня (постриженная царица Евдокия.— *Я. Г.*), и не монах (епископ ростовский Досифей.— *Я. Г.*), и не Кикин Алексей не дерзнул бы на такое неслыханное зло. Ой бородачи! многому злу корень старцы и попы; отец мой имел дело с одним бородачом (патриархом Никоном.— *Я. Г.*), а я с тысячами».

Мысль, что оппозиция и нерадивость Алексея вызвана влиянием попов, была любимой мыслью Петра. Еще за много месяцев до бегства царевича — 19 января 1716 года — Петр

---

[1] Материалы следствия были опубликованы Н. Устряловым: «История царствования Петра Великого», т. 6, СПб, 1859.

писал ему: «...Возмогут тебя склонить и принудить большие бороды, которые, ради тунеядства своего, ныне не в авантаже обретаются, к которым ты и ныне склонен зело».

Конечно, и эта причина присутствовала в обширном комплексе причин, предопределивших трагедию, но была она отнюдь не коренной. Именно потому за нее так крепко держался царь.

Несмотря на всю незаурядность своего интеллекта, Петр в кризисных политических ситуациях следовал элементарной логике деспота. Деспотическая логика всегда основана на тотальном отрицании собственной вины за возникновение конфликта и на поисках второстепенных, нефундаментальных его причин. При этом глубинные обстоятельства полусознательно отметаются и подменяются тем, что лежит на самой поверхности. Именно в силу элементарной очевидности этих видимых обстоятельств они и укореняются в народном мнении и общественной памяти.

Но в данном случае дело было не только в этом. Петру было не только удобно, но и политически выгодно выдвигать эту версию, поскольку в православной церкви — в том ее виде, в каком пришла она к рубежу XVII—XVIII веков,— царь-реформатор видел грозного противника своих преобразований. И отнюдь не только потому, что «большие бороды» держались за свое «тунеядство». Великому царю противен был сам дух христианства.

Гениальный мастеровой, могучий прагматик Петр органически не мог воспринять нравственные абстракции христианства. Талантливый чертежник, мечтаааший построить государство совершенной регулярности, в котором каждый имел бы точно обозначенное место и подчинялся точно сформулированным регламентам (тогда и должно было наступить довольство и блаженство), Петр ощущал несовместимость своей идеологии с христианской идеей духовного суверенитета каждого верующего, с особой внегосударственной связью человека с церковью и — выше — с Богом, перед лицом которого равны и владыки и рабы.

Отнюдь не следует идеализировать российскую церковь и допетровской эпохи (не говоря уже о послепетровской!), но церковная реформа Петра выявляет, как никакая иная сторона его деятельности, бездушный прагматизм его мировоззрения и в силу этого — обреченность здания, воздвигнутого на такой основе.

Известный историк русской церкви Георгий Флоровский справедливо писал в монументальном труде «Пути русского богословия» о церковной реформе Петра: «Изменяется самочувствие и самоопределение власти. Государственная власть самоутверждается в своем самодовлении, утверждает свою суверенную самодостаточность. И во имя этого своего первенства и суверенитета не только требует от Церкви повиновения, подчинения, но и стремится как-то вобрать и включить Церковь внутрь себя, ввести и включить ее в состав и в связь государственного строя и порядка. Государство отрицает независимость церковных прав и полномочий, и самая мысль о церковной независимости объявляется и обзывается «папизмом». Государство утверждает себя самое, как единственный, безусловный и всеобъемлющий источник всех полномочий и всякого законодательства, и всякой деятельности или творчества. Все должно стать и быть государственным, и только государственное попускается и допускается впредь. У Церкви не остается и не оставляется самостоятельного и независимого круга дел,— ибо государство все дела считает своими. И менее всего у Церкви остается власть, ибо государство чувствует и считает себя абсолютным. Именно в этом вбирании всего в себя государственной властью и состоит замысел того „полицейского государства", которое заводит и учреждает в России Петр... „Полицейское государство" есть не только и даже не столько внешняя, сколько внутренняя реальность. Не столько строй, сколько стиль жизни. Не только политическая теория, но и религиозная установка. „Полицеизм" есть замысел построить и „регулярно" „сочинить" всю жизнь страны и народа, всю жизнь каждого отдельного обывателя, ради его собственной и ради „общей пользы" или „общего блага"» [1].

Все верно. Но более того — Петр воспринимал себя не просто как монарха, но как демиурга. Он строил не просто государство. Он строил мир. В русской истории у Петра-богоборца есть только один аналог — Ленин. Презрительная ярость Петра по отношению к «бородачам» сопоставима с яростной презрительностью Ленина по отношению к «боженьке». То, в чем Петр не мог признаться и самому себе, Ленин провозглашал во всеуслышание.

Эти два демиурга, воспринимавшие Бога как соперника, сопоставимы и по степени физического урона, нанесенного русской церкви. Разумеется, в силу исторических обстоятельств у Ленина были развязаны руки, и по его приказу церковь откровенно грабили, а священников и монахов убивали. Петр не мог на это пойти — ни внутренне, ни на практике. Но его поведение в церковных делах было настолько жестоко, насколько это было возможно в христианской стране в первой четверти XVIII века. Он сделал беспрецедентный шаг — по воле царя Сенат в июле 1721 года, в ходе введения подушной подати, указал «детей протопоповских, и поповских, и диаконских и прочих церковных служи-

[1] Г. Флоровский. Пути русского богословия. YMCA-PRESS, Париж, 1988, с. 83.

телей... положить в сбор с протчими душами». И хотя после настойчивых просьб Синода, предрекавшего обезлюдение церкви, Петр несколько смягчил указ, но масса недавних церковников оказалась тем не менее в тяглецах, в рабском состоянии.

Церковная реформа Петра, безусловно, имела экономический аспект — тысячи людей оказались приставлены к «производству» и стали платить налог государству. Но политический и духовный смысл содеянного был куда сильнее.

После того, как в ответ на просьбу восстановить патриаршество Петр потряс кортиком перед собранием иерархов и крикнул: «Вот вам булатный патриарх!»; после того, как возник Святейший правительствующий Синод, бюрократическое учреждение, к которому был приставлен для контроля обер-прокурор из военных; после того, как этот обер-прокурор получил в помощь штат чиновников, имевших официальное название инквизиторов; после того, как священники должны были принести присягу на верное служение государству и тем самым превратились в государственных служащих, облаченных в особую униформу; после того, как священникам под угрозой истязаний вменено было в обязанность нарушать святая святых — тайну исповеди — и доносить на своих духовных детей; после всего этого на рубеже десятых-двадцатых годов XVIII века Церковь как последняя легальная сфера духовной независимости в России перестала существовать.

Еще раз повторяю, нет надобности идеализировать православную церковь перед реформой — с ее корыстолюбием, рабовладением, приспособлением к деспотизму. Но каковы бы ни были пороки собственно церковной организации, народное представление о церкви как о хранительнице высших, по сравнению с государственными, ценностей, как о возможной заступнице, как о власти не от мира сего — эти представления сами по себе были чрезвычайно важны для народного мироощущения. Лишая народ этих иллюзий, Петр наносил тяжкий урон именно народному духу, ориентированному в конечном счете на идею свободы и высшей справедливости. Отныне Божий суд официально объявлялся незаконным. Бытие упрощалось и огрублялось до черствого государственного быта.

Демиург строил свой мир, в котором не было места автономии духа.

Известный апокриф, повествующий о том, как Петр побил Василия Никитича Татищева за религиозное вольнодумство, свидетельствует — если это и правда — только о том, что подчиненная церковь нужна была царю как духовная полиция и уважение к ее «уставу» — Священному Писанию не до́лжно было колебать в сознании простых людей.

Монастыри, монахи символизировали еще бо́льшую степень независимости от мирской власти. Монахи, старцы, скитники, ушедшие от мира в какую-то эфемерную сферу умерщвления плоти, замкнутой жизни, избравшие молитву как главное занятие, казались Петру вызовом его здравому смыслу, его демиургическому устремлению, его представлению о том, что каждый человек в этом мире должен быть приставлен к ощутимо полезному делу, к ремеслу.

Автор новейшего труда о петровских реформах Е. В. Анисимов пришел именно к этому выводу: «Нетерпимый ко всякому инакомыслию, даже пассивному сопротивлению, царь не мог допустить, что в его государстве где-то могут жить люди, проповедующие иные ценности, иной образ жизни, чем тот, который проповедовал сам Петр и который он считал лучшим для России» [1].

Петр упорно выдвигал в качестве главной причины церковной реформы экономические и нравственные основания — «тунеядство» монахов, бегство тяглецов в монастыри и, соответственно, сокращение налогоплательщиков, равнодушие монахов к страданиям обездоленных и нуждающихся. «Наличные монастыри он предлагал обратить в рабочие дома, в дома призрения для подкидышей или для военных инвалидов, монахов превратить в лазаретную прислугу, монахинь в прядильщицы и кружевницы, выписав для того кружевниц из Брабанта» [2].

В обвинениях Петра был резон, но меры, им принимаемые, шли высоко поверх экономических резонов. «Монахам никаких по кельям писем, как выписок из книг, так и грамоток светских, без собственного ведения настоятеля, под жестоким на теле наказанием, никому не писать и грамоток, кроме позволения настоятеля, не принимать, и по духовным и гражданским регулам чернил и бумаги не держать, кроме тех, которым собственно от настоятеля для общедуховной пользы позволяется. И того над монахи прилежно надзирать, понеже ничто так монашеского безмолвия не разоряет, как суетная их и тщетная письма».

Это одно из «правил», приложенных к «Духовному Регламенту», коим регулировалась

[1] Анисимов Евг. Время петровских реформ. Лениздат, 1989, с. 343.

Число трудов, посвященных петровской эпохе, огромно. Но, как увидит читатель, я опираюсь на ограниченный круг исследователей, работы которых концентрируют в себе смысл главных направлений исторической мысли и содержат все необходимые для объективных выводов предпосылки. Это работы С. М. Соловьева, В. О. Ключевского, крупнейшего историософского мыслителя декабризма М. А. Фонвизина, П. Н. Милюкова, а из исследователей последнего периода — Н. И. Павленко и Е. В. Анисимова.

[2] Г. Флоровский. «Пути русского богословия», с. 102.

жизнь русской церкви. Последняя фраза являет образец беспредельного цинизма — письменные занятия монахов, игравшие такую огромную роль в сохранении и развитии русской культуры, объявляются главнейшим «разорителем» «монашеского безмолвия».

Запрещение монахам держать чернила и бумагу, заниматься без специального разрешения даже выписками из книг обнаруживает истинные побуждения реформатора. Мы неизбежно вспоминаем пушкинского Пимена, обличителя преступлений власти, безжалостного летописца. Все это приводит на память один из указов 1718 года, о котором Пушкин говорил: «18-го августа Петр объявил еще один из тиранских указов: под смертною казнию запрещено писать *запершись*. Недоносителю объявлена равная казнь. Голиков полагает причиною тому подметные письма».

Это, конечно, связанные явления. Не имея возможности вообще запретить подданным бесконтрольно писать, Петр запрещает «писать запершись», рассчитывая, что при разгуле доносительства любое нелояльное, а тем более возмутительное писание может быть выявлено слугою ли, соседом ли, домашними ли.

За сам факт «писания запершись», равно как и за недоносительство об этом — смертная казнь.

Монах, осмелившийся без специального разрешения сделать выписку из книги, или сочинить любой текст, письмо-«грамотку», или просто хранить в келье чернила и бумагу, подвергается «жестокому на теле наказанию».

Все это — признаки свирепой растерянности, осознания в конце 1710-х годов кризиса в отношениях с подданными.

Монастыри пугали и раздражали царя не потому, разумеется, что туда могли сбежаться все поселяне, оставив государство без работников,— вместимость монастырей была вполне ограничена,— а прежде всего как очаги грамотности, из коих могли выходить «подметные письма», враждебные ему сочинения, где могла создаваться летопись его деяний. А он хотел, чтоб летопись его деяний создавалась у него на глазах. Он сам принимал деятельное участие в сочинении истории своего царствования...

Церковная реформа готовилась параллельно тому, как разворачивалось «дело царевича Алексея», и завершилась в начале 1720-х годов. «Духовный регламент», обнародованный в 1721 году, сочинял вместе с Петром его «комиссар по церковным делам» епископ Новгородский Феофан Прокопович.

Связь Алексея с «бородачами» так больно бередила душу Петра потому, что это были, по его убеждению, не просто ретрограды и тунеядцы. Это была связь со стихией, исконно ему враждебной. И уход сына в монастырь — как возможный компромисс — не казался ему решением тяжкой проблемы потому, что это был бы законный переход во враждебный лагерь.

3

Для того, чтобы понять, что эта мотивация поведения наследника отнюдь не была главной, а влияние «бородачей» Петром сильно и сознательно преувеличивалось, надо окинуть взглядом реальное, а не мифическое окружение Алексея.

В юности около царевича сложилась небольшая — десятка полтора — группа преданных ему и друг другу людей. Большинство из них было так или иначе связано с покойной бабушкой Алексея Натальей Нарышкиной и постриженной царицей Евдокией. Все эти люди никакого политического веса не имели, государственных постов не занимали.

Учитель и воспитатель царевича Никифор Вяземский, управляющий хозяйством Федор Еварлаков, Василий Колычев, муж кормилицы Алексея... Духовных лиц в «компании» было четверо — все рядовые священники. Внимания заслуживает лишь один из них — о нем мы будем говорить.

Это люди действительно старомосковской ориентации. Но то — «домашняя оппозиция», ни к каким действиям — по общественной и политической малости своей — не способная. Свою оппозиционность и чуждость новым власть имущим окружение царевича не просто ощущало, но и культивировало. Они называли друг друга специальными прозвищами — отец Иуда, брат Ад, переписывались тайнописью, шифром. Но никаких серьезных замыслов за этим не стояло. Просто, чувствуя себя неуютно во враждебном новом мире, они пытались создать для себя подобие собственного микромира.

Сторонники постриженной царицы, они были совершенно бессильны и бессилие это сознавали. Путешествуя за границей, Алексей в письмах к своему духовнику Якову Игнатьеву заклинал его и других своих друзей пуще всего опасаться любых сношений с местами, вблизи коих содержалась его мать: «Во Владимир, мне мнится, не надлежит вам ехать; понеже стрельщиков за вами много, чтоб из сей твоей поездки и мне не случилось какое зло...» Повзрослевший Алексей прекрасно сознавал, что в качестве политической опоры «компания» отнюдь не годится.

Духовник царевича священник Яков Игнатьев — единственный, кто и в самом деле оказывал на него до поры сильное влияние. Когда после женитьбы царевича, переезда его

в Петербург и появления у него новых, куда более значительных друзей отношения его с духовником прервались, Яков Игнатьев, сетуя, напоминал царевичу: «Во время первопришествия твоего ко мне в духовность, лежащу пред нами, во твоей спальне, в Преображенском, на столце, святому Евангелию, и мне тя перед ним вопросившу ситце: будешь ли заповеди Божия исполняти, и предания Апостольская и святых отцов хранити, и мене, отца своего духовного, почитати, и за Ангела Божия и за Апостола имети, и за судию дел своих, и хощеше ли мене слушати во всем, и веруеши ли, яко и аз, аще и грешен есть, но такову же имею власть священства от Бога, мне недостойному дарованную, и ею могу вязати и решати, какову власть даровал Христос Апостолу Петру и прочим Апостолам... И на сия вся вопрошения моя благородие твое пред Святым Евангелием сице ответствовал: Заповеди Божия и предания Апостольская и святых его вся с радостию хощу таорити и хранити, и тебе, отца моего духовного, буду почитати и за Ангела Божия и за Апостола Христова и за судию дел своих имети, и священства своего власти слушати и покоритися во всем должен».

Это — поразительный документ. Царевич, наследник престола признает над собой полную власть неистового священника.

Михаил Петрович Погодин, опубликовввший письма Алексея к духовнику и широко их прокомментировавший, справедливо вопрошает: «Не слышится ли в словах старого нашего протопопа Якова Игнатьевича еще Григорий VII, основатель папской аласти? Не чувствуется ли сродства этой речи с притязаниями патриарха Никона? Не объясняется ли ею характер первых наших раскольников?» [1]

Безусловно, Яков Игнатьев был человеком незаурядным. Протопоп придворного собора у Спаса на Верху в Кремле, он был близким другом и единомышленником ростовского епископа Досифея, покровителя царицы Евдокии. Именно по этой причине он оказался духовником царевича и внушил ему такое безграничное доверие.

Погодин не случайно сравнивает протопопа с первыми раскольниками. Это была истинно аввакумовская натура. Подвергнутый жесточайшим пыткам во время следствия по делу царицы Евдокии а 1718 году, старик не назвал ни одного имени. «Компания» царевича обнаружилась только после казни и Алексея, и протопопа, когда в руки Петра случайно попала вышеупомянутая переписка.

Действительно ли Яков Игнатьев имел над царевичем такую власть, о коей они сговаривались при первой встрече? Судя по письмам Алексея, влияние протопопа на юношу-наследника было чрезвычайно велико.

Казалось бы, это подтверждает и мнение Петра о пагубной роли «больших бород», и утверждения самого царевича.

Но есть несомненные доказательства того, что определяющая роль духовенства в мятеже наследника — не более чем удобная обеим сторонам легенда. При всей мощи личности Якова Игнатьева, при всей искренней преданности ему царевича, при всей религиозной истовости Алексея, как только последний, женившись, обосновался в Петербурге, эта несокрушимая, казалось бы, духовная связь оборвалась. Судя по письмам самого протопопа, Алексей с этого момента в своих «грамотках», случалось, бранил протопопа, не выбирая выражений. «Многократне ты меня ругал и всячески оалобляя, а в некоем доме и за бороду меня драл»,— писал протопоп своему еще недавно почтительному духовному сыну.

Менялись обстоятельства — менялась ориентация царевича. У него появились друзья и советчики, которые имели реальную власть и влияние, которые могли стать прочной опорой в будущем противостоянии отцу, о чем царевич наверняка думал.

Но эти новые друзья были совершенно иного толка.

«В Петербурге около него (Алексея.— *Я. Г.*) образовался другой кружок,— писал Погодин,— имевший также свои виды и возлагавший на него все надежды. К этому кружку принадлежал князь Василий Влад. Долгорукий, а средоточием была, кажется, царевна Мария Алексеевна, главным действующим лицом Кикин» [2].

Во-первых, список этот, естественно, далеко не полон. Во-вторых, нам предстоит понять, какие надежды возлагали на царевича Кикин и Долгорукий, принадлежавшие, в отличие от юношеской «компании» царевича, к элите петровских сподвижников, занимавших аысокие государственные посты.

Но для этого необходимо представить себе — что происходило в России второй половины 1710-х годов.

4

Тяжелая война со Швецией шла к этому моменту полтора десятка лет. Уже одержана великая Полтавская победа. Уже завоевана Финляндия двумя блестящими зимними походами князя Михаила Михайловича Голицына. Уже пресечены отчаянные попытки

[1] Чтение в императорском обществе истории и древностей российских, кн. 3. М., 1861, с. 7.
[2] Чт. ОИДР, М., 1861, с. 20.

шведов разорить Петербург. Но и Россия доведена до полного изнурения. Бегство крестьян принимает невиданные прежде размеры — в двадцатые годы, по официальным неполным данным, в бегах числилось уже 200 000 человек.

Несмотря на повсеместное недовольство, Петр мог в это время не опасаться народных мятежей — созданная им военная машина способна была подавить восстание любого масштаба. Опасность была в другом — она исходила из самой армии.

Первым, кто сделал решительную попытку критически проанализировать на основе обширнейшего материала ход и результаты петровских реформ, был крупный историк Павел Николаевич Милюков. Для нас важно, что Милюков уже в девяностые годы XIX века, когда он трудился над фундаментальным исследованием «Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII века и реформа Петра Великого», рассматривал материал не только как объективный историк, но и как целеустремленный политик, вырабатывавший свою концепцию политической борьбы. Едва ли не первым он взглянул на проблему петровских реформ не с позиции государства, а с позиции страны, населения, конкретного человека, не «творившего историю», но — подвергавшегося ей.

Характеризуя «Государственное хозяйство России...», Е. В. Анисимов писал: «...Не соглашаясь со многими выводами Милюкова... мы не можем не отметить, что в книге Милюкова впервые в литературе была четко поставлена одна из центральных проблем историографии петровских преобразований — проблема „цены реформы"» [1].

Стараясь представить себе, как же рядовой русский человек петровской эпохи воспринимал происходящее вокруг него, Милюков в более поздней работе живо и остро обозначил сам характер деятельности реформатора. Мы возьмем отрывок, касающийся флота — любимого детища Петра.

«Ради флота Петр вел все свои войны; но и эта задача до самой смерти осталась не вполне осуществленной и распадалась на ряд разрозненных и недоведенных до конца попыток, брошенных частью самим Петром, частью его ближайшими преемниками. Скудость результатов сравнительно с грандиозностью затраченных средств тут выступает особенно ярко. Уже не говорим об игрушечной флотилии, парадировавшей при взятии Азова. Но тотчас за этим неудачным выступлением Петр спешит одним почерком пера создать настоящий большой торговый флот: землевладельцы построят ему 98 кораблей, и сам он построит 90. Вернувшись из Голландии, он забраковывает всю работу и начинает все сначала (1700). Это не мешает ему хвалиться перед Августом польским, что у него 80 кораблей, по 60 и 80 пушек на каждом. Увы, когда наступает время пустить корабли в дело при завоевании Финляндии в 1713 году, у Петра оказывается всего четыре линейных корабля и пара фрегатов. В промежутке, однако, Петр не тратил времени даром; каждый год ездил на свою воронежскую верфь; кроме личных усилий и забот он положил там огромные суммы денег; сотни тысяч людей умерли от болезней и голода „у гаванского строения" (то есть у постройки новой Троицкой гавани возле Таганрога, так как по мелководному Дону спускать большие корабли оказалось невозможным). Прутский поход сразу прикрывает все многолетнее дело: гавань срыта, суда отданы туркам или гниют на месте. Таким образом ничего почти не приходится утилизировать для северного судостроения, куда Петр переносит теперь все свои заботы, стараясь как можно скорее нагнать упущенное время. В 1719 году у него уже 28 линейных кораблей, но сколько новых усилий для этого результата! Олонецкая верфь удовлетворяет только на первые годы после закладки Петербурга; перенесение ее в Петербург тоже оказывается недостаточным: по Неве нельзя выводить оснащенные корабли в море без углубления фарватера. Петербургскую верфь приходится дополнить кронштадтскою гаванью. Но после ряда новых усилий, после новых огромных жертв людьми и деньгами, и Кронштадт перестает удовлетворять: от пресной воды суда гниют вдвое скорее, по условиям места из бухты можно выйти только при восточном ветре, по условиям климата гавань только полгода свободна от льда. За несколько лет до смерти Петр находит новое место: Рогервик, недалеко от Ревеля. Правда, шведы остановились перед страшными расходами и физическими препятствиями для укрепления этой бухты; но Петра такие пустяки не могут остановить. Снова люди десятками тысяч идут на новую работу; „все леса в Лифляндии и Эстляндии сведены" для деревянных ящиков, в которых погружают на морское дно камень, наломанный в соседних скалах. А неумолимые бури из года в год, при Петре и Екатерине, разносят всю людскую работу, так что наконец и этот проект, „стоивший невероятных сумм", приходится бросить» [2].

История петровского корабельного флота была выбрана Милюковым в качестве неотразимого примера совершенно точно. Именно здесь иллюзорная прагматичность и полная бесчеловечность петровской реформы была продемонстрирована с абсолютной наглядностью.

История корабельного флота оказалась зеркалом великой реформы и еще в одном плане. Создать корабельный флот «большим скачком», несмотря на чудовищные человеческие и материальные жертвы, не удалось. В тридцатые годы, когда для военных операций понадобились корабли, выяснилось, что флота у России фактически нет. Бесчисленные человеческие жизни и всевозможные ресурсы оказались затрачены впустую. Но это был и прообраз государственной реформы, в коей средства неизбежно сформировали результат. Выбор как главного и универсального средства неограниченного насилия над страной, над волей каждого ее гражданина с фатальностью привел к разрыву страны и нового государства. Этот же выбор определил и характер самого государства. Возросшее на насилии, категорически не учитывавшее интересов отдельного человека, оно могло вызвать только недоверие и враждебность народа. Личная преданность крестьян особам царей и цариц (хотя далеко не всем), патриотическое чувство к России как отечеству, родине никогда не снимали опасного напряжения во взаимоотношениях народа и государственной машины. Машина же, ощущая опасность, платила народу тем же.

На крови, насилии, подавлении человека возрос жестокий военно-бюрократический монстр, использовавший страну как сырьевую базу.

Эта последняя тенденция с полной ясностью обозначилась в канун «дела царевича Алексея».

После завоевания в 1714 году князем Михаилом Голицыным Финляндии стало ясно, что война идет к концу. Содержать огромную армию разоренной стране было тяжко. Сокращать армию Петр не хотел и не мог, как по причине своих внешнеполитических планов, так и потому, что воинская сила была для него единственным средством держать в повиновении раздраженных, озлобленных подданных. Он создал военную империю и отрезал России пути к «гражданскому государству».

Но и положение в армии было далеко от идиллического. Солдаты дезертировали тысячами. Снабжать корпуса, оперировавшие теперь за пределами собственной страны, было нелегко. Казенное жалованье солдатам и офицерам выплачивалось нерегулярно. Пока полки находились в Европе, положение отчасти спасали реквизиции. Но что будет, когда измученная армия вернется на родину? Не меньшей проблемой было и размещение тех полков, что находились в России, но в ситуации войны постоянно меняли места дислокации.

Поскольку сокращать армию Петр не считал возможным, единственным выходом оставалось увеличение налогов.

Первые наметки новой системы появились уже осенью 1715 года, когда царь приказал Роману Брюсу, младшему брату знаменитого Якова Брюса, «осведомитца, с колнкого числа мужиков у шведов был солдат и драгун, и по чему было положено на двор, или на гак, или поголовщину, и каким образом оных и их офицеров держали на квартирах».

Для Петра шведские установления были высшим образцом...

Идея нового налогового принципа — податной реформы — зрела в голове Петра, под давлением обстоятельств, в 1716—1717 годы, те самые годы, когда и разворачивалось «дело Алексея». И обстоятельства эти были более серьезными, чем просто необходимость разместить и удовольствовать армию, во избежание ее раздражения. Речь шла, по сути дела, о следующем этапе военизации государства, о переходе военно-бюрократической системы управления к чисто военной системе. Как и производившаяся в то же время церковная реформа, новые планы Петра были реакцией на усугубляющийся внутриполитический кризис, который отнюдь не снимали внешнеполитические успехи.

А сложной ответной реакцией на эти планы и стал «бунт» царевича Алексея.

За 10 апреля 1717 года в реестре дел, рассмотренных царем, записано: «О разделении войск по крестьянам сухопутных и рекрут морских, кроме гвардии и провианта».

Основные принципы реформы были разработаны к концу 1718 года.

Главная идея заключалась в том, чтобы армейские полки, распределенные по всей России, стали на содержание жителей соответствующих местностей. В местности, которая была отведена тому или иному полку, армейское начальство становилось хозяином положения.

Но для того, чтобы осуществить этот план, необходимо было определить реальное число налогоплательщиков, то есть произвести перепись населения, высчитать — сколько податных душ необходимо для содержания одного солдата (это число менялось в зависимости от рода войск), равно как и наладить механизм взимания подати и передачи ее армии.

Задача реформы диктовала смену принципа налогообложения: налоговой единицей теперь вместо «двора» — семьи становилась мужская «душа». Сюда входили и младенцы, и работники, умершие сразу после переписи.

Перепись населения производилась долго, тяжко. Люди понимали смысл происходящего или догадывались о нем. Реформа меняла не только статус, но и самовосприятие человека. Вчера еще свободный, он сегодня оказывался рабом. Естественно, что масса людей пыталась ускользнуть.

Перепись, производившаяся главным образом силами гвардии и армии, превращалась в военную операцию. Страна конвульсивно сопротивлялась переходу на новый уровень несвободы. Государство соответственно реагировало на сопротивление.

---

[1] Е. В. Анисимов. Податная реформа Петра I. Л., 1982, с. 5.

[2] П. Милюков. «Очерки по истории русской культуры». Часть третья. СПб., 1903, с. 164.

Ревизоры первоначально имели право прибегать к пытке только с разрешения царя. Генерал Чернышев, один из деятелей переписи, пожаловался Петру, что это правило связывает ревизорам руки. Петр отменил ограничения. Отныне офицер-ревизор мог истязать подозреваемых, ни на кого не оглядываясь.

На Россию налагалась густая фискальная сеть, ячейки которой все уменьшались. Реформа была направлена на то, чтобы ввергнуть в крепостное состояние максимум населения. Схватить страну безжалостным учетом и каждого пригвоздить к месту.

Наказания за «утайку» были многообразны. У помещиков конфисковывали деревни, старост били кнутом и вырывали ноздри. Кары простирались от ссылки на галеры «в вечную работу» до смертной казни.

Податная реформа и новый принцип содержания армии радикально изменили ситуацию в стране. Поступления в казну увеличились в три раза. Размещение полков среди населения, наделение офицеров фискальной и полицейской властью резко укрепило абсолютную власть государства, снизив до минимума возможность сопротивления снизу.

Страна превратилась в сырьевую базу военной машины.

Одним из последствий податной реформы стало тотальное закрепощение. Историк И. Д. Беляев, подробно исследовавший крестьянскую проблематику, писал: «Мысль,— чтобы не было избылых гулящих людей, и чтобы все состояли в той или иной службе,— до того была сильна в Петре Великом, что он указом от 1-го июня 1722 года прямо и ясно повелел, чтобы в государстве не было более так называемых вольных государевых гулящих людей» [1]. Все свободные люди, жившие работами по найму,— этот мощный резерв для развития свободной экономики,— должны были стать либо крепостными рабами, либо солдатами. Это меняло и экономическую перспективу, и социально-психологическую атмосферу в стране.

Тот же И. Д. Беляев обратил внимание на еще один крайне опасный аспект реформы: «В обязанности владельцев платить подати за крестьян и рабов заключалось, по-видимому, только перемещение ответственности с крестьян на владельцев; но за сим перемещением скрывалось страшное разобщение крестьянина с государством: между им и государством стал господин, и, таким образом, крестьянин сделался ответственным только перед господином: с него спали государственные непосредственные обязанности, а с тем вместе он утратил и все права, как член государства, ибо в его положении, подготовленном прежним временем, права без обязанностей были невозможны» (с. 239).

Так было положено начало страшному процессу — отчуждению от государства массы населения. Это отчуждение усугублялось затем указами и Анны Иоанновны, и Елизаветы, и Екатерины II, отдававшими крестьян в полную собственность господам. И беда тут не только в нравственном или экономическом уроне. Здесь оказался заложен фундамент катастрофического явления — социально-психологической и политической разорванности нации, народного ощущения тяжкой обиды, переросшей постепенно в сознание непримиряемости интересов крестьян и господ, преданных государством граждан и неправедного государства.

Вред крепостного права оказался ошеломляюще многообразен. А именно Петру времен податной реформы обязана Россия тем гибельным путем, которым пошли судьбы крестьянства.

Сильный и объективный мыслитель, декабрист Михаил Фонвизин, анализируя в Сибири деятельность Петра, печально заметил: «В его время в некоторых государствах западных крепостное состояние земледельцев уже не существовало — в других принимались меры для исправления этого зла, которое в России, к несчастию, ввелось с недавнего времени и было во всей силе. Петр не обратил на это внимания и не только ничего не сделал для освобождения крепостных, но, поверстав их с полными кабальными холопами в первую ревизию, он усугубил еще тяготившее их рабство» [2].

Государственная система, подготовленная в 1716—1718 годах, при ее видимой целесообразности с точки зрения сиюминутных интересов военной машины, была чудовищной миной под будущим страны. Здесь берут начало те кровавые катаклизмы, которые сотрясали Россию в течение столетий.

Недаром проницательный Сперанский собирался в начале XIX века в качестве одной из первых мер для умиротворения страны уравнять крепостного мужика перед законом с другими сословиями. То есть вернуть ему гражданское достоинство еще до полной отмены рабства.

Именно в конце 1710-х годов в истории страны наступал перелом, результатом коего стало положение, горько охарактеризованное почти через сто лет тем же Сперанским: «Я вижу в России два состояния — рабы государевы и рабы помещичьи. Первые называются свободными только по отношению, действительно же свободных людей в России нет...»

---

[1] И. Д. Беляев. Крестьяне на Руси. М., 1903, с. 246.

[2] Фонвизин М. А. Сочинения и письма, т. II. Иркутск, 1982, с. 115.

5

Считая себя великим прагматиком, который, по мнению Пушкина, «презирал человечество, может быть, больше, чем Наполеон», Петр никогда не утруждался в политической борьбе этическими соображениями.

Когда Петр клятвенно заверял скрывавшегося в Италии Алексея, что в случае возвращения его ждет только «лучшая любовь», он, разумеется, не придавал собственным словам ни малейшего значения. И когда по прибытии наследника в Москву царь торжественно объявил ему прощение, то обставил это прощение заведомо невыполнимыми условиями.

Петр отчасти знал — за Алексеем внимательно следили,— отчасти догадывался о многообразных связях царевича. Объявляя прощение, он провозгласил, что оно потеряет силу, если откроется хоть какая-либо «утайка». Было очевидно, что царевич попытается укрыть ближайших друзей или же просто забудет о чем-либо и тем самым аннулирует прощение.

Петр не считал возможным оставить сына в живых. Ему только надо было найти оправдания для общественного мнения и создать наиболее выгодную для себя ситуацию. Петр и ближайшие к нему люди, очевидно, уверены были, что никакого компромиссного решения нет.

Эту позицию четко сформулировал Н. И. Павленко: «В данном случае друг другу противостояли не только отец и сын, но две концепции настоящего и будущего России: одну из них претворял в жизнь отец, другую, диаметрально противоположную, намеревался осуществить сын, как только окажется у власти. Ставка была велика, а дороги расходились круто. Как дальше пойдет Россия: по пути ли преобразований, которые выводили ее в число могущественнейших стран Европы, или по пути все большего отставания?» [1]

Скорее всего, так или почти так рассуждал Петр. Но, по глубокому моему убеждению, то была ложная дилемма. Глубина противоречия действительно была бездонной. Но суть его заключалась в ином. И если собственную перспективу Петр определял точно, то «оппозиционный вариант» он примитизировал до подмены генерального смысла.

(Хочу напомнить читателю, что подобные положения вечно актуальны и принципиальны для политической истории — сознательное или полусознательное моделирование господствующей стороной позиции противника как заведомо пагубной. Главное средство в таких случаях — упрощение этой позиции, моделирование ее по случайным, произвольно выхваченным чертам враждебной программы. Так и программа, которая могла реализоваться в случае воцарения Алексея, имела мало общего с тем вариантом, что предсказывался его противниками.)

Для того, чтобы представить себе эту реальную программу, противостоящую петровским сбывшимся предначертаниям, нужно очертить круг лиц, на которых рассчитывал и собирался опереться Алексей. Их полный — или почти полный — список был выбит из него кнутом на дыбе.

Несколько человек Алексей назвал сразу — еще до начала официального следствия. Их участие было столь очевидно и известно, что скрывать было глупо. Не говоря уже о том, что царевич, по выражению Пушкина, «устрашенный сильным отцом», пытался откупиться от него, но, по возможности, минимумом предательства по отношению к своим действительным или потенциальным сторонникам.

Сразу же отметем лиц малозначащих — Никифора Вяземского, Дубровского, Эверлакова. Нас интересует не бытовой уровень, но реально политический.

Замешанные в деле второстепенные государственные фигуры — Петр Апраксин, Михаил Самарин и царевич Василий Сибирский — оказались достаточно случайными участниками дела.

Главными лицами на этом этапе стали те же Александр Кикин и князь Василий Владимирович Долгорукий. С них и начнем анализ политических связей царевича.

В представлениях об Александре Васильевиче Кикине — самой трагической, разумеется, после царевича, фигуре «дела Алексея» — много путаницы. В высшей степени квалифицированный историк пишет о корреспондентах кабинет-секретаря Петра Алексея Макарова: «Александр Кикин, Антон Девиер — или близкие ему по социальному облику такие корреспонденты, как Алексей Курбатов, Василий Ершов...» Кикин оказывается в «одном круге» с безродным иностранцем Девиером и бывшим крепостным Курбатовым. Вводит в заблуждение и то, что Кикин был царским денщиком, как простолюдин Меншиков и арап Абрам Петров, ставший затем Ганнибалом. «Кикина с Меншиковым роднила общность начала карьеры...» — пишет историк.

Между тем Александр Кикин происходил из очень хорошего дворянского рода, основанного знатным литовским выходцем, ставшим боярином князя Дмитрия Донского. Кикин был сыном стольника (высокий придворный чин) и крупного дипломата. С 1693 го-

---

[1] Н. И. Павленко. Петр Великий. М., 1990, с. 409.

да служил в «потешных», то есть в гвардии, и, будучи бомбардиром, находился под началом самого Петра — капитана бомбардирской роты. Денщиком царским он стал во время азовских походов. Причем надо иметь в виду, что петровские денщики были людьми чрезвычайно близкими к царю, часто не только в быту. Они были лицами доверенными. Во время великого посольства Кикин волонтером — вместе с царем — поступил в обучение на голландскую верфь и стал мастером кораблестроения. В дальнейшем его быстрая карьера шла именно по этой, важнейшей для Петра линии — Кикин сделан был управляющим петербургской верфью. Вместе с царем он создавал флот и был одним из ближайших к Петру деятелей.

Был он и одним из людей наиболее близких царю по-человечески. Свидетельством тому множество писем к нему Петра. Едва ли не за каждым сколько-нибудь важным событием военной и иной жизни следовало послание от царя к адмиралтейцу Александру Васильевичу, прозванному Петром «дедушкой». Был Кикин как свой вхож и в семейный августейший круг.

В Кикине соединились два типа — в петровскую пору обычно разделенных: родовой дворянин и «специалист», инженер, деятель не столько политической, сколько технической реформы. Вся его профессиональная и жизненная карьера была связана с этой реформой, новой экономикой, новым строем государственного существования.

Карьера Кикина споткнулась на том, на чем обыкновенно и спотыкались петровские «птенцы»,— на казнокрадстве. Он, равно как и Меншиков, брал через подставных лиц подряды на поставку хлеба государству и продавал его по непомерно высоким ценам. Специальная следственная канцелярия, возглавленная князем Василием Владимировичем Долгоруким, обличив в плутовстве с подрядами многих, начиная с Меншикова, не обошла и Кикина. Александр Васильевич пережил смертный приговор, смертельный испуг, но был прощен царем, заплатил большой штраф, отнюдь его, однако, не разоривший, и был ненадолго выслан в Москву. Но вскоре Петр снял с него опалу. Кикин вернулся в Петербург.

Могла ли эта опала и умеренное наказание толкнуть Кикина на смертельно опасную авантюру — разжечь ненависть Алексея против отца, уговорить его бежать за границу и подготовить этот побег?

Да, после злоключений 1713—1715 годов Александр Васильевич навсегда утратил человеческое доверие царя. Но он оставался деятелем, ездил по Европе, мог себе жить да поживать, и нужен был огромной интенсивности стимул, чтоб толкнуть Кикина на тот путь, на который он и встал.

Кикиным в его вражде к царю наверняка двигали и яростные личные страсти. Но исчерпывалась ли этим подоплека страшного конфликта?

Ведь если принять обычную версию дремучего ретроградства царевича Алексея, то что за карьера могла ждать кораблестроителя Кикина в его царствование? Степенное московское житье и боярский чин? Безбедный покой был ему обеспечен и теперь — захоти он этого. Но Александр Васильевич, высланный на житье в Москву, рвался обратно в Петербург — в опасное соседство с раздраженным царем, туда, где кипела новая жизнь.

До нас дошел поразительный факт, очень многое в драме Кикина объясняющий. Во время следствия по делу царевича Петр спросил у висящего на дыбе Александра Васильевича: «Как ты, умный человек, мог пойти против меня?» Истерзанный пытками Кикин, вместо того чтобы молить о пощаде и милости, ответил: «Какой я умный, ум простор любит, а у тебя ему тесно».

Отнюдь не все, уличенные в злоупотреблениях и впавшие в немилость у Петра, переходили в оппозицию. Большинство проштрафившихся старались так или иначе заслужить полное прощение. Случай Кикина — принципиально иной. В канун «дела Алексея», в канун податной и церковной реформ, в переломный момент царствования, когда приближалась максимальная «теснота ума» для русского человека, почувствовавшего меру своих сил и возможностей, Кикин против этой «тесноты» взбунтовался.

Когда в 1716 году Петр заставил сына сделать выбор, то главными советниками последнего оказались Кикин и князь Василий Владимирович Долгорукий. Сперва Кикин рекомендовал царевичу отречься от престола за слабостью и неспособностью нести бремя власти. Затем, когда Петр потребовал от Алексея либо ревностно нести службу государству, либо удалиться в монастырь, Кикин советовал царевичу идти в монастырь, но сказал при этом знаменательную фразу: «Вить клобук не прибит к голове гвоздем; мочно его и снять». И добавил: «Теперь так хорошо; а впредь-де что будет, кто ведает?» Но все эти разговоры происходили на фоне идеи побега за границу, которая родилась именно у Кикина и постепенно крепла.

Что самое важное — показания царевича о времени возникновения этой идеи сильно подрывают версию о том, что Кикиным двигала лишь обида на царя.

8 февраля 1718 года, в самом начале розыска, не пытанный и уверенный в отцовской милости Алексей писал Петру: «О побеге моем с тем же Кикиным были слова многажды, в разные времена и годы, и прежде сих писем...». Первые неприятности у Кикина начались в 1713 году, именно тогда, когда Алексей переехал на жительство в Петербург. Очень

может быть, что смутные обстоятельства и подтолкнули Кикина к этой дружбе. Но до ареста и розыска, которые грянули в 1715 году, было еще далеко, а Кикин уже готовит царевича к фактическому мятежу против отца. Еще Петр не прислал Алексею грозных писем, требующих сделать выбор, а Кикин уже предвидит подобную возможность и прикидывает варианты.

Окончательный шаг Кикин действительно сделал в новом своем — опальном — состоянии. Царевич показал: «Когда я в Голландию ехать раздумал и возвратился в Питербурх (то есть не последовал совету Кикина.— *Я. Г.*) и его нашел, уже по розыске, прощенна и определенна в ссылку, только уже он был не под караулом, и я с ним виделся». При этом свидании Кикин со всей решительностью советовал Алексею искать убежища во Франции. Это был 1715 год, то есть опять-таки еще до роковых писем Петра к сыну.

Кикин вел свою игру очень последовательно и настойчиво. Он предлагал Алексею разные варианты — Вену, Венецию, Швейцарию. У каждого варианта были свои достоинства и особенности. Кикин же взял на себя обязанность отыскать для царевича наиболее подходящее убежище. Это было уже после возвращения в Петербург, когда Кикин стал ездить за границу.

Царевич показал: «А как я съехался с Кикиным в Либоу, и стал его спрашивать, нашел ли он мне место какое? и он сказал: „Нашел-де; поезжай в Вену к кесарю: там-де не выдадут“». Кикин утверждал, что по его просьбе русский посол в Вене Авраам Веселовский секретно посовещался с вице-канцлером Шонборном, а Шонборн поговорил с императором, и тот якобы дал согласие принять беглого царевича.

Судя по противоречивому поведению венского правительства, по явному желанию императора отделаться от опасного гостя, судя по тому, что Веселовский после этих показаний не был отозван немедленно из Вены, Кикин царевича обманул. В Вене его не ждали. Царевича, как мы увидим, обманул не только Кикин. Несчастный Алексей стал фигурой в очень сложной игре, точкой приложения разнородных, мощных и безжалостных политических сил.

Надо попытаться ответить на вопрос: какую конкретную цель преследовал хитроумный и дальновидный Кикин, рискуя собственной головой и головой царевича?

Очевидно, Кикину необходимо было сохранить Алексея в качестве законного наследника престола на случай скорой смерти Петра. Удаление в частную жизнь было для царевича нереально: Петр дал понять, что не допустит этого. Постриг — уход в монастырь — делал весьма проблематичным будущее воцарение Алексея. Клобук, конечно, можно было снять, но в этом случае Алексей мог претендовать лишь на пост регента при собственном сыне. Общественное правосознание вряд ли примирилось бы с расстригой на престоле — при всех симпатиях к Алексею народ счел бы это святотатством.

Временное пребывание в чужих краях решало проблему лучше всего. Не говоря уже о том, что Кикину явно мерещилась возможность взаимовыгодного союза претендента на престол с тем монархом, который предоставил бы царевичу убежище. Имея наследника в эмиграции, поддержанного какой-либо сильной европейской державой, обеспокоенной агрессивной внешней политикой России, можно было рассчитывать на создание действенной оппозиции внутри страны. Степень недовольства в стране была Кикину хорошо известна. И речь шла, в конечном счете, не о личных обидах Кикина или кого-нибудь еще, но о судьбе страны, о ее пути, о ее будущем.

У Кикина были широкие конспиративные связи с очень определенным кругом лиц. При аресте у него были найдены «цифирные азбуки» — шифры — для переписки с князем Василием Владимировичем Долгоруким, князем Григорием Федоровичем Долгоруким, генерал-адмиралом Апраксиным, фельдмаршалом Шереметевым, князем Яковом Федоровичем Долгоруким, Алексеем Волковым, Саввою Рагузинским, Авраамом Веселовским и самим царевичем.

Вообще круг царевича широко пользовался для переписки «цифирными азбуками», сведения об этом не раз всплывали во время следствия. Но для нас особенно важны перечисленные лица.

О роли князей Василия и Якова Долгоруких в деле Алексея речь впереди. Здесь только кратко скажем об остальных. Все эти лица — кроме дипломата Саввы Рагузинского, личного друга Кикина,— были, несомненно, причастны к тайной стороне жизни царевича.

Например, еще в 1712 году, находясь за границей, Алексей писал своему духовному отцу Якову Игнатьеву: «Священника мы при себе не имеем, и взять негде...; прошу вашей Святыни, приищи священника (кому мочно тайну сию поверить), не старого, и чтоб незнаемый был всеми. И изволь ему сие объявить, чтоб он поехал ко мне тайно, сложа священнические признаки, то есть обрив бороду и усы...». Ему нужен был духовник, которому можно было доверить тайну исповеди, а не соглядатай державного отца. И далее, объясняя Игнатьеву свой план, царевич пишет: «Пошли его на Варшаву, и вели явиться к князю Григорию Долгорукому, и чтоб сказался моим слугою или денщиком; и он ко мне отправит, я ему о сем прикажу». В сочетании с наличием шифра для тайной

нереписки факт этот становится многозначительным. Князь Григорий Федорович, брат князя Якоаа Долгорукого, был крупным дипломатом и фигурой весьма влиятельной.

Имя одного из ближайших к Петру вельмож — генерал-адмирала Федора Матвеевича Апраксина — часто мелькает в материалах розыска; он был доброжелательным, хотя и осторожным советчиком Алексея. И наличие шифра для переписки с ним — знаменательно.

Очень важно нахождение среди «конфидентов» Кикина фельдмаршала Шереметева, которого, как мы увидим, Алексей считал своим союзником. Автор глубокой работы о Шереметеве историк А. И. Заозерский [1] установил целый ряд чрезвычайно важных для нашего сюжета обстоятельств. Во-первых, Шереметев, Апраксин и Кикин были друзьями, и то, что писал Кикин Шереметеву, становилось сразу известно и генерал-адмиралу. Во-вторых, как народная молва, так и мнение дипломатических кругов прочно связывало имя фельдмаршала с интересами царевича.

Но историкам известна только обычная переписка Шереметева и Кикина. Наличие шифра заставляет предполагать и возможность отношений конспиративных.

Волков был, судя по всему, фигурой второстепенной. Но у него в Риге останавливался царевич перед побегом.

Роль Авраама Веселовского в «деле» — двусмысленна. С одной стороны, как уже говорилось, он явно не выполнил просьбы Кикина и не подготовил почвы для появления Алексея в Вене. С другой же — когда через несколько месяцев после розыска ему пришлось покинуть Вену, то он не вернулся в Россию, бежал в Германию и скрывался там до самой смерти...

Свидетельствует ли это все о заговоре с целью свержения Петра? Вряд ли. Но ясно вырисовывается обширный круг влиятельных и близких к царю деятелей, связанных неявными, а иногда и прямо конспиративными связями и ориентированных при этом на царевича Алексея.

И круг этот сложился именно в середине 1710-х годов. В центре его, безусловно, стояли Кикин и Василий Долгорукий.

Кикин и Долгорукий не любили друг друга. Именно князь Василий Владимирович едва не привел Александра Васильевича на плаху. Но тут их объединял общий интерес, который оттеснял личные неудовольствия. Объединяли их и общие друзья: князь Василий Владимирович был чрезвычайно близок с Шереметевым.

Однако именно взаимная неприязнь Кикина и Долгорукого подтверждает наличие аморфного, но целенаправленного сообщества, сложившегося вокруг царевича перед его побегом. Шифра для переписки с Меншиковым, с которым до 1717 года у Кикина была дружба, он, тем не менее, не держал, а для переписки с личным неприятелем Василием Долгоруким шифр был...

6

Оставим в стороне интереснейшую, со многих точек зрения, область взаимоотношения лиц, ориентированных на царевича. Мы слишком далеко ушли бы в сторону от основной задачи, если бы стали анализировать эту запутанную сферу. (Хотя для гипотетических рассуждений о возможном царствовании Алексея проблема имеет первостепенное значение.) Можно, однако, оглядывая эту среду, с уверенностью повторить, что никакой крепкой организации вокруг царевича не сложилось. Но, несмотря на это, в русской политической жизни оформилось явление для Петра, как мы увидим, куда более опасное, чем локальный заговор. Это было широкое — на разных социальных уровнях — неприятие главных целей и методов реформатора.

Даже если предположить, что основным стимулом для Кикина в его смертельной игре были жажда мести и обида, то как быть с другим конфидентом Алексея — генералом Василием Долгоруким? Представитель знатнейшей фамилии, один из столпов армии и гвардии, любимец царя, ничем не проштрафившийся, могущий претендовать на высшие военные и государственные посты как при Петре, так и при его преемнике,— чем руководствовался он, что двигало им в сколь неуклюжих, столь и опасных политических интригах?

Выросший на Украине, где служил его отец, князь Василий и сам состоял затем в войсках гетмана Мазепы. Его юношеские представления о политическом мироустройстве сложились на пересечении «лыцарской» традиции казачества и накрепко укорененной памяти о роли боярства — и его собственных предков, в частности,— в строении Московского государства.

Зачисленный офицером в гвардию, князь Василий Владимирович отличился уже в начальный период Северной войны. Но первую самостоятельную операцию он провел в 1708 году. Командуя карательным корпусом, он подавил опаснейший в тот момент для государства булавинский мятеж. Мятеж был спровоцирован жестокостью, с которой старший брат князя Василия Юрий расправлялся с казаками, укрывавшими беглых крестьян. За что и был убит восставшими.

Петр, конечно же, выбрал князя Василия Владимировича не только из-за родства с погибшим гвардии полковником, что подразумевало мстительную ненависть к булавинцам. Гвардии майор обладал двумя чертами, которые роднили его с царем,— хладнокровно-рациональной безжалостностью и стремлением к «регулярности». В Долгоруком не было бесившей царя старомосковской основательной медлительности Шереметева. Из него вырастал военачальник нового типа.

Если к фельдмаршалу Шереметеву, отправленному подавлять взбунтовавшуюся Астрахань, Петром приставлен был для контроля и слежки гвардии сержант Щепотев, то к Долгорукому никого приставлять не надо было: Петр ему полностью доверял.

Всей своей службой князь Василий Владимирович доказал не просто верность царю, но верность новой государственной идее. Для него, как и для Петра, буйное казачество стало отвратительным антиподом «регулярности»...

За разгром Булавина князь Василий Владимирович получил чин полковника гвардии — что было блистательным отличием.

В следующем — 1709 — году Долгорукий командует кавалерийским резервом, довершившим разгром шведов при Полтаве, и получает чин генерал-поручика. В конце того же года он снова высоко отличен: стал крестным отцом новорожденной царевны Елизаветы Петровны. Это уже не просто продвижение по службе. Это — знак личной любви и доверия царя.

В 1711 году, в тяжкие дни катастрофы на Пруте, когда русская армия, блокированная бесчисленными турецкими войсками в выжженной степи, оказалась на краю гибели, князь Василий Владимирович сохранил абсолютное присутствие духа и настаивал на самом решительном варианте действий: «проложить дорогу штыками или умереть».

За Прут он получил андреевскую ленту — высшее воинское отличие.

Затем к его военным лаврам присоединились и дипломатические. А в 1715 году Петр доверил ему щекотливейшее дело совсем по иной части. Выявились чудовищные злоупотребления Меншикова, «полудержавного властелина», второго лица в государстве. Создана была комиссия для расследования. Достойно возглавить ее мог лишь человек большого мужества — светлейший князь был силен своими заслугами, близостью к царю, покровительством царицы, обширными связями. Кроме всего прочего, для руководства следствием требовался человек беспристрастный, недоступный подкупу и давлению многочисленных друзей и врагов светлейшего.

Петр выбрал князя Василия Владимировича, что свидетельствовало о доверии абсолютном.

Долгорукий железной рукой провел следствие, тяжко обвинил Меншикова, навсегда разрушив его близость с царем. Светлейшего спасло от сурового наказания лишь заступничество царицы...

Отпрыск знатнейшего рода, что придавало ему особый вес в глазах офицерства, знаменитый и удачливый генерал, доверенное лицо государя — это редкое сочетание открывало перед Долгоруким в середине 1710-х годов дорогу к самым вершинам военной и государственной карьеры.

Что, казалось бы, могло связать этого строителя новой системы, так много в этой системе получившего и так много для нее сделавшего, с царевичем Алексеем, символом, по мнению историков, системы старой?

Добросовестный историк Д. А. Корсаков, специально изучавший семейство Долгоруких, дал такую человеческую характеристику генерала, суммирующую отзывы современников: «Чуждый лукавства и криводушия, не входивший ни в какие сделки и „конъюнктуры", он действовал всегда начистоту, и всегда и везде, невзирая ни на какие обстоятельства, прямо в глаза говорил правду» [1].

Корсаков очень точно и лаконично определил позицию князя: «один из весьма видных сподвижников и один из редких „супротивников" Петра Великого». Подобный парадокс был отнюдь не редким, вопреки мнению историка, в последнее десятилетие петровского царствования.

Очевидно, причины оппозиционных маневров генерала надо искать, помимо прочего, в фундаментальных чертах его личности. Ни разу не оскорбленный своим самовластным государем, Долгорукий, тем не менее, постоянно ощущал такую возможность. И если Кикина мучила «теснота ума», то Долгорукого, скорее всего, душевно изнуряла мысль о возможном унижении — «теснота самоуважения».

Во всяком случае, мы не можем до конца согласиться с характеристикой Корсакова, который упустил из виду материалы «дела Алексея». Между тем именно в этой ситуации князь Василий Владимирович попытался вести хитроумную закулисную игру, которая ему, впрочем, не удалась...

---

[1] Заозерский А. И. Фельдмаршал Шереметев и правительственная среда петровского времени. Сб. «Россия в период реформ Петра I». М., 1973, с. 172.

[1] Корсаков Д. А. Из жизни русских деятелей XVIII века. Казань, 1891, с. 259.

В период, предшествующий побегу, царевич постоянно виделся с Долгоруким — тому есть неоспоримые доказательства. Но если Кикин пытался скрывать свою связь с Алексеем, то князь Василий Владимирович ее демонстрировал, избрав иную тактику: делая вид, что выступает посредником мужду отцом и сыном.

Алексей показал на следствии: «А перед поданием моего ответного письма, ездил я к князь Василию Володимировичу Долгорукому да к Федору Матвеевичу Апраксину, прося их: „будет ты (Петр.— *Я. Г.*) изволишь с ними о сем говорить, чтоб приговаривали меня лишить наследства и отпустить в деревню жить, где бы мне живот свой скончать". И Федор Матвеевич сказал, что будет-де отец станет со мною говорить, я-де приговаривать готов. А князь Василий говорил тож; да еще прибавил: „Я-де с отцом твоим говорил о тебе; чаю-де, тебя лишат наследства, и письмом-де твоим, кажется, доволен...". И еще примолвил: „Я-де тебя у отца с плахи снял"... И он мне говорил: „Теперь-де ты радуйся, дела-де тебе ни до чего не будет"».

На следствии князь Василий Владимирович факт этих разговоров подтвердил. Но из его показаний и анализа обстоятельств ясно, что утверждение о разговорах с царем по поводу судьбы Алексея было чистой дезинформацией.

У него действительно был разговор с царем об Алексее, но — как явствует из его собственного письма Петру — смысл разговора был совершенно иной, вполне нейтральный.

Кроме того, Петр на самом деле не только не был «доволен» письмом Алексея, но и пришел от него в сильнейшее раздражение. Что и выяснилось в январе следующего, 1716 года. Он вовсе не собирался отпускать царевича в деревню на вольное житье, о чем тот просил, а собирался поставить его перед выбором: послушание и выполнение долга или — монастырь.

Но как же Долгорукий решился откровенно обмануть Алексея?

Очевидно, дело в том, что в этот момент Петр был тяжело болен. Он заболел сразу после своего письма Алексею в октябре 1715 года и смог продолжить переписку только в середине января следующего года.

Сам Петр придавал принципиальное значение поведению окружающих во время этой болезни. Да и не только он. Кикин говорил Алексею, что отец его вовсе не болен, а только притворяется, чтоб проверить верность соратников. В вопросные пункты воротившемуся царевичу — от 4 февраля 1718 года — пунктом вторым Петр недаром включил: «В тяжкую мою болезнь в Питербурхе, не было ль от кого каких слов, для забежания к тебе, ежели б я скончался?». Царевич ответил на него отрицательно. На самом же деле попытка Долгорукого выступить благодетелем царевича и тем привязать его к себе предпринята была именно во время этой «тяжкой болезни».

Очевидно, князь то ли верил в смертельный исход царского недуга, то ли — что вероятнее — рассчитывал, что после длительного периода болезни подробности его маневров перестанут быть актуальными и забудутся, а результат — «я тебя у отца с плахи снял», то есть спас от казни — останется.

Здоровье Петра в это время уже сильно пошатнулось, и ясно было, что он недолговечен. В этот ли раз, в следующий ли, но болезнь сломит силы царя. Естественный наследник — Алексей. Даже в случае пострига он, как некогда Филарет, отец Михаила Романова, имеет все шансы стать регентом-правителем при своем малолетнем сыне.

Именно поэтому Долгорукий был отнюдь не одинок в своих «забежаниях» к наследнику. После трехмесячной болезни царя в зиму 1715—1716 годов надежды на скорую его смерть лишили многих привычной осторожности и выявили истинные симпатии.

Именно в это время многие в окружении царя жили, напряженно ожидая перемен, мечтая о переменах. Это был период не только ухудшения царского здоровья, но и канун решающих реформ — церковной реформы и, главное, податной реформы. Это было время, когда после решительного перелома в войне Петр принялся за внутренние дела, и ясно стало, что совсем скоро страна будет намертво схвачена железной системой, подавляющей всех и вся. Именно в это время выявился вектор реформ.

Нет ни малейших указаний на то, что хоть кто-нибудь замышлял насильственное устранение царя. Страх перед ним, его авторитет — несмотря на неприязнь и ненависть — были слишком велики. Верность царю его гвардии делала любой «регулярный» заговор авантюрой. Ясно было, что убийство царя приведет прежде всего к истреблению заговорщиков. Героических самоубийц в окружении Петра не было. Надеяться оставалось только на естественную смерть деспота-реформатора. И здесь нетерпение было так велико, что толкало на безрассудные поступки.

Алексей исповедовался отцу: «После твоей болезни, приехав из Англии Семен Нарышкин ко мне в дом, а с ним Павел Ягушинский или Алексей Макаров, не упомню [1], кто из них двух один, а кто подлинно, сказать не упомню, и разговаривая о наследствах тамошних, и Семен стал говорить: „у Прусского-де короля дядья отставлены, а племянник на престоле, для того, что большого брата сын". И на меня глядя, молвил: „Видь-де мимо тебя брату отдал престол отец дурно". И я ему молвил: „У нас он волен, что хочет, то и делает; у нас не их нравы"».

Зерно этого многозначительного разговора — фраза чрезвычайной значимости: «У нас он волен, что хочет, то и делает: у нас не их нравы». Речь идет не о дурном характере Петра, но о форме правления. О самодержавии. Частный случай — нарушение порядка престолонаследия — естественно трактовался как порок самодержавной системы.

Этот мотив — осуждение самодержавия как института — возникает в течение следствия не единожды. Так, 12 мая от царевича потребовали подтвердить такое на него показание: «Царевич говаривал: два-де человека на свете как Боги: папа Римский да царь Московский; как хотят, так делают». Царевич подтвердил. В этой связи весьма многозначителен состав собеседников — Ягужинский или Макаров.

Павел Ягужинский, генерал-прокурор Сената, «новый человек» из простолюдинов, всем обязанный Петру, один из ближайших к нему в последние годы людей.

Алексей Макаров — кабинет-секретарь Петра, его правая рука.

Кто бы из них ни участвовал в этом криминальном разговоре — суть дела не меняется. Идея несправедливости самодержавия жила уже в головах ближайших к царю лиц.

Можно было бы усомниться в правдивости показания Алексея, если бы мы не знали дальнейшего. В 1730 году, когда появилась возможность форму правления изменить, упразднив или ограничив самодержавие, оба — и Ягужинский, и Макаров — проявили себя вполне определенно. Сохранились свидетельства, что в решающие часы Ягужинский высказался без обиняков: «Долго ли нам терпеть, что нам головы секут; теперь время, чтоб самодержавию не быть!»

Макаров в те же дни принял участие в составлении конституционных проектов.

Сетования благополучного Ягужинского, взлетевшего именно при самодержавии — и благодаря ему! — на самые верхи власти,— свидетельство кризиса системы. Самодержавный произвол, полная личная незащищенность пугали его не меньше, чем проштрафившегося и пострадавшего еще до «дела Алексея» Кикина.

И, однако же, самая красноречивая реакция на это мучительное чувство личной незащищенности, на тягостное ощущение неправильности хода жизни последовала именно от счастливца и удачника — князя Василия Владимировича Долгорукого.

В первый день следствия, еще не испытывая никакого давления, отвечая на вопросные пункты от 4 февраля, Алексей неожиданно, в самом конце ответов, сообщил нечто, о чем его вовсе не спрашивали: «Будучи при Штетине, князь Василий Долгорукий, едучи верхом, со мною говорил: „Кабы-де на Государев жестокий нрав да не царица, нам бы-де жить нельзя: я бы-де в Штетине первый изменил"».

Чрезвычайно важно, что это показание идет сразу — хотя и без видимой связи — после пересказа крамольного разговора с Нарышкиным, Ягужинским или Макаровым. В голове Алексея и заявление Долгорукого, и позиции остальных складываются в единое явление: тяжкое недовольство «больших персон» своим положением и положением в стране.

Придумать фразу Долгорукого Алексей не мог в силу ее парадоксальности: Долгорукий говорит как о единственной защите от самодурства Петра о мачехе царевича. Говорит это Алексею, зная о его отношении к мачехе. Гордый своей родовитостью Рюрикович вынужденно признает над собой покровительство пасторской служанки, простолюдинки, которую наверняка втайне презирал.

Ситуация, если вдуматься, потрясающая — один из столпов армии и режима вообще, человек, которому царь доверяет безоговорочно, декларирует свою готовность к измене! Каково должно быть его душевное состояние и степень недовольства...

Этот разговор происходил в 1713 году. И уже тогда генерал ведет его с наследником как с политическим единомышленником. И пусть это заявление — только вспышка, и лавры князя Курбского князя Долгорукого не прельщали, но оно свидетельствует о драматичности процессов, происходивших в петровском окружении.

Разумеется, князь Василий Владимирович, как и умный Кикин, понимал, что дело не просто в «государевом жестоком нраве». Характер царя — игра судьбы и случая. Суть в том, что самодержец не имеет пределов своей власти и, соответственно, своего произвола. «У нас он волен, что хочет, то и делает; у нас не их нравы».

М. А. Фонвизин писал об этих настроениях в петровском окружении конца царствования: «Одни из них, любители старины времени допетровского, желали ее восстановления, другие же, из молодого поколения, более образованные и осмысленные знакомством с Европой, тяготились уже самодержавием и замышляли ограничить его собранием государственных чинов и сенатом» [1].

Фонвизин ошибается относительно возраста. Как мы увидим, идеолог конституционалистов — князь Дмитрий Михайлович Голицын — был немолод. Но в принципе историк-

---

[1] Царевич «не упомнит» конкретный случай, но ясно, что у него бывали и вели откровенные разговоры — оба.

[1] Фонвизин М. А., с. 117.

декабрист совершенно прав. И к этим «другим» относились и Кикин, и Василий Долгорукий, и Ягужинский, и Макаров, и еще многие, ревностно служившие самодержавию, но мечтавшие об его уничтожении.

Ближайшие к Петру люди с надеждой примеряли на российский государственный быт «их нравы» — конституционные ограничения верховной власти.

Зная роль князя Василия Владимировича в конституционном порыве 1730 года, мы вправе предположить, что его стремление привязать к себе наследника сопряжено было с туманными, быть может, планами изменения системы власти.

Таким образом, уже на первом этапе следствия по делу царевича выявилась глубокая и драматическая подоплека его нелепого, на первый взгляд, бунта. Не дурное воспитание, не нашептывание «больших бород», а силовое напряжение исторического поля двигало безвольным царевичем в этот переломный период. А на втором этапе следствия царю пришлось услышать в пыточном подвале вещи, для него убийственные.

Розыск по делу царевича выявил такое неблагополучие, что, не обладай Петр неколебимым самодержавным сознанием, он должен был бы задуматься об изменении или хотя бы корректировке курса. Но Петр, при всех его талантах и страсти к преобразованиям, на глубине, там, где формируются фундаментальные решения, оставался старомосковским деспотом. И потому, свирепо расправившись с оппозицией и не пожелав извлечь из происшедшего уроков, он пошел той же дорогой с обычной своей решительностью. Но это была уже решимость отчаяния, быть может, им самим не в полную меру сознаваемая.

Тонкий исторический психолог Ключевский писал: «Можно представить себе душевное состояние Петра, когда, свалив с плеч шведскую войну, он на досуге стал заглядывать в будущее своей империи. Усталый, опускаясь со дня на день и от болезни, и от сознания своей небывалой славы и заслуженного величия, Петр видел вокруг себя пустыню, а свое дело на воздухе, и не находил для престола надежного лица, а для реформы надежной опоры ни в сотрудниках, которым знал цену, ни в основных законах, которых не существовало, ни в самом народе, у которого отнята была вековая форма выражения своей воли, земский собор, а вместе и сама воля. Петр остался с глазу на глаз со своей безграничной властью...» [1].

Ключевский не сказал только, что так точно нарисованная им душевная и политическая трагедия Петра предопределена была выбором модели будущей империи и, соответственно, методами ее построения...

Первый — московский — и второй — петербургский — этапы следствия существенно отличались друг от друга. Но между ними возник, наслоившись на московский этап, и на несколько недель заслонил все своей изуверской жестокостью суздальский эпизод, важный для нас не политически, но психологически.

7

Рассказывая о следствии по делу царевича, Пушкин, со свойственной ему лаконичной энергией, изложил суздальскую драму: «В сие время другое дело озлобило Петра: первая супруга его, Евдокия, постриженная в Суздальском Покровском монастыре, привезена была в Москву вместе с монахинями, с ростовским епископом Досифеем и с казначеем монастыря, с генерал-майором Глебовым, с протопопом Пустынным. Оба следственные дела спутались одно с другим. Бывшая царица уличена была в ношении мирского платья, в угрозах именем своего сына, в связи с Глебовым; царевна Мария Алексеевна в злоумышлении на государя; епископ Досифей в лживых пророчествах, в потворствах к распутной жизни царицы и проч.

15 марта казнены Досифей, Глебов, Кикин, казначей и Вяземский [2].

Баклановский и несколько монахинь высечены кнутом.

Царевна Мария заключена в Шлиссельбург.

Царица высечена и отвезена в Новую Ладогу.

Петр хвастал своею жестокостью: „Когда огонь найдет солому,— говорил он поздравлявшим его,— то он ее пожирает, но как дойдет до камня, то сам собою угасает“».

В этот сухой конспект Пушкин, со свойственным ему гениальным чутьем, включил живую деталь, которая, собственно, и есть смысловое зерно сюжета: «Петр хвастал своею жестокостью...».

Суздальское дело, глубоко второстепенное само по себе, ибо никто из его участников не имел сколько-нибудь значительного политического влияния и опасности не представлял, важно было Петру в двух отношениях. Во-первых, он во что бы то ни стало хотел вывести на первый план «большие бороды». Вся серьезность ситуации еще не была ясна ему, но заговорщицкая энергия Кикина, замешанность — что, конечно же, было для царя потрясением — генерала Долгорукого, круг конфидентов Кикина — судя по найденным у него шифрам,— все это требовало кроме расправы еще и умного политического маневра. И для мнения народного, а также и международного Петр выдвигал на первый план постриженную царицу, Досифея, монахов и монахинь. Кикин, к тому времени уже выпотрошенный костоломами и сказавший все, что мог или хотел сказать, был сознательно казнен вместе с теми, к кому прямого отношения не имел,— «новый человек», адмиралтеец, недавний любимец царя спрятан был среди «больших бород» и несчастного любовника монахини-царицы. (Связь Кикина с царевной Марией Алексеевной тоже не объясняет ситуации.)

Досифей, обвиненный и признавшийся под пыткой в том, что предрекал скорую смерть царя, сказал архиереям, собравшимся, чтоб расстричь его: «Только я один в сем деле попался. Посмотрите, и у всех что на сердцах? Извольте пустить уши в народ, что в народе говорят?» Он был колесован.

Капитана Глебова (Пушкин ошибочно назвал его генерал-майором) удалось уличить только в одном: в блуде с монахиней-царицей. И за это — отнюдь не политическое — преступление он предан был страшной казни: посажен на кол.

Смерть Кикина была ужасающа. Колесованный, как и Досифей, с раздробленными руками и ногами, он медленно умирал на колесе. Он умолял подъехавшего взглянуть на мучения своих врагов Петра отпустить его умереть в монастырь. Петр приказал отрубить ему голову, чтоб прекратить мучения...

Во-вторых, это была прелюдия к главному этапу розыска. При всей ненависти бывшей царицы и ее круга к Петру и реформам расправа с ее окружением была отнюдь не адекватна опасности.

Насколько же сведения, полученные следствием, соответствовали реальности?

Многие главные для нас — да и для Петра — сведения следователи получили от Алексея под пыткой.

Как это делалось?

Камерюнкер Ф. В. Берхгольц с восторженной объективностью этнографа-любителя описывает процесс получения показаний от запирающихся подозреваемых: «Он (князь Гагарин.— *Я. Г.*) не хотел признааться в своих проступках и потому несколько раз был жестоко наказываем кнутом. Кнут есть род плети, состоящий из короткой палки и очень длинного ремня. Преступнику обыкновенно связывают руки назад и поднимают его кверху, так что они придутся над головою и вовсе выйдут из суставов; после этого палач берет кнут в обе руки, отступает несколько шагов назад и потом, с разбегу и припрыгнув, ударяет между плеч, вдоль спины, и если удар бывает силен, то пробивает до костей. Палачи так хорошо знают свое дело, что могут класть удар к удару ровно, как бы размеряя их циркулем и линейкою» [1].

На втором этапе следствия Алексея многократно пытали кнутом на дыбе, а возможно,— по имеющимся свидетельствам — и иными способами. Есть свидетельства, что часть допросов с пыткой проходила в присутствии Петра, и не в крепости, а на царской мызе возле Петергофа.

Можно сколько угодно толковать о нравах эпохи и о жестокости обычаев, но тот факт, что царь пытает собственного сына, казался людям отвратительным, ибо прецедентов в русской истории не имел.

Разумеется, пыткой из царевича можно было вымучить все, что захотел бы царь. Но нужен ли был Петру самооговор Алексея и оговор других? Безусловно — нет. Более того, часть признаний царевича, касающаяся «больших персон», была сознательно оставлена без внимания и не проверялась. Хотя проверить было просто. Петр хотел получить представление о реальной расстановке сил в правительствующей среде. Он получил его. Но не пожелал сделать достоянием страны. Его больше устраивал миф о «больших бородах» и темных старомосковских интриганах.

Царевича пытали жестоко, но рассчетливо. Все время розыска он был на ногах, незадолго до смерти мог сам явиться в суд, его ответы на вопросы следователей до последнего дня изобличают неповрежденное сознание. Пушкин, читавший подлинник дела, говорит о дрожащей руке, которой написаны после пытки ответы царевича. Еще бы! Он писал рукой, только что вправленной после вывиха на дыбе. Но у него оставались силы отвечать собственноручно, четко и пространно.

Наиболее важные показания царевича перепроверялись следствием. Ему, висящему на дыбе, заново задавались вопросы, на которые он уже отвечал. И Алексей ни от чего не отрекался и нигде себе не противоречил. Тем более, что следователи очень многое знали от его пытанных сторонников и легко предавшей его Ефросиньи.

Оснований сомневаться в правдивости показаний Алексея — нет. Даже столь педантичный историк, как С. М. Соловьев, опирается на них без всяких оговорок и сомнений.

Какова же была программа Алексея, которая сложилась у него перед побегом?

В наивном и примитивизированном варианте она изложена была со слов царевича

[1] Ключевский В. О. Собр. соч. в 9-ти т. М., 1989, т. 4, с. 238.

[2] Ошибка Пушкина: Вяземский был оправдан.

[1] Дневник камер-юнкера Ф. В. Берхгольца. М., 1903. Ч. 1, с. 104.

«девкой» Ефросиньей. Надо иметь в виду, разумеется, что, говоря с любовницей, царевич учитывал уровень ее понимания политических проблем и все упрощал. «Да он же, царевич, говаривал: когда он будет государем, и тогда будет жить в Москве, а Питербурх оставит простой город; также и корабли оставит и держать их не будет; а войска-де станет держать только для обороны, а войны ни с кем иметь не хотел, а хотел довольстоваться старым аладением, и намерен был жить зиму в Москве, а лето в Ярославле; и когда слыхал о каких видениих или читал в курантах, что в Питербурхе тихо и спокойно, говаривал, что видение и тишина недаром: „Может быть, либо отец мой умрет, либо бунт будет: отец мой, не знаю, за што меня не любит, и хочет наследником учинить брата моего, он еще младенец, и надеется отец мой, что жена его, а моя мачеха, умна; и когда, учинив сие, умрет, то-де будет бабье царство! И добра не будет, а будет смятение: иные станут за брата, а иные за меня“».

Евг. Анисимов так комментирует этот текст: «Можно предположить, что, по-видимому, царевич, придя к власти, намеревался свернуть активную имперскую политику отца, ставшую столь очевидной именно к концу Северной войны. Не исключено также, что устами царевича говорила политическая оппозиция, загнанная Петром в глубокое подполье...» [1].

Евг. Анисимов прав: здесь декларировано намерение «свернуть активную имперскую политику». Хорошо это или плохо? Как только после смерти императора образовался Верховный Тайный Совет, в который вошел, в частности, Меншиков, то немедленно началось это самое «свертывание», ибо разоренной стране продолжение воинственной политики оказалось просто не по силам.

Если мы внимательно и беспристрастно прочитаем «программу», то не найдем в ней ни одного криминального положения. Алексей не собирается разрушать или отдавать шведам Петербург, а всего лишь сделать его обыкновенным портом. Перенос столицы в Москву отнюдь не был для России катастрофой. Военный флот, как мы знаем, был страшной обузой для экономики страны. Но и полное уничтожение военного флота Алексей, имея ближайшим советником адмиралтейца Кикина, вряд ли предпринял бы. Речь могла идти о сокращении флотского бюджета. Но в мирной ситуации частный торговый флот, который, собственно, и был нужен России, развивался бы естественным путем, не высасывая соков из населения. Распускать армию Алексей не собирается — он исповедует, говоря сегодняшним языком, «принцип разумной достаточности». Он собирается перейти от наступательной, империалистической доктрины отца к доктрине оборонительной. Он не собирается отдавать берега Балтики — иначе о Петербурге и речи бы не было,— но не хочет дальнейших завоеваний, которые планировал Петр и о которых Алексей, естественно, знал. И это вполне разумно. Более того, с государственной точки зрения совершенно целесообразно. Неразумной и нецелесообразной была безудержная жажда новых территориальных приобретений, владевшая Петром, его стремление диктовать свою волю Восточной и Центральной Европе. А если учесть, что армию при царевиче представлял генерал князь Василий Долгорукий, полководец нового типа, то совершенно ясно, что об уничтожении петровской армии и гвардии — лучшего, что удалось создать первому императору,— речи не было. Генералитет этого не допустил бы.

Последний пассаж «программы», тоже касающийся престолонаследия, при всей наивности формулировок поражает своей проницательностью. О петровском установлении, нарушившем традиционный порядок престолонаследия, Ключевский сказал со всей горькой прямотой: «Редко самовластие наказывало само себя так жестоко, как в лице Петра этим законом... Лишив верховную власть правомерной постановки и бросив на ветер свои учреждения, Петр этим законом погасил свою династию как учреждение: остались отдельные лица царской крови без определенного династического положения. Так престол был отдан на волю случая и стал его игрушкой» [2].

Но ведь, собственно, о том же говорит и Алексей, провидя «бабье царство» и династические распри.

Разумность идей наследника, даже в передаче темной Ефросиньи, выдает не только его природный ум, о котором говорят современники, и понимание реального положения, но, в первую очередь, указывает на круг государственного общения Алексея, круг, вовсе не ограниченный юношеской его «компанией», умным и дельным администратором и инженером Кикиным и генералом Долгоруким.

Что же это был за круг?

Люди, на которых царевич рассчитывал — как на соратников после смерти отца, так и на сторонников в борьбе за власть при его жизни,— выявились в ходе розыска во второй, петербургский, пыточный период.

Наиболее влиятельные персоны, названные царевичем, оказываются в числе тех, с кем Кикин переписывался или готовился переписываться шифром. Это главнокомандующий русской армией фельдмаршал граф Борис Петрович Шереметев и сенатор князь

---

[1] Анисимов Евг. Время петровских реформ, с. 442.

[2] Ключевский В. О. Т. 4, с. 288.

Яков Федорович Долгорукий. Алексей рассказывает о своих отношениях с ними довольно беспорядочно, но целый ряд выразительных деталей дает возможность эти отношения реконструировать.

«Борис Петрович говорил мне, будучи в Польше, не помню, в которое время, при людях немногих, моих и своих, „что напрасно-де ты малого не держишь такого, чтоб знался с теми, которые при дворе отцове; так бы-де ты все ведал“»,— показал царевич 14 мая, еще до пыток. При всей краткости — это чрезвычайно насыщенное смыслом свидетельство обнаруживает наличие особо доверенных лиц с той и с другой стороны, при которых можно вести разговоры, равные государственной измене. Ведь фельдмаршал учит наследника искусству политической интриги, советуя ему учредить свою разведку при августейшем отце.

Князь Яков Долгорукий прославлен был прямотой и мужеством перед лицом царя. При том, что он был европейски образован и европейски ориентирован. Царевич показал, что они с князем обсуждали «тягости народные» — тяжкое положение России. Князь сознавал, что его отношения с царевичем вызывают подозрения. «Когда при прощании в Сенате,— показывал Алексей 16 мая,— ему, князю Якову, молвил на ухо: „Пожалуй, меня не оставь“, он сказал, что „я всегда рад, только больше не говори: другие-де смотрят на нас“. А преж того, когда я говаривал, чтоб когда к нему приехать в гости, и он говаривал: „Пожалуй, ко мне не езди; за мною смотрят другие, кто ко мне ездит“».

Князь Яков искренне любил царевича и был ему предан. Царевич Сибирский рассказывал, что после побега Алексея «князь Яков Федорович Долгорукий так по нем плакал, что затрясся». И при этом он соблюдает сугубую осторожность в общении с полуопальным наследником. Долгорукий был человеком отнюдь не робким, и если он, один из самых видных и влиятельных вельмож, ведет себя таким образом, то это более, чем что-либо, свидетельствует об особости его отношений с Алексеем. Конспирация необходима там, где есть что конспирировать.

Однако близость Алексея и князя Якова Федоровича вызвана была не только и не просто личной симпатией старого сенатора к наследнику. Они сходились во взгляде на связь прошлого, настоящего и будущего России, то есть на необходимый характер реформ. В «Истории Российской» Татищева есть замечательная по выразительности сцена, где князь Яков Федорович, к неудовольствию Меншикова, объясняет царю неразрывность реформы и традиции, восхваляя внутреннюю политику царя Алексея Михайловича, ее основательность и справедливость, напоминает Петру, что истоки военной реформы тоже лежат во временах его отца, но при этом отдает должное внешнеполитическим успехам Петра. И происходит это в 1717 году, когда Алексей скрывался в Италии...

«Программа» Алексея — в ее истинном виде — была, скорее всего, разумным сочетанием уже достигнутых преобразований с сохранением полезной традиции, с учетом реальных возможностей и ориентацией на мирное развитие страны. И складывалась эта «программа», судя по всему, под влиянием бесед с такими людьми, как князь Яков Федорович, и еще более — как князь Дмитрий Михайлович Голицын.

Голицыны занимали в планах и надеждах Алексея не меньшее место, чем Долгорукие. И князь Дмитрий Михайлович — в первую очередь.

После Кикина и князя Василия Долгорукого, которые играли в истории отречения и побега роли, так сказать, организационные, среди тех, кто влиял на царевича идеологически, князь Дмитрий Михайлович занимает в материалах розыска наиболее значительное место.

Только с двумя персонами обсуждал царевич «тягости народные», положение в стране — с князем Яковом Федоровичем и князем Дмитрием Михайловичем. Князь Дмитрий Михайлович постоянно заботился о духовном воспитании наследника. «Князь Дмитрий Голицын,— показывал Алексей,— много книг мне из Киева привaживал по прошению моему, и так, от себя; и я ему говаривал: „Где ты их берешь?“ — „У чернецов-де киевских: они-де очень к тебе ласковы и тебя любят“».

Князь Дмитрий Михайлович скромничал. У него самого была одна из лучших библиотек в России. Причем — библиотека политическая.

«А на князь Дмитрия Михайловича имел надежду,— показал царевич позже,— что он мне был друг верный и говаривал, что „я тебе всегда верный слуга“».

Князь Дмитрий Михайлович Голицын — главное действующее лицо конституционного порыва 1730 года. Убежденный сторонник ограничения самодержавия, он оказался одним из доверенных людей царевича Алексея, и Алексей был нужен Голицыну для реализации его политических планов не меньше, чем Голицын — Алексею.

8

Теперь нам предстоит решить принципиальный вопрос: с какой целью предпринял Алексей отчаянный побег в Австрию и каковы были его тактические планы?

Евг. Анисимов: «Несомненно, побег этот — акт отчаяния, протест человека, оказавше-

гося в безвыходном положении, попытка разорвать смыкавшееся вокруг него кольцо... Бежав в нейтральную Австрию, он не имел никакого определенного плана на ближайшее будущее, он жаждал отдыха, хотел снять то напряжение, которое владело им после решительных и жестоких посланий отца»[1]. Это так и не совсем так. «Безвыходное положение» было создано самим Алексеем, занявшим после 1713 года, при всех колебаниях, вполне определенную позицию. У Алексея был самый прямой выход: поступать согласно желанию отца, принимать посильное участие в государственной деятельности. Он был способен к такой работе и не раз это доказывал. Не обладая энергией, волей и талантами своего отца, он вполне мог добросовестно выполнять поручения Петра. И если бы при этом он вел себя лояльно, то у Петра не было бы поводов — при всей нелюбви к сыну — подвергнуть его опале. Во всяком случае, жизни Алексея ничего не угрожало бы. Даже такой самовластный деспот, как Петр, не решился бы расправиться с наследником без всяких юридических оснований.

Алексей принципиально отринул этот выход. С середины десятых годов он совершенно сознательно перешел в оппозицию к политике яростного реформаторства, которая изнуряла и озлобляла страну. Он явно не был крупной фигурой, значительной личностью. Но он чутко уловил нарастающие в окружении царя настроения и нашел, как мы видели, поддержку.

Бежал он в Австрию с целью вполне определенной. Он, во-первых, хотел в безопасности дождаться момента, когда сможет вернуться в Россию как государь или же как регент при малолетнем брате. Это могло случиться при двух обстоятельствах — смерти Петра или бунте. Смерти Петра ожидали в недалеком будущем, и не без оснований.

Народный мятеж был куда менее реален. Гвардия и элитарные армейские полки типа Ингерманландского были прочной опорой власти. Но возможность мятежа в измученной армии исключить было нельзя, и эта возможность тоже учитывалась наследником. В канун открытого конфликта с отцом Алексей, пьяный, говорил своему камердинеру Ивану Афанасьеву: «...быть бунту; о тягостях народных, чая, что не стерпя, что-нибудь сделают; а к тому ж слыхал от Сибирского (царевич Сибирский.— *Я. Г.*): „Как-де народ терпит тягости?“». Тема «народных тягостей», как видим, была постоянной темой в разговорах царевича с доверенными лицами.

Нас не должна обманывать инфантильная интонация показаний Алексея. Тут играли роль страх, растерянность, желание казаться наивнее, чем царевич был на самом деле. Надо видеть то, что стояло за этим торопливым и сбивчивым текстом. А стояли за ним вещи вполне реальные.

Оказавшись в относительной безопасности за границей, Алексей не склонен был к пассивному ожиданию. Он отправил письма в Сенат и своим друзьям в высшем духовенстве, смысл коих был: «я жив, и будущее за мной». Судя по настойчивым упоминаниям в показаниях Сената, царевич возлагал на это учреждение особые надежды. (Что, кстати, свидетельствует о намерении Алексея сохранить главные петровские структуры управления.) «В сенаторах я имел надежду таким образом, чтоб когда смерть отцу моему случилась в недорослых летах братних, то б чаял я быть управителем князю Меншикову, и то б было князю Якову Долгорукову и другим, с которыми нет согласия с князем, противно»,— показал царевич 16 мая.

Алексей достаточно точно представлял себе возможное развитие событий после смерти Петра и весьма трезво оценивал ситуацию. Ведущая роль Меншикова и ненависть к нему как знати, так и многих «новых людей» стали причиной падения светлейшего в 1728 году. Только роль Алексея сыграл его сын Петр. Алексей не был фантазером. Планы, сложившиеся в беседах с сильными государственными умами, выглядят вполне здраво.

«А когда я был в побеге, в то время был в Польше Боур с корпусом своим, также мне был друг, и когда б по смерти отца моего (который чаял я вскоре от слышанья, что будто в тяжкую болезнь его была апилепсия, и того ради говорил, что у кого оная в летах случится, те недолго живут, и того ради думал, что и велико года на два продолжится живот его) поехал из цесария в Польшу, а из Польши с Боуром в Украйну, то б там князь Дмитрий и архимандрит Печерский, который мне и ему отец духовный и друг. А в Печерского архимандрита и монастырь верит вся Украйна, как в Бога. Такоже и архиерей Киевский мне знаем: то б все ко мне пристали.

А в Москве царевна Марья и архиереи хотя не все, только, чаю, то большая часть пристали ко мне.

А в Финляндском корпусе князь Михайло Михайлович, а в Риге князь Петр Алексеевич также мне друг, и от своих не отстал же.

И так вся от Европы граница моя бы была и все б меня приняли без великой противности, хотя не в прямые государи, а в правители всеконечно.

А в главной армии Борис Петрович и прочие многие из офицеров мне друзья же. А о простом народе от многих слыхал, что меня любят».

Если суммировать соответствующие показания Алексея, то вырисовывается круг власть имущих, на который он рассчитывал. Это прежде всего киевский губернатор князь Дмитрий Михайлович Голицын, сенатор князь Яков Федорович Долгорукий, высшее духовенство, имеющее могучее влияние на «чернь». Особое значение имеет поддержка генералитета. Отношения царевича с князем Василием Долгоруким нам известны. Князь Михаил Михайлович Голицын, названный Алексеем,— блестящий генерал, не менее, а быть может, и более популярный в армии, чем Василий Долгорукий, герой многих сражений,— находился под полным влиянием своего старшего брата, князя Дмитрия Михайловича, и соотносил бы свои действия с его мнением. Он был единственным, кто отказался, рискуя головой, подписать смертный приговор царевичу...

Симпатии к царевичу фельдмаршала Шереметева — безусловны.

На чем основано утверждение царевича о преданности ему Боура — мы не знаем.

Любовь же к нему «черни» не вызывает ни малейших сомнений хотя бы потому, что истерзанный «тягостями» народ надеялся на облегчение своей участи после смены монарха. (Что и произошло немедля после смерти Петра.)

Пушкин, в процессе работы над «Историей Петра Великого» глубоко изучивший разнообразный материал, писал: «Царевич был обожаем народом, который видел в нем восстановителя старины. Оппозиция вся (даже сам князь Яков Долгорукий) была на его стороне. Духовенство, гонимое протестантом царем, обращало на него все свои надежды».

Но если простой народ, не только экономически, но и психологически травмированный реформами и не понимавший их смысла, поддерживал царевича как будущего «восстановителя старины», то был совершенно иной слой, готовый поддержать права Алексея на престол после смерти Петра по иным причинам. Ни Кикин, ни князь Василий Долгорукий, ни князь Михайло Голицын, ни князь Дмитрий Голицын вовсе не хотели ликвидации реформ и восстановления старомосковских порядков.

Смешно думать, что европейской выучки генералы Долгорукий и Голицын, создававшие вместе с Петром новую армию, хотят ее распада и деградации, возвращения к войсковым порядкам времен царя Алексея Михайловича. Смешно думать, что адмиралтеец Кикин, стоявший вместе с Петром у истоков русского флота, мечтал замкнуться в старых владениях без выходов к морям.

Что до князя Дмитрия Михайловича, то это был деятель, сочетавший глубокое уважение к традициям с европейской образованностью и приверженностью европейской конституционной мысли.

И если бы царевич действительно планировал тотальную реставрацию, то они, прекрасно знавшие его планы и настроения, не поддерживали бы его ни минуты.

Братья Голицыны занимали в планах царевича особое место. Союз с князем Дмитрием Михайловичем обеспечивал поддержку на первом этапе — вступлении царевича в Россию через польскую границу, а генерал князь Михаил Голицын, только что завоевавший Финляндию и стоявший со своим ударным корпусом в непосредственной близости от Петербурга, гарантировал овладение столицей.

Для нас первостепенное значение имеет то, что именно князь Дмитрий Михайлович был душой конституционного переворота в январе 1730 года, а князь Михаил Михайлович его всецело в конституционных стремлениях поддержал...

И трудно согласиться с Н. И. Павленко, когда он пишет, что Алексей «внутри страны в борьбе за власть ориентировался на силы, враждебные преобразованиям»[1]. Ни Кикин, ни князь Василий Долгорукий, ни князь Яков Долгорукий, ни князья Голицыны не были враждебны реформам.

Спор шел не о преобразованиях как таковых. Спор шел о темпах и методах преобразований. И об их конечной цели.

Михаил Фонвизин, размышляя в сибирской ссылке о последствиях петровских реформ, писал с горечью: «Гениальный царь не столько обращал внимание на внутреннее благосостояние народа, сколько на развитие исполинского могущества своей империи. В этом он точно преуспел, приготовив ей то огромное значение, которое ныне приобрела Россия в политической системе Европы. Но русский народ сделался ли от того счастливее? Улучшилось ли сколько-нибудь его нравственное или даже материальное состояние? Большинство его осталось в таком же положении, в каком было за 200 лет. Если Петр старался вводить в Россию европейскую цивилизацию, то его прельщала более ее внешняя сторона. Дух же этой цивилизации — дух законной свободы и гражданственности — был ему, деспоту, чужд и даже противен. Мечтая перевоспитать своих подданных, он не думал вдохнуть в них высокое чувство человеческого достоинства, без которого нет ни истинной нравственности, ни добродетели. Ему нужны были способные орудия для материальных улучшений по образцам, виденным им за границей...»[2].

---

[1] Анисимов Евг. Время петровских реформ, с. 446.

[1] Павленко Н. И. Петр Великий, с. 404.
[2] Фонвизин М. А. Т. 2, с. 114.

Симптоматично, что Ключевский, не знавший сочинения Фонвизина, едва ли не дословно декларирует ту же самую точку зрения на смысл петровской европеизации: «...Забирая европейскую технику, он оставался довольно равнодушен к жизни и людям Западной Европы. Эта Европа была для него образцовая фабрика и мастерская, а понятия, чувства, общественные и политические отношения людей, на которых работала эта фабрика, он считал делом сторонним для России. Много раз осмотрев достопримечательные производства в Англии, он только раз заглянул в парламент... Он, по-видимому, думал, что Россию связывает с этой Европой временная потребность в военно-морской и промышленной технике, которая там процветала в его время, и что по удовлетворению этой потребности эта связь разрывалась. По крайней мере, предание сохранило слова, сказанные Петром по какому-то случаю и выражавшие такой взгляд на наши отношения к Западной Европе: „Европа нужна нам еще на несколько десятков лет, а там мы можем повернуться к ней спиной“»[1].

По сути, некоторые из тех, кто находился в оппозиции Петру, были в гораздо большей степени европейцами, чем он сам. Князь Дмитрий Михайлович Голицын, глубоко уважавший русское прошлое, много лет разрабатывал конституционную программу истинно европейских преобразований России и поплатился жизнью за попытку ее реализации.

Оппозиция Петру в конце 1710-х годов была разнородна и обширна. Она существовала на всех социальных и сословных уровнях. Разные группировки оппозиционеров имели, соответственно, свои программы — вплоть до радикально-антиреформистских. Но те, на кого реально мог рассчитывать Алексей, и те, кто, сознавая его реальные качества, тем не менее рассчитывали на него,— были сторонниками последовательных, но постепенных реформ, направленных на благо страны, а не только государства.

Спор шел, в сущности, о *месте человека в обновленном реформами российском мире.*

И каков бы ни был сам по себе царевич Алексей Петрович, но по логике ситуации он притянул к себе эти конструктивные разумные силы.

Это была одна из тех парадоксальных политических ситуаций, когда на сцену выходит персонаж, которого можно назвать «условным лидером». Реальные качества «условного лидера» играют в момент взлета второстепенную роль. Главное — представление о нем, условный облик. Другое дело, что, заняв не принадлежащее ему по его возможностям место, «условный лидер» проявляет свою истинную сущность, оказывается полностью несостоятельным или подминает тех, кто привел его к власти, и реализует собственные цели.

«Условный лидер» обычно появляется в кризисные моменты, в моменты исторического выбора и несбалансированной игры политических сил. Он представляется его создателям условной точкой, условным центром, дающим возможность организации политического пространства. Это бывают совершенно разного типа личности.

«Условными лидерами» в послепетровском развале были для Меншикова — Петр II, а для князя Дмитрия Голицына — Анна Иоанновна.

«Условным лидером» для демократов разных направлений был в марте 1917 года князь Львов, избранный первым главой Временного правительства. «Условным лидером» казался большинству большевиков Сталин.

Принцип выдвижения «условного лидера», повторяю,— выдвижение не по реальным качествам и замыслам, а по ситуационной условной репутации.

Таким «условным лидером» был, скорее всего, Алексей.

«Царевич Алексей был тем идейным центром,— писал Милюков,— в котором соединилась народная оппозиция с аристократической».

Игра с «условными лидерами» соблазнительна, но чрезвычайно опасна. Однако результат проверяется только эмпирически.

Выдвижение Алексея — кроме его статуса наследника — определялось в немалой степени отталкиванием его сторонников от ближайшего окружения государя-отца.

Проблема петровского окружения последнего периода неизменно привлекала внимание исследователей. Мы уже приводили слова Ключевского о предсмертном одиночестве императора. Это, разумеется, было не физическое одиночество. Речь шла о качестве соратников.

Ключевский не раз к этой проблеме возвращался: «Ближайшие к Петру люди были не деятели реформы, а его личные дворовые слуги»[2]. И Ключевский, блестяще знавший фактуру эпохи, особо обращает наше внимание на нравственные — вернее, безнравственные — качества ближайших петровских сподвижников. Возводимая Петром система, принципиально отрешенная от конкретного живого человека и всецело ориентированная на «исполинское могущество» империи, после перелома конца 1710-х годов, после церковной и податной реформ, после глубоко связанного с этими реформами «дела Алексея», с судорожной поспешностью выдвигала на первый план именно таких людей, не

---

[1] Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. М., 1983, с. 15—16.

[2] Ключевский В. О. Т. 4, с. 233.

отягощенных какими-либо этическими постулатами. Следствие по делу царевича легло водоразделом между Петром, с его обретавшим ясные черты чудовищным детищем, и умеренно реформационным слоем, укорененным в русской исторической почве.

Хищная ложнопрагматическая система, работавшая на военную мощь[1] и ради этого безжалостно эксплуатировавшая страну, формировала хищников с ложнопрагматическим же отношением к миру вообще и к самой системе, в частности. Кроме того, затаенная, а иногда и проявлявшаяся открыто напряженная враждебность большинства населения к государственной элите, равно как и смертельные распри в узком правящем кругу,— все это вырабатывало особые жестокие приемы выживания, исключая этический подход к жизни.

У того же Ключевского есть два сокрушительных по меткости наблюдения.

«Эти люди не были в душе ее (реформы.— *Я. Г.*) приверженцами, не столько поддерживали ее, сколько сами за нее держались, потому что она давала им выгодное положение»[2].

И второе — чеканная формула, так много объясняющая в варварском отношении к собственному государству, не говоря уже о стране, «петровских птенцов»: «Это были истые дети воспитавшего их фискально-полицейского государства с его произволом, его презрением к законности и человеческой личности, с притуплением нравственного чувства»[3]. Надо, однако, повторить, что сами «дети» под водительством своего государя и создавали эту фискально-полицейскую систему для обслуживания армии.

Система чисто механически сдерживала буйные инстинкты людей меншиковского типа, не только не воспитывая, но и развращая их души. Равно как не давала она благодетельного для России направления деятельности таких талантливых бюрократов, как Остерман.

Петру оказалось нечем одушевить создаваемую машину. Он и его рупор Феофан Прокопович толковали о благе Отечества, а народ видел, что сотворено с его землей. И голодную крестьянскую семью на Псковщине ничуть не радовало небывалое расширение границ и взятие Штетина, если кормилец-муж гниет в болотах Ингерманландии, возводя новую столицу, а старший сын строит крепость на Каспии. И все это — Бог весть зачем...

Петр сдерживал как корыстное буйство своих соратников, так и бунтование уверенных в его антихристовой природе низов с помощью палки — гвардии, армии, дыбы, кнута, плахи.

Князь Дмитрий Михайлович Голицын, стоявший за Алексеем, уже знал, что механические «сдержки» ненадежны, что нужно менять характер «сдержек». Это понимал не только он. Даром ли через двенадцать лет после убийства царевича Алексея, казни Кикина, ссылки князя Василия Долгорукого — сотни аристократов и простых дворян поставили свои подписи под конституционными проектами, не просто ограничивающими самодержавную власть, но и вводящими в случае реализации все буйные общественные силы в новые гибкие соотношения европейского типа.

«Дело Алексея» — вернее, подступы к нему — было для просвещенной оппозиции первой надеждой изменить движение реформ и судьбу России. Надежда не сбылась, но силы остались.

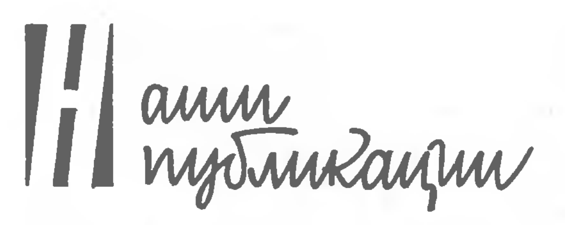
Впереди был 1730 год.

---

[1] По свидетельству вдумчивого и осведомленного иностранного наблюдателя Фокеродта, «об улучшениях во внутреннем государственном строе... Петр почти не заботился или даже вовсе не заботился в первые 30 лет своего царствования, лишь бы у флота и армии было довольно денег, леса, рекрут, матросов, провианта и амуниции».

[2] Ключевский В. О. Т. 4, с. 232.

[3] Там же, с. 233.



А. Ф. Лосев

ТРИО ЧАЙКОВСКОГО

В архиве Алексея Федоровича Лосева (1893—1988) мною была найдена философская проза, которая появилась отнюдь не случайно. Ее автор оказался «последним представителем русского религиозно-философского движения первой половины века» (Памяти А. Ф. Лосева. «Вестник РХД», изд. Н. А. Струве, 1988, № 153).

А. Ф. Лосев родился в городе Новочеркасске, столице Области Войска Донского, где окончил в 1911 году классическую гимназию. В 1915 году окончил Московский университет по двум отделениям, философскому и классической филологии. С первого курса университета посещал религиозно-философское общество памяти Вл. Соловьева, а после его закрытия основанную Н. А. Бердяевым Вольную Академию Духовной Культуры. Духовные учителя Лосева — Вяч. Иванов, С. Л. Франк, С. Н. Булгаков, о. П. Флоренский.

Получив хорошее музыкальное образование, А. Ф. Лосев (с 1919 года он профессор) преподает музыкальную эстетику в Московской консерватории (1922—1930); он действительный член Государственной академии художественных наук и заведует в ней отделом эстетики вплоть до закрытия ГАХН в 1929 году. С 1927 по 1930 год выходят в свет восемь философских книг А. Ф. Лосева, среди которых «Философия имени», «Музыка как предмет логики», «Очерки античного символизма и мифологии», «Диалектика мифа» (см.: А. Ф. Лосев. «Из ранних произведений». М., 1990 г., приложение к «Вопросам философии»). Если за рубежом идеи этих книг были признаны «без сомнения гениальными», то на родине ОГПУ заложило запрет на «Диалектику мифа», автор ее был арестован 18 апреля 1930 года, проклят Л. Кагановичем в речи на XVI съезде ВКП(б) как идеологический враг, подвергся инвективам М. Горького, получил 10 лет лагерей (его жена В. М. Лосева — астроном и математик — 5 лет). В эти годы Лосев проделал путь, характерный для многих интеллигентов: арест, Лубянка, Бутырки, так называемые трудовые лагеря (Свирлаг, Беломорско-Балтийский канал).

После ареста А. Ф. Лосев вынужденно молчал двадцать три года. После смерти Сталина он напечатал сотни научных статей и более 30 монографий. Им создан восьмитомный свод «История античной эстетики». Однако этим не исчерпывается творческая биография А. Ф. Лосева. В ней закономерно находит свое место философская проза, истоки которой берут начало в лагере на строительстве Беломорско-Балтийского канала им. Сталина. В письме от 30 июня 1932 года из поселка Медвежья Гора в лагерь Второго водораздельного отделения, где находилась жена А. Ф. Лосева Валентина Михайловна, А. Ф. Лосев пишет, что чувствует «неимоверную потребность писать беллетристику», хотя в лагере нет возможности даже «просто записать простую схему рассказа (чтобы не забыть)».

После возвращения из лагеря в Москву, снятия судимости и восстановления в гражданских правах в 1933 году (помощь в досрочном освобождении — приговор 10 лет — оказала Е. П. Пешкова, жена М. Горького) Алексей Федорович пишет очень интенсивно. Путь в «чистую» философию ему был закрыт (об этом прямо было сказано «важным» лицом в ЦК ВКП(б)). Ему хотелось выразить свои заветные мысли, свой взгляд на современный мир, на философию, музыку, социальные процессы, происходящие вокруг. И вот тут-то спасительной оказалась страсть к тому, что Алексей Федорович назвал в письме «беллетристикой». Он писал откровенно, но рукописи оставлял в ящиках стола — в печать они идти не могли.

Когда появилась возможность вернуться к античным штудиям, А. Ф. Лосев стал готовить во второй половине тридцатых годов историю античной эстетики, собрание текстов по античной мифологии. Беллетристика отступала на второй план.

Текст, печатающийся здесь, представляет собою фрагмент из повести «Трио Чайковского».

Философия и музыка были для А. Ф. Лосева едины. Поэтому и «беллетристика» его насквозь философична и музыкальна. В ней звучат отголоски споров, которыми была полна и консерватория, и специальные исследования, и широкая печать — о роли музыки в обществе.

Повесть (как и другая философская проза автора) диалогична. В этом сказывается внутренняя связь А. Ф. Лосева с диалогами Платона, которым Лосев занимался всю жизнь. Непринужденная беседа составляет основу повести. Герой ее — Николай Владимирович Вершинин несомненно автобиографичен. Под этим именем он фигурирует и в других повестях.

Умный читатель увидит, какие важные и страшные проблемы возникают в ходе как будто невинных музыкальных дискуссий.

События повести умещаются в три дня — 19, 20 и 21 июля 1914 года, то есть в последние дни мирного времени. Композиция ее трехчастна: беседа друзей, неожиданная встреча со знаменитой пианисткой Томилиной и разрыв с ней. Заканчивается повесть драматично — гибелью почти всех участников музыкальных вечеров и одиночеством едва живого Вершинина в походном военном госпитале.

В публикуемом отрывке мы оставляем спорщиков на пороге появления главной героини (прообразом ее была известная пианистка М. В. Юдина).

Повесть «Трио Чайковского» готовится к печати в московском издательстве «Столица».

ПЕРВАЯ ГЛАВА

1

Это было давно. Накануне мировой войны это было.

Я был молод, весел, энергичен и любил все прекрасное. Не то, что теперь... Ну, да о теперешнем — что говорить!

Я любил музыку.

Музыка — это была моя душа. Да, душа... Вся жизнь была музыкой...

Чистая, светлая юность... О, эта светлая музыкальная юность!.. Сколько в тебе было серьезности и глубины, сколько чистого, возвышенного пафоса и мудрости!

Эх, была жизнь! Талантливая, ажурная была жизнь. Вы не знаете, вы, нынешние, не знаете, какая была жизнь. Если бы вы знали, вы бы понимали, что музыка, математика и философия — одно и то же. Но вы... А, да ну вас! Не в вас дело.

Да! Теперь я чувствую себя стариком. Уже давно ощущаю слабость в ногах и дрожь в руках. В розовой мгле, уходящей тосковать в бесконечность, всплывают иной раз чьи-то глаза, которые были когда-то милы и невинно-веселы. Но теперь этот азор становится пристальным, мертвым, тяжелым. Это уже не ласка, а гипноз. И чувствую, как коченеет душа под этим исступленным холодом когда-то родного и ласкового взгляда.

Эх, молодость!..

Итак, это было давно. Накануне великой войны это было.

Мои приятели, инженер Михаил Иванович Запольский и его жена Капитолина Ивановна, уже давно звали меня к себе погостить на дачу.

Жили они летом в Польше, недалеко от немецкой границы, где у них было небольшое, но хорошо содержавшееся именьице.

Перед их отъездом из Москвы в начале мая у нас было условлено, что летом я обязательно проведу у них одну-две недели, с тем чтобы помузицировать и поспорить о музыке.

Оба Запольские были артисты в душе, и даже не только в душе. ⟨...⟩

Запольские хорошо понимали, что настоящая музыка не на концертах, а вот здесь, на таких семейных, домашних собраниях.

Народу у них никогда не было много. Если играют трое-четверо, то самое большее, если еще присутствовало столько же слушателей-энтузиастов, так что все эти вечера были всегда глубоко интимны и позволяли бесконечно углубляться в музыкальные бездны... ⟨...⟩

Я любил Запольских. Это были какие-то взрослые дети. Ведь так редко встречаешь наивных людей! А это были действительно наивные люди, у которых были все лучшие стороны наивности — искренность, доверчивость, милая беспомощность, мудрая и часто неожиданная глубина, и не было плохих ее сторон — забитости, духовного убожества, глупости и ограниченности.

У них в доме я был свой.

Иной раз, музицируя почти до утра, мы тут же и валились спать, причем я почивал в гостиной на коротком диване, не будучи в состоянии добраться, после музыкальной оргии и ввиду позднего часа, домой.

Михаил Иванович и его супруга не умели беречь и тратить деньги. Зарабатывая большие суммы, они часто спускали все до гроша на ноты, книги, цветы, конфеты и всякие безделушки, так что мне приходилось иной раз давать им деньги. А так как они ничего не помнили, кому какие деньги они давали и от кого какие получали, то мне приходилось нередко самому же брать свои деньги у них назад, когда они их получали, чтобы не обанкротиться через них окончательно самому и чтобы помочь в свое время им же самим, этим своим наивным чудакам. В этих людях было что-то эдакое крылатое, одновременно — стихийное и чистое, аморальное и беспорочное, что-то бархатистое и ласкающее, что-то незащищенное и наивное, сразу и скромное и пьяно-ароматное. Бледновато-жасминное, бледновато-жасминное было.

Бывают люди, очень моральные по своему поведению; они не совершат ничего дурного, они не имеют никаких явных пороков, они солидны и степенны, и — все же думаешь про себя: какая низкая тварь! А бывают такие вот — как Запольские. Эти люди были и не солидны, и не надежны, даже легкомысленны, и никакой морали к ним не пристало, и все же, вспоминая теперь их через много лет, я думаю, что это были самые чистые, самые ясные, самые простые люди, которых я только когда-нибудь встречал. ⟨...⟩

До середины июля мне никак не удавалось оставить Москву, чтобы посетить Запольских, и мысленно я откладывал свою поездку на август.

Вдруг в первых числах июля я получаю от Запольских телеграмму: «Приезжай немедленно нотами. Телеграфируй выезд. Запольские». В чем дело? Я ничего не понимал.

Я понимал в этой телеграмме только одно слово — «нотами». Весной мы условились, что я привезу ряд вещей, старых и новых, которые мне обещали достать букинисты. С этими нотами я и должен был приехать. Но все остальное мне было непонятно.

Если бы я им был нужен ради каких-нибудь семейных и домашних дел, тогда — зачем это упоминание о нотах? А если имелось в виду обычное наше музицирование, то почему это вдруг «немедленно», да еще велят «телеграфировать выезд».

Я был в замешательстве. Конечно, нет таких дел, которые нельзя было бы при желании умять. И я колебался: кончать ли свои московские дела и ехать в августе, как я предполагал раньше, или же действительно все бросить и ехать немедленно.

После долгих колебаний я решил ехать немедленно. ⟨...⟩

Лето стояло чудное. Эх, какая была погода! С тех пор в России даже погоды-то не стало человеческой. Все какая-то слякоть, да серость, да туманы...

Было тихо-тихо, сине-сине.

Балкон у Запольских выходил в сад, где были цветы, вянувшие днем и к вечеру распускавшиеся в богатый узорчатый ковер, специально придуманный и размеченный стариками, которые повторяли его по своим столетним образцам.

Этакая благодатная летняя, жаркая, но не душная тишина! Солнце это легко-легко парит по небосклону и начинает склоняться к западу — мое любимое время дня.

Все кругом тихо и прозрачно, как бы шуршит своей тишиной. Сядешь это, бывало, в лесу на пенек, а птички нетронуто, бесстрастно чирикают свою тысячелетнюю повесть. И не знаешь, твои ли мысли звенят и шуршат или сама вечность шевелится, и брезжит, и нашептывает ласку в журчащем лесном окруженье. Сидишь, сидишь — только головой повернул в сторону,— а посмотришь, три-четыре часа уже просидел. И идешь домой, а в душе, глядишь, какая-то эдакая молитва, что ли... сладко ноет лесная пустыня в сердце, умирать светло становится. Такое умильное было лето!

2

Первый день решили не играть.

Приехал я уже в обед, и надо было отдохнуть. Кроме того, хотелось поговорить и о московских делах, а главное — о музыке.

Я во многом резко расходился с Михаилом Ивановичем в понимании музыки, и мы много спорили. Но — зачем же обязательно сходиться? Мы спорили, но и самый спор о любимом предмете доставлял нам и нашему кружку наслаждение. А музыка была так прекрасна, что быстро забывались и всякие споры.

После отдыха ходили немного погулять, но потом скоро вернулись на балкон и засели за многочасовой чай и предались наслаждению дружеской беседы. ⟨...⟩ Московские разговоры скоро иссякли. Хозяйственные и помещичьи дела ровно никого не интересовали.

Оставалось говорить о предмете, который всех занимал и восторгал, это — о музыке. К тому же в этот день вечером Запольский как-то особенно сиял, и видно было, что ему очень хочется что-то сказать о музыке новое и особенное.

— Так вот в чем дело, господа,— многообещающе заговорил он.— Вот в чем дело! Хотите, я вам кое-что расскажу о музыке? А? Хотите?

Все обрадовались и всполошились.

— Хотим, хотим! Начинайте, а потом пристанем и мы! Давно пора! К черту московские дела! Михаил Иванович, доставьте счастье! Просим, просим!

Да! Какой я был любитель докладов, речей, споров и вообще разговоров! Слова! Да, не с меланхолией, не по-гамлетовски я скажу: «Слова, слова, слова!» Слова всегда были для меня глубоким, страстным, завораживающе-мудрым и талантливым делом. Как мало людей, которые любят и умеют талантливо говорить! И как я искал, как я любил, как я боготворил этих людей! Боже мой, что это за чудный дар — уметь говорить и уметь слушать, когда говорят! В молодости, при звуках талантливой речи, я чувствовал, как утончается, серебрится и играет моя мысль, как мозг перестраивается у меня наподобие драгоценного и тончайшего музыкального инструмента, как дух мой начинал носиться по безбрежной и бледной зелености мысленного моря, на котором вспененная мудрость ласкает и дразнит тебя своими багряными, алыми всплесками.

— Нового-то я, пожалуй, не сумею сказать,— говорил Михаил.— Все это мысли, которые я отчасти уже высказывал. Только на днях почему-то мне показалось, что я теперь нашел подходящие для этого слова и что раньше этих слов не имел. Я вам это изложу, а вы покритикуйте!

— Просим, просим, начинайте!

— Миша, одну минутку! — заговорила Капитолина Ивановна и вышла с балкона в дом.

Через несколько минут она вернулась в сопровождении горничной, которая несла на огромном подносе закуски, бутерброды и сладкое и водворила все это на стол. ⟨...⟩

— Итак, можно начинать? — переспросил Запольский.

— Просим, просим, начинайте!

Запольский хлебнул чаю и начал:

— Все говорят, что музыка есть искусство чисто субъективное. Вошло в обыкновение говорить и думать, что музыка изображает человеческие чувства в их глубине, т. е. то, что в человеке есть наиболее внутреннее, наиболее интимное и субъективное. Кое-кто, но очень немногие, говорят, что в этом-де нет никакого отличия музыки от прочих искусств, так как и всякое искусство изображает чувства и повествует о глубинах человеческой души. Кое-кто также утверждает, что музыка не обязательно и субъективна. Она, говорят, дает и объективную картину мира или рисует, по крайней мере, некоторые стороны этой объективности. Конечно, все эти возражатели, говоря вообще, вполне правы. Музыка изображает чувства, как и всякое искусство, и музыка субъективна и объективна — как и всякое искусство. И все-таки, при всех этих выражениях и согласии с ними, есть что-то в музыке такое, что имеет какое-то особенное и специфическое отношение к субъекту. ⟨...⟩

В чем же дело? В чем сущность музыкальной субъективности?

На этот вопрос я отвечу не сразу. А сначала дам ряд общих положений о музыке, которые, без сомнения, близки и всем вам, с тем чтобы в дальнейшем сказать, что же такое музыкальная субъективность как таковая.

Вы знаете, что музыка не изображает вещей. Что изображено в Аппассионате? Какие вещи вы тут увидели? Здесь нет никаких вещей. Тут ничего не изображено оформленного. Здесь все настолько текуче, настолько иррационально, что нет возможности употребить какое-нибудь слово. Ибо слово слишком полно оформленным смыслом, слишком полно идеей, логикой. Музыка напряженно волнуется, нервно трепещет, в каждом моменте своего бытия готовая взорваться, исчезнуть и вновь появиться, заново создаться из неведомых глубин. Никаким словом, никаким понятием нельзя ознаменовать музыку. Она — как воздух, скользящий сквозь умственные пальцы, и ничего невозможно в ней схватить этими пальцами. Попробуйте выразить, изложить словами свое впечатление от симфонии — как жалки, как несчастны будут эти слова! И лучше уж не прикасаться этим грубым орудием к иррациональному святилищу музыки.

Однако нельзя сказать, что музыка есть только как бы материал, из которого сделаны вещи. Если бы это было так, музыка была бы во всех смыслах бесформенна, как бесформенна куча песку или каменная глыба. Дело-то в том и заключается, что музыка содержит в себе *образ* стремящегося бытия. Мир неустанно движется вперед, и жизнь трепещет и бьется каждое мгновение. Но существуют образы этой мировой текучести, фигурность жизненного процесса. И вот это-то и есть музыка. Не вещи изображены в музыке, но образ их живого становления. А какие именно эти вещи, даже не важно. Тут — полное тождество музыки с математикой. Число так же не зависит от вещей, которые оно сочисляет. Число есть чистая система мысленных актов, но чего именно это суть акты, математика как таковая этого не знает. Так же и музыка далека от всяких внешних вещей. Музыка есть чистое время. И даже не время. Ведь время слишком грузно для музыки. Музыка чище и духовнее времени. Время всегда связано с скоростью, с темпом. А музыкальную пьесу ведь можно исполнять с любым темпом. Значит, сама-то по себе музыка не есть время, по крайней мере, не есть абсолютное время. Она — процесс и протекание, длительность, но — чисто смысловая длительность. Она протекает и творится в чистом, беспримесном уме,— я бы сказал даже, в бесстрастном уме, хотя и знаю, что она — клокотание чувств и вулкан, каскад наслаждений и страданий. Это — образ жизни мира, взятой в аспекте ее чистой процессуальности, видение мировых судеб в их трепетном, интимном протекании. В музыке мы припадаем ухом к какой-то основной смысловой артерии мира и слышим его тайный и нервный пульс. Как врач выслушивает своего пациента и судит о состоянии его организма, так мы по музыке судим о состоянии мира. Да и при чем тут врач! Приложите ухо к груди человека — и вы сами услышите странный и таинственный шум, не то шепот, не то какое-то пророчество и вещание, услышите чудную и тайную жизнь, живое и трепещущее дыхание неведомых, но каждое мгновение выявляющихся человеческих судеб. Такова и музыка. В ней мы слышим тайную пульсацию мира, сокровенный шум и шепот его бытия, изначальную и глубинную жизнь, определяющую всю его внешнюю, солнечную образность.

Что музыка есть чистая иррациональность и несказанность, это ясно. Что музыка есть

образ, идея или фигура этой иррациональности, это тоже ясно. Спросите вы, может быть, только, почему я говорю о мировых судьбах, почему расширяю значение музыки до такой большой общности?

Однако это так, это именно так. Сможете ли вы сказать, что именно изображено в музыке, даже если сводить ее на простое изображение чувств? Разве изображается тут какое-нибудь данное, чисто индивидуальное, вот в этот промежуток времени наличное у одного или другого человека чувство? Разве это фотография вот такого-то индивидуального момента той или иной психики? Нет и нет. Тут даны чувства *вообще*, *обобщенные* чувства. Тут дано становление in specie. Тут — глубинный образ жизни, управляющий всеми ее отдельными индивидуальными моментами, и потому образ — колоссальной общности, и в нем нет ничего узкого, временного, изолированного. Тут дана идея и фигурная картинность мировых протеканий вообще, закон и принцип мировых выявлений судьбы. И даже не можем сказать, наслаждение ли это или страдание,— до такой степени общности доведена тут субъективность. В музыке — скорбь, изначальная скорбь вечно жаждущего, вечно беспокойного мира; и в музыке — радость, наслаждение от знания и понимания этих интимных глубин мировой и человеческой жизни. И мука и радость, а все в целом — жизнь, вожделенная радость творящейся жизни, вечно юное и неустанное появление ликов судьбы. ⟨...⟩

Музыка не предмет, но идея, и не идея, а принцип идеи, и не принцип идеи, а рождающее ее лоно этого принципа, и не рождающее лоно, а самый первозаряд ощущающей жизни, первый сгусток, максимально сконденсированная энергия возникающей к бытию жизни. Каждый момент, каждый мельчайший момент музыкальной жизни есть это самовозникновение, самосозидание, ощутительно и до жгучей боли интимно данная капризность и прихоть творчески свершающегося мира. ⟨...⟩

Я утверждаю, что *такая жизнь* свойственна только Божеству, Абсолюту, что музыка есть не просто субъективное ощущение, но — попытка дать *субъективно-божественное самоощущение, образ того, как Абсолют ощущает сам себя*. Не удивляйтесь этому способу выражения. Из моих рассуждений вы сейчас поймете, что иного философского толкования музыки не может и быть.

Вы знаете, что наша музыка не была известна никому до Нового времени. Музыка Баха, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Вагнера есть всецело создание новой западноевропейской индивидуалистической культуры. Впервые в истории человек стал абсолютизировать свой ограниченный человеческий субъект и переносить на него все ценности объективного мира. Он поглотил в себе все бытие, обобрал всю объективность, превратил мироздание в пустой темный мертвый механизм, и заиграла небывалой глубиной, небывалыми красками субъективная жизнь, глубины человеческого субъекта. Западноевропейский субъект хочет абсолютной самостоятельности; он чувствует себя независимым ни от чего. Однако было бы слишком грубо признать все несуществующим, а себя одного существующим. Абсолютизированный человеческий субъект допускает существование чего угодно, кроме себя, но только с одним условием: всякая допускаемая объективность обязательно должна быть соизмерима с человеческим субъектом, обязательно не имманентна ему в смысловом отношении. ⟨...⟩

Средневековый же абсолют бесконечно выше человека и всей твари, несоизмерим с ней. Перед ним человек может только лежать ниц и не смеет поднять на него свои глаза. Куда уж там познавать божественные глубины и переводить их на язык своих чувств! Средневековое Божество абсолютно несоизмеримо с человеком, в какое бы тесное общение Оно ни вступало с человеком. Человек никогда, ни при каких условиях не может быть в состоянии проникнуть в глубины внутрибожественной жизни. И даже самая мысль об этом звучит для средневекового сознания как нечто еретическое и кощунственное.

Новая Европа понимает своего Абсолюта иначе. Западный человек перенес на себя, в глубину своей личности абсолютную жизнь Божества, стал чувствовать себя так, как будто бы он сам был творец мира, созидатель всего, знающий тайну всякого возникновения. Он лишил все объективное его самостоятельной значимости и превратил его в ничто, в тьму, в небытие. Это именно Абсолют так окружен тьмой небытия, ибо если он — действительно Абсолют, то он есть все, а если он — все, то, кроме него, ничего и нет и не может быть, кроме него — только тьма, ничто, небытие. Западноевропейский субъект как строящий себя самого по образу Абсолюта окружен бесконечным и пустым астрономическим пространством, погружен в бесконечную текучесть сплошных и пустых времен, и весь смысл его жизни — в нем самом, в глубине и ценности его собственного самочувствия. ⟨...⟩

Та музыка, которую мы с вами играем, новая западноевропейская музыка,— только и возможна в индивидуалистической и по преимуществу протестантской культуре. Эта музыка предполагает абсолютизацию человеческого субъекта; и так как невозможно ограниченному и смертному человеческому субъекту стать всерьез Абсолютом, то из актуального Абсолюта, содержащего бесконечность всех бесконечностей в одной точке, он становится потенциальным Абсолютом, вечно ищущим и становящимся Абсолютом. И вот мы, европейские музыканты, ощущаем себя одинокими, угрюмыми, хотя часто и восторженными странниками и скитальцами по необъятной поверхности темного моря небытия. Мы всегда жаждем, вечно ищем, и нет нигде нам покоя. Ибо мы — воплощение потенциальных энергий Абсолюта, мы не можем содержать всю бесконечность в одной нераздельной точке, и мы схватываем ее постепенно, тем самым переходя в бесконечное становление, в вечные поиски, обуреваемые неутолимой жаждой все обнять, все охватить, все понять и все пережить.

Романтизм — явление протестантское и притом северное. Только север со своими тонкими матовыми красками, со своими уходящими вдаль туманными ландшафтами, с своими сдержанными, но зато проникновенными настроениями — смог стать родиной романтизма и музыки. Юг слишком ярок и ослепителен и в этом смысле слишком не тонок. Его терзания — слишком резкие, и он не любит тайны. Древняя Греция классична, а не романтична. Для романтизма нужны утонченно-субъективный ландшафт, далекие туманные горизонты, эта нежная розоватость горных высей, этот лиловато-сиреневый отблеск заката на востоке, эта легкость и прозрачность, как бы тихая задумчивость клонящегося к горизонту светила после полудня.

Но музыка и романтизм невозможны там, где субъект слишком огромен, где объект слишком насыщен смысловым содержанием, где все бытийные ценности еще нетронуто покоятся в недрах абсолютной объективности. С чистой музыкой несовместима не только античность, античное язычество, поскольку оно исповедует пластический космос, в котором человеческий субъект лишь одна из многочисленных и сравнительно менее важных его эманаций. С чистой музыкой несовместимо и средневековое христианство, т. е. православие и католицизм. И там и здесь над бытием возвышается абсолютная Личность, которая бесконечно превосходит все существующее. Это — кульминация объективизма. Здесь все — в объективном Абсолюте, и — ничто в человеке. Все повержено ниц перед Абсолютом — какая же тут музыка? ⟨...⟩

Я осмеливаюсь утверждать, что настоящая, чистая, абсолютная музыка, поскольку мы ее знаем на Западе, исключает или, вернее, делает бесполезным все это устроение жизни, возникающее из постулата объективного Абсолюта. Чистая музыка не терпит культа. Что такое культ? Это — явление объективного Абсолюта в образах человеческого поведения. В культе взор верующего всегда устремлен в эту непонятную ему тайну, которая является только по своей, а не по его, человеческой, воле. Культ всегда объективистичен, объективно-капризен; и человеческий субъект в нем, можно сказать, на последнем месте. Культ не анархичен, но слишком строен и даже архитектурен. Он — тяжел для музыки, слишком веществен для ее утонченной иррациональности. Культ слишком связан высшими законами, слишком авторитарен, слишком неизменяем, неприступен, абсолютен, слишком строг и серьезен, слишком невесел. Поэтому для чистой, абсолютной музыки он грубоват, топорен, неповоротлив. Он для нее слишком статичен, изобразителен, слишком внешне-конкретен и телесен, чересчур недуховен, плоск, нерельефен, чересчур много в нем быта, нравов, истории, слишком много уставности, рационализма, размеренности, слишком сковано в нем все личное, индивидуальное. В нем нет для нее интимной анархичности, которой так жива и богата сама музыка; он не инициативен, не ласков, не живет творческими импульсами, не приглашает к радости жизни, к ощущениям, к полетам, к дальнему плаванию, к трепетной радости непостоянства и становления. А все потому, что тут живет и действует сам Абсолют, сам объективный Абсолют, в котором полнота всего, а у людей — небытие, пустота, неполнота, ущербность, греховность, плач о собственной скудости, о грозящей гибели; о переходе от временных страданий к вечным мукам. Все — потому, что слишком богата и полноценна жизнь самого Абсолюта и слишком ничтожен и пуст сам человеческий субъект, слишком убог, забит и уничтожен.

Объективно-абсолютистское устроение жизни всегда повелевает всей жизнью, хочет переустроить и преобразить всю жизнь целиком, не оставляя ни одного уголка ее свободным. Объективно-абсолютистское устроение жизни всегда связывает ум (ибо ум наш испорчен, и нельзя давать ему полного хода), всегда дисциплинирует волю (ибо воля наша слаба и никуда не годится, и ее надо каждое мгновение воспитывать и не давать свободного хода), всегда обуздывает наши чувства (ибо сердце наше тоже вконец испорчено, тоже не заслуживает полного доверия, и тоже нельзя на него положиться). С начала до конца, ежедневно, ежечасно, ежеминутно, без всякого спуска и сожаления,— надо себя обуздывать, обуздывать и обуздывать,— воспитывать, воспитывать и воспитывать,— исправлять, исправлять и исправлять. Все опутано бесконечными законами, повелениями, заповедями, клятвами, проклятиями, обетами; везде воздержание, трезвение, самоиспытание, самобичевание, самоосуждение, смирение, смирность, покорность, отказ от воли, от мысли, от чувств, от себя самого... Да, да, от себя самого, обязательно от себя самого, ибо на то и существует объективный Абсолют, чтобы подчинять себе все инобытие, человеческое и нечеловеческое. Иначе, что же это за Абсолют, если в мире есть хоть одна точка, которая не разлетается в прах при одном его прикосновении?

И вот — музыка не хочет такого Абсолюта!

Предисловие и публикация
доктора филологических наук А. А. Тахо-Годи

Критика

Сергей Стратановский

ПОЭТ И РЕВОЛЮЦИЯ

Опыт современного прочтения поэмы А. Блока «Двенадцать»

1

Какой-либо *диалог* с исследуемым писателем, какой-либо *спор* с ним для литературоведа воспрещен — это уже за рамками науки. А вместе с тем такой диалог с великими тенями необходим, он — существенная часть литературного процесса, в этом трудно определимом жанре создавались когда-то выдающиеся произведения, например, «Толстой и Достоевский» Мережковского.

Но почему именно сейчас понадобился этот диалог-спор с Блоком периода «Двенадцати», «Скифов», «Крушения гуманизма»? Прежде всего потому, что мы живем во время стремительной переоценки ценностей. Рушится тот идеологический миф, в котором жили несколько поколений советских людей, исчезает священный ореол вокруг таких понятий, как Революция, Классовая Борьба, Диктатура Пролетариата. В шуме этой грандиозной ломки поиному слышатся нам и знаменитые «Двенадцать».

Я не первый, пытающийся переосмыслить послереволюционное творчество Блока. Многое в этом направлении сделал Анатолий Якобсон, чья книга о Блоке «Конец трагедии», к сожалению, у нас до сих пор не издана. В центре внимания автора тоже поэма «Двенадцать» и блоковская философская проза послереволюционных лет: очерк «Катилина», статья «Крушение гуманизма». Однако Якобсон отделяет резкой чертой Блока-поэта и Блока-мыслителя. Первым он восхищен, ко второму относится резко отрицательно. В «Двенадцати», полагает Якобсон,— «полнота жизни», а очерк «Катилина», справедливо рассматриваемый исследователями как авторский комментарий к поэме,— «надуманная тенденциозная схема». Но ведь нужно доверять автору, если он именно *так* понимал свое произведение. В результате, стремясь оправдать Блока-поэта в ущерб Блоку-мыслителю, Якобсон написал хорошую, полную тонких наблюдений и остроумной полемики, но *литературоведческую* работу о знаменитой поэме. На вопросы, мучившие Блока, он не попытался ответить сам.

2

Вот они «двенадцать», красногвардейский патруль, идут по вечернему заснеженному Петрограду. Красная гвардия, сформированная еще при Временном правительстве и ставшая ударной силой Октябрьского переворота, делилась на так называемые «десятки», причем по уставу в «десяток» входило тринадцать человек (чертова дюжина). Жизнь, как мы видим, была не менее символична, чем поэма Блока. «Двенадцать», таким образом,— неполный «десяток». Время действия — первые числа января 1918 года, перед самым разгоном Учредительного собрания (5 января). С 26 декабря по 4 января по православному календарю — святки, то есть святые дни Рождества Христова. В эту суровую зиму в Петрограде было не до святок, и все же блоковские «двенадцать» чувствуют себя как на празднике, они вдыхают ветер свободы, но не ритуальной, святочной, как в прежние времена, а новой, революционной:

Стратановский Сергей Георгиевич (род. в 1944 г.) — поэт, филолог-русист. Печатался в альманахах «Молодой Ленинград», «Аполлон — 77» (Париж), журналах «Нева», «Родник», «Вестник новой литературы», «Эхо», «Вестник РХД», «Звезда». Живет в Ленинграде.

Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!

Революции, как известно, бывают разные. Та Революция, боевой силой которой считали себя «двенадцать», была уникальной, единственной в своем роде. Это было разрушение «до основанья» «старого мира», «прерыв» между двумя историческими зонами. «Двенадцать» — апостолы нового мира, возвестители «нового неба и новой земли». Мы сегодня хорошо знаем, каков будет «новый мир»: сначала братоубийственная гражданская война, затем, после короткой передышки нэпа (передышка ли?), «смертельный перелом хребта» — «раскрестьянивание» России — революция сверху, более глубокая и тяжелая по своим последствиям, чем Октябрьская. А затем смердящий ГУЛАГ, непрекращающийся террор.

О, если б знали, дети, вы
Холод и мрак грядущих дней!

Блоковские красногвардейцы — тоже дети, «дети в железном веке», как назвал их в своей дневниковой записи автор «Двенадцати». Они не ведают, что творят, но это не снимает с них вины за создание мира, в котором главным принципом будет *насилие*.

Революция — такое состояние мира, когда становится возможным то, что немыслимо в обычное время. Если раньше балаганный Петрушка расправлялся со своими врагами на балаганных подмостках, то теперь такая расправа стала возможной и в реальности [1].

3

«Двенадцать», при всей кажущейся простоте, произведение совсем не простое. Загадочен, прежде всего, центральный эпизод поэмы. Почему, в самом деле, в центре этой поэмы о Революции — уголовное преступление, лишенное каких-либо классовых или революционных оснований? Чем так уж досадили красноармейцам Ванька и Катька, почему они стремятся расправиться с Ванькой, а гибель Катьки воспринимается ими как справедливое возмездие? Но разберемся сначала с первым, с солдатом Ванькой. В поэме вроде бы объяснена причина охоты за ним:

---

[1] Чтобы узнать, что же реально происходило в Петрограде в те месяцы (декабрь 1917-го — январь 1918-го), я решил посмотреть по газетам уголовную хронику того времени. Должен сказать прямо: она не слишком впечатляет. Да, были разгромы винных погребов, убийства, были и грабежи квартир, но погромов как таковых — не было. Весь этот народный разгул меркнет по сравнению с не заставившим себя ждать государственным террором.

Трах-тарарах! Ты будешь знать,
. . . .
Как с девочкой чужой гулять!..

Если с «чужой», значит, с Петькиной, но почему *все* «двенадцать» так уж стремятся расправиться с новым любовником Катьки? Какое им дело, в конце концов, до Петькиных чувств. И потом: Катька — проститутка, она не Ванькина, не Петькина, она — для всех и ничья. Что-то тут явно не так, но оставим пока эти соображения и поговорим о других возможных мотивах странной ненависти красногвардейцев к своему бывшему товарищу. Мотивов этих два. Во-первых, Ванька — чужой, во-вторых,— богатый. Оба мотива присутствуют в реплике одного из «двенадцати»:

— Ванюшка сам теперь богат...
— Был Ванька наш, а стал солдат!

В той же главке Ваньку обзывают буржуем. И вот, исходя из этих высказываний, многие советские литературоведы упорно тянули Ваньку в лагерь контрреволюции, рассуждали о его «измене делу революции» [1]. Однако никакого вооруженного лагеря контрреволюции в Петрограде восемнадцатого года не было, а «сидеть в кабаке» — еще не значит изменять революции. Ванька — солдат Петроградского гарнизона, не защитившего в Октябрьские дни Временное правительство. И слово «солдат» звучало тогда отнюдь не контрреволюционно. Почему же все-таки Ванька — «не наш» — с точки зрения красногвардейцев? Были ли тогда вообще какие-либо конфликты или трения между красногвардейцами и солдатами?

В одном из декабрьских (за 1917 год) номеров газеты «Наш век» (переименованная «Речь») была напечатана следующая заметка:

«Солдаты и красногвардейцы

Между солдатами Петроградского гарнизона и красногвардейцами возникли трения на почве материального неравенства. Вследствие этого особые делегаты от полков гарнизона будут обходить фабрично-заводские предприятия, из которых образованы отряды красногвардейцев, для проверки на местах материального обеспечения красногвардейцев. Солдаты требуют, чтобы красногвардейцы были приравнены к солдатам, то есть носили бы солдатскую форму и получали только одно солдатское жалованье и содержание, а не по рублю в час за дежурство плюс жалованье как рабочие» [2].

Трения между солдатами и красногвардейцами, следовательно, были, причем за-

---

[1] Абсурдность этих интерпретаций хорошо показана в книге А. Якобсона.

[2] «Наш век», 1917, 2 декабря (№ 3).

видовали солдаты красногвардейцам, а не наоборот. Но до вооруженных конфликтов не доходило. Может быть, причина самосуда, который «двенадцать» стремятся устроить над Ванькой, в том, что он — вор? Однако воровство и грабеж тогда — массовое явление. Этот путь обогащения был не закрыт и для «двенадцати», хотя они предпочитали грабить лишь винные погреба. Но «богатству» Ваньки они явно завидуют и поэтому обзывают его «буржуем». Слово это, как известно, приобрело во время Революции расширительный смысл. «Буржуем,— записывает Блок в записной книжке 1917 года (до Октябрьского переворота),— называется всякий, кто накопил какие бы то ни было ценности, хотя бы и духовные». Еще более любопытно в этом смысле свидетельство Горького в «Несвоевременных мыслях»: «Уже на фабриках и заводах постепенно начинается злая борьба чернорабочих с рабочими квалифицированными, чернорабочие начинают утверждать, что слесари, токари, литейщики и т. д.— суть — буржуи».

Принцип классовой ненависти обращался против самого гегемона революции, рабочего класса, стал разрушать его структуру. А знаменитый лозунг «Грабь награбленное!» быстро обнаружил содержащуюся в нем дурную бесконечность. В тех же «Несвоевременных мыслях» Горький приводит письмо, где рассказывается, как обогатившиеся во время революции солдаты, вернувшись в деревню, сами оказались жертвами «экспроприации», как «буржуи».

Вот и Ванька оказался таким буржуем на час.

Так что зависть к ванькиному «богатству» несомненно присутствует у «двенадцати». Но не она причина неприязни, более того — ненависти к нему красногвардейского патруля. Причина в чем-то или в ком-то другом.

Причина все-таки в Катьке.

4

Случайно ли убийство Катьки? В известном смысле, да. Петька совершает его в состоянии аффекта, остальные патрульные убивать ее не собирались. Но они и не горюют, а воспринимают происшедшее с чисто уголовным цинизмом:

> Что, Катька, рада? — Ни гу-гу...
> Лежи ты, падаль, на снегу!

И опять возникает тот же вопрос, что и с Ванькой. А в чем, собственно, виновата перед «двенадцатью» Катька? В пятой главке поэмы Блок подготавливает эпизод убийства, дает его психологическую мотивировку. Обычно эта главка трактуется как монолог Петрухи, но так ли это? Ведь при первом чтении «Двенадцати» мы вплоть до шестой главы не знаем ни о каком Петрухе. Для нас — это монолог любого из патрульных, то есть монолог их всех. Но откуда же, спросит читатель, тогда в этом монологе страсти в духе жестокого романса?

> У тебя на шее, Катя,
> Шрам не зажил от ножа.
> У тебя под грудью, Катя,
> Та царапина свежа!

Так ведь может сказать только ревнующий Петька. Но почему же — спрошу я в свою очередь — «страсти роковые» в этой главке соседствуют с таким вот плясовым мотивчиком:

> Эх, эх, освежи,
> Спать с собою положи!

Странная какая-то тут ревность...

Катька, вероятно, была не только Петькиной «девочкой». Она была проституткой их улицы, где-нибудь за Нарвской заставой или на Выборгской стороне. Гуляла она первоначально только со «своими», но потом изменила круг клиентов, пошла по рукам офицеров, юнкеров, солдат. Это-то и было воспринято будущими красногвардейцами как «измена». Воспринято болезненно и привело к поножовщине. Ванька же не просто один из «чужих», он в прошлом «свой». И поэтому его «гулянье» с Катькой особенно непереносимо.

И Ванька, и Катька «виноваты» перед «двенадцатью» только по неписаным законам полублатной морали, с точки зрения общечеловеческой никакой вины за ними найти невозможно. Катька — безвинная жертва, и в этом суть поэмы. Революция — это всегда убийство, гибель невиновного, он гибнет вместе с виновным по теории, а чаще всего виновный и невиновный совмещаются в одном лице. Именно в гибели невиновного — трагизм Революции, вот почему уголовная драма, разыгравшаяся на петроградской зимней улице, приобретает черты высокой трагедии. Внутренняя тема «Двенадцати» — оправдание убийства невиновного, снятие трагического конфликта «музыкой революции», своего рода «черный катарсис», ибо катарсиса подлинного в поэме нет.

Никакая «музыка революции» не может, однако, унять душевных мук «бедного убийцы» Петрухи. Если бы был городовой, который бы поволок его в участок, ему, вероятно, было бы легче. Но во время Революции городовых нет, красногвардейский патруль — сам представитель революционного порядка, и поэтому Петька один со своей болью перед Богом. Попытка забыться в пьяном загуле приводит его лишь к «смертной скуке», к душевному опустошению. Товарищи его не понимают. Для них переступить через кровь — не преступление, а причастие к истине Революции.

«Среди них есть такие,— писал Блок в статье «Интеллигенция и Революция»,— которые сходят с ума от самосудов, не могут выдержать крови, которую пролили в темноте своей...»

Вот и Петька из таких. Он мучается, хочет просветления, а ему предлагают держать «революционный шаг».

И все же от этой муки «бедного убийцы» Петьки — тоненькая ниточка ко Христу, не к тому, что появляется в финале, а к настоящему, евангельскому.

5

Революция, по Блоку,— это переступание через невинную кровь, преступление. Изображать преступление — не значит оправдывать преступление, и в жизни Блок его действительно не оправдывал: достаточно вспомнить его реакцию на убийство Шингарева и Кокошкина. Но в творчестве все сложнее: какой-то частью своей души Блок с красногвардейцами даже в момент убийства, насилие не просто оправдывается им, оно освящается именем Христа, революционная «черная злоба» объявляется «святой» — чудовищный оксюморон, ибо святость всегда связана со светом, с просветлением.

И тут вспоминается другое великое произведение русской литературы — роман «Преступление и наказание». В центре романа — тоже убийство, причем убийство двойное — старухи-процентщицы и безответной несчастной Лизаветы. Второе убийство как бы случайно: Лизавету Раскольников убивать не собирался. Но логика преступления такова, что убийство, оправданное «по теории», уничтожение существа, не вызывающего сочувствия, влечет за собой другое — никак и никакой идеей не оправданное. Изъян, следовательно, в самой теории, «разрешающей кровь». Блоковский Петруха, в отличие от Раскольникова, человек не «теоретический», но он живет в то время, когда «теоретики», которым он поверил, разрешили ему проливать кровь, если это нужно для Революции, а он, естественно, понял это разрешение без всяких оговорок. И страдает Петруха не так, как Раскольников, оказавшийся слишком слабым для осуществления своей идеи,— он действительно раскаивается. И, в отличие от Раскольникова, у Петрухи не будет ни наказания, ни, что самое главное, просветления, потому что Достоевский отвергает насилие в принципе, а Блок его считает допустимым. В русской литературе «Двенадцать» — негатив «Преступления и наказания».

6

Не только Блок понимал Революцию как гибель невиновного. Такое же понимание и близкую к Блоку проблематику мы находим у другого большого поэта Революции — Велимира Хлебникова. Но акценты у Хлебникова расставлены существенно по-иному, чем у Блока; тем более интересно сравнить его революционные поэмы с «Двенадцатью». Среди них для нашей темы интерес представляют три: «Настоящее», «Ночь перед Советами», «Ночной обыск». Все они написаны осенью 1921 года. Между ними и блоковской поэмой целая эпоха — гражданская война, которая, собственно говоря, есть продолжение Революции. И вот в поэме «Настоящее» мы находим образ народной стихии, гораздо более страшный, нежели у Блока, а в монологе прачки есть и прямые переклички с «Двенадцатью»:

> Я бы на живодерню
> На одной веревке
> Всех господ провела
> Да потом по горлу
> Провела, провела!
> Я белье мое вполосну, вполосну,
> А потом господ
> Полосну, полосну!
> И-их!
> — Крови лужица!
> — В глазах кружится!

Что это? Воспевание погрома, резни? Апология людоедской мысли о физическом уничтожении целого класса? Такой вывод легко сделать при поверхностном знакомстве с поэмой. Но Хлебников не так прост. В поэме он дает высказаться не только «улице», жаждущей крови толпе с «Горничего Поля», но и ее противнику — Великому князю. Князь — фигура страдательная, вызывающая сочувствие, он не тиран и не палач, но между ним и народом — роковая черта непонимания:

> Лучи моего духа
> Селу убогому светили,
> Но неприязненно и сухо
> Их отрицали и не любили.

Князь сознает свою обреченность, более того — он оправдывает направленную на него народную ярость. Ненависть толпы для него — «обугленное бревно божественного гнева». Самое страшное, что он сам начинает подпевать толпе, повторять ее бессмысленные заклинания.

> В воду бросила!
> Тай-тай, тарарай.
> В воду бросила!
> Тай-тай, тарарай.
> В воду бросила.

Нечто болезненное чувствуется в этой маленькой поэме. С одной стороны — темная ненависть, для которой «самый страш-

ный грех — пощада», ненависть с оттенком садизма, а с другой — самоуничижение, доходящее до какого-то жуткого единства со своими убийцами. Именно поэтому поэма Хлебникова не трагична: где патология, там не может быть трагедии. В этом ее отличие от действительно трагического блоковского шедевра. Но существенно для нас и другое: Хлебников, в противоположность Блоку, стремится воспроизвести «другой» голос, «другое», «чужое» сознание, дать слово жертве Революции, человеку «старого мира». Эта замечательная особенность Хлебникова проявлялась и в отдельных стихах. Так, на события февральской революции он парадоксальным образом откликнулся монологом свергнутого царя:

Свободы песни, снова вас поют,
От песен пороха народ зажегся.
В кумир свободы люди перельют
Тот поезд бегства, тот, где я отрекся.

Однако как в этом стихотворении, так и в поэме «другой» голос еще не означает «другой» правды. Своей правды ни у царя, ни у Великого князя нет, есть правда Революции, которую они признают. Великий князь у Хлебникова — это рефлектирующий интеллигент, мечтающий о единстве с народом. Но проблема «другой» правды для поэта все же существовала. Пожалуй, с наибольшей рельефностью это выражено в поэме «Ночь перед Советами». Действие ее происходит во время гражданской войны, в каком-то городе перед приходом красных. К старой барыне приходит старуха-поденщица и пророчит:

Барыня, вас завтра
Наверно повесит...

За что повесят? Хлебников рассказывает во второй главке поэмы о прежней жизни барыни. Она прожила вполне достойную жизнь: была сестрой милосердия во время русско-турецкой войны, позже помогала ссыльным [1]. Ни в чем перед старухой-поденщицей она не провинилась. И вместе с тем, по Хлебникову, она виновна не личной, а «классовой» виной. Барыня ответственна за «грехи отцов» — мысль, близкая той, что Блок высказал в статье «Интеллигенция и Революция». Собственно, доказательству этого «родового греха» и посвящена поэма Хлебникова.

Революция, по Хлебникову,— это гибель субъективно невиновного, но, вместе с тем, классово виноватого, виновного самим фактом принадлежности к господствующему классу. Но в обеих поэмах — гибель жертв (Великого князя, барыни) остается за скобками, только предполагается.

[1] Известно, что Хлебников тут использовал факты из биографии своей матери.

По-иному — в поэме «Ночной обыск», сюжетное ядро которой, как и у Блока,— убийство. Напомню содержание этого, по-своему замечательного, произведения. На квартиру, вероятно, к морскому офицеру приходит с обыском «братва» — революционные матросы. Это те же «двенадцать», только в матросской форме. Они ищут «белых зверей» (их выражение). Сын хозяйки оказывает им сопротивление, стреляет в них, но промахивается. Его ставят к стенке и расстреливают на глазах у матери. И вот перед расстрелом сын проявляет поразительную твердость духа и презрение к смерти. «Прощай, дурак! Спасибо за твой выстрел!» — бросает он в лицо своему убийце. То, что происходит дальше,— исключительно по мерзости. Матросы чуть не убивают сестру убитого, разбивают зеркало и рояль, заставляют несчастную мать прислуживать за столом, издеваются над ней, устраивают пьянку. И вот во время пьяной оргии происходит нечто неожиданное: в поэме появляется Христос. Собственно, появляется не Он сам, а икона в красном углу, которая привлекает внимание матросов.

Глаза Бога начинают явно беспокоить матроса-убийцу:

Синие глаза мне прямо в душу.
Как две морские птицы, большие
синие и темные,
В бурю, два буревестника,
глашатая грозы.
И машут и шумит крылами!
Летит! Торопятси.
Насквозь! Насквозь! Ныряют
на дно души.

Происходит, однако, не пробуждение совести, а сознание своего поражения. Юноша, крикнувший перед смертью: «Дурак! Спасибо за твой выстрел!», победил своих палачей. И преодолеть это поражение они могут только одним способом — приняв смерть от самого Бога, крикнув ему, как и погибший юноша: «Дурак!» Об этом и говорит матрос-убийца:

Хочу убитым пасть на месте,
Чтоб пал огонь смертельный
Из красного угла!
Оттуда бы темнело дуло,
Чтобы сказать ему: — дурак!

Пьяный матрос бросает вызов Богу, он хочет смерти от Бога и начинает кощунствовать, чтоб спровоцировать Бога на мщение.

Твк кто же эти хлебниковские «двенадцать»? Сверхлюди, бросающие вызов Христу и смерти, или потерявшая человеческий облик пьяная орава? Хлебников не дает ответа на этот вопрос. Его собственное сознание раздвоено, он за Революцию, но в то же время он сочувствует ее жертвам, «без вины виноватым», хотя уверен в их обреченности.

Рать алая! Твоя игра!
Нечисты масти
У вымирающего белого...
«Ночь в окопе»

Освящает ли он насилие, подобно тому как сделал это Блок? Нет, да оно, по Хлебникову, и не нуждается в этом: Революция, по его мысли, это бунт против Бога, против установленного им миропорядка, чтобы установить новый космический лад — «ладомир».

7

Слово «враг» неоднократно повторяется в поэме Блока:

Революцьонный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

Враг этот могуществен, но незрим:

Их винтовочки стальные
На незримого врага...
В переулочки глухие,
Где одна пылит пурга...

Присутствуют в поэме и более конкретные «враги»: барыня в каракуле, писатель-вития, поп и, наконец, обобщенный «буржуй». Впрочем, «враги» они только в кавычках, так как реальной опасности для двенадцати красногвардейцев не представляют. Изображены они в комическом ключе, можно даже сказать, в балаганно-лубочном. Но почему среди этих «буржуев» оказалась богомольная старушка? Она-то явно не «буржуйка», а «народ».

«Буржуй» для Блока — понятие не столько социальное, сколько экзистенциально-психологическое, это — человек середины, обыватель, максимально далекий от подлинности, живущий, «как все», и не выделяющийся из массы. Схематичный портрет такого «буржуя» Блок набрасывает в статье «Интеллигенция и Революция». Ненависть к этому человеческому типу у Блока переходит даже на бытовой уровень. Вот отрывок из дневника 1918 года: «Я живу в квартире, а за тонкой перегородкой находится другая квартира, где живет *буржуа* с семейством (называть его по имени, занятия и пр.— лишнее). Он острижен ежиком, расторопен, пробыв всю жизнь важным чиновником, под глазами — мешки, под брюшком тоже, от него пахнет чистым мужским бельем, его дочь играет на рояле, его голос — тэноришка — раздается за стеной, на лестнице, во дворе у отхожего места, где она распоряжается и пр. Везде он.

Господи Боже! Дай мне силы освободиться от ненависти к нему, которая мешает мне жить в квартире, душит злобой, перебивает мысли. Он такое же плотоядное двуногое, как я, он лично мне еще не делал зла. Но я задыхаюсь от ненависти, которая доходит до какого-то патологического истерического омерзения, мешает жить».

Конечно, постоянно слышать за стеной треньканье рояля неприятно, но не надумана ли эта ненависть к человеку, лично Блоку ничего не сделавшему дурного. Не слишком ли романтична (противоположность «Поэт — филистер» возникла именно в романтизме) позиция поэта? Не проглядел ли он в обывателе нечто подлинное, бытийственное, сосредоточив всю свою ненависть на серединности, пошлости. Ведь ценности «среднего» человека — семья, спокойная, размеренная жизнь без катаклизмов, служение Отечеству, традиционная религиозность — разве они не заслуживают уважения?

Радикальная русская интеллигенция презирала мещанина, в начале века ему доставалось со всех сторон: с одной стороны — от Горького, с другой — от декадентов и символистов. Страстно обличал серединность и постепеновщину Д. С. Мережковский, склонный даже дьяволизировать мещанство. Вот что он, например, писал в открытом письме Н. А. Бердяеву: «Вам кажется, что для меня не решена проблема о дьяволе. Вы ошибаетесь: для меня эта проблема решена окончательно. Я не сомневаюсь в том, что „дух небытия" есть дух косной середины, пошлости, плоскости: ведь пошлость есть не что иное, как абсолютное небытие, которое хочет казаться абсолютным, единственным бытием».

Нужно, однако, отдать справедливость Мережковскому: есть у него высказывания и другого рода: «Абсолютное мещанство — абсолютное свинство. Полно, так ли? Вся золотая жатва культуры — наука, искусство, общественность — не из этого ли мещанского навоза выросла? Нет ли праведного, мудрого, *святого* мещанства? Кто его не ругал, и кто победил?» [1]

Но эти справедливые слова — исключение. Пожалуй, единственный, кто к ним мог тогда присоединиться,— Василий Васильевич Розанов — «гениальный обыватель», по определению Бердяева. Блок «святого мещанства» не признавал, в этом была его правда поэта, но правда неполная. И к тому же такая позиция находилась в противоречии с иной традицией в русской литературе, не отвергающей обывателя, а приемлющей его. В этой традиции такие имена, как Пушкин, Гоголь, Лесков, отчасти Лев Толстой.

Сравним позиции по этому вопросу у Пушкина и Блока. В творчестве Пушкина 30-х годов — «средний человек», мелкий дворянин, обыватель — одна из главных, если не главная фигура. Он, с одной стороны, противостоит государству («бедный» Евге-

[1] Мережковский Д. С. Цветы мещанства. «Речь», 1908, 10 февраля.

ний в «Медном всаднике»), а с другой — стихии народного бунта (Гринев в «Капитанской дочке»). И тот, и другой переживают крушение личного счастья, и тот, и другой — жертвы катаклизмов: природного и социального. Пушкин глубоко сочувствует этим «средним» людям, более того, он пытается говорить от их имени. Отсюда — «Повести Белкина», в которых поэт, по выражению Аполлона Григорьева, «умалил себя до Белкина».

А теперь вернемся к бедной старушке. Почему же она в одной компании с «буржуем», с барыней в каракуле, с писателем-витией? Потому что она хоть и неимущая, но обывательница, привыкшая к своей бедности и приниженности. Она не хочет перемен, она — из «старого» мира, и поэтому Блок — против нее, хотя и явно сочувствует ее непониманию необходимости Учредительного собрания.

Но старушка-то не простая. Вспомним:

Там прикипешься ты богомольной,
Там старушкой прикипешься ты...

«Новая Америка»

Не встает ли за этой эпизодической старушкой сама Россия?

8

«Народ» в поэме Блока представлен разнообразно: это и уже упомянутая старушка, и уличный бродяга, Катька, Ванька, наконец, сами «двенадцать». Собственно, народ в этой поэме у Блока становится действующим лицом, до этого он был лишь объектом сочувствия:

В голодной и больной неволе
И день не в день, и год не в год.
Когда же всколосится поле,
Вздохнет униженный народ?

Эта «некрасовская» нота в сознании Блока соседствует с другой, «толстовской». Народ — не только объект сострадания, но он в своей «темноте» бывает ближе к истине, чем интеллигенция. «Надо вот сейчас понять,— пишет Блок в статье «Интеллигенция и Революция»,— что народ русский, как Иванушка-дурачок, только с кровати схватился и что в его мыслях, для старших братьев, если не враждебных, то дурацких, есть великая творческая сила».

Но в отношении Блока к народу в том роковом 18-м году был еще один аспект, далекий от двух первых. Аспект этот мог возникнуть только в «декадентскую» эпоху у человека, прошедшего «школу Ницше». Это восприятие народа как «новых варваров», призванных разрушить «старый мир», старую христианскую цивилизацию, это восхищение самим разрушением:

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем.

«Варварские массы», по Блоку,— носители «духа музыки». «Я утверждаю,— пишет он в знаменитой статье «Крушение гуманизма»,— что исход борьбы решен и что движение гуманной цивилизации сменилось новым движением, которое также родилось из духа музыки; теперь оно представляет из себя бурный поток, в котором несутся щепы цивилизации; однако в этом движении уже наблюдается новая роль личности, новая человеческая порода; цель движения — уже не этический, не политический, не гуманный человек, а *человек-артист*; он, и только он будет способен *жадно жить и действовать* в открывшейся эпохе вихрей и бурь, в которую неудержимо устремилось человечество».

Блок оказался плохим пророком: *человека-артиста* не получилось, получилось нечто совершенно другое — унылое одномерное существо, называемое Homo soveticus.

9

Был ли, однако, Блок демократом? Если под демократизмом понимать традиционное для русской интеллигенции народолюбие, то — да, а если приверженность к представительному правлению — нет. Парламентаризм для него наряду с патриотизмом — ценность буржуазная, и он не скрывает своего к нему отвращения. Ему непонятна и ненавистна сама идея представительства. «И почему другой может за меня быть? Я один за себя»,— записывает он в дневнике за 5 января 1918 года (т. е. перед открытием Учредительного собрания). И далее, в том же дневнике, под тем же числом: «Инстинктивная ненависть к парламентам, учредительным собраниям и пр. *Потому* что рано или поздно некий Милюков произнесет: Законопроект в третьем чтении отвергнут большинством».

Не знал Блок, что несколько поколений русских людей сменят друг друга, так и не узнав, что же такое настоящий, а не марионеточный парламент, и что придет время, когда столь ему ненавистные слова Милюкова будут звучать для нас как истинная музыка.

«Для художника,— записывает поэт 7 января 1918 года,— идея народного представительства, как всякое „отвлечение“, может быть интересна только по внешнему капризу, а по существу — ненавистна».

10

Принятие Блоком Революции было поступком не случайным и глубоко осмысленным. У него мы можем найти своего рода «философию Революции», основные поло-

жения которой были выработаны в среде, близкой к Блоку, еще во время «малой революции» 1905—1907 годов. Речь идет, разумеется, не о заимствовании, а некоем общем умонастроении, несомненно, повлиявшем на поэта. Прежде всего, революционный заряд большой силы содержался в «новом религиозном сознании», проповедниками и основными выразителями которого стали Мережковские. Стремление к радикальному духовному перевороту, к новой «религии Третьего Завета», к религиозному освящению общественности содержало имплицитно и оправдание революции. В статье «Революция и религия» Мережковский писал: «...единственный реальный путь к Царству Божьему, Боговластию есть разрушение всех человеческих царств, то есть величайшая из всех революций»[1].

Религиозно-мистическая философия революции вырабатывалась также мистическими анархистами. Характерна и публицистика недолго просуществовавшего журнала «Перевал» (1906—1907), стремившегося соединить «эстетизм» и «общественность». Остановимся на этом несколько подробнее, и не только потому, что в этом журнале участвовал Блок, а прежде всего потому, что идеи, высказанные на его страницах в те годы, поразительно схожи с блоковской «революционной идеологией» 1918 года. В первую очередь это относится к статье А. А. Мейера «О смысле революции»[2]. Несколько слов о ее авторе: Александр Александрович Мейер, религиозный мыслитель и публицист,— фигура очень характерная для русской интеллигенции начала века. Первоначально активный революционер, он затем обращается к религии, продолжая при этом симпатизировать революции. Он становится одним из теоретиков «мистического анархизма», а затем сближается с Мережковскими, очень его ценившими. Мысли, высказанные им в «перевальской» статье, почти совпадают с высказываниями Блока 18-го года[3]. Процитируем: «В революции есть музыка. В „явлении“ эта музыка не дана. Она скрыта за явлением. К ней нужно прислушаться.

Музыка революции — творческая буря. Отдаленным отзвукам отвечает ваша душа на эту творческую бурю. И только уловив в себе такой отзвук, можно постигнуть тайну революции. Факты и их толкования едва ли что-либо прибавят».

Революция, по Мейеру,— это творческий порыв, взрывающий норму жизни, это — момент свободы и праздник, пришедший на смену будням. «Кто постиг религиозно смысл „переворота“,— пишет он далее,— для того возможен новый угол зрения. Тот может сказать: праздник важнее будней, литургия больше монастырской трапезы, революция больше порядка. Но, конечно, не сама по себе, не своей „идеей“ и не своими настроениями, а тем, что она творит — общением в свободе».

Так и вспоминаются строки из «Двенадцати»:

Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!

А вот мнение Н. Минского о роли рабочего класса в Революции (статья «Идея Русской Революции»): «В сущности, рабочий класс представляет из себя последний резерв человечества, последний запас неистраченных свежих сил, и по отношению к мещанской культуре призван играть ту же роль, которую бодрые духом Германцы и Галлы сыграли по отношению к одряхлевшему античному миру».

Похоже на мысль о «варварских» массах — носителях «духа музыки»? Думаю, что да.

Из всех, высказывавшихся тогда на страницах «Перевала» о революции, пожалуй, наиболее двойственно к ней отнесся Максимилиан Волошин. Революционное насилие его явно страшило, но в то же время революция для него — историческая неизбежность, спорить с которой так же бессмысленно, как с грозой или ураганом. «Революции,— писал он,— это биение кармического сердца, потому что Карма — органический закон мирового равновесия идет ритмическими скачками и представляет непрерывную пульсацию катастроф и мировых переворотов».

«Случай» Волошина раскрывает любопытный парадокс: даже если поэт разумом — против Революции, подсознательно он может быть с ней: стихийность его души родственна стихийности Революции.

Подведем итоги. Та «философия революции», которую исповедовал Блок в 18-м году, была выработана в близкой к нему среде еще в годы «малой революции» 1905—1907 гг. Ее основные составляющие: понимание истории как «биения кармического сердца», стремление к «дионисийскому» экстазу, максимализм, ницшеанская этика «любви к дальнему». Многие, исповедовавшие тогда эти идеи, отшатнулись потом от Октябрьского переворота. Многие, но не Блок.

11

Что общего между Христом и Революцией? Некоторым уже сама постановка вопроса кажется кощунственной. Действительно, что общего между насилием, сущ-

[1] Мережковский Д. С. Не мир, но меч. СПБ, 1908, с. 80.
[2] «Перевал», 1907, № 8—9, с. 44—49.
[3] На это обратил внимание А. В. Лавров в своей статье о журнале «Перевал». См.: «Русская литература и журналистика начала XX века (1905—1917)». Л., 1984, с. 181.

ностью всякой революции, и проповедью Сына Божьего? Они полярно противоположны. Но вместе с тем возможно, например, понимание Христа как символа нового исторического Эона, а Его Воскресения — как метафоры революционного обновления. На таком символико-метафорическом понимании построена, например, поэма А. Белого «Христос воскрес».

Да и у Блока Христос — прежде всего символ нового мира, идущего на смену старому. Но смысл Его образа в поэме этим не исчерпывается. В дневнике поэта за 10 марта 18-го года («Двенадцать» уже написаны) есть такая запись: «*Если бы* в России существовало действительное духовенство, а не только сословие нравственно тупых людей духовного звания, оно давно бы „учло" то обстоятельство, что „Христос с красногвардейцами". Едва ли можно оспорить эту истину, простую для людей, читавших Евангелие и думавших о Нем».

Это высказывание интересно для нас не выпадом против «попов», а присоединением к духовной традиции «христианского социализма». Согласно этой традиции, Христос пришел в мир к бедным, неимущим, именно к ним обращена Его проповедь, более того, сам Он объявляется и первым социалистом. Идеи «христианского социализма» были довольно широко распространены в России в начале века, особенно во время первой русской революции. Сочувствие этим идеям высказывали тогда такие выдающиеся мыслители, как Н. А. Бердяев и С. Н. Булгаков. «Христианско-социалистическим» по программе было «Христианское братство борьбы», возникшее в 1905 году в Москве, его активными участниками были, между прочим, П. А. Флоренский и В. Ф. Эрн.

Затронуло это движение и рабочий класс: здесь прежде всего следует сказать о секте «голгофских христиан», появившейся в Петербурге и некоторых других городах. Один из ее основателей — И. П. Брихничев был корреспондентом Блока [1].

Социальный аспект проповеди Иисуса Христа подчеркивал и Эрнест Ренан, чью знаменитую книгу читал Блок в январе того же, 18-го года, незадолго до создания «Двенадцати». Вот что писал об этом Ренан: «К кому обратиться, на кого рассчитывать, чтобы основать царство Божие? Относительно этого мысль Иисуса никогда не колебалась. Что высоко у людей, в глазах Бога представляется мерзостью. Основатели царства Божия будут простые люди. Не надо богатых, книжников и священников: женщины, простолюдины, незнатные — вот его основатели. Великое знамение Мессии — это „благая весть", несомая бедным».

Недаром в поэме «Двенадцать» предвестник появления Христа — это бродяга из первой главки:

> Один бродяга
> Сутулится,
> Да свищет ветер...
> Эй, бедняга!
> Подходи —
> Поцелуемся...

«Поцелуемся», потому что настал праздник на улице бедняков, «поцелуемся», потому что Спаситель близко.

Стремление соединить Евангелие и социалистическую доктрину игнорировало, однако, существенное противоречие между ними. Ведь для социалистической мысли бедность отнюдь не идеал, а то, что нужно преодолеть, и то, что в желанном будущем будет преодолено (хотя подсознательно социалисты, по крайней мере в то время, предпочитали бедность богатству). В Новом Завете, напротив, бедность, нищета являются ценностями сами по себе. В Евангелии, вероятно, впервые в истории, провозглашен значимым и желанным *ущерб*, без этого ущерба Божий мир не полон. Но здесь мы касаемся уже иной, более глубинной связи Христа с Социализмом и Революцией, связи, в полной мере осознанной тогда лишь Василием Васильевичем Розановым.

12

Розанов скрылся от Революции в Сергиев посад, где и умер в 1919 году. Здесь, у стен Троице-Сергиевой лавры, написал он свое литературное завещание — «Апокалипсис нашего времени». В этом произведении мы встречаемся почти со всеми розановскими темами: Христос, Россия, еврейство. Но темы эти всплывают на новом фоне, фоне Революции, которую Розанов воспринимает воистину апокалиптически.

Та «брань с Христом», которую Розанов ведет в этой книге, не нова для него: он заявил себя как противник Христа еще за десятилетие до этого, в знаменитом своем докладе «Иисус Сладчайший и горькие плоды мира», прочитанном на заседании Петербургского религиозно-философского общества в 1907 году. По Розанову, «в Христе прогорк мир», Иисус для него, прежде всего, акосмичен, а христианское учение можно назвать, используя более позднюю терминологию Альберта Швейцера,— миро- и жизнеотрицанием. Христос, по Розанову,— это первый нигилист, его нигилизм в сущности более разрушителен и радикален, чем нигилизм большевиков. Вот как он говорит об этом: «Христос не посадил дерева, не вырастил из себя травки; и, вообще, он *„без зерна* мира"; без — *ядер*; без — *икры*; не травянист, не животен; в сущности — не бытие, а почти призрак и тень, каким-то чудом пронесшийся по земле. Тенистость, тенность, пустынность Его, небытийственность — сущность Его».

---

[1] Социалистические настроения проникали и в среду рядового духовенства. Вот, например, высказывание одного сельского священника на 1-м крестьянском съезде: «Если б был жив сейчас Христос, Он был бы среди нас. Он всегда стоял за угнетенных, Он был первый социалист». (Цит. по статье: Аитовов М. «Христос и революция». «Миссионерское обозрение», 1906, № 4. с. 586.)

Отношение Розанова к Иисусу, как вообще ко всему,— *страстное*. Вот уж про него не скажешь, что он «не холоден и не горяч».

Тонкой, но прочной нитью, по мысли Розанова, связаны Христос и большевизм. И такие же невидимые, но прочные нити связывают «Святую Русь» с Русью «бунташной», русского странника и русского разбойника. Целиком этому посвящена главка «Христос между двух разбойников». Два разбойника на Голгофе: уверовавший и похуливший Христа симаолизируют, по Розанову, две ипостаси русской души: «И висеть, висеть Христу, неизбывно висеть между этими двумя разбойниками, именно *этими*, никакими — еще...»

Розанов, как и Блок, утверждает, что есть тайная связь между Христом и Социалистической Революцией, но, в отличие от Блока, он и против Революции, и против Христа. Если додумать мысль Розанова до конца, то в катастрофе, произошедшей с Россией, виновато, некоторым образом, христианство. Евангельское учение вонзило «жало в плоть», от него исходит влечение к нищете, ущербу, в конечном счете — к небытию. Несчастье России не в том, что христианство в ней «не удалось», а в том, что оно кое в чем слишком даже «удалось», более «удалось», чем в Европе.

И если прочесть «Двенадцать» глазами Розанова — то все верно: Христос действительно с красногвардейцами.

А что касается оценки Революции с моральной точки зрения, то тут у Розанова есть замечательное высказывание: «Как поправить грех грехом — тема революции. И поправляющий грех — горше поправляемого».

13

В записке о «Двенадцати» 1920 года Блок писал: «...в январе 1918 года я в последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе 1907 или в марте 1914». Говоря о 1907 и 1914 годах, Блок имел в виду циклы «Снежная маска» и «Кармен», но «стихия» в этих произведениях была совершенно иная, чем в «Двенадцати»,— любовь, страсть — стихия *женская*. Стихия «Двенадцати» — стихия *мужская*, здесь торжествует самодостаточное мужское начало, не нуждающееся ни в какой женственности. Начало деструктивное, разрушительное. Женственность в поэме не просто унижена, она уничтожена, и всякие сожаления об убитой Катьке недостойны мужчины, недостойны сурового революционного братства красногвардейцев.

То, что поэзия Блока развивалась под знаком некоего женского начала, известно всем. Оно выступает у поэта под разными именами, разными обличиями: Прекрасная Дама, Незнакомка, Фаина из «Песни Судьбы», но все они так или иначе обозначают одно — женственность. Говоря об этой теме в творчестве Блока, чтобы впредь не перечислять многие имена, назовем это женское начало одним словом, заимствованным у Карла Юнга,— «Анима». «Анима» — то есть душа, есть, по Юнгу, женское начало в человеческой психике, противостоящее «Анимусу» — началу мужскому. Соотношение их в блоковском «мифе» — тема захватывающая, но требующая отдельного обстоятельного разговора, поэтому ограничусь лишь некоторыми предварительными замечаниями. «Анима» у Блока — двуипостасна: одну ее ипостась можно назвать «небесной» или «божественной»: это — Прекрасная Дама, Царевна, Дева (первого тома). Вторая ипостась — земная, страстная, проявившаяся ярче всего в цикле «Кармен» и в образе Фаины из «Песни Судьбы». С архетипом «Анима» связан у Блока и образ России, причем связан с обеими ее ипостасями — небесной и земной.

В цикле «На поле Куликовом» «Анима» — это Русь и Богородица одновременно. Характерно, что Русь для Блока — это не мать, как в народном сознании, а Жена — в высоком, архаическом смысле этого слова:

> О, Русь моя! Жена моя! До боли
> Нам ясен долгий путь.

Отношение Блока к Руси лишено какого-либо оттенка сыновства. Это отношение не сына к матери, а рыцаря, так и хочется сказать — к даме, если бы это слово не звучало так пошло в этом контексте. Русский воин в куликовском цикле скорее похож на европейского рыцаря, так мог чувствовать на Куликовом поле какой-нибудь итальянец Дуджа, предок Тютчева, как известно, участвовавший в этой битве.

В «Двенадцати» Русь — это просто баба:

> Товарищ, винтовку держи, не трусь!
> Пальнем-ка пулей в Святую Русь —
> В кондовую,
> В избяную,
> В толстозадую!

Так что же, «Двенадцать» — это полюс наибольшего удаления Блока от Вечной Женственности, от «Анимы», растворение в мужской, даже можно сказать — в мужицкой стихии? Не совсем так. Женственная «Анима» присутствует в поэме, только неявно. В самом деле, вслушаемся в знакомые строки:

НЕЖной поступью надвьюЖНОЙ,
СНЕЖной россыпью ЖЕмчуЖНОЙ...

Те же звуки, что и в словах «женский», «женственность». Могут возразить: такой аргумент «от фонетики» — сомнителен. Но если мы вспомним слова Блока о Христе, о том, что он иногда ненавидит «этот женственный призрак», то все встанет на свои места. В Христе из «Двенадцати» есть женское начало, божественная «Анима».

14

Так можно ли назвать «Двенадцать» великим произведением? Да, несомненно. И если исходить из художественных достоинств, и потому, что это — не просто поэма, а поэма-миф, составная часть некоего сверхтекста, блоковского мифа о России. И вместе с тем, эта поэма — *преступление* в сфере духа, ибо в ней содержится оправдание насилия, а следовательно, и *оправдание зла*.

Мы привыкли к пушкинской фразе о том, что «гений и злодейство — две вещи несовместные». В основе это, действительно, так: зло как начало разрушительное противоположно творчеству. Но если гений и не может быть злодеем, то он может в силу своей гениальности *понимать злодейство* и даже в какой-то степени принимать его. Корпускулы зла, проникая в сознание гениального человека, производят там разрушительную работу, так возникает явление «темного гения», явление, впервые заявившее о себе в европейском романтизме. С этой «темной духовностью» непосредственно связана тема демонизма. Его искушения были знакомы Блоку. Более того, саму поэзию (Музу) он считал демонической:

И когда ты смеешься над верой,
Над тобой загорается вдруг
Тот неяркий, пурпурово-серый
И когда-то мной виденный круг.

Блок пытался осмыслить демонизм. Очень важное высказывание есть в его дневнике 19-го года: «Всякая культура — научная ли, художественная ли — демонична. И именно, чем научнее, чем художественнее, тем демоничнее. Уж конечно, не глупое профессорье — носитель той науки, которая теперь мобилизуется на борьбу с хаосом. Та наука — потоньше ихней.

Но демонизм есть сила. А сила — это победить слабость, *обидеть* слабого» [1].

[1] Ср. сходное высказывание Вячеслава Иванова в статье «Лик и личины России»: «...вся человеческая культура создается при могущественном и всепроникающем соучастии и содействии Люцифера».

Как понимать это высказывание? Прежде всего в свете (тут уместнее сказать — в «темном луче») статьи «Крушение гуманизма». Характернейшей особенностью отходящей в прошлое гуманистической эпохи Блок считает индивидуализм. А что такое демонизм, как не крайний индивидуализм, открывающий в себе возможность зла? Но почему же, по Блоку, всякая культура демонична? Ответ на этот вопрос дает анализ всей этой дневниковой записи. Далее Блок говорит в ней о неком крестьянине Федоте, принявшем участие в разграблении Шахматова. Демонической личностью при этом Блок считает себя, а «несчастного Федота» — обиженным, *слабым*. Поэт, по существу, говорит здесь о социальном корне демонизма. Вот его выводы: «Так, значит, я — сильнее и до сих пор, и эту силу я приобрел тем, что у кого-то (у предков) были досуг, деньги и независимость, рождались гордые и независимые (хотя в другом и выроженные) дети, дети воспитывались, их научили (учила кровь, помогала учить изолированность от добывания хлеба в поте лица) тому, как создавать бесценное из ничего, „превращать в бриллианты крапиву“, потом — писать книги и... жить этими книгами в ту пору, когда не научившиеся их писать умирали с голоду».

Культура возможна благодаря социальной несправедливости — вот мысль Блока [1]. Можно, осознав этот «грех», искупить его, «возвратив свой долг народу», а можно пренебречь этим, приняв социальную несправедливость как должное, то есть признав право на зло, а это и есть демонизм. Вот почему культура чем художественнее, тем демоничнее [2].

«Двенадцать» — это разрыв Блока с индивидуализмом, а следовательно, с демонизмом, попытка слияния с народной стихией. Но «поправляющий грех — горше поправляемого». Зло демонизма замещается злом, творимым пробудившимися к политической жизни «варварскими массами», носителями «духа музыки». «Демон» изгоняется при помощи «бесов».

Блок не был полностью и до конца «дитем добра и света», но назвать его «темным гением» тоже было бы неверно. Скорее период 18—19-го года, когда были написаны «Двенадцать», «Катилина», «Крушение гуманизма», можно считать временным *помрачением души*.

Потом наступило отрезвление, но разочаровался Блок не столько в народной стихии, сколько в государстве, говорившем как бы от имени народа. Не знаю, насколько можно доверить Георгию Иванову, утверждавшему, что Блок перед смертью требовал сжечь все экземпляры «Двенадцати», но к его словам о роковой роли поэмы в жизни поэта стоит прислушаться: «За создание „Двенадцати“ Блок расплатился жизнью. Это не красивая фраза, а правда. Блок понял ошибку „Двенадцати“ и ужаснулся ее непоправимости. Как внезапно проснувшийся лунатик, он упал с высоты и разбился. В точном смысле слова он умер от „Двенадцати“, как другие умирают от воспаления легких и разрыва сердца».

[1] Блок тут, собственно говоря, неоригинален. Идеи о «цене культуры» была высказана еще в «Исторических письмах» Лаврова.

[2] Эту дневниковую запись анализировал также Анатолий Якобсон. Вывод, который он из нее делает, что Блок в жизни думал «прямо *противоположно* своей демонической догме».

Анатолий Барзах

«РОКОТ ФОРТЕПЬЯННЫЙ»

Мандельштам и Анненский

Павлиний крик и рокот фортепьянный.
Я опоздал. Мне страшно. Это сон.

Стихотворение Мандельштама «Концерт на вокзале» начинается лермонтовской и заканчивается тютчевской «цитатами». А посредине, в самой сердцевине спрятана еще одна, не столь очевидная перекличка — со стихотворением Анненского «Он и я» («Но страстно в сумрачную высь // Уходит рокот фортепьянный»). Данное совпадение почти наверняка является случайным. Преднамеренность здесь как бы второго порядка: текст Мандельштама отсылает к Анненскому, но не прямо, а опосредованно; суть этой опосредованности мы и попытаемся выявить.

У Анненского на выражение «рокот фортепьянный» накладывает неизгладимый отпечаток особая система его лексики, особенность всего строя его стихов — и не только стихов, но и личности, поведения, которую вслед за современниками можно было бы — весьма условно и приблизительно — обозначить как «изысканно-утомленную», «чопорную», «с изломом»,— та система, которая, сочетаясь, вступая в противоречие со знаменитой «вещностью» Анненского, и составляет нерв своеобразия его поэзии. Элементы этой системы, бросающие семантическую тень на рассматриваемое словосочетание, достаточно насыщенно представлены в первых же строках стихотворения «Он и я»: «истомой розовой», «страстно в сумрачную высь» и т. п. В этом контексте «рокот фортепьянный» приобретает некий романтически-театральный оттенок.

В «Концерте на вокзале» тот же «рокот» звучит совсем по-другому. Здесь в нем совмещены два важнейших семантических полюса, он дан как виртуальный синоним «рыка» и «грохота». Возможность синонимии *рык-рокот* фиксируется соотнесенностью с «криком», причем именно со звериным (птичьим): «павлиний *крик* и *рокот* фортепьянный». Утрируя, можно сказать, что в этом соседстве фортепьяно как бы приобретает звериные черты. Возможная трансформация *рокот-рык* из случайного звукового соответствия превращается в своего рода виртуальную синонимию. А поскольку для Мандельштама «звериная» тема, особенно в связи с образом «века-зверя», «умиранья века»,— одна из важнейших, степень реальности указанной синонимии существенно возрастает.

В том же слове «рокот» мерцает еще одна тень, еще одно созвучие: «грохот». Точнее, так же, как и в случае с «рыком», речь идет о некоем смысловом поле, более или менее тяготеющем к данному слову. Если для «рыка» это была звериная символика, то для «грохота» — машинная, железная. Этот «грохот» имплицитно присутствует в стихотворении через обыденное представление о вокзале с его шумом, суетой; железная дорога вообще — это *звучащий* по преимуществу образ: стук колес, свистки паровоза («И снова паровозными свистками // Разорванный...»). Но тут же эта звуковая тема осложняется соотнесением с музыкой: «...скрипичный воздух слит». Вокзально-железное — с его неизбежным, неизбывным хаосом, с его хаотическим, разорванным звуком — оказывается включенным в единство происходящей мистерии, гармонизируется:

Железный мир опять *заворожен*.
На *звучный* пир, в элизиум туманный
Торжественно уносится вагон.

Эти строки непосредственно предваряют анализируемое нами выражение, тем самым еще более отягощая семантику гармо-

Анатолий Ефимович Барзах (род. в 1950 г.) — физик. Публикуется впервые.

нического грохота — рокота фортепьянного. Вспомним в связи с этим ту же тему «хаоса-гармонии» в стихотворениях «Я по лесенке приставной...» и «Я не знаю, с каких пор...», где она выходит на первый план: «В этой вечной *склоке* ловить // Эолийский чудесный *строй*». Тема для Мандельштама очень важная, особенно если учесть ее насыщенность дионисийско-ивановскими ассоциациями: и случайно ли характеристикой «хаоса» у Мандельштама становится столь подозрительно дионисийский атрибут — «разорванность»? Ассоциации эти были отнюдь не чужды Мандельштаму: вспомним хотя бы «Оду Бетховену», текст которой совершенно недвусмысленно отсылает к Вяч. Иванову. Этот намек тем более уместен в связи с темой *музыки* в «Концерте на вокзале», в связи с тем роковым и пророческим звучанием, которое приобретает здесь «рокот фортепьянный»: именно «музыка» замещает в последней строке тютчевские «веру» и «молитву». Через эти ассоциации нить протягивается и к блоковским образам «хаоса», «гармонии», «музыки», наполнявшим его послереволюционные статьи и непосредственно связанным с той же ницшеанско-ивановской символикой. Для Мандельштама этот семантический узел был напряженно актуален, о чем свидетельствует, в частности, его статья «Барсучья нора». Его не могли не привлекать поразительные смысловые «какофонии» Блока: от знаменитого «мотора» до «белого венчика из роз». В мандельштамовском «революционном классицизме» есть много точек соприкосновения с тем чувством событий, которое породило послереволюционную «какофонию» Блока. В «Концерте на вокзале» — не менее рельефно, чем в «Шагах командора»,— «пласты времени легли друг на друга в заново вспаханном поэтическом сознании». Здесь тот же прием столкновения двух лексических плоскостей: Аониды — и свистки паровоза.

Главной темой стихотворения «Концерт на вокзале» — как и всей поэзии Мандельштама 20-х годов — становится история: речь идет о конце целой эпохи. «Хрупкое летосчисление нашей эры подходит к концу» — не просто конец века, fin de siècle, о котором говорится в «Музыке в Павловске», а конец той самой *нашей эры*, начало которой — Рождество Христово. Мандельштам не творит, подобно Блоку, новый миф, и, тем не менее, тут намечается еще одна ниточка. Выбор Блоком (и, косвенно,— Мандельштамом) эпохи гражданских войн в Риме, эпохи зарождения христианства в качестве своего рода символа «роковых минут» истории («Катилина», «Двенадцать») непосредственно перекликается со стихотворением Тютчева «Цицерон». В своей первой и самой громкой послереволюционной статье «Интеллигенция и революция» Блок прямо цитирует это стихотворение: «Блажен, кто посетил сей мир...»

Таким образом, в рассматриваемый семантический узел «хаос-гармония-музыка-революция-история» оказывается вовлеченной и тютчевская поэзия, что делает еще более весомым ее присутствие в «Концерте на вокзале». Этот узел отнюдь не чужд и самому Тютчеву с его «шевелящимся хаосом», с его политическими статьями, в числе коих и статья с характерным названием «Россия и революция». Отметим, что и архаизмы «Концерта на вокзале» имеют своеобразную тютчевскую окраску: «На звучный *пир*, в *элизиум* туманный...».

Словосочетание «рокот фортепьянный» оказывается как бы на пересечении сплетенных, оспаривающих друг друга тем: умирание века (звериная семантика), хаос-гармония (железное-музыкальное), музыка-революция, гибель музыки (поэзии) вместе с веком, неприкаянность поэта и поэзии (отторгнутость, «последнесть»: «Я опоздал. Мне страшно...»). Здесь как бы сталкиваются эти ключевые темы, свертываются, чтобы вновь въяве предстать в последующих строках: «...весь в *музыке* и *пене // Железный* мир так нищенски дрожит...». Железный мир вокзала — в пене, как загнанный конь из стихотворения «Нашедший подкову», где целой вереницей образов толкуется о продлении за грань, бытии после смерти: все кончено, но, каким-то неведомым образом — в повороте шеи, в ощущении тяжести — еще остается *последнее*, уже не укорененное, лишенное опоры, нищее, нищенское, дрожащее, последнее. «В последний раз» — на тризне, на собственной тризне: так и век-зверь — не убит, а бессильно лежит с переломленным позвоночником, «усыхающий довесок», лишенный живительной, животворящей связи...

Образ грани, перелома реализуется в образе вокзал: вокзал — это всегда грань, грань миров, не принадлежащая ни одному из них; это прощание и нежная жалость и к оставленному, теряемому позади, и к уходящему, теряемому впереди; это образ смерти (недаром — «в элизиум туманный»).

«Железный мир», дрожащий в пене и музыке, как бы замещает здесь «века-зверя»: он также обречен, гибнет, также окрашен особой мандельштамовской нежностью, состраданием. Связь эта укрепляется тем, что читателю слишком хорошо знакомо промежуточное словосочетание: «железный век». Самостоятельная значимость этого виртуального медиатора заключается в той семантической нагрузке, которую оно несет как цитата, как почти устойчивое выражение. Архаичность его, дезавтоматизированная в контексте мандельштамовского «революционного классицизма», подкрепляется знаменитой строкой Баратынского: «Век шествует путем своим железным»,— не забудем, что строка эта начинает стихотворение «*Последний* поэт». И вновь Блок, «Возмездие», поэма о конце века, о гибели: «*Век* девятнадцатый, *железный*,//Воистину жестокий век!» (Характерно, что «Музыка в Павловске» начинается прямой цитатой из того же «Возмездия»: «Я хорошо помню *глухие годы России* — 90-е годы — ...*последнее* прибежище *умирающего века*».)

Итак, в виртуальной цитате «железный век» мы находим те же аллюзионные слои, которые прежде были отмечены нами в связи с темой «хаоса — гармонии»: античность, русская философская лирика XIX века и символизм с его историософией. При этом следует заметить, что и в творчестве «архаистов», и в творчестве символистов особый акцент делается на рецензию, интерпретацию античности: классическое оказывается непрерывным во времени, живым. В этом контексте весьма уместна фигура Анненского — филолога-классика, переводчика Еврипида, автора квази-античных пьес,— и это первый, пока достаточно неопределенный намек на возможность значимого присутствия Анненского в стихотворении Мандельштама. Но вглядимся пристальнее — и следы этой *тени* начнут явственно проступать на шероховатой поэтической ткани.

Прежде всего, возвращаясь к теме «конца века», теме глухих 90-х годов, заметим, что не последнюю роль при ее формировании в «Шуме времени» играет музыка, соотнесенная с такими именами, как Чайковский и Рубинштейн. «Львиный Антон» — образ, который даже в словесной аранжировке коррелирует с «рокотом фортепьянным». Внимательнее вслушиваясь (с оглядкой на прозу) в мандельштамовский «рокот фортепьянный», мы улавливаем в нем и эти звуки, эти имена. Он оказывается вполне сопоставимым с «рокотом фортепьянным» у Анненского — как конкретность, как характеристика жизни определенного периода, как переживание-вещь. Ведь Анненский, помимо той «воинствующей филологии и героического эллинизма», которые Мандельштам связывает с его именем, был для Мандельштама неотрывен и от самой эпохи: «Все спали, когда Анненский бодрствовал. Храпели бытовики. Молодой студент Вячеслав Иванович Иванов обучался у Моммзена... И в это время директор царскосельской гимназии долгие ночи боролся с Еврипидом...». «Рокот фортепьянный» как звучанье умирающего века (на вокзале, на тризне) отнюдь не безразличен к «рокоту фортепьянному», раздающемуся как бы из сердцевины этого умирания — из стихов Анненского (ср. в том же стихотворении «Он и я»: «И безответна и чиста // За нотой умирает нота»). Но нить, связующая здесь Анненского с Мандельштамом, тянется дальше. Дело в том, что «вокзал», «железная дорога» — это яркие, узнаваемые элементы поэтического мира Анненского. Вспомним «Трилистник вагонный», «Лунную ночь на исходе зимы», «Прерывистые строки». Вспомним и постоянные разъезды Анненского в качестве инспектора Петербургского учебного округа, нашедшие отражение даже в подписях под его стихами: «Вологодский поезд», «Почтовый тракт Вологда — Тотьма»; саму его жизнь в Царском Селе, что также подразумевает необходимость железнодорожного сообщения; наконец, потрясшую современников скоропостижную смерть Анненского на ступеньках Царскосельского *вокзала*. Последнее, пожалуй, наиболее существенно для нас.

Стихотворение Мандельштама пропитано образами конца, смерти, разложения, послесмертия: элизиум, родная тень, на тризне милой тени, гниющие парники, твердь кишит червями. Лермонтовская и тютчевская цитаты также обращают нас к тому же кругу образов. В контексте «умиранья века» внезапная смерть Анненского (накануне, на грани, на вокзале) приобретает символическое значение. Вспомним, что Блок предваряет поэму «Возмездие» — темы которой были отнюдь не безразличны для Мандельштама, и прежде всего тема «конца века», той «духовной колыбели», с которой столь тесно связан сам Мандельштам,— предваряет поэму, мыслившуюся автором как произведение о сломе эпохи, о кризисе, перечислением символических смертей, пришедшихся на 1910—1911 годы, годы написания основной части «Возмездия». Смерть Комиссаржевской, Толстого, кризис символизма, рождение акмеизма — все это было важно и для Мандельштама. Даты спрессованы плотно: Анненский умер всего за несколько месяцев до смерти А. Л. Блока, явившейся непосредственным толчком к началу работы над поэмой.

Смерть Анненского — учителя акмеистов — накрепко соединена со смертью века; Анненский в каком-то смысле — «последний поэт».

Эта символика явно возникает в значительно более поздних стихах другого поэта, теснейшим образом связанного как с Блоком, так и с Мандельштамом,— у Ахматовой. Я имею в виду прежде всего стихотворение «Учитель». В собрании стихов Ахматовой, хранящемся в ЦГАЛИ, это стихотворение открывает цикл «Венок мертвым»: поэзия Анненского, судьба Анненского, смерть Анненского для Ахматовой — как бы эпиграф к гибели эпохи, к судьбе и гибели ее поколения, «вкусившего мало меду». Как с еще большей определенностью сказано в одном из вариантов стихотворения «Учитель»: «Он был предвестьем, предзнаменованьем // Всего, что с нами позже совершилось». Для нас важно, что одно из центральных стихотворений этого цикла посвящено Мандельштаму. (Две строфы из него были объединены Ахматовой со стихами, посвященными Цветаевой и Пас-

тернаку, под общим заглавием «Из цикла „Милые тени“» — ср. «на тризне милой тени» в «Концерте на вокзале».)

В основном корпусе стихов Ахматовой «Учитель» также входит и своего рода цикл, непосредственно примыкающий к «Поэме без героя»,— в цикл стихотворений, датированных главным образом 40-м годом, темой которого становится — как и в Поэме — «погребенье эпохи». Эта тема — центральная в позднем творчестве Ахматовой. И одно из важных мест занимает здесь образ Блока — «трагического тенора эпохи». Сама Ахматова указывала на связь своей Поэмы с «Возмездием»; и хотя она высказывалась о поэме Блока как о том, от чего сознательно отталкивалась, нельзя не увидеть общность темы: «возмездие», «обвинение культуры», гибель эпохи. Нельзя не почувствовать общность символико-музыкальной методологии, особенно если иметь в виду не столько саму поэму Блока, сколько предисловие к ней.

Не менее значим в контексте данной темы для Ахматовой и образ Мандельштама. В «Поэме без героя» этот образ занимает одно из ключевых мест: начиная с датировки первого вступления и фразы «Я к смерти готов». (Небезынтересно, что «курсивная строфа», в которой возникает этот «чистый голос», прямо отсылает к «единому музыкальному смыслу» Блока — и Мандельштама: «Как одну музыкальную фразу // Слышу...». При этом сам образ единства реальности как «единства музыкальной фразы» восходит к Бергсону — мыслителю, оказавшему явное и значительное влияние на Мандельштама. Для стиля ахматовской тайнописи неслучайность такого сцепления отнюдь не исключена.) Еще одно место Поэмы следует упомянуть: слова о «будущем гуле» из 3-й главы, перекликающиеся как с блоковским образом «музыкального напора», так и с мандельштамовским его осмыслением («...Блок слушал *подземную* музыку русской истории...»). Не менее важна и прямолинейная формулировка несколькими строками ниже: «Приближался не календарный — // Настоящий Двадцатый Век». Мандельштамовский *Век* гибнет также отнюдь не по календарю, хотя и без такой точной датировки, как у Ахматовой. Такая точность, да и сама дата заставляют вспомнить опять же предисловие к «Возмездию», с его развернутым обоснованием близкой и не менее точной даты. Симптоматично также появление в качестве эпиграфа к *Эпилогу* Поэмы строк одного из *последних* стихотворений Анненского. Эпиграфы к Поэме важны не только — а иногда и не столько — своим содержанием, сколько самим фактом называния автора и той перекличкой строчек, образов, судеб, которая переодевает их самих в каком-то странном маскараде, причудливо смещая акценты.

Не менее важен образ Анненского для ахматовского Элизиума — Царского Села. На это прямо указывает хотя бы «Царскосельская ода»:

Царскосельскую *одурь*
Прячу в ящик пустой,
В роковую шкатулку,
В *кипарисный ларец*...

«Царскосельская ода» интересна для нас и как картина *рубежных* лет с их «предчувствиями, предзнаменованиями». В этом своем качестве она непосредственно связана с соответствующими картинами «Возмездия» и «Шума времени». И, наконец, датированное все тем же 40-м годом стихотворение «Мои молодые руки» возвращает нас к предмету нашего изучения — к «Концерту на вокзале»:

Свидетелей знаю твоих:
То *Павловского вокзала*
Накаленный музыкой купол...

Для нас особенно существенно, что образ этот, немыслимый вне связи с Мандельштамом, возникает все в том же контексте грани веков, смерти века, предчувствий крушения мира — в том контексте, для которого столь определяющей оказывается фигура Анненского. Характерно, что, обдумывая план автобиографической книги «Мои полвека», Ахматова предполагала посвятить одну из ее глав (последнюю!) Павловскому вокзалу — наряду с главами, посвященными Мандельштаму, Царскому Селу, Петербургу. Сохранившийся набросок к этой главе — о запахах Павловского вокзала — странно перекликается со строчкой из «Концерта на вокзале»: «И запах роз в гниющих парниках». Заметим, что к концу 30-х годов относится утраченная статья Ахматовой, посвященная смерти Анненского. Эта статья, по-видимому, явилась как бы прологом к той теме «послесмертия» и «возмездия», к тому «историческому символизму», которым отмечена новая эпоха ее творчества.

История гибели Вс. Князева, легшая в основу «Поэмы без героя», перекликается с историей смерти Анненского (точнее, с ее «семантикой»). Это смерть на *пороге* новой эры, что закрепляется фактическим местом драмы: в одном случае — вокзал как символ грани двух миров, в другом — порог квартиры возлюбленной с еще более прямыми коннотативными возможностями, явно реализованными в тексте Поэмы. Вспомним, что то же слово «порог» как бы просвечивает в стихотворении Мандельштама через виртуальное развертывание ключевой тютчевской цитаты («В последний раз вам вера предстоит: // Еще она не перешла порогу...»).

Я так подробно остановился на образе Анненского у Ахматовой не только в связи с очевидной тематической близостью ахма-

товского и мандельштамовского циклов. Для них обоих творчество Анненского было одним из главных ориентиров, образцов, было тем, из чего, в частности, эта общность и складывалась.

Итак, образ Анненского возможен как глубинная, теневая тема «Концерта на вокзале». Здесь речь не идет о какой-либо тайнописи (вроде ахматовской): ничто не зашифровано, не спрятано, но дано «в ослабленном существованьи». На фоне всех этих нитей, узелков и оглядок словосочетание «рокот фортепьянный» у Мандельштама как бы вбирает в себя «рокот фортепьянный» Анненского, и рядом с павлином, розами, Аонидами и Элизиумом оно приобретает столь, как нам поначалу казалось, чуждый ему оттенок изысканности и театральности, который неотрывно связан для Мандельштама с «календарным» концом века и потому особенно уместен в стихотворении о его «некалендарном» конце.

Чуть дальше в тексте обнаруживается еще одно словосочетанье, на которое ложится все та же «милая тень», тень Анненского: «Железный мир *так нищенски* дрожит». Слово «нищенский» употреблено здесь почти в прямом смысле, но после Анненского («Этот *нищенски*-синий // И заплаканный лед», «Иль я не весь в безлюдье скал // И в черном *нищенстве* березы») оно уже невозможно без оглядки на него. Эта связь укрепляется наречием «так», употребление которого совершенно ненагружено в лексике Мандельштама, и в то же время является очень заметной, узнаваемой особенностью поэзии Анненского (Анненский весь — «*такой*»...). Узнаваемая связь не менее зыбка, чем та, которая послужила поводом для всех этих рассмотрений. Однако тень, возможность остаются — это как бы иное бытие, столь не похожее на то, что «можно пощупать руками», такое никак-не-вспомнить-знакомое, как тень невидимой птицы или шум дождя в темноте...

1982

А. М. Вершик[1]

ПОТАЙНОЙ ДАЙДЖЕСТ ВРЕМЕН ЗАСТОЯ

Памяти С. Ю. Маслова

Огромная часть опубликованных в последние годы и написанных ранее литературных, публицистических, исторических и других произведений «вышла» в шестидесятых и семидесятых годах в самиздате и распространялась среди тысяч, если не миллионов, читателей. Самиздат зародился в конце пятидесятых годов, позже к нему присоединился тамиздат — книги, журналы, статьи, изданные за рубежом. Для будущего историка изучение истории самиздата, его распространенности и влияния на общественно-политическую и культурную жизнь страны будет захватывающей темой. Идеи, высказанные там, вынашивавшиеся в различных по своей направленности дискуссиях, сыграли выдающуюся роль в формировании того, что теперь называют перестройкой, да и в целом — в формировании общественной и культурной мысли наших дней. Уже на ранней стадии самиздат начал оказывать ощутимое влияние на официальную, подцензурную литературу — его невозможно было игнорировать, хотя к этому стремились блюстители и охранители идеологического порядка. Это влияние было очевидно всякому, кто имел возможность и желание знакомиться с неподцензурной литературой. Рождение самиздата в некоторой, хотя и далеко не полной, мере утоляло огромную жажду свежего слова, свободной мысли, которых так не хватало все советские годы в жизни страны.

Если сейчас читатель или слушатель, оторванный ранее от источников самиздата (а такие, по-видимому, составляли большинство), испытывает почти растерянность от обилия обрушившихся на него материалов и произведений, столь непохожих на то, к чему он привык за десятилетия,— то нечто похожее случилось тридцать или двадцать лет тому назад с теми, кто знакомился с произведениями самиздата или тамиздата.

К началу семидесятых годов наряду с изданиями старой эмиграции появилось множество изданий освоившейся со своим положением новой эмиграции — несколько десятков журналов, серии книг и т. п. Этот поток, урывками, тайно проникавший в страну, соединялся с десятком-другим самиздатских журналов. Среди них — литературные, общественно-политические, религиозные... Жаль, что литературоведы, социологи, политологи еще не занялись их исследованием или хотя бы описанием. Эта многообразная и любопытная мозаика до-

[1] Вершик Анатолий Моисеевич (род. в 1933 г.) — доктор физико-математических наук, профессор ЛГУ. Живет в Ленинграде.

лжна стать известной сегодняшнему читателю. Боязнь «нелегальной» литературы, вбитая десятилетиями, страх перед нестандартной точкой зрения, слепота и даже враждебность к непохожему еще живы, несмотря на то, что мы все еще не без удивления находим замечательные (хотя далеко не все) произведения, вышедшие когда-то в самиздате и тамиздате, в наших лучших журналах.

В конце 70-х годов несколько ленинградцев договорились о создании машинописного журнала, целью которого было реферирование и рецензирование обширной неподцензурной, а также заслуживающей внимания официальной литературы, полемика, краткие обзоры и пр. То есть журнала, который по жанру более всего походит на реферативные научные журналы или, что менее точно,— на дайджест. От последнего это издание по замыслу отличалось тем, что оно состояло не только из выдержек и рефератов. По-видимому, идея издания была новой, подобного журнала до тех пор не было.

В осуществлении замысла приняли активное участие не только ленинградцы. Инициатором и наиболее активным участником был Сергей Юрьевич Маслов (1939—1982), математик, интеллектуал, яркий и независимый человек, трагически погибший в июле 1982 при не вполне выясненных обстоятельствах, а также математик, историк и общественный деятель Револьт Иванович Пименов (1931—1990).

После некоторых дискуссий журналу было дано название «Сумма», символизировавшее его объединительную направленность. С 1979 по 1982 год вышло 8 номеров журнала. Стоит привести эпиграф, печатавшийся на обложке почти всех номеров «Суммы»: «Всему свое время. Сегодня — время насаждать и врачевать, время собирать камни... Скромная цель этого издания — способствовать ориентации в бурной и противоречивой духовной жизни нашей страны, нескромная — искать пути к СИНТЕЗУ. Это стремление и составляет главный содержательный принцип журнала». Журнал распространялся с обычными для самиздата осторожностями — несколько десятков копий, в основном в Ленинграде и Москве. Одна из этих копий находится в университете в Беркли (США), вторая передается в один из московских архивов.

Журнал содержал разделы рецензий и рефераты: А. «Точка зрения», Б. «Обзоры и размышления», В. информационный раздел, в нем давались оглавления некоторых изданий, в основном самиздатских, справки, информация и пр. Тематически журнал охватывал множество вопросов — общественные проблемы, историю, философию и философию истории, литературу, искусство. Наибольшее внимание уделялось текущим общественным процессам, демократическому движению, национальному вопросу и национально-религиозному возрождению, правам человека, обсуждению конституции, истории, роли науки и искусства в обществе и др. Круг реферируемых и рецензируемых изданий был довольно широк, во всяком случае, по тем возможностям, которые были, и по тем правилам относительной безопасности, которые соблюдались. Список реферируемых журналов включал «Континент», «Вестник русского христианского движения», «Хронику текущих событий», «Синтаксис», «Русское возрождение», «Поиски», «Часы», «37», «Евреи в СССР», «Община», «Время и мы», исторические сборники «Память» и другие, всего более 20 журналов и изданий. Рецензировались самиздатские, тамиздатские и иногда официальные материалы и книги. Печаталось много специально написанных для журнала работ и статей.

Ниже мы приводим ряд материалов из разных номеров «Суммы» с целью дать представление о журнале, а также, и в первую очередь,— о самих этих публикациях. Мы старались выбрать из всего обширного материала (около тысячи страниц плотного машинописного текста) лишь самое характерное. Нелишне напомнить, что мысли авторов рецензий и статей совсем не обязательно разделялись издателями журнала. В основном авторы печатались под псевдонимами.

Намеренная информационная изоляция человека, которую пытались разрушить лишь немногие, привела в конце концов к тяжелому состоянию общества, в котором мифы заменяют знания, штампы — анализ, социальные предрассудки — здоровый конструктивный подход. Нам не кажется, что монополия на информацию исчезла, вряд ли также, что создатели и инициаторы информационного и другого железного занавеса и дезинформационных кампаний не понимали, каковы будут последствия изоляционизма. Некоторым и сейчас хотелось бы вернуть порядки, когда мнения и разъяснения идут лишь «сверху вниз», когда чтение и тем более распространение и напечатание неподцензурных текстов рассматриваются как «опасное уголовное преступление», обязательно инспирированное спецслужбами Запада, подрывающее основы и прочее. Но несомненно также и то, что эти блюстители чистоты мысли потерпели поражение. Они надеются — временное. Но их сегодняшняя беспомощность дает нам еще одну возможность оценить преимущества свободы мысли перед охранительным мракобесием, выдаваемым за знание истины, преимущества разнообразия мнений и живых дискуссий перед убожеством омертвевших принципов.

С. ЛИПКИН. **Открытое письмо.** (Секретарям СП СССР, СП РСФСР, Московской писательской организации, членам редколлегий «Литгазеты», «Лит. России», «Московского литератора»). Авг. 1979, 10 стр.

⟨...⟩ не будучи составителем «Метрополя», я был знаком только с некоторыми работами альманаха. Из «Московского литератора» я сперва узнал, что произведения четырех писателей, мои в том числе, служат фиговыми листками, прикрывающими литературный срам, а затем та же газета опубликовала подборку отрицательных об альманахе отзывов почти 30 членов СП ⟨...⟩ Но вот последовали дни и недели, в течение которых кое-кто из осудителей стал заявлять знакомым и составителям устно, а один — письменно, что их отзывы газетой искажены, что не нравятся отдельные произведения, а в целом альманах хороший или даже очень хороший. Наконец я прочел весь альманах и, положа руку на сердце, могу теперь сказать: альманах действительно очень хороший. ⟨...⟩

«Московский литератор» опубликовал заявление С. Михалкова, касающееся меня: «Мне непонятна позиция С. Липкина. Представители национальных литератур, эпос которых он перепял и которые еще не вышли из печати (неграмотность фразы, уверен, принадлежит редакции, Михалков отлично владеет русским языком), задумываются сейчас над тем, а не следует ли им обождать, пока найдется другой Липкин». ⟨...⟩

Друзья меня спрашивают — жалею ли я о том, что из-за участия в альманахе «Метрополь» я оказался на старости лет в трудном положении. Да, жалею, жалею о том, что представлен в «Метрополе» весьма небольшим количеством стихотворений.

Анатоль Франс рассказывал о набожном акробате, который служил Богородице с помощью фокусов: иначе он не умел ей служить. Авторы альманаха — писатели, очень разные по манере письма, по кругу тем, по пониманию художественности. Но их сближает (если мне будет позволено применить к делам нашего цеха столь высокий термин) — экуменическое начало. Все авторы хотят, каждый по-своему, служить Богу, чье имя — Правда, и не хотят служить дьяволу, чье имя — Ложь.

С уважением — *С. Липкин.*

В. СОКИРКО. **Экономика 1990 года: что нас ждет и есть ли выход?** (ноябрь 1979, 22 стр.)

Проанализировав состояние нашей экономики, автор приходит к выводу:

⟨...⟩ простое экстраполирование предсказывает кризисную точку где-то на рубеже 1990 г., а с учетом непризнаваемой инфляции — в районе 1984 г., понимая под ней начало падения национального дохода на душу населения или, в марксистских терминах, начало абсолютного обнищания населения Советского Союза.

Однако анализ основных факторов — источников роста национального дохода — показывает, что они уже и сейчас близки к исчерпанию, а это вызовет в скором будущем не только замедленное снижение нашего национального дохода, а может вызвать его ухудшение и привести к бунту, к социально-экономической катастрофе.

Эту статью автор послал в «Правду», сопроводив ее просьбой:

Я ⟨...⟩ прошу лишь одного: обсудите ее, раскритикуйте и убедите в беспочвенности и необоснованности изложенных в ней опасений. ⟨...⟩

Мои попытки обращаться с вопросами о надвигающемся кризисе к специалистам приводили их в ужас ⟨...⟩ запретностью самой темы. ⟨...⟩

Я пишу вам, хотя, честно говоря, и мне страшно.

(Перепечатка из «Хроники текущих событий», № 56.)

Десять лет «Хронике текущих событий» (Группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР, документ № 48, 27 апреля 1978). Печатается по журналу «Поиски», № 1/2, 1978.

Движение за права человека в СССР сформировалось более десяти лет назад под влиянием и в непосредственной связи с важнейшими анутренними и внешними событиями того времени. Одним из важнейших факторов в формировании этого движения стало основание информационного издания «Хроника текущих событий». Первый номер вышел 30 апреля 1968 года. На титульном листе его, так же, как и во всех последующих номерах, так же, как и теперь,— текст статьи 19 Всеобщей Декларации Прав Человека: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ». Десять лет существования «Хроники текущих событий» — это десять лет борьбы за гласность, с нетерпимостью и несправедливостью нашего общества, борьбы за его открытость, демократизацию и общую гуманизацию. Все эти годы и по сей день публикации «Хроники» являются наиболее объективным, полным и точным отражением фактов нарушения прав человека в СССР. Они широко используются как в СССР, так и за рубежом при защите праа человека. В частности, «Эмнисти интернейшнл» регулярно публикует «Хронику текущих событий» на английском и других языках и широко использует ее материалы в своей деятельности по защите политических заключенных.

Все эти годы «Хроника» героически противостоит репрессиям и провокациям властей, неся тяжелейшие потери,— преследуются редакторы, издатели, те, кто собирает материалы для «Хроники», те, кто ее распространяет, и ее читатели. Одни из них сегодня в лагерях, другие были вынуждены эмигрировать, третьи продолжают свой ответственный, самоотверженный труд. И невозможно переоценить благородное воспитывающее значение «Хроники текущих событий» для всех участников правозащитного движения и бесчисленных читателей в СССР и за рубежом.

Е. Боннэр, С. Калистратова, М. Ланда, Н. Мейман, В. Некипелов, Т. Осипова, В. Слепак.

В. НЕКИПЕЛОВ. **Мысли о гражданстве.** «Поиски», 1978, № 4.

По поводу лишения П. Григоренко, М. Ростроповича и Г. Вишневской советского гражданства автор вспоминает предыдущие случаи (В. Тарсис, С. Аллилуева, В. Чалидзе, Ж. Медведев, А. Солженицын, В. Максимов) и настаивает: «Гражданство есть категория юридическая, а не политическая, общечеловеческая, но не партийная. 〈...〉 Добровольный выход из гражданства должен осуществляться беспрепятственно и безвозмездно. Недобровольное лишение не может иметь места ни при каких обстоятельствах».

В *послесловии* законодательные новшества, которые «на фоне государственных репрессий почти не режут притерпевшийся глаз. 〈...〉 К концу 1978 г. легальным и нисколько не тайным законодательным порядком в руках государственной власти сосредоточился набор эффективных мер, ни одна из которых на сей раз не требует доводить дело до суда. Вы можете *лишить* всякого гражданина СССР: а) орденов — через Верховный Совет; б) телефонной связи — через Минсвязь, на то есть и инструкция; в) ученой степени — через ВАК, по новому положению; г) работы — 〈...〉 бессчетными путями, в том числе лишением спецдопуска, объявив конкурс, переаттестацией и т. д. и т. п.; д) гражданства СССР — снова через Верховный Совет. 〈...〉 Чем кара менее символична, тем проще и ближе ходить за санкцией на нее, а жертве и негде выступить за себя. 〈...〉 Иному и одной такой «меры» достанет. А вот Александр Зиновьев прошел весь список от «а» до «д» — ни разу не соприкоснувшись, кажется, ни с одним представителем судебной власти. 〈...〉 Не закончено и обобщение как отечественной, так и братской социалистической внесудебной практики. В братской Чехословакии, например, найдены оригинальные решения с отключением не одних телефонов, а и воды, электричества и центрального отопления в квартирах правозащитников. Последняя мера, принятая вовремя, скажем, в январе, на наших широтах избавляет и от нужды лишать гражданства, зато распоряжение на этот счет отдает не Верховный Совет, а инстанции более низовая и легко доступная суровому голосу общественности — ЖЭК по месту проживания.

Или другой пример, из опыта братской половины Германии. Здесь сложился обычай отнимать у родителей, ведущих антигосударственный образ жизни, их детей. Изъятых детей передают активным общественникам в порядке партийной дисциплины, а указание об этом дается примерно на уровне райкома партии. 〈...〉

Принцип, согласно которому С ЧЕЛОВЕКОМ КАК ГРАЖДАНИНОМ ГОСУДАРСТВА НИЧТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СДЕЛАНО БЕЗ ГОСУДАРСТВА, НО ГОСУДАРСТВОМ МОЖЕТ БЫТЬ СДЕЛАНО ВСЕ,— уже не предлагается в виде парадокса, рассчитанного попугать либералов. Он тут, присутствуя во всех законодательных и беззаконных — рано! — новациях последних десятилетий, в качестве «соответственного», очевидного постулата, допущения, без которого якобы немыслим «закон и порядок». Такова последняя наша конституция, не отступает от нее и новейший «закон о гражданстве». 〈...〉

Информационные Бюллетени Рабочей Комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях. М., 1977—1979.

Комиссия в составе Вячеслава БАХМИНА (107497, М., Байкальская д. 46, к. 2, кв. 52), Александра ПОДРАБИНЕКА (в ссылке, 678730, Якутская АССР, Усть-Нара, до востребования), Феликса СЕРЕБРОВА (119361, М., Озёрная д. 27, кв. 109) и Леонарда ТЕРНОВСКОГО (113452, М., Балаклавский пр., д. 3, к. 6, кв. 431) создана 5 января 1977 г. при Московской группе «Хельсинки». Регулярно издается Информационный Бюллетень. В № 14 (5. 1. 79) публикуется краткий отчет *«Два года работы Комиссии»*.

«Комиссия стремится облегчить участь узников психбольниц и сделать все возможное для прекращения практики психиатрических репрессий». За два года послано более 70 писем в психбольницы, органы здравоохранения и прокуратуры. Комиссия выступает с обращениями к общественности и различным психиатрическим ассоциациям, пытается встречаться с врачами и работниками Минздрава, в ряде случаев оказывает материальную помощь узникам психбольниц и их родственникам. В Бюллетене помещены сведения о 66 лицах, подвергавшихся психиатрическим преследованиям по идеологическим мотивам, в разделе «Розыск» помещены имена еще 157 человек, сведения о которых недостаточны. «Большую помощь Комиссии оказывает ее консультант, врач-психиатр А. Волошанович. Им проведено освидетельствование 33 лиц, подвергавшихся госпитализации или угрозе ее». Описаны многочисленные трудности в работе Комиссии, двое из ее членов были осуждены по уголовным обвинениям. Давление распространяется и на тех, кто обращается за помощью. Тем не менее, «к нам приходят, звонят или пишут люди, столкнувшиеся лицом к лицу с „карательной медициной“. И пока существуют ее жертвы, Рабочая Комиссия не может прекратить свою работу».

В Бюллетене регулярно сообщается о насильственно госпитализированных, об узниках психбольниц и лицах, недавно освободившихся; печатается хроника психиатрических репрессий прошлых лет. В приложениях публикуются тексты ряда юридических документов, обращений и писем.

В № 14—15 уделено место делу А. Подрабинека, приговоренного 15.8.78 к 5 годам ссылки за написание им книги *«Карательная медицина»*. Приложена запись подготовительной части судебного заседания по этому делу, наглядно иллюстрирующая предвзятость суда; приводятся тексты приговора, кассационной жалобы и ряд др. документов. В № 15 перепечатано письмо Генерального секретаря Всемирной психиатрической ассоциации, информирующее ее членов об образовании Комитета по рассмотрению случаев злоупотребления психиатрией. В состав Комитета входит представитель Чехословакии, среди юристов — консультантов Комитета — представитель Польши. В № 16 обращают на себя внимание *Свидетельские показания* В. НЕКИПЕЛОВА в защиту М. Кукобаки — кратко описывается биография Кукобаки, содержание его статей и свидетельства его «ненормальности»: «вывешивание портретов Сахарова и Григоренко является ненормальным» (зав. отделением Могилевской психбольницы Н. М. Драбкина), «бред физкультуры» (Кукобака занимался физическими упражнениями в коридоре института им. Сербского), «бред реформаторства» и «бред иностранных языков» и т. п. В № 17 (от 22.6.79) содержатся, в частности, материалы подробнейшего обследования Григоренко американскими психиатрами, не обнаружившими, конечно, никакого психического заболевания в настоящем или прошлом (обследование проводили независимо друг от друга три специалиста по разной методике, беседы с Григоренко и видеозапись отдельно изучали еще в отделе биометрических исследований Нью-Йоркского государственного психиатрического института).

Священник Глеб ЯКУНИН. **Московская патриархия и «культ личности Сталина»** (Часть 1). «Русское Возрождение», № 1, 1978, с. 101—137.

Рассматривается история участия Московской Патриархии в служении «культу личности», апофеозом которого явился Адрес к 70-летию Сталина. По мнению автора, Адрес является самым позорным документом за всю историю христианской Церкви. Отправной точкой «эскалации лжи, предела которой не видно и поныне», автор считает послание Тихона от 18.6 (1.7) 1925 г., в котором патриарх «признается» в антисоветской деятельности. Так впервые был применен принцип лжи во имя спасения Церкви. В 1930 г., во время тяжелых гонений на Церковь, митрополит Сергий дает интервью, в котором категорически отрицает факты закрытия храмов и преследований верующих и выступает против кампании Запада в защиту РПЦ. Именно с этого времени, считает автор, обман и лжесвидетельство стали постоянными компонентами всех выступлений официальных представителей РПЦ. В качестве примеров приводятся: статья митрополита Николая (Ярушевича) по поводу убийства в Катынском лесу 4,5 тысячи польских офицеров, заявление Патриарха и Синода, вносящее вклад в кампанию против «сбрасывания с американских самолетов зараженных насекомых».

Рассматриваются духовные критерии отношения Церкви и государства. Автор указывает, что РПЦ оказалась неподготовленной к крушению христианского государства, что руководство РПЦ продолжало жаждать «симфонии», в то время как «мир, по-видимому, окончательно дехристианизировался, а „симфоническая“ эпоха безвозвратно миновала... Положение Церкви в мире стало весьма похожим на положение в первые времена христианства». Вехами на пути духовного сближения Церкви и государства стали «Завещание» Тихона и Декларация от 29.7.1927 о легализации РПЦ. Такая политика привела бы к полному уничтожению легальной Церкви (к 1937 г. на свободе оставалось 4 епископа, действовало около ста храмов), если бы не начавшийся в середине 30-х годов постепенный поворот Сталина к «имперско-националистическому курсу» (введение офицерских званий, восстановление воскресений и т. п.). Этот процесс бурно активизировался в войну (обращение Сталина: «Братья и сестры!» — типичное начало проповеди) и достиг апогея в последние годы жизни Сталина. «Лошадь великого князя (Долгорукого) своим могучим крупом загородила здание Института марксизма-ленинизма (похожее на крематорий) и сиротливо сжавшуюся фигурку Ленина перед ним. Возникший на площади Моссовета „архитектурный ансамбль“ стал прекрасным символическим памятником радикальной политической переориентации страны». Психологическую предпосылку пассивности и фатализма восточного православия автор видит в подмене понятия «Божьего *попущения* понятием Божьего *соизволения*».

М. БЕГИН. **В белые ночи** (перевод с иврита). Тель-Авив, 1972.

Должен ведь был из миллионов советских ЗК найтись хоть один будущий глава правительства свободного государства, как нашлись великие писатели и др.! Один уже и нашелся — нынешний премьер Израиля Менахем Бегин. А книга запечатлевает тот кусок его изобилующей событиями жизни, который он провел под следствием в Вильнюсе и в лагере на Печоре (1940—1941). Мало кто знал об этом у нас. Год написания книги — 1952-й! Свидетельство, как мы видим, из ранних. Как воспринимались ранние свидетельства на Западе, можно прочесть тут же: Лея Витковская (знакомая автора, которую он встретил в Средней Азии), выехав позже из СССР, выступила перед комиссией ООН с показаниями об условиях на советских медных рудниках (по этому поводу один член комиссии заявил: «Нам известно, что эта женщина — профессиональная шпионка»).

Путь Бегина по «стране ЗК» (термин Ю. МАРГОЛИНА из тоже очень ранней книги «Путешествие в страну ЗК»), или по Архипелагу, как сейчас говорят, был коротким и, если можно употребить это слово,— удачным. Арест в Вильнюсе (IX. 1940), куда автор пришел, уходя от немцев из Варшавы. Следствие в Вильнюсской Лубянке — Лукишки. 8 лет без суда по 58-й статье за «антисоветскую деятельность», что в данном случае означало участие в сионистском движении а Польше до прихода советской власти. Этап, Печорлаг, снова этап и «польское» освобождение (1941 г.), после которого автор не столь просто, но попадает в армию Андерса.

Интересны «беседы» со следователем, который — по советским понятиям — весьма «подкован» в классовой борьбе. Он искренне не понимает, как это автор не признает себя виновным, хотя и признает участие в сионистском движении, реакционность которого каждому ясна; как это польские власти могут выпустить из тюрьмы (Бегин и там сидел) человека, не являющегося «прислужником капитала», и прочая дребедень. Но апофеоз таков: «Ну и чудак же вы, Менахем Вольфович! 58-я статья распространяется на всех людей во всем мире, слышите — *во всем мире*. Весь вопрос в том, когда человек попадет к нам или когда мы доберемся до него». (До этого объясняется, что статья написана Лениным.) Юридически образованный Бегин этого понять не может. А дискуссия и последующие события только показывают, что непредвзятому мнению и четкой жизненной позиции эти убогие философы — следователи НКВД — могли противопоставить лишь сроки. ⟨...⟩

И вот как рассудила история. «Я лично, гражданин следователь, отношусь к тем, кто верит в создание еврейского государства, хотя сам, возможно, этого не увижу»,— говорит на допросе Бегин. «Нет, не увидите»,— сухо сказал следователь. Интересно — увидел ли следователь?

Конец книги: «Да будут благословенны те, кто отвергает правду грубой силы, кто отвергает всемогущество деспотизма. Многих из них ожидают жестокие допросы а черные тюремные ночи и каторжный труд в белые ночи. Но пройдет время, и наступит светлый день, взойдет и улыбнется солнце».

А. ЗИНОВЬЕВ. **О Сталине и сталинизме.** «22», № 10, 1979, с. 128—136, рубрика «Русский вопрос».

Лаконично и глубоко, без присущего другим его эссе сортирного юмора, автор указывает два фактора, породивших сталинщину. Сначала заметим, что понятие «причина», хорошо работающее в простых ситуациях, чаще всего таких, как физика и химия, оказывается чрезмерно упрощенным и очень трудно применимым к социально-историческим вопросам, где действует множество сил; там удобнее вместо «причин» говорить о «факторах». Рецензенту кажется, что именно непониманием этого метаисторического обстоятельства объясняется возникновение яростного спора: что явилось причиной сталинщины (вариант — «коммунизма») — атеистическое марксистское учение или душа русского народа? Зиновьев пишет:

«Время эмоций на эту тему прошло. Настало время не только обличать злодейство, но и подумать о его исторической сущности и истоках».

Он отмечает *«нелепую иллюзию, будто в марксизме еще остались некие интеллектуальные высоты и тонкости, замолчанные или искаженные вульгаризаторами; будто существует некий истинный марксизм, не имеющий ничего общего с мрачными явлениями его в качестве идеологии коммунистического общества. ⟨...⟩ Сочинения Сталина и явились той живой мышью, которую родила гора марксизма. ⟨...⟩ Если рассмотреть первоисточники марксизма досконально образом с точки зрения строгих научных критериев, то обнаружится, что и вульгаризировать-то нечего было».*

Позиция, чуть ли не стопроцентно совпадающая с позицией Солженицына или Бернштама. Но вот следуют слова, раскрывающие кардинальную противоположность взглядов автора и вышеназванных литераторов:

«Выскажу еще одну еретическую мысль. Жертвы сталинизма — это лишь половина правды о нем. Есть другая половина, и именно та, что жертвы были помощниками и соучастниками своих палачей ⟨...⟩ Моя мать до самой смерти (она умерла в 1969) хранила в Евангелии портрет Сталина. Она пережила все ужасы коллективизации, войны и послевоенных лет ⟨...⟩ и все-таки хранила портрет Сталина».

Хотя ее сын, автор, был антисталинистом с 1939 г., т. е. со своих 17 лет.

«Дело в том, что, несмотря на все ужасы сталинизма, это было подлинное народовластие, это было народовластие в самом глубоком (не скажу, что в хорошем) смысле слова, а сам Сталин был подлинно народным вождем. ⟨...⟩ Зверства сталинизма были характерным выражением народовластия в тот период. ⟨...⟩ Народный вождь — не обязательно мудрый и добрый человек. Иногда народные вожди бывают отпетыми мерзавцами. А иногда они сами глубоко презирают народ, ибо знают, что такое народные массы в реальности, а не в книжках и не в доктринах».

Если бы Солженицын был в состоянии признать эти высказывания Зиновьева, то получил бы великолепную базу под свое неприятие демократизма и проповедь авторитаризма. Автор же, исходя из такого диагноза, предсказывает, что повторение сталинизма невозможно, ибо:

«Широкие массы населения сейчас уже лишены той власти над ближними, какою они обладали в сталинские времена. Эпоха буйного народовластия, к счастью, кончилась. А без самодеятельности массы населения никакой сталинизм невозможен».

Примечание. Редакция понимает, что для многих «еретическая мысль» Зиновьева является кощунственной; однако спор о таком «народовластии» отчасти имеет теоретический характер. Разумеется, не имеется в виду, что «неприятие демократизма и проповедь авторитаризма» полностью характеризуют политические вагляды Солженицына.

С. Н. Носов

РОССИЯ ЕВГЕНИЯ ВЕРТЛИБА

Россия Тютчева, в которую, по знаменитым словам поэта, «можно только *верить*»,— может быть, она, эта страна христианской правды и гармонии, все-таки реально существовала и существует поныне? Попытаемся ответить на этот прямой вопрос кратко и просто: несомненно существует как давний, покорявший и покоряющий многих художественный образ, выдержавший проверку на художественную долговечность, художественную ценность и правду. А художественные ценности и правда — они сложно, запутанно, на вид таинственно, соотносятся с так называемой жизненной правдой, с реальной материальной действительностью, с правдой голых исторических и социальных фактов.

Творчество русского философа-эмигранта Евгения Вертлиба, автора двух изданных на Западе книг — «1812 год у Пушкина и Загоскина» (Нью-Йорк, 1990) и «Василий Шукшин и русское духовное возрождение» (Нью-Йорк, 1990), заставляет вновь задуматься над тютчевским признанием, которое корили и корят то за наивность, то за туманность. В основе обеих книг Вертлиба — типически неославянофильских по пафосу и идеям — та убежденность, которую дает не знание, а именно вера, и только она. Специфический признак веры — невнимание к рассудочному анализу, логической доказательности (неотъемлемым компонентам научности, объективизма), а ее реальный опознавательный знак — господство чувства над разумом. Диктат чувства в книгах Вертлиба очевиден, несмотря на то, что они по внешности рассчитаны и на логическую доказательность. Вольное, достаточно освобожденное из-под присмотра рассудка чувство или — чуть точнее — художественное чутье диктует свои истины и искусству. На высоком уровне осмысления бытия искусство и религия схожи по крайней мере в том, что одинаково склонны использовать разум лишь на «подсобных работах». Вертлиб и относится к русской литературе — главному объекту его философических, в духе былого любомудрия размышлений — чисто религиозно. В книге о Шукшине он предлагает концепцию «литературы Единой Правды», резко спорит с А. Синявским, настаивающим на ценности удивительного, экзотического в литературе, не жизнеподобного, правдивого в одном лишь «словесном смысле». Шукшин для Вертлиба — благой символ того, что «Правда жизни ринулась широким потоком в искусство». И трудно не заметить, что Правда (именно с большой буквы!) для мыслителя — заклинание, нечто чудодейственное, а вовсе не казенная сумма действительных фактов, к которым мы нередко и вполне вправе оставаться равнодушными (ведь жизнь — не наука, служащая выяснению истины, а бытие, где ту же правду о неизбежности смерти приходится не слишком замечать, чтобы не потерять способность радоваться жизни). Религия правды, храмом которой мыслится литература,— чисто российское

явление, где-то в корне своем связанное с неразличением литературы и жизни, литературного образа и его жизненного подобия. Литература выговаривает правду жизни фактически вместо самой жизни — художественный образ, ну, хотя бы цветка в этом смысле правдивее самого цветка... И тогда художественные образы жизни, творимые рукой истинного художника, ближе к сути жизни, чем сама жизнь? Вне сомнения. Это напрямик утверждает вся славянофильская традиция мысли, к которой принадлежит Вертлиб, традиция, отказывающая искусству в праве на вымысел, а живой материальной жизни, ее «фактической» действительности — в праве на правду.

Характерно, что Вертлиб в вводной, можно сказать, общеидеологической главе книги «1812 год у Пушкина и Загоскина» доказывает: «Если для Соловьева вера превышает силу фактических и формально-логических доказательств, являясь и без того „фактом первоначальным“, то для Эйнштейна вера — бессмыслица прикладного „назначения“ целевой установки „результат — знания“. Забыли Бога: „Где Дух Господен — там свобода“. Опасна свобода без Креста».

Эйнштейновская и до известной степени современная общеевропейская стихия относительности Вертлибом, естественно, отвергается как стихия безверия и вседозволенности, свободы «без Креста». Здесь сразу вспоминается выявление и осуждение безбожной свободы-произвола Достоевским — прямая перекличка идей и миропонимания налицо. Альтернатива опасной вольнице безверия — свобода веры, превышающей «силу фактических и формально-логических доказательств», существующей над знанием, способной победить скепсис разума. Эта вера свободна, ошеломляюще свободна, поскольку уже одно ее существование означает ее правоту — ведь она «факт первоначальный», то, из чего человек обязан исходить как из верховной истины. Ссылка Вертлиба на предпочтение Вл. Соловьевым веры как факта силе логической доказательности симптоматична — у Соловьева вера не выглядит следованием букве догм, срастается с мечтой и прекрасным, породнена с вольным творчеством. И свободное внерациональное творчество (а оно есть художественное творчество в самом чистом виде), в свою очередь, оказывается породненным с верой — плоды веры преобразуются в «священные» художественные образы, подлежащие поклонению. Так превращается в святыню тот, в общих своих чертах повторяющийся, образ России, который Вертлиб в своих книгах видит и ретуширует. И в архаической романистике Загоскина, и в современной прозе Шукшина — это образ страны, живущей «не по лжи», образ, сакрализованный славянофильской традицией.

Если правда дружит при таком мировосприятии с истиной вольного чувства, то ложь — с вымыслом подневольного логике разума. Литература, жонглирующая плодами вымысла (игровая, нереалистическая), объявляется этаким цирком рассудка, бессмысленным и безбожным. Искусство без искреннего сопереживания с тем, что оно изображает, как пишет Вертлиб, «мертвость, выкрутасы на голом месте». А искреннее сопереживание изображаемому — это сочувствие на грани любви, если не сама любовь к нему и, значит, присущая любви идеализация любимого, поклонение ему. Намечается некий роковым образом замкнутый круг — без сочувствия России, любви к России правды о ней не напишешь, а любовь близка с поклонением любимому, поклонением России. «Темного лика» России при таких точках творческого отсчета никогда не получится, он всегда будет неистинен. И кружит славянофильская мысль в этом светлом кругу уже второе столетие — защищенная от критики разума, но незащищенная от самоповторения, трагической неподвижности: люблю Россию, и потому светел ее лик, а без любви и веры Россию не понять, это будет «чужой закон», которым ее, как пророчествовал Тютчев, не измерить.

Утверждая, что в искусстве без сопереживания изображаемому не состоится самого изображения, Вертлиб, между прочим, абсолютно прав — литературе и искусству противопоказано равнодушие, которое, появляясь в них, действительно выглядит «мертвым полем», заполняемым искусственными плодами фантазии, красота которых выглядит никчемной именно потому, что она не соприродна живому человеку, не способна стать живым элементом его души и мировосприятия. Литература жива чувством, а у чувств два вечных полюса — любовь и ненависть. Ненавидя, тоже можно творить — вспомним ядовитую прозу Салтыкова-Щедрина, яд неприязни во многих произведениях Набокова, от «Дара» до «Камеры-обскуры». Но ненависть как таковая — не созидательна. Если она движет художником, то обычно маячит за ней смутным фоном, в море бессознательного все та же любовь — пусть не к изображаемому, а к чему-то иному, но тому, чьему существованию изображаемое является ненавистной угрозой. Не случайно в «Мертвых душах» Гоголя — произведении, которое давно корили (Леонтьев, Розанов) за унизительное изображение русской жизни и ее типов, уродливо увенчанных Чичиковым,— всему этому мраку внутренне противопоставлена возвышенно-лирическая интонация, почти музыкальная тема «русской тройки», простора.

Если угодно, это удел писателя — любить жизнь, болеть душой за то, о чем он пишет. И точно так же удел того, кто берется за философское осмысление литературы, находить правду в тех художественных образах, которые эта любовь родила, иначе — остается отрицать литературу как таковую, отрицать как основанную на пристрастности. Рационализм, собственно, тяготеет — и всегда тяготел — к травле искусства, взамен которого он предлагает прейскурант своих ценностей — логику, рассудок, факты. Вооружившись этими ценностями, жизнь становилась сухой и механистичной. Такую жизнь — кстати, очень нерусскую, не приживавшуюся пока в России — стоило и стоит не слишком ценить и культивировать.

Вертлиб убежден, что «конечно, критику надлежит ходить перед неисчерпаемым искусством с непокрытой головой», убежден, что искусство проносит правду и в высших своих проявлениях созидает храм правды, попадая в который, кощунственно осуждать его святыни. В книге «1812 год у Пушкина и Загоскина» он пишет: «Да здравствует боль сопереживания за улучшение родного». А чуть далее, курсивом: *«Не естественно ли совпадение пульса страны, в своих основаниях правильной, с сердцебиением ее патриота?!»* Бескомпромиссно защищает Вертлиб прозу современных «деревенщиков», творчество и общественную позицию Солженицына (мы, живущие в России, в годы расцвета признания писателя уже забываем, да и не всегда знали, как резко, порой отчаянно критиковала его как общественного мыслителя левая эмиграция), отстаивает правоту современных движений за сохранение и возрождение национально русского, добольшевистского и антибольшевистского. Причем солидарен Вертлиб с людьми в общем-то непохожих взглядов и общественных позиций — с В. Кожиновым и Д. Лихачевым, В. Распутиным и С. Аверинцевым. Солидарен подчеркнуто равным образом, в сущности, исходя из одного-единственного — ощущения, что руководит этими людьми любовь, а не нелюбовь к России, приятие, а не неприятие ее истории и культуры.

Спорить с Вертлибом и легко, и сложно — всегда, конечно, можно найти дефицит фактов (исторических и иных), подтверждающих его веру в Россию, обосновывающих его любовь к ней. Но любовь не слишком нуждается в обосновании, чрезмерно обоснованная любовь уже и не любовь, а разумное предпочтение, от которого веет душевным холодом. Да и не предосудительна любовь к своей стране, как, в конце концов, и к своему дому, детям или даже работе,— без такой естественной любви развалится дом, чужими вырастут дети, не выйдет особого толка от труда. Это — элементарно, яснее ясного. И с правотой любви Вертлиба к России тогда остается только согласиться, как, скажем, и с законностью, непредосудительностью любви некоего юноши к некоей девушке. Что ж, прекрасно, что любят друг друга и — «будьте счастливы».

Именно это или хотя бы это стоило бы пожелать тем критикам, ныне многочисленным, которые как будто стремятся доказать сыну, что он зря любит свою недостойную мать. Но эта ясность правоты любви к собственной родине мгновенно исчезает, когда Вертлиб, скажем, касается вопроса об общехристианском значении выработанных в истории и культуре России ценностей, о том, что именно в России издревле утверждено истинное христианство (а не где-нибудь во Франции или Германии). Здесь уже налицо давний славянофильский мессианизм, не отстаивание права на любовь к родному, а утверждение его превосходства. Это тоже — в духе славянофильской традиции, в духе Хомякова, Ивана Киреевского, Леонтьева. Славянофильство никогда не ограничивалось бытовым патриотизмом, даже появилось на ниве русской мысли в 1840-е годы именно в результате преодоления рамок этого патриотизма, естественного и ничем не удивительного, всегдашнего. Славянофильство — итог превращения простого сердечного чувства в философскую идею. В этом его значительность и в этом его сложность.

В книге Вертлиба «1812 год у Пушкина и Загоскина» есть очень хорошие строки: «Поздний Достоевский в современном ему искусстве не находит нравственного центра и потому желает, чтобы художественная правда, чуждая тенденциозного искажения действительности, не перешла бы в нравственное безразличие. Однако специфика искусства — не фотокопия жизни. Посему искусству не следует быть „вполне отрешенным“ от жизни (убогое ничевочество; нечто удивительное, экзотическое); ведь не могло же бы оно в 1812 году, например, не откликнуться на все пережитое русским народом. Но художественный *отклик* воспринимается как *окрик*, если словесный смысл не согрет теплом нравственного сопереживания».

Осердеченность искусства, впитанное им тепло сопереживания не позволяют, таким образом, даже и самому нравственно наставительному искусству превратиться в окрик, приказание. Художественность в известном смысле есть мягкая, ненавязчивая форма бытия идей и представлений. Большая опора на «осердеченное» знание, культ которого зрим в славянофильстве, означает большую беззлобность, безгневность, с которой вполне рифмуется славянофильский идеал христианского смирения, поэтизация народного долготерпения и, по меньшей мере, настороженное отношение к бунту (пусть и самому народному). Вертлиб, однако, не принадлежит к писателям и мыслителям, особо дружным с этой традиционной безгневностью славянофильства. В Шукшине он видит и ценит бунтарское начало, дух «разинщины» (рассказу Шук-

шина «Степан Разин» Вертлибом придано символическое значение). Это более чем понятно на фоне тоталитарной эпохи, есть естественная реакция на нее. Да и не сводит Вертлиб творчество Шукшина к бунтарству, как и истинно русское — к «разинщине». Но акценты проставлены. И вместе с ударением на протест в мировоззрение Вертлиба вторгается жесткость, неблизкая культу всепримирении, который мы находим у Достоевского и который — это важно подчеркнуть — коренился и в природе художественного мышления, мышления-сопереживания, породненного со славянофильством изначально.

Стоит чуть-чуть приглушить заучание художественных струн славянофильского мировосприятии, и оно начинает выглядеть агрессивным, командующим, злым. В книгах Вертлиба этого срыва в командование не происходит, но опасность превращения сопереживанин судьбе России, сердечного отклика на ее жизнь и исторические драмы в окрик остается.

Важно, как это ни парадоксально, чтобы *вера в прекрасный лик России не переходила в «знание», оставалась на уровне личного чувства, правдивого, потому что искреннего.* Но на этом уровне не было бы славянофильства как философского учения. Славянофильство не смогло превратить веру в Россию в твердое и доказательное знание (скажем, научное). Однако это знание зародилось в результате художественной (внелогической) объективации личного отношения, личного чувства. Правда славянофильского образа России есть правда художественная. Вместе со славянофильством в философию устремилось искусство — путь, по которому Запад пошел позже, в основном в XX веке. И здесь источник многих общечелоаеческого масштаба прозрений, связанных с ориентацией на славянофильский почерк мышления,— прозрений Достоевского. Истинно русским исторически оказался антирационализм в философии. Но границы знания-сопереживания оказываются, увы, отнюдь не восхитительно широкими — чужому трудно сочувствоаать, неродное трудно глубоко любить. Потому и мечтал Достоевский превратить русского человека во «всечелоаека» (чтобы близостью со «всем и вся» было в идеале даровано и знание-сопереживание «всего и ася»), потому и ценил всечеловечность Пушкина. Замкнуться на родном и близком можно при жизни разумом, но при жизни чувством, при господстве художественного мировосприятия, ассоциативно-образной работы сознания — это близорукость. И когда Вертлиб уравнивает значение для национального сознания Пушкина и Загоскина — это эффект именно той самой близорукости, от которой никогда не избааиться без гениальной (хотя можно думать, что, увы, утопической) подсказки Достоевского.

«Пушкин представляется этически двойственным; в житейской „тактике“ — нередко двуличным, или с двойным дном соображений»,— пишет Вертлиб. И это впечатление его настораживает, располагает к простому и ясному до наивности Загоскину. Но в альянсе с загоскинской наивностью от «этической двойственности» можно уберечься, лишь не идя в осмыслении жизни посредством чувстаа-сопереживания особенно далеко за пределы родного и кровно близкого. Сопереживание судьбам разных людей, народов, стран непременно повлечет этическую двойственность и множественность. И чистота души не сохранится в своей девственной ясности. Увы, именно так: *художественное знание требует этических жертв.*

В чем-то оценка Вертлибом сущности «русских начал» близка евразийству. Он много терпимее в отношении западных влияний, чем ортодоксальное славянофильство, любившее противопоставление «Россия — Запад» и игравшее на нем. Так, он пишет о нашей современности: «Спорят наследники „славянофилов“ и „западников“, как когда-то „Записка о древней и новой Руси“ Карамзина и „Проект“ Сперанского. Две головы „орла“ разрывают раздорами изболевшееся тоской по полной Правде общерусское сердце. В споре снова сошлись Восток и Запад, ибо сама Россия географией и судьбой — „желудочки сердца“ этих устремлений, органически связующих ум и закон Запада и чувствительность и милость Востока».

Смысл русского коммунизма, по Вертлибу, состоит в ультразападническом, сумасшедшем культе прогрессизма, преображения жизни внешними, внедуховными средствами, быстро выродившегося в ее обезображивание. Из двуликого Януса, равно обращенного к Западу и Востоку (заметим, что в этом до сих пор привлекательном, устоявшемся образе России есть оттенок «всечеловечности»), Россию, как убежден Вертлиб, превратили в «пешку» рационалистического проектирования человеческой души, всевозможного — социального, политического, нравственного, эстетического, экономического — планирования. Посредническая роль России между Западом и Востоком, а вместе с ней и сущность «русских начал» оказались забыты, преданы забвению.

На сочувствии западному и восточному, сочувствии разноликому в истории и жизни зиждела сь русская душевная открытость, любовь к правде. И не является ли в таком случае сама эта искомая «русская правда» дауликим Янусом или хотя бы многозначностью художественного образа, который с равным успехом можно воспринимать по-разному? Вчитываясь в книги Евгения Вертлиба, стремящиеся к идейной многоцветности, богатству (вплоть до пестроты) изображения оттенков и проявлений истинной русскости, равно сочувственные «славянофильству В. Кожинова» и «западничеству Н. Шмелева», прийти к такому выводу — почти неизбежность.

Образ России в книгах Вертлиба почти сказочно привлекателен, красочен. Но красочен и привлекателен (если истинен) любой художественный образ. Творчество прекрасного — инстинкт искусства. И один из путей превращения обыденного а прекрасное — стать художественным образом, «метафорой самого себя». Превратиться в метафору, что на самом деле не столь уж фантастично,— это значит стать лишь иносказанием, потерять буквальную материальную реальность, утратить плоть во имя духоаной значимости. Основа метафоры — опора на кажущееся: улицы дреанего города представляются поэту, скажем, протянутыми в вечность руками, а в чисто материальной реальности нет ни таких огромных каменных рук, ни таких маленьких, подобных человеческим рукам улиц, которые уподобил поэт друг другу, создавая метафору. Создав метафору, он создал физически не существующее. А значит, то, чего вовсе нет, чистую иллюзию? Нет. Поэт иносказательно поведал и о своем восприятии жизни, и о ней самой, создал духовно реальное. Но, например, в доме, названном поэтом кораблем в бурном море жизни, физически нельзя ни уплыть, ни утонуть и крайне глупо опускать из него на воду какие-нибудь деревянные весла. Нельзя воспринимать метафору буквально, художественный образ — как кусок самой живой материи реальной жизни. Нельзя воспринимать художественный образ России, созданный в книгах Евгения Вертлиба (в известном смысле — классически поэтический), как фотокопию русской истории и нашего настоящего. Славянофильство и неославянофильство, пожалуй, не стоит ни отвергать, ни принимать — оно относится к русской жизни, как хороший художник к любимому пейзажу, не искажает, а преображает реальность. Надо просто понять, что художник-пейзажист — не картограф, что славянофильский светлый лик России — не путеводитель по средствам и способам решения социально-экономических и политических проблем.

Евгений Вертлиб пишет свои книги о России, русской культуре и русском возрождении издалека — живет в Германии, жил в США, эмигрировал в душные, тусклые 70-е годы. Уже поэтому его любовь к России — идеальна, она, если говорить на языке эротики, есть любовь без физического обладания возлюбленной, любовь чисто платоническая и этим именно привлекательная. И эта любовь, как и должно идеальной любви, философична, стала миросозерцанием: сквозь лик возлюбленной далекой России Вертлиб видит образ вечных истин и, конечно, много философски мечтает. Мечтает, так как трудно было бы ему мечтать, окунувшись в неразбериху и неустроенность нынешней российской жизни. Мечты эти — иногда наивны, но и наша мудрость горечи, а порой и злобы на то, что живем мы мучительно трудно, тоже сомнительна. Может быть, жаль только, что, живя в России, легче негодовать на нее, а живя вдали от нее — любить.

И последнее: мы нередко называем, скажем, облик человека поэтическим и любим, ценим его за поэзию души, поэтичность внешности, хотя он, может быть, не умнее, не нравственнее, не красивее других. Поэтичными бывают явления природы, ландшафт, радуга, например, или горы с заснеженными вершинами, поэтичными бывают и страны — это дар, несомненно, способствующий духовному просветлению. Никакое мастерство не создаст достойный художественный образ, если в нем все сплошь от кажущегося, слеплено из чего попало. Лай собак не перевоплотим в образ сладостной музыки без помощи нервного расстройстаа...

У России есть, по крайней мере, один дар — к художестаенному воплощению в красочные образы, которые не зачеркнуть скепсисом «чистого разума». Книги Евгения Вертлиба, их эстетическая и нравственная привлекательность, их «философизм души» прекрасно доказыаают это.

А. Савуренок

СВЯТАЯ ДЕВА ИЛИ ДИНАМО-МАШИНА?

Правнук второго президента и внук шестого президента США, сын видного дипломата, Генри Адамс (1838—1918), по его собственным словам, с рождения имел на руках «одни козыри». Как он ими распорядился?

Отвечая на этот вопрос в книге «Воспитание Генри Адамса», написанной на склоне лет, Адамс не без грустной иронии заметил, что «так по-настоящему и не аступил в игру», уйдя с головой «в ее изучение, а наблюдение над ошибками участвовавших в ней». В качестве личного секретаря отца, занимавшего пост американского посла в Англии в годы гражданской войны, он следил за перипетиями сложной политической игры, поддерживал дружеские связи с политическими деятелями, входившими в администрации Линкольна, Гранта, Маккинли, Т. Рузвельта, и был великолепно осведомлен о всех тупиках в американских «коридорах власти». Во время своих многочисленных путешествий он беседовал с Гарибальди, наблюдал 14 июля 1870 года Францию, «сорвавшуюся с якоря» и ввергнутую в хаос франко-прусской войны, а в 1901 году размышлял над «русской загадкой», глядя на крестьянина, зажигающего свечу и целующего икону Богородицы на вокзале в Петербурге.

Книга «Воспитание Генри Адамса» (М., издательство «Прогресс», 1989, перевод с английского М. А. Шерешевской, послесловие А. Н. Николюкина, комментарий В. Т. Олейника) не только знакомит советского читателя с именем, ранее ему практически неизвестным; она восполняет существенный пробел в нашем представлении о ключевых фигурах американской культуры на рубеже XIX—XX веков, в том числе о самом Генри Адамсе. Ни один из его современников не сумел с такой исчерпывающей глубиной отразить смену исторических эпох, когда непоколебимая вера в исторический прогресс, в победу разума, в то, что американская революция конца XVIII века окончательно и бесповоротно утвердила свободу, равенство и неотъемлемые права челоаеческой личности, уступила место сомнениям в плодотворности этого прогресса, «гамлетовским» колебаниям и мучительным поискам высшей истины, скепсису и самоиронии.

Значительное место в «Воспитании Генри Адамса» занимает критический анализ политической жизни США и Европы во второй половине XIX — начале XX веков. Однако Адамс не остановился на уроках, извлеченных им из «прокисшего молока политики». Убедившись, что современная ему «практическая политика... в том и состоит, чтобы закрывать глаза на факты», он пытается создать свою философию истории, «найти бобину, на которую можно было бы намотать нить истории, ее не порвав».

Путь Адамса к «динамической теории истории», изложенной в заключительных главах «Воспитания...», был долгим и трудным. Отлично понимая, что описательность, столь характерная для американской историографии, не приблизит его к разгадке «вечной тайны движущей силы», он обратился к различным философским и естественно-научным теориям — многие страницы «Воспитания...» пестрят ссылками на труды Декарта и Ньютона, Фарадея и Паскаля, Дарвина и Спенсера, Геккеля и Пирсона. Впрочем, научная аргументация — едва ли не самое уязвимое место концепции «движущей силы»; она эклектична и излишне многословна. Гораздо более ярким и впечатляющим оказалось эстетическое выражение этой концепции, воплощенное в образах Святой Девы и динамо-машины.

По мысли Адамса, Святая Дева и динамо-машина — это своеобразные символы сил, которым поклонялись люди на разных этапах исторического развития. Святая Дева олицетворяла силу гуманности и милосердия, запечатленную людьми средневековья в храмах, которые и поныне остаются высочайшими творениями человеческого духа. Динамо-машина — символ устрашающей в своей мощи силы механической, превратившей современного человека в придаток индустрии, лишенный «любых отличительных черт, кроме машинного клейма».

Генри Адамс внес существенные коррективы в идею исторического прогресса. Связанный своими духовными истоками с веком восемнадцатым, а жизненным опытом с веком девятнадцатым, он передал веку двадцатому мысль, которая получила развитие в трудах Н. А. Бердяева, О. Шпенглера и других философов новейшего времени. В известном смысле он был их предтечей, одним из первых указал на дегуманизацию и упадок духовной культуры в условиях современной «машинной» цивилизации.

Принципиально новую интерпретацию по сравнению с классическими образцами получила в книге Адамса и вторая ее центральная тема — тема воспитания личности.

В авторском предисловии Адамс называет двух писателей, чьи мемуарно-биографические произведения послужили ему своеобразной «точкой отсчета»,— «Исповедь» Жан-Жака Руссо и «Автобиография» Б. Франклина. Порожденные одной исторической эпохой, создававшиеся почти одновременно, они являют собой пример двух диаметрально противоположных установок: у Руссо — стремление вынести на суд читателя историю человеческой души со всеми ее взлетами и падениями, пафос «сердечного воображения» и взрывная сила эмоций, у Франклина — рассудочность, здравомыслие и неукоснительная забота о весьма утилитарно трактуемой пользе. Таким образом, само сопряжение их имен предполагало проблему выбора, которую Адамс решает отнюдь не однозначно.

Говоря о Руссо, Адамс сразу же отмечает, что автор «Исповеди» воздвиг «монумент-предостережение против ego». Последующие поколения вняли этому предостережению и превратили «модель в манекен, на котором примерялись ризы воспитания... При этом предметом изучения стал покров, а не сама фигура». К числу таких «манекенов» относит Адамс и своего героя, оговаривая, однако, с немалой долей лукавства, что его «необходимо принимать за реально существующий; необходимо обращаться с ним как если бы он был живой. И кто знает — может быть, так оно и есть».

Этот оттенок двусмысленности нашел отражение и в названии книги Адамса, которое в сочетании с именем автора заставляет призадуматься внимательного читателя, и в форме повествования от третьего лица, столь необычной для мемуарной литературы и «противопоказанной» ее исповедальному, лирическому началу. В «Воспитании...» оно сведено до минимума: эмоционально окрашены страницы воспоминаний о летних месяцах, которые мальчик Генри Адамс проводил в Куинси, о внезапной смерти сестры, но в целом автор сознательно избегает всего, что касается сферы чувств и обстоятельств интимной жизни героя. На это указывает, в частности, неожиданный двадцатилетний провал — с 1872 по 1892 годы — в истории воспитания Генри Адамса-героя. Между тем для Генри Адамса-автора это были памятные годы. В 1872 году он женился на Мэриэн Хупер. Союз, основанный на взаимной любви, скрепленный общностью интересов и отношениями «идеального товарищества», казалось, сулил им безоблачное счастье. Но в 1885 году Мэриэн покончила жизнь самоубийством. В «Воспитании...» Адамс обходит молчанием и все эти факты, и написанные им романы «Демократия» (1879) и «Эстер» (1884), героини которых, по мнению критиков, многими чертами напоминали Мэриэн Хупер. Остался лишь глухой намек на отчаяние, терзавшее его сердце после смерти жены. «Ужас от удара, нанесенного внезапно со всей грубой жестокостью случайности,— пишет он о переживаниях своего героя у постели умирающей сестры,— тяготел над ним до конца жизни, пока, повторяясь вновь и вновь, не дошел до той черты, когда воля уже не способна сопротивляться, когда нет уже сил это вынести».

Столь очевидная сдержанность в изображении чувств и эмоций, казалось бы, свидетельствует о тяготении Адамса к рассудочному началу, преобладающему в «Автобиографии» Франклина. Настораживает, однако, прямой полемический выпад против Франклина в первой же главе «Воспитания...». Если автор «Автобиографии», говоря о причинах, побудивших его взяться за перо, настойчиво утверждает критерий практической пользы («... Я достиг благосостояния и некоторой славы. Удача мне неизменно сопутствовала..., а поэтому не исключена возможность, что мои потомки захотят узнать, каким способом я этого достиг и почему я с помощью провидения так преуспел»), то Адамс прямо заявляет, что «практическая ценность» его рассказа о воспитании героя «весьма сомнительна», ибо каждый человек «несет в себе свою вселенную», а «ценность вселенной не исчисляется долларами».

Герои Франклина и Адамса противостоят друг другу, и не только своим происхождением — один подчеркивает, что «родился в бедности и безвестности», на руках у другого с младенчества «были все козыри»,— но прежде всего самим строем мысли: с одной стороны, утилитаризм и назидательность, с другой — мучительные сомнения и поиски ответов на вечные вопросы бытия.

Адамс и в данном случае оказался в роли «первопроходца» — его полемика с «моральной арифметикой» Франклина была продолжена поколением 1920-х годов. Думается, что и для нынешнего поколения «Воспитание Генри Адамса» не утратило интереса, напоминая о непреходящей ценности гуманизма, духовности и культуры, об их общечеловеческом содержании.

Александра Кирилловна Савуренок (9.V.1921—13.III.1991) — профессор ЛГУ, одна из зачинателей американистики как особой отрасли отечественного литературоведения. Воспитанница и преподавательница Ленинградского университета на протяжении четырех десятилетий. Ученица М. Т. Алексеева и В. М. Жирмунского. Первые работы посвящены творчеству М. Твена, Д. Купера, У. Уитмена. Позже занималась творчеством американских писателей XX века, главным образом — Фолкнера. Автор книги «Романы У. Фолкнера 1920—1930 гг.» (1990). Последние годы занималась также канадской литературой.



Евгений Калмановский

КРАЙНОСТИ

И. С. Тургенев. «Уездный лекарь» (1847) — из «Записок охотника»

Везде нам сопутствуют крайности.

Крайности в предпочтении жизненных путей, в понятиях, позициях.

Они подстерегают нас даже там, где их вовсе не ждешь.

Ну, есть ли, допустим, большой резон, отметив вышеназванное обстоятельство, сесть за чтение Ивана Сергеевича Тургенева, когда в нашей литературе хватает неистовых от протопопа Аввакума до Андрея Платонова?

Сейчас посмотрим. Только не торопите меня с выводами.

Скоро и так все откроется само собой.

Беру «Записки охотника», а в них для начала «Уездного лекаря», рассказ небольшой и далеко не самый заметный и признанный. Все это делаю, сами понимаете, нарочно.

Итак, доктора, практикующего в уездном городе, зовут к тяжело больной дочери помещицы. Проживает она в двадцати верстах от города. Именьице маленькое, бедное. Дорога от города страшит неухоженностью. Но у лекаря свой труд, свой долг. Так что Трифон Иванович — так зовут уездного лекаря — едет и лечит. Но не вылечивает.

Дочери помещицы Саше, или Александре Андреевне, в пределах маленького рассказа то двадцать лет от роду, то двадцать пять. Тургенев не заметил разноречия. Не это ему, видно, было важно.

Саша, к общему горю семьи и доктора, умерла.

Спустя годы рассказчик-охотник попал в тот же уездный город и там занемог. Послал за доктором — тогда все говорили «доктор», не как теперь: «врач». На зов рассказчика пришел уже известный нам Трифон Иваныч, выписал лекарства, понемногу разговорился и рассказал историю своих страданий у постели смертельно больной Саши.

Поняв, что дни ее сочтены, она призналась в любви лекарю, тогда молодому и отчаянно за нее встревоженному.

Происходит своего рода роман чувств. Мучительный, горестный и горестно-прекрасный.

Доктор, теперь вспоминая прошлое, сам словно бы удивляется тому, что судьба именно его выбрала для этого возвышенного сюжета.

Воспоминания доктора и весь «Уездный лекарь» оканчиваются так: «— Ведь я с тех пор в законный, как говорится, брак вступить успел... Как же... Купеческую дочь взял:

Калмановский Евгений Соломонович (род. в 1927 г.) — прозаик, критик, театровед. Автор книг «Дни и годы. Жизнь Т. Н. Грановского» (1975), «Путник запоздалый» (1985) и др. Член СП. Живет в Ленинграде.

Материалы раздела публикуются в нечетных номерах журнала. В 1992 году мы продолжим начатую в № 1 за этот год публикацию эссе Петра Вайля и Александра Гениса о русской классической литературе XIX века.

семь тысяч приданого. Зовут ее Акулиной; Трифону-то под стать. Баба, должен я вам сказать, злая, да благо спит целый день... А что же преферанс?

Мы сели в преферанс по копейке. Трифон Иваныч выиграл у меня два рубля с полтиной — и ушел поздно, весьма довольный своей победой».

Ясно, Трифон Иваныч сам побежден общепринятым укладом жизни, его, если хотите, утвердившейся пошлостью. Он — нормальный представитель нормального житейского обихода. Правда, в душе его шевелятся свои сомнения и угрызения. Но, в конце концов, у кого их нет? Где-то все это тускло мается, когда-нибудь напоминая о себе, но ничуть не переменяя самого человека, его жизнь.

Александра Андреевна, Саша, напротив, умерла непобежденной.

Чувствуя свою погибель, она не капризничает, не стонет, не жалуется. Она обороняется от скудного своего жребия, собрав все силы и обратив их в любовь, у которой не может быть будущего, которой вообще ничего не дано. Кроме самого по себе чувства. Им Саша противостоит жалкой зависимости человека от случая, от судьбы.

Но не «Уездный лекарь» же и не благородная духом Саша — главное в «Записках охотника».

Действительно, Тургенев взялся за «Записки охотника», несомненно желая большой широты жизнеприятия. Потому здесь множество людей, самых разных; потому здесь много разных сюжетов.

Кроме более или менее крупных историй повсюду как бы фоном подаются еще беглые радости, а чаще — мелкое, мимоходом пробившееся горе, простейшее такое, самое будничное.

И вся эта многоликая жизнь людей, из ряду вон и сверхобычнейшая, беззаботная и безысходная, слита с родной землей, родной природой. Благодаря этому ощущение широты взгляда еще растет.

Ради такого «Записки охотника» прежде всего и явились на свет.

Однако и то вот, к чему я начал подходить от «Уездного лекаря», с первых же страниц по-разному выглядывает из-за обширной людной картины.

То есть с первого же рассказа «Записок охотника» — с «Хоря и Калиныча».

Тургенев там представляет читателю двух крестьян, недюжинных, хотя меж собой и несходных. Притом оба недюжинные — в тесной дружбе.

Да, я сказал: «*как бы* равны».

Потому что оно и так, и не совсем так.

Ровной благодарной приязнью к живому, близостью ко всякой травинке и малой твари земной, своим непониманием не только корысти, простой выгоды Калиныч, похоже, рассказчику восхитительней. И лаптями круглый год. На Хоре — сапоги, «вероятно, из мамонтовой кожи».

Друг и один из первых читателей сочинений Тургенева Василий Петрович Боткин усмотрел в рассказе «Хорь и Калиныч» «идиллию».

Надо думать, больше всего как раз из-за Калиныча.

Хорь уже именем своим не рассчитан быть героем идиллии. И его дети сами говорят о себе весело: «Всё Хорьки». Никто не возьмется утверждать, что хорек — зверь милый, к себе располагает.

Но тут уж у меня пошел перекос в другую сторону. Тургенев не только не порицает Хоря, он любуется им тоже. Любование, правда, выходит скорей теоретическое, из принципа, так сказать.

Свое хорошее отношение к Хорю Тургенев подпирает таким выводом: «Из наших разговоров я вынес одно убежденье, которого, вероятно, никак не ожидают читатели,— убежденье, что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо — то ему и нравится, что разумно — то ему и подавай, а откуда оно идет,— ему все равно».

Иные восприниматели только что преподнесенного текста бывали рады, что каждое слово здесь открыто наставлено против славянофилов. Те ведь сетовали на Петра, свернувшего-де Россию с ее естественного пути. Те много занимались прошедшим, а вперед глядели опасливо.

Славянофилы славянофилами, но выписанный из «Хоря и Калиныча» приговор не очень точно выражает взгляд автора на русские типы.

К Хорю, человеку деловому и преуспевшему, приговор, положим, подойдет. К Калинычу — бесспорно, нет.

Допустим, Бирюк из рассказа, так и названного «Бирюк», «уверен в своей силе и крепости». Только его «сила и крепость» уже совсем другие: похожи на невольно принятый — потому что возложенный — суровый обет, на крест божий. Бирюк не способен победно врасти в такую жизнь, где человек перво-наперво держится своего собственного интереса, прежде всего примеряется и обустраивается.

Отнюдь не только в «среде» здесь причина — в «среде, которая заела». Сам Бирюк есть какой есть, каким единственно быть может.

Жена Бирюка (вообще-то его Фомой нарекли) «с прохожим мещанином сбежала». Оставила этому мрачноватому мужику, приверженному неподкупной честности, двух малых детей а нищей избе.

В лучшие свои часы может чувствовать «силу и крепость» необыкновенно талантливый Яков из «Певцов». Но никакого жизненного устройства и твердого обеспечения он тоже не способен достигнуть, несмотря на свой дар.

Возьму еще в компанию Чертопханова. Впервые он представлен в рассказе 1848 года «Чертопханов и Недопюскин» и вновь вспомянут Тургеневым в 1872-м, когда написан «Конец Чертопханова».

Этот Пантелей Еремеич — со своей страстью к цыганке Маше, спустя время его оставившей: «Тоска меня взяла»,— сказала. С дикой гордостью, вечно кипящей в душе. С отчаянной привязкой к коню Малек-Аделю, которого украли, потом хозяин его разыскал и вернул — только, скорей всего, вернул не настоящего Малек-Аделя, не того, первого.

Малек-Адель — имя благородного вождя мусульман из романа француженки Софи Коттен. Романтическим этим романом десятилетиями увлекалась Россия, особенно уездная.

В первом рассказе о Чертопханове: «Из русских писателей уважал он Державина, а любил Марлинского и лучшего кобеля прозвал Аммалат-Беком». То есть по герою одноименной повести А. Марлинского, тоже сугубо популярной и куда какой романтической.

Внешние приметы романтизма Тургенев подносит читателю с улыбкой и усмешкой. Кобеля — Аммалат-Беком! Все это: особый художественный стиль, убеждения романтического идеализма, кодекс бытового поведения, освещенный такой философией или замудренный ею,— все было и ушло.

Но надолго (не навсегда ли?) засел в российских умах — и у Тургенева тоже — романтизм другой, этим именем не называемый.

Калиныч да Бирюк, Яков да Чертопханов. Неприязнь к простому и логичному, трезвому, деловитому, в обычные дни ловко уложенному. Неприязнь — или безучастность, незамечание. Словно и нет такого, не водится. Зато — далекое стремление, бескорыстие чувств и упований, даже заведомая их неосуществимость («журавль в небе»).

Это все не теоретическая отрешенность, вымученная идеальность. Нет, способ жить. Довольно-таки удивительный.

Во всех, кого назвал из «Записок охотника», нет ведь ни в ком чахлой нежизненности. Если и придуманность — то уж, согласитесь, яркая, неизбежная. То есть опять, стало быть, совершенно жизненная.

Задаюсь вопросом из тех, которые считают наивными в подходе к искусству: кто увлекательней, кто симпатичней Тургеневу — эти вот, с крайностями, или, допустим, однодворец Овсянников из рассказа, так и названного?

Хорош, разумен, нравствен, почтенен Овсянников. Но не тягаться ему по силе сочувствия автора, а с ним и читателя, ни с Пантелеем Чертопхановым, ни с Сашей из «Уездного лекаря».

Власть такого удела и людей, им меченных, над Тургеневым, право же, непобедима. Как он ни сопротивляйся даже.

Смотрите сами том за томом.

Друзья и знакомцы критикуют Рудина, сожалеют о слабости его натуры. Все же он, не прижившийся к рядовой жизни, влечет к себе многих. Во главе с автором.

И живет Рудин, и гибнет, пожалуй, странно, без энергичной цели. Но не пóшло же, не как все!

А Лиза Калитина, а Лаврецкий, нарушившие и превзошедшие добротное самоустройство здравомыслящих современников?

Да что там «Рудин», «Дворянское гнездо»...

Базаров из «Отцов и детей» с его нигилизмом, с уважением к одним лишь естественным наукам — он же одновременно романтическая в сущности натура, и ему никак не выходит по пути с теми, кто родился для благоразумного успеха, денег, счастья.

По-моему, решительно не следует пытаться объективно обрисовать тип российского шестидесятника по Базарову в этом прекрасном романе. За наружной характерностью речей легко открывается все тот же неприживаемый герой.

Несомненно принадлежат своему дню и часу Кукшина или Ситников, люди расхожего, пошлого сложения.

В XIX главе сам Тургенев, продолжая понимать (и на том настаивать), что жизнь широка и естественно многообразна, размышляет: «Появление пошлости бывает часто полезно в жизни: оно ослабляет слишком высоко настроенные струны, отрезвляет самоуверенные или самозабвчивые чувства, напоминая им свое близкое родство с ними. С прибытием Ситникова все стало как-то тупее — и проще; все даже поужинали плотней и разошлись спать получасом раньше обыкновенного».

Базаров и Аркадий Кирсанов уезжают из дома Одинцовой — это к ней явился нежданно Ситников.

Последнее утро гостевания у Одинцовой. В комнате, им отведенной, Базаров и Аркадий.

Аркадий «вдруг вскинул волосами и громко промолвил:

— На какого черта этот глупец Ситников пожаловал?

Базаров сперва пошевелился на постели, а потом произнес следующее:

— Ты, брат, глуп еще, я вижу. Ситниковы нам необходимы. Мне, пойми ты это, мне нужны подобные олухи. Не богам же, в самом деле, горшки обжигать!..

„Эге, ге!" — подумал про себя Аркадий, и тут только открылась ему на миг вся бездонная пропасть базаровского самолюбия».

Недальнего самолюбия, тем более самодовольства, однако, в Базарове нет. Неизбежность отдельного и горького пути есть.

Хороший человек Николай Петрович Кирсанов, хороший человек сын его Аркадий. На самом деле так, без экивоков.

Желая принимать жизнь в широте ее, такой, какова она есть, видя кой-какой внебудничный запас чувств едва ли не в каждом человеке, Тургенев пишет свое. Он не проповедует крайности. Он даже как бы смущен, когда очередной раз упирается в них. Он хочет другого. Но...

Как ни уходи в живую жизнь, все видится: главных путей в ней два, и решительно разных.

Одни люди вошли или собираются, решают навсегда войти в *колею* разной степени облагороженности, украшенности. Даже Анна Сергеевна Одинцова, красивая, умная, способная томиться и недоумевать, по определению такова, груз какой-то не отпускает выйти из круга известного, очерченного, утоптанного.

Другим же попасть в колею не дано, хоть бы и надо, хоть бы и мечталось. Как он ни старайся: Базаров ли, вовсе ли другой Павел Петрович Кирсанов — обычная жизнь не идет им в кровь, претит. А иной-то жизни для них, собственно, и нет: пустое поле, нераздельность, тупик или обрыв. Не дал Господь выбора.

Хорошо это или плохо, но что за Россия без Базаровых и Чертопхановых, без Саши — Александры Андреевны, без Павла Петровича Кирсанова и еще, и еще...

Тургенев не проповедует. Но, чего бы ему ни хотелось, он видит то, что он видит.

Смерть героя от внезапной болезни для изощренного в сюжетах XX века способна казаться примитивным, суперпростым писательским приемом. Может, оно и так. Но нельзя же отрицать, что ранняя смерть Саши, Рудина, Базарова — явственный знак неприживаемости их к течению обычной жизни, в которую так легко, решительно, прочно вступают многие и многие.

Таков вольно или невольно сложившийся порядок у Тургенева — в рассказах, повестях, романах.

Конечно, этот порядок бросает тень на общую действительность. Не на лес и степь, не на Бежин луг, а на то житье, которое получили или устроили себе люди. На невнятный в своих основаниях российский обиход.

Вот и запутываются биографии, и к обычной жизни слишком многим не притереться, в нее не войти с толком.

Пустых, бездельных людей Тургенев отлично высматривает среди прочих и решительно не любит, как бы, чем бы ни были они декорированы. Да жизнь-то словно на них и рассчитана. Очень уж много в ней пестро-мутной пены. Или — дыма.

И как же тут убедительно свести гордость, душевный пыл, стремление ввысь — с равномерной и непошлой пользой имеющемуся состоянию отечества и самому себе?

В романе «Дым» (1867), который о российских людях, снующих по Европе, особенно наглядно и рельефно очерчивается родное наше мельтешение, суетное дление дней. Одни искренне — по своим насчет этого возможностям — полагают себя за других, другие мнят себя за третьих...

Отвращаться от лжи, от самообмана, в конце концов, можно. Добыть истинное не удается.

Похоже, не дойти до стойкой, голой, твердой, недвусмысленно надежной истины.

В XI главе «Дыма» приговор: «Но уж таков предел судеб на Руси: скучны у нас превосходные люди».

Сказано это про Пищалкина, «благонамеренного мирового посредника».

О нем же — в главе IV: «Пришел некто Пищалкин, идеальный мировой посредник, человек из числа тех людей, в которых, может быть, точно нуждается Россия, а именно — ограниченный, мало знающий и бездарный, но добросовестный, терпеливый и честный; крестьяне его участка чуть не молились на него, и он сам весьма почтительно обходился с самим собою как с существом, истинно достойным уважения».

Прочтешь и задумаешься: прав ли наш Иван Сергеевич Тургенев по отношению к якобы невыдающемуся Пищалкину (Пищалкин — фамилия-то!)?

Только причины правоты или неправоты не в самом по себе Тургеневе, не в воспитании, образе жизни и личных понятиях.

Здесь предъявлен и бегло обрисован мною один из самых путаных узлов в понимании вещей, высказанном русской литературой. Предъявлено неразрешимое для многих противоречие между надобностью в работнике, устроителе жизни, хозяине — и отвержением заурядности, будничной житейской колеи. Тугой узел, характерный для российской жизни, российской мысли.

Нет, скорей не узел, а развилка, рогатка, что ли.

Наша литература, серьезная, сильная, честная, вдумчивая, в течение десятилетий XIX века (говорю только о второй его половине, верней — начиная с середины сороковых) отмеченную развилку так благополучно и не миновала. Так и встала перед ней не без печального недоумения.

Преуспевающий, деловой и в то же время порядочный, истинно мыслящий человек, как правило, оставался фигурой или сомнительной, или нереальной.

Какой-нибудь Хорь — исключение из правила. Да и то до некоторой степени, не совсем, не полностью.

Когда Иван Александрович Гончаров твердо решил представить дельного человека в России, не бросая на него ни малейшей нравственной тени, а целиком одобряя и поддерживая, он, как известно, притянул к Обломову немца Штольца.

Штольца, действительно достойного, хорошего, однако, никто из читателей не полюбил. Даже очень-то всерьез и близко к сердцу не принял. Любил ли его сам Гончаров или только изо всех сил хотел поверить и полюбить?

Так оно и идет, так видится, так смотрится. До совершенно иного Антона Павловича Чехова, до какого-нибудь «Ионыча» (1898) и еще, и еще.

А как необходим, как дорог в небогатой, плохо устроенной, многолюдной жизни врач или учитель! Но Старцев — Ионыч несносен для Чехова уже тем, что безоговорочно побежден ритуалом обыденности, охотно в нее влез, принял заведенное за сущее. Много ли других, лучших? Где они?

Есть, правда, еще те, кто возделывает в трудовом поту родную землю. Они многим в нашей литературе внушали сочувствие до слез и коленопреклонения. Но это статья особая.

Все-таки где же ясный, общий, убежденный и для всех убедительный уклад существования, пусть налагающий свои строгие пределы и свои тяготы, но именно несомненный, дающий ногам твердую почву и открывающий дальние дали взору, мысли, чувству? Чтобы всем на пользу, кроме дураков и мерзавцев, и высоте духа не в умаление? Чтобы разные дороги вились и все равно достойные?

Не знаю, как вы, а я люблю Тургенева. Перечитывал его сейчас с увлечением, с волнением, которые в каком-то более раннем возрасте — между юностью и нынешним состоянием — утрачивал. Любовь вернулась.

Тургенев прекрасно знал и нам передавал природу истинной жизни. Она составлена из многого и всякого, она богата.

Но отчего-то не войти в нее до самого края. Отчего-то так заметны и так близки душе отдельные, невлившиеся.

Что же успокоит их, внесет мир в томящуюся душу?

«Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии „равнодушной“ природы; они говорят также о вечном примирении и *о* жизни бесконечной...»

Так завершаются «Отцы и дети».

Есть общее для всех утешение, есть печальный покой, который рано или поздно осеняет всех и каждого.

Саши — Александры Андреевны — не стало.

Жизнь принесла ей свое решение, свой выход. Все-таки торопиться к нему не надо. А вдруг, не отменяя этого, найдется в конце концов и другой, позволяющий на земле вести дни в общеполезных трудах и согласии?

Может, найдется. Если не витать в облаках. И, тем более, не быть категоричным, шумным, неряше-упрямым. Впрочем, это уже не о Тургеневе, не *о* Саше и других его созданиях.



Василий Яновский

ПОЛЯ ЕЛИСЕЙСКИЕ

IV

Георгия Иванова, несмотря на его нравственное уродство, я считал самым умным человеком на Монпарнасе.

Трудно сообразить, в чем заключался шарм этого демонического существа, похожего на карикатуру старомодного призрака... Худое, синее или серое лицо утопленника с мертвыми раскрытыми глазами, горбатый нос, отвисшая красная нижняя губа. Подчеркнуто подобранный, сухой, побритый, с неизменным стеком, котелком и мундштуком для папиросы. Кривая, холодная, циничная усмешка, очень умная и как бы доверительная: исключительно для вас!

Понимал он почти «все» (в разговоры теологические никогда не ввязывался). А главное, допускал «все». Сказать, что он прощал все,— нельзя. Ибо существо его, насквозь эгоистическое, было совершенно безразлично к любому визави. Кроме того, простить — значит признать реальность вины, преступления, греха. Этого Иванов не мог разглядеть, как слепой — краски. Но стихи он любил и для них, пожалуй, жертвовал многим (indirectement [1]).

Такого сорта монстры встречаются на каждом шагу в искусстве; в Париже того времени Иванов не являлся исключением; он становился чем-то единственным только благодаря высокому классу своих стихов. Смоленский, Злобин принадлежали к той же «аморальной» семье.

Иванов — человек беспринципный, лишенный основных органов, которыми дурное и хорошее распознаются,— Георгий Иванов был членом «Круга» и даже пользовался там влиянием. Чем он это достигал, трудно сказать. В те годы многие считали, что поэтически он вышел из двух-трех строф Фета и ловко жонглирует ими (Ходасевич). Но молодежь его боялась, слушалась и любила.

Монпарнас, несмотря на внешнюю неряшливость, все же ценил «мораль», в отличие от пресловутого «серебряного века». Мы пытались мистику слить со здравым смыслом; Толстого со святым Иоанном Креста... Этим, пожалуй, определялась *наша* квадратура круга. Ибо каждая выдающаяся эпоха бьется над своей собственной квадратурой круга, и это решает ее стиль и дух.

Так, Мережковский смущенно заметался, когда я неожиданно ему сообщил, что деяния человека свидетельствуют о его духовном состоянии: как сыпь на коже от внутренней болезни... «Ну, это очень трудно так прямо сказать»,— мямлил он неуверенно.

Влияние Иванова на молодых поэтов объяснялось не только его стихами. Тут роль играл шарм и ловкость его литературной кухни. Он был умницей, поскольку можно считать умным человека, ставившего на бракованную лошадку. Лаской и таской он упорно добивался своего. Так, Варшавский, заслуживший репутацию «честного» писателя, по требованию Иванова пишет ругательную статью о Сирине (Набокове) в «Числах». («И зачем я это сделал? — наивно сокрушался он двадцать лет спустя в беседе со мною.— Не понимаю».)

Иванов обходит богатых евреев и занимает у них деньги. Потом он проделывает почти

Окончание. См.: «Звезда», 1991, № 9, 10.

[1] Косвенно *(фр.)*.

то же самое с немцами. И все-таки ему подают руку. Иванов ходит в Национальный Союз Трудового (или Молодого, не помню уже) Поколения — в те годы откровенно погромная организация... Потом на Монпарнасе он мило рассказывал, что там Достоевского называют жемчужиной русской литературы. Всякий раз, отправляясь к ним, Иванов объяснял: «Нет, сегодня я иду к жемчужинам». Там на открытом собрании, устроенном по инициативе Иванова, называют Адамовича Смердяковым. Но Иванову все же удается сохранить дружеские отношения с «Жоржем». Только последний, вероятно, знал всю степень духовной беспомощности Иванова.

И опять Иванов отделывается каламбуром, а назавтра распространяет злейшую сплетню и снова прибегает мириться с Адамовичем.

В жизни всякого писателя, ученого, трибуна наступает время, когда ему хочется подлинной славы: ученика, аудитории, даже памятника на площади в родном краю. Причем это не только голос честолюбия, гордыни, а некая нормальная потребность роста.

Такого признания захотелось наконец Иванову — всенародного, великодержавного. В сущности, нам всем в разное время нужна тысяча студентов и студенток, рукоплещущих, выпрягающих лошадей из коляски, несущих орхидеи на эстраду...

— Во второй раз эмигрантом я не буду! — угрожающе предупреждал он.— А в Москву я готов вернуться даже в обозе Гитлера.

Вот немцы наконец во Франции; многие друзья Иванова бедствуют, а он старается использовать новых знакомых по старому рецепту. Когда они разбиты (это ли не скверная лошадка) и бегут из Парижа, Иванов собирается немедленно записаться в Союз Советских Патриотов. Его отговаривает писательница Б.

А там он опять ведущий поэт, почти идеолог — на этот раз дипийцев! Иванов шармер, несмотря на свое внешнее и внутреннее безобразие, его обаяние привлекало людей...

— Вот вы написали в рассказе про человека, у которого синее лицо утопленника,— говорил он конфиденциально, вполголоса.— Сумели же вы такое увидеть.

В другой раз:

— Вы великодержавный писатель, не то что эта мразь.

По каким-то соображениям он тогда считал нужным мне польстить. А такого рода похвала пленяла и помогала многое прощать. Кстати, Иванов уверял, что лесть всегда действует положительно, даже если ей не поверят! (Польсти, польсти! — по Достоевскому.)

В связи со скандалом Иванов — Буров я был вовлечен в грязную склоку. Я тогда встречал Бурова и знал, где он по утрам гуляет в одиночестве. Когда последний в ответ на требования денег разослал всем циркулярное письмо касательно коммерческих операций Г. Иванова, Георгий Владимирович решил встретиться с ним и наградить его оплеухой. Но я отказался выдать доверенный мне секрет, то есть место его ежедневных прогулок. Это очень удивило наших честных молодых писателей, только Адамович заявил, что я совершенно прав.

Передаю эти подробности, чтобы показать, как легко, в сущности, было сохранить хорошие отношения с Ивановым, не идя на особые компромиссы с совестью. Но «недуг» Поплавского «перехамил или перекланялся»... оставался очень распространенным.

Иванов не играл ни в какие игры, азартные или коммерческие; его сексуальная жизнь — довольно сумрачная картина.

В «Круге», явно враждебном морально-политическому облику Иванова, поэт все-таки пользовался и уважением, и вниманием. Показательно, что Ходасевича мы не пригласили, хотя печатали его в нашем альманахе.

Перелистывая Фета, я всегда вспоминаю Иванова; по сей день не могу понять, почему последний так пришелся по вкусу изголодавшейся новой эмиграции... Разумеется, это настоящий поэт, но были уже у нас Ходасевич, Цветаева — не меньшего размаха! Думаю, что не в одной поэзии тут дело; читая Иванова, бессознательно чувствуешь, что все трын-трава: можно в одну контрразведку заглянуть, затем в другую, противоположную, позволительно ошельмовать кулака-отца, у еврея денег перехватить, затем у немецкого полковника, в Национально-Трудовой Союз записаться, потом к советским патриотам примкнуть. Все извинительно...

Только в мире и есть, что тенистый
Дремлющих кленов шатер!
Только в мире и есть, что лучистый
Детски-задумчивый взор!

Это строки Фета, а не Иванова. И еще:

Люди спят,— мой друг, пойдем в душистый сад:
Люди спят, одни лишь звезды к нам глядят,
Да и те не видят нас среди ветвей,
И не слышат,— слышит только соловей,
Да и тот не слышит: песнь его громка,
Разве слышат только сердце и рука...

Проза Иванова — трехмерная, на редкость безблагодатная («Петербургские зимы» в стороне, я разумею «романы» Иванова). «Распад атома» любопытен, пожалуй, с точки зрения автобиографической.

Тяготел он всегда скорее к «реакционному» сектору в своих взглядах, хотя убеждений, принципов у Иванова почти не было. Бессознательно любил и уважал только сильную власть и великую державу; требовал порядка и, главное, иерархии при условии, что он, Иванов, будет причислен к элите.

После благополучного завершения войны я получил письмо от Иванова с юга Франции. Тогда печатался в «Новом журнале» «Американский опыт», и Г. Иванов похвалил его: «Вот такие именно писатели нам нужны...» Затем что-то намекал насчет возможного (при его связях) устройства французского перевода. И в заключение просил послать отрез серого сукна на костюм. Это все типичный Иванов; надо только помнить, что если бы я ему отправил подарок, он бы мне обязательно, немедленно отплатил гадостью.

«О костюмчике не может быть и речи!» — отвечал я ему.

Это был любимый анекдот одессита Ставрова... Гражданин высовывается из окна горящего здания и зовет на помощь. Ему кричат снизу: «Прыгай!» Но он отвечает: «О том, чтобы прыгать, не может быть и речи». На Монпарнасе очень ценили эту шутку.

Вот я стараюсь, по-видимому, честно рассказать о человеке, которого знал, и чувствую, как сущность этой души, секрет ее ускользает. Неправда, что только Пушкин (Ленский) унес в могилу тайну своей личности. Мы все, и особенно такие искаженные образы, как Ивановы, храним и лелеем скрытую рану (язву), о которой можно догадаться только благодаря усердию, с которым мы толкаем посторонних, друзей и врагов, на ложный след.

Я назвал Иванова совершенно аморальным; но это неверно по отношению к его труду. Для стихов своих он, вероятно, многим жертвовал и, пожалуй, признавал некоторые, хотя бы им самим установленные, правила и законы. Возможно, что всю остальную жизнь он почитал вздором, скрашиваемым только комфортом, и поэтому ничего не стоило врать, шантажировать, предавать. Единственно стихи свои он воспринимал как настоящую реальность и тут не жалел себя.

К концу 30-х годов, когда тень Гитлера падала уже за Рейн, на французский пейзаж, наши нервы понемногу начали сдавать. В воздухе запахло кровью, быть может, кровью близких, и шуточки Иванова становились опасными; кроме того, полиция тоже вдруг, казалось, проснулась. Тогда он повел себя осторожнее; то ли дело во времена «народного фронта» — сколько язвительных, пророческих анекдотов порождал Иванов.

В «Круге» последний год Иванов сидел молча, с каменным лицом. Только изредка подталкивал к несдержанным рейдам нашего единственного (платонического) гитлеровца — Лазаря Кельберина... Сей последний вообразил себя, временно, помесью Паскаля с Розановым.

Вот к выкрикам Кельберина обычно тихохонько примазывался Иванов, покровительствовавший ему.

Раз, придя на заседание правления «Круга», я узнал, что будет обсуждаться кандидатура нового члена — Злобина. Каким образом Иванов убедил Фондаминского и кто еще участвовал в этом заговоре, не помню; но возражать пришлось только мне, даже Федотов только брезгливо отмалчивался.

— Помилуйте,— возмущался я.— Мы не пригласили Мережковских, у которых могли бы все-таки чему-то научиться. А тут вы предлагаете кандидата со всеми пороками Мережковских, но без их заслуг...

— Вы боитесь Злобина? — победоносно спрашивал Фондаминский, зная, что я отвечу.— Ну вот. Значит, пускай себе сидит и слушает. Может, даже мы на него повлияем. А Мережковские сильные противники. Кому охота теперь с ними спорить о самых элементарных началах и терять время. Только Кельберин еще соблазнится их речами, да еще кое-кто. Нет, Мережковских я не хочу здесь. А Злобин не опасен.

Его настойчивость, а главное, аккуратность, с какой он начинал опять спор именно с того места, на котором давеча прервал, действовали на многих из нас парализующе, и мы уступили.

Так в 1939 г. появился на этих собраниях заложник Мережковских — Злобин. Человек, вероятно, в большой степени ответственный за все безобразия последнего периода жизни Мережковских. Держал он себя тихо, подчеркнуто гостем, сидел на диване рядом с Ивановым, составляя некую темную фракцию; однако изредка задавал «каверзные» вопросы, например, после доклада Керенского:

— Не думаете ли вы, Александр Федорович, что Гитлер, помимо эгоистических видов на Украину, искренне ненавидит коммунизм и хочет его в корне уничтожить?

На что Керенский, кокетничая беспристрастием, ответил:

— Я допускаю такую возможность.

Керенский был у нас заложником исторического чуда. Несколько месяцев он возглавлял и защищал воистину демократическую Россию, тысячелетиями превшую в тисках великодержавных шалунов. Этого уже не удастся зачеркнуть!

«Верховный главнокомандующий,— насмешливо, но и с петербургским трепетом повторял Иванов.— Вы заметили, как он меня держал за пуговицу и не отпускал? Подумайте, Верховный великой державы, во время войны».

Когда, случалось, цитировали знаменитый белый стих Ходасевича: «Я руки жал красавицам, поэтам, вождям народа...» — Иванов неизменно объяснял:

«Это он Керенского имел в виду, других вождей народа он не знал».

Как-то раз случайная дама из правого сектора сообщила за чайным столом Мережковских, что встретила Керенского в русской лавчонке — он выбирал груши.

«Подумайте, Керенский! И еще смеет покупать груши!» — вопила она, уверенная в своей правоте.

В этот день обсуждалась тема очередного вечера «Зеленой лампы». Мережковский с обычным блеском сформулировал ее так: «Скверный анекдот с народом Богоносцем...»

К нашему удивлению, правая дама, запрещавшая Керенскому есть груши, возмутилась: «Мы придем и забросаем вас тухлыми овощами,— заявила она.— А может быть, и стрелять начнем».

Но и либералы, эсеры, народники тоже запротестовали, узнав о предстоящем вечере, и пришлось уступить «общественному мнению» — из трусости.

Мережковские закончили довольно позорно свой идеологический путь. Главным виновником этого падения старичков надо считать Злобина — злого духа их дома, решавшего все практические дела и служившего единственной связью с внешним, реальным миром. Предполагаю, что это он, «завхоз», говорил им: «Так надо. Пишите, говорите, выступайте по радио, иначе не сведем концы с концами, не выживаем». Восьмидесятилетнему Мережковскому, кащею бессмертному, и рыжей бабе-яге страшно было высунуть нос на улицу. А пожить со сладким и славою очень хотелось после стольких лет изгнания. «В чем дело? — уговаривал Злобин.— Вы ведь утверждали, что Маркс — Антихрист. А Гитлер борется с ним. Стало быть, он — антидьявол».

Салон Мережковских напоминал старинный театр, может быть, крепостной театр. Там всяких талантов хватало с избытком, но не было целомудрия, чести, благородства. (Даже упоминать о таких вещах не следовало.)

В двадцатых годах и в начале тридцатых гостиная Мережковских была местом встречи всего зарубежного литературного мира. Причем молодых писателей там даже предпочитали маститым. Объяснялось это многими причинами. Тут и снобизм, и жажда открывать таланты, и любовь к свеженькому, и потребность обольщать учеников.

Мережковский не был в первую очередь писателем, оригинальным мыслителем, он утверждал себя, главным образом, как *актер*, может быть, гениальный актер... Стоило кому-нибудь взять чистую ноту, и Мережковский сразу подхватывал. Пригибаясь к земле, точно стремясь стать на четвереньки, ударяя маленьким кулачком по воздуху над самым столом, он начинал размазывать чужую мысль, смачно картавя, играя голосом, убежденный и убедительный, как первый любовник на сцене. Коронная роль его — это, разумеется, роль жреца или пророка.

Поводом к его очередному вдохновенному выступлению могла послужить передовица Милюкова, убийство в Halles, цитата Розанова-Гоголя или невинное замечание Гершенкрона. Мережковскому все равно, авторитеты его не смущали: он добросовестно исправлял тексты новых и древних святых и даже апостолов. Чуял издалека острую, кровоточащую, живую тему и бросался на нее, как акула, привлекаемая запахом или конвульсиями раненой жертвы. Из этой чужой мысли Дмитрий Сергеевич извлекал все возможное и даже невозможное, обгладывал, обсасывал ее косточки и торжествующе подводил блестящий итог-синтез: мастерство вампира! (Он и был похож на упыря, питающегося по ночам кровью младенцев.)

Проведя целую длинную жизнь за письменным столом, Мережковский был на редкость несамостоятелен в своем религиозно-философском сочинительстве. Популяризатор? Плагиатор? Журналист с хлестким пером?.. Возможно. Но главным образом, гениальный актер, вдохновляемый чужим текстом... и аплодисментами. И как он произносил свой монолог!.. По старой школе, играя «нутром», не всегда выучив роль и неся отсебятину,— но какую проникновенную, слезу вышибающую отсебятину!

Парадоксом этого дома, где хозяйничала черная тень Злобина, была Гиппиус: единственное оригинальное, самобытное существо там, хотя и ограниченное в своих возможностях. Она казалась умнее мужа, если под умом понимать нечто поддающееся учету и контролю. Но Мережковского несли «таинственные» силы, и он походил на отчаянно удалого наездника... Хотя порою неясно было, по чьей инициативе происходит эта бравая вольтижировка: джигит ли такой храбрый или конь с норовом?

Кто-то за столом произносит имя Виолетты Нозьер — героини криминальной хроники того периода (девица, убившая отца, с которым состояла в противоестественной связи).

— Вот,— заливается Мережковский и ударяет кулачком в такт по воздуху над столом.— Вот! От Жанны д'Арк до Виолетты Нозьер — это современная Франция.

— Ах, какой из него бы получился журналист! — не без зависти повторял Алданов, с которым я вышел оттуда.— Ах, какой журналист! Подумайте, одно заглавие чего стоит: «От Жанны д'Арк до Виолетты Нозьер».

Такими штучками — и в плане метафизическом — блистал всегда Мережковский. Но особой глубины и даже свежести, подлинной оригинальности в них как будто не оказалось. Да и правды не было, то есть всей правды. От Жанны д'Арк до Шарля де Голля — гораздо справедливее и осмысленнее. А Виолетты Нозьер были повсюду, во все времена. Но Мережковскому главное произвести эффект, сорвать под занавес рукоплескания.

Демонизм — это когда душа человека не принадлежит себе: она во власти не страстей вообще, а одной всепоглощающей, часто тайной страсти. Думаю, что Мережковский был насквозь демоническим существом, хотя что и кто им владели в первую очередь, для меня неясно.

Собирались у Мережковских пополудни, в воскресенье, рассаживались за длинным столом в узкой столовой. Злобин подавал чай. Звонили, Злобин отворял дверь.

Разговор чаще велся не общий. Но вдруг Дмитрий Сергеевич услышит кем-то произнесенную фразу о Христе, Андрее Белом или о лунных героях Пруста... и сразу набросится, точно хищная птица на падаль. Начнет когтить новое имя или новую тему, раскачиваясь, постукивая кулачком по воздуху и постепенно вдохновляясь, раскаляясь, импровизируя, убеждая самого себя. Закончит блестящим парадоксом: под занавес, нарядно картавя.

Люди постарше, вроде Цетлина, Алданова, Керенского, почтительно слушают, изредка не то возражают, не то задают замысловатый вопрос. Кто-нибудь из отчаянной молодежи лихо брякнет:

— Я всегда думал, что Христос не мог бы сказать о педерастах то, что себе позволил заявить апостол Павел.

— Вы будете вечером на Монпарнасе? — тихо спрашивают рядом.

— Нет, я сегодня в «Мюрат».

Мережковский начал с резкого декадентства в литературе. Он был дружен с выдающимися революционерами этого века, такими, как Савинков. Считалось, что он боролся с большевиками и марксизмом, хотя во времена нэпа вел переговоры об издании своего собрания сочинений в Москве.

Затем он ездил к Муссолини на поклон и получил аванс под биографию Данте. Рассказывал о своей встрече с дуче так:

— Как только я увидел его в огромном кабинете у письменного стола, я громко обратился к нему словами Фауста из Гете: «Кто ты такой? Wer bist du denn?..» А он а ответ: «Пиано, пиано, пиано».

Можно себе представить, как завопил Мережковский, вывернутый наизнанку от раболепного восторга, что дуче тут же должен был его осадить: «Тише, тише, тише».

Мережковский под этот заказ несколько раз получал деньги. Переводил этого Данте известный итальянский писатель, поэт русского происхождения Ринальдо Петрович Кюфферле, переводивший и мои две итальянские книги: Альтро Аморэ и Эсперианцо Американо. От него я кое-что слышал о трансакциях Мережковского.

Сам Дмитрий Сергеевич, отнюдь не стесняясь, рассказывал о своих отношениях с Муссолини:

— Пишешь — не отвечают! Объясняешь — не понимают! Просишь — не дают!

И это стало веселой поговоркой на Монпарнасе применительно к нашим делам.

Мережковский сравнивал Данте с Муссолини, и даже в пользу последнего: забавно было бы прочесть теперь сей тайноведческий труд по-итальянски.

Впрочем, вскоре поспел Гитлер, и тут родные гады откровенно зашевелились, выползая на солнышко из темных углов.

Мережковский полетел на нюрнбергский свет с пылом юной бабочки. Идея кристально чиста и давно продумана: в России восторжествовал режим дьявола, предсказанный Гоголем и Достоевским... Гитлер борется с коммунизмом. Кто поражает дракона, должен быть архангелом или, по меньшей мере, ангелом. Марксизм — антихрист; антимарксизм — антиантихрист: quod erat demonstrandum![1]

О Муссолини он еще осведомлялся: кто ты есть?.. Но тут, с немцами, и спрашивать нечего: все понятно и приятно.

К тому времени большинство из нас перестало бывать у Мережковских. Кровь невинных уже просачивалась даже под их ковер, в квартирке, украшенной образками св. Терезы маленькой, любимицы Зинаиды Николаевны. Там, на улице Колонель Боннэ, вскоре начали появляться, как потом выразился Фельзен, «совсем другие люди».

Иванов, конечно, пристроился к победному обозу и собирался наконец превратиться в отечественного поэта, кумира русской молодежи. Впрочем, думаю, что вполне уютно тогда чувствовал себя только один Злобин.

Злобин, петербургский недоучившийся мальчик, друг Иванова, левша с мистическими

[1] Что и требовалось доказать *(лат.)*.

склонностями, заменил Философова в хозяйстве Мережковских. На мои недоумевающие вопросы Фельзен добродушно отвечал:

— Мне сообщали осведомленные люди, что у Зинаиды Николаевны какой-то анатомический дефект...

И, снисходительно посмеиваясь, добавлял:

— Говорят, что Дмитрий Сергеевич любит подсматривать в щелочку.

Как бы там ни было, но Злобин постепенно приобрел подавляющее влияние на эту дряхлеющую и выживающую из ума чету. Вероятно, он ее пугал грядущей зимою: холодом, голодом, болезнями... А с другой стороны, борьба с дьяволом-коммунизмом, пайки, специальный поезд Берлин — Москва, эпоха Третьего Завета, новая вселенская церковь и, конечно, полное издание сочинений Мережковского в роскошном переплете. Влияние, любовь, ученики.

Догадки, догадки, догадки... Но как же иначе объяснить глупость этого профессионального мудреца, слепо пошедшего за немецким чурбаном. Где хваленая интуиция Мережковского, его знание тайных путей и подводных царств, Атлантиды и горнего Ерусалима? Старичок этот мне всегда казался иллюстрацией к «Страшной мести» Гоголя.

Недаром на большом, сводном собрании, где выступал Мережковский вместе с Андре Жидом, французская молодежь весело кричала:

— Cadavre! Cadavre! Cadavre! [1]

Гиппиус милостиво подавала свою сухую ручку гостям и, улыбаясь, говорила любезность: «А я вас читала сегодня» или «Хорошее стихотворение ваше»... Впрочем, кое-кому она молча совала лапку — почти с ожесточением. В общей сутолоке, среди перепутавшихся рук, прощаясь, Закович будто бы однажды поцеловал кисть Мережковского, чему последний отнюдь не удивился.

Беседуя, Гиппиус произносила имена св. Терезы маленькой или св. Иоанна Креста, точно дело касалось ее кузенов и кузин; то же о третьем Завете или переродном грехе. Если бы Мережковский не занимался метафизикой, а марксизмом или физиологией, то Зинаида Николаевна, вероятно, заигрывала бы с Энгельсом или цитировала бы Павлова. Несмотря на всю свою поэтическую самостоятельность, теологическую заинтересованность, это первично недоброе существо я рассматриваю в порядке «Душечки» Чехова. Повествовали о ее «ангельской» красоте в молодости; вероятно, это правда. Хотя я заметил, что такое рассказывают про многих темпераментных литературных старух. В мое время она уже была сухой, сгорбленной, вылинявшей, полуслепой, полуглухой ведьмой из немецкой сказки, на стеклянных негнущихся ножках. (Что-то «ботническое» все же оставалось в красках.) Страшно было вспомнить ее стишок: «И я, такая добрая, Влюблюсь — так присосусь. Как ласковая кобра, я Ласкаясь обовьюсь...»

Она любила молодежь и поощряла некоторых поэтов; думаю, что многие ей должны быть благодарны. Из прозаиков бедняжка похвалила одного Фельзена (до прихода немцев, разумеется).

А затем немцы начали отступать, и Мережковские остались одни. Даже «единомышленники» вроде Иванова скрылись, стараясь где-то застраховаться. Об этой поре гордая Гиппиус писала: «Одно утешение осталось — Мамченко».

Так себе утешение...

Полагаю, что от стихов Гиппиус сохранится многое: больше, чем от декламации Мережковского. Но вообще, что-то неестественное, духовно разлагающее характеризовало эту чету.

Раз на большом собрании не то «Зеленой лампы», не то «Чисел»... «Числа» в нашей жизни сменили «Зеленую лампу», как потом «Круг» вытеснил «Числа», но на стыках они некоторое время «перекрывали» друг друга. Итак, на большом собрании Иванович-Талин громил зарубежную литературу, утверждая, что у нас осталось всего два стоящих писателя, но один устремлен исключительно в прошлое, а другой видит в жизни только дурное. Мережковский, председательствовавший, оживился и начал расспрашивать: «Может быть, писатель, обращенный в прошлое, ищет там ответа на современные вопросы?..» — и так далее, очевидно, полагая, что речь идет об авторе «Атлантиды» или «Леонардо да Винчи».

На что Талин с места крикнул:

— Меня заставляют назвать трех писателей, тогда как я имел в виду только двух: Бунина и Алданова.

И весь зал в ответ захлопал, заулюлюкал, завыл, на редкость единодушно ликуя. Алданов рядом со мною в тесном для него кресле беспокойно ерзал, вздыхая и оглядываясь.

— Видишь, а ты думал, что о тебе...— с грустной иронией отозвалась Гиппиус, сидевшая тоже на эстраде.

И серый, зеленый, согнутый Мережковский в продолжение нескольких минут вяло мямлил что-то такое, стараясь с честью выйти из неловкого положения. Было тяжело

[1] Труп *(фр.)*.

смотреть на него и противно — на ликующую толпу. Откуда эта стихийная радость всей аудитории? Почему такое всеобщее одобрение ловкому удару, нанесенному ниже пояса?

Я случайно видел Мережковского в церкви на рю Дарю. В будний день, пустой собор; и его сухое тельце в российской шубе с бобровым воротником — похожее на высохшее насекомое или на парализованного зверька!.. Он долго лежал на полу, напоминая финальную сцену из лесковского «Чертогона».

Из старших у Мережковских бывали Керенский, Цетлин, изредка Алданов, Бунин и случайные иногородние паломники.

Присутствие Керенского создавало в гостиной всегда праздничную атмосферу. Я мог поклясться, что иногда различал лавровый венок на его голове, постриженной ежиком. Есть такие счастливцы и неудачники, которые, как метеоры, как яркие кометы, проносятся по небосклону, оставляя необъяснимый, подчас незаслуженный след в сердцах. Такое чувство я испытывал при виде Керенского, Линдберга, Одена, Сирина, Джона Кеннеди, Поплавского, Вильде. Это тайна Падающих Звезд, по-английски shooting stars.

Но стоило Александру Федоровичу открыть рот, и я начинал краснеть за него. Он был во власти стихийного потока: его несло, но неизвестно куда и не на большой глубине. Он принадлежал к породе «недогадывающихся»; по-моему, он был попросту неумен.

Как случилось, что его выпустили «уговаривать» солдатскую или мужицкую Русь, для меня остается загадкой. Впрочем, возможно, что это объясняется глупостью, «недогадливостью» целой эпохи.

В ответ на одно такое мое высказывание он раз сказал мне: «Все, что теперь происходит в Европе и перемалывается ею десятки лет, началось в России, как в прологе к греческой трагедии, как в пантомиме, понятной зрителю только в конце представления. Если бы мы имели опыт того, что потом произошло в Италии или Германии, мы бы совсем иначе себя вели».

Я передаю его слова по памяти, но за общий смысл ручаюсь.

В Нью-Йорке мы с ним часто встречались на собраниях «Третьего часа» в тесной квартире Е. А. Извольской. Но он уже тогда начал хворать, прошел несколько операций, ослеп и неуклонно разрушался. Его партийные или идеологические друзья с ним постепенно разошлись, до того изменились его «взгляды». Если не ошибаюсь, кто-то его даже обвинил в антисемитизме.

Есть такой дом для стариков, выздоравливающих, Nursing Home. На углу 79-й улицы и Третьей авеню. Туда поместили Керенского после его возвращения из Англии. Раз, очутившись в том районе, я решил наведаться к нему, а сущности, попрощаться. Мне назвали этаж и комнату и позволили подняться туда. В пустом широком коридоре не было никого. Я постучал и в ответ на хриплый возглас вошел.

— Кто это? — не то растерянно, не то испуганно.

Он сидел в кресле, с ногами, завернутыми в железнодорожный старомодный плед, и напряженно смотрел в сторону двери, хотя я уже был в центре довольно большой светлой комнаты.

— Это Яновский! — крикнул я поспешно.— Зашел вас проведать.

— А! Нет. Я очень занят теперь.

— Понимаю. Я сейчас уйду. Вас часто оставляют здесь одного без присмотра?

С профессиональной точки зрения это граничило с преступлением.

— Нет, не часто. Она пошла что-то купить себе.

В связи с нашим журналом «Третий час» мне поручили собрать некоторые сведения относительно одного эмигранта, который просился в сотрудники журнала и с которым Александр Федорович встречался в Мюнхене. Я задал ему соответствующий вопрос, и Керенский сразу оживился:

— О, это ужасный человек. Он не понимает, что нельзя американцам позволить так разговаривать с русскими. Он откровенно сознался: «Мне на все наплевать, я коплю деньги и хочу купить виллу в Италии. Все остальное меня не касается: делаю что приказывают»... Вот какой это тип!

— Как ваше здоровье, Александр Федорович?

— О, гораздо лучше. Я сделал ошибку, что поехал в Англию. Там они меня почти доконали.

— Можно вам как-нибудь позвонить, у меня еще есть вопросы к вам.

— Да-да, позвоните,— откровенно обрадовался он,— а теперь я занят.— И он повернул головку в сторону телефона, которого он достать рукой не мог и, очевидно, не собирался.

Его слова мне напомнили эпизод из жизни Салтыкова-Щедрина, который умирал от мучительной болезни, и когда к нему приходили с визитом, гости слышали, как он из соседней комнаты кричал слуге: «Занят, скажите, умирает».

В коридоре я встретил сиделку-японку, ухаживавшую за Керенским многие годы. Я постарался объяснить ей, что для многих русских неудачников вроде Горгулова стрельнуть в Керенского было бы прямой «путевкой» к славе. Но японка меня не поняла или не поверила мне.

Бунин порой вызывал улыбку за чайным столом Мережковских, где спорили о Третьем Завете, о Прусте, о доктрине Трубадуров. Следует помнить, что Бунин был конкурентом Мережковского по линии Нобелевской премии, и это не могло порождать добрых чувств. Он все реже заглядывал в эту гостиную.

Придраться к Бунину, интеллектуально беззащитному, было совсем не трудно. Как только речь касалась понятий отвлеченных, он, не замечая этого, терял почву под ногами. Лучше всего ему удавались устные воспоминания, импровизации — не о Горьком или Блоке, а о ресторанах, о стерляди, о спальных вагонах Петербургско-Варшавской железной дороги.

— Это бритая лошадь! — скажет он об одном уважаемом политическом деятеле, и сразу какой-то туман прояснится: действительно, лошадь и бреется!

Вот в таких «предметных» образах была сила и прелесть Бунина. Кроме того, разумеется, личный шарм! Коснется слегка своим белым, твердым, холодноватым пальцем руки собеседника и словно с предельным вниманием, уважением сообщит очередную шутку... А собеседнику мерещится, что Бунин только с ним так любезно, так проникновенно беседует. Да, колдовство взгляда, интонации, прикосновения, жеста... До чего этим шармом была богата старая Русь, и куда все девалось? Среди новых беглецов все налицо, как полагается: талант, эрудиция, подчас убеждения, идеалы, а благодати шарма, обаяния — нет и нет.

Если по соседству с Алдановым неизменно приходила в голову сказка о голом короле, то с Буниным судьба сыграла совсем противоположного рода шутку, душевно ранив его на всю жизнь... Бунин, с юношеских лет одетый изящно и пристойно, прохаживался по литературному дворцу, но был упорно провозглашаем полуголым самозванцем. Это еще в России, при вспышках фейерверка Андреева, Горького, Блока, Брюсова.

Нетрудно заметить, что именно российская катастрофа, эмиграция выдвинули его на первое место. Среди эпигонов за рубежом он воистину был самым удачным. А в Советском Союзе теперь о Бунине пишут: «так и просится в хрестоматию...», не догадываясь, что место большого писателя отнюдь не в школьных пособиях.

Итак, Бунин легко занял первое место в старой прозе; молодая, вдохновляемая европейским опытом, определилась только в середине 30-х годов и должна была еще воспитать своего читателя. Но *стихи* Бунина вызывали улыбку даже в среде редакторов «Современных записок». Он их, кажется, не печатал больше и не писал до второй Отечественной войны, когда круг исторический опять сомкнулся и снова появился спрос на отечественный пейзаж с коровьим мычаньем и запахом полыни или парного молока. Говорят, что мастера социалистического реализма теперь смакуют вирши Бунина, восхищаясь их монолитностью.

Горький опыт непризнания оставил у Ивана Алексеевича глубокие язвы: достаточно только притронуться к такой болячке, чтобы вызвать грубый, жестокий ответ.

Имена Горького, Андреева, Блока, Брюсова порождали у него стихийный поток брани. Видно было, как много и долго он страдал в тени счастливцев той эпохи.

Бунин прошел мимо всего русского символизма, не задетый им нисколько, упорно продолжая перекликаться с дубравами, березками и жаворонками. Осмеянный, но самостоятельный отщепенец, он теперь мстил своим мучителям, брал реванш. Нельзя сомневаться, что для современного политбюро стихи Бунина все еще понятнее и ближе, чем поэмы Андрея Белого или Анненского.

К чести Ивана Алексеевича надо признать, что он не кривлялся, не подражал, не бежал за модою, оставался почти всегда самим собою: гордым зубром, обреченным на вымирание.

Тексты Бунина как будто уже знакомы нам по произведениям других, более ранних авторов. Но «делает» он свои вещи, пожалуй, лучше самых великих предтеч. Это закон эпигонов! Бунин описывает ветлы на заливном лугу и щиколотки баб, может быть, удачнее Тургенева или Толстого. У него вино пьют из фужера... Но заслуги Тургенева и Толстого не в этом или не только в этом.

Можно проделывать чистенький акробатический номер в губернском цирке, над прочно растянутой сеткой... Это судьба эпигонов. То ли дело первые циркачи, которым приходилось кувыркаться с трапеции на трапецию без спасительной сетки внизу.

Замечательно, что «последователь» Бунина Зуров, то есть эпигон эпигона, еще искуснее описывает поцелуй крестьянки или зимний наст. Тут выражена какая-то закономерность.

Бунин на собраниях или в гостиной был наряден и любезен. Тщательно выбритый, с белым лицом, седой, иногда во фраке, подчеркнуто сухой и подтянутый, дворянин, европеец.

— Это он после того, как ему вырезали геморрой, начал себя так держать! — уверил Иванов, еще больше оттопыривая нижнюю губу.

Ночью на Монпарнасе, у «Доминика» или в «Селекте», подсаживаясь к нам, Бунин был мужественно изящен и прост. С ним нельзя было, да и не надо было, беседовать на отвлеченные темы. Не дай Бог заговорить о гностиках, о Кафке, даже о большой русской поэзии: хоть уши затыкай. Любил он чрезмерно Мопассана, которого французы не могли считать великим писателем, как и американцы Эдгара По! Что не мешало обоим этим литераторам сводить с ума Россию.

Боже упаси заикнуться при Бунине о личных его знакомых: Горький, Андреев, Белый, даже Гумилев. Обо всех современниках у него было горькое, едкое словцо, точно у бывшего дворового, мстящего своим мучителям-барам.

Он уверял, что всегда презирал Горького и его произведения. Однако лучшая по старым временам поэма Бунина «Лес точно терем расписной»... была посвящена в первом издании Максиму Горькому. Позже, в эмиграции, он перепечатывал ее уже без посвящения.

— Не трогайте о. НН! — выкрикивал он вдруг в порыве какого-то душевного великодушия, хотя мы ничего дурного об о. НН не собирались говорить.— Не трогайте его, это мой Митя!..

Тут, конечно, любопытное противоречие, бросающее свет на процесс творчества Бунина и на ограниченность его кругозора: в «Митиной любви» герой кончает довольно банальным самоубийством, тогда как на самом деле молодой человек из его повести постригся в монахи и вскоре стал выдающимся иереем.

Натуральной склонностью обиженного в молодости Бунина было высмеять, обругать, унизить. Когда богатый купец угощал Бунина хорошим обедом, он, показывая независимость, привередничал, браковал вина, гонял прислугу, кричал:

— Да если бы мне такую стерлядь подали в Москве, так я бы...

Глядя на него, можно было легко поверить, что в России неплохие люди, единственно чтобы показать самостоятельность, мазали горчицей нос официантам и били тяжелые зеркала. А ресторатор это понимал не хуже Фрейда или Адлера.

Бунин интересовался сексуальной жизнью Монпарнаса; в этом смысле он был вполне западным человеком — без содроганий, проповедей и раскаяния. Впрочем, свободу женщин он считал уместным ограничить, что сердило почему-то поэта Ставрова.

Семейная жизнь Бунина протекала довольно сложно; Вера Николаевна, подробно описывая серую молодость «Яна», позднейших приключений его не коснулась, во всяком случае, не опубликовала этого.

Кроме Кузнецовой — тогда молодой, здоровой, краснощекой женщины со вздернутым носиком,— кроме Галины Николаевны в доме Буниных проживал еще Зуров. Последний был отмечен Иваном Алексеевичем как «созвучный» автор, и его выписали из Прибалтики. Постепенно, под влиянием разных бытовых условий, Зуров вместо благодарности начал испытывать почти ненависть к своему благодетелю. К тому же, несмотря на заботливый уход Веры Николаевны, или по причине его, Зуров вдруг тронулся рассудком, подвергаясь периодически припадкам помешательства. Он уже давно писал огромную эпопею «Зимний дворец», которую по многим причинам не мог или не желал печатать в эмиграции.

В свои последние годы Бунин сообщал гостям, насмешливо кивая в сторону комнаты Зурова:

— Вот, «Войну и мир» все пишет, ха-ха-ха.

Рассказывая мне об этом в Нью-Йорке, Алданов неизменно добавлял:

— Уважаю, очень уважаю, но сам я не могу десять лет работать над одной вещью.

Когда Алданов писал пьесу для театра Фондаминского, систематически прочитывал все известные драмы: новые и классические.

— Хороших пьес нет! — сообщил он мне с некоторой печалью.

Мы сидели наверху в «Мюра». Бунин только что вернулся из Италии и с радостью повторял слова, недавно сказанные Муссолини о том, что он не позволит поделить Испанию на две части! Надо было, конечно, объяснить Алданову, почему он не заметил хороших пьес, но тут Бунин вмешался и рассказал, что тоже когда-то начал писать трагедию, но неудачно, и поэтому уничтожил рукопись.

— Вот этого я не понимаю,— хозяйственно упрекал его Алданов.— Ну, отложите в сторону, спрячьте. Когда-нибудь пригодится!

— Это бы меня беспокоило,— нехотя поучал Бунин своего друга.— А сжег, конец!

Кузнецова, кажется, была последним призом Ивана Алексеевича в смысле романтическом. Тогда она была хороша немного грубоватой красотой. И когда Галина Николаевна уехала с Маргаритой Степун, Бунину, в сущности, стало очень скучно.

Бывало, на юге, в Грассе, утром выходит из комнаты Ивана Алексеевича Кузнецова и обращается к Вере Николаевне (заикаясь, со вздернутым смазливым носиком):

— Иван Алексеевич получил очень интересное письмо из Парижа...

— Ну, если оно интересное, то он мне сам расскажет,— при людях сдержанно отвечала Бунина.

Ходасевич называл Кузнецову — Зурова бунинским крепостным театром.

На Монпарнасе Бунин захаживал в отдельные комнаты наших поэтесс, стараясь проникнуть в местные тайны; потом говорил:

— Душечки, вы ничего нового не выдумали. Вот была у нас в Москае Инна Васильевна...

Типичнейший перебор зубров: при виде Лувра вспомнить родную каланчу; читая Пруста, похвалить симбирского самородка, спившегося 50 лет тому назад. Зайцев был гораздо культурнее, знал языки и ценил Запад, разумею, искусство Запада.

Вспоминаю эти ночные часы, проведенные в обществе Бунина, и решительно не могу воспроизвести чего-нибудь отвлеченно ценного, значительного. Ни одной мысли общего порядка, ни одного перехода, достойного пристального внимания... Только «живописные» картинки, кондовые словечки, язвительные шуточки и критика — всех, всего! Кстати, Толстой крыл многих, но обидел его не Горький с Блоком, а Шекспир и Наполеон.

— Как изволите пожиаать, Иаан Алексеевич, в смысле сексуальном? — осведомлялся я обычно, встречая его случайно после полуночи на Монпарнасе.

— Вот дам между глаз, так узнаешь,— гласил ответ.

И этот старинный прием «между глаз...» звучал как вальс «На сопках Маньчжурии».

Единственно что меня потрясло в его речах и я вспоминаю часто, как цитату из Пруста или Достоевского, это его слова относительно критики, рецензий, отзывов:

— Вот до сих пор еще, а ведь сколько этого было,— услышал я от него раз в «Доминике».— Увидишь свое имя напечатанным, и сразу тут, в сердце,— Бунин поскреб щепотью свою грудь слева,— тут почувствуешь нечто, похожее на оргазм.

Вот такие откровения чувственного мира для него характерны. И еще памятно... Раз во время оккупации, в Ницце Адамович мне показал открытку от Бунина. Иван Алексеевич писал, что к ним приехал один господин и отделаться от него по нынешним временам нельзя, «да и ему, вероятно, некуда идти». Последние слова я помню точно. И это прозвучало для меня как пушкинское «И милость к падшим призывал...». Неожиданно и прекрасно.

Когда Иван Алексеевич удостоился Нобелевской премии, все корреспонденты, и русская печать в особенности, описывали, как изящно, по-придворному, лауреат отвесил поклон шведскому королю. И фрак Ивана Алексеевича, и рубашка — все выглядело безукоризненно. Об одном почти забыли упомянуть или упоминали только мельком — это о содержании его речи. Кем-то переведенная для Бунина, может быть, при участии А. Седых, и произнесенная с плохим французским выговором, она была плоска и бесцветна.

Казалось бы, вот оказия выпрямиться во весь рост, выкрикнуть что-то свое о большевиках, о войне, о подвиге эмиграции, о свободе явной и тайной. Весь мир через час услышит, прочитает, поаторит.

Но нет, Ивану Алексеевичу нечего прибавить к саоим произведениям. Он локальное, русское, литературное яаление. Европу, Америку он может удивить только европейским фраком и придворным книксеном.

У меня с Буниным, несмотря на частые встречи, личных отношений почти не было. Раз мы просидели целый вечер одни в коридоре, дожидаясь конца собрания, на котором Адамович, Гиппиус, Вейдле и даже Ходасеаич славословили прозу Фельзена (тут же прочитавшего несколько отрывков). Бунину было так же трудно переварить этот «социальный заказ» наших критиков, как и мне! Так мы шептались часа два, беседуя и сплетничая. Это был умный, ядовитый, насмешливый собеседник, свое невежество искупавший шармом.

Все, что я писал, Бунину было соаершенно чуждо; его «психологические» романы казались мне повторениями века Мопассана или Шницлера, по-русски, то есть с обильной закуской, жаворонками и закатами.

Когда выходила моя новая книга, я ее аккуратно посылал лауреату с любезной надписью. При астрече он благодарил, иногда делал двусмысленный комплимент. Так, о «Любви второй» сказал приблизительно:

— Хорошо у вас там религиозное преображение. А вот героиня упоминает о менструации: не знаете вы женщин, никогда они про это не заговорят.

Оставалось только томительно вздыхать и улыбаться: не спорить же с ним об этих предметах.

— Иван Алексеевич,— скажешь ему наконец,— ведь вы только знаете русских старорежимных женщин. Сознайтесь, ведь у вас никогда не было романа с европейкой...

— Вот стукну между глаз, тогда узнаешь!..— гласил незамысловатый ответ.

Вера Николаевна довольно часто спорила с мужем относительно бытовых подробностей того или иного описанного им происшествия: где, когда, с кем... Это была русская («святая») женщина, созданная для того, чтобы безоговорочно, жертвенно следовать за своим героем — в Сибирь, на рудники или в Монте-Карло и Стокгольм, все равно! Случилось, что на каторгу ей не пришлось идти, но, конечно, она не побоялась бы разделить судьбу Волконской и Трубецкой, даже, может быть, предпочла бы это — Грассу и 1, рю Жак Оффенбах.

Для бала Союза Молодых Писателей и Поэтов или для наших больших общих, и индивидуальных, вечеров Бунина неутомимо собирала пожертвоаания, продавала билеты, просила, кланялась, с достоинством благодарила... Ходила по русским бакалейным лавкам, унося для буфета дареные рижские шпроты и польскую колбасу.

Принимала участие в судьбе любого поэта, журналиста да вообще знакомого, попавшего в беду, бежала в стужу, слякоть, темноту. Был такой сотрудник «Возрождения», ныне москвич — Рощин; это он рассказыаал с гордостью, что Куприн, которого он угостил хорошим обедом и заставил прослушать свою новую повесть, Куприн, попросиа еще коньяка, благодушно воскликнул:

— Пишите, пишите, пишите!

Кстати, считалось, что именно Куприн сложил не совсем лестный стишок про Рощина: «У малютки труд упрощен: сел на... и подпись Рощин».

Итак, Рощин вдруг сманил законную жену одного русского таксиста (с ребенком), а потом никак не мог их прокормить своим трудом. Вера Николаевна и этим делом занялась аплотную, о чем, думаю, Зуров или Кузнецоаа когда-нибудь подробно расскажут.

По окончании парижского университета мне по закону полагалось для получения звания доктора Сорбонны *напечатать* свою диссертацию. А для этого нужны деньги.

И Вера Николаевна носилась по тучным меценатам с подписным листом, собирая на these de Paris[1]. Мне было совестно; в конце концов диплом ничего общего с литературой не имеет, зачем ей стараться! А она с холодной улыбкой на бледно-матовом лице, что-то похожее на Джоконду, объясняла:

— А мне очень приятно ходить именно по такому делу. Обычно я обращаюсь к солидным, практичным людям и прошу на какие-то стишки, которые они не знают и вряд ли когда-нибудь узнают. А тут вдруг впервые я могу их обрадовать понятным и приятным образом: помилуйте, на докторскую диссертацию, устроится челоаек и другим начнет помогать... Это они чувствуют!

Зуров в присутствии Бунина вел себя по меньшей мере странно: молчал, редко обращался к нему прямо, а когда Иван Алексеевич что-то рассказывал, то Зуров прислушивался с улыбкой, мною названной горгуловской. Точно Зуров знал какую-то *правду* о Бунине, которая противоречила всей аидимости.

Позже, когда Зуров заболел, он грозился неоднократно зарезать Бунина, и на долю Веры Николаевны выпала нудная роль не только ухаживаать за больными, но и охранять их от острой бритвы.

В сенях на 1, рю Жак Оффенбах, когда гость, бываало, старается повесить пальто на первый попавшийся гвоздь у вешалки, Вера Николаевна шепотом предупреждала:

— Нет, это крючок Леонида Федоровича (Зурова). Он может рассердиться. Повесьте на соседний гвоздик.

Бунину ничего не нравилось в современной прозе, эмигрантской или европейской. Похваливал (теплоаато) одного Алданова. Когда начали выходить «Русские записки», то там опять Алданоа, параллельно своим романам в «Современных записках», занимал по 50 страниц в номере. На Монпарнасе шутя утверждали, что после смерти Алданова в зарубежной прессе станет просторно; увы, мы не догадыаались, что и другие уйдут, а в перзую очередь — культурный читатель.

В связи с очередной продукцией Алданова «Пуншевая аодка» я Бунина даже пристыдил и заставил объяснить, что а ней хорошего!.. Исчерпаа ряд доводов, он наконец неубедительно закончил:

— Но как это написано!

— Плохо написано, Иаан Алексееаич,— ответил я.— Алексей Толстой пишет божестаенно в сравнении с такой подделкой.

Алексея Толстого Бунин, конечно, ругал, но «талант» его (стихийный) ставил высоко. Думаю, что у Бунина вкус был глубоко проаинциальный, хотя Л. Толстого он любил всерьез.

По своему характеру, воспитанию, по общим влечениям Бунин мог бы склониться в сторону фашизма; но он этого никогда не проделал. Свою верную ненависть к большевикам он не подкреплял симпатией к гитлеризму. Отталкивало Бунина от обоих режимов, думаю, в первую очередь их хамство!

В Германии, куда он поехал проведать Кузнецову, его на границе обыскали СС (залезали пальцем в анус): искали бриллианты, что ли?.. Помню, с каким бешенством он про это рассказывал. Догадываюсь, что такие эпизоды в жизни физиологически цельного Бунина сыграли бо́льшую роль, чем все теории и программы.

Мне Иван Алексеевич за все годы писал раза 2—3, и всегда кратко, деловито. Только однажды получилось иначе. Летом 1942 года перед отъездом в США я написал ему из Монпелье, прося какой-то американский адрес, может быть, Алданова. Бунин мне ответил из Грасса тотчас же, чуть ли не обратной почтой, и вполне обстоятельно. Сообщал нужные адреса, присовокупив еще некоторые от себя. «Пишете ли Вы что-нибудь, разумею — литературно?» — осведомлялся он и дальше увещевал: надо писать! Именно в такое время! Это единственный достойный ответ, доступный еще нам! Не помню дословно.

[1] Парижскую диссертацию *(фр.)*.

Письмо это было тем более трогательно и ободряюще, что ему мои писания ни с какого боку не подходили, я это знал. Вот эта смесь природного изящества, такта, милосердия наряду с грубостью недоросля из дворян особенно умиляла в Бунине.

На балу русской прессы в Париже 13 января ночью я очутился рядом с облаченным во фрак, стройно-сутуловатым, поджарым Буниным. Кругом носились полуобнаженные женщины в нерусском танце, музыка играла греховно-обнадеживающе.

— Иван Алексеевич,— обратился я к нему,— вам не кажется, что мы, в общем, профуфукали жизнь?

Бунин не удивился этому странному вопросу и не обиделся на фамильярное «мы»; подумав, он очень трезво ответил, не отводя, впрочем, глаз от кружащихся пар:

— Да, но ведь что мы хотели поднять!

В те годы Алданов неизменно делал комплименты Мережковскому:

— Вас, Дмитрий Сергеевич, считают в Германии первым русским писателем, но реакционером. «Берлинер Тагеблатт» так и пишет: эйнгефлайштер реакционэр.

Мережковский польщенно осклаблялся и горько повторял: «Эйнгефлайштер реакционэр...» Он себя таковым не считал.

Когда начали печатать бесконечную трилогию Алданова «Ключ», последний одно время довольно часто наедывался к Мережковским. Раз в углу гостиной происходил такого рода разговор:

— Марк Александрович, я собираюсь выругать «Ключ», вам это будет очень неприятно?

— Очень, Зинаида Николаевна. Вы себе даже не представляете, как это мне будет неприятно.

Ну, Гиппиус, кажется, о «Ключе» не написала.

— Это, собственно, что же такое ваш роман, авантюрный? — спрашивает Зинаида Николаевна, вертя во все стороны лорнет, не решаясь упереться взглядом в ответственного сотрудника «Последних новостей».

— Это психологический роман,— вкрадчиво объяснял Алданов, озираясь, точно боясь быть услышанным посторонними.

— Марк Александрович,— крикнет Мережковский, прерывая спор о Маркионе.— Мы решили, что Зина должна начать сотрудничать в «Последних новостях». Что вы об этом думаете?

— Многие не поймут этого литературного развода,— мягко отвечает Алданов.

Чудом карьеры Алданова надо считать факт, что его ни разу не выругали в печати, за исключением Ходасевича. Я часто, недоумевая, спрашивал опытных людей:

— Объясните, почему вся пресса, включая черносотенную, его похваливает?..

Даже ди-пи начали ловко вставлять в текст своих статей комплимент Алданову: концовку вроде, как бывало раньше в Союзе, похвалы «отцу народов». Они дошли до этого инстинктом и уверяют, что таким образом статья наверное пройдет и без больших поправок, даже встретит сочувственный отзыв влиятельных подвижников.

В чем тайна Алданова? Неужели он так хорошо и всегда грамотно писал, что не давал повода отечественному исследователю его вывалять в грязи (по примеру других российских великомучеников)?

Толстого ловили на грамматических ошибках. Достоевского, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Державина и Пастернака. Кого в русской литературе не распинали на синтаксисе! Но не Алданова. Алданова никогда ни в чем не упрекали: все, что он производил, встречалось с одинаковой похвалой. Что случилось с зарубежным критиком?

На Монпарнасе Иванов цитировал строчку из нового отрывка Алданова: там его героиня Муся старалась походить на женщину. Алданов, увы, был вне сексуальных тяжб. Как многие наши гуманисты, он, однажды обвенчавшись, этим самым разрешил все свои интимные проблемы: ни разу не изменив жене и ни разу не прижив с ней ребенка. Вишняк, Зензинов, Руднев, Фондаминский, Федотов, Бердяев и разные марксисты — все это люди бездетные. Сколько было скопцов в том поколении, поразительно.

И строчки, где бедная Муся кокетничает или занимается своим туалетом, приобретали зловеще-комичный оттенок в устах сумрачного Иванова; мы все кругом невесело посмеивались: Алданов занимал в журналах половину всего места, уделяемого прозе. И, пожалуй, половину критических отзывов. Он считался образцом любезности и доброжелательства: никому отказа не было. Но и пользы большой от его представительства не обнаруживалось. Меня отталкивала его всегдашняя подчеркнутая готовность услужить.

Алданов, талантливейший, культурнейший публицист, почему-то задумал писать бесконечные романы. И это была роковая ошибка.

Перечитывая «Похождения Чичикова», я совершенно непроизвольно, однако всегда на тех же страницах, вспоминаю Алданова... «Приезжий наш гость также спорил, но както чрезвычайно искусно, так что все видели, что он спорил, а между тем приятно спорил. Никогда он не говорил: „вы пошли", но „вы изволили пойти", „я имел честь покрыть вашу двойку" и тому подобное».

Галина Кузнецова, писательница деликатнейшая, в своем прелестном «Грасском журнале», где она ни о ком не отзывается резко или худо, все же так повествует о Марке Алданове:

«Всю дорогу туда и обратно он расспрашивал. Это его манера. Разговаривая, он неустанно спрашивает, и чувствуется, что все это складывается куда-то в огромный склад его памяти, откуда будет вынуто в нужный момент. Расспрашивал он решительно обо всем: как мы здесь живем, охотятся ли здесь, ездят ли верхом, почему не охотится Иван Алексеевич, почему не ездит верхом, почему не ловит рыбу...» и так далее, и так далее.

Как не вспомнить здесь знаменитый ларчик, куда Чичиков «имел обыкновение складывать все, что ни попадалось». А в другом месте «Мертвых душ»: «Потом, само собою разумеется, письмо было свернуто и уложено в шкатулку, в соседстве с какой-то афишею и пригласительным свадебным билетом, семь лет сохранявшимся в том же положении и на том же месте».

Пошлешь Алданову свою новую книгу и обратной почтой получишь летучку или открытку с благодарностью и пожеланием успеха. Бунин если отвечал, то только предварительно перелистав или прочитав книгу.

— Над чем изволите теперь работать? — осведомлялся Алданов, и молодой литератор недоумевающе оглядывался, не зная, к кому обращаются с этим вопросом. А получив ответ, вежливо продолжал:

— У кого предполагаете издавать?

Последний вопрос, уместный, может быть, в Москве, в наших условиях был совершенно бессмыслен.

Мне случалось наблюдать за Алдановым на одном полуполитическом собрании, и я многое понял... Союз журналистов по требованию председателя Милюкова собрался, чтобы исключить члена Союза Алексеева, заподозренного в сотрудничестве с советской контрразведкой. Заседание было «бурное», защищали Алексеева сотрудники «Возрождения», в первую очередь светлой памяти Сургучев (чьи скрипки в июне 1940 года зазвучали по-весеннему). Коллеги Алексеева упрямо повторяли, что обвинение не доказано.

— Позор! — выкрикивал Сургучев.

— Позор! — подхватывал спереди Мейер. И маленький зал Российского музыкального общества совсем не музыкально содрогался.

Почему-то в этот вечер присутствовало много молодых, имевших еще свой Союз Писателей и Поэтов. Очевидно, была произведена мобилизация «передовых» сил.

Председательствовал генеральный секретарь Зеелер, для меня тоже вышедший из «Мертвых душ» — Собакевич. Выступали разные «беспокойные» личности, путавшие и раздражавшие Зеелера. Наше отношение к чекисту было вполне определенное, и все спокойно ждали голосования. Надо отметить, что в Париже собралось несколько десятков литераторов, в продолжение всей эмиграции с посольством на рю Гренель не заигрывавших. Позже они зеленых мундирчиков не надевали и в «освободительных» газетках не сотрудничали. Историку отечественной словесности этого периода когда-нибудь придется с похвалою отметить сей факт. То, что случилось с Маклаковым, особое послеоккупационное явление — реакция на чудесное спасение России.

В перерыве я спросил Алданова:

— А вы, Марк Александрович, что думаете по этому поводу?

— Очень грустно все это,— ответил он неохотно.— Что тут думать.

Когда приступили к голосованию, в самую напряженную минуту я случайно оглянулся и заметил, как пухлый Алданов, похожий на моржа (с ластами вместо рук), проворно скользнул за дверь и скрылся, от явного голосования уклонившись.

В нем многое казалось, и было, подделкою. Его желание выглядеть петербуржцем или западноевропейцем... Утверждали, что Алданов много пьет и пишет свои произведения в кафе: совсем как poetes maudits[1].

Даже на его доброжелательности, услужливости, порядочности был какой-то налет лжи, которую так ненавидел обожаемый Алдановым Лев Толстой.

— Ведь ключ к «Войне и миру» потерян, его нельзя найти! — жаловался он в минуту откровенности. Предполагалось, что к каждому литературному произведению имеется «ключ», и если Марк Александрович его не нашел, значит, его уже никто не сыщет.

Алданов понимал, что Пруста *надо* хвалить, но, думаю, что он его не читал. Отзываясь уважительно о Прусте, он тут же упоминал имя какого-нибудь другого писателя, которого нельзя поставить рядом, например, Маркаенда. Да и никаких следов, оставленных Прустом, нельзя было заметить в Марке Александровиче. Но он часто повторял, что не может себе простить двух роковых ошибок — не съездил в Ясную Поляну и не видел живого Пруста... а обе эти возможности были ему доступны. Характерно для Алданова: читать Пруста не обязательно, а поглядеть на него из угла кафе полагается.

Кстати, какой это страшный литературный анекдот — единственная встреча Пруста с Джойсом (при жизни). Их представили друг другу в людном и модном салоне. Они постояли с минуту рядом, обменялись условным приветствием и разошлись: им абсолютно не о чем было разговаривать.

[1] Проклятые поэты *(фр.)*.



Красимира Стоянова

«Я — ДВЕРЬ ДЛЯ НИХ!» [1]

Самое удивительное проявление ясновидения Ванги — это контакт, который она устанавливает с умершими родными, близкими и знакомыми посетителей. О смерти и о том, что остается после нее от человека, Ванга имеет свое мнение, отличающееся от представлений современного человека. В 1983 году записана беседа Ванги с режиссером (П. П.), в ходе которой она говорила: «Ведь я сказала тебе, что, когда человек умирает, его тело гниет. Но душа и часть тела, я даже не знаю, как ее назвать, не гниет. Вот вы говорите о перерождении. Что это такое, я не знаю. Но то, что не гниет, а остается от человека, по-моему, развивается, чтобы достичь высшего состояния, но мы не знаем, что это такое. Происходит примерно следующее: сначала умираешь необразованным, затем умираешь учеником, после человеком с высшим образованием, в конце концов, становишься ученым или же занимаешь высокий пост и т. д. Вот это и есть высшее. Это душа».

Она воспринимает смерть только как физический конец и считает, что личность сохраняется и после этого фатального исхода.

На вопрос одного посетителя, почему она говорит ему о его умершей матери и не он ли ее привел своим присутствием, Ванга ответила ему: «Не ты ее привел. Они сами приходят, потому что я — дверь для них».

«Как только человек появляется передо мной, так его усопшие близкие размещаются вокруг него, они задают мне вопросы и отвечают на вопросы, а я сообщаю услышанное от них живым».

Ванга: «Пришла ко мне молодая женщина, и я сразу ее спросила: „Помнишь ли ты, что у твоей умершей матери был шрам на левом бедре?", и она это подтвердила. Меня спросила, как я это увидела. Очень просто! Мертвая встала передо мной. Молодая, веселая, синеглазая, улыбающаяся женщина в белой косынке на голове. Она была одета в пестрое платье. Женщина подняла подол и сказала мне: „Спроси, помнит ли она, что у меня шрам от падения?" Умершая мать продолжала: „Скажите Магдалене (это другой ее живой дочери), пусть она не ходит на кладбище, потому что у нее нет колена. (Посетительница подтвердила, что у ее сестры искусственная коленная чашечка и ей трудно ходить.) Скажи моей дочери, что в свое время, когда турки хотели поджечь наше село Галичник (в Югославии. — *Примечание автора*), мой отец дал бею много денег, чтобы спасти село. А потом мы решили построить церковь и срубили все тутовые деревья в селе. Ночью тайно перенесли их на место, определенное для строительства. Построили церковь. Перед ней сделали чешму [1] с тремя кранами"».

Изумленная дочь сказала, что она не знает таких подробностей, но была в Галичнике и там действительно не видела тутовых деревьев, а перед церковью на самом деле есть чешма с тремя кранами.

Ванга продолжала передавать слова матери: «Несколько лет тому назад мой сын упал, ударившись головой, и сейчас очень болен». Да, подтвердила посетительница. У моего брата раковая опухоль в голове. Его оперировали. Ванга говорит: «Сделайте еще одну операцию, но только для вашего спокойствия. Операция не даст положительного результата, и брат твой скоро умрет».

Другой случай. Пришла мать, сын которой был солдатом и погиб при катастрофе. Ванга спрашивает: «Как звали парня?» — «Марко»,— ответила женщина. «Но он мне говорит, что его зовут Марио».— «Да,— подтвердила женщина,— дома мы его называли Марио». Через Вангу юноша сообщил, кто виноват в катастрофе, и сказал: «Смерть меня предупредила еще в пятницу, а я уехал во вторник». Солдат умер во вторник. Мертвый спросил, купили ли ему часы. Мать рассказала, что сын ее потерял в казарме часы и она обещала ему купить новые, но после того, как ей сообщили о катастрофе, она ничего не купила. Сын спросил, почему он не видит своей сестры в доме, а мать объяснила, что сестра завершила учебу и теперь живет и работает в другом городе.

Невероятная способность Ванги общаться с мертвыми произвела сильное впечатление и на нашего известного литературного критика Здравко Петрова. В журнале «София Ньюс» (1975, 24—30 июля) он опубликовал очень интересный материал, озаглавленный «Пророчащая болгарка». Предлагаем его рассказ в сокращении.

«До осени 1972 года я мало значения придавал тому, что в маленьком городе Петрич, расположенном недалеко от греческой границы, обитает живая пророчица, привлекающая внимание болгар. С раннего утра до позднего вечера перед воротами ее дома толпятся люди. Она рассказывает о том, где находятся пропавшие люди, раскрывает преступления, ставит медицинские диагнозы, рассказывает о прошлом. Самым удивительным в ее даре является то, что она рассказывает своим посетителям об их настоящем и будущем. Она предсказывает без фатальных последствий. Опыт научил ее быть осторожной в своих предсказаниях. Кроме того, не все возможное становится реальным. Если употребить гегелевский термин „разбросанная реальность", используемый, чтобы объяснить вероятность как философскую категорию, то именно это имеет место в случае с Вангой. Она сообщает о некоторых вещах с удивительной точностью.

Присутствуя на „сеансе" в ее доме, я был свидетелем того, как она у одного из своих „пациентов" попросила часы (обычно ей приносят кусочек сахара), чтобы потрогать их. Он выразил удивление, что ей понадобился такой предмет. А она ответила ему такими словами: „Дай мне твои часы, я не их буду держать в руках, а твой мозг".

Случайно я поехал в город Петрич для короткого отдыха. Остался там на несколько дней. Мое знакомство с этой шестидесятилетней женщиной из народа, одаренной даром пророчества и чувством юмора, стало самым значительным событием в моей жизни.

В сущности, у меня не было намерения подвергаться воздействию каких-либо сеансов. Видимо, Ванга почувствовала это уже в первые часы моего пребывания в Петриче, потому что позднее она сказала моему другу, адвокату: „Он приехал, не желая, чтобы я что-нибудь ему рассказывала, но я все-таки ему рассказала". И она засмеялась своим характерным смехом.

Самая интересная часть этой истории начинается сейчас.

У друга, познакомившего меня с Вангой, была машина, и он после обеда предложил прогуляться за город. Мы приблизились к селу Самуилово, около которого сохранились стены крепости царя Самуила [2] — объект археологических исследований и реставрационных работ. В машине я был молчалив и обменялся с моим другом лишь несколькими словами. Мы быстро достигли крепости и начали рассматривать раскопки. Слепая Ванга не могла разделить удовольствие от созерцания пейзажа и осталась с сестрой в машине. Они беседовали друг с другом. Я прогуливался по поляне. В какой-то момент, когда я был в 7—8 метрах от нее, Ванга начала говорить. Слова ее явно относились ко мне. Она меня

---

[1] Глава из книги «Ванга». Полностью эта книга об одной из самых удивительных женщин нашего времени — всемирно известной ясновидящей — болгарке Ванге Димитровой будет опубликована издательством «Библиотека „Звезды"» в 1992 году и распространена через магазины «Союзкниготорга».

Красимира Стоянова Григорьева — член Союза писателей Болгарии. Племянница Ванги.

Чемоданова Марина Геннадиевна — кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР. Автор книг «Творчество Васила Друмева» в «Становление болгарской национальной литературы», переводчица с болгарского языка.

[1] Чешма — каменное сооружение с краном, в который поступает вода из источника.

[2] Самуил — с 997 по 1014 год царь Западно-Болгарского царства. Укрепил его внутреннее положение, расширил территорию. Вел упорную борьбу с византийским императором Василием II за сохранение национальной независимости. Умер от сердечного приступа, когда увидел болгарских воинов, ослепленных византийцами.

поразила уже первой фразой: „Твой отец Петр здесь". И я остановился, как Гамлет перед духом своего отца. Что я мог сказать? Мой отец умер 15 лет тому назад. Ванга начала говорить о нем с такими подробностями, что я окаменел. Не помню, как я себя чувствовал тогда, но, по свидетельству людей, находившихся рядом со мной, я был очень возбужден и смертельно бледен. Ванга несколько раз повторяла, что отец мой стоит перед ней, хотя я и до сего дня не знаю, в какой проекции она его видела: в прошлом, настоящем или в будущем; она даже показала на него рукой. Очевидно, она получала сведения о домашнем мире, давно забытом даже мной. Для нее время существовало как прошлое, настоящее и будущее, оно было для нее неким однородным потоком. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление.

Меж тем она сказала мне, что отец мой говорит о Цветнице [1], что у меня имя цветка, что зовут меня либо Цвятко, либо Здравко [2]. Я подтвердил, что меня зовут Здравко. Потом она сказала, что отец мой говорил по-турецки. По профессии отец был адвокатом, но работал кроме того и преподавателем политэкономии и гражданского права в турецкой гимназии в Шумене до 9 сентября 1944 года.

Затем Ванга начала говорить о моих дядьях. Назвала двоих из них. О моем третьем дяде, погибшем при трагических обстоятельствах, я сам ей рассказал. Смерть его была весьма таинственной. Она сказала, что предательство является причиной его убийства. Еще меня удивило, что Ванга спросила, кто такой Матей в нашей семье. Я ответил, что это имя моего деда. Мне было пять лет, когда его похоронили в один январский день. С тех пор прошло 40 лет. Меня изумило, что она знает его.

Когда я вернулся из Петрича в Софию и рассказал моим друзьям о своем изумлении, кто-то из них спросил меня, не думал ли я в тот момент о своем деде. Я ответил: это исключено. В Софии я редко вспоминал его имя, так как у меня есть только несколько родственников, с которыми я мог бы говорить о нем. Даже самые лучшие мои друзья не знают его имени. Ванга характеризовала деда как доброго человека. Это соответствует действительности, я знаю это от моих родных.

Ванга долго говорила о моих родственниках, около 10—15 минут. Говорила о моей племяннице, которая сделала ошибочный выбор при поступлении в университет. Вспоминала о более мелких ежедневных подробностях, например, о том, что я купил испорченный радиатор. Потом она посоветовала мне почаще бывать на солнце, что укрепит мое здоровье (и правда, я не очень-то люблю бывать на солнце). „Иначе,— сказала она,— тебе придется ходить с палкой". Она сказала: „Пусть солнце будет твоим богом". Затем она сказала мне, что у меня два высших образования („две головы", как она выразилась). Присутствовавшие добавили, что я проходил специализацию в Москве. Она спросила меня, что это значит.

Позже она начала рассказывать, что видит воинов Самуила, стоящих перед ней, воинов этого трагического болгарского царя, которые, как мы знаем из истории, были ослеплены Василием II [3]. Ванга спросила меня, кто их ослепил, какой национальности этот человек. Я смутился, в этот момент память начисто изменила мне, и я забыл, к какой царской династии он принадлежал. Позднее мой друг спросил меня, как я мог забыть происхождение Василия, коль я так хорошо знаком с византийской историей. Наверно, я был ошеломлен тем, что Ванга в состоянии видеть события столь далекого нашего исторического прошлого. В другой раз Ванга спросила меня, что за люди были византийцы. Она рассказывала, что, когда она была в церкви города Мелник, она слышала голоса, которые говорили: „Мы — византийцы". Она видит людей, одетых в парчу. Она видит и остатки римских бань под землей. Несколько видных византийцев действительно были в прошлом высланы из Византии в Мелник. Она рассказывала и о других исторических личностях.

Мы рассуждали о ее даре видеть прошлое и будущее. Все это время между нами шел необычный разговор. Ванга начала говорить о смерти. Мы все смотрели на ее неподвижное лицо. Очевидно, у нее были видения. Она рассказала о нескольких случаях, когда сама она почувствовала смерть. Так она рассказала о своем собственном супруге, час смерти которого она точно предсказала. Затем она рассказала, что однажды, когда во дворе варили сливы, она ощутила, как смерть „прошумела" среди деревьев. Все это прозвучало для меня словно баллада. Она говорила, что смерть — это красивая женщина с распущенными волосами. У меня было чувство, что я стою перед поэтом, а не перед ясновидящей».

Смерть... Эта страшная и никому не желанная гостья, которая пресекает нить нашей жизни. Но, по мнению Ванги, это проекция нашего «я» в некие другие, непонятные нам измерения.

Однажды к Ванге пришла молодая женщина из Софии. Ванга сразу обернулась к ней

[1] Цветница *(религ.)* — Вербное воскресенье.

[2] Этимология болгарского имени Здравко восходит к слову «здравец» — дикая герань.

[3] Василий II (Болгароубиец) — византийский император (976—1025). После упорных войн с болгарами завладел (в 1018 г.) I Болгарским царством. Назван «Болгароубийцей» потому, что приказал ослепить в 1014 г. 15 тысяч пленных болгарских воинов.

с вопросом: «Где твой друг?», а женщина ответила ей, что он мертв, он утонул несколько лет тому назад. Ванга описала его, сказав, что видит мертвого словно живого и разговаривает с ним, а он задает ей вопросы: «Вот, он встал передо мной, высокий, смуглый, с родинкой на щеке, и у него небольшой дефект в речи». Женщина все подтверждает. Ванга: «И он мне говорит: „Никто не виноват в моей смерти. Я сам упал в воду. Я страшно испугался, потому что не умею плавать. У меня случился перелом в пояснице. И сердце мое разорвалось". Он спрашивает, где его часы и прочие мелкие вещи. Он спрашивает о родных и друзьях, называет их имена... советует подруге через какое-то время выйти замуж и уверен, что выбор ее будет удачным».

...Испанский профессор, ученый, рассказал Ванге, какой доброй при жизни была его мать, как заботилась о нем, но всю свою жизнь она была очень бедной. Ванга перебила его и говорит: «Подожди, я тебе расскажу, как было... Будучи на смертном ложе, она сказала тебе: „Мне нечего тебе оставить, но я дам тебе мой старый семейный перстень. И поскольку ты останешься один — пусть он тебе помогает и напутствует тебя в жизни!"».

Чрезвычайно изумленный профессор подтвердил, что было именно так. «Ну, хорошо,— спросила его Ванга,— что стало с этим перстнем?» Испанец ответил, что, став уже известным ученым, он однажды поехал за город на прогулку, перстень соскользнул с его руки и упал в реку. Он долго искал его, но не смог найти.

«Что же ты наделал, человек? Ты прервал связь со своей матерью!»

Смущенный ученый признался, что иногда такая мысль приходила ему в голову, потому что после потери перстня ему, как правило, ни в чем не везло, но, будучи ученым-материалистом, он прогонял от себя эту мысль.

Несколько лет тому назад во время наводнения в Скопле родители потеряли своего единственного ребенка. Они предположили, что ребенок утонул. Родители пришли к Ванге, чтобы спросить ее, верно ли их предположение. А Ванга (этот случай мне рассказала она сама) им ответила: «Не плачьте, потому что именно столько ему было предопределено прожить. Дитяти вашего действительно нет среди живых. Но вы ищете труп не там, где надо. Он находится ниже по течению, после большого поворота реки. Там есть большие деревья, и тело застряло в их корнях. С одного края видна его ручка. Вот если я сейчас пойду туда — сразу найду ребенка. Вот, вижу его словно живого. Он мне говорит: „Иди, я приведу тебя точно на место"».

Через некоторое время к Ванге пришли люди, близкие этой семье, и сообщили ей, что труп ребенка найден именно в том месте, которое она указала.

Подобных случаев — тысячи, но здесь не представляется возможным описать их все, да и темы не очень приятны.

Но Ванга движется не только в царстве мертвых. Она наблюдает также смерть и возрождение целых городов, например, города Мелник [1]. «Здесь,— говорит Ванга,— каждая травинка, каждый камешек, каждая пядь земли — святыня. В это место я прибываю с удовольствием и лучше всего здесь отдыхаю. Я тут заряжаюсь силой, энергией и вдохновением. Присяду на какой-нибудь камень, и хочется мне помолчать. Никто не тревожит меня. Все окружающее говорит со мной: и камни, и развалины, и обрывы... Город рассказывает мне свою историю, начиная с давно минувших времен: я вижу давно умерших людей, разрушенные храмы и дома, существовавшие здесь тысячи лет тому назад.

Однажды мы пришли в Мелник с моей сестрой Любой, которая взяла с собой своего первого внука, шестимесячного ребенка. Вдруг как будто его душа говорит мне: „Видишь ли, сестра, Мелник. И ты — как он". Я очень расстроилась и потом долго плакала.

Чем я напоминаю Мелник? Тем ли, что я порожняя и одинокая, как он, или тем, что имею такую же древнюю историю, как этот город? Не знаю. И по сию пору не могу этого разгадать».

В начале 70-х годов у Ванги возникло сильное желание бывать ежедневно в Мелнике и там принимать многочисленных посетителей, потому что она считала, что там ее дар получает наибольшее вдохновение и там она увидит и расскажет много интересного. Но ее деятельность в столь маленьком городке породила бы много проблем, связанных с организацией ее работы, потому желание ее не было удовлетворено. Поистине жаль, ибо кто знает, что еще смогли бы мы услышать из ее уст!

И еще один интересный случай.

В 1983 году режиссер П. П. поделился с Вангой, что у него возникло большое желание сделать фильм об Орфее и он давно к этому готовится. Ванга сказала ему, что у него это не получится, потому что отношение его к легендарному певцу неверно. Она сказала (запись разговора на магнитофонной ленте находится у меня):

«Дар Орфея идет не с неба, а от земли. Он припадает ухом к земле и поет. И дикие животные стоят и слушают его, но не понимают. Орфей — земной человек. Он играл и на ивовых листьях, и на дудочке из вербы, использовал он для игры и кору вяза, и кору бука,

[1] Мелник — городок на юго-западе Болгарии. Известен с XI века. В XII—XIV веках — важная крепость.

и кору дуба. Он ложился на землю, и сама земля звучала для него. Орфей поет вместе с землей.

Где бы он ни проходил, все деревья помогают его игре, и птички ему подпевают, и небо ему помогает, оно пишет на земле слова, а он, проходя мимо, читает их и снова поет.

Ну, хорошо,— обращается она к режиссеру,— ты каким его видишь, ты оборванным ли его изобразишь? Для меня Орфей такой: это несчастное дитя в рваной одежонке... Затем передо мной проходит небритый, нестриженый парень, с большими ногтями... И все поет. Все голоса и мелодии ему дарит земля...

Не знаю, почему за ним идет Самуил...

Когда впадаю в транс, я все это вижу, но никто мне раньше не задавал таких вопросов, и мне это было не интересно. Но когда я сижу вот так, вижу все это, то думаю: „Боже, чего только не было на свете!"».

Но с особенным удовольствием Ванга говорит с цветами. Она их воспринимает как живые существа, и обычно рано утром можно увидеть, как она обходит свой богатый сад возле ее дома в Петриче, где растет много цветов. А когда она находится в Рупаке, можно увидеть, как, гуляя, она останавливается перед каждым цветком, как гладит его, поливает и что-то нашептывает. Она утверждает, что и цветы рассказывают ей о многом.

И тут происходит нечто совершенно необъяснимое... Если вы придете к Ванге, а совсем незадолго до этого умер близкий вам человек, от соприкосновения с этой недавней смертью ей становится плохо, она может даже потерять сознание. В таких случаях она всегда спрашивает: «Почему вы не принесли цветы в горшочке? Эта информация о мертвых, которую неосознанно вы вызываете своим присутствием, переходит к цветам, и они спасают меня от тяжелого самочувствия». Она не любит букетики срезанных цветов: «Все равно что отрезали ручки у детей, цветок должен быть живым».

Сестра ее Любка вспоминает, что однажды утром Ванга попросила ее выйти к людям, толпящимся около ее дома, и привести к ней женщину — цветочницу из Софии. И Ванга назвала ее имя. На вопрос сестры, откуда она знает, что около дома стоит цветочница, Ванга ответила: «Вот эти „сережки" только что сказали мне об этом. Она приехала посоветоваться со мной о своем непутевом сыне. Позови ее, я ей расскажу!»

О цветах она вела долгую беседу с советским писателем Леонидом Леоновым в 1980 году. Она сказала ему, что завидует его большому саду; знает, что он тоже умеет разговаривать с цветами, они вдохновляют его и помогают писать книги. Ванга укорила писателя, что он подарил стоявший в его доме большой филодендрон Союзу советских писателей. Она посоветовала ему приобрести поскорей другой филодендрон, потому что и от этого растения он получал большое творческое вдохновение.

С известным художником из Индии Святославом Рерихом Ванга тоже говорила о цветах, растениях и целебных травах. На его вопрос о целебных травах Ванга ответила: «Это другая важная тема разговора. Мир начался с трав и травами закончится. Но травы данной страны лечат только людей, живущих в ней. Так определено. Каждый лечится своими травами».

Перевод с болгарского и примечания М. Чемодановой



В. Я. Френкель,
доктор физико-математических наук

ОБ ЭТИКЕ ПУБЛИКАЦИЙ

Публикация «Лев Ландау: год в тюрьме» появилась на страницах журнала «Известия ЦК КПСС», № 3 за 1991 г., в качестве ответа на вопросы читателя журнала. А. Г. Григорьев (Москва) спрашивает: «Нельзя ли подробнее рассказать эту историю? За что был арестован Л. Д. Ландау, в чем он обвинялся, как состоялось освобождение? Был ли он реабилитирован?» Ответ на эти вопросы, по мнению подготовивших публикацию В. Виноградова и Н. Михайлова, содержится в практически не прокомментированных документах — анкете арестованного, протоколе допроса, личных показаниях (фотокопия первой страницы этих показаний, написанных Л. Д. Ландау от руки, воспроизводится), а также нескольких других документах, включая письма П. Л. Капицы И. В. Сталину, В. Молотову и Л. П. Берии, письма датского физика Н. Бора И. В. Сталину.

Не давая, по нашему мнению, однозначного ответа на эти вопросы, материалы публикации сами ставят ряд вопросов. И первый из них — морального порядка. Еще со времен доклада Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС мы узнали о ставшей правилом в 30-е годы чудовищной методике выбивания показаний у арестованных по обвинению по ст. 58 УК РСФСР. Появившаяся с тех давних пор обширная литература трагически углубила и расширила эти наши знания. Человека, дающего показания под пытками или под угрозой пыток и шантажа (когда его уверяют в том, что судьба и сама жизнь его близких будут определяться нужными следствию показаниями), нельзя судить по обычным меркам. От суждений на основании таких «документов» отказываются даже те, кто выдержал такие испытания и не подписал порочащих протоколов. Как же может объективно оценивать слова допрошенных современный читатель, который знакомится с этими «протоколами», сидя в удобном кресле? В какой-то степени такая негативная оценка, суждение и, тем более, осуждение могут даже считаться безнравственными и кощунственными по отношению к памяти тех, кто прошел ужасы допросов 30—40-х годов. Поэтому представляется, что следовало бы, прежде чем публиковать такого рода материалы, испросить на это разрешение у семьи жертвы репрессий, его близких, товарищей по работе. В данном случае это было бы совсем несложно сделать, обратившись, например, в Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау Академии наук СССР (Москва), где работают десятки прямых и «внучатых» учеников одного из крупнейших советских физиков-теоретиков, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий, лауреата Нобелевской премии по физике академика Льва Давидовича Ландау (1908—1968). Такая «нравственная цензура», не угрожая свободе печати, напротив, только подняла бы ее знамя, уберегла бы читателей от вольной или невольной дезинформации. Эти материалы (допросы, протоколы, справки, постановления и т. д.) должны быть представлены — в случаях, аналогичных рассматриваемому,— так, чтобы четко воспринимались в качестве документов, обвиняющих Главное управление государственной безопасности ((ГУГБ) НКВД в фабриковании лживых документов, а изощренно-жестоких методах допросов, словом, во всем том, что связано в нашем сознании с трагедией 37-го года. Без подобных комментариев указанные материалы для неподготовленных читателей (а их — большинство) могут оказаться жестким свидетельством против обвиняемых, которые в тех нечеловеческих условиях оговаривали и себя, и многих своих коллег.

Дело Ландау началось его арестом 28 апреля 1938 года и завершилось почти ровно

через год — освобождением. Приведем документ № 6 публикации — «Постановление об избрании меры пресечения и предъявления обвинения» [1]:

Город Москва, 1938 г., ноября «13» дня.

Я, *опер. уполномоченный 6* отд-ния *2* отдела Главного Управления Гос. Безоп. Ефименко, рассмотрев следственный материал по делу *№ 18746* и приняв во внимание, что гр. *Ландау Лев Давидович, 1908 г. рожд., урож. гор. Баку, еврей, беспарт., гражд. СССР, до ареста — ст. научный сотрудник Ин-та физических проблем Академии Наук*, достаточно изобличается в том, что *является активным участником антисоветской вредительской организации. Как участник этой организации вел вербовочную работу, проводил подрывную вредительскую деятельность в науке и принимал участие в изготовлении контрреволюционной листовки.* ПОСТАНОВИЛ: гр. *Ландау Льва Давидовича* привлечь в качестве обвиняемого по ст. 58, п. п. 7, 10 и 11 УК, мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда избрать *содержание под стражей во внутренней тюрьме.*

Уполномоченный *6 отд. 2 отд. ГУГБ Ефименко.*

СОГЛАСЕН: Нач. *6* Отд-ния *2 отд.* ГУГБ (подпись неразборчива).

Настоящее постановление мне объявлено «21» XI 1938 г.

Подпись обвиняемого Л. Ландау.

Материалы следствия были предъявлены Л. Д. Ландау 16 декабря 1938 г.; он подтвердил свои показания, которые давал в течение следствия. Прежде чем сказать несколько слов об этих показаниях, приведем — полностью — приложение к протоколу допроса от 3 августа 1938 г.— упомянутую в постановлении контрреволюционную листовку.

«Листовка, составленная при участии Л. Д. Ландау.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Товарищи!

Великое дело Октябрьской революции предано. Страна затоплена потоками крови и грязи. Миллионы невинных людей брошены в тюрьмы, и никто не может знать, когда придет его очередь. Хозяйство разваливается. Надвигается голод.

Разве вы не видите, товарищи, что сталинская клика совершила фашистский переворот. Социализм остался только на страницах окончательно изолгавшихся газет. В своей бешеной ненависти к настоящему социализму Сталин сравнялся с Гитлером и Муссолини. Разрушая ради сохранения своей власти страну, Сталин превращает ее в легкую добычу озверелого немецкого фашизма.

Единственный вывод для рабочего класса и всех трудящихся нашей страны — это решительная борьба против сталинского и гитлеровского фашизма, борьба за социализм.

Товарищи, организуйтесь! Не бойтесь палачей из НКВД. Они способны избивать только беззащитных заключенных, ловить ни о чем не подозревающих невинных людей, разворовывать народное имущество и выдумывать нелепые судебные процессы о несуществующих заговорах. Товарищи, вступайте в Антифашистскую рабочую партию. Налаживайте связь ее с Московским Комитетом. Организуйте на предприятиях группы АРП. Налаживайте подпольную технику. Агитацией и пропагандой подготавливайте массовое движение за социализм.

Сталинский фашизм держится только на нашей неорганизованности.

Пролетариат нашей страны, сбросивший власть царя и капиталистов, сумеет сбросить фашистского диктатора и его клику.

Да здравствует 1 мая — день борьбы за социализм!

Московский Комитет Антифашистской Рабочей Партии».

Из протокола первого допроса, из личных показаний ученого следует, что он активно вел контрреволюционную работу, будучи вовлеченным в нее своими коллегами и вовлекая в нее других. Но мы же знаем, как были получены подобные признания: они оплачены кровью, душевными незаживающими ранами, а зачастую и самой жизнью жертв сталинских репрессий. Никакого содержательного значения придавать таким показаниям нельзя.

Если произвести обратный перевод на обычный, человеческий язык ответов Л. Д. Ландау на вопросы следователя во время допроса 3 августа 1938 г. (а это самый обширный по объему документ, приведенный в публикации), то окажется следующее. Ландау говорил о том, что вместе со своими коллегами сначала по Ленинградскому, а потом Харьковскому физико-техническим институтам обсуждал пагубное для развития теоретической физики внедрение методов материалистической диалектики, осуществлявшееся при поддержке государственных структур вульгаризаторами от философии. В обсуждение этих вопросов, проходившее чаще всего в домашнем кругу, вовлекались и ученики Л. Д. Ландау в Харькове. Другой предмет разговора — взаимоотношение между фундаментальной и прикладной физикой. Ландау и многие, если не большинство, его коллеги считали, что в академических физических институтах следует прежде всего развивать фундаментальные исследования, а практическую их реализацию и внедрение в промышленность надо осуществлять на базе отраслевых институтов и заводских лабораторий. Конечно, не могли физики в своих беседах не реагировать на внутриполитическую ситуацию в стране, в частности на волну арестов, начатую после убийства Кирова, понимая, сколь гибельно все это сказывается на развитии науки и общества в целом. Когда в 1936 г. Ландау был отстранен от преподавания в Харьковском университете, это, естественно, вызвало протест его коллег и учеников.

[1] Как и в публикации в «Известиях ЦК КПСС», слова, вписанные в бланк постановления от руки, выделены курсивом.

Тяжело читать, в какие формы оговоров и самооговоров были преобразованы и воплощены эти суждения Ландау, скрепленные его подписью под протоколом допроса! Это и вербовка, и вредительство, и контрреволюционная деятельность, и групповщина.

Как нелегко давались эти признания Ландау, можно усмотреть из материалов следствия. Читаем протокол допроса от 3 августа: первые три вопроса — Ландау все отрицает, обвинение рассматривает как недоразумение, утверждает: «Меня не в чем изобличать, антисоветской работы я не вел, никаких единомышленников в этом смысле у меня не было», «мне нечего показывать» (т. е. не о чем давать показания). Но вот уже после пятого вопроса, иначе говоря, если верить протоколу допроса, через несколько минут после его начала и после предъявления текста приведенной листовки — Ландау говорит: «Я вижу бессмысленность дальнейшего отрицания своей причастности к составлению предъявленного мне контрреволюционного документа. Пытался отрицать вину, будучи уверенным, что следствию этот документ неизвестен».

Не сомневаюсь, что протокол допроса скомпонован (по существу — сфабрикован) следователем на основании обработки соответствующих материалов, проведенной в процессе предыдущих допросов, а судя по публикации, начались они не позднее июля. Зная особенности речи Ландау, видно, что в существенных частях его показаний она искажена следователем. Так же мало чего стоят и личные показания Л. Д. Ландау, хотя они и написаны его рукой и сомнений в том, что это — его почерк, не может быть. Интересно было бы, однако, подвергнуть их беспристрастной графологической экспертизе. Наверное, существуют методы, позволяющие по характеру почерка установить душевное состояние человека, писавшего соответствующий текст.

Все вышеизложенное в той или иной форме необходимо было пояснить читателям, тем более что в документе № 9 — «Справке», составленной Начальником следственной части НКВД СССР, комиссаром Госбезопасности 3 ранга Кобуловым, указано, что «Ландау, допрошенный мною (Кобуловым.— *В. Ф.*) 8 апреля 1939 г., от всех своих показаний как от вымышленных отказался, заявив, однако, что во время следствия мер физического воздействия к нему не принимали». Но вот этого протокола в деле нет. И подписи Ландау под утверждением, что мерам физического воздействия он не подвергался,— тоже нет.

Главный вопрос, который может возникнуть у читателя и вызвать сомнение в «невиновности» Ландау, это, конечно, листовка. Слишком короток ее текст (как утверждают специалисты) для того, чтобы установить ее авторство. Написана ли она коллегой Ландау по Харьковскому физтеху М. А. Корецом и лишь отредактирована Ландау? Одно, пожалуй, сомнения не вызывает — написана она не следователями, которые допрашивали Ландау. Язык у них дубовый и интеллект не тот, который необходим для составления такого сильного и на современный взгляд документа. Теперь, когда мы знаем, что в этой листовке сказано столько правды о сталинском режиме, даже хотелось бы думать, что она составлена при участии Ландау. Вместе с тем эту возможность, по моему мнению, следует отклонить. И вот по каким соображениям. Знакомясь с биографией Ландау, легко видеть, что никогда он не был политическим борцом. В этом плане он не отличался от большинства своих коллег — как людей его возраста, так и представителей старшего поколения физиков. Все они, как это видно из опубликованных их биографий, из воспоминаний о них, в свое время приняли революцию и провозглашенные ею идеалы. Успехам науки и образования в СССР немало способствовали своею работой эти ученые. «Перегибы», связанные с деятельностью философов-марксистов, трудности в развитии фундаментальной науки и даже аресты считались в этих кругах издержками, ошибками, которые должны быть и будут исправлены. Борьба с ними велась гласными средствами — публикациями, обращениями в защиту арестованных, адресованными властям. Иначе говоря, на путь прямой политической борьбы физики не вставали. И не только (а может быть, и не столько) потому, что считали ее в тогдашних условиях бессмысленной и неконструктивной, но из убеждения в том, что ситуация выправится и прогрессивное движение к идеалам, под лозунгами которых совершалась Октябрьская революция, будет продолжено. Немалую роль в такой позиции ведущих физиков играла их ненависть к поднимавшему в Германии голову фашизму: в этом плане точки зрения ученых и власти, во всяком случае, до заключения пакта Молотова — Риббентропа, совпадали. Я мог бы подтвердить это цитатами из книг и материалов о М. П. Бронштейне, П. Л. Капице, И. Я. Померанчуке, Н. Н. Семенове, Я. И. Френкеле (здесь названы имена тех, кто упоминается в деле Л. Д. Ландау), продолжив цитирование по книгам и статьям о А. И. Алиханове, А. Ф. Иоффе, И. В. Курчатове, И. Е. Тамме, В. А. Фоке и других коллегах Ландау. Ограничусь цитатой из воспо-

минаний о самом Ландау, цитатой тем более примечательной, что она взята в «Воспоминания о Л. Д. Ландау» из книги голландского физика-теоретика Х. Казимира, хорошо знавшего Ландау по его поездкам за рубеж в 1930—1934 гг.: «Ландау был революционером, хотя едва ли его можно было назвать марксистом и уж, конечно, не диалектическим материалистом». К этому месту редколлегия «Воспоминаний» сделала такое примечание: «Сам Лев Давидович часто утверждал, что он марксист и материалист, особенно когда речь шла об анализе общественных явлений». Далее Казимир приводит интереснейшие материалы интервью, которое Ландау, оказавшись в указанное время в Дании, дал одной из тамошних студенческих газет. Не буду его пересказывать — оно соответствует той позиции, которую я изложил выше, отнеся ее к активно работавшим ведущим советским физикам (можно обратиться также и к статье Л. Д. Ландау, опубликованной в газете «Известия» от 23 ноября 1935 г. и озаглавленной «Буржуазия и современная физика»). Создается впечатление, что авторы публикации в «Известиях ЦК КПСС» ни с книгами, посвященными Ландау (а их, как минимум, три), ни с «Воспоминаниями» о нем не знакомы [1].

Однако каково же происхождение листовки? Не берусь судить об этом с определенностью, не будучи знаком с материалами дела Ландау, но полагаю, что у В. Виноградова и Н. Михайлова была возможность тщательно проанализировать этот документ и его происхождение, обратившись как к материалам дела Ландау, так и к аналогичным, но уже касающимся других лиц, вовлеченных в историю с листовкой. Не могли публикаторы не видеть и странных «временны́х» несоответствий. Арест Ландау был произведен 27 апреля (по показаниям Ландау — 28-го) 1938 г., когда до первомайской демонстрации оставалось всего 3 дня. Не ясно ли, что в такой срок (и при тогдашнем состоянии множительной техники) было бы просто физически невозможно отпечатать и распространить листовку. Скорее всего, она была сфабрикована уже после ареста Ландау и написана кем-либо из его «подельщиков», уже в тюрьме. Это — предположения, несомненно же для меня одно: публикация в «Известиях ЦК КПСС» готовилась в спешке и временами может даже показаться тенденциозной. Ее материалы никак не прокомментированы. Имена физиков, встречающихся в документах, по большей части не могут быть известны массовому читателю. Вот, например, мелькает в «Справке», составленной Кобуловым, короткая фраза о том, что Ю. Б. Румер, известный советский физик-теоретик, был завербован в фашистскую организацию Эренфестом. Кто такой Эренфест? Конечно, его имя хорошо известно физикам — и для них абсурдность такого «обвинения» в комментариях не нуждается. Но читателям «Известий» следовало бы сказать, что Эренфест — крупнейший ученый, ученик великого Больцмана (в Вене), преемник великого Лоренца на его кафедре теоретической физики в Лейдене (Голландия). Что Павел Сигизмундович Эренфест, женившийся в начале века на русском математике Т. А. Афанасьевой, был тесно связан с отечественной физикой, что он был убежденным антифашистом, что он необычайно много сделал для становления и развития теоретической физики в нашей стране.

Нуждались бы в комментарии и обстоятельства, которые благодаря вмешательству П. Л. Капицы привели к освобождению Л. Д. Ландау (роль письма Бора Сталину неизвестна; неизвестно, читал ли его Сталин). К указанному времени (апрель 1939 г.) Капица много взаимодействовал с Молотовым, который способствовал внедрению в промышленность его инженерных разработок. Видимо, он в это время ценил Капицу и быстро дал указания Л. П. Берии разобраться в деле Капицы. Иначе говоря, в нашем случае в нужном направлении сработало телефонное право. Берия поручил это Кобулову, составившему приведенную в «Известиях ЦК КПСС» «Справку». В ней излагаются внешние условия дела. Именно в этой «Справке» указано, что Ландау, допрошенный Кобуловым 8 апреля 39 г. (т. е. через два дня после того, как Капица написал Молотову!), отказался от всех своих прежних показаний как от вымышленных.

Наконец, 28 апреля 1939 г. появляется утвержденное Кобуловым «Постановление», из которого выясняются новые обстоятельства. Арест Ландау произошел в связи с тем, что «в апреле 1938 г. в НКВД СССР поступили данные о том, что Л. Д. Ландау совместно с б. доцентом физики Московского педагогического института Корец М. А. составили контрреволюционную листовку». Все показания Ландау, от которых он сам отказался, тем не менее в Постановлении сомнению не подвергаются. Однако вот его заключительные строчки: «Арестованного Ландау Л. Д. из-под стражи освободить, следствие в отношении его прекратить и дело сдать в архив». Подчеркнем: прекратить *следствие*, но не *дело*.

Когда вышеприведенный текст был закончен, сотрудник Института истории естествознания и техники АН СССР канд. физ.-мат. наук Г. Е. Горелик познакомил меня со своей развернутой статьей о Ландау, в которой рассматривается значительный период в жизни Ландау, включающий год, проведенный в тюрьме. Статья написана Г. Е. Гореликом для журнала «Природа». В процессе подготовки к ней он получил возможность изучить материалы следственного дела Ландау (и ряда других аналогичных дел физиков, в частности, М. А. Кореца и Ю. Б. Румера). Из статьи Горелика видно, что авторы публикации в «Известиях ЦК КПСС» не включили в нее важные для понимания дела документы. Все «дело» Ландау, пишет Горелик, «надо читать в свете двух неказистых листков из блокнота, с отрывочными записями, сделанными зелеными чернилами... Зеленая записка представляет собой краткий конспект пребывания Ландау на Лубянке; конспект анонимный и составленный явно для служебного пользования». Написан он, по мнению Горелика, когда решался вопрос об освобождении Ландау, т. е. в апреле 39 г. Из этой записки следует, что Ландау начал давать показания в июле. Вот какова, по записке, обстановка, в которой давались эти показания: «7 часов стоял, замахивались, но не били, показывали бумагу о переводе в Лефортово, в камере знали» (в камере, где сидел Ландау, очевидно, знали, что условия, в которых находились заключенные в Лефортове, много тяжелее, чем на Лубянке). Продолжим цитирование «зеленой записки»: «$1^1/_2$ месяца не допрашивали: Литкенс (один из следователей.— ***В. Ф.***) убеждал, по 12 часов. 6 дней сидел в кабинете без разговоров, объявил голодовку». Как можно было не привести этот документ?! Он в другом виде представляет нам Л. Д. Ландау!

Еще один важный документ из статьи Горелика — он обнаружил его в «Справке об аресте Ю. Б. Румера». В этой справке приведены три «аг. донесения», т. е. три сообщения анонимного осведомителя (или осведомителей). Один из них именует себя «источником» — подразумевается, соответствующей информации. В этих коротких доносах (назовем «аг[ентурные] донесения» более адекватно определяющим их словом) сообщается о разговорах, которые вели М. А. Корец, Ю. Б. Румер и Л. Д. Ландау. Из доноса, помеченного 19 апреля, т. е. за 8 дней до ареста, вроде бы следует, что вопрос о листовке обсуждался: «Из бесед Кореца с источником ясно, что Ландау и Румер полностью посвящены в проводимую подготовку к выпуску антисоветских листовок».

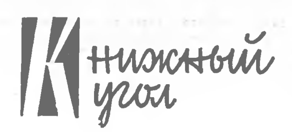
И все же я, основываясь на сказанном мною выше, продолжаю сомневаться в том, что листовка и разговоры о ней возникли до ареста Кореца, Ландау и Румера. Думается, что здесь требуется дальнейшее исследование всех этих сложных обстоятельств.

И наконец Г. Е. Горелик поясняет тот факт, почему реабилитация Л. Д. Ландау произошла только в июле 1990 г. Дело в том, что в 4-м издании биографии Ландау, написанной М. Я. Бессараб, увидевшем свет в начале 1990 г., было сказано, что Ландау был арестован по доносу своего харьковского ученика и сотрудника Л. М. Пятигорского (соавтора первого издания «Механики», которой открывается знаменитый многотомный курс «Теоретической физики»). Л. М. Пятигорский подал на М. Я. Бессараб в суд и потребовал оградить его от злостного обвинения, затрагивающего его честь. Бауманский районный суд Москвы 7 сентября 1990 г. рассмотрел дело и принял решение в пользу Пятигорского, обязав М. Н. Бессараб извиниться перед ним, что и было сделано в газете «Вечерняя Москва» от 25 января 1991 г. Важно подчеркнуть, что решение суда основывалось на документах, включавших справку из Центрального архива КГБ. Вот тогда-то, подняв дело прославленного советского физика, в КГБ увидели, что в нем отсутствует реабилитационный документ. Теперь он там имеется (приведен в публикации) и заканчивается постановлением: «Уголовное дело в отношении Ландау Льва Давидовича прекратить на основании ст. 5 п. 2 УПК РСФСР — за отсутствием состава преступления».

Заканчивая письмо, я хочу сказать, что ни в коей мере не подвергаю сомнению необходимость публикаций типа представленной в «Известиях ЦК КПСС». Эти заставляющие нас содрогнуться документы напоминают о тяжком прошлом, укрепляют в сознании необходимости борьбы за то, чтобы наступившие перемены стали необратимыми. Узнавая так много горького, мы получаем информацию и о тех, кто защищал невинные жертвы. В данном случае я имею в виду академика Петра Леонидовича Капицу, чьим мужеством нельзя не восхищаться. Но я хочу еще раз подчеркнуть: публикация подобных материалов — дело деликатное и подходить к нему необходимо с особой тщательностью. Нужно обсудить предполагаемые к публикации документы с близкими тех людей, которых они затрагивают, внимательно ознакомиться со всей историко-биографической литературой. Иначе говоря, надо действовать в соответствии с нравственными нормами, принятыми, например, при печатании частной переписки. Далее: каждый документ должен быть прокомментирован, грубый вымысел отделен от полуправды и крупиц правды, в нем содержащихся. Основываясь на имеющихся в деле документах — или, если таковых нет, обращаясь к аналогичным материалам, следует показать читателю механизм ведения следствия, фальсификацию показаний. Каждая фамилия, фигурирующая в документе, должна быть раскрыта, пояснена и тоже прокомментирована. Неплохо было бы найти материалы о тех, кто следствие вел. (Фамилия Кобулова более или менее известна, но вот недавно промелькнула публикация и о следователе по делу Ландау — Литкенсе,— так что при желании этот совет может быть выполнен.) Погоня за сенсацией, спешка в подобных случаях просто непозволительны, нужны кропотливая работа по подготовке материалов к печати, обязательность, взвешенность. К сожалению, всего этого определенно не хватает публикации о Л. Д. Ландау в «Известиях ЦК КПСС».

---

[1] Последнее подтверждается и тем, что, публикуя упомянутые выше письма П. Л. Капицы и Н. Бора И. В. Сталину и Капицы — Берии и Молотову, они не сослались на «Воспоминания», в которых эти документы были воспроизведены еще в 1988 г.



Раздел ведет Ив. Толстой

«ВЕРЕТЕНО»

«Литературно-художественный альманах» *В* (книга первая — и единственная) был выпущен в 1922 г. книгоиздательством «Отто Кирхнер». Инициатором *В* был прозаик Александр Дроздов, организовавший в Берлине литературный кружок под тем же наименованием. Группа писателей была учреждена весной 1922 г. и имела определенную, антибольшевистскую, окраску. Задачей было, в частности, оттягивание литераторов от сотрудничества с «Накануне», а также привлечение парижских литераторов отчетливо антибольшевистской ориентации.

В берлинском журнале «Новая Русская Книга» сообщалось на основании поданных Дроздовым сведений: «В Берлине основалось содружество писателей, художников и музыкантов „Веретено". Одним из организаторов этого кружка так определяются его цели: „Веретено" ставит своей целью проповедь творческого начала жизни и утверждение веры в созидательные силы русского искусства. Содружество, абсолютно чуждое всякой политики, будет бороться с разложением русской литературы (в частности, с засорением русского языка) и с искусственностью, подменяющей подлинное искусство, резко и определенно отмежевываясь от „псевдо-молодых" и „псевдо-старых" течений в русской литературе сегодняшнего дня, которые не совпадают с истинными путями русского возрождения. „Веретено" не намерено ограничиваться деятельностью в эмиграции, но вступило в тесную связь с родственными ему творческими силами в России».

С лета 1922 г. было начато издание двух органов — «вестника критической мысли и сатиры» «Веретеныш» (вышло 3 №) и альманаха *В*. В «Веретеныше» широко освещалась молодая проза Советской России, предполагалось привлечение молодых писателей Москвы и Петрограда.

Неясность исходной платформы и существование двух противопоставленных флангов в *В* привели к распаду его, прежде чем содружество успело заявить о себе творчески. На первый вечер группы (в октябре 1922 г.) Глеб Алексеев пригласил И. Василевского (Не-Букву); на второй (в ноябре) — А. Дроздовым был приглашен А. Н. Толстой. Эти примиренческие шаги в направлении «Накануне» положили конец существованию группы. В газете «Руль» было сообщено об уходе из *В* восьми его членов — В. Амфитеатрова-Кадашева, Ив. Бунина, С. Горного, И. Лукаша, В. Сирина, Г. Струве, В. Татаринова и Л. Чацкого. Этот раскол совпал по времени с выходом *В*.

В декабре о выходе из *В* объявили Вл. Пиотровский и Глеб Алексеев, а в январе 1923 г. в «Известиях» об отказе от сотрудничества в изданиях *В* заявили его московские члены — Н. Ашукин, Е. Зозуля, Ю. Слезкин, Б. Пильняк, Ю. Соболев, А. Соболь, Д. Стонов и В. Лидин. Это совпало с резкой метаморфозой общественно-политической позиции самого Дроздова, внезапно примкнувшего к «Накануне» и выступившего с резкими нападками на эмиграцию. В декабре 1923 г. Дроздов навсегда уехал в Москву, где впоследствии сотрудничал в московских журналах.

Так что единственным плодом деятельности содружества стал выпуск *В*, разделенный на два отдела: «Беллетристика» (включивший как прозу, так и стихи) и «Критические статьи».

В вместило прозу Глеба Алексеева «Чаша Святой Девы» (род притч лубочно-библейской и фольклорно-сказовой стилистики), рассказ Ив. Бунина «Темир-Аксак-Хан», цикл рассказов Сергея Горного «На родине», рассказ А. Дроздова «Ковалев, Королев и Аркадий Петрович» (с посвящением А. Н. Толстому), повесть Ивана Лукаша «Государь» (с примечанием от редакции: «Повесть печатается ввиду ее художественного значения. В оценку политических моментов произведения редакция не входит»), рассказ Вас. Немировича-Данченко 1913 г. «Как велит природа», рассказ Бориса Пильняка «Коломенская пастила» и «Христов крестник» — прозу Алексея Ремизова.

Прозаические вещи *В* перемежаются стихами Вл. Пиотровского (впоследствии — Корвин-Пиотровского), Г. Росимова (известного также своей режиссерской деятельностью — Ю. Офросимова) и Вл. Сирина (Набокова).

Критический раздел открывается обзором — своего рода поэтическим путеводителем Эриха Голлербаха по петербургским журналам: Блок, Ахматова, Гумилев, Кузмин, Одоевцева, Анна Радлова, М. Шагинян, Оцуп, Георгий Иванов и др. («...ни война, ни революция не заставили умолкнуть Петербургскую Музу»). Обширная статья Вл. Амфитеатрова-Кадашева «Поиски ключа» — о художественно-исторических взглядах современных прозаиков (Бунина, Мережковского, А. Н. Толстого, Ремизова, Л. Андреева, Гребенщикова, Пильняка, Дроздова, Эренбурга). Статья С. Маковского «Иннокентий Анненский» имела подзаголовок «По личным впечатлениям».

Альманах был украшен заставками и концовками С. Сегаля и В. Белкина и представлял на отдельных листах рисунки А. Андреева, В. Белкина, М. Банда, И. Мозалевского и С. Сегаля.

Ив. Т.

«БЫЛОЕ» (1933)

«„Былое" имеет свое былое — свою историю». Так начал Владимир Львович Бурцев свою вступительную заметку в 1933 г. к возобновившемуся изданию своего детища.

В самом деле, первый номер *Б* вышел в 1900-м в Лондоне под ред. В. Л. Бурцева. После этих шести лондонских последовали 22 петербургских номера (1906—1907), сменившихся сборниками «Наша страна» и «О минувшем», 12 книжек журнала «Минувшие годы» (1908), 8 парижских выпусков бурцевского сборника и наконец 35 номеров журнала за 1917—1926 годы. Все они, сменяя свои названия, наследовали тем не менее одну и ту же традицию: быть летописью освободительного движения в России.

Обо всем этом подробно рассказано в недавней книге Ф. М. Лурье «Хранители прошлого. Журнал „Былое": история, редакторы, издатели» (Лениздат, 1990). После прекращения издания в Советском Союзе *Б* было подхвачено все тем же Бурцевым, который в серии «Библиотека Иллюстрированной России» выпустил два номера: «БЫЛОЕ (новая серия). Сборники по новейшей русской истории». Ф. М. Лурье почему-то пишет об этом издании так: «Два последних сборника не следует объединять с „Былым". Кроме названия, с предыдущими сборниками у них ничего общего нет». Объяснение этому находим у самого Ф. М. Лурье: «...два вышедших сборника, наполненных злобными нападками на большевиков...»

Прежде всего, оба сборника по материалам и по духу продолжают традиционную линию издания. Они действительно сфокусированы на антибольшевистских, античекистских материалах. Однако последствия октябрьского переворота рассматриваются Бурцевым не в отрыве от революционной эпохи, но как трагическое продолжение длительной народно-освободительной борьбы. Глядя из послеоктябрьской эпохи, Бурцев отыскивает в дореволюционном прошлом зарождение тех или иных человеческих судеб, не разрывая при этом единой исторической ткани, измеряя события и поступки по шкале ценностей, принятых среди поколений российских революционеров. Поэтому номера *Б* 1933 года становятся органичным итогом деятельности Бурцева.

Но как бы то ни было, *Б*-1933 принадлежит к эмигрантской литературе и представляет интерес уже хотя бы поэтому.

В обоих номерах помещены воспоминания самого Бурцева «Мой приезд в Россию в 1914 г.», включающие в действительности события 1914—1918 годов, в том числе и его арест в первый же вечер переворота — 25 октября 1917 г. (а не в декабре, как сообщает Ф. М. Лурье); воспоминания эти состоят из следующих, в частности, глав: «Кропоткин горячо отнесся к моей поездке, другие эмигранты были против нее», «В Христиании и Стокгольме. Спор: арестуют или не арестуют меня?», «Передача меня из Финляндии в Россию вопреки финляндским законам», «В Доме Предварительного Заключения.— Вопрос Керенского: зачем вы приехали?», «Суд», «По этапу в Сибирь», «Амнистия», «Русская революция», «Выпуск в тюрьме журнала „Досуги"», «В Крестах при большевиках», «Преступления старого режима бледнеют перед преступлениями большевиков», «Торг за мое освобождение», «Мой побег из большевистской России», «Красная Финляндия».

В № 1 помещена также статья Бурцева «Провокаторы среди большевиков» — о пражском съезде РСДРП, где Малиновский, Романов, Брендинский и Шурканов были четырьмя осведомителями из 28 присутствовавших участников. Следом Бурцев давал характеристику А. Е. Бадаеву, предваряя тем самым отрывки его воспоминаний (полностью вышедших в Ленинграде в 1929 г.), печатал с комментарием выдержку из письма М. О. Мартова П. Б. Аксельроду и записки А. С. Киселева — все эти материалы были посвящены теме провокации в стане большевиков.

Во 2-м выпуске *Б* опубликовано по одному письму, которыми обменялись в 1924 г. Бурцев и Б. В. Савинков. Письмо Савинкова подписано: «Внутренняя тюрьма. Сентябрь 1924». Оно перепечатывается здесь из рижской газеты «Народная мысль» (октябрь). Впоследствии письмо воспроизводилось в советских официальных изданиях в виде факсимиле. Попунктный ответ Бурцева, 11 ноября, также увидел свет в «Народной мысли». Публикация этой переписки предваряется подробным мемуарно-психологическим портретом Савинкова, написанным, как и все прочие введения, сноски, пояснения и комментарии *Б*-1933,— Бурцевым.

Продолжая тему исторического разоблачения большевиков, Бурцев во 2-м № *Б* приводит ряд материалов из советской прессы — своего рода *само*разоблачительных: записки Н. Н. Крестинского из журнала «Пролетарская революция» (1924), очередной отрывок из воспоминаний Бадаева, перепечатка из «Красной летописи» материала, которому Бурцев дал заглавие «Как департамент полиции отпустил Ленина заграницу для большевицкой пропаганды», и воспоминания Петерса о работе ВЧК в первый год революции.

Ив. Т.

СОДЕРЖАНИЕ